

РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



ИОАНН АНТОНОВИЧ

А. Н. Сахаров (редактор)
Иоанн Антонович
Серия «Романовы. Династия
в романах», книга 10

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=157274

Иоанн Антонович: АРМАДА; Москва; 1997

ISBN 5-7632-0094-2

Аннотация

Тринадцать месяцев подписывались указы именем императора Иоанна Антоновича... В борьбе за престолонаследие в России печальная участь постигла представителей Брауншвейгской фамилии. XVIII век – время дворцовых переворотов, могущественного фаворитизма, коварных интриг. Обладание царским скипетром сулило не только высшие блага, но и роковым образом могло оборвать человеческую жизнь. О событиях, приведших двухмесячного младенца на российский престол, о его трагической судьбе рассказывается в произведениях, составивших этот том.

В том вошли: Е. П. Карнович "ЛЮБОВЬ И КОРОНА", Г. О. Данилевский «МИРОВИЧ», В. А. Соснора "ДВЕ МАСКИ"

Содержание

Е. П. Карнович	29
I	29
II	43
III	51
IV	61
V	73
VI	86
VII	96
VIII	106
IX	117
X	128
XI	137
XII	148
XIII	159
XIV	170
XV	177
XVI	188
XVII	198
XVIII	208
XIX	219
XX	229
XXI	236
XXII	246

XXIII	255
XXIV[82]	264
XXV	275
XXVI	285
XXVII	297
XXVIII	308
XXIX	317
XXX	328
XXXI	336
XXXII	345
XXXIII	357
XXXIV	367
XXXV	377
XXXVI	388
XXXVII	399
XXXVIII	410
XXXIX	422
XL	432
XLI	442
XLII	454
XLIII	465
XLIV	475
XLV	485
XLVI	495
Г. П. Данилевский	505
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	505

I	505
II	525
III	549
IV	580
V	609
VI	628
VII	648
VIII	671
IX	689
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	709
X	709
XI	731
XII	747
XIII	764
XIV	784
XV	798
XVI	816
XVII	833
XVIII	845
XIX	855
XX	866
XXI	884
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	901
XXII	901
XXIII	910
XXIV	918

XXV	935
XXVI	953
XXVII	966
XXVIII	978
XXIX	996
XXX	1011
XXXI	1031
XXXII	1046
XXXIII	1060
XXXIV	1076
ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА «МИРОВИЧ»	1091
В. А. Соснора	1101
Версия первая:	1101
1	1101
2	1117
3	1125
4	1135
5	1145
6	1163
Версия вторая:	1167
1	1167
2	1183
3	1194
4	1211
5	1228

Примечание	1242
КОММЕНТАРИИ	1244
Об авторах	1244
Хронологическая таблица	1247

А. Сахаров (редактор)

ИОАНН АНТОНОВИЧ

(Романовы. Династия в романах – 10)

ИОАНН VI Антонович, иногда называют также Иоанн III (по счёту царей) – сын племянницы императрицы Анны Иоанновны, принцессы Мекленбургской Анны Леопольдовны и герцога Брауншвейг-Люнебургского Антона Ульриха, родился 12 августа 1740 года и манифестом Анны Иоанновны (17 октября 1740 года). Иоанн был императором, а манифест 18 октября объявил о вручении регентства до совершеннолетия Иоанна, то есть до исполнения ему семнадцати лет, герцогу Курляндскому Бирону. По свержении Бирона Минихом (8 ноября) регентство перешло к Анне Леопольдовне, но уже ночью 25 декабря 1741 года правительница с мужем и детьми, в том числе и императором Иоанном, были арестованы во дворце Елизаветой Петровной, и последняя провозглашена была императрицей. Сперва она намерена была выслать низверженного императора со всей его за границу, и 12 декабря 1741 года они были отправлены из Петербурга в Ригу, под присмотром генерал-лейтенанта В. Ф. Салтыкова; но

затем Елизавета переменила намерение и, не доехав до Риги, Салтыков получил предписание ехать как можно тише, задерживая под разными предлогами путешествие, а в Риге остановиться и ждать новых распоряжений. В Риге арестанты пробыли до 13 декабря 1742 года, когда они были перевезены в крепость Динамюнде. За это время у Елизаветы окончательно созрело решение не выпускать Иоанна и его родителей, как опасных претендентов, за пределы России. В январе 1744 года последовал указ о новом перевозе бывшей правительницы с, на этот раз в город Раненбург (ныне уездный город Рязанской губернии), исполнитель этого поручения, капитан-поручик Вындомский, едва не их в Оренбург. 27 июня 1744 года камергеру барону Н. А. Корфу предписано было указом императрицы отвезти семью царственных узников в Соловецкий монастырь, Иоанн как в течение этого путешествия, так и на время пребывания в Соловках должен был быть совершенно от своей семьи, и никто из посторонних не должен был иметь к нему доступа, кроме только специально приставленного к нему надсмотрщика. Корф арестантов, однако, только до Холмогор и, представив правительству всю трудность перевоза их на Соловки и содержания там в секрете, убедил оставить их в этом городе. Здесь Иоанн пробыл около 12 лет в полном одиночном заключении, отрезанный от всякого общения с людьми; единственным человеком, с которым он мог видеться, был наблюдавший за ним майор Миллер, в свою очередь почти возможности

сообщения с другими лицами, стерегшими семью императора. Тем не менее слухи о пребывании Иоанна в Холмогорах распространились, и правительство решило принять новые меры предосторожности. В начале 1756 года сержанту лейб-кампании Савину предписано было тайно вывезти Иоанна из Холмогор и секретно доставить в Шлиссельбург, а полковнику Вындомскому, главному приставу при Брауншвейгской семье, дан был указ: «Оставшихся арестантов содержать по-прежнему, и строже и с прибавкою караула, чтобы не подать вида о вывозе арестанта; в кабинет наш и по отправлении арестанта репортовать, что он под вашим караулом находится, как и прежде репортовали». В Шлиссельбурге тайна должна была сохраняться не менее строго: сам комендант крепости не должен был знать, кто содержится в ней под именем «известного арестанта»; видеть Иоанна могли и знали его имя только три офицера стерегшей его команды; им запрещено было говорить Иоанну, где он находится; в крепость без указа Тайной канцелярии нельзя было впустить даже фельдмаршала. С воцарением Петра III положение Иоанна не улучшилось, а, скорее, изменилось к худшему, хотя и были толки о намерении Петра освободить узника. Инструкция, данная графом А. Л. Шуваловым главному приставу Иоанна (князю Чурмантееву), предписывала, между прочим: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде

и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою или плетью». В указе Петра III Чурмантееву от 1 января 1762 года повелевалось: «Буде, сверх нашего чаяния, кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколь можно и арестанта живого в руки не давать». В инструкции, данной по вошествии на престол Екатерины Н. И. Паниным, которому доверен был главный надзор за содержанием шлиссельбургского узника, этот последний пункт был выражен яснее: «Ежели паче чаяния случится, чтоб кто с командою или один, хотя бы то был и комендант или иной какой офицер, без именного за собственноручным И.В. подписанием повеления или без письменного от меня приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что опаситься не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». По некоторым известиям, вслед за воцарением Екатерины, Бестужевым составлен был план брака с Иоанном. Верно то, что Екатерина в это время виделась с Иоанном и, как сама признала позже в манифесте, нашла его в уме. Сумасшедшим или, по крайней мере, легко теряющим душевное равновесие, изображали Иоанна и рапорты приставленных к нему офицеров. Однако Иоанн знал происхождение, несмотря на окружающую его таинственность, и называл себя государем. Вопреки строгому запрещению чему бы то ни было его

учить, он от кого-то научился грамоте, и тогда ему разрешено было читать Библию. Не сохранилась и тайна пребывания Иоанна в Шлиссельбурге, и это окончательно погубило его. Стоявший в гарнизоне крепости подпоручик Смоленского пехотного полка Василий Яковлевич Мирович вздумал освободить его и провозгласить императором; в ночь с 4 на 5 июля 1764 года он приступил к исполнению своего замысла, и, склонив с помощью подложных манифестов на свою сторону гарнизонных солдат, арестовал коменданта крепости Бередникова и потребовал выдачи Иоанна. Пристав сперва сопротивлялся с помощью своей команды, но, когда Мирович на крепость пушку, сдался, предварительно, по точному смыслу инструкции, убив Иоанна. После тщательного следствия, обнаружившего полное отсутствие сообщников у Мировича, последний был в правление Елизаветы и ближайших преемников самое имя Иоанна подвергалось гонению: печати его царствования переделывались, монета переливалась, все деловые бумаги с именем императора Иоанна предписано было собрать и выслать в Сенат; манифесты, присяжные листы, церковные книги, формы поминовения особ императорского дома в церквях, проповеди и паспорта велено было сжечь, остальные дела хранить за печатью и при справках с ними не употреблять титула и имени Иоанна, откуда явилось название этих документов «делами с известным титулом». Лишь высочайше 19 августа 1762 года доклад Сената остановил дальнейшее истребление дел времени

Иоанна, грозившее нарушением интересов частных лиц. В последнее время сохранившиеся документы были частью изданы целиком, частью обработаны в издании московского архива министерства юстиции.

Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона,

т. XIII, СПб., 1894.

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА, правительница Российской империи, родилась в Ростоке 7 декабря 1718 года от герцога Мекленбург-Шверинского Карла Леопольда и супруги его Екатерины Иоанновны (внучки царя Алексея Михайловича), была крещена по обряду протестантской церкви и названа Елисаветой Екатериной Христиной. Молодая Елисавета недолго оставалась при отце. Грубый, деспотичный нрав герцога принудил Екатерину Иоанновну покинуть мужа и вместе с дочерью возвратиться в Россию в 1722 году. Родители Елисаветы едва ли особенно заботились о её воспитании. На это воспитание, по-видимому, обращено было некоторое внимание лишь по воцарении младшей сестры герцогини Екатерины – Анны Иоанновны, когда снова возник вопрос о престолонаследии. Анна Иоанновна, как известно, не имела прямых наследников; для того, чтобы оставить после себя законных преемников, императрица, по совету графа Остермана, графа Левенвольда и Феофана Прокоповича, выразила намерение назначить наследником престола кого-либо из будущих детей

молодой племянницы своей Елисаветы. Это намерение сразу придало Елисавете особенное значение при дворе. Феофану Прокоповичу поручено было наставлять её в православной вере, а 12 мая 1733 года Елисавета приняла православие и названа Анной в честь императрицы. Анна Иоанновна заботилась не только о духовном, но и о светском воспитании племянницы. Для этих целей она избрала ей в наставницы госпожу Адеркас – женщину умную и опытную, не оказавшую, однако, благотворного влияния на духовное развитие своей воспитанницы; есть также упоминание об учителе принцессы, Геннингере. Но плохое воспитание, данное принцессе Анне, не мешало императрице думать о выдаче её замуж. Выбор первоначально пал на марк-графа Бранденбургского Карла, родственника короля Прусского. Уже начались переговоры по этому делу; но встревоженный венский двор поручил фельдмаршалу Секендорфу, находившемуся тогда в Берлине, всеми мерами воспрепятствовать успешному исходу таких переговоров. Секендорф действовал настолько удачно, что дело расстроилось, и из Вены последовало предложение выбрать в женихи принцессе Анне принца Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского, племянника императрицы Римской. Предложение не было отвергнуто, и молодой принц приехал в Петербург в феврале 1733 года. Хотя принц и не понравился Анне Леопольдовне, тем не менее ей пришлось считать его своим женихом. А между тем естественное чувство влекло её в другую страну. Ей особенно

направился молодой, красивый граф Карл Мориц Линар, посланник саксонский. Госпожа Адеркас не только не препятствовала, но прямо благоприятствовала сношениям своей воспитанницы с ловким графом. Интрига обнаружилась летом 1735 года, и госпожа Адеркас потеряла место, а граф Линар был отослан под благовидным предлогом обратно к саксонскому двору. Принцессу, тем не менее, через четыре года выдали замуж за принца Антона; 3 июля 1739 года пышно отпразднована была эта свадьба, а через 13 месяцев (12 августа 1740 года) у молодых супругов родился сын Иоанн.

В это время здоровье императрицы уже стало внушать серьёзные опасения. Возникал вопрос о том, кому поручить управление государством. Манифестом 5 октября 1740 года государыня «определила в законные после себя наследники внука своего принца Иоанна». Но до совершеннолетия принца необходимо было назначить регента. Вопрос официально оставался нерешённым почти до самого дня кончины императрицы. Лишь 16 октября, за день до смерти, Анна Иоанновна регентом назначила Бирона. Манифест 17 октября 1740 года, извещавший о кончине императрицы Анны Иоанновны, давал знать, что, согласно воле покойной, утверждённой её собственноручной подписью, империя должна быть управляема по особому уставу и определению, которые изложены будут в указе правительствующего Сената. Действительно, 18 октября обнародован был указ,

которым герцог Бирон, согласно воле императрицы, назначался регентом до совершеннолетия принца Иоанна и, таким образом, получал «мочь и власть управлять всеми государственными делами как внутренними, так и иностранными».

Хотя назначению Бирона в регенты способствовали важнейшие придворные чины и сановники государства (А. Л. Бестужев-Рюмин, фельдмаршал Миних, канцлер князь Черкасский, адмирал граф Головкин, действительный тайный советник князь Трубецкой, обер-шталмейстер князь Куракин, генерал-поручик Салтыков, гофмаршал Шепелев и генерал Ушаков), тем не менее сам Бирон сознавал всю шаткость своего положения. Регент поэтому начал своё управление рядом милостей: издан был манифест о строгом соблюдении законов и суде правом, сбавлен подушный оклад 1740 года на 17 копеек, освобождены от наказания преступники, кроме виновных по двум первым пунктам: воров, разбойников, смертных убийц и похитителей многой казны государевой. В то же время сделано было распоряжение для ограничения роскоши в придворном быту: запрещено носить платья дороже четырёх рублей аршин. Наконец, дарованы милости отдельным лицам: князю А. Черкасскому возвращён камергерский чин и дозволено жить, где захочет, В. Тредьяковскому выдано 360 рублей из конфискованного имения А. Волынского.

Все эти милости показывали, что и сам Бирон далеко не был уверен в прочности своего положения,

а эта неуверенность, разумеется, ещё более возбуждала против него общественное мнение. В гвардии слышались недовольные голоса П. Ханькова, М. Аргамасова, князей И. Путятина, Алфимова и других. Явились доносы на секретаря конторы принцессы Анны М. Семёнова и на адъютанта принца Антона Ульриха, П. Граматина. Движение это было тем опаснее для Бирона, что недовольные не только отрицали права герцога на регентство, но прямо задавали вопрос, почему же регентами не назначены были родители молодого принца? Естественно поэтому, что центрами этого движения против регента были принц Антон, а затем и сама Анна Леопольдовна. Ещё за 11 дней до смерти императрицы подполковник Пустошкин, узнав о назначении принца Иоанна наследником, проводил мысль, что от российского шляхетства надобно подать государыне челобитную о том, чтобы принцу Антону быть регентом. Хотя попытка Пустошкина не удалась, принц Антон тем не менее стремился переменить постановление о регентстве и по этому поводу обращался за советом к Остерману и Кейзерлингу, а также находил поддержку и сочувствие в вышеназванных представителях гвардии. Испуганный Бирон велел арестовать главных его приверженцев, а в торжественном собрании Кабинета министров, сенаторов и генералитета 23 октября заставил Антона Ульриха, наравне с другими, подписать распоряжение покойной императрицы о регентстве, а через несколько дней принудил принца отказаться

от военных чинов. Самой гвардии грозил также разгром: Бирон поговаривал о том, что рядовых солдат дворянского происхождения можно определить офицерами в армейские полки, а места их занять людьми простого происхождения. Таким образом, и эта попытка сделать принца Брауншвейгского регентом окончилась неудачей. Но, кроме принца Антона, во всяком случае, не менее законные притязания на регентство могла иметь Анна Леопольдовна. Слишком слабая и нерешительная для того, чтобы самой осуществить эти притязания, принцесса нашла себе защитника в лице графа Миниха. Честолюбивый и решительный фельдмаршал рассчитывал, что в случае удачи он займёт первенствующее положение в государстве, и поэтому немедленно взялся за дело. 7 ноября Анна Леопольдовна жаловалась фельдмаршалу на своё безвыходное положение, а в ночь с 8 на 9, с согласия принцессы, он, вместе с Манштейном и 80 солдатами своего полка, арестовал регента, ближайших его родственников и приверженцев. Самого герцога особая комиссия приговорила даже к смертной казни, 8 апреля 1740 года, а Бестужева – к четвертованию, 27 января 1741 года. Наказания эти, однако, смягчены: Бирон был сослан в Пелым, Бестужев – в отцовскую пошехонскую деревню на житьё без выезда.

Таким образом, 9 ноября, по низвержении Бирона, Анна Леопольдовна провозгласила себя правительницей. Странно было видеть бразды правления в руках доброй, но ленивой и беспечной

внучки царя Иоанна Алексеевича. Плохое воспитание, какое она получила в детстве, не вселило в неё потребности к духовной деятельности, а при полном отсутствии энергии жизнь принцессы превращалась в мирное прозябание. Время она проводила большею частью лёжа на софе или в карточной игре. Одета в простое спальное платье и повязав непричёсанную голову белым платком, Анна Леопольдовна нередко «по несколько дней сряду сидела во внутренних покоях, часто надолго оставляя без всякого решения важнейшие дела, и допускала к себе лишь немногих друзей и родственников любимицы своей фрейлины Менгден, или некоторых иностранных министров, которых она приглашала к себе для карточной игры». Единственной живой струёй в этой затхлои атмосфере была прежняя привязанность правительницы к графу Линару. Он снова послан был в Петербург в 1841 году королём Польским и курфюрстом Саксонским для того, чтобы вместе с австрийским послом Боттой склонить правительницу к союзу с Австрией. Для того, чтобы удержать Линара при дворе, Анна Леопольдовна дала ему обер-камергерский чин и задумала женить его на своей любимице Менгден. Ввиду этой женитьбы Линар поехал в Дрезден просить об отставке, получил её и уже возвращался в Петербург, когда в Кенигсберге узнал о низвержении правительницы.

Анна Леопольдовна, как видно, неспособна была к управлению. Расчёты Миниха, казалось, оправдались. 11 ноября вышел указ, по которому генералиссимусом

назначался принц Антон, но «по нём первому в империи велено быть» графу Миниху; в то же время графу Остерману пожалован был чин генерал-адмирала, князю Черкасскому – чин великого канцлера, графу Головкину – чин вице-канцлера и кабинет-министра. Таким образом, Миних стал заведовать почти всеми делами внутреннего управления и внешней политики. Но это продолжалось недолго. Указом 11 ноября многие остались недовольны. Недоволен был принц Антон, которому чин генералиссимуса, по словам самого указа, будто бы уступил Миних, хотя и имел на него право; недоволен был Остерман, ибо приходилось подчиняться сопернику, малознакомому с тонкостями дипломатии; недоволен был, наконец, и граф Головкин тем, что ему нельзя было самостоятельно управлять внутренними делами. Враги воспользовались болезнью фельдмаршала для того, чтобы склонить правительницу к ограничению власти Миниха. В январе 1741 года Миниху велено было сноситься с генералиссимусом обо всех делах, а 28 числа того же месяца поручено заведовать сухопутной армией, артиллерией, фортификацией, кадетским корпусом и Ладожским каналом. Управление внешней политикой снова передано Остерману, внутренними делами – князю Черкасскому и графу Головкину. Раздосадованный Миних подал прошение об отставке: к великому его горю это прошение было принято. Старый фельдмаршал уволен был «от военных и статских дел» указом 3 марта 1741 года. Немало

способствовал такому исходу дела хитрый Остерман, который на время и получил первенствующее значение. Но и ловкому дипломату, благополучно пережившему столько дворцовых переворотов, трудно было лавировать среди враждовавших придворных партий. Семейная жизнь принца и принцессы не отличалась особенным миролюбием. Быть может, отношения Анны Леопольдовны к графу с одной стороны, а с другой та досада, с какой принц Антон смотрел на неотразимое влияние, оказываемое фрейлиной Ю. Менгден на правительницу, – служили причинами разногласия между супругами. Разногласие это длилось иногда по целой неделе. Им злоупотребляли министры для собственных целей. Граф Остерман пользовался доверием принца. Этого было достаточно для того, чтобы граф Головкин, враг Остермана, оказался на стороне правительницы, которая иногда поручала ему весьма важные дела без ведома супруга и графа Остермана.

При малоспособности лиц, стоявших во главе управления, и борьбе министров нечего было ожидать особенно богатой результатами внешней и внутренней политики. Из внутренних распоряжений в правление Анны Леопольдовны, в сущности, замечателен один «регламент или работная регулы на суконныя и каразейныя фабрики, состоявшийся по докладу учреждённой для рассмотрения о суконных фабриках комиссии». Вопрос этот возбуждён был по ходатайству Миниха в 1740 году; 27 января того же года для

ознакомления с фабричным бытом и составления проекта нового законодательства по фабричной части назначена была особая комиссия. Выработанный ею проект законодательного акта касательно суконных и каразейных фабрик принят правительством почти без всяких изменений и издан в виде указа 2 сентября 1741 года. Регламент содержал постановления относительно фабричного производства; так, например, фабричные машины и все приспособления должны были находиться в порядке, материал, потребный для производства, надо было заготавливать заблаговременно, сукна следовало выделывать определённых размеров и качества. Фабриканты не имели права рабочих заставлять работать свыше указанной регламентом нормы (15 часов), и должны были выдавать рабочим известное жалованье (например, от 18 до 50 рублей в год), могли наказывать провинившихся даже телесными наказаниями, за исключением разве слишком тяжёлых, как кнута и ссылки на каторжные работы. Фабриканты должны были держать госпитали при фабриках, а в случае успешного производства наравне с мастерами получали поощрительные премии. Кроме этого указа никаких важных внутренних распоряжений при Анне Леопольдовне, по-видимому, не было сделано.

Это отчасти разъясняется тем, что внимание правительства обращено было, главным образом, на внешнюю политику. 20 октября 1740 года умер император Карл VI без прямых наследников. Фридрих II, получивший от отца богатую казну и хорошее

войско, воспользовался затруднительным положением Австрии для того, чтобы захватить большую часть Силезии. Мария-Терезия обратилась поэтому к державам, гарантировавшим Прагматическую санкцию, но немедленной помощи ниоткуда не последовало. Решение этого вопроса зависело, главным образом, от той политики, какой будут держаться Франция и Россия. Задача французской политики ясно была поставлена ещё в XVII веке. Эта политика направлена была к раздроблению Германии, что обусловлено было, главным образом, ослаблением Габсбургского дома. Для этих целей и в данном случае Франция поддерживала дружеские сношения с Пруссией и интриговала в Порте и Швеции против России для того, чтобы помешать её вмешательству во враждебные отношения Фридриха II с Марией-Терезией, вмешательству, которое, как предполагали французские дипломаты, должно было, конечно, иметь в виду выгоды Австрии. Но предположения французских дипломатов оказались не совсем верными. Сильным приверженцем союза с королём Прусским был Миних. Он помнил те неприятности, какие ему лично, да и самой России, оказывала австрийская политика во время турецких войн прошлого царствования, и поэтому настаивал на союзе с Пруссией. Несмотря на то, что сама правительница и принц Антон предпочитали союз с Австрией, фельдмаршалу удалось настоять на своём. Уже 20 января король проявлял своё удовольствие о заключении договора между Россией и

Пруссией. Но при заключении такого договора русское правительство не прекратило дружеских сношений с австрийским двором и оказалось, таким образом, в союзе с двумя враждовавшими соседями. Положение это осложнилось ещё враждебными отношениями к Швеции. Благодаря французскому золоту, Швеция получила возможность улучшить вооружение армии; в то же время шведская молодёжь, рассчитывая на слабость правительства Анны Леопольдовны, надеялась отнять Выборг. 28 июля шведский надворный канцлер выразил М. Л. Бестужеву в Стокгольме решимость короля объявить войну, а 13 августа 1741 года по этому же поводу издан был манифест от имени императора Иоанна. Главным начальником шведского войска в Финляндии назначен был граф Левенгаупт, главнокомандующим русских войск – Ласси. Единственно важным делом этой войны было взятие Вильманстранда русскими войсками (23 августа), причём шведский генерал Врангель со многими офицерами и солдатами попал в плен. Война эта закончилась в пользу России уже при императрице Елисавете Абоским миром.

Итак, о мире после шведской войны заботилось уже новое правительство, правительство императрицы Елисаветы Петровны. Переворота можно было ожидать давно. Уже при избрании Анны Иоанновны слышались глухие намёки о правах Елисаветы Петровны на престол всероссийский. При императрице Анне, дочь Петра находилась под своего рода политическим надзором,

должна была жить тихо и скромно. По смерти Анны Иоанновны недовольные регентством Бирона высказывались не только в пользу Брауншвейгской фамилии, но и в пользу Елисаветы (капрал Хлопов, матрос Толстой), причём эти лица ближе стояли к народу, чем придворные, защищавшие права принца Антона и его супруги. Дочь Петра, конечно, пользовалась большею народною любовью, чем Анна Леопольдовна, отличалась ласковым обращением и щедростью, которые привлекали многих, недовольных слабым правлением принцессы Анны и вечными раздорами министров. К действию внутренних причин примешались и интересы иностранной дипломатии. Франция надеялась на помощь будущей императрицы против Габсбургского дома, Швеция рассчитывала на уступку с её стороны некоторых из захваченных Петром Великим владений и даже объявила войну правительнице в расчёте на ближайший переворот. Елисавета Петровна воспользовалась всеми этими благоприятными условиями. Она успела составить себе партию (маркиз де ла Шетарди, хирург Лесток, камер-юнкер Воронцов, бывший музыкант Шварц и др.) и поспешила осуществить своё предприятие под влиянием тех подозрений, какие возымел двор. Правительница даже получила из Бреславля письмо, в котором прямо намекали на предприятия Елисаветы и советовали арестовать Лестока; поэтому 24 ноября издан был указ о том, что гвардия, преданная Елисавете, должна выступить в Финляндию против шведов. Узнав

об этом, Елисавета Петровна решилась действовать. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года она вместе с несколькими преображенцами явилась во дворец и захватила правительницу с семейством. Вслед за тем арестованы были Миних, Остерман, вице-канцлер граф Головкин. Утром 25 ноября всё было кончено и издан манифест о восшествии на престол императрицы Елисаветы.

Таким образом, намерение Анны Леопольдовны провозгласить себя императрицей осталось неосуществлённым. После переворота 25 ноября императрица Елисавета первоначально думала отправить её вместе с семейством за границу; намерение это выражено в манифесте 28 ноября 1741 года. Брауншвейгская фамилия действительно отправлена была 12 декабря по пути в Ригу и прибыла сюда 2 января 1742 года. Но попытка камер-лакея А. Гурчанинова убить императрицу и герцога Голштинского, предпринятая в пользу Ивана Антоновича, а также интриги маркиза Ботты, подполковника Лопухина и других, интриги, имевшие в виду ту же цель, наконец советы Лестока и Шетарди арестовать Брауншвейгскую фамилию заставили Елисавету Петровну изменить своё решение. Уже по прибытии в Ригу принц Антон с женой и детьми (Иоанном и Екатериной) содержались под арестом. 13 декабря 1742 года Брауншвейгская фамилия переведена была из Риги в Дюнамюнде, где у Анны Леопольдовны родилась дочь Елисавета, а

из Дюнамюнде в январе 1744 года препровождена была в Раненбург (Рязанской губернии); вскоре затем, 27 июля того же года, вышел указ о перемещении принца Антона с семейством в Архангельск, а оттуда в Соловецкий монастырь. Дело это поручено было барону Н. А. Корфу. Несмотря на беременность Анны Леопольдовны, осенью 1744 года, брауншвейгская семья должна была отправиться в далёкий и тяжёлый путь. Путь этот особенно был для Анны Леопольдовны, так как она, кроме болезни, испытала большое горе: ей пришлось расстаться с фрейлиной Менгден, которая до Раненбурга сопровождала её всюду. Но путешествие не было окончено. Барон Корф остановился в Шенкурске за невозможностью в это время года продолжать путь и поместил Брауншвейгскую фамилию в холмогорском архиерейском доме. Барон настаивал на том, чтобы здесь и оставить заключённых, не перевозить их далее в Соловки. Его предложение было принято. Указом 29 марта 1745 года Корфу разрешено возвратиться ко двору и сдать арестантов капитану Измайловского полка Гурьеву.

Сохранился рисунок места заключения Брауншвейгской семьи. На пространстве шагов в четыреста длиною, шириною столько же, стоят три дома и церковь с башней; тут же находятся пруд и что-то похожее на сад. От невзрачного жилища, запущенного двора и сада, которые сдавила высокая деревянная ограда с воротами, вечно запертыми тяжёлыми железными, веет уединением,

скукой, унынием... Здесь в тесном заключении жили принц Антон и принцесса Анна с детьми, без всяких сношений с остальным живым миром. Пища была нередко плохая, солдаты обращались грубо. Через несколько месяцев после приезда состав семьи увеличился. У Анны Леопольдовны 19 марта 1745 года родился сын Пётр, а 27 февраля 1746 года сын Алексей. Но вскоре после родов, 7 марта, Анна Леопольдовна умерла от родильной горячки, хотя в объявлении о её кончине для того, чтобы скрыть рождение принцев Петра и Алексея, и сказано было, что она «скончалась огневицею». Погребение Анны Леопольдовны происходило публично и довольно торжественно. Всякому дозволено было приходить прощаться с бывшей правительницей. Самое погребение совершено было в Александро-Невской лавре, где погребена была и Екатерина Иоанновна. Сама императрица распорядилась похоронами.

Энциклопедический словарь.

Изд. Брокгауза и Ефрона,

т. IВ СПб., 1890.

Е. П. Карнович
ЛЮБОВЬ И КОРОНА
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН
ИЗ ВРЕМЁН ИМПЕРАТРИЦЫ
АННЫ ИВАНОВНЫ И
РЕГЕНТСТВА ПРИНЦЕССЫ
АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ

I

С лишком сто сорок лет тому назад, по дороге между Стрельною и Петергофом, в местности в ту пору ещё глухой и безлюдной, стоял небольшой деревянный дом. Он был расположен на возвышении, от которого шёл пологий спуск, поросший густой травой и примыкавший к красивому, обширному лугу, омываемому взморьем. С виду дом этот не отличался ничем особенным от обыкновенных городских и помещичьих построек того времени. Около него не было видно ни следов искусства, ни затейливой отделки окружавшей его дикой местности, так как владельцам дома, по суровости северного климата, казались странными и даже смешными

какие-либо затраты на внешние, только летние украшения их местопребывания. Зато внутреннее расположение, отделка и убранство этого дома говорили о том, что в нём жили люди, привыкшие к большим удобствам домашнего быта, нежели те, с какими были знакомы тогдашние русские, хотя бы и владевшие значительным состоянием. И в самом деле, в этот удобно устроенный небольшой дом переселялись для житья на короткое петербургское лето супруги-иностранцы, постоянно проживавшие в Петербурге. Пользоваться летом чистым загородным воздухом им, впрочем, особой надобности не представлялось, так как и сама столица была ещё в ту пору, собственно, большой деревней, и в ней легко было найти такие околотки¹, в которых можно было наслаждаться и сельским простором, и ничем не стесняемым привольем. Не этого, впрочем, желали обитатели загородного дома, нами описанного: они искали полного уединения, надеясь совершенно избавиться от стеснений, неизбежно сопровождающих пребывание в обществе и в особенности при дворе. Более же всего им хотелось отделаться хоть на некоторое время от непрерывного докучливого посещения разных непрошенных и неожиданных гостей, так как в ту пору, к которой относится наш рассказ, радушный приём знакомых каждый день считался одним из главных условий общественной жизни в Петербурге.

¹ ...легко было найти такие околотки... – то есть соседнюю местность, окрестности.

Загородный дом, о котором идёт речь, был уютен и вместителен; в нижнем этаже была небольшая зала, две приёмные, спальни – одна для хозяев и четыре на случай приезда гостей из города. Кабинет домовладельца помещался в мезонине; столы в кабинете были завалены бумагами, счетами и конторскими книгами, а передняя была заставлена шкафами и ящиками, наполненными книгами и ландкартами². Всё это свидетельствовало о деловых и разнообразных занятиях хозяина дома. Хотя убранство дома и не отличалось вовсе роскошью, но зато порядок и чистоту можно было назвать образцовыми, и эти признаки домашнего благоустройства составляли резкую противоположность тому, что встречалось обыкновенно в домах тогдашних даже самых богатых и знатных петербургских бар.

Верстах семи от этого дома был Петергоф, где в те годы двор проводил большую часть лета. В Петергофе и тогда был уже большой сад с великолепными фонтанами и водомётами; но дворец представлял невзрачное здание с низкими и маленькими комнатами, в которых, впрочем, было много хороших, но испортившихся картин вследствие небрежного за ними присмотра. Кроме дворца в Петергофе были уже построены два хорошеньких домика, называвшихся Марли и Монплеизир; этот последний был отделан ещё Петром Великим в голландском вкусе; а на берегу канала, проведённого

² ...наполненные книгами и ландкартами. – То есть географическими картами...

от дворца к взморью, стояло несколько домиков, занимаемых на лето лицами, бывшими близкими ко двору.

Неотдалённость двора не особенно, впрочем, беспокоила наших дачников, желавших уединиться от большого света. Государыня проводила время в Петергофе на деревенский образец, и потому ежедневных собраний у неё в эту пору не было, а давались только, да и то изредка, празднества по какому-нибудь особенному торжественному случаю.

Стоял жаркий июньский день, и хозяйка загородного дома, женщина лет тридцати пяти, не красавица собою, но с приятным и умным лицом британского типа, видимо, поджидала к себе кого-то в гости. По временам она выглядывала в растворённое окно по направлению дороги к Петергофу и, завидев ехавший оттуда большой экипаж, вышла на крыльцо, чтобы встретить подъезжавших гостей. Спустя немного времени к крыльцу подъехала тяжёлая громадная, с зеркальными стёклами, карета, окрашенная желтовато-золотистой краской. На ярком фоне этой краски были рукой искусного живописца изображены зелень, цветы, виноградные листья и гроздья, арабески³ и купидоны, а на дверцах кареты виднелись большие чёрные двуглавые орлы. Вдобавок к этим геральдическим украшениям и зелёные с золотым галуном лиреи двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, указывали, что приехавшая с такою обстановкой из Петергофа го-

³ Арабеска – особый вид орнамента, состоящего из геометрических фигур и стилизованных листьев, цветов и т. п.

ства занимала не последнее место в придворном штате императрицы Анны Ивановны⁴.

Проворно соскочившие с запяток гайдуки высадили из кареты довольно уже пожилую даму, отличавшуюся величавой осанкой и сохранившую ещё следы прежней, по всей вероятности, замечательной красоты. Несмотря на летний зной и на загородную поездку, приехавшая гостя, придерживаясь правил тогдашнего придворного этикета, была одета по-городскому. На ней было тяжёлое шёлковое платье, обложенное по корсажу и по подолу широким золотым позументом; волосы её, обращённые в высокую модную причёску, были напудрены. В руке, обтянутой лайковой перчаткой с длинной шёлковой бахромой, она держала огромный веер.

Хозяйка дома приняла знатную гостью не с холодным официальным почётом, но с тем радушным дружеским уважением, каким обыкновенно пользуются люди, внушающие к себе расположение своими собственными личными качествами.

После обычных приветствий и расспросов гостыи о муже хозяйки дома, который, как оказалось, уехал ещё со вчерашнего вечера в город по своим делам и ещё не возвращался оттуда, между хозяйкой и гостьей начался, частью на английском, частью на французском языке, обычный и в ту пору разговор о погоде и знакомых. Разговор обо всём этом стал,

⁴ Анна Ивановна (Иоанновна; 1693—1740), дочь царя Ивана V и Прасковьи Фёдоровны, герцогиня Курляндская с 1710 г., российская императрица с 1730 г.

по-видимому, истощаться, когда хозяйка обратилась к своей гостье с вопросом:

– А что поделявает ваша принцесса? – сказала хозяйка.

– Моя принцесса? – переспросила гостья, боязливо осматриваясь кругом.

– Да, – не без некоторой настойчивости подтвердила хозяйка.

– Она... – замялась приезжая дама.

– Извините меня за этот вопрос, но я обращаюсь к вам с ним не из одного пустого любопытства. Я понимаю очень хорошо, что вы затрудняетесь в обществе рассказывать о том, что делается у вас при дворе... Здесь страна сильно развитого шпионства⁵, и осторожность ваша вполне благоразумна, – сказала хозяйка, вставая с кресла и заглядывая в смежную комнату, как будто опасаясь, нет ли там какого-нибудь свидетеля их разговора, хотя, как казалось, уже тот язык, на котором они вели его, достаточно мог обеспечивать собеседниц от подслушивания их речей агентом тайной канцелярии.

– По моей привязанности и дружбе к вам, – продолжала хозяйка, садясь на прежнее место, – я хотела даже нарочно приехать к вам в Петергоф, но боялась возбудить подозрение и подать повод к пустым толкам. Я хотела видеться с вами, чтобы передать вам об одном дошедшем до меня слухе, вы-

⁵ Здесь страна сильно развитого шпионства... – О том же сообщается в «Записках» Миниха-младшего: «...Ни при едином дворе, статья может, не находилось больше шпионов и наговорщиков, как в то время при российском».

думанном, конечно, злыми языками...

– О каком? – встrepенувшись, спросила гостя.

– Говорят, граф Линар⁶...

– Граф Линар?... О, это пустая детская забава. Надобно чем-нибудь развлечь бедную девушку. Вы знаете, миледи, очень хорошо всю обстановку здешнего двора, тяжёлый и суровый нрав императрицы, подозрительность герцога и, конечно, имеете общее понятие о характере моей воспитанницы. Её надобно чем-нибудь оживить в те годы, когда грёзы и мечты начинают тревожить воображение девушки. Мы сами женщины и должны помнить наше прошлое. Принцесса постоянно грустит, скучает, задумывается, и я боюсь, что характер её совершенно испортится, а между тем кто знает, – добавила гостя, ещё более понизив голос, – какой высокий жребий ожидает её и, быть может, даже в недалёком будущем... Здоровье императрицы, говоря между нами, несмотря на её могучую натуру, стало не слишком надёжно. Об этом, конечно, не позволяют говорить теперь, и что она была больна, – о том объявят разве только после её кончины... Но откровенность за откровенность; меня чрезвычайно удивляет, откуда вы могли узнать то, что я считаю непроницаемой тайной, скажите, от кого вы слышали насчёт графа Линара...

– Доверяя вам вполне, я не буду делать из моего ответа на ваш вопрос никакой тайны перед вами. О том, что принцесса

⁶ Граф Линар – польский посланник, с апреля 1733 по декабрь 1736 г. Выслан из России по просьбе русского Двора.

Анна⁷ с некоторого времени занята графом Линаром или, сказать правее, страстно влюблена в него, говорил мне вчера мой муж и поручил поскорее передать вам об этом слухе, дошедшем до него совершенно случайно.

— О, милый и любезный баронет! Недаром же он слывёт в Петербурге самым сметливым и проницательным дипломатом. От наблюдений его не ускользают даже сердечные дела, имеющие, впрочем, иной раз большое влияние и на политические события. Но «un homme prevenu en vaut deux», говорят его соотечественники, и это в большей части случаев бывает совершенно верно. Я очень благодарна баронету за его внимание и за откровенность, но посудите сами, миледи, о моём затруднительном положении. Я иностранка без всяких личных и родственных связей при здешнем дворе, попавшая случайно в наставницы и руководительницы, быть может, будущей русской самодержицы⁸. Я волей-неволей поставлена в необходимость угождать ей, заискивать её расположение, её дружбу, и вот почему с моей стороны приходится допускать некоторую, хотя, по-видимому, и не слишком уместную снисходительность. Впрочем, в настоящем случае, скажу вам, миледи, нет решительно ничего серьёзного и не может быть ничего опасного для принцессы. Любовь её к

⁷ Анна Леопольдовна (Елизавета-Христина; 1718—1746), дочь герцога Мекленбургского Карла-Леопольда и царевны Екатерины Ивановны, правительница России при Иване VI Антоновиче в 1740—1741 гг.

⁸ Речь идёт о гувернантке Анны Леопольдовны г-же Адеркас, уроженке Пруссии.

графу Линару не более как пустая шалость, как маленькое развлечение для бедной девушки, которую хотят выдать замуж насильно не только за нелюбимого, но даже за презираемого ею человека...

– Да, этот брак, как кажется, не предвещает ничего хорошего в будущем. Теперь принцесса ещё очень робка, но нельзя сказать, что из неё будет потом; нынешнее же её положение весьма незавидно. Она прежде всего жертва политических соображений и холодных расчётов, которые, однако, как известно, не всегда благополучно сводятся к концу. Принцесса живёт во дворе императрицы на правах родной дочери; на неё смотрят теперь, как на наследницу русского императорского престола. Какая великая будущность для скромной немецкой принцессы! Но в то же время, как сурово обходятся с ней, а между тем она теперь уже в таком возрасте, что могла бы пользоваться некоторой свободой и заявить себя чем-нибудь, тем более что благодаря вам её воспитывали с большой заботой. Жаль, впрочем, что в ней нет ни особенной красоты, ни грации и что до сих пор она не выказала никакого блестящего качества.

– Это справедливо, но зато в сущности принцесса – доброе создание, хотя, говоря по правде, она вовсе не рождена для короны. Она, кажется, была бы гораздо счастливее в скромной обстановке с человеком, которому предалась бы от всего сердца. Какая, однако, резкая разница между ею и

цесаревной Елизаветой⁹...

– Что за прелесть Елизавета! – почти вскрикнула в восторге хозяйка. – Вот красавица так красавица: бела необыкновенно, прекрасные волосы, большие и живые глаза, хорошенький ротик, зубы как жемчуг. Хотя она, как кажется, и расположена к полноте, но зато как стройна она теперь! Как хорошо она танцует! Я никогда и нигде ещё не видела, чтобы какая-нибудь из женщин могла сравниться с нею в ловкости и грациозности. Образование её также, по-видимому, не пренебрегли: она говорит по-французски, по-итальянски и по-немецки. А какой у неё весёлый характер, как она обходится с каждым и ласково, и вежливо и как она ненавидит все натянутые придворные церемонии...

– Да, она очаровательная женщина, но я думаю, что на такой хорошенькой и ветреной головке едва ли долго удержался бы тяжёлый царский венец, – заметила гостя, отрицательно покачивая головой.

– О, ваша принцесса держит себя совсем иначе: она не по летам степенна, говорит вообще мало и, как мне передавали, никогда будто бы не смеётся. Это мне кажется, впрочем, неестественным в такой молодой девушке и происходит, по моему мнению, – прошу извинить, я, вероятно, ошибаюсь, – скорее от тупости, нежели от рассудительности.

– В этом случае я с вами не совсем согласна, миледи, –

⁹ Елизавета Петровна (1709—1761), дочь Петра I и Марты Самуиловны Скавронской, цесаревна, императрица с 1741 г.

вежливо возразила гостя. – Принцесса Анна в свои годы довольно умна, но только по её характеру, несмотря на её серьёзный вид, она ещё совершенный ребёнок: она вспыльчива, капризна и, главное, изумительно беспечна. От этих недостатков теперь едва ли возможно отучить её, тем более что все обстоятельства её жизни до сих пор складывались так, что могли развить в ней скорее дурные стороны, нежели хорошие качества. Насколько я могла убедиться, в ней есть одна отличительная черта: она под равнодушной холодной наружностью скрывает сердце, способное пламенно любить. Покойная герцогиня Мекленбургская много виновата в том, что в малолетство своей дочери не заботилась о её воспитании, а направить её в ту пору на хорошую дорогу было бы не слишком трудно. В ней всё-таки есть много хороших задатков. Наружность её, правда, не отличается особенной красотой, но зато она чрезвычайно статна, и редко можно встретить девушку с такой гибкой и стройной талией. Заметьте, что она вообще небрежна в своём наряде, и для неё надеть корсет и причесать волосы по моде – истинное мучение. Я с ней постоянно ссорюсь из-за этого. Скажу ещё вам, что некоторые, как, например, молодой граф Миних¹⁰, находят её даже красавицей, но зато многим не нравится её всегда задумчивый и печальный вид, а у нас в Германии существует поверье, что такое постоянное выражение лица бывает пред-

¹⁰ Имеется в виду фон-Миних, граф, обер-гофмейстер, сын генерал-фельдмаршала.

вестником бедственной жизни. Что будет дальше – угадать трудно, но теперь мне жаль мою бедненькую принцессу, и вот почему, сказать между нами, я не препятствую её невинным письменным сношениям с графом Линаром. Я делаю вид, будто ничего не знаю. Они начались без всякого моего участия, и те практические соображения, о которых я говорила вам прежде, заставляют меня не ссориться с принцессой. Притом как же и поступить мне: не явиться же к императрице или к герцогу в качестве доносчицы на принцессу?.. Наконец, я имею в виду, что она скоро выйдет замуж и тогда, как это обыкновенно бывает, легко забудет нынешнюю любовь. Я пыталась недавно разговориться с государыней о нежелании принцессы вступить в предположенный брак, но она холодно и резко отклонила этот разговор, приведя какую-то русскую поговорку, смысл которой: стерпится – слюбится.

Во время этого разговора послышался перед домом шум подъезжавшего экипажа. Хозяйка взглянула в окно.

– А вот и мой муж возвратился из города, – сказала она, – он будет очень рад, что застал вас ещё здесь.

Приведя в порядок свой туалет, потерпевший несколько в дороге, баронет появился в гостиной. Он был щеголеватым, красивым мужчиной средних лет, его наружность, а также живость и бойкость его манер обнаруживали его французское происхождение. Наговорив гостье разных почтительных любезностей, он принялся передавать ей только что слы-

шанные им городские новости, затем заговорил с ней о политических делах и о своих коммерческих операциях. То серьёзная, то шутливая беседа хозяев с гостьей длилась довольно долго. Проводив гостью, баронет сказал жене, что ему нужно приготовить к завтрашнему дню несколько депеш, и предложил ей, не захочет ли она отправить с ними и свои письма. Затем он пошёл наверх в свой кабинет и засел там за своими бумагами, а жена его принялась писать письмо к своей лондонской приятельнице. В письме этом были между прочим следующие строки:

«Госпожа Адеркас, гувернантка принцессы Анны, родилась в Пруссии и осталась вдовой после генерала, который, кажется, был родом француз. Она была с ним во Франции, в Германии и в Испании. Она очень хороша собою, хотя уже не молода, и обогатила свой природный ум чтением. Так как она долго жила при разных дворах, то её знакомства искали лица всевозможных званий, что и развило в ней умственные способности и суждения. Разговор её может нравиться и принцессе, и жене торговца, и каждая из них будет удовлетворена её беседой. В частном разговоре она никогда не забывает придворной вежливости, а при дворе – свободы частного разговора; в беседе она, как кажется, всегда ищет случая научиться чему-нибудь от тех, с кем разговаривает. Я думаю, однако, что найдётся очень мало лиц, которые сами не научились бы от неё чему-нибудь. Самые приятные часы с тех пор, как я живу в Петербурге, я провела с нею, хотя обя-

занности её не позволяют мне пользоваться её беседой так часто, как я желала бы, но когда это случается, то я провожу время и приятно, и поучительно».

Письмо это в особом конверте было вложено в большой пакет, на котором значилось, что он посылается от баронета Рондо¹¹, английского резидента в Петербурге.

¹¹ Рондо, Клавдий (бывший секретарь консула Вордо), английский резидент в Петербурге с ноября 1731 по октябрь 1739 г.

II

К началу августа императрица Анна Ивановна со своим малочисленным двором переехала, по обыкновению, в Петербург, в так называемый Летний дворец, чтобы там провести конец тёплого времени года. Летний дворец был построен в 1711 г. Петром Великим, в углу, образуемом Летним садом и Фонтанкой. Почти до сих пор он сохранился в своём первоначальном виде. По случаю празднества бракосочетания герцога Голштинского с цесаревной Анной Петровной¹², при Екатерине I¹³, рядом с этим Летним дворцом была выстроена большая деревянная галерея с четырьмя залами по бокам. Галерея эта, по приказанию императрицы Анны Ивановны, была сломана в 1731 году, и на её месте выстроили новый деревянный дворец, очень плохой архитектуры, существовавший до воцарения Елизаветы Петровны.

Наступила осень, и императрица переехала на зимнее жильё. Прежний каменный двухэтажный дворец, находившийся на берегу Невы на углу Зимней канавы и Большой Мил-

¹² Анна Петровна (1708—1728) дочь Петра I и Марты Самуиловны Скавронской, 24 ноября 1724 года была обручена с Карлом-Фридрихом (1700—1739), герцогом Голштинским, сыном старшей сестры Карла XII, венчана с ним в Петербургской Троицкой церкви 21 мая 1725 г.

¹³ Екатерина I Алексеевна (Марта Самуиловна Скавронская) (1684—1727), российская императрица, правила страной с 1725 г., вторая жена Петра I, мать Анны и Елизаветы.

лионной, с его пристройками на том месте, где ныне находится Эрмитаж, казался Анне Ивановне и тесным и неудобным. Поэтому она для зимнего своего пребывания выбрала в 1732 году обширный дом адмирала графа Апраксина¹⁴, подаренный им в 1728 году императору Петру II¹⁵ и стоявший почти на том же месте, где ныне находится Зимний дворец.

Живя в городе, императрица каждый день в 8 часов утра была уже на ногах и, окончив свой утренний туалет, начинала с 9 часов принимать своих министров или у себя в кабинете, или в манеже, к которому приучил её Бирон¹⁶, страстный охотник до верховой езды и отлично обучавший самых непокорных коней.

Было пасмурное ноябрьское утро, и свечи ещё горели в покоях императрицы, когда к ней с докладом явился второй кабинет-министр граф Андрей Иванович Остерман¹⁷.

¹⁴ Апраксин Фёдор Матвеевич (1661—1728), граф, генерал-адмирал, президент Адмиралтейской коллегии, член Верховного тайного совета, один из ближайших сподвижников Петра I.

¹⁵ Пётр II Алексеевич (1715—1730), российский император с 1727 г., сын царевича Алексея Петровича и кронпринцессы Вольфенбюттельской Шарлотты Христины Софии.

¹⁶ Эрнст Иоганн Бирон (1700—1772) – граф (с 1730 г.), курляндский дворянин, фаворит императрицы Анны Иоанновны. С 1718 года находился при дворе Анны Ивановны в Курляндии; в 1730 г. в качестве обер-камергера её двора приехал в Россию. Имел огромное влияние на императрицу и использовал его для устройства собственных денежных дел, покровительства иностранцам.

¹⁷ Остерман Андрей Иванович (Генрих Иоанн Фридрих; 1686—1747). Родился в Вестфалии, учился в Иенском университете. Принят на русскую службу К. Крюсом в Амстердаме в 1708 г. С 1723 г. вице-президент Коллегии ино-

Несмотря на любовь императрицы к роскошной одежде, министр приехал к государыне одетым крайне неряшливо, в полинялом кафтане какого-то светло-бурого цвета, в жабо не первой белизны, в плохо напудренном и набок надетом парике, в грязноватых чулках и поистоптанных башмаках. Государыня, зная скупость Остермана, снисходительно смотрела на такое отступление от правил придворного этикета, требовавшего изящества и порядка в одежде.

– Ну что, Андрей Иванович, – сказала ему императрица, покончив с ним разговор о подписанных ею бумагах, – слава Богу, дело наше устроилось: подождём ещё немного, да и свадьбу сыграем. Слишком скоро покончить нельзя. Готовила я Аннушке приданое давно, а всё-таки оказывается, что нужен был год, чтобы выдать её замуж, как следует выдать богатую невесту. Да и теперь ещё кое-чего не успели приготовить в Париже. Спишись-ка об этом с князем Кантемиром¹⁸, да пусть он побольше закупит перчаток да чулков и мне и невесте. Праздники будут у нас большие. Кажись, я и приказывала тебе прошлый раз об этом?..

– Я уже и исполнил повеление вашего величества, и мне остаётся только радоваться, что Бог благословил намерения ваши.

странных дел. При Екатерине I вице-канцлер, член Верховного тайного совета, в 1727 г. обер-гофмаршал Петра II, в 1730 г. – граф, в 1734 г. – кабинет-министр, в 1740 г. – генерал-адмирал.

¹⁸ Кантемир, Антиох Дмитриевич, князь, тайный советник, посол при французском дворе.

– Помню я, Андрей Иванович как ты и старший Левенвольд¹⁹, когда вы узнали, что я ни за что не хочу второй раз выходить замуж, стали заговаривать со мной о необходимости унаследования престола.

– Тогдашние обстоятельства, ваше величество, требовали этого безотлагательно...

– Правда твоя, правда, – густым голосом, почти что басом, проговорила Анна Ивановна. – Ведь вот поди, кажись, какое лёгкое дело выдать замуж племянницу, да и она не бесприданница какая-нибудь, и дети бы от брака с нею хорошо устроены были, а сколько, однако, нам пришлось хлопотать около этого дела.

– Различные инфлуенции и конъюнктуры европейских дворов много тому препятствовали, – заметил с глубокомысленным видом Остерман.

– То-то и есть, а всё устроилось бы гораздо легче, если бы я и Аннушку прямо объявила моей наследницей. Да ты и Левенвольд отклонили меня от этого.

– К сему, ваше величество, побуждало нас искреннее желание блага России... Несмотря на усердные моления верно-подданных, жизнь царей в руках Господних, и если бы, от чего Боже сохрани, её высочество ещё безбрачная неожиданно сделалась преемницей вашей, то, не говоря о том, что на российском престоле не утвердилось бы мужское поколение,

¹⁹ Речь идёт о Карле-Густаве Левенвольде, резиденте герцога Курляндского Фердинанда при русском дворе.

цесаревна Елизавета...

– Знаю, что ты мне хочешь сказать, Андрей Иванович, – прервала императрица, нахмутив свои густые брови.

– Кроме того, отец принцессы...

– Этот старый негодник забрался бы к нам и начал бы хозяйничать по-своему...

– Так точно, ваше величество. Притом принцесса Анна Леопольдовна, объявленная лично наследницей... – проговорила, заминаясь, министр.

– Небось зазналась бы передо мной?.. Нет, Андрей Иванович, никогда бы этому не бывать... Плохо, видно, вы ещё меня знаете, – проговорила императрица и, выпрямившись во весь свой огромный рост, взглянула суровыми глазами на оторопевшего Остермана. – Всё это пустяки! Никому баловаться и своевольничать я не позволю, – добавила она твёрдым голосом, погрозив пальцем. – При дворе и в городе, чего доброго, пожалуй, иное думают и толкуют теперь себе под нос, что вот, мол, не захотела принцесса пойти замуж за принца Курляндского – и не пошла²⁰, и тётка ничего с нею

²⁰ Анне Леопольдовне не очень нравился выбранный Левенвольдом её жених – принц Антон Ульрих, племянник императрицы Австрийской. Отношения между молодыми людьми не складывались. Жена английского посланника леди Рондо, в одном из писем, 12 июня 1739 года писала: «... его воспитывали вместе с принцессою Анною, чем надеялись поселить в них взаимную привязанность, но это, кажется, произвело совершенно противное действие, потому что она ему оказывает более чем ненависть – презрение». Когда принцессе предложено было высказаться, желает ли она идти замуж за принца, она тотчас же отвечала, что охотнее положит голову на плаху, чем пойдёт за него. Этою минутою воспользо-

поделать не могла...

Остерман, очень хорошо знавший истинную причину нерасположения императрицы к этому браку, поспешил льстиво заметить, что в этом случае высочайшая премудрость её величества была лучшей руководительницей.

– А сказать тебе по правде, – начала императрица ласковым тоном, – ведь и настоящий-то жених не ахти какой. Навязал нам его римский император; захотел получше устроить своего племянника, и не отослала я назад его в неметчину потому только, что не хотела вздорить с венским двором, а то давным бы давно с глаз моих его прогнала. Неказист он больно, и говорю я близким ко мне, как ты, людям без всякой утайки; принц Антон так же мало мне нравится²¹, как и своей невесте, да что будешь делать? – высокие особы не всегда по склонности в браке соединяются. Вот хоть бы я и сама: покойный дядя мой Пётр Алексеевич²², – царство ему

валяся Бирон. Через дочерей генерала Ушакова, через жену камергера Чернышёва, бывшей тогда в чрезвычайной доверенности у принцессы, он принялся хлопотать в пользу своего старшего сына, принца Петра. Однако принцесса питала закоренелую ненависть к Бирону и его семейству и выказала себя изумлённой и раздражённой от «неприличного предложения» Чернышёвой. Чтобы лишить возможности внушить императрице что-нибудь другое, она сделала над собой величайшее усилие и объявила, что, ещё раз посоветовавшись с собою, готова к послушанию и желает выйти за принца Бевернского.

²¹ Антон Ульрих, герцог Брауншвейг-Люнебургский. Получив от русского Двора чин кирасирского полковника и назначенное приличное, содержание, он, прибыв в Петербург, имел несчастье не понравиться Анне Иоанновне.

²² Пётр I Алексеевич (1672—1725), царь (с 1682), император (с 1721). Его родителями были: Наталья Кирилловна, урождённая Нарышкина (1651—1694) и

небесное, – выдал меня за герцога, не спрося меня: мил ли мне выбранный мне жених или нет? А всё же я охотно пошла за него. Горемычное житьё было наше, когда мы после царя-родителя сиротами остались. Брат твой у нас учителем был²³, и он всё хорошо знать должен. Кто только нас не обижал тогда, и надлежащих нам по рождению титулов даже не давали, а звали попросту Ивановнами. Да и во вдовстве моём разве мало я всякого горя и унижения натерпелась...

Императрица тяжело вздохнула и немного призадумалась. В памяти её быстро ожили те дни, когда она, пленившись блестящим Морицем Саксонским²⁴, с такой радостью готова была отдать ему своё сердце, свободное ещё от полновластного владычества Бирона.

– Много, много в жизни своей я натерпелась, – начала она. – Бывало, приеду сюда из Митава²⁵, так словно какая-нибудь челобитница из подлого народа, то к светлейшему князю Александру Данилычу²⁶, то к другим знатым

Алексей Михайлович (1629—1676), царь с 1645 г.

²³ Остерман, Иоганн Христофор Дидрих, тайный регистратор при дворе герцога Карла-Леопольда Мекленбургского (супруг царевны Екатерины Иоанновны), старший брат графа Андрея Ивановича Остермана.

²⁴ Мориц, граф Саксонский, побочный сын Августа II, короля Польского.

²⁵ Митава – столица Курляндии, была занята русскими войсками в 1705 г. Ныне – латвийский город Елгава.

²⁶ Меншиков Александр Данилович (1673—1729), светлейший князь, герцог Ижорский, генералиссимус, президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета, ближайший сподвижник и друг Петра I, в 1727 году сослан в Сибирь, где и умер.

персонам ходишь, чтобы какую-нибудь тыщонку рублёвиков выпросить; да и ту с попреками, неохотно давали... А вот как посмотришь, то не только всё хорошо обошлось, но ещё и самодержавствовать мне Господь Бог привёл.

– Он взыскал ваше величество своей милостью для славы и счастья российского отечества, – подхватил Остерман, низко склоняясь перед императрицей.

– Устал ты, Андрей Иванович, поезжай домой да отдохни.

– С рабским моим усердием на службе всемилостивейшей моей государыни никакой усталости никогда не чувствую...

– Спасибо тебе за твою службу...

Остерман хотел было стать на колени, но ноги его дрожали, и он испустил тихий, сдержанный, быть может, и притворный стон.

– Не нужно, не нужно, – сказала императрица и протянула ему свою большую руку, которую Остерман поцеловал с благоговением, а Анна Ивановна милостиво кивнула ему головой на прощание.

III

В ту пору, к которой относится наш рассказ, жизнь в Петербурге отличалась, между прочим, и тем, что в здешних даже самых знатных домах утро начиналось гораздо ранее, нежели теперь, и сообразно со вставанием спозаранку распределялся весь день. Так, императрица Анна Ивановна постоянно обедала в полдень. Прихода её в столовую ожидал Бирон со своим семейством и, кроме этих лиц, никого никогда не бывало за ежедневным обедом государыни. Даже для принцессы Анны Леопольдовны, жившей в одном дворце с императрицей, держали особый стол. У принцессы вообще не бывал никто из посторонних, и всё её общество ограничивалось её воспитательницей, безразлучной её подругой, фрейлиной баронессой Юлианой Менгден²⁷ да несколькими камер-юнгферами. Принцессу держали во дворце под строгим надзором. Императрица и Бирон допытывались беспрестанно у приставленных к принцессе соглядатаев о том, кто из чужих людей был в течение дня в её покоях. За случайными посетителями и посетительницами Анны Леопольдовны учреждался тотчас же бдительный надзор, и они могли быть

²⁷ Дочь лифляндского ландмаршала, Юлиана Менгден родилась в 1719 году. Когда именно поступила она в придворный штат – с достоверностью неизвестно; но чрезвычайная привязанность к ней Анны Леопольдовны заставляет предполагать, что Юлиана была совоспитанницею принцессы и товарищем её детских игр.

уверены, что имена их значатся в списках тайной канцелярии в числе так называвшихся тогда «намеченных» людей, т. е. таких оподозренных личностей, которых при каком-нибудь особом случае следовало немедленно притянуть к допросам и пыткам. Разумеется, что такой строгий надзор за принцессой был учреждён в политических видах, но в этом отношении он был совершенно излишен, так как Анна Леопольдовна вовсе и не думала заниматься политическими делами. Надзор этот оказался, однако, недействительным на те случаи, когда, как говорится, девушку под замком не удержишь.

На придворных балах и в близком к императрице кружке принцесса встречала изящного, щеголеватого польско-саксонского посланника графа Морица-Карла Линара. Он был воспитанником известного учёного Бюшинга, и при высоком образовании отличался светской любезностью, усвоенной им при дрезденском дворе, который в ту пору соперничал с версальским в отношении лоска и блеска. Современные сказания не оставили описания наружности графа Линара, и портрета его нам видеть не приводилось, но судя по общим отзывам современников, Линар был такой красавец, что при своём появлении заставлял биться и трепетать все женские сердца. В Петербург приехал Линар уже не юношей, но мужчиной в полном расцвете красоты и молодости: ему было тогда с лишком тридцать лет, так что он шестнадцатую годами был старше принцессы Анны. В длинной веренице

дам и девиц, пленённых Линаром, была и принцесса. Неизвестно, когда и как началось между ними сближение; неизвестно также, увлекался ли граф Линар Анной, как молодой, страстно полюбившей его девушкой, и платил ей взаимной страстью, или же в пылкой её любви он видел только удовлетворение своего тщеславия и суетности. Быть может, таинственность и опасность такой любви придавали, в глазах Линара, особый привлекательно-романтический оттенок сближению его с принцессой: самолюбию победоносного красавца могло быть очень приятно присоединить к числу изнывавших по нему дочерей Евы и будущую, по всей вероятности, наследницу русской короны. Между ней и Линаром завязались письменные сношения. Не имея случая часто видеться, принцесса и граф обменивались между собою записочками, которые не дошли до нас, и потому нельзя знать, содержали ли они в себе только пустые весточки друг о друге, или были наполнены пламенными признаниями и взаимными клятвами любить друг друга вечно, до гробовой доски. Какого бы, впрочем, содержания ни была эта переписка, но она довольно долго велась между принцессой и графом, и если верить дошедшим до нас сказаниям, то г-жа Адеркас в разговоре своём с леди Рондо²⁸ не была вполне откровенна. Наставница принцессы не только снисходительно, как на детскую за-

²⁸ Жена английского резидента при русском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны, леди Рондо была в дружеских отношениях со многими лицами из ближайшего окружения принцессы Анны Леопольдовны.

баву, как на невинное развлечение, смотрела на каллиграфические упражнения своей питомицы, но даже сама способствовала передаче пересылаемых и с той и с другой стороны цидулок. Статься может и то, что такие послания, проходя предварительно через цензуру наставницы, ограничивались только тем, что в отношении любви не имело никакого существенного значения, и потому гувернантка принцессы, побывавшая при различных европейских дворах того времени, где девическая скромность – хотя бы и принцесс – не считалась необходимой добродетелью, не видела особой важности в маленьких грешках своей царственной воспитанницы.

Но возвратимся к Анне Ивановне.

Постоянные её обеды с семейством Бирона не бывали только в самые торжественные дни. В эти дни государыня кушала в публичке. Тогда она садилась на трон, устроенный под великолепным бархатным балдахин²⁹, украшенным золотым шитьём и такими же кистями, имея около себя с одной стороны цесаревну Елизавету Петровну, а с другой принцессу Анну Леопольдовну. На этих торжественных обедах выказывалась вся роскошь и пышность тогдашнего петербургского двора. На столах блестели и изящный богемский хрусталь, и севрский фарфор, и серебро, и золото в изобилии, поражавшем иностранных гостей. Но всех тогда поражало ещё более одно особое обстоятельство: Бирон на это время сходил с высоты своего величия. Он являлся тут не застоль-

²⁹ В старину балдахин^{ом} называли украшенный навес на столбиках.

ным бесцеремонным собеседником императрицы, но почти-тельно прислуживал ей в звании обер-камергера, которое он сохранил за собой и по получении герцогского сана. В последние годы царствования Анны Ивановны торжественные обеды давались очень редко, по всей вероятности, ввиду того, чтобы не низводить владетельного герцога Курляндского на степень простого царедворца.

Во время одного из тех ежедневных обедов, о которых мы упомянули выше, сидели за одним столом с императрицей герцог с герцогиней, двое их сыновей и дочь Гедвига³⁰. Бирон и его семейство говорили обыкновенно по-немецки, так как государыня, хотя сама и затруднялась совершенно свободно объясняться на этом языке, но очень хорошо понимала, что говорили другие. Во время обеда речь зашла случайно о графе Линаре.

– Почитай, что он теперь у нас первый красавец в Петербурге, – сказала императрица.

– Правда, ваше величество, за то он и пользуется такими успехами у здешних дам и девиц, – подхватила герцогиня.

– У нас насчёт дам не всегда счастливо сходит с рук, – сказала, улыбаясь, Анна Ивановна, – особенно если кто-нибудь проболтается. Вот когда я жила в Москве, то там завёлся один господин, – да ты, герцог, его знал, – большой ходок по этой части. Он и стал было хвалиться своими проказами

³⁰ У герцога Курляндского и жены его герцогини Бенигны Готтлиб было двое сыновей, Пётр и Карл, и дочь Гедвига Елизавета Бирон.

с дамами, с которыми встречался в знакомом доме. Дошло его хвастовство до их мужей, и вот тогда и жёны, и мужья согласились проучить молодца, чтобы он не хвастал по-пустому, если ничего не было, а если и было, то умел бы молчать. Одна из барынь пригласила к себе этого кавалера будто бы поужинать с ней наедине. Разумеется, он не отказался, а когда приехал, то она и принялась выговаривать ему, что он больно болтлив. Он было стал отнекиваться, а в это время вошли другие дамы со своими обиженными мужьями и уличили его. Тогда порешили с этим хватом произвести расправу, и произвели её и сами барыни и их служанки: просто-напросто высекли молодца, да так, что он несколько дней провалялся в постели.

Анна Ивановна, любившая почему-то повторять этот рассказ, засмеялась густым смехом.

– Это уж слишком по-московски, – заметил язвительно герцог.

– Ну, острастка иногда не мешает, – проговорила герцогиня, – вот хоть бы граф Линар...

Герцог быстро взглянул на жену, показывая ей глазами на сидевшую за столом принцессу Курляндскую и тем давая знак герцогине, чтобы она прекратила начатый ею разговор. В свою очередь императрица пытливо посмотрела на герцога, который глазами дал понять императрице, что он после поговорит с нею о графе Линаре, и затем перевёл речь на любимый свой предмет – на лошадей, принявшись с жаром

знатока и любителя оценивать прекрасные статьи тех из них, которые на днях присланы были ему в подарок от короля прусского.

Императрица слушала толки герцога довольно рассеянно. Заметно было, что начатый и так таинственно прерванный разговор о Линаре занимал её более, нежели поднадоевшие уже ей рассказы герцога о лошадях, сбруе, манеже и конюхах. Видно было, что она с трудом сдерживала любопытство и хотела, чтобы ей поскорее разъяснили какие-то тёмные намёки, сделанные герцогиней насчёт графа Линара. Она понимала, что герцогиня проговорила неосторожно, преждевременно и что здесь кроется что-то, ей пока не известное.

По окончании обеда императрица перешла с Бироном в другую комнату, и здесь герцог наедине передал ей дошедшие на днях до него, от его собственных лазутчиков, сведения о сношениях принцессы Анны Леопольдовны с Линаром. Он просил государыню подождать с решением этого дела до вечера, так как к этому времени он надеялся представить её величеству несомненные доказательства виновности легкомысленной принцессы. После продолжительного разговора по этому поводу императрица поручила Бирону, чтобы он на всякий случай приказал графу Остерману и начальнику тайной канцелярии, генералу Ушакову³¹ явиться к ней во дворец на сегодняшнее вечернее собрание, сказав, что она

³¹ Андрей Иванович Ушаков (1670—1747) – граф, сенатор (с 1724), начальник Тайной канцелярии (с 1730).

сообразно с тем, что окажется по делу принцессы, даст каждому из них особое повеление.

Пригрозив расправиться со всеми виновными как следует, Анна Ивановна принялась внимательно рассматривать ружьё, только что поднесённое ей тульскими оружейниками. Судя по её замечаниям насчёт ружья, можно было сказать, что она отлично знала толк в огнестрельном оружии, и в этом не было, впрочем, ничего удивительного. Известно, что она чрезвычайно любила охоту и стрельбу из ружей, в которой приобрела такую сноровку, что без промаха попадала в цель, и также очень редко случалось, чтобы выстрел её был неудачен, если он был направлен ею в летящую птицу. Во внутренних её покоях стояли всегда заряженные ружья; она стреляла из них через окна, в пролетавших мимо дворца галок, воробьёв и ласточек, а в галерее дворца было устроено стрельбище, где иногда назначалась стрельба на призы, в которой должны были принимать участие, в угоду императрице, все придворные, не исключая и дам.

Осмотрев ружьё, она, как это делала каждый день после обеда, сыграла с герцогом несколько партий на бильярде, показав в этой игре замечательное со своей стороны искусство. Затем, расставшись с герцогом, пошла во внутренние свои покои через комнаты герцогини.

В это время у герцогини была известная уже нам леди Рондо, которая в одном из писем к своей лондонской приятельнице передавала следующее:

«Герцогиня – большая любительница вышивания, и, узнав, что у меня есть несколько вышивок моей собственной работы, пожелала их видеть и пригласила меня к себе работать два или три раза в неделю. Я приняла это приглашение с удовольствием по двум причинам: во-первых, г. Рондо, занимая настоящий пост, может извлечь из этого выгоды; во-вторых, мне представляется случай видеть царицу в такой обстановке, в какой иначе нельзя было бы видеть, потому что она постоянно проходит через ту комнату, в которой мы занимаемся рукоделием. Так как комнаты её смежные с комнатами герцогини, то она после обеда много раз приходит к нам, не обращая внимания на то, встаём ли мы перед нею или нет. Иногда она садится за пяльцы, работает вместе с нами и много разговаривает об Англии и обо всём, что касается королевы. По её словам, она так желает видеть королеву, что охотно сделала бы полдороги ей навстречу. По-видимому, она довольна, когда я старалась говорить с ней по-русски, и так милостива, что учит меня, когда я выражаюсь худо или затрудняюсь в разговоре. Это случается очень часто, потому что я говорю по-русски плохо, хотя и понимаю, что говорят другие; мне очень приятно видеть столько добродушия в особе, имеющей такую неограниченную власть. Во время её присутствия у герцогини бывает обыкновенно пять или шесть дам и один или два придворных кавалера, которые ведут самый обыкновенный разговор. Иногда императрица принимает в нём участие как равная, сохраняя, од-

нако, своё достоинство, но таким образом, что при этом не чувствуется никакого стеснения».

IV

Вечером того дня, когда императрица говорила наедине с Бироном о принцессе Анне Леопольдовне и о графе Линаре, было во дворце обыкновенное собрание.

В ту пору дворцовые собрания не отличались уже прежней беспорядочностью и полной непринуждённостью, какие господствовали на дворцовых ассамблеях Петра Великого, а отчасти продолжались ещё и при Екатерине I. Собрания эти не напоминали и тех шумных охотничьих пирушек, какие происходили при Петре II. В противоположность всему этому в роскошно отделанных залах дворца Анны Ивановны были тишина и чинность со стороны гостей. Строгий чопорный этикет версальского двора усваивался мало-помалу и петербургским, хотя при нём не исчезли окончательно простые, незатейливые или, вернее сказать, грубые обычаи и развлечения нашего старинного быта. В домашней своей жизни Анна Ивановна была настоящей богатой русской барыней со всеми привычками и замашками того времени, и даже долголетнее пребывание её в Митаве, среди немцев, не отучило её окончательно от той обстановки жизни, которую она привыкла видеть с детства в своей семье. Если, впрочем, во дворце Анны Ивановны и допускались неприличные и, по нынешним понятиям, разные слишком обидные для царедворцев потехи и шутки, если она и забавлялась с шутами,

шутихами, скоморохами, карлами и карлицами, – то наряду с этим пробивалось уже понятие о том, что русский двор должен усваивать хорошие образцы и утончённый вкус западных европейских дворов. При дворе Анны Ивановны были уже актёры, а также и музыканты и певцы, выписанные из Италии в Петербург на большое жалованье. Итальянская и немецкая комедия чрезвычайно нравилась её придворным. При ней же в 1736 году была поставлена в Петербурге первая опера.

Бирон, любимец императрицы, был большой охотник до роскоши и великолепия, и уже этого было довольно, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор самым блестящим в Европе. С этой целью употреблены были большие суммы денег, но желание императрицы не легко и не скоро исполнялось. Перенимаемые у нас из Франции изысканность и щеголеватость сталкивались на каждом шагу с прежними непорядочностью и неряшливостью. И та и другая отражались сильно не только в общественных сношениях, взаимных поступках, образе жизни, но и во всех условиях домашнего быта. Часто у иного придворного щёголя, при богатейшем кафтане, парик был прескверно вычесан, превосходную штофную материю³² неискусной крепостной портной портил дурным или смешным покроем, или, если чей-нибудь наряд был во всех отношениях безукоризнен, то экипаж был крайне плох, и иной вельможа в богатом французском ко-

³² Штоф – тяжёлая шёлковая ткань для обивки мебели, для портьер и т. п.

стюме, в шелку, бархате и кружевах ехал в дрянной старой карете, которую еле волокли замороженные клячи, в изорванной упряжи, а на запятках стояли гайдуки в рваных ливреях и в дырявых сапогах; таким же нарядом отличались обыкновенно и кучер и фореитор.

Отсутствие вкуса и порядочности господствовало также и в домах; в одном и том же доме можно было найти выписанную из Парижа самую новомодную мебель, золотую и серебряную посуду в большом изобилии, шёлковые обои, великолепные гобелены, редкие картины, фарфор, бронзу и ковры, а вместе с тем пыль, грязь и отвратительную нечистоту, даже в роскошно отделанных приёмных покоях, не говоря уже о других принадлежностях жилья, недоступных для посторонних.

Женские наряды представляли такую же крайнюю противоположность, как и мужские: на один женский изящный туалет встречалось тогда в Петербурге десятков безобразно одетых женщин. Превосходные брюссельские и венецианские кружева нашивались на полотняные роброны, дорогой лионский бархат и шёлковая материя сшивались вместе с какой-нибудь самой простой домашней тканью. Фасоны дамских платьев, заимствованные из Франции, переделывались в Петербурге на домашний уродливый лад.

Такие противоположности одного с другим были общим явлением, и мало встречалось домов и лиц, особенно в первые годы царствования Анны Ивановны, которые составля-

ли бы в этом отношении заметное исключение. Только мало-помалу русская знать, а за нею и прочее дворянство стали подражать тем, у кого было более вкуса. Даже двор не мог сразу усвоить себе тот порядок и ту изящность, какие были тогда уже в других странах Европы. На это потребовались многие годы.

Между тем роскошь, хотя и безвкусная, стоила двору громадных издержек. При Анне Ивановне придворный, который в состоянии был издерживать в год только по две, по три тысячи рублей на свой гардероб, не мог ещё похвастать щегольством. Все поголовно разорялись на наряды, и один тогдашний остряк заметил, что следовало бы расширить городские заставы для выпуска дворян, напяливших на себя при выезде из Петербурга целые деревни. И действительно, в ту пору люди, служившие при дворе в течение немногих лет, растрачивали своё состояние на наряды. Жалованьем никак нельзя было покрывать свои расходы по этой слишком дорого стоившей статье, и, по словам одного современника, довольно было какому-нибудь предприимчивому французу – торговцу мод прожить года два в тогдашнем Петербурге, чтобы приобрести значительное состояние, хотя бы он начал торговлю в кредит, без копейки собственных денег.

Кроме нарядов, тогдашнюю русскую знать разоряла ещё и страшная карточная игра, которая даже при дворе велась в громадных размерах. Многих она в ту пору обогатила, но и многих разорила вконец. Тогда случалось сплошь и рядом,

что при дворе в один присест проигрывали по 20 000 рублей на тогдашние серебряные деньги в банк и в квинтич. В частных домах кипела непрерывная карточная игра, причём груды золота переходили из рук в руки.

Императрица, впрочем, не была охотница до игры сама по себе и если играла в карты, то для того только, чтобы проиграть и тем самым наградить косвенным образом более или менее значительной суммой кого-нибудь из близких ей людей, заслуживших её благоволение. В таких случаях она всегда сама держала банк, позволяя понтировать только тому, кого вызывала к игорному столу. С государыней играли не на наличные деньги, а на марки, по предъявлении которых производились на особом столе выдачи выигранных у неё денег. Государыня получала марки, но не разменивала их на счёт проигравших и вообще не брала денег от тех, кто ей проигрывал, хотя и любила оставаться в выигрыше.

В тот вечер, к которому относится наш рассказ, в числе приглашённых императрицей к игре лиц был и польско-саксонский посланник граф Линар. Счастье, однако, не везло ему; он ставил карту за картой, но все они были биты одна за другой.

– По примете, вы, граф, должны быть очень счастливы в любви, так как всё проигрываете, – не без заметной колкости, хотя и шутливым тоном сказала по-немецки императрица, обращаясь к Линару. – Я говорю, что граф счастлив в любви, – перевела она по-русски стоявшему в числе игроков

князю Куракину³³.

– Уж если граф такой охотник играть в карты, – живо заметил князь, – то лучше было бы бросить ему любовные делишки, а то как погонишься за двумя зайцами, так, чего доброго, ни одного не поймаешь.

– И это правда, – поддакнула Анна Ивановна.

– Ведь и мы, ваше сиятельство, кое-что насчёт вас того знаем, – начал было Куракин, обращаясь к Линару, но императрица строгим взглядом удержала князя от дальнейшей болтовни, которая была в числе главнейших его слабостей.

Анна Ивановна считала достаточным сделанного ей Линару косвенного намёка и не хотела давать воли языку Куракина, имевшего привычку болтать всё, что взбредёт на ум. Линар в недоумении поглядывал на императрицу и на Куракина, не догадываясь, впрочем, в чём дело.

– Продолжайте играть, граф, теперь вы, быть может, будете счастливы без меня, а ты, герцог, – сказала она стоявшему возле неё Бирону, – помечи за меня на счастье графа Линара.

Передав карты герцогу, императрица отправилась в тот угол залы, где, в отдалении от всех присутствующих, ожидали обыкновенно лица, которым приказано было явиться вечером во дворец по какому-нибудь особенному делу. Теперь в этом углу залы ожидали императрицу Остерман и Ушаков, вообще очень редко приезжавшие на вечерние дворцовые

³³ Александр Борисович Куракин – обер-шталмейстер, первоприсутствующий придворной конюшенной конторы.

собрания, один из них под предлогом болезни, а другой под предлогом не терпящих отлагательства дел, безустанно производившихся в заведываемой им тайной канцелярии. Оба они, как чрезвычайно сметливые люди, очень хорошо понимали, что чем реже они будут мелькать на глазах у придворных, тем менее будет неблагоприятных о них толков и тем прочнее будет положение их при дворе. Ездить же для того только, чтобы показаться императрице и герцогу, они считали для себя излишним, так как они во всякое время имели свободный доступ и к ней, и к нему, и, следовательно, могли напомнить о себе всегда, когда находили нужным воспользоваться этим.

Между тем Бирон принялся исполнять данное ему императрицей поручение с жаром страстного игрока. С первого взгляда на него в эти минуты можно было убедиться, что герцог был опытный картёжных дел мастер, и действительно, он считал потерянным тот день, когда не играл в карты, но такие дни едва ли и бывали у него во времена его величия. Он постоянно вёл громадную игру и тем самым ставил в неловкое положение своих партнёров, хотя и жаждавших чести поиграть с его светлостью, но вместе с тем не желавших ни обыграть хорошенько могущественного фаворита, ни спустить в пользу его такой значительный куш, который сразу мог дать почувствовать пустоту даже в самом туго набитом кармане.

– Ну, господа, примемся за дело, – с довольным и вызывающим видом сказал герцог игрокам, почтительно стоявшим

около него.

Герцог взялся за карты и затем отдался игре. Наверно, если бы кто-нибудь из старых его приятелей и знакомых взглянул на него, то тотчас бы узнал в надменном и сановитом герцоге Курляндском, Лифляндском и Семигальском прежнего Бирона, без удержу дувшегося в карты, на последние гроши, во время своего бурного студенчества. Из рук его, полуприкрытых манжетами из тончайших кружев и искрившихся радужными огнями от множества драгоценных перстней, то плавно выскользали, то быстро выбрасывались карты на зелёное сукно. Он при каждом ударе внимательно обводил глазами тесный круг игроков и, как человек, отлично испытавший на себе волнения и раздражения, производимые огромной азартной игрой, пытливо вглядывался в выражение лица понтёров. Он напряжённо следил за ходом игры: одобрял смелых игроков, подсмеивался над трусливыми, сочувствовал и выигрышу, и проигрышу, и вообще, исполняя обязанности банкoméта, был как нельзя более на своём месте. Бирон весело шутил и острил, и хотя его шутки и остроты, как обыкновенно, были грубы и плоски, но лица присутствовавших ослаблялись приятной улыбкой, и, вероятно, многие из них чистосердечно думали: «Право, славный малый был бы герцог, если бы он всю жизнь только бы то и делал, что играл бы в карты».

Во время игры он только раз, да и то равнодушно и лениво, бросил искоса взгляд в тот отдалённый уголок залы,

где разговаривала Анна Ивановна с Остерманом и Ушаковым, но не так поглядывали на отвратительно-злобную физиономию этого последнего находившиеся в зале царедворцы; многим из них приходило на мысль, что, чего доброго, не нынче, так завтра их кожи и кости попадут в переделку к грозному начальнику тайной канцелярии, не любившему никому давать спуска.

Поговорив немного в зале с Остерманом и Ушаковым, императрица позвала их в соседнюю комнату и, кончив аудиенцию, подошла к столу и стала смотреть на игру, спрашивая о её ходе и полюбопытствовав, отыгрался или нет граф Линар, которого, как оказалось, злая судьба преследовала неустанно во весь этот вечер.

В начале двенадцатого часа императрица удалилась ужинать в свои покои. Гости, поспешив забастовать игру, сели за ужин, приготовленный в одной из зал дворца, и вскоре после полуночи дворец опустел. Разъезжавшиеся гости шёпотом толковали о расположении духа в этот вечер государыни и герцога и высказывали близким себе людям свои догадки и предположения насчёт того, о чём могла бы говорить государыня так долго с Остерманом и Ушаковым. Многие из них улеглись спать не в слишком спокойном настроении мыслей.

На другой день, чуть забрезжило утро, генерал Ушаков в сопровождении переводчика тайной канцелярии и своего адъютанта явился к г-же Адеркас и объявил ей повеление императрицы – тотчас же оставить дворец и затем немед-

ленно отправиться за границу в сопровождении гвардии сержанта и трёх капралов. Тщетно г-жа Адеркас протестовала против такой неожиданной меры. Напрасно спрашивала она Ушакова о причине внезапно постигшего её гнева столь благоволившей к ней прежде государыни. Тщетными остались её просьбы, как о позволении проститься с её любимой воспитанницей, так и о разрешении объясниться лично с императрицей; на эти просьбы Ушаков отвечал решительным и грубым отказом, не допуская никаких дальнейших разговоров.

В то же самое утро граф Остерман, сидя за письменным столом в обыкновенном домашнем своём наряде – суконном красном шлафроке, подбитом лисьим мехом, – внимательно переписывал составленную им ночью депешу к саксонскому двору о графе Линаре и предназначенную к отправке в Дрезден в тот же самый день с нарочным. Остерман тщательно отделявал и обтачивал каждую фразу и подолгу взвешивал каждое слово, так как предмет депеши представлялся слишком щекотливым для того, чтобы он мог быть высказан хотя бы с малейшей необдуманностью.

По поводу рассказанного нами события фельдмаршал граф Миних заметил в своих «Записках» следующее: «Госпожа Адеркас, совершенно не способная к исполнению обязанностей, сопряжённых с порученной ей должностью воспитательницы принцессы Анны Леопольдовны, была внезапно выслана из России с повелением никогда туда не возвра-

щаться, причём не была даже допущена проститься с её величеством императрицей».

Другой современник этого события, Манштейн³⁴, по поводу его написал: «Старшую воспитательницу принцессы Анны, г-жу Адеркас, обвиняли в том, что она, вместо того чтобы дать хорошее воспитание и блюсти за её поведением, вздумала потворствовать сношениям между принцессой и одним иностранным посланником. Когда это обнаружилось, то г-жу Адеркас немедленно уволили от должности и отправили в Германию, спустя несколько времени и посланника, мечтавшего о такой блестящей победе, удалили под предлогом какого-то поручения к его двору, с тем чтобы двор не возвращал уже его в Петербург».

При такой развязке дела герцог потирал от удовольствия руки, припоминая презрительный ответ принцессы на сделанное ей предложение вступить в брак с сыном его, принцем Петром. На рябом лице герцогини явилась приятная улыбка, когда она узнала об удалении Линара, а императрица задала хороший нагоняй племяннице за её ветреность. Долго, однако, хмурился Ушаков, досадуя на то, что государыня успела узнать о шалостях принцессы помимо него. Он ещё более распекал своих подчинённых и ещё свирепее расправлялся со своими пациентами, вспоминая, что от него ушёл такой редкий и отличный случай, который лучше всего мог свидетельствовать перед императрицей о неусыпной

³⁴ Манштейн – адъютант фельдмаршала графа Миниха.

бдительности тайной канцелярии даже в стенах собственного её дворца.

V

Прошло с лишком два года со времени высылки из Петербурга г-жи Адеркас и удаления от петербургского двора графа Линара, но участь Анны Леопольдовны не была ещё решена окончательно, и жизнь принцессы тянулась из года в год прежней чередой. Хотя и говорили постоянно в придворных кругах о скором её браке с принцем Антоном Ульрихом Брауншвейг-Люнебургским, но совершение брака отлагалось на неопределённый срок, по разным причинам, никому достоверно не известным, кроме государыни и самых приближённых к ней лиц. Между тем принцессе минуло двадцать лет; к этой поре она выровнялась и сделалась красивой девушкой. При среднем росте, она была чрезвычайно стройна и полна, но настолько, что полнота не только не портила её стана, но даже, напротив, придавала всей её фигуре некоторую величавость. Цвет её лица был бледный и чрезвычайно нежный, волосы густые и тёмные, глаза томные и задумчивые, а черты лица хотя и не отличались правильностью, но зато добрая улыбка и кроткий взгляд делали её миловидной и привлекательной, а постоянная грусть, оттенявшая её лицо, возбуждала невольное участие в тех, кому приходилось видеть Анну.

Хранились ли в ту пору в её сердце воспоминания о Линаре — это осталось тайной, которую если принцесса, несмотря

на всю свою скрытность, и поверяла кому-нибудь, то разве одной только неразлучной спутнице своей уединённой жизни Юлиане Менгден. Но если бы даже эту первую любовь молодой девушки и успело уже изгладить время, то всё же предназначенный ей жених ничего не выигрывал от такой перемены в чувствах Анны Леопольдовны. Он по-прежнему не встречал к себе с её стороны ни малейшей тени внимания и расположения, и, несмотря на всё его желание и постоянные, всё более и более усиливавшиеся попытки хоть несколько сблизиться с невестой – холодность и нескрываемое к нему презрение принцессы обнаруживались на каждом шагу всё явственнее и всё резче. Но такое обращение Анны с принцем не могло уже изменить её участи, так как вскоре она, по политическим соображениям императрицы, должна была сделаться женой не любимого ею человека.

Впрочем, и полюбить принца Антона для молодой девушки, хотя и со свободным сердцем и даже не слишком разборчивой в выборе женихов, было трудновато. Хотя принц приехал в Россию ещё девятнадцатилетним юношей и прожил при петербургском дворе в ожидании совершеннолетия невесты шесть с лишком лет, но уже ясно видно было, что он не успел даже в это довольно продолжительное время освоиться со своим положением, что он чувствовал себя не на месте, и что у него недоставало ни ума, ни находчивости, чтобы приобрести себе при дворе хоть некоторый почёт. Наружность принца не имела в себе ничего привлекательного: он

был небольшого роста, худ, белобрыс, неловок и застенчив, и лицо его было лишено всякого выражения. Вдобавок к этому он заикался. Своей наружностью и своими неуклюжими манерами он при первом же своём появлении в Петербурге произвёл самое неприятное впечатление как на невесту, так и на государыню, которая не раз выговаривала разъезжавшему в Германии по поручению её свату, графу Левенвольду, за то, что он добыл в женихи её племяннице такого невзрачного принца. Если же принц чем и понравился несколько императрице, то лишь тем, что казался ей человеком тихим, уступчивым и непритязательным, а такие смиренные свойства в глазах Анны Ивановны считались похвальными качествами.

– Но неужели же в самом деле я буду когда-нибудь женой этого противного мне принца? – с выражением сильной досады говорила однажды Анна Леопольдовна своей подруге Юлиане Менгден. – Я теперь не могу смотреть на него без отвращения. Недавно как-то тётушка попыталась было похвалить мне его за тихий и спокойный нрав, но нрав-то его, помимо уже его гадкой наружности, мне более всего и не нравится. Какой он мужчина? Чуть только на него прикрикнуть, он сейчас же и оробеет, растеряется вконец, начнёт заикаться, переминаясь с ноги на ногу и не знает даже, что делать и что сказать. Если мне когда-нибудь, по воле Божьей, придётся царствовать – чего я, впрочем, вовсе не желаю, – то мне будет нужен сильный и решительный друг и помощник. Вот хоть бы такой, например, человек, как фельдмаршал Миних,

а то куда годится принц? Я сознаю сама очень хорошо, что у меня нет ни отважности, ни твёрдой воли, ни настойчивости; какой же для меня может быть поддержкой принц Антон? Он никогда ничем не сумеет распорядиться и уступит каждому, кто пригрозит ему. И как униженно держит он себя не только перед императрицей, но и перед герцогом! При каждом приходе герцога он вскакивает с места и не осмеливается сесть, пока тот ему не позволит. Какой он для меня муж? Он в случае надобности не сумеет защитить не только свою жену, но и самого себя...

– Но кто же не боится императрицы и герцога? – заметила Юлиана, и на лице этой пригожей смуглянки появилась лукавая улыбка. – Ты сама дрожишь, когда герцог неожиданно является сюда.

– Это правда, но я женщина, и мне это позволительно. Поэтому-то мне и нужна подмога. Да ты сама, Юлиана, сколько раз ободряла меня, и разве под твоим влиянием я оставалась такой тихой и равнодушной, какой бываю обыкновенно? Мне нужен муж, который поддерживал бы меня, когда у меня неостанет твёрдости, а при такой поддержке я была бы способна решиться на всё. Мне часто кажется, что если бы около меня был человек, которого бы я любила и уважала и в ум и мужество которого я верила бы, то никакая беда, никакая опасность не испугали бы меня.

– Однако нельзя же назвать принца трусом, – не без насмешливого, впрочем, тона заметила Юлиана. – Ведь фельд-

маршал Миних во время своих походов не раз доносил императрице о его храбрости, за что принц и получил большие награды.

– О, Миних очень хитёр: он знал, что такие донесения будут приятны императрице, а она в свою очередь рада была хоть чем-нибудь поднять при дворе этого ничтожного человека. Лживым похвалам верить не следует. Вот посмотри, что, например, пишут о принце в газетах. – Говоря это, Анна Леопольдовна выдвинула ящик рабочего столика и, достав оттуда номер «Петербургских ведомостей», подала его Юлиане. – Прочти вслух, – сказала она своей подруге.

Юлиана прочла следующее: «Светлейший государь, князь герцог Брауншвейгский и Люнебургский не токмо от славного уже давно цесарскими и королевскими коронами произошёл дома, но и собственными великими свойствами любовь всего российского народа себе получил, а притом во всех разных кампаниях случившихся акциях, жизнь свою за честь и благополучие её империи крайней подвергнув опасности, через свою храбрость бессмертную себе приобрёл славу».

– Разве это не бесстыдная ложь! – вскрикнула принцесса, топнув ногой.

– А знаешь, – перебила Юлиана, – я давно собиралась тебе передать кое-что, но только боялась, что рассержу тебя, заговорив с тобой о принце Антоне, но так как теперь у нас зашла о нём речь, то я тебе скажу, кстати, вот что: при дворе толкуют, будто бы принц тебе нравится, но ты только при-

творялась и нарочно показывала к нему отвращение, чтобы обмануть герцога и дать ему повод подумать о том, нельзя ли будет ему женить на тебе своего сына? Ты, говорят, делала это только с тем, чтобы иметь после случай досадить герцогу оскорбительным для него отказом.

– Ты хорошо знаешь, Юлиана, как я ненавижу герцога, – сказала принцесса, и её обыкновенно спокойное лицо ожило вдруг гневным выражением, – но должна знать и то, что мне никогда в голову не придут такие хитрые затеи. Мне принц просто-напросто противен, но когда герцог задумал сватать меня через Чернышёву за своего сына, этого негодяя мальчишку, то я наотрез, но без всякого умысла досадить герцогу, сказала этой непрошеной свахе, что лучше пойду на плаху, чем под венец с принцем Петром, и что я ни в каком случае не приму этого неприличного предложения. Когда же после этого заговорила со мной о том же самом государыня и затем предложила выбрать мне в мужа или принца Петра, или принца Антона, то я, не думая тогда вовсе о герцоге, а от чистого сердца, сказала ей, что если мне уж непременно приходится выбирать одного из этих женихов, то я предпочту последнего, потому что он в совершенных летах и происходит из старого владетельного дома.

– Да, сын Бирона хоть и наследный принц Курляндский, но всё-таки не пара тебе, принцессе Мекленбургской, внучке русского царя и... и... быть может, будущей русской императрице... – шёпотом и с расстановкой договорила Менгден.

– Поверь мне, дорогая моя Юлиана, что меня несколько не прельщает ожидающее меня величие; напротив, оно только пугает меня. Как часто думаю я: зачем Господь предназначил мне такой необыкновенный, высокий жребий? Не лучше ли было мне остаться навсегда в моём родном маленьком городке? Мне всегда кажется, что я была бы гораздо счастливее в более скромной доле. Какая, однако превратность в моей судьбе: привезли меня трёхлетним ребёнком сюда из чужа; я оставила веру, в которой родилась; почти забыла мой родной язык; меня не только разлучили с моим отцом, но и постоянно старались и стараются внушить мне, чтобы я ненавидела его, твердя, что он был мучителем моей матери. Не проходит дня, чтобы императрица не бранила его при мне и не выставляла бы его каким-то диким зверем. А покойница матушка разве любила и баловала меня?.. Нет, Юлиана, тяжело, о, как тяжело всегда жилось мне.

Анна Леопольдовна судорожно схватилась за голову, опустилась на кресло и, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Бойкая и словоохотливая подруга принцессы хотела было развлечь её своей весёлой болтовнёй, но принцесса упорно молчала, неподвижно оставаясь в прежнем положении.

Юлиана, слишком хорошо знавшая принцессу, не без удивления смотрела теперь на неё, так как ей ни разу не приходилось ещё видеть Анну Леопольдовну, обыкновенно спокойную и равнодушную, в припадке такого сильного раздражения.

В это время кто-то тихонько постучался в дверь.

– Войди, – сказала Менгден.

Явился камердинер принцессы и доложил, что Артемий Петрович Волынский³⁵ просят позволения видеть её высочество. Принцесса кивнула головой в знак согласия.

Тихими, мерными шагами приблизился Волынский к принцессе. Она протянула ему свою маленькую белую руку, которую он почтительно поцеловал, низко поклонившись перед принцессой, и затем отдал глубокий поклон Юлиане.

– Я осмелился явиться к вашему высочеству, дабы спросить вас, не благоугодно ли будет вам отдать мне каких-нибудь особых приказаний по случаю охоты, назначаемой её императорским величеством?

– Ты знаешь, Артемий Петрович, что я не люблю никаких забав и если где-нибудь бываю, то всегда только поневоле.

– Очень хорошо знаю, ваше высочество, тем не менее... Но отчего вы, ваше высочество, изволите быть так сегодня недовольны? – спросил Волынский принцессу голосом, в котором слышалось непритворное участие.

– Это вы, проклятые министры, – вскрикнула запальчиво принцесса, вскочив с кресел, – это вы довели меня, по вашим расчётам, до того, что я выхожу теперь замуж за того, за кого

³⁵ Волынский Артемий Петрович (1689—1740) государственный деятель, дипломат. В 1715 г. отправлен Петром I для переговоров в Персию, генерал-адъютант, обер-егермейстер, губернатор Астрахани, с 1738 г. – кабинет-министр Анны Ивановны. Казнён по обвинению в заговоре против Анны Ивановны.

прежде не думала выходить³⁶.

– Принимаю смелость доложить вашему высочеству, что насчёт окончательного решения о браке вашем с его светлостью принцем Антоном ничего не знал ни я, ни князь Черкасский³⁷. . . – при этом Волынский искоса взглянул на Менгден, как бы давая знать принцессе, что он стесняется присутствия её подруги.

– Не бойся, говори при ней всё, Артемий Петрович; у меня от неё нет никаких тайн. . .

– Я нисколько не виноват, – начал Волынский, – в том, что делают с вами, ваше высочество. Во всём этом воля всемилостивейшей государыни, которой мы по природному нашему рабству должны покоряться, а если из министров кто и виноват, то разве один только Остерман. . . Впрочем, – добавил успокоительным голосом Волынский, – вашему высочеству нет особой причины так горестно кручиниться. . .

– Как нет? Я терпеть не могу принца Антона: он весьма тих и в поступках не смел³⁸, – перебила Анна Леопольдовна.

³⁶ Подлинные слова Анны Леопольдовны Волынскому. (Примечание автора.)

³⁷ Черкасский Алексей Михайлович (1680—1742) был губернатором в Сибири (1722), потом сенатором; благодаря не столько своим дарованиям, довольно посредственным, сколько огромному состоянию, он явился одним из главных деятелей при подании Анне Ивановне просьбы об уничтожении условий, предписанных ей Верховным тайным советом (23 февраля 1730 г.). Чин действительного тайного советника и орден св. Андрея были его наградой. Участие в свержении Бирона доставило ему от Анны Леопольдовны звание государственного канцлера (1740), которое оставлено за ним Елизаветой Петровной.

³⁸ Подлинные слова Анны Леопольдовны. (Примечание автора.)

– Хотя действительно в его светлости, – заметил Волинский, – и есть кое-какие недостатки, то, напротив того, в вашем высочестве есть довольно благодарования, и для того можете те недостатки снабжать и предупреждать своим благородием. Если же принц тих, то вам же лучше, потому что он в советах и в прочем будет вам послушен. Снесите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоит ваш разум и ваша честь³⁹.

– Ты умеешь красно говорить, Артемий Петрович, иногда словно по книге; но от твоих слов мне всё-таки не легче. Да и кроме замужества, разве мало приходится мне терпеть? Ты знаешь, что я говорю теперь с тобою, а сама всё боюсь, не подглядывают ли за мной, не подслушивают ли меня...

– Вот именно относительно этого я и желал предостеречь ваше высочество.

– Опять что-нибудь натолковали государыне? – раздражённым голосом спросила принцесса.

– Это не новость, – равнодушно заметила Юлиана, – пора бы вашему высочеству привыкнуть ко всем вздорным сплетням и не волноваться. Вы ближе всех к государыне, и вам ни в каком случае не следует никого и ничего опасаться...

– Я хотел доложить вам, – сказал шёпотом Волинский, – что ваш обер-гофмаршал граф Миних лежит на ухе герцога и теперь внушает ему, что граф Линар...

– Граф Линар? – с живостью перебила принцесса, и яркая

³⁹ Подлинная речь Волинского. (Примечание автора.)

краска покрыла её бледные щёки...

– Он недавно овдовел, – произнёс Волынский, давая время оправиться принцессе и желая подготовить её к слишком щекотливому разговору.

– Ведь он был женат на графине Флемминг? – вмешалась с той же целью догадливая Юлиана, – он не привозил жену в Петербург. Она, кажется, была дочь того министра, который ворочал всем и в Саксонии, и в Польше.

– Кажется, что так, милостивая государыня, – отвечал Волынский, обращаясь к Менгден.

Принцесса между тем успела одолеть своё смущение и, пристально смотря в лицо Волынскому, довольно спокойно спросила:

– Ну, что же граф Линар?..

– Он на днях прислал письмо к герцогу, в котором предупреждает его о злых замыслах принца Антона против его светлости. Он, должно быть, думает, что такими внушениями если не расстроит, то, по крайности, замедлит ваш брак с принцем, а граф Миних позволил себе высказать догадку, не делается ли сие с вашего соизволения, и вызвался наблюдать за вашим высочеством...

– Что же герцог? – спросила Анна Леопольдовна.

– Показал письмо с хохотом графу Остерману и – прошу извинения за смелость моих слов – назвал его светлость принца глупым мальчишкой, грозясь, что при первом же случае публично надерёт ему уши...

– И принц снесёт это... непременно снесёт, – сказала Анна, ударив с сердцем по столу рукою.

– Но что же делать с герцогом? – заметила, пожав плечами, Юлиана и вопросительно взглянув на Анну Леопольдовну.

– И как не стыдно вам, русским, переносить такое унижение от герцога? – проговорила насмешливо принцесса, окинув презрительным взглядом Волынского.

Наступила минута глубокого молчания. Волынский задумался... Жестоким укором отозвались в его сердце слова принцессы; кровь хлынула ему в лицо, оно всё побагровело. Волынскому и стыдно, и больно стало, что даже такая слабая, нерешительная женщина, какой слыла принцесса, может укорять его за унижение перед проходимцем, – его, русского вельможу, потомка древних бояр и знаменитых военачальников московских.

– Кто знает, ваше высочество, – заговорил как бы пророческим голосом, гордо вскинув свою голову, Волынский, – кто знает; не придёт ли когда-нибудь день, – и быть может, уже близок он, – когда Волынский искупит свои тяжкие грехи перед Богом и отечеством, когда он покажет, как... – От сильного волнения Волынский не мог говорить более.

Анна Леопольдовна с удивлением взглянула на него.

– Прощайте, ваше высочество... Вы дали мне урок, которого я никогда не забуду, – проговорил расстроенный Волынский.

– Прощай, до свидания, Артемий Петрович, – сказала ему ласково принцесса, подавая руку, которую Волынский поцеловал почтительно и крепко.

Это было последнее непубличное свидание его с принцессой. Спустя немного времени умная и горячая голова Волынского соскочила с плеч под ударом топора; но перед казнью он на дыбе давал показания о своём свидании с принцессой, и показания эти сохранились для истории в кровавых летописях тайной канцелярии.

VI

Летом 1739 года стали поговаривать в Петербурге о браке Анны Леопольдовны. Говорили, впрочем, об этом не без некоторой опаски, оглядываясь по сторонам из боязни, чтобы неожиданно не подвернулся какой-нибудь шпион или просто какой-нибудь негодяй, который, заслышав упоминание о царской семье, готов будет крикнуть «слово и дело». Приготовления к свадьбе принцессы делались большие, и с лишком год работали только над экипажами и одеждой прислуги придворного ведомства, для того чтобы придать празднеству великолепную уличную обстановку. Императрица Анна Ивановна как будто в последний раз готовилась показать во всём блеске роскошь и великолепие своего двора. После долгих откладываний было решено, наконец, повенчать принцессу с принцем Антоном, и оставалось только уладить обряд сватовства. Но пока успели согласиться насчёт этого, немало попортилось крови и желчи как у графа Остермана, так и у будущего свата со стороны принца, маркиза Бота-ди-Адорно⁴⁰, а также немало досады учинено было и всемилостивейшей государыне.

⁴⁰ Речь идёт об австрийском посланнике маркизе Антонии Ботта-де-Адорно (1693—1745). Ботта с особенной настойчивостью хлопотал о бракосочетании принца Антона Ульриха с Анной Леопольдовной, надеясь, посредством этого союза, доставить венскому кабинету преобладание при русском дворе.

Упомянутый маркиз Ботта ди-Адорно был посланником римско-немецкого императора при петербургском дворе, а потому условлено было, что он только на три дня примет звание чрезвычайного посла для того, чтобы просить руки принцессы Анны для принца Антона, племянника императора по его жене. Должно было, однако, для поддержания достоинства русского двора вести дело таким образом, будто бы маркиз Ботта нарочно приехал из Вены только для исполнения этого чрезвычайного поручения. Думали, думали и наконец нашли, что в настоящем случае всего удобнее будет заменить Вену Александро-Невской лаврой. Туда на ночлег к монахам в субботу, 29 июня, и отправился маркиз Ботта, и оттуда, в воскресенье утром, как будто приехав прямо из Вены, он имел торжественный въезд в Петербург, а в понедельник была назначена ему аудиенция у императрицы для формального сватовства.

Сватовство это происходило с большой торжественностью в присутствии всего двора. После длинной речи, сказанной послом императрице, великий канцлер граф Головкин⁴¹ и князь Черкасский ввели принцессу в аудиенц-залу, и когда принцесса, расстроенная и бледная, стала перед императрицей, то последняя объявила, что дала своё согласие на брак своей племянницы с принцем Антоном Брауншвейгским.

⁴¹ Михаил Гаврилович Головкин (ок. 1700—1756), сенатор, действительный тайный советник. В кабинете министров «курировал» вопросы внутренней политики.

Слова эти были роковым приговором для Анны. Она с плачем бросилась на шею тётке. Заливаясь слезами и сильно дрожа, крепко прижалась к ней. Несмотря на это, императрица некоторое время сохраняла холодный, важный вид; но наконец и она не выдержала: из глаз Анны Ивановны выступили слёзы, и она с заметной нежностью стала целовать свою племянницу в лицо и в голову. Несколько минут длилась эта сцена, не особенно, впрочем, поразившая своей неожиданностью придворных, знавших уже давно недружелюбные отношения невесты к жениху. Затем императрица, слегка отстранив от себя Анну, явилась снова перед присутствующими недоступной, по-видимому, ни жалости, ни состраданию. Начались поздравительные речи посла, обращённые сперва к императрице, а потом к принцессе. Печально склонив голову, Анна вовсе не слушала напыщенного красноречия маркиза и, казалось, совершенно бессознательно исполняла всё, что требовал от неё этикет и последовавший за помолвкою обряд обручения. Быть может, в это время в мыслях её мелькал пленительный облик Линара, и сравнение с ним принца ещё сильнее волновало её.

Обручение кончилось. Цесаревна Елизавета первая подошла к принцессе, чтобы поздравить её, и громко заплакала⁴². Императрица взяла за руку Елизавету и отвела её в сторону. Закрыв лицо платком, цесаревна продолжала рыдать, и слё-

⁴² Елизавета Петровна весьма искусно умела скрывать свои истинные чувства к тому или иному человеку.

зы её в эти минуты могли быть непритворны: сама Елизавета могла любить только без принуждения. Она высоко ценила свободу женщины и, забывая на этот раз в принцессе Анне свою соперницу по русской короне, искренне жалела о ней, как о девушке, приневоленной к браку.

Начались церемониальные поздравления. Жених, пышно разодетый в светлый шёлковый кафтан, великолепно расшитый золотом, с волосами льняного цвета, завитыми в крупные локоны, распущенные по плечам, стоял подле невесты. Он пытался утешить свою невесту, хотел было взять её за руку, но принцесса быстро вырвала её и гневно посмотрела на растерявшегося принца, который в эту минуту представлял из себя и жалкую и смешную фигуру⁴³.

По окончании поздравлений государыня удалилась в свои покои, а собрание разъехалось по домам, чтобы готовиться к последовавшей свадьбе.

В среду, 3 июля, ранним утром со стен Петропавловской крепости и валов Адмиралтейства пушечные выстрелы возвестили жителям Петербурга о имеющем быть в этот день браке принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Толпы народа со всех сторон повалили по улицам города, пустым и тихим в обыкновенное время. Старые и малые, мужчины и женщины спешили занять более удобные места на всём протяжении от дворца до Казанского собора, где должно было совершиться бракосочетание. Принца перевез-

⁴³ Отзывы леди Рондо. (Примечание автора)

ли в собор спозаранку, без всякой, впрочем, пышности, которой должен был отличаться поезд невесты. Казанский собор, только что отстроенный в ту пору на сумму, пожертвованную императрицей, находился на том же месте, где и нынешний. Он считался придворной церковью, но был невелик и чрезвычайно невзрачен; на одном конце этого продолговатого строения, не отличавшегося ничем от обыкновенного одноэтажного каменного дома, была поставлена прямая четырёхсторонняя колокольня в виде каланчи, с небольшой остроконечной крышей. На соборе не было ещё купола и никаких архитектурных украшений.

Между тем процессия от Зимнего дворца шла набережной к Летнему дворцу и оттуда по Большой улице через Зелёный мост на Невскую перспективу. От Летнего дворца до церкви по обеим сторонам дороги, по которой двигалась процессия, стояла вся гвардия и напоольные полки с неумолкаемой музыкой.

– Едут! Едут! – загудело вдруг в толпе, смыкавшейся всё плотнее и плотнее и сдерживаемой полицейскими драгунами.

Среди этих возгласов показались прежде всего великолепные кареты знатных персон. Впереди каждой кареты шло по десяти ливрейных лакеев, а при некоторых каретах, кроме лакеев, были скороходы и ряженные, напоказ и на потеху народу. Тут мелькали и негры, и испанцы, и турки, и самодеды, и пр. и пр.

За тянувшимися длинной вереницей каретами знатных персон следовала карета принца Карла, младшего сына герцога Курляндского, предшествуемая двенадцатью лакеями, четырьмя скороходами, двумя гайдуками и двумя дворянами, ехавшими верхом. При такой же обстановке ехал следом и старший сын герцога Пётр – жених, отвергнутый принцессой Анной.

– Глядь! Глядь! – вдруг крикнул какой-то мальчуган своему товарищу, показывая пальцем на раззолоченную карету, – вишь ты, какие звери и птицы намалёваны... Важные какие!

Действительно, на дверцах приближавшейся кареты виднелся громадный герб, а в нём под княжеской шапкой и герцогской мантией в большом щите были изображены золотые львы и серебряные олени – гербы Курляндии и Семигалии. В малом же щите герба был чёрный ворон, сидящий на пне с зелёной веткой, – это был родовой герб Биронов. Вверху этого щита виднелся в золотом поле вылетающий до половины русский двуглавый орёл, прибавленный в герб Бирона императрицей в знак особенного её благоволения к герцогу, а в другой боковой части маленького щита была буква А, в память короля польского Августа III, признавшего Бирона герцогом Курляндским. Сквозь букву А, украшенную королевской короной, был продет золотой ключ, знак оберкамергерского звания, которое Бирон удержал за собой, сделавшись даже владетельным герцогом.

Пока мальчуганы зазевались на львов, оленей, ворона и орла, прочие зрители не без страха и не без ненависти по-смастривали на того, кто ехал в этой великолепной карете. Насупись, неподвижно сидел в ней герцог Курляндский, блиставший алмазами и золотом. Герцогу предшествовали двадцать четыре лакея, восемь скороходов, четыре гайдука и столько же пажей. Все они шли пешком. Кроме них перед каретой герцога ехали верхами его шталмейстер, маршал и два камергера, из которых за каждым следовало несколько ливрейных слуг.

Каретой герцога как бы замыкался отдельный поезд его самого и его сыновей. На некоторое время произошёл перерыв церемонии, и толпа, в ожидании дальнейшего зрелища, принялась толковать и пересуживать. Крики, визги и брань стояли над нею. Но вот со стороны дворца раздались громкие, как будто радостные, возгласы; послышался раскат пушечного выстрела, и в заколыхавшейся толпе заходил говор: «Сама едет!»

Теперь перед глазами зрителей стали последовательно двигаться сорок восемь слуг, двадцать четыре пажа с их наставником, бывшим на коне, камергеры верхами, каждого из них сопровождал скороход, державший в поводу лошадь, и два конных лакея с подручными лошадьми; дворяне верхом, тоже в сопровождении скороходов и ливрейных слуг с подручными лошадьми; обер-шталмейстер с огромным конюшенным штатом, егермейстер со всей придворной охотой;

унтер-маршал и обер-гофмаршал с жезлом. Яркие цвета, серебро и золото рябили и резали глаза толпы.

Но вот и экипаж императрицы – раскинутая на две половины карета, ослепительно блиставшая при ярком летнем солнце густой позолотой, запряжённая восемью белыми конями в золотой упряжи и с пучками белых страусовых перьев над их головами. Толпа ахнула.

На первом месте, на заднем сиденье кареты, сидела императрица, напротив неё – невеста.

Сановитая фигура Анны Ивановны как нельзя более подходила издали для торжественных церемоний. В ней, казалось, воплощалось могущество женщины, которая легко могла носить тяжёлую шапку Мономаха. Величаво и самоуверенно посматривала Анна на покорную перед ней толпу и по временам лёгким наклоном головы удостоивала отвечать на приветственные клики своих верноподданных. Но если представительная наружность Анны Ивановны производила сильное впечатление на толпу, то на этот раз императрица не поражала зрителей особенным великолепием своего убранства: никаких драгоценных камней не сияло на ней; они были заменены одним только жемчугом, резко выдававшимся своей белизной на тёмном фоне и золотом шитье её робы. Совершенную противоположность императрице представляла невеста. Грустная, как будто бессильная и беспомощная, сидела она, потупив задумчивые глаза. Казалось, она не видела и не слышала ничего, что делалось около

неё. Но зато как ослепителен был её подвенечный наряд! На ней было платье из блестящей серебряной ткани; завитые её волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантовыми нитями; на голове у неё была небольшая корона, осыпанная бриллиантами, и, кроме того, множество бриллиантов было укреплено в её чёрных, напудренных на этот раз волосах. От блеска драгоценных камней лицо её, казалось, было окружено каким-то радужным сиянием. Толпа, глядя на невесту, только дивилась и ахала. После проезда императрицы остальная часть поезда, в которой находились цесаревна Елизавета, герцогиня Курляндская и супруги знатных персон, по своей относительной пышности не бросались уже в глаза толпы, которая теперь стремительным потоком хлынула к Казанскому собору, чтобы дожидаться окончания брачной церемонии, которую совершал архиепископ Вологодский Амвросий.

Пушечные залпы с крепости и Адмиралтейства, а также из орудий, поставленных на площади перед собором, и беглый ружейный огонь войск возвестили окончание брачного обряда...

Дождавшиеся окончания церемонии увидели ту же самую процессию, какую видели прежде, с той только разницей, что новобрачные сидели теперь в одной карете с императрицей, напротив неё, и можно было заметить, что молодая, убитая горем, не обращала никакого внимания на своего супруга.

Во дворце принесены были поздравления государыне и

принцессе сперва знатными лицами, потом иностранными министрами, а затем и всеми присутствовавшими. Императрица в этот день обедала за особым столом, за которым кроме неё сидели только новобрачные и цесаревна Елизавета. После обеда все присутствовавшие при торжестве вернулись домой чрезвычайно утомлённые, так как торжество началось с 9 часов утра, а обед кончился только около 8 часов вечера.

VII

Свадьба принцессы Анны Леопольдовны сопровождалась блестящими празднествами. В самый день брака был при дворе бал, начавшийся в 10 часов и окончившийся около полуночи. После бала императрица повела молодую в её комнату. При этом за государыней должны были следовать только немногие заранее назначенные ею лица: герцогиня Курляндская, две придворные русские дамы и жёны министров, уполномоченных от иностранных государей, состоявших в родстве с принцем Антоном. Войдя в уборную молодой, императрица приказала герцогине и знакомой уже нам леди Рондо раздеть принцессу. Дамы сняли с молодой тяжёлый и пышный наряд и надели на неё капот из белого атласа, отделанный великолепными брюссельскими кружевами. После этого императрица поручила герцогине и леди Рондо пригласить к принцессе её мужа, который и явился переодетый уже в домашнем платье, сопровождаемый одним только герцогом Курляндским. Когда принц вошёл в уборную, императрица поцеловала его и племянницу, пожелала им счастья и, сделав им наставление, чтобы они жили между собою дружно и мирно, весьма нежно распрощалась с ними и отправилась в Летний дворец.

В среду императрица дала в этом дворце ужин в честь молодых. На этом собрании дамы поражали великолепием сво-

их нарядов, в особенности же новобрачная, на которой было платье из золотой ткани, с выпуклыми по ней цветами, отделанное пурпуровой бахромой; из такой же золотой ткани был сшит и костюм принца Антона. Молодые, цесаревна Елизавета и семейство герцога Курляндского сидели во время ужина за особым столом, а императрица, прохаживаясь по зале, освежавшейся устроенным в ней фонтаном, подходила к гостям и приветливо разговаривала с ними. Ужин отличался изысканностью и обилием яств, а также поразительной роскошью обстановки.

– Уж больно утомилась я, – говорила императрица окружающим её лицам. – Надобно и мне самой отдохнуть, да и другим дать покой. – И по воле государыни днём всеобщего отдыха был назначен четверг.

Более всех, несмотря на свою молодость, истомилась Анна Леопольдовна; для неё, нелюдимки по природе и выросшей в уединении, многочисленное общество всегда было в тягость. Теперь же такая тягость чувствовалась ею ещё сильнее. Для неё невыносимо было являться на всех торжествах на первом плане, привлекать к себе любопытные взгляды всех присутствовавших и выслушивать льстивые поздравления с таким событием в её жизни, которое она считала вечным для себя несчастьем. Но делать было нечего – приходилось веселиться поневоле или, по крайней мере, хоть показывать весёлый вид. С глубоко затаённым в душе желанием – встретить хоть в ком-нибудь выражение участия к сво-

ей печальной судьбе, посматривала вокруг себя новобрачная принцесса, но на лицах, окружавших её, она встречала только радостные, приторные улыбки, ещё более раздражавшие её. Только однажды в толпе гостей заметила она задумчиво смотревшего на неё какого-то молодого человека, и ей показалось, что только один он в этой весёлой и шумной толпе, блиставшей и бриллиантами, и золотом, и серебром и разодетой в шёлк, бархат и кружева, сочувствует ей, понимает гнетущее её горе. Теперь с Анной Леопольдовной случилось то, что часто бывает и с другими: иногда незнакомые между собой люди, встретившись первый раз и не обменявшись ещё друг с другом ни одним словом, как будто понимают друг друга и чувствуют какое-то невольное влечение один к другому. Такое чувство испытывала теперь на себе Анна Леопольдовна: ей казалось, что задумчивость молодого, не знакомого ей ещё человека происходила под впечатлением того, что он видел, а ласковый его взгляд, внимательно и как-то заботливо следивший за принцессой, убеждал её в справедливости такой догадки. Она нарочно прошла мимо него и приветливо взглянула на него. Он заметно смешался, выронил из рук свою треугольную шляпу и, поспешно схватив её с полу, скрылся в толпе, не решаясь уже показаться в этот вечер на глаза принцессе.

Замеченный Анной Леопольдовной придворный кавалер не произвёл, впрочем, на неё никакого впечатления своей не отличавшейся ничем наружностью; он обратил на себя

внимание потому только, что, как показалось ей, понимал её тяжёлое положение и должен был в душе сочувствовать её страданиям. Принцесса в настоящем случае не обманывалась: этот молодой человек был страстный поклонник её, как женщины, и радостно ожидал того дня, когда, быть может, императорская корона засияет на её голове.

Отдохнув один день, двор снова принялся веселиться, и в пятницу, после полудня, в залах Зимнего дворца открылся придворный маскарад. Несмотря на летнюю пору, когда так легко было устроить настоящий сельский праздник, императрица желала видеть такой праздник в стенах своего дворца, и потому в длинной его галерее было устроено что-то вроде луга со столами и скамейками, покрытыми цветами. Главной же особенностью этого маскарада были четыре кадрили; из них каждая была составлена из двенадцати пар. В первой кадрили явились новобрачные. Как они, так и прочие участницы и участники в этой кадрили были одеты в домино оранжевого цвета⁴⁴ с маленькими такого же цвета шапочками на головах, с серебряными кокардами и с небольшими воротничками из кружев, завязанными лентой, вытканной из серебра. В составе этой кадрили находились со своими супругами те иностранные министры, государи которых были в родстве с принцем или с принцессой.

Во главе второй кадрили были цесаревна Елизавета и принц Пётр Курляндский в зелёных домино с золотыми ко-

⁴⁴ Домино – маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном.

кардами, и все участвовавшие в этой кадрили были одеты так же, как принцесса и принц. Предводителями третьей кадрили были герцогиня Курляндская и Салтыков, родственник императрицы⁴⁵. Кадриль эта имела голубые домино с розовыми кокардами, и, наконец, участвовавшие в четвёртой кадрили, – во главе которой явились принцесса Гедвига, дочь герцога Курляндского, и его второй сын принц Карл, – были одеты в домино красного цвета с зелёно-серебряными кокардами. Маскарад окончился роскошным ужином. Императрица, как внимательная хозяйка, прохаживалась целый вечер между гостями, обращаясь к ним то с ласковым словом, то с благосклонной шуткой. На всех придворных собраниях принц Антон-Ульрих, несмотря на своё новое, упрощенное уже положение вследствие брака с племянницей императрицы, по-прежнему представлял из себя ничтожную личность; он заметно терялся не только при обращении к нему государыни, но и при приближении герцога. С плохо скрываемой досадой смотрела Анна Леопольдовна на своего робкого и неловкого супруга, и в обидную для него противоположность в воображении принцессы являлся блестящий граф Линар, изящный, находчивый, с смелым взглядом, твёрдой поступью и мужественной осанкой.

При бракосочетании Анны Леопольдовны не было соблюдено обычаев, сопровождавших ещё в ту пору свадьбы даже в домах знатных русских семейств, и в народе ходил го-

⁴⁵ Анна Ивановна по матери принадлежала к древнему роду Салтыковых.

вор, что от такой не по-русски справленной свадьбы ждать добра нечего. Исполнен был только один старинный обычай, а именно: когда в субботу государыня обедала в покоях новобрачной, то молодые прислуживали ей за столом как самой почётной гостье. После обеда было оперное представление в дворцовом театре.

Ряд празднеств окончился маскарадом в саду Летнего дворца. Сад был красиво иллюминирован, и в заключение торжества на берегу Фонтанки был сожжён великолепный фейерверк, состоявший из множества бомб, ракет и прочих увеселительных огней, а также из вензелей с аллегорическими изображениями, подходившими к тому случаю, для которого он был приготовлен. В течение целой недели на Неве стояли яхты, пёстро разукрашенные флагами, которые с наступлением темноты заменялись разноцветными фонарями. Для народа перед дворцом были устроены фонтаны из белого и красного вина, а также были выставлены жареные быки и разные другие яства. Сама императрица бросала с балкона в толпу пригоршни серебряных денег.

Сохранилось до нашего времени известие о том впечатлении, какое должны были производить на посторонних и невольный брак Анны Леопольдовны, и происходившие по поводу этого блестящие шумные торжества. «Всё это делалось, – писала леди Рондо своей приятельнице в Лондон, – для того, чтобы соединить двух особ, которые, как я убеждена, искренне ненавидят друг друга; думаю, что это можно

сказать с уверенностью, по крайней мере, насчёт принцессы: она явно и резко выказывала это в продолжение всех праздников, бывших в течение недели».

Молодая чета поселилась на постоянное житьё в одном дворце с императрицей, но на особой половине, обращённой окнами на нынешнюю Александровскую площадь. Сравнительно с прежним Анна Леопольдовна не пользовалась большей свободой. Причиной этого был, впрочем, не супруг принцессы, в глазах которой он не имел решительно никакого значения, но подозрительность императрицы и герцога держала молодых в отчуждении от общества. Впрочем, и сама Анна не искала никаких развлечений. Она желала прежде всего уединения, ограничивая своё общество небольшим кружком близких к ней лиц, и постоянной, а вместе с тем и более всех любимой собеседницей была по-прежнему Юлиана Менгден, приобретающая над нею всё более и более влияния и употреблявшая его не в пользу принца. Двор принцессы и принца был составлен из немногих лиц, в число которых вскоре после свадьбы был назначен в должность адъютанта и тот молодой человек, которого однажды заметила принцесса, и которого она считала своим доброжелателем. Новый адъютант принца назывался Грамотин⁴⁶; он считался серьёзным и деловым человеком, почему и заведовал канцелярией своего начальника. Теперь Анне Леополь-

⁴⁶ В документах, приводимых в исторических исследованиях, значится полковник Пётр Граматин.

довне приходилось часто встречаться с ним, когда он являлся с докладом к принцу. Но первое впечатление, произведённое на неё Грамотиным, несколько изгладилось: принцесса относилась к нему без особого благоволения, заметив в нём особенное старание угождать принцу и заискивать его благосклонность. Вскоре принцесса дошла до того, что перестала обращать на Грамотина внимание, а между тем он всё сильнее и сильнее влюблялся в неё, мечтая о том, что, быть может, придёт пора, когда ему представится случай пожертвовать для неё своей жизнью.

Молодая чета жила очень не ладно между собой, и, по всей вероятности, неприязненное расположение Анны Леопольдовны к мужу выражалось бы ещё резче, если бы только её не сдерживала тётка, которая постоянно вмешивалась в их супружеские раздоры и, ввиду покорности принца – качества, признаваемого со стороны императрицы одной из главных добродетелей, – принимала обыкновенно его сторону, журая принцессу и внушая ей мысль о необходимости уступчивости мужу. Принц находил, впрочем, для себя поддержку и с другой стороны. Венский двор вскоре после его брака с принцессой Анной начал сильно настаивать, чтобы новобрачный «в уважение теперешнего его родства и огромных способностей» получил право заседать в кабинете и в военной коллегии. Такое требование чрезвычайно сердило герцога Курляндского, относившегося к принцу с крайним пренебрежением.

Однажды герцог, проводивший часть лета во дворце, находившемся в Летнем саду, прогуливался по аллеям этого сада, и при повороте на одной из них он встретил секретаря саксонского посольства Пецольта. Герцог пригласил его пройтись по саду вдвоём. После разговора о том о сём зашла между герцогом и дипломатом речь о политических делах и коснулась между прочим покровительства, оказываемого венским двором принцу Антону.

– Венский двор, – заговорил раздражённым голосом герцог, давая полную волю своему вспыльчивому нраву, – считает здесь себя как дома и думает управлять делами в Петербурге, но он сильно ошибается! Если же в Вене такого мнения, что у принца Брауншвейгского прекрасные способности, то я готов уговорить императрицу, чтобы принца совсем передать венскому двору и послать его туда, так как там настоит надобность в подобных мудрых министрах.

Пецольт, как тонкий дипломат, приятно улыбался в угоду герцогу, как бы поощряя, тем самым его расходившееся остроумие.

– Каждому известен принц Антон Ульрих, – продолжал язвительно герцог, – как человек самого посредственного ума, и если его дали в мужья принцессе Анне, то при этом не имели и не могли иметь другого намерения, кроме того, чтобы он произвёл на свет детей, но и на это-то он не столько умён – принцесса до сих пор держит его от себя в почтительном отдалении. Если же у него будут дети, – добавил гер-

цог, – то надобно только желать, чтобы они не были похожи на него⁴⁷.

Говоря эти колкости насчёт принца Антона, герцог в некотором отношении был прав. Императрица долго ожидала рождения своего наследника, так как Анна Леопольдовна только в августе 1740 года родила принца, наречённого при крещении Иоанном; в известительном манифесте об его рождении новорожденному не было придано отчества, как будто он даже и не считался сыном принца Антона.

Анна Ивановна, несмотря на суровость своего характера, выказывала к новорожденному Иванушке особенную нежность. Тотчас после рождения принц был перенесён в собственные покои государыни и был там оставлен под попечительным её надзором. Она заботливо навещала его во всякое время дня; пеленали и распелёвывали его не иначе, как только в присутствии герцогини Курляндской, принявшей на себя заботы о новорожденном, между тем как Анна Леопольдовна была устранена от всякого за ним ухода. По случаю рождения принца слышался всюду торжественный грохот пушек, раздавался колокольный звон, и храмы оглашались молебным пением об его благоденствии и многолетию.

⁴⁷ Подлинные слова Бирона. (Примечание автора)

VIII

Ещё весной 1740 года стала разноситься в Петербурге молва о том, что здоровье государыни слишком ненадёжно. Говорили об этом, впрочем, между собою только близкие друг с другом люди, да и то с большой осторожностью. Между тем лазутчики герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли повсюду: они втирались в дома, забирались в присутственные места, шлялись по кабакам, рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, подслушивая, о чём толкует народ и вызывая сами людей словоохотливых на опасные речи, привлекавшие болтливых на расправу в тайную канцелярию. В числе таких соглядатаев был даже кабинет-секретарь Яковлев, одевавшийся для шпионских прогулок в старый мужицкий кафтан. Впрочем, осторожность, к которой попривыкли уже в Петербурге, не доставляла теперь лазутчикам слишком большой наживы, так что, по-видимому, всё обстояло благополучно, но тем не менее в воздухе как будто чуялась близость какой-то перемены. Это было затишье перед бурей.

Лето этого года было превосходное. По своему обыкновению, императрица провела его в Петергофе; там она несколько поправилась, но по возвращении к осени в город болезнь её стала заметно усиливаться, и к прежним недугам прибавилась ещё постоянная бессонница.

– Целые ночи напролёт глаз не сомкну и мучаюсь, – жаловалась Анна Ивановна и докторам, и приближённым к ней лицам, рассказывая им о своём нездоровье.

Действительно, бессонные ночи были для неё мучительны. Припоминая в это томительное время прошлое, она терзалась, когда приходили ей на мысль казни Долгоруких и Волынского; ей чудились их окровавленные призраки; но тщетно старалась она отогнать от себя страшные грёзы. Душевное её расстройство было чрезвычайно сильно, и совесть напомнила ей немало грехов, принятых ею на душу и ведением, и неведением.

Слухи об упадке сил императрицы, хоть и смутные, безостановочно выходили из дворца и распространялись по городу, а один необыкновенными загадочный случай подал повод к усиленному говору о близкой кончине государыни, и даже вовсе не суеверные люди увидели теперь несомненное предзнаменование этого события.

В один из последних дней сентября сильный морской ветер быстро и безостановочно гнал по небу тяжёлые тёмные тучи. Непогода и грязь задерживали жителей Петербурга по домам, и потому к ночи и без того уже неоживленные улицы города сделались совершенно пусты. Нева с шумом кадила свои чёрные волны, выступая из берегов с чрезвычайной быстротою, а часто повторявшиеся со стен Петропавловской крепости и с Адмиралтейства пушечные выстрелы – эти предостерегательные сигналы, установленные ещё Пет-

ром Великим, – оповещали обитателей столицы об опасности, угрожавшей им от наводнения.

В эту ночь едва ли кто-нибудь в Петербурге лёг спать. Все ожидали, что, быть может, придётся перебираться на вышки и чердаки. В ту пору наводнения в Петербурге, при несуществовании ещё Обводного канала и при невозможности отступления воды в подземные трубы, что бывает теперь, происходили чрезвычайно быстро, и Нева, не сдерживаемая ещё гранитными берегами, заливала прибрежные местности даже не при сильном морском ветре. При Петре I наводнения были очень часты, но они не только не пугали водолюбивого царя, но даже, напротив, забавляли его. Так, он, сообщая в одном из своих писем к князю Меншикову о бывшем в Петербурге наводнении, когда вода в комнатах царского домика доходила до 21 дюйма, а по улицам плавали в лодках, – писал: «Зело было потешно, что люди на кровлях и на деревьях будто во время потопа сидели, не точию (не только) мужики, но и бабы».

Петербургские жители и жительницы не слишком, однако, были рады предстоящей им теперь подобной ночной потехе и такому не слишком удобному сидению. Одни из них тоскливо поджидали близких им людей, не вернувшихся ещё домой; другие вытаскивали из погребов съестные запасы, укладывали свои пожитки и начинали переносить их в верхние жилья и на чердаки; третьи готовили лодки и ялики, чтобы перебраться на них в местности города, не залитые ещё

водою, когда же среди ночной тьмы и воя бури вдруг, точно молния, вспыхивал на небе красноватый блеск выстрела и следом затем грохотала пушка, то одни набожно крестились, а другие боязливо взглядывали друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше? Между тем ветер продолжал бушевать с такими сильными порывами, что, казалось, грозил не только вырвать оконные рамы, но и разметать деревянные домишки, из которых тогда состоял почти весь Петербург. С крыш летели сорванные ветром черепицы, доски и железные листы, также сыпались обломки кирпичей от опрокинутых дымовых труб.

В эту пору жильцы тех домов, которое выходили окнами на Адмиралтейскую площадь, были поражены странным зрелищем. В окна этих домов вдруг ударил какой-то мигающий багровый свет, казавшийся отблеском начинающегося пожара. Тревога ещё сильнее овладела увидевшими этот свет: ясно было, две могучие силы природы – вода и огонь – соединялись теперь вместе для беспощадного истребления и людей, и их достояния. Все кинулись к окнам, и тогда изумление глядевших достигло крайних пределов.

Багровый свет выходил из-под арки Адмиралтейства, стоявшей на том же месте, где и нынешняя. В то время здание Адмиралтейства имело такой же средний фасад, как и теперь, с высоким над ним шпилем; оно было окружено валами и рвами, в нём хранились припасы и снаряды морского ведомства, и с сумерек все ворота Адмиралтейства запира-

лись наглухо, так что не было ни входа туда, ни выхода оттуда. Свет под аркой усиливался всё более и более, и из рас­творённых ворот медленно начали выступать факельщики. Выйдя из-под арки, они брали влево к дворцу; ветер силь­но раздувал пламя факелов, и вскоре вся площадь озарилась каким-то зловещим багровым светом.

Непроглядная тьма бурной сентябрьской ночи не позво­ляла рассмотреть, что следовало в самом недалёком рассто­янии за факельщиками, тянувшимися длинной вереницей. Несомненно, однако, было, что по площади двигалась похоро­нная процессия. Но кого же могли хоронить так пышно, судя по множеству факелов? Никто из людей известных не умирал в это время в Петербурге, да никто из них и не жил в Адмиралтействе. Притом и похороны ночью не были в обы­чае.

Несмотря на страшную непогоду, иные выскочили сами на площадь, иные послали прислугу, чтобы узнать, кого хоро­нят. Бросившиеся опроретью на разведку очутились по ко­лено в воде, залившей площадь; ветер то сшибал их с ног, то крутил их на месте, срывая с голов шляпы и шапки. Если же некоторые, весьма, впрочем, немногие, молодцы и побе­жали смело вперёд, несмотря на все препятствия, то они не могли догнать процессии: она отдалялась от них по мере их приближения, и они видели только, как факельщики входили в ворота дворца, обращённые на площадь. После полуночи, часа в два, ветер стал стихать, и вода быстро пошла на

убыль. На другой день утром весь город толковал не столько о наводнении, сколько о загадочных похоронах. Рассказывали, что погребальная процессия, войдя в одни ворота дворца, прошла через двор и затем вышла в другие ворота на Неву и, взяв направо, следовала вдоль берега реки, но никто не мог разузнать, где она скрылась, а также никто не имел возможности осведомиться о том, кого хоронили. Рассказывали тоже, будто сама императрица была очевидицей этого явления, которое потрясло её вконец, так как она признала в нём предвестие своей смерти⁴⁸.

При суеверном настроении умов распространился и другой ещё диковинный рассказ⁴⁹. Толковали, будто императрице доложили, что по ночам в тронном зале бывает свет, но что туда в это время без её разрешения никто войти не смеет. Императрица пожелала сама узнать, в чём дело, и вот однажды ночью, когда свет появился в окнах тронной залы, она, в сопровождении дежурного своего штата и со взводом дворцового караула при заряженных ружьях, отправилась к дверям залы и приказала отворить их. Ужас овладел всеми, когда увидели, что на троне сидит сама государыня в роскошном одеянии, в порфире и с короною на голове. Императрица, как рассказывали, приказала солдатам сделать общий

⁴⁸ Очевидцем этого видения был корреспондент С. – Петербургской академии наук Шретер. (Примечание автора).

⁴⁹ Вероятно, многим приходилось слышать этот рассказ, с той, впрочем, разницей, что иногда его относили к Анне Ивановне, а иногда – к Екатерине II (Примечание автора).

залп по своему двойнику. Зазвенели разбитые пулями зеркала и оконные стёкла, и когда рассеялись клубы порохового дыма, то привидение медленно встало с трона, прошло мимо императрицы и, погрозив ей пальцем, исчезло бесследно в зале, мгновенно охваченной непроницаемым мраком.

Несмотря на развивавшийся всё более и более недуг, императрица бодрилась и оставалась на ногах, но 6 октября, когда она садилась за стол, ей сделалось так дурно, что её без памяти отнесли на постель. Первый медик императрицы, Фишер, сказал тогда герцогу, что это дурной признак и что если болезнь государыни будет усиливаться, то надобно опасаться, что вскоре вся Европа наденет траур. Другой же врач государыни, португалец Антоний Рибейро Санхец, считал болезнь её ничтожной. Императрица, однако, не доверяла этим придворным врачам и через комнатную свою девушку Авдотью Андрееву тайком советовалась с врачом Леисте ниусом, который приказал передать императрице, чтобы она насчёт своей болезни не имела никакого опасения и принимала бы только красный порошок доктора Шталя, который ей непременно поможет.

По возможности и теперь старались скрывать действительную опасность, угрожавшую государыне. Хотя знатные особы обоего пола и члены дипломатического корпуса приезжали каждый день во дворец, чтобы согласно этикету того времени осведомиться о здоровье её величества, но эти посещения имели вид приёмов обыкновенных гостей, а не

казались приездами лиц, заботившихся узнать о положении больной. Напускная весёлость поддерживалась во дворце, и съезжавшиеся туда гости толковали о том о сём, и только вскользь, в неопределённых выражениях, заявлялось им о состоянии здоровья императрицы; бюллетени же не были ещё в то время в обычае. Когда же однажды приехал во дворец французский посланник маркиз де ла Шетарди⁵⁰, то обер-гофмаршал, поблагодарив его за внимание, оказываемое государыне, предложил ему развлечься картами с принцем Антоном, который тотчас же и устроил партию. Вследствие всего этого о здоровье императрицы ходили самые разноречивые толки, а между тем уже близился час её кончины.

Томительные дни переживала в это время Анна Леопольдовна: неизвестность бывает почти всегда гораздо мучительнее, нежели какой бы то ни было печальный исход, и это испытывала теперь молодая принцесса.

Не предаваясь властолюбивым замыслам, Анна Леопольдовна тревожно ожидала решительного перелома в своей жизни: она, по воле своей тётки, или могла сделаться самодержавной её преемницей и затем свести давние счёты со своим притеснителем герцогом Курляндским, или же остаться в прежней тяжёлой от него зависимости, потеряв при том единственную свою покровительницу в лице государыни. Ничтожество её мужа проявилось в это время во всей

⁵⁰ Речь идёт об одном из опытнейших французских дипломатов, направленном в Россию с целью возвести на русский престол дочь Петра I Елизавету.

полноте: он ходил как потерянный и безоговорочно исполнял всё, что приказывали ему не только герцог, но и обергофмаршал граф Левенвольд. Принцесса волновалась всё сильнее и сильнее, смотря на своего робкого, ненаходчивого и бесхарактерного супруга.

Обыкновенно каждый человек мерит и хорошие, и дурные качества другого по своей собственной мерке, и теперь в голове Анны Леопольдовны ещё чаще стала мелькать мысль, что жизнь её могла бы сложиться совершенно иначе, если бы она шла рука об руку с любимым ею, смелым и решительным человеком, и таким человеком казался ей граф Линар. Несколько лет разлуки не изгладили его из памяти принцессы. Она не забывала, что Линар из любви к ней, – в ту пору загнанной и беспомощной девушке, – решался на такие отважные поступки, которые могли навлечь на него страшную беду и расстроить всю его будущность. Ей казалось, что оскорблённая государыня и разгневанный герцог, узнав о тайных его сношениях с Анной, могли самовластно поступить с Линаром так, чтобы он исчез совершенно бесследно в далёком, никому не известном заточении. Всё это придавало Линару в глазах молодой, влюблённой в него женщины особенную цену, и как сильно билось сердце её при воспоминании о том, кто дал ей почувствовать первую любовь с её мечтами и увлечениями! Ей живо припомнились теперь и непринуждённое обращение Линара с императрицей, его бойкость и находчивость в придворных собраниях, урывоч-

ные, но полные оболыщения беседы с ним с глазу на глаз и, наконец, та горделивая неуступчивость перед герцогом, которую не раз выказывал Линар, отвечая на грубые выходки временщика тонкими остроумными колкостями. Анна не забывала, что при дворе один только Линар умел держать герцога, зазнававшегося перед всеми, в таком почтительном положении, что они оба были друг с другом на равной ноге.

– Если бы на месте принца Антона был граф Мориц, то он повёл бы дело не так, как этот рохля, – думала Анна Леопольдовна, сравнивая Линара со своим мужем. – Тогда я не только была бы счастлива как женщина, но имела бы около себя надёжного защитника от всяких невзгод, – добавляла мысленно Анна.

Линар был, однако, далеко, и принцесса давно уже не имела о нём ни прямых, ни косвенных вестей. Мечты её о Линаре оставались несбыточными, а между тем действительность представляла для неё мало отрадного.

6 октября 1740 года определилось несколько будущее положение принцессы Анны Леопольдовны. В этот день сын её манифестом императрицы был объявлен наследником престола на случай кончины владеющей государыни. Распоряжение это было сделано ею крайне неохотно, после того ужасного припадка, который возбудил сильные опасения за жизнь Анны Ивановны. Слишком ревнивая к своей власти, она до последней крайности медлила с назначением принца Ивана своим наследником, отзываясь, что «ежели-де его

объявить великим князем, то уже всяк будет больше ходить за ним, нежели за нею».

Разумеется, что положение матери царствующего императора должно было бы быть самое блестящее, но теперь корона переходила к младенцу, лежавшему ещё в пелёнках. Другое лицо должно было править за него государством, и при этом принцесса-мать сталкивалась с опасным соперником – герцогом Курляндским, перед могуществом которого и собственное её бессилие, и ничтожество её мужа были слишком очевидны...

IX

Можно было подумать, что во дворце императрицы Анны Ивановны был назначен 17 октября 1740 года какой-то праздник. В этот день вечером к главному подъезду дворца подъезжали с разных концов города кареты и колымаги, из которых выходили пышно разодетые вельможи. Но слабое освещение дворцовых зал, блиставших обыкновенно во дни празднеств бесчисленными огнями люстр и кенкетов, господствовавшая во дворце тишина, озабоченные лица съезжавшихся туда вельмож, их перешёптывание между собой и осторожная ходьба указывали, что на этот раз вельможи собирались во дворец государыни не на весёлое пиршество. И точно, они спешили теперь туда вследствие извещения их придворными врачами о том, что императрица была при смерти. Собравшиеся в приёмной государыни сановники и царедворцы с тревожным ожиданием посматривали на двери, которые через ряд комнат вели в опочивальню государыни, откуда им должна была прийти весть о том, чем решилась судьба империи, а сообразно с этим и участь многих из них, так как, при известной перемене, одни из них могли ожидать для себя нового почёта и быстрого возвышения, тогда как другим предстоял при этом не только загон, но, быть может, и совершенное падение с добавкою к нему и конфискации, и дальнейшей ссылки.

Сломленная наконец давнишним и теперь сильно развившимся недугом, лежала на смертном одре Анна Ивановна, сохраняя ещё полное сознание. Обширная опочивальня её тускло освещалась двумя восковыми свечами, прикрытыми зонтом из зелёной тафты, и в этом полумраке в одном из углов комнаты ярко блестели в киоте⁵¹, от огня лампадки, золотые оклады икон, украшенные алмазами, рубинами, яхонтами, лалами, сапфирами и изумрудами. Иконы эти были наследственные благословения, переходившие от одного поколения к другому сперва в боярском, а потом в царском роде Романовых.

У одного из окон царицыной опочивальни стояли два главных врача императрицы, Фишер и Санхец; они вполголоса разговаривали между собой по-латыни, и по выражению их лиц нетрудно было догадаться, что всякая надежда на выздоровление государыни была уже потеряна и что они с минуты на минуту ожидали её кончины. В соседней со спальней императрицы комнате находился духовник Анны Ивановны, готовый напутствовать умирающую чтением отходной.

Около постели императрицы стояли: убитый горем герцог Курляндский, его жена с красными, припухшими от слёз глазами и Анна Леопольдовна. Всегда задумчивое и грустное лицо принцессы выражало теперь чувство подавляющей тоски. Опустив вниз сложенные руки и склонив печально го-

⁵¹ Киот – остеклённый ящик или шкафчик для икон.

лову, она как будто олицетворяла собой и беспомощность, и безнадёжность. Казалось, вся она сосредоточилась в самой себе, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг неё. Резкую противоположность с неподвижностью и сосредоточенностью принцессы представлял её супруг. Он, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу и подёргивая по временам плечами, то с каким-то тупым любопытством взглядывал на умирающую, то рассеянно смотрел на потолок и стены комнаты, то кидал недоумевающий взгляд на свою жену. Кроме этих лиц, в опочивальне императрицы находилась ещё любимая её камер-юнгфера Юшкова⁵² и одна комнатная девушка, безотлучно ходившая за государыней.

Среди тишины, бывшей в опочивальне государыни, слышался за дверью в соседней комнате сдержанный шум тяжёлых шагов. Герцог, стоявший около двери, быстро приотворил её и, делая знак рукой, чтобы приближавшиеся люди приостановились, подошёл к императрице и, нагнувшись к ней, спросил тихим голосом, позволит ли она явиться графу Остерману? Анна Ивановна движением головы выразила согласие, и тогда герцог повелительно указал глазами принцу Антону, чтобы он растворил двери. Принц исполнил приказание герцога, и четверо гренадёр от дворцового караула внесли в спальню государыни в креслах графа Андрея Ивановича Остермана, и она, напрягая свои силы, приказала,

⁵² Юшкова Анна Фёдоровна, камер-фрау Анны Ивановны.

чтобы его посадили в изголовье её постели.

При появлении Остермана находившиеся около императрицы поспешили выйти из комнаты, и из всех бывших там прежде остались теперь герцог, принц и принцесса.

– Не угодно ли будет вам удалиться отсюда, – сказал сурово герцог принцу и с такими же словами, но только произнесёнными мягким и вежливым тоном, он обратился к Анне Леопольдовне.

Принц Антон не заставил герцога повторять приказание и, почтительно поклонившись ему, начал осторожной поступью, на цыпочках, выбираться из спальни. Но Анна Леопольдовна как будто не слышала вовсе распоряжения герцога: она оставалась неподвижно на том месте, где стояла.

– Я покорнейше прошу ваше высочество, – сказал ей с некоторой настойчивостью герцог, – отлучиться отсюда на короткое время: её величеству угодно наедине, в присутствии моём, переговорить с графом...

Анна не трогалась с места и только презрительным взглядом окинула герцога.

Императрица заметила происходившее между герцогом и своей племянницей и с сердцем начала говорить что-то, но не совсем внятно. Остерман догадался, в чём дело. Делая вид, что силится привстать с кресел, он обратился лицом к Анне Леопольдовне и почтительно сказал ей:

– Ваше высочество, её императорскому величеству угодно на некоторое время остаться только с его светлостью и со

мною.

Принцесса порывисто бросилась к постели и, схватив руку тётки, крепко несколько раз поцеловала её и затем, не говоря ни слова, спокойно, тихими шагами вышла из комнаты.

– Ого! – подумал герцог, смотря вслед удалявшейся Анне Леопольдовне, – с ней, чего доброго, придётся повозиться.

Герцог, выпроводив всех, заглянул из предосторожности за обе двери и, уверившись, что теперь никто не может подслушивать, стал около кресла Остермана.

– Осмелюсь доложить вашему императорскому величеству, – начал нетвёрдым и прерывающимся голосом Остерман, – осмеливаюсь доложить по рабской моей преданности, что хотя Всевышний и не отнимает у верноподданных надежды на скорое выздоровление матери российского отечества, но что тем не менее положение дел теперь таково, что вашему величеству предстоит необходимость явить ещё раз знак материнского вашего попечения о благе под скипетром вашим управляемых народов.

– Ты, видно, хочешь сказать, Андрей Иванович, что настоят надобность в моём завещании о наследстве престола и о регентстве?

– Никто не сомневается в выздоровлении вашего величества, – подхватил герцог, – но обстоятельства теперь таковы, что если вы, всемилостивейшая государыня, не объявите вашей воли, то впоследствии нас, лиц самых приближённых к вам, русские станут укорять в злых умыслах и не упустят об-

винять в том, что мы, пользуясь случаем, хотели установить безначалие, с тем чтобы захватить власть в свои руки.

– Его светлость имеет основание высказывать перед вашим величеством подобные опасения, – заметил Остерман, вынимая бумагу из кармана.

– Какая у тебя это бумага? – спросила государыня Остермана.

– Завещание вашего императорского величества.

– А кто писал это?

Остерман приподнялся и, поклонившись, отвечал: «Ваш нижайший раб»⁵³.

Сказав это, Остерман начал читать завещание и когда дошёл до той статьи, по которой герцог Курляндский назначался регентом на шестнадцать лет, т. е. до совершеннолетия будущего императора, то Анна Ивановна спросила герцога: «Надобно ли тебе это?»

Герцог упал на колени у постели, целуя ноги императрицы, высказал ей ужасное положение, в какое он будет поставлен, если Всевышний, сверх ожидания, к прискорбию верно-подданных, воззовёт к себе его благодетельницу прежде его самого. Он напоминал ей о своей безграничной преданности, о многих годах, проведённых с нею безотлучно, о сильных и неумолимых врагах, которых он нажил себе, слепо повинаясь её воле, об участи своего семейства, которое остаётся без всякой помощи, на произвол судьбы.

⁵³ Исторически верно. (Примечание автора)

Остерман поддерживал слова герцога, пуская в ход своё красноречие.

– Поддай мне перо, Эрнест, – сказала наконец императрица Бирону.

Герцог живо исполнил это приказание и стал поддерживать императрицу, которая приподнялась на постели, подписала дрожащей рукой бумагу, положенную перед нею Остерманом на маленьком столе, стоящем возле неё.

– Мне жаль тебя, герцог! – сказала императрица, бросив перо и отстраняя от себя рукою подписанную ею бумагу.

Слова эти сделались историческими, и после превратностей, постигших Бирона, прозорливые историки стали видеть в них пророчество о печальной судьбе герцога. Но кто знает, не были ли эти слова простым выражением скорби, навеянной на Анну Ивановну при мысли о вечной разлуке с таким близким человеком, каким был для неё этот любимец?

– Ты кончил всё, Андрей Иванович? – спросила государыня Остермана.

– Кончил, ваше величество, но я надеюсь вскоре снова явиться к вам для получения высочайших ваших повелений по некоторым делам, – сказал граф.

Анна Ивановна отрицательно покачала головою.

Герцог вышел в другую комнату, и через несколько минут вошли в спальню гренадёры, чтобы вынести на креслах Остермана.

– Прощай, Андрей Иванович! – сказала ласково государы-

ня, протягивая руку Остерману, который с трудом нагнулся в креслах, чтобы поцеловать её.

Когда Остерман был вынесен в приёмную, то находившиеся там адмирал граф Головин и обер-штаб-майстер князь Куракин сказали ему: «Мы желали бы знать, кто наследует императрице».

– Молодой принц Иван Антонович, – ответил кабинет-министр, не сказав ни слова ни о завещании, ни о назначении регентом герцога Курляндского.

Ответ Остермана распространился тотчас между вельможами, бывшими в это время во дворце, а потом перешёл в городскую молву.

– Значит, царством будет править принцесса Анна Леопольдовна, – говорили в городе.

– Да кому же другому, как не ей, – замечали на это, – ведь она ближе всех императрице, да притом и родная внучка царя Ивана Алексеевича, ведь не быть же приставниками при государе герцогу Курляндскому или принцу Антону, – герцог ему чужой человек, а принц хоть и родитель, да никуда не годится – труслив как заяц.

Затем начались толки о принцессе, и большинство голосов склонялось в пользу её, как женщины доброй и рассудительной.

Подпись завещания, трогательные речи герцога жестоко потрясли Анну Ивановну. Силы её стали быстро упадать, и она, сознавая приближение смерти, выразила желание про-

ститься с близкими к ней людьми.

Осторожно, едва переводя дыхание, начали теперь входить в опочивальню царицы из приёмной бывшие там сановники. Становясь на одно колено у постели умирающей государыни, они целовали её руку. Между прочими подошёл к ней и старик Миних.

– Прощай, фельдмаршал, – сказала ему императрица, и это прощание было последними её словами.

Императрица впала в тяжёлое забытьё. Наступила борьба угасавшей жизни с одолевающей её смертью. Государыня с трудом дышала и, открывая по временам глаза, казалось, хотела узнать окружающих её. Теперь близ неё оставались герцог, герцогиня, Анна Леопольдовна с мужем, духовник и доктор Фишер. Дыхание умирающей постепенно делалось реже, отрывистее и тише, она с трудом поднимала отяжелевшие веки над помутившимися её глазами и металась головой на подушке. Наступила минута спокойствия, государыня лежала неподвижно. Затем послышался глубокий вздох, за ним сперва глухое и потом всё более и более усиливающееся хрипение, и умирающая вытянулась во весь рост, закинув на подушке голову.

В безмолвии, среди мёртвой тишины, смотрели все присутствующие на отходившую в вечность грозную самодержицу.

Первый подошёл к ней Фишер; он осторожно рукой коснулся пульса императрицы, потом положил руку на её серд-

це, внимательно прислушиваясь к её дыханию.

– Всё кончено, – сказал он, обратившись к герцогу.

Герцогиня взвизгнула и опустилась без чувств в кресла. Бирон упал на колени и, припав головой к постели, зарыдал, как ребёнок. Принц Антон быстро заморгал глазами и, совершенно растерянный, не знал, что делать. Анна Леопольдовна сделалась ещё бледнее, судорожное движение пробежало по её губам, и она вперила свои тёмные, задумчивые глаза в лицо скончавшейся государыни, на котором проявлялось теперь торжественное спокойствие, набрасываемое обыкновенно смертью в первые минуты своей победы над отлетевшей жизнью...

Неподвижно оставался герцог у изголовья почившей государыни. Всё прошлое быстро промелькнуло в его памяти. Среди воспоминаний о своём необыкновенном величии и могуществе ему грезились теперь и пышность двора, и перлы герцогской короны, и даже представлялась в какой-то туманной дали шапка Мономаха с протянутой к ней рукой. В ушах его гудел теперь звон кремлёвских колоколов и слышались приветственные крики народа, раздававшиеся при появлении на красном крыльце только что венчанной царицы. Но наряду с этими величавыми воспоминаниями теснились и другие, противоположные воспоминания: ему представлялась его родная, убогая немецко-латышская мыза с соломенной кровлей; ему припоминались дни кипучей его молодости, проводимые большей частью впроголодь; перед ним

промелькнула даже и неприглядная кенигсбергская кутузка, в которой он – будущий владетельный герцог – отсидел некогда за долги, буйство и ночное шатание⁵⁴. Теперь в голове его призраки недавнего блеска и славы мешались с призраками давнишнего убожества и ничтожества, и поражённый горем герцог мгновенно оценил всё, чем он был обязан единственно милостям императрицы. Последней из этих милостей было назначение его регентом империи, следовательно, власть не ускользала из его рук. Герцог ободрился при этой мысли и твёрдыми шагами вошёл в приёмную, где русская знать приветствовала его раболепным поклоном...

⁵⁴ Историк М. И. Семевский в своей книге «Царица Екатерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс» (СПб., 1884) пишет следующее: «Бирон в молодости оставил родину и поселился в Кенигсберге для слушания академических курсов; ленивый, неспособный, он вдался в распутство и в 1719 году попал в тюрьму за участие в уголовном преступлении...». Известно, что помог ему выбраться из неё не кто иной, как Виллим Монс.

Х

При распространившейся вести о кончине императрицы весь Петербург ранним утром пришёл в необыкновенное движение. Казалось, все жители его высыпали на улицы. Густые толпы народа валили к Летнему дворцу, на углах и перекрёстках собирались отдельные кучки, принимавшиеся было судить и рядить о том, что теперь будет, но полицейские драгуны усердно разгоняли их. На площадях и в разных местах города расставляли пешие караулы и конные пикеты от гвардейских и напольных полков. На заставы был послан приказ не выпускать никого из города впредь до особого разрешения. Полиция торопилась запереть кабаки и бани, чтобы предупредить народные сборища. На площади перед Зимним дворцом выстраивались полки. На улицах по мостовой и по голой земле, охваченной первыми морозами, глухо стучали экипажи сановников, царедворцев и высших военных чинов, спешивших в Зимний дворец для принесения присяги новому государю, безмятежно спавшему в колыбели. Когда на дворцовой площади выстроились войска, то им было прочитано распоряжение императрицы о наследии престола и о назначении герцога Курляндского регентом империи.

– Вот тебе и на, – слышалось в войске, – а родительница-то государя при чём же теперь будет?

– А что же станет делать принц Брауншвейгский? – спрашивал один гвардейский офицер своего товарища.

– Да что принц? Тряпка он, братец ты мой, больше ничего. Разве ты не видел, что он, как подполковник Семёновского полка, зяб на площади наравне с нами, когда читали указ о регентстве. Тут ли его место? Сына его возглашают государем, а он между солдатства находится. Принцессу-то жаль, братец ты мой, что поделает она с такой разиней?..

– Значит, опять пойдут прежние порядки? Плохо...

– Разумеется, плохо.

Подобные речи, в порицание герцога и принца и в сожаление к Анне Леопольдовне, слышались и в войске, и в народе, но делать было нечего. Власть регента утвердилась окончательно, и он в новом звании принёс перед фельдмаршалом Минихом торжественную присягу.

Твердя о своей безграничной привязанности к покойной государыне, герцог хотел оставаться при её гробе до самого погребения и потому не переезжал в Зимний дворец из Летнего, где скончалась императрица и где должно было оставаться её тело до перенесения его в Петропавловский собор. Между тем Анна Леопольдовна изъявила намерение переехать на житьё в Зимний дворец и взять туда с собою своего сына. По поводу этого произошла бурная сцена⁵⁵.

– Я сегодня, герцог, переезжаю в Зимний дворец, – сказа-

⁵⁵ Известие об этом находится в донесении французского посланника маркиза де ла Шетарди. (Примечание автора)

ла регенту принцесса в присутствии своего мужа и его адъютанта Грамотина.

– Это зависит совершенно от воли вашего высочества, – отвечал с почтительным равнодушием герцог.

– Я беру туда с собой своего сына, – добавила принцесса.

– Этого никак нельзя допустить, – отрывисто промолвил регент.

– Как нельзя? – спросила изумлённая Анна Леопольдовна, окинув его высокомерным взглядом.

– Никак нельзя, – повторил настойчиво герцог. – Вам известно, что по воле покойной государыни император поручен непосредственным моим попечениям, и потому он постоянно должен быть там, где нахожусь я.

Принц кивнул головой в знак согласия и, заикаясь, начал бормотать что-то.

– Вы здесь, ваша светлость, ничего не значите, – сказала запальчиво Анна Леопольдовна своему мужу, отдаляя его рукой от герцога. – Я без вас сумею свести мои счёты с регентом и объявляю ему, что беру к себе своего сына.

Регент сделал было несколько шагов по направлению к дверям той комнаты, где был помещён император, но принцесса кинулась к этим дверям и загородила ему дорогу.

– Вы не войдёте к его величеству... Я мать вашего государя, и никто в мире не отнимет у меня моего сына! – вскрикнула принцесса и опрометью побежала в его покои.

Герцог остановился и гневно взглянул на принца, который

опять заикнулся сказать что-то.

– Я просил бы вашу светлость, – сказал раздражённый герцог, искавший, на ком бы сейчас выместить свою досаду, – не вмешиваться в мои дела с принцессой. Вы слышали, что её высочество сказала вам в глаза, и вы должны знать, что посредничество бывает хорошо только со стороны умных людей, а не... – Герцог как будто опомнился и не договорил слова, бывшего уже у него на языке.

Во время этой сцены Грамотин не знал, что ему делать. В запальчивости своей герцог не обращал на него внимания, а принц как будто не замечал его, и Грамотин, не получая ни от того, ни от другого приказа удаляться, считал своей обязанностью оставаться безотлучно при своём начальнике.

С радостным чувством смотрел Грамотин на бойкость и неуступчивость, так неожиданно проявившиеся в принцессе. От волнения он чуть не задышался.

– Недаром же полюбились мне она, – подумал он, – право, за такую женщину и головы сложить не жаль.

Герцог случайно обернулся назад и, видя стоявшего навывтяжку адъютанта принца, сделал ему знак рукой, чтоб он вышел.

– Вы, любезный мой принц, – начал по уходе Грамотина герцог, – должно быть, вовсе не понимаете настоящего вашего положения. Неужели же вы не замечаете, что жена ваша ненавидит вас... Впрочем, – добавил герцог со свойственной ему грубой откровенностью, – чтобы лучше уяснить вам от-

ношение к вашей супруге, я должен сказать вам, что принцесса прямо говорила покойной государыне, что она лучше пойдёт на плаху, чем выйдет за вас замуж. Понимаете теперь, что вы значите?⁵⁶

В это время под окном дворца послышался стук экипажа, и герцог увидел карету Анны Леопольдовны, подъезжающую к парадному подъезду, на который выходила принцесса в сопровождении мамки, нёсшей на руках укутанного в тёплое одеяло императора. Герцог быстро накинул обыкновенно носимый им тёмно-синий бархатный плащ, подбитый горностаем, и выбежал на подъезд. В это время принцесса, посадив сына в карету, становилась сама на подножку. Регент понял, что теперь пререкания с Анной Леопольдовной будут и неуместны, и бесполезны, и потому, сняв свою с алмазным аграфом шляпу, почтительно помог принцессе сесть в карету, отдав ей на прощание низкий поклон.

В тот же день вечером регент свиделся с Остерманом и передал ему затруднения, какие встречает он в своих отношениях к Анне Леопольдовне.

– Я очень хорошо знаю характер принцессы, – начал спокойно Остерман, выслушав жалобы регента, – подобные вспышки будут у неё повторяться часто, и если бы у неё нашёлся когда-нибудь твёрдый и умный руководитель, не такой, конечно, как её супруг, то она была бы в состоянии отважиться на многое. Надобно, как я думаю, подчинить прин-

⁵⁶ Исторически верно. (Примечание автора)

цессу влиянию такого человека, который был бы нам безусловно предан.

– Да где найдёшь его?.. – спросил регент.

– А граф Линар. Мы вызовем его сюда, доставим почётное положение, дадим ему богатство, он сблизится с принцессой, и затем, как обязанный всем вашей светлости, Линар будет на нашей стороне. При таком условии представится для нас ещё и другая выгода: Линар – немец, а потому немцы и найдут в нём поддержку.

– Но, быть может, Анна забыла совсем Линара? Скоро три года, как он уехал из Петербурга.

– Поверьте мне, ваша светлость, что она не успела ещё забыть его. У таких женщин, как она, первая любовь долго, даже очень долго не изглаживается из сердца. Повторяю, что я знаю очень хорошо принцессу, я слишком много слышал о ней от г-жи Адеркас, и убеждён, что она очень охотно променяла бы на любовь не только власть правительницы, но и корону.

В то время, когда герцог и Остерман обдумывали способы к исполнению этого коварного плана, в Летнем дворце шли деятельные приготовления к парадной выставке набальзамированного тела императрицы. С той стороны Летнего дворца, которая была обращена к саду, виднелось траурное убранство: не только главный средний вход, но и два боковые входа были завешаны снаружи завесами из чёрной байки с отделкой из чёрного флёра. Над главным входом был пове-

шен государственный герб, окружённый гербами тогдашних тридцати двух русских провинций.

Стены главной дворцовой залы были убраны так, что, казалось, они были отделаны чёрным мрамором с жёлтыми жилками. У стен около окон стояли двойные столбы из серого мрамора на мраморных пьедесталах тёмно-жёлтого цвета. По сторонам окон и дверей шли горностаевые каймы, а сами двери и окна были завешаны чёрным сукном, которым были обиты и потолок, и пол залы. Карниз около всей залы был отделан золотой парчой и белой кисеёй, а над карнизом возвышались вышитые по золотому полю чёрные двуглавые орлы, под самым же потолком были размещены гербы провинций и каждый из этих гербов поддерживался двумя младенцами. Это должно было означать, что все провинции России лишлись своей матери. «Для большего же изъявления печали, – говорилось в современном описании убранства залы, – означены были при окнах на чёрных завесах многочисленные серебряные слёзы, которые должны были происходить от помянутых при гербах представленных плачущих младенцев».

При одной из стен залы был пристроен катафалк, возвышавшийся на несколько ступеней, и на нём был поставлен одр. Ступени катафалка были обиты малиновым бархатом и украшены богатым золотым галуном, а одр был застлан драгоценным с чёрными орлами покровом из золотой парчи, широко раскинутым на все стороны. Кисти и шнуры покрыва были сделаны из «волочёного» золота. Позади гроба стена

была покрыта широкой императорской мантией из золотой парчи, с вышитыми орлами, подбитой горностаем; золотые шнуры мантии держала с каждой стороны «крылатая фама», т. е. слава, обыкновенной человеческой величины, а среди мантии был помещён государственный герб.

На одре был поставлен золотой гроб с серебряными скобами и такими же ножками. в нём лежала покойная государыня в императорской короне; на груди её блеснул драгоценный бриллиантовый убор, а шлейф её серебряной глазетовой робы был выпущен из гроба на несколько аршин. Гроб был осенён золотым балдахинном, подбитым горностаевым мехом.

По четырём сторонам гроба «сидели в печальном виде и в долгой одежде четыре позолоченные статуи», представлявшие: радость, благополучие, бодрость и спокойствие. Печальный их вид должен был означать, что «российская радость пресеклась; всё благополучие прекратилось, вся бодрость упала и самое спокойствие миновало». На верхней ступени катафалка стояло десять обитых малиновым бархатом табуретов с золотыми ножками, с золотыми глазетовыми подушками, на них лежали корона императорская и короны царств: Казанского, Астраханского и Сибирского, скипетр, держава и знаки орденов: андреевского, alexандровского и екатерининского, а также польского белого орла. От катафалка по обеим сторонам в длину залы были расставлены «добродетели в подобии белых мраморных статуй». Они изображали ревность к Богу, веру, храбрость и множество

других добродетелей почившей государыни, в числе которых было и «великолепие». Статуи эти были украшены напыщенными девизами. На стенах залы висели медальоны, напоминавшие на письме и в живописи подвиги, славу и добродетели Анны Ивановны. Сверх всего этого в зале было здание, сделанное из мраморных серых и красных досок в виде пирамиды, на которой была изображена хвалебная надпись в честь покойной государыни, и на эту надпись указывала вылитая из металла в обыкновенный рост статуя России.

С потолка залы спускалось шестнадцать больших серебряных и хрустальных паникадил⁵⁷; при окне и при каждой двери стояли огромные хрустальные канделябры, так что вообще в зале постоянно горела тысяча восковых свечей.

Среди этой пышно-льстивой и как будто языческой обстановки громко раздавались возглашаемые дьяконом слова евангельского обетования: «И изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда»...

⁵⁷ Паникадило – висючая люстра в церкви.

XI

Снежная октябрьская выюга свободно гуляла по широким улицам и тогдашним пустырям Петербурга, то наметая, то размётывая огромные сугробы снега, резво кружившегося в воздухе и клубами поднимавшегося с земли. Вечерело, и фонари, заведённые в Петербурге ещё с 1723 года Петром Великим, стали тускло мерцать на огромных расстояниях, задуваемые сильным ветром. В эту пору, закутавшись в епанчу⁵⁸ и нахлобучив на глаза шапку, пробирался с адмиралтейской стороны на Васильевский остров, в бывшие тогда ещё там «светлицы» или казармы Преображенского полка, вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин к своему приятелю поручику Ханыкову, который, по месту своей службы, жил в одной из светлиц этого полка.

Светлица была простой бревенчатой избой в пять маленьких окон по главному фасаду и с входной посреди их дверью, ведущей в обширные сени, по бокам которых шли комнаты, отводимые для жилья офицерам и нижним чинам. Быт тогдашних гвардейцев, за исключением высших чинов или офицеров особенно богатых, не отличался ни изысканностью, ни удобством обстановки. Так, поручик Ханыков, человек не слишком достаточный, жил в довольно просторной комнате с маленькими окнами. Стены его жилья бы-

⁵⁸ Епанча – длинный и широкий старинный плащ.

ли деревянные, неоштукатуренные, не оклеенные обоями. В переднем углу, по православному обычаю, висело много икон с постоянно теплившейся перед ними лампадкой, на стенах наклеены были суздальские лубочные картинки, преимущественно благочестивого содержания, между ними висело небольшое зеркальце. К стене были прислонены тогдашний тяжёлый мушкет и протазан – стальное копьё на чёрном трёхаршинном древке с серебряными кистями. На стене виднелись также развешанные в большом порядке служебные доспехи поручика: огромная шпага с перевязью из выбеленной лосиной кожи; чёрная кожаная шапка с кругловатой тульей, с жёлтой медной бляхой и с большим чёрным страусовым пером; суконный тёмно-зелёного цвета кафтан с маленьким отложным воротником, обшлагами и оторочкой из красного сукна и с жёлтыми медными пуговицами и красный суконный камзол. Наряд этот, вздетый на поручика, дополнялся красными суконными панталонами, белым галстуком и высокими сапогами с раструбами или, при большом параде, башмаками с огромными медными пряжками при белых чулках. Время теперь было смутное, неровен был каждый час; офицера могло потребовать начальство во всякую минуту, и поэтому предусмотрительный поручик держал наготове весь свой убор, чтобы явиться на полковой двор тотчас же при первом ударе тревоги.

Меблировка у поручика была весьма незатейлива: в комнате стояло несколько простых, окрашенных красной крас-

кой кресел, обитых чёрной кожей, такое же жёсткое канапе и постель, сооружённая из наследственных перин и подушек, устроенная на козлах из простого белого дерева. Не более как несколько дней тому назад на этом ложе поручик спал богатырским сном, возвращаясь с утомивших его экзерциций, обходов и караулов. Но теперь, говоря поэтически, сон не смыкал его вежд; всю ночь напролёт беспокойно ворочался он с боку на бок, потому что раздражающие и тревожные мысли не давали ему покоя: он постоянно обдумывал опасное дело, за которое готов был на плахе сложить свою голову. Убранство комнаты дополняли огромный обитый железом сундук с разным скарбом и два стола. На одном из них была приготовлена неприхотливая закуска, преимущественно из деревенских запасов, присланных поручику его заботливыми родителями, а у другого стола, облокотившись на него, сидел в ожидании гостей хозяин, призадумавшись и посасывая кнастер из коротенькой голландской трубки. Большая комната слабо освещалась одной порядочно нагоревшей сальной свечой.

Сильный стук железным кольцом у входной с улицы двери вывел поручика из задумчивости, он встрепенулся, а слуга его опроретью бросился из соседней комнаты, чтобы отворить дверь. Вслед за тем показался на пороге занесённый снегом Камынин. Вскоре после него, в таком же виде, пришли один за другим и другие гости Ханыкова: поручик Преображенского полка Пётр Аргамаков и два сержанта того же

полка – Алфимов и Акинфеев. Прежде всего хозяин предложил гостям подкрепиться выпивкой и «ужиною», т. е. вечерней закуской, и после непродолжительного калякания о тяготах военной службы, о притеснениях и несправедливостях, испытываемых русскими со стороны командиров-немцев, между собеседниками завязался разговор политического свойства⁵⁹.

– Для чего так министры сделали, что управление Всероссийской империи, мимо его императорского величества родителей, поручили его высочеству герцогу Курляндскому? – заговорил хозяин дома. – Что мы сделали? – допустили государева отца и мать оставить; они – надеюсь – на нас плачутся. Отдали всё государство какому человеку? – регенту. Что он за человек?... Лучше бы до возраста государева управлять государством отцу государеву или матери.

– Вестимо, что это справедливее было бы, – заметил сержант Алфимов.

– Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите, – укорительным тоном продолжал хозяин, обращаясь к Алфимову и Акинфееву, – ведь вы знать должны, что у нас в полку надёжных офицеров нет, так что и посоветоваться не с кем, да и надеяться-то не на кого; разве только вы, унтер-офицеры, толковать о том солдатам станете.

⁵⁹ Разговор этот основан, с удержанием почти всех подлинных выражений, на следственном деле, производившемся о действующих здесь лицах. (Примечание автора)

– Отчего бы и не так, – перебил Акинфеев.

– Дельно, – поддакнул поручик Аргамаков.

– Я уже об этом и здесь, и при строении казарм⁶⁰, и в других местах многим солдатам говорил, – продолжал Ханьков, – и солдаты все на это позываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери государство регенту отдали, и бранят нас, офицеров, и вас, унтер-офицеров, за то, что ничего не начинаем. Говорят, что им самим, солдатам, без офицерства и унтер-офицерства ничего зачать не можно, и корят нас за то, что когда был для присяги перед дворцом строй, мы напрасно им того не толковали...

– Да, следовало бы нам в ту пору так сделать, а то ныне с регентом трудноато уже справиться, – заметил Аргамаков, – крепко он утвердился, большую власть он забрал. Вот уже и в церквах молитву за него возносить стали; просят, чтобы Господь пособил ему во всём и покорил бы под ноги его всякого врага и супостата. Сердце у меня, братцы, облилось кровью, как в прошлое воскресенье услышал я за обедней этот возглас, а дьякон-то точно с умыслом орёт во всю глотку... Обрадовался, что ли?

– Да, тогда, как строй был полегче, можно было бы сладить с регентом, я бы, – говорил Ханьков, – сказал бы только гренадёрам, и никто бы из них спорить тогда не стал; все бы они за мной как один человек пошли, а побоявшись их,

⁶⁰ В то время строились казармы Преображенского полка в нынешней их местности. (Примечание автора)

и офицеры стали бы солдатскую сторону держать. Прозевали мы, что делать! А сказать должно, что только скрепя своё сердце я гренадёрам ничего не говорил, и потому именно, что я намерения государыни-принцессы не знаю, угодно ли ей то будет...

– Разумно говоришь, – отозвался Аргамаков, – да кому же нам и порадеть, как не ей, нашей голубушке. Все мы за неё костями ляжем, прикажи она только...

– Ну, брат, пожалуй, что и не все так поступят, как ты думаешь, – перебил сердито Ханыков, – в полку у нас многие крепко сторону цесаревны Елизаветы Петровны держат; говорят: ей-де следует, по великому её родителю, царская корона, а не принцессе...

– Да мы осилим их, если на то дело пойдёт! – бойко крикнул Акинфеев, – хотя и обереги нас Господь Бог от междоусобной брани, – добавил он, вздохнув, и затем, обратившись к образам, набожно перекрестился.

– Да на что же цесаревне корона? Отречётся она от неё: волю больно любит, – заметил Алфимов.

– Это правда, – подхватил Ханыков, – государыня, принцесса куда как степеннее цесаревны будет. Вот хотя бы и с мужем постоянная неладица у неё идёт, а всё-таки о ней никто дурного слова не скажет. Да послушали бы вы, господа, что говорит о ней Грамотин: умом и смелостью её не нахвалится. Рассказывал, как она при нём с регентом схватилась. Только и твердит всем и каждому: вот бы настоящая-де ца-

рица была...

– Уж не норовит ли он при ней в обер-камергеры да в какие-нибудь такие-сякие герцоги ингерманландские, – с колкостью вмешался безмолвствовавший до того времени Камынин.

– Ты, брат, Лукьян Иваныч, больно острословен, полно тебе трунить и издеваться над Грамотиным, – внушительно и сурово заметил Ханыков, – что он? дорогу тебе нешто перебивает? Грамотина я знаю: он человек хороший, а об её высочестве при мне никто и заикаться не смей... Стыдно тебе, братец...

– Стыдно так стыдно, – равнодушно проговорил Камынин, – а вот тебя так любо послушать; смотри только, что скажут на твои смелые речи другие, а о государыне-принцессе обмолвился я ненароком, так с языка сболтнулось, потому что и сам, как православный, постоять готов за неё, чтобы только сжить с рук проклятых немцев.

– Ты спросил, Лукьян Иваныч, что скажут другие на смелые речи Ханыкова, да вот что скажут, – крикнул Аргамаков, – скажут, до чего мы дожили? Какова теперь наша жизнь? Что случилось с Россией! Лучше бы я сам себя заколол за то, что мы, гвардейцы, допустили сделать, и хоть бы из меня жилы принялись тянуть, то и тогда я говорить это не перестану...

– Нам бы только как-нибудь проведать поточнее, что государыне-принцессе угодно будет, а постоять бы за неё мы

сумели, – с жаром начал Ханыков, – я здесь, а Аргамаков на Сан-Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем. Я привёл бы свою гренадёрскую роту, потому что вся она пошла бы за мной, а к нам пристали бы и другие, и тогда мы регента и согласников его, Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого, живой бы рукой убрали⁶¹, а государыне-принцессе правительственную власть, а не то, статья может, и корону бы доставили...

– Я, братец ты мой, нисколько не прочь от такого хорошего дела. Только бы Господь помог нам в этом, – проговорил решительным голосом Аргамаков.

– Да и помимо уже её высочества нам теперь и за самих себя постоять приходится. Есть у нас в полку один солдатик, который к регентовым служителям частенько ходит, – начал снова Ханыков, – так вот этот-то самый солдатик и рассказывал, что регентом намерение есть ко всем разные милости оказать, а нам, преображенцам, – насмешливо добавил поручик, – явить ту высокую милость, чтобы в наш полк великорослых людей из курляндцев набрать. Оттого-де, говорит регент, полку красота будет. Вишь, какую новую милость придумал! Как будто меж нас, русских, рослых молодцов и даже богатырей не отыщется? Да не в том, впрочем, и вся-то штука, а в том, мои приятели, что хотят нас, православ-

⁶¹ Имеются в виду, кроме Остермана, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин (1693—1766), граф, генерал-фельдмаршал, канцлер с 1744 по 1758 г., крупный дипломат и князь Никита Юрьевич Трубецкой, генерал-прокурор.

ных, совсем из первейшего что ни на есть российского полка, немцами повытеснить!..

– Говорят, однако же, и о разных других заправских милостях, – начал тихим голосом Камынин, – хотят всему солдатству особенную милость оказать и жалованье ему за треть выдать; доимку вперёд не взыскивать, да и возвратить её тому, с кого прежде взята была, а из гвардейских полков отпустить дворян в годовой отпуск, вычтенными же из жалованья их деньгами казармы отстраивать, и тем самым солдатство и всех к милости будто приводят. А на самом-то деле всё это выходит не так: только провести хотят нас министры. Вот хоть бы мне Бестужев и дядюшка, а, прости Господи, какой он, к чёрту, министр! Не пожалел бы я и его, если бы с ним до расправы дошло. Хорошо было бы, если бы Аргамаков по полкам подписку сделал о том, чтобы просить её высочество государыню-принцессу правление принять. Чаять надо, что всё обошлось бы тогда спокойно и государственная перемена надлежащая была бы у нас.

– Думали, братец, и об этом, – заговорил снова Ханыков, – ходили с тем к графу Головкину господа семёновские офицеры, да что из этого вышло? Водил их ревизион-коллегии подполковник Любим Пустошкин, чтобы заявить, что всё офицерство против регента и на сторону государыни-принцессы склоняется, и говорили графу Головкину, что хотят, мол подать о том челобитную от российского шляхетства. Головкин и сказал им, что он, как им это известно, и сам вольные речи

о регентстве говорил, за что он теперь от всех отрешён и едет в чужие края, так что делом этим заняться ему некогда, а посоветовал им, чтобы они со своим намерением к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому отправились. Тот похвалил господ семёновских офицеров и под тем предлогом, что ему сейчас важные дела спешно отправлять приходится, просил, дабы они на другой день к нему пожаловали, а сам шмыгнул к регенту, да всё, как было, и пересказал ему.

Говоря это, Ханыков случайно взглянул на Камынина, который заметно смутился и принялся откашливаться. Гости поручика потолковали ещё добрый час о том и о другом, и все их речи сводились к тому, что надобно поскорее приняться за дело в пользу Анны Леопольдовны. Потом повыпили, позакусили ещё и стали собираться по домам.

– Говорили мы обо всём только промеж добрых приятелей, – сказал, прощаясь, Камынин своим товарищам, – дело наше смертельное, и тому, кто из нас станет доносить один на другого, такому доносчику – первый кнут!

– Ладно, ладно, – заговорили все, – мы, братцы, люди честные и друг друга даже и в пытке не выдадим.

Выйдя от Ханыкова и разлучившись на дороге со своими товарищами, Камынин направился быстрыми шагами к дому своего дяди Бестужева-Рюмина. Камынин разбудил его и передал ему всё, что слышал у Ханыкова, а Бестужев, горячий приверженец регента, несмотря на позднюю пору, немедлен-

но отправился к герцогу с известием, что двое офицеров Преображенского полка имеют против его высочества злые умыслы.

Через два дня после этого вахмистр Камынин был произведён за отличие в корнеты...

XII

В местности, прилегающей ныне к Михайловскому театру, находились огороженные высоким, толстым и заострённым тыном строения. Вечно запёртые, окованные железом ворота и стоявшие на карауле солдаты показывали, что тут было недоброе место, и действительно, тогдашние петербургские жители не без ужаса проходили мимо него, так как за высоким тыном помещалась тайная канцелярия. Одно только упоминание о ней бросало в жар и в холод каждого, потому что никто не мог быть уверен, чтобы рано или поздно не потянули его туда на жестокую расправу.

Во дворе, за тыном, стояло несколько отдельных небольших изб или светлиц, а посреди двора было расположено на каменном подвальном фундаменте длинное, невысокое бревенчатое строение, похожее на сарай.

В ворота этого неприглядного здания через два дня после сходки, происходившей у Ханькова, въехали под вечер три повозки. Из них в каждой сидели отдельно наши знакомцы: Ханьков, Аргамаков и Алфимов, скованные по рукам и по ногам. Сильный караул от одного из напольных или армейских полков окружил наглухо закрытые повозки.

Привезённые арестанты при выходе из повозок вошли с частью сопровождавшего их конвоя в небольшую сборную комнату, тускло освещённую ночником. Здесь их встретил

секретарь тайной канцелярии и немедленно распорядился о размещении обоих поручиков и сержанта по особым помещениям, находившимся в подвале, приставив к дверям их надёжный караул.

Тогдашнее наше страшное и таинственное судилище не представляло той грозно-изысканной обстановки, какой обыкновенно отличались инквизиционные тайники в Западной Европе, поражавшие попавших туда своей мрачной торжественностью. В тайной канцелярии, несмотря на все происходившие в ней ужасы, заметна была родная наша простота и своего рода благодущие без всякой вычурности, и вообще это учреждение по внешности смахивало и на обыкновенный острог, и на простую полицейскую управу. В сборной, из которой увели арестантов, остался теперь один сторож, старый служивый, одетый в солдатскую сермягу без всяких знаков своей принадлежности к такому важному учреждению, каковым была тайная канцелярия. Пользуясь одиночеством, он преспокойно разлёгся на деревянной скамье, но всхрапнуть ему не удалось, потому что едва он улёгся, как начали стучать в дверь. Сторож, не торопясь, отворил её, и конвой, состоявший из трёх мушкетёров, ввёл в сборную какую-то молоденькую бабёнку. Она в изнеможении села на скамейку, а двое из её караульных, не выпуская из рук заряженных ружей, поместились по бокам её, а третий их товарищ стал на часы у входной двери.

– Сдать её пока некому, Иван Кирилыч сейчас был, да

ушёл; скоро придёт, – позёвывая, сказал служивый и затем ленивым шагом поплёлся поправлять ночник.

– Вишь ведь молодка какая, а успела уж попасть к нам, – проговорил он с добродушной шутливостью, приглядываясь к арестантке.

– Прозябла она больно, как была в одном сарафанишке, так, видно, её схватили и шугая-то накинуть не дали, – сказал один из сидящих около неё мушкетёров.

– Не велика беда, что прозябла, – заметил старый служивый, – у нас лихо отогреют... Ведь вот, поди, чай, дурища, сболтнула что-нибудь, – продолжал он с видимым участием, обращаясь к бабёнке.

– Сболтнула и есть, родимый, – заговорила она сквозь слёзы, привставая с места.

– А что?..

– Да в самое-то утро после смерти царицы, не знала я ещё тогда, что она уж Богу душу отдала, спросила я у нашего соседа-кожевника об её здоровье... Ведь никогда не спрашивала прежде, а тут словно нелёгкое меня дёрнуло...

– Так что ж, что спросила? – важно проговорил служивый.

– А он поди и донеси, что я-де над покойницей-царицей насмехаюсь...

– Вот как побываешь единожды у нас, так напредки ни о чём здоровье спрашивать не будешь... Не суйся, баба, куда не следует... – наставительно добавил служивый.

Бабёнка разревелась.

– Чего ревьешь? легче от того не будет, да и впереди ещё реветь немало придётся...

Во время этого разговора явился секретарь канцелярии. Сидевшие мушкетёры повскакали со своих мест, взяв, так же, как и караульный, ружья к ноге для отдания чести по тогдашнему воинскому уставу.

– Мало, что ли, у нас делов и без тебя, окаянная! – вскрикнул грозно секретарь, взглянув на оторопевшую бабёнку, которая повалилась ему в ноги.

– Помилосердуй, отец родной, спроста, видит Бог, что спроста, ненароком спросила!

– Разберут про то после. Ну, ребята, стащите-ко её куда следует, – и караульные, исполняя данное им приказание, повели во всю мочь голосившую арестантку.

– Нужно, Антипыч, собирать нам поскорее нашу команду. Начальство, чай, скоро приедет, чтоб врасплох не застало. Поворачивайся поживее, – сказал секретарь сторожу.

Служивый, побрякивая и бормоча что-то себе под нос, вышел и вскоре по зову его в сборную комнату явились три палача со своими помощниками, костоправ со своим учеником, четверо служителей и двое приказных, занимавшихся письменной частью при канцелярии.

– Сегодня не только его сиятельство граф Андрей Иванович, но и его сиятельство князь Никита Юрьич изволят к нам прибыть, – сказал секретарь приказным. – Смотрите, всё ли у вас в исправности, да и у вас всё ли в порядке? – добавил

он, обращаясь к палачам.

– Чего нам смотреть, какому у нас быть порядку, своё дело хорошо знаем, – забормотал несколько обиженным голосом один из заплечных мастеров, ражий детина.

В ожидании приезда начальства представители разнородной деятельности тайной канцелярии калякали между собой о близких каждому из них предметах; здесь шли речи о ловком ударе кнутом, о вывихнутых суставах, о переломанных членах и костях, о вывороченных руках и т. п., и обо всём этом говорилось не только с совершенным равнодушием, но и с шуточками и с весёлыми прибаутками разного рода.

В это время вбежавший в сборную комнату сторож крикнул: «Едут!»

Все призамолкли и засуетились, а сторожа принялись зажигать свечи и фонари, и когда дверь широко растворилась, то в неё вошли закутанные в шубы начальник тайной канцелярии граф Андрей Иванович Ушаков и генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой, ревностные клеветы регента и деятельные исполнители его повелений.

Они приехали со своими адъютантами. По принятому в то время порядку, адъютанты сопровождали генералов верхами и, сообразно со значением своих начальников и тех лиц, к кому они приезжали, адъютанты или оставались на улице, или входили в приёмную, или же, наравне с выездными лакеями, ожидали своих генералов в прихожей, в сенях или на крыльце. Они не имели права входить в тайную канцелярию,

а потому и пошли отогреться в одну из надворных светлиц.

Войдя в комнату, назначенную для заседаний, Ушаков и Трубецкой наскоро выслушали доклад секретаря о бумагах, вновь вступивших в канцелярию, и приказали ему приступить к «пыточным делам».

Для производства этих дел граф и князь перешли в покой, называвшийся «застенок», отделявшийся от прочих частей здания небольшой проходной комнатой, в которой был склад пыточных снарядов. В этой комнате, как в кладовой, были приделаны по стенам деревянные полки, на которых лежали: кнуты, ремни, верёвки, цепи, железные обручи, клещи, ошейники, рогатки, кандалы и какие-то снаряды, похожие на хомуты.

Из этой кладовой был прямо вход в застенок. Застенок представлял собой просторную избу с бревенчатыми стенами. Здесь в переднем углу висела простая потемневшая икона, озаряемая унылым светом зажжённой перед ней лампадки. В стенах под самым потолком были прибиты маленькие, продолговатые окошки с толстыми железными решётками, почему в застенке даже и среди белого дня было так темно, что расправа там производилась постоянно при фонарях и свечах. В одну из балок, шедших вдоль потолка, был укреплен большой блок с пропущенной сквозь него толстой верёвкой. Под блоком на полу, застланном рогожами, с накиданной на них соломой, стоял низкий деревянный чурбан, а около него было бревно с переброшенным через него дру-

гим бревном, в виде подвижного рычага. По сторонам верёвки, шедшей с блока, спущены были с потолка фонари, а на чурбане лежали принадлежности пытки. Всё это показывало, что в застенке скоро примутся за обычную кровавую работу, к которой и подготовлялись уже собравшиеся туда заплечные мастера.

В нескольких шагах от места пытки стоял длинный, покрытый зелёным сукном стол, за которым в больших покойных креслах расселись теперь Ушаков и Трубецкой, а подле них с заложенным за ухо пером и со свёртком бумаг в руке стоял секретарь в ожидании привода подсудимых.

Первым из них введён был поручик Ханыков. Он был бледен как мертвец, но не терял бодрости и хладнокровным взглядом обвёл незнакомый ему до сих пор застенок. По приказанию Ушакова секретарь прочёл данные Ханыковым предварительные показания.

– Ты не всё показал, утаил многое из своих злодейских намерений против его высочества государя-регента и против своего отечества, – сказал Ушаков.

– Против своего отечества никаких злодейских намерений никогда я не имел, – резко отвечал Ханыков.

– А вот это мы сейчас узнаем, – перебил с злобной усмешкой Трубецкой и, нагнувшись к Ушакову, прошептал ему что-то на ухо.

– В ремень его! – крикнул Ушаков.

Слова эти на языке тайной канцелярии означали первый

приступ к пытке.

Палачи со своими помощниками подскочили к поручику, быстро повалили его на пол, сбили с него кандалы, а один из палачей, сняв висевший у него через плечо длинный сыромятный ремень, начал связывать Ханыкову ноги. Когда это было окончено, палачи приподняли его и, поддерживая со всех сторон, приволокли под блок. Здесь палач сдёрнул с него форменный кафтан и камзол и, разорвав на нём рубашку спереди, обнажил по пояс его спину. После этого, заворотив ему руки назад, он туго скрутил их у кистей верёвкой, которая спускалась с блока и конец которой был обшит войлоком, и затем на связанные руки надел кожаный хомут, плотно затянув его ремнями.

– Что ещё можешь сказать ты в дополнение к тому, что показал прежде? – спросил Ушаков Ханыкова.

– Ничего, – отрывисто проговорил он.

– Начинай! – закричал Ушаков.

Палач положил на промежуток ремня, связывавшего ноги Ханыкова, конец бревна, представлявшего рычаг, и, став одной ногой на это бревно, начал оттягивать его книзу, между тем как другой палач и его помощники принялись тянуть понемногу к себе верёвку, проходившую по блоку. Связанные у Ханыкова назад руки стали заворачиваться на спине и подходить постепенно к затылку.

Послышался глухой стон.

– Раз, два, три! – крикнул громко палач, стоявший на

бревне, и при последнем слове он изо всей силы ударил по бревну, а его товарищи сильно дёрнули верёвку. В одно мгновение руки пытаемого, передёрнутые за спину, очутились над его головою и он со страшным стоном повис на блоке.

Пытка эта, называвшаяся виской или встряской, была ужасна сама по себе. Не только свихнутые руки выходили из своих суставов, а кости хрустели и ломались, жилы вытягивались, но нередко даже лопалась и кожа у растянутого таким образом страдальца или страдальицы, так как пытке этого рода подвергались не одни только мужчины, но и женщины. Ужасы такой пытки, занесённой в Петербург из Москвы, не оканчивались, впрочем, только этим страшным истязанием.

– Берегись, ожгу! – гаркнул стоявший возле пытаемого третий палач, и вслед за этим выкриком послышался глухой удар или, вернее сказать, какой-то тяжёлый шлепок. Раздался пронзительный визг.

Началось кнутобойство. Орудия, употребляемые при этом, и наносимые ими страдания описал ещё Котошихин⁶² в следующих словах: «учинён тот кнут ременной, плетеной, толстой, на конце ввязан ремень толстой, шириною на палец, а длиною будет с 5 локтей, и как палач ударит по которому

⁶² Имеется в виду подьячий Григорий Котошихин, бежавший из России сначала в Польшу, затем в Пруссию и остановившийся, наконец, в Стокгольме (1668), где им и были написаны записки о России.

месту по спине, и на спине станет так, слово в слово, будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей».

В XVI и XVII веках наказания и пытки ещё во всей Западной Европе были ужасны, но замечательно, что известный путешественник Олеарий, видевший в Москве наказание кнутом на площади, где оно, без виски и встряски, производилось сравнительно гораздо легче, нежели в застенке, — отнёс этот вид наказания к самым жесточайшим истязаниям того времени.

После каждого удара, а их Ханыкову с большими расстановками дано было пятнадцать, Ушаков и Трубецкой поочередно принимались спрашивать висевшего на дыбе страдальца. Секретарь записывал его показания, но мучители не добились от него ничего нового.

Такой же пытке в тот вечер подверглись Аргамаков и Алфимов, причём каждому из них было отсчитано по 14 ударов. Кроме того, разозлившийся на Аргамакова Трубецкой бил его палкой по лицу.

Кровавая мука кончилась, но ни Ушаков, ни Трубецкой не успели ничего проведать об участии Анны Леопольдовны в замыслах заговорщиков, как ни ухищрённо наводили они истязуемых на признание в этом смысле. Ни один из них не только что не вздумал во время своих невыносимых страданий прикрыться именем принцессы, но даже ни разу никто из них не упомянул о ней, а между тем малейшее указание или даже хоть какой-нибудь ничтожный намёк на неё были

бы драгоценным открытием для сиятельных инквизиторов.

После поручиков и сержанта притянули к дыбе и опростоволосившуюся бабёнку, но «за глупостью» её, ни встряске, ни ударам кнута не подвергли и только, напугав до полусмерти, отпустили домой под страшным зарокон никогда и никому не рассказывать того, что она видела и слышала в тайной канцелярии.

Спустя несколько дней Ушакову и Трубецкому представились ещё более важные занятия. Перед ними стоял адъютант принца Антона – Грамотин, обвиняемый в злостных замыслах против государя-регента. Мужественно, ободряемый мыслью о принцессе Анне, пошёл Грамотин на страшную пытку: он перенёс и виску, и встряску, и пятнадцать ударов кнута, не примешав к делу Анну Леопольдовну, хотя в показаниях своих и рассказал с полной откровенностью о неудовольствиях и о ропоте своего светлейшего начальника против регента.

Число гвардейских офицеров, заподозренных в зловерных умыслах против правительства, увеличивалось всё более и более. Их хватали и привозили в тайную канцелярию, и розыски над ними доставляли немало занятий и Ушакову, и Трубецкому.

Между тем Грамотин лежал больной, изломанный в пытке, теряясь в догадках о том, кто бы мог на него донести...

XIII

В то время, когда Ушаков и Трубецкой продолжали с обычным усердием расправляться в тайной канцелярии с недоброжелателями регента, Остерман, подавший ему мысль о вызове графа Линара в Петербург, приводил в исполнение этот план дипломатическим путём.

— Странные бывают противоположности в делах политических: вот почти три года тому назад на этом же самом месте мне приходилось сочинять депешу в Дрезден, чтобы сжить поскорее от нас графа Линара. Тогда герцог, проведая о любви к нему принцессы Анны, считал его главной помехой браку своего сына с принцессой, а теперь, наоборот, приходится приглашать Линара приехать поскорее в Петербург для того, чтоб он стал близким человеком к принцессе и своим влиянием на неё содействовал бы видам герцога...

Так размышлял кабинет-министр, сидя за своим письменным столом в том же самом, только ещё более изношенном и более запачканном, красном на лисьем меху халате, который был на этом неряхе и скупце и в ту пору, когда он умудрился сочинить слишком щекотливую депешу об отозвании Линара из Петербурга.

Перечитав и перечеркав несколько раз написанное, Остерман успел, наконец, составить весьма ловкую бумагу к польско-саксонскому министерству. В ней говорилось, что

в прежнее время усложнившиеся и запутавшиеся политические обстоятельства в Европе заставляли русский двор держаться такой политики, которой не мог сочувствовать граф Линар, как самый ревностный оберегатель интересов его величества короля польского и курфюрста саксонского, вследствие чего и происходили некоторые взаимные недоразумения, и что так как со своей стороны петербургский кабинет всегда чрезвычайно высоко ценил графа Линара, то кабинету было крайне нежелательно, чтобы недоразумения эти отражались чем-либо на личности уважаемого посланника, почему тогда и признано было за благо – выразить дрезденскому двору предположение петербургского двора об отозвании графа Линара. Но так как теперь обстоятельства совершенно переменились, продолжал в своей депеше Остерман, то его высочеству регенту Всероссийской империи было бы особенно желательно видеть около себя графа Линара, который, как опытный дипломат, без сомнения, успеет установить самые дружелюбные отношения и самое прочное согласие между обоими дворами – дрезденским и с. – петербургским.

Вместе с предложением об отправке этой депеши в Дрезден находили нужным сообщить и на своих словах графу Линару, через особое посланное к нему от Остермана доверенное лицо, чтобы Линар поспешил принять сделанное ему предложение и безотлагательно приезжал бы в Петербург, где его с большим удовольствием встретит не только регент,

но и принцесса Анна Леопольдовна, и что со своей стороны герцог найдёт возможность – если только пожелает того сам граф Линар – доставить ему и в русской службе самое блестящее и вполне обеспеченное положение. Неизвестно, до какой степени должны были доходить в этом случае намёки, подготовлявшие Линара к той не одной только политической, но ещё и сердечной деятельности, которая была придумана для него находчивым Остерманом. По всей, однако, вероятности, приманка такого рода должна была быть высказана, хотя бы вскользь, так как прежние взаимные отношения между герцогом и Линаром были не настолько хороши, чтобы последний мог верить в искреннее желание первого видеть около себя Линара без каких-либо особых своекорыстных расчётов. Поторопиться с вызовом Линара в Петербург представлялось нужным регенту и по другим ещё, новым соображениям. Прежде Анна жила со своим мужем в большом разладе, и случалось так, что, несмотря на всю его угодливость и на все его ухаживания за ней, она не говорила с ним ни слова по целым неделям; но теперь стали замечать при дворе некоторую перемену в её отношениях к принцу Антону.

Трудно сказать, отчего произошла в Анне такая перемена: оттого ли, что после смерти императрицы прекратилось раздражавшее принцессу так часто и порою до последней крайности вмешательство тётки в её супружескую жизнь, и Анна Леопольдовна теперь добровольно была готова обращаться

с принцем поласковее, чего она не хотела делать прежде по принуждению? Оттого ли, что ей надоело, наконец, ничтожество её мужа и она, почувствовав с переменой своего положения свою самостоятельность, захотела поднять его в общественном мнении и сделать это так, чтобы принц почувствовал, что он был обязан только одной ей? Увидела ли, наконец, Анна Леопольдовна, что домашние раздоры ослабляют её и вместе с тем поняла, что хотя принц Антон сам по себе и ровно ничего не значит, но что он, как отец царствующего государя, став на стороне регента, придаст этому последнему ещё более и силы, и обаяния? Принцесса вспомнила теперь слова, сказанные ей в утешение Волынским о будущей покорности перед ней тихого и смиренного принца, и она уже на опыте могла вполне убедиться, что в лице её мужа не может явиться опасный для неё соперник. Как бы то ни было, но действительное или только казавшееся сближение Анны с её мужем начало сильно беспокоить герцога. Он и Остерман рассуждали, что если по приезде Линара в Петербург прежняя любовь и не оживёт в сердце Анны, то они и в этом случае ровно ничего не потеряют, так как в бытность Линара польско-саксонским послом при русском дворе они в состоянии будут по-прежнему направлять ход политических дел по собственному своему усмотрению. Если же, напротив, состоится ожидаемое ими сближение между Линаром и Анной, то граф, оставаясь в зависимости от регента, будет его покорным слугой. Если бы даже это послед-

нее предположение и не осуществилось, то и тогда регент не будет в проигрыше: Линар отвлечёт внимание принцессы от государственных дел; приятные с ним беседы она, наверно, предпочтёт скучным докладам министров, затем отвыкнет мало-помалу от всякого участия в правлении и, таким образом, единоличная власть герцога окончательно упрочится.

Кроме всего этого, при вызове Линара имелись в виду и другие коварные расчёты. Герцог мог возбудить в принце оскорблённое чувство супруга; мог напомнить ему, если бы это оказалось нужным, о прежней любви Анны к Линару и тем самым возобновить начавшие было стихать теперь раздоры между женой и мужем – раздоры, благоприятные для регента. Притом, во всяком случае, не трудно было бы пустить в ход молву о близости Линара с принцессой и такой молвой уронить её в глазах русских, считавших Анну Леопольдовну женщиной скромной и безупречной в её супружеской жизни.

В ожидании приезда на помощь к себе подготовленного для принцессы соблазнителя, запальчивый и заносчивый герцог тем не менее предпочитал бы обойтись без постороннего содействия, расправившись сам и с отцом, и с матерью царствующего государя. Регент начал с принца Антона. Он потребовал его к себе в Летний дворец и там при множестве лиц объявил принцу, что он приказал арестовать его адъютанта Грамотина.

– Я полагаю, ваше высочество, – забормотал было принц, –

что прежде чем сделать это распоряжение, вам угодно будет...

– Что мне угодно будет? – грозно вскрикнул герцог. – Уж не предварить ли вас об этом, для того чтобы дать вам возможность продолжать ваши злодейские замыслы?

Принц растерялся, а герцог заговорил с ним на плохом русском языке для того, собственно, чтобы было понятно всем присутствующим, что он хотел высказать принцу.

– Вы, ваше высочество, масакр, то есть рубку людей или заметание учинить хотите! Надеетесь на ваш Семёновский полк!.. Вы человек неблагодарный, кровожаждущий!.. Если бы вы имели в ваших руках правление, то сделали бы несчастным и вашего сына, и империю⁶³.

Говоря или, вернее сказать, крича это, герцог нагло наступал на пятывшегося перед ним принца, и когда принц нечаянно положил левую руку на эфес своей шпаги, то регент принял это случайное движение за угрозу, и тогда бешенство его перешло все пределы.

– Вы хотите испугать меня вашей шпагой! – крикнул он. – Но знайте, что я не трус и готов «развестись» с вами поединком, – добавил немедленно регент, ударив рукой по своей шпаге.

Все находившиеся в зале остолбенели от ужаса и поняли, что с расходившимся регентом шутить не приходится.

Униженный до последней степени и совершенно расстро-

⁶³ Подлинные слова Бирона. (Примечание автора).

енный возвратился принц в Зимний дворец, но не сказал же- не ничего о случившемся, боясь её упрёков за ненаходчи- вость и трусость перед регентом. Напрасно, однако, он думал сделать из этого тайну от принцессы. Вскоре по возвращении принца во дворец к нему явился брат фельдмаршала Миниха и предложил принцу от имени регента сложить с себя все во- енные звания. Разговаривать долго было нечего, так как Ми- них привёз заготовленное заранее прошение, которое оста- валось только подписать принцу, и он, запуганный герцогом, под этим прошением, обращённым к его сыну, безоговороч- но подписался: «вашего императорского величества нижай- ший раб Антон Ульрих». В прошении этом, после упомина- ния о тех военных званиях, которые он получил от покойной императрицы, говорилось, между прочим, от имени принца следующее: «а понеже я ныне, по вступлении вашего импе- раторского величества на всероссийский престол, желание имею помянутые мои военные чины низложить, дабы при вашем императорском величестве всегда неотлучным быть, того ради всенижайше прошу...» Здесь следовало прошение об увольнении с присовокуплением просьбы о том, «дабы всемилостивейшее определение учинить, чтобы порозжия⁶⁴ чрез то места и команды паки достойными особами допол- нены были».

В то время, когда мамка убаюкивала императора, регент с довольным выражением лица подписывал, вследствие этого

⁶⁴ Порозжий – пустой, незанятый (пск., нвг.). (Примечание автора).

прошения, от имени Иоанна III указ военной коллегии об отставке его любезнейшего родителя и в просьбе которого, как заявлялось в указе, не мог отказать государь-младенец.

– Хорошо отомстил я ей, – думал регент, – она хотела быть неразлучно с своим сыном, пусть же теперь увидит, что я не придаю этому никакого значения и даже согласен, чтобы при нём был неотлучно и его родитель. Пусть эта чета наслаждается своим семейным счастьем; посмотрим, что будет!..

С изумлением узнала принцесса о поступках регента с её мужем, и давно накипевшая у неё против него злоба обратилась теперь в неукротимую ненависть. Казалось, что обычная вялость её исчезла, она готова была идти на все опасности, и в первый ещё раз в оскорблении, нанесённом её мужу, она увидела свой собственный позор и поклялась в душе отомстить герцогу за то унижение, которое ей приходилось теперь испытывать.

После отставки принц Антон утратил всякое значение, прекратились все почести, которые воздавались ему прежде как отцу государя, никто уже не целовал его руки, как это делалось прежде, но все униженно лобзали руку герцога. Сенат издал уже указ о титуловании герцога «высочеством», о чём было объявлено в Петербурге с барабанным боем. Все принизились перед герцогом, и даже самые преданные и более смелые люди перестали ездить к принцу и принцессе.

Вследствие всего этого находившиеся в Петербурге дипломатические агенты были поставлены в большое затруд-

нение, как держать себя в отношении принцессы и её мужа. Французский посланник маркиз де ла Шетарди обратился к своему двору с депешей, в которой спрашивал: должен ли он оказывать принцессе Анне те же почести, какие воздавались ей прежде лишь из угодливости перед покойной царицей, или же считать её только принцессой Брауншвейгской? Ясно было, что теперь принцесса не только не приобрела большого значения, но, напротив, даже потеряла и прежнее. Маркиз спрашивал наставления и о том, как поступать ему в отношении к принцу Антону? Но самый щекотливый пункт в этой депеше был тот, который касался не дипломатических недоразумений, а сердечных дел герцога Курляндского.

«В упоении своей власти, – писал маркиз, – у герцога может явиться намерение ухаживать (*de tenir sa cour*) за дочерью Петра I. Каким образом я должен поступать в этом случае?» Как ни странным мог показаться версальскому кабинету этот новый вопрос, но он был вполне уместен со стороны тонкого и предусмотрительного дипломата. Общественный говор в Петербурге давно уже твердил, что обладать принцессой Елизаветой было заветной мечтой герцога, который рассчитывал на скорую кончину своей болезненной и расслабленной Бенигны, намереваясь в случае этой утраты предложить свою руку цесаревне Елизавете. Так толковали одни, другие же, находя, что пообрюзгший пятидесятилетний герцог несколько стар для того, чтобы быть мужем цветущей Елизаветы, замышляет обвенчать её со своим сыном.

Но в этом последнем случае оказалась бы ещё более неблагоприятной разница между годами жениха и годами невесты, так как принц Пётр Курляндский был моложе Елизаветы на пятнадцать лет, тогда как сам герцог был старше её восемнадцатью годами. Следственно, в отношении возраста брак герцога с цесаревной представлялся более подходящим, нежели брак с ней его старшего сына.

Молва об особом расположении герцога к цесаревне подтверждалась всё более и более.

Он имел с цесаревной частые беседы, длившиеся нередко по несколько часов.

В то время, когда Анна испытывала от него ряд и сильных, и мелких неприятностей, он оказывал Елизавете чрезвычайное внимание, и Анна ясно увидела в Елизавете опасную для себя соперницу. До Анны Леопольдовны стали доходить вести, что все делаемые ей со стороны герцога притеснения клонятся к тому, чтобы принудить её, под видом собственного её желания, уехать вместе с мужем в Германию. Рассказывали ей также, что в одном многолюдном собрании, в котором была и Елизавета, герцог, жалуясь на неприязненные к нему отношения принцессы, не стесняясь несколько, заявил, что если она и впредь будет держать себя так, как держит теперь, то он вышлет из России в Германию и её, и её мужа, и её сына и вызовет в Россию герцога Голштинского, родного внука Петра Великого. Опасно было пренебрегать угрозами регента, а обстановка принцессы была такова, что

ему не трудно было привести их в исполнение. После удаления от службы принца Антона не было у неё никакой внешней поддержки, так как начальство над всеми гвардейскими полками получили приверженцы герцога: сила была на его стороне, и справиться с ним казалось делом нелёгким.

XIV

Для постоянных сношений с принцессой регент избрал фельдмаршала графа Миниха. Казалось, этот человек как нельзя более должен был соответствовать такому назначению. После смерти императрицы он явился самым усердным сторонником регентства герцога, который потому и мог вполне положиться на него, как на самого преданного человека. Независимо от этого Миних имел и другие качества, пригодные для успешного исполнения возложенной на него обязанности, а пожилые годы фельдмаршала – ему было уже под шестьдесят лет – отклоняли всякую мысль о возможности нежных отношений между ним и Анной Леопольдовной. Ошибочно было бы, впрочем, представлять Миниха старым, суровым воином, утомлённым трудными походами и боевыми подвигами. Напротив, он был ещё пылок, как юноша, и слишком чувствителен к прелестям молоденьких женщин: черты лица его были прекрасны, он был высок ростом, строен и развязен, а в движениях его было много приятности и ловкости. Он отлично танцевал и казался гораздо моложе своих лет. Миних считался одним из самых любезных кавалеров петербургского двора и слыл большим дамским угодником. Когда находился он в обществе дам, то старался выказывать весёлость и ловкость, отзывавшуюся, впрочем, немецкой сентиментальностью. С томными глазами прислу-

шивался он к чарующему его голосу женщины и, наслаждаясь её разговором, вдруг приходил в восторг, схватывал руку своей собеседницы и покрывал её поцелуями⁶⁵.

Такого приставника назначил регент к принцессе, и Миних не только по делам, но и так, без всякой надобности, пользуясь правом свободного входа к принцессе, очень часто навещал её. Посещение Анны Леопольдовны было для старого любезника тем более приятным развлечением, что он у неё постоянно встречался с Юлианой Менгден, весёлой, бойкой и, как сам он, говорливой девушкой. Принцесса ещё и прежде чувствовала расположение к фельдмаршалу; в нём ей нравились его отвага и решительность, и как будто какой-то тайный голос подсказывал ей, что только один он может переменить к лучшему её печальную участь. Предчувствие не обманывало её: в ту пору – в пору политических измен, перебежек с одной стороны на другую, выдач друзей и приятелей, продажности самых высоких чувств – Миних, при своём ничем не удовлетворимом честолюбии, не составлял исключения в хорошем смысле. Регентство герцога Курляндского он поддерживал единственно из личных расчётов, воображая, что только лишь власть будет в руках герцога, он, Миних, может получить от него всё, что пожелает; Миних предполагал, что герцог будет носить только титул, а вся власть регента будет принадлежать не кому иному, как ему,

⁶⁵ Характеристика Миниха основана на письмах леди Рондо. (Примечание автора).

фельдмаршалу. Миних хотел руководить делами в звании генералиссимуса всех сухопутных и морских сил. Всё это не могло понравиться регенту, знавшему Миниха слишком хорошо и слишком опасавшемуся его, для того чтобы решиться поставить фельдмаршала в такое положение, в котором он мог бы вредить ему. Поэтому регент не исполнил ни одной из его просьб. Впрочем, при жизни императрицы Анны честолюбивые виды фельдмаршала простирались ещё далее. Когда он вступил с войском в Молдавию, то ещё до покорения этой страны просил сделать его молдавским господарем, и, по всей вероятности, он успел бы в этом, если бы Молдавия осталась за Россией. Вынужденный по заключении мира оттуда вернуться на стоянку на Украину, он задался гораздо более странным намерением: он пожелал носить титул герцога украинского и подал об этом прошение через Бирона. Выслушав доклад по этой просьбе, императрица насмешливо сказала:

– Миних ещё очень скромн; я думала, что он попросит титул великого князя Московского.

Никакого другого ответа не дала государыня на это прошение, и о нём не было уже более речи, но честолюбие по-прежнему кипятило Миниха.

После услуг, оказанных герцогу Минихом, в фельдмаршале зародились новые затеи, но он вскоре должен был разочароваться и теперь, негодуя на регента, направил свои смелые замыслы в совершенно противоположную сторону, сделав-

шись из усердного приверженца герцога заклЯтым его врагом.

– Отчего, вы, ваше высочество, всегда дрожите, когда является к вам герцог? – спросил однажды Анну Леопольдовну Миних после ухода от неё регента, который, войдя к ней, сказал ей несколько сухих отрывистых фраз и вышел поспешно из комнаты⁶⁶.

Принцесса не отвечала ничего.

– Вы, верно, его очень боитесь?..

На глаза Анны Леопольдовны навернулись слёзы.

– Напрасно, совершенно напрасно, – ободрительно заговорил Миних.

– Это ничего более, как старая причина бояться герцога, когда я была молоденькой девочкой... – заминаясь, проговорила принцесса.

– То было совершенно другое время, – перебил Миних, – тогда ваше высочество были поставлены в иное положение, а теперь?

– Что же теперь? – живо спросила принцесса, смотря пристально в глаза фельдмаршалу. – Теперь, кажется, ещё хуже...

– Последние ваши слова только отчасти справедливы... Простите меня, ваше высочество, если я скажу вам прямо, что вы сами виноваты, позволяя регенту поступать с вами

⁶⁶ О том, что принцесса дрожала при входе регента, упоминает Миних в своих записках. (Примечание автора).

и с принцем так, как поступает он. Ведь в манифесте или в уставе о регентстве сказано, чтобы регент императорской фамилии достойное и должное почтение показывал и по их достоинству о содержании оных попечение имел. А разве регент исполняет это?

– Ну что же мне делать: принц только попытался возразить регенту, и чем кончилась эта попытка? Я же осталась виновата, за то, что подбила его к этому.

– Между принцем и вами – большая разница, и что герцог решил позволить себе в отношении к принцу, того он никак не посмеет сделать в отношении к вам, как по вашим личным правам, так и из уважения к вам, как к женщине...

– О, герцог не так любезен с женщинами, как вы, фельд-маршал.

– В этом я с вами, ваше высочество, совершенно согласен. В отношении прекрасного пола я всегда был и до конца жизни останусь средневековым рыцарем, и вашему высочеству, как даме моего сердца, стоит только пожелать – и моя шпага, и моя жизнь будут у ваших ног...

Говоря это, Миних встал с кресел и, приложив правую руку к сердцу, почтительно склонился перед принцессой.

– Но что же вы можете сделать с герцогом? – недоверчиво и с грустной улыбкой спросила Анна.

– Арестовать его, – твёрдым голосом проговорил Миних.

– Арестовать герцога? Арестовать регента? – с изумлением вскричала принцесса, вскочив с кресел.

– Да... и во всякое время, когда только вашему высочеству угодно будет приказать это, – сказал Миних с такой уверенностью, как будто речь шла о каком-нибудь ничего не стоящем деле.

– Вы шутите, любезный фельдмаршал, это невозможно...

– Я докажу вашему высочеству, что возможно...

– Притом вы...

– Вам, вероятно, угодно сказать, что я сторонник регента, что я поддержал его в трудную минуту, – это правда. Но, ваше высочество, – продолжал сентиментальный старик, – Миних прежде всего рыцарь, и если он видит страдания и слёзы молодой женщины, он забывает всё; для него тогда не существует никаких личных расчётов. Притом все чувства и привязанность должны замолкнуть, когда требует благо государства. Положитесь вполне на меня, и вы увидите, что торжество будет вскоре на вашей стороне. Обратите, ваше высочество, внимание на те последствия, какие могут произойти, если герцог останется регентом до совершеннолетия вашего сына. Он ещё в звании обер-камергера стоил империи несколько миллионов, а теперь, сделавшись полновластным правителем на шестнадцать лет, он, вероятно, вытянет ещё и из казны, и из народа шестнадцать миллионов, если не более. Притом, так как одним из пунктов завещания покойной императрицы герцог и министры уполномочены по достижении вашим сыном семнадцатилетнего возраста испытать его способности и обсудить, в состоянии ли он управ-

лять государством, то никто не сомневается, что герцог найдёт средство представить императора слабоумным, и тогда герцог, пользуясь своей властью, возведёт на престол сына своего, принца Петра, бывшего жениха вашего высочества. Я говорю с вами откровенно, и потому в настоящую минуту должен сообщить вам, что безумная дерзость герцога по случаю предположенного им брака доходила даже до того, что на ваше высочество были возводимы самые недостойные клеветы, говорили, что граф Линар...

– Прекратите этот разговор, фельдмаршал, – торопливо вскрикнула принцесса, с трудом сдерживая охватившее её волнение, – об этом поговорим в другое время, а теперь вы мне так убедительно высказались насчёт моих обязанностей, как матери государя, что я готова... Нет... Дайте мне время подумать хоть до следующего вечера.

– Тем лучше, я сегодня обедаю у герцога и постараюсь выпытать от него те сведения, которые могут мне пригодиться. Позвольте мне только явиться к вам во всякое время дня и ночи: может неожиданно выдаться удачная минута, и неблагоприятно не воспользоваться ею. Согласны вы, ваше высочество, дать мне такое разрешение?

Принцесса немного призадумалась.

– Согласна! – сказала она решительным голосом. – Я вполне полагаюсь, фельдмаршал, на вашу смелость и на ваше благоразумие.

XV

Был первый час ночи на 9 ноября 1740 года. Сладким сном спала фрейлина Юлиана Менгден, в то время когда вошедшая в её спальню камер-медхен начала будить её, говоря, что фельдмаршалу графу Миниху необходимо тотчас же её видеть. Живая и проворная Юлиана быстро вскочила с постели и принялась торопливо одеваться, хватая спросонья невпопад то одну, то другую принадлежность своего костюма. Между тем Миних, постукивая слегка пальцем в дверь её спальни, говорил, что с ним, стариком, церемониться незачем; что пусть баронесса примет его в том же самом наряде, в каком она теперь; что она так прелестна, что красота её не потеряет ровно ничего от самого простого ночного убора; что ждать ему нельзя, так как дело, по которому он теперь пришёл, не терпит ни малейшего отлагательства. С трудом могла удержать Юлиана за дверями спальни порывавшегося к ней старика и, одевшись кое-как, на скорую руку, поспешила выйти к фельдмаршалу.

С обычной своей любезностью, поцеловав ручку заспанной красотки, Миних сказал ей, чтобы она, не медля ни сколько, пошла к Анне Леопольдовне и доложила ей, что ему сейчас же необходимо переговорить с ней по такому делу, от которого зависит и участь самой принцессы, и её сына, и судьба всего государства. Несмотря на всю близость к прин-

цессе и на свойство с Минихом, фрейлина ничего не знала о том, что предпринимала Анна Леопольдовна, так как Миних внушил принцессе, чтобы она никому об этом не говорила, даже и своему мужу. Впрочем, последнее предостережение было напрасно, так как Анна никогда не думала посвящать своего супруга в какие бы то ни было тайны, и она только улыбнулась, выслушав такое предостережение со стороны Миниха.

Юлиана недоумевала, что всё это может значить, и тем более удивлялась такому слишком позднему появлению Миниха, что ей хорошо были известны предосторожности, какие принимались для того, чтобы никто не мог проникнуть в Зимний дворец ночью, когда всё здание было оцеплено сильным караулом и у каждого входа стояли часовые, получавшие строгий приказ не пропускать во дворец решительно никого, под каким бы то предлогом ни было. В то же время и свойственное всем, и в особенности женщинам, любопытство подбивало Юлиану разузнать поскорее причину прихода Миниха к принцессе.

– Но зачем же вам нужно видеть её высочество в такую позднюю пору? – пытливо спросила она фельдмаршала.

– При всём моём безграничном к вам уважении и полном моём доверии к вашей скромности, – отвечал почтительно Миних, – я не считаю себя вправе сообщить вам об этом и только прошу – позволяю себе даже сказать – требую, чтобы вы сейчас же доложили обо мне её высочеству.

Фрейлина сделала прямо в лицо Миниху насмешливую гримаску, как бы желая сказать: «Вот какой ещё важный господин выискался!» – и затем, уступая настоятельному требованию Миниха, пошла к Анне Леопольдовне, пригласив его следовать за собой в уборную принцессы. Попросив фельдмаршала подождать там, она вошла в спальню.

Утомлённая душевными волнениями, испытанными в течение дня, крепко спала теперь Анна Леопольдовна, как будто позабыла о бывшем у неё разговоре с Минихом, требовавшем бодрости, а не сна. Принцесса вздрогнула, её обдало и жаром, и холодом, и сильно забилося её сердце, когда Юлиана шёпотом сказала ей о приходе Миниха. Как ни осторожно будила Юлиана принцессу, но принц проснулся и спросил жену: зачем встаёт она?

– Мне нездоровится немного, а ты спи, – сказала она⁶⁷.

Принц послушался жену и, не выбиваясь из сна, захрапел, повернувшись только на другой бок.

Принцесса знала, зачем явился к ней фельдмаршал и, силясь преодолеть боязнь и волнение, она, в одной ночной кофточке, с повязанным на голове шёлковым платочком, побежала в уборную к Миниху, ожидавшему её там в парадном мундире с голубой через плечо лентой.

– Нельзя медлить далее, – торопливо проговорил Миних, – и я, согласно данному вами разрешению, явился к вашему высочеству, чтобы получить немедленно ваше прика-

⁶⁷ Рассказ Миниха-сына. (Примечание автора).

зание арестовать регента.

– И неужели же вы решились окончательно на это?.. – вскрикнула принцесса, всплеснув руками.

– Твёрдо решился, ваше высочество, и я сумею устроить всё это дело; вы же успокойтесь, положитесь на меня; и я сию же минуту возвращусь к вам.

Сказав это, Миних вышел в соседнюю с уборной комнату, где, прокравшись за ним и за Юлианой, находился адъютант его, подполковник Манштейн, которому фельдмаршал приказал пойти на дворцовую гауптвахту и призвать к принцессе всех бывших в карауле офицеров. Несмотря на то, что Манштейну приходилось пробираться в потёмках по комнатам и коридорам дворца, он живо исполнил данное ему приказание, а между тем Миних доказывал принцессе необходимость арестовать герцога, убеждал её ободриться, ручаясь, что всё окончится скоро и благополучно, и подучал её, как следует ей говорить с вызванными к ней офицерами.

В залу, смежную с уборной, вошли караульные офицеры Преображенского полка, не понимавшие, о чём идёт теперь дело, и терявшиеся в догадках, зачем в такую позднюю пору могла потребовать их к себе принцесса.

Происходившая в это время сцена освещалась канделябром, который держала в дрожащих руках Юлиана. Принцесса встала перед офицерами, собираясь с силами, чтобы сказать им несколько слов, внушённых ей Минихом, и почувствовав, что взгляд одного из молодых людей пристально

устремлён на неё, опустила глаза книзу и, покраснев, быстро запахнула раскрывшуюся на груди её кофточку.

– Вы, конечно, знаете те несправедливости и те притеснения, какие наносит регент матери вашего государя и его отцу, – начала принцесса, – а так как мне невозможно и даже постыдно терпеть долее все эти оскорбления, то я решилась, наконец, арестовать герцога, поручив фельдмаршалу графу Миниху исполнить моё приказание при вашем участии, и я надеюсь, что вы поможете ему в этом...

Несмотря на врождённую робость и сильную застенчивость принцесса произнесла эту коротенькую речь твёрдым голосом и с большим одушевлением. В столпившейся около неё кучке офицеров послышался в ответ на эти слова одобрительный говор. Они стали подходить к руке принцессы, а она обнимала каждого из них, целуя в щёку. Офицеры вышли из залы, произнося угрозы регенту.

Теперь оставалось принцессе проститься с Минихом, которого ожидало или торжество, или смертный приговор. Фельдмаршал упал на колени перед Анной Леопольдовной, схватил её руку, крепко прижал её к своему ровно бившемуся сердцу и затем стал осыпать поцелуями. Он не забыл проститься с Юлианой и, пользуясь тем, что руки её были заняты, звонко чмокнул её в свежие пунцовые губки. Такая вольность казалась простительной человеку, шедшему на погибель. Смотря на нежные и шаловливые поцелуи фельдмаршала, трудно было предположить, что он решается идти на

опасную и суровую расправу со своим недругом, но Миних не терял никогда ни присутствия духа, ни весёлости.

Осторожными шагами пошли фельдмаршал и сопровождавшие его офицеры, и, спустившись в караульню, Миних приказал солдатам зарядить ружья. Один офицер и сорок нижних чинов были оставлены на дворцовой гауптвахте при знамени, а восемьдесят человек, вместе с фельдмаршалом, его адъютантами и прочими офицерами, отправились к Летнему дворцу, где жил тогда регент и где ещё стояло тело покойной императрицы. Несмотря на довольно сильный мороз, Миних был в одном мундире; он шёл между офицерами и солдатами, а посреди этого небольшого отряда ехала карета фельдмаршала, в которую он намеревался усадить герцога, если ему удастся арестовать его.

Если в эту роковую ночь крепко спали и Юлиана, и принцесса, и её супруг, то едва ли не крепче ещё, чем они, спал тридцатилетний сын фельдмаршала, граф Иоанн Эрнест Миних, проводивший теперь медовый месяц после брака с баронессой Доротеей Менгден, сестрой Юлианы. Он был в эту ночь дежурным камергером при императоре и в соседней с его спальней комнате «лежал в приятнейшем сне», не ведая решительно ничего о том, что предпринял его отец и что сейчас только что произошло поблизости от него. Вдруг он почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до него и как будто будит его⁶⁸.

⁶⁸ Рассказ этот основан на «Записках» Миниха-сына. (Примечание автора).

Миних открыл глаза и ужаснулся...

На его постели сидела Анна Леопольдовна. Проходивший из дверей другой комнаты свет падал на её бледное лицо; выбившиеся из-под платочка тёмные волосы рассыпались в беспорядке по её плечам; она тяжело дышала, лихорадочно смотря на Миниха, который думал, что возле него не женщина, а привидение. Но он тотчас убедился в действительности того, что видел, и дрожащим голосом спросил: «Что это значит?..»

– Любезный мой Миних, – отвечала шёпотом Анна, – знаешь ли ты, что предпринял твой отец!..

Миних с изумлением смотрел на неожиданную ночную посетительницу, думая, что она находится в бреду или совсем лишилась рассудка.

– Он пошёл арестовывать регента... Дай Боже, чтобы ему удалось это!.. – добавила Анна Леопольдовна с глубоким вздохом, с трудом привставая с постели на подкашивавшиеся ноги.

– И я того же самого желаю, – пробормотал Миних, не сознавая ещё отчётливо спросонья, что делается вокруг него. – Отец мой ушёл арестовывать регента? Так вы изволили сказать?.. – переспросил Миних, как бы желая убедиться в том, что он слышит.

– Да... – отвечала принцесса.

– В таком случае успокойтесь; если он решился на это, то, наверно, заранее обдумал всё и, без всякого сомнения,

принял самые надёжные меры...

– Мне страшно, невыносимо страшно! Встань поскорее, Миних, и приди ко мне: я одна с Юлианой... – произнесла принцесса.

С этими словами из комнаты Миниха Анна Леопольдовна перешла в спальню своего сына, и какие страшные, томительные минуты переживала теперь она! Возбуждённая в ней старым Минихом бодрость покинула её после его ухода, и она, оставшись только с молодой девушкой, сознавала всю беспомощность своего настоящего положения. Что будет с ней, если смелое, по-видимому, даже безумное предприятие Миниха не удастся? Слабый дворцовый караул, если бы даже он и решился отчаянно постоять за неё, не в силах был охранить Анну Леопольдовну от регента. Её захватили бы врасплох, а к бегству между тем не было сделано никаких приготовлений.

Одевшись наскоро, Миних явился к принцессе, но этот молодой, прекрасно образованный человек был очень пригоден для светских весёлых собраний, но никак не в настоящие грозные минуты. Он попытался было развлечь Анну Леопольдовну то тем, то другим рассказом, но она вовсе не слушала его. Видя неудачу своих попыток, Миних примолк. Примолкла и щебетавшая без усталости Юлиана, и теперь молча, заботливым взглядом следила она за принцессой, которая то ходила по комнате быстрыми шагами, то, падая на колени перед образом, и мысленно, и громко творила усерд-

ную, бессвязную молитву.

Глубокая тишина была и во дворце, и на улице. Анна Леопольдовна подошла к окну и взглянула в него. За Невой не было уже видно ни одного огонька; среди морозной ночи ярко дрожали звёзды на тёмном небе; над Выборгской стороной медленно вставал бывший на убыли месяц. Слабым блеском отражался он на золочёном шпиле и куполе Петропавловского собора, бросая унылый свет на тёмные стены крепости и на белую пелену снега, покрывавшего только что ставшую Неву. Чутко прислушивалась Анна Леопольдовна, и до её слуха доносились теперь и разноголосый лай псов, и протяжные оклики часовых, и раздававшийся то в той, то в другой стороне стук сторожевых трещоток. Среди этих обыкновенных ночных звуков испуганному её воображению чудились и какие-то отдалённые клики, и бой барабанов, и движение шумной толпы.

Ей вдруг казалось, что в комнату входит грозный, рассвирепевший регент с ватагой покорных своих прислужников, что он осыпает её угрозами и оскорблениями, что её, по его приказанию, навеки разлучают с сыном. В ужасе подбегала Анна к колыбели и тревожно смотрела на спавшего безмятежным сном младенца. Ей живо представилось теперь, какие страшные пытки и казни ждут её смелых сообщников, и предчувствовалось, что и самой ей готовится если не плаха, то безысходное, суровое заточение в далёкой, холодной глуши. Она трепетала всем телом, в припадках отчаяния лома-

ла руки и, озираясь по сторонам, как будто искала помощи и сострадания.

– На кого мне надеяться, – думала принцесса, – на мужа?.. – И при этой мысли горькая презрительная улыбка пробежала по её губам, а сердце напоминало ей о любимом человеке. «Если бы со мной был теперь Мориц, – думалось молодой женщине, – то как бы я была бодра и смела, и даже гибель с ним вместе не пугала бы меня...»

Время шло своим чередом. Куранты на колокольне Петропавловского собора разыгрывали в свою пору заунывные мотивы, и вслед за тем разносился протяжный бой часов. Пробило два часа, пробило три и, наконец, четыре, а старик Миних всё не являлся. Что стало с ним? Чем окончилась борьба смельчака и горстки его спутников с могущественным регентом, в распоряжении которого были все военные силы столицы?..

Истомлённая долгим ожиданием, Анна Леопольдовна прилегла на канапе. Юлиана села у неё в ногах и, взяв её руку, крепко держала её в своей руке, и обе они чувствовали теперь, как сильная нервная дрожь пробежала по ним. Пробило, наконец, и пять часов; раздался благовест к заутрене. Скоро забрезжит и утро, а фельдмаршала нет как нет! В это время вместо него в дверях показался заспанный принц. Проснувшись, он был озадачен продолжительным отсутствием жены и отправился отыскивать её. Он побледнел как мертвец и затрясся как осиновый лист, когда узнал от

жены о том, что она затеяла с Минихом и что пока ещё не известно, чем кончится это отважное мероприятие.

Заикаясь, он хотел было укорять её за безрассудство, но вдруг на улице послышался какой-то неопределённый отдалённый шум, который приближался и становился всё ответственнее, и вскоре под окнами дворца стали раздаваться смелые голоса. Все замерли в ожидании близкой развязки... Прошло ещё несколько минут, и в залах дворца раздались чьи-то твёрдые, быстрые шаги. Принцесса кинулась к колыбели своего сына и заслонила его собой. Юлиана подбежала к Анне и, обхватив её рукой вокруг шеи, крепко прижалась к ней, а в это время с громким плачем пробудился испуганный младенец-император...

XVI

– Поздравляю вас, ваше высочество! – громким голосом говорил Миних, широко растворяя перед собой двери. – Регента уже нет!

– Как нет? Неужели он убит? – вскрикнула Анна Леопольдовна.

– Успокойтесь на этот счёт: он жив; но теперь он в вашей власти – вы правительница империи.

Юлиана бросилась обнимать принцессу.

– Вот и мы попали в правительство!⁶⁹ —повторяла она и при этом хлопала в ладоши, весело подпрыгивала и, казалось, сама не знала, что делала от радости.

Миних преклонил колено перед Анной и торжественно поцеловал край её юбки, так как принцесса ещё по-прежнему оставалась в ночном уборе. Потом он поцеловал протянутую ему Анной Леопольдовной руку, а она, нагнувшись к нему, трижды облобызала его. Между тем Юлиана, не давая ещё встать старику с пола, кинулась ему на шею и принялась целовать его. Принцесса стояла несколько мгновений задумавшись и потом, как будто опомнясь, спросила своего избавителя:

– Чем же я могу наградить вас, фельдмаршал?

– Я не кончил ещё начатого мной дела; теперь вы только

⁶⁹ Подлинные слова Юлианы. (Примечание автора).

правительница, но если вам угодно, то сегодня же императорская корона будет принадлежать вам...

– Нет! Нет!.. Я не хочу короны... – торопливо, с испугом проговорила принцесса, сделав рукой движение, как будто она отталкивала что-то от себя.

– Я могу доставить её вам, – проговорил Миних с горделивым сознанием своей силы.

Принцесса отрицательно покачала головой.

– Гм! – пробормотал Миних. – Но что же угодно будет вашему императорскому высочеству? – спросил он недоумевающим голосом.

– С титулом великой княгини я провозглашу себя правительницей на время малолетства моего сына... и только.

– Воля ваша будет исполнена, – сказал, почтительно кланяясь, Миних.

– Но вы, любезный граф, должно быть, очень устали, вам нужен отдых, – заметила Анна Леопольдовна. При этих словах принц, молодой Миних и Юлиана кинулись подставить старику кресла, на которые он и сел по приглашению принцессы.

– Я не спросила ещё вас о том, где теперь регент и где его семейство? – сказала она.

– Регент находится в нижнем этаже вашего дворца, он сдан в надёжные руки... Но позвольте мне, ваше высочество, доложить вам о наших ночных похождениях.

Все присутствующие с напряжённым вниманием стали

слушать фельдмаршала.

– Не доходя шагов двести до дворца, – начал он, – я оставил мою команду и приказал Манштейну идти с двадцатью солдатами в Летний дворец и схватить регента. Чтобы не делать шума, Манштейн пошёл один вперёд, а солдаты шли от него в некотором отдалении. Часовые, бывшие около дворца, зная его в лицо как моего адъютанта, думали, что он послан за чем-нибудь от меня к герцогу, и беспрепятственно пропустили его. Он прошёл сад и попал благополучно во дворец, но встретил затруднение, не зная, в какой комнате спал герцог. Избегая малейшей тревоги, он не решился даже спросить об этом у дежурных и пошёл наугад. Прошёл он две комнаты и очутился перед дверью, запертой на ключ, на счастье, однако, дверь была створчатая, а её верхние и нижние задвижки, видно, забыли задвинуть. Поэтому Манштейн отпер её без большого труда и очутился в спальне герцога. Здесь спали глубоким сном он и герцогиня. Манштейн подошёл к кровати, отёрнул занавес и сказал, что имеет дело до регента. Супруги в ту же минуту проснулись и оба начали громко кричать, догадавшись, что адъютант мой не по добру явился к ним ночью в спальню. Герцог хотел было спрятаться под кровать, но Манштейн схватил его и крепко держал, а между тем гвардейцы, забравшиеся, в свою очередь, во дворец, услышав крик и возню, кинулись на выручку своему командиру. Герцог стал отбиваться от них кулаками, но наши молодцы не стеснялись уже с ним. Делать было нечего

– пришлось бить его прикладами. Затем герцога повалили на пол, засунули в рот платок, связали ему руки офицерским шарфом, и так как он был в одной только сорочке, то на него набросили солдатскую епанчу, положили его в мою карету и в таком виде привезли его сюда.

Миних говорил наскоро. Сильно билось сердце Анны Леопольдовны, и когда рассказ фельдмаршала дошёл до расправы с Бироном, она закрыла лицо руками. Миних смолк.

– Слава Богу, что хоть этим всё кончилось! Я ожидала ещё более ужасного, – сказала Анна Леопольдовна, перекрестясь со слезами на глазах.

– А что ж герцогиня? – спросила она заботливо тревожным голосом.

– К сожалению, и ей в этом случае пришлось несколько пострадать. Она в одной рубашке выбежала за мужем на улицу, и хотя Манштейн приказал отнести её обратно во дворец, но солдат на этот раз не послушал его приказания и, сказав: «чего возиться с ней!» – бросил герцогиню в снег. Командир караула нашёл её в самом жалком положении. Он велел сбегать за её платьем и отнести её в спальню. Так как она была нам вовсе не опасна, то я и оставил её пока в Летнем дворце. Брат герцога тоже арестован; он хотел было сопротивляться со своим караулом, но сдался, когда ему сказали, что герцог арестован. Я приказал тоже взять под караул и Бестужева, что уже исполнил мой адъютант, Кенигсфельс.

– Я не могу надивиться, как вам, фельдмаршал, удалось

арестовать регента!.. – вздрагивая, сказала Анна Леопольдовна.

– Да, ваше высочество, я шёл на опасное дело, – отозвался Миних, желавший выставить свой подвиг геройством, хотя сам он и знал, что легко мог арестовать регента даже среди белого дня, так как никто не заступился бы за него. – Представьте, что было. От вас, как я вам уже говорил, я поехал обедать к герцогу; он принял нас чрезвычайно любезно, и мы заговорились до поздней ночи. Он был, однако, задумчив и, озабоченный чем-то, часто менял разговор. Вдруг ни с того ни с сего он спросил меня: «Не предпринимали ли вы, фельдмаршал, во время ваших походов каких-нибудь важных дел ночью?» Признаюсь, этот неожиданный вопрос сильно озадачил меня: мне представилось, что регент догадывался о моём намерении; но я не смутился и спокойно отвечал ему, что не помню, случалось ли мне предпринимать что-нибудь особенное ночью, добавив, впрочем, что постоянным моим правилом было, несмотря ни на день, ни на ночь, пользоваться всеми обстоятельствами, если только я их находил благоприятными для себя. Герцог одобрил это правило, но мне в голову крепко запала мысль, что вопрос о ночных предприятиях был не даром. Я решился действовать безотлагательно и потому, сделав некоторые предварительные распоряжения, позволил себе явиться к вашему высочеству в такую позднюю пору, чтобы получить ваше приказание...

В это время раздался грохот барабанов, принцесса встре-

пенулась.

– Не тревожьтесь, ваше высочество, – сказал Миних, – это по моему приказанию войска спешат ко дворцу; вам надобно одеться и показаться перед войском и народом, представив им императора.

Все уже суетились в Зимнем дворце. Арест герцога переполошил всех, а барабанный бой поднял на ноги жителей Петербурга. Позднее ноябрьское утро ещё не наступило, был полумрак, и никто не знал, что происходит, а между тем густые толпы народа двигались ко дворцу следом за войсками. Всё произошло так быстро, немцы так неожиданно и так ловко расправились друг с другом, что даже тогдашний главный начальник петербургской полиции, князь Яков Петрович Шаховской не мог взять в толк, что делалось в городе, в котором сохранение тишины и спокойствия было вверено непосредственной его бдительности.

«Я поздно, – писал в своих «Записках» князь Шаховской, – в оную ночь «с 8 на 9 ноября» заснул; но прежде расвету приезжим ко мне офицером был разбужен, который мне объявил, что во дворец теперь множество людей съезжаются, гвардии полки туда же идут и что принцесса Анна, мать малолетнего императора, приняла правление государственное, а регент Бирон с своей фамилией и кабинет-министр граф Бестужев взяты фельдмаршалом Минихом под караул и в особливых местах порознь посажены. Итак, – продолжает первенствующий блюститель благочиния, – спеш-

но одевшись и ко дворцу приехав, увидел множество разного звания военных и градских жителей, в бесчисленных толпах окружающих дворец, так что карета моя, до крыльца по невозможности проехать, далеко остановилась, а я, выско- ча из оной, с одним провожающим команды моей офицером спешно пробирался сквозь людей на крыльцо, где был вели- кий шум и громкие разговоры между оным народом; но я, того не внимая, бежал вверх по лестницам в палаты, и как начала, так и окончания, кто был в таком великом и редком деле начинателем, и кто производитель и исполнитель, не зная, не мог себе в смысл вообразить, куда мне далее идти и как и к кому пристать. Чего ради следовал за другими, ту- да же спешно меня оббегающими. Но большею частью гвар- дии офицеры с унтер-офицерами и солдатами, толпами сме- шиваясь, смело, в весёлых видах и не уступая никому места, ходили; почему я вообразить мог, что сии-то и были произ- водителями того дела».

Миних, по захвате регента, распорядился известить о про- ишедшей перемене правления всех вельмож, вследствие че- го они мчались теперь в Зимний дворец; войска и народ беспрестанно прибывали на дворцовую площадь. Придвор- ная церковь и дворцовые залы мгновенно осветились мно- жеством свечей; и здесь, и там, на лестницах и на улицах слышались весёлые клики и радостные поздравления с но- вой правительницей.

В пышном наряде, блистая бриллиантами, явилась моло-

дая правительница в церковь, где наперерыв один перед другим спешили принести ей присягу на верность придворные, военные и гражданские чины; перед дворцовой церковью была такая давка, что трудно было протискаться туда даже самым сановным лицам. В галерее, ведущей в церковь, быстро переходили из рук в руки листы бумаги и слышались возгласы: «извольте, истинные сыны отечества, в верности нашей всемилостивейшей правительнице подписываться и идти в церковь, в том Евангелие и крест целовать». Присяжные листы жадно вырывали один из рук других, расспрашивая, что и как следует на них писать, вырывали также и чернильницы, и перья, и каждый подписавшийся силился пробраться в церковь, чтобы взглянуть на правительницу и поклониться ей⁷⁰.

Правительница, несмотря на господствовавшую около неё неудержимую радость стояла в церкви с задумчивым выражением лица, окружённая блестящим сонмом вельмож. Казалось, что её нисколько не веселила победа над её врагом и она оставалась совершенно равнодушной к тому величию и к той славе, которые так внезапно озарили её. Разумеется, что печальный вид принцессы среди этого торжества объясняли следами тех сильных волнений, которые она только что испытала перед этим и которые не успели ещё улечься в душе её. Такая догадка была справедлива только отчасти, так как у неё были другие, тоскливые думы. В добром от природы

⁷⁰ «Записки» кн. Я. П. Шаховского. (Примечание автора).

сердце Анны теперь поднималась новая борьба. Освободившись от своего давнишнего притеснителя, она начала жалеть как о нём самом, так и о его семействе; грустные предчувствия и в эти радостные минуты закрадывались в её душу; ей приходили на мысль и предстоящие для неё тяжёлые заботы правления, и её неудавшаяся супружеская жизнь. То напряжённое состояние, в котором она только что находилась, миновало, и она ещё сильнее почувствовала упадок душевных сил, свою беспомощность в новом высоком сане и своё одиночество в изменчивой и продажной среде, окружавшей её. У неё не было надёжного друга, на которого она могла бы положиться. Правительница предвидела, что в чаянии её щедрот и милостей перед ней будет приниженная, послушная и покорная толпа слуг, рабов, угодников и льстецов, но что среди них она не найдёт тех чувств, которые ей казались дороже всего. У неё были теперь власть и сила, но она была не только правительницей государства, но и двадцатидвухлетней женщиной в разгаре молодых мечтаний...

Не только в церкви и в залах дворца, но и на площади можно было легко убедиться, какой восторг охватил всех. Войска и народ радостно и вместе с тем как-то дико заревели, когда правительница в накинутой на плечи бархатной, собольей шубке явилась на балконе Зимнего дворца. То же самое повторилось, когда она показала в окно своего сына-императора. После этого полкам был прочитан на площади манифест о принятии «благоверной» великой княги-

ней Анной Леопольдовной правления государством в малолетство её сына. Перекаты «ура!» покрывали чтение этого объявления, и шапки высоко летели вверх. Между тем каждый гвардейский батальон составлял особый кружок и приносил под своим знаменем присягу на верность правительнице. Окончание войском присяги было возведено пушечными залпами со стен Петропавловской крепости.

Для принесения правительнице присяги явилась в Зимний дворец и цесаревна Елизавета. Соперницы встретились, по-видимому, весьма дружелюбно. Елизавета со слезами на глазах кинулась на шею своей племяннице и крепко облобызала её в губы и в щёки, потом схватила её руку, чтобы поцеловать, но правительница не допустила до этого. Теперь, без поддержки Бирона, беспечная, ветреная и весёлая Елизавета казалась уже не опасной Анне Леопольдовне, проявившей такую решительность и смелость, а между тем неожиданный переворот, произведённый женщиной при помощи горстки солдат, заронил в приверженцах цесаревны Елизаветы первую мысль о возможности сделать то же самое и в её пользу.

XVII

Весь Петербург в течение нескольких дней только и делал, что толковал о случившемся перевороте. Знакомые ездили друг к другу, стараясь поразведать что-нибудь новенького; болтуны и болтуньи, не зная ничего достоверного, принимались сочинять замысловатые рассказы и пускали их в ход как несомненную правду, между тем как рассказы эти были в сущности нелепой выдумкой. Ошеломлённые неожиданностью государственного переворота, представители иностранных держав в Петербурге отыскивали всевозможные лазейки, чтобы поразузнать о таинственных событиях странной ночи, и деятельно строчили своим дворам объёмистые депеши, подхватывая на лету всё, что им удавалось услышать. Услышать же теперь можно было многое. Новое правительство не принимало никаких мер для того, чтобы несколько обуздать и припугнуть даже самых смелых говорунов; усиленные при регенте караулы были отменены, расставленные при нём на улицах и площадях пешие и конные пикеты были немедленно сняты, никто не разгонял собиравшегося на улицах народа, не закрывали ни кабаков, ни бань, и подозрительные шпионские рожи не сновали нигде: они как будто провалились сквозь землю.

Солдаты, остававшиеся перед дворцом на площади, поставив ружья в козлы, похваливали Миниха и в особенно-

сти молодцов-преображенцев, арестовавших регента. Весело и громко гудела дворцовая площадь, покрытая народом. По временам по ней проносился какой-то мягкий и перекастистый шум: начинал один попрозябший солдатик отогреться, похлопывая рукавицами, глядя на него, принимался делать то же самое его товарищ, а за ним другой, третий, а потом и все, как это обыкновенно бывает в массе людей, приученных к дружным движениям и действиям.

Собравшиеся на площади в кучку гвардейские офицеры, из русских, толковали теперь об участи своих товарищей, схваченных по распоряжению регента.

– А что же, господа, – говорил один из офицеров, – ведь и о товарищах наших подумать следует; за последние дни мы многих из нас недосчитываемся. Куда девались Ханыков, Аргамаков, князь Путятин, Пустошкин?

– Куда девались? – перебил другой офицер, – известно куда; да только запрятали их так хорошо, что не скоро и достанешь.

– Положим, хоть теперь и достанешь, – заметил третий, – да после побывки в застенке куда они годятся? Не жильцы они больше на белом свете, навек искалеченными останутся; кто с поломанной рукой, кто со свихнутой ногой, а кто вдобавок и сухотку подхватил.

– Надобно будет за них, господа, с челобитной от гвардейских полков к её императорскому высочеству отправиться, – отозвался тот из офицеров, который поднял настоящий раз-

говор.

– Незачем, – вмешался один из преображенцев, – сама помилует и достойным образом вознаградит каждого за страдание и за пролитую кровь. Ведь толкуют, что правительница и милостива, и жалостлива. Да и с какой стати нам на первых порах учить её, пусть сама своё милосердие по собственной воле являет. Посмотрим, что будет, а вот если не окажет милостей потерпевшим за неё, так тут другая статья выйдет; и без неё обойдёмся... – добавил он, внушительно посмотрев на своих товарищей.

В другой разношёрстной кучке ораторствовал какой-то старый подвыпивший приказный.

– Ведь вот поди ты, какие случаи бывают!.. Чудны дела твои, Господи! Ещё вчера около полудня видел я сам, как его высочество принц к регенту в гости ехал, а потом встретил их уже вместе: ехали они в Зимний дворец. Кажись, приятелями были.

– Да не только они так катались, – перебил один из толпы, – а видел я, как принц и герцог вместе в герцогский манеж приехали, и подумал: эх, ведь народ-то как много вздору болтает. Говорили, что они живут промеж собой как собака с волком, а выходит-то на деле, что они друзья закадычные⁷¹...

– Да ведь принц-то тут ровно ни при чём; вот там галдят, –

⁷¹ О таком отношении принца к регенту передаёт маркиз де ла Шетарди. (Примечание автора).

сказал кто-то, указывая рукой в сторону, – что всю эту диковинку обделала ихнее высочество сама по себе.

– А кажись, с виду такая тихая и смиренная будет!.. – подхватила какая-то старушонка, покачивая от удивления головой.

– Ну, уж насчёт женского пола, – отозвался стоявший в кучке толстый купчина, – я вам доложу: тайна сия велика есть. Вот хоть бы примером заявить – моя супружница...

– Что ты, голубчик?.. Никак, с ума спятил?.. – крикнул приказный, – тут мы о делах первостепеннейшей государственной, можно сказать, важности рассуждаем, а ты нам свою супружницу тычешь... Ну её!..

Купчина растерялся, а толпа захохотала и принялась остеречь на свой лад, но некоторым показалось страшноватым толковать о таких опасных делах, и они стали понемногу пятиться от приказного, зато другие смельчаки ещё более подвинулись к нему. Вдруг бывший среди разговаривавших поп икнул изо всей мочи. Этой неожиданности было достаточно, чтобы внезапный, бессознательный страх обдал всех присутствовавших: они пошатнулись и в ужасе отскочили от оратора.

– Вишь, батька, как пужнул всех, – хохоча во всю глотку, сказал приказный. – Чего, дураки, бежите? Вернитесь! – крикнул он.

Никто, однако, не хотел внять этому призыву. Все пустились наутёк, как стадо испуганных баранов, искоса посмат-

ривая, не следует ли кто-нибудь за ними, и, отбежав подальше, радовались, что они избавились от беды подобру-поздорову.

– Что ты, батька, наделал? – укорительно заметил ему приказный.

– Что наделал? Так и должно быть; разве не знаешь, что и в пророчествах написано: «поражу пастыря и рассеятся овцы стада», – добавил он не без спесивой торжественности.

– Хорош пастырь!.. Тебе бы не разгонять паству, а собирать её теперь около себя и поучать её, – внушительно заметил приказный.

– Да чему поучать?

– Чему поучать?.. чему поучать? – передразнил приказный. – Нешто не знаешь, что он не крещён?.. – добавил таинственным полушёпотом.

– Кто он?.. – спросил поп, вытаращив глаза.

– Да он!.. А хочешь знать всё, так изволь, тебе скажу. Иди сюда... – и, отведя попа в сторону, приказный начал ему шептать что-то, причём слушатель в недоумении покачивал головой, с любопытством прислушиваясь к словам своего собеседника.

Если бывшая на площади толпа жадно глядела на всё, что происходило теперь перед ней, то ещё более любопытно её подстрекал вопрос о том, как порешат с регентом. В толпе ходил слух, что по этому делу идёт во дворце совет и что как только он кончится, тотчас же «злодея» будут казнить лютой

смертью тут же, на площади, перед всем православным народом. Все знали, что герцог сидит под караулом во дворце, и полагали, что там долго его не продержат, а потому и желали посмотреть, чем всё кончится.

Сильно избитый ружейными прикладами и порядочно помятый регент, попавший в неволю, метался сперва, как дикий зверь, запутавшийся в тенетах. Он осыпал страшными проклятиями вероломного Миниха и, не зная, кто был истинным виновником его бедствий, называл всех русских вельмож бездушными и неблагодарными людьми, не стоившими его милостей. Ссылаясь на волю покойной императрицы, герцог заявил, что он законный правитель империи и что те хищники, кто насильственно лишил его принадлежащей ему по праву власти. Он то просил, чтобы принцесса или принц пожаловали к нему, то требовал, чтобы его отвели или к ней, или в совет министров для объяснений, или, наконец, по крайней мере, хотя объявили ему истинную причину его ареста. Он твердил о том, что образ действий в отношении к нему представляет нарушение международных прав, так как независимо от того, что он был регентом империи, он был в то же время и владетельным герцогом Курляндским – государем, не состоявшим ни в какой зависимости от России. Он настаивал на том, чтобы к нему были приглашены представители иностранных держав, находившиеся в Петербурге, дабы он мог им заявить свой протест против оказываемого ему насилия. Всё это он говорил в страшном раздраже-

нии, бессвязно, и по-русски, и по-немецки, обращаясь к приставленным к нему караульным офицерам и заявляя об этом врачу и пастору, посетившим его, а также начальнику тайной канцелярии графу Ушакову и генерал-прокурору князю Трубецкому, ещё накануне этого несчастного для него дня так раболепствовавшим перед ним, а теперь пришедшим к нему, чтобы объявить о сделанных от имени правительницы насчёт него распоряжениях.

После порывов неудержимого негодования, переходившего в исступление, герцог впадал в какое-то оцепенение. Он, как расслабленный, опускался в кресла, потом вскакивал, быстро ходил по комнате, плакал, рвал на себе волосы и платье. Но все его протесты, брань, крики, вопли, проклятия и слёзы были совершенно напрасны, никто не тронулся ими, никто не обращал на них никакого внимания: Могущественный ещё за несколько часов регент увидел теперь всё своё бессилие, попавшись во власть молодой женщины, которую он до сих пор считал робкой и не способной ни к каким решительным и крутым мерам. Он увидел всю ошибку, раскаивался в своей опрометчивости и в особенности в своём доверии к Миниху, винил себя в слабости и снисходительности к своим врагам, а между тем доходившие до него с площади отголоски радостных криков приводили его в бешенство. Он то надеялся на милосердие Анны Леопольдовны и считал свой арест только временной, неприятной случайностью, и тогда он несколько приободрялся и успокаивался, то он впа-

дал в отчаяние, и тогда ему мерещились и пытки, и плаха, и он, скрежеща зубами, с диким хохотом закрывал руками искажившееся от ужаса лицо.

Но вот явился к нему грозный Ушаков в сопровождении своих адъютантов и сильного караула. Ушаков объявил герцогу от имени правительницы повеление о немедленном выезде его из Петербурга.

Герцог пошатнулся, но, тотчас же оправившись, он склонил голову и, не говоря ни слова, отдался в руки своих суровых распорядителей, которые, накинув плащ поверх бывшего на нём шлафрока, повели его с лестницы, окружённого со всех сторон штыками.

Едва показался на дворцовом подъезде герцог с низко надвинутой на лицо шапкой, как стоявшая около подъезда толпа тотчас же узнала его по знакомому всему Петербургу его синему бархатному плащу, подбитому горностаем. Народ неистово завопил, и по площади раздались крики: «Вот он, наш злодей и мучитель!», «Сейчас бы и порешить его!», «Что закрыл ты харю, покажи её!» – кричали ему с разных сторон.

Теперь проявилась вся дикая разнузданность грубой черни, которая ещё так недавно с подобострастным страхом преклонялась перед своим властелином, а теперь с проклятиями и ругательствами готова была бы растерзать его в клочки, если бы только войска не сдерживали её свирепого

натиска⁷².

Герцога, почти потерявшего сознание, втокнули живой рукой в дормез⁷³, запряжённый придворными лошадьми. На козлах дормеза сидел, вместо кучера, полицейский солдат, а рядом с ним лакей в придворной ливрее; экипаж был окружён отрядом гвардейских солдат с примкнутыми к ружьям штыками. В отдельном, переднем сиденье дормеза помещались доктор и два гвардейских офицера, каждый из них с двумя заряженными пистолетами. По знаку, данному одним из адъютантов Миниха, распорядившимся отправкой арестанта-герцога, поезд тихо двинулся.

В эту минуту герцог нечаянно поднял глаза и увидел в окне дворца бледное лицо Анны Леопольдовны. При виде своего пленника правительница вздрогнула, она хотела сказать что-то окружавшим её, но голос у неё замер, и она, закрыв лицо, заплакала навзрыд. Стоявший у окна, около Анны, её супруг смотрел на всё происходившее с каким-то торжественно-напыщенным видом, но в душе ему как будто не верилось, что в отъезжавшем от дворца экипаже мог сидеть тот самый человек, которого он за несколько часов так смертельно трусил, и принц с почтительным изумлением взглядывал на молодую женщину, отомстившую регенту обиды и свои, и нанесённые им её ничтожному супругу.

⁷² Об отправке Бирона рассказывает маркиз де ла Шетарди. (Примечание автора).

⁷³ Дормез – дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

После герцога, также в дормезе, был вывезен его брат, генерал Бирон, а за ним в простых санях был отправлен Бестужев. Сильный конвой сопровождал и того, и другого.

Наступали ранние сумерки ясного морозного ноябрьского дня. На небе горела вечерняя заря, обливая розовым светом и здания, и толпившийся на площади народ. Ярко-пурпуровым блеском отражался закат солнца в окнах домов, и всё это придавало Петербургу весёлый праздничный вид, соответствовавший тому настроению, в котором находились теперь жители столицы; с шумным говором потянулся, наконец, народ за войсками, двинутыми с площади, по окончании всех главных распоряжений, и вскоре всё вступило в колею обычной жизни для тех, кто не участвовал в перевороте; совершенно иное испытывали теперь те, на ком он отразился прямо или косвенно.

XVIII

Тотчас после доклада Миниха Анне Леопольдовне об аресте регента она послала известить об этом графа Остермана как главного и необходимого дельца в такую затруднительную минуту, приглашая его немедленно приехать в Зимний дворец. Услышав совершенно неожиданную весть о падении герцога, осторожный до крайности министр не поверил возможности такого важного события. Он полагал, что, вероятно, между регентом и принцессой произошли только какие-нибудь замешательства и столкновения, впутываться в которые было бы слишком опасно, и что известие о захвате регента основано на каких-нибудь неверных, преувеличенных или преждевременных слухах, или же, наконец, оно сообщено ему нарочно для того, чтобы заставить его принять участие в неокончившейся ещё борьбе принцессы с герцогом. Как бы то, впрочем, ни было, но, ссылаясь на свою тяжкую болезнь, Остерман приказал посланному принцессы доложить её высочеству, что он, к крайнему своему прискорбию, не имеет решительно никакой возможности исполнить её приказание. С таким ответом возвратился посланный в Зимний дворец, куда уже успели собраться все вельможи. Не видя среди них Остермана и узнав о его обычной отговорке, Миних тотчас же смекнул, в чём дело, и попросил камергера Стрешнева, шурина Остермана, отправиться к кабинет-ми-

нистру.

– Я знаю настоящую причину, почему граф Остерман не явился во дворец, – сказал фельдмаршал Стрешневу, – он думает, что не вышло ли относительно ареста бывшего регента каких-нибудь недоразумений, он чересчур осторожен, но вы очевидец всего, что теперь происходит, поезжайте к графу и удостоверьте его лично, что герцог действительно арестован. Я вполне убеждён, что тогда Андрей Иванович сделает над собой некоторое усилие и тотчас же приедет сюда.

Стрешнев принял на себя это поручение, и оказалось, что Миних не ошибся в своём предположении. Убедившись вполне в том, что регент лишился власти, что он схвачен и сидит под караулом и что правление государством перешло в руки Анны Леопольдовны, хитрый старик не замедлил приехать во дворец и представился правительнице, преподнося ей красноречивые и льстивые поздравления, а также пожелания всевозможных благ. Анна Леопольдовна милостиво подшутила над его излишней робостью и неуместной осторожностью, назначив ему быть в тот же вечер у неё с докладом.

У успокоившегося теперь Остермана не только нашлись силы для исполнения служебных обязанностей, но он даже, к общему удивлению, объявил, что на днях, по случаю совершившихся радостных для всего «российского отечества» событий, даст у себя большой бал, удостоить который своим присутствием соизволила обещать государыня-правительница.

В назначенный час Остерман явился с докладом к Анне Леопольдовне. После разговора обо всём случившемся Остерман представил правительнице свои соображения относительно настоящего положения политических дел, а затем предложил её вниманию сообщение о тех бумагах, которые без её ведома были подписаны регентом и отправлены по назначению из коллегии иностранных дел.

– В числе таких бумаг, – сказал совершенно равнодушным голосом министр – была депеша к дрезденскому двору с просьбой назначить к нам польско-саксонским посланником графа Линара...

– Графа Линара?.. – с изумлением спросила правительница. – К чему же это? – добавила она, силясь преодолеть охватившее её при этой новости волнение и стараясь казаться совершенно спокойной. Но выражение её лица и замешательство тотчас выдали Остерману её сердечную тайну, и от его проницательности не укрылось то потрясающее действие, какое произвело на правительницу сообщение о предстоящем приезде в Петербург Линара.

– Регент находил, – продолжал Остерман тем же тоном, – что приглашение в Петербург такого посланника, как граф Линар, могло бы в значительной степени облегчить сношения наши с венским двором, а вместе с тем и противодействовать расчётам берлинского кабинета.

Правительница, пересиливая своё смущение, закусила нижнюю губку и, наморщив брови, хотела придать своему

лицу самое серьёзное выражение, которое соответствовало бы важности представляемого ей доклада по дипломатической части. Она сделала вид, будто чрезвычайно внимательно слушает объяснения министра, а между тем сердце её сильно билось, дыхание замирало, и даже не такому тонкому наблюдателю, каким был Остерман, нетрудно было подметить притворное равнодушие правительницы. Не зная во все тех коварных замыслов, которые, по наущению самого же Остермана, были у регента при вызове в Петербург Линара, Анна подумала, что регент хотел только неожиданно угодить ей этим, и ей вдруг стало жаль герцога при этой мысли; он не показался уже ей непримиримым врагом, и чувство благодарности со стороны страстно влюблённой женщины брало в ней теперь верх над холодной суровостью правительницы.

– Нет, я не желаю, чтобы граф Линар явился при моём дворе, – проговорила она, придавая своему голосу оттенок негодования, а между тем сама думала вовсе не то. – Ты, Андрей Иваныч, – добавила она, – был слишком близок к регенту...

– Сего вообще никак не можно сказать, ваше императорское высочество, – поспешил возразить оторопевший Остерман, – я был близок с регентом токмо по государственным, а не по личным делам: мне, вашему всепокорнейшему слуге, необходимо было весьма часто трактовать о политике и нуждах империи с герцогом и согласовываться с его видами, как главного правителя «российского отечества», поставленного

в одну должность волей в бозе почивающей государыни.

– Успокойся, Андрей Иванович, – улыбаясь и кротко сказала правительница, – я говорю тебе это не с тем, чтобы обвинять тебя за близость к регенту, я хочу сказать тебе совсем другое, чего ты, быть может, и не ожидаешь; я стану говорить с тобой от чистого сердца, только и ты скажи мне сущую правду, как мой истинный доброжелатель...

Услышав эти милостивые слова, Остерман заметно приободрился.

– Ты был близкий человек к герцогу, а потому, разумеется, он не скрывал от тебя того распоряжения, какое, по его старанию, сделала покойная моя тётка относительно графа Линара. Притом, кроме тебя, некому было писать в Дрезден депешу по этому делу...

– Во исполнение сего состояла моя обязанность, – подхватил смутившийся опять несколько министр, – но смею уверить ваше императорское высочество, что в депеше сей не было ничего, касавшегося высочайшей вашей особы.

– Конечно! Но тем не менее ты, Андрей Иванович, очень хорошо должен был знать истинную причину, почему была написана эта бумага, да и сама покойная государыня из моей девичьей глупости никакой тайны не делала. Помнишь, какой тогда переполох и шум поднялись во дворце, пошли справки, расспросы и передопросы, даже последних дворцовых служителей и служительниц, и тех в покое не оставили; о чём только их не расспрашивали, а иных и в тайную канце-

лярию для сыску отправляли, а ты, Андрей Иваныч, знаешь, что у людей язык куда как долог. Заговорил один, а за ним и другие принялись болтать во все стороны. Не только все при дворе, но и целый город, я думаю, знал, за что выслали Линара; Юлиана передавала мне все тогдашние толки, и много я за мою шалость разного горя натерпелась. Обо всём этом не забыли ещё и, следовательно... – добавила Анна, смотря пристально на Остермана.

В то время когда она сетовала таким образом на своё прошлое, в воображении её мелькнули, однако, отрадные, пленительные воспоминания, и даже тот страх, который испытывала она когда-то при тайных сношениях с Линаром, обращался теперь в какое-то приятно раздражающее её чувство.

– Вероятно, вашему высочеству благоугодно будет сказать, что посему приезд в Петербург графа Линара произведёт прежние вздорные толки?... – заметил Остерман.

– Да... Распорядись лучше, Андрей Иваныч, отправить в Дрезден другую депешу... Напиши в ней, что мы передумали и что граф Линар нам вовсе не нужен... Обойдёмся и без него... – Последние слова правительница проговорила с заметным усилием, неровным голосом.

Анна и Остерман хитрили теперь друг перед другом, но меньше их в этом случае было далеко не одинаково. И он, и она желали, хотя и по разным побуждениям, чтобы Линар был в Петербурге, но не хотели или, вернее сказать, не могли откровенно высказаться об этом между собой. Остерман,

предвидевший теперь возможность вступить в отношении к Линару в роль бывшего регента, боялся, как бы под влиянием опасений, высказываемых правительницей, не потерять подготовленной им для себя около неё поддержки. Ему было ясно, что после трёхлетней разлуки Анне хотелось свидеться с Морицем и что она только из стыдливости и сдержанности противоречила осуществлению этого предположения. Слишком опытный в интригах и происках Остерман домогался того, чтобы в настоящем деле последнее решительное слово принадлежало самой правительнице с тем, что если бы впоследствии из приезда Линара вышло что-нибудь для неё неприятное, то он мог бы сослаться на собственную её волю. Делая вид, что он нежелание Анны Леопольдовны видеть Линара считает искренним, Остерман посредством такого притворства нашёл возможность поставить молодую женщину в самое затруднительное положение.

– Повеление вашего высочества сегодня же мной будет исполнено, – покорно сказал Остерман, сиюсь привстать с кресла. – По возвращении домой я безотлагательно заготовлю соответственную сему делу депешу для отправки её с нарочным посланцем в Дрезден...

Проговорив это, хитрый старик как будто принялся рыться в бумагах, расположенных перед ним на столе, а сам между тем украдкой, исподлобья, следил внимательно за Анной, которая, увидев безотговорочность Остермана, не знала, как далее повести дело к тому исходу, который был ей так жела-

телен.

Наступило молчание. Облокотясь на стол и закрыв лицо рукой, задумчиво сидела правительница. Остерман продолжал спокойно рыться в бумагах, подготавливая их к дальнейшему докладу, и, как будто считая вопрос о Линаре совершенно поконченным, он отложил в сторону относившуюся к нему бумагу.

Анна увидела это и не выдержала.

– Но как же это сделать?.. – с живостью спросила она.

– Что сделать, ваше высочество?.. – проговорил Остерман, подняв глаза на правительницу и делая вид, что он не догадывается, о чём она спрашивает его.

– Чтобы отклонить приезд Линара... Ведь дрезденский кабинет... – нерешительно промолвила правительница.

– Учинить сие несколько трудновато, – начал глубокомысленно Остерман официальным слогом того времени, – чаять надлежит, что пущенная из Санкт-Петербурга в Дрезден депеша или уже прибыла туда, или имеет прибыть не сегодня, так завтра. Посему дрезденский двор и мог уже с своей стороны распорядиться о поступлении в сходствие с одной. Засим, по получении новой депеши, входящей в противоречие с прежней, дрезденский кабинет не токмо обижен быть может, увидев от нас столь мало к себе аттенции, но и может таковое изменение к легкомыслию и импертиненции нашего двора отнести и в силу оногo восчувствовать против нас огорчение и признать сие действие досадительным для себя

с нашей стороны поступком...

– Я не смыслю ничего в вашей политике, – перебила принцесса, обрадованная, однако, в душе, что дело идёт на лад, и не просто по её только желаниям, а по причинам весьма уважительным – по дипломатическим соображениям тонкого министра.

– Как ознакомитесь, ваше высочество, с сими делами, – сказал, тяжело вздохнув, Остерман, – тогда соизволите увидеть, какие при оных делах встречаются конъюнктуры и инфлуенции... Бывают случаи, – продолжал поучительным голосом министр, – когда высочайшие особы, презрев свои персональные амбиции и онёры, должныствуют приносить в жертву и те и другие наиважнейшим резонам...

– Следовательно, и я должна?.. – как будто с радостью спохватилась правительница.

– Сие зависеть будет от всемилостивейшего вашего благоусмотрения. Могу токмо сказать, что, несомненно, российское отечество ожидает от матери своей всего на пользу его имеющего быть содеянным...

– Но что ж теперь делать? – пытливо спросила Анна.

– По мнению всенижайшего вашего слуги, надлежит учинённое пред сим в отношении графа Линара оставить в прежней силе, – заметил министр.

– Но когда приедет сюда Линар, тогда?.. – В этом вопросе правительницы слышались и робость, и нерешительность, и Остерман со своей стороны нашёл нужным пересилить их.

– Так что же, ваше высочество? Всем будет известно, что не вы изволили его вызвать, а регент, который, как сие все очень хорошо ведают, не токмо никогда не думал о чем-нибудь угодном особе вашей, но, наоборот, поступал в совершенную противность оному, учиняя вам огорчения и досадительства. В таком смысле относительно приезда сюда послом графа Линара можно будет даже составить не токмо дипломатическую, но и газетную декларацию, и тогда все поймут, что вы, ваше высочество, пребываете здесь ни при чём, и что вам так надлежало поступить по необходимости, из одного токмо учтивства перед дружественным иностранным двором, как требуют сего народные права.

Анна Леопольдовна призадумалась, а Остерман, пользуясь её колебанием, решился покончить все дело одним, самым верным, по его мнению, ударом.

– Осмеливаюсь, впрочем, – начал он тихим, несмелым голосом, – представить вашему императорскому высочеству единственное, несколько затрудняющее настоящий казус обстоятельство... Всё нужно принять при сём в соображение, и потому позвольте дерзновенно, с уничижением, приличествующим всенижайшему вашему слуге, спросить: быть может, его император...

– Принц?.. – гневно вскрикнула Анна Леопольдовна, вскочив с кресла, и на бледном лице её выступили красные пятна. – Никому нет дела до моих к нему отношений!.. Я могу поступать как хочу!.. Я спрашиваю у министров только

советов, а не наставлений!..

Остерман растерялся, но в то же время увидел, что дело его выиграно окончательно, что он задел в Анне самую чувствительную струну.

– Дерзнул я изречь сие, – забормотал он, – не в видах поучительных, но токмо...

– О принце говорить теперь нечего, – не без запальчивости перебила она, оскорблённая в особенности тем, что Остерман как будто забыл или не хотел знать событий минувшей ночи, когда Анна оказала такую решительность и такую смелость в противоположность бездействию и трусости своего мужа.

Но взрыв негодования быстро прошёл у неё. Сделав в сильном волнении лишь несколько шагов по комнате, она, молча, остановилась перед Остерманом, выжидая, что он ещё скажет.

– Как же благоугодно будет приказать вашему высочеству поступить в отношении графа Линара?.. – спросил робко Остерман.

– Я желаю, чтобы граф Линар был в Петербурге, – твёрдым голосом и с повелительным видом сказала правительница.

Остерман почтительно склонился перед ней, а молодая женщина вовсе не предчувствовала, что с этими словами она делала первый шаг к своей гибели.

XIX

Никаких торжеств и празднеств не происходило ни при дворе, ни в Петербурге вообще по случаю принятия правления Анной Леопольдовной, несмотря на радость всего населения. Причиной этому было то, что тело императрицы Анны Ивановны оставалось ещё непогребённым. Оно стояло в Летнем дворце, откуда только в последних числах ноября было перевезено с необыкновенной пышностью в Петропавловский собор. По этому случаю собору была придана такая же полуязыческая обстановка, какой – как мы уже знаем – отличалась та дворцовая зала, где стоял прежде гроб Анны Ивановны. В фонарике, венчавшем купол соборной церкви, было, по словам современного описания, «сделано облако, из которого исходил луч славы», осенявший золотой надгробный балдахин. У катафалка, на котором был поставлен гроб, стояли четыре женские статуи. На стенах церкви были развешаны медальоны, надписи, мёртвые головы, гербы провинций и фестоны из чёрного крепа, на которых, как и на чёрных занавесах, бывших у окон и у дверей, блестели «слёзные капли». На главном карнизе церкви были поставлены лампы, урны и, вдобавок к ним, «по римскому и греческому обычаю, горшки со слезами». Вдоль церкви было расставлено восемь статуй. Они изображали теперь не добродетели почившей государыни, как это было в дворцовой

зале, но добродетели её верноподданных, удручённых тяжкой скорбью. Из статуй одна представляла «жену», которая держала левой рукой на груди младенца а правой вела смотрящего на неё отрока. «При ногах этой жены была насадка, покрывающая крыльями цыплят». По толкованию учёных устроителей такой затейливой обстановки, статуя эта в общей своей совокупности должна была знаменовать «искреннюю любовь верноподданных». Другая статуя, находившаяся прямо против царских врат, изображала «жену, у которой на челе, вместо повязки из драгоценных камней, было сердце, а при ногах её молодой журавль принимал старого и бессильного на свои крылья». Статуя эта означала «непритворную верность» россиян к скончавшейся государыне. Во всё это время двор не снимал глубокого траура. Дамы ходили в чёрных байковых робах с широкими белыми плерезами, в больших чепцах с длинными позади них вуалями из чёрного флёра. Мужчины носили чёрные суконные кафтаны, и лишь в то утро, когда происходило поздравление правительницы с принятием власти, все явились во дворец в цветной парадной одежде. У знатных особ приёмные комнаты и экипажи были обтянуты чёрным сукном. Лишь за несколько дней перед 18-м числом декабря, в которое приходилось рождение Анны Леопольдовны – ей минуло теперь двадцать три года, – происходило погребение покойной императрицы с величавой торжественностью. Гроб опустили в могилу; со стен Петропавловской крепости загрохотали прощальные пушечные

выстрелы; рассеялся их белый дым, а вместе с ним исчезли и все видимые следы десятилетнего сурового царствования Анны Ивановны. Власть её любимца пала, и начались новые правительственные порядки...

Вечером в день рождения правительницы Петербург, говоря напыщенным слогом, пылал увеселительными огнями. В ту пору столичные иллюминации были предметом самой тщательной заботы; в устройстве их принимали самое деятельное участие и художники, и учёные, и пииты, и полиция. Первые составляли на эти случаи рисунки, транспаранты и эмблемы; вторые сочиняли на разных языках – преимущественно на латинском – велеречивые надписи, льстивые изречения, а также и замысловатые аллегии; третьи сплетали вирши и акrostихи, входившие в состав иллюминационных украшений. Наконец, со своей стороны полиция, не вдававшаяся ни в художества, ни в поэзию, просто понуждала жителей столицы зажигать плошки, шкалики и свечи. Такие распоряжения не прикрывались никакими деликатными внушениями, а предъявлялись прямо, как обязательные требования, и о них, при описании бывших в Петербурге иллюминаций, упоминалось в похвалу полиции, по приказанию которой нельзя было, например, поставить в одном окне менее десяти свечей в виде пирамиды.

Впрочем, и без понуждений со стороны полиции каждый по-своему готов был выразить правительнице и любовь, и преданность; у всех на душе стало легче; касалось, что ви-

севшая над народом чёрная туча умчалась куда-то в неизвестную даль. Правительница оказывала облегчения народу, расположение к вельможам, внимание к войску. Чувствовалось, что в противоположность прошлому начинала править царством кроткая женщина с добрым сострадательным сердцем. Она или отменяла вовсе, или смягчала прежние жестокие приговоры, приказывала выпускать на свободу засажённых при регенте в тайную канцелярию, подписывала указы о возвращении ссыльных и конфискованных имуществ и изливала особые милости на тех, кто пострадал за неё. При представлении их ей правительница со слезами на глазах скорбела об их страданиях и благодарила их за «пролитую кровь». Им были пожалованы чины и денежные награды, честь их была восстановлена, в ознаменование чего их, перед поставленными в строй полками, прикрывали знамёнами.

Трудно было, однако, правительнице улаживать все интриги и происки, которые безуданно кишели около неё. Остерман с первого же свидания сблизился с Анной по щекотливому вопросу о вызове графа Линара в Петербург. Хотя правительнице то казалось, что министр не разгадал её притворства, то думалось ей, что хитрый старик проник в её сердечную тайну, но как в том, так и в другом случае она останавливалась на мысли, что Остерман ей не только будет постоянно необходим по делам государственным, но что, кроме того, он пригодится ей при сношениях с Линаром, с которым он, вероятно, успеет близко сойтись, так что она и

тут будет иметь в Остермане ловкого посредника и надёжного советника. Между тем Остерман, не терпевший никогда никакого совместничества в главном управлении государственными делами, оказывался теперь лицом, не имевшим уже прежней силы, так как не только по званию, но и в действительности первым министром стал граф Миних, захвативший в свои сильные руки все отрасли государственного управления. Остерман, смотря на это, злился, терзался и считал себя обиженным на весь мир человеком. Он теперь только и думал о том, чтобы посредством падения фельдмаршала расчистить себе дорогу к власти и выйти поскорее из настоящего приниженного положения. Со своей же стороны, Миних не только знал хорошо цену своих прежних военных заслуг, но и цену своих недавних ночных подвигов в пользу Анны. Рассказывая в обществе о тех опасностях и о тех затруднениях, какие ему при этом приходилось преодолеть, он не стеснялся несколько добавлять, что лишь одному ему правительница обязана своей властью. Теперь оба соперника при встречах искоса посматривали друг на друга, ожидая, кому кого удастся сломить. Ломка же эта зависела от того, чью сторону будет держать Анна, — Миниха ли, исполнившего уже своё дело, или Остермана, который может пригодиться ей в будущем?

Другим заклятым врагом Миниха был принц Антон. Уступив ему звание генералиссимуса, Миних не думал, однако, уступать ему ни малейшей власти, даже по военному

управлению. В сношениях своих с генералиссимусом фельдмаршал не соблюдал никакого порядка подчинённости, и не только что относился к принцу, как равный к равному, но даже на каждом шагу безжалостно подавлял супруга правительницы своей надменностью и своим презрением. Остерман, пользуясь таким обхождением Миниха с принцем, подбивал последнего против первого и со своей стороны в удобную минуту закидывал правительнице словцо о том, что такое обращение, какое позволяет себе фельдмаршал с принцем, роняет в глазах всех не столько достоинство самого принца, сколько достоинство его супруги-правительницы. Остерман внушал Анне Леопольдовне, что почётное, исключительное положение принца необходимо для неё самой и что такое положение ни малейшим образом не лишит её первенствующего значения в государстве и не отнимет у неё прав на личную свободу и полную независимость, льстиво прибавляя при этом, что её высочество показала уже такое превосходство над своим супругом, что между ним и ею не может быть даже допущено никакого сравнения. Вкрадчивый хитрец после распоряжения самой правительницы о вызове Линара не упускал теперь случая заговорить с нею о нём и, превознося до небес необыкновенные его качества, весьма тонко намекал, что Линар, как человек, не причастный ни к каким искательствам русских вельмож, – по образованности, уму, силе характера, опытности и почтительной преданности Анне Леопольдовне, – может быть для неё во

многих случаях беспристрастным и надёжным советником. Остерман, предвидя, что, быть может, ему самому не удастся сладить с Минихом, сильно рассчитывал на содействие и на влияние Линара в этом случае. Касаясь Линара, он затрагивал самые сокровенные чувства молодой женщины, он упоминал также и о великодушии Анны, пожертвовавшей при вызове Линара государственной пользе «амбициею и онёрами», и правительнице казалось, что доброжелательный к ней старик понимал её, сочувствовал ей, а такому человеку нельзя было не довериться, нельзя было не полагаться на него. Угодливость, лесть и, главное, подщёптывания о том, чему верилось правительнице и чего ей желалось с таким нетерпением, не остались без влияния на восприимчивую женщину, теряющуюся теперь в водовороте государственных дел и политических вопросов и мечтавшую о давно желанном, а теперь уже близком свидании с любимым человеком.

В свою очередь, и оскорблённый принц старался вредить Миниху как только умел и как только мог. Он подкупал против него доносчиков, нанимал шпионов, которые всегда и всюду следили за ним, переносил жене неблагоприятные для фельдмаршала слухи, касавшиеся, между прочим, и его подозрительных сношений с цесаревной Елизаветой. Принц часто посещал Остермана, чтобы сетовать перед ним на сатанинскую гордость зазнавшегося Миниха. Ездил он и на совещания к графу Головкину, ворчавшему против самовластия фельдмаршала. Порой он решался даже изливать супру-

ге-правительнице свои горькие жалобы на обижавшего его беспрестанно Миниха, высказывал при этом, что всю заслугу ночного переворота фельдмаршал приписывает исключительно себе, между тем как ему, принцу, очень хорошо известно, что Миних без неё не мог бы ровно ничего сделать. Не только к большому удовольствию принца, но и к крайнему его удивлению, Анна, вразумляемая Остерманом, с участием и снисходительностью выслушивала теперь жалобы мужа, но и не оставляла их без последствий. Назло Миниху она стала приглашать принца присутствовать при докладах первого министра; обращаясь при этом к своему мужу с вопросами, делая вид, что она нуждается в его советах, несмотря даже на решительные мнения, высказанные Минихом по тому или другому делу. Вместе с тем она в присутствии Миниха отдавала отчёт принцу о ходе государственных дел. По приказанию правительницы принц начал присутствовать и в сенате, и в военной коллегии, состоявшей под ближайшим ведением фельдмаршала. Нетрудно было понять Миниху, что в таком деятельном участии принца в делах государственных не представляется решительно никакой надобности и что всё это делается для того только, чтобы причинить ему, фельдмаршалу, самые чувствительные неприятности. Оскорблённый и раздражённый до последней крайности, Миних страшно кипятился, но вскоре, убедившись, что дело его проиграно, он стал проситься в отставку, рассчитывая, что правительница не отважится на такой шаг, равно-

значный окончательному разрыву между нею и виновником её неожиданного возвышения.

В это время Елизавета однажды приехала навестить правительницу, которая спросила цесаревну, знает ли она что-нибудь об отставке фельдмаршала.

– Трудно было бы не знать того, о чём все говорят, – отвечала гостя.

Любопытство подстрекнуло правительницу разузнать, что же именно говорят? – и в таком смысле она задала вопрос Елизавете.

– Вообще все удивлены тем, – начала цесаревна, – что вы согласились на отставку фельдмаршала. Я же, со своей стороны, нежно любя вас, не могу не признаться, что вы поступили ошибочно, вас станут теперь обвинять в неблагодарности, да и, кроме того, вы лишились человека, на преданность которого вы могли полагаться после того, что он сделал уже для вас.

На лице Анны Леопольдовны выразилось заметное неудовольствие.

– Я очень сожалею, что должна решиться на это. Но что же мне было делать, когда мой муж и граф Остерман не давали мне покоя! Я вынуждена уступить их настояниям, – оправдывалась правительница.

Цесаревна улыбнулась и слегка пожала плечами, удивляясь, что Анна с такой искренностью высказывалась перед ней, и приняла это к сведению.

– Она совсем дурно воспитана, – заметила после этого разговора Елизавета в кругу близких друзей, – она не умеет жить в свете и, сверх того, у неё есть очень дурное качество – быть капризной, как капризен её отец, герцог Мекленбургский.

Усердные вестовщики не замедлили передать правительнице этот отзыв цесаревны, разумеется, с разными прибавлениями и толкованиями, и она, оскорблённая ими выжидала случая, чтобы отплатить чем-нибудь Елизавете.

XX

По-видимому, судьба улыбнулась теперь Анне Леопольдовне: из бедной немецкой принцессы, из девушки, которую стесняли на каждом шагу, она сделалась полновластной правительницей обширного государства и находилась в положении женщины, которая, если бы пожелала, имела возможность не чувствовать вовсе тяжести супружеских уз. И народ, и муж были теперь одинаково покорны. Никто не дерзал противоречить ей, никто не смел ограничивать её воли в распоряжениях по делам государственным и противодействовать желаниям, привычкам, прихотям и причудам в её частной жизни. Всё прошлое казалось ей теперь не пережитой действительностью, а каким-то обманчивым сновидением. В сознании принадлежавшей ей власти и настоящего величия Анна Леопольдовна недоумевала: отчего она могла некогда трепетать при одном только суровом взгляде тётки-императрицы и дрожать при внезапном появлении герцога-регента? Она как будто переродилась: начала верить в решительность и твёрдость своего характера и убеждалась в том, что была вполне права, когда сказала, что ей нужен только смелый руководитель, и тогда она отважится на всё. Супружество с «тихим и смиренным» принцем, которое она считала прежде страшным для себя бедствием на всю жизнь, представлялось ей теперь самой удачной сделкой. Муж не только

не мог быть ей в чём – нибудь помехой, но, напротив, был как нельзя более пригодным и вполне послушным орудием в её руках, и если Анна Леопольдовна ещё и прежде чувствовала к нему презрение, то теперь, после того как она, без всякого со стороны его участия, произвела такой неожиданный государственный переворот, смотрела на него, как на самую ничтожную личность. Принц мог жить только её милостями и иметь значение лишь по мере того внимания, какое ей вздумалось бы оказывать ему. Власть, независимость, несметное богатство делали в глазах всех правительницу счастливейшей женщиной в мире. Вдобавок ко всему этому присоединялась ещё и молодость: Анне Леопольдовне было всего двадцать три года – пора, когда жизнь представляется заманчивой бесконечной далью, полной светлых надежд и отрадных ожиданий. При настоящей блестящей обстановке Анне недоставало только титула более громкого, чем титул правительницы, но если бы она прельщалась им, то тотчас же после падения регента могла бы получить императорскую корону, но она тогда не хотела усилить этим блеск своего положения, да и теперь несколько не жалела о своём отказе.

В первое время своего правления Анна Леопольдовна, несмотря на её природный ум⁷⁴, забавлялась иногда своей властью, как забавляется ребёнок только что подаренной ему

⁷⁴ О ней как об умной женщине отзывался английский резидент в Петербурге Финч и даже её недруг – король прусский Фридрих Великий. (Примечание автора).

игрушкой с непонятным для него механизмом. Ей казалось странной та сила, которой она могла приводить в движение человеческие страсти, возвышая одних, и тем радуя их, и принижая других, и тем печалю их. Хотя правительница и выросла при дворе императрицы Анны Ивановны, где всё это было явлением слишком обыкновенным, но не причастная до сих пор ни к каким государственным делам, отрешённая от искательств, интриг, подкопов и происков, она знала обо всём этом только по сбивчивым слухам, и ей были известны лишь мелочные придворные дела, а не широта и разнообразие державной власти. Кроме того, она – нелюдимка и даже дикарка по природе, прежде всего жалась в свой тихий уголок, старалась избегать непривычных ей лиц и чувствовала себя неловкой и робкой в пышном наряде среди многолюдных собраний, где так часто видела она и напускную весёлость, и поддельную любезность. Являясь туда в прежнее время, она уступала только настояниям государыни-тётки, любившей около себя и людность, и блеск, и великолепие, между тем как тишина, простота и непринуждённость были любимой обстановкой Анны. Будучи страстной охотницей до чтения, она почти всё время проводила за книгами, от которых её отвлекали только беседы с бойкой и весёлой Юлианой⁷⁵. Тогдашнее романтическое направление литературы французской и немецкой, с которыми она была впол-

⁷⁵ О любви Анны к чтению и её начитанности упоминает в своих «Записках» Миних-сын. (Примечание автора).

не знакома, развили в ней ещё более врождённую мечтательность, и ей грезились идеалы, созданные пылким воображением писателей, – идеалы, не встречаемые в жизни. Только в одном графе Линаре молодая мечтательница заметила что-то особенное, выходящее из обыкновенного уровня, и потому на нём сосредоточивались её заветные думы, в нём виделся ей поэтический облик героев, знакомых ей из прочитанных романов и драм, – облик, выдававшийся ещё резче при сопоставлении его с личностью своего слишком прозаического и тупого сожителя. Ей хотелось, чтобы Линар был близок к ней, чтобы она имела в нём не только приятного участника откровенных бесед, но и надёжного друга. Анна Леопольдовна не была пылкой, огненной женщиной и не могла принадлежать к числу тех прославленных Мессалин⁷⁶, у которых так легко спадал с плеч к ногам царственный пурпур перед избранниками их мимолётных прихотей, зато она способна была сильно и искренне полюбить того, кто, как ей казалось, олицетворял её мечты. Вдобавок к этому у неё не было ни твёрдости воли, ни чуткой осмотрительности, и она, предавшись своему избраннику, готова была променять на любовь и власть, и корону, не имевшие для неё особой прелести.

Почувствовав теперь возможность жить и действовать, как ей самой хотелось, а не так, как заставили её прежде

⁷⁶ То есть подобные Валерии Мессалине, жене римского императора Клавдия, отличавшейся своей жестокостью и развращённостью.

другие, она переносила свои желания на тихую, уединённую жизнь в небольшом, кружке близких ей людей, где Линар, конечно, был бы самым желанным гостем. Жажда власти и славы, которая обыкновенно томит и мучит людей, поставленных на общественные вершины, не была вовсе господствующей страстью правительницы, у неё были только случайные порывы этой страсти под теми впечатлениями, которые приходилось испытывать ей от постороннего влияния. Равнодушие и беспечность были слишком заметными свойствами её практической жизни. По характеру, по своим взглядам на жизнь Анна была гораздо способнее плыть по тихому, ровному течению, нежели вести борьбу с непогодами и бурями, и только случайные обстоятельства могли придать ей решительность и твёрдость.

Вызванная, с одной стороны, оскорбительными поступками герцога Курляндского, а с другой – увлекаемая красно-речивыми подстрекательствами Миниха, Анна отважилась на борьбу со своим могущественным притеснителем, но и в этом случае сильнее действовало в ней чувство самосохранения, а не желание почестей и власти. Одолев своего противника, Анна как будто остановилась на распутье, в ожидании проводника, который повёл бы её по верной дороге. Сама же она чувствовала себя неспособной сделать дальнейший шаг, от этого её удерживали и робость, и неумелость. Проводником правительницы по незнакомому ей пути явился Остерман, успевший скоро подчинить её своему неотрази-

тому влиянию. Каждое его внушение, каждое его слово были хладнокровно обдуманым и заранее рассчитанным шагом для достижения своей цели, а целью оскорблённого министра было ниспровержение своего противника Миниха.

Когда Елизавета – или в припадке искренности, или по особым своим соображениям, разгадать которые трудно, – с таким, по-видимому, чистосердечием говорила о том неблагоприятном для правительницы впечатлении, какое должна будет произвести отставка Миниха, то при посредничестве разумных и ловких людей можно было ещё кое-как поправить взаимные недружелюбные отношения между правительницей и фельдмаршалом. Но Остерман, узнав об этом, пошёл решительно наперерез всякой миролюбивой сделке между Минихом и Анной Леопольдовной. Он тотчас же воспользовался заступничеством цесаревны за фельдмаршала, чтобы окончательно убедить её в той опасности, которую следует ожидать, если звание первого министра, а следовательно, и все нити власти останутся за смелым Минихом. Он выставлял его как сторонника Елизаветы, внушал правительнице, что Миних если и не отважится сделать переворот в пользу цесаревны, то, во всяком случае, непременно оплатит правительнице самой чёрной неблагодарностью. Остерман отзывался о Минихе как о коварном, никого не щадящем честолюбце, и в напуганном воображении правительницы фельдмаршал представился другим Бироном, готовым прижать всё и подавить всех своей железной рукой.

Остерман до такой степени успел вселить преубеждение в правительнице против Миниха, что она при многих лицах, когда зашла речь о фельдмаршале, высказалась: «Я могла воспользоваться плодами его измены, но не могу уважать изменника».

Независимо от нашёптываний Остермана и другие обстоятельства слагались не в пользу Миниха. Засаженный им в Шлиссельбургскую крепость падший регент в своих показаниях писал: «Фельдмаршала за подозрительного держу той ради причины, что он с прежних времён себя к Франции склонным показывал, а Франция, как известно, Россией недовольна, а французские интриги распространяются и до всех концов света... Его фамилия впервые сказывала мне о прожекте принца Голштинского и о величине его, а нрав графа-фельдмаршала известен, что имеет великую амбицию и притом десперат и весьма интересоват».

Наконец сам фельдмаршал наводил правительницу на мысль, что он как будто хочет, устранив её он участия в государственных делах, захватить всю власть в свои руки, убеждая правительницу, не заботясь ни о чём лично, доверить ему управление государством⁷⁷.

При таком положении дел явился в Петербург граф Линар.

⁷⁷ Об этом упоминает сам Миних в своих «Записках». (Примечание автора).

XXI

– Вспомнили ли вы хоть раз обо мне в течение нашей долгой разлуки? – спросил вкрадчиво Линар Анну Леопольдовну по окончании дипломатической конференции, на которую он, тотчас же после своего приезда и официального представления правительнице, был приглашён ею, и которая, по важности вопроса, должна была происходить только между ними без присутствия других лиц.

Анна Леопольдовна, потупив свои задумчивые глаза, не отвечала ни слова на этот смелый вопрос. Линар тоже приумолк, как будто настоятельно выжидая ответа.

– А вы, граф, что делали в это время? – равнодушно спросила она, не взглянув даже на своего собеседника.

– Что делал я? – переспросил Линар. – Я беспрестанно путешествовал, не отрывался от книг, иногда кидался в шумное, волнующееся, как море, общество, иногда, наоборот, искал спокойствия и совершенного уединения; мрачные пропасти, тёмные леса, неприступные горы и тихие долины манили меня к себе, на меня навевали отраду и журчание ручья, и щебетание пташки... Я бегал от удовольствий света, я скрывался от людей⁷⁸.

⁷⁸ Разговорам между Анною и Линаром автор считал нужным придать оттенок книжного слога, так как в ту пору книжных выражений придерживались лица образованные и начитанные, а к числу первых принадлежал Линар, к числу же

– Зачем же вы это делали?.. – перебила Анна.

– Я делал это в силу невольного влечения, – заговорил он страстным и трогательным голосом, – и мне кажется, я делал только то, что обыкновенно делает человек, разлучённый непреодолимой силой судьбы с предметом своего беспредельного обожания...

Линар томными глазами взглянул на Анну Леопольдовну, которая рассеянно слушала его, так что казалось, будто она обратилась к нему с вопросом о нём самом только из пустого приличия, не ожидая от него вовсе каких-нибудь нежных объяснений.

– Я, – продолжал с расстроенным видом Линар, – силился, но, увы! – силился напрасно, – изгладить из моего сердца воспоминания о тех немногих, счастливых для меня днях... Что я говорю о тех днях, о тех часах... Нет! даже и не о тех часах, а только о тех блаженных мгновениях, которые, думалось мне, более не возвратятся... Я полагал, что моё мимолётное счастье никогда не повторится. Я считал всё потерянным навеки и жил не настоящим, а только... прошедшим.

В этом последнем слове Линара, произнесённом с расстановкой и с особой выразительностью, ясно слышался намёк, касавшийся его прежних отношений к Анне.

– Каким прошедшим? – несколько сурово спросила правительница, медленно поднимая выпытывающий взгляд на Линара.

– Неужели вам нужно доказывать это?.. – с горячностью и как будто с изумлением проговорил Линар.

– Не вспоминайте о прошедшем, граф, – строго сказала Анна, – я была тогда глупой и ветреной девочкой, а вы имеете дерзость пользоваться этим теперь...

С этими словами, встав с кресла и слегка кивнув головой Линару на прощанье, она сделала шаг вперёд.

Линар смело заслонил её дорогу. Анна попятилась назад и гордым взглядом смерила бойкого волокиту.

– Простите меня, ваше императорское высочество, – заговорил он, почтительно склонившись перед правительницей, – простите меня за то, что я дерзнул напомнить вам о прошедшем... Действительно, – добавил он с лёгким оттенком укора, – между тем, что было тогда, и тем, что теперь, – какая беспредельная разница!.. Теперь вы повелительница миллионов покорного перед вами народа; теперь вы одним вашим словом, одним росчерком пера, одним движением вашей руки можете влиять на судьбу царств. Теперь первые венценосцы в мире заискивают вашего благосклонного внимания. Теперь вы не безызвестная, как тогда, принцесса, – теперь вы полновластная правительница обширного и сильного государства... Вас окружает царственное величие, вас озаряет своими яркими лучами слава... О вас говорит теперь весь мир, все удивляются вашему мужеству, вашему уму и необыкновенной твёрдости характера. История впишет имя правительницы Анны на свои страницы, как имя

прославившейся женщины, поэты воспоют её... А я, безумец, среди всего этого ослепляющего блеска, среди окружающей вас славы вдруг осмелился заговорить с вами о том, что теперь должно быть забыто навеки. Простите меня, но я не мог не высказать вам того, что лежало у меня на сердце, что составляет святыню моих воспоминаний, тогда как эти воспоминания для вашего императорского высочества...

Линар остановился, как будто не желая досказать свою мысль. Правительница, не говоря ни слова, в глубоком раздумье вернулась на прежнее место, пригласив Линара рукою сесть возле неё. Несмотря на всю любовь к Линару, Анна, робкая от природы, была смущена тем оборотом, какой так неожиданно принял начатый с ним разговор. Она была несколько раздражена и той вольностью, какую позволил себе Линар в обращении с нею. Вдобавок к этому не только скромность, но и простая сдержанность заставили её дать Линару почувствовать, что он в своих объяснениях заходит с первого раза слишком далеко, напоминая ей, замужней женщине, её прежние легкомысленные поступки. Но Линар знал, что женщины очень скоро и очень охотно прощают всё это и что смелость в обращении с ними служит одним из верных ручательств за успех. Линар не ошибся; не только неудовольствие Анны Леопольдовны против него скоро прошло, но даже ей сделалось жаль, что она так сурово отнеслась к Линару, и ей стало досадно, зачем она не позволила ему продолжать начатые им восторженные объяснения. Теперь ей

так захотелось послушать их. Кроме того, укор, слышавшийся в его голосе, а вместе с тем и его торжественно-хвалебная речь Анне, как правительнице, подействовали на молодую женщину, всегда быстро переходившую от одного чувства к другому под влиянием получаемых ею впечатлений.

– Вы жестоко ошибаетесь, – с заметным смущением начала Анна Леопольдовна, – полагая, что величие и слава могли изменить меня... Действительно, мне удалось сделать то, чего от меня вовсе не ожидали, и этим я показала, как обманывались те, которые считали меня способной на то только, чтобы продолжать потомство светлейшего Брауншвейгского дома...⁷⁹ По воле Божьей я вознесена теперь высоко, и только во имя моего нынешнего, тяжёлого для меня сана я должна требовать от всех и от каждого, – кто бы он ни был, – особого почёта, не желая его вовсе для себя лично...

Лианар встал с кресла и низко поклонился правительнице.

– Я вижу, какую страшную ошибку сделал я, – сказал он смиренным голосом, готовясь в то же время нанести решительный удар Анне. – Я виноват перед вами не только в том, что не почтил высокого вашего сана, но и в том, что легкомысленно позволил себе забыть разницу вашего положения и в другом ещё отношении: тогда как девушка вы были свободны, а теперь его императорское высочество ваш возлюбленный суп...

– Вы издеваетесь надо мною! – запальчиво вскрикнула

⁷⁹ Подлинные слова Анны Леопольдовны. (Примечание автора).

Анна, не дав Линару договорить последних слов. – Как будто вы не знаете тех отношений, какие существуют между мной и принцем?.. Зачем вы вздумали обманывать меня!..

Отзыв самой Анны об её отношении к мужу был чрезвычайно важной заручкой для дальнейших действий Линара. Лицо его притворно приняло недоумевающее выражение, и он, пользуясь вспышкой молодой женщины, дал ей полную волю высказаться о своих супружеских отношениях.

– Вы были ещё и прежде посланником при здешнем дворе, и кому же, как не вам, лучше всего можно было знать о моём невольном браке с принцем?.. Мало того, вы и после отъезда вашего из Петербурга заботились о моей участи, – насмешливо добавила Анна. – Я очень хорошо знаю, что вы писали к бывшему герцогу Курляндскому письмо, в котором выставляли моего теперешнего мужа в самом дурном свете, надеясь этим воспрепятствовать моему браку...

– Я полагал... – проговорил Линар.

– Позвольте, я ещё не всё высказала. Вы говорили, что я тогда была свободна, а что же я теперь? Разве я раба или невольница моего мужа?.. Нет, я теперь ещё более свободна, чем была прежде... – с горячностью проговорила Анна.

Линару, как человеку опытному в волокитстве за женщинами, вполне достаточно было этих немногих слов: он понял, что принц Антон будет теперь ни при чём и что со стороны его он, Линар, не встретит никаких препятствий.

– Для меня сегодня вышел чрезвычайно неудачный

день, – сказал он с улыбкой, придававшей особую привлекательность его красивому лицу. – Я говорю сегодня всё невпопад, и вот уже два раза я имел несчастье навлечь на себя крайне прискорбный для меня гнев вашего императорского высочества. Теперь мне остаётся только замолчать и, припав к стопам вашим, смиренно просить о великодушном прощении...

– Оставим эти нежные разговоры, – перебила Анна Леопольдовна, улыбнувшись в свою очередь и ласково взглянув на Линара. – Скажите мне, где вы провели большую часть времени в продолжение этих последних лет?

– В Италии, ваше высочество. Я чрезвычайно люблю эту страну, и притом она мне не чужая. Хотя я и считаюсь немцем, но ношу не немецкую фамилию, и во мне течёт ещё итальянская кровь. Менее чем сто лет тому назад Линары, вследствие политических смут, переселились из Италии в Германию, и я думаю, что я скорее итальянец, чем немец...

– А вот я так и не знаю, как мне считать себя: по отцу я немка, а по матери русская...

– Позвольте заметить вашему высочеству, что вы и по отцу не немка, а славянка. Вам, конечно, известно, что знаменитый Мекленбургский дом – единственная во всей Германии династия славянского происхождения и что немцы разрушили могущественное государство ваших славных предков, обратив его в маленькое княжество и заставив владельцев его променять их прежний громкий титул королей Венд-

ских на скромный титул герцогов Мекленбургских. Для меня, – добавил шутливо Линар, – как для представителя его величества короля польского, эти исторические воспоминания имеют некоторое значение. Они позволяют мне надеяться, что повелительница одной из первенствующих отраслей славянского племени и сама славянка по происхождению примет охотнее сторону Польши и Австрии, державы скорее славянской, чем немецкой, нежели Пруссии – этой угнетательницы славян, издавна онемечивающей их на Балтийском поморье.

– Но мой первый министр, граф Миних, внушает мне совершенно иной образ действий, – сказала правительница. – Он настаивает на союзе с Пруссией против Австрии и Польши...

– Не смею осуждать планов графа Миниха, – возразил Линар, – но позволю себе думать, что в этом случае взгляд графа Остермана на внешнюю политику России будет гораздо вернее. Союз с польским и австрийским дворами принесёт вам гораздо более выгод, чем сближение с Пруссией. Граф Остерман, кажется мне, понимает дело как нельзя лучше.

– Так и поговорите с ним, пусть он поскорее представит мне доклад по этому делу. Надо же, наконец, на что-нибудь решиться. Он человек чрезвычайно умный и проницательный, – добавила Анна, вторя Линару в его похвалах Остерману. – Но отложим на время речь о политике; сказать по правде, она порядочно надоедает мне. Что вам, граф, всего

более нравится в Италии?

– Там всё прекрасно, ваше высочество, и вечно голубой свод неба, – начал восторженно Линар, – и природа, и люди, и язык, и памятники былых времён...

– Мне бы очень хотелось взглянуть на эту страну, но, кажется, что желание моё никогда не исполнится.

– До некоторой степени я могу теперь же исполнить его, – отозвался Линар. – Я привёз в Петербург с собой множество видов Италии и имел намерение представить их вашему высочеству как моё почтительнейшее приношение. Теперь же оно будет более кстати, чем когда-нибудь, так как я, хотя немного, могу этим удовлетворить только что высказанное вами желание. Я оставил рисунки в приёмной, позвольте принести их.

– Благодарю вас, граф, за ваше внимание и за подарок, – с благосклонностью сказала правительница.

Линар вышел, чтобы принести гравюры и рисунки.

– Дело идёт на лад, – думал он, – при первом же свидании наедине с правительницей мне удалось напомнить ей о прежней её любви и добыть необходимые сведения по этой части; направить переговоры об интересах моего августейшего доверителя на хороший путь; вернуть словцо во вред первому министру, не расположенному к нашей политике; поддержать Остермана и, что всего важнее, завести непосредственно переговоры с ним, – с нашим сторонником.

Между тем Анна Леопольдовна, обыкновенно небрежная

в своём наряде и вообще мало занимавшаяся своей наружностью, быстро подошла к зеркалу и стала поправлять свою напудренную причёску, обтянула корсаж своей робы, одёрнула кружева и вообще стала, что называется, охорашиваться перед зеркалом. Теперь признаки женщины-кокетки явно проглядывали в ней, и она осталась довольна, когда зеркало доложило ей, что если она и не красавица, то настолько милостива и так ещё молода, что понравится каждому мужчине.

Линар вернулся с большим, великолепно переплетённым альбомом и положил его на стол перед Анной Леопольдовой, а она пригласила графа сесть рядом с ней. Началось рассматривание подарка. Превосходные произведения итальянских художников Линар дополнял своими увлекательными, живописными рассказами. Чем более перевёртывалось листов альбома, тем ближе, занятые рассматриванием картин и разговором, придвигались друг к другу и Анна, и Линар.

Но вот встретился упрямый лист: Анна с трудом могла переложить его на другую сторону. Линар поспешил ей помочь, и руки их прикоснулись.

– Какой же теперь будет рисунок? – спросила Анна, страстно смотря на Линара и, как будто по забывчивости, не отнимая своей руки, попавшей на его руку...

XXII

В настоящее ещё время Выборгская сторона представляет одну из наиболее глухих и уединённых окраин Петербурга, а в ту пору, к которой относится наш рассказ, она была обширным пустырём. Только вдоль берега Невы стояло несколько убогих мазанок и изб, над которыми возвышалась церковь во имя Сампсония Странноприимца в том виде, в каком она существует доселе и в каком, что явствует из находящейся на ней записи, она была построена при Петре I. Великий монарх, как известно, не отличался изящным архитектурным вкусом и к высоким, наподобие башен, главам созидаемой им церкви, напомиавшим итальянское зодчество, смело прислонил стрельчатую колокольню, позаимствовав её образец из Москвы. Глухо и безлюдно было на этой окраине новой русской столицы, и если вообще кладбище наводит на человека печальное чувство, то кладбище, прилегавшее к сампсониевской церкви, должно было навевать самые тоскливые, щемящие сердце думы. Сюда в поздние сумерки, а иногда и в ночную пору, привозили из тайной канцелярии белые сосновые гробы, обтянутые железными обручами. В этих гробах покоились страдальцы, окончившие жизнь на дыбе в страшных пытках или вскоре после них. Сюда же привозили обезглавленные трупы погибавших на плахе, а также и мертвецов, вынутых из позорной петли.

Здесь были могилы казнённых и опальных, над которыми не стояло ни памятников, ни крестов и не лежало надгробных плит. Здесь широко расстилалась «нива Божья», непрестанно взывавшая к небу о возмездии за людское неправосудие и за жестокости ближнего к ближнему. На этом кладбище никогда не бывало тех обычных гулянок, которые так весело и шумно, под сенью надмогильных крестов, справляет наш православный народ, «поминаючи родителей и родственников». Вечный покой царил над этой печальной юдолью смерти, его не нарушало даже молитвенное пение, и только время от времени прерывал всегдашнюю здешнюю тишь глухой стук заступа, готовившего тихое пристанище новому пришельцу.

Здесь над забытыми могилами только гудел ветер, завывала вьюга да шелестели своими длинными ветвями плакучие берёзы. Опасно было не только перебраться за высокий тын, окружавший кладбище, но даже и не совсем безопасно было приблизиться к нему. Отваживавшийся на это навлёт бы на себя подозрение: не пытается ли он помолиться над могилой «злодея»-страдальца, иногда искупившего пыткой и смертью действительную свою вину, а иногда только сделавшегося жертвой козней, происков или одной лишь пугливой мнительности, возбуждённой доносами и шпионством.

Немало уже насчитывалось на Сампсониевском кладбище опальных могил, и последними, ещё свежими, между ними были могилы Волынского и пострадавших вместе с ним

Еропкина и Хрущова.

Подойти к этим могилам и, обнажив голову, склониться перед ними было бы в ту пору страшным преступлением, и среди родных и друзей этих страдальцев не находилось смельчаков, которые решились бы на такой отважный подвиг.

Однажды ранним мартовским утром в дверь убогого домика, в котором жил кладбищенский священник, постучалось трое каких-то гвардейцев. Подросток, внук священника, ахнул от удивления и со страхом отсунул задвижку, чтобы впустить пришедших незнакомцев. Переступив через высокий порог сеней, нежданные посетители очутились перед седым как лунь старцем, сидевшим в переднем углу под образами за простым деревянным столом и внимательно читавшим какую-то большую и толстую книгу в кожаном переплёте. Вошедшие молодые люди стали набожно креститься перед образами, а хозяин между тем, закрыв книгу и замкнув застёжки, встал перед незнакомцами. Лицо его отличалось величавой суровостью, но в глазах, которыми он словно обласкал своих посетителей, светилась кротость. Казалось, что пастырь этот олицетворял собою лики апостолов и первых подвижников Христовой церкви.

Гвардейцы подошли к нему под благословение и поцеловали его руку.

– Что вам нужно, чада мои, от меня? – приветливо спросил священник.

– Мы пришли просить тебя, батюшка, отправить панихиду над могилой болярина Артемия и его сострадалцев, – отозвался один из офицеров.

Священник призадумался.

– Аль боишься, батюшка? – заметил тот из пришедших, который вступил в разговор со священником и, как казалось, был вожаком своих товарищей.

– Не пугайся, батюшка, – подхватил один из них, – теперь совсем иное время, все вздохнули посвободнее, ныне правительствует государством благоверная великая княгиня Анна, а наши покойники пострадали при иноземце – нашем мучителе, да и её притеснителе. Видно, ты, отец, по привычке, со страха призадумался, не сразу всё сообразил...

– «Не страха ради иудейска» призадумался я, – начал кротко священник, наставительно погрозив пальцем говорившему, – задумался я о другом; вот ведь и вы, чада мои, пришли сюда только тогда, когда стало не боязно сделать это...

– Не кори нас этим, – отозвался один из гвардейцев, – мы в свою очередь отстрадали в самое опасное время за нашу матушку, правительницу; вон посмотри, – добавил он, указывая на одного из товарищей, – Ханыков до сих пор левой рукой шевельнуть не может, а у Аргамакова на днях только нога из лубков вышла, а уж о спинах их и говорить нечего. Я-то сам, – добавил Акинфеев, – хоть и не сделался калекой, да зато кровью стал харкать.

С выражением участия и соболезнования посмотрел священник на стоявших перед ним молодых людей, измождённые лица которых свидетельствовали о той страшной переделке, в которой они недавно побывали.

– Знаешь, батюшка, – сказал Ханыков, – ведь мы ни за что не пришли бы прежде к тебе потому только, что побоялись бы впутать тебя в наше дело...

– Спасибо вам за ваше надо мною оберегательство... В дела мирские я, впрочем, не мешаюсь, а святая церковь одинаково заповедует нам молиться и за праведных, и за злых, а за великих грешников и сугубые молитвы воссылать подобает. Панихиду я отслужу; одно только – «болярина» Артемия поминать не стану. Этой честью украсила его мирская власть и потом по праву отняла её у него, да и перед Господом все одинаковы: и первый болярин, и последний смерд. Он и без упоминания о сане усопшего отличит верного раба своего... Эй, Митя! – крикнул священник внуку, – сбегай-ка попроторнее к Трофимычу да скажи, чтоб пошёл петь со мною панихиду на могилу Артемия Петровича. Я туда иду.

Мальчуган живо накинуд тулуп и побежал исполнять приказание деда.

– Присядьте-ка, господа честные, – сказал священник гвардейцам, указывая им на деревянные скамейки, – я сейчас буду готов.

Офицеры присели; священник пошёл в чулан, соседний с комнатой, и, повозившись там недолго, вышел оттуда в чёр-

ной полотняной ризе, на которой серебряные позументы были заменены широкими белыми тесьмами.

– Кадилицо и ладан в доме у меня есть, а жар в печке ещё не погас, угольков оттуда наберём, – говорил он, принимаясь выгребать в кадило угля из печки. – Ну, теперь я готов, пойдёмте. Только как вы-то доберётесь, снег на кладбище по колено?.. Ночью его много навалило, а теперь вон как разъяснилось...

– Э! Батюшка, снег ничего, – перебил весело один из гвардейцев, – мы народ военный, ко всему, значит, привыкли, а вот тебе-то, отец, ходить по такому снегу, чай, не в привычку.

– Хожу частенько... христианских душ не забываю, а вот и 24-го числа пойду помолиться на ту могилу, к которой теперь идём. В тот день будет память преподобного Артемия, а покойный Волынский в этот день именинник бывал. Других тоже поминаю...

С трудом, завязая на каждом шагу в рыхлом снегу, пробирались священник и его спутники к могиле Волынского. Священник, оглядываясь назад, приостанавливался несколько раз, поджидая дьячка Трофимыча. Они уже подходили к могиле, как показался издали священнический внук.

– Трофимыч нейдёт, – громко кричал деду мальчуган. – Говорит: боюсь, при чужих людях – опасно, кто их знает, что за народ... всякие шлятся... может, что и проведать хотят...

– Ну, и без него справимся, – сказал священник, – зачем на людей робких наводить страх и сомнение.

Молчаливо и грустно выглядело кладбище. В воздухе стояла тишь, а лучи утреннего весеннего солнца ярко озарили однообразную белую пелену снега, слепившего глаза.

– Вот здесь лежит Артемий Петрович, тут Еропкин, а там Хрущов, – сказал священник, указывая рукой.

– Вечная им память, – проговорил Ханыков, и при этом он и его товарищи обнажили головы.

– «Благословен Бог наш»... – начал священник, и к его громкому, но уже старчески дребезжащему голосу присоединилось бряцанье мерно взмахиваемого кадила.

Испуганная этими необычайными звуками стая дремавших ворон поднялась с берёз и, сыпля с их ветвей снегом, с громким карканьем взвилась и беспокойно заметалась под синевой неба.

Внук священника заменил Трофимыча; дед местами подсказывал ему, что нужно было петь, а гвардейцы подтягивали, кто как умел.

Панихида кончилась.

– Теперь, честные господа, попрошу вас моего хлеба-соли отведать. Не обидьте старика, – сказал священник, поочерёдно и низко кланяясь гвардейцам, которые, переглянувшись между собой, кивнули друг другу головами в знак согласия и, поблагодарив священника, пошли к нему по его приглашению. По дороге к дому священника, а также и в его доме

беседа шла о недавних событиях, а, разумеется, также и о Волынском.

– Видел я его в гробе, – рассказывал священник, – с приставленной головой и с приложенной рукой. Лицо бледное-пребледное. Рот был раскрыт, и из него высовывался остаток отрезанного языка... Страшно было взглянуть, – добавил старик, зажмуривая глаза при этом ужасном воспоминании.

При расставании Ханыков подал новый рублёвик священнику.

– Не нужно мне серебрянников за молитву мою перед Богом, – сказал этот последний, – а вот посмотреть так посмотреть, такой деньги мне видеть ещё не приходилось.

Взяв в руки новую блестящую монету, он с расстановкой прочитал надпись, в полукруге которой был изображён в повелительной и горделивой позе младенец в хитоне, с лентой через плечо и со звездой на груди.

– Это должен быть благочестивый император, – сказал священник, возвращая рублёвик гвардейцу. – Пошли нам, Господи, в его царствование мир, тишину и благоденствие, – с чувством добавил он.

– То-то и беда, батюшка, что, кажись, ничему этому не бывать. Злые люди и теперь непокоя хотят. Вот хоть бы, например, один из вашего духовного чина, услышанные им от какого-то пьяного приказного на площади бредни в народ теперь пускает. Толкует, будто благочестивый наш государь

крещён не был.

– Что ты?.. – вскрикнул с изумлением священник. – Статочное ли дело такой вздор молоть! Промах только сделали, что не всенародно окрестили, да и манифеста о крещении его не издали...

– Да говорят ещё, – вмешался Аргамаков, – что этот проклятый немец – как бишь его? Граф Линар, что ли? – над правительницей власть забрал такую...

– Что пустяки городишь!.. – топнув ногой, крикнул Ханьков. – Злодеи тот слух пускают, а подобия тому никакого нет, а если б что случилось, то пора нам, христолюбивому воинству, постоять против чужих за родную землю и за народ православный.

Расставшись со священником, Ханьков, Аргамаков и Акинфеев отправились домой. Только что прошли они через Неву, как услышали вдалеке барабанный бой.

– Что это, братцы, никак тревога? Уж не случилась ли какая беда? – сказал один из них.

– Какой быть беде?.. – возразил Ханьков. – Бьют сбор, должно быть, какой-нибудь указ всенародно объявляют. А если бы что недоброе вышло, то и мы против него пригодиться можем... Пойдёмте поживее...

XXIII

Ханыков не ошибся, высказав догадку, что, вероятно, барабанным боем созывают народ для слушания какого-нибудь всенародно объявляемого указа. Когда он и его товарищи перешли на другую сторону Невы, то увидели на перекрёстке толпу, посреди которой стоял сенатский чиновник с бумагой в руках.

– «По указу императорского величества», – начал он громким голосом, оглядев по сторонам, все ли сняли шапки.

Офицеры пробрались сквозь толпу и остановились вблизи чиновника, читавшего указ. В указе этом объявлялось всем верноподданным, что фельдмаршал граф Миних, по преклонным летам и болезни, согласно его прошению, увольняется от должности первого министра, президента военной коллегии, директора шляхетного кадетского корпуса, от звания подполковника Преображенского полка и пр. и пр.

– Вот тебе и раз!.. – крикнул Аргамаков.

– Нечего тут удивляться, – перебил Ханыков, – давно уже ходили слухи, что фельдмаршал в отставку просится, только правительница не соглашалась на это, а он ещё более артачился. Не становиться же ей перед ним на колени.

– Так-то так, да только поверь мне, братец, что всё это на-творил тот проклятый красавец, что теперь в такой чести у правительницы и над нею, как говорят знающие люди, такую

власть забрал, какую имел Биронишка над... – с уверенностью промолвил Акинфеев.

– Ты как зарядил, так всё одно и то же толкуешь, – сердито крикнул Ханыков, – что тебе дался Линар?.. Да и не таковая правительница, чтобы заводить с кем-нибудь любовные шашни.

– Не о них и речь идёт, мой голубчик, – возразил Акинфеев, – не из одного только этого всё делается. Боже меня сохрани оговаривать великую княгиню, а просто этот немец умом и хитростью к ней подделался и осилил её. Все сказывают, что он такой ловкий парень, что всякому в душу влезет, а она, известно, всё-таки бабий ум.

– Вот поди, толкуй с ним, – с досадой пробормотал Ханыков, – фельдмаршал просто-напросто всем своей непомерной гордостью надоел. Больно уж много себя славил, за то теперь и другие с барабанным боем его славят.

Гвардейцы замолчали.

– А ведь неладно, что правительница уволила фельдмаршала, – думал Ханыков, идя с опущенной вниз головой. – Он – человек смелый, решительный, Бог знает, какого вреда наделать ей может; недаром же говорят, что он всё к цесаревне Елизавете Петровне льнёт. Ну, как что-нибудь устроит?.. Да и, кроме того, теперь все затараторят, что если уж она к Миниху неблагодарной оказалась, то, значит, ей и не стоит усердно служить; стало быть, ни во что никакие заслуги не ставит... Плохо.

– Прощай, брат! – сказал Акинфеев, – я с Аргамаковым поверну направо.

Слова эти вывели Ханькова из задумчивости.

– А что, господа, кажись, сегодня никакого наряда нам нет? Так не придёте ли вечером ко мне? Потолкуем кое о чём.

– Спасибо, придём, если что-нибудь паче чаяния не задержит, – отвечали гвардейцы.

Сошедшиеся под вечер к Ханькову его товарищи успели пособрать в городе разные вести. Они рассказывали теперь один другому, что принц Антон и Остерман не хотели удовольствоваться отставкой Миниха, но думали запрятать его в Сибирь, и что только правительница не пожелала так распорядиться, потому в особенности, что за Миниха сильно заступилась её любимица, фрейлина Менгден. Гвардейцы тосковали и об отданном в тот день приказе насчёт усиления в Зимнем дворце караула и насчёт ходьбы патрулей по городу и днём, и ночью, объясняя такой приказ опасением правительницы, чтобы Миних не накудесил что-нибудь. Говорили они и о том, что за фельдмаршалом зорко и постоянно следят шпионы, тайно приставленные к нему принцем Антоном, и что в случае, если окажется, что он бывает у цесаревны, то его приказано взять живого или мёртвого. Акинфеев сообщил между прочим дошедший до него дворцовый слух, что правительница и её муж боятся теперь ночевать в своей спальне и что они каждую ночь будут менять комна-

ту из боязни, чтобы к ним не пробрался тайком Миних и не схватил бы их, как схватил он бывшего регента⁸⁰.

В то время, когда подобные слухи ходили в городе, оставленный от войска фельдмаршал и уволенный от должности министр казался совершенно спокойным и довольным. Гордость не позволяла ему выразить ни малейшей тени неудовольствия, и он делал вид, что, получив отставку, нисколько не оскорбился этим, а между тем сильно негодовал на происки Остермана, поддержанные Линаром, на слабость и неблагодарность правительницы и на торжество принца, которого он считал ничтожнейшим в мире человеком и который, однако, тоже, со своей стороны, поспособствовал его падению.

Получив отставку, Миних представился со своей женой правительнице, которая приняла его чрезвычайно милостиво, а он уверял её в своей неизменной преданности, заявив, впрочем, что очень рад полученной им отставке и что её высочество ничем другим не могла оказать к нему большего внимания. От правительницы граф и графиня отправились к принцу, перед которым Миних выказал свою величавость. При прощании с торжествующим принцем у раздосадованной графини выступили из глаз слёзы.

– Надеюсь, – заметил горделиво Миних, – что вы плачете не по поводу моего увольнения, которому вы должны радоваться так же, как радуюсь я.

На душе у Миниха было, однако, совсем другое. В ушах

⁸⁰ Всё это исторически верно. (Примечание автора).

его повторялся теперь резко и гневно высказанный ему правительницей укор в словах: «вы, фельдмаршал, всегда за короля прусского!» Укор этот тем более раздражал Миниха, что он казался ему намёком на подкуп, так как он только перед тем получил от короля в подарок силезское имение Бюген, принадлежавшее до того времени Бирону. Все очень хорошо знали, что король делал этот подарок Миниху, надеясь склонить его на свою сторону. Не забыл Миних и переданного ему рассказа о том, что правительница, узнав о его выздоровлении после тяжкой болезни, выразилась, что «для Миниха было бы счастьем умереть теперь, так как он окончил бы жизнь в славе и в такое время, когда он находился на высшей ступени, до которой только может достигнуть честный человек». Отзыв этот убедил фельдмаршала, как мало ценит его Анна, даже и после того, что он сделал для неё.

Увольнение Миниха от военных должностей произвело неблагоприятное впечатление для правительницы и в войсках. Несмотря на то что он был немец, и несмотря на его суровость и даже жестокость, солдаты чрезвычайно любили фельдмаршала и за его бесстрашие прозвали его «соколом». Офицеры из русских помнили, что благодаря Миниху они были уравнены с офицерами из иностранцев и остзейцев, получавшими, по указу Петра Великого, в полтора и в два раза больше жалованья, нежели офицеры из природных русских. Отставкой Миниха не только не было удовлетворено, но, напротив, ещё сильнее было раздражено оскорбляемое

чувство национального самолюбия русских.

– Положим, – говорили они, – правительница хорошо сделала, спихнув немца Миниха с главных должностей, но разве дала она ход нашей братии, русским? Все должности фельд-маршала-министра расхватили чужеземцы, да и кто не знает, через кого всё это сделалось? – и при этом враждебно проносилось имя Линара.

Тревога правительницы, в особенности же тревога её мужа насчёт смелых замыслов Миниха, прекратилась тогда только, когда он перебрался за Неву в великолепный дом, подаренный ему правительницей, которая назначила ему ежегодную пенсию в 15000 руб., и в виде почёта, но собственно для наблюдения за ним, приставила к его дому сильный караул. При назначенной теперь Миниху пенсии и при громадных доходах с своих имений Миних жил богатым барином, и в день своего рождения 9 мая дал великолепный бал, на котором он открыл танцы в первой паре с правительницей. На сём «богатом трапезе», как сообщалось в «Ведомостях», были: «пребогатая ужина и италийский концерт, и её императорское высочество со всяким удовольствием в доме его высокографского сиятельства забавиться благоволила».

Мало-помалу шумные толки об отставке Миниха, как это обыкновенно бывает и со всякими толками, стали стихать, но случай этот не был забыт недругами правительницы, и им готовы были воспользоваться, когда представится надобность, как явным доказательством её неблагодарности. Каза-

лось, теперь всё успокоилось: не было слышно нигде особого ропота, как это было при регенте. Правительница поступала кротко. Бирона приговорили к смертной казни, но, пощаждённого правительницей, собирались отправить с его семейством в Пелым⁸¹, на вечную ссылку. Иностранными делами стал управлять Остерман, а внутренними – граф Головкин. Иностранные государи посылали правительнице письма, в которых поздравляли её с принятием правления империей, а некоторые отправляли и чрезвычайных посланников, чтобы они принесли лично поздравления Анне Леопольдовне и выразили ей приязнь и дружбу своих кабинетов. В числе явившихся теперь в Петербург дипломатов был прежний официальный сват принцессы, маркиз Ботта ди Адорно, посланник римско-немецкого императора, назначенный в Петербург по желанию самой правительницы, хотевшей составить свой домашний кружок преимущественно из образованных иностранцев.

Иностранные дипломаты пользовались настоящим колебанием петербургского кабинета, и каждый из них разными путями домогался похитрее повести свои дела. После удаления Миниха от дел Ботта, при содействии Остермана и Линара, взял окончательный перевес. Правительница не думала вовсе, как это предполагалось прежде, поддерживать

⁸¹ После пятимесячного следствия Бирон был приговорён к смертной казни четвертованием, затем помилован и 13 июня 1741 года отправлен в «вечную» ссылку в сибирский город Пелым.

притязания короля прусского на Силезию, но и не переходила пока к решительным действиям в защиту императрицы Марии-Терезии, хотя к этому, кроме Ботты, склонял её и бывший в Петербурге английский резидент Финч. Происки дипломатов должны были отзываться и на внутренних делах империи, так как они, разделяя двор на два враждебных лагеря, заставляли одних ожидать содействия своим интересам со стороны правительницы, а других – со стороны цесаревны Елизаветы. Во главе последних находился в это время французский посланник, ловкий и пронырливый маркиз де ла Шетарди, сблизившийся с Елизаветой в тех видах, что при вступлении её на престол ему удастся впутать и Россию в начавшуюся войну между Австрией и Пруссией, причём Россия сделается, согласно политическим соображениям версальского кабинета, союзницей этой последней. В этом случае маркиз находил для себя энергическую поддержку в шведском посланнике, так как Швеция следовала во всём за Францией. Чем заметнее склонялась правительница на сторону Австрии, т. е. чем неудачнее шли дела маркиза де ла Шетарди, тем с большей энергией старался он произвести переворот в пользу Елизаветы, чрезвычайно благоволившей и к Франции, и лично к нему. Находя, что по отдалённости Франции она не может иметь непосредственного влияния на Россию, маркиз старался повести дела таким образом, чтобы ближайшая наша соседка – Швеция – объявила войну правительству Анны Леопольдовны под предлогом

чрезвычайно странным, а именно, что Швеция хочет избавить русский народ от господства над ним иностранцев. Понятно было, что в такой заботливости Швеции высказывалось её требование о низвержении с русского престола Брауншвейгско-Люнебургского дома и о предоставлении императорской короны Елизавете Петровне, как бы олицетворявшей собой всё русское, в противоположность правительнице, на которую смотрели как на немку, чуждающуюся русских. Главным к тому поводом была молва о близких отношениях Анны Леопольдовны к графу Линару и о том неотразимом влиянии, какое он начинал иметь на неё. В Петербурге заговорили о новом Бироне...

XXIV⁸²

В одном из домов так называемого «артиллерийского квартала», на нынешней Литейной улице, – тогда ещё глухой и застроенной преимущественно «светлицами» или казармами артиллеристов, – в просторной комнате стояли аппараты с колёсами и другими инструментами, необходимыми при отделке драгоценных камней. В этой комнате недавно поселился молодой ювелир по фамилии Позье, родом швейцарец, только что отошедший от своего хозяина-забияки и обзаводившийся теперь собственной мастерской. На своём новоселье торговец-ремесленник мог рассчитывать на хорошие заказы и заработки, так как он, живя ещё в учении у лучшего тогдашнего петербургского ювелира Гроверо, успел уже познакомиться со многими богатыми людьми, охотно тратившими деньги на покупку драгоценных камней. Бриллианты и самоцветные камни в ту пору были в Петербурге, в особенности при дворе, в большой моде. Позье высчитывал, что на петербургских дамах, сравнительно даже не так богатых, бывало надето бриллиантов не менее как на десять или на двадцать тысяч тогдашних рублей, а об известных богачках и говорить было нечего. Кроме того, и ко двору беспрестанно требовались то табакерки, осыпанные брилли-

⁸² Рассказ этот основан на записках Позье. (Примечание автора).

антами, то перстни с дорогими солитёрами⁸³ для подарков как иностранным послам, так и русским вельможам, то серьги и ожерелья тоже для подарков или придворным дамам, или фрейлинам. Притом и другое обстоятельство благоприятствовало начинавшейся торговле Позье: его прежний хозяин принялся кутить, играть в карты и скоро дошёл до того, что целые месяцы проводил в непрерывном кутеже. Поэтому прежние заказчики и покупщики Гроверо перестали иметь с ним дело и начали обращаться к бывшему его ученику. Знатные господа и в особенности знатные госпожи частенько приглашали к себе Позье на дом с его изделиями и быстро раскупали их у него; нередко даже именитые покупщики и покупщицы удостаивали своими посещениями его скромное жилище. Охотно и весело сидел молодой ювелир за работой, громко распевая песни своей родной Швейцарии под неумолкаемый шум шлифовального колеса, когда к нему в комнату вошёл щеголеватый паж из польско-саксонского посольства, отправленный графом Линаром. Паж сообщил Позье, что граф, по приказанию правительницы, просит его прийти сейчас же в Зимний дворец.

Ювелир не удивился нисколько присылке к нему пажа Линаром, так как он знал посланника, который любил не только пощеголять сам изящными вещичками, но и преподнести их в подарок разным петербургским красоткам, почему и де-

⁸³ Солитёр – крупный бриллиант, вправленный в украшение отдельно, без других камней.

лал закупки у Позье, изредка, впрочем, на чистые деньги, преимущественно же в кредит. Одно только обстоятельство показалось ювелиру несколько странным, а именно: почему правительница потребовала его к себе не обычным порядком – или через дворцового ездового, или через кого-нибудь из придворных, а через человека, ей, по-видимому, совершенно постороннего? Позье в недоумении почесал затылок, переспросил хорошенько пажа и убедился в том, что в призыве его во дворец от имени графа Линара не может быть не только никакой ошибки, но и никакого сомнения, так как граф, отправляясь туда, сам лично и вполне обстоятельно передал пажу то поручение, которое он и исполнил теперь в точности. Позье, как мысленно, так и на словах через посланного поблагодарил графа Линара за его благосклонное внимание и просил доложить его сиятельству, что он без малейшего замедления исполнит его приказание – явиться к правительнице.

Идти в Зимний дворец было для Позье не впервые. Будучи ещё подмастерьем у Гроверо, он часто бывал там. Незадолго до своей смерти Анна Ивановна с караваном, пришедшим из Китая в Петербург, получила множество драгоценных камней, купленных на Востоке. Ей любопытно было посмотреть, как режут и шлифуют их, почему она и приказала дать знать хозяину Позье, Гроверо, чтобы он доставил свои рабочие снаряды во дворец и поместил бы их в одной из комнат, близких к покоям императрицы. Здесь принял-

ся работать Гроверо со своим тогдашним подмастерьем Позье; работа их продолжалась непрерывно почти три месяца. Государыня приходила во временную мастерскую каждый день раза по два, по три и следила внимательно за работой. Скромный и трудолюбивый швейцарец полюбился ей, и она лично сделала ему предложение: не пожелает ли он отправиться на несколько лет в Китай со снаряжавшимся тогда туда русским посольством, чтобы закупать там на её счёт драгоценные камни, до которых она была страстная охотница. Отправка в Китай Позье не состоялась, однако, по разным причинам, потом Позье как-то поотстал от двора, и теперь, отправляясь в Зимний дворец по зову Линара, молодой ювелир думал, не будет ли, по рекомендации графа, сделано ему от правительницы какое-нибудь предложение, подобное прежнему.

В ожидании важной перемены в своей жизни Позье не без некоторого замирания сердца вошёл в ту комнату, где находилась правительница. Он застал её в простом домашнем уборе, наедине с его неожиданным покровителем, графом Линаром. С первого раза Позье не догадался, что тут делается: в маленькой белой ручке правительницы был простой гвоздь, которым она силилась выковырнуть из оправы великолепный бриллиант. Линар стоял за креслами и через её плечо смотрел на эту работу. Раскрасневшаяся молодая женщина, видимо, употребляла все усилия, чтобы настоять на своём, но труд её был напрасен: крепко вделанный в оправу

камень не поддавался несколько под её слабыми пальцами. Линар улыбался, да и сама она весело смеялась и над своей неумелостью, и над тем инструментом, который употребляла в дело.

– Неужели вы, ваше высочество, всегда и во всём бываете так настойчивы и так нетерпеливы? – спрашивал Линар, быстро отстранившийся от правительницы при входе Позье, отвечивавшего её высочеству низкие поклоны.

– Почти что всегда, – отвечала она в шутовском тоне.

– Однако вышло так, как я предсказывал: вы ничего не успели сделать вашими нежными ручками. Но вот пришёл господин Позье, я хорошо его знаю, он вполне достойный молодой человек и, несмотря на свою юность, знаток дела, которым занимается. Позвольте мне обратить на него милостивое внимание вашего императорского высочества.

Перед правительницей в это время лежала куча драгоценностей, и чего только тут не было! Увидев Позье, Анна Леопольдовна поспешно бросила на стол и гвоздь, и бриллиантовый аграф, бывшие в её руках, и, оттирая непривычные к грубой работе пальцы, повернула голову в ту сторону, где стоял Позье.

– Надобно, чтобы вы помогли нам сломать эти вещи, я хочу переделать их по последней моде; ни я, ни граф никак не можем сделать этого, и я насилу дождалась вас, – сказала она ювелиру.

– Переделкой многих из тех уборов, какие я вижу здесь

на столе, занимаются, ваше императорское высочество, собственно золотых дел мастера, моя же специальность заключается в оценке, резке и шлифовке драгоценных камней, – почтительно заметил Позье.

– Это будет очень кстати... А сломать эти вещи вы можете? – с живостью спросила она, встав с кресел и проводя по груди лежавших перед ней драгоценностей рукой, из-под которой брызнули яркие струи разноцветных огней и искр.

– Могу, если только вашему высочеству угодно будет приказать мне сделать это, – отвечал Позье.

– И сию же минуту можете сделать? С вами есть необходимые для этого инструменты? – с выражением сильного нетерпения, скороговоркой спрашивала Анна Леопольдовна.

– Я всегда имею их при себе, – было ответом Позье.

– Вы научите и нас этой работе, а потом мы будем помогать вам. Не стесняйтесь несколько моим присутствием; работайте как у себя дома: сидите, ходите, стойте, только делайте поскорее, – проговорила второпях правительница.

Позье достал инструменты и принялся тотчас же за работу. Анна Леопольдовна, посмотрев несколько минут на его занятие, взяла от него щипчики и попыталась делать то же, что он, но у неё не было ни навыка, ни ловкости, ни силы, и она, видя свой неуспех, с досадой кинула на стол взятое ею для ломки ожерелье. Линар хотел было тоже приняться за работу, но и ему она оказалась не с руки.

– Пусть Позье работает один; мы, как видно, к нему в помощники не годимся, – сказала Анна Леопольдовна, обращаясь к Линару, – будем лучше продолжать вчерашнее наше чтение; мне чрезвычайно понравилось это сочинение, – добавила она, подавая Линару французскую книжку, – в особенности же те страницы, где описываются страдания молодой несчастной принцессы. Я перечитывала это место уже несколько раз; но вы, граф, такой превосходный чтец, что мне приятно будет ещё раз послушать то, что я знаю почти наизусть⁸⁴.

– Почту за особенное для себя счастье исполнить ваше приказание и постараюсь прочесть так, чтобы любимая вами книга понравилась вам ещё более, – отозвался с утончённой любезностью Линар. – Мне кажется, впрочем, – продолжал он, – что сюжет этого сочинения очень печален, зачем вы выбрали эту книгу? Зачем слушать рассказы о приключениях какой-то молодой несчастной принцессы такой счастливой женщине, как вы? Зачем наводить себя, в светлые минуты жизни, на мысли о бедствиях и страданиях?..

Правительница не отвечала ничего, но по её лицу, только что оживлённому весёлостью, пробежало выражение сильной грусти, и она, задумавшись, опустилась в кресла. Линар сел недалеко от неё и начал читать. Явственно и выразительно читал он, оттеняя каждое выражение, каждое слово.

⁸⁴ О любимой книге правительницы такого содержания упоминает Миних-сын, не означая, впрочем, её заглавия. (Примечание автора).

Анна Леопольдовна внимательно слушала его, и когда он дошёл до любимого ею в книге места, она тяжело вздохнула, и на глаза её навернулись слёзы, которые она силилась сдерживать.

– Вы правду сказали, граф, – проговорила правительница, – зачем омрачать немногие светлые минуты жизни грустными мыслями? Я чувствую, что на меня находит страшная тоска, что меня начинают мучить ужасные предчувствия. Положите книгу в сторону, и лучше займёмся опять ювелирной работой, быть может, теперь она удастся нам...

– Мы, ваше высочество, сделали уже столько неудачных попыток по этой части, что едва ли стоит приниматься снова за дело. К чему подвергать себя малейшим, даже самым пустым неудачам в жизни, если только есть возможность как-нибудь избежать их? Посмотрим лучше, как работают за нас другие... – проговорил с улыбкой Линар.

– Вы правы, граф, – ответила правительница и, обращаясь к Позье, спросила его, скоро ли он кончит свою работу.

– Никак нет, ваше императорское высочество. При всей моей спешности исполнение этой работы потребует несколько дней. Здесь, – проговорил Позье, указывая с видом знатока на стол, – драгоценностей на несколько миллионов. Одни эти рубины чего стоят! – вскрикнул он в восхищении, пожимая плечами.

Правительница взглянула на принадлежавшие ей сокровища с таким равнодушным выражением, как будто хотела

сказать: «К чему мне всё это?»»

– Вы вот что сделайте, – стала она торопливо приказывать ювелиру, – отберите поскорее самые лучшие, самые дорогие камни и отложите их особо, я возьму их к себе; маленьких бриллиантов не вынимайте, а ломайте так, чтобы они оставались в оправе.

– Кому же, ваше высочество, прикажете отдать эти бриллианты, а также золото и серебро? – спросил Позье.

– Возьмите всё это себе, а если этого вам не будет достаточно, как платы за вашу работу, то я прикажу прибавить вам денег по вашему счёту. Да, кстати, я хочу ещё переговорить с вами и о других вещах, которые лежат в особой шкатулке, а здесь положены только те, которые, как я думаю, вышли из моды и которые нужно поскорее переделать.

Изумлённый Позье не верил такой щедрости, с какой вознаградила правительница его труд. Он приходил к ней работать два раза, и по окончании работы оказалось, что разного лома и маленьких бриллиантов вынес на такую сумму, что сделался вдруг весьма зажиточным торговцем-ювелиром, для чего, однако, требовалось немало денег такому бедняку, каким в то время был Позье.

Ювелир, согласно приказанию правительницы, отобрал самые лучшие камни, вынул их из оправы и представил их ей, а она положила их на особый столик.

– Вы сегодня довольно уже поработали, – сказала она ласково Позье, – приходите завтра утром, чтобы заняться

остальным.

Позье откланялся и вышел.

– Я попрошу вас, граф, принять от меня эту безделицу, – сказала правительница по уходе Позье, взяв со столика полную горсть самых дорогих камней и ссыпав их в шляпу Линара, лежавшую на кресле.

При виде этого подарка всегда находчивый дипломат растерялся. Он понял, что правительница сразу желает обогатить его, и в смущении не знал, что сказать, и только движением головы и рук старался выразить свою благодарность и вместе с тем решительный отказ от неожиданного и дорогого подарка.

– Вы, вероятно, не хотите принять это, потому что вам дарит женщина?.. Самолюбие, весьма похвальное в мужчине, – сказала Анна Леопольдовна, – но вы, граф, ошибаетесь: это дарит вам правительница русской империи, которая, слава Богу, в состоянии вознаграждать с ещё большей щедростью тех, кто, как вы, приносит пользу России. Я обязана вам выгодным трактатом с Австрией и должна за это отблагодарить вас.

Линар кланялся и хотел сказать что-то, но правительница перебила его.

– Или вы, быть может, как дипломат, строго соблюдающий все формальные тонкости, – сказала она, – желаете, чтобы я этот подарок в каком-нибудь другом виде препроводила к вам через моего министра и чтобы, таким образом, все

знали о моей к вам признательности, о моём к вам высоком благоволении, а я этого не желаю... Как вы, однако, тщеславны, граф!.. Я этого от вас вовсе не ожидала... – насмешливо добавила Анна Леопольдовна.

– Не смею раздражать ваше высочество моим дальнейшим противоречием, но только позволю себе заметить, что такая щедрая награда не соответствует моим ничтожным заслугам.

– Предоставьте мне право оценивать их... – сказала твёрдым голосом Анна.

Линар схватил и поцеловал её руку, но с таким чувством, с каким никогда представитель одной державы не целует руки у молоденькой и хорошенькой представительницы другой, хотя бы даже и самой дружественной державы.

XXV

В зимнюю пору на улицах Петербурга, чаще всего в окрестностях Смольного двора, где имела свой дом цесаревна Елизавета Петровна и куда недавно был переведён с Васильевского острова на постоянную стоянку Преображенский полк, – можно было встретить простые широкие сани, набитые внизу сеном, с высокой спинкой, через которую был перекинут наотлёт богатый персидский ковёр. Тройка коней, в русской упряжи с блестящим медным набором, с сильным коренником под широкой дугою, узорчато расписанной пёстрыми красками и золотом, быстро мчала эти сани. Под полозьями их скрипел и визжал снег, взвивавшийся пылью из-под копыт нёсшейся во весь опор тройки. Ямщик, стоя в санях, в шапке, надетой набекрень, распустив вожжи, ухарски гикая и молодецки то покрикивая, то посвистывая, ободрял коней, и, казалось, что от быстроты их бега у седоков захватывало дух. Весёлое бряцание медного набора на упряжи, резкое звяканье бубенчиков и заливающийся звон валдайского колокольчика, подвешенного под дугой, ещё издали издавали проезжих и прохожих о приближении лихой тройки, которой все проезжие спешили давать дорогу и, смотря ей вслед, любовались ею.

– Вот так настоящая русская царица! – часто слышалось от тех, кто встречался с мчавшейся в санях Елизаветой, –

иноземщины не терпит, во всём, насколько может, русских обычаев придерживается.

Действительно, цесаревна представляла собой в Петербурге заметное исключение не только в домашней жизни, но даже и на улице. В эту пору и двор, и русские баре, усваивая иноземные обычаи, променивали уже русские сани на иностранные кареты, выписываемые из Варшавы, Вены и Парижа. В эту пору, по словам историка князя Щербатова⁸⁵, «экипажи тоже великолепии возчувствовали», и между знатными людьми «богатые, позлащённые кареты, обитые бархатом, с золотыми и серебряными бахромами, тяжёлые и позлащённые или посеребрённые шоры с кутасами шёлковыми и с золотом и серебром, также богатые ливреи стали употребляться». Всему русскому как будто оказывалось презрение и при дворе, и окружавшей его знатью.

Народу и преображенцам, близким соседям цесаревны, нравилась, впрочем, не одна чисто русская обстановка цесаревны, они любовались и ею самой. Елизавета была в ту пору настоящей, хотя уже и несколько зрелой, русской красавицей, представляя собою тот идеал женской красоты, какой создал наш народ в своих песнях и сказках: высокая, стройная, полная, глаза с поволокой, а в лице кровь с молоком. Можно было засмотреться на неё, когда она мчалась на своей тройке с нарумяненными от мороза щёчками, в душегрейке

⁸⁵ Имеется в виду Михаил Михайлович Щербатов (1733—1790), автор книги «О повреждении нравов в России».

старинного русского покроя, в низенькой бархатной, отороченной соболем шапочке, из-под которой выбивались густые пряди тёмно-русой косы.

Приветливо кланялась Елизавета каждому встречному, отдававшему ей почтение, и весело и ласково кивала преображенцам, как своим знакомым соседям. Да и они в свою очередь запросто обращались с нею. Во время её катаний около Смольного двора они вскакивали на задок или на облучок её саней, то зазывая её к себе на именины, на свадьбу или на крестины, то сообщая ей о каком-нибудь своём солдатском горе, помочь которому – как они все очень хорошо знали – цесаревна всегда была готова.

«Елизавета Петровна, – писал впоследствии в своих «Записках» фельдмаршал Миних, – выросла, окружённая офицерами и солдатами гвардии, и во время регентства Бирона и принцессы Анны чрезвычайно ласково обращалась со всеми лицами, принадлежащими к гвардии. Не проходило почти дня, чтобы она не крестила ребёнка, рождённого в среде этих первых полков империи, и при этом не одаривала бы щедро родителей, или не оказывала бы милости кому-нибудь из гвардейских солдат, которые постоянно называли её «матушкой». Елизавета, имевшая свой дом вблизи новых Преображенских казарм, часто бывала в нём и там виделась с Преображенскими офицерами и солдатами. До правительницы стали доходить слухи об этих собраниях, в особенности часто о них доносил ей её супруг, постоянно опа-

савшийся происков Елизаветы, но Анна Леопольдовна считала всё это пустяками, на которые не стоило, по её мнению, обращать никакого внимания. Угодливые голоса вторили ей в этом случае, и по поводу сношений цесаревны с солдатчиной при дворе только насмешливо повторяли, что она «водит компанию с преображенскими гренадёрами».

Не одни, впрочем, гвардейские офицеры и солдаты, ласкаемые Елизаветой, отдавали ей, как женщине, предпочтение перед молодой правительницей. Елизавета, неумолчная хохотушка, разговорчивая, ветреная до того, что, по собственным словам её, она была счастлива только тогда, когда влюблялась, – несравненно сильнее привлекала к себе всех, нежели правительница, всегда являвшаяся в обществе холодной, сдержанной, задумчивой и как будто чем-то недовольной. На лице Анны выражалась постоянная грусть, тогда как улыбка не сходила с лица Елизаветы. Первую из них – особенно после неожиданно произведённого ею ночного переворота – стали считать женщиной чрезвычайно хитрой, долго обдумывающей каждый шаг и неспособной проронить ни одного лишнего слова, и думали, что только молодость и неопытность не позволяют ещё ей показать весь её ум и её сильный характер. Напротив того, в Елизавете видели самую простодушную девушку, готовую во всякую минуту высказать всё, что лежит у неё на сердце, и так как она почти десятью годами была старше Анны Леопольдовны, то и полагали, что нрав её установился окончательно, и что она на всю жизнь

останется такой же добродушной, кроткой и откровенной, какой уже все привыкли её знать. Сильно, однако, ошибались в подобной оценке этих двух женщин-соперниц, считавших за собою право на русскую корону, так как в сущности правительница была и беспечнее, и простодушнее, чем Елизавета, хотя беззаботная, весёлая и обходительная, но в то же время бывшая, что называется, себе на уме.

Елизавета, пользуясь тем, что правительница снисходительно смотрела на образ её жизни и на сближение её с гвардией, не подозревая в этом со стороны цесаревны никаких козней, мало-помалу приобретала своих верных приверженцев, готовых постоять за неё в решительную минуту, и постепенно, исподтишка, расставляла сети своей сопернице. В то же время она чрезвычайно искусно притворствовалась теперь перед Анной, как притворствовалась прежде перед её родной тёткой, а своей двоюродной сестрой – умершей императрицей. Елизавета долгое время думала, что корона после смерти Анны Ивановны, избранной случайно на престол горсткой вельмож, не минует её как дочери Петра Великого, и потому, хотя она и была недовольна своим положением в царствование Анны Ивановны, но, в надежде на будущее, оставалась спокойной, не принимая со своей стороны никаких мер до тех пор, пока не состоялось бракосочетание принцессы Анны с принцем Антоном Брауншвейгским. Тогда она увидела, что вследствие этого брака она окончательно отстранена от наследия престола, и сделала несколько попы-

ток, чтобы собрать около себя кружок своих приверженцев.

Честолюбивые свои замыслы она вела в такой глубокой, непроницаемой тайне, что ничего не обнаружилось при жизни императрицы, с которой она постоянно оставалась в самых дружеских отношениях. После кончины Анны Ивановны и в особенности после того, как Бирон был так неожиданно-негаданно арестован Минихом и преображенцами, она поняла, что, опираясь на горстку надёжных людей и на войско, не трудно будет повторить нечто подобное и в свою пользу, и вот она начала заботливо обдумывать свои коварные планы против правительницы и её сына. Тем не менее Елизавета продолжала хитрить перед нею и старалась вводить всех в заблуждение своей напускной беспечностью. Первые месяцы после того, как принцесса Анна объявила себя великой княгиней и правительницей, прошли в величайшем согласии между ней и Елизаветой; они посещали одна другую почти каждый день совершенно без церемоний и, казалось, жили между собой, как родные сёстры, как самые близкие приятельницы.

Такое согласие было, однако, непродолжительно: между ними пробежала вскоре чёрная кошка. Недоброжелатели той и другой стороны поселили между молодыми женщинами начало раздора. До правительницы стали доходить оскорбительные отзывы, делаемые насчёт неё Елизаветой, высказываемые цесаревной нескромные намёки на сердечные отношения правительницы к графу Линару, а также и обнаружи-

ваемые Елизаветой подозрения насчёт если уже не сделанной, то весьма возможной подмены в случае смерти болезненного и слабого сына Анны, во имя которого она правила государством.

В то же время усердные вестовщики и вестовщицы передавали цесаревне о тех опасностях, которые грозят ей со стороны правительницы. Цесаревне стало известно, что проникший в её замыслы Остерман советует правительнице выдать её поскорее замуж за какого-нибудь «убогого» немецкого принца, и в опасении этом ей пришлось убедиться, когда в Петербург, в качестве её жениха, явился принц Людвиг Брауншвейгский, родной брат принца Антона, который при содействии России и был избран герцогом Курляндским вместо сосланного Бирона. Крепко не хотелось Елизавете, любившей свободу и привыкшей к воле, выходить замуж. К тому же предназначенный жених ей не нравился, а в довершение ко всему, выйдя замуж за Людвига, она должна бы отправиться на житьё к немцам, до которых Елизавета не была большая охотница. Отказываясь от вступления в брак с принцем Людвигом, она ссылалась на то, что дала обет не выходить замуж.

Ещё более, чем известие о браке, напугала цесаревну другая недобрая дошедшая до неё весть. Она вздрогнула и побледнела, когда ей рассказали, что правительница, по совету того же Остермана, намерена засадить её в монастырь на вечное заточение. Поверить этому было не трудно, так как

примеры насильного пострижения уже бывали в царской семье. С ужасом подумывала Елизавета, что её заставят променять блестящую корону на чёрный клобук, который так не пристанет к её молодому весёлому лицу. Елизавете казалось уже, что она сидит в глухой обители за крепкими затворами, в маленькой мрачной келье с надёжной решёткой; что ей ничего более не остаётся, как только сделаться смиренной, послушной инокиней, потому что в противном случае её примутся укрощать клюкой матери-игуменьи, голодом, железной цепью с ошейником, а, пожалуй, чего доброго, и шелепами, бывшими тогда в большом ходу в женских наших обителях, как самым надёжным средством для усмирения строптивых отшельниц⁸⁶.

И другие обстоятельства болезненно раздражали Елизавету. Она роптала на свою горькую, обездоленную судьбу, сравнивая своё относительно скромное и – что всего казалось ей хуже – своё вполне зависимое положение с блестящим положением правительницы, пользовавшейся теперь полной свободой. Настроенная враждебно против Анны, Елизавета подозревала, что правительница оказывает ей самые недружелюбные чувства, и то, чего не замечалось прежде, при их добрых между собой отношениях, представлялось теперь цесаревне крайне и умышленно оскорбительным. Так, Елизавета считала себя обиженной донельзя тем,

⁸⁶ Шелеп – узкий и длинный холщовый мешок, набитый мокрым песком, заменявший в монастыре плеть и палку. (Примечание автора).

что приехавший в Петербург персидский посланник не был у неё с визитом. В этом видела она явный знак оказанного ей невнимания и неуважения, полагая, что правительница, распорядившись таким образом, хотела унижить её перед всем двором и иностранными посольствами, находившимися при русском дворе. Правительница поняла свою ошибку и отправила к цесаревне двух лиц, заведовавших церемониальными делами, для извинения перед нею. Сделав им выговор, Елизавета сказала:

– Я вам это прощаю, так как вы только исполняете то, что вам приказывают, но скажите Остерману, который, собственно, устроил это дело таким неприличным образом, если он забыл, что мой отец и моя мать вывели его в люди, то я сумею его заставить вспомнить, что я дочь Петра I и что он обязан уважать меня.

Смелая речь цесаревны встревожила правительницу, и она, слабая характером, сочла нужным отправиться к Елизавете для личных перед ней извинений.

Тяжелы и неприятны были для Елизаветы и денежные её дела. Красавец Алексей Разумовский⁸⁷, заведованию которого они были поручены, только и делал, что пел малороссийские песни и думки да играл на бандуре, не занимаясь во все ни интендантской, ни шталмейстерской частью; частые и

⁸⁷ Алексей Григорьевич Разумовский (1709—1771) – граф, государственный и военный деятель. Свою деятельность при императорском дворе начал певчим; затем – фаворит, а с 1742 г. – муж Елизаветы Петровны.

щедрые раздачи офицерам и солдатам чрезвычайно ослабляли денежные средства Елизаветы. Несмотря на получаемое ею большое содержание, она постоянно была без денег, ей приходилось занимать, а потом, конечно, и расплачиваться с кредиторами, и в этом последнем случае не оставалось ничего более, как только обращаться с просьбой к правительнице, и такое унижение было всего мучительнее для её самолюбия. При просьбах Елизаветы о выдаче денег или об уплате долгов Анна Леопольдовна входила в роль расчётливой правительницы-хозяйки и делала своей старшей родственнице внушения о бережливости и об умеренности расходов, не подавая, однако, сама тому примера. Однажды Елизавета под напором кредиторов вынуждена была обратиться к правительнице с просьбою заплатить за неё тридцать две тысячи рублей долгу. Анна Леопольдовна не отказала ей в этом, но чрезвычайно обидела её, потребовав представления подлинных счетов. При проверке же их оказалось, что они не сходятся с той суммой, о которой заявила сама Елизавета. Долги цесаревны хотя и заплатили, но дело это не обошлось без замечаний со стороны правительницы, сильно раздражавших цесаревну и давших ей новый случай почувствовать всю тягость своей зависимости от другой женщины, и она ещё заботливее стала думать о том, чтобы поскорее выйти из такого положения.

XXVI

Дом графа Андрея Ивановича Остермана был в своё время одним из самых заметных домов в Петербурге по своей архитектуре и по своей величине. Он был каменный, двухэтажный, не считая при этом подвальной постройки. На главном фасаде в двенадцать окон был сделан выступ с четырьмя большими круглыми окнами, и такие же два окна были на фронтоне, устроенном над выступом. Над домом была высокая в два отдельных ската черепичная крыша; от парадного подъезда, выходившего на улицу, шли две широкие лестницы по обе стороны от дверей в виде больших полукругов. Внутренность этого графского жилища не соответствовала, впрочем, внешней его представительности. Манштейн в «Записках» своих сообщает, что образ жизни графа Андрея Ивановича был чрезвычайно странен: он был неопрятнее и русских, и поляков; комнаты его были меблированы очень плохо, и слуги были одеты обыкновенно как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, а хорошие кушанья подавались у него только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение.

В таком наряде, с большим зелёным тафтяным зонтиком

на глазах, сидел у себя в кабинете Остерман, когда его камердинер-оборванец доложил, что приехала баронесса.

Остерман поморщился, но приказал просить гостью в кабинет. Хотя муж баронессы, бывший главным начальником по горной части, и находился в самых добрых отношениях к Остерману, но этот последний сильно недолюбливал его супругу, опасаясь её как болтливую женщину, умевшую при этом выведывать чужие тайны и чужие мысли, и вдобавок к этому он боялся её, как страшную интриганку⁸⁸. В кабинет Остермана вошла средних лет красивая женщина, стройная, с надменным взглядом, с горделивой поступью. В один миг она оглядела кабинет графа.

– Очень рад вас видеть, баронесса, – приветствовал приговорщик-хозяин вошедшую к нему даму. – Вы, вероятно, изволили пожаловать ко мне по делу вашего супруга, но, к сожалению, я пока ничего ещё не мог учинить в его пользу; надобно, впрочем, полагать, что все взводимые на его превосходительство обвинения окажутся злостной клеветой, я в том уверен, и вам следует успокоиться...

– И не беспокоить других, думаете вы про себя, граф, но только из вежливости не говорите мне этого... На дело моего мужа я, впрочем, махнула рукой – это пустяки, о которых не стоит и говорить. Я сама вполне уверена, что всё обойдётся благополучно, несмотря на все происки наших недобро-

⁸⁸ Шетарди отзываясь о баронессе Шенберг как об искусной интриганке. (Примечание автора).

желателей, а потому и вас прошу несколько не беспокоиться насчёт барона. Не с просьбой я приехала к вам, а с предложением, за которое вам впоследствии придётся поблагодарить меня.

Вступительная речь баронессы крайне удивила министра. Муж её, пользовавшийся особым покровительством регента, после его падения был отдан под суд за злоупотребления, взяточничество, вымогательство и казнокрадство, и, по-видимому, ему угрожала большая беда, почему жена его ещё недавно и хлопотала за него самым деятельным образом у всемогущего Остермана.

– Я посетила вас, – добавила баронесса, – по чрезвычайно важному делу.

Министр наострил уши и в то же время как-то боязливо съёжился на своём широком кресле, предчувствуя что-то недоброе.

– Знаете, баронесса, – проговорил он, запинаясь и надвигая на лицо зонтик, – относительно чрезвычайно важных дел я человек очень мнительный.

– Знаю, и даже как нельзя лучше знаю это... – перебила баронесса.

– Я боюсь... – заговорил Остерман.

– Бойтесь, вероятно, моей болтливости? И прекрасно делаете!.. Но если уж я хоть раз побеседовала с вами наедине, как теперь, то боязнь ваша не принесёт вам решительно никакой пользы. Разве я после этого не могу, если только по-

желаю, рассказывать всем и каждому о моей с вами беседе так, как мне будет угодно? Если, например, вы в настоящем случае откажете мне не только в вашем содействии, но даже в ваших разумных советах и полезных наставлениях, то тем не менее я буду иметь возможность рассказывать всему городу, что вы мне внушили то-то и то-то, – говорила баронесса с беззастенчивостью, переходившей в наглость. – Я же вам вот что скажу... – При этих словах она с креслом придвинулась ещё ближе к Остерману, только пожимавшему плечами, и таинственным шёпотом сказала ему под самое ухо:

– Я хочу женить графа Линара⁸⁹...

– Но ведь её императорское высочество... – вздрогнув, сболтнул нехотя всегда осторожный Остерман.

– Да разве её императорское высочество тут при чём – нибудь? – строго спросила баронесса.

– Вы мне не дали договорить, милостивая государыня. Я хотел сказать, – начал вывёртываться Остерман, – что вы, вероятно, выберёте графу невесту из фрейлин, а потому, конечно, от воли её императорского высочества будет зависеть...

– Нет, вы не то мне хотели сказать, – отрезала баронесса, – и это было видно по выражению вашего лица. Не думайте, чтобы вы могли закрыться от меня вашим зонтиком. Я нарочно ближе подсела к вам, да и к чему такая приккрыш-

⁸⁹ Шетарди приписывает баронессе Шенберг почин по сватовству Линара. (Примечание автора).

ка между друзьями?.. – С этими словами баронесса быстро сдёрнула зонтик с головы Остермана и бросила его на стол.

– Но, помилуйте, у меня глаза болят, я не могу смотреть на свет, – бормотал жалобно Остерман, пытаясь, не привставая с кресел, достать со стола зонтик, который бесцеремонная гостья при этой попытке отодвинула подальше.

– Будьте вполне откровенны со мной, граф; ведь мы отлично понимаем друг друга, и потому я повторяю вам, что я, по моим соображениям, хочу женить графа Линара...

– На ком же, однако, позвольте спросить? – проговорил смущённым голосом Остерман.

– На одной из девиц фон Менгден.

– На которой же из них: на Юлиане, Якобине или Авроре?..⁹⁰

– Угадайте.

– Думается мне, что если вы действительно собираетесь устроить эту свадьбу, то выбор ваш никак не может пасть на Юлиану, её высочество привязана к ней до такой степени, что не захочет ни за что расстаться с ней, а между тем неизвестно, долго ли граф Линар останется в Петербурге. Да и признаться, я что-то не понимаю, зачем вы затеяли это сватовство...

– О, при этом я руководствовалась очень многими, не

⁹⁰ Речь идёт о сёстрах Менгден. Юлиана станет женой Линара, Якобина готовилась выйти замуж за Густава Бирона, Аврора впоследствии станет графиней Лесток.

только моими личными, но даже и государственными соображениями...

– Даже и государственными соображениями?.. Гм, – прощамкал с расстановкой Остерман, вынимая из кармана своего камзола большую золотую табакерку и принимаясь медленно нюхать. – Желательно было бы, однако, узнать их...

– Вы и узнаете в своё время, а теперь скажите только: будете ли вы мне содействовать в моём намерении, а я со своей стороны могу прибавить, что брак этот отлично устроил бы и вас, и меня с моим мужем.

– Но её высочество, её высочество... – тревожно бормотал Остерман.

– Опять её высочество! – вскрикнула баронесса, грозно взглянув на старика, – так знайте же, что её высочество была бы чрезвычайно довольна женитьбой графа Линара...

При этих словах Остермана с головы до ног обдало жаром. Ему представилось, не сделалось ли около правительницы чего-нибудь такого, о чём он не успел ещё проведать. Он подумал, не охладела ли привязанность её к Линару, а поэтому и не желает ли она привести дело к развязке его женитьбой. Остерман встревожился при мысли, не был ли он слишком внимателен и предупредителен к покидаемому теперь правительницей любимцу и старался припомнить малейшие подробности своих последних с ним встреч у Анны Леопольдовны.

– Позвольте, однако, – спросил он, оправляясь несколько

от смущения, – вы изволили высказать предположение о женитьбе графа Линара на одной из девиц фон Менгден, но на которой же именно?

– На Юлиане...

– На Юлиане? – вскрикнул Остерман, окончательно озадаченный этими словами.

– Да, на Юлиане, – преспокойным тоном ответила баронесса. – По моим соображениям, если граф Линар должен жениться, так именно на ней, а жениться он непременно должен.

– Признаюсь, я ничего не понимаю, – сказал Остерман, в недоумении разводя руками.

– И ничего нет мудрёного; вы сидите дома и не знаете ничего, что делается. Вас считают человеком чрезвычайно проныцательным, – с едкой насмешливостью продолжала баронесса, – а по моему мнению, выходит вовсе не то. Вы, например, когда уже весь город узнал о принятии принцессой правления, не знали ровно ничего... Какой вы министр! Если бы я имела власть, то завтра же уволила бы вас от должности.

Остерман чувствовал себя подавленным и уничтоженным. Он стал откашливаться, поправляя парик, и бормотал что-то себе под нос, а между тем развязная гостья смотрела на него в упор смелым беспощадным взглядом.

– Позвольте мне, глубоко чтимая мною баронесса, – начал жалобным голосом пристыженный министр, – несколько по-

думать и сообразить по делу, о котором вам, не знаю, почему именно, благоугодно было сообщить мне. Высоко, как нельзя более, ценю оказанное мне вами слишком лестное доверие и могу уверить вас, что я во всякое время почту за особенное для себя счастье быть у ног ваших всепокорнейшим слугою, с чувством наиглубочайшего моего к вам высокопочитания...

– Оставьте, граф, подобные приторные фразы, я им очень мало верю, – перебила баронесса, махнув рукой.

– Конечно, вы совершенно справедливо изволили заметить, что в обстоятельствах, о которых мы теперь рассуждаем, не может идти вовсе речь об её императорском высочестве. Они действительно касаются одного только графа Линара и избираемой вами для него невесты, кто бы она ни была. Дело в том, однако, что во всяком случае женить в Петербурге иностранного посла и притом такого влиятельного, каким в дипломатических кружках считается граф Линар, можно только подумавши, и подумавши хорошенько. Женитьбою его мы легко можем обнаружить ту импрессию, которую имел наш двор на него, а обстоятельство сие вызывает недоразумения и различные подозрения со стороны европейских кабинетов. Притом, – продолжал внушительно Остерман, – вы сами изволили высказать, что при предполагаемом вами браке вы благоволили руководствоваться не только вашими личными, но даже и государственными соображениями. Как же ввиду всего этого не подумать и не со-

образить каждому министру, в особенности же такому, которого начинают подозревать в проницательности?

– Перестаньте петь эту скучную песню, мой милейший граф, – сказала самым фамильярным тоном баронесса. Она встала с кресел и, дружески трепля Остермана по плечу левой рукой, правой напялила на его голову зонтик. – Теперь вы можете сидеть в этой полумаске. Вы сами не хотели встать и взять её, чтобы я не разболтала потом, что ваше здоровье настолько хорошо, что вы в состоянии ходить. Для вас это было бы не совсем удобно, потому что теперь наступает такая пора, когда вам, по принятым вами правилам, следует притворяться...

– Какая пора?.. – широко раскрыв глаза, спросил Остерман.

– Пора, когда отношения между правительницей и графом Линаром...

– Т-с... ради Бога, тише; подумайте, что вы говорите?.. – шептал умоляющим голосом Остерман.

Не обращая никакого внимания на это предостережение, баронесса продолжала:

– ...заставят вас на время заболеть жестоко, съездив, впрочем, предварительно во дворец, чтобы проведать там что-нибудь; но могу заранее уверить вас, что вы там ровно ничего не узнаете, всё содержит в непроницаемой тайне; а не правда ли, как желательно было бы узнать такую тайну? – поддразнивала баронесса растерявшегося Остермана.

– Я вовсе не так любопытен, как вы, быть может, предполагаете, – холодно заметил оскорбившийся этим подтруниванием министр. – Я сегодня же должен был бы ехать во дворец, несмотря на мою болезнь, по особенно важным докукладам, но не поеду, а если бы и поехал туда, то о деле, о котором вы изволили мне передавать, я не решился бы заговорить уже по одному тому, что я никогда не мешаюсь ни в какие амурезные дела.

– Вы-то не мешаетесь в такие дела?.. Ха, ха, ха!.. А кто же, позвольте спросить, ваше сиятельство, надоумил бывшего регента вызвать сюда графа Линара?.. Разве тут был вопрос о государственных, а не об амурезных, как вы называете, делах? А?..

У Остермана заняло дух, и он замотал головой, как будто ему поднесли под нос что-то сильно одуряющее.

– Я должен уверить вас, что в вызове графа Линара я не принимал никакого участия, – отрезал решительным голосом лживый старик. – Тут были особые политические соображения регента, для вас, я полагаю, вовсе неизвестные.

– Не отнекивайтесь, милейший граф; если дело пойдёт на спор, то я докажу вам всё, что вы проделали в этом случае. Я знаю, вы говорите часто, что я такая женщина, которая рассказывает то, чего вовсе не было, то есть что я сплетница. Я же в свою очередь буду говорить о вас, что вы такой мужчина, который уверяет, что не делал того, что им было сделано, то есть что он... Как вы думаете, что лучше?.. Поло-

жим, впрочем, что это ошибочно, – что вы действительно не участвовали в вызове графа Линара в Петербург, но теперь и дело идёт не об этом, а только о женитьбе его на Юлиане. Что вы, собственно, на это скажете? Как отзовётесь вы по поводу этого предположения, если бы её высочество, продолжая и теперь, как это было прежде (баронесса нарочно подчеркнула эти слова), удостаивать вас своим доверием, спросила вас что-нибудь о браке графа Линара?..

– Позвольте, многоуважаемая баронесса, подумать и пообразить; я имел честь объяснить вам, что это вопрос дипломатического свойства, а потому и крайне щекотливый.

– Хорошо! Я даю вам срок до завтра, а вы уведомьте меня, когда я могу быть у вас для решительных и окончательных объяснений. Прощайте, граф!.. – и она, встав с кресла, протянула свою руку к губам Остермана, которую тот поцеловал, а баронесса милостиво погладила его по голове.

Остерман выразил сожаление, что он сегодня так слаб, что лишён удовольствия проводить столь дорогую гостью хотя бы до дверей своего кабинета, а сам в душе радовался, что наконец он отделался от этой ужасной посетительницы, язык которой казался ему страшнее змеиного жала и которая обходилась с ним так бесцеремонно, как будто забывала, что он старик, сановник и министр.

– Не беспокойтесь, дорогой мой друг, провожать меня, – проговорила баронесса.

Она медленно подошла к дверям и, выходя из кабинета,

обернулась к Остерману.

– Прощайте ещё раз! Будьте здоровы; не притворяйтесь, когда в этом нет особенной надобности, и верьте, что во многих случаях самый умный министр может быть менее дальновиден, чем иная самая обыкновенная женщина... До приятного и скорого свидания, то есть до завтра.

XXVII

Беседа с баронессой Шенберг сильно озадачила Остермана. Хотя он вообще и не удивлялся бойкости этой хорошо ему известной дамы, но никогда ещё не замечал он, чтобы развязность и бесцеремонность её доходила до такой крайней степени, как это было во время последнего её посещения.

– Что бы это значило? – думал Остерман. – Откуда теперь подул ветер? А ведь что-нибудь особенное да есть. Ещё так недавно она хлопотала у меня о своём муже, дрожала за его участь, вздыхала и плакала, а теперь прямо говорит, что махнула на его дело рукой, и не только не просит моего покровительства, как прежде, но даже отказывается принять его по моему предложению. Уж не ослабела ли моя «инфлуенция» у правительницы? – с ужасом помыслил министр. – По всему видно, что около неё баронесса нашла для себя другую надёжную опору и теперь пренебрегает моим заступничеством за своего мужа. Я очень хорошо знаю, что ещё недавно правительница крайне недолюбливала её и весьма неохотно допускала её в своё общество.

В таких тревожных размышлениях застал Остермана его шурин, Василий Иванович Стрешнев, толкавшийся и разъезжавший всюду для собирания свежих новостей своему зятю.

– Ну, Андрей Иванович, новость важная, – сказал он, поздоровавшись с министром. – Шенбергша входит к правительнице в милость. От камер-фурьера Кочнева узнал я сегодня, что ей приказано посылать приглашения по средам на обеды, а по воскресеньям на вечерние собрания у правительницы. Прежде этого не бывало.

– Точно, что не бывало, и правительница всегда держала её от себя очень далеко и принимала не иначе как только по особому разрешению, даваемому ей через гофмаршала. Ну, а ещё что нового? – порывисто спросил Остерман.

– Говорят ещё, что дела Шенберга замнут по желанию правительницы, а ему в награду за напрасное обвинение пошлётся александровская лента, – скороговоркой сообщал Стрешнев, а между тем его собеседник пожимал плечами.

– А что же слышно о свадьбе?.. – спросил министр.

– Кого с кем?

– О свадьбе графа Линара с Юлианой Менгден, – отвечал Остерман своему удивлённому шурина и затем рассказал ему о посещении Шенберг и о её беседе.

– Пожалуй, что-нибудь эта разбитная баба Шенбергша и придумает. В последнее время Линар что-то особенно стал внимателен к ней, да и, верно, не кто иной, как он расположил правительницу в её пользу. Он же, конечно, помогает и барону покончить благополучно его делишки, за которые ему нелегко было бы рассчитаться. Надобно будет поразнюхать. Да к чему, впрочем, устраивать этот брак? – добавил

Стрешнев.

– Как к чему? Тут есть очень тонкий расчёт. Долго думал я об этом и, наконец, напал на верную мысль. Теперь начинают поговаривать о близости Линара к правительнице, а в войске, как ты мне сам передавал, слышится громкий ропот по этому поводу. Если же Линара женят, то всё это получит иной вид. Заговорят, что если Линар почти безвыходно сидел у правительницы, так потому только, что ухаживал за неразлучной её подругой. После свадьбы супруги останутся жить во дворце под тем же благовидным предлогом, что её высочество не в силах расстаться с Юлианой; на Линара, как на человека женатого, не станет падать никакого подозрения, и таким образом неприятная, а, пожалуй, даже и опасная для правительницы болтовня мало-помалу прекратится... Понимаешь?

– Пожалуй, что так, – согласился Стрешнев. – А знаешь, не худо бы тебе, под каким-нибудь предлогом, съездить самому к правительнице. Может быть, что-нибудь и поразведает. Смотри, Андрей Иваныч, не опростоволопись как-нибудь, чего доброго, опять дашь зевка... Обрати также внимание и на цесаревну; сильно поговаривают, что она затевает что-то и частенько видится с маркизом Шетардием.

Расставшись со своим верным и ревностным соглядатаем, Остерман принялся копошиться в лежавших перед ним на столе бумагах. Он думал о том, как бы придать некоторым из них чрезвычайную, неотложную важность и, ссылаясь на

необходимость спешного к ним доклада, явиться невзначай к правительнице под этим предлогом. Остерману не трудно было сделать это, так как он умел отлично вздуть значение каждого дела теми туманными и велеречивыми фразами, которые, в случае надобности, пускал в ход. Недаром же отзывался о нём один живший в Петербурге иностранный дипломат, что с ним можно было беседовать по какому угодно делу два битых часа сряду и всё-таки не узнать, что по поводу его хотел высказать Остерман. Перечитав несколько бумаг и потеряв несколько раз нахмуренный лоб, министр приказал заложить карету, и спустя немного времени он был привезён ко дворцу, а затем и принесён в креслах в кабинет правительницы.

– Ах, Андрей Иваныч, ты опять с бумагами!.. – проговорила с недовольным видом правительница, входя в кабинет и держа в руках детское платьице. – Тебя-то я, впрочем, всегда очень рада видеть, а бумаги твои мне порядком надоели. Вот, посмотри, какое красивое платьице я шью моему Иванушке. Маркиз Шетарди не довольствуется переговорами со мной и непременно требует торжественной аудиенции у самого императора; приходится уступить ему. Вот забавная-то будет аудиенция! Послушаем, как они разговариваются... Ох уж мне эти придворные этикетки да государственные дела... скоро ли дождусь я того времени, когда вырастет мой сынишка и сам начнёт править царством, а я буду жить как хочу⁹¹.

⁹¹ Подлинные слова Анны. (Примечание автора).

– Но, ваше императорское высочество, – заметил почти-тельно Остерман, – при настоящих оказиях вам необходимо надлежит постановить некоторые резолюции.

– Хорошо, хорошо, только ты, Андрей Иваныч, посмотри прежде это платьице. Иванушка явится в нём на аудиенцию. Не правда ли, как оно хорошо? Вот здесь обошьётся оборочкой, а тут пойдут кружевные прошивки, на этом месте будет бантик, – говорила правительница, поднося своё шитьё к лицу Остермана, который поневоле должен был разделять удовольствие молодой матери, так заботливо думавшей о наряде своего малютки.

– Притом, ваше императорское высочество, насчёт цесаревны, – начал министр, отделавшийся наконец от неподходящего к его обязанностям занятия.

– Опять, Андрей Иваныч, ты с Лизой, да что она тебе делает? – с выражением упрёка возразила правительница.

– Мне её высочество ничего дурного не делает, а высочайшей вашей фамилии, вам, высокоповелительная государыня, и всему российскому отечеству цесаревна намеревается учинить злокозненные факции...

– Ты да мой муж всегда пристаёте ко мне, чтобы я или выдала её насильно замуж, или посадила бы её поскорее в монастырь, но я ни того, ни другого не сделаю. Оставь Лизу в покое. Я на этих днях была у неё, всё объяснилось между нами, и мы теперь дружим по-прежнему. Так бы и всегда было, да на беду нас злые люди ссорить хотят. Говорю я это,

впрочем, не о тебе, Андрей Иванович, так как я знаю очень хорошо, что все твои советы идут от доброго сердца, – окончила ласковым голосом правительница.

– Позволю себе сказать, что каждое слово произношу я перед вашим императорским высочеством по душевной моей чистоте, по рабской моей преданности к высочайшей особе вашей, предоставляя затем действовать вам так, как сие благоугодно будет соизволить...

Проговорив это, Остерман принялся вынимать бумаги из своего портфеля, внушавшего правительнице своим объёмом опасение, что в нём слишком много запаса для доклада и объяснений.

Доклад, однако, кончился скоро. Правительница слушала рассеянно объяснения своего министра: она в это время шила сыну платье, и иголка быстро двигалась в её руке, и несколько раз Анна Леопольдовна, не обращая внимания на сановного докладчика, раскладывала перед ним свою работу на его бумаги и расправляла её на них, чтобы посмотреть, верно ли она ведёт к прошивке строчку. Такое невнимание сильно смущало Остермана. Но так как правительница подписала все доклады безоговорочно, не сделав никаких возражений и замечаний, то Остерман успокоился, убедившись, что кредит его не поколебался нисколько.

– Кажется, что дела наши с иностранными кабинетами устроились как нельзя лучше, – сказала с довольным видом правительница по окончании доклада.

– В сём случае особую пользительность для российско-го отечества оказывает наш альянс с венским кабинетом, заключённный по великодушнй мысли вашего императорско-го высочества, – льстиво подхватил Остерман.

– А не правда ли, – с живостью спросила правительница, – что мы этим альянсом обязаны графу Линару?

– Сие безусловно утверждать не могу. Наперёд этого совершение оногй альянса произошло по премудрости вашего императорскогй высочества; граф Линар точно что оказал в сём случае превеликий сикурс, да и вообще надлежит признать, что его сиятельство – персйна крайне полезная для поддержания российских интересов и различных наших авантажей при иностранных дворах. Сожалеть можно только о том, что мы во всякую пору можем лишиться его содействия, – проговорил с опечаленным видом Остерман.

– Это каким образом? – встрепенувшись, спросила правительница.

– Граф Линар не состоит в российской службе, и посему польско-саксонский кабинет во всякую пору может отозвать его из Петербурга, да и он, как персйна здесь всем чуждая и ничем не привязанная, может сам пожелать удалиться отсюда.

– Мне было бы крайне жаль, если бы это случилось, – со смущением заговорила правительница, – я только что начала привыкать к нему, полюбила толковать с ним о делах, конечно, для того только, чтобы всё мной от него слышанное

передать потом на твоё рассмотрение, так как ты, Андрей Иванович, очень хорошо знаешь, что я, не посоветовавшись с тобой, никогда ничего не делаю.

При этих милостивых словах Остерман умилился, и слёзы признательности, конечно, притворные, выступили на его глазах. Правительница заметила это и взглядом, полным ласки, посмотрела на него.

– Вообрази, Андрей Иванович, – начала она, – мне никогда не приходило в голову, что граф Линар может уехать от нас. Мне казалось, что он останется у нас вечно... – и дрожащий голос, с которым сказаны были последние слова, выдавал грустную мысль, мелькнувшую теперь в голове молодой женщины. – Ты сам говоришь, что он нам так полезен по государственным делам, да и по правде скажу тебе, как моему старому другу, что мне без него будет очень скучно... Ты человек находчивый и умный, посоветуй же, как бы устроить, чтобы Линар никогда не уехал от нас...

– Женить его здесь, – брякнул решительным тоном министр.

Правительница вспыхнула: она почувствовала, что вся кровь бросилась ей в лицо, ударила в виски, и точно множество самых тонких игл закололо ей глаза, к которым подступили жгучие слёзы.

– Ах, как здесь сегодня жарко!.. – тихо проговорила она, обмахивая и закрывая платком зардевшееся румянцем лицо.

– Очень жарко, ваше высочество... Я чуть было не за-

дохся от жары, только не дерзнул заметить сего перед вами, – проговорил Остерман, только что перед тем думавший о том, что в кабинете правительницы слишком свежо, и опасавшийся, чтобы вследствие этого не схватить простуды. – Вы, ваше императорское высочество, слишком ещё молоды, вас греет кровь. Вот нам, старикам, так тепло идёт в пользу, а особе вашего юного возраста оно может быть вредоносно, от сего кровяные приливы случаются...

– Вот и я теперь что-то нехорошо себя почувствовала... Посмотри, как я вдруг вся покраснелась, – добавила она, показывая Остерману на свои щёки, горевшие ярким румянцем.

Выведа таким образом правительницу из сильного смущения, Остерман продолжал:

– Блаженной и вечно достойной памяти дед вашего императорского высочества, император Пётр Алексеевич меня таким образом навеки в «российском отечестве» устроил. Возвысив и облагодетельствовав меня своими высочайшими щедротами, он однажды соизволил сказать мне: «Пора тебе, Андрей Иваныч, перестать быть немцем; ты теперь здесь, у меня, всё имеешь: и чины, и почёт, и богатство, и доверие моё полное успел заслужить, не вздумай только улизнуть от меня; а чтобы у тебя и в мыслях сего не было, так я женю тебя здесь», и затем соблагОВОлил сосватать мне настоящую мою супругу Марфу Ивановну из славного рода бояр Стрешневых. После сего я, конечно, отселе никуда и ни за

что не уеду. – Проговорив это, Остерман, однако, сильно поморщился при невольном воспоминании обо всём, что доставалось ему от злой и привередливой Марфы Ивановны.

Неожиданное предположение, высказанное Остерманом, сильно взволновало правительницу. Остерман смекнул, однако, что он не совсем напрасно похитил мысль баронессы о женитьбе Линара, но только жалел, что поверил словам её, будто эта женитьба будет приятна правительнице. Впрочем, такая частная ошибка не особенно смущала его ввиду того, что правительница не выразила прямо несогласия на брак, не стала противоречить этому предположению, но только сперва встревожилась, а потом глубоко призадумалась, но и то и другое было вполне естественно при таком щекотливом для неё вопросе. Опустившись в кресла и слушая рассказ о женитьбе Остермана, она видела в этом рассказе разницу, не применяемую к настоящему делу. Её поразила мысль, что Линар может любить другую женщину, что он сделается привязанным, преданным другом своей жены, которая станет господствовать над его сердцем. Но Анна Леопольдовна как будто опомнилась и, пересиливая волнение, равнодушно и даже как будто шутя спросила своего собеседника:

– А на ком же мы женим графа Линара?

– На баронессе Юлиане фон Менгден, – отвечал Остерман.

Анна Леопольдовна вздрогнула.

В это время дверь кабинета растворилась и в неё, словно

птичка, впорхнула Юлиана. Она сделала наскоро реверанс Остерману и кинулась, чтобы поздороваться с правительницей и поцеловать её. Но Анна встретила теперь свою подругу гневным взглядом: она увидела в молодой девушке свою соперницу. Не привыкшая к такой встрече пригожая смуглянка остановилась в недоумении точно вкопанная.

– Оставь меня на некоторое время с графом, – холодно проговорила ей правительница, и Юлиане не оставалось ничего более, как исполнить немедленно полученное ею приказание.

XXVIII

Закрывая лицо платком и громко рыдая, вернулась Юлиана в свою уборную, отделённую лишь несколькими комнатами от кабинета правительницы.

– Что? что такое случилось с вами? – с удивлением и с участием спрашивала Юлиану бывшая у неё в это время в гостях баронесса Шенберг.

Юлиана, отняв от глаз платок, стоя посреди комнаты, печально взглянула на гостью. Хорошенькая девушка, за несколько минут весёлая и живая, теперь нервно вздрагивала. Она в своём разноцветном наряде, с понуренною головкой и с опущенными вниз руками походила теперь на пёструю бабочку, которая с надломленными крылышками бьётся и трепещет на одном месте, чувствуя, что у неё нет уже прежней силы для быстрого и игривого полёта.

– Что же случилось?.. Скажите, Бога ради... – приставала баронесса.

– Она меня оскорбила, она прогнала меня от себя... – проговорила прерывистым голосом Юлиана. Слезы стали душить её, она задыхалась и, чувствуя необходимость вздохнуть свободнее, судорожно отдёргивала рукой от груди корсет, стеснявший её дыхание; баронесса старалась удержать и успокоить её, говоря:

– Разве вы успели уже рассказать ей то, о чём я беседовала

с вами сейчас? Но ведь я с вами болтала об этом только в виде пустого предположения, не более как в шутку?..

– Нет, я не успела сказать, но сказала бы непременно всё, у меня нет от неё никаких тайн... я так люблю её... я люблю её до безумия, – проговорила Юлиана, хватаясь руками за голову.

– Какая сентиментальность! – процедила сквозь зубы в сторону баронесса так тихо, что Юлиана не могла расслышать, и затем, обратившись прямо к ней, начала:

– Да ведь её высочество точно тем же платит вам. Послушайте только, что говорят в городе. Кому неизвестно, что вы можете сделать у правительницы всё, что захотите, стоит вам только сказать одно слово, и правительница...

– Не нужно мне ни власти, ни влияния, – вскрикнула Юлиана, затопав ножками в припадке сильного раздражения. – Высокое её положение только тяготит меня, потому что она каждую минуту из дорогой для меня подруги может превратиться в надменную повелительницу...

– Успокойтесь, всё объяснится... вы – девушка и должны, конечно, знать неровность нашего женского характера. Правительница, наверно, была чем-нибудь огорчена или рассержена, надобно быть снисходительной к её исключительному положению, у неё, наверно, есть такие заботы и тревоги, о которых мы с вами, обыкновенные женщины, не имеем даже никакого понятия. Не забывайте, что она на каждом шагу встречает затруднения и неудовольствия, что она правит

империей, – внушала баронесса Юлиане, обнимая и целуя её в голову.

– Мне всё равно, чем бы она ни была, чем бы она ни правила!.. Зачем она за мою беспредельную к ней привязанность, за мою безграничную к ней доверенность отвечает мне холодностью и даже презрением? Какой важный вид!.. Какой строгий голос!.. Какое повелительное движение руки... – сердито и насмешливо ворчала молодая девушка, припоминая свою суровую высылку из кабинета правительницы.

– Поверьте мне, дорогая Юлиана, что вам всё это показалось... Вы привыкли к тому, сказать между нами, что иногда и сами покрикиваете на правительницу, а теперь, когда она – я в том уверена, – не думая вовсе оскорбить вас, выразила только перед вами своё раздражение неприятным для вас образом, вы уже видите в этом какое-то непростительное с её стороны оскорбление. Быть может, она, против воли, должна была даже поступить так, только для поддержания своего достоинства, чтобы не обнаружить той дружеской близости, какая существует между нею и вами. Когда вы вошли в кабинет, у неё был кто-нибудь?

– Остерман, – отрывисто проговорила Юлиана.

– Понимаю теперь, что это значит, – подумала баронесса, – верно, эта старая лисица или сообщила правительнице моё предложение, или сделала какой-нибудь намёк и, конечно, даже этого последнего было достаточно, чтобы возбудить в Анне ревность, а ревность такое чувство, которое в жен-

щине, особенно при первом порыве, всегда берёт верх над другими чувствами. Ох уж эти мужчины! Ни за что, право, не умеют взяться как следует. Этот безногий, как видно, в сваты пустился наперегонки со мной, да не очень ему это удастся.

– Вы не слышали, о чём разговаривали Остерман и правительница? – пытливо спросила баронесса после некоторого молчания.

– Нет, когда я вошла в кабинет, оба они нарочно замолчали.

– А когда вы подходили к дверям, вы ничего не подслушали?

– Я не имею, госпожа Шенберг, этой привычки, – с негодованием перебила Юлиана, – да если бы она и была у меня, то в отношении к Анне оказывалась бы совершенно излишней, потому что она решительно ничего не скрывает от меня.

– Вы видите, однако, теперь на деле, что ошибаетесь в таком предположении... Кроме того, если при вашем появлении он и она замолчали, то вы имеете достаточный повод думать, что у них речь шла именно о вас... Как вы ещё молоды, как вы ещё неопытны, даже в самых простых вещах!.. Погодите, я проберусь потихоньку и подслушаю, о чём у них идёт дело, – сказала баронесса, направляясь на цыпочках к кабинету правительницы.

– Что вы хотите делать? Разве это можно? – с удивлением и гневом вскрикнула Юлиана, удерживая любопытную бары-

ню за широкую юбку её робы.

– Если вы будете так щепетильны, мой друг, – хладнокровно, а вместе с тем и внушительно заметила баронесса, – то вы вечно будете обмануты, преданы и проданы. Разве следует поступать так в жизни вообще, а при дворе в особенности?

– По крайней мере я хочу поступать так, – резко ответила откровенная девушка. – Притом попытка ваша была бы совершенно напрасна: вы не много поняли бы, так как правительница и Остерман всегда говорят между собой по-русски, для неё это гораздо легче.

– Ну, тогда совсем иное, – проговорила баронесса. – Впрочем, я догадываюсь теперь, из-за чего вышло всё дело. То, о чём я говорила вам только в виде предположения, в виде шутки, то есть о возможности вашего брака с Линаром, Остерман, вероятно, представил её высочеству как вопрос серьёзный, решительный, примешав, конечно, к нему, по своей привычке, и разные государственные соображения. Надобно вам признаться, милая и добрая моя Юлиана, что я позволила себе немножко обмануть вас. Часа за два перед этим я была у графа по делу моего мужа, и он вдруг ни с того ни с сего начал мне делать намёки, чтобы я, как женщина довольно близкая к вам, замолвила с вами о вашем браке с Линаром.

– Так вы заговорили со мной об этом по внушению Остермана? – спросила удивлённая девушка.

– Да... Только, Бога ради, никому не говорите этого, я уже

и так много терплю за мою откровенность, за мою правдивость, и я думала, что всё это окончится только разговором между нами с глазу на глаз, и никак не ожидала, чтобы этот лукавый старикашка, так жаловавшийся на своё нездоровье и заявивший мне, что он сегодня не поедет во дворец, вдруг явился бы сюда и начал говорить с её высочеством о том, о чём он по секрету говорил предварительно со мной. Вероятно, у него для такого поспешного сообщения есть какие-нибудь важные побуждения. Я, впрочем, – добавила баронесса, – никогда не мешаюсь в подобные дела и только из любви к вам была в этом случае невольной посредницей.

Беззастенчивая Шенберг лгала перед молодой девушкой без удержу. Привыкшая к интригам и проискам, она рассчитывала на то, что между нею и Остерманом не будет произведено очных ставок, что поэтому всегда, так или иначе, можно будет вывернуться из неприятного положения, ссылаясь на то, что её или его не так поняли, что не точно передали её слова и что, наконец, в случае крайности, просто-напросто можно отказаться от слов, сказанных наедине. Между тем, если бы сватовство пошло на лад, то она легко могла бы приписать себе честь почина, а встретившиеся при этом недоразумения и странности объяснить необходимостью повести всё дело так деликатно, как оно было поведено ею.

– Теперь я понимаю, отчего на меня как рассердилась Анна, – сказала Юлиана. – Если Остерман действительно заговорил с ней о возможности моего брака с Линаром, то она

могла подумать, что я выбрала его в свои посредники и, разумеется, обиделась тем, что я прямо не обратилась к ней с этим. Она теперь может думать обо мне Бог знает что... – Но при этих словах в голове девушки вдруг мелькнула мысль, что Анна видит в ней свою тайную соперницу по отношению к Линару и что она была поэтому права, встретив её так неприязненно.

– Бог мне свидетель, что я несколько не влюблена в Линара, что я вовсе не занята им!.. – вскрикнула вдруг Юлиана, – я не могу долее выдержать, сейчас же пойду к ней и расскажу всё.

Говоря это, Юлиана быстро вскочила с кресла, но тут уже баронесса в свою очередь стала удерживать её за юбку, внушая ей, что она напрасно так сильно волнуется, что неуместной горячностью и несвоевременной откровенностью можно испортить каждое дело, что лучше подождать немного, и тогда, наверно, всё объяснится, после чего обе подруги только посмеются между собой над неудачей старого непрошеного свата.

В то время, когда Шенберг уговаривала, убеждала и утешала молодую девушку, Анна продолжала беседовать с Остерманом, и речь шла у них о Линаре и Юлиане. Остерман очень ловко и тонко дал понять правительнице, что молве о Линаре, вследствие неприязненного о нём и в народе, и в войске говора, нужно положить конец, и что можно устроить такой брак, при котором Линар будет пользоваться полной

свободою, и в заключение намекнул, что в этом случае самой подходящей невестой может быть Юлиана, а самой пригодной посредницей – баронесса Шенберг, с которой, если угодно её высочеству, он и возьмётся переговорить по этому щекотливому вопросу, так как она очень дружна с графом Линаром. К этому Остерман добавил, что баронесса, как умная и ловкая женщина, сумеет повести это дело чрезвычайно искусно.

Под влиянием уговариваний со стороны Шенберг Юлиана успокоилась, и на её добром, откровенном личике блеснула, как солнышко после умчавшейся тучи, беззаботная улыбка. Она засмеялась и принялась усердно дуть в носовой платок и прикладывать его к покрасневшимся глазам, чтобы уничтожить следы недавних слёз. Баронесса воспользовалась этой переменой и завела с ней весёлую речь о своих приключениях в большом свете.

Между тем в соседней комнате слышались шаги правительницы, которая, увидя через полуотворённую дверь, что Юлиана не одна, стала вызывать её к себе рукой. Забыв горе, досаду и гнев, Юлиана бросилась к Анне, крепко охватила её около шеи и вдруг снова громко разрыдалась.

– О чём, дурочка, плачешь? – ласково сказала правительница. – Полно, перестань, стыдно...

– Ты меня от себя гонишь, а мне что же делать – неужели смеяться? – с укором возразила Юлиана.

– Я была взволнована, прости меня, что я так непривет-

ливо встретила тебя. Мне надобно было поговорить с Остерманом... – уступчиво сказала правительница.

– И я знаю, о чём ты говорила с ним!

– О чём же, например?..

– О моей свадьбе с Линаром, – шепнула на ухо Анне Юлиана.

Анна Леопольдовна пошатнулась и с удивлением взглянула на Юлиану.

– Я всё, всё тебе расскажу без утайки, – торопливо проговорила она, сжимая крепко руку девушки. – У тебя в гостях баронесса Шенберг? Попроси её ко мне.

Юлиана исполнила это приказание. С почтительными реверансами представилась баронесса правительнице.

– Я очень рада, – сказала она г-же Шенберг, – что встретила вас неожиданно у моей милой Юлианы. Я распорядилась, впрочем, ещё вчера о посылке к вам особых приглашений ко мне на обеды и на вечера. Надеюсь часто видеть вас у себя и прошу извинить меня за мою прежнюю забывчивость...

XXIX

В XVIII веке европейская дипломатия, не отставшая ещё и до сих пор от происков, интриг и таинственности, весьма усердно занималась соглядатайством или, проще сказать, шпионством за всем, что происходило при дворе и вообще в том государстве, куда она посылала своих искусных, изящных представителей. Подкуп лиц, управлявших государственными делами или имевших на них влияние, разделение этих лиц на враждебные партии, обманы, заведомо ложные обещания и приторная лесть были обычными орудиями дипломатов прежней школы, и для такого образа их действий Россия в половине прошлого столетия представляла едва ли не самую удобную местность. В ту пору иностранные послы, находившиеся в Петербурге, успевали влиять не только на внешнюю политику русского кабинета, но и на ход наших внутренних событий. Такой деятельностью отличался в особенности приехавший 15 декабря 1739 года в Петербург французский посланник, маркиз де ла Шетарди, молодой, ловкий, остроумный, лукавый, двуличный, обворожительный в обществе и умевший превосходно расставлять сети и устраивать западни сообразно расчётам версальского кабинета. Приехал маркиз на берега Невы с блистательной и роскошной обстановкой. Его сопровождала многочисленная свита, состоявшая из двенадцати кавалеров посольства, од-

ного секретаря, восьми духовных лиц и пятидесяти пажей. Кроме свиты при нём было шесть поваров, в числе которых один пользовался европейской известностью, а также множество камердинеров и ливрейных лакеев. Не забыл маркиз позаботиться и по части своего гардероба: платья, которые он вёз с собой, были самые великолепные, такие, каких ещё не видывали в Петербурге. Огромный багаж посла дополнялся сотней тысяч бутылок самых тонких французских вин, между ними было шестнадцать тысяч восемьсот бутылок шампанского. Отъезжая в Петербург с такой свитой и с такими запасами, маркиз, по его словам, хотел показать там, что значит Франция.

Отправка в Россию великолепного и многочисленного посольства возбудила разные толки и догадки в европейских газетах, так как настоящая его цель была известна только самому малому числу лиц, вполне посвящённых в тайны тогдашней французской политики. Между тем настоящей задачей Шетарди было удержать Россию от покровительства Австрии на случай войны с ней Пруссии и убедить петербургский кабинет сделать некоторые уступки Швеции – этой постоянной и искренней союзнице Франции. Вообще же ему поручено было сеять в России раздоры и беспокойства для того, чтобы отвлечь внимание петербургского кабинета от европейской политики. Для маркиза было теперь такое время, что оказывалось необходимым вести интриги в этом направлении. Под влиянием графа Линара правитель-

ница встала на сторону Австрии против Пруссии и не желала делать никаких уступок Швеции, следуя в этом случае и внушениям графа Остермана, который, как один из главных участников в подписании ништадтского трактата, дорожил неприкосновенностью этого договора. Видя, таким образом, безуспешность своих попыток у правительницы, маркиз обратился в противоположную сторону: он постарался сблизиться с цесаревной Елизаветой Петровной, считавшейся чрезвычайно приверженной к Франции, и затем сообщая с шведским посланником Нолькеном убеждал её уступить шведам – в случае осуществления её домогательств на русский престол – те из шведских областей, которые достались России при Петре Великом. Из депеш маркиза Шетарди видно, впрочем, что цесаревна, не отвергая помощи, которую ей для достижения её целей предлагала Швеция, уклонялась, однако, от выдачи какого-либо письменного обязательства в том смысле, что она уступит Швеции хотя бы малейшую часть из завоёванных отцом её земель. Маркиз, однако, не терял надежды добиться желаемого и потому деятельно интриговал в пользу Елизаветы и во вред правительнице, от которой, как он убедился окончательно, нельзя было ожидать ничего иного, кроме самого решительного и упорного отказа.

Необходимое, однако, в настоящем случае сближение Шетарди с цесаревной представлялось делом нелёгким.

«Поверите ли вы, – доносил он в Париж Людовику XV⁹², от 9 апреля 1740 года, – что стеснение в Петербурге развито до такой степени и иностранные министры, мои предшественники, так поддались ему, что никто из них не бывал у великих княжен? Воспользовавшись предлогом, которого я искал, а именно тем, что они были нездоровы, – я решился отправиться к ним с визитом, и эта попытка для всех оказалась новостью, обратившей на себя внимание, так что великие княжны, Елизавета и Анна, отдалили моё посещение для того, чтобы иметь время узнать насчёт этого мысли царицы. Когда же они меня принимали, то г-н Миних, брат фельдмаршала, находился у той и у другой, чтобы быть свидетелем всему происходившему. Это, – продолжает Шетарди, – вовсе не помешало мне выразить громко великим княжнам, так же, как и герцогине Курляндской, надежду, что они дозволят мне от времени до времени являться к ним свидетельствовать моё почтение, и я тем менее пропущу это, что заведённый до сих пор обычай не более как остаток рабства; подчиняться же ему с моей стороны было бы столько же неуместно, сколько важно изгнать такой предрассудок бережно и осторожно».

При представлении цесаревне маркиз Шетарди, несмотря на присутствие при этом, в лице гофмаршала Миниха, шпи-

⁹² Е. Карнович допускает ошибку. Французский посол в России не имел переписки с королём Франции. Дешеша направлялись кардиналу Флери и Ж.-Ж. Амело.

она, удалось высказать «тихо и кратко», что если он не мог выполнить прежде перед ней своего долга, то это произошло только от желания выполнить его как можно проще и естественнее. Она, как замечает Шетарди, поняла это, и так как над ней, добавляет он, преимущественно тяготеют стеснения, то она потом говорила, что была чрезвычайно тронута его вниманием.

Сближаясь с цесаревной, Шетарди кроме явных свиданий имел ещё с ней и тайные, а также вёл переговоры с цесаревной при посредстве состоявшего при ней хирурга Лестока и через жену придворного живописца Каравака⁹³. При одном из свиданий Елизавета заметила маркизу, что здоровье младенца-императора ненадёжно, что он легко может умереть и что тогда на некоторое время скроют его кончину для того, чтобы подготовить вступление на престол самой Анны Леопольдовны. Цесаревна прибавила, что ввиду этого она старается бывать как можно чаще во дворце, дабы знать в подробностях всё, что там делается, и в заключение просила маркиза обратить внимание на высказанное ему ею опасение. Следуя её внушению, маркиз заявил правительнице своё желание иметь у императора аудиенцию, но Анна Леопольдовна под разными предлогами старалась отклонить его от этого. Уклончивость правительницы ещё более усиливала настойчивость маркиза. Он продолжал требовать аудиенции у самого императора, на что ему отвечали: «Это невозмож-

⁹³ Известен как придворный портретист.

но, ребёнок будет кричать и может от того заболеть, и при- том в каком положении будет он во время аудиенции? Мам- ка подержит его на руках, он расплатется – тем всё дело и кончится». Упрямый дипломат не прекращал, однако, сво- их настояний, и ему, наконец, объявили, что желаемая им аудиенция будет дана, но вслед за тем сообщили, что пред- положение это состояться не может, так как у его величества прорезываются зубы. Оскорблённый этим Шетарди выразил своё неудовольствие тем, что перестал являться ко двору и в то же время продолжал посылать к Остерману ноты, в кото- рых объяснял ему, что представители его наихристианней- шего величества короля французского всегда имеют торже- ственные аудиенции непосредственно у царствующих особ, а не у заменяющих их лиц, несмотря на то, кто бы эти лица ни были. Переписку свою с Остерманом маркиз подкреплял ссылками и на Гуго Гроция и на Пуфендорфа⁹⁴, а также на обычаи, принятые в дипломатическом мире, присовокупляя ко всему этому философские воззрения на исключительное значение особы государя и на положение состоящих при нём представителей иностранных дворов. Особенно сильно под- дразнивало Шетарди то обстоятельство, что австрийский по- сланник, маркиз Ботта-ди-Адорно, пользовавшийся благо- склонностью правительницы, достаивался чести видеть ма-

⁹⁴ Гроций Гуго де (1583—1645), голландский юрист, сторонник теории есте- ственного права; Пуфендорф Самуэль (1632—1694) немецкий юрист, пред- ставитель естественно-правового учения в Германии XVII—XVIII вв.

лютку-императора, хотя и в частных аудиенциях, и потом не без хвастовства рассказывал об этом среди своих соотаврищей-дипломатов. Посол французского короля считал себя крайне обиженным этим; он заключал, что Австрия взяла при петербургском дворе перевес перед Францией, между тем как одной из главных его задач было ослабить здесь влияние венского кабинета. Маркиз волновался, выходил из себя, и теперь на неудовлетворение своего требования видеть императора он уже смотрел не только как на невозможность исполнить данное ему цесаревной поручение, но и как на чрезвычайно важный международный вопрос, от разрешения которого зависело поддержание или ослабление во всей Европе высокого мнения о достоинстве и чести Франции, представляемой маркизом при русском дворе.

После долгих препирательств настоятельные хлопоты Шетарди увенчались, наконец, желаемым успехом, так как ему решились показать императора.

Утром, в день, назначенный для торжественной аудиенции, собрались по повесткам в Зимний дворец придворные и высшие чины; туда же явился и маркиз со своей многочисленной и блестящей свитой. Он теперь торжествовал, свысока окидывая всех гордым взглядом победителя. В тронной зале был поставлен рундук, обитый сукном, а на нём стол, покрытый пунцовым бархатом с золотой бахромой и с такими же кистями. Против стола, установленного перед тронном, разместились в виде полукруга с одной стороны рус-

ские сановники и придворные кавалеры, а другая сторона, назначенная для посольской свиты, оставалась пока никем не занятой. На нижней ступени трона стояла в великолепном уборе с андреевской лентой через плечо правительница, а несколько поодаль от неё, по обеим сторонам трона, расположились придворные дамы. Вся эта группа блестела серебром, золотом, жемчугом и драгоценными камнями, белела кружевами, шумела бархатом и шуршала парчой и шёлком. Кормилицу, в богатом русском наряде, с младенцем-императором, положенным на подушку, покрытую золотой порфирой, одетым в платье, нарочно сшитое для этого случая его матерью, поставили у стола, прямо перед главным входом. Она заботливо успокаивала ребёнка, и среди глубокого молчания, водворившегося в зале, слышался только обычный и теперь самый тихий напев мамки: ши, ши, ши...

Когда всё было готово, на середину залы выступил пышно разодетый и величавый собой обер-гофмаршал, граф Левенвольд, с длинным золотым жезлом в руке и с бантом из кружев и разноцветных лент на левом плече. Поклонившись низко императору, преспокойно перебиравшему ручонками бусы, надетые на шее его мамки, Левенвольд отдал глубокий поклон правительнице и доложил её высочеству, что его превосходительство господин «маркиз де-ла-Шетардй», посланник его наихристианнейшего величества, короля Французского и Наваррского, желает иметь счастье представиться его величеству императору и самодержцу всерос-

сийскому.

Правительница приказала обер-гофмаршалу ввести маркиза в аудиенц-залу.

Двери широко растворились, и в зале показался сопровождаемый своей свитой посланник. Он поразил всех роскошью и изысканностью своего наряда. На нём было платье из серебряной ткани, расшитое золотом, он блестел бриллиантами и, словно щеголиха-женщина, тонул в тончайших кружевах своего белого жабо. С вычурной грациозностью, усвоенной на уроках знаменитейших парижских балетмейстеров того времени, выступал маркиз, легко вскидывая вперёд и затем вытягивая ноги, охваченные бело-серебристыми шёлковыми чулками, обутые в длинные тупоносые на высоких каблуках башмаки, с большими бриллиантовыми пряжками на бантах из белых лент. Сделав таких три шага, приведших в восторг наших модниц и модников, маркиз остановился и, прижимая к груди свою треуголку с золотым галуном, белым плюмажем и бриллиантовым аграфом, ловко проделал ногами что-то вроде антраша и затем почтительно поклонился императору.

Молодуха-кормилица, которой забыли внушить правила этикета, отвечала маркизу поклоном в пояс.

Сдержанный смех пробежал по залу. Левенвольд вспыхнул от досады и начал делать кормилице руками и глазами предостерегательные знаки, которые, однако, были поняты ею совершенно в ином смысле. Поэтому, чем ближе подхо-

дил маркиз, чем изящнее и почтительнее справлял он свои поклоны и чем плотнее прижимал к своей груди треуголку, тем ниже и ниже отвешивала ему в свою очередь поклоны простодушная молодуха, представлявшая теперь первенствующую особу в этой торжественной церемонии.

Остановившись в некотором расстоянии от императора, маркиз разразился потоком цветистого красноречия. Уверяя менее чем годовалого малютку-императора в неразрывной дружбе своего с лишком тридцатилетнего августейшего повелителя, он заявлял настойчиво, что «дружба» обоих великих монархов послужит ручательством за поддержание спокойствия в Европе и залогом благоденствия обоих могущественных, дружественных между собой народов. На напыщенную речь посла отвечал вице-канцлер граф Головкин, разумеется, в таком же смысле и с оттенками той же искренности и уверенности, какими отличалась речь маркиза.

После того правительница сошла со ступени трона и пригласила маркиза приблизиться к императору. Шетарди только и желал этого для того, чтобы, исполняя поручение Елизаветы, взглядеться попристальнее в личико ребёнка и заметить, нет ли на нём каких-нибудь особых примет. Но едва с этой затаённой целью посол близко нагнулся к императору, как малютка, протянув свои пухленькие и цепкие ручонки, выразил явное и твёрдое намерение сцапнуть представителя Франции за его великолепно взбитый парик. В сильном испуге щеголеватый маркиз сделал в сторону отчаянный пиру-

эт, сообразив сразу, какой всеобщий смех возбудила бы эта затея его величества, если бы она удалась, а малютка между тем, видя свою неудачу, разревелся на весь зал.

– Вас предваряли, господин маркиз, – улыбнувшись, сказала на правильном французском языке Анна Леопольдовна, – чем может кончиться аудиенция у этого маленького шулуна. Надеюсь, впрочем, что вы извините нас как за это, так и за другие, быть может, замеченные вами отступления от строгих правил этикета. У нас такая церемония происходит в первый раз. – Говоря это, правительница приняла от мамки плаксу и, взяв его рукой за обе щёчки, начала целовать со всей нежностью молодой матери.

Расшаркиваясь и раскланиваясь, маркиз рассыпался перед правительницей в самых утончённых любезностях и затем вышел из зала, горделиво неся голову, украшенную модным париком, который остался на месте благодаря только ловкой увёртливости своего владельца...

XXX

Ранней весной 1741 года на то место, где ныне находится Михайловский, или Инженерный замок, стали возить строительные материалы, и в городе заговорили о намерении правительницы, разобрав старый деревянный Летний дворец, выстроить новый. Дворец этот должен был находиться среди Летнего сада, который был тогда чрезвычайно обширен, занимая в длину всё пространство от Невы до Невского проспекта и в ширину от Мойки до Фонтанки. Он был разведён в 1711 году Петром Великим по нарисованному им самим плану. В то время Голландия славилась своим садоводством, и государь, вообще любивший эту деятельную страну, заимствовал от неё образец для устройства дворцового, а вместе с тем и общественного сада в своей новой столице.

Люди из партии цесаревны Елизаветы, зорко следившие за каждым шагом правительницы, не пропустили случая распространять неблагоприятную для Анны Леопольдовны молву и по поводу возводимой постройки. К новому Летнему дворцу примыкал дом Румянцева, в котором жил граф Линар, и обстоятельства этого было достаточно для возникновения догадки, что правительница желает быть как можно ближе к предмету своей страстной любви. Маркиз де ла Шетарди сообщал об этом, как о важном факте, в Париж, прибавляя, что во вновь строящемся Летнем дворце прави-

тельница желает проводить время свободно среди приятного уединения Он передавал также, что по её приказанию в так называвшийся тогда «третий» сад запрещено было входить кому бы то ни было, кроме фаворитки правительницы Юлианы Менгден и графа Линара. По рассказу маркиза, Елизавета Петровна захотела проверить эту молву, отправившись в «третий» сад, и гнев её не знал пределов, когда от приставленных ко входу в этот сад часовых она узнала, что отданный правительницей приказ распространяется и на её особу.

Около того же времени раздор молодой четы становился всё сильнее и сильнее. Юлиана забирала всё большую и большую власть над своей подругой-правительницей и, питая какую-то слепую ненависть к принцу Антону, старалась на каждом шагу выразить ему это чувство. Когда принц приходил к своей жене, Юлиана не пускала его к ней, и если его высочество начинал горячиться и доказывать свои супружеские права, то бойкая фрейлина, не входя с ним ни в какие рассуждения по этому щекотливому предмету, просто-напросто захлопывала дверь перед самым его носом, и принц вместо звонкого голоса молодой девушки слышал только, как щёлкал замок, проворно запираемый Юлианой. Растерянный и раздражённый муж оставался ни при чём перед запертой дверью; сперва он пытался толкнуть её, думая, что она уступит его усилиям, потом постукивал легонько пальцем, надеясь смирением смягчить Юлиану; после того заглядывал в замочную скважину, и, в конце концов, убежда-

сь, что все попытки будут напрасны, удалялся, раздосадованный в особенности тем, как сперва он догадывался, а потом уже и наверно знал, – что супруга его ведёт в это время приятную для неё беседу с его соперником графом Линаром. Дело доходило до того, что муж и жена не виделись теперь по целым неделям и не было никакой надежды на их сближение.

Однажды, во время прогулки генералиссимуса по Летнему саду, его захватил внезапно проливной дождь, и он, желая поскорее укрыться, направился ближайшей аллеей ко дворцу, рассчитывая пройти через «третий» сад. Ему, однако, не удалось сократить дорогу. Лишь только он подошёл к воротам этого сада, намереваясь пройти через них, как стоявшие здесь на карауле часовые, отдавшие ему при приближении подобающую воинскую почесть, скрестили перед ним штыки. Принц в изумлении остановился.

– Разве ты меня не знаешь? – спросил принц у часового.

– Как не знать, ваше императорское высочество! – бойко проговорил преображенец.

– Так отчего же ты меня не пропускаешь?

– Приказ от начальства вышел – не пропускать сюда вас, а больше ничего знать не можем.

– Что ж, вы меня так и не пропустите? – спросил часовых решительным голосом генералиссимус, полагая, что тут есть какое-нибудь недоразумение.

– Не пропустим, ваше императорское высочество, – про-

говорили оба они разом. – Приказ такой от начальства вышел...

– Молодцы вы, ребята, – сказал принц, желая дать иной оборот этому прискорбному для него случаю. – Службу вы хорошо знаете, исполняете как следует приказ вашего начальства. Так и надлежит по воинскому артикулу поступать... Скажу об этом вашему командиру.

– Рады стараться, ваше императорское высочество! – гаркнули преображенцы.

– Пропустим только тех, кого особ-статьёй пропускать велено, – добавил один из них, ободрённый похвалой принца и полагая заслужить ещё большую от него похвалу за точное знание обязанностей по караулу.

Такая добавка окончательно смутила принца, и он вне себя круто повернул в сторону.

Через несколько дней после этого принцу удалось не только попасть в комнату своей супруги, но и получить от неё приглашение к обеду. После обеда он завёл речь о случае, бывшем с ним в Летнем саду во время прогулки. Хотя принц заявил об этом под видом желания похвалить дисциплину, господствующую в войске, но тем не менее он имел надежду, что не разъяснится ли как-нибудь такой странный запрет, не обнаруживая, впрочем, что его интересует именно эта сторона дела. При самом начале этого рассказа принца гневный огонёк блеснул в глазах молодой женщины.

– Я сама отдала такой приказ, – сказала она, – при моих

постоянных трудах мне необходимы отдых и совершенное уединение. Я желаю пользоваться и тем, и другим и, кажется, имею на то полное право?

При этих словах принц, сдерживая охватившее его волнение, только откашлялся.

– Кажется, вы, ваше высочество, со мной несогласны? – продолжала Анна Леопольдовна и в её вопросе слышалось желание вызвать принца на противоречие.

Он, однако, промолчал и на этот раз.

– Те люди, которые привыкли никогда ничего не делать, – сказала правительница, обращаясь к сидевшей подле неё Юлиане, – не имеют никакого понятия об усталости: для них беспрестанно бывает отдых...

– Я не могу принять это замечание на свой счёт, – задыхаясь, в сильном раздражении заговорил принц. – По повелению вашего высочества я имею немало занятий и в войске, и в сенате, и в военной коллегии, и я полагаю...

– А! Так вы тяготитесь вашей службой! – с живостью перебила правительница таким тоном, который не допускал со стороны принца никаких возражений. – Я очень рада, что, наконец, узнала об этом; завтра же я поступлю так, как поступил с вами герцог Курляндский, я уволю вас вовсе от службы... на ваших местах будут люди, которые станут служить императору с большим усердием, нежели вы...

Принц побледнел и нервно затрясся.

Видя, что Анна Леопольдовна одна на один отлично спра-

вится с мужем, Юлиана встала и пошла на террасу, выходящую в сад. Там начала она делать рукой предупредительные знаки, удерживая ими Линара, который из потайной калитки, выходящей во двор занимаемого им дома, пробирался теперь к Анне Леопольдовне.

Принц, озадаченный угрозой жены, молчал, а между тем молчание его выводило Анну Леопольдовну из терпения. Ясно было, что она хотела с ним ссориться.

– Вы, вероятно, не расслышали, что я сказала вам? Или, быть может, вы полагаете, что я говорю в шутку... – сказала она, обращаясь к мужу.

Принц взялся за шляпу.

– Оставайтесь, мне нужно поговорить с вами, – повелительным голосом сказала правительница.

– Я сам желал бы доложить вам... – пробормотал принц.

– О чём?..

– О цесаревне Елизавете... она...

– Как вам не стыдно, принц! – с резким укором вскрикнула правительница, – выбрать для себя такого рода унижительное занятие – сплетничать и ссорить между собой двух женщин... Это вовсе не дело генералиссимуса... – добавила она, как будто усовещивая мужа.

– Я не вижу в этом никаких сплетен и, докладывая вам о замыслах цесаревны, полагаю, что исполняю этим мои обязанности, – робко пробормотал принц.

– Раз навсегда прошу ваше высочество не вмешиваться в

мои дела. В этом отношении, как вы должны были бы помнить, вам однажды был дан хороший урок герцогом Курляндским... Я, впрочем, сумею устроить дело так, что все интриги и происки, с чьей бы стороны они ни велись, будут совершенно напрасны...

Принц, не говоря ничего, пожал от удивления плечами и, поклонившись жене, вышел из комнаты. Юлиана заметила его уход.

– Теперь можете, граф, идти к нам, – весело кричала с террасы молодая девушка, махая платком. – Мориц сюда идёт! – предварила она через двери свою подругу.

Гнев Анны Леопольдовны мгновенно прошёл.

– Что за охота ему, – думала она о своём муже, – мешаться в мои дела, ведь я предоставила ему полную свободу; пусть же он оставит меня в покое, а то всякий раз рассердит и раздражит меня, а потом мне становится досадно, что я погорячилась с ним... Жаль мне его, но что делать, если мы не можем сжиться друг с другом?.. Не моя в том вина, я никогда не хотела идти за него замуж...

Вошёл Линар. На этот раз с ним шла у правительницы долгая и серьёзная беседа, а после этого она потребовала к себе вице-канцлера графа Головкина, начавшего с некоторого времени пользоваться особенной её благосклонностью. Совещание с Головкиным было очень продолжительное, и он на другой день, по приказанию Анны Леопольдовны, привёз ей описание обрядов коронавания императриц Екатерины I

и Анны Иоанновны...

XXXI

Всё лето 1741 года правительница провела в столице в новом Летнем дворце, не уезжая на некоторое время в Петергоф, чего не бывало прежде при императрице Анне Ивановне. Ежедневным и постоянным её собеседником был граф Линар. До какой степени ни считали бы Анну Леопольдовну виновной в неверности мужу, нельзя, однако, не сказать, что выбор ею Линара показывал не столько её ветреность, сколько готовность любить постоянно и быть страстно привязанной к тому, кого однажды избрало бы её сердце, но не того, кто был дан ей в спутники жизни против её воли. Выходя замуж за принца Антона, молодая девушка не скрывала отращения, какое она чувствовала к своему жениху, и в этом отношении она оставалась верна самой себе и после брака. С своей стороны, принц не умел приобрести над ней никакого влияния, и она, достигнув независимости, променяла его на Линара – на человека совершенно иного склада, нежели принц. Линар хотя и был замечательный красавец, но сравнительно с Анной оказывался довольно пожилым мужчиной, будучи шестнадцатью годами старше её. Несомненно, что независимо от сердечной страсти правительницу привлекали к нему те блестящие качества, каких она не находила в своём супруге. Её пленял живой и смелый ум Линара; ей нравились его твёрдый характер, его обширное и разностороннее

образование; её поражали новизна и смелость его суждений, основанных на пронизательности и наблюдательности, так что и помимо грешной любви она, сойдясь с ним однажды, должна была бы попасть под неотразимое влияние его умственной силы. Но эти-то качества Линара и возбуждали всего более опасений и неприязни к нему в лицах, окружавших великую княгиню. Если бы вместо Линара был близок к ней какой-нибудь молодой вертопрах, красавчик собою, увлечший правительницу только пылкой мимолётной страстью, то любовь к нему Анны, вызывая в обществе легко прощаемое осуждение, не возбуждала бы такого всеобщего неудовольствия, какое вызвала близость её к Линару. Все заговорили теперь, что здесь уже не та любовь, которая, остывая постепенно, переходит в холодность и затем вскоре кончается совершенным равнодушием к тому, кто был прежде предметом самой восторженной страсти. Ясно было, что давнишняя любовь Анны к Линару обратится в постоянную привязанность, что при такой привязанности правительница будет находиться в полной власти своего любимца, который, оттеснив мало-помалу от неё всех, станет под её именем править государством по своему произволу. Все догадывались насчёт такого исхода взаимных отношений между Анной и Линаром, и потому слышавшийся прежде только глухой ропот по поводу сближения с ним правительницы раздавался всё громче и громче по мере того, как привязанность к Линару правительницы усиливалась заметнее. Теперь имя Ли-

нара делалось ненавистно, не как мужчины, господствующего над сердцем молодой женщины, но как временщика, готовящегося захватить всю власть в свои смелые руки.

– Видно, опять нами будет распоряжаться непрощеный немец, – заговорили в войске.

– Видно, опять на наш счёт будет разживаться выскочка-иноземец, – твердили недовольные. И такие речи находили всюду отголосок, возбуждая общее неудовольствие против правительницы.

Сторонники цесаревны Елизаветы не упускали случая подбивать всех, кого только было можно, против Линара, очень хорошо понимая, что враждебные к нему чувства русских неминуемо должны будут отражаться и на Анне Леопольдовне. Между тем тайная канцелярия не действовала уже с прежней строгостью и чуткостью, так как шпионство и крутые меры были не по душе доброй Анне Леопольдовне.

Сама правительница, беспечная и неосмотрительная, поступала так, как будто она не только не желала прекратить враждебные о ней толки, но как будто нарочно хотела ещё более усилить их. Народ, впрочем, не был нисколько ожесточён и раздражён против неё лично, но она, не показываясь никогда среди него, вселяла тем самым к себе полное равнодушие, тогда как, наоборот, соперница её, Елизавета, делала всё, чтобы приобрести доброе к себе расположение среди простонародья. В то же время и гвардия, за исключением немногих горячих приверженцев правительницы, не вы-

казывала к ней особенной преданности, явно выражая это чувство Елизавете, расщедрявшейся к солдатам выше своих средств.

Анна Леопольдовна не заботилась нисколько о том, чтобы скрывать свои отношения к Линару. Разлад её с мужем был известен всем; рассказы о таинственном назначении «третьего» сада распространялись по всему городу. Обнаруживались и другие соблазнительные поступки молодой женщины, несомненно умной и от природы не склонной к разврату...

Рассказы обо всём этом быстро, а вдобавок с разными преувеличениями и прикрасами, переходили от одного к другому, и прежняя молва об Анне Леопольдовне, как о женщине стыдливой и скромной, заменилась совсем иным говором.

– Как ни тяжело было при Анне Ивановне, из-за проклятого Бирона, – толковали теперь русские, – но всё-таки не было того, что делается ныне: разве мы можем знать, чьим детям впоследствии будем служить мы, если не станет нынешнего государя?..

В этих немногих словах произносилось ужасное осуждение над правительницей. Видно было, что русские легче мирились с суровым гнётом, господствовавшим в царствие Анны Ивановны, нежели с супружеской неверностью её племянницы, правление которой было кротко и милостиво.

Между тем, несмотря на своё ничтожество, принц Антон своей простотою и обходительностью начал приобретать в

войске расположение, и вот стала ходить глухая молва, будто Остерман, видя то опасное положение, в каком находится правительница, и не надеясь поддержать её власть, намеревается заменить Анну Леопольдовну принцем Антоном и даже провозгласить его императором, если только он, отрѣкшись от лютеранства, перейдёт в православие. Таким образом, шаткой власти Анны Леопольдовны начинала грозить ещё новая опасность со стороны хотя и самого близкого ей, по-видимому, человека, но в то же время настолько уже отчуждённого от неё ею же самой, что не было бы ничего удивительного, если бы он стал, наконец, в ряды её врагов.

Однажды во дворцовом карауле стоял капитан Семёновского полка, один из самых усердных приверженцев цесаревны Елизаветы и на которого по этому поводу падало сильное подозрение, так что он каждый день должен был ожидать преследования и допроса. Принц велел позвать его к себе. Капитан, хотя и храбрый воин, струсил, однако, при такой неожиданности.

– Что с тобой? – спросил принц капитана в присутствии других, – я слышал, что ты грустишь. Разве ты чем-нибудь недоволен?

Капитан отвечал принцу, что он имеет к тому уважительные причины и что он действительно впадает иногда в глубокое, невыносимое горе. Он рассказал при этом генералиссимусу, что у него на руках большая семья, которую он с трудом содержит, так как у него нет ничего, кроме маленького

имения около Москвы, от которого он не получает почти никаких выгод, потому что, находясь на службе в Петербурге, не имеет возможности хозяйничать сам.

– Я ваш полковник, – начал принц, выслушав горевавшего капитана, – и желаю, чтобы вы все были счастливы и сделались моими добрыми друзьями. Обращайтесь ко мне с полной доверенностью и будьте уверены, что я всегда буду поступать так, как поступаю теперь.

С этими словами принц подал изумлённому капитану кошелёк, в котором лежало триста червонцев, и просил его принять эти деньги как дружеский подарок от сослуживца сослуживцу.

Одобрительный говор о таком поступке принца не замедлил, разумеется, распространиться по всей гвардии, и молва о щедрости и ласковом обращении принца дошла в тот же день до сторонников цесаревны и до неё самой. И они, и она увидели теперь, что принц в отношении к гвардейцам начинает поступать так, чтобы отвлечь их от цесаревны, которая в свою очередь подумала, что принц может действовать таким образом не иначе, как только с согласия правительницы, и что при этом условии он будет иметь в своём распоряжении большие суммы, тогда как при постоянном безденежье Елизаветы ей невозможно будет тягаться в щедрости с супругом Анны Леопольдовны. Все приверженцы цесаревны заволновались, засуетились при мысли, что если дело пойдёт так далее, то шпаги и штыки гвардейцев легко могут оказаться на

стороне правительницы и оградить её власть от всяких злоумышленных покушений.

Но если принц начал действовать на гвардейцев или с расчётом приобрести их преданность в пользу правительницы, или только в личных своих видах, то сама она поступала по-прежнему, отдаляясь всё более и более от всяких непосредственных сношений с гвардией и в то же время, отвлекаемая постоянными беседами с Линаром, начала реже и небрежнее заниматься государственными делами, влияние на которые со стороны её любимца становилось всё сильнее, почему и заговорили, что вскоре всё будет зависеть от него одного, что всё будет делаться только по его желанию. Министры и царедворцы, ненавидя его в душе, спешили, однако, непрерывно раболепствовать перед ним и угождать ему на каждом шагу, так что Линар из посланника иностранной державы начал постепенно превращаться в будущего полномочного правителя империи. Любовь, привязанность и доверие молодой женщины открывали теперь этому чужеземцу широкую дорогу к безграничной власти над русским народом, и не было никакого сомнения, что Линар воспользуется благоприятными для него обстоятельствами с жадностью умного и смелого честолюбца.

Безгранично предавшись Линару, правительница, казалось, забывала обо всём, к чему обязывало исключительное, первенствующее положение её в государстве. В ней окончательно замерло стремление к власти, которую она, как тяжё-

лое для неё бремя, собиралась передать избраннику её сердца. Заботы о делах государственных утомляли её, и врождённая её беспечность проявлялась резко во всём, начиная с важных дел и кончая мелочами домашней жизни. Доклады министрам назначались всё реже и реже, разговоры с её ближайшими сотрудниками о политике и внутренних порядках в государстве не представляли для влюблённой женщины ничего занимательного. Её развлекало чтение Линаром вслух потрясающих немецких драм и сентиментальных романов; её занимали то весёлые, то серьёзные его беседы, и подолгу заслушивалась она его приятно затрагивавшего душу пения с аккомпанементом клавинорд.

Теперь для правительницы осуществилась та жизнь, о какой ей мечталось в то время, когда Миних предлагал ей корону, которую она торопливо отвергла, всегда, впрочем, готовая променять и блеск, и великие, и славу на любовь и на тихую, спокойную жизнь с тем, кто ей был мил и дорог.

Чуждаясь большого общества, Анна Леопольдовна ограничивалась небольшим избранным кружком, в который, нужно сказать это к чести молодой женщины, открывали доступ ум и образование. Пышные наряды, модную причёску, корсет и фижмы она считала для себя невыносимой пыткой. Обыкновенно она повязывала голову белым платочком и в самой простой домашней одежде являлась к обедне в придворную церковь, в публике и за обедом, возбуждая этим насмешливую болтовню придворных. После обеда она сяди-

лась играть в карты. Постоянными и любимыми её партнёрами были Линар, маркиз Ботта, английский посланник Финч и брат фельдмаршала Миниха. Прочие иностранные посланники, а также и придворные сановники никогда не допускались в эту партию (которая собиралась в комнатах Юлианы), исключение бывало, да и то редко, для принца Антона, если только он почему-либо успевал на короткое время заслужить особое расположение своей супруги. Такое исключение давалось ему в виде награды.

Так и проводила правительница время в эту пору, которая, казалось, была самыми счастливыми днями её жизни – теперь исполнилось то, о чём она прежде постоянно мечтала.

XXXII

В современных сказаниях об Анне Леопольдовне встречаются сведения, намекающие на причины, по которым она так страстно любила Линара, но в сказаниях этих не находится никаких объяснений той необыкновенной привязанности и той изумительной дружбы, какими отличались отношения правительницы к фрейлине Юлиане Менгден. В свою очередь молодая девушка платила Анне за её привязанность и дружбу слепой и безграничной преданностью и готова была для неё пожертвовать всем. Несмотря на разность их положения, Юлиана являлась, однако, личностью, как бы преобладающей над правительницей, и можно было сказать, что не фрейлина была в зависимости от своей повелительницы, а скорее наоборот. Юлиана, ровесница и подруга детских игр принцессы, была предметом самой нежной заботливости со стороны Анны, доверию которой к ней не было границ, и она по своему усмотрению распоряжалась образом жизни правительницы. Обе они сходились как нельзя более в главных чертах характера: обе они были вспыльчивы, но зато и добры, доверчивы, своенравны, впечатлительны и беспечны. Была, впрочем, между ними и резкая разница: Анна Леопольдовна была постоянно задумчива и печальна, тогда как Юлиана олицетворяла собой весёлость и резвость. Часто и подолгу в молчании и в грустном раздумье сживала Анна,

тогда как Юлиана щебетала без умолку, и звонкий её смех заглушал тяжёлые вздохи её подруги. Анна Леопольдовна была беспечна собственно под влиянием равнодушия, но её всё-таки смущали порой страшные предчувствия, её мучила неодолимая тоска, и без особых внешних побуждений у неё не проявлялось ни бодрости, ни решительности. Совсем иного рода была беспечность молодой девушки: жизнь ей казалась так легка и так хороша, что она не видела никакой надобности задумываться над чем-нибудь. Мало того, она готова была махнуть ручкой на всякую угрожавшую ей беду в полной надежде, что всё пройдёт благополучно и что всё дурное устроится как нельзя лучше. В тревожные для правительницы часы, когда Анна, преодолевая обычную свою беспечность, готова была встрепенуться, стряхнуть одолевавшую её лень и сделать решительный шаг, Юлиана отвлекала её от забот своей весёлой болтовнёй, внушая ей, что напрасно она волнуется и тревожится и что ей незачем портить по пустякам жизнь какими-то вымышленными, не существующими на самом деле горестями. Тогда правительница делалась ещё более беспечной, поддаваясь успокоительному влиянию своей подруги, к которой она, по словам английского резидента Финча, выказывала такую нежность, что в сравнении с этой нежностью показалось бы слишком слабым чувством самая пылкая страсть мужчины к женщине, в которую он только что влюбился до ослепления, до безумия.

Баронесса Юлиана фон Менгден, родившаяся 7 марта

1719 года, происходила из древней вестфальской фамилии, ещё в XIV столетии поселившейся в Лифляндии. Имена её воинственных предков очень часто мелькали в летописях тевтонского ордена, как имена мужественных бойцов не только с эстами и ливами, но и с русскими и поляками. Предки её беспрестанно участвовали в тех битвах, в которых закованные с головы до ног в железо немецкие латники топтали наши дружины; они участвовали и в тех боях, где и мы в свою очередь беспощадно мяли горделивых меченосцев. Но настали иные времена, и семья Юлианы была семьёй мирных лифляндских помещиков, не столько богатой наследственными замками, сколько представителями и представительницами своего старинного рода. Этих последних в той семье, к которой принадлежала Юлиана, было четыре, считая в том числе и её саму. Будущность этих подраставших милостивых немочек не предвещала ничего особенного: их ожидало супружество с каким-нибудь лифляндским дворянином, затем предстояла им тихая однообразная жизнь на уединённой мызе, вынянчивание производимых ими на свет Божий детей и постоянные мелочные заботы и хлопоты по деревенскому хозяйству. Сообразно с таким скромным предназначением родители этих девиц давали им не блестящее образование. Вышло, однако, иначе. В царствование Анны Ивановны немцы были в большом ходу при её дворе, и государыня чрезвычайно охотно принимала в число своих фрейлин «благоурождённых» лифляндских девиц. Многих

из них, желая обеспечить их будущность, привозили в Петербург ещё в детстве, и между такими привозными девочками была Юлиана со старшей сестрой Доротеей и с младшими сёстрами Якобиной, которую звала по-русски Биной, и Авророй. Доротея вышла замуж за графа Миниха, сына фельдмаршала, – того самого Миниха, который разделял с Анной Леопольдовной все ужасы ночного предприятия своего отца против регента. Надобно также заметить, что находившиеся при русском дворе немцы или ещё прежде были родственниками между собой, или же роднились посредством браков, составляя таким образом одну партию, твёрдо сплочённую или родством, или близким свойством.

При дружеских отношениях, какие существовали между правительницей и Юлианой, не могли, конечно, остаться тайной те разговоры, которые, как уже знаем, велись о браке Линара с молодой девушкой, первой из них с Остерманом, а другой – с баронессой Шенберг. Лишь только баронесса после той беседы, во время которой так сильно была встревожена Юлиана, вышла за двери, как Юлиана, забыв о неблаговидной привычке баронессы подслушивать, передала Анне с полным чистосердечием всю свою беседу с г-жой Шенберг. Оказалось, что при этом баронесса употребила следующий хитрый приём: высказав Юлиане, что она, Шенберг, полагается вполне на скромность молодой девушки, и заявив ей о том, что люди бывают болтливы некстати, баронесса передала фрейлине, будто бы частые посещения

Зимнего дворца Линаром объясняются в обществе тем, что он страстно влюблён в Юлиану, и затем, шутя, добавила:

– И в самом деле, отчего бы вам не пойти за него замуж? – Таким ловким вступлением баронесса не только ограждала честь правительницы от всякого нареkania, но и показывала вид, будто ей самой ничего не известно об отношениях Анны к Линару.

– Что же ты сказала ей на это? – порывисто спросила правительница.

– Я промолчала.

– Почему же?

Юлиана не отвечала на этот вопрос и только взглянула на Анну с такой улыбкой, которой она как будто хотела сказать: «Странно, что ты спрашиваешь меня об этом, ты сама очень хорошо знаешь, почему я промолчала».

– Линар нравится тебе? – тихо и пытливо проговорила правительница в сильном волнении.

– Нет! – коротко и твёрдо ответила Юлиана, – мне никогда не может нравиться тот мужчина, который любит уже другую, – добавила Юлиана, насупив тоненькие брови над тёмными глазами, прикрытыми длинными ресницами.

– И ты не вышла бы за него замуж? – задыхаясь, спросила Анна.

– Нет, не вышла бы.

– А если бы это было необходимо? – с какой-то таинственностью промолвила Анна.

– Необходимо? – перебила изумлённая девушка. – Для кого, однако, и почему это может быть необходимо?

– Например, хоть бы для меня...

– Для тебя? – с удивлением переспросила Юлиана, – ты, вероятно, так же шутишь теперь надо мной, как прежде шутила Шенберг. Должно быть, вы как-нибудь сговорились между собой, чтобы позабавиться на мой счёт, – добавила она, засмеявшись.

– Нет, я говорю тебе не шутя: мне нужно будет или расстаться с Линаром, или... или... Как ни уклончиво, как ни хитро толковал со мной Остерман, но я могла понять, что близость ко мне Линара возбуждает вообще неудовольствие среди русских и что такое неудовольствие может кончиться гибельно для нас, а расстаться с Линаром я не могу... не могу ни за что на свете! – вскрикнула правительница с каким-то отчаянием.

– Для тебя, Анна, я готова на всё... – прошептала Юлиана.

Правительница обняла Юлиану и крепко прижала её к себе.

– Но, – начала Анна, нерешительным, прерывающимся голосом, – при этом будет одно важное условие... Решишься ли ты, милая Юлиана, принять его?.. Ты... ты должна будешь, как бы сказать это... уступить Морица мне. – Видно было, что правительница выговорила эти последние слова, сделав невероятное усилие над собой. Она вся вспыхнула и, тяжело дыша, опустила вниз глаза в ожидании рокового от-

вета.

– Уступить тебе его? – с удивлением спросила Юлиана. – Значит, я не буду женой моего мужа?.. Он будет твоим лю... – Юлиана не договорила последнего слова и только слабым движением головы выразила своё несогласие...

– Но ведь ты его не любишь, ты не будешь ревновать его ко мне, а между тем ты навсегда устроишь этим моё спокойствие, моё счастье... Ты отнимешь у моих врагов повод говорить обо мне то, что говорят они теперь, а Мориц будет иметь возможность навсегда остаться в России.

– Какое, однако, странное будет супружество! – с горькой усмешкой заметила Юлиана. – Но, положим, что я, как ни тяжело, как ни ужасно будет это для меня, соглашусь на такое унижительное замужество, но согласится ли Мориц на подобный брак?..

– Он, наверно, согласится! – с живостью подхватила правительница, твёрдо уверенная, что Линар из любви к ней решится на всё.

– В таком случае я не стану тебе противоречить... Знай, Анна, что я буду любить тебя по-прежнему, ты ни в чём не виновата, ты ослеплена Морицем, но его я буду презирать и ненавидеть – он продаёт себя тебе...

Анна вздрогнула и с изумлением посмотрела на свою подругу.

– Ты, – продолжала Юлиана, – наделишь его богатством, ты осыплешь его почестями, а я, как законная его жена, бу-

ду разделять с ним все милости, оказанные ему тобой... Как это будет хорошо! – с нервным хохотом проговорила молодая девушка. – Но зато и я с моей стороны предложу ему одно условие: пусть он предоставит мне полную свободу... Я молода, как ты; я так же, как ты, могу любить, и, выйдя замуж за Линара, я без оглядки отдамся тому, кого полюблю, как ты полюбила Морица...

Юлиана громко зарыдала. Анна Леопольдовна совершенно растерялась, на глазах у неё выступили слёзы. Она с ужасом поняла, до какой степени она унизила преданную ей девушку таким предложением.

– Если ты не хочешь выйти замуж за Линара, то и не будем ни говорить, ни вспоминать об этом... Я сама не решилась бы даже и заговорить с тобой о подобной сделке, на это навёл меня Остерман... Ты знаешь, как я люблю тебя, и клянусь тебе, что я не хочу не только сделать тебя несчастной на всю жизнь, но не желаю даже быть причиной минутного твоего огорчения! Прости меня за то, что я неумышленно оскорбила тебя...

– Ты позволишь мне от себя переговорить с баронессой? – спросила Юлиана, утирая слёзы. – Она так близка с Линаром и, как ты знаешь, уже заговорила со мной об этом речь. Мы обе, как оказывается, здесь ровно ни при чём, за нас вздумали хлопотать другие.

Анна Леопольдовна призадумалась, как будто соображая что-то.

– Зачем говорить с баронессой... Забудем весь наш нынешний разговор... ты вольна поступать как хочешь... Впрочем, если находишь нужным, то поговори и с ней, – равнодушно после некоторого молчания добавила Анна. – Баронесса действительно близка с Линаром и, быть может... – Она как будто опомнилась, замолчала и, охватив рукой Юлиану за тоненькую талию, повела её на террасу.

Долго ещё беседовали между собой подружки, и разговор их мало-помалу становился спокойнее, и вот уже послышался обычный весёлый смех молодой девушки. Можно было предположить, что она и Анна так или иначе поладили между собой, или не касались более взволновавшего их вопроса, а вели обычную беседу.

В назначенный баронессой Шенберг срок она была в кабинете Остермана, который принял её чрезвычайно любезно, заявив ей прежде всего, что по его докладу правительница приказала прекратить начатое о бароне Шенберг дело, причём её высочеству угодно было добавить, что барон будет прилично вознаграждён за те неприятности, какие пришлось ему испытать совершенно безвинно.

– Уж вы благоволите простить меня, высокоуважаемая баронесса, – проговорил Остерман, – за то, что я не послушался вас и доложил её высочеству о вашем супруге. Минута вышла самая благоприятная, и не следовало упускать её, да и пора кончить это прискорбное дело...

– Напротив, я вам очень благодарна, милый граф. Вы все-

гда бываете так любезны и предусмотрительны, – и в знак благоволения баронесса протянула к губам Остермана для поцелуя свою руку. – Ну а что же скажете по делу Линара?..

– Нужно будет ваше содействие согласно воле правительницы... – пробормотал министр.

– Согласно воле правительницы?.. Какой вы, однако, негодный старый болтун, тотчас же поехали во дворец и разболтали... – прикрикнула баронесса.

– Но ведь её высочество приняла это предложение благосклонно. Правительница, как я мог заметить, находит, что мысль о браке Линара с девицей Менгден положит конец всем нынешним вздорным толкам.

– И вы, чего доброго, рассказали, что я надоумила вас на это? – с видом неудовольствия спросила баронесса, хотя в душе и желала услышать положительный ответ на этот вопрос, так как предположение о браке Линара было, по заявлению Остермана, принято правительницей.

– Конечно... конечно... – замямлил лгавший беззастенчиво Остерман. – С моей стороны было бы крайне недобросовестно присваивать себе то, что не принадлежит мне. Ну, а как поступили вы, баронесса? Упомянули ли обо мне Юлиане или нет?..

– Ни полслова!.. – с бессовестностью отрезала баронесса. – Так как предложение о браке с Линаром Юлиана приняла с сильным раздражением, то я находила недобросовестным примешивать вас к этому делу. Вы знаете, что я вовсе

не болтлива. Впрочем, вот что, если об этом станут говорить, то пропускайте, пожалуйста, мимо ушей, а то, чего доброго, нас захотят перессорить тогда именно, когда нам нужно действовать союзными силами. Я вам должна сказать, что я с графом Линаром чрезвычайно близка, он вполне откровенен со мной; и с какою любовью, с каким уважением он всегда отзывается о вас!.. Вы будете необходимым для него человеком, а он для вас – самой надёжной, самой дружной поддержкой. Положим, что теперь вы сильный, можно даже сказать, всемогущий министр, но прочно ли ваше положение?.. Вы, конечно, знаете, что здесь, в России, можно каждую минуту так... – и при этом баронесса сделала в воздухе быстрое движение рукой, показывая наглядно, как может кувырком полететь Остерман с занимаемого им теперь высокого места.

Министр сильно крикнул и сделал кислую гримасу.

– Ведь вам очень хорошо жилось при герцоге Курляндском? Не правда ли? Ну и теперь будет то же самое. Я должна признаться вам, что сватовство это я затеяла по мысли самого Линара. Сказать между нами, он очень верно понимает своё шаткое, ложное положение: его во всякое время могут отозвать из России, да и кроме того, против него начинается здесь сильный ропот; брак с Юлианой прекратит все толки. Притом, несмотря на те щедрости, которые ему уже оказала правительница, его денежные дела далеко не в блестящем положении: он всегда жил, да и теперь живёт слишком роскошно, гораздо выше своих скромных средств.

У него множество долгов... Понимаете?

Остерман, казалось, не столько слушал свою собеседницу, сколько соображал что-то, кивая лишь по временам головой в знак согласия.

– Положим, впрочем, что мы так или иначе сладим эту свадьбу, но как же мы пристроим Линара по службе? – спросила баронесса.

– Это легко будет сделать, – перебил Остерман, – теперь есть при дворе высокая, никем не занятая должность: правительница, если только ей это будет угодно, может назначить графа Линара обер-камергером.

– Ну и прекрасно! – вскрикнула баронесса. – Значит, он будет на той же должности, которую занимал герцог?..

– Да, – отрывисто ответил Остерман.

Затем, поговорив ещё о женихе и о невесте, баронесса сказала графу, что ей пора отправиться домой, так как к ней около этого времени должен был приехать Линар для окончательных переговоров.

XXXIII

Сидя за письменным столом в своём богато убранном кабинете, маркиз де ла Шетарди готовил для отправки в Париж депешу, в которой были между прочим следующие строки: «Впечатление, произведённое здесь милостями, оказываемыми графу Линару, было сильнее, чем я ожидал. В этом видят верный признак несомненной и ещё большей благосклонности; и трудно выразить досаду, с которой русские, вспоминая прошедшее, говорят, что они теперь находятся накануне того, чтобы опять подчиниться произволу фаворита. Даже женщины, которые здесь более, чем в других странах, приучены к сдержанности, и те не стесняются вовсе в своих речах». Эти строки, написанные наблюдательным дипломатом, показывают, до какой степени стали вредить правительнице её отношения к Линару, — отношения, которые представлялось необходимым если не прекратить вовсе, то, по крайней мере, прикрыть их. Остерман принялся хлопотать о последнем, склоняя Анну Леопольдовну, по мысли баронессы Шенберг, на брак Линара с Юлианой. Тем не менее он очень хорошо понимал, что такое средство может быть хорошо только отчасти и то лишь на короткое время, потому что тайная цель подготовленного брака так или иначе, но во всяком случае должна будет вскоре обнаружиться, и тогда послышится ещё больший ропот и почувствуется ещё

сильнейшее негодование. Остерман даже раскаивался в своём вмешательстве в эту затею, опасаясь, что браком Линара с Юлианой ещё более упрочится положение графа в России. Умный министр, одураченный бойкой женщиной и, по-видимому, доброхотствуя как нельзя более Линару и заискивая в нём для себя поддержки, подумывал, однако, и о том, не лучше ли будет воспользоваться предстоящей кратковременной отлучкой фаворита из Петербурга и устроить дело так, чтобы Линар сюда более не возвращался и чтобы правительница, погоревав некоторое время о дорогом для неё человеке, сошлась бы, наконец, с принцем Антоном, на которого Остерман имел такое сильное влияние и которому в душе сочувствовал гораздо более, нежели его супруге.

Пока министр, колебавшийся и в ту и в другую сторону, обдумывал и днём и ночью затруднительность настоящего положения, изыскивая более удачный для него исход, ловкая и пронырливая сваха успешно приводила к концу затеянное ею дело. Она стала теперь радушно принимаемой у правительницы гостьей. Муж её не только что был освобождён от всякой ответственности перед наряжённым над ним судом, но даже, к общему изумлению, получил александровскую ленту. Баронесса с каждым днём входила в большую милость у правительницы, и вскоре она была в гостинной Анны Леопольдовны как у себя дома, нисколько не стесняясь ни в своих разговорах, ни в обращении с кем бы то ни было. Очевидно было, что она сознавала важность услуги, оказан-

ной ей правительнице. Благодаря посредничеству баронессы все участвовавшие в этом деле лица были избавлены от тяжёлой необходимости объясняться непосредственно друг с другом в тех случаях, когда приходилось краснеть, заминаться и опускать глаза долу. Усердно работала г-жа Шенберг за всех, то приглашая Линара к себе, то приезжая к Юлиане, то являясь к Анне Леопольдовне. Она вела сватовство постепенно, но вместе с тем и чрезвычайно быстро, передавая безотлагательно кому следует возникавшие при этом щекотливые вопросы в ловко обдуманной ею форме и поступая точно так же с получаемыми на эти вопросы ответами. Она, по возможности, устраняла всякое личное вмешательство правительницы, которой в конце концов оставалось только поздравить будущую чету с предстоящим браком и пожелать ей счастливой супружеской жизни.

Вскоре женитьба Линара на Юлиане была решена окончательно. Постановлено было, что он отправится прежде свадьбы в Дрезден, чтобы испросить там от короля-курфюрста Августа II⁹⁵ увольнение из польско-саксонской службы для вступления в русскую; что по возвращении из Дрездена в Петербург он обвенчается с Юлианой, будет назначен обер-камергером и затем, поселившись на первое время после своего приезда в особом доме, переедет потом на жительство во дворец под тем предлогом, что правительница никак не мо-

⁹⁵ Август II (1670—1733), польский король с 1697 г., курфюрст Саксонии с 1694 г.

жет переносить разлуку с его женой, своей подругой, с которой она сжилась как с сестрой чуть ли не от самой колыбели. Каким образом уладила баронесса самый трудный вопрос об уступке Линара правительнице, это осталось неизвестным. Можно только догадываться, что, судя по безграничной привязанности к Анне Юлианы и по её доброму сердцу, невеста, убеждённая доводами баронессы, решилась и на такое самопожертвование. Быть может, впрочем, и то, что речь о такой уступке оставили пока в стороне, надеясь, что впоследствии всё устроится само собой, без всяких предварительных соглашений.

Об отказе Линару в его просьбе со стороны короля-курфюрста нечего было и думать, так как Августу II оставалось только радоваться, что при русском дворе получит полную силу такой преданный ему человек, такой ревностный оберегатель его интересов, каким постоянно оказывался Линар. Притом сам король-курфюрст был весьма деятелен и счастлив по части любовных походов, и потому брак Линара при настоящей романической обстановке, независимо от политических соображений, представлялся королю-волоките таким увлекательным событием, воспрепятствовать которому он счёл бы для себя страшным преступлением.

Предстоящий брак Линара с Юлианой не прошёл бесследно в депешах французского посланника.

«Чем более я думаю об этом браке, – писал Шетарди в Париж, – тем более я убеждаюсь, что он повлечёт за собой

много хлопот и вызовет много возмутительных сцен. Не говорю о великолепии, с которым отпразднуют свадьбу, так как я вполне уверен, что в этом случае не останутся ни перед какими расходами. Я преимущественно обращаю внимание на последствия, которые могут произойти, если смотреть на этот брак как на сигнал для столкновения двух противоположных партий». Главным представителем одной из этих партий маркиз считал принца Брауншвейгского, представителем другой – фельдмаршала Миниха, который был заклятым врагом принца и который теперь, – как думал Шетарди, – по родству своему с Менгденами, найдёт для себя самую сильную поддержку у правительницы. Очевидно, однако, что маркиз смотрел на дело иначе, нежели устроители брака, которые, напротив, рассчитывали, что женитьба Линара скорее всего должна будет успокоить раздражение принца, как рога носного супруга, потому что даст возможность совершенно другим образом, нежели прежде, объяснять известные всем посещения Линаром правительницы и достаточно убедить хоть кого угодно, что предметом его страсти была не Анна, а её хорошенькая и молоденькая фрейлина и что, следовательно, напрасно оскорбляли молодую женщину подозрениями насчёт того, в чём она несколько не была виновата.

Обручение Юлианы происходило с большой торжественностью. Как ни старалась молодая девушка казаться весёлой, но не будучи притворщицей по природе, она плохо умела

скрыть те чувства, которые волновали её.

– Вот вы так настоящая невеста, – громко и одобрительно говорила после обручения баронесса Шенберг Юлиане, в присутствии толпившихся около фрейлины гостей, – грустны настолько, насколько следует быть грустной невесте. Вы понимаете важность шага, который вы делаете, да и, кроме того, легко можно представить себе, как вас должна мучить мысль о предстоящей для вас разлуке с её императорским высочеством, правительницей, с которой вы привыкли быть неразлучно целый день, каждый час, всякую минуту... Такая ваша привязанность выше всякой похвалы...

Пересиливая себя, Юлиана улыбалась на эти слова беззастенчивой свахи, радуясь тому, что барон хоть сколько-нибудь охраняет её от казавшихся Юлиане насмешливыми взглядов, которые были направлены присутствующими на её всегда весёлое, а теперь печальное личико.

Правительница так щедро одарила свою обручённую с Линаром подругу, что щедрость эта дала ошибочный повод говорить, будто богатые подарки, а не преданность Юлианы правительнице, заставили молодую девушку заслонить собой и прошедшие и будущие грешки её страстно влюблённой покровительницы. Разумеется, что и Линар не был забыт при этом. Уезжая через два дня после обручения в Дрезден, он, кроме значительных капиталов, увозил с собой одних драгоценных камней более чем на тридцать тысяч тогдашних рублей. Дом, который правительница подарила Юлиане,

не, поражал всех великолепием отделки и необыкновенной роскошью мебелировки. Кроме того, к Юлиане перешла в огромном количестве, в виде приданого, золотая и серебряная посуда, конфискованная у бывшего герцога Курляндского. Сверх всех этих подарков Юлиане следовало ещё получить и обыкновенное фрейлинское приданое. Каждая из фрейлин, выходявшая замуж, получала его в ту пору от двора, не только деньгами, количество которых не было определительно назначено раз навсегда, но и ещё разными вещами. Невесте давались: парадная постель, кусок серебряного глазета на подвенечное платье, два куска дорогой шёлковой материи на другие платья и тысяча рублей на бельё и кружева. Свадебный обед и следовавший затем бал справлялись за счёт двора. За день до венчания гоф-курьер приглашал на свадьбу придворных дам и кавалеров, а также иностранных министров с их супругами и знатных обоего пола особ. К членам же царской фамилии ездил сам жених, прося их удостоить своим присутствием его бракосочетание. В назначенный день, в десять часов утра, собирались во дворце приглашённые на свадьбу гости. Невесту одевали к венцу в комнатах государыни, которая на этот раз давала ей свои собственные бриллианты. Женщина, считавшаяся самой счастливой в супружеской жизни, вдевала невесте серьги, обувал её неженатый брат или, если его не было, то ближайший из молодых родственников. Пока наряжали невесту, несколько особо назначенных лиц в придворных каретах, запряжённых

в шесть лошадей цугом, отправлялись в дом жениха и самый знатный из этих лиц привозил его с собой во дворец. По приезде жениха из покоев государыни выходила разодетая невеста.

Венчали фрейлин или в придворном Казанском соборе, или в дворцовой церкви. В первом случае свадебный поезд отличался особенной торжественностью. Впереди ехали придворные трубачи и литаврщики; за ними, в открытой коляске, гофмаршал с жезлом в руке, потом все приглашённые на свадьбу кавалеры по двое в каждой карете, запряжённой в шесть лошадей цугом, с кучерами, форейторами и лакеями в парадных придворных ливреях. За кавалерами ехал жених в сопровождении того, кто приезжал за ним, чтобы отвезти его во дворец. Затем следовали дамы, по две в каждой карете, а за ними в великолепной карете невеста. По окончании венчания поезд возвращался во дворец в том же порядке с той только разницей, что молодые ехали вместе в той карете, в которой прежде сидела одна невеста.

Если бракосочетание происходило в дворцовой церкви, то выход туда открывали придворные музыканты, играя на трубах и литаврах, которые тащил на спине самый здоровенный придворный гайдук, а гости следовали один за другим в том же порядке, как и при поездке в церковь, и среди них жених и невеста занимали те же места, какие заняли бы они при этой поездке. По возвращении из церкви гости садились починам за большой великолепно убранный стол. Средние, са-

мые почётные места предоставлялись на этот раз жениху и невесте, по правую сторону которой садились особы женского пола из императорской фамилии, подле них размещались вдоль стола придворные дамы; по левую сторону жениха сиделся знатнейший из гостей, а за ним все прочие кавалеры, занимая места по чинам. Во время обеда была инструментальная и вокальная музыка, а при возгласении тостов гремели трубы и литавры.

После обеда, в пять часов вечера, начинался бал, продолжавшийся обыкновенно до десяти часов ночи. По окончании бала молодые подходили к руке государыни и приносили ей свою благодарность. Затем гости становились попарно, кавалер с дамой, и, предшествоваемые музыкантами, проходили через все дворцовые залы на главный подъезд. Здесь невеста садилась в карету с обер-гофмейстриной или статс-дамой, а жених отправлялся к себе домой с тем, кто возил его во дворец и в церковь. По приезде гостей в дом новобрачных происходило вечернее угощение, по окончании которого молодых уводили в их спальню. Пока дамы раздевали невесту, гости поднимали бокалы за здоровье новобрачной четы, их родственников и разных лиц, почему-либо близких жениху или невесте. Это продолжалось до тех пор, пока не выйдет к гостям жених и, опорожнив большой бокал, не пожелает им покойной ночи, после чего все присутствовавшие на свадьбе разъезжались по домам.

На другой день молодые ездили во дворец, где вторично

приносили свою благодарность сперва государыне, а потом и всем членам императорской фамилии, бывшим на свадьбе. В полдень они принимали и угощали своих родственников, друзей и знакомых, а вечером ездили снова во дворец на бал, который оканчивался роскошным ужином.

Если с таким торжеством, по заведённому императрицей Анной Ивановной обычаю, справлялась при дворе свадьба каждой фрейлины, то легко можно было вообразить, какой великолепной обстановкой должна была отличаться свадьба Юлианы с Линаром. В этом случае все ожидали чего-то ещё невиданного и небывалого, и толки об этом занимали всё петербургское общество.

XXXIV

Скрестив на груди руки, стоял Линар перед правительницей. Взгляд его, выражавший нетерпение, был пристально устремлён на неё, и, казалось, Анна чувствовала непреодолимую силу этого взгляда: она не поднимала потупленной головы, как будто боясь встретиться с глазами Линара.

– Так чем же мы покончим этот вопрос?.. – спросил Линар голосом, в котором слышалось некоторое раздражение. – Я уезжаю, как вам известно, завтра и потому хотел бы теперь же знать...

– Я не могу решиться... – чуть слышно проговорила Анна.

– Странно!.. Но не вы ли сами, когда вам было сделано это предложение, с такой радостью, с такой поспешностью приняли его?..

– Я не могу решиться... – несколько громче прежнего повторила Анна.

– Как сейчас видно во всём женское непостоянство!.. – с шутливым укором, пожав плечами, возразил Линар, – сегодня одно, завтра другое. Да когда же вы перестанете быть каким-то нежным цветочком, который колеблется то в ту, то в другую сторону, смотря по тому, откуда повеет на него ветерок?

– Я боюсь, что моя попытка вызовет раздоры, смуты и что – сохрани Боже от этого, – воскликнула с ужасом правитель-

ница, – тогда прольётся кровь!..

– Зачем же было становиться на такую высоту, – хладнокровно заговорил Линар, – на такую высоту, где нежность и чувствительность вовсе неуместны и где даже простое сострадание к людям бывает очень часто вовсе некстати.

– Я сама не желала ничего. Судьба, против моей воли, поставила меня в то положение, в каком я нахожусь теперь. Впрочем, я счастлива, вполне счастлива; но не потому, что я имею власть и богатство, а потому... – голос Анны замер, и она после короткого перерыва быстро проговорила, – только ты, Мориц, возвращайся поскорее...

Линар любил Анну, но в любви его не было уже того юношеского бессознательного увлечения, того безумного пыла и той порывистой страсти, которые так часто делают смешным мужчину, перешедшего за рубеж первой молодости. Услышав слова Анны, прозвучавшие и радостью и грустью, Линар не упал к ногам молодой женщины, не обнял её колен, не схватил её рук, не прижал их к своему сердцу и не стал, в немом томлении, долго и страстно смотреть в задумчивые очи Анны. Он медленно подошёл к ней.

– Неужели на этом челе никогда не блеснёт императорская корона?.. – торжественно произнёс Линар и, прикоснувшись слегка рукой к голове правительницы, поднял вверх глаза, как будто ожидая свыше ответа на этот вопрос.

– Для меня не нужна корона... – проговорила Анна.

– Она нужна для меня, – громко и твёрдо сказал Линар.

Правительница с изумлением вопросительно взглянула на него.

– Она нужна для меня! – повторил он ещё громче и твёрже. – Для мужчины, – начал Линар восторженно-страстным голосом, – не может быть больше счастья, не может быть больше блаженства, как видеть любимую им женщину на недостижимой другими высоте величия и славы... Видеть, что она властвует над всем, повелевает всеми, и в то же время знать, что эта женщина принадлежит ему, что один только он составляет для неё исключение в раболепствующей перед нею толпе...

– А мне кажется, – простодушно заметила Анна, – что для любви не нужно ни величия, ни славы... Мне часто думается, что я была бы счастливее, если бы встретила с тем, кого мне привелось любить, не в пышных чертогах, не во дворце, а в убогой хижине...

– Не могу не заметить вашему высочеству, – сказал, засмеявшись, Линар, – что такое понятие о любви вы изволили почерпнуть из какого-нибудь прочитанного вами сентиментального романа. Конечно, и хижина несколько не мешает любви, но несомненно, что блаженствующая в ней парочка всё-таки предпочла бы переселиться в хорошо устроенный дом и разве только по временам заглядывать в оставленную хижину, чтобы помечтать на досуге о прошедшем... Впрочем, у нас и речь идёт не о хижине, в которой вам бы первой показалось жить не очень удобно, а совсем о другом. В хи-

жину вам всегда можно будет переселиться, а теперь нужно подумать о том, чтобы вы удержали за собой те дворцы, в которых вы, как правительница, не более как временная жилища...

– О, как ещё много времени предстоит впереди для того, чтобы пользоваться этим... Да и вообще, стоит ли теперь и думать об этом?.. – возразила Анна.

– Кто знает, не будет ли поздно думать об этом, когда пройдёт ещё несколько времени?.. Чем могут окончиться замыслы Елизаветы?

– Я полагаюсь во всём на волю Божию и считаю борьбу с Елизаветой совершенно бесполезной... Пусть называют меня суеверной, но меня никогда не покидает тяжёлое предчувствие, что жизнь моя будет полна бедствий и страданий, – печально проговорила Анна.

– Устранить и те и другие, если не всегда, то всё же очень часто зависит от нас самих, нужно только быть смелыми, решительными и деятельными, а врагов своих, где только можно, давить безжалостно железной пятой. – При этих словах на привлекательном лице Линара проявилось злобное выражение. – Что же касается предчувствий, – продолжал он, – то стоит только настроить себя на унылый лад, поддаться пустой робости, и тогда вся наша будущность начнёт представляться в самом мрачном, безотрадном свете. Чтобы успокоиться вашему высочеству, нужно прежде всего устранить те опасности, которые грозят вам со стороны коварной цеса-

ревны...

– Напрасно заботиться об этом: я верю предсказанию, которое, конечно, слышал и ты, Мориц, что она будет царствовать. Был со мной и такой случай: однажды я приехала к ней в гости; при отъезде цесаревна провожала меня; я как-то споткнулась, упала перед ней и, поднимаясь, невольно проговорила громко: «Я предчувствую, что буду у ног Елизаветы». В настоящее время происходит что-то таинственное, непонятное: в народе носится молва, будто над гробом покойной императрицы Анны Ивановны является тень императора Петра...

Лиар, улыбаясь, слушал этот рассказ Анны.

– Если верить в предсказания, предчувствия, приметы, предзнаменования, – перебил он, – то надобно верить не в одно дурное, как это обыкновенно водится, но нужно верить и в хорошее. Отчего бы, например, не поверить тому предсказанию, которое существует у нас в Германии? Оно гласит, что некогда – а по какому-то мистическому расчёту теперь близится это время – какая-то немецкая принцесса выйдет замуж за какого-то принца, что потом она совершенно неожиданно будет царствовать над сильной и обширной державой и слава её деяний разнесётся по всем концам вселенной. Отчего бы, спрошу я, этого предсказания не применить к нынешней правительнице Русской империи?.. Правда, что имя этой принцессы, которой предречена такая блестящая будущность, не сходно с вашим именем, но разве

можно требовать от каких бы то ни было пророчеств совершенной точности? Достаточно и того, если они намекают на некоторые главные признаки...

– А как имя этой принцессы? – с любопытством спросила Анна.

– Екатерина... – проговорил равнодушно Линар.

– Екатерина?.. – с удивлением переспросила правительница. – Но это имя одно из тех имён, которое я получила при крещении и которое потом, при переходе из лютеранства, было заменено моим настоящим именем.

– Значит, пророчество ещё точнее указывает на ту, над которой оно должно исполниться, – заметил Линар, – и так как это пророчество составилось в Германии, то для этой страны вы и были не Анна, а Екатерина...

Рассказ Линара произвёл впечатление на правительницу, для которой таинственность имела всегда увлекательную сторону, и она с видимым нетерпением ожидала, что будет говорить Линар далее.

– Оставим, впрочем, в стороне и пророчества, и предсказания и обратимся только к действительности, – сказал он. – Каково настоящее ваше положение?.. Вы полновластная правительница могущественного государства, и жребий миллионов зависит от вашего произвола, от вашего женского каприза. Этим, конечно, может удовольствоваться самое притязательное властолюбие, но надолго ли это? Правда, что те с лишком пятнадцать лет, в течение которых вам остаётся

ещё править государством, представляются, при вашей молодости, чем-то нескончаемым, какой-то вечностью. Но поверьте, что годы эти промелькнут так быстро, что вы и не заметите их. Убежит от вас молодость, и тогда вы почувствуете нестерпимую жажду власти, к которой вы привыкнете и которой у вас уже не будет более. Притом, как бы высоко вы ни были поставлены теперь, но в сущности чья вы преемница? Вы, которой русский престол принадлежит по праву рождения, не преемница царей московских – ваших венчаных Богом предков – вы, как правительница, не более как только преемница ничтожного Бирона, которого вы же сами в одну ночь сбросили с вершины могущества и ушляли куда-то в неизвестную даль. Может ли такая власть считаться властью твёрдой, незыблемой?.. Наконец, подумайте о том, что император станет подрастать и мужать, и кто вам может поручиться, что сын принца Антона, – продолжал Линар, напирая на последние слова, – будет оказывать вам должное уважение и что озлобленный против вас ваш супруг не воспользуется обстоятельствами и не постарается отмстить вам свои обиды хоть бы, например, вечным заключением в глухой, далёкий монастырь?..

Правительница встрепелась и глубоко вздохнула.

– Но если это и может случиться, то разве в слишком далёком будущем, и зачем так заботливо думать о нём?.. – проговорила Анна.

– Я думаю, что нужно. На вас нет ещё знамения избран-

ницы Божией, а для народа власть должна иметь священное обаяние. Провозгласите себя самодержавной государыней и возложите на себя в Москве наследственный венец, отнятый у вас по произволу вашей предшественницы в угоду недостойному её любимцу... Вы, а никто другой, после кончины императрицы должны были вступить в её права.

По лицу правительницы Линар мог заметить, что Анна поддаётся его внушениям.

– Впрочем, чтобы окончательно склонить вас на моё предложение, – продолжал Линар, переходя от торжественного тона в весёлый, – я скажу вам, что вы будете самая хорошенькая женщина в золотой императорской мантии, опушённой горностаем, и в короне, сверкающей алмазами... – Говоря это, он приблизился к правительнице, стал у ног её на одно колено и начал с жаром целовать её руки.

– Для меня это всё равно, – с грустной улыбкой отозвалась Анна, – о моей наружности и о моих нарядах я вовсе не забочусь. Вот уж и баронесса Шенберг подсмеивается надо мной, что я не белюсь, не румянюсь, не пудрюсь, не шнуруюсь каждый день, а выхожу запросто одетой к моим гостям...

– Которые должны скоро собраться, – подхватил Линар, взглянув на часы, – однако, как же мы заговорились! Чем вы решили: поздравлю ли я вас, по моём возвращении из Дрездена, самодержавной императрицей?..

– Поздравишь, Мориц... – твёрдо произнесла Анна. – Переговори сегодня вечером с графом Головкиным: он пер-

вый и пока ещё единственный человек, которому я передала твою мысль.

– И прекрасно сделали, – заключил Линар, – на Остермана слишком много полагаться нельзя.

Наступали сентябрьские сумерки, начали освещать залы дворца и стали съезжаться обычные вечерние гости правительницы; в числе их приехали на проводы Линара граф Головкин и баронесса Шенберг; пришла в гостиную Анны и невеста Линара...

Во время вечерней беседы, которая касалась главным образом поездки Линара, расстроенная правительница несколько раз выходила в другую комнату, чтобы скрыть набегавшие на её глаза слёзы; Линар следовал за ней и до чуткого уха баронессы доходил их шёпот: слышно было, что Линар утешал и ободрял плакавшую Анну.

Перед тем как сесть играть в карты, Линар вызвал Головкина в смежную залу. Разговор их там был непродолжителен. После того Линар возвратился в гостиную с весёлым лицом, а вице-канцлер с озабоченным видом, и он как будто искал случая заговорить наедине с правительницей, чего, однако, не удалось ему сделать в течение целого вечера. В этом собрании Линар казался каким-то полухозяином у правительницы, но, как человек светский, он был чрезвычайно любезен и внимателен ко всем и, конечно, в особенности к своей невесте. Заметно, однако, было, что прямодушная от природы девушка не умела притворяться как следует и не могла

скрыть свою холодность к Линару.

По заведённому порядку сели играть в карты. Анна Леопольдовна играла в этот вечер рассеянее, чем когда-нибудь. Игра кончилась в обыкновенное время. Гости разъехались, и Линару последнему пришлось проститься с Анной Леопольдовной. Расставание не обошлось для неё без горьких слёз, и Линар напрасно утешал её скорым свиданием. Наступила последняя минута прощания.

– Я предчувствую, что никогда тебя более не увижу!.. – в отчаянии вскрикнула Анна. Она рванулась от Линара и, громко зарыдав, выбежала в другую комнату.

Линар не бросился за ней. Он не хотел томить молодую женщину продолжительностью расставания и, тяжело вздохнув, вышел из её уборной...

XXXV

Анна Леопольдовна, несмотря на всю свою нерешительность и врождённую робость, исполнила обещание, данное ей Линару. На другой день по его отъезде она потребовала к себе вице-канцлера графа Головкина и объявила ему, что после долгих колебаний она, чтобы положить конец всем проискам со стороны цесаревны Елизаветы Петровны, решилась провозгласить себя императрицей, с тем, что сын её, сохраняя признанный уже за ним титул императора, будет царствовать только или после смерти, или после её отречения. Сочувствуя этому плану, Головкин представил ей все те благоприятные последствия, какие произведёт решимость правительницы, так как после этого будут устранены всякие посягательства на её власть, и она явится в глазах народа не временной, не случайной только правительницей, а природной самодержавной государыней. Зная нетвёрдый характер Анны Леопольдовны, он убеждал её как можно скорее осуществить это предположение. Решено было, что правительница объявит себя царствующей императрицей в день своего рождения, 18 декабря, так как необходимо было принять ещё некоторые меры, чтобы вернее обеспечить успех этого предприятия.

Слухи о намерении правительницы не замедлили дойти до Елизаветы и дали новый толчок деятельности её привер-

женцев. Они увидели, что если теперь не сдержать смелого шага правительницы, то потом будет уже поздно, и поэтому они убеждали цесаревну ускорить исполнение её намерения. Она, однако, отложила свою попытку до 6 января 1742 года. В этот день, по случаю праздника Крещения, гвардия собиралась обыкновенно для участия в торжестве водосвятия на Иордане, устраиваемом, как и ныне, на Неве, против Зимнего дворца. Елизавета намеревалась при этом случае стать во главе Преображенского полка и, объявив правительницу и сына её низложенными, провозгласить себя императрицей. Такое отважное предприятие могло бы, впрочем, не удалиться, если бы другие гвардейские полки остались верны Анне Леопольдовне, и тогда кровопролитие было бы неизбежно.

Ещё весной таинственный агент Елизаветы, состоявший при ней хирург Арман Лесток⁹⁶, вошёл в тесные сношения с маркизом Шетарди. Так как цесаревна пользовалась превосходным здоровьем, то у Лестока не было никаких забот по его специальному назначению, и он занимался при Елизавете исключительно по косметической части, заготавливая разные притирания для поддержания и без того прекрасного цвета лица и нежности кожи у кокетливой цесаревны. Почти так же деятельно и едва ли ещё не с большим успехом, чем Шетарди, хлопотал в пользу цесаревны шведский посланник

⁹⁶ Лейб-хирургом при Елизавете состоял протестант, уроженец Франции, Иоганн Герман Лесток.

Нолькен⁹⁷. Как лифляндец и, следовательно, земляк Юлианы Менгден, он приобрёл расположение фрейлины и, часто бывая у неё, выведывал от молодой девушки не только о том, что делалось около правительницы, но и о сокровенных её намерениях, так как Анна Леопольдовна никогда не скрывала их от своей любимицы. Нолькен, как и Шетарди, избрал главным своим посредником у Елизаветы того же Лестока, который, по-видимому, как балагур, болтун и порядочный кутила, вовсе не был пригоден для того, чтобы стать во главе заговорщиков. Между тем Остерман и принц Брауншвейгский скоро заподозрили Лестока, и первый из них просил английского резидента Финча, как человека, преданного правительнице, принять участие в разведке тех козней, которые ведутся против неё. Первоначально, однако, Остерман посоветовался с Финчем о том, не арестовать ли хирурга? Финч отвечал на это, что ему, графу Остерману, как первенствующему министру, лучше, чем кому-либо другому, следует знать, каким образом должно поступить в настоящем случае, добавив, впрочем, что, по мнению его, Финча, так как против Лестока не собрано ещё никаких улик, то и арест его будет преждевременным и только повредит правительству, показав всем неосновательность подозрений.

Тогда Остерман, заметив Финчу, что Лесток любитель хорошего вина и что он, подвыпивши, охотно болтает обо всём,

⁹⁷ Фон Нолькен, Эрик Мариас, чрезвычайный посланник Швеции в России с сентября 1738 по июль 1741 года.

что у него на уме, попросил этого джентльмена, чтобы он зазвал к себе хирурга на обед или на ужин, порядком подпоил бы его и затем повёл бы с ним беседу так ловко, чтобы этот последний проговорился. Дипломат, как пишет он сам, ввиду такого предложения, подумал, что если посланники и считаются шпионами своих государей, то всё же им некстати исполнять подобного рода должность в отношении других, каких бы то ни было лиц. Этого взгляда на круг своей деятельности Финч не высказал, впрочем, Остерману, но уклонился от возлагаемого на него поручения под другим благовидным предлогом.

– Я вообще пью мало, и голова у меня довольно слаба, – сказал Финч министру, – а между тем, как мне известно, Лесток молодец выпить, и от постоянной практики по это части голова у него очень крепка. Для того чтобы подпоить его хорошенько, с той целью, какая будет иметься при этом в виду, надобно будет пить много, а для того, чтобы не возбудить в хирурге подозрения и развязать ему язык, я не должен буду отставать от него по части выпивки. Попойка же и беседа должны будут, конечно, происходить у нас с глазу на глаз, а при всех этих условиях и при неравенстве наших сил дело может окончиться тем, что, пожалуй, проболтаюсь я, а не Лесток.

Доводы, представленные практическим британцем, убедили министра, и Лесток не только не попал под арест, но и благополучно увернулся от той ловушки, какую расставлял

ему неразборчивый на средства Остерман.

Кроме Финча у правительницы, как и у Елизаветы, были доброжелатели и за границей. Так, ещё весной ей было прислано письмо и «предостроги» (т. е. предостережения) от некоторого чужестранного двора «якобы о имеющейся в Российском государстве по действиям некоторых иностранных министров факции». Линар, на обсуждение которого правительница передала это письмо, советовал ей письменно действовать решительно и по поводу происков Шетарди писал следующее: «Повторяю вам то, что передал вам вчера словесно. Народное право существует, как и всякое другое право, и ни один государь не обязан допускать возмущений, которые поддерживались бы иностранным министром; последний же чрез то самое утрачивает права посланника и почести, какие ему воздаются». Копию с этого письма успела достать Елизавета; Шетарди испугался и тотчас же сжёг те бумаги, которые могли бы выдать его сношения с цесаревной.

О злых умыслах против правительницы уведомляли её также из Бреславля. В полученном оттуда письме сообщалось, что шведы начинают войну с русскими, зная наверно, что к ним в России пристанет большая партия. Правительница показала это письмо Елизавете, которая, одолев своё смущение, с притворным прямодушием отвечала, что она решительно ничего не знает, и доверчивая правительница не усомнилась в искренности своей противницы. Между тем под-

бываемые агентами цесаревны гвардейские офицеры волновались, они выходили из терпения и просили Нолькена заявить Елизавете, что бездействие её крайне удивляет их, так как они давно желают служить ей. Видя нерешительность цесаревны, несколько офицеров стали поджидать, когда она выйдет из своего дворца на прогулку в Летний сад. Увидав её, они подошли к ней, и один из них, от имени своих товарищей, сказал ей:

– Матушка, мы все готовы и только ждём твоих приказаний. Что прикажешь нам делать?

– Ради самого Бога, молчите, – проговорила цесаревна, боязливо осматриваясь по сторонам, – остерегайтесь, чтобы вас не услышали; не делайте себя несчастными, да и меня не губите!..

Офицеры с неудовольствием отступили.

– Экая трусиха! – проговорил один из них, – того и смотри, что со страху всех нас выдаст.

– Да уж не лучше ли, братцы, – подхватил другой, – отстать от неё: видно, с нею ничего не поделаешь; правительница куда отважнее её будет: с Бироном расправилась скоро.

И офицеры, бормоча что-то, разбрелись по сторонам.

Шетарди и Нолькен продолжали со своей стороны подбивать Елизавету, предлагая к её услугам один – французское золото, а другой – шведские пушки и ружья. Чтобы усилить ещё более замешательство России, деятельные дипломаты хлопотали о том, чтобы Турция дозволила крымским

татарам напасть на наши южные пределы. Они же находили нелишним распусть в народе слух, что и персидский шах идёт на Россию, с тем чтобы заступиться за притеснённую цесаревну. Они рассчитывали, что легковёрный народ, узнав, что правительница накликала войну, тяжкую для всех русских поборами людей и денег, поднимется против настоящего правительства и пожелает видеть на престоле Елизавету, которая избавит его от угрожающих его бедствий и тягостей. Елизавета не отвергла всех этих предложений, и одна только робость удерживала её от решительных мер.

Чтобы сильнее подействовать на цесаревну, Нолькен передавал ей, будто он слышал из верного источника, что правительница сказала однажды: «Надобно как можно более ласкать принцессу Елизавету, чтобы вернее опутать её в сетях, когда придёт время». Этот выдуманный рассказ произвёл на Елизавету большое впечатление, и она убедилась, что Анна Леопольдовна такой враг, который не даст ей пощады.

Шетарди между тем устраивал свидания с Елизаветой в Летнем саду, а она каталась в лодке по Неве мимо дачи маркиза с роговой музыкой, чтобы обратить на себя внимание и, не навлекая никакого подозрения, получить с балкона его дачи условленный сигнал. Он успевал перешёптываться с ней на вечерах у правительницы, причём Елизавета жаловалась маркизу на тот высокомерный тон, который с некоторого времени в отношении к ней принял Линар.

Разные тёмные личности, такие бродяги-иноземцы, как

выкрещенный жид Грюнштейн и отставной музыкант, саксо-нец Шварц, были привлечены также к замыслам Елизаветы. Прислуга тоже не оставалась без участия в этом деле. Елизавета передавала Нолькену, что она узнала через горничную, которая служила при ней и сестра которой находилась в услужении в доме графа Остермана, будто правительница приезжала ночью к больному Остерману и, войдя к нему в спальню, заклинала его Христом Богом спасти её. На это будто бы Остерман отвечал ей; что она никакой помощи не может ждать от дряхлого старика, который не в силах даже встать с кресел, почему и советовал ей обратиться или к князю Черкасскому, или к графу Головкину. Когда же Елизавета спросила горничную: что было далее? – то она ответила, что не знает, так как её заметили и приказали ей уйти из комнаты.

Трудно определить, до какой степени было или даже могло быть справедливым всё это, тем более что Остерман не только не отказывал в своих советах правительнице, но даже склонял её к самым решительным мерам. В таком же духе говорил Анне Леопольдовне и Линар. Он предлагал ей, чтобы, обвинив Елизавету в тайных сношениях с врагами отечества, подвергнуть её предварительно допросу, и если бы открылось что-нибудь, то судить её за государственную измену. Суд должен был бы произнести смертный приговор над цесаревной, а правительница заменила бы этот приговор вечным заточением Елизаветы в отдалённом монастыре.

Доброе сердце правительницы отвергало все подобного рода предложения. На все указываемые ей меры предосторожности она отвечала только, тяжело вздыхая: «К чему это послужит?» Она как будто спокойно смотрела на угрожавшую ей опасность, то не понимая своего настоящего положения, то веря в какое-то роковое определение свыше и, казалось, твёрдо была убеждена в том, что она никакими способами не предотвратит грядущих бедствий. Она сделалась ещё задумчивее и ещё недоступнее прежнего, тогда как Елизавета казалась и беспечнее, и откровеннее и встречала приветливо всех, кто посещал её.

Война Швеции с Россией считалась делом решённым, и верстах в шестнадцать от Петербурга, со стороны Выборга, близ деревни Осиновая Роща, был расположен сильный лагерь под начальством фельдмаршала Ласси, а генерал Кейт⁹⁸ двинулся со своим корпусом к Выборгу по берегу моря и 12 августа, в день рождения императора, поставив войска под ружьё, объявил солдатам о войне со Швецией, которая несколькими днями ранее известила петербургский кабинет о своём разрыве с Россией. В войске и в народе стал теперь обращаться составленный на русском языке манифест генерала Левенгаупта, главнокомандующего шведской армией. В этом манифесте объявлялось, что шведы хотят «избавить достохвальную русскую нацию, для её же собственной без-

⁹⁸ Ласси, Пётр Петрович, граф, (1678—1751) и Джемс (Яков) Кейт, генерал, с 1740 года глава масонской ложи в России.

опасности, от тяжёлого чужеземного притеснения и бесчеловечной жестокости и предоставить ей свободное избрание законного и справедливого правительства».

В исходе августа фельдмаршал Ласси прибыл к действующей армии, и русские войска, миновав уже Выборг, начали пробираться в глубь Финляндии по болотам, скалам и дремучим лесам, обходя проезжие дороги, и 23 августа взяли Вильманstrand. Приверженцы Елизаветы приуныли. Ломоносов, воспевший впоследствии годовщину вступления на престол императрицы Елизаветы в обращённой к ней оде, начинавшейся стихами:

*Заря багряною рукою,
Из сумрачных, спокойных вод
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год!*

– Ломоносов пел теперь иную песню. Он, по случаю взятия Вильманstrandа, написал торжественную оду с намёками на младенца-императора и гербы России – орла и Швеции – льва. Ода начиналась:

*Российских войск хвала растёт,
Сердца продержки страх трясёт.
Младой орёл уж льва терзает и т. д.*

Поэзия, редко сходящаяся с действительностью, была, однако, на этот раз права: русские побеждали шведов, а страх тряс продерзкие сердца; Елизавета и её сторонники упали духом. Они увидели, что дела правительницы принимают благоприятный оборот, и теперь многие русские, принадлежавшие к числу приверженцев Елизаветы, скорбели о том, что не стыд поражения, а слава победы покрыла их родные знамёна...

XXXVI

Уборная Анны Леопольдовны представляла образчик той роскоши и того изысканного вкуса, которые окружали в тогдашнюю пору богатых и знатных дам во Франции. Уборная правительницы казалась уголком роскошного Версаля, перенесённым на берега Невы. В этой комнате было собрано всё, что только могла придумать затейливая и прихотливая мода тогдашнего времени. Линар, везде всего насмотревшийся, по желанию Анны Леопольдовны распоряжался отделкой уборной, стены которой были обиты дорогой шёлковой тканью серо-розового цвета с золотыми по ней городками и разводами. Потолок был расписан искусною кистью иностранных художников. На нём виднелись в грациозных позах полуобнажённые красавицы: нимфы и богини древнего Олимпа. Вперемежку между ними, среди зелени, цветов и пёстрых арабесок, показывались амурсы, из которых одни, сидя с вытянутыми вперёд ножками, клали на тетивы стрелы, долженствовавшие пронзить сердца богов, богинь и простых смертных; другие, обвитые гирляндами из цветов, ухватившись друг с другом ручонками и как будто помахая крылышками, плясали и резвились с сражением беззаботной весёлости на кругленьких румяных личиках; третьи словно порхали в небесном пространстве, подманивая к себе тех, у кого в сердце не погасла ещё молодая, кипучая жизнь, На

стенах уборной в золотых медальонах висели картины, изображавшие сцены из современной жизни, но только слишком опоэтизированные на тогдашний французский лад. На одной картине какая-то маркиза или виконтесса, в великолепном модном наряде, с напудренной головкой и крепко затянутой талией, полулежала с пастушеским посошком среди беленьких овечек и смотрела вдаль, вероятно поджидая появления своего возлюбленного из-за листвы деревьев. На другой картине не менее пышно разодетая дама сидела над светлым ручейком, опустив в тихие его струи удочку, а у ног её блаженствовал на зелёной мураве кавалер, которому, судя по плотно натянутым чулкам, туго завязанным подвязкам и другим узким принадлежностям туалета, было весьма неудобно лежать, и, надобно было полагать, что едва ли бы он в таком наряде мог привстать с муравы без помощи своей подруги. На третьей картине щёгольски разодетый шевалье, стоя под тенью деревьев на одном колене, надевал, неизвестно по какой именно okazji, крошечный башмачок на ножку молоденькой дамочки, опиравшейся рукой на его спину. По выражению лиц этой шаловливой парочки можно было догадаться, что и кавалеру и даме очень хотелось, чтобы надевание башмачка продолжалось как можно долее. Вообще все картины, небольших размеров, бывшие в уборной правительницы, наглядно гласили о том блаженстве, какое доставляют любящим сердцам таинственные встречи и уединённые беседы среди прелестей природы. Всё в этих картинах было

ярко, свежо, мило и изящно, но вместе с тем и натянuto, и неестественно. Видно было, что идиллическая поэзия г-жи Дезульер, воспевавшей пастушек в образе великосветских дам, умилявшихся при бляении овец и знавших красоты природы только по стриженным садам, – поэзия, вдохновлявшая таких известных живописцев, как Буше и Ватто, нашла для себя радушный приём у Анны Леопольдовны, постоянно мечтавшей о тихой жизни на лоне природы, с тем, впрочем, условием, чтобы стеснительные наряды идиллических маркиз-пастушек были заменены более удобным костюмом, а именно: широкой кофточкой и простым платочком на ненапудренной голове.

С расписанного потолка уборной спускалась бронзовая люстра с неизбежными на ней амурами и с большими хрустальными привесками в виде древесных листьев. На большом камине из белого каррарского мрамора, с огромным над ним венецианским зеркалом, стояли бронзовые часы парижского изделия с изображением над ними трёх обнажённых, обнявшихся между собой граций. На экране в вызолоченной раме, заслонявшем камин, было превосходно вышито шелками преследование Дафны Аполлоном. Убранство этой комнаты дополняли: шёлковые портьеры светло-лазоревого цвета, поддерживаемые положенными крест-накрест золотыми стрелами; тонкие, как паутина, с изящным узором кисейные занавесы на окнах с такими же поддержками, как и над портьерами; дорогие ковры, жардиньерки с тепличными

растениями, множество статуэток и привезённая из Парижа мебель розового дерева, отделанная бронзой и обитая шёлком. На туалетном столе Анны Леопольдовны, казалось, было собрано всё, что должно было раздражать и нежить обоняние и по тогдашним, – впрочем, можно сказать, и по нынешним понятиям, – усиливать искусственно блеск женской красоты. Здесь были лучшие произведения французской и итальянской парфюмерии и косметики: духи самых тонких букетов, благовонные помады, благоухающие эссенции, нежная пудра, дорогие румяна и белила и другие снадобья этого рода. Но до всего этого редко и неохотно прикасалась двадцатидвухлетняя владелица уборной. На туалетном же столе лежал поданный Анне Леопольдовне и уже порядочно устарелый счёт господина «Pierre Lobry», первого парикмахера её императорского высочества. Счёт этот был написан почти год назад и в нём значилось по-русски под разными месяцами и числами следующее:

8 малых машкаратных локонов. 25 р.

Машкаратные же армянские длинные волосы. 10 »

Фаворитов 8 пар. 16 »

1 паручек⁹⁹ 2 »

За переправку локонов. 12 »

Этот неоплаченный счёт свидетельствовал, по-видимому, о беспечности правительницы даже и по предметам, самым близким каждой молодой женщине.

⁹⁹ Паричок. (Примечание автора).

Анна Леопольдовна чрезвычайно редко посещала это роскошное убежище. Забытая её уборная как будто ждала той поры, когда в ней явится другая хозяйка, которая будет любить и понимать все тонкости женского туалета и которая станет проводить в уборной сразу по нескольку часов, пока не выйдет из неё во всём блеске своего пышного наряда.

Впрочем, под вечер 9 ноября 1741 года, в день первой годовщины по принятии правления Анной Леопольдовной, в её уборной было заметно особое оживление. Несколько камеристок суетились там под руководством старой камер-фрау Анны Петровны Юшковой. Теперь в этой комнате, ярко освещённой множеством восковых свечей, разложены были на низеньких табуретах и на столах принадлежности наряда, в котором правительница должна была появиться на бале, назначенном ею в Зимнем дворце.

На одном из табуретов стояла пара белых шёлковых башмачков с высокими каблучками и бриллиантовыми пряжками. На другом табурете лежал корсет, бывший предметом самого сильного отвращения Анны Леопольдовны и составлявший в то время необходимую принадлежность бального туалета. Этот корсет был введён в моду в Париже дофиной, и король Людовик XV показывал подобного рода корсет Морицу Саксонскому, как небывалую ещё модную диковинку, и действительно было чему подивиться: Мориц в «Записках» своих рассказывает, что такой корсет со вставленными в него сплошь стальными пластинками был гораздо тяжелее

для женщины, чем тогдашние самые тяжёлые латы для здорового немецкого кирасира. На пяти других табуретках, составленных вместе, были расположены фижмы – просторнейшая юбка на китовых усах, неизбежная принадлежность тогдашнего модного наряда, тоже не терпимая Анной Леопольдовной.

На узком и длинном столе, нарочно внесённом теперь в уборную, лежало платье из тяжёлой серебряной ткани, с вытисненными на ней узорами, с бесконечно длинным шлейфом, называвшимся тогда и у великосветских русских дам, и даже в официальной русской печати попросту «шлёпом». Корсаж этого платья был обшит сверху, в виде широкой бахромы, чрезвычайно драгоценными в ту пору кружевами, называвшимися «point de rose», изображавшими с неподражаемым изяществом мельчайшие узоры цветов и листьев с тонкими, как волос, стебельками. На особом столе, в раскрытых футлярах, были разложены украшения из драгоценных камней: ожерелья, аграфы, запонки, браслеты и так называвшаяся тогда по-русски «трясила» – от французского слова «tresse» (коса), служившая для поддержания в порядке кос, как родовых, так и благоприобретённых. Тут же сверкали две бриллиантовые звезды: андреевская и екатерининская, надеваемые правительницей в торжественных случаях. Принадлежности её наряда дополнялись длинными белыми лайковыми перчатками с кружевной бахромой и веером, отделанным рубинами и алмазами.

Всё было уже готово в уборной, и камеристки ожидали только прихода своей госпожи, чтобы приняться около неё за сложную и суетливую работу. По их расчёту, оставалось уже слишком мало времени, чтобы успеть как следует разодеть правительницу к часу, назначенному для открытия её торжественного бала. Между тем Анна Леопольдовна не показывалась в уборную, и старая камер-фрау Юшкова, привыкшая при императрице Анне Ивановне к самым строгим порядкам по части одевания, видя медлительность правительницы, приходила в отчаяние и ворчала вполголоса:

– Всё читает; только и знает, что это, а нет того, чтобы принарядиться как следует; не посмотри только за нею хорошенько, так Бог знает что и как на себя напялит...

Камеристки, слушая ропот своей начальницы, слегка поддакивали ей, одна смеялась, другая вздыхала, а все вообще частенько позёвывали. Но вот послышалось шуршание женского платья, и в уборную вошла совсем уже одетая Юлиана.

– А её высочество неужели ещё не одевалась? – с удивлением спросила фрейлина.

– Да вот поди же ты, моя голубушка, – заговорила жалобным голосом Юшкова, – знай себе читает, а потом мы примемся торопиться и наденем на неё одно криво, а другое косо. Ей-то до этого, разумеется, никакого дела нет, а нас-то из-за неё при дворе осуждать станут, скажут: не умеют порядочно одеть её высочество. Уж и парикмахер-то с полтора часа, если не более, её дожидается. Хотя бы ты, матушка,

сходила к ней да поторопила её, а мы-то не смеем этого сделать. Сидим да стоим сложа руки. Мука с нею, да и только.

Юлиана пошла в ту комнату, где была правительница. Анна сидела на софе в домашнем платье и внимательно читала какую-то книгу. Так как в это утро был во дворце торжественный приём, то парадная причёска правительницы хотя и сохранилась, но всё-таки, порядочно уже растрёпанная, требовала продолжительной поправки.

– Ведь пора одеваться... – громко проговорила Юлиана, – уже шестой час...

– Ещё успею, только несколько страниц остаётся дочитать, – отвечала Анна. – Меня так заняла эта книга, что не хочется от неё оторваться.

Юлиана выжидательно остановилась перед ней. Правительница заметно ускорила чтение, быстро пробегая глазами страницу за страницей, и затем, сделав ногтём отметку на полях книги, неохотно закрыла её и лениво приподнялась с места.

– Тебя нужно вести в уборную силой, – сказала, смеясь, Юлиана, взяв под руку Анну. Леопольдовну.

– Ах, как мне надоели все эти торжественные приёмы и балы! – с досадой проговорила Анна Леопольдовна. – Знаешь, Юлиана, я никогда не думала, чтобы женщине было так трудно править государством.

– Да ты всегда была ленивица по части туалета, – перебила Юлиана, и, выговаривая за это Анне, она привела её в

уборную.

Лицо у камер-фрау засияло радостью при виде своей жертвы вечерней. Она быстро приотворила дверь в соседнюю комнату и громко крикнула: «Господин Лабры! Пожалуйста поскорее к её высочеству. Нужно торопиться... и так уж запоздали...»

Явился парикмахер, щеголеватый француз. Анна села на табурет, одна из камеристок накинула на неё пудрмантиль, а ловкий волосочёс принялся за своё дело. Правительница вообще не была поклонницей моды и следовала её требованиям только по необходимости, особенное же упорство она оказывала в том случае, когда дело касалось причёски. Миних-сын, в «Записках» своих замечая, что она «всегда с неудовольствием наряжалась, когда во время её регентства надлежало ей принимать и являться в публике», добавляет: «В уборке волос никогда моде не следовала, но собственному изобретению, отчего большею частью убиралась не к лицу». И на этот раз придуманная ею причёска отличалась от модной: подпудренные волосы правительницы были не взбиты вверх, но низко расположены надо лбом в крупных завитках, а по обе стороны головы шло по одному длинному локону, опускавшемуся до плеча и свёрнутому в плотную толстую трубку. Наперекор тогдашней моде в волосах Анны не было ни цветов, ни бриллиантов.

Лобри, убиравший правительницу, был не очень доволен настоящими государственными порядками, так как во гла-

ве империи стояла молодая женщина, не ценившая ни во что способностей и познаний одного из первых светил Парижа по парикмахерской части, и тщеславный француз был бы очень рад, если бы революционный переворот предоставил более практики его искусству и дал бы ему поболее денежной наживы. Убирая волосы правительницы, Лобри частенько кидал взгляды на счёт, лежавший на виду у неё, на туалетном столике, и останавливал их на исписанной бумаге в надежде, что авось привлечёт этим внимание своей высокопоставленной клиентки. Наконец манёвр его удался.

– А я ещё ваша должница, – сказала она Лобри, заметив его счёт, – Сколько вам всего следует?..

– Семьдесят три рубля... – отозвался он, рассыпаясь в почтительнейших просьбах не беспокоиться об уплате.

– Как это можно? Вы человек рабочий, деньги вам постоянно нужны, – отозвалась она. – Пожалуйста, Анна Петровна, отдай господину Лобри сегодня же вдвое по счёту, пусть лишнее будет ему за терпение...

Камер-фрау проговорила что-то себе под нос, очевидно не намереваясь исполнить данного ей приказания.

Уборка головы кончилась. Лобри, ловко и почтительно расшаркавшись, вышел на цыпочках. Началась суетня камеристок около Анны Леопольдовны, на лице которой в то время, когда её одевали, выражались и нетерпение, и неудовольствие. Она беспрестанно шевелилась, подёргивалась и отклонялась то в ту, то в другую сторону. После натягиваний,

подтягиваний, приколок, приглаживаний, застёжек, расстёжек и пристёжек правительница была, наконец, одета.

– Вы совсем меня измучили, – сказала камеристкам утомлённая Анна Леопольдовна.

Камер-фрау отошла несколько поодаль от пышно разодетой правительницы и с важным видом знатока бросила на неё последний общий взгляд. Затем, подойдя к ней, сочла нужным пригладить несколько выдавшихся волосков, обдёрнуть кружевную оборку корсажа, поотодвинуть вбок голубую орденскую ленту, прикрывавшую бриллиантовую звезду, и расположить «шлёп» у платья правительницы в виде павлиньего хвоста, и затем сказала торжественным голосом:

– Теперь выходить можно!..

Правительница пошла медленным шагом из уборной.

– Наряжалась бы так почаше, так побольше бы все уважения и страха имели, – проговорила Юшкова, смотря вслед уходившей Анне Леопольдовне...

XXXVII

Когда Анна Леопольдовна переходила из своей уборной в бальную залу, не зловещее, а весёлое зарево пылало над невысокими зданиями тогдашнего Петербурга: зажжённая по случаю торжественного дня иллюминация была в полном разгаре, а окна Зимнего дворца были залиты ярким светом.

Сюда в богато убранные залы собрались многочисленные гости, и давно уже нарядная толпа двигалась, колыхалась, волновалась, шутила и смеялась, а отчасти и роптала – впрочем, только или мысленно, или исподтишка – на неаккуратность Анны Леопольдовны, так долго замедлявшей своим непоявлением открытие бала.

Правительницу на пути её в бальную залу через одну комнату от уборной встретили давно уже ожидавшие её здесь: принц Антон, великолепно разодетый гофмаршал граф Левенвольд – первый щёголь при тогдашнем русском дворе, дежурный камергер в пунцовом бархатном кафтане, расшитом золотом, несколько фрейлин, к которым присоединилась и шедшая с Анной Леопольдовной из уборной Юлиана, и четыре пажа, одетые в богатые старинные испанские костюмы. Пажы взяли по сторонам длинный шлейф платья правительницы, а конец шлейфа дежурный камергер положил к себе на левую руку, фрейлины стали позади правительницы, а рядом с ней её супруг. Левенвольд, выступив вперёд и отдав

поклон их высочествам, открыл торжественное шествие.

При приближении Анны Леопольдовны в шумной зале, по данному знаку, всё стихло и смолкло; глаза присутствовавших устремились на те двери, в которые она должна была войти, а звуки труб и гром литавр возвестили её вступление в бальную залу.

Широко и почтительно раздвинулась толпа перед медленно шествовавшей правительницей. Завитые и напудренные головы низко склонялись перед молодой женщиной, с лица которой и теперь не сходила обыкновенная задумчивость, и Анна Леопольдовна рассеянно, как будто нехотя, отвечала на низкие реверансы дам и на глубокие поклоны кавалеров, и даже цесаревна Елизавета со стороны, её не удостоилась особенно ласкового привета.

Правительница стала обходить залу под торжественные звуки польского, вошедшего уже у нас в моду на больших балах; принц Антон вёл её под руку. За этой первой парой шла Елизавета с маркизом Боттой, а за ними шли другие представители иностранных дворов с дамами, заранее предназначенными им по расписанию, составленному обер-гоф-маршалом. Далее выступали придворные чины, военные и гражданские сановники и, наконец, офицеры гвардии с дамами, избранными самими ими. После первого обхода залы принц Антон явился кавалером Елизаветы, а Ботта заменил его при правительнице. Этой же чести, при третьей перемене кавалеров, удостоился и маркиз Шетарди, приехавший на

бал во дворец не только по своей официальной обязанности и по страсти к увеселениям, но и преимущественно в надежде, не представится ли ему возможность, не возбуждая никаких подозрений, переговорить с Елизаветой и тем самым подвинуть вперёд приостановившееся в последнее время исполнение его замыслов.

– Как сегодня прекрасна правительница!.. – сказал восторженным голосом маркиз Елизавете, улучив минуту, чтобы подойти к ней, когда она осталась одна. При этих словах по лицу цесаревны пробежала судорожная улыбка, и она бросила недружелюбный взгляд на сидевшую вдалеке от неё Анну Леопольдовну.

«Мне только этого и нужно, – подумал Шетарди, – если до сих пор так трудно было склонить Елизавету, чтобы она стала действовать против правительницы из честолюбивых видов, то теперь не надобно пропускать удобного случая, чтобы сделать её врагом Анны и по другому побуждению: из-за зависти женщины к женщине».

– Все находят её высочество просто красавицей, – продолжал Шетарди, – и действительно, она заметно хорошеет день ото дня... – добавил он.

Елизавета быстро распахнула веер и начала им опахиваться. Она тяжело и гневно дышала, а её полная белая грудь высоко поднималась из-за кружевной сборки корсажа. Маркиз заметил раздражение цесаревны, но не щадил её, говоря:

– Действительно, в правительнице есть что-то величе-

ственное, царственное и то, в чём одни видят угрюмость и холодность, другие видят ту важность, то спокойствие и ту степенность, которые как нельзя более соответствуют её высокому сану...

От таких похвал, делаемых правительнице маркизом, неудовольствие её соперницы возрастало всё более и более, но Шетарди показывал вид, что не замечает этого.

– Есть такие женщины, – продолжал он совершенно равнодушно, – которые, не имея красоты, бросающейся в глаза с первого раза, хорошеют с годами, и к числу таких женщин принадлежит правительница, и в этом отношении её высокочеству предстоит ещё много в будущем. Ведь ей нет ещё и двадцати трёх лет. Правда, что ей много вредит её застенчивость, робость, а также непривычка к шумным собраниям, но, без сомнения, всё это пройдёт мало-помалу к тому времени, когда она сделается импера...

– Этого никогда не будет!.. – задыхаясь от долго сдерживаемого волнения, полушёпотом проговорила Елизавета, схватив крепко за руку маркиза и как бы желая этим порывистым движением удержать его от дальнейшего разговора.

– Будет, и будет даже очень скоро, если вы станете медлить, как вы медлите теперь, – прошептал маркиз, и в голосе его звучала уверенность, не допускающая никакого возражения.

– Что же делать?.. – тревожно спросила Елизавета.

– Предупредить её замыслы, – наставительно проговорил

Шетарди, – до осуществления их остаётся с небольшим только месяц, мне это очень хорошо известно...

Он хотел продолжать начатый разговор, но увидел подходящего к цесаревне обер-шталмейстера, князя Куракина. Елизавета, завидев князя, замолчала и хотела уйти.

– Оставайтесь, нехорошо будет, вы навлечёте на себя подозрение, – быстро проговорил Шетарди.

Подошедший Куракин с низкими поклонами заявил цесаревне, что он желал иметь счастье повернуть к стопам её высочества чувства своего благоговейного уважения. С обычной своей приветливостью обошлась она с князем, слывшим при дворе за самого словоохотливого человека.

– Я передавал её императорскому высочеству мои замечания об этой великолепной зале, – начал Шетарди, обращаясь к Куракину. – Вы, князь, были в Лондоне и потому можете сказать мне, больше или меньше эта зала залы св. Георга в Виндзоре?

Куракин принялся за глазомерные соображения, но маркиз не выждал их результатов.

– У англичан есть обычай, – продолжал Шетарди, – называть целые здания и отдельные их части именами царствующих лиц. Водится ли, князь, подобный обычай в России? Отчего бы, например, не назвать какой-нибудь дворцовой залы именем св. Иоанна, в честь ныне царствующего императора?..

– Его императорское величество ещё малютка... Ему не

до зал, – отвечал, улыбаясь, Куракин.

– Так бы назвать залом св. Анны в честь бывшей императрицы, – заметил маркиз.

– Это название пожалуй что и впоследствии от неё не уйдёт, – как-то загадочно проговорил Куракин.

Елизавета и Шетарди переглянулись друг с другом.

– А я должен сообщить вам, любезный князь, некоторые новости о вашем старинном приятеле виконте Фронтиньяке, – сказал Шетарди Куракину, подмигивая вместе с этим Елизавете.

– Я вам, господа, не буду мешать в этой приятельской беседе, – сказала она, улыбаясь.

– Я должен сожалеть, что ваше императорское высочество оставляете нас, что же касается князя, то ему остаётся только поблагодарить вас за такое внимание, – шутливо заметил Шетарди, – ему придётся, быть может, конфузиться, так как, по всей вероятности, у нас зайдёт речь о некоторых его сердечных похождениях в Париже...

Куракин самодовольно захохотал, а Шетарди, ловко подхватив князя за руку, повёл его с собой в сторону, надеясь добыть от болтливого царедворца некоторые выгодные для себя сведения. Бальная зала для выведочной беседы маркиза с князем представляла своего рода удобства: вдоль её стен были расставлены шпалерой миртовые и померанцевые деревья в полном цвету, за ними находились мягкие диваны, и Шетарди отыскал за этой зелёной и благоухающей изгородью

укромный уголок, куда и заташил обер-шталмейстера. По-толковав с ним наедине, маркиз поспел украдкой, во время перерыва танцев, перешепнуться с Елизаветой. Потом снова подхватил князя и, поболтав ещё с ним, опять подошёл к цесаревне и отрывисто сообщил ей что-то к её сведению. Вообще в продолжение всего бала Шетарди был самым деятельным агентом цесаревны и не от одного только слишком разговорчивого Куракина, но и от других лиц успел подсобрать новости и слухи, окончательно убедившие его в необходимости побудить цесаревну действовать и решительно, и как можно скорее.

Елизавета в этот вечер не обнаруживала своей обыкновенной весёлости и беззаботности. Лицо её делалось всё сумрачнее и сумрачнее: её тревожили теперь не одни только неблагоприятные известия, сообщаемые ей на лету маркизом, но её сильно волновали и другие ещё мысли. Сметливый дипломат достиг своей цели: ещё ни разу в жизни цесаревна не чувствовала к Анне такой неприязни, какую чувствовала она теперь, и неприязнь эта быстро переходила в ненависть и в озлобление.

«Счастливая женщина! – думала Елизавета, бросая искоса гневные взгляды на Анну, – у неё есть всё: ничтожный и слабый муж, которым она может прикрывать, да уже и прикрывает свои грехи... у неё есть власть и несметные богатства: как много может она сделать всякому, если только пожелает! И как печальна моя горемычная жизнь в сравнении

с её жизнью... Счастливица она! Как много ещё перед ней годов, которых у меня уже нет, — тех годов, когда она будет цвести и хорошеть, а я уже буду увядать и стариться... Пройдёт ещё несколько лет, и чем будет прежняя красавица Елизавета? А она явится тогда в полном цвете если и не поразительной красоты, то той миловидности, которая в ней так нравится многим мужчинам... Да, маркиз прав, повторяя мне, что женщине нужно торопиться жить, а то улетит молодость, и ничто уже не будет мило».

Завидуя блестящей обстановке правительницы и её юности, Елизавета с ужасом раздумывала о том, что стан её начинает терять прежнюю стройность и гибкость, что белизна её лица и румянец её щёк, хотя теперь ещё и очень хороши, но всё же не те, какие были прежде; что густая её коса стала уже не так упряма под гребнем и что чуть-чуть заметные тоненькие морщинки стали показываться под её глазами, в которых нет уже того огня и того блеска, какими они ещё так недавно светились и искрились. Вспомнилось Елизавете и о том, как она в былую пору игрывала на лугу в горелки с деревенскими девушками и была такой проворной бегуньей, что никто не мог догнать её, а теперь уже тяжёленько стало ей бегать взапуски: нет прежней прыти, нет прежней ловкости. Вспомнилось цесаревне и о том, что когда, бывало, она запоёт какую-нибудь любимую песенку, звонкий голосок её свободно переливался, словно соловьиные трели, а теперь нето! Перебрала мысленно Елизавета своих сверстниц-краса-

виц, и с грустью убедилась она, что время делает своё, и тяжело стало у неё на душе. Теперь раздражённая против Анны зависть гораздо сильнее волновала Елизавету, как обыкновенную женщину, нежели волновало её прежде, как дочь Петра Великого, негодование против правительницы за похищение у неё наследственного права на русскую корону... Правительница, не охотница до танцев, вовсе отказалась от них в этот вечер под предлогом нездоровья; её не покидала мысль о Линаре, и ей стало жаль, что он не видит той беспредельной почтительности, которой окружают её теперь.

«Он, быть может, – думала Анна, – удовольствовался бы этим и не стал бы побуждать меня к такому смелому и опасному предприятию, которое даже в случае удачи удовлетворит одну лишь пустую суетность, а при несчастном исходе может навлечь на меня не только много бедствий, но даже и гибель...»

Равнодушно смотрела Анна на торжественное придворное празднество, отличавшееся уже не прежней тяжёлой азиатской, но утончённой европейской роскошью того времени. Через несколько дней в «Ведомостях» явилось описание бала, данного в Зимнем дворце. В описании этом, между прочим, сказано было: «богатые украшения и одежды на всех туда собравшихся персонах были, по рассуждению искуснейших в том людей, так чрезвычайны, что подобные оным едва ли при каком другом европейском дворе виданы были, причём благопристойность и приличный ко всему выбор и

учреждение употреблённому на то богатству и великолепию ни в чём не уступали». Такой отзыв тогдашнего, ныне не совсем удобопонимаемого публициста должно признать вполне справедливым, если принять в соображение, что, например, леди Рондо, описывая один из придворных балов, бывших около той же поры при петербургском дворе, и рассказав о великолепии обстановки и роскоши нарядов, добавляла: «всё это заставляло меня думать, что я нахожусь в стране фей, и в моих мыслях в течение целого вечера был «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Какие поэтические думы возбуждало это зрелище!».

Перед правительницей, сидевшей в больших раззолоченных креслах, поставленных на особом возвышении, происходили оживлённые танцы. Музыка, под управлением итальянца-капельмейстера, играла то гавот, то менуэт; дамы и кавалеры любезничали и смеялись, а между тем правительница, подозвав к себе президента академии наук Бреверна, разговаривала с ним о своём недавнем посещении в академии библиотеки, кунсткамеры и кабинетов с монетами и другими редкими вещами. Она объявила президенту, что пришлёт в подарок в кунсткамеру привезённый ей в дар из Персии от Шах-Надира дорогой, украшенный алмазами и жемчугами пояс жены Великого Могола. Она расспрашивала Бреверна об учёных занятиях академиков и просила выписать ей из заграницы новые французские и немецкие книги, так как весь имеющийся у неё запас для чтения должен

был скоро истощиться.

Правительница не дождалась конца бала и удалилась из залы с той же торжественностью, с какой туда вступила. Танцы продолжались и после её ухода и заключились шумным grosфатером, после которого гостям, вдобавок к обильному бальному угощению, был предложен ещё роскошный ужин.

XXXVIII

Зима замедляла действие наших войск против шведов. Русские оставались на занятых ими позициях, а правительница не думала делать никаких уступок стокгольмскому кабинету, и в Зимнем дворце происходили ежедневно совещания о дальнейших военных предприятиях. 23 ноября был отдан гвардейским полкам приказ о выступлении в двадцать четыре часа из Петербурга, так как пронёсся слух, что шведский главнокомандующий Левенгаупт направляется на Выборг. Распоряжение это сильно взволновало гвардию и произвело большой переполох среди сторонников цесаревны. Они распустили молву, что правительница без всякой надобности удаляет из столицы гвардейские полки, расположенные к Елизавете Петровне, для того только, чтобы, пользуясь их отсутствием, провозгласить себя самодержавной императрицей. Приверженцы цесаревны приступили теперь к ней с решительными предложениями, но она колебалась и на внушения маркиза Шетарди произвести немедленно переворот военной силой отвечала, что не может решиться на это из опасения, чтобы «римские гистории обновлены не были», т. е. она опасалась, что войско станет взводить и низлагать государей подобно тому, как то делали в Риме преторианцы.

Кроме того, приверженцы Елизаветы старались возбудить народ против существующего правительства; они повсюду

толковали, будто император Иоанн не был крещён, что он родился от отца, не крещённого в православную веру, что мать его держится втайне лютерской ереси; что немцы забирают всё в свои руки, что скоро приедет опять в Петербург любимец правительницы, граф Линар, и станет делать всё, что захочет, и что тогда народу будет ещё хуже, чем было при Бироне. Сопоставление этих двух имён порождало сильную ненависть к Линару. Чтобы подействовать на людей суеверных, враги правительницы распускали молву, будто над гробом императрицы Анны Ивановны являются по ночам привидения и между ними Пётр Великий, требующий от покойной государыни корону для своей дочери. Пытались для усиления замешательства пустить в ход говор, что император умер и что умышленно скрывают от народа его кончину. Поднялись толки о том, что малютке-императору предстоит самая плачевная судьба. Рассказывали, что при рождении принца тётка его приказала знаменитому математику Эйлеру составить гороскоп новорожденного. Учёный, посмотрев с обсерватории в трубу на твердь небесную, принялся за вычисления и выкладки и – ужаснулся: светила небесные предсказывали страшный жребий царственному младенцу! Тогда Эйлер, боясь огорчить императрицу и посоветовавшись со своими товарищами, заменил настоящий гороскоп подложным, в котором предрёк новорожденному: долголетие Мафусаила, мудрость Соломона, богатства Крёза, славу Александра Македонского и вообще предсказал ему такую счаст-

ливую жизнь, которая не доставалась ещё на долю никому из смертных. Вдобавок ко всем слухам агенты Шетарди пугали петербургское население молвой о приближении к столице шведов, прибавляя, что если бы не было правительницы и её сына, то не было бы и войны, так тяжело отзывающейся на всём народе.

Со своей стороны беспечная Анна Леопольдовна не принимала никаких мер для прекращения враждебных ей слухов. Она вела обычную жизнь: читала, беседовала с Юлианой, переписывалась с Линаром, а по вечерам проводила время в небольшом обществе близких ей лиц, и только по понедельникам бывали у неё более многолюдные вечерние собрания.

Перед одним из таких собраний, происходившим 23 ноября, она получила из Бреслава письмо, в котором внушали ей быть сколь возможно осторожнее с Елизаветой и советовали немедленно арестовать состоящего при цесаревне хирурга, как главного вожака той партии, которая намеревается свергнуть и её, правительницу, и сына её. В этот вечер ранее всех гостей приехал в Зимний дворец маркиз Ботта. Он просил Юлиану доложить её высочеству, что ему тотчас же, до приёма гостей, нужно видеть правительницу. Настоятельное требование маркиза было немедленно удовлетворено, и он, разъяснив Айне Леопольдовне настоящее положение дел, заключил свой разговор с ней следующими словами: «Вы находитесь на краю пропасти; позаботьтесь о себе, спасите, ра-

ди Бога, и себя, и императора, и вашего супруга!» Эти два одновременных предостережения, письменное и словесное, подействовали, наконец, на правительницу, и она решилась объясниться откровенно с Елизаветой. В обычный час съехались к правительнице гости: одни беседовали между собой, другие сели за карты, но сама она, против обыкновения, не играла в этот вечер. Она, в сильном волнении, ходила взад и вперёд по комнате, останавливаясь несколько раз у того стола, за которым играла цесаревна, и заметно было, что она хотела сказать ей что-то, но только никак не могла решиться. Наконец, преодолев себя, она слегка дотронулась до плеча Елизаветы. Цесаревна вздрогнула, а правительница сделала глазами знак, что желает переговорить с ней наедине.

Хозяйка и гостья пошли в отдалённую от гостиной комнату, и там Анна Леопольдовна начала свои объяснения с Елизаветой, предъявив ей прежде всего полученное из Бреславля письмо.

– Я ни в чём не виновата!.. – проговорила смущённая этой неожиданностью Елизавета, – я никогда и в мыслях не имела предпринимать что-нибудь против вас и против его величества... Я слишком чту данную мною вам и императору присягу, чтобы я посмела когда-нибудь нарушить её. Письмо это подослано к вам моими врагами, они же сообщают вам ложные на мой счёт известия, которые только напрасно тревожат спокойствие и ваше, и моё; на всё это решаются злые люди для того, чтобы сделать меня несчастной...

– Но ведь маркиз де Шетарди бывает у вас, а мне очень хорошо известно, что он только и старается о том, чтобы возбудить раздоры и беспорядки и тем самым отвлечь внимание России от европейской политики; я, впрочем, очень мало понимаю в политике и говорю это не прямо от себя, передаю вам только то, что говорят знающие люди, не доверять которым я не имею никакого повода...

– Мало ли что говорят, – запальчиво перебила Елизавета, – говорят, например...

– Но ведь маркиз де Шетарди бывает у вас, – с большей против прежнего настойчивостью повторила правительница.

– Да, бывает, – отрывисто ответила Елизавета.

– Я хочу, чтобы он прекратил эти посещения, – требовательным тоном проговорила правительница.

– А я не в состоянии исполнить волю вашего высочества. Я могу отказать маркизу под каким-нибудь выдуманым предлогом один раз, много два раза, а потом, когда он придет ко мне в третий раз, я должна буду принять его, против моего желания. Отчего вы не действуете проще: вы – правительница и имеете власть; так прикажите Остерману, чтобы он, со своей стороны, передал маркизу о вашем ему запрещении ездить ко мне...

– Я попросила бы вас не учить меня, – сказала правительница таким грозным тоном, который изумил Елизавету. Цесаревна смешалась. – Я немедленно прикажу арестовать Лестока, – продолжала Анна Леопольдовна, – он часто бывает

у маркиза.

– Клянусь вам всемогущим Богом, клянусь вам всем святым, клянусь памятью моего отца и моей матери, что это неправда; нога Лестока не бывала ни разу у Шетарди, – вскрикнула Елизавета, показывая на образ и заливаясь слезами.

– Не надо мне таких страшных клятв!.. Не надо!.. – проговорила изумлённая правительница. – Я верю и без них...

Набожная и богобоязненная Елизавета смело клялась теперь, так как действительно Лесток ни разу не бывал у Шетарди, а видался с ним всякий раз в уединённой роще, бывшей тогда в окрестностях Смольного двора. Прибегая к такой уловке, Елизавета думала, что тут нет никакого клятвopеcтупления, а между тем смелым оборотом разговора она прикрывала все подозрения, высказанные против неё правительницей.

Страшная клятва, так твёрдо произнесённая цесаревной, её слёзы и рыдания до такой степени сильно подействовали на Анну Леопольдовну, что она кинулась на шею Елизавете и начала просить её, чтобы она простила её за напрасные подозрения. При этом правительница ссылалась на то, что она была введена в ошибку, в которой теперь чистосердечно раскаивается.

Елизавета воспользовалась переходом молодой женщины от твёрдости к слабости и, в свою очередь, начала выговаривать ей, жалуясь на те обиды и оскорбления, какие ей при-

ходится постоянно переносить без всякого с её стороны повода. Цесаревна до такой степени успела убедить правительницу в своей невинности, что Анна расстроеным голосом сказала ей:

– Теперь я вижу, что нас ссорят злые люди: вы слишком набожны и настолько чтите и боитесь Бога, что не измените вашей присяге и никогда не призовёте напрасно Его святое имя. Впрочем, – добавила она с неуместной откровенностью, – скоро всё устроится так, что у наших недоброжелателей не будет более поводов к интригам и проискам.

От этих слов у цесаревны захватило дух, но она выдержала себя и, не говоря ничего более, возвратилась в гостиную и села продолжать игру, правительница, совершенно расстроенная объяснением с цесаревной, не знала, как дотянуть тягостный для неё вечер.

На другой день, т. е. 24 ноября, в день св. великомученицы Екатерины, правительница ездила к обедне в Александро-Невскую лавру, где была погребена её мать – царевна и герцогиня Мекленбургская, Екатерина Ивановна¹⁰⁰, и так как в этот день были именины покойной, то правительница отслужила панихиду над её могилой. Едва успела она возвратиться во дворец, как к ней явился её супруг. Его растерянный и испуганный вид предвещал что-то недоброе, и действительно он объявил правительнице, что, по дошедшим до него сведениям, не остаётся никакого сомнения, что ей, ему

¹⁰⁰ Дочь царя Ивана V и царицы Прасковьи Фёдоровны.

и всему их семейству угрожает страшная опасность.

– Непременно нужно, – говорил он, заикаясь второпях ещё более, чем всегда, – непременно нужно сейчас же арестовать Лестока, не упускать из виду цесаревны, наблюдать за маркизом и расставить около дворца и по всему городу караулы и пикеты...

– Вы, ваше высочество, – с раздражением заметила правительница, – опять с вашими предостережениями, но они мне ужасно надоели. Я вчера поверила подобным внушениям и потом чрезвычайно сожалела, когда убедилась в тех клеветах, какие взводят на Лизу. Неужели же такая чистосердечная и набожная девушка, как она, может так страшно клясться и так искусно притворяться?.. Вчера я довольно настрадалась за моё легковерие. Будет с меня и этого, я вам скажу только одно: вы слишком мнительны и чрезвычайно трусливы...

Принц тяжело вздохнул, пожал по привычке плечами и с опущенной вниз головой вышел молча от своей супруги.

В этот же день вице-канцлер Головкин давал торжественный бал по случаю именин своей жены Екатерины Ивановны, урождённой княжны Ромодановской¹⁰¹. Весь большой петербургский свет был у него в гостях, но правительница, под предлогом поминовения своей матери, отказалась от

¹⁰¹ Речь идёт о графине Екатерине Ивановне Головкиной (1701—1791). Исторический очерк, составленный по архивным документам и посвящённый её жизни, был написан М. Д. Хмыровым и увидел свет в 1867 году.

приглашения графини Головкиной и, чтобы не отвлекать от неё гостей, отменила даже обычное у себя собрание. Весь этот вечер она провела за письмом к Линару, описывая ему, между прочим, в подробностях те тревоги, которые причиняют ей клеветами на неповинную ни в чём цесаревну. Письмо это предназначалось для отправки на другой день в Кенигсберг, куда вскоре должен был приехать Линар на обратном пути из Дрездена в Петербург.

Успокоенная насчёт Елизаветы и в ожидании скорой встречи с Линаром, правительница была в этот вечер веселее обыкновенного; она заговорила с Юлианой до поздней поры и попросила её переночевать в её спальне. Болтая о том и о сём, молодые подруги заснули около полуночи крепким сном. Во дворце и кругом его было всё тихо, и только по временам раздавались обычные протяжные оклики часовых, бодрствовавших на страже, несмотря на жестокий мороз.

В то время, когда правительница и Юлиана ложились спать, кругом дворца быстро обежал какой-то человек, закутанный в шубу, с нахлобученной на глаза шапкой, что, однако, нисколько не мешало ему зорко осматриваться во все стороны. Обежав кругом дворца и убедившись, что никаких особых предосторожностей не принято, он быстро повернул в Большую Миллионную и вошёл в биллиардную, которую содержал в этой улице савояр Берлен. Там поджидал неизвестного господина секретарь французского посольства Вальденкур, который, пошептавшись немного с вошедшим

в бильярдную посетителем, вручил ему несколько свёртков червонцев.

– Желаю вам, господин Лесток, полного успеха, – проговорил тихо секретарь.

– Я в этом вполне уверен... Впрочем, если бы я не решился на моё предприятие, то для меня всё равно: я должен был бы пропасть, так как завтра буду непременно арестован, – проговорил довольно громко Лесток.

Выбежав проворно из бильярдной с полученными от Вальденкура червонцами, Лесток пустился опрочеть к дворцу цесаревны, бывшему не в дальнем расстоянии от бильярдной, на том почти месте, где ныне находятся казармы Павловского полка.

Лесток нашёл Елизавету в страшном волнении, которое усилилось ещё более, когда он объявил ей, что в настоящую минуту не остаётся ничего более, как только действовать самым решительным образом, что теперь для этого самая благоприятная пора, что завтра, по выступлении в поход гвардейских полков, будет уже поздно, да и он не в состоянии будет ничего предпринять, потому что утром возьмут его в тайную канцелярию. Цесаревна, видимо, колебалась, она молча слушала убеждения преданного ей человека, и, чтобы окончательно поколебать нерешительность Елизаветы, Лесток подал ей небольшой клочок папки. На одной стороне этого клочка была нарисована цесаревна в императорской короне, а на другой она была изображена в монашеском оде-

янии, а вокруг неё были колёса, виселицы, плахи, топоры и разные орудия пытки, ожидавшие её приверженцев.

– Ваше императорское высочество, – сказал решительным голосом Лесток, – выбирайте одно из двух: или сделаться императрицей, или отправиться на заточение в монастырь и видеть при этом, как ваши верные слуги будут гибнуть в казнях и страдать в пытках. Если даже, – заметил Лесток, – вы и не успеете теперь в вашем предприятии, то вся разница будет только та, что вы попадёте в заточение несколькими месяцами ранее, так как во всяком случае вы не избежите этой участи... Решайтесь же на что-нибудь!

В это время к цесаревне пробрались семь гренадёров Преображенского полка. Они объявили ей, что так как гвардия уходит завтра в поход, то цесаревне необходимо теперь же положиться на войска и порешить со своими врагами. Окружавшие цесаревну, тогда ещё неизвестные лица, Алексей Разумовский, Михаил Воронцов и Пётр Шувалов¹⁰² тоже склоняли её к решительным мерам.

Елизавета упала на колени перед образом Спасителя и долго молилась не только о том, чтобы Господь благословил исполнение её предприятия, но чтобы Он и отпустил ей ту страшную клятву, которую она только вчера дала правительнице.

Окончив молитву, цесаревна объявила, что она готова на

¹⁰² Михаил Ларионович Воронцов, граф, писал манифест о вступлении на престол Елизаветы Петровны; Пётр Иванович Шувалов, граф.

всё, и в сопровождении горстки своих приверженцев отправилась добывать корону...

XXXIX

Под покровом ночи, с 24 на 25 ноября 1741 года, совершилось в Петербурге событие, значение которого было непонятно для зрителя, не посвящённого в тайну замысла, приводимого в исполнение.

Около 12 часов ночи к казармам Преображенского полка подъехала в санях молодая женщина с четырьмя мужчинами: из них один заменял кучера, двое стояли на запятках, а один сидел рядом с ней. Около саней бежали семь Эти ребята, пробегая мимо казарменных помещений, стучали в двери и в окна, вызывая своих полковых товарищей именем цесаревны. Заспанные солдаты, одевшись наскоро, кое-как, выбегали с заряженными ружьями на улицу и окружали сани, медленно двигавшиеся вдоль преображенских казарм. Вскоре около саней составила толпа чевек в 300, и они, вместе с цесаревной, привалили на полковой двор. Здесь при слабом свете нескольких фонарей звёздного неба, отражаемом белой пеленой снега, Елизавета, выйдя из саней и став посреди гренадёров, сказала им:

– Ребята! вы знаете, чья я дочь! Идите за мной!..

Так как заговор в пользу цесаревны составлялся давно и так как и офицеры, и солдаты знали уже, в чём дело, то никаких особых объяснений теперь не требовалось. Елизавета села опять в сани, а гренадёры гурьбой побежали за ней. На

пути число их уменьшилось, так как по несколько человек, отделяемых от отряда, были отправлены в разные стороны для заарестования сановников, считавшихся наиболее преданными правительнице. С значительно уменьшившимися вследствие этого силами подъехала Елизавета на угол Невской «перспективы» и Адмиралтейской площади, и перед ней выдвинулся в ночном мраке Зимний дворец. Ни одного огонька не светилось уже в его окнах, видно было, что обитатели дворца погрузились в глубокий сон. Наступало решительное мгновение: у Елизаветы замер дух, она чувствовала, что у неё не надолго достанет отваги, возбуждённой в ней её прислужниками.

– Не наделать бы нам шуму санями и лошадьми, – проговорил один гренадёр, – вишь, как визжат полозья, да лошади-то, чего доброго, как назло примутся фыркать. Вылезай-ка лучше, матушка, из саней, да пойдём все пешком, – добавил он, обращаясь к Елизавете, за санями которой следовали ещё трое других саней, взятых на всякий случай с полкового Преображенского двора.

Елизавета повиновалась бессознательно этому распоряжению. Она вмешалась в толпу солдат и направилась с ними пешком к Зимнему дворцу, но тотчас же оказалось, что небольшие и робкие шаги женщины были вовсе не под меру размашистым и смелым шагам рослых солдат.

– Вишь, как она отстаёт от нас. Подхватывай её, ребята, на руки! – крикнул тот же молодец, и цесаревна не успела

опомниться, как уже очутилась на руках своих спутников, которые бегом принесли её к дворцовой караульне.

Сильный, здоровенный храп раздавался там, когда вошла туда Елизавета со своими главными пособниками, весь караул спал вповалку. Очнувшийся прежде всех барабанщик, видя что-то необыкновенное, кинулся было к барабану, но прежде чем успел ударить тревогу, Лесток кинжалом распорол на барабанае кожу и сделал то же самое на двух других бывших в караульне барабанах. Четверо из караульных офицеров попытались было оказать сопротивление, но их притиснули к стене и обезоружили и, втолкнув в соседний с караульной чулан, заперли там, приставив часовых.

По задней дворцовой лестнице, освещаемой одной только сальной свечкой, захваченной в караульне, поднималась Елизавета, сопровождаемая гренадёрами. Состоявшие в разных местах дворца часовые, озадаченные неожиданным появлением цесаревны в глубокую ночь, не знали, что им делать, и молча сходили со своих постов, которые занимали елизаветинские гренадёры. Между тем часть пришедших с Елизаветой солдат сторожила все дворцовые выходы. Таким образом, без всякой тревоги и шума она пробралась во внутренние покои правительницы. Теперь оставалось ей пройти одну только комнату, отделявшую её от спальни Анны Леопольдовны. В страшном волнении опустилась в кресла Елизавета, чтобы собраться с силами: ноги её подкашивались, руки дрожали, голос замирал. Осторожным шёпотом обод-

рили её Лесток и Воронцов. Цесаревна встала с кресла и медленным шагом, притаив дыхание, начала подходить к спальне правительницы.

С сильным биением сердца и с лихорадочной дрожью во всём теле она прикоснулась к ручке дверного замка, нерешительно нажала её, дверь в спальню тихо приотворилась. Там, при слабом свете ночной лампы, Елизавета увидела спящую сладким сном на софе Юлиану. Цесаревна остановилась в нерешительности, но Лесток слегка подтолкнул её, и она очутилась в спальне. На цыпочках подкралась она к правительнице и неслышным движением руки распахнула задёрнутый над постелью шёлковый полог.

– Пора вставать, сестрица!¹⁰³ – проговорила Елизавета насмешливо-ласковым голосом, наклонившись над Анной Леопольдовной.

Правительница вздрогнула и, не понимая, что вокруг неё происходит, быстро, в одной сорочке, вскочила в постели.

Горделиво стояла перед ней разодетая в бархат Елизавета, с голубой через плечо лентой и с андреевской звездой на груди, которые она, как нецарствующая особа, не имела права носить.

Не успела Анна Леопольдовна проговорить ни одного слова, как увидела выглядывавшие из-за дверей соседней комнаты суровые лица гренадёров, услышала тяжёлый топот и скрип их сапог, стук об пол ружейных прикладов и бряцанье

¹⁰³ Подлинные слова Елизаветы. (Примечание автора).

оружия.

– Я пропала! – вскрикнула она, закрыв в отчаянии лицо руками.

От громкого возгласа Анны Леопольдовны проснулась Юлиана и, сидя на софе со свешенными вниз голыми ножками, бессознательно посматривала кругом. Она протирала свои чёрные глазки, думая, что всё это видится ей во сне, а не свершается наяву.

– Умоляю вас, – проговорила Анна, задыхаясь и опускаясь на колени перед Елизаветой, – не делать никакого зла Юлиане и пощадить моих детей!..

– Никому никакого зла я не сделаю, – равнодушно отвечала Елизавета, – только одевайтесь поскорее, потому что здесь хозяйка уже я, а не вы... Да и ты, сударушка моя, поторапливайся поживее, – шутливо добавила она, обращаясь к недоумевавшей Юлиане.

Гренадёры гурьбой ввалили теперь в спальню правительницы, и в присутствии этих неожиданных ночных посетителей молодые женщины начали одеваться. Елизавета поторапливала их.

– Надобно взять принца Ивана и принцессу Екатерину и увезти их, – проговорила она как бы про себя и затем, обратившись к своим спутникам, приказала никого не выпускать из спальни.

Исполняя последнее приказание цесаревны, по двое гренадёров стали на караул у каждой двери, скрестив штыки, а

Елизавета, в сопровождении Лестока, отправилась в те комнаты, где находились император и его сестра, принцесса Екатерина.

Малютка спал в это время беззаботным сном, свернувшись крендельком в своей колыбели. Осторожно вынула его оттуда Елизавета.

– Мне жаль тебя, бедное дитя, – проговорила она, – ты не виноват ни в чём, виноваты только твои родители.

С этими словами она передала спавшего ребёнка на руки его мамки, не догадывавшейся вовсе о том, что делается.

Так же осторожно взяла Елизавета из колыбели и крошечку Екатерину, передав её кормилице.

После этого цесаревна отправилась в спальню матери захваченных ею детей. «Иванушка» спал беспробудно, а его сестричка как-то болезненно ворковала спросонья. Между тем в спальню Анны Леопольдовны привели окружённого гренадёрами принца Антона. Испуганный и бледный, он только с немым укором посмотрел на свою растерянную жену и бросил сердитый взгляд на Юлиану, которая, как казалось, всё ещё не сознавала ясно того, что происходило. Цесаревна прикрикнула на неё, приказывая ей не наряжаться как на свадьбу, а выбираться поскорее. По распоряжению Елизаветы горничные принесли шубки и шапочки для Анны Леопольдовны и её фрейлины.

– Теперь можно собираться в путь-дорогу! – весело проговорила Елизавета, окинув глазами спальню и видя, что уже

забраны все, кого ей нужно было забрать.

– Поздравляем тебя, наша матушка, с новосельем, – гаркнул один преображенец, обращаясь к цесаревне.

– Дай, Господи, жить тебе здесь подобию-поздорову! – подхватил другой.

– И сто годков процарствовать! – добавил третий.

Ласковой улыбкой отвечала Елизавета на эти приветствия своих приверженцев, и видя, что все готовы, сделала Анне Леопольдовне глазами знак, чтобы она выходила из спальни. В это мгновение бывшая правительница вспомнила о письме, написанном ею с вечера к Линару, она вздрогнула от негодования при мысли, что Елизавета узнает все её сердечные тайны, и кинулась к столику, на котором лежало письмо, чтобы взять его.

– Здесь ничего нельзя трогать! – строго сказала Елизавета, кладя на письмо одну руку, а другой отстраняя от стола Анну.

– Умоляю вас, отдайте мне его, оно вам не нужно... – прошептала молодая женщина.

Не отвечая ничего, Елизавета взяла со стола запечатанное письмо и заложила его за корсаж своего платья.

Окружённая со всех сторон гренадёрами, выходила из своей спальни бывшая правительница. Позади неё с поникшей головой шёл принц Антон; за ним мамки несли их детей, около которых была Юлиана. Теперь торжествующая Елизавета проходила со своей добычей через ярко освещённые за-

лы дворца, так как хозяйничавшие там солдаты зажгли свечки во всех люстрах и кенкетах. Разбуженная начавшимся во дворце шумом прислуга сбегалась со всех сторон и, оторопелая, смотрела с изумлением, как уводили солдаты правительницу и её семейство.

Идя по залам и спускаясь с лестницы, шедшие отдельной кучкой позади своих товарищей гренадёры принялись толковать между собой о случившемся на свой лад.

– Наша-то матушка цесаревна, не бойсь, – сама на своих сопротивных пошла, а не послала других, как великая княгиня послала фельдмаршала против «ригента», – заговорил один из них.

– Не так, братец ты мой, рассуждаешь, – перебил другой, – там была особь-статья, женскому полу супротив своих ходить можно, а против мужского, да ещё по ночам, никак нельзя. Да и что был за важная птица «ригент»? На нём, почитай, и заправского генеральства не было, а здесь что ни говори – император, хоть и махонький; да и мать-то его царская внучка...

– А всё же не настоящая царица, какой будет теперь наша цесаревна, – возразил первый.

– Вестимо, была бы царицей, так кто бы посмел идти против неё?

– Да что, братцы, – начал молчавший пока гренадёр, – теперь и войны у нас никакой не было, а вот как мы с год тому назад ходили курляндчика забирать, так совсем иное дело

выходило. Орал, окаянный, во всю глотку, а ругань-то какую учинил и нам, и всему начальству. Отбивался – так я вам скажу – словно бешеный: кого в скулу треснет, кого в ухо свистнет, кому в зубы заедет; повозились мы с ним порядком, только прикладами да верёвками и уняли. А теперь-то что было? Встала с постельки, да только и проблеяла, словно голодная козочка.

– Просила, кажись, о чём-то цесаревну, – перебил один из гренадёр.

– Да не о себе, – заметил его товарищ, – а о той барышне-красотке, что с ней жила; ведь какая она пригожая! За неё-то она и просила; сразу видать, что, должно быть, куда какая добрая.

– Да что, и вправду, дурного о ней никогда слышать не приходилось; тихая была; зла никому не делала, – заговорили гренадёры.

– Вишь, муженёк-то у ней плох, – начал один из них, – словно одурелая под осень муха. Выдь-ко он к нам, как следует, молодцом, да прикрикни на нас по-командирски, так того и гляди, что мы, пожалуй, и опешили бы... значит, как есть начальство заговорило бы с нами.

– А что, ребяташки, не взяли ли мы греха на душу, ведь у нас и ей и её сынку присяга была? – боязливо спросил один гренадёр, внимательно прислушивавшийся к толкам своих товарищей.

– Какой нам грех? – бойко крикнул кто-то из них. – Ведь

говорят, что и на том свете наши командиры за нас в ответе будут, а мы ни при чём останемся.

– Так-то так, а всё же и её жалостно, двое деток мал-мала меньше.

– Ну, цесаревна их милостью своей не оставит, и что им на харчи по положению следует, то отпущать им прикажет, – успокоительным голосом заключил какой-то служивый.

XI

По выходе из дворца правительницу усадили в первые сани, на запятках и на козлах которых поместилось несколько гренадёров – победителей; в другие сани, под такой же надёжной охраной, посадили принца, а в третьи – низверженного императора и его сестру с их мамками. С весёлым шумом и громким гиком тронулся поезд, словно праздничный, за ним в четвёртых санях ехала Елизавета с ближайшими из своих сподвижников. Поезд быстро примчался к её дворцу, находившемуся на том почти месте, где ныне стоят казармы лейб-гвардии Павловского полка. Сюда же привезли одного вслед за другим: Миниха, Остермана, Левенвольда и Головкина, у которого только что окончился именинный пир его жены. Всех арестованных разместили во дворце цесаревны, по отдельным комнатам, под самым строгим караулом. Из них Остерман был порядочно избит солдатами за то, что, несмотря на свою болезнь и дряхлость, он оказал им отчаянное сопротивление и, кроме того, в самых резких выражениях отзывался об Елизавете и её насилии над правительницей.

Пока весь Петербург крепко спал, не зная ровно ничего о том, что делалось на улицах и в двух дворцах, двенадцать вестовых на осёдланных заранее лошадях мчались в казармы гвардейских полков и к начальствующим в столице лицам с известием о случившейся перемене правления. Сперва

в городе, среди глубокой ночной тишины, послышался какой-то глухой шум и началось какое-то неопределённое движение. Обитатели и обитательницы Петербурга вскакивали с постелей, подбегали к окнам и, слыша суетню на улицах, думали, что не вспыхнул ли где-нибудь пожар. Действительно, вскоре поднялось над городом большое зарево, но оно происходило не от пожара, а от множества костров, разложенных перед дворцом цесаревны собравшимися теперь около него гвардейскими солдатами, которые, по случаю жестокой стужи, разместились около них. Толпы народа хлынули туда, но все терялись в догадках о том, что могло бы случиться необыкновенного. Бежавшие ко дворцу цесаревны осыпали один другого вопросами, на которые, однако, никто не мог дать никакого определённого ответа.

До какой степени произошёл быстро и неожиданно настоящий переворот, лучше всего можно видеть из «Записок» князя Я. П. Шаховского, прославшего в качестве главного начальника петербургской полиции переворот, совершённый Минихом, а теперь, в звании уже сенатора, не знавшего ровно ничего о вновь совершившейся перемене.

Князь пробыл до полуночи на именинах жены благоволившего к нему вице-канцлера Головкина и вернулся домой «в великом удовольствии и приятном размышлении о своих поведеньях, что он уже сенатор между стариками, в первейших чинах находящимися, обретается и что будучи так много могущего министра любимец, день ото дня лучшие

себе приёмности ожидать и притом себя ласкать может надолго счастливым и от всяких злоключений быть безопасным». Только что успел заснуть князь-сенатор в таких приятных мечтах, как необыкновенный стук в ставень его спальни и громкий голос сенатского эзекутора Дурново разбудил его. Эзекутор под окошком сенаторской спальни во всю мочь кричал, чтобы его сиятельство как можно скорее ехал во дворец цесаревны, «ибо-де она изволила принять правление, и я, – проговорил торопливо эзекутор, – с тем объявлением бегу к прочим сенаторам».

«Вы, благосклонный читатель, – пишет Шаховской, – можете вообразить, в каком смятении дух мой тогда находился! Нимало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов к примечаниям не имея, я сперва думал: не сошёл ли эзекутор с ума, что так меня встревожил и вмиг удалился, но вскоре потом увидел многих по улице мимо окон моих бегущих людей необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был, куда и я поехал, чтобы скорее узнать точность такого происшествия».

Крепко подвыпившие солдаты шумели теперь перед дворцом цесаревны, ни на кого не обращая внимания; народ, не выражавший, впрочем, как это было при падении Бирона, громкой радости, до такой степени запрудил ближайšie ко дворцу улицы, что не было никакой возможности пробраться в экипажах из дворца цесаревны в Зимний дворец, почему и приказано было всем явившимся к цесаревне сановни-

кам идти туда пешком для принесения присяги воцарившейся теперь государыне. Вскоре, однако, полиция водворила в народе должный порядок; на всём пути, лежащем между двумя дворцами, были расставлены в два ряда войска, и Елизавета, окружённая своими ближайшими сподвижниками, поехала из прежнего своего жилища в Зимний дворец. Солдаты приветствовали её громкими криками, но толпа, по свидетельству князя Шаховского, оставалась в «учтивом молчании». Всем становилось теперь жаль Анну Леопольдовну, правление которой отличалось кротостью, и все опасались своеволия солдатчины, которое и не замедлило вскоре проявиться. Гвардейцы стали вскоре буйствовать на улицах и позволяли себе обижать кого ни попало и на рынках, и в обывательских домах.

Около четырёх часов вечера пушечные выстрелы, раздававшиеся со стен Петропавловской крепости, известили о переезде её величества императрицы Елизаветы Петровны в Зимний дворец из прежнего её дворца, в котором оставались под надёжной стражей падшее брауншвейгское семейство и преданные правительнице вельможи.

Не особенно сильно терзалась Анна Леопольдовна о потере её власти и величия, но она приходила в отчаяние при мысли, что ей, быть может, уже не придётся увидеть Линара, и терзалась при мысли, что она будет разлучена с Юлианой. Тревожила её и участь детей, но о судьбе своего мужа она вовсе не думала, хотя в то же время и не могла не видеть,

до какой степени он был прав, когда так настойчиво предостерегал её против замыслов Елизаветы. Анне Леопольдовне казалось даже, что теперь наступает для неё та желанная ею, чуждая всяких принуждений и стеснений жизнь, о которой она не переставала мечтать даже и в те минуты, когда, уступая настояниям Линара, готовилась провозгласить себя самодержавной императрицей. Молодая женщина порой даже радовалась тому, что с неё спало тяжкое бремя правления и что теперь не станут её тревожить ни происки, ни интриги и что жизнь её, хотя уже и не блестящая, пойдёт спокойной колеёй. Все желания её в эту пору ограничивались только желанием скорого свидания с Линаром.

По-видимому, такое желание должно было вскоре исполниться. Письмо её к Линару, захваченное Елизаветой, произвело на государыню впечатление в пользу бывшей правительницы. Из письма правительницы императрица могла убедиться, что Анна Леопольдовна не была непримиримым её врагом, что молодую женщину не мучила жажда власти, что она отвергала те предложения, которые делались ей для того, чтобы избавиться от цесаревны и принять титул императрицы. Из письма этого, проникнутого от начала до конца откровенностью, Елизавета могла заключить, что Анна, лишившись однажды власти, не будет уже опасной соперницей новой государыне. Под таким впечатлением Елизавета решила поступить с бывшей правительницей как нельзя более снисходительно. Она просила маркиза Ботта передать

Анне Леопольдовне, что будут приняты все меры для того, чтобы доставить принцессе и её семейству свободную, спокойную и обеспеченную жизнь. Маркизу Шетарди Елизавета говорила: «Отъезд за границу принца и принцессы решён, и чтобы им заплатить добром за зло, я прикажу выдать им деньги на путевые издержки и оказывать им почёт, подобающий их сану». В тоже время в Петербурге толковали, как о деле окончательно решённом, что правительнице и её супругу будет оставлена вся их движимость, что им будет назначено ежегодное содержание по 150 000 рублей и что Анна Леопольдовна со всем её семейством будет отпущена в Германию, для чего и ассигновано уже назначенному сопровождать её гоф-фурьеру 30 000 рублей. Со своей стороны правительница обязывалась подчиняться только следующим требованиям: никогда более не переступать через русскую границу, возвратить, прежде отъезда, все находившиеся у неё коронные бриллианты и драгоценности, оставив у себя лишь то, что было ей подарено императрицей Анной Ивановной; наконец, она должна была отречься от титулов императорского высочества и великой княгини, называясь по-прежнему светлейшей принцессой Мекленбургской и принеся императрице присягу на верность за себя и за своего сына. От принца Антона требовалось только, чтобы он сложил с себя звание генералиссимуса русских войск. О низложенном младенце-императоре не было никакого уговора, отрешение его от престола считалось делом поконченным вследствие само-

го хода событий.

Наконец обещание императрицы предоставить Анне Леопольдовне свободу и соответственное её рождению обеспечение было выражено Елизаветой и во «всенародном» манифесте, изданном 28 ноября. В манифесте этом сказано было: «в рассуждении принцессы Анны и принца Ульриха Брауншвейгского, к императору Петру II по матерям свойства и особенной природной нашей милости, не хотя причинить им никаких огорчений, с надлежащей им честью и с достойным удовольствием, предав их к нам разные предосудительные поступки крайнему забвению, всех в их отечество всемилостивейше отправить повелели».

Действительно, 12 декабря 1741 года всё брауншвейгское семейство было отправлено из Петербурга в Ригу. Заведовавшему его отправкой камергеру Василию Фёдоровичу Салтыкову дана была секретная инструкция в том смысле, чтобы отвести «брауншвейгскую фамилию» «как можно скорее через границу», оставив её на жительстве в Кенигсберге, куда она, по предварительному расписанию пути, должна была прибыть 28 декабря. Перед выездом Анны Леопольдовны Елизавета приказала удостоверить её в своём благоволении и уверить, что она, принцесса, и её семейство не будут забыты высочайшими милостями. Юлиане и сестре её Бине разрешено было отправиться в свите бывшей правительницы.

На другой, однако, день после получения Салтыковым

этой инструкции ему был вручён противоречивший ей «секретнейший» указ, в котором говорилось: «хотя данной вам секретной инструкцией и велено вам в следовании вашем никуда в города не заезжать, однако же, ради некоторых обстоятельств, то через сие отменяется, и вы имеете путь продолжать наивозможно тише и держать растахи на одном месте дня по два».

При приближении к Нарве занемогла маленькая принцесса Екатерина. Мать её, испуганная болезнью дочери, стала просить капитана, сопровождавшего «фамилию», остановиться в дороге, чтобы дать больной малютке некоторый отдых. Имея тайное приказание замедлять сколь возможно далее выезд правительницы из пределов России, капитан очень охотно согласился исполнить просьбу Анны Леопольдовны, которая вследствие этой задержки приехала в Ригу только 9 января 1742 года.

Между тем в Петербурге дела принимали оборот, неблагоприятный для бывшей правительницы. Остерман и Миних при допросах слагали главную вину на неё, рассчитывая всего более на то, что принцесса, переехав уже русскую границу, находится вне всякой опасности. Кроме того, Елизавета сочла нужным потребовать от Анны Леопольдовны отчёты в деньгах и в драгоценных вещах, бывших на руках у её фрейлины Юлианы. В то же время иностранные посланники из угодливости перед новой императрицей и желая показать свою заботливость о её благополучии, указывали ей

на те опасности, какие могут угрожать её власти со стороны брауншвейгской фамилии, если эта фамилия поселится в Германии и будет пользоваться значительными средствами, назначенными ей от русского двора.

Спустя неделю по приезде Анны Леопольдовны в Ригу прискакавший туда от императрицы курьер привёз приказание задержать бывшую правительницу в Риге до окончания суда над Остерманом и Минихом. Вследствие этого принцессу и её семейство поместили в городском замке, где они и прожили до 2 января 1743 года, когда пришло из Петербурга приказание перевести Анну Леопольдовну, её мужа и их детей в Дюнамюндскую крепость и содержать там под самым строгим надзором. Отношение императрицы к Анне Леопольдовне делалось всё суровее, и положение «фамилии» заметно ухудшалось; с бывшей правительницей стали обходиться, как с простой арестанткой, и в сентябре 1743 года её и всё её семейство отправили в Раненбург, ныне безлюдный город в Рязанской губернии, и там засадили её, её мужа и детей в крепость, построенную князем Меншиковым.

Придворные козни против бывшей правительницы не унимались: распускали слухи об её попытках к бегству, а также и о том, будто какой-то монах похитил бывшего малютку-императора и хотел увезти его за границу, и что предприятие его не удалось потому, что он был задержан в Смоленске. Слухи эти тревожили сильно императрицу, как бы нащёптывая ей о возможности каких-либо покушений на

её власть со стороны брауншвейгской фамилии. Вдобавок ко всему этому русский посланник в Берлине, граф Чернышёв, сообщал императрице, что король Фридрих II¹⁰⁴, заведя с ним разговор об императрице и выражая ей беспредельную свою преданность, заметил, что необходимо для спокойствия её величества увезти всё брауншвейгское семейство в такое удалённое и глухое место в России, чтобы никто не мог знать о его существовании.

Императрица решила последовать этому совету, которым великий король-философ – этот практичный Макиавелли XVIII века¹⁰⁵ – мстил Анне Леопольдовне за неудачу своих у неё заискиваний против враждебной ему Австрии, не предчувствуя, что оберегаемая им теперь Елизавета доведёт его впоследствии до того, что он, в припадке отчаяния, после поражения, нанесённого ему русскими войсками, приставит к своему лбу пистолетное дуло...

¹⁰⁴ Фридрих II Великий (1712—1786), прусский король с 1740 г.

¹⁰⁵ Макиавелли, Никколо (1469—1527), итальянский политический деятель, историк и писатель. Видя гибельные последствия политической раздробленности Италии, Макиавелли выступал за её объединение путём установления любыми средствами сильной власти государя.

XLI

Наступило в Петербурге тоскливое январское утро с оттепелью и туманом, и при медленном рассвете, почти ещё в потёмках, рабочие принялись сколачивать эшафот перед зданием сената. На приготовленный ими эшафот поставлены были простой деревянный стул и плаха – низкий толстый обрубок дерева. Готовилось исполнение смертной казни, и толпы любопытных спешили к зданию сената, в ожидании зрелища кровавого, но вместе с тем и потешного для многих. Сенат помещался тогда в так называемых коллегиях, где ныне университет, и собравшийся на этом месте народ с нетерпением ожидал вывода преступников из ворот сената, в который они были доставлены ещё ночью. В окнах коллегий виднелось множество зрителей, между которыми находились и представители иностранных держав с чиновниками посольств.

На колокольне Петропавловского собора пробило девять часов. Ворота сенатского здания растворились, и из них выступило печальное шествие. Оно открывалось сильным отрядом гренадёров, перед которым шли барабанщики, бывшие безостановочно «сбор». За этим отрядом везли впереди всех, в простых крестьянских санях, графа Андрея Ивановича Остермана. Голова его, поверх растрёпанного парика с осыпавшейся пудрой, была покрыта дорожной шапкой, на

нём был его обыкновенный домашний наряд – красный, доходивший до пяток, подбитый лисьим мехом шлафрок, неизменно служивший ему десятки лет. За санями, в которых ехал Остерман, шли пешком: фельдмаршал граф Миних, вице-канцлер граф Головкин, президент коммерц-коллегии барон Менгден¹⁰⁶, обер-гофмаршал Левенвольд и «статский действительный советник» Тимирязев. Всех их, сопровождаемых и спереди, и сзади, и с боков гоенадёрами с прикнутыми штыками, ввели в обширный круг, составленный из плотно сомкнутой цепи солдат. Барабанный бой замолк. Четыре солдата подняли Остермана из саней и повели его на эшафот. Там они посадили его на стул. Тогда на эшафот взошёл сенатский секретарь и начал читать Остерману смертный приговор. Расслабленный старик обнажил голову и с невозмутимым хладнокровием слушал чтение приговора. Только по временам он взглядывал на небо и тихим движением головы выражал своё изумление при исчислении содеянных им государственных преступлений. Чтение приговора кончилось. Солдаты подступили к Остерману, повалили его навзничь и потом приподняли вверх его голову, схватив за волосы и притянув на плаху. Спокойное выражение на лице Остермана не изменилось нисколько и в эти ужасные минуты; заметно было только дрожание в руках, которые он вытянул вперёд через плаху.

¹⁰⁶ В правление Анны Ивановны, в руках Карла Людвиг Менгдена сходились многие важнейшие нити придворных интриг.

– Чего попусту руки суёшь, – крикнул заботливо один из бывших на эшафоте солдат, – не их будут рубить, а голову!

Остерману подобрали руки и сложили их крестообразно на груди. Между тем другой палач принялся медленно вынимать из кожаного мешка топор и, потрогав рукой его лезвие, стал подле плахи и замахнулся топором, готовясь по команде секретаря нанести Остерману смертельный удар.

– Бог и всемилостивейшая государыня даруют тебе жизнь! – громко произнёс секретарь. При этих словах один из палачей опустил топор вниз, а другой выпустил из рук волосы Остермана. Солдаты и палачи приподняли его. Остерман и теперь оставался так же спокоен, как и прежде.

– Отдайте мне мой парик и мою шапку, – сказал он окружавшим его. Ему подали их. Не торопясь несколько, он накрыл ими голову и, не выказав ни малейшего волнения, сам застегнул ворот рубашки и шлафрока. Солдаты понесли его с эшафота в сани.

В толпе пронёсся гул ропота: ожидания кровожадной черни не исполнились; но солдаты ласково обходились с осуждёнными: обращаясь к кому-либо из них, они почтительно называли его «батюшкой» и выказывали к ним сострадание вообще, в особенности же к Миниху, который при переходе из крепости в сенат шутил с конвойными и говорил им, что и на плахе они увидят его таким же молодцом, каким выдывали в сражениях.

Действительно, если Остерман выказал невозмутимее

спокойствие, то Миних, не зная ещё о том, что его ожидает помилование и, следовательно, готовясь к смерти, как бы рисовался своим бесстрашием. Тогда как все приговорённые к смертной казни обросли во время их заключения в крепости бородами и были в изношенных платьях, один только Миних был выбрит и сохранил обычную щеголеватость в своей одежде. Гордо и презрительно, со всегдашней своей величавой осанкой, он беспрестанно озирался кругом, как будто всё происходящее несколько не касалось его. Твёрдыми шагами взошёл он на эшафот и там с рассеянным видом выслушал сперва смертный приговор, а потом и объявление о помиловании.

На лице Левенвольда, вошедшего на эшафот после Миниха, выражалась сильная скорбь и были видны следы тяжкой болезни, но и он сохранял хладнокровие и твёрдость. Только Головкин и Менгден оказались малодушными: они заметно дрожали всем телом и, точно стыдясь, закрывали свои лица одеждой до самых глаз.

После того как все осуждённые перебивали на эшафоте, чтобы выслушать там сперва смертный приговор, а потом помилование, Миниха первого вывели из круга и в придворном возке, в сопровождении четырёх гренадёров, отправили в Петропавловскую крепость. За ним повезли и его сотоварищей по несчастью, отдельно каждого в деревенских санях.

Всех, которым был объявлен теперь приговор, судили в сенате беспощадно, даже не по подлинному делу, а только

по экстракту, препровождённому в сенат из тайной канцелярии и составленному там так, что обвиняемым не представлялось никаких способов даже к малейшему оправданию. Они были приговорены сенатом: Остерман – к колесованию, Миних – к изломанию членов и к отсечению головы; к последнему роду казни присуждены были также: Головкин, Левенвольд и Менгден. Следствие над ними велось с большим пристрастием не в их пользу, оно продолжалось с небольшим месяц и притом по приготовленным заранее вопросам. Следствие над ними кончилось 13 января, а 14 января состоялось повеление императрицы «судить их по государственным правам и указам». В следственной комиссии, заседавшей во дворце, не видимой никем присутствовала и Елизавета. Она, находясь за устроенной перегородкой, могла следить лично за ходом всякого дела, сущность которого состояла в обвинении подсудимых в намерении предоставить императорскую корону принцессе Анне, отстранив навсегда от престола цесаревну.

На другой день после объявления приговора, ранним утром приказано было отправить осуждённых в ссылку с тем, чтобы на рассвете следующего дня никто из них не оставался в Петербурге. Исполнение этого распоряжения возложено было на сенатора князя Я. П. Шаховского. При этом жёнам осуждённых объявлено было, что они, если хотят, могут отправиться с мужьями в ссылку, и все они показали в этом случае пример самоотвержения, заявив желание вос-

пользоваться данным им разрешением.

Наступили сумерки, и всё было готово для отправки Остермана; сани, назначенные для него, стояли у крыльца той казармы, в которой он содержался. Между тем старик лежал и громко стонал, жалуясь на подагру. Солдаты подняли его с постели и бережно отнесли в сани; сюда же села и жена его Марфа Ивановна, причинявшая ему в былое время своей привередливостью много горя, но теперь оказавшаяся безгранично преданной ему подругой. Под прикрытием надёжного конвоя повезли Остермана в Берёзов, где он окончил свою превратную жизнь. Вдова его была возвращена из ссылки и умерла в 1781 году.

После Остермана стали отправлять Левенвольда. Когда князь Шаховской вошёл в большую и тёмную казарму, где сидел Левенвольд, к ногам сенатора, обнимая его колени, упал какой-то старик в дрянной, запачканной одежде, с седой бородой и с такими же всклокоченными волосами, с впалыми щеками и бледным лицом. Он рыдал и говорил так тихо, что нельзя было разобрать его слов. Шаховской принял его за мастерового и велел вести себя к бывшему графу Левенвольду. Оказалось, однако, что эта жалкая личность и был ещё так недавно блиставший при дворе обер-гофмаршал, граф Левенвольд, которому теперь изменила твёрдость, выказанная им при публичном объявлении приговора.

«В тот момент, – говорит в своих «Записках» Шаховской, – живо предстали в мысль мою долголетние его все-

гдашние и мной виденные поведения в отменных у двора монарших милостях и доверенностях, украшенного кавалерийскими орденами, в щегольских платьях и приборах, в отменном почтении перед прочими». С надрывающимся сердцем исполнил Шаховской свою обязанность и отправил Левенвольда в Соликамск, где он и умер 22 июля 1758 года, прожив шестнадцать лет в самом тяжёлом изгнании.

Дошла очередь и до Миниха, этого, по словам Шаховского, «героя многократно с полномочной от монархов доверенностью многочисленных войск армией командовавшего, многократно над неприятелем за одержанные победы торжественными лаврами венчанного, печатными в отечестве нашем похвальными одами Сципионом, паче римского, восхвалявшегося». И в эти роковые минуты Миних выдержал себя. Когда к нему вошёл князь Шаховской, он стоял у стены, противоположной входу, спиной, смотря в окно. При входе князя Миних обратился к нему и глядел такими смелыми глазами, какими окидывал, бывало, поле битвы. Он бодро пошёл навстречу Шаховскому и остановился перед ним в ожидании, что тот будет говорить. Шаховской объявил указ о ссылке, и на лице Миниха выразилось не столько печали, сколько досады. Он набожно поднял руки и, возведя вверх глаза, сказал твёрдым и громким голосом:

– Благослови, Боже, её величество и её государство! – Затем, помолчав немного и обращаясь после того к Шаховскому, сказал: «Теперь, когда мне ни желать, ни ожи-

дать ничего не осталось, я прошу только о том, чтобы для спасения души моей от всякой гибели был со мной отправлен пастор», – и поклонившись вежливо Шаховскому, спокойно ожидал дальнейшего распоряжения.

Между тем жена его, скарденная немка, бросавшая тень на фельдмаршала своими поборами, хлопотала о домашнем скарбе. В дорожном платье и в капоре, с чайником и разной утварью в руках, она, скрывая волнение, готовилась к отъезду. Миних отправился в Пелым, оттуда, по распоряжению императрицы Елизаветы, возвращался Бирон с «почётным» паспортом. На пути, при перемене лошадей на одной станции, Миних и Бирон встретились и только молча посмотрели один на другого. Двадцать лет протомился Миних в ссылке: он был возвращён в Петербург императором Петром III¹⁰⁷ и умер в царствование Екатерины II, в 1767 году, 85 лет от роду, сохранив до глубокой старости изумительную бодрость.

Наступила ночь, и Шаховской, по его выражению, «нагрузя себя новыми мыслями», отправился к своему бывшему милостивцу и покровителю, графу Головкину, для исполнения и над ним состоявшегося приговора. Бывший вице-канцлер был неузнаваем: горе сломило его. Он стонал от хирагры и подагры и сидел неподвижно, владея только левой рукой. Печально и жалостно, взглянув на Шаховского,

¹⁰⁷ Пётр III Фёдорович (Карл Петер Ульрих) (1728—1762), император с 1761 г., сын Анны Петровны и Карла Фридриха, свергнут с престола Екатериной II, убит заговорщиками.

он слабым голосом проговорил: «Тем более несчастнейшим себя нахожу, что воспитан в изобилии и что благополучие моё умножаясь с летами, возвело меня на высокие ступени, и я никогда не вкушал прямой тягости бед, коих сносить теперь сил не имею».

Головкин отправился в Собачий Острог. Он умер в ссылке в ноябре 1755 г. насильственной смертью. Жена его Екатерина Ивановна, урождённая княжна Ромодановская, последовала за ним в изгнание, перенося мужественно все несчастья и лишения. После смерти мужа она жила в Москве и, прославленная за свои добродетели, умерла там в 1791 году, дожив до девяноста лет.

Таким образом покончила Елизавета с теми, кого она считала людьми, преданными правительнице, а следовательно, и главными своими врагами. В далёкой ссылке они были безопасны для неё. Другие незначительные личности испытали тоже тяжесть опалы. Грамотин был понижен чинами, «понеже до сего в катских руках был», т. е. по той причине, что он при Бироне подвержен был пытке за преданность Анне Леопольдовне. Аргамаков был отставлен от службы с тем, чтобы никуда впредь не определять. Акинфеев был переведён в армейские полки с понижением чина. Дальнейшая жизнь самого ревностного приверженца правительницы – Ханькова – неизвестна...

Ожидания примирения со Швецией после низвержения Анны Леопольдовны оправдались. По поручению импера-

трицы Елизаветы Шетарди немедленно известил шведско-го главнокомандующего Левенгаупта о перемене правительства, с добавлением, что государыня крайне сожалела бы, если бы при начале её царствования была пролита кровь шведов и русских. В то же время в Стокгольм был отправлен русский уполномоченный для мирных переговоров. Шведские пленные были освобождены, а генералу Кейту было предписано не нападать на шведов.

В противоположность той отчуждённости, какой держалась правительница в отношении войска и народа, императрица объявила себя полковником всех гвардейских полков и капитаном роты, известной потом под именем лейб-компании, составленной из гренадёров, сопровождавших императрицу в её ночном предприятии. Чтобы привлечь народ, Елизавета в течение первых шести дней после её воцарения раздавала бедным, собравшимся перед дворцом в числе шести-семи тысяч человек, по 50 копеек на каждого.

Казалось, власть Елизаветы была окончательно упрочена, когда возникло дело о заговоре Лопухиных. Их сочувствие несчастной правительнице, выражаемое только на словах, было выставлено как злодейское государственное преступление.

«Хотели, – объявляла Елизавета в своём манифесте, изданном 29 августа 1743 года, – возвести в здешнее правление по-прежнему принцессу Анну с сыном, которые к тому никакого законного права не имели и иметь не могут.

Хотели привести нас в огорчение и в озлобление народу». Виновными по этому делу оказались: генерал-поручик Степан Лопухин, жена его Наталья, их сын Иван, графиня Анна Бестужева, сестра бывшего вице-канцлера Головкина, и Софья Лилиенфельдт, находившаяся фрейлиной при Анне Леопольдовне. Они обвинялись, между прочим, в том, что «прославляли принцессу». К этому делу был прикосновен и австрийский посланник маркиз Ботта, который «вмешивался во внутренние беспокойства империи». Статс-даме Лопухиной и графине Бестужевой сперва урезали языки, а потом, наказав их кнутом, отправили в далёкую ссылку. В ссылку же препроводили и бывшую фрейлину, высеченную предварительно плетью. Все эти знатные дамы во время производившегося над ними следствия побывали в застенке тайной канцелярии на «встряске» под ударами кнута.

Этот так называемый заговор был открыт в марте 1743 года и произвёл в Петербурге сильную тревогу. Секретарь саксонского посольства Пецольт писал: «Во дворце бодрствуют мужчины и женщины, боясь разойтись по спальням, несмотря на то, что у всех входов и во всех комнатах стоят часовые. Именитые особы не ложатся в постель на ночь, ожидая рассвета и высыпаясь днём. Вследствие этого происходит беспорядок в делах и в докладах и оказывается неурядица в общем государственном управлении».

Елизавета, встревоженная этим событием и беспрестанно запугиваемая окружавшими её царедворцами, а также и

иностранными посланниками, видела в не виноватой уже ни в чём лично Анне Леопольдовне главную причину всех своих беспокойств и потому, покончив с мнимыми заговорщиками, она вознамерилась привести в исполнение те советы, какие давались ей как относительно самой правительницы, так и её семейства...

XLII

Поселённое в Раненбурге в исходе 1743 года брауншвейгское семейство, кроме тоски изгнания, начало испытывать там и беспрестанные лишения даже в предметах первой необходимости. Как ни тяжела была для бывшей правительницы неожиданно происшедшая в судьбе её роковая перемена, но она пока могла переносить несчастье: подле неё был её лучший друг – Юлиана, не терявшая никогда обычной своей весёлости и тем поддерживавшая упавшую бодрость Анны Леопольдовны. Молодых изгнанниц не оставляла также надежда на перемену к лучшему; однообразные дни коротали они в задушевных беседах, и порой Юлиана подсмеивалась даже над той западнёй, в которую попала и она, и её беспечная повелительница. Бывшая фрейлина радовалась и развязке своих отношений к графу Линару, потому что брак, на который она соглашалась только из слепой привязанности к Анне, был теперь расстроен посторонними обстоятельствами, и Юлиана была довольна тем, что личной и, по её мнению, только временной неволей она освобождалась навсегда от предстоявших ей тягостных супружеских уз. Принц Антон в изгнании держал себя в отношении к жене «смирным и тихим» человеком, каким он был и прежде. Он никогда не укорял Анну за то, что она, пренебрегая его советами, погубила и себя, и его, и всё их семейство. Когда заходила об этом

речь, он, вздохнув, уходил от жены с набегавшими на его глаза слезами. На постигшее его несчастье он смотрел смиренно, как на кару Божью, и надеялся на заступничество за него и за его семейство перед императрицей со стороны родственного ему венского двора. Вообще все – и принц, и принцесса, и Юлиана утешались мыслью, что над ними разразилась только временная невзгода, что страдания их скоро кончатся и что для них начнётся свободная и спокойная жизнь, хотя уже и не при той блестящей обстановке, какой они пользовались и которой Анна Леопольдовна никогда не прельщалась. Одно только обстоятельство начинало несколько тревожить их: их как будто совсем позабыли в изгнании, а забвение в настоящем случае, как казалось им, могло быть не столько хорошим, сколько дурным предзнаменованием. Любовь и привязанность Анны к Линару слабели постепенно. При всём ослеплении бывшей правительницы Линаром она не могла не видеть в нём одного из главных, хотя и неумышленных виновников её падения; но в то же время ей приходилось укорять более всего себя за то, что она не последовала советам Линара относительно решительной расправы с Елизаветой. По временам, когда в воображении Анны оживала привлекательная личность Линара, когда ей припоминалось то время, которое она проводила с ним, она впадала в глубокое уныние, её одолевала невыносимая тоска и она была готова отдать все надежды на лучшую будущность за то только, чтобы возвратить хоть на одно мгновение утрачен-

ное ею счастье. Юлиана употребляла всё своё влияние для того, чтобы заглушить сердечные страдания своей подруги. В разговорах с Анной она старалась убедить её, что Линар любил не столько её, как женщину, сколько то величие, которое окружало её; что он в сущности был такой человек, который избрал любовь орудием для осуществления своих честолюбивых замыслов, и что согласие его жениться на ней, Юлиане, всего лучше доказывает хладнокровность его расчётов, а также и отсутствие страстной и искренней любви к Анне.

Если бывшая правительница ещё и прежде так легко поддавалась внушениям своей неразлучной подруги, то теперь она, отчуждённая от всякого другого влияния, ещё легче убеждалась доводами Юлианы, которая, видя кротость и терпение принца в несчастье, стала относиться к нему совершенно иначе, нежели делала это в былое время. Сначала она редко, а потом всё чаще и чаще стала приятенно заговаривать о нём с принцессой, которую когда-то так усердно восстанавливала против него. Общее несчастье мирило Юлиану с принцем, и теперь, под её влиянием, началось между неужившимися прежде друг с другом супругами сближение, которое мало-помалу должно было перейти в привязанность и дружбу. Игра в карты, чтение – это любимое занятие принцессы, хотя уже далеко не столь избыточное и разнообразное, как в Петербурге, и уход за детьми сокращали для Анны дни её заточения в Раненбурге, и она, поддерживаемая Юлианой,

утешалась надеждой, что если не сегодня, так завтра придёт радостная весть об освобождении: она не переставала верить в сострадание Елизаветы.

Впрочем, 10 августа 1744 года до правительницы дошло известие, что в Раненбург приехал из Москвы камергер, барон Андрей Николаевич Корф, женатый на двоюродной сестре императрицы, графине Скавронской. Приезд такого близкого к государыне лица оживил изгнанников новыми радостными надеждами. На другой день утром Корф явился к бывшей правительнице, но его озабоченный и сумрачный вид не предвещал ничего хорошего.

– Я приехал по повелению государыни к вашей светлости, – начал Корф и, замявшись на этих словах, он с печальным участием посмотрел на молодую женщину, на лице которой при его появлении выразилась радость.

– Вероятно, государыня забыла все наши против неё поступки и хочет дать нам свободу? – быстро подхватила принцесса.

– Её императорское величество соизволила мне поручить передать вашей светлости её всемилостивейший поклон и осведомиться о здоровье как вашем, так и всей вашей фамилии... – отвечал грустно Корф.

– Но что же будет с нами? – порывисто спросила Анна Леопольдовна. – Когда же придёт конец нашей неволи?..

– Её императорское величество, – начал Корф с притворным хладнокровием, очевидно уклоняясь от ответа на об-

ращённый к нему вопрос, – изволит пребывать теперь в Москве и находится в вожделенном здравии. Без всякого сомнения, вашей светлости приятно будет узнать об этом...

Принцесса не отвечала ничего, и только крупные слёзы покатались из её впалых глаз.

– Я желал бы иметь честь представиться вашему супругу и взглянуть на ваших детей, чтобы донесением моим о них удовлетворить ту заботливость, какую насчёт их имеет всемилостивейшая наша государыня.

– Дети мои постоянно больны, а я сама страдаю. Ах! как я ужасно страдаю!.. – проговорила Анна и, закрыв глаза рукой, громко зарыдала. – Умоляю вас, скажите мне: будем ли мы когда-нибудь свободны? – добавила она прерывающимся от слёз голосом.

– Не смею долее утруждать вашу светлость моим присутствием; завтра я буду иметь счастье доложить вам о некоторых данных мне её величеством поручениях, – сказал Корф и, почтительно поклонившись Анне Леопольдовне, вышел от неё сильно взволнованный при виде молодой страдальницы, которую он прежде видел в блестящем положении.

– У меня не хватило духу передать принцессе о том распоряжении, какое сделано государыней насчёт её, и я не в силах исполнить этого. Пойди и сообщи ей об этом, – сказал Корф ожидавшему его в другой комнате и состоявшему в Реннебурге при брауншвейгской фамилии капитану Гурьеву.

Капитан, по его приказанию, отправился тотчас же к Анне

Леопольдовне и застал у неё принца Антона и двух бывших её фрейлин, Юлиану и Бину. Все они прибежали к принцессе, чтобы узнать поскорее о разговоре её с Корфом.

– По воле её императорского величества, всемилостивейшей нашей государыни, я обязан объявить вашей светлости, – сказал Гурьев, обращаясь к принцессе, – что вы и ваше высокое семейство должны немедленно выехать отсюда.

– Куда?.. – тревожно в один голос спросили все присутствовавшие.

Капитан молчал.

– Если бы нас выпускали на свободу, то ты, наверно, как добрый человек, поспешил бы обрадовать нас этой вестью, – вскрикнула Анна Леопольдовна. – Но, должно быть, нас ожидает ещё худшая участь... – добавила она, смотря на Гурьева с выражением отчаяния в глазах.

– Ваша светлость, ваш супруг и ваши дети должны готовиться к немедленному отъезду, а куда – я этого вовсе не знаю, – ответил Гурьев.

– Стало быть, всё кончено!.. – вскрикнула принцесса, и она пошатнулась на ослабевших ногах. Принц и фрейлины поспешили поддержать её. Начался громкий плач, и в это время Корф, услышав, что Гурьев уже исполнил его поручение, вошёл опять в ту комнату, где находилась Анна Леопольдовна.

– Вашей светлости не остаётся ничего более, как только беспрекословно исполнять волю её величества, положив-

шись на её милосердие... – сказал Корф кротко, но вместе с тем и внушительно Анне Леопольдовне.

– Положиться на её милосердие? – гневно и насмешливо вскрикнула она, вскочив с кресел, на которые только что посадили её в совершенном изнеможении. – Оставьте меня, – добавила она, повелительно показывая рукой Корфу на двери, – у меня достанет сил перенести несчастье, но я – я никогда не поступила бы так с Елизаветой, как поступает она со мной и с моим семейством... У неё нет к нам ни малейшей жалости...

Корф сделал вид, что не слушает этих упрёков, обращённых к императрице, и поспешил уйти.

Принц кинулся, чтобы успокоить жену, прося её не раздражать государыню резкими словами, а две бывшие фрейлины Анны Леопольдовны презрительно взглянули вслед камергеру, поспешно уходившему в сильном смущении.

Принцесса, потрясённая неожиданной вестью, которая отнимала всякую надежду на лучшую перемену, и вдобавок беременная в это время, слегла в постель; маленький принц был сильно болен, и сострадательный Корф, приняв всё это в соображение, решился на свой страх отложить на некоторое время выезд брауншвейгской фамилии из Раненбурга, желая вместе с тем доставить ей и некоторые удобства, необходимые в дороге.

Корф безотлагательно написал в Москву вице-канцлеру графу Воронцову о том положении, в каком находится прин-

цесса, выражая мнение, что дальний путь может вредно повлиять на её здоровье. Он сообщил также и о болезни маленького принца, для которого поездка в осеннее время может быть даже пагубна; добавляя при этом, что «четырёхлетний ребёнок по отлучении от людей, которые с ним живут, не может быть покоен», почему он и спрашивал: не будет ли позволено взять в дорогу кормилицу и сиделицу? В пользу такого разрешения Корф приводил то соображение, что, оставаясь на их руках, младенец не будет плакать и кричать, а следовательно, и «разглашения о себе делать не станет». На это представление Корфа был получен суровый отказ с строгим подтверждением увезти немедленно «фамилию» из Раненбурга.

Прежде, однако, чем был получен такой отказ, Корф отправил в Москву ещё другое представление. В этом представлении он, ссылаясь уже не на беременность принцессы, но на постигшую её тяжкую болезнь, спрашивал, нельзя ли будет отложить поездку, если болезнь её светлости усилится, а также и о том, не будет ли ему разрешено в этом последнем случае допустить к принцессе повивальную бабку и священника, если бы она, предчувствуя близость своей кончины, пожелала исповедоваться и приобщиться св. тайн?

Сердобольный барон обратил внимание и на ту беспредельную привязанность, какую имела принцесса к Юлиане. Ввиду этого он писал графу Воронцову, что если разлучить принцессу с бывшей её фрейлиной, не предназначен-

ной по повелению государыни к отправлению из Раненбурга, то принцесса «впадёт в отчаяние».

На эти представления Корфа не последовало из Москвы никакого ответа, и он, выждав по сделанному им расчёту крайний срок, убедился в необходимости выехать безотлагательно из Раненбурга, предвидя, что дальнейшее промедление может вызвать только усиленные строгости против принцессы и её семейства и вместе с тем навлечь неприятности на него самого.

Наступил день отъезда. Измученная душевными потрясениями, едва двигаясь на ногах от болезни, Анна Леопольдовна, при пособии Юлианы, заботилась только о том, чтобы как можно удобнее везти своих малюток. Все оделись и готовились уже садиться в поданные к крыльцу экипажи.

– Я должен доложить вашей светлости, – сказал принцессе вошедший к ней в это время с расстроенным видом Корф, – что вам, к крайнему моему сожалению, никак нельзя ехать вместе с принцем, вашим сыном: у нас недостаёт лошадей, и я вынужден отправить его светлость с особым поездом вперёд. Но вы, светлейшая принцесса, не беспокойтесь несколько, так как мы на дороге догоним принца... Проститесь с ним... на короткое, впрочем, время, – как бы поправляясь, подхватил Корф, и, проговорив это, он отвернулся, чтобы не видеть разлуки матери с сыном. Страшное предчувствие овладело Анной Леопольдовной.

– Вы хотите отнять у меня моего малютку! – с неистов-

ством вскрикнула она и, быстро нагнувшись, крепко охватила Иванушку руками. – Я никому не отдам его... Ну, возьмите его от меня!.. Что же вы не берёте? Возьмите!.. – насмешливо, вызывающим голосом говорила Анна Леопольдовна, как будто уверенная, что заступничество матери преодолеев всякую силу.

– Позвольте, ваша светлость, – сурово и твёрдо проговорил бывший около Корфа и приехавший вместе с ним из Москвы капитан Миллер. – Принц по воле государыни поручен моим личным попечениям, – и с этими словами он высвободил малютку из слабых рук его матери, взял его в охапку и понёс из комнаты. Принцесса рванулась за капитаном, но Корф и Гурьев удержали её, а бывшие в другой комнате солдаты загородили ей выход на лестницу. Со страшным пронзительным визгом рухнула молодая женщина на пол, а между тем малютка с громким плачем бился на сильных руках похитителя, протягивая к матери свои ручонки.

– Отдайте моего Иванушку!.. Отдайте мне его!.. – кричала Анна Леопольдовна и в иступлении, не помня уже ничего, рвала на себе и волосы, и платье.

С немым состраданием и с пробивавшимися на глазах слезами смотрели все посторонние на отчаяние молодой матери. Принц Антон рыдал, как дитя. Юлиана и Бина кинулись помогать Анне Леопольдовне, которая, однако, сама вскочив на ноги, точно безумная, обводила вокруг комнаты испуганным, диким взглядом, как будто отыскивая отнятого

у неё ребёнка...

XLIII

Тридцатого августа, т. е. на другой день после увоза из Раненбурга Миллером принца Ивана, собралась в путь и Анна Леопольдовна с мужем и двумя маленькими дочерьми. Принцесса, несмотря на своё нездоровье и слабость, радовалась теперь предстоящей поездке, в надежде увидиться с сыном. Юлиане тоже приказано было уложить её пожитки, и для Анны Леопольдовны было большим утешением думать, что она и на этот раз не будет разлучена со своей неизменной подругой. Но, когда уже нужно было садиться в экипажи, Корф объявил принцессе, что Юлиана не поедет с ней, так как для бывшей фрейлины неостанет в экипажах места, прибавив, впрочем, что она выедет из Раненбурга спустя несколько дней и догонит их на дороге.

При этом неожиданном известии страшный нервный припадок овладел молодой женщиной. Она поняла, что, вдобавок ко всем испытываемым ею притеснениям, у неё, наконец, хотят отнять даже и ту, которая была для неё дороже всего в жизни во времена её счастья и которая теперь, в дни печали и страданий, оставалась единственной её утешительницей. В исступлении, не знавшем пределов, Анна осыпала укорами Елизавету и призывала проклятие Божие на исполнителей её жестокого приговора. В свою очередь и Юли-

ана была в отчаянии. Когда капитан Гурьев, исполняя распоряжение Корфа об отправке принцессы и видя, что никакие убеждения не действуют ни на неё, ни на её подругу, приказал солдатам вынести Анну Леопольдовну на руках, то Юлиана как сумасшедшая кинулась к ней и, забывая всё, стала противиться увозу принцессы, так что против молодой девушки пришлось употребить силу. Солдаты грубо оттолкнули её, и один из них, подняв Анну Леопольдовну на руки, вынес её из комнаты, а другие удерживали рвавшуюся вслед за ней Юлиану.

Когда принцессу усадили в наглухо закрытую повозку, то принц хотел сесть туда же, но был удержан Корфом.

– Вашей светлости, – сказал он почтительно принцу, – по указу её императорского величества, не дозволено ехать вместе с вашей супругой, и потому вы поедете отдельно.

Гурьев взял слегка под руку растерянного принца, только пожимавшего по привычке плечами, подвёл его к такой же повозке, какая была приготовлена для его жены, и помог ему сесть. В других повозках разместились: Бина Менгден с маленькими принцессами, Корф с капитаном Гурьевым, а телеги заняла бывшая при них военная команда. Поезд был очень велик: Корфу приказано было взять с собой из Раненбурга, кроме Бины, камер-юнгферу Штурк, камердинера принца, двух поваров, двух поваренных и «скатертных» учеников, двух «хлебных» и одного «брандмейстерского» ученика, двух прачек, одного портного, одного башмач-

ника, а также и находившегося при «фамилии» штаб-хирурга Манзея. Конвой состоял из трёх унтер-офицеров и тридцати рядовых.

Разлучённая со всеми, лишённая воздуха и света, точно в тёмном гробу, лежала в закрытой наглухо повозке больная и изнурённая страданиями бывшая правительница Русской империи. На первой же остановке Анна Леопольдовна пыталась узнать от Корфа, где её сын, когда догонит её Юлиана, отчего ей не позволили ехать с мужем и куда везут их теперь? Щадя по возможности несчастную женщину, Корф утешал её тем, что она скоро свидится и с сыном, и с Юлианой и что, по всей вероятности, ей после нескольких переездов будет разрешено ехать вместе с принцем. Что же касается ответа на вопрос: куда их всех везут? – то Корф отозвался, что он ничего не может сказать относительно этого, так как он сам только через каждые три дня получает из Москвы приказания, куда следует направляться далее.

– Уж не везут ли нас в Пелым, куда я сослала Бирона!.. – с ужасом вскрикнула принцесса. – Верно, Бог карает меня за то, что я жестоко поступила с регентом; но Господь правосуден и видит, что я не была виновата в этом, а был виноват Миних; я не хотела власти, я не хотела короны...

Корф не отвечал ничего на высказанную принцессой догадку о новом месте её ссылки.

В то время, когда поезд, заведываемый Корфом, медленно подвигался вперёд, его опережал другой поезд, состояв-

ший под начальством капитана Вындомского, заготовлявшего лошадей по той дороге, по которой везли принцессу и её семейство. Корф, согласно с данным ему «секретнейшим» указом, за собственным подписанием императрицы, выехал из Раненбурга только тогда, когда Вындомский донёс ему о поставке лошадей до Переяславля-Рязанского, а также о том, что он, Вындомский, для сделания такого же распоряжения поехал далее. Корф исполнил, но только с некоторыми послаблениями, и другие пункты упомянутого указа, в которых предписывалось ему ехать в Раненбург, взяв с собой пензенского пехотного полка майора Миллера, и, оставя последнего верстах в трёх перед городом, самому при приезде туда вручить из числа приложенных к сему указу ещё два указа: первый – лейб-гвардии Семёновского полка капитану Вындомскому, а второй – л. – гвардии Измайловского полка капитану Гурьеву. Затем, припася как можно скорее коляски и нужные путевые потребности, отправить Вындомского вперёд для поставки лошадей, и когда о том получится от него донесение, то тотчас, взяв ночью принца Иоанна, сдать его с рук на руки, тоже с приложенным особым указом майору Миллеру с тем, чтобы майор тотчас же отправился в назначенный этим указом путь, а на другой день, также ночью, взять принцессу с мужем и остальными детьми, а также с назначенными для отправки с ними людьми, и ехать, куда предписано в указе.

У Корфа не хватило духа исполнить в точности этот указ в

отношении малютки-принца: он не решился похитить тайно ночью ребёнка у матери, но дал ей возможность проститься с ним и утешал её скорым свиданием с малюткой. Этим он думал, но ошибочно, смягчить хоть несколько жестокость данного ему указа.

Анна Леопольдовна ошибалась, полагая, что её семейство везут в Пелым, и напрасно терялась в догадках о том, где хотят скрыть её сына. Местом нового заточения «фамилии» был назначен Соловецкий монастырь. Отдалённость этой обители и трудность доступа к ней по неприветливому бурями и льдами Белому морю казались Елизавете недостаточными для того, чтобы пребывание «фамилии» в таком глухом и отдалённом месте обеспечивало её от тех опасностей, которыми могла ей угрожать падшая династия. Ближайшие советники императрицы по этому делу признали необходимым по случаю ссылки в Соловецкую область бывшей правительницы и её семейства принять чрезвычайные, небывалые ещё меры строгости, и Елизавета вполне согласилась с их мнением. В Соловки был послан капитан Чертов, чтобы устроить там помещение для отправляемых туда изгнанников. Ему был дан для вручения соловецкому архимандриту особый указ за собственноручной подписью императрицы. В указе этом повелевалось: приходящих на труд и по обещанию в Соловецкий монастырь людей выслать всех немедленно и вновь таких людей туда не пускать, а приезжающим в монастырь позволять только помолиться святым соловец-

ким угодникам и отпеть им молебен и затем тотчас же удалять их из монастыря. Ключи от монастыря предписано было иметь Корфу, с тем чтобы после его отъезда они были переданы капитану Гурьеву; ворота отпирать днём не рано и запира́ть их постоянно ещё до наступления сумерек и затем ни для кого особо их никогда не отворять. Архимандриту оставаться в монастыре безысходно и держать там монахов безысходных же; ввиду этого приказано было составить список наличных монахов и новых впредь не принимать. Караул у монастырских ворот содержать не послушникам, а военной команде, в которую набрать сержантов не из гвардии, а из армейских полков. Каждое письмо, от кого бы оно ни посылалось из монастыря и кем бы оно там ни получалось, показывать Корфу или тому главному начальнику, которым он будет заменён. Исполнение всего этого требовалось от архимандрита при выдаче особой подписки, в которой он за несоблюдение в точности данного ему указа подвергал себя лишению монашества, священства, чести и живота.

Брауншвейгское семейство везли в Соловки к Архангельску, через Переяславль-Рязанский, Владимир, Ярославль и Вологду, но так, чтобы эти города миновать проездом, во все не останавливаясь в них. Проехав Вологду, Корф и его спутники должны были заявлять, что они по высочайшему указу едут для осмотра соляных промыслов, а иногда сказывать, что они отправляются на богомолье в Соловки. К Архангельску следовало подвезти ссыльных в глубокую ночь,

посадить их там на приготовленные заранее морские суда, на которых и следовать немедленно в Соловецкий монастырь, где оставить принцессу с мужем, детьми и служителями в «команде» у капитана Гурьева, прапорщика Писарева и солдат. При этом предписывалось: «мешкотности не учинять и поспеть к Архангельску в половине сентября, дабы доехать морем до указанного места». По прибытии к монастырю «арестантов» велено было ввести туда и разместить ночью, чтобы их никто не видел. К суровости такого заточения прибавлены были теперь ещё и новые лишения. В указе, данном Корфу, между прочим, сказано было следующее: «на пищу и на прочие нужды, что будет потребно, брать от архимандрита за деньги, а чего нет, то где сыскать можно, чтоб в потребной пище без излишеств нужды не было; токмо как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, какой был прежде, но такой, чтобы человеку можно было сыту быть, и кормить тем, что там можно сыскать без излишних прихотей».

Корф обо всём, что касалось исполнения данного ему указа, должен был доносить прямо императрице и, окончив возложенное на него поручение, возвратиться в Петербург через Олонецк, дав Гурьеву, произведённому теперь в майоры, инструкцию о содержании принцессы с мужем, детьми и служителями так, чтобы «никто ни видеть их, ни говорить с ними не мог не только из живущих в монастыре, но даже и из служителей и караула, кроме лишь находящихся при них

женщин и одного особо приставленного к ним бессменного и вполне надёжного караульного».

Ещё большей суровостью отличалась инструкция, особо данная Миллеру и касавшаяся бывшего императора. Миллеру предписывалось, чтобы он после того, как Корф отдаст ему «известного младенца четырёхлетнего, приняв оно, посадил его в коляску и сам сел с ним, имея в коляске своего служителя или солдата для бережения и содержания того младенца, а именем его называть – Григорий». С этим младенцем и шестью солдатами Миллер должен был ехать в Соловецкий монастырь и сказывать по тракту, что он послан от камергера барона Корфа вперёд для осмотра приготовленных подвод и переправ, и, о том, что при нём находится «младенец», нигде и никогда не объявлять и никому, даже подводчикам, его не показывать, имея коляску всегда закрытою. В Архангельске Миллер должен был посадить на судно «младенца» ночью. В монастырь пронести его также ночью, четыре приготовленные для него комнаты, и пронести так закрытым, чтобы никто не мог его заметить, и оставаться там жить, неотменно строго наблюдая, чтобы, кроме него, Миллера, его служителя или солдата, никто его «Григория» не видал бы. Около того помещения, где будет жить «младенец», содержать самый строгий караул, а его самого «никуда из камеры не выпускать, и быть при нём днём и ночью слуге, чтобы в двери не ушёл или в окно от резвости не выскочил».

Ехавшему перед Вындомским, а следовательно, перед

Миллером и Корфом капитану гвардии Чертову повелено было: по приезде в Соловецкий монастырь приискать там покои, приличные на такое употребление, как прежде в Раненбурге, и приискать их в такой стороне монастыря, в который из него нет никакого выхода. В одном месте должно быть четыре покоя, в другом, особом, но не в дальнем расстоянии от первого, двадцать покоев; ход в эти помещения с монастырского двора; если нет тут каменной стены, оградить крепким деревянным забором, сделав в нём одну только маленькую дверь. По поводу таких распоряжений Чертов должен был сообщить соловецкому архимандриту, что те покои назначаются для жительства некоторым людям, «определённым от её императорского величества», и чтобы он, архимандрит, о всех распоряжениях, которые будут сделаны им по сношению с Чертовым, никуда рапорта не посылал и известия никакого – ни письменного, ни словесного – не давал. В удостоверение же того, что все эти требования будут исполнены в точности, архимандрит должен был дать Чертову подписку, угрожавшую его высокопреподобию тем же самым, чем угрожала ему подписка, данная им прежде, по прочтении ему высочайшего указа.

В дополнение ко всему этому Корфу приказано было, что в случае, если поздняя бурная осень или льды не допустят его перебраться морем в Соловки, зазимовать на взморье, в Корельском Никольском монастыре, находившемся в 30 верстах от Архангельска, предъявив тамошнему архиманд-

риту тот же указ, какой должен был быть предъявлен соловецкому, и поступив во всём прочем точно так же, как следовало поступить по приезде в Соловки.

Медленно подвигался поезд на глухой север. Вындомский расставил лошадей на расстоянии от 25 до 30 вёрст, а болезненное состояние принцессы не позволяло ускорить езду по дорогам, трудно проезжим и в сухую летнюю пору, а теперь и вконец испорченным непрерывными осенними дождями. Следуя инструкции, Корф объезжал города, останавливаясь от них верстах в трёх, так что бывшая правительница, проводившая когда-то в жизнь в роскошных дворцах, была рада теперь отдохнуть в грязных и курных крестьянских избах. На этих отдыхах она, пользуясь снисходительностью Корфа, как бы случайно встречалась на несколько минут с мужем и дочерьми. О сыне же и об Юлиане она не знала ничего и, потеряв всякую надежду увидеть их когда-нибудь, мысленно навеки прощалась с ними.

5 октября Корф был ещё в 130 верстах от Шенкурска и здесь получил от Чертова уведомление, что за льдами, показавшимися в Белом море, переезд в Соловки сделался невозможным.

XLIV

В земле двинской, этом древнем достоянии когда-то вольного и могущественного Великого Новгорода, главным городом были Холмогоры. Приезжавшие на далёкий север для торговли с русскими английские купцы завели здесь свои конторы и товарные склады, и в конце XVII века в Холмогорах была учреждена архиерейская кафедра. При Петре Великом занимал её епископ Афанасий, усердно борющийся с расколом; такое усердие не обошлось, однако, ему даром. В горячем богословском споре один из раскольников, для вящего доказательства правоты своих слов, дёрнул Афанасия за бороду, да дёрнул так, что половина бороды осталась на лице у преосвященного, а другая очутилась в руке изувера. Вырванная часть бороды не росла более, и тогда Афанасий, для соблюдения единообразия в своём святительском лике, стал брить уцелевшую часть бороды, и вследствие этого он был единственным безбородым иерархом в нашей православной церкви. За то же и любил Царь Пётр Алексеевич – ненавистник бород – потрепать ласковой рукой холмогорского владыку по его гладко выбритому подбородку. С особенным удовольствием сделал он это в свой приезд в Холмогоры, где обзаводился и обстраивался преосвященный. Рядом со Спасо-Преображенским, только что отделанным собором, самой великолепной в ту пору церковь во

всём Северном крае, Афанасий вдалеке от городских жилищ построил архиерейский каменный двухэтажный дом в двадцать комнат. Заглянул царь в епископские палаты, и понравилось ему, что Афанасий хочет жить, как подобает его высокому духовному сану.

– Хорошо, вельми хорошо, владыко, в твоём обиталище, а покажи-ка мне твоё хозяйство, – сказал царь.

– Изволь, государь, – отвечал архиерей и повёл Петра по всему своему подворью. Здесь всё оказалось в порядке: перед домом был выкопан глубокий пруд, и Афанасий доложил царю, что в этом пруду он разведёт разную рыбицу. Увидел царь и огород, заведённый епископом; огород был хорош: на грядках были посажены и рассада, и морковь, и горох, и огурцы, и брюква.

– Дельно, – сказал ласковым голосом царь, обращаясь к Афанасию, – ты, преосвященный, ни в чём нуждаться не будешь: разводи злаки во славу Божию и на пользу человека. Посмотрит люд православный на своего пастыря – и станет перенимать от него хорошее.

Всю архиерейскую усадьбу осмотрел государь с обыкновенным своим вниманием. Заглянул царь и в погреба, и в амбары, и в кузницу, и на мельницу, которая, весело помахивая крыльями, вертела большие жернова. Всем царь остался как нельзя более доволен. Он отслушал обедню в крестовой архиерейской церкви, громким голосом прочитал «апостол» и, закусив после обедни, самым дружелюбным образом рас-

стался с Афанасием.

– Молись, преосвященный, усердно Богу, – сказал ему царь, – на то ты и монах; да только и по хозяйству не плошай и веди своё хозяйское дело и впредь так же исправно, как ты, с благословения Божьего, его начал, – сказал государь архиерею на прощанье.

Вскоре после смерти Петра епископская кафедра была перенесена из Холмогор в Архангельск, и построенный Афанасием в Холмогорах дом остался необитаемым, под надзором одного монаха. Живший в этом доме в полном приволе монах был поздней осенней ночью разбужен наехавшим внезапно в Холмогоры гвардии капитаном Чертовым, с собственноручным указом императрицы. В ту пору капитан гвардии был лицо куда какое важное, и крепко заспавшийся монах сильно струсил при виде такой персоны, да при том и с прозванием, особенно страшноватым в ночную пору. Прежде чем входить в какие-либо объяснения с оторопевшим иноком, капитан достал дорожную чернильницу, перо и, прочитав ему бумагу, потребовал под написанным его рукоприкладства. Между тем следом за капитаном въехала во двор архиерейского дома прибывшая с ним военная команда. Старик, не понимая хорошенько, в чём дело, взял перо и дрожащей рукой учинил под предъявленной ему бумагой требуемое от него рукоприкладство. В бумаге же этой значилось, что подписавший её, под страхом лишения священства, монашества, чести и живота, обязуется никому никогда

не говорить ни слова о том, что он будет видеть и слышать. Затем капитан Чертов, остававшийся с глазу на глаз с преподобным отцом, объявил ему, что по указу его императорского величества он, капитан, должен будет занять со своей командой архиерейский дом и произвести в нём немедленно некоторые постройку, так как дом этот предназначен государыней для помещения в нём «известных персон».

Через несколько дней закипела здесь деятельная работа: в архиерейском доме были сделаны кое-какие поправки, а от двора отделили некоторое пространство, которое и обнесли высоким толстым забором, так что ни с одной стороны нельзя было подсмотреть, что происходило на отгороженном месте.

Работа эта была окончена спешно, и в глухую полночь на 6 ноября в ворота вновь построенного забора въехало несколько повозок; из них одна была закрыта наглухо. Жалостно застонали на своих петлях крепкие ворота, и глухо застучали надёжные железные затворы за въехавшими во двор повозками. Бывшие уже в архиерейском доме с Чертовым солдаты стали с заряженными ружьями у входа в дом, а другие были расположены цепью от этого входа до самых ворот. Тогда из закрытой повозки вышел солдат с небольшой, тщательно обёрнутой ношей на руках и быстро, по приказанию Чертова, ожидавшего прибытия поезда, вбежал по указанной ему лестнице. Следом за солдатом пошёл прибывший с поездом офицер. Началось размещение служивых, и на другой день

ещё более была усилена в архиерейском доме строгость военного караула.

Спустя три дня, в такую же позднюю пору, въехал во Двор архиерейского дома другой поезд; он состоял из большего числа повозок, нежели первый. Этот второй поезд был принят с такими же предосторожностями, как и первый. В нём, кроме главного начальника, двух офицеров и военной команды, были две молодые женщины и не старый ещё мужчина, которых, окружённых со всех сторон солдатами, быстро повели в архиерейские палаты.

– Так вот куда мы попали! – с грустью проговорила одна из женщин, – что это такое?.. какой-нибудь город или монастырь? – вопросительно добавила она, торопливо оглядываясь вокруг.

Никто не дал ей на этот вопрос никакого ответа.

«Сегодня ровно четыре года, как я, на моё несчастье сделалась правительницей!.. Боже мой! когда-то кончатся мои страдания!..» – подумала вновь привезённая узница. – А где же Юлиана, где Иванушка? – спросила она, обращаясь к сопровождавшим её лицам. Но и на этот вопрос высказанный и с беспокойством, и с волнением, не было получено ею никакого ответа.

Печально и сурово выглядело новое жилище бывшей правительницы, отличавшееся и так неприветливостью старинных монастырских построек, а теперь ещё и обращённое в место строгого заточения. Так называвшаяся «гостиная»

Анны Леопольдовны была самая большая архиерейская палата. В ней было два окна; их глубокие амбразуры и вделанные в них толстые железные решётки слабо пропускали тусклый свет короткого северного дня; и тяжело висели в этой комнате большие стрельчатые своды. Эта продолговатая комната разделялась деревянной перегородкой, за которой была спальня принцессы. Всё убранство «гостиной», имевшей и в ширину, и в длину по тринадцать шагов, состояло из простого дивана, обитого кожей, и таких же четырёх стульев. В переднем углу, а также и по стенам, примыкавшим к окнам, висели старинные иконы с теплившимися перед ними лампадками, а над диваном был портрет Петра Великого, напоминавший беспрестанно узнице о её счастливой сопернице. Как всё это было противоположно той роскоши и тому блеску, которые когда-то окружали Анну в её петербургских дворцах! Богатая её уборная, отделанная с таким вкусом Линаром, заменена была теперь маленькой келейкой, в которой только и было, что большой дубовый комод с испорченными замками и массивными медными ручками да маленькое зеркальце на одной сломанной ножке, перевязанной верёвочкой. В других комнатах, с таким же и даже ещё более плохим убранством, разместились принц Антон, дочери принцессы и приехавшая с ними в заточение сестра Юлианы, Бина Менгден, бывшая фрейлиной правительницы, молодая девушка строптивного и порывистого нрава.

Но если так печально было новое жилище Анны Леополь-

довны, то и представлявшиеся из окон его виды нагоняли неодолимую тоску. Решётчатые окна выходили в небольшое пространство, огороженное высоким забором; из них были видны: небольшой пруд с его мёртвенно – сонной поверхностью, несколько деревьев, разбросанных там и сям, и хозяйственные постройки. Вновь построенный забор, представлявший как бы отдельное внутреннее укрепление, опоясывала в некотором расстоянии каменная стена с четырьмя по углам её башнями. За забором и за стеной из окон второго этажа архиерейского дома открывалась пустынная, нескончаемая даль с извивавшейся по ней петербургской дорогой. Горизонт окаймляли холмы и пригорки.

Даже в летнюю пору унылы были здешние окрестности, но всё-таки зелень весны и лета хоть несколько оживляла их; зимой же они, под белым покровом снега, становились ещё печальнее. Невысоко и ненадолго поднималось под ними зимой холодное солнце, но зато и долго, и ярко обливал их в ту пору года месяц своим бледным светом. Летом, наоборот, солнце не сходило с неба, и его свет сливался с негаснувшей во всю ночь зарёй, и казалось, что томительному дню не будет конца. Кругом всё было пустынно и молчаливо, изредка только, да и то вдалеке, лениво тянулся мимо шедший из Архангельска обоз, да доносился благовест и трезвон с колоколен городских церквей.

Мучительные дни начались в Холмогорах для Анны Леопольдовны, и ей нельзя было предвидеть никакого исхода. На

милосердие и сострадание восторжествовавшей Елизаветы нечего было и надеяться. Императрица всё суровее и суровее относилась к своей пленнице, и положение правительницы становилось всё тяжелее и тяжелее; очевидно стало, что ей не будет оказано никакой пощады, никакого снисхождения. Не любя никогда шумного и многолюдного общества, Анна, на высоте окружавшего её царственного величия, мечтала постоянно о тихой и покойной жизни. Но не такая жизнь, полная всевозможных лишений и унижений, грезилась ей. Часто в каком-то оцепенении, неподвижно по нескольку часов сряду сидела теперь бывшая правительница на одном месте, и в воображении её так живо являлись безвозвратно минувшие для неё дни. Тогда прежнее равнодушие к власти сменилось в ней властолюбивыми порывами, и жестоко укоряла она себя за свою снисходительность и доверчивость к Елизавете. Она мечтала о том, с какой бы радостью схватила она опять ту власть, которую так оплошно выпустила из своих рук, и тогда, думала она, не было бы никакой пощады вероломной сопернице. Но ненадолго поддавалась такому чувству молодая женщина, так как она быстро приходила к сознанию своего настоящего бессилия.

– Не нужно мне ни власти, ни почестей, ни богатства, – повторяла она себе самой, – мне нужна только свобода; дайте её мне!.. – Но и свобода была отнята у неё навеки.

Не одни только блестящие дни своей жизни хотела бы теперь вернуть бывшая правительница. В сравнении с настоя-

щим заточением даже пребывание её в Риге и заключение сперва в Дюнамюндской крепости, потом в Раненбурге казались ей счастливой порой. Тогда её не покидала ещё надежда на перемену к лучшему: она мечтала о возможности выехать из России, встретиться опять с Линаром и провести жизнь спокойно, вдалеке от бурь и тревог. Всем этим ожиданиям не суждено было, однако, исполниться. Из временной узницы, которую на первых порах окружали и довольством, и соответственным её сану почётом, она обратилась теперь в вечную невольницу, которой всё сильнее и сильнее давали чувствовать тягость её ужасного положения: её завезли в глухую даль и разлучили с теми, кто был для неё дороже всего на свете...

С тревогой в душе обращалась Анна Леопольдовна к окружавшим её с вопросами о сыне и об Юлиане, дружеские беседы с которой так заметно облегчали ей тоску изгнания. Вопросы эти выслушивались сурово, и их или обходили совершенным молчанием, или же на них давали уклончивые ответы, которые ещё сильнее волновали и раздражали молодую женщину.

Между тем придирчивость Елизаветы к бывшей правительнице усиливалась всё более и более. Ещё во время содержания правительницы в Риге до императрицы дошло известие, что брауншвейгское семейство не оказывает приставленному к нему В. Ф. Салтыкову должного уважения. По поводу этого императрица потребовала от Салтыкова объясне-

ния, пригрозивши, что в случае если этот слух справедлив, то она примет другие меры. «Вам надлежит, – писала ему Елизавета, – того смотреть, чтобы они вас в почтении имели и боялись вас». Спустя немного времени после этого, Елизавета прислала в Ригу к правительнице запрос о ненайденных в «золотом нахтише (шкатулке)» бриллиантах и о том опахале с рубинами и алмазами, который был в руках правительницы в тот вечер, когда Шетарди на бале возбуждал зависть Елизаветы против Анны. Вообще Елизавета проявляла теперь мелочную мстительность раздражённой женщины, подавлявшую в ней то чувство великодушия, которое она могла бы оказать как полновластная правительница.

XLV

После того как Чертов донёс Корфу о невозможности, за поздней уже на отдалённом севере осенью, плыть морем в Соловки, Корф, исполняя данное ему повеление, должен был отправиться на зимовку в Никольский Карельский монастырь и оттуда весной перебраться на Соловки. Между тем проезд в Никольский монастырь оказался теперь неосуществимым: доехать до него сухим путём, по топким болотам и трясинам, не представлялось возможности, а настоящей проезжей дороги к нему проложено не было; пробираться же на лодках вдоль морского берега было, за непогодами, настолько опасно, что Корф не решился пуститься в это плавание. Кроме того, Чертов сообщал Корфу, что здания Никольского монастыря пришли в такую ветхость, что прожить в них зиму без значительных поправок никак нельзя. При этом он указал на Холмогоры, где находился обширный, никем не занятый архиерейский дом, удобный для помещения в нём брауншвейгской фамилии. Корф представил обо всём этом императрице, прося разрешения поселить изгнанников в Холмогорах; но ему дозволено было только перезимовать там, с подтверждением ехать весной в Соловецкий монастырь.

Подавленная горем, мучимая разлукой с сыном и с Юлианой, принцесса невыносимо страдала в месте нового свое-

го заточения, а между тем для неё приближалось время родов. Сам Корф поехал в Архангельск и, живя там под чужим именем, как будто для своего семейства нанял кормилицу и пригласил повитуху-немку, которых под непроницаемой тайной привёз в Холмогоры, взяв с них предварительную грозную подписку не разглашать никогда ничего о том, что они там увидят и услышат. 19 марта 1745 года принцесса родила принца Петра. Появление на свет этого ребёнка было причиной новых терзаний для Анны: её не покидала мысль, что к её преследуемой судьбой семье прибавился ещё новый страдалец. Рождение принца было тщательно скрыто от всех. Корф был его воспитателем, а окрестил его крестовой монах Илларион Попов, который дал подписку, что он «такого-то числа был призван к неизвестной персоне для отправления родительских молитв, которое ему как ныне, так и во всё прочее время иметь скрытно и ни с кем об оном, куда призываем был и зачем, не говорить, под опасением отнятия чести и живота».

В день рождения принца Петра Корф получил от императрицы разрешение поселить брауншвейгскую фамилию в Холмогорах «навсегда». Ходатайство об этом со стороны Корфа было уважено, потому что при плавании в Соловецкий монастырь на судах невозможно было бы избежать огласки, в особенности же потому, что с Соловков в течение нескольких месяцев – прекращается плавание по Белому морю – нельзя было бы получать в Петербурге о «фами-

лии» никаких донесений. Поселив Анну Леопольдовну и её семейство в Холмогорах и дав секретную инструкцию майору Гурьеву, назначенному главным надсмотрщиком за узниками, Корф уехал в Петербург.

Все надежды Анны Леопольдовны исчезли теперь безвозвратно: она поняла, что ей не предстояло уже ничего другого, как только безысходное суровое заточение, нескончаемый ряд всякого рода лишений, начиная со свободы и кончая мелочными потребностями ежедневного обихода, и вдобавок – что было всего ужаснее – вечная разлука с любимым первенцем-сыном, а также с Юлианой, без поддержки которой Анна Леопольдовна совершенно упала духом. Здоровье принцессы было надломлено и болезнью, и душевными страданиями, и не сбылось завистливое опасение Елизаветы, которой казалось, что в ту пору, когда она станет увядать, Анна будет цвести и миловидностью, и молодостью. Беззаботная Елизавета, пользуясь полной свободой и окружённая роскошью и удовольствиями, сохраняла ещё замечательную красоту женщины средних лет, тогда как её прежняя соперница под гнётом тяжёлой неволи быстро увядала, несмотря на свою раннюю молодость. Никто бы не узнал теперь бывшую правительницу, отличавшуюся стройностью стана и цветущим здоровьем, в изнурённой и не по годам состарившейся изгнаннице. Её болезненный и страдальческий вид, осунувшиеся щёки, глубоко впавшие и лишившиеся блеска глаза, согнувшийся стан, неровная походка и исхудалая, когда-то

высокая грудь говорили о том, что ей пришлось перенести в жизни, и предвещали, что она недолголетняя обительница на земле.

Печально и невыносимо медленно тянулся для Анны Леопольдовны каждый день заточения. Она знала, что завтра будет то же самое, что было сегодня и вчера. Как потерянная бродила она по комнатам своего угрюмого жилища; даже прогулка вне его дозволялась ей только летом, на короткое время, и притом на небольшом, со всех сторон отгороженном пространстве. Убийственная тоска томила её всё сильнее и сильнее; она не имела никого, с кем бы могла отвести душу в дружеском разговоре, как это бывало прежде, когда с ней жила Юлиана. Она не могла даже развлечься чтением, так как ей дозволено было давать только книги духовного содержания. Все сношения её с кем бы то ни было из посторонних, кроме находившейся при ней прислужницы, были пресечены, и она не знала не только о том, что делалось за оградой её тюрьмы, но даже и о том, что делалось за стенами её собственного тесного жилища. Вид её мужа, к которому она теперь стала чувствовать привязанность, как к единственному близкому ей человеку, преданному ей и покорному пред ней, увеличивал ещё более её страдания. Принц Антон безропотно переносил свою горькую участь и служил для Анны живым и постоянным укором за всё её прошедшее. Дети не утешали её; напротив, даже нагоняли на неё самые тяжёлые, неотвязчивые думы; глядя на своих несчастных малю-

ток, она вдавалась в отчаяние, предвидя их печальный жребий. Но всего более мучила принцессу судьба похищенного у неё и неизвестно куда сокрытого старшего сына и бесследно исчезнувшей Юлианы...

Не только действительность, окружавшая молодую страдальицу, но и страшные сновидения беспрестанно возмущали её. Часто в тревожном забытьи, заменявшем теперь для неё спокойный, подкрепляющий сон, ей грезился её несчастный «Иванушка». То представлялся он ей в том царственном величии, которое должно было бы быть его уделом, и тогда сердце матери начинало биться радостным трепетом. То являлся он ей жалким бедняжкой, в лохмотьях и рубищах, с испитым лицом; тоскливо смотрел он на свою мать, как будто желая сказать ей что-то. Анна кидалась к малютке, но сновидение быстро исчезало. То виделся он ей в каком-то беспредельном пространстве, в сонме ангелов и херувимов, и, уносясь в светлую даль с весёлым личиком, манил её к себе своей ручонкой. Анна тщетно рвалась к нему, болезненно замирало у неё сердце, и она пробуждалась с громким, отчаянным плачем. Но самым мучительным для Анны сновидением было повторение её прощания с сыном. В это потрясавшее её мгновенье пред нею оживала действительная разлука, со всеми ужасами отчаянья и томления. Грезилась ей и Юлиана, то в виде весёлой, беззаботной девушки, какой она была когда-то, то в виде страдальицы, убитой горем; являлся ей в сновидениях и Мориц, и тогда призраки минув-

шего воскресали перед ней... Все эти грёзы принимали какие-то фантастические образы, при которых печальная действительность смешивалась с причудливой игрой расстроенного воображения.

Встревоженная сновидением, Анна Леопольдовна быстро вскакивала с постели и выбегала за перегородку своей спальни. Там, как обезумевшая, долго рыдала она или при белесоватом свете зари, не гаснувшей на ночном летнем небе, или при ярком свете месяца, проникавшем в долгие зимние ночи в окна её жилища. Тоска и отчаянье щемили её сердце, и она чувствовала, что скоро не станет у неё сил, чтобы переносить истомившее её горе. Между тем прибавилась ещё новая скорбь: Анна Леопольдовна опять готовилась быть матерью третьего ребёнка, рождённого в неволе, и 8 февраля 1746 года в холмогорском заточении появился на свет Божий новый узник, окрещённый под именем Алексея, с такой же таинственностью, с какой был окрещён брат его, Пётр.

Измученная тяжёлой жизнью и изнурённая трудными родами, лежала Анна Леопольдовна в постели в полузабытьи, когда в соседней комнате послышался сдержанный шёпот между хлопотавшим около неё врачом Манзеем и приставленным к ней для надзора майором Гурьевым.

– Мне необходимо видеть сейчас же принцессу, чтобы лично вручить ей эту бумагу, – настоятельно шептал майор доктору.

– Принцесса так слаба, что я опасаюсь за её жизнь; она

может умереть каждую минуту, – прошептал Манзей.

– Поэтому-то мне ещё необходимее видеть её безотлагательно. Я сам буду в ответе, если не исполню, как следует, данного мне повеления, – возразил майор.

– Передайте мне эту бумагу: я улучу минуту и предъявлю её принцессе, – проговорил доктор.

– Я никому не могу передать её и должен сам объясниться по поводу её с принцессой с глазу на глаз, – решительным и уже несколько возвышенным голосом сказал Гурьев.

Манзей увидел бесполезность дальнейшего сопротивления и осторожным шагом вошёл в комнату принцессы, чтобы предупредить её о полученной из Петербурга бумаге.

– Быть может, наконец я буду свободна... – проговорила слабым голосом Анна. – Зови его скорее.

Гурьев, получив позволение войти к принцессе, попросил Манзея уйти из её комнаты. Затем он удалил из другой комнаты как доктора, так и прислугу, запер двери на замок и, убедившись, что никто ничего не может подслушать, вошёл к принцессе. Анна Леопольдовна не могла приподняться и только ласковым взглядом встретила Гурьева.

– Я беспокою вашу светлость по чрезвычайно важному делу... Я никак не мог медлить с вручением вам этого указа, – сказал он, подавая принцессе бумагу, которую она взяла от него дрожащими руками. Он помог ей приподнять немного голову на подушке и поднёс к её глазам стоящую на столе свечку.

С трудом начала читать Анна поданный ей указ. Сильная дрожь пробегала по всему её телу, и вдруг она с пронзительным криком выпустила из рук бумагу.

– Нет, нет!.. этого не может быть... пощади её, Лиза!.. Умоляю тебя, пощади её... она не виновата... – кричала в беспамятстве Анна Леопольдовна.

Гурьев кинулся опрометью за доктором, надеясь при его помощи добиться от принцессы какого-нибудь ответа, но ожидание его не исполнилось. В сильном горячечном бреде она что-то бессвязно шептала, как будто разговаривая сама с собой.

– Мне кажется, что на выздоровление её нет никакой надежды, и вы только напрасно будете мучить её вашими расспросами, – сказал доктор майору.

Постояв некоторое время у постели больной, Гурьев удалился, приказав доктору немедленно известить его, как только у принцессы появится сознание.

Бумага, содержание которой так сильно поразило Анну Леопольдовну, был указ императрицы, предписывавший Гурьеву допросить принцессу об алмазах. Подобного содержания указы получались уже несколько раз, и принцесса отзывалась, что она не брала алмазов и никому их не передавала. Таким ответом, по-видимому, довольствовались прежде в Петербурге, но на теперешнем указе была следующая приписка, сделанная собственноручно императрицей: «а ежели Анна запирается станет, что не отдавала никому никаких ал-

мазов, то скажи, что я принуждена буду Жульку (Юлиану) пытаться; то ежели её жаль, то она до такого случая не допустила бы».

После этого потрясения болезнь Анны Леопольдовны усугубилась. Тщетно Манзей заготавливал микстуры, пилюли и разные другие снадобья и напрягал свои медицинские знания, чтобы пособить принцессе: ясно было, что молодая жизнь угасала и что страдания Анны были свыше её сил.

Приближался её последний час, и кончина её была кончиной праведницы. Приходя ненадолго в сознание, она шёпотом молилась за сделавших ей зло, за своих преследователей, за клявших и ненавидевших её, и только при воспоминании о Елизавете она вздрагивала, и молитвенный лепет замирал на мгновение на её иссохших губах; но и Елизавете Анна готова была простить всё, если бы только были пощажены её малютки. В минуты сознания Анна силилась схватить ослабевшими руками руки мужа и целовала их.

– Я много виновата перед тобой, – говорила она ему, – прости меня... – и при этих словах крупные слёзы выступали на её потухших глазах. Сознание, однако, скоро терялось, и тогда умирающей овладевал горячечный бред. В это время то радостная улыбка проявлялась на её бледном лице, и она тихим голосом повторяла имя Морица, как будто припоминая что-то давно забытое, то она начинала метаться, как будто желая вскочить с постели.

– Не уводите от меня Юлиану, – вы станете мучить её;

она ни в чём не виновата; виновата я, – возьмите и мучьте меня... я всё вынесу... – При этом лицо её искажалось от ужаса, и она протягивала вперёд исхудалые руки, как будто стараясь удержать кого-то.

Принц сидел на постели, в ногах жены, закрыв ладонями лицо. Он глотал слёзы и дрожал, как в лихорадке. Монах и доктор стояли молча в изголовье отходившей, сознавая своё бессилие подать ей духовную и телесную помощь.

– Где мои дети?.. Где мой Иванушка?.. Отдайте мне его!.. – то громко, то шёпотом повторяла она. – Где он? – вдруг вскрикнула она пронзительным голосом, схватив себя в отчаянии за голову и заскрежетав плотно стиснутыми зубами. Это было последнее усилие умирающей. Её колыхавшаяся от волнения грудь стала подниматься всё слабее, дыханье становилось труднее, и она, обводя бессознательно кругом глазами, шептала только: «Иванушка... Иванушка!.. «Но напрасно звала она к себе своего малютку, хотя одна только глухая каменная стена отделяла её от существа, на которое ей так хотелось взглянуть в предсмертную минуту. Она не знала, где её сын, а между тем пронесённая за три дня до её приезда в Холмогоры таинственная ноша был её малютка, содержавшийся теперь в заточении рядом с ней...

Бывшей правительницы не стало 7 марта 1746 года. Она скончалась двадцати семи лет от роду...

XLVI

Перед самым отъездом из Холмогор Корф, призвав в занимаемый им особый покой Гурьева, вёл с ним продолжительную беседу, приняв предварительно большие предосторожности, чтобы никто не мог подслушать их, а затем передал Гурьеву копию «цидулки», оставив подлинник её у себя. Через несколько дней после этого в глухую ночь привезены были подпоручиком Писаревым и самым надёжным из бывших при нём унтер-офицеров бочонок спирта и выдолбленная из дерева колода, в каких ещё до сих пор у нас в лесистых захолустьях хоронят покойников. Поклажу эту Писарев и служивый, при помощи самого Гурьева, незаметно ни для кого, внесли в особую кладовую, и потом Гурьев нередко заходил в кладовую, чтобы посмотреть, нет ли утечки из бочонка.

Когда скончалась Анна Леопольдовна, и бочонок, и колода были употреблены в дело. Гурьев предъявил штаб-хирургу копию с «цидулки», содержание которой было следующее: «ежели, по воле Божией, случится иногда из известных персон смерть, особенно же принцессе Анне или принцу Иоанну, то учиня над умершим телом анатомию и положи в спирт, тотчас то мёртвое тело к нам прислать с нарочным офицером, а с прочими чинить по тому же, токмо сюда не присылать, а доносить нам». Засмолённую колоду с телом,

обтянутую железными обручами, и бочонок с внутренностями принцессы вставили в крепкий ящик, набитый льдом. Гурьев в нескольких местах запечатал колоду и ящик своей печатью и в ночь на 10 марта отправил тело принцессы в Петербург в сопровождении подпоручика Писарева и нескольких солдат и, кроме того, наперёд послал нарочного с пакетом на имя кабинет-министра, барона Черкасова, извещая его об отправке тела Анны Леопольдовны. Манзей принял все меры предосторожности для сохранения трупа, а стоявшие ещё в ту пору морозы способствовали этим мерам. На дороге Писарев получил посланный ему навстречу из кабинета указ, в котором ему предписывалось от последней перед Петербургом станции ехать с телом принцессы прямо в Александро-Невскую лавру. Приказание это было исполнено им 18 марта, и Писарев на другой же день, с находившимися при нём солдатами, отправлен обратно в Холмогоры.

Главной соперницы Елизаветы не стало, но дети Анны Леопольдовны тревожили ещё её, и она старалась скрыть их в глубокой от всех тайне. Написав принцу Антону письмо с выражением своей горести о кончине его супруги, Елизавета потребовала от него собственноручной записки о кончине принцессы, с тем, однако, чтобы он в своей записке не упоминал, что Анна Леопольдовна скончалась вследствие родов. Во «всенародных» объявлениях не было также упомянуто об этом, а оповещалось только, что принцесса скончалась от «огневицы», т. е. от горячки. Гурьеву и Писареву за-

прещено было говорить кому-либо о числе детей покойной принцессы.

На другой день после привезения тела бывшей правительницы в лавру были посланы повестки ко всем знатным придворным лицам. Их извещали этими повестками, что «принцесса Анна Люнебургская горячкою скончалась, и ежели кто пожелает, по христианскому обычаю, проститься, то бы к телу её ехали в Александро-Невский монастырь; и могут ездить и прощаться до дня погребения её, т. е. до 22-го числа марта». Одновременно с этим кабинет-министр, барон Черкасов, сообщил со своей стороны: петербургскому архиерею – о начатии над телом принцессы, после осмотра его врачами, установленного над усопшими чтения; синоду – «об учинении церковной церемонии к погребению принцессы, по примеру матери её, царевны Екатерины Ивановны», и генерал-прокурору князю Трубецкому – «о позволении всякому приходить для прощания к телу принцессы».

Сколь возможно большее разглашение о смерти бывшей правительницы было в видах Елизаветы; но та торжественность погребения, какая предполагалась прежде, была отменена. Императрица словесно повелела синодальному обер-прокурору князю Шаховскому: во-первых, об отпевании тела находившимися в то время налицо в Петербурге архиереями с прочим духовенством, по церковному положению, «не употребляя при этом никаких других церемоний», и во-вторых, об именовании покойной «в потребных церков-

ных воспоминаниях благоверною принцессою Анною Брауншвейг-Люнебургскою». Вместе с тем ускорено было и погребение Анны, так как оно вместо 22-го числа было назначено на 21-е число.

В этот день, приходившийся на пятницу вербной недели, поутру в 8 часов собрались в Зимний дворец знатнейшие особы; мужчины были в чёрных кафтанах, дамы – в шёлковых чёрных платьях. В исходе 10-го часа императрица и великая княгиня Екатерина Алексеевна отправились в Александро-Невскую лавру в сопровождении придворных, и по окончании погребения принцессы императрица обедала у своего духовника Дубнянского, а великая княгиня – у камер-юнкера Сиверса. Наследник престола, великий князь Пётр Фёдорович, в ту пору «недомогал» и потому не был на похоронах Анны Леопольдовны.

Тело принцессы предано было земле в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря, против царских врат, при сходе с солеи¹⁰⁸. В настоящее время прах её покоится этой церкви под плитами пола, но без всякой надписи.

Надобно полагать, что вскоре после кончины принцессы – неизвестно, впрочем, когда именно и почему – старший сын её с чрезвычайными предосторожностями, был перевезён из Холмогор в Шлиссельбургскую крепость. Там, 27 июня 1764 года он был заколот приставленными к нему караульными офицерами, при безумной попытке поручика пехотно-

¹⁰⁸ Солея – ступень под крылосами и перед алтарём, возвышение.

го Смоленского полка Мировича освободить его вооружённой рукой.

Участь других лиц, являвшихся в нашем рассказе, была следующая.

Юлиана Менгден во всё время царствования Елизавета Петровны, т. е. в продолжение с лишком двадцати лет, содержалась одиноко под самым строгим надзором в Раненбурге. Неизвестно, исполнила ли императрица свою угрозу пытать её по поводу исчезновения алмазов; по всей вероятности, угроза эта не была приведена в исполнение, так как она была направлена, собственно, против Анны Леопольдовны. У Шетарди встречается, впрочем, известие, что граф Линар, узнав о падении Анны Леопольдовны, прислал с нарочными в Петербург бывшие у него драгоценности, заявив, что они были вручены ему правительницей для того, чтобы отдать их в Дрезден в переделку на новый фасон тамошним ювелирам. Пётр III, по вступлении своём на престол, немедленно освободил из заточения Юлиану, которая потом жила в Риге и умерла там в 1781 году.

Судьба сестры её, Бины, была жестока. Вспыльчивая и раздражительная, она вскоре после смерти Анны Леопольдовны впала в буйное помешательство: бранилась с приставленными к ней караульными, которые нарочно дразнили её, кидалась на них с ножами и вилками. Всё это кончилось тем, что её в холмогорском заточении продержали безвыходно в одной комнате два с половиной года, не позволяя даже ей

переменить белья и подавая ей пищу из-под двери, «как собаке». Она была ещё жива в 1755 году, и затем всякие сведения о ней прекращаются.

Застигнутый роковой вестью в Кенигсберге, Линар повернул назад и, приехав в Дрезден, вступил снова в саксонскую службу; но счастливая звезда его закатилась уже навсегда. Он неизвестно провёл остаток своей жизни и умер в 1767 году. Младший брат его был в 1776 году датским посланником в Петербурге и принимал деятельное участие в переговорах России с Данией о голштинских делах. Он оставил после себя записки о своей дипломатической службе. Потомки его существуют ныне в Пруссии, и из них старшему в роде присвоен княжеский титул.

Проходил год за годом, и мертвящая тоска царила по-прежнему в холмогорском заточении. Принц Антон, поражённый потерей жены и удручённый бедствиями, быстро дряхлел и вдобавок ко всему совершенно ослеп. Прежде чем постигло его это ужасное несчастье, он со слезами умолял императрицу даровать ему свободу. Елизавета соглашалась на это, но с тем только, чтобы принц не брал с собой из Холмогор своих детей. Он отказывался принять это условие и, видя бесполезность своей мольбы, безропотно покорился преследовавшей его судьбе. Он начал униженно благодарить императрицу за присылку ему ничтожных подарков, как, например, за антал рома или за бочонок данцигской водки. Все свои попечения направил он на своих подраставших де-

тей: учил их читать и писать и, согласно мысли своей покойной жены, вселял в них равнодушие к земному величию. Он скончался 4 мая 1776 года. Тело его, положенное в гроб, обитый чёрным сукном с серебряным позументом, было вынесено из дома в ночь с 5-го на 6 – е число и «тихо похоронено на ближайшем кладбище, подле церкви, внутри ограды дома, где арестанты содержались», в присутствии одних только «находившихся вверху для караула воинских чинов, с строжайшим запрещением рассказывать кому бы то ни было о месте его погребения».

После смерти принца Антона в холмогорском заточении томились ещё двое узников и две узницы. Их продолжали содержать в царствование Елизаветы с прежней строгостью. Всякое сообщение с посторонними было им запрещено, и они были лишены даже самого необходимого, как, например, обуви. Вырастая среди русских простолюдинов, они не знали другого языка, кроме русского, усвоив притом его местное наречие.

Императрица Екатерина II¹⁰⁹, вскоре по вступлении на престол, смягчила участь детей Анны Леопольдовны, а впоследствии, убедившись, что они не представляют решительно никакой политической опасности, вознамерились отправить их в датские владения и поручить их там покровительству родной сестры их отца, вдовствовавшей королеве датской, Марии-Юлиане. Переговоры об этом начались в марте

¹⁰⁹ Екатерина II Великая (1729—1796), императрица с 1762 г., жена Петра III.

месяце 1780 года и кончились тем, что условлено было сыновей и дочерей Анны Леопольдовны поселить в Ютландии, в небольшом городе Горзенсе. В эту пору принцессе Екатерине, родившейся ещё в Петербурге, было уже 38 лет. Она была белокура и походила на отца. В молодых годах она потеряла слух и, кроме того, была косноязычна. Сестре её, принцессе Елизавете, родившейся в Дюнамюндской крепости, было 36 лет. На десятом году возраста она, при падении с каменной лестницы, расшибла себе голову и страдала постоянно – особенно же при перемене погоды и в ненастье – ужасными головными болями. Одна только она походила на мать и своим умственным развитием превосходила всю свою семью. Оба её брата, Пётр и Алексей – из которых одному было в эту пору 35 лет, а другому – 34 года – походили на отца. Из них принц Пётр, повреждённый в детстве, был жалким калекой: спереди и сзади у него были небольшие горбы, правый бок и левая нога были кривы; но зато другой принц, Алексей, отличался хорошим телосложением и здоровьем, но умственно был крайне ограничен, все они были застенчивы, робки и очень добры. Жили они между собой чрезвычайно дружно. Время они проводили в Холмогорах следующим обыкновенным порядком: летом работали в огороде, ходили за курами и утками, катались в лодке по пруду или по двору в старой архиерейской карете, читали церковные книги и играли в карты и шашки. Принцессы, кроме того, занимались шитьём белья.

Когда перед отъездом холмогорских узников в Данию их посетил, по приказанию императрицы Екатерины, местный генерал-губернатор Мельгунов, то принцесса Елизавета сказала ему, между прочим, следующее:

– Отец наш намерен был ехать в свою землю. Тогда для нас было очень желательно жить в большом свете: по молодости своей мы ещё надеялись обучиться светскому обращению. Но в теперешнем положении нам не остаётся ничего больше желать, как только жить здесь в уединении. Рассудите сами, можем ли мы желать чего-нибудь другого? Мы здесь родились, привыкли к здешнему месту и здесь почти состарились. Теперь большой свет не только для нас не нужен, но он нам и мы ему были бы в тягость; мы не знаем, как обходиться с людьми, а научиться этому уже поздно. Мы просим вас, – продолжала принцесса со слезами и поклонами, – исходатайствовать нам у её величества милость, чтобы нам дозволено было выезжать из дому на луга для прогулки; мы слышали, что там есть цветы, каких у нас нет...

Вдобавок к этому принцесса Елизавета сказала Мельгунову, что хотя по милости государыни ей и сестре её присылают из Петербурга разные наряды, но они не употребляют их, потому что ни прислуга, ни они сами не знают, как надевать и носить их, почему и просила, чтобы был «прислан такой человек, который умел бы их наряжать».

В час ночи с 26 на 27 июня 1780 года Мельгунов перевёз на лодке принцев и принцесс из Холмогор в Новодвинскую

крепость. При виде её они ужаснулись, полагая, что их везут в место нового, ещё более сурового заточения, но опасения скоро миновали. У крепости стоял наготове военный фрегат «Полярная звезда», который в ночь на 30 июня и повёз их в Данию, под другим названием и под купеческим флагом. Императрица Екатерина щедро одарила принцев и принцесс и назначила им всем вообще ежегодную пенсию в 32 000 рублей. 13 октября 1780 года брауншвейгское семейство прибыло в Горзенс. Туда же приехали с ними православный священник и русская прислуга.

Тихо и дружно между собой жили в этом безвестном городке дети Анны Леопольдовны. Из них первой скончалась Елизавета, 20 октября 1782 года. Спустя пять лет, 23 октября 1787 года, умер принц Пётр, за ним скончался принц Алексей 30 января 1798 года. Одинокой осталась теперь принцесса Екатерина; пребывание в Горзенсе сделалось ей невыносимо, и она просила императора Александра Павловича о позволении возвратиться в Россию, для вступления в монашество. Ответа на эту просьбу не было дано никакого, и 9 апреля 1807 года её не стало.

На принцессе Екатерине окончилась печальная летопись этого злосчастливого семейства, – летопись, полная слёз и бедствий и обагрённая кровью ни в чём не повинного страдальца...

Г. П. Данилевский МИРОВИЧ РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИК

*— Да, — скажут наши правнуки, — им было больно
угнетение России.¹¹⁰
«Ледяной дом»*

I КУРЬЕР ИЗ ЗАВОЁВАННОЙ ПРУССИИ

Императрица Елисавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года, в самый разгар войны России с Пруссией¹¹¹. Вой-

¹¹⁰ Слова главного героя романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом» Артемия Вольнского, погибшего в результате козней Бирона.

¹¹¹ Речь идёт о Семилетней войне (1756—1763), в которой русские войска, выступая на стороне Австрии, Франции, Швеции, Саксонии и Испании, одержали ряд блестящих побед над прусскими войсками, державшими сторону Англии и

ска Фридриха были уже не те: лучшие его офицеры убиты или взяты в плен.

За год перед тем отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином¹¹². Казаки с союзниками-кроматами опустошили столицу Фридриха Второго, разграбили в ней до трёхсот домов, не пощадили и загородного королевского дворца: изломали в нём дорогую мебель, перебили фарфор, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей.

Начальники не отставали от подчинённых. Дано было приказание прогнать сквозь строй «Под липами»¹¹³ берлинских «газетиров» за то, что эти публицисты слишком обидно дерзко писали о русских. Вследствие такого приказа «противные России, печатные в газетах письма» жгли через палача под виселицей, а сочинителей тех писем вывели на экзекуционс-плац, чтобы наказать, за их противности, шпицрутеном. Генерал Чернышёв их помиловал. Одного «дусергельда»¹¹⁴ на вино, на сигары и вообще на угощение русской армии было истребовано от Берлина сто тысяч. Измена ко-

Португалии.

¹¹² Панин Пётр Иванович (1721—1789) командовал русскими сухопутными и морскими силами. Однако автор здесь неточен: Берлин был занят корпусом генерала З. Г. Чернышёва.

¹¹³ Имеется в виду одна из главных улиц Берлина «Uden den Linden» (под липами).

¹¹⁴ Дусергельд – кормовые. Одна из форм контрибуции (нем.)

мандира отдельного русского корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с общего совета всех русских полковых командиров, на марше в Померании не изменили рвения победоносной армии. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля стал опять ничтожным бранденбургским курфюрстом. В Кенигсберге поселился русский губернатор, отец Суворова. Вся Пруссия была завоёвана и – после роковой надписи Елисаветы «быть по сему» на докладе о её присоединении – присягнула в подданство русской императрице. В этой новой «губернии» стали вводить русские порядки. В ней явилась русская миссия с архимандритом; начали чеканить русскую монету. И вдруг обстоятельства изменились...

Племянник Елисаветы Петровны, император Пётр III, в самый день смерти тётки вошёл с обожаемым им королём Фридрихом в переговоры о перемирии. Губернатор Суворов, по именному указу, сдал войска и управление Прусским королевством генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в ведомостях о продаже своего имущества. За ним, радуясь манифесту «о вольности дворянства», двинулись под разными предлогами в Россию и другие офицеры, особенно штабные. Огорчения обидных уступок забывались. Всех волей-неволей манило из долгого похода на родину...

В конце февраля 1762 года, на курьерской тройке в пошевнях, по пути из Пруссии в Петербург выехал средне-

го роста, лет двадцати двух, сухощавый, с чёрными строгами, несколько рассеянными и как бы недовольными глазами, офицер из Кенигсберга. Был второй час пополудни. Он спешил застать присутствие в военной коллегии. От въезда в город у Калинкина моста до здания коллегии (Штегельмановский дом на Мойке, у Красного моста, – где ныне Институт глухонемых) офицер всячески торопил ямщика. Десять дней в пути в ростепель и половодье по Литве сильно его утомили. Он вёз собственноручные бумаги Панина с робким, хотя ясным предложением – попытаться продолжать войну. В мыслях офицера рисовался ожидаемый им, полный неизвестности, приём, борьба Панина с дворскими партиями и вероятное сочувствие и поздравления товарищей. Он добрался до коллегии, одёрнул на себе поношенный зелёный, с таким же воротом, кафтан и красный камзол, обмахнул снег с чёрных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоптанных башмаков и оправил ненапудренные букли и космы развившейся в дороге светло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив в коллегии генерала, к которому вёз от Панина ещё частное письмо, он сдал пакеты и, измученный дорогой, ожидал, что его станут расспрашивать, готовил в уме ответы, подбирал убедительные слова.

«Войско, – думал он, – рвётся сражаться, смелый прожект Петра Иваныча одолеет... Себя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, – лишь бы оценили смелость столь честного и неподкупного командира!..»

Белолицый, важный ростом и повадкой, дежурный генерал Бехлешов прочитал привезённое письмо, остальные бумаги отложил к стороне, пристально взгляделся в посланного, сердито потоптался на месте и, презрительно фыркая, сказал:

– Новости твои, сударь, вовсе не важны... А Пётр Иваныч хоть и почтенный патриот, почтенный, – но... да это не твоё дело... Война – экие смельчаки! тут о перемирии, а они о войне! Завтра, сударь, воскресенье... а впрочем, наведайся послезавтра...

Офицер вспыхнул. «Ах ты, кукла плюгавая, пузырь! – хотел он сказать. – Ещё о патриотах судит. Ну, да этот ещё не бог весть какая птица! Что скажут другие, вся коллегия?».

Он вздохнул, вышел, постоял, несколько опешенный, на улице и велел ямщику ехать на Васильевский остров. На сердце у него отлегло. Вид знакомых, когда-то близких мест отрадно повеял на него. И солнце кстати выглянуло и так весело осветило улицы, дома и душу путника.

Проезжая мимо шляхетного кадетского корпуса (дом Меншикова, теперь Павловское военное училище), он снял шляпу и перекрестился; здесь прошло его учение и отсюда, из кадетов, два года назад он был послан в заграничную армию. На углу одной из дальних линий и набережной Невы он завидел почернелый забор и ветхую крышу домика, с давних пор принадлежавшего вдове лейб-кампанца¹¹⁵ Настасье Ба-

¹¹⁵ Лейб-кампанцы – солдаты гвардейского полка, участвовавшие в перевороте

выкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничным дням, бездомный, круглый сирота, столько лет сряду хаживал он из корпуса в гости. Здесь приветная и твёрдая нравом, бездетная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозванием «царицына сказочница», ласкала его и в нём, бедном кадете, находила утешение в своём одиночестве и сиротстве. Дом её был в ту зиму, как знал из её писем офицер, продан за долги, и его хозяйка переехала куда-то на квартиру, не успев ему сообщить нового своего адреса. Офицер остановился у знакомых ворот.

– Вам кого? – спросил его какой-то мещанин, сидевший под навесом соседнего крыльца.

Офицер назвал Бавыкину.

– Рухнул древний, крепкий столб, – сказал мещанин, – и она, властная, сократилась: из домохозяйки жилицей стала... Приходят, знать, последние времена.

– Да куда ж она переехала? где живёт?

– У звездочёта какого-то, учёного... Уела ныне нас всех эта анафема – дороговизна... Приступу ни к чему нетути, хоть ложись да помирай... На погорелых, слышно, местах, на Мойке, каменный дом чей-то против Съезжей, а Филатовна во дворе, внизу, в деревянном фатеру снимает – там вывеска портного... Спроси звездочёта – всяк тебе там покажет...

Офицер поехал к Синему мосту, а оттуда вправо, берегом

Мойки, и остановился против места, где теперь, у пешеходного мостика, помещаются здания Почтамта. Здесь на пустынный и низменный, без набережной и ограды, берег Мойки выходил кирпичный, одноэтажный, похожий на фабрику дом с высокой трубой. На заборе была вывеска портного. За каменным зданием, в глубине двора, высился обветшалыми стенами другой дом, деревянный, в два яруса, с красною голландскою черепичною крышей. Снизу в верхнюю половину этого дома вела открытая, с площадкой, лестница, навесом для которой служили ветви высокой, в несколько обхватов берёзы, росшей на дворе у крыльца и, без всякого сомнения, видевшей ещё шведов и Первого Петра. Влево, за вторым домом, выглядывал безлистый, обсыпанный снегом сад.

Смеркалось, когда голубая, цвета васильков, тогдашняя общепармийская шинель путника показалась во дворе, где теперь жила Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрёпанной ветром, с трёх углов подвёрнутой поярковой шляпы, офицер с тощим чемоданом под мышкой быстро вошёл в нижние сени. Он сунул в угол чемодан, шагнул в полуосвещённую комнату направо, оттуда в какую-то «боковушку» налево и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. В щель этой двери пробивался свет.

«Верно, тут, – подумал гость, оглядываясь и переводя дыхание, – вот удивится!»

– Настасья Филатовна, здравствуйте! – сказал он, постучавшись в дверь.

– Никакой Настасьи Филатовны здесь нетути-с! – отозвался недовольный суровый голос из-за перегородки. – Дессиянс-академии¹¹⁶ академик тут живёт... извините...

«Что же это значит?» – подумал озадаченный гость.

– Академии-дессиянс академик здесь, Бог мой! – добавил нетерпеливо голос. – А к жилище благоволите из прихожей налево... но её нет дома.

Офицер поблагодарил, хотел идти.

– Вы же, извините, кто? – послышалось за дверью. – Как сказать, коли возвратится?

– Заграничной армии курьер, генеральс-адъютант прусского губернатора Панина, – ответил офицер.

За перегородкой послышался торопливый шорох. Дверь отворилась. На её пороге, в халате, показался высокого роста, лет за пятьдесят, плечистый и плотный человек с умным, усталым, в красивых морщинах, лицом, с недоумевающими, добрыми глазами, лысый и с крупными жилистыми руками, из которых в одной была табакерка, в другой перо.

– Из армии? что вы сказали?.. из Пруссии?..

– Точно так-с... Нарвского пехотного полка подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бумагами.

– Знакомец моей жилицы?

– Так точно-с!

Кроткая, ласковая улыбка осветила строгое лицо академика.

¹¹⁶ Дессиянс – академия – академия наук (фр.).

– Слышал о вас, слышал... Нежданный гость – тем приятнее. Она и не подозревает. Сколько о вас гадано, толковано. Милости прошу, зайдите пока ко мне...

– Какие же новости? Утешьте, сударь, подарите, – продолжал хозяин, – бьём немцев? Не правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..¹¹⁷

– Бить-то били, да теперь отступаем и скоро, надо полагать, вовсе вернёмся. О перемирии заговорили.

– Что?.. отступаем? перемирие? Да кто ж его предложил?

– С нашей, знать, было стороны.

Табакерка и перо академика полетели на стол.

– Как? мы? о мире? да вы шутите? – вскрикнул дебелий, широкий в кости академик, дрожащими руками оправляя на плечах потёртый серый китайчатый халат. – Ах, дерзость! Ах, наглость и стыд! Батюшки! После стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы человек, с дороги озябли... устали... садитесь... Лизхен! Лизавета Андреевна! Леночка! Чаю, самоварчик ему... умываться скорее...

– Bitte, bitte, gleich!¹¹⁸ – отозвался женский голос из соседней комнаты.

– Извините, – поклонился офицер, – ваша жилища, Настасья Филатовна, мне старая благодетельница...

– Знаю, не обидится... Мы с ней почасту толкуем... архива всяких преданий!..

¹¹⁷ Ферфлюхтер – проклятый (нем.).

¹¹⁸ Пожалуйста, пожалуйста, сейчас! (нем.)

– Где ж она?

– К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот, пожалуйста сюда, в комнату моей дочушки, Леночки; но осторожней. Тут у меня, как у крота, переходов да всяких клеток. Каменный дом под фабрику мною строен; а этот с садом уцелел от пожара, – в старину ещё, другими наложен. Внизу у нас жильцы и женино хозяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, инструменты, электрические батареи, подзорные трубы, реторты да колбы...

В комнату, куда академик ввёл гостя, вбежала с полотенцем и со свечой улыбающаяся девочка лет тринадцати, тоненькая, белокурая, в локонах, голубыми глазами и улыбкой похожая на отца. За ней, с тазом и кувшином воды, повторяя снова: «Bitte, bitte», – вошла ещё красивая, полная, в белом фартуке, чепце и с засученными по локти рукавами жена хозяина. Все они и самые комнаты, тёплые, уютные, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

– Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! – сказал академик, когда дамы ушли. – Делайте свой туалет без церемоний; а я – простите за любопытство – ещё кое о чём вас расспрошу... Так перемирие? Ах они, окаянные, слепцы...

– Панин хочет поправить дело и прислал рапорт: жалко, армия стремится к бою.

– И что ж? есть надежда поправить дело?

– Бог весть, как посудят; союзников нынче, сказывают, у Пруссии немало и здесь.

– Рвань поросычья! Каины! Черти особые, их же и крест российский не берёт! – шагая по горенке, сердито вскрикнул академик. – Иродовы души! травка гнусная, фуфарка!..

Он закашлялся и, поборая волнение, остановился у стемневшего окна.

– Бес шёл сеять на болото всякие плевелы и дрянь, – сказал он, не оглядываясь, – да и просыпал нечаянно это зелье – фуфарку; ну, из него и родился весь немецкий синклит: сам старый лукавец Фриц, его генералы Гильзен и Циттен, а с ними и наши доморослые колбасники – Бироны, Тауберты, Винцгеймы и вся братия¹¹⁹... И их ещё не ругать? Вздор! – обернулся и махнул кулаком академик. – Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их России, позорно, в глаза, самую сугубою и их же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с ними в конференции не иначе, как по-латыни. Не выносит их бунтующая против такой напасти и такого бесстыдства душа.

– Но их сила, господин академик! – произнёс офицер. – Не лучше ли иметь с ними волчий зуб да лисий хвост?

– Один волчий зуб, без всякого хвоста! – более и более раздражаясь, крикнул академик. – Не церемонюсь я с несатыми в алчной злобе проходимцами и потому у них не в авантаже... Таков, сударь, моей природы чин и склад!..

¹¹⁹ Лукавец Фриц – прусский король Фридрих II (1712—1786). Едва вступив на престол, летом 1740 года, он открыто начал покровительствовать масонам, возглавив немецкие ложи. Был в тесных сношениях с Бироном. Ломоносов выступает против него и «академических немцев» Тауберта, Винцгейма и прочей братии, ибо ненависть их к русским проявлялась открыто.

Ах, дерзость! Ах, нескончаемая лютость, поправшая всякий естества закон... Так это правда? Успела голубица мира, успел Гудович доставить масличную ветку в Берлин¹²⁰? Боже – господи! Ужли ж побеждённому королю вверить судьбы российской исконной политики? Да этого, друг мой, Россия с ордынских баскаков не видывала...

– Жил я между немцами, – сказал офицер, – извините, хоть и враги наши, а у них хорошо: порядок, науки.

– Да нас-то они ненавидят, не признают. Бить бы тамошних до конца, здешние бы присмирели!.. Ни одобрения возрастанию родных наук, ни чести по рангу, ни внимания к каторжному, в здешнем крае, учёному труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный завод завёл, а они – конюхов да сапожников креатуры – жалованье мне заваливающими книжками из академической лавки платили. Я открытия делал, оды писал, а с меня, когда я жил в казённом доме, деньги за две убогих горенки высчитывали. Истомили меня, истерзали кляузами. Поневоле другой стал бы пригинаться, слабеть, как иные – не хочу их называть – Лазаря знатным барам петь, на задних лапках за подачкой стоять... Да не буду стоять! не буду подличать!.. Друзья у меня не по знатности – по гению и по усердству наук... И душа моя, сударь, плебейская, поморская... Воспитал её в соловецких беломорских зыбях студёный, надполярный океан... Оттого-то ветер солёный, мор-

¹²⁰ Предложение о мире и о заключении мира между Россией и Пруссией, воюющих друг против друга, привёз в Берлин генерал-лейтенант Гудович.

ской ходит в ней, бушует почасту...

«Вот человек, открытая, смелая душа!»— подумал офицер, с горячим, почтительным сочувствием глядя на матёрого плебея-академика, с распахнутою, могучею грудью, шагавшего перед ним в стареньком китайчатом халате.

— Ох, извините, — сказал тот, остановясь, — вы привезли зело печальные, волнующие вести; не удержишься. А поттому, — вдруг добавил он, понижая голос и как-то детски робко оглядываясь на дверь, — если вы в сей момент, как военный походный человек, готовы и расположены, то померекайте тут с вашею старою приятелькой, а через час, через два за калиткой будет стоять договорённая мной городова коляска... Дома, в горницах, беседовать по душе тесновато... Я ж проболел и давно не выезжал. Так мы с вами, сударь, коль согласны, поедем в герберг¹²¹ к Иберкампфу; сыграем на бильярде, разопьём бутылочку и потолкуем обо всём на свободе...

— Не по рангу мне, господин академик... притом же дорога... мои финансы...

— Полно, полно, друг. Давно я, говорю, соблюдал лечебный дигет¹²², ну, и пост; а сегодня вот кстати и жалованье из конференции прислали... Поедем; там, государь мой, устерсы фленские, анкерки¹²³ токайские, бургонское и особый,

¹²¹ Герберг — постоялый двор (нем.).

¹²² Дигет (диета) — определённый режим питания.

¹²³ Анкерки — бочонки.

скажу вам, новоманерный пунш...

Дверь распахнулась.

– Какой пунш? кто пунш? – вскинув руками, произнесла на пороге полная, седая, но ещё румяная и бодрая, в тёмной душегрее и в такой же кичке¹²⁴, с калитой и ключами у пояса, шестидесятилетняя старуха. Это и была свет-матушка, древний, властный столб, Настасья Филатовна. Она взглянула на офицера, отступила.

– Вася, ой, да стой же... что это?.. Василёк, голубчик ты мой! – вскрикнула и повисла на шее гостя старуха.

Смуглые, обветренные щёки офицера дрогнули. Он горячо припал к Филатовне, с радостными слезами безмолвно обнимавшей нежданного гостя.

– Ох, милый, вот так утешил, – сказала она, – одначе стой... Так и есть, не стыдно ли? Не село, не пало, а уж и за компанство, за пунш... Да и вы, ваше высокородие, – хоть и хозяин мой... Стыдно! Вот я супружнице вашей всё отлепортую...

– Долг гостеприимства, сударыня, – ответил, глядя на офицера, академик.

– Гостеприимства! а ты? – ласково обратилась к гостю, по уходе хозяина, старуха. – Ну-ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, каков ты нынче стал.

Бавыкина обвела его свечой.

– Сердечный мой, радостный! Едва тебя спознала! Вот

¹²⁴ Кичка – головной убор замужней женщины.

она, походная-то доля, как возмужал! Ну, ангел мой Васенька, пойдём же в мою конуру, – не своя теперь, чужая...

Они прошли в сени, за которыми Бавыкина снимала две комнаты.

– Вася! соколик мой! – сказала, припав опять к гостю, старуха. – Повидала я тебя, а не чаяла более... Не такую ты оставил вдову сударя Анисима Поликарпыча... Дуб оголелый нынче я... облетели все листочки, ветром ошарпало их, сдуло... Не в этакой узкости и тесноте суждено было век доживать. Ах! И где-то, Вася, те счастливые да шумные старые годы?..

Вдова Анисима Поликарпыча – кто не знал общей печальницы и утешницы? – самой государыне Елисавете Петровне угодила, бессонные ночи ей грешным рабым языком коротала. Сильно скучала иной раз ласковая царица, и хаживали её утешать из предместьев да с базаров бабы-цокотухи, умелые, бедовые на язык. Хаживала и лейб-кампанша Настасья. Сидит, бывало, её величество в кофте да платочке поверх русских, пудренных волос и спрашивает гостью:

– Отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?

– Старею, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась белилами, брови марала, румянилась... Ныне всё бросила...

– Румяниться не надо, – говорит царица, – а брови марай... Ну, сядь же, соври про разбойников или про какие иные дела.

– Казни, всевластная, невмочь; вся душенька во мне трепехнется...

– Отчего ж она у тебя трепехнется? – смеётся государыня.

– Как иду к тебе, милостивая, будто на исповедь, а вышла, точно у причастия была...

И припадёт Настасья к постели царицы, ножки, юбочку её целует, до утра ей тараторит.

– В чём счастье, Филатовна?

– В силе, матушка государыня, в знатности да в деньгах.

По деньгам и молебны служат.

– А горе в чём?

– Без денег, всемилостивая.

– Да ты, нешто, ведьма, жадна?

– Жадна, ох, жадна и всё, пресветлая, что пожелаешь, возьму... Деньга – ох! – она ведь и попа купит, и Бога обманет...

Весело царице.

– Вот, было в старые годы... – начнёт Филатовна и говорит про всё, что видела и слышала на свете, на долгом веку.

Фавориты её побаивались, и сам канцлер Бестужев в праздники посылал ей подарки – муки, мёду, пудовых белуг и осетров. И хоть недолго Филатовна пожила за вдовцом, сержантом лейб-кампании, зато всласть, в полную волю. Анисим Поликарпыч нередко загуливал и буянил, но уважал Настю и тоже побаивался, а по смерти отказал ей дом на Острове у Невы. Падчерицу она пристроила за пова-

ра графа Разумовского, но вскоре её схоронила и осталась круглой сиротой. Зато кто её не знал? Совет ли дать, навещать ли в горе, похлопотать ли за кого – её было дело. Не только светские, духовные её уважали... Церкви Андрея поп взял её к себе кумой. Дом, хозяйство Филатовны славились в околотке. Сама она стряпала, окна и полы мыла, без очков на старости лет шила бисером, золотом, копала огород и доила коров. И не раз сама государыня Елисавета Петровна лично достаивала её заездом к ней – малины тарелку откусать, прямо с кустов, либо выпить из холодильни стакан свежего, неснятого молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то её и погубили. Отдавала она их тайком богатеньким господам в рост. Но попутал бес. Одна знакомка дала совет. Погналась Бавыкина за большим барышом, ссудила немалый куш известному гвардейскому моту и всю казну потеряла. Хотела извернуться молчком; поплакала, погоревала и заложила свой участок банкиру Фюреру, но не выдержала срочных платежей, дом её со двором были проданы в начале той зимы с молотка.

Таков-то безлистый, оголелый на ветру дуб стоял теперь перед залётным гостем.

– Ну, да что тут, садись, соколик, – сказала Бавыкина офицеру.

Они сели.

– Не те времена, Вася; всё ушло, всё улетело, как почилла наша пресветлая благодетельница... Что сберегла добра,

рухлядишки, всё перевезла сюда... Остальное – разобрали люди.

– Ничего! даст Бог, поправитесь; вот я приехал – подумаем...

– Поздно, друг сердечный, поправляться да думать. Другим, видно, черёд настал. Вот, к грекене к одной в никанорши зовут, за хозяйством глядеть; приходится внаймы на старости лет... Всё прахом пошло... А я мыслила о тебе, тебе сберегала... Ну да вой, не вой, на то и велика рыба, чтоб мелких-то живьём глотать... Поведай лучше о себе.

Офицер вздохнул. Речь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодых ожиданий, веры в счастье, надежд.

– В карты, Вася, по-былому, извини, играешь? – спросила, взглянув на него, старуха. – Да ты не сердись: дело говорю.

– Что вы, помилуйте, – ответил гость, – жалованье какое! а тут, сами знаете, походы, контужен был, – до того ли?.. притом...

Офицер хотел ещё что-то сказать; слова ускользали с языка. По лицу прошло облако. Глаза смотрели рассеянно, куда-то далеко. У губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Бавыкина покачала головой.

– Ужли и там не забыл? – спросила она.

– Вот пустяки, охота вам...

– Да ты, вьюн, не финти; говори, в резонт спрашиваю.

Офицер встал, оправил волосы. Точно отгоняя тяжёлую

мысль, он провёл рукой по лицу, подумал и снова молча присел к столу.

«Так, так, из-за неё, – мыслила тем временем старуха, из-за Поликсены ты и приехал, чуть смог вырваться оттоль... Знаю тебя! От гордости молчишь – а сам бы кинулся, готов просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?».

Офицер, сгорбившись, молчал. Филатовна не выдержала. – Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбитню не согреть ли?

Гость отказался.

«Ну, Бог с ним, сердечным, усталость, знать, одолела».

Старуха постлала ему постель в собственной спальне, дала ему огарок свечи, а спрос о сердечных его делах отложила до другого раза: «всяк божий день не без завтрашнего».

Офицер разделся, достал из чемодана святцы и образок, поставил его в углу на столе, раскрыл святцы, рассеянным взором прочёл несколько страниц, перевёл глаза к тёмному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога нового терпения и новых сил.

«Родина, дорогая родина! – мыслил он. – Вот она наконец, и я опять среди неё... Храм Соломона!.. далеко, кажется, до него... На чём-то они теперь стоят, чего держатся? Осветил ли их хоть малость свет истинной жизни, свет разума и вышней братской любви? Или всё тот же этот край, хмурый, неприветный, запустелый и веющий холодом?...»

– Что? лёг спать? – переходя, спросил Бавыкину, встре-

таясь с нею в общих сенях, академик.

– Спит, – нехотя ответила Филатовна, – ещё бы! намаялся сердечный: столько сломя голову скакал. А вам, сударь, что до него?

– Да я так, новостей он привёз, и любопытство расспросить.

– Ну, только, уж извините, это завтра...

– А как бишь, не упомянул, фамилия этого вашего гостя?

– Родом малороссиянец, и имя ему Василий Яковлевич Мирович... Сызмальства... Да что! спокойной ночи, сударь... Только опять же советую, хоть вы и хозяин, – не держите долго огня... Всё-то у вас бумаги да книжки... пожар ещё, упаси господи, не напроворили б... и то вот на погорелом двореце построились...

«Ишь козырь, доброобычайная старлица, как распекает! – улыбнулся академик, с потупленной головой вновь пробираясь в свои горницы. – Да оно и лучше! и здоровью легче. Вот печень намедни как было опять разгулялась! И дел, по правде, не оберёшься. Мозаику кончать, о метеорах писать... Ба-ста!.. Скудель тесная – существа предел!.. Прощай, былые годы!.. *Mens sana in corpore sano*¹²⁵.

– Настасья Филатовна, кто, скажите, ваш хозяин? – спросил Мирович из спальни, уже впотьмах. – Я и забыл осведомиться.

– И этот тоже! да что/с вами поделалось?.. точно сговори-

¹²⁵ В здоровом теле здоровый дух (лат.).

лись! Пара он тебе, что ли? Коллежский советник – почитай, бригадир... Спать пора! инда напугал.

Василий Яковлевич Мирович крепко заснул. Мир давно забытых картин охватил его. Ему грезились давние, детские и отроческие годы, угрюмая Сибирь, потом украинский тихий хутор, старый заповедный лес и пчёлы, бедность и горести некогда богатой и знатной, потом гонимой судьбою, разорённой и обедневшей семьи.

II ПРОШЛОЕ МИРОВИЧА

Предок Мировича во время казни гетмана Острицы¹²⁶ был в Варшаве, с другими пленными казацкими сотниками, прибит гвоздями к осмолённым доскам и сожжён медленным огнём.

Его прадед, Иван Мирович, переяславский полковник, был бешеной храбрости человек. Гетман Мазепа¹²⁷ выдал за него, вторым браком, выписанную из Польши свою сестру, Янелю. Разгромив татар у Перекопа и Очакова, Иван Мирович возил в Москву пленников и пушки и, возвратясь отту-

¹²⁶ Один из лютых врагов поляков, гетман Острица, возглавляя казацкое войско, прославился в боях с поляками.

¹²⁷ Мазепа Иван Степанович (1644—1709) – гетман Украины (1687—1709). Выступал за отделение от России. Предал Петра Первого. После полтавской битвы (1709), в которой был на стороне шведов, бежал с Карлом XII в Турцию.

да с щедрыми подарками, начал строить каменный переяславский Покровский собор, но вскоре скончался. Здесь, по его заказу, на большом запрестольном образе, весьма схоже, был изображён Пётр I, возле него гетман Мазепа и духовенство, поодаль придворные дамы, народ и казацкое войско, а над всеми, в облаках, покров эллинской Божьей матери. У этой ещё не оконченной церкви, по преданию, гетман Мазепа, поскользнувшись, упал с конём.

– Не к добру, – сказал народ и вспомнил это после Полтавского боя.

Сын Ивана от первого брака, Фёдор Миревич, был генеральным есаулом Орлика¹²⁸. Посланный вельможным дядей-гетманом в Польшу, под команду Паткуля¹²⁹, завзятый рубака Фёдор Миревич не вынес «муштры» немца, бывшего казаков палками, и возвратился с данным ему полком в Украину. Мазепа отплатил племяннику. В 1706 г. огромные силы шведов осадили Миревича в Ляховичах. Мазепа, сославшись на половодье, не доставил ему помощи. Брошенный своими, теснимый врагом, полковник Фёдор Миревич сдался с отрядом и был увезён в цепях в Стокгольм. Церковь в Переяславле, заложенную его отцом, достроила впоследствии его жена, племянница гетмана Самойловича Пе-

¹²⁸ Речь идёт о Филиппе Орлике (1672—1742) – участнике предательского заговора Мазепы.

¹²⁹ Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660—1707) – лифляндский дворянин. Бежал от шведского короля и поступил на русскую службу. Позже был казнён шведами.

лагея Захаровна, урождённая Голубина. Освободившись из плена, Фёдор Мирович жил некоторое время в Турции, потом в Варшаве у Вишневецкого, где и умер. За сношения Фёдора Иваныча с угнетённой родиной Пётр I сослал его жену и сыновей в Сибирь и отобрал в казну имения не только виноватого перед ним Фёдора Мировича, но и ни в чём не повинной его жены.

Юных сыновей Фёдора Иваныча государь спустя некоторое время помиловал. Мировичей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дяде, знаменитому Павлу Полуботку¹³⁰, который в 1723 году отвёз их в Петербург и поместил, для прохождения наук, в академическую гимназию. Здесь они были недолго. Полуботок кончил жизнь в крепости, племянники остались без средств и от бедности бросили науку. Старший из них, Пётр, получил место секретаря при дворе великой княжны Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к себе из милости польский посланник, граф Потоцкий, с которым тот побывал и в Польше. Но было вскоре перехвачено письмо Петра Мировича в Варшаву к отцу, с копией указа о Полуботке и с известием о притеснениях малороссийского народа. Братьев опять арестовали и перевезли в Москву, потом в 1732 году снова выслали, под видом боярских детей, в Сибирь, где Пётр Мирович дослужился до места управи-

¹³⁰ Полуботок Павел Леонтьевич (1660—1724) – наказной гетман Украины и черниговский полковник. Ратовал за расширение прав украинских гетманов. Был заключён в Петропавловскую крепость, где и умер.

теля заводской Исетской конторы, а впоследствии даже был назначен воеводой Енисейской провинции.

Во время коронации Елисаветы в Москве бывший ещё недавно певчий цесаревны, Алёшка, теперь же всеильный и вельможный граф Алексей Григорьевич Разумовский, напомнил императрице о судьбе своих забытых земляков, Мировичей. Государыня лично в сенате, в 1742 году, объявила именной указ, которым обоим братьям Мировичам, после вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, даровалось прощение и предоставлялось служить, где они захотят. Они пожелали докончить век на покое, на родине, куда, после некоторого пребывания в Москве, и переехали.

Старая «Мировичка», мать Петра и Якова Фёдорычей, Пелагея Захаровна, была отпущена из Сибири в Малороссию двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала из ссылки и из Малороссии прошения царицам Анне и Елисавете, умоляя их о возвращении ей если не мужниных, то хотя бы части её собственных приданных и благоприобретённых имений. На все её прошения были получены отказы. Некогда вельможная пани есаульша, родня по мужу Полуботкам, Мокиевским, Забелло и Ломиковским и жена гетманского племянника, Пелагея Захаровна умерла, по возвращении на родину, в бедности. Богатая и знатная, также ограбленная её родня не туда смотрела, сыновья пособлять не могли, а что получала она от немногих старых друзей, употребляла на доделки не оконченного свёкром и мужем собора.

Отставной енисейский воевода Пётр Фёдорыч Мирович был нрава буйного, заносчивого и дикого. В Сибири он, между прочим, был одно время под следствием за то, что в качестве управителя Енисейской провинции явился в воеводскую канцелярию в халате и в колпаке и там перед зеркалом обругал первостатейных купцов самыми непотребными словами. Следователи, впрочем, его оправдали. Возвратясь из Сибири в Москву, а потом на родину, он не укротил своего нрава. Будучи беден и горд и доживая век где-то в глухом местечке, на небольшом пособии от какого-то соседнего магната, он никому не уступал и умер от запоя, изрубив перед кончиной полицейского офицера за то, что тот перед ним не снял шляпы.

Брат Петра, Яков Мирович, был нрава кроткого и тихого, притом с детства слабый здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербурга, где он некоторое время был в академической гимназии, как и нахождения у Потоцкого, он почти не помнил. Во время первой ссылки, в Тобольске, он обучался в школе у некоего «несчастливца» Сильвестровича, который хорошо играл на скрипиче, но по-русски почти не говорил. Женившись на небогатой купеческой дочке Акишевой, во время пребывания в Москве, Яков Фёдорыч при жизни матери и брата кое-как ещё содержал семью. По смерти же их он впал в окончательную нищету, овдовел, огрубел и, одичав от бедности, уж мало чем отличался от любого простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в дегтярных сапогах и нани-

мался у соседей-помещиков то в ключники, то в объездные, торговал некоторое время водкой, гонял на продажу гурты скота, а состарившись и не видя себе ни в чём удачи и успеха, сел у хуторянина – кума Данилы Майстряка в лесу на пасеке, глядеть пчёл. Кум Данило держал от какого-то графа на аренде клочок той самой земли, которая была отнята у отца Мировича.

– Тут и умру! – сказал себе Яков Фёдорыч, сидя у старого омшаника, в заповедной, медвяной яворщине кума. – Сложу здесь кости! Земля всё-таки наша...

– А сын? а дочери? – спрашивал себя старик.

У Якова Фёдорыча Мировича от рано умершей и такой же, как он, плохой здоровьем жены остались четверо детей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сын Василий. Дочек разобрали по рукам добрые люди. Мальчик подрастал при отце.

Зимой Вася учился на хуторе у дьячка, летом помогал отцу у пчёл, носил ему в лес обедать и ужинать, плёл корзинки, строгал бабам ложки и веретёна, играл на дудке и торбане¹³¹. Кто-то забросил в реку серого щенка; Вася с плачем кинулся, чуть не утонул, но успел его спасти и вырастил.

Раз услышал отец, как его десятилетний Василь в церкви поёт и читает Апостола и задумался.

«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! – сказал себе Яков Фёдорыч. – Другим удаётся – попытаюсь и я о нём! Всё же он

¹³¹ Торбан – струнный щипковый музыкальный инструмент.

дворянской крови... Предки знатные были и не под тыном валялись... А царица Лизавета Петровна до Украины милостей своих ещё не замуровала в стену»...

Думал он долго и решил наконец устроить судьбу сына. Это случилось восемь лет назад, а именно в 1754 году.

Был жаркий летний день.

Из Малороссии в Петербург, на паре волов и на простом мужицком возу, приехал путник – высокий, костлявый, лет за пятьдесят. Он был в долгополой чёрной свите и в серой барашковой шапке. Сам сед, а чёрные глаза, как угли, светились из-под насупленных бровей. На возу у него сидел мальчик, лет тринадцати с небольшим. У воза шла серая лохматая собака. Ехали они просёлками, продовольствовались волов на подножном корму, сами питались сухарями. Отправились из дому в середине апреля, прибыли в Петербург в начале июня. В дороге, следовательно, находились почти два месяца. То были Яков Фёдорыч Миревич и его сын Василий.

Остановились они на отдых на обширном, поросшем густою зелёною травой Адмиралтейском лугу (нынешняя Исакиевская площадь с новым садом). Выпрягли волов, умылись в Неве, Богу помолились и закусили. Мальчик, болтая босыми ногами в реке, заметил под бастионами крепости (на месте нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо пасшихся на траве придворных коров и подогнал к ним своих круторогих. Старик вынул из-за пазухи бумагу, долго думал над ней, сунул её опять на место и, с кнутом в руке, пошёл

кого-то отыскивать по Невской першпективе.

Мальчик тем временем вышел с собакой на площадь и стал разглядывать город. Всё его занимало: красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды и суета рабочих, с криками и песнями выгружавших в то время с канала, у нынешней разводной дворцовой площадки, последний камень, кирпич, громадные брёвна и доски для постройки тогда заложенного Растреллием нынешнего Зимнего дворца. Залюбовался мальчик и золотыми, ярко горевшими на солнце шпилями Адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакиевской церкви, стоявшей близ того места, где теперь памятник Петру. Обернулся мальчик назад; перед ним в бесконечную даль тянулась, вся в яркой зелени густых, в четыре ряда, высоких лип, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхом военные, мчались цугом раззолоченные кареты.

Яков Фёдорыч со словами: «А будьте ласковы, скажите, где тут?» – снимал шапку чуть не перед каждым прохожим. Все дивились на него, на его речь, одежду и на почернелое от зноя, с седыми усами, лицо. Прохожие пожимали плечами и шли далее. Горожанам было не до него; да украинца редко кто и понимал.

Понял и выслушал Якова Фёдорыча случайно встреченный им у тогдашнего деревянного Аничкова моста некий важный и с виду гордый человек. С двойным подбородком и объёмистым животом, этот господин, отдуваясь и еле пе-

редвигая ноги, шёл в вошчанковой зелёной шляпе, в голубом камзоле и в красных башмаках.

День был душный. Незнакомец, несмотря на свой наряд, нёс с живейного рынка, бывшего за мостом, на Литейной, в одной руке – пук зелени, а в другой – пару перевёрнутых вверх ногами живых каплунов. Мирович с поклонами передал и ему, в чём дело. Пузан оказался его земляком.

– Так тебе, землячок, графа Разумовского? – сказал он поморщившись и крякнув.

– Его ж, его ж... Розума нашего и кормильца!..

– Квартирует он в самом царском дворце, а с месяц, за переделками там, вот где проживает! – гордо ткнул пучком зелени важный господин, указывая через поросший травой берег Фонтанки на жестяные куполы Аничкова дворца. – То будет его хижка... царица ему подарила... Что, хорошо?

– Фить-фить! – засвистал удивлённо старый Мирович. – А вы ж, ваше сиятельство, чем будете? и как вас титуловать?

– Кофи-шёнком у графа! – ещё важнее пыхнул сквозь зубы толстяк. – И я тебе, землячок, подозволь, так и быть, в чём нужно, помогу...

– Как же это кофи-шёнк? в каком будет ранге?

– А то же, почитай, что гофдиннер¹³², – пускал пыли в глаза толстяк, – мало чем меньше тафельдекера¹³³, а то и больше того...

¹³² Гофдиннер – придворный слуга (нем.).

¹³³ Тафельдекер – слуга, накрывающий на стол (нем.).

Мирович снял шапку и уж её не надевал.

Земляк привёл его к Аничкову саду, занимавшему в то время всё место, где теперь площадь с Александрийским театром, памятником Екатерине и Публичной библиотекой. Они обогнули этот сад со стороны Гостиного двора и от заводей Фонтанки и Чернышовских прудов, бывших на месте нынешних министерств народного просвещения и внутренних дел, подошли к небольшой садовой калитке. Вожатый, на расставанье, дал Мировичу несколько наставлений и обещал, если понадобится, пристроить его на квартире.

– Вот, малый, крыльцо, – указал он в калитку на один из летних павильонов дворца, – ступай прямо туда... Из прихожей будет тебе, братец, светличка – в ней граф завёл теперь принимать просителей... Там, коли не опоздал сегодня, и дождайся...

Мирович тенистыми, пахучими аллеями прошёл к указанному павильону, заглянул в прихожую – ни души; заглянул в приёмную – тоже никого; постоял у порога, раза два кашлянул и, как был, в чёрной свите и смазанных дёгтем сапогах, поджав ноги, присел на голубую, штофную, с золотыми точёными ножками софу.

Долго он дождался. Никто не приходил и не подавал голоса. Приём, очевидно, кончился. Но, раз попав так легко к высокому графу, о котором он, как о благодетеле своей семьи, столько слышался и про которого такая слава и такой говор стояли на родине, – Мирович решился во что бы то ни

стало ждать.

«А как выгонят?.. Ну, дворянина, пожалуй, и не посмеют...»

В комнате было ещё жарче, чем на дворе.

Мухи то и дело садились на потное, обросшее за дорогу лицо украинца. Мирович то дремал от усталости, то, с досадой и бранью отмахиваясь от мух, ловил их на лету и давил. Одна особенно назойливо и долго приставала к нему. Он её согнал с шеи – она укусила его за щёку и пересела ему на колено. Стиснув зубы, он прицелился на неё, хлопнул по ноге, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнате и опустилась на большую японскую вазу. Задремал в тишине Мирович. Солнечные лучи, врываясь сквозь ветви тихо трепетавших лип, яркими, извилистыми просветами играли по паркету, бронзе и зеркалам. Муха опять села на щёку Мировича, жужжа и путаясь в усах, укусила его и вновь улетела на вазу.

– А, каторжная! – проворчал Мирович. – Постой же! шкода! теперь не уйдёшь!

Он встал и тихо, на цыпочках, начал подкрадываться к обидчице; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза с громом рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.

Резная лаковая дверка отворилась в углу комнаты. За нею показалась пола бархатного вишнёвого халата, звезда на лацкане и румяное, удивлённое, а вместе смеющееся лицо: густые чёрные брови, карие, с поволокой и краснинкой, глаза и

вздрагивавшие от позывов к смеху крупные и влажные, добрые губы...

– А що, земляче, пиймав? – раздался голос пышущего здоровьем, сорокалетнего вельможи, узнавшего в госте земляка.

Яков Фёдорыч упал перед ним на колени. Граф Алексей Григорьевич Разумовский милостиво ободрил растерявшегося просителя, ласково ввёл его в свой кабинет, усадил в кресло и стал расспрашивать, кто он и как сюда попал.

– Знаю, знаю, сердце... Но неужто на волах? – спросил, удивлённо подняв брови, Разумовский. – Не шутишь? Так-таки, голубе сизый, на воликах, да ещё, может, и на серых?..

– На сирых, ваша графская светлость, на сирых...

– И погоньча, хлопчика, верно, взял?

– Сына... подросточка...

– Давай же его, голубоньку, сюда, может, и песни играет? где он?

– На лугу, у нового дворца, скотину с собакою пасёт.

– Как? где?..

Мирович объяснил. Граф окончательно покатился со смеху...

– Вот так придумал! – бархатным певучим горлом выводил Разумовский. – Кто ж тебя ко мне направил?

Мирович рассказал о своей встрече с кофи-шёнком графа, который и на квартире, у тёщи своей, обещал его пристроить.

– Какой кофи-шёнк? и что ты, диду, городишь? – опять зашевелил поднятыми бровями граф. – Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно кто... Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачий сын, каким титулом... А он у меня за подручного в поварне на людской... Кофи-шёнком же, друже, у меня француз Бриошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да гордая, что Абрашку ещё за вихры отдубасит, как узнает о его самозванстве... Так, так, он самый и есть! И у его тёщи, Бавыкинши, свой дом на Острове... И отлично...

Разумовский позвонил.

– Езжай же ты, сердце, к ней, – сказал он, – а завтра в эту же пору – или нет, постой, – лучше к вечеру, – будь ты опять у меня, да непременно с сыном и на волах... Тогда и о деле твоём потолкуем. А теперь некогда – еду во дворец.

За стеной послышалась суета. Поспешно вошёл разодетый в золотую ливрею слуга, за ним – другой.

– Торох, торох, посыпался горох!.. Эка, пентюхи... Вы спите там, – сказал Разумовский, – а тут, чтоб чёрт так и эдак побил вашего батька, добрый человек дожидается... Позвать повара Абрашку.

Вошёл Абрам. Мирович глазам своим не верил: куда делась важность мнимого кофи-шёнка – и живот осунулся, и куда-то в камзол спрятался двойной, вспотевший подбородок.

– Не пьян сегодня? – спросил, строго хмуря брови, граф. – Ну и отлично! редко с вами, архибестии, бывает... Так вот

же что... Бери ты, Абрашка, вот сего сизого голубя к своей теще на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу... Угоди там, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу... А это ему пока на расход.

Граф бросил повару кошелёк.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, в Аничковом саду, вечерний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где теперь Инженерный замок, на катере с гребцами и с роговою музыкою. Катер въехал из Фонтанки прямо в пруд, бывший тогда среди Аничкова двора.

Государыне в саду графом были представлены Яков Фёдорович и его сын Василий. Мальчик играл императрице на торбане, пел «Горлицу», «Гриця», плясал «трепака» и декламировал хвалебный, в честь царицы сложенный в то время киевскими бурсаками, кант. Государыня прослезилась. Но спустя недели три, когда ей от сената доставили справку о том, за что её покойный родитель отобрал в казну имения Мировичей, она не нашла возможным исполнить просьбу Якова Фёдоровича.

– Чудасия, мосыпане, да и полно! – воскликнул, топорща брови, не успевший в своей протекции Разумовский. – Не всё, братику, по-нашему! – пивень каже куд-кудак, а курочка – не так! Но дело твоё, не унывай, ещё выгорит... Докажи, чуешь, что в отобранных у вас поместьях были родовые, собственные маетности твоей матери. А без того – чтоб им болячка! – не можно... убей Бог, не можно... Посуди... се-

нат в твою пользу не доложит... Сказано: москали! лыком
вязано, в лыках ходит, под лыком спит... Видишь, сердце,
какие у них прицепки да щупы – на три аршина, собаки, под
землёй щупают. Нельзя... финанции, казённый интерес!..

Слёзы прошибли Мировича. Он не ожидал отказа и
неуспеха, когда добился свидания не только с графом, но и
с царицей, подбирал, что бы ещё сказать, и не находил слов.

– А о хлопчике твоём, о сыне и не думай! – сказал трону-
тый его горем граф. – Государыня, до его великовозрастия,
возьмёт его под свою опеку и милость. И такой-сякой я буду,
слышишь, коли вру! Наплюй тогда в глаза... Завтра же велит
его записать в кадеты, в шляхетный здешний корпус, – бо
он у тебя, братику, всё-таки дворянин, нельзя! э! того нель-
зя!.. Да ещё вон какой до чёрта письменный... стихи важно
дует – и дискант преизрядный... Без камертона, сразу верх-
ние ноты, собачий сын, берёт... «Горлицу», «Не ходи, Гри-
цю» как отчекрыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон
знатно спел, без ошибок; да полагаю, и по придворному, кон-
цертному, скоро насобачится..! А волов своего кума, сердце,
знаешь, лучше оставь тут – продай их хоть и мне... Славные
волы! и жалко их, диду, опять гнать бес его знает и куда...
Я бы, слышишь, послал их да дачу тут свою, в Гостилицы...
У меня, сердце, там дворец; а какие луга! Нехай бы ходили,
шановались¹³⁴ да радовались по паше... Гей, гей, родина, ху-

¹³⁴ Шановать – оказывать почтение, уважение, иносказательно – кормиться
(укр.).

торы наши, раздолье... Эхма! А впрочем, как знаешь. Брат Кирило в Батуриновскую новоманерную мебель посылает себе на днях в гетманский дворец... Так и ты бы, может, поехал с его хлопцами...

Яков Фёдорович поблагодарил, но, пристроив сына в корпус, поехал с лохматым Серком домой на волах.

По возвращении на родину старик протянул недолго: простудился осенью на пасеке и умер. Об этом написали молодому Миновичу сёстры, жившие по людям в Москве. Зять Бавыкиной, Юрченко, потеряв от преждевременных родов жену, запил с горя на графской кухне и также в том году скончался.

Настасья Филатовна, на своём сиротстве, незаметно и крепко привязалась к Васе Миновичу; брала неуклюжего и на первых порах медведеобразного, а потом резвого и шустрого, миловидного кадетика к себе по праздникам, ласкала его, журила и нянчила, как родного. Из кадетика вышел вскоре кадет, из тощего заморыша-мальчонки – рослый и полный здоровья юноша, который не знал, куда деть вытянувшиеся руки и ноги; не по дням, а, казалось, по часам, так и выпирало его из казённого узкого кафтанишки.

– И куда ты это, Васенька, лезешь в гору, так растёшь? – говорила старуха. – Ин скоро, уж, пожалуй, и рукой не дотягнешь до твоего вихра!

Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Филатовны по

крышам, по яблоням и берёзам, гонял голубей, в свайку да в бабки играл с уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна то и дело чинила его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но вот Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а в чёрных глазёнках так и бегают огоньки. Ландшафты рисует красками и миниатюрой, хитрые виньеты к нотам Разумовскому чертит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Бавыкиной, вслух читает какие-то стихи: говорит, что твердит роль для кадетского театра. Зелёный ученический кафтан на нём чист, русая коса в завитках и припомажена, шляпа на три угла, как с иголочки, белые манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать лет. В корпусе он был уже шестой год.

– Кто же вас там ахтёрству этому обучает? – спрашивала его Филатовна.

– Сам Александр Петрович, сам господин Сумароков!¹³⁵ – отвечал Вася Мирович. – И мы играли намереди, на домашнем нашем театре, его комедию «Чудовищи», а вскорости при дворе, в собственных внутренних апартаментах государыни, будем играть его же трагеди «Гамлета»... Ах! какие стихи, какие!

¹³⁵ Александр Петрович Сумароков (1717—1777) – драматург, поэт. Его пьесы пользовались большим успехом у публики. Похоронен в Москве на кладбище Донского монастыря.

*...Люблю Офелию, но сердце благородно
Быть должно праведно, хоть пленно, хоть свободно...*

Сердце кадета Мировича на самом деле вскоре было пленно. Он нашёл свою Офелию и сразу влюбился в неё страстно, без ума, о чём признался товарищу, уроженцу Харьковского наместничества.

Случилось это в 1759 году, незадолго до выпуска старшего курса из корпуса. В Петербурге и в окрестных дачах вельмож, по случаю приезда принца Карла Саксонского, шли непрерывные празднества и торжества – с качелями, каруселями, катаньем с гор, рыбными ловлями, стрельбой в цель и театрами.

В Гостилицах, на даче Разумовского, давали переведённую с французского пьесу: «Пастух и прегордая пастушка». Кадет старшего курса Мирович, кончивший геометрию и фортификацию с атакой и изучавший в том году у корпусного учёного адъютанта Флюга гражданскую юриспруденцию, натуральное право и немецкий штиль, играл роль пастуха. Роль пастушки исполняла одна из хорошеньких и весёлых камер-медхен¹³⁶ императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина, – не помнящий родства подкидыш. Свою фамилию она получила вследствие того, что государыня,

¹³⁶ Камер-медхен – низшая прислужница при знатных дамах.

встретив в коридорах дворца кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала:

– Вот распевает, жужжит, точно пчёлка...

С той поры она и осталась Пчёлкиной.

Влюблённый в неприступную и гордую пастушку на сцене пастух-Мирович поймал её врасплох за кулисами, обнял за талию и, страстно припадая к её розовым, с ямочками, набелённым и облепленным мушками щекам, нежно прошептал из своей роли:

*Когда ж бедняжку пастуха —
Когда полюбишь ты, пастушка?..*

Пчёлкина вырвалась от него, оправила смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю реверанс, с насмешливой важностью ответила также стихами разыгранной пасторали:

*Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом, —
Чтоб не в убогой жить нам хате,
А в раззолоченной палате...*

Тень всякого спокойствия с той поры покинула влюблённого кадета. Гражданская юриспруденция, немецкий штиль и натуральное право Флюга были заброшены. Их заменили бессонные ночи, вздохи, писание страстных и нежных мадригалов, а в промежутках, с горя, – попойки с городскими

кутилами и карты.

– Хохлёнок сдурел! – говорили товарищи.

И точно: Мирович стал раздражителен, мрачен, ушёл в глубь себя. Бавыкина собиралась не раз вызвать на голову завертевшегося своего любимца грома и молнии со стороны Разумовского. Но всеильный граф давно забыл и думать о юноше, который когда-то пел кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при встречах с ним обыкновенно шутил:

– Виньеты славно чертишь, и херувимов, и гербы... А постой, одначе, постой! Хочешь, куконочка, вареников? И когда на волах до дому?

Днём, повидав украдкой Пчёлкину, Мирович вписывал в свой дневник стансы к милой.

*Лишён любовных разговоров,
Я вижу тень твою с собой...
И, ах! твоих не зрю хоть взоров,
Но мысль всегда, везде с тобой...*

Вечером в корпусном дортуаре или в душном служительском чулане он резался с богатыми из товарищей в ля-муш и в фараон. Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к себе, и он, к собственному удивлению, выигрывал. Сперва серебро, а потом и золото завелись у кадета. Нередко полные карманы рублёвиков таскал он к Настасье Филатовне.

– Откуда берёшь, пострел? – допрашивала она.

– Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее, а то опять

спущу! – отвечал он. – Это для Поленьки! Всё ей... Как выйду в офицеры, посватаюсь и женюсь...

Молва о счастливой игре Мировича дошла и до начальника корпуса, богатого и знатного князя Юсупова. Строгий распорядитель и любимец вверенных ему питомцев, он тоже был страстный игрок.

– А играешь ли в рокамболь? – спросил его однажды князь.

Мирович в это время готовился к окончанию экзаменов.

– Во что уютно-с...

– И в вист-руаяль?

– И в вист...

– Почём робер?

– Хоть по десять рублёв.

– Вот как! А в пикет знаешь?

– Знаю.

– Ну, приходи ко мне: завтра Сретенье, праздник, – сыграем во что-нибудь...

Мирович за два дня перед тем виделся с Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и всё время после встречи с обожаемой, неприступной красавицей был как в чадy. Он усердно помолился об успешной игре, даже обещал поставить свечку у Исаакия, если выиграет, и, вопреки советам товарища-харьковца, пошёл на квартиру к Юсупову.

– Ну, сядем в бириби, – сказал вельможный начальник,

кладя карты на стол. – Огурчики, огурцы, пошли в дело молодцы!.. так ли? ну-ка, сивая, пойдём в поход!.. деньги есть?

Кадет показал дукаты. Юсупов поставил возле себя ларец. Они стали играть.

«Мать пресвятая, владычица Казанская, помоги! – думал Мирович. – Что, если выиграю у него не то что сотню, полтысячи, тысячу рублёв?.. Он богач, в игре, слышно, зарывается, неотходчив... Тогда... о! тогда Поленька моя...»

И он действительно стал выигрывать.

Когда стемнело и подали свечи, серебро, а потом и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивлённо шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Он не переставал сыпать любимыми поговорками.

– И начала она сомневаться!.. и начала! – возглашал он, судорожно хлопая картой по карте. – Ура, сивая, не отставай!.. окунулся по уши, валяй и по маковку туда ж...

Ларец Юсупова опустел.

– Эй, вина! венгерского! выпьем, брат! – забывшись, крикнул начальник. – Что-то душно...

– Не пью-с! – пролепетал бледный, взволнованный успехом Мирович.

– Вздор, приложимся! у меня, брат, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпил, налил и партнёру, выпил и ещё; труня над своей неудачей, распахнул окно в оранжерею, а дверь запер на ключ, достал из пузатого, вы-

ложенного бронзой бюро горсть кораллов и несколько ювелирных вещей и начал удваивать ставки.

– А вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои? – шутил он, щёлкая картами по столу.

К полночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Всё вынуженное было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углах губ проступила пена.

– Ты маг, кудесник! – прохрипел он, в охмелении глядя на кадета и срывая с горла обшитый пуан-дешпанамы платок. – Не вывезла, сивая, усомнилася!.. отстала?.. уходи теперь, братец, как есть, будто не играл... Иначе, – прибавил вдруг Юсупов, – я тебя за карточную игру под суд...

Мирович помертвел.

– Ваше сиятельство, князь! Вы шутите? – проговорил он, заикаясь.

– Не шучу, не шучу... Иди подобру-поздорову... Не то я тебя, каналья, выпровожу... нечисто, знать, играешь...

– Как смеете! – вскрикнул, вскакивая, Мирович. – Вы забылись... Такие слова природному дворянину... Мои предки не меньше ваших вельможами были...

На Мировиче не стало лица. Руки и подбородок его дрожали. Он, как пьяный, шатался, стоя через стол в угрожающем положении против князя. Глаза его застилало пеленой.

– Вон, молокосос, вон! – закричал Юсупов, также поднимаясь с кресла и толстыми прыгающими пальцами загребая снова в ларец лежавшие на столе деньги, кораллы и ювелир-

ные вещицы. – Я тебя, сударь, только пытал!.. Аль не догадался? Вижу ноне, какова ты птица... Юсупова, брат, князя не проведёшь...

Свет окончательно померк в глазах Мировича.

Он опрокинул стол с картами и с вином, рванулся к князю, выбил у него ларец и ухватил его за руки. Борьба между сильным, тучным стариком и ловким дерзким юношей началась отчаянная. Огромный парик князя слетел под софу, часы были обронены в схватке и растоптаны под ногами, рубаха и манжеты изорваны в клочки. Сильно досталось и кадету. С отхваченным лацканом кафтана, лопнувшим по швам камзолом и с развитой косою он в рукопашном бою нечаянно дал выскользнуть сопершему в его объятиях князю, получил от него меткий удар чем-то тяжёлым в голову, но изловчился, опять поймал его за каминном в углу и с криком: «Молись! теперь тебе, изверг, капут!» – тонкими пальцами изо всех сил ухватил его за жирное горло.

Мирович задушил бы князя Юсупова, но из прихожей к кабинету, на возгласы их и возню, сбежались слуги.

В двери стали стучать. Мирович опомнился, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча указал ему окно в теплицу, оттуда был особый выход в сад. Тот медлил. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвесил ему низкий поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.

Юсупов пришёл в себя. Не отворяя двери, он крикнул, что никого не звал и чтоб его оставили в покое, привёл в порядок

свою одежду, мебель и вещи и закрыл окно. Опустив гардины, он выпил целый графин воды, крестясь и охая, прошёлся несколько раз по комнате и сел писать к фавориту государыни, Ивану Ивановичу Шувалову, длинное письмо.

Через неделю после этого казуса кадет Мирович за лень, а также за предерзостное и кутёжное поведение, не кончив курса, был отослан солдатом в пехоту, в заграничную армию, где в два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбил паралич. После долговременного управления кадетским корпусом он был уволен от этой должности и вскоре скончался. Он словесно перед смертью пожелал выслать за границу исключённому кадету крупную сумму денег. Но ближние его посмотрели на это, как на излишнюю побрякушку, и приказа его не исполнили.

III

ПЕТЕРБУРГ ВРЕМЁН ПЕТРА ТРЕТЬЕГО

Крепко спалось с заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было так тихо в тёплой, уютной горенке. Городской езды по берегу Мойки в том месте почти не было слышно. Бавыкина и в церкви побывала, и на рынок сходила, и кончила в кухне обеденную стряпню.

«Вот заспался, сердечный», – рассуждала она.

Разбудили Мировича неразлучные канарейки хозяйки.

Они так весело растресались на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но не сразу пришёл в себя, глядел по комнате, припоминал...

Вот старый, почернелый дубовый комод Филатовны, берзовый, со стёклами, посудный поставец. В комод лежали когда-то его кадетские рубашонки, тетрадки, потёртые в беготне чулки. А из поставца всегда так пахло корицей, имбирём, и лежали там, ждали его к праздникам пряники, орехи, шептала¹³⁷. На стене – поясной портрет, красками, покойного Бавыкина. Сударь Анисим Поликарпыч, в кафтане, шитом золотом, и в лейб-кампанской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит из рамы и будто повторяет слова манифеста Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче лейб-гвардии нашей шквадрона по прошению престол наш воспрять мы соизволили».

Мирович не застал уже Бавыкина в живых. Но власть и мочь покойника ещё признавались памятью знавших его. Один из трёхсот гренадёров, возведших Елисавету на трон, во дни загула он – «подпяхом с приятелями», – бывало, поднимет такое веселье, что канцлер Бестужев, слыша из своего дома, через Неву, буйные песни и крики у его ворот, посылал цидулки к генерал-полицеймейстеру о командировании пикетов для охраны спокойствия соседних улиц и домов.

– Всё отдам, всё тебе после смерти откажу, – говорила

¹³⁷ Шептала – сушёные персики.

в оные дни Настасья Филатовна кадету Мировичу, – учись только уважать начальство, в люди выходи. Станешь в чинах, будешь знатен, амбиции своей не преклонишь и меня до конца веку доглядишь... Оно точно: на рать сена не накопишься, на мир хлеба не насеешься. А бери, сударик, пример хотя бы с меня... Самой царице угождала, её душеньку брехнёй услащала... И был за то бабе Настасье почёт и привет... Девка гуляй, а дело помни... Даром, брат, ничего, даром и чирей не сядет...

Всё изменилось, всё прошло. Бедность видимо проглядывала теперь во всей обстановке Бавыкиной. Не оправдал её надежды и бывшей её питомец. Мировича заметили за отличие под Берлином, где он был контужен, произвели в офицеры. Но тяжело давались ему двухлетние походы, лишения всякого рода, обиды старших, измены и подкопы товарищей, и та же суровая бедность, бедность без конца. Он ещё более сосредоточился, стал скрытен, завистлив, раздражителен и горд. Чужие края во многом открыли ему глаза. Он сходил там с умными людьми, в том числе с масонами¹³⁸, читал книги, немало перенял, сунул нос и в такие речи и дела, о которых прежде ему и не снилось. Грубость генерала Бехлешова на утреннем приёме в коллегии не выходила у него из

¹³⁸ Массонство в России особенно расцвело в период правления Елизаветы Петровны. Многие из её ближайшего окружения входили в тайные масонские ложи. В состав лож входили люди, в основном, высокообразованные, однако цели масонской деятельности трудно назвать созидательными для государства и общественной нравственности.

ГОЛОВЫ.

«Скрыть хотят пропозиции Панина, – не выходило у него теперь из мыслей, – изменники! берлинские угодники!.. не скроют... Завтра опять пойду и добыюсь».

Мирович встал, быстро оделся и вышел на улицу. У него что-то сидело в голове. Доехав на извозчике на Литейную, он высмотрел чей-то двор, между светлиц придворных чинов, обошёл его, долго глядел на окна и двери и спросил кого-то вышедшего из того двора. Ему вызвали слугу. Ответы последнего не привели ни к чему. Ещё постоял Мирович перед заветным домом, ещё поглядел на окна. Он черней тучи возвратился на Мойку, пробрался в горенку Филатовны и молча прилёг опять на постель. Бавыкина вошла к нему с завтраком.

– Думала, спит, а уж он и по делам, – сказала она, присев против него и с любопытством его рассматривая.

Он молчал.

– Это же что у тебя? – спросила она, взглянув на истрёпанную тетрадку, лежавшую на куче хлама, вынутого из чемодана.

Мирович и на это ничего не ответил. На заголовке тетради красивыми росчерками стояла надпись: «Храм Апантифской». Вокруг заглавия были рисунки тушью – два столба, треугольник, отвес, молоток и другие знаки. То был масонский катехизис, ложи святого Иоанна, ученической степени (apprenti).

– Диплон, что ли на чин? – спросила, просияв, Филатовна.

– Да... нет, бишь... артикул – товарищи дали, – нехотя ответил Мирович.

– Служи, Василий, служи; времена тяжкие: добивайся! Пёс космат – ему тепло; нам зато вот как холодно... А золотой молот, паря, он и железны ворота прокуёт. А почему? Потому нынешний свет, он самый, как есть, линущий... Тлёю над нами пахнет... Нынче корова, а завтра падаль...

Бавыкина вздохнула, опёрлась на руку головой.

– И уж так-то плохо, так... Всё махонькое в большаки, вишь, просится. Да не быть медведю стадоводником, а свиные огородником. А что прогорела, то ещё не беда. Города – и те чинят, не токмо рубашки.

Мирович не отозвался. Бавыкина пристальнее взглянула на него.

– Да ты не на Литейку ли отмахал? Что смотришь? угадала небось? Признавайся.

– Где Поленька? – спросил Мирович.

– Нешто сам не знаешь, не списывался с нею?

– Четыре месяца ни слуху про неё, молчит, на письма не отвечала, – отрывисто и грубо проговорил Мирович.

– То-то, Василий, скрытничаешь, – сказала, покачав головой, Филатовна, – а я, признаться, иной раз спрашивала. Помнила твои гонянья... Вот и сегодня... Только, брат, ни Птицыны, ни Прохор Ипатьич – кучер покойной царицы, ни Шепелевых кума – дворцовая кастелянша, никто не знает.

Как померла на Рождество государыня, твоя-то, веришь ли, точно в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ведаешь, пошли все иные. Двор покойной царицы распустили, ослобонили – кто куда. Ну, а она, известно, – голячка, сирота: где ей в здешнем-то Бавилоне болтаться. Куда-нибудь от глазырников в тихости девка и съютилася... Самому знаком ейный нрав – недотрога, гордец, и обид – этакая, подумаешь, цаца – не любит. За границу разве?.. Так нет: знали бы. Без паспорта, чай, сразу и не уедешь...

– Чудеса! – произнёс Мирович. – Уж жива ли или впрямь куда уехала?

– А про то, братец, говорю тебе, не сведома! – с недовольством ответила Филатовна. – Двор, сокол ты мой, новый и порядки новые. Не то что камер-медхены, гоф-енералы у нового царя и у его хозяйки – всё почти переменялись. А ведь твоя-то, правду сказать, человек небольшой; рассчитали, ну, ветер её, мелкотравчату, и сдул с земли долой.

Мирович не слушал Филатовны. Та взялась за поднос, брякнула тарелками.

– А я вот что тебе скажу, – заговорила опять Филатовна, – Что твоя Поликсена? ну, говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, сударь, не того нужно. Нет греха хуже бедности. Помни зарок бабы Насти – тут вся правда. Ну посуди! Ты молод, из себя красив, чин у тебя тоже вот уже офицерский, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдёт... Да вот, наприклад, хоть бы и дочка самой Птицыной... Чем не неве-

ста? Повидишь, какая пава стала – выровнялась за это время, стан тебе полненький, ходит, вертит хвостом, как уточка, – а волосы, а глазищи... Да притом, Василий, дом какой на Литейной, дача на Каменном; а по смерти матери, в сходстве ейного счастья, ещё и капитал. Прокормишься, ну и меня в те поры не забудешь... Вон я последнюю холопку Гашку из-за бедности продала енералу Гудовичу, как сюда съезжала на фатеру. Веришь, пухом да перьями ноне торгую, – продолжала, всхлипнув и утираясь, Филатовна, – скупаю по господам да перепродаю в Гостиный на подушки и пуховики... Право, подумай, голубчик, не спеши. На резвом коне свататься не пытайся; а жена, брат, не гусли, поиграв, на сук не повесишь...

Мирович в досаде и нетерпении постукивал о пол ногою. Он сидел молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, с лукавым взором холодных, серых и загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и мушками на щеках и с гордо вздёрнутой, насмешливо дрожащей губкой, не отходила от его мысленных взоров.

Филатовна озлилась. Гремя в посудном поставце, она чуть не разбила любимой чашки.

– Да чем бы вы жили? ну отвечай! и каковы нынче цены? да ты не крути носом, прокурат, а толком разбери: фунт чаю два с полтиной, сажень дров рубль шесть гривен... а? Да что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать шесть копеек. Светопреставление, да и всё... Говядины, говядины фунт –

меньше двух копеек не отдают... Как тут жить?

– Ну, как жить, про то уж не знаю, – полупрезрительно ответил, вставая, Мирович, – и пойдёт ли за меня Поликсена... А подруги её, Птицыной, прежде не примечал, да и теперь видеть не хочу... Вы спрашивали, что это вот за книжка? Мудрые в ней слова.

– Каки таки слова?

– Мир на трёх основах сотворён, – продолжал гордо и как бы в раздумье Мирович, – на разуме, силе и красоте. Разум – для предприятия, сила – для приведения в действие, красота – для украшения... Жизнь наша – храм Соломонов, и каждый камень в нём да кладётся без устали и ропоту... Впрочем, вы того, простите, не поймёте... Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите ещё раз к кучеру Прохору Ипатьичу, к Птицыным и к Шепелевых куме, кастелянше... Узнайте, куда от двора могли доставить Пчёлкину? Чай, не выкинули же на улицу, в придворном экипаже везли.

– Так вот тебе, высуня язык, и стану бегать за девками! – отвечала, отмахнувшись, Филатовна. – Стара, брат, стала! пора бы и на покой... Садись разве сам, да и пиши публикацию в газетах, как в старину письма к любовницам писали: сладостные, мол, гортани словеса медоточные, где вы, отзовитесь! Красоты безмерной власы! стопы превожделенные, улыбание полезное и приятное, нрав весёлый и пресветлый, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Нет, брат, уволь – винты развинтились, не гожусь... в ломку пора...

Филатовна, однако ж, только храбрилась. Под предлогом сношений с перинщиками она сказала, что надо после обеда сходить в Гостиный, накинула поношенный шушунчик, взяла какой-то узел, вышла за калитку и опять поплелась к лейб-кучеру, к Шепелевых куме, кастелянше, и к Птицыным.

Возвратилась Бавыкина в сумерки. Она была сильно не в духе, хмурилась и бранилась.

– Эки концы, прости господи! Вот она, торговля... Коли не камер-фуриры¹³⁹ Герасим Крашенинников да Василий Кириллыч Рубановский, – сказала она, бросив в угол ношу и глядя на Мировича, – так никто уж в свете и не скажет тебе, где ноне Поликсена... Они заправляли списками при похоронах государыни, им только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мирович записал в бумажник названные ею имена и засуетился над чемоданом. Заперев дверь, он принялся чистить сильно поношенный кафтан, шинель и башмаки, достал из какого-то свёртка иглу, заштопал штиблеты и долго, вздыхая, возился над распоротым у подошвы башмаком, расчесал и тщательно завил косу и букли, обвязал их, для сохранности, на сон грядущий, платком, и попросил разбудить себя на заре, чтобы успеть напудриться, побриться и, отбив утром явку к начальству, пуститься на поиски камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского.

– Доля проклятая, где ж ты? – ворчал он, раздеваясь. – На

¹³⁹ Камер-фурьер – чиновник, наблюдавший за парадными обедами.

дне моря, в земле или выше того?

Утром Мирович из первых явился в коллегию. Там его, сверх ожидания, задержали долго. Толпились приказные, гвардейские и армейские офицеры. Из заграничного отряда в ночь прискакал новый курьер. К полудню приёмная и лестница коллегии гудели от говора разномастного люда, как улей. Бряцая шпорами и дерзко волоча палаши по ногам встречных и поперечных, с наглыми казарменными ухватками, речами и громким смехом, прошли вслед за каким-то белобрысым и куцым голштинским бригадиром новоиспечённые гвардейские любимцы. Между мелкосошною мундирной братией стали говорить шёпотом, а потом и громче, что общие смутные предсказания сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому в пограничный корпус посылалось предписание – войти в формальные переговоры о прекращении военных действий с принцем Бевернским. О «пропозициях» Панина не было и помина. На Мировича, сидевшего в углу на скамье и поджимающего заштопанную коленку и плохо зашитый башмак, теперь уж никто не обращал и внимания. Вчерашний, сердитый и надутый, как петух, генерал Бехлешов, выйдя с озабоченным и, казалось, невыспавшимся лицом в приёмную, заметил его и кивком, пренебрежительно подозвал к себе. Пыхтя и разглядывая свои белые маленькие ручки, он помолчал и вдруг, поглядев на него в упор, напустился:

– Так ты – Мирович? а? а? Мирович? ордонанс Панина?..

А отчего у тебя, сударь, кафтан старого образца? Да и галстук – папильоном, сиречь бабочкой, не по форме повязан! Ордонансы! баловники! – кричал, топая ножками, генерал. – Разве вам не были посланы указы о новых мундирах? А? Вольнодумством вы только занимались там, по театрам, по обержам вертопрашили да дусергельды делили на пирушках!.. Шалберники, роскошники, моты!..

– Не заслужил, не заслужил! – ответил, вспыхнув и сам не помня себя, Мирович. – Подобный афронт¹⁴⁰ офицеру... Я... вы... вы...

– Здесь столица – сам государь – а не ордер-дебаталия... – крикнул ещё запальчивее Бехлешов. – Ступай, сударь, да берегись... Слышь, говорю тебе, берегись! Любимчики штабные! Ордонансы! А понадобится, за тобой пришлют.

«Ах ты ракалия! – подумал с дрожью Мирович. – Да что ж это? и за что? только что приехал, и вдруг...»

Горло его схватили судороги. Он молча повернулся, спустился бледный с лестницы и, стиснув зубы, глотая слёзы негодования, поехал домой, повторяя:

– Ну, родина! угостила с первых же разов...

Бавыкиной он не застал дома. За нею пришли из какой-то лавки. Прождав её час-другой, Мирович успокоился, пришёл в себя. Он вспомнил об академике, осведомился о нём у прислуги и смешался.

¹⁴⁰ Афронт – оскорбление.

«Так вот кто это!»— пробежало в его мыслях. Он в раздумье поднялся по наружной лестнице флигеля. Академик был в верхней, угольной комнате, выходящей в сад.

Ломоносов стоял за простым круглым столом. Солнце ярко светило в окна. Он курил небольшую пенковую трубку и, нагнувшись над картой Северного океана, чертил на ней предположенный им путь, в обход Сибири, в Китай и в Индию. Теперь он был принаряжен – в парике, без пудры, в суконном, кирпичного цвета кафтане, в чистых манжетах и белом шейном платке. В кресле у камина, с книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В книжку она смотрела рассеянно, украдкой следя за серым котёнком, игравшим с бахромой ковра на полу.

– А, господин офицер! – сказал с улыбкой, подвигая стул, Ломоносов. – Очень рад... Садитесь, батюшка... Давеча вы меня порядком смутили. Стар становлюсь, да и болел эту зиму, ноги остудил, на смертной постели лежал; ну и не удерживаюсь иной раз. Да и как удержаться! Я дописывал новую оду, а поговорив с вами, бросил её в печку и, как есть, всюто ночь не спал. Выехал сегодня в академию – ваши слова подтверждаются, – только и говорю везде, что о перемирии... Соврал, видно, я, писав сгоряча на новый этот год:

*Петра Великого обратно
Встречает русская страна...*

– Мир! да лучше бы кнутом меня на площади били, самого немцем сделали, чем это слышать! – произнёс Ломоносов, бросая трубку на стол и закашливаясь.

Краска залила его изжелта-бледные, в суровых морщинах щёки. Желтизна проступила и в затуманенных годами, больших, строгих и вместе ласковых глазах.

– Леночка! пивца бы нам аглицкого! – сказал он дочери. – Возьми у мамы ключи, да холодненького, из западни... Душу отвести... Пару бутылочек, не больше...

Леночка несколько раз бегала в западню.

Пиво развязало языки новых знакомцев. Ломоносов стал на карте объяснять Мировичу выгоды от придуманного им, мимо Сибири, пути в Индию.

– И всё ферфлюхтеры, всё немцы мешают, – сказал он, – сегодня в конференции, верите ли, чуть глотки в споре с ними не перервал... Скоп злобы! Ничего, как есть, не поделаешь с толиким препятством, с толиким избытком завистливой кривды и лжи...

– А что, Михайло Васильич, – спросил Мирович, – не уступи наш новый государь, Пётр Фёдорыч, своему другу, решишь, по мысли Панина, продолжать войну – ведь навек бы немцев мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

– Плохо, – сказал он, махнув рукой и подвигаясь с креслом к камину, – и не приведи Бог, как плохо.

– Что же-с? Разве здоровьем слаб государь? – спросил Ми-

рович.

Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.

– Слушай, молодой человек, и суди! – начал он, помолчав. – О тебе много наслышался от своего старого друга; да и приехал ты из такой дализны... Взвесь, оцени на свежую голову неудобства наших тёмных, бурливых дней и скажи, по сердцу, своё мнение. Чай, знаешь дела-то великого Петра... Что в Риме в двести лет, от первой Пунической войны до Августа, все эти Сципионы, да Суллы, да Катоны сделали, то он в свою токмо жизнь, он один в России совершил. Первые преемники были куда не по нём! Хоть бы двор при царице Анне Ивановне... – как бы тебе выразиться – был на фасон немецкого плохонького владетельного дворика. Но и тогда русские лучшие люди всюду, в глубине-то страны, ещё по-русски жили и говорили. Царица в оперу в спальном шлафроке ездила, Бироновых детей нянчила, курляндским конюхам да ловчим всё правление в опеку отдала. Да ведь эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они всё-таки были поданные русские, во имя России действовали. И повального, брат, немечения ещё у нас в те поры не было... Правительница Анна Леопольдовна – слыхал ли ты про неё и про её тяжкую судьбу?

– Мало слышал... в школе и на службе-с было не до того... кое-что говорили...

– Ну, так скажу в краткости и о ней... Она драмы Адди-

сона, «Заиру» Вольтера любила декламировать¹⁴¹ и по три дня, простонравная беспечница, не чесалась... При ней зато немцы немцев ели, и нам от того было не без приятства и пользы... А покойная государыня, божество моё, Лисавет Петровна? Ох! что греха таить! При ней – не на твоей, разумеется, памяти – всё у нас иноземным, французским стало – обычаи, нравы, моды и язык... Но всё же, голубчик ты мой, хохлик, – лучшие русские люди, лучшие умы и сердца её окружали... Умела она их выбирать и ценить... И я, российский природный поэт и вития, я – Ломоносов – недаром, слышь – ты, по сердцу, от души её воспевал...

– Помню ваши стихи, – с чувством перебил Мирович:

*Царей и царств земных отрада*¹⁴²...

и другие о ней же:

Владеешь нами двадцать лет...

– Она смертную казнь отменила в России! – продолжал Ломоносов. – В Москве, по моей мысли, открыла универси-

¹⁴¹ Джозеф Аддисон (1672—1719), – английский писатель; Вольтер (1694—1778) – один из идеологов энциклопедистов, подготовивших Французскую революцию.

¹⁴² Из оды Ломоносова «На день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны», 1747 г.

тет¹⁴³; на родине твоей, на Украине, в Батуристине, тоже, в сходстве моего проекта, открыла бы, если б не померла, – и свято чтит, лебедь моя белая, дела своего родителя, великого и единого в мире моего героя, Петра...

– Однако, – заметил, подумав, Мирович, – то были женщины: Екатерина, две Анны, Елисавета, и почти подряд... Бабье царство – говорили в народе. Войску надоело быть под женскою управой... Теперь у нас на троне монарх, и снова Пётр...

– Пётр, да не Первый! – сказал Ломоносов. – Не было и не будет такого другого. По примеру деда-то великого думает он управлять? Далеко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся... Оно, конечно... и Пётр Второй, мальчонок, в сенате торжественно обещал подобно Веспасьяну править, никого не печалить... А что содеялось потом? Я неотёсан, я груб, и меня, дикого помора, сударь, – за непорядочные поступки и озорничество с седою обезьяной Винцгеймом, Таубертом и с другими академическими нашими колбасниками – под арестом при полиции держали. Но, ездив ещё с отцом на рыбачьем карбасе, по северному ледяному морю, я привык бороться с злыми стихиями... Великая и грозная, сударь, природа студёного надполярного океана воспитала меня... Я просто совестен, брат, но не податлив... И ничем ты не купишь недовольства и угрюмства обиженной и бунтующей моей души... Скажу тебе, юноша, правду... У нас теперь

¹⁴³ Московский университет был открыт в 1755 году.

нашествие не русских немцев, а немецких, самых сугубых и лютых... И ныне, братец, – прибавил вполголоса Ломоносов, склоняясь к Мировичу, – коли не найдётся у нас гения, чтоб нами побитого лукавца Фридриха водрузить в прежних умеренных пределах, то всю инфлюэнцию¹⁴⁴ нашу на европейские дела у нас исторгнут. И будет наш великий канцлер, а мой давний благоприятель, Воронцов, министром – токмо не своего монарха, а того же, через нас вновь оживающего, Фридриха. Шутка ли, в военной коллегии, в конференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бестужевых витают имена, ныне компасом всех дел являются только что прибывший из Берлина Фридрихов посланник Гольц и дядюшка государев, командир его голштинцев, принц Жорж.

– А что слышно о государевой супруге, о Екатерине Алексеевне? – спросил Мирович.

– Погоди, дойду и до неё... Тяжкий грех взяла на себя покойная императрица Елисавет-Петровна... По особым важным политическим и статским резонам она, не объявленная в браке, выписала себе в преемники, из Голштинии, своего родного племянника, нынешнего государя, Петра Фёдоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать лет. Помню, как привёз его из Киля во дворец теперешний здешний генерал-полицмейстер, барон Николай Андреич Корф. Грустно было смотреть на этого ласкового и, скажу, с добрым сердцем юношу. Худенький, щуплый, бледный, верой притом,

¹⁴⁴ Инфлюэнция – влияние.

от случайных обстоятельств, лютеранин... чуточку по-французски знал, но, представь – ни слова не говорил по-русски. Такого ли ожидать было в преемники к российскому наследию великого Петра? Учение его в Голштинии совсем было заброшено. Учителя-шведы готовили его на стокгольмский престол и воспитывали, разумеется, не токмо в холодности, а даже в презрении к далёким русским варварам, И таков-то именно он явился, двадцать лет назад, в Петербург... Говорю, добрый он, и к наукам не без склонностей; кое-что и в искусстве сведал: егерь Бастиян выучил его в Голштинии на скрипке играть... Но не повезло племяннику императрицы в России: чуть его доставили, бедного посетила оспа. Государыня-тётка полюбила его, жалела, сама первым русским молитвам обучила. Потом обвенчали Петра Фёдорыча, и взял он за себя – выбор счастливый – принцессу разумную, обстоятельную, нравом женерозную¹⁴⁵, твёрдую и пылкую, сущий огонь... Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да, друг мой... Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятство!.. Да что! Разве среди нахлынувшей, подобной заморской челяди, удержишь сердце свято? А Петра Фёдорыча окружили какими наперсниками! Из Килья ему целое войско грубейших голштинских скотин вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять от разумницы, преданной жены. Её общество он променял на компанию своих капралов, на смехи да

¹⁴⁵ Женерозитет – великодушие, благородство, щедрость (фр.).

утехи с вертухой Лопухиной, с дочкой первоначального нашего злодея, Бирона, с девицей Карр и с княжной Шаликовой... Государыня-тётка увидела всё ясно, только уж было поздно. Она даже хотела выслать племянника опять за границу...

– Что вы? – спросил с удивлением Мирович. – Кого же в таком разе объявили бы наследником?

Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.

– Есть один... был, – сказал он, будто про себя. – И судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданий, надежд... На пурпурной бархатной подушке дитятею его народу показывали, чеканили с его портретом монету, присягали ему, манифесты именем его издавали... Прочили русских ему учителей, и меня, нижайшего ещё в той поре студента, думали пригласить...

– Что ж он? умер?

– Умер или, вернее... живой погребён!.. Царственный узник!.. И жив, и вместе мёртв...

– Как жив? какой узник? Отчего ж он не правит? И где он?

– Не спрашивай об этом, голубчик ты мой, Василий Яковлевич, – когда-нибудь в другой раз! А лучше и вовсе никогда.

Ломоносов задумался. Большие строгие его глаза ещё больше затуманились. Из взволнованной далёкими воспоминаниями широкой груди вырвался тревожный хрип. Общее молчание длилось несколько минут. Маятник на стене

кабинета мирно тикал.

– А вот я вам, государь мой, – ответил, вдруг резко засмеявшись, Ломоносов, – я вам, для увеселения, мог бы прочесть сочинённый на меня, на Ломоносова, здешними немецкими тупицами злой и преострый пашквиль... На днях в академии на мой стол подбросили... Да очень уж много чести... Гунсвоты! Рвань поросычья!.. Это любимая моя данная им кличка... Попрекают, что я мужик и что не прочь подчас покомпанствовать... То правда... Ругайте, наглецы, слабости, страсти непреодолённы!.. Ругайте и за то, что я – против нашествия языков, а сам, смеху подобно, у немцев учился и на немке женат... Браните. Всё это верно... учился я у немцев, умней нас они, и долго ещё нам не обойтись без них... Но сами-то, сами ругатели хороши ль? Потатчики ошибок и слабостей властелина! Льстецы! Подбили монарха дать вольности дворянству¹⁴⁶. И господа сенат до того обрадовались, что депутацию прислали благодарить, золотую статую в честь нового Солона хотели отлить¹⁴⁷... Дмитрий Сеченов хвалебную речь на это сказал... И я, грешный, до того всеми был увлечён, что большой оду написал. Да теперь думаю: ну, нешто барам нужны вольности? Народу, вот, друг мой, кому!.. Не твои сытые родичи, извини, – мои сермяж-

¹⁴⁶ Имеется ввиду опубликование манифеста Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762).

¹⁴⁷ Солон (ок. 638 – ок. 559 г. до н. э.) – известный законодатель в древних Афинах.

ники в них нуждаются, по ним все молятся Господу Богу... Оно точно, правду ты, Василий Яковлевич, сказал, не женщина теперь на престоле. Да что, я у тебя спрашиваю, в том толку? Вы там кровь проливали, бессердечного хитроумца и льстеца Фридриха били, а тут перед его портретом на коленки в Рамбове становились, кричали ему с винным бокалом: hoch!¹⁴⁸ и с насмехательством, всякими шпыняньями встречали наши над немцами победы...

– Может ли это быть? – сумрачно спросил Мирович. – Не клевета ли? это чересчур.

– Богом тебе клянусь, не шучу... Говорят новым советникам государя – нет у нас настоящего уложения; он кодекс-фридерицианус для России указал переводить. Бедная Екатерина Алексевна совсем нынче брошена, забыта; набитый пентюх, Лисавета Воронцова, в фаворе¹⁴⁹. Единственного сына государева, Павла, о сию пору не объявляют наледником. И стоят, сплошной стеной стоят, вокруг доброго, доверчивого, но слабого волей монарха не мудрые советники, а молодые вертопрахи, жадные чужеземцы... И уж так-то его берегут... Хотел было я, взглядевшись поближе посатирствовать, войной пойти на эту челядь. Да ну их. Мудра пословица: негоже в крапиву... садиться...

Мирович не спускал глаз с собеседника. Он слушал и не верил своим ушам. Всё, что вскользь говорилось в иностран-

¹⁴⁸ Ура! (нем.).

¹⁴⁹ Елизавета Романовна Воронцова, фаворитка Петра Фёдоровича.

ных газетах и что на их враждебных столбцах могло казаться умышленно злою издёвкой над Россией, подтверждалось устами великого учёного.

«Бог отвернулся от вашей России, – сказал Мировичу в заседании масонской ложи в Кенигсберге один каноник, – она на распутии между Востоком и Западом, тьмой и светом, свободой и рабством... Нужны великие жертвы, нужны смелые мужи добра, иначе уйдёт она в Азию... будет проклята Богом и людьми...»

– О чём говорено, чур, из избы сметья не выносить! – сказал в заключение Ломоносов. – А к Иберкампфу, на Миллионную, на бильярде поиграть и распить ренского, верно, уж не пойдём? Ну, ну... Настасья Филатовна не услышит. Да я, сударь, шучу. Ин и вправду мы на огнедышащем кратере... Не праздновать, не застольные песни, видно, ныне петь. Смирение древних и пост!.. Будем трезвости слугами, будем мудры... Так, к соблазнительям ни ногой?

– Ни ногой, – ответил, задумавшись, Мирович.

– Зарок?

– Зарок...

– Руку!

Новые знакомцы ударили по рукам.

На другой день Мирович молчком пустился в поиски указанных Филатовной камер-фурьеров Крашенинникова и Рубановского. Приглядывался он к домам, к улицам и площадям Петербурга, где мелькнули годы его ученья, и весь он

теперь, после чужих краёв, показывался ему таким неприглядным, суровым и бедным.

Петербург в 1762 году был всё тот же, в зимние месяцы – грязный, а в летние – пыльный, малоосвещённый, до крайности разбросанный и на две трети бревенчатый, чухонско-немецкий городок. Жителей в нём тогда считалось с небольшим сто тысяч. Воды его были без набережных, с навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы зимой по улицам чуть не по пояс человека. Вместо улиц, вдоль линии Васильевского острова, шли, как в Венеции, каналы с разводными мостами на перекрёстках проспектов. Кучи навоза и всякой брошенной дряни загромождали тротуары и углы перекрёстков, валялись и, испуская вредные испарения, тлели на площадях. Сор, грязь и мертвечину с улиц и пустырей очищали колодники. Бездомные одичалые собаки, наводя страх на пеших и конных, бродили стаями по городу, бесились и кусали людей. От нищих, калек и всяких попрошайек не было прохода.

Покойная государыня Елисавета Петровна, в болезнях которой под конец чаще и чаще стала грезиться первая ночь её царствования, страдала бессонницами. Она то и дело меняла свои опочивальни. В девять часов вечера никто уже не смел ездить мимо окон её временного, деревянного Зимнего дворца, бывшего на Мойке у Полицейского моста. В девять часов смолкал весь Петербург. Раздавался по городу только бесконечный лай цепных и праздношатающихся собак да

оклики на стенах Адмиралтейства и крепости часовых, которых для безопасности иной раз ставили и на перекрёстках. Все помнили ещё недавние времена, когда петербургские улицы, из-за поджигателей, грабителей, воров и всяких непотребных людей, на ночь наглухо запирались рогатками, так как назначаемые для обхода по городу «пристойные партии фузилеров¹⁵⁰ и драгун» оказывались недостаточными. Ещё в присутствии государыни дело городского благоприличия шло кое-как. Во время же её отъездов в Москву – а она там жила по полугоду и более – улицы Петербурга приходили в окончательное запустение и порастали травой. Городские австерии¹⁵¹, где Пётр I по праздникам любил чинно выпивать, среди матросов и шкиперов, чарку тминной водки, обращались в притоны буйства и дикого разгула.

В грязь по Петербургу не было прохода. Городских извозчиков состояло в то время весьма немного. Пётр III завёл с них сбор по два рубля в год и дал им особые кожаные ярлыки. Люди среднего сословия в те поры более ходили пешком. Богатые и знатные, особенно гвардейские офицеры, ездили в своих экипажах или верхом. Модные щёголи и щеголихи то и дело давили пешеходов. Раз они чуть не до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барам; уличные мальчишки на Гороховой, Луговой (то есть Морской) и даже по Невскому, несмотря на объявления полиции, пуска-

¹⁵⁰ Фузилёры – мушкетёры.

¹⁵¹ Австерия – гостиница, трактир.

ли бумажных змеев и тем пугали и бесили резвых вельможных рысаков. Генерал-полицмейстер Корф, с скакавшими у его кареты адъютантами, не поспевал являться туда, где оказывались беспорядки. Нередко среди белого дня на рынках или у нового, оканчиваемого постройкой Зимнего дворца, между не убранных ещё хибарок, избушек, шалашей и всяких сарайчиков раздавались отчаянные крики подравшейся черни:

– Караул! Грабят! Режут!

Невская перспектива в полдень покрывалась гуляющими. Шли статские щёголи, в чёрных бархатных кафтанах, лосиных панталонах и ботфортах выше колен, либо в розовых и жёлтых шёлковых фраках, с огромными лорнетами, а когда было холодно – с куньими и соболиными муфтами. Щеголихи, с затянутыми, в виде ос, талиями, несли на головах хитро устроенные причёски, на манер рыцарских замков, цветочных корзин, китайских беседок и кораблей. Но и на этой первостатейной улице не обходилось без неприятностей. У кофейной Мура или магазина мод госпожи Токе, не обращая внимания на разряженных в пух и прах прохожих, лежал, растянувшись по тротуару, избитый в кровь и с разорванными портами, мертвецки пьяный матрос. Верховой конногвардеец, с громкой бранью и с обезображенным от злобы лицом, у чьего-то дома стегал хлыстом чужого напудренного и важного кучера за то, что тот не свернул раззолоченной, с кожаными занавесками, кареты и тем помешал ему проска-

кать вдогонку за какую-то умчавшейся красавицей.

В середине великого поста, в 1762 году, прошёл слух о появлении на Фонтанке, в деревне Матисовке, близ нынешней Коломны, целой шайки вооружённых грабителей. Пётр III вышел из себя.

– О-го-го! Tausend Teufel!¹⁵²-сказал он Корфу. – Пора опять приняться за виселицы! Дед мой Пётр знал это лучше всякого из нас... Напишу: «approbatur – Peter»¹⁵³, и конечно, – увидите... о, ja!¹⁵⁴

Виселицы, однако, не поставили. Беспорядки длились, и к ним привыкли, как к чему-то, без чего нельзя было обойтись и ужитья. На всякий уличный переполох, как на театр, в соседних домах поднимались окончины, и нарядные дамы выглядывали оттуда, следя с любопытством из-за модных вееров, чем кончится казус.

Частные здания на Невском, со стороны Адмиралтейства, тогда начинались лишь от Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Аничкова, по правой и левой сторонам проспекта, было немногим более десятка домов, да и то наполовину деревянных. Домовладельцы на главных улицах были большей частью иностранцы или инородцы. У разъездной площади временного Зимнего дворца, выходившего на Мойку, на Невский и Луговую, ныне Морскую, был дом купца

¹⁵² Тысяча чертей! (нем.)

¹⁵³ Утверждаю – Пётр (лат.).

¹⁵⁴ О, да! (нем.)

Дюбиссона, с надписью на вывеске:

«Продажа гамбургских канареек и попугаев».

В Кирпичном переулке, наискось против нынешнего ресторана Дюссо, был дом банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой – дом красильщика Краузе; у Синего моста – вывеска шорника Матьяса Заккова. Немного далее, по Мойке, – цветочный магазин Вольфа, с надписью:

«Изрядные ананасные планты».

Ещё далее, по Вознесенскому проспекту, – дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенского моста, на берегу Глухой речки, ныне Екатерининский канал, – заведение оконного мастера Берга.

Придворные сады – Летний, Итальянского дворца на Литейной, в Екатерингофе и на цветочных променадах Царицына Луга – были открыты для публики. Но в них не пускали матросов, ливрейных лакеев, женщин с платками на головах, мужчин в сапогах, а не в башмаках, и вообще – как тогда говорили в газетах и в публикациях полиции – «подлого народа». Требовались модные и красивые одежды. По указу императрицы Елисаветы ставили клейма на фалды господ, являвшихся ко двору в старых или вышедших из моды «несообразных кафтанах». После самой императрицы осталось пятнадцать тысяч почти новых платьев, несколько тысяч башмаков и два сундука чулок и лент. Между тем мясные, зеленные и рыбные лавки, кабаки и постоянные дворы невозбранно распространяли запах грязи и всякого сора, ва-

лявшихся в них и возле них. Утончённая Европа и дикая, неумытая Азия уживались рядом друг с другом.

Болотные лихорадки, повальные горячки, оспа, скарлатина и корь не покидали Петербурга. Врачей в то время было мало, и те брали непомерно дорого. Модные врачи, Монсий и Фузадье, брали, не стесняясь, по пятнадцати червонцев за визит. Обучение детей сплошь было в руках невообразимых проходимцев. Некая иностранная фамилия «шляхетного и честного рода» печатала о себе в тогдашних газетах, что она «учит девиц, по понятию каждой, языкам, шитью, экономии, танцам, а притом и чтению «Ведомостей». Другая, иноземная же особа, а именно – некоторая г-жа Ренуард (адрес: Миллионная, в доме портного Экка) публиковала, что обучает девиц языкам, арифметике, географии, истории – «а также и писать».

В казённые и домашние учителя нередко попадали забираемые по понедельникам со съезжей уличные «шататели» и «пьянчужки», замешанные иногда в дебошах, кончавшихся смертоубийством.

Благородные девицы перенимали друг у друга тайны, как затягивать получше талии, как делать реверансы и налепливать на лицо мушки. В косметических лавках продавались особые, красивые коробочки с чёрными мушками. При найме женской прислуги спрашивали тогда:

– На хозяйских ли румянах и белилах?

Знатные и богатые люди заботились о составлении биб-

лиотек из французских книг, в которые, впрочем, немногие из них заглядывали. Мужчины учились у мужчин, как надеть круглую вощанковую или треугольную пуховую шляпу; как открыть табакерку, оправлять на манжетах алансоны¹⁵⁵ и пуан-дешпаны, нюхать табак и вынимать и встряхивать цветной, пропитанный духами *a la Reine*, фуляровый¹⁵⁶ платок. Парикмахеры на Морской и на Невском завивали букли и заплетали и пудрили косы русским петиметрам¹⁵⁷, назначавшим друг другу вечерние свидания в невышедшем ещё из моды, со времён Лестока, трактире савояра¹⁵⁸ Берляра и Иберкампфа, в гербергах, погребах Гантовера, Ретса и в вольных домах, австериях Винклерши, Шмидши, Кохши и других.

Государыня Елисавета Петровна ездила запросто на вечеринки к вельможам, кутая своей муфтой и платком руки и горло провожавшему её графу-мужу Алексею Григорьевичу Разумовскому, под письмами к которому она в шутку подписывалась: «Ваш первый дишкантист».

У постели же её, по простоте, со времён ещё её девичества, на разостланном тюфячке, для охраны её, спал на полу старичок, любимый её камердинер, впоследствии генерал-аншеф Василий Иванович Чулков. Государыня, вставая

¹⁵⁵ Алансоны – алансонские кружева.

¹⁵⁶ Фуляр – лёгкая и мягкая шёлковая ткань.

¹⁵⁷ Петиметр – светский щёголь.

¹⁵⁸ Савояр – житель Савойи (фр.).

иной раз ранее его, будила верного слугу, а он трепал её по плечу, зевая и ворча:

– Ну-ну, лебёдка моя! уж ты и встала.

Друг Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урождённая Шепелева, писала к ней: «Ваша раба и дочь, и холопка и кузына», а мужа Шуваловой Алексей Разумовский, подгуляв на охоте, бил батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли в её апартаментах мышей, особыми указами выписывались из Казани умелые и «пристойного вида» сибирские коты, а из-за границы маргышки «столь малые, чтобы входили в индейский кокосовый орех». Костромская помещица, Анна Ватазина, письменно предлагала государыне, коли произведут её мужа в коллежские асессоры, поднести в дар четырёх собак: Еполита, Женету, Маркиза и Жулию. В молодости Елисавета, цесаревной, писала нежные мадригалы:

*Я не в своей мочи огонь потушить.
Сердцем болею, да чем пособить?*

При Елисавете по улицам было видно более мирных статских. При Петре III Петербург стал наполняться разнокалиберными и дравшими нос военными.

На дворцовом плацу, чуть не ежедневно, производились шумные – с криками «виват», маршировками и всякими муштрованиями – вахтпарады. По улицам озабоченно и то-

ропливо скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые. Петровские широкие и длинные кафтаны гвардии и армии заменились куцыми и узкими мундирами, на манер прусских. Исконный зелёный цвет кафтанов и красный – воротников и камзолов – разрешено заменять, по произволу командиров полков, оранжевым, голубым, лиловым, канаречного цвета и всяким. Пётр III ввёл ещё аксельбанты и эспантоны¹⁵⁹, трости у офицеров и урядников. Он же отменил ношение на вахтпарады за капралами и унтер-офицерами слугами их ружей и алебард.

В начале великого поста Пётр Фёдорович издал повеление: всем сановникам и вельможам, носившим титулы командиров взводов, баталионов и полков, быть неотлучно на учениях, во главе своих частей. Это приказание привело всех в неописанный конфуз. Публика с изумлением увидела марширующих по улицам, по щиколку в грязи, перед своими баталионами и взводами, генерал-фельдмаршалов: графов Александра Иваныча Шувалова и изнеженного сибарита и сластуна Алексея Разумовского, дядю государя – принца Жоржа и больного одышкой, в бархатных штиблетах на опухших, подагрических ногах, князя Никиту Юрьевича Трубецкого. Гетман Разумовский даже нанял особого голштинского офицера для уроков новой муштровки. Придворные и статские чины были не менее озадачены. Парикмахера своего Брессана государь назначил в директоры фабрики го-

¹⁵⁹ Эспантон – короткое копье пехотинца XVII—XVIII веков.

беленов и произвёл в камергеры; ямщика же, какого-то Патрикеева, в титулярные советники.

Перед пасхой Пётр III писал к своему другу королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего и никого, он предаёт себя на волю Бога и в охрану своему народу и без провожатых по Петербургу ходит пешком.

IV ДРЕЗДЕНША

У Вознесенского моста стоял обветшалый и огромный, с кучею амбаров, конюшен и покосившихся флигелей, деревянный, с поросшей мхом кровлей, дом царевича Леона Грузинского. Через переулок за ним был такой же старый дом камер-фурьера Рубановского. Сюда, после неудачной справки у Крашенинникова, под вечер, подошёл Мирович.

Его озадачили крики и песни пьяной черни, вырывавшиеся из грязного тёмного кабака на углу этого дома, рядом с вонючею рыбною лавкой. Он поднял глаза – на соседнем балконе, выходявшем на проспект, были вывешены для проветривания какие-то шубейки, подушки и детское бельё. Убитая кошка валялась среди улицы.

«Нет, Кенигсберг не в пример лучше и чище Петербурга; там аккуратнее и такого неряшества не позволят!» – подумал Мирович, с трудом перейдя через растаявшую обширную лужу у спуска с Вознесенского моста. Он вошёл к Ру-

бановскому. Ему сказали, что Василий Кириллыч, хотя и у себя, но после обеда перед всенощной почивает, а потому, если ему есть надобность, не угодно ли подождать.

Делать нечего. Стал дожидаться Минович в кабинете. Он устал за день в ходьбе по городу и сильно проголодался. Комната, куда его ввели, была маленькая, душная. Пахло ладаном и к тому как бы пригорелым постным маслом. Со стены глядел портрет какого-то толстого, крупноносого протоиерея. В пальцах у окна стояло неконченное женское шитьё по бархату. На столе у диванчика лежало несколько тощих и серых тетрадок, в четвёртку, тогдашних «С. – Петербургских ведомостей», две-три книжечки академических «Ежемесячных сочинений», колода старых игральных карт и в кожаном, закапанном воском переплёте объёмистая книга «Камень веры».

«Ну-ка, что пишут о наших делах с пруссаками? – подумал Минович. – Как ценят наши победы и что случилось нового после меня?».

Он стал просматривать «С. – Петербургские ведомости». Новости этой газеты сильно опаздывали. В номере от 1 марта вести из Парижа были от 1 февраля, из «Гишпании» от 18 января. Где-то была даже просто оговорка от редакции: «Иностранные газеты не бывали». О делах России с Пруссией ни слова.

«Ну, наших газетиров, – злобно усмехнулся Минович, – немцы не будут сечь на Невском, коли когда-нибудь возьмут

Петербург!».

Он начал перелистывать литературный журнал «Ежемесячные сочинения». В одной книжке было длинное рассуждение о кубовой краске, в другой – о строении погребов. В номере за январь была статья из английского «Спектатора» *«Разговор между любовью и разумом»*. Мирович от нечего делать стал её перелистывать:

Р а з у м. – Весьма бы трудно было, любезная сестрица, сойтись нам с вами.

Л ю б о в ь. – Не вижу я благоразумия в браках, сделанных только для одной корысти... Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояние до знатности или повергаю высокое до подлости... Кто много рассуждает – тот худо любит, а кто горячо любит – тот мало рассуждает...

Мирович закрыл книгу, вздохнул и задумался. «Это верно! – утвердительно сказал он себе. – Кто горячо любит, тот не рассуждает».

На дворе между тем стало темнеть. Езда по улицам затихла. В соседней комнате чирикали настенные часы. Сверчок трещал вблизи за сундуком. Тяжёлая, тёмная лампада теплилась в углу, у киота. Мирович взглянул на иконы.

«Я был во тьме, – подумал он, – и увидел свет... Да, я его увидел... С остриём шпаги у груди меня ввели в заседание франмасонов... И я клялся быть совершенным и справедливым. Я обновился – иной становлюсь теперь человек. Более

не злиться, не проклинать. Всепрощение, вера в людей и любовь к ним, высокая любовь... Но кого я люблю более всего? Поликсену. Да где же она? Её нет... и неужели я никогда, никогда более её не увижу?».

За дверью, в прихожей, раздался удушливый, старческий кашель. Шлёпая туфлями, в комнату вошёл, в халате на мерлушках, сгорбленный, сонный, худой и с крючковатым носом старик. То был Рубановский.

– Авдиенции у государя ищите? просьбица есть? – спросил камер-фурьер, скрипя табакеркой и из-под кустоватых бровей подозрительно щурясь на гостя.

Мирович объяснил, зачем пришёл.

– Бабы интрижки, сударь, кхе! смехи да волокитство! – продолжал Рубановский, сердито трясая головой. – Не по нашей части... гм!.. Пустобрёшество одно! Просим извинить, кхе-кхе! Час, в он же ко всенощной добрые люди, а вы...

– Василий Кириллыч, помилуйте! – заговорил, хмурясь, Мирович. – К вам пришли, на вас только и надежда. Вам одним можно знать, куда от двора отъехала девица Пчёлкина... а вы...

– Не шаматон¹⁶⁰ я гвардейский и не шаркун! и любовными дуростями, сударик, не занимаюсь, вот что-с! – свирепо набивая нос, отрезал Рубановский. – Да коли бы и знал, то б не сказал. У меня, сударь, дети, дочери... А мало ли, не в пронос слово, не в обиду сказать, ноне всяких шалберников,

¹⁶⁰ Шаматон – мот.

совратителей девиц?

– Но я... Василий Кириллыч, разве из таких! – возвысил голос Мирович. – И притом, как вы можете? это, наконец, обидно... афронт...

– Да не о тебе, батюшка, не о тебе... Что вскинулся? Эх, испугал! Нечего пугать! Сами не из робких... А что до твоей сударушки, так я и посещать час несведом, где она, да – кольми паче – и знать мне, слышишь, по моему рангу, не для чего... Дорожка, сударь, скатертью дорожка! – склонив голову и сердито топчась на месте, ответил Рубановский. – Просим извинить и не осудить... да-с, не осудить...

Бешенство проняло Мировича. Иголки заходили у него в руках. Не помня себя от ряда неудач и гнева, он вышел на улицу.

«Будь не старик да не у себя в доме, – сказал он себе, сжав кулаки, – я б тебе, постнику, показал!».

Голова Мировича кружилась. Горло подёргивали судороги. С трудом дыша, он, как пьяный, шатаясь, прошёл несколько шагов. На улице кое-где тускло зажигались фонари.

«Куда же теперь? – злобно спросил он себя. – Или идти к государеву секретарю Волкову, добиться приёма и просить, за воинские мои старания и заслуги, о разыскании во что бы то ни стало девицы Пчёлкиной? Ха-ха!.. Безумие! За воинские заслуги! Какие они? Разве к Разумовскому? Но он, после моей стычки с Юсуповым, совсем от меня отказался.

Писал я ему с походов не одну цидулку; он и не откликнулся... Неужели ж опять за границу, в Кенигсберг, когда армия и без того вот-вот повернёт оглобли в Россию?.. Есть, кажется, выход, и простой, – да подлые, малодушные люди! Всё их тянет в водоворот, в суету, – уехал бы на Украину, к другу Якову Евстафьичу, или в Киев, выйти в отставку, на тихом хуторе поселиться, в раю...»

За спиной его послышался оклик. Его назвали по имени. Он оглянулся.

У Вознесенского моста стоял добродушный, невысокого роста, круглый, с красным, в веснушках, лицом и с манерами беспечного кутилы и щёголя, несколько навеселе, лет тридцати двух-трёх пехотный офицер. То был деливший с Мировичем часть заграничного похода его знакомый, поручик Великолуцкого армейского полка Аполлон Ильич Ушаков. Он месяцем раньше Мировича был прислан, по фуражным делам, из армии в Петербург, где и остался. Племянник знаменитого Андрея Ивановича Ушакова, грозы розыскной экспедиции прежних лет, он давно промотал отцовское состояние и жил афёрами, дружбой с повесами и мотами всевозможных слоёв и неизменным посещением трактиров, харчевен и кофейных домов. При деньгах он был весел и смел; без денег – тряпка тряпкой.

– Какими судьбами? Вот не ожидал! – воскликнул оперившийся в Петербурге и бывший в, эту минуту точно на крыльях Ушаков.

– По службе; как и ты, разумеется, с поручением! – ответил, отвернувшись от него, Мирович.

– Ну, и гут¹⁶¹, хохландия; значит, запылим! Хочешь, пойдём, сокрушим по маленькой? финансы в авантаже¹⁶²... Откуда в сей момент?

Мирович указал назад, за церковь.

– От Дрезденши? – спросил, не спуская с него весёлых, навывате, смеющихся глаз, Ушаков.

– От какой Дрезденши?

– Так ты Дрезденши не знаешь? шрекших!..¹⁶³ вот невинность, недоросль из Чухломы...

Мирович был не рад этой встрече и нетерпеливо поглядывал в ближайший переулок.

– Голоден? – спросил, будто что-то вспомнив, Ушаков. – Желаешь, кстати, и черепочек раздавить? Желаешь, так угощу и расскажу...

– Кошелёк забыл, – ответил Мирович.

– Эк, дура, дура, девка Тимофевна! – насмешливо сказал обыкновенно уступавший и благоговевший перед сдержанным Мировичем Ушаков. – А ещё офицер прозывается! Срам и всему воинству обида... Parole d'honneur...¹⁶⁴ Не ма- сонство ли воспрещает?.. Так и я, смею доложить, с этого ме-

¹⁶¹ Хорошо (нем.).

¹⁶² Авантаж – преимущество, выгода (фр.).

¹⁶³ Ужасно! (нем.).

¹⁶⁴ Честное слово (фр.).

сяца масон, хотя и не принадлежу к вашему *lata observantia*... Дрезденши не знает! Пойдём же; на угощение товарища и у нас хватит казны... Вон Дрезденша!..

И он, обернувшись, подмигнул с набережной на красный фонарь особого подъезда в доме князя Леона Грузинского, неосвещённая часть окон которого глядела на Вознесенский проспект, а другая, в весёлых огоньках, была обращена на берег Глухой реки (ныне Екатерининский канал).

– Дрезденша, рыцарь ты мой, она же и Фёлькнерша, это вот что! и ты сию комедиянтскую фабулу послушай! – лихо выпрямившись, сказал Ушаков, замедлясь у красного фонаря. – Жила она при покойной государыне не здесь, а подальше, в доме Белосельского-Белозёрского. Не повезло только ей тогда. Спознала государыня Елисавета Петровна добронравная, что в вольный дом, в австерию, к Дрезденше, множество статских и чуть не вся гвардия ездят, не только на бильярде али в кегли забавляться, но и ради чего иного. Была тут другая, Василий Яковлич, приманка: аки бы для музыки и в услужение мужеска пола посетителей было у неё немало иноземных и здешних девиц, да все, душечка, ахтительные красавицы... На бандорах, гитарках играли, пели и плясали... Окромя же того, на вечеринки к Дрезденше, с другого хода, стали ездить, надо тебе тоже сказать, не одни мужчины, а и барыни-модницы, на свидание с мил-дружками, в тайности от своих мужей. Ну, королевич ты мой, ревнивые глаза

ан видят ещё подальше орлиных!.. Донесли о том государыне. А Елисавет-Петровна, сам ты знаешь, как любила такие явные дурусти да шаматонства...

– Что ж она? – спросил Мирович.

– Отдала престрогий приказ... И вся сия потайная и противная аки бы добрым нравом торговлишка кончилась, братец ты мой, плохо, не токмо для Дрезденши, а и для других. С нею пострадала и всем любезная Амбахарша, её землячка, в Конюшенной, и шведская поручица Делегринша, на Литейной. Но паче всех скоп лютости упал на Дрезденшу! Её выслали за границу, а всех её соблазнительниц земфир, без жалости, отправили на прядильный двор, в Калинкину деревню. Кабинет-министр Демидов производил тогда следствие, и многие важные модники и барыни-щеголихи сильно притом поплатились. По именному повелению государыни астронома Попова да асессора мануфактур-коллегии Ладыгина отлучили от церкви, а потом повенчали в соборной Казанской церкви, да с такими красавицами, что те молодчики и не спохватились...

– Не слыхал я про то, – сказал Мирович.

– Где тебе слышать! Ты тогда ещё в бабки играл. Да не только посетители – офицеры, поставленные на часах у заключённых на прядильном дворе девиц, и те не устояли против лукавого, ударились в волокитство на карауле, захотели бандор и гитарок послушать, песенкой побаловаться, и за то подвергались также немалому афронту и несчастью. Так вот

тебе, сударь, кто Дрезденша...

– Но из-за чего ж, из-за чего? – вдруг уцепился Минович. – Не может быть, чтобы даром всё это... мало ли куда вне фронта гвардия ходила и ходит... Кому какое дело?

– Правду ты сказал, Василий! Всегда справедлив и прозорлив! – приятно удивясь, ответил Ушаков. – Были и другие резоны... Искали, не хаживал ли к этим восхитительницам близкий в то время к другой особе повыше – Бутурлин... Ну, помощница Дрезденши, Лизута Чёрная, под кошками и покаялась...

Мирович вздрогнул.

– Под кошками?

– Да...

– Экое варварство...

Прятели помолчали.

– Но ты, Аполлон, – спросил Мирович, – ты сказал, что Дрезденша была выслана за границу?

– Да, была выслана при покойной царице. А как только на престол взошёл ныне нами владеющий государь-император, так эта Дрезденша – а за нею и другие её землячки – вновь, и ещё с большею бомбардирадой, появились здесь, сели себе по-прежнему – и вот она первая... любуйся!

– Не пойду, – сказал Мирович. – Боже-господи! кошки...

– Э, полно! то было вон когда! вздор! пойдём. Теперь тут благороднее, вальяжнее, чище. И Дрезденша состарилась, и нравы смягчились... Внизу закуски и бильярд – скажем:

здравствуйте, стакашки, канашки, какво поживали, нас поминали? – а наверху, Василий, карты, бывает музыка, и всякий тебе горе-отгонительный куплет увидишь...

Вздыхнул голодный, раздосадованный неудачами Мирович и против желания вошёл за Ушаковым в нижнее отделение ресторана Дрезденши.

Ему было не по себе. Он чуть не вслух бранился.

– Тьфу, ты, малодушие, подлость! – ворчал он и язвительно улыбался. – Что сказала бы Филатовна и как посудило бы начальство, если бы увидели меня здесь?

Первое, впрочем, что бросилось ему в глаза при входе в освещённую восковыми свечами, прокуренную кнастером¹⁶⁵ и полную шума и говора нижнюю залу, было лицо сердитого и важного генерала Бехлешова, так распекавшего его тем утром за галстух и вообще за не в порядке оказавшийся его наряд. Надутый, суровый вид генерала исчез. Он, с растёгнутым камзолом и с весёлым, беспечно ухмылявшимся лицом, сидя в углу, допивал четвёртый, с гданской водкой, пунш и, то и дело отирая лоб и белые, полные щёки, жадно следил за бильярдною игрой. Не успел Мирович с Ушаковым потребовать в соседнюю комнату подового, с сигом и севрюжьей головой, пирога, не успел он «раздавить» с ним по маленькой, а потом и по большой, – в залу вошёл, за полчаса так удививший его строгим нравом, сосед Дрезденши, Рубановский. Охранитель чести девиц, усердный молитвен-

¹⁶⁵ Кнастер – крепкий курительный табак.

ник и постник вынул пенковую, с витым чубуком, трубочку, потребовал и себе здоровенный стакан пуншу и также уселся к стороне глядеть на бильярдных игроков.

«О, люди! – с тайным негодованием подумал Мирович. – Просителя считают за собаку, изречения какие-то отпускают. Сами же... А будь деньги, будь богат...»

Он, злобно передёрнувшись, громко рассмеялся.

– Что ты? – спросил, обведя его глазами, Ушаков.

– Так, мерзости, брат... Подлецов, ух, да как же много нынче на свете развелось. Тесно от них.

Проговорив это, Мирович опять резко, отрывисто захохотал.

– А ты знаешь настоящее средство от всяких, то есть, наваждений? – спросил Ушаков.

– Какое?

– Выпьем, Василий Яковлич, сотворим во благо ещё... Или ваш Obidienz-und-Unterfugungsact¹⁶⁶ мешает тому? Вздор... Жизнь, милый, вот как коротка и скучна... Да и родила нас мама, что не принимает и яма... Что хмуришься? Аль подрядился на собак сено косить?.. Эй, малый, ещё бутылочку рижского!

Подали пива, и опять подали. Из дальних комнат доносились звуки музыки.

– Кутят гвардейцы, – произнёс Ушаков.

– Дьяволы, анафемы! – опять, точно сорвавшись, сказал

¹⁶⁶ Обет преданности (нем.).

Мирович.

– Да о ком ты это, расскажи? – спросил, уставясь на него, Ушаков.

Мирович вздохнул. В его чёрных, без блеска, сердитых глазах начинал светиться дикий, блуждающий огонёк.

– Из-за чего такие несправедливости? Ну, из-за чего? – произнёс он, посмотрев куда-то в воздух. – Верить ли, фу – какая тоска!

– Какие несправедливости?

– Да как же, посуди. Ну, как мог человек, по контракту с обществом и государством, передать другим то, на что сам не имеет права, – располагать своею свободою, совестью, жизнью?

– Фю-фю! – засвистал, что-то смутно, лениво припоминая, Ушаков. – Ты это по Мартинецу? Опоздал! Не знаю, брат, этих ваших новых откровений; хоть и слышал о вашей ложе, ничего особого в ней нет... А вот в «Трёх глобусах», так согласись...

– *Drei Weltkugeln*¹⁶⁷ или ложа святого Иоанна – это всё едино, глупец! – презрительно и грубо перебил Мирович. – Горе в том, что все в темноте, все смотрят врозь. А сколько силой воли одного человека можно сделать!..

– Да опять-таки ты не о том, ах, опять не туда, – ответил, не обижаясь и весело замахав руками, заметно хмелевший Ушаков. – Я бы тебе всё изложил, всё... всё... Только, ка-

¹⁶⁷ Три глобуса (нем.).

нальство, надо бы вот зайти... Ну да слушай... Ты вот куда взгляни, это чем пахнет? – сказал он, расставив перед собой ладони. – Слышал ты, какую силу забирают немцы? Везде, брат, ползут, везде, да не простые, самые патентованные, из Киля... Командиры полков назначены сплошь голштинцы: конного – Цобельтиш, инфантерии¹⁶⁸ – Цеге-фон-Мантейфель... Крюгер, Одельрог, Кеттенбург да Вейсс, а в кавалерии – Лёвен, Лотцов, Шильд и дядюшка государев, новый генерал-фельдмаршал, принц Жорж... Имена полков тоже изменены... Нарвский твой уже не Нарвский, а Эссена; Смоленский, что в Шлиссельбурге стоит, Фулертоновым прозывается... Иного колбасника-собаку даже не выговоришь, цепляется язык... А всё-таки, ну вот, что хочешь, а я государя люблю... Добряк он, весёлый, откровенный и уж просто-та... Видел ты его? И глаза у него такие добрые, а хохочет, заливается, точно школьник... Одно – любит не наши поговорки... Я на вахтпараде наемни его слышал... Душа человек! Скажи, в огонь и в воду пойду за него... Да ты, Василий, может, катериновец?.. Признайся!.. Царёва жена подбирает, слыхом слыхать, партию, да какую... И у Дрезденши, скажу по секрету, здесь иной раз собирается главный их притон. Давеча, как смеркалось, пятеро санок, должно, сюда с медвежьей травли катили. Что им делать? Кружат весёлые головушки, негде удали деть!

– Катериновец! Петровец! – с дрожью в голосе, злобно

¹⁶⁸ Инфантерия – пехота.

воскликнул, обыкновенно сильно, мёртвенно бледневший от возлияний Мирович. – Эх разнесло их! ха-ха! Тоже о партионных кличках толкуют... Англия, что ли, здесь или французские парламенты? Плевать я хотел на клички, плевать! Дурак! Гляди вот куда... читал ты господина Руссо? читал его «Contrat social»?¹⁶⁹ Ну, что там сказано о правах человечества? Понял теперь о правах? То-то же. И если что по правде плохо у нас, так это, что нашего брата, мелку мошку, везде нынче считают за ничто... собаками, как есть собаками... Ни нажиться, ни произойти в чины...

В это время из бильярдной комнаты раздался взрыв дружного и громкого хохота. Перекаты его через минуту возобновились.

В раскрытую дверь было видно, как молодцеватый и лихой, лет двадцати семи-восьми, в подбитом соболями кафтане, огромного роста, с римским носом и замечательно красивый артиллерист-гвардеец, обыграв старичка маркёра, с кием в одной руке и с голландской трубкой в другой, слегка перегнувшись и расставив обутые в дорожные ботфорты ноги, повторял: «Пуц-пуц-пуц», – и до слёз хохотал среди комнаты. А тучный, с кривыми ногами и жёлтым, отёкшим лицом, маркёр в пятый раз, кряхтя и охая, пролезал под бильярд и, с тупо-удивлённой недовольной рожей, принимался, по уговору, пить новый стакан холодной воды. Толпа зрителей, – в том числе Рубановский и утренний генерал, – глядя с сво-

¹⁶⁹ «Общественный договор» (фр.).

их мест на эту картину, в неудержимом смехе вскрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами.

Мирович, оправив на себе кафтан и причёску, с нервической дрожью сказал Ушакову:

– Низость какова, а ещё гвардейцы! Расплатись, Аполлон, да дай займы чуточку...

И не успел Ушаков опомниться – он торопливо протиснулся сквозь толпу и подошёл к артиллеристу, черты которого были ему как бы несколько знакомы.

– Любители на бильярде? – спросил он вежливо, косясь на него.

– Да-с... А вы? – удивлённо и бегло окинув его глазами, произнёс гвардеец.

– И в моей манере эта игра не последняя-с!

– Так не угодно ли? – спросил, брякнув шпорами и улыбаясь, артиллерист. Его улыбка была обворожительно-добрая, женственно-беспечная.

«Эка сволочь», – холодно и злобно про себя усмехнулся Мирович. – А разрядился как!.. Да как баба и смазлив... и буколки на висках распомажены, точно прилизаны у болвана языком...»

– Оно ничего-с и с охотой, – ответил, пуще хмурясь, Мирович, – только извините, ха-ха! вот никак не пойму... Отчего это вы играете с подлым слугой, а не с кем-либо из благородной публики?

– О! нынче, сударь, я в превеликом амбара¹⁷⁰, – просто-душно опять улыбнулся красавец гвардеец. – Никто вот – хоть тресни, а ни-ни! – не хочет со мной померяться.

– В таком разе с моим с превеликим удовольствием! – сказал, раздражительно торопясь, Мирович.

– На деньги или тоже в шутку, на подобный уговор? – спросил, насмешливо глядя на него и на присутствовавших, гвардеец.

– Ин хоть и на уговор!

Игра началась.

С первых ходов Мирович, и без того бледный, ещё более смутился и оробел. Дрожащей рукой намелил он кий, угловато-ухарски повёл плечом и нацелился. Его шар так ловко щёлкнул шар противника, что гвардеец изумлённо покосился на него и замялся.

– Может быть, вы, сударь, на деньги? – спросил он. – Что даром время терять?

– А вот уж мы сперва по уговору-с... смажем вот этого, – сказал Мирович, – а потом хоть и этого... я не чинюсь... готов...

Кий опять щёлкнул. За красным с громом в лузу влетел белый, за белым опять красный шар. Игра была кончена.

– Пуц, пуц, или как вы там, сударь! ха-ха! Лезьте, значит, под бильярд, – неестественно зевнув и откидывая волосы, презрительно произнёс Мирович. – А для прохлады, не

¹⁷⁰ Амбара – затруднение (фр.).

в пронос слово, испейте, кстати, и холодной водицы...

Артиллерист прикипел на месте. Румянец залил его белые, женственно-нежные щёки. В блестящих карих, с поволокой, глазах выразилось удивление, почти детская досада и невольный стыд. Он бросил растерянный, робкий взгляд по сторонам, подумал: «Вот bestия! а уговор исполнять следует – расплачивайся!» – и ловко скинул с себя дорожный, расшитый золотом, на соболях, щегольской гвардейский кафтан.

Делать нечего, он присел, с улыбкой пролез на четвереньках под бильярдом и залпом выпил поданный хихикающим маркёром стакан воды.

– А что ж? другую партию! – сказал он, не одеваясь. – Три дня за медведями охотились, только что с Волхова... будто промахнулась рука... Угодно ли?

– Оставь его, оставь! – шептал, дёргая Мировича за рукав красный, как рак, Ушаков. – Катериновец ведь это!.. как бы он тебе не отплатил...

Мирович его не слушал. Игра возобновилась. И во второй раз молодцеватый гвардеец, в то утро посадивший на рога тину медведя, полез под бильярд и опятьпил поданную ликующим маркёром воду.

Зрителей надвинулось на эту картину множество. Явились, с тоненькими кривыми сигарами и трубками, другие – военные, статские и моряки. Между ними протискался, в ермолке, в ваточном халате и в плисовых туфлях, сам царевич,

старик Леон Грузинский, имевший обыкновение в таком наряде, как хозяин помещения, проводить большую часть вечеров в вольном доме Дрезденши. После новой, неудачной партии гвардеец остановился.

– Да вы заговорённый;– сказал он, отходя с Мировичем к стороне. – Попроворили как разбить... Не угодно ли в таком разе и в карты?

– Всеодолженнейший слуга! – с радостной дрожью произнёс, не поднимая глаз, и надменно поклонился Мирович.

– Так пойдёмте наверх, – сказал, опять облакаясь в кафтан, гвардеец.

– Только я вот товарища что-то потерял из виду! – оглянулся Мирович. – Коли проиграюсь, а счастье не вечно везёт, не у кого будет взять здесь сикурсу...¹⁷¹

– В долг поверим, – с усмешкой смерив пехотинца глазами, сказал гвардеец. – Мы по простоте, сударь, без фасонов...

– И нам, государь мой, фасоны не надобны! – с достоинством ответил Мирович. – А в долг, к слову сказать, ещё не игравали...

Внутренней, витой лестницей они взошли в верхние комнаты Дрезденши.

– И этого-то человека и как стоптал, разбил! – шептали между тем гости при проходе среди них щёголя-артиллериста и его победителя. – Все пуан-дешпаны ему перемял этим

¹⁷¹ Сиккурс(сикурс) – поддержка, подкрепление.

лазаньем... Слыхано ли? Первого в гвардии директора веселостей и всяких игорных затей...

– С кем имею честь? – спросил гвардеец.

Мирович назвал себя.

– А вы? – спросил последний.

– Цальмейстер¹⁷² гвардейской артиллерии Григорий Григорьевич Орлов, – ответил красивый офицер, концами нежных, в кольцах, пальцев опраляя букли и на груди кружева.

«Он самый и есть! так вот это кто!» – подумал Мирович, с новой, презрительной злобой вглядываясь в пышущее здоровьем, румяное и удалое лицо Григория Орлова, которого он застал когда-то на несколько месяцев в корпусе. Орлов потребовал шампанского, бутылка которого тогда стоила рубль тридцать копеек. Они чокнулись и выпили по несколько бокалов.

– Коли в карты, – сказал Орлов, – так пойдём дальше.

Он провёл Мировича в следующие комнаты. Там увеселения – некогда потайной, а ныне явной, модной австории – шли в полном разгаре. Играли в бириби, в ля-муш, в тогдашний банк-фараон и в «кампас», любимую игру нового государя и его голштинцев, в которой каждый получал несколько «жизней» и кто переживал, тот и выигрывал. Дым кнастера клубами стлался по комнатам, смешиваясь с дымом сигар фидибус. Из большой соседней залы явственнее доносились звуки венгерской струнной музыки, нанятой возвратив-

¹⁷² Цальмейстер – казначей (нем.).

шимися с медвежьей травли гвардейцами. Там шли танцы и слышались смех и весёлые голоса итальянских и французских хористок придворной оперной труппы, любивших здесь делить время в обществе столичных богачей.

Сама Дрезденша, она же и Фёлькнерша, пятидесятилетняя набелённая и плотная женщина, появлялась среди карточных столов. Подбоченясь, она останавливалась перед играющими: серыми ястребиными глазами следила за теми, кто побеждал, с возгласами «Ach, Herr Je» громко хохотала над теми, кто проигрывал, предлагала яства и питья и исчезала во внутренние комнаты всякий раз, когда выходил какой-нибудь дебош. Военные звали Дрезденшу командиршей, моряки – адмиральшей, статские – танточкой.

В одной из игральных комнат, куда вслед за Орловым вошёл Мирович, за большим круглым столом сидел атлетического вида, девяти пудов весом, с мужиковатой повадкой и площадными французскими и русскими присловьями, лицом, впрочем, очень похожий на старшего брата – красавца Григория¹⁷³, – расфранчённый и раздушенный Преображенский сержант, Алексей Орлов. Его окружали приехавшие с медвежьей травли другие гвардейцы. Здесь играли в фараон. По просьбе богатого товарища-однополчанина, Михаи-

¹⁷³ Речь идёт о братьях Орловых, Григории Григорьевиче (1734—1807) и Алексее Григорьевиче (1737—1807), сыгравших главную роль в низложении Петра III.

ла Егорыча Баскакова, Алексей Орлов метал банк. Другие, стоя, сидя и с вынутой картой, в волнении прохаживаясь, понтировали. Оживление было общее.

– Место, Ласунский! дай пустить ерша, – подходя и также беря карту, шепнул Григорий Орлов невысокому, расфранчённому, в серебряных галунах, измайловцу.

– Не пускай его, – усмехнулся длинный, в очках и вялый с виду другой измайловец, Николай Рославлев, – беспременно проиграется. Намедни насилу их разняли в Волочке с Несвитским и с Хитрово...

– Да я не для себя, господа, parole d'honneur, – произнёс Григорий Орлов, указывая глазами на подведённого им нового понтёра.

Мирович долго не решался ставить карты.

«Гвардейцы, катериновцы – ухари, богачи, – мыслил он, замирая, – не пара... С ними свяжешься, не рад будешь. Проиграешься, на дне моря найдут; выиграешь, как бы ещё не кончилось, как тогда с Юсуповым... Нет! два года терпел, не зарывался... Великий Руссо, учитель мой! Помню твои слова... Силой воли, воли одного человека, всё достигнешь... Баста, карт в руки не возьму».

У игрального стола шёл оживлённый русско-французский разговор. Слышался изредка смех.

– Что же, отче многомилостивый? – уставясь в него и продолжая толстыми, жилистыми пальцами метать фараон, пробасил исполин Алексей Орлов. – Уважьте компанию-с... От-

ведайте в прусского короля счастья. Кому тереть, кому в тёрке быть. Либо дупеля, либо пуделя... *voyons, allez vite...*¹⁷⁴

Кто-то из посторонних, ставя карту, прошептал:

– Была не была, отведай ещё, Хавронья!

Мирович опёрся рукой о стол. Лица понтёров были ему неизвестны. Перед ним лежала колода.

«Поликсена, далёкая, дорогая, недобрая, выручай», – подумал он, прикрыв занятым у Ушакова червонцем пятёрку, название которой начиналось одной буквой с именем Поликсены.

– О-го, свернул овце шею! Дана, – пропустил весёлым басом банкот. Озноб пробежал с головы до пят Мировича. Он удвоил ставку на той же карте, Алексей Орлов принялся опять метать и, снова вскинув на него удалыми, смеющимися глазами, сказал:

– Дана, сударушка, и эта-с.

Подошли новые игроки. Снизу явился и Рубановский.

– Молодец, молодец! – шептал теперь старик Мировичу. – Такому можно постараться... может, и найду!..

Мирович не обращал внимания на окружающих. Дух игрока воскрес в нём с прежней, давно не испытанной силой. Глаза у него помутились, ноздри расширились, дух захватывало. Забыл он и Руссо, и ложу святого Иоанна, и силу воли, и всё. Загибая паролы и ставя угол на пе, он выиграл почти сряду ещё несколько карт.

¹⁷⁴ Начнём скорее... (фр.).

– Экое счастье, – анафемское, дьявольское счастье! – шептали кругом.

– Qui est ca?¹⁷⁵

– А шут его знает...

– Да откуда взялся?

– Григорий, что ли, привёл...

– Sacre nom!¹⁷⁶ Невзрачный, а как загребаёт.

– Но это случай, parbleu!¹⁷⁷ не всё же будет брать...

Мирович между тем поднял глаза к потолку. Держа колоду карт, он подумал: «Пчёлкина... Поликсена... две одинаковых буквы в начале имени и фамилии... Попробуем ещё так», – вынул пятёрку пик, загнул на ней все четыре угла и пустил таким образом всё, что у него было выиграно. Карта снова, к общему изумлению, взяла.

– Банк сорвёт! что вы! – дёрнул за руку Алексея Орлова Бредихин. – Где Баскаков?

– С Машутой амуруется... – ответил, указав на дверь, Хитрово.

– Mais allez done!¹⁷⁸, – шепнул брату Алексей Орлов. – Пусть бросит амуры и выручает... какого козыря притащили!..

Гурьев и Хитрово привели Баскакова. Понтёры расступи-

¹⁷⁵ Кто это такой? (фр.).

¹⁷⁶ Чёрт возьми! (фр.).

¹⁷⁷ Ей-богу (фр.).

¹⁷⁸ Но иди же (фр.).

лись. Кто-то сказал:

– Поздно, други; скоро станут гасить свечи. Не сбрызнуть ли поле?

Подали шампанского. Ласунский с Рославлевым и Гурьевым принялись сводить мелом счёты проигрыша, выигрыша, за карты и за вино. Посторонние зрители стали понемногу расходиться. Где-то в соседней комнате несколько человек несвязно пели:

Лён, лён молодой...

Раздавалось ухарское треньканье гитары. Хлопали пробки, звенели бросаемые об пол стаканы.

– Что ж, господа, если не хотите, если... я сам готов метать банк! – сказал Мирович, неловко суя по карманам дукаты и рубли. – Только в этом и радость... Живём в сумнительные времена... Ах, как, матушка, в Киеве хорошо... – вдруг прибавил он, ни с того ни с сего.

Его душил смех, давно не испытанная весёлость подымала, раздражала. Он начинал несвязно болтать, заметно покачиваясь. Глаза слипались. Хмель от выигрыша смешался с хмелем от вина.

Григорий Орлов переглянулся с приятелями.

– Если продолжать, так не лучше ли у меня? – сказал он. – Или доиграемся у князя Чурмантеева! У него нынче рокамболь с ужином... просил прямо с охоты...

Товарищи решили, что к князю Чурмантееву на Васильевский далеко, лучше к Орлову.

– А вы? – спросил Григорий Мировича. – Сани мои готовы, и я живу на Мойке, в доме Кнутсена, возле дворца.

– Знаю, знаю, – банкир! – а то хоть и к Чурмантееву... готов! – ответил, хватаясь за спинку стула, Мирович. – Я пехотный, значит, не богат человек... инфантерия-с... пехтура!.. одначе, нет, извините, господа! не уступлю никому, ни-ни... Ах, как, матушка, то есть, в Киеве хорошо...

– А вы были в Киеве? – кто-то спросил, подойдя. – Там есть медведи?

Мирович мутными глазами молча посмотрел на него.

– Григораш, бери его! – сказал Баскаков Орлову.

– Но как бы он не учинил дебоша?

– Пустяки, бери...

Все были согласны, что жаль так бросить среди ночи храброго, охмелевшего вконец армейца, которого и фамилию как-то в суете забыли, да и его адреса теперь вряд ли можно было добиться. Гвардейцы свели Мировича на улицу, посадили в сани Григория Орлова и повезли на квартиру последнего. Но тем приключения той ночи не были кончены.

Помнил впоследствии Мирович, что, когда его подсаживали в сани, у подъезда Дрезденши какой-то сгорбленный в камлотовой шинельке старичок протискался к нему сквозь толпу провожающих и, ёжась от холода, шепнул:

– Молодчина... козырь... и всё пятёркой, пятёркой!..

умру, а найду...

Припомнил также Мирович, что по пути к квартире Орлова вся эта развесёлая и шумная ватага молодых повес, гремя колокольцами, шумя и громко смеясь, заезжала ещё в две какие-то австории. В одной Мировичу услужливые весельчаки давали, для освежения, умыться и опять играли на бильярде и пили. Он при этом был безмерно весел, также пил, шутил и даже пел какую-то ухарскую, плясовую украинскую песню.

– Расходились орлята-шельмецы! – толковали окрестные горожане, слыша сквозь двойные рамы и ставни топот коней, звон гремушек, хохот и возгласы носившихся по морозным улицам знакомых забубённых гуляк.

В другой австории, а именно у землячки и друга Дрезденши, Амбахарши, случился казус. Там компания разгулявшихся повес неожиданно наткнулась на известного и непримиримого соперника силачей Орловых, на бывшего кронштадтского коменданта Шванвича.

Каждого из Орловых порознь в борьбе Шванвич легко осиливал: двое же брали над ним верх. А потому между ними, раз навсегда, было условлено, что если где-нибудь в австории Шванвич встретит одного из Орловых, то они должны будут немедленно уходить, оставляя в его распоряжении всё вино, бильярд и красавиц. Где же Шванвич заставал двух из семьи Орловых, то сам, без дальнейшего разговора, должен был им уступать поле действий. Повесы ворвались в ав-

стерию Амбахарши на этот раз именно в то время, когда из её дверей вылетел во двор, вытолкнутый Шванвичем, третий из Орловых – Фёдор.

– Как, кому? лаптю кланяться? отступить! – гаркнул обескураженному брату Алексей Орлов. – Нет, Федя, дудки. *Sacre nom!* вперёд! – Все встали с саней.

В комнатах Амбахарши поднялся невообразимый шум. Шванвич не уступал. Одни из гостей держали сторону Орловых, другие с осипшими глотками кричали, что так нельзя, что они должны в точности исполнить уговор. Шванвич увесистою лапой сгрёб опять за шиворот рослого Фёдора Орлова. На выручку младшего птенца двинулся громадина Алексей... Два плечистых буяна общими силами смяли противника, опрокинули его навзничь, и Алексей Орлов, с налитым кровью лицом, вытащил под мышки бледного от злости, брыкающегося моряка за дверь и в свой черёд столкнул его с крыльца австении в снег.

Товарищи потребовали с Орловых при этом случае нового угощения. Опять явилось вино. У Фёдора Орлова оказался изорванный рукав и текла из носу кровь. Алексей растирал снегом вывихнутые пальцы. Шум, гам и смех слышались из трактира далеко. Тут были и цыгане. Неугомонные гуляки перешли в большой кегельный зал и стали там прыгать друг через друга в чехарду. Мирович возил кого-то при этом на себе верхом... Григорий Орлов с красивой, чернобровой цыганкой Аксюшей, под хоровую песню и звуки бан-

дур, сняв кафтан и камзол, в кумачной рубахе, размахивая платком, плясал вприсядку трепака. Гремела опять песня: «Лён, лён...»

Но когда толпа, вдоволь угостившись, двинулась к саням, Алексей Орлов, не доходя ворот, вдруг охнул и с окровавленным лицом упал среди двора на снег. Кто-то в то же время кинулся от крыльца бежать по улице...

– *Tiens comme il l'a balafre!*¹⁷⁹ – вскрикнул Бредихин, с подоспевшими камрадами насилу поднимая Алексея Орлова, у которого Шванвичем из засады была наискось рассечена левая щека.

Некто из толпы выхватил шпагу и с криком: – «Так вот какова честь! Вот подлость! Смерть предателю!» – бросился вдогонку за убежавшим Шванвичем.

– Удержать его, удержать – всю улицу разбудит и переполошит! – раздавались у ворот голоса. Непрошенного защитника привели обратно в трактир. То был Мирович. Никто его не мог унять. Пока суетились, перевязывая рану Орлову, он, не выпуская из рук шпаги, продолжал шуметь и, с пеной у рта и скрежетом зубов крича: «Убью изменника, убью подлого труса!» – порывался к двери.

Из толпы трактирного люда, с красным от возлияний лицом, озабоченно выдвинулся плотный, в меховой епанче, господин. Заметно покачиваясь, он нагнулся к Мировичу, взял его ласково за руку и со вздохом сказал:

¹⁷⁹ Ах, как он его изуродовал! (фр.).

– Уймись, Василий Яковлевич, уймись, видишь, и я, и ты – дали зарок, а сами...

– Valafre...¹⁸⁰ зарок!.. У Чурмантеева доигрывать... умру, а найду! – бессознательно повторял про себя Мирович, уносимый по улице в санях Ломоносова.

Загоралась бледная заря. Дома, заборы и перекрёстки начинали вырезываться из тёмной морозной мглы. Сани, скрипя, остановились на берегу Мойки. Мирович взошёл, шатаясь, на лестницу второго этажа и, как был одет, в шляпе, в шинели и в башмаках, свалился на первый попавшийся диван и как убитый заснул.

V СЛЕД НАЙДЕН

Два года назад, а именно в начале зимы 1760 года, после высылки Мировича в заграничную армию, Пчёлкина обратила на себя внимание разом нескольких придворных вздыхателей.

Поликсене тогда исполнилось восемнадцать лет. Она подросла и стала не столько пригожее, сколько миловиднее, находчивее, бойчей. Её серые глаза, продолговатые, как у сфинкса, были так же загадочны, бесстрастны и насмешливо-холодны. Золотистые волосы, когда она их не пудрила, густыми янтарными волнами падали с её сухой, строгой и гор-

¹⁸⁰ Изуродовал... (фр.).

до посаженной головы. Ухаживали за красивою, худенькою камер-медхен государыни военные и статские.

«Пчёлка золотая, что ты жужжишь?» – сочинил, по слухам, именно о ней один стихотворец, и городские модники распевали под клавикорды эту песню. Первые столичные щёголи, на холостых пирушках, не раз бились об заклад, что не пройдёт недели, если они только захотят, – Пчёлкина будет ими побеждена. Заклады проигрывались. Вдыхатели ошибались.

Поликсену сердили их преследования.

– Безмозглые, противные, – дрожа и бледнея, шептала она сквозь слёзы. – И всё потому, что я подкидыш, ни роду ни племени... По милости государыни хорошо одета, в моду вошла и нравлюсь всем – вон целая корзина амурных цидулок на полке... И уж хоть бы ухаживали от сердца... Гнусные пустозвоны! Вертопрах этот, богач Нарышкин, следом бегаёт целый месяц; камергер Лоскутьев вздумал ухаживать, голштинец Цобельтиш... От уличной щеголихи к актрисе, от актрисы... Ну, и за нашей сестрой, за камеристкой, отчего не погоняться?

Часто вспоминала и обсуждала Поликсена своё прошлое – странное, не как у других, одинокое детство, бегание по лестницам, коридорам и переходам старого Зимнего дворца и первые сознательные тревоги, редкие радости, зато частые горькие слёзы босоногой швейки, потом ковёрницы у статс-дамы Апраксиной и, наконец, кружевницы и камер-медхен

самой государыни. . . По случаю одного из придворных спектаклей, когда заболела какая-то актриса, её начали учить по-французски, потом по-немецки. Она оказала большие способности. Иван Иванович Шувалов¹⁸¹ задумал определить Пчёлкину в оперный хор и поручил её попечению тогдашней первой певицы Либеры Сакко, которая давала своей новой ученице читать драмы, комедии и повести и успела её развить. Через неё Пчёлкина ознакомилась и с Руссо, прочла его «Эмиля» и кое-что из его философских сочинений.

Никогда не могла забыть Поликсена одного дня в своём детстве. Её, резвую и дикую девочку, сильно побил в игре какой-то дворцовый злюка арапчонок. На её угрозу: «Вот постой, чёрт лупоглазый, маменьке пожалуюсь!» – лупоглазый чёрт, скаля зубы и наставя чёрный кулак, ей ответил:

– Никакой матери у тебя, рыжутка Полька, нет и не было. . . да и отца не было!.. а ты, Полька, нищенка, подмётышек, сорочье дитё!

– Как подмётышек, сорочье дитё? – стала накидываться и допрашивать встречных и поперечных девочка. Ей объяснили, что действительно её нашли в опорках какой-то шубейки, на куче сенных выгребков, под дворцовым конюшенным крыльцом. Горько заплакала Поликсена и с той поры, забываясь в углы чёрного двора, всё высматривала на сметье сорок: какая ей будет матерью?

¹⁸¹ Фаворит императрицы Елизаветы Петровны, оказал большое содействие масонству в России.

Прочла однажды Поликсена французскую драму, данную ей Либерой Сакко, и чуть не сошла с ума. В драме изображалась Орлеанская Дева, избранная Провидением для совершения великого подвига. С той поры судьба Иоанны д'Арк не давала покоя Пчёлкиной. Ей грезились громкие дела, мировая слава, общая признательность. Нередко дни напролёт, в гардеробной императрицы, она просиживала молча, как истукан. Ей мерещился вековечный, дремучий дубовый лес, мхи и скалы. Войско стоит у опушки. Сверкают латы, гремит оружие. Гонимый король, Карл VII, лежит у палатки. И вот из леса, в шлеме и с мечом, выходит светозарная девица.

– Я спасу тебя, возведу на престол, – говорит она королю. И эта девица – Поликсена... Работа валилась из её рук. Роброны и блонды государыни долгие часы она гладила совершенно остывшим утюгом, жгла воротнички, вышивала по канве, вместо алых, синие и зелёные розы.

– Влюблена, влюблена, – шептали о ней подружки-камеристки. Явилась в Петербург знаменитая ярославская ворожея, Варварушка. Все у неё гадали. Обратилась к ней и Пчёлкина. Она пробралась к ней на Охту, с женой Ипатьича, кучера государыни, в платочке и стареньком платице.

Варварушка долго отказывалась гадать.

– Силы у меня нонче нетути, в косточки вся ушла, – говорила она. Провожатая Поликсены положила перед нею два рублёвика и конец холста. Варварушка стала гадать на кофе. Кучеровой жене, страдавшей запоем, так и сказала:

– Смерть тебе не скоро; блинком подавишься, только оживёшь.

Поликсене предсказала двух молодых и красивых женихов.

– Оба будут тебя вот как любить, и за одного, девка, ты бы и пошла, да не станется; не выйдешь и за другого.

– Почему? – спросила с испугом Пчёлкина.

– Через шум и через кровь.

– Что же, милостивая, – вмешалась кучерова жена, – родственники они, эти-то, кровные меж собой или просто побьются?

– Не родные, а дальние, и не побьются; только выходит через кровь и через шум, – подтвердила Варвара.

Кучерова жена приказала долго жить в ту же зиму, опившись до смерти запеканки-перцовки на именинах кумы, и никаким блином не давилась.

«Ну, и обо мне, знать, ворожея наплела», – думала, неравнодушно вспоминая гаданье Варварушки, Пчёлкина. Она читала «Эмиля» и вместе отдавала дань веку – верила снам и гаданьям. Когда в числе вздыхателей подвернулся ей кадет Мирович, она, разглядев тогдашний скромный, простой и добродушный до глупости вид влюблённого юноши, не раз с досадой спрашивала себя: «Да неужели ж этот?». Ей льстили страстные ухаживания Мировича, его преданность. Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остановиться выбором над ним.

«Армейский пехотный офицеришка будет – не велика находка!» – говорила она себе, охорашиваясь в пышных янтарных локонах перед зеркалом. И вот его нет, он разжалован, выслан. Пожалела его Пчёлкина, даже поплакала о его судьбе. Но прошёл год – о Мировиче ни слуха. Жив ли бедный, робкий вздыхатель?

Наступила новая, особенно весёлая зима. Придворные балы сменялись концертами, концерты – маскарадами. Покойная императрица любила, чтобы хорошенькие из её свиты, не только фрейлины, даже камеристки, запросто являлись поплясать в её присутствии на обычных куртагах.

– Пора Пчёлкину замуж отдавать, – объявила раз государыня статс-даме Аграфене Леонтьевне Апраксиной на одном из маскарадов, где Поликсена с другими из светских девиц, в костюме нимфы, танцевала менуэт с наследником престола. – Ишь, Пётр-от Фёдорыч как перед ней ферлакурит¹⁸².

– А и то правда, матушка-государыня, – ответила Апраксина, – нуко-си, летом и впрямь найдём ей жениха, а осенью, перед филипповками, сыграем и свадьбу.

– Но у Пчёлкиной чуть ли уж не припасён суженый, да он на войне, – заметил кто-то при этом.

– Тем лучше, – сказала Елисавета Петровна, – выпишем молодца – амуры раскончить... а к той поре, чай, и войне уж не бывать.

В конце той зимы подвернулся особый случай.

¹⁸² Ферлакурить – ухаживать.

Служивший в военной коллегии, женатый на богатой купеческой дочке Ульяне Пусловой полковник Бехлешов должен был везти в чужие края, на воды в Спа, больную жену и вызывал для неё, через «Ведомости», знающую иностранные языки компаньонку. Ухаживания Петра Фёдоровича за Пчёлкиной не прекращались.

«Пусть проездится», – решила императрица, и стороной, через Апраксину, велела посоветовать своей камер-медхен принять приглашение Бехлешова. Пчёлкина была изумлена и вместе обрадована.

«Откуда такое счастье? – повторяла она себе. – Удаляюсь, кажись, от важного лица. Стало быть, я опасна... Вот что сулил и куда ведёт жребий».

Она получила отпуск до сентября и в мае через Дрезден и Вену с Бехлешовыми уехала за границу.

Поликсена часто писала оттуда Птицыным. Всё занимало её в чужих краях: невиданные нравы и обычаи, отменные от всего того, к чему она пригляделась в России, роскошные сады и парки, чистота и красота немецких городов и деревень. Разнообразное и оживлённое общество съехалось к модным целебным водам. Здесь был цвет расслабленной и изнеженной тогдашней европейской аристократии. Между больными было видно немало и раненых на войне, гремевшей невдали, в разбитой русскими войсками Пруссии.

Пчёлкина с Бехлешовой посещала курзал, с жадностью читала и переводила большой газетную болтовню и новые ро-

маны. На водах также произошло несколько романов. У какого-то лорда австрийский кирасир увёз дочь; жена рейнского богатого виноторговца бежала с парижским актёром. Поликсена тоже почувствовала себя неладно.

Полковник Бехлешов, привезя жену, думал пробыть в Спа не более недели и жил здесь целый месяц. Сопровождая жену и её компаньонку в прогулках, он сперва был весьма сдержан, потом стал, как бы случайно, оказывать ту или другую услугу Пчёлкиной: с заботливой вежливостью подсаживал её в экипаж, приносил ей с почты письма, покупал любимые лакомства, фрукты, а раз при жене подарил ей модного штофа на платье. Поликсена от подарка отказалась. Бехлешов начал искать предлога для беседы с нею наедине.

«Что бы это значило?» – думала она, теряясь в догадках, и всякий раз обрывала эти встречи. Больной стало хуже. Она разнемоглась от изменившейся погоды и несколько времени не выходила из своей комнаты.

Был тёплый, влажный после недавней грозы вечер. Бехлешов встретил Поликсену в небольшом саду при своей квартире, попросил её сесть на скамью и, после некоторого колебания, шепнул ей:

– Волшебница! я от тебя без ума.

– Стыдитесь, полковник! – вспыхнув, сказала Поликсена. – У вас сыновья в ученье, жена так хворает, а вы ведёте себя, извините, как мальчик...

– Но, милая лапушка, – ответил Бехлешов, загородив до-

рогу Пчёлкиной, – я всё для тебя, всё...

Поликсена метнула в него молнию из серых глаз, оттолкнула селадона¹⁸³ и молча ушла к себе наверх.

– Погоди ж ты, рыжая гордячка! Дам тебе отплату! – проворчал ей вслед взбешённый неудачей Бехлешов.

Любезничанья с Пчёлкиной толстенького, седого и короткого ростом куртизана прекратились. За чаем, обедом и за ужином он не говорил с ней почти ни слова. Жене его стало лучше, и Бехлешов начал укладываться с целью возвратиться в Петербург. Пчёлкина, чтоб смягчить разлад, собиралась просить его разузнать в коллегии о Мировиче, с которым она переписывалась и от которого, перед выездом из России, получила кряду два нежных письма.

«Спросит, не жених ли? – думала она, – нарочно скажу – жених... и побесится, и отстанет скорее... А чем же Мирович и не жених? – с горечью прибавила она и вздохнула. – И влюблён и верен... чего же больше?».

Сидела Поликсена как-то у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо Птицьиной о приключении с Бехлешовым и задумалась.

«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, – сказала она себе. – Где ж конец? И неужели выхода нет?... Мирович! Ну что он такое? Да как все: добрый, незнатный, безродный, как и я; говорят, склонен к картам, мотовству... Но от мотовства и

¹⁸³ Селадон – герой пасторального романа О. д'Юрфе «Астрея». Иносказательно – чувствительный влюблённый, позднее – назойливый ухаживатель.

от карт можно ещё исправиться, в люди выйти... Молод – остепенится... Слышно, им теперь довольны; даже за отличие повысили... Но не то, всё не то... Беден, и то пустяки... Жить нечем будет – государыня поможет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!».

Поликсена остановилась писать. Воспоминания вновь зародились в её голове: злой арапчонок, сорочье дитё, Иоанна д'Арк, с мечом и шлемом, у опушки дремучего дубового леса, предсказание ворожей... кровь и шум...

Она сидела, склоняясь горячим лбом на холодную, исхудалую руку. Слёзы навёртывались на глаза. Снизу по лестнице слышались шаги. Кто-то будто поднялся на несколько ступенек и остановился.

«Мне почудилось, – сказала себе Поликсена. – Счастье! не дожидаться мне, видно, его... А у других – вон в газетах – только и говорю, что о романах, о любви... И почему мне не видать счастья? Почему к другим оно приходит, да такое щедрое – негаданное, неожиданное?... Мужья знатные, в чести...»

Она опять взялась за перо.

В раскрытое окно мезонина виднелись очертания окрестных арденских холмов и лесов, над ними – усеянное звёздами, тихое июльское небо. Под окном был скалистый обрыв над ручьём. В доме давно все улеглись, заснули. Наутро Бехлешов уезжал в Россию. Недалеко оставалось до зари. Пчёлкина медленно протянула руку к чернильнице, обмак-

нула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свечи в тяжёлом шандале будто колыхнулось. Видно, с надворья пахнуло свежим предрассветным ветерком... На ковре, за стулом, что-то шелохнулось... Поликсена подняла глаза: перед нею, расфранчённый, завитый и напудренный, с пучком лилий и роз в руке, стоял кругленький, толстенький Бехлешов.

– Добрый вечер, Поликсена Ивановна, – произнёс он, робко улыбаясь.

Она вскочила, взглянула на дверь.

– Здесь и снизу заперто: тш! – сказал он. – Мы одни... выслушайте меня...

– Что это значит? – спросила Поликсена. – Как смее вы?..

Бехлешов протянул ей букет.

– Райский цветник, волшебница! – шептал он, не сходя с места. – Сна нет, страдаю, томлюсь...

– Роман! – усмехнулась Пчёлкина. – Но довольно! Идите, сударь; не вас мне жаль – вашей жены...

– Королева! зорька моя! – сказал, опускаясь перед ней на колени, Бехлешов. – Клянусь тебе, люблю... убей, только выслушай... Всё бери, деньги, алмазы... Осчастливь, убежим...

Поликсена вспомнила слова ворожеи.

– Всё бери – ничего не пожалею! – шептал Бехлешов, прижимая к груди букет. – Слово только скажи... Семью брошу, службу, хоть на край света с тобой... Озолочу, в кабалу от-

дамся: сто душ на Урале на тебя отпишу...

Поликсена сложила руки.

– Какое унижение, какой позор! – сказала она с дрожью. – Вон отсюда, слышите? вон! – бешено топнув ногой, продолжала она, указывая на дверь. – Уходите; иначе, не гневайтесь, подниму крик, разбужу весь дом...

Бехлешов подошёл к ней. Она бросилась к окну.

– Шаг сделаете, – вскрикнула она, указывая на окно, – брошусь туда... на вашей душе будет смерть...

– Стойте, стойте, – прошептал Бехлешов, – ужли на том и конец?..

Пчёлкина молчала. Негодующие серые глаза холодно и бешено смотрели на него от окна.

– Будешь меня помнить! – проговорил, уходя, Бехлешов.

Поликсена утром явилась к больной, попросила своё выслуженное жалованье, отперла сундук, взяла свой паспорт, узелок с вещами и сходила на почту. К обеду она вошла в кабинет к Бехлешову. В руках её были книги и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро, сводил счёты. При входе Пчёлкиной он слегка побледнел, но не оглянулся, будто её не заметил.

– Ошиблись вы, Валерьян Ильич, – почтительно и сдержанно сказала Поликсена, – но более вас ошиблась я сама. Не знала я доподлинно, каковы ноне люди на свете. Теперь знаю... Гнуснее, ничтожнее иного человека – ох, ничего не найдёшь...

Бехлешов упорно молчал. Лицо его слегка залила синева. Он тяжело дышал, по-прежнему не оглядываясь на говорившую.

– У вас даже совести нет, – с горькой усмешкой продолжала Поликсена, – ужли ж и впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бедную, нищую сироту – вам нипочём. С такою-де можно!.. Но не все сироты одинаковы... Ошибаетесь... И не всякой не помнящей родства подкидышу по плечу грязь, ничтожество и позолоченное бесчестие из-за куска хлеба. Иная, сударь, верит и в лучшую долю...

Губы Бехлешова шевельнулись. Он хотел что-то сказать и опять не отозвался.

– Вы молчите? – кончила Пчёлкина. – Горды вы, чтоб покаяться перед такой пустошью?.. Под крыльцом в выгребках её нашли!.. Будьте вы прокляты, с вашим богатством и с вашей низкой, одного токма себя любящей душой... А это – данное вами, сударь, для чтения... Вразумили вы меня окончательно многим из этого... особенно ж вот этим: в книге я нашла к вам письмо от вашей фаворитки из России.

Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на стол, медленно вышла и в тот же вечер, в почтовом омнибусе, уехала в Вену и далее в Петербург.

Осенью минувшего 1761 года императрица сильно захворала, а в декабре скончалась. Пристроить Поликсену, с

Апраксиной и с Шуваловым, она не успела – ни в оперу, ни замуж. Хотя во время болезни государыни Пчёлкину все дворовые волокиты оставили в покое – им тогда было не до неё, – но Бехлешов не упускал её из виду. Со смертью государыни всё изменилось. Шуваловы пали. Влияние Апраксиной заменилось влиянием Лизаветы Воронцовой. К новому году Бехлешов, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, был назначен помощником оберкригс-комиссара, голштинца Цейца, и произведён в генералы. Служебное значение его в военной коллегии, а с ним и его связи повысились. Несмотря на возврат из чужих краёв жены, он то посылал Пчёлкиной, через её подруг, словесные поклоны, то письменно клялся ей в неизменной любви.

Поликсена колебалась недолго. По совету Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцовой, просить места при супруге государя. Воронцова послала её к своей сестре, Дашковой. Взглянув на худенькую и бедно одетую камеристку старого, ненавистного ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никите Панину:

– Какая дерзость! всякая горничная метит в наперсницы к новой государыне.

Поликсена стала белее стены, смерила взглядом Дашкову и молча удалилась.

«Сочтёмся когда-нибудь», – подумала она.

Оставшись за штатом, она решила не ждать более ни-

чего, не просить и не ходить ни к кому, а выехать из столицы, скрыться в такую глушь, где бы и следов её никто не мог найти. Задумав это, она выискала случай и в середине зимы 1762 года, после похорон императрицы, не простившись даже со знакомыми, наскоро собралась, написала прощальное письмо также уезжавшей из столицы актрисе Сакко, и, без сожаления, так быстро оставила Петербург, что ни Бавыкина, ни близкие её знакомые не знали, куда она делась.

Ночная попойка заставила Мировича более суток не выходить сверху, из комнат Ломоносова. Оба они скрывались там – один от жены, другой от Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствие невоздержности, возвратился особенный, судорожный, с странным и смешным присвистом кашель, которым он, как и опухолью ног, страдал в последние годы. Ломоносов в шутку называл его своим «соловьём». И этот соловей имел своеобразный обычай: он начинал в нём распевать именно всякий раз, когда Ломоносов не выдерживал и заходил в ресторан Иберкампа, Гантовера или бывший невдали от Синего моста Амбахарши.

Беседуя с Михаилом Васильевичем, в кабинете последнего, о масонстве, о чужих странах и новостях дня, Мирович вкратце передал ему и о своём, так печально кончившемся, сердечном романе. Поликсены не было, и где она – решительно нельзя было узнать. Ломоносов, выслушав исповедь Мировича, нахмурился.

«Вот она, судьба, – думал он, – что любим, чего жаждем, того и нет... И она-то что за птица? И чем он ей не пара? Писал, перестала отвечать... А может, только прячется, испытывает молодого человека, каков он и будет ли верен ей?».

Хозяин и гость делали разные предположения, судили, ряздили. Мир фантастических грёз охватил опять и не покидал Мировича. Ночью к постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, он ранен, брошен где-то в незнакомом городе. Собор залит огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то венчают. Новобрачная сходит по ступеням паперти – это Поликсена. Мирович в рубище, на костыле, пробирается сквозь толпу, хочет крикнуть – и просыпается...

Вечером вторых суток дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверх записку, доставленную с придворным лакеем. То было письмо к Мировичу от камер-фурьера Василия Кириллыча Рубановского.

«Люблениа ради человеческого, – писал ему старый ритор-бурсак, – от ветхого и годами источенного древа, листовию зелёному и многоценному, в разуме же, делех, а такожде и в забавах искусством умиряющу и всеми дарами сияющу, государю моему, подпоручику Мировичу, – поклон! А я, – государь мой и многомилостивый патрон, – дознался для тебя о месте, где днесь пребывает лепокудрая и нравом достойная, искомая вами отроковица Пчёлкина. А отъехала она, в генваре, в город Шлиссельбург и живёт ныне тамо в крепо-

сти бонною, сиречь – губерньёркою, при детях вдового капитана гвардии, князя Чурмантеева. Числится же тот Чурмантеев с нового сего года главным приставом при тамошней статс-тюрьме; а и как вам попасть туда, я несведом. Цидулку же сию доставит вам камер-лакей внутренних апартаментов покойныя государыни, Тихон Касаткин. Он же и отвозил девицу Пчёлкину от двора в город Шлюшин¹⁸⁴. Засим, а ревунар, здравствуйте... А о пятёрке чудодейственной не забыть мне отныне и до веку».

Прочитав раз и другой это письмо, Мирович передал его Ломоносову, а сам поспешил вниз – объясниться с Касаткиным. Он возвратился радостный, взволнованный...

– Боже мой, слышишь? – вскрикнул ему навстречу Ломоносов. – Тайная государственная тюрьма! Князь Чурмантеев...

– Да, так написано, и посланный то же подтвердил.

– Но знаешь ли ты, кто в этой тюрьме сидит? – спросил, уставясь в него, Ломоносов.

– Не знаю, Михаил Васильич, почём мне знать...

– Он... он! – продолжал, волнуясь и заглушая рвавшийся из груди судорожный, свистящий кашель, Ломоносов. – От колыбели! двадцать второй год он томится в душном застенке...

– Да кто же он?

– Царственный узник!.. помнишь, я тебе говорил?.. Богом

¹⁸⁴ Шлюшин – просторечное название Шлиссельбурга.

назначенный, а людьми свергнутый, российский, природный царям и в России рождённый император, Иоанн Третий, как его именовали в актах, Антонович!..

Леночка, видя смущение и даже как бы испуг отца, присела в тёмном углу, робко выглядывая из-за шкафа. Ломоносов встал, прошёлся по кабинету, вздохнул, провёл рукою по глазам, хотел что-то сказать и не мог. Он ухватился за сердце, бросился к рабочему столу и из потайного ящика, дрожащими руками, достал несколько пожелтелых, истрёпанных печатных листков.

– Оды мои! вот лучшие хвалебные мои оды в честь этого императора! – сказал Ломоносов, блуждающим взором глядя как бы в некоторую светозарную даль. – Я, государь мой, прибыл сюда из Германии летом в правление именно этого младенца-царя... Ты поймёшь, как мне дорого это имя! Я писал от сердца, я был искренно, глубоко восхищён... Слушай...

*Нагреты нежным воды югом,
Ликуют светло друг пред другом —
Златой начался снова век...
Природы царской ветвь прекрасна,
Моя надежда, радость, свет.
Счастливых дней Аврора ясна,
Монарх-младенец, райский цвет!..*

– И ты знаешь? я пошёл с этими стихами в прежний дво-

рец, прочёл их перед правительницей Анной Леопольдовой и младенцем, и она при всём дворе, в благодарность, склонила мне с подушки августейшую головку сына... Понимаешь ли, что я тогда чувствовал? Вот, смотри, читай...

– Странно! – произнёс Мирович. – Стихи напечатаны, а я их нигде не встречал...

– Они явились в отдельном прибавлении при «Ведомостях»... Но их отобрали, когда на престол взошла Елисавета; мало того – их жгли с манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, где только упоминалось имя этого несчастнорожденного...

– Манифесты были его имени?

– Как же! Четыреста четыре дня страна читала: «Божию милостию, мы, Иоанн Третий, император и самодержец все-российский...»

– Извините меня, Михайло Васильич! – сказал в глубоком изумлении Мирович. – Мало я, как есть, знаю об этих событиях. У нас в корпусе о том молчали, за границей, видно, забыли... Слышал я от одного товарища и от Настасьи Филатовны, да смутно... Скупа она всегда была на этот счёт. Как и почему всё это произошло?

– Злополучные аргонавты! – ответил Ломоносов. – Рокковое же золотое руно, выпавшее им на долю, был император-застенщик... Изволь, я тебе, что знаю, когда-нибудь при случае расскажу. Печальный трактament услышишь, печальный....

Он спрятал листки обратно в стол, подложил в камин поленьев, сел в кресле, закрыл лицо рукой и задумался. Мирович сидел возле него, не спуская с него глаз, и ждал, чуть переводя дыхание. Минут через десять Ломоносов очнулся, но заговорил о другом.

«Распрошу Филатовну», – подумал, уходя от него, Мирович.

VI НЕСЧАСТНОРОЖДЕННЫЙ

Дня через два Ломоносов, поздно вечером, позвал Мировича наверх и подвёл его к окну. Всё небо было залито северным сиянием.

– Сполохи отворённого воздушного моря! – сказал Михайло Васильевич, наводя в форточку новую изобретённую им трубу.

Долго оба они следили за пышными, будто двигавшимися, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдруг Ломоносов встал, прошёлся по комнате и опять сел.

– Эпок царствования моей богини – Елисавет-Петровны, – начал он, покашливая, – цепь невесть каких противоречий! И я тебе, государь мой, в рассуждении прерванного намедни нашего трамента доложу, не иначе, как с прискорбием, – много, много лежит греха на её советниках... Сколько она страдала, сколько ждала! Дщерь Петра – и не была до-

пущена на родительский престол... Всеми была оставлена, и ей не помогали; отринута, пренебрежена – и за неё не отмщали!.. Но сама героиня севера о себе подумала... Слушай... Всем памятна ночь на двадцать пятое ноября семьсот сорок первого года... Елисавет-Петровна, богоравная, надела кирасу на платье, помолясь, села в сани и поехала, с своими партизанами, в Преображенские казармы. Там объявила она себя императрицей, пошла с верными гренадёрами в Зимний дворец и арестовала всю спавшую брауншвейгскую фамилию: правительницу государства, Анну Леопольдовну, её мужа, добряка-заика, генералиссимуса Антона-Ульриха, и их сына, младенца-императора Ивана Антоновича. Малютка был объявлен самодержавцем двух месяцев от роду... В манифесте его назвали Иоанном Третьим: другие же именовали впоследствии Пятым и Шестым, памятуя древних Иоаннов. Была в честь младенца-монарха выбита медаль, и на ней поднимавшаяся к небу императрица Анна вручала ему корону... Россия от его лица управлялась год и тридцать девять дней, а всего четыреста четыре дня...

Ломоносов остановился.

– Четыреста четыре дня!.. И за то страдать годы, всю жизнь! – продолжал он. – Где, в какой стране отыщешь подобный, столь трагический и роковой истории пример? Железная маска? да и тому государственному узнику было легче...

– Спрашивал я Настасью Филатовну, – проговорил Миро-

вич. – Чудные дела.

– Ну, и что ж рассказала она тебе?

– Сильно скорбит об участи несчастного.

– Жестокая, жестокая издёвка судьбы, – продолжал Ломоносов, – когда императрица Елисавет-Петровна привезла в своей шубе, по морозу, низвергнутого малютку-императора в собственный свой дворец – залилась она, добросклонная, слезами и воскликнула: «Бедное дитя! Ты ни в чём не повинно... Виноваты твои родители...» Вышел вскоре манифест. В нём было объявлено, что всю брауншвейгскую фамилию государыня, предав все их поступки забвению, повелела с надлежащею им честью и достойным удовольствием отпустить навсегда обратно за границу – в их отечество. И повезли их на родину, в Германию. Но чего хотели добрые, того не пустили злые... Едва злосчастные странники под надзором генерал-лейтенанта Салтыкова, пробираясь к Кенигсбергу, доехали до Риги, едва с бывшей правительницы взяли там присягу новой государыне, Елисавет-Петровна, по совету усердного Фридриха, своего лейб-медика Лестока, повелела им далее не двигаться. В то время, надо тебе сказать, из Голштинии, с великой тревогой, ждали в Петербурге другого генерала, действительного камергера барона Корфа, а с ним родного племянника Елисаветы – «чёртушку, что жил в Голштинии», как звала царица Анна ненавистного ей принца Петра Фёдорыча. Государыне шепнули – как бы германские родичи низложенного императора, в отместку ей, не

задержали на границе избранного ею наследника. Но он благополучно прибыл в Петербург. И затеяли его учить, а вскоре и женить. Приехала инкогнито из Цербста, под именем графини Рейнбуш, его невеста, Екатерина Алексеевна. Несчастливого ж правнука царя Ивана Алексеича, с семьёй, стали держать в Рижской цитадели. Выгодно было пугать государыню. Ну, Лесток с братией и пугал. Щёголь и говорун был он, а уж сквернавец первого ранжиру... На маковке пудра, под маковкой тундра... Да что – не могу, не могу... Душа разрывается. Спроси других, всяк тебе нынче о том скажет...

Ломоносов смолк опять. Мирович, видя его волнение, более не расспрашивал. Ему и без него в эти дни удалось узнать немало нового. Филатовна была в духе и, не то что в прежние годы, не стеснялась. Питомец её был теперь взрослый человек, и страшного тайного приказа уже третий месяц не существовало. Тряхнула она своими воспоминаниями. А чего только по этому поводу не знала вдова лейб-кампанца как от мужа, так и от его товарищей!

– Ох, терпели высланные мученики, – рассказывала Мировичу Филатовна, – прожили в Риге более года. А императрице, свет-матушке, доносили всякие слуха и сплетни о задержанных. Бывшая правительница её-де не признаёт. Да не почитает, а наперсница её, фрейлина Менгденша, подбивает-де её к бегству. Ходил, Вася, слух, будто правительница и взаправду покушалась бежать, в мужицком простом платье,

на корабле. Из Риги их перевели в другую крепость. У Анны Леопольдовны здесь родилась дочь, Елизавета. В честь новой царицы назвали её, бедную... да не к добру... Пробрелся в Питере спьяну один камер-лакей, что вскоре снова ждать перемены, что быть опять царём Ивану Третьему... Твой земляк какой-то, из старшины, писал другому, будто все в Питере за Ивана, и это самое письмо было перехвачено... Да и фон Миних с Оштерманом, во время суда над ними, думая, что сосланная-то фамилия уж за границей, немало на них плели.

– Гнусные трусы, себялюбцы! – произнёс Мирович, не спуская с рассказчицы пылавших, негодующих глаз.

– Так, так, Вася... А перед тем пришёл донос и о самом генерале Салтыкове – чай, слышал о нём? Он состоял при арестованных. Ребёнок-от император – он в ту пору был по четвёртому годку – играл-де в комнате с собачкой и ударил её, этак шутя, по лбу ложкой. Нянька и спроси Иванушку: «Кому-де, батюшка, как вырастешь, голову отсечёшь?». А ребёнок будто и ответил: «Василию, мол, Фёдорычу» – сиречь Салтыкову. Вспрыгались тут от этаких вестей. Норов дитяти, вишь, сказывался преострый, догадливый. «Сослать их подале, в самую глубь России! – стал твердить государыне лекарь ейный, Лешток. – Без того-де трон твой новый непрочен». А тут поспел, с волчьим советом, и немецкий король. «Не худо, – писал он государыне, – сослать Иванушку и его родителей в такой угол, где б о них и память умерла... В

вашей, мол, стране, ваше царское величество, таких мест немало... Иначе ждите бед». Таки-то речи и порешили дело... Подумала свет-матушка государыня, погадала и послала указ: известных персон тайно отвезти в город Ранибург, Рязанской, это выходит, губернии. Снарядили бедных, взяли и по зимней стуже, в метели и в бездорожье, через Калугу и Тулу, доставили в Ранибург, в начале весны. При этом ошиблись, Василий, конвойные и мало не завезли их к киргизам – вместо Ранибурга в город Оренбург..

– Эка, варвары! – прошептал Мирович.

– Варвары? Слушай, друг. То ли ещё было впереди. На новом месте несчастным вышло хуже прежнего. Поместили их – о том мужу моему в тайности сказывал опосля конвойный капрал, – поместили в ветхом и запущенном деревянном доме, где в стары годы содержался в ссылке царёв любимец, князь Меншиков. Не было там ни годной провизии, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять в тягости. Иванушка хворый. А тут в Питере снова пошли толки о возврате к правлению Ивана Антоныча. Осенью были страшные казни: ох! сама ходила – видела! А на допросе и не то ещё подтвердилось... В гвардейских полках, друг ты мой, так, сдуру притом, надеялись, что говорили: «наши, уповаем, и за ружьё, в таком разе, не возьмутся...» А тут по весне стала слышна новая молва... В городе шёпотом, украдкой начали толковать, будто к заключённым в Ранибург – сама я слышала от кумы-протопопицы – дошёл для сборов на цер-

ковь некий, сказать тебе, раскольниковый монах и что он уговорился с принцессою и с принцем, тайно, с их согласия, похитил Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своих единоверцев, бежал с ним в раскольничьи слободы, на Вятку, в Польшу... Беглецов якобы настигли в лесах под Смоленском; монаха повезли на розыск в Питер, а Иванушку в Валдайский монастырь... Да не отложить ли, Васенька, сказ на завтра? Поздно, стемнело...

– Ах, матушка вы моя родная, говорите, говорите! – сказал, ухватив за руки Филатовну, Мирович.

– Ну, после таких слухов, Василий, в Рязанскую-то губернию к заключённым, как снег на голову, и прискакал нынешний наш енарал-полицмейстер, барон Корф. Ему велено было тех арестантов отвезти под сильной стражей ещё далее, а именно в город Архангельск, и оттоле ночью, по тайности, в Соловецкий монастырь... Аки гром сразила заключённых эта весть о новом переезде. Думали они, что их везут в Сибирь, в тот город, где жил всеми клятый Бирон. «Не видать мне боле сына! – вопила, без памяти, принцесса. – Прощай, Ваничка, мой царь, прощай навеки!». Разлучили её с любимыми слугами и с наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали все её вещи, баулы, часы, дорогие гребни, перстни... Сестру Менгденши я у Шепелевых после видела, и она им про то сказывала... Аспиды, как есть аспиды, последнюю атласну юбчонку с принцессы сняли, повезли её в простом платье...

Бавыкина отёрла глаза.

– Иванушку, по пятому годку, – продолжала она, – под охраной енарала Корфа повёз с собой в коляске майор, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллер. Двинулись осенью, опять в бездорожье, дождь, а потом в снег и холода. Подводы вперёд и квартиры для ссыльных готовил полковник – прости господи! – Чертов... Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый был человек. К кучеру покойной царицы хаживал. Для сбережения Иванушки велено ему было иметь при коляске нарочитого солдата, а ребёнка звать – надо думать, в напоминание о проклятом Гришке Отрепьеве, – не иначе как Григорием, и кого везёт, никому не объявлять, а верх в коляске держать повсегда закрытым. Приехали путники к Белому морю... И хотя в тайне от всех держали тот отъезд, только слухи о нём всё-таки дошли до Питера. Полковник Чертов вдруг, представь, тронулся умом, – господень перст. А пока узнали о том и увезли его тоже куда-то, он, среди всякой пустоши, болтал и о тех несчастных. Боле, Васенька, ничего про них не знаю. Таков-то ноне свет: самый он изменчивый, линущий; тлëю везде пахнет... смертью.

Передав рассказ Бавыкиной Ломоносову, Мирович, неделю спустя, улучил минуту и, будто мимоходом, спросил его, что потом произошло с бедными заключёнными?

– Изволь, расскажу, – ответил Ломоносов. – Как сблизился я с фаворитом покойной государыни, с Иваном Ивановичем Шуваловым, стал этот юный вельможа, а мой патрон и друг,

езжать ко мне на беседу о пользе наук и на уроки стихосложения... Тут он иной раз доверял мне сказывать и о том, что слышал о младенце-императоре... «Где они теперь?» – спросил я раз Ивана Иваныча. «На твоей родине, говорит, в архиерейском подворье, в Холмогорах». Так у меня, друг ты мой, сердце и замерло. «А разве не в Соловках?» – «Коммуникации, – отвечает, – по полугоду с берегом там не бывает; так боятся этак-то поодаль держать... Да и лёд с осени помешал тронуться в Белое море». – «Как же они, спрашиваю, там живут?» – «Иванушку, объясняет, порознь содержат от родителей и сестёр... Внесли его, бедного, в монастырский двор, закрытого с головой, чтоб никто и не знал, где и кого там спрячут». Тяжело стало здесь заключённым. В Ранибурге, сам понимаешь, все были вместе, да и свободней жили, гуляли по роще, по реке. А тут не только за ограду двора – из комнат на крыльцо их не выпускали. Надо, впрочем, правду сказать о доставителе арестантов, о бароне Корфе: он сильно заботился о сосланных. Но его отозвали, а надзор за секретными персонами поручили капитану Миллеру. По весне принцесса родила второго сына, Петра, а через год родила третьего, Алексея, и от тех родов на двадцать восьмом году жизни кончилась. Тело её, по именному указу, было тайно в спирте привезено в Петербург и с церемонией погребено в Александровской лавре, рядом с её матерью, царевной Екатериной Ивановной. Императрица при похоронах много плакала... Сам я видел... Пристав Миллер неотлучно находил-

ся при Иванушке, чтоб он в двери не ушёл либо от резвости в окно не выскочил. Высокая деревянная ограда окружала двор, церковь, пруд и дома, где поселились несчастные. Ворота постоянно были заперты тяжёлыми замками. В таком уединении, унынии и скуке пристав Миллер, как и капитан Чертов, тоже было тронулся умом. Ему разрешили выписать и поместить с собой жену, но с тем, чтоб и она, блюдя секрет, в принцевых комнатах неисходна была... На десятом году Иванушка чуть не умер от повальной в тех местах какой-то злокачественной хворобы. На двенадцатом его разлучили с Миллером, коего наградили деревнями и переместили полковником фузилёрного какого-то полка в Казань. Перед его выездом из Холмогор с принцем одновременно произошли два весьма важных события...

– Какие? – спросил Мирович.

– А вот постой, стемнело – растопим камин... Леночка, – обратился Ломоносов к дочери, сидевшей тут, – глянь-ка, открыта ль труба? По словам одних, караульный солдат, а по уверению других, из жалости к мальчику, жена Миллера сообщила Иоанну о его происхождении.

– Что вы? – изумился Мирович.

– Отец принца, Антон-Ульрих, до той поры, надо тебе сказать, жил в нескольких стах шагах от тюрьмы Иванушки и даже не подозревал, в каком небрежении за зеленеющими против его окон вербами огорода томился и чахнул его сын... Тут он умолил, сказывают, жену Миллера, и та, перед выездом

дом в Казань, тайно с мужем выучила принца молитвам и грамоте... После того Иоанн прожил в Холмогорах ещё пять лет... чаша бедств ещё не была переполнена... На семнадцатом году злополучного принца перевезли в Шлиссельбургскую крепость...

– Но по какой же причине перевезли принца в Шлиссельбург? – спросил Мирович. – Сколько теперь и в корпусе я ни допытывался о том, никто не объяснил.

Михайло Васильевич затуманенным взором взглянул на него.

– Тот же лукавый и гордый Берлин, тот же бессердечный себялюбец Фридрих, загнавший несчастных в ледяную могильную глушь, был тому причиной, а если хочешь то и я сам! – сдавленным, глухим голосом добавил Ломоносов, подняв и опять бессильно опустив руки. – Да, государь мой, я в том виноват – на мне грех...

– Что вы, Михайло Взсильич, может ли это быть?

– Не удивляйся! Именно так: слушай теперь уж до конца... Дивны дела твои, Господи... дивен перст Божий...

Несколько мгновений Ломоносов, понурясь, молча глядел в разгоравшийся камин.

– Года за три до того, или нет, постой, не так! – начал он. – Приходит раз ко мне в лабораторию пребольшеущий этакой, густобородый, рус волосом и ражий из себя купчина... Зовётся тобольским посадским Иваном Зубаревым. Просит образцы сибирских руд испробовать в академической лабора-

тории. Подал я о них апробацию¹⁸⁵. Думал ли, что стрясётся такое горе! После, представь, образцы оказались не из Сибири. А между тем он выспрашивает о Холмогорах. «Вы, говорит, оттоль родиной: так и так, мол: собираюсь туда торговать, коли казна не даст пособия на разработку руд». Я с ним стал водить компанию. Ну, не без того, что и в герберги хаживали, по душе толковали... Зашла речь и об Иване Антоне. Сердце у меня всегда по нём болело. Я, значит, то и другое ему о нём и высказал. Слушает купчина, а сам на ус мотает. «Вот бы, – вдруг сказал он, – выкрасть бывшего императора. То-то пошёл бы сполох...»

– Что ж вы ему на то? – спросил бледный, охваченный волнением Минович.

– Привожу такие и такие статские и политические резоны. «Какой, говорю, может быть он государь? он одичал, не учился».

Как попался Зубарев с фальшивыми рудами, его в сыскной приказ. Но он оттуда дал тягу. А через год его поймали на посольской границе, в раскольничьих слободах, как шпиона прусского короля. После уж я вспомнил, что он крестился двуперстно, был раскольник да чуть ли к тому и не скопец... Привезли его сначала в Киев с беглыми конокрадами, потом опять в Петербург. Тут он, в тайной канцелярии, по довольному увещанию, с пристрастием во всём Александру Иванычу Шувалову и покаялся... Что же оказалось?.. Из

¹⁸⁵ Апробация – одобрение, поддержка.

приказа он бежал, через Стародуб, на Ветку, прямо в раскольничий Лаврентьев монастырь – куда перед тем метил и укрывший Иванушку монах-бегун, а оттуда пробрался через Кролевец в Берлин. Бывший в нашей службе выходец Манштейн представил его королю Фридриху. Фридрих дал ему чин полковника своего регимента¹⁸⁶ и послал его к раскольниковым. Там, за обещание свободного выбора попов, он должен был подготовить бунт в пользу Иоанна и затем ехать в Архангельск, куда к весне был снаряжён прусский король, – подкупить солдат и портомойку и похитить Ивана Антоныча в Берлин... На дорогу Зубареву Фридрих собственноручно дал тысячу червонцев и две медали, с портретами – своим и деда бывшего императора. Во всём этом Зубарев сознался на допросе и вторично то же подтвердил перед смертью, на исповеди в тайной экспедиции, где и умер... Не защити меня фаворит государыни, был бы и я на розыске... Впрочем, спасло и то... о наших речах про Холмогоры Зубарев не сказал на розыске ни слова. Чуть он всё объяснил, в Холмогоры поскакал сержант лейб-кампании Савин. Он в наглухо закрытой карете секретно ночью и вывез оттуда принца Иоанна... А приставу, сторожившему принца, объявили повеление – никому не подавать ни малейшего вида о вывозе арестанта, в кабинет же рапортовать, что он, с семьёй, под его караулом находится, как и прежде, а за остальными накрепчайше смотреть, чтобы не учинили утечки. Савин до-

¹⁸⁶ Режимент – полк (нем.).

ставил секретно Ивана Антоныча в Шлиссельбург по весне и всю дорогу отнюдь не смел ему говорить, куда он его везёт и далеко ли будет то место от столиц. Здесь принцу Иоанну дали прозвище колодника Безымянного, а ближайшими приставами над ним назначили какого-то прапорщика да сержанта... Фаворит Шувалов немало удивлялся, что один из них судился за убийство на экзекуции солдата и помилован, с переводом в эту должность, а другого самого солдата чуть не заporоли, за жестокости, – так их сквозь строй гоняли, а его в крепость упрятали... В инструкции приставам было сказано: кроме их, в казарму принца никому не ходить и его не видеть; каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, никому не говорить; и в письмах в дома свои не упоминать, где сами они находятся и из которого места пишут. С воцарением нового государя, в прошлом январе, главным стражем над принцем назначили капитана гвардии князя Чурмантеева.

– Вот случай! вот кстати! – радостно перебил Мирович. – Ах, Боже мой! все эти дни я думал-думал... представьте, вечер-то у Дрезденши... там именно толковали... и Рубановский пишет...

– Не радуйся, Василий Яковлич, не радуйся! – как бы не расслышав его, продолжал Ломоносов. – Помни одно, строгостей в этом, думаю, отнюдь не убавили... Тамошнему коменданту давно дан такой приказ, чтоб в крепость, кто бы ни приехал, хотя бы генерал, или фельдмаршал, или подоб-

ный им, никого не пускать. Но вот что ещё ему добавили: что если из комнат его высочества, великого князя Петра Фёдоровича, камердинер в крепость придет, то и того камердинера не пускать, а объявить ему, что без указа тайной канцелярии не велено. Много сатирствовал над этой добавкой к указу фаворит покойной государыни... И тех инструкций не отменили...

– Умереть – не понимаю! – сказал Мирович. – Из-за чего тут был упомянут великий князь?

– Упомянут он был здесь недаром... В то время наследник особенно враждовал с своей женой. А разойдясь с ней, по слепотству к прусскому королю, он чуть вконец не разошёлся и с государыней-тёткой. Императрица до глубины души была возмущена таким шиканством и противностями своего племянника. Примирить его с женой ей не удалось, даже для вида. А в поклонениях Пруссии он был до того продерзостен, что не верил победам русских и даже сообщал Фридриху тайные планы нашей армии. Тогда-то одумавшийся канцлер Бестужев дал Елисавете совет: выслать племянника обратно за границу, а на его место, в наследники русского престола, призвать из заточения Ивана Антоныча...

– Быть не может! – произнёс, чуть не привскочив, Мирович. – Опять на трон этого узника? железную маску?..

– Верь мне, знаю это, как тебя вижу... Пять лет назад – так кончу я печальную отповедь – государыня Елисавет-Петровна объявила желание тайно увидеть принца Иоанна.

– И видела?

– Одни говорят, что это свидание было в доме Шувалова, на Невском, у старого дворца; другие же, что государыня, при пособии канцлера Воронцова, виделась с принцем у Смольного, в доме бывшего секретаря тайной экспедиции. Принца, под предлогом совета с доктором, привезли на курьерских к ночи; рано утром он опять был в Шлиссельбурге. Одели его в дорогу прилично. Петербургский форштадт¹⁸⁷ он принял за слободу и не догадывался, с кем, через шестнадцать лет, ему пришлось снова встретиться... Елисавет-Петровна на это свидание явилась в мужском платье. Кроткий и важный вид несчастного юноши глубоко её тронул. Она взяла его за руку, несмело, под видом доктора, сделала ему два-три ласковых вопроса. Но, когда ничего не знавший принц взглянул ей в глаза и, в ответ ей, послышался его жалобный, раздиравший душу голос, государыня вздрогнула, залилась слезами и, прошептав окружающим: «Голубь, подстреленный голубь! не могу его видеть!», – уехала и более его не видела и о нём не спрашивала... А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «Ничего не поделает король; сунется, велю Иванушке голову отрубить...»

Ломоносов помешал в камине. Посыпалось несколько искр, но дрова, запыхавшие вначале, понемногу угасли. В комнате окончательно стемнело. Столбы северного сияния сильнее разыгрались, пышно мерцая голубыми и розовыми

¹⁸⁷ Форштадт – предместье (нем.).

полосами сквозь ветви безлистных, глядевших в окно дерев.

– Высылка за границы Петра Фёдоровича, – заключил Ломоносов, – разумеется, была отменена. Но великий князь дознался о секретной встрече тётки с Иваном Антонычем. Он сильно стал опасаться этого тайного соперника и – странно сказать! – в то же время, по природной доброте, всем сердцем ему сострадал и сочувствовал. «Каков он, да где и как содержится? – допытывал во дворце Пётр Фёдорыч встречных-поперечных, распудренных дворянчиков. – Да что он говорил с государыней, в каком месте было рандеву и что между них, при той конверсации¹⁸⁸, условлено?». Точных ответов на это он ни от кого, разумеется, не добился, а только больше и больше сердил без того недовольную государыню... Так прошёл год, и два, и целых пять... Со смерти императрицы все снова забыли о принце... И живёт он, двадцать второй год живёт в застенке, под замком... И не видит, не слышит никого, кроме своей стражи. И вряд ли знает он, живы ли его родители, что делается на Божьем свете и где, на каком конце его бывшего царства находится его тюрьма... что и говорить! царствовать он уже не может: куда о том и думать!.. Да хоть бы на волю его, дать увидеть свет, умягчить сердце бедного, ум... Ах, если б тебе удалось... побывать там и узнать!.. только узнать... Да неужели ж не явится Божьего, сильного чуда, чтоб избавить ни в чём не повинного этого мученика?..

¹⁸⁸ Конверсация – разговор, беседа.

Ломоносов смолк. В тёмном углу, за шкафом, послышался подавленный вздох. Кто-то незримый там тихо дышал и будто плакал. «Неужели? – суеверно, с шевельнувшимися на голове волосами, подумал Мирович. – Неужели дух принца слетел и слушает нас?». Ломоносов встал. За шкафом была его Леночка. Он притянул её к себе, осыпал поцелуями.

– Да за что же, за что? – повторяла, дрожа и ломая руки, потрясённая рассказом отца девочка. – Ах, скверные люди!.. Какие они злые!.. Иди, папа, к царю – проси за бедного...

– Слышишь, Василий Яковлевич? – произнёс, прижимая дочь к груди, Ломоносов. – Слышишь?.. дети вопиют!.. А они ведь увидят царствие небесное!..

– Я поеду в Шлиссельбург, к приставу Чурмантееву! – сказал, отирая пылавшее лицо, Мирович. – Что бы ни случилось, а я проникну туда; авось что-нибудь проведаю и о бедном, забытом всеми затворнике... Генералов, вон, даже фельдмаршалов туда не пускают... ну да посмотрим – была не была...

– Эхма, стар становлюсь, а то бы и я с тобою покатыл, – произнёс Ломоносов. – Погоди, не отыщу ли какой-нибудь подходящей тебе в оном любовном деле протекции...

Ломоносов не мог оказать пособия Мировичу. Выручил последнего знакомец Григория Орлова, князь Чурмантеев, к которому тот с товарищами собирался в памятную кутёжную ночь доигрывать в карты. Этот Чурмантеев был отцом пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мирович добыл от него,

через Орлова, письмо к его сыну Юрию Андреичу, справил себе на выигранные деньги полное обмундирование, по новому прусскому образцу, нанял чухонскую тройку и поехал в Шлиссельбург. Приятель Ушаков оказал ему при этом случае другую услугу, достал ему рекомендацию к коменданту Бередникову, с племянником которого оба они служили в последнюю прусскую войну.

Шестьдесят вёрст берегом Невы, а потом лесными, глухими просёлками мелькнули незаметно. Некоторые сведения, переданные камер-лакеем Касаткиным, сильно смутили Мировича. Тот, между прочим, сказал:

– Как было не уйти барышне? За нею здесь так гонялись, что другая, не токма в Шлюшин, на край света бы ушла...

– Боюсь я за тебя, боюсь, – толковала, провожая с Ушаковым Мировича, всё узнавшая от него Филатовна.

– Но чего вы, смешно, право, боитесь?

– Да ведь я же видела, Василий, сказываю тебе, как полосовал кат на Сытном рынке – за эвтого за самого, за Иванушку, – первую статс-даму, Наталью Лопухину¹⁸⁹, а с нею

¹⁸⁹ Известное лопухинское дело было ложным. Суть его заключалась в следующем: поручик кирасирского полка, курляндец Бергер, человек низкой души, получил приказ сменить офицера, состоявшего при графе Левенвольде в пермской губернии, в Соликамске. Лопухина, узнав о новом назначении Бергера, просила его через сына своего по прибытии на место передать поклон арестанту. Бергер, искавший случая как-нибудь отделаться от неприятной командировки, явился к Лестоку, получил от него обещание быть оставленным в Петербурге и предал Лопухину. Никакого заговора не было, но именно так представил дело в своём доносе императрице Лесток. Красавица Лопухина пострадала по доносу, точнее

писаную красавицу Анну Бестужеву... Ой, смертный страх и вспомнить!.. Бил тройчаткой в ключья тело, рассекал в кровь спины, тянул клещой изо ртов, при всём народе, языки... Куда едешь? опомнись...

– Бог с вами, что вы, не бойтесь; не те нынче времена, – сказал Филатовне Ушаков, – вернётся с несомненным успехом, свадебку сыграем...

– Тебе всё свадьбы, шилохвост, блюдолиз! – огрызнулась Бавыкина.

Была суббота в конце четвёртой недели великого поста.

Мирович всё это хорошо помнил, так как отлучка из Петербурга ему была разрешена только до Пасхи, на первый день которой император собирался перейти в новый, оконченный постройкой Зимний дворец, и всем находившимся в столице офицерам был объявлен приказ явиться в тот день ко дворцу, на вахтпарад.

Отпустив чухонца, Мирович переночевал в Шлиссельбурге, на постоялом, побродил по городу и по берегу Ладожского озера, а когда стало смеркаться и в крепостной церкви зазвонили к вечерне, он прошёл по льду к крепости. Здесь у ворот Мирович объявил, что привёз письмо коменданту и приставу Чурмантееву. Его впустили в крепость. Он взглянул на церковь.

«Спрошу кого-нибудь из богомольцев, как лучше пройти к князю», – подумал он, всходя на паперть.

В мягком мгlistом воздухе ещё морозило, но уже слышалась близость недалёкой весны и тепла.

VI В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

Вечерня кончилась. Богомольцы стали выходить из церкви, горожане – к воротам, гарнизонные обыватели – по разным углам крепости. Мирович обратился к священнику.

– Письмо к Юрию Андреичу? – ласково спросил его плотный, рябой и белолицый, с тёмно-русой бородой, отец Исай. – От родителя, сударик, изволили доставить?

– Точно так-с; комиссия от его отца – лично отдать.

Священник пожевал губами, погладил пушистую бороду. Он был большой добряк, но лентяй невообразимый; день-деньской лежал у себя на диванчике, даже иной раз лёжа и пищу принимал от столь же ленивой, добросердечной и располневшей дочери. А когда жил он в селе, до перевода в крепость, то ни плетня, ни канав не было у его двора, сарай много лет стоял без крыши, и лошадёнки с коровой пребывали на привязи на открытом воздухе либо мыкались по соседним дворам. Его и самого звали там «поп-мытарь».

– Видите ли, как бы вам, то есть, – в раздумье произнёс отец Исай, косясь в глубь двора, – князь наш болен теперь, да и живёт он не здесь, не с нами со всеми, а в отдельном доме, за тою – вон видите – особою стенкой, за мостом... Эвось,

макушечка-то... тёмной крыши макушечка... видно вам?

Отец Исай придержал рясу на правой руке, кашлянул и указал на башню поверх высокой стены, замыкавшей особо ограждённое место в левом углу крепостного двора.

– Как же быть? – произнёс Мирович.

– Да вам очень, тово... нужно? – спросил, поглядывая мягкими, сонными глазами в лицо Мировича, священник.

– Ещё бы... затем и ехал! издалёка-с!.. дело нетерпящее... и с племянником коменданта в походе был... нельзя ли, ба-тюшка, как-нибудь?

– Вот-вот... а ведь и не удастся, не удастся, пожалуй! – сказал, опять задвигав губами, отец Исай. – И ворота скоро запрут... и всё! оно, если хотите, вольготнее у нас нынче стало... вот и я в крепости теперь, а не в городе живу... только всё ещё, ой, как строго... Из Питера прибыли?

– Из Питера...

– И будете недовольны!.. а-а? сколько ехали!.. Разве вот что-с, заверните-ка сюда... Это, вот, за комендатскими, мои келейки. Обождите; попробую, снесусь цидулочкой с князем. У нас с ним частые передачи. Его гувернёрка и моих подросточков в бурсу теперича готовит; сойдутся – чистый пинцыон... Третий месяц уже этак-то живём; прежде не то было. Отслужил службу, да и за ворота в Шлюшин... а теперь слободнее, при государе-то Петре Фёдоровиче!.. пожалуйста-с.

Священник провёл Мировича к себе, усадил его, а сам вы-

шел отправить обещанную цидулку к Чурмантееву.

– За письмом от князя пришли-с, – погодя, сказал он Ми-
ровичу.

Он отворил дверь в боковую, внутреннюю горницу. Ми-
рович вошёл туда. Там, лицом к окну, залитому блеском за-
ходящей зари, стоял княжеский посол. Мирович вздрогнул,
попятился: перед ним была Поликсена.

Отец Исай увидел, как офицер и девушка смешались, как
в лицах их изобразилось недоумение и радость и как первый
– горячо, вторая – растерянно протянули друг другу руки и
несколько мгновений молчали, глядя друг на друга.

«Вот оно что! влюблённые, сиречь, пташки! тайная встре-
ча! – подумал священник, отступив за порог и притворяя за
собою дверь. – Чего не бывает! и в нашей трущобе свет жиз-
ни взойдёт: Ревекку открывый, Исааку уневестивый... Ис-
айя, ликуй!».

– Какими судьбами? вот неожиданно! – вся вспыхнув и че-
рез мгновение побледнев, произнесла Пчёлкина, в загорелом,
сдержанном и мужественно-погрубевшем воине узна-
вая черты когда-то застенчивого, робкого и до глупости
влюблённого в неё кадета. – Откуда Бог принёс?

– Из армии, вас видеть жаждал! – ответил Мирович. – Всё
бросил, службу...

– Узнали?

– Вас-то?

Мирович не сводил тихо-радостных, сыпавших искры

глаз с Поликсены. Она, опустив руки и, по привычке, слегка склонив голову, вполоборота, с улыбкой, как бы что-то обдумывая, глядела на него.

– Нет больше вашей пастушки, – тихо сказала она, шутливо хмуря брови, – не та, не та... Не правда ли? Унесло время... Зачем приехали?

– Всё в вас то же, полноте! не изменились вы! – ответил Мирович. – Я только не выполнил завета... Не стал ни знатней, ни богаче. Только вас зато, видите, не забыл... чуть вырвался, приехал. Отчего вы не писали? отчего вдруг замолкли? Или ещё больше помучить хотели?

Поликсена усадила гостя рядом с собой, ещё раз взглянула на него, ласково улыбнулась. Он сообщил ей о письмах к Чурмантееву и к коменданту Бередникову.

– Вот как устроил, – заключил он.

– Ну, можно ли, – сказала она, – какое детство! из-за меня ехать, бросать дело. Стоило ли того! А сколько событий с нашей разлуки, сколько перемен!

– Вы так исчезли, скрылись, – продолжал Мирович, – что и след ваш замело. Верите ли, уж отчаивался, насилу вас отыскал.

– А что здесь делается, что здесь! – сказала Поликсена, указывая в окно на мрачные, внизу стемневшие, вверху кое-где ещё освещённые зарёй стены крепости. – Слышали?.. И как вас пропустили, как вы решились явиться сюда?

– Если б вы были на дне моря, в могиле, я бросился бы

к вам... Скажите, я кое-что слышал... кто вас преследовал? Назовите его... От кого вы скрылись?

– Здесь могила, – ответила Пчёлкина. – И знаете ли, слышали, кто здесь заключён?

– Знаю.

– Навеки ведь, с детства, – продолжала Поликсена. – Ребёнком заперт в четыре стены – без воздуха, света, без живого людского слова, а он теперь уж не дитя, человек!

– Да, – произнёс Мирович, – слышал я, не верилось; не приведи Господь никому другому.

Внезапная мысль мелькнула в голове Поликсены. «Отважен, смел, – подумала она, – попытаться?..»

– Вы хотели видеть Юрия Андреича? – спросила она. – Зачем?..

– Никого! вас одних хотел я видеть, вас! – прошептал Мирович. – Князь только предлог...

– И с племянником коменданта были в походе?

– При мне он был ранен, под Берлином, в отряде Хорвата, при бомбардировке Гальских ворот. Я с товарищем, Ушаковым, был и на его похоронах.

– Давайте, давайте скорее письма! – сказала, заторопившись, Поликсена. – Приходите завтра. Сегодня уж поздно. Князь болен; но с оглядкой, помните, к нам надо идти... Будьте осторожней... Есть на то особая причина.

– Какая?

– Юрий Андреич заболел, – ответила Пчёлкина, помед-

лив. – Недели две назад он сильно потревожился, испугался, как загорелось ночью в казарме той персоны. Труба, что ли, в печке лопнула, затлелась перегорodka, а там и дверь.

– Что ж, спасли узника?

– Спасли, но князь свихнул себе ногу, как выбежал на морозную лестницу ночью, спросонок. Все в этом переполохе потеряли головы. Каземат починяют теперь, переделывают.

– А куда же дели, на время перестройки, принца?

Пчёлкина опять замолчала, прислушиваясь.

– Пока стали переделывать печь и чинить дверь, князь, видите ли, – открою вам по секрету, – перевёл принца в своё помещение.

– Как? он и теперь у Чурмантеева?

– Ну да... у него... Никому князь не доверяет... Только, ради Бога, молчите про это. Никому не скажете? Даёте слово?

– И вы видели принца? видели? – спросил, задыхаясь, Минович.

«Как ему ответить? что сказать?» – подумала Пчёлкина.

– Да... то есть нет, – ответила она, – разумеется, не видела... видеть нельзя... Но если бы и случилось, вам что из того?

– Как? принца Иоанна? При таких строгостях?

– Да, было бы чудо, не правда ли? – произнесла Пчёлкина. – Комендант, всем известно, строгий-престрогий, одна форма, машина, не допустил бы принца перейти к князю.

Только сам он, понимаете ли, виновен в этой печи; ну и боится, что чуть не удушили принца... Не слышь караульный дыма из сеней – всё бы пропало... Теперь же молчит главный начальник, молчат и остальные.

– Чем же тут виноват Бередников?

– Князь и его помощники неоднократно репортовали коменданту, что нужны починки в том помещении, пророчили беду... По статуту, князь тоже должен был донести в Питер, что комендант его не слушает; и его, стало, есть доля ответа в этом.

– Где же помещается у князя принц?

– Нашего дома отсюда не видно, – ответила Поликсена, – он в два этажа, в том вон дворе, за стеной. Вверху мы помещаемся, внизу – караульные. У нас семь комнат... Принц... ах, нет... даёте ли слово молчать?

– Клянусь...

– Принц заперт в дальней, под замком; там и окно с решёткой. Один ход от арестанта к нам, другой наружу, к кухне, где часовой. С той стороны комнату ему чистят; от нас носят пищу. И ключи от дверей у князя.

– Кто же носит пищу принцу?

– Сам князь, – ответила, подумав, Поликсена.

– Но он болен, вы говорите; как он может прислуживать? Глаза Пчёлкиной сверкнули досадой.

– Сам, говорю, через силу подаёт, кому ж больше? – ответила она недовольно. – Хоть трудно, однако других не пус-

кает.

– А помощники князя? их, слышно, двое...

– Да... но принц давно не выносит их присутствия. Больно уж они его обижали, при прежних старших приставах. Знаете, какие строгости предписаны? Буде кто отважился бы освободить арестанта, живого в руки не велено его отдавать... А за непорядки и противности приставу, дозволено сажать его на цепь пока не усмирится, а то бить палкою и плетью.

– Страшно! – сказал Мирович.

– Уходите, Василий Яковлич, до завтра. Но, ради всего святого, о слышанном от меня ни слова. Ещё наговоримся... И, может быть, вы... или кто другой... мало ли... впрочем, это после... Да вот ещё – не забудьте попросить князя и Бердникова о разрешении нам и впредь видеться... До свидания.

Мирович припал к протянутой ему руке.

«Ну, целуются! – подумал подошедший в то время к двери отец Исай. – Дело идёт на лад... На Фоминой, пожалуй, и свадьбу сыграем... Вот они, новые-то времена!.. Уневестивый Исааку, открывый Ревекку...»

Наутро Мирович явился к князю Чурмантееву. Он не показал вида, что знает, какая особа теперь гостила у него. Подготовленный Пчёлкиной, больной – хотя и был в постели – принял Мировича отменно ласково. Он сказал, что ушиб но-

гу на ледяной горке, устроенной о масляной для его девочек. Благодарил Мировича за вести об отце и долго его расспрашивал о племяннике коменданта.

– Рад будет старик услышать от вас... А пока вот наша общая опекунша и утешительница, – сказал Чурмантеев, обратясь к Пчёлкиной. – И сирот, моих девочек, досматривает, и меня, больного. Только недолго теперь, видно, быть ей с нами! Улетит сера утушка за сизым селезнем, – прибавил князь, подмигивая гостю.

Поликсена его не слушала. Мысли её были далеко.

«И здесь, чародейка, всех пленила и обворожила!» – тревожно подумал Мирович. Он встал и обратился к приставу с просьбой о дозволении продолжать ему визиты. Чурмантеев потёр переносицу.

– А комендант? – сказал он в раздумье. – Разве вот что, сударь, – не играете ли в шахматы? Наш старик великий охотник.

– Игрывал, да уж давно, – ответил Мирович, – разве для развлечения.

– И отлично, снесёмся, – решил пристав, – зайдите к нашему шефу, окажите решпект¹⁹⁰. Не снимут, чай, головы за то, что жених... извините, что так говорю... ну, влюблённый Адонис станет к своей Филомеле хаживать, хоть бы и в такой, прости господи, гробовой трущобе, как наша... Не те времена... У меня не дозволит видеться, у него самого про-

¹⁹⁰ Решпект – уважение.

сите встречаться...

В качестве искателя руки Поликсены, хотя и не помолвленному с ней, Мировичу были разрешены посещения крепости. Комендант принял его холоднее и суше, чем Чурмантеев. Но, когда в следующий вечер Мирович проиграл ему несколько новеньких рублей с портретом Петра III, дело и тут устроилось.

– Юрий Андреич просит за вас, – сказал с важностью Бередников. – Любовные, сударь, резоны извинительны. А просит, то пусть за вас и отвечает. Не крадёте, впрочем, невесту – сама идёт за вас... Приходя к князю, не забывайте и нас.

– А что, государынька, теперь, небось, и веселее стали? – спросил Чурмантеев Поликсену. – Эх-эх, опоздал я... Дай вам Бог, дай... Я же паче всего теперь надеюсь на вашу скромность... С молодым человеком о чувствах можете, а о прочем-с ни гугу. Понимаете?

Пчёлкина всеми святыми клялась не выдавать тайны. Она между тем была далеко не по себе: провела без сна несколько ночей, плакала и томилась, не помня себя.

Гарнизон к Мировичу вскоре пригляделся. Часовые у ворот крепости и у входа в особый двор, где помещался главный пристав, пропускали его беспрепятственно. Василий Яковлич заходил к коменданту, беседовал с ним, играл в шахматы, потом к Чурмантееву, и оставался у последнего нередко до позднего вечера. В разговорах с Поликсеной и с князем он с невольным трепетом приглядывался к стенам,

прислушивался к мирной домашней хлопотне, не мелькнёт ли хоть некое веяние того, кто, как он знал, был где-то в одной из этих самых комнат, под одною с ним кровлей, дышал одним с ним воздухом.

Ничего не примечалось. Стены были немы либо оглашались смехом и беганьем девочек Чурмантеева, комнаты которых были, как угадывал Мирович, смежны с временной тюрьмой узника. Он даже разглядел в глубине детских покоев перегородку с наглухо запертою дверью. За нею, очевидно, и был ход к арестанту.

Поликсена, в хорошую погоду, брала своих питомиц и, сопровождении Мировича, выходила с ними в церковный сад либо за стены крепости. Девочки резвились, играли. Мирович вёл нескончаемые речи о прошлом, о корпусе, о походе, строил планы о будущем, перебирал в уме, как и когда ему приступить к концу, просить о помолвке и о назначении срока свадьбы. Поликсена слушала его с раздражением, с тайною болью в сердце. Ей было и жаль его, и досадно, жутко думать, что не тем были заняты её мысли.

«А тот бедняк, тот застенщик, сидит, и никто о нём не помышляет!» – говорила она себе, рассеянно внимая речам Мировича.

Было решено: едва Чурмантеев переведёт в прежнее помещение вверенного ему затворника и оправится в своём здоровье, Поликсена уедет в Петербург, остановится у Птицыных и оттуда на своё место, к детям Чурмантеева, вышлет

другую няню.

– А тогда и свадьба, не правда ли? – спрашивал, взгляды-
ваясь в неё, Мирович.

– Не уйдёт от нас, – отвечала она. – Больше ждали, ещё
пождём... Не в том дело. Ах, поймите же, не в том...

– Да в чём же? – спрашивал Мирович.

– Испытать вас хочу, что вы за человек...

– Пытайте, налагайте искус, да тяжелее, поскорей.

– Нет, о нет! в другой раз... время идёт, будьте готовы...

– Когда же?

– Увидите; будьте только готовы...

«Что у неё на уме?» – терялся в догадках Мирович. Чурмантеев обратился к Пчёлкиной с просьбой.

– Вы отходите от нас, – сказал он ей наедине. – Что делать. Судьбы закон! помоги вам Бог. Но, пока вы здесь, мне хотелось бы, чтобы мои девочки при вас отговели, а чтоб их шалости и беготни вконец не досаждали принцу, начните, Поликсена Ивановна, хоть нынче.

Пчёлкина стала водить своих воспитанниц утром и вечером в церковь.

Мирович в её отсутствие не удалялся от ширмы, за которою лежал в постели больной Чурмантеев. Он рассказывал князю о виденном и слышанном в чужих краях, перевязывал ему больную ногу, подавал лекарства, а когда Чурмантеев в томившей его лихорадке страдал бессонницей, читал ему любимую книгу покойной жены князя, купленный ею гам-

бургский перевод на немецкий язык «Робинзона Крузо».

Раз, – то было на второй неделе пребывания Мировича в Шлиссельбурге, – пришёл он, по просьбе Чурмантеева, перед вечером из города в крепость. Пчёлкина напоила больного и гостя сбитнем, взяла из-под подушки князя связку ключей, куда-то отнесла закрытый, с закуской поднос, шёлкнула в дальней комнате ключом, помедлила, снова возвратилась и, положив ключи обратно под подушку князя, ушла с девочками в церковь. Там после всенощной они и их старуха нянька должны были в тот вечер исповедоваться. Чурмантеев остался с гостем, к которому за это время он невольно привязался.

Мирович раскрыл «Робинзона», прочёл с десятков-другой страниц, и когда дошёл до того места, где Робинзон от людоедов спасает отца Пятницы, – из-за ширмы больного раздался тихий, а потом более и более явственный храп. Мучимый долгою бессонницей, Чурмантеев на этот раз крепко и сладко заснул. «Ну, пусть себе спит!» – решил, понижая голос, Мирович. Он закрыл книгу, свечку перенёс на другой бок ширмы, сам плотнее пригнезвился в кресле, задумался и тоже стал дремать. «Кризис болезни, – мыслил он, – скоро встанет... Но какой искус на меня хочет наложить Поликсена? Куда её мысли глядят? Себя не пожалею, а уж всё, что скажет, сделаю...»

Долго ли, нет ли, сидел так, рассуждал и дремал Мирович, он этого не помнил. Но вдруг он проснулся и стал прислу-

шиваться.

Ему где-то, в дальних комнатах, явственно послышался скрип перегородки или двери и лёгкий шорох шагов. Точно как бы кто двинул мебелью, пошёл и остановился. Сперва он подумал, что ему так померещилось, а потом, что звуки те шли снаружи, с крыльца, – из нижнего яруса дома... Шорох шагов затих, но опять возобновился.

«Няня, видно, – подумал Мирович, – прошла мимо меня, постлала детям постели и теперь идёт восвояси... Так нет, и она отправилась ко всенощной...»

Дверь из ближайшей комнаты медленно, беззвучно полукоткрылась. На её пороге обозначилась фигура человека, Мирович прикрыл глаза ладонью, взглянул от ширмы на эту фигуру и остолбенел. Волосы невольно шевельнулись на его голове...

В дверях со свечой в исхудалой бледной руке стоял сухощавый, футов шести ростом, с длинным прямым носом и выдающейся большою нижнею челюстью молодой человек. У него были большие светло-голубые глаза, каштановая, чуть пробивавшаяся клином борода и длинные, как у монаха, до плеч спадавшие белокурые пушистые волосы. На нём были – старая, заношенная, нараспашку, матросская куртка, грубая белая посконная рубаха, синие холщовые полосатые шаровары и на босу ногу башмаки. Поразительно белый и нежный цвет его лица показывал, что солнце никогда не роняет на него своих лучей. Вид его был, как у некоторых

схимников-постников, важно величавый и вместе кроткий. Блуждающий, робкий и пытливый, как у дикаря, взгляд был напряжённо устремлён вперёд. Полуоткрытые, детски недоумевающие бледные губы что-то шептали. Завидя незнакомого офицера, он несколько мгновений помедлил, отступил обратно в соседнюю комнату и продолжал оттуда пристально, несмело смотреть.

«Неужели? – молнией пробежало в голове у Мировича. – Неужели это он, царственный узник, – он – двадцать лет томившийся в тюрьме под замком? И как он вышел? непостижимо! Отопнул, взломал задвижку? перелез через перегородку? или Поликсена, второпях, забыла запереть дверь?».

– Подойдите! – раздался тихий, странно звенящий, раздиравший душу шёпот. – О, умоляю! господин офицер, сюда...

Мирович подумал: «Поликсена!.. ей, бедной, придётся ответить за всё!» – взглянул на спящего Чурмантеева, быстро встал и, не помня себя от смущения и страха, на цыпочках шагнул в раскрытую дверь.

– Я дух! бесплотный! – шептал, озираясь, узник. – Святой Григорий, – не бойтесь...

Сказал и замолчал, взглядываясь в Мировича.

– Я душа принца Иоанна, – продолжал он, – меня взаперти... О! спасите! Где та ласковая?..

– Кто, ваше... величество? – не спуская с него глаз, проговорил Мирович.

– Та... женщина... тоненькая, – не знаю, как звать... свя-

тая Евфразия...

«Бредит... или сошёл с ума! – пробежало в мыслях Мировича. – И как заикается – едва его разберёшь, – родная, знать, черта в его фамилии...»

– Какая Евфразия? – спросил, не двигаясь с места, Мирович.

– Да девушка та... золотые волосы... пахнут ладаном, что ли... няня при детях этого!.. позови её, батюшка офицер...

Мирович молча глядел на колодника.

– Какого вы чина, извините, несведом, – продолжал, жалко торопясь и заикаясь, узник. – Сна нет, все такие сны... всё ей, всё, когда вырвусь отсель...

«Что слышу, влюбился в Поликсену! – замирая от нового страха, подумал Мирович. – Так вот что... она проникала к нему и скрыла от меня...»

– Её нет... что вам угодно?

– Она новую книжку обещала, книжечку... листки...

– Какую?

Принц медлил ответом. Недоверие, боязнь изобразились на его лице.

– Не бойтесь, – продолжал Мирович, – какие книги она вам приносила? Может, и я достану... ей передам...

– Летописец краткий... родословие царей... опять же...

Арестант остановился опять, боязливо поглядывая на незнакомца.

«Неужели книги Ломоносова? – подумал Мирович. – Вот

судьба – ожидал ли того Михайло Васильич?».

– Про царей там, – продолжал узник, – про Петра и его брата, моего прадеда, царя Ивана...

Волнение более и более охватывало Мировича.

– Я вам все, какие угодно, – сказал он.

– В Маргарите Златоустого сказано, как погубили крестителя Иоанна... Я ведь, сударь, тоже Иоанн, и меня Иродиада с Фридрихом со света гонит...

– Какая Иродиада?

– Читали вы про злющую? читали? – спросил, с силой ухватя за руку Мировича, узник. – О! паки Иродиада бесится и пляшет, требует главы!

Арестант замолчал. Глаза его сверкали бешенством, ужасом и отчаянием. Губы судорожно вздрагивали.

– Скажите, – вдруг произнёс он, улыбнувшись, – верно, рыжей-то нет уже на свете?

– Кого?

– Да Петровны, сударь... царицы Лизаветы! – продолжал он. – Не един убо зверь подобен жене злей... Змеи и аспиды в пустыне убояшася; Иродиада же на обеде его усече...

Далее трудно было разобрать арестанта. Глаза его были широко раскрыты, губы, покрытые пеной, шептали бессвязные слова.

– Государыня скончалась, – ответил Мирович, – и притом, сударь, это была великого сердца монархиня.

– Так померла? Иродиады нет боле на свете? – чуть не

выронив свечи, вскрикнул арестант.

Грудь его тяжело, порывисто дышала. Он не спускал глаз с Мировича.

– Кто же ноне в моём дворце? – спросил Иванушка.

– Новый государь.

– Кто?

– Пётр Фёдорыч.

– Так... Вольней быдто стало. Добрый он? Будет прибавка провизии? или останется две полтины на обед и на всё?

– Нет сомнения, о вас вспомнят, – сказал Мирович.

– Мучители, подло, – продолжал затворник. – Нет сердца у жён... Никого же, бесстудная, не щадит, ни левиты стыдится... ни священника чтит...

– Откройте, – прибавил он, помолчав и с трудом подыскивая слова, – какой он из себя, этот новый царь?

Мирович вынул из кармана и подал принцу новый рублёвик, с портретом Петра Фёдорыча. Тот жадно схватил его, поднёс к свече и долго пристально на него смотрел.

– Силы, силы Давида! – шептал Иванушка, путаясь в словах и задыхаясь. – Слышите убо людие, виждь Господи... невинен погребён...

Мирович опять не разобрал некоторых слов принца.

– Ваше благородие, вы не здешний, помогите! – вдруг обратился к нему узник.

– В чём, государь?

– Уйти отсюда можно... по галерее в окно, – зашептал арестант.

стант, – пилку мне, пилку; решётка, катер на озере... на берегу б лошадей... Лесом, горами!.. горы за озером видны...

– Сударь! мне вас жаль, вот как жаль! – душимый слезами, проговорил Мирович. – Но я присягал императору Петру Фёдоровичу... изменником быть не желаю...

– Вы читаете, верно, умеете и писать, – продолжал Мирович, – напишите вашему дяде-императору. Голову отсекут, а уж я ему ваше письмо доставлю. И если когда-нибудь, – сорвалось вдруг от сердца у Мировича, – если вы и после того будете так же угнетаемы и несчастны, дайте мне знать... я явлюсь к вам... положу за вас жизнь...

Принц Иоанн, с удивлением и детскою радостью глядя на Мировича, робко протянул ему руку, тронул его за плечо.

– Спасибо, – прошептал он, – они подлю, а за вас молиться буду...

– Чернил и пера не достанете, – продолжал Мирович, вынув записную книжку, – вот вам клочок бумаги и карандаш... Выбросьте цидулку в окно... в форточку... Всё откровенно изложите государю... Он добрый; лично не отзовется, вспомнит через других... Умеете писать? два слова!..

Мирович не кончил. Сзади его послышался заглушённый возглас, торопливые шаги. Он оглянулся: то была Поликсена.

– Безумцы! Что вы наделали? Скорее, скорей! – проговорила она, схватив за руку принца и увлекая его обратно в его комнату. – Спешите; дети раздеваются, войдут сюда с няней,

и мы пропали...

Через мгновение дверь Иоанна Антоновича была опять замкнута на задвижку. Пчёлкина бережно, мимо спящего Чурмантеева, вывела Мировича на крыльцо, возвратилась к ширме, вновь убедилась, что больной ещё не просыпался, взяла у него из-под подушки ключи, заперла дверь к принцу на замок, уложила детей спать, погасила свечу и, горько, нервно рыдая, упала лицом в подушку.

В следующее утро Мирович явился к Чурмантееву пасмурный, терзаемый ревностью, сомнениями, догадками. «Так вот в чём дело! – рассуждал он. – Но какая причина заставила её утаить от меня правду? Что у неё на уме? Та же сатанинская гордость, безумие? Или судьба несчастного так её тронула, потрясла, что она сама невольно стала к нему неравнодушна? Мудрёного нет – сколько было примеров, жёны, дочери тюремщиков влюблялись в заключённых... отдавались им, бежали или гибли с ними».

– Так вы виделись с узником? – угрюмо спросил Мирович Поликсену.

– Виделась... Ну, и что ж из того? Надо было помочь князю. Никому не обязана отчётом...

– Но зачем же вы скрыли от меня? Ужли не доверяли?

– Ах, полноте... какое детство!.. Дело ясно... Неужто не догадались? Не моя ведь это тайна... А досталась она вам мимо меня, берегите её свято... Шутить с огнём опасно. Знаете, чем грозит здешний статут? Вы же притом военный; с

вас взыщется строже.

– Знаю, знаю, – а вы всё-таки не доверили мне! Это обидно... Чем я заслужил?.. Я ли вызывался выполнить всякий ваш искуc, наказ?

Поликсена пересилила себя. Ласковой кошечкой приникла она к Мировичу, взяла его за руку, взглянула ему в глаза с доверчивой детской улыбкой.

– О! много ещё испытаний впереди! – сказала она. – Друг мой... вы не знаете меня! Жизнь перед вами целая, – мало ли... всё ещё, всего можно ждать... А он-то, он! в том же заточении, в той же могиле ведь останется... и никто, никто не придёт ему на помощь, не облегчит его судьбы.

Искренние слёзы хлынули и не дали кончить Поликсене... Она плакала, не отрывая головы от плеча Мировича и как бы не чувствуя, как тот осыпал эту полную загадок, гордую и чуткую к бедствиям ближнего голову жаркими, давно сдержанными поцелуями.

К концу пятой недели поста каземат Иоанна Антоновича был оправлен. Нога Чурмантеева также настолько поджила, что он мог подняться без костылей и ночью, под своим надзором, перевёл арестанта Безымянного в его прежнюю казарму, в среднем этаже Светличной башни.

Мирович торопил Поликсену к отъезду, а сам с сердитой тревогой поглядывал на окна башни и всё поджидал, не выкинет ли принц Иоанн в форточку или не перешлёт ли ему каким-либо способом письма к государю? Ему вспомнилось,

как он когда-то спас утопавшую, слабую собачонку. «Спасу и его», – повторял он себе.

Прошло ещё несколько дней. Форточка в каземате арестанта была наглухо заперта, и никто письма от него Мировичу не приносил. Попытался было Василий Яковлевич спросить Поликсену, была ли она при переводе принца от Чурмантеева и в каком настроении оказался при этом узник, что говорил и на кого и на что надеялся? Поликсена жаловалась, что арестанта переместили в ночное время и в таком секрете, что она о том узнала лишь на другой день.

Отъезд Пчёлкиной в Петербург был условлен в конце страстной недели. В исходе пятой она пригласила Мировича на совещание к священнику. Они остались вдвоём.

– Виновата я перед вами, Василий Яковлевич, – сказала она, в смущении опустив голову, – столько заставляла вас тревожиться, ждать; объявляла, простите, – в то время, – невозможные детские условия. Теперь я вижу всё ясно... Я вас оценила, я верю вам...

Мировича подхватили эти слова, унесли на седьмое небо. Его бросало то в холод, то в жар. Он жадно слушал.

– Но я забыла, – продолжала, ещё ниже склоняясь лицом, Поликсена, – скажу вам откровенно... я упустила из виду главное, именно свои собственные к вам обязанности. Если б случилось... Ну, положим, если б всё было кончено... скажите, что принесу я вам сама? Ведь я сирота – чай, знаете, без роду, без племени... Я бедна... притом мои привычки,

мой несдержанный, строптивый нрав...

– Не думайте о том, скажите слово, будьте моею, и ничего нам больше не надо.

– Нет, нет! не говорите так... Я от вас тогда в шутку требовала; теперь, не шутя, требую того же от себя... Жизнь – ведь это тернистый путь; я узнала... Слушайте.

Она обернулась, под села ближе к Мировичу.

– Я выросла при дворе, – продолжала она, – сколько лет служила покойной государыне. И мною были довольны. Не оставят меня и теперь, авось, ни при чём. Так вот что я придумала, вот моё решение... Доверяю вам эту мою тайну.

Она остановилась, подумала.

– Поезжайте в Петербург, немедленно, завтра, даже сегодня, и опустите в ящик, что у дворца, вот это моё письмо.

Поликсена вынула из-под лифа запечатанный и обёрнутый в бумагу пакет.

– На имя государя? – удивился, взглянув на надпись, Мирович.

– Да... государь сам отмыкает тот ящик и прочтёт это письмо. Выполнит он мою просьбу, я ваша... без того, простите, не могу... я прошу о пособии...

Мирович стал отговаривать, доказывать, что ничего подобного не нужно. Поликсена стояла на своём.

– А если ответа не будет? – спросил он. – Сколько ж опять ждать?..

– Не ответят к Пасхе – ну, в таком разе, даю слово, поедем

отсюда на Фоминой...

Мирович съездил в Петербург и опустил вручённое ему письмо в ящик у дворца.

VIII

ДВА ИМПЕРАТОРА

Было семнадцатое марта. В воздухе заметно тянуло теплом. С крыш дружно капало. Снег на солнечных пригревах таял и исчезал. Лёд вокруг крепости посинел, взбухнул и, хрустя под ногами, пророчил близкое вскрытие Невы. Из Шлиссельбурга утром шли рабочие по льду в крепость, ожидая что к вечеру на берег, быть может, придётся вернуться на вёслах. Туман далеко залёг по озеру. Но подул крепкий, порывистый ветер и стал его разгонять.

К ночи поднялась сильная, с метелью, буря. Она рвала крыши, кружила вороха падающего снега, ревела в бойницах и башнях, стучала железными ставнями и дверьми. Утром 18-го комендант Бередников и старший и младший тюремные пристава взошли на крепостную стену взглянуть на реку. Ветер стих. По вскрывшейся вокруг острова Неве плыл сплошными белыми горами лёд. Лодки перевозили уже с берега в крепость и обратно рабочий и служебный народ. На берегу, как ясно увидел в подзорную трубу Бередников, стояли два, шестериком, крытых возка. Кучка лодочников озабоченно толпилась возле них.

– Кто бы это был? – спросил в раздумье Бередников.

– Из Питера, знать, – машут...

«Уж не ревизия ли? – пронеслось в старой голове Бередникова. – Не проведали ли в столице о пожаре в тайной тюрьме? Ну да всё теперь благополучно кончено...»

– Веребьев! Надо послать катер, а пожалуй, и лишнюю шлюпку! – сказал он капралу, оправляя на себе портупею и тревожно косясь на поношенные, старой формы кафтаны – как свой, так и прочих господ офицеров.

«Видно, новенького какого опять привезли!» – со вздохом сказал себе тем временем князь Чурмантеев.

Офицеры сошли со стены. Шестнадцативёсельный катер, а за ним восьмивёсельная шлюпка, расталкивая баграми льдины, двинулись от крепости к Шлиссельбургу.

На городском берегу, прикрывая медвежьими шубами звёзды, в треуголках и собольих шапках, стояли у взмыленных шестериков неожиданные-негаданные гости: рыжий, в веснушках, лет под тридцать, любимый генерал-адъютант императора барон Карл Карлович Унгерн-Штернберг, петербургский генерал-полицмейстер, сухощавый, круглолицый, добродушный старик Николай Андреевич Корф, щеголеватый и надменный обершталмейстер Лев Александрович Нарышкин, генерал Мельгунов и, лет тридцати четырёх, среднего роста и заметно сутуловатый тайный государев секретарь, статский действительный советник Дмитрий Василье-

вич Волков. Ямщики и лодочники, глядя на Нарышкина, бывшего представительнее и выше остальных ростом, принимали его за государя. Народ, стекаясь из города, толпился в стороне и, без шапок, глазел на прибывших. Унгерн хлопотал о переправе.

В кругу пышно разряженных, важных вельмож, в небольшой, на прусский образец, треуголке, с тростью, с огромным палахом, в высоких ботфортах и в простой, без меха епанче, стоял среднего роста, вертлявый, невзрачный, плоскогрудый и сильно тронутый оспой гвардейский штаб-офицер. Круглые, сероватые глазки его были заспаны, прямой, добрый носик покраснел от ветра, не выбритый в то утро полный белый подбородок, как и простоватые, весёлые губы, то и дело вздрагивал от громкого, почти детского смеха. Он шутил с вельможами. А те, несмотря на свою важность и на его скромный вид и наряд, почтительно внимали как его шуткам, так и вообще его резкому «скоросому» – далеко слышному, с заметным акцентом и отличному от прочих голосу.

– Да знаешь ли, Дмитрий Васильич, – продолжал офицер, обращаясь к тайному государеву секретарю, Волкову, – говорят, что ты, батюшка, с этим *dass Ihr Beide mit deisen renommirten Chicaneur* – с этим надутым придирищиком Ломоносовым – прожектец составил – всех немцев из России выгнать? Правда ли то? Ха-ха! Отвечай-ка мне...

– То, ваше величество, сугубая напраслина, – покраснев и низко склоняясь, ответил Волков, – и я сему negociatorу

вольнодумцев не похлебник!..

– То-то, Васильич, берегись, – и, смеясь, скороговоркой продолжал Пётр Фёдорович, – и я тебя, каналью, за то намедни чуть не заколол... Und noch ein Punkt... и вот ещё один пункт, Васильич... Saperment! Voyons... Должен бы ты, батюшка, за это под арестом посидеть... Милости пожалуйста!.. Попроворил в газетном артикуле, про кончину покойной государыни, мою жену императрицей назвать!.. Но я помню прежние твои услуги. Сей гранд-д'эспань, господа, мне, как великому князю, копии с секретных протоколов тайной конференции выдавал... Покойной государыне изменял, мне зато верно служил... Ха-ха!.. Что, братец, выдал твои плутни? Погибнет птичка от своего язычка...

– Никогда того не было, ваше величество! – из красного став бледным и ещё ниже склоняясь, ответил Волков.

– Но, может, ты, Васильич, – не унимался трунить Пётр Фёдорович, – может, ты и моей жене теперь всё так же переносишь, как проворил и мне? Pah! s'ist mir alles Eins!.. Мне, господа, всё одно! Милости пожалуйста!.. Мадам «La Ressource»¹⁹¹ и без усердных предателей, пожалуй, всё знает... Бессердечные и хитрые женщины – те же колдовки... А вот и катер... Карл Карлыч, Лев Александрыч, герр барон! садитесь... Nun, vorwärts!..¹⁹² едем...

Унгерн, Корф и Мельгунов сели с государем в катер. На-

¹⁹¹ Надежда (фр.).

¹⁹² А теперь – вперёд!.. (нем.).

рышкин и Волков поехали вслед за ними в шлюпке.

– И такое великое хохотание постоянно! как видите! – усевшись в шлюпку, вполголоса и несколько по привычке заикаясь и в нос, воскликнул Волков. – Срамит и шпыняет при всех: не знаешь, куда и глядеть...

– А сама эта поездка? – нагнувшись к Волкову, сердито произнёс обыкновенно весёлый и беспечный Нарышкин. – Собрался, представь, как на пожар. Даже дядя принц Жорж о том не проведал. И меня взял случайно, уж садясь в возок... Что ему! Была бы корзина с кнастером да с коллекцией солдатских трубок. Надумал что, крикнет: «Vorwärts drauf los!» – и вся недолга...

– Да что же, что он надумал теперь? – допытывал Волков. – В чём тут новые конъюнктуры? И как о том не предупредили Александра Иваныча?

Волкову ясно вспомнился в эти мгновения сердитый правый глаз Александра Иваныча Шувалова, расстроенный нередко потрясавшими сценами допросов и пыток в недавно закрытой тайной канцелярии. «Как замигал бы этот глаз, – думалось Волкову, – как скривил бы и всю правую сторону лица, если б ему сказали, что государь очертя голову бросился на такое неподобающее свидание!».

– Вся сия препозиция, ясно уж видно, на какой фасон, – косясь на гребцов, презрительно ответил Нарышкин, – государь, очевидно, получил отсель, из Шлюшина, некое подмётное письмо: ну и поехал... Иванушка, вишь, сильно ему

понадобился...

– Но для чего, для чего? – продолжал допрашивать Волков.

– Дело ясное... чтоб насолить жене... Твердит одно: не знал я, каково принцу... надо, вишь, ему помочь...

– Чего ж ты на то скажешь?

– Да пустяки, – ответил Нарышкин, – дурачок ведь принц Иван, совсем умишком высох! Александр Иванович ещё недавно о нём вспоминал... А уж ему ли доподлинно не знать про то? Все репорты шли через его руки. Беспамятен, сказывает, косноязычен стал и скорбен главой... И с этой-то дурафьей ещё возиться затеяли... Один смут и толчение воды... Вот и вечер у Воронцовых пропущен – а нынче там бириби в двух салонах и граф Сен-Жермен о мёртвых обещал рассказать! – с досадой прибавил Нарышкин.

– Будет нам и с живыми немало возни! – произнёс Волков. – Подмётное письмо! Чья рука тут колобродит? и как отвратить?

«Ужли из Берлина, Фридриховы новые ходы опять? – прибавил про себя Волков. – Или здесь, поближе, искать новых затей?».

Катер и шлюпка причалили к острову. На катере шёл иной разговор.

– Боюсь, боюсь я этого свидания! не выдержу! – в искреннем волнении и страхе, шептал между тем по-русски Пётр Фёдорович Корфу. – Как хочешь, брат, а он ведь человек,

притом какой семьи!

– И я в немалом амбара, – отвечал Корф, – вёз когда-то его дитяткой в Холмогор... Но, courage, Majestat¹⁹³, смелей! являйте себе достойно ваш сан...

– Да ведь – *schlicht und recht* – по правде, не мне бы следовало на троне быть, а ему, – не унимался Пётр Фёдорович. – Как я на него посмотрю и что ему скажу?

– В таком разе, Majestat, – чопорно и важно вмешался Унгерн, – напрасно было уф... в эти места ехать...

– Напрасно, напрасно!.. двадцать лет бедный взаперти сидит... Экие вы! Но вы ещё про меня услышите...

Сойдя на плоский берег у крепости, император и его свита пошли влево к воротам. Здесь их встретил, ставший от страха хуже малого дитяти, комендант Бередников. Хотя император желал выдержать строжайшее инкогнито, Бередников сразу его узнал. Пётр Фёдорович взял у Унгерна, за собственным своим, от 17 марта, подписанием, именной на имя Бередникова указ и, приложив руку к шляпе, почтительно вручил его коменданту.

В указе было изображено:

«Имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта Унгерна и прочих с ним, когда он прикажет, высоких подателей сего монаршего повеления, к осмотру государственной Шлиссельбургской тюрьмы, а буде они того пожелают, то и к свиданию, даже без свидетелей, с известною, тамо заключён-

¹⁹³ Смелей, ваше величество! (фр. и нем.).

ной персоной. И если Унгерн прикажет Чурмантееву, с арестантом и его командою, из крепости в другое какое место по нашему соизволению выехать, то того не воспрещать».

– Это что? – спросил, ткнув тростью в тяжёлые, дубовые ворота, император. На левой половине ворот государевой башни была шведская надпись: «1649 года – 18 мая».

– Виноват, ваше... казните, как есть, забыл соскоблить!.. стереть! – заговорил, отдуваясь, весь красный, Бередников.

– Но разве такие надписи, господин комендант, стирают? – насмешливо его оглядев, произнёс император. – Эти литеры, господа, со времён шведов... Я ведь учился, маракую... По сим же плитам шестьдесят лет назад сам Пётр Великий изволил прохаживаться...

– Плиты не вынуты, так точно-с! – утирая лицо и жалобно взглянув, на свиту, сказал Бередников.

– Ещё бы вам крылечко из них помостить! – улыбнулся император. – Где арестант Безымянный? ведите нас к нему!

На дворе у церкви высоким посетителям Бередников представил князя Чурмантеева.

– Хромаете? В войне с Пруссией ранены? – нахмурясь, спросил генерал.

– Упал здесь намедни с лестницы, – ответил старший пристав.

– Зять Ольдерога, – шепнул государю Унгерн, – из Риги in der Garde¹⁹⁴ переведён...

¹⁹⁴ В гвардию (нем.).

– А, очень рад! веди же нас, сударь, – обратился император к Чурмантееву, – только и нам, батюшка, просим, ноги или руки при верной оказии не сломай. . .

Посетители обогнули церковь. Влево, по двору, вдоль крепостной куртины, шли в два яруса, с открытой галереей, тяжёлые каменные казармы внутренней стражи. Дом коменданта особняком стоял вправо, у церкви. В глубине двора, за внутренним каналом, посетителям предстояла другая, мрачная, обросшая мхом стена. Через канал вёл подъёмный мост. Против моста были ворота, и возле них стоял часовой. За стеною, как объяснил комендант, находился другой внутренний двор и там, вправо, дом старшего пристава Чурмантеева, влево – отдельная, в два решётчатых окна, двухъярусная Светличная башня, с казематом известной персоны.

– Ist aber fest zugestopft alle Wetter!¹⁹⁵ – сказал, входя в этот двор, Пётр Фёдорович. – Свету маловато, окно узко и то, saperment, заграждено снизу дровами.

Государь отозвал Чурмантеева к стороне.

– Каков темпераментом принц? – спросил он, разглядывая лицо пристава.

– Как вам доложить? – смешался Чурмантеев. – Недавно я, государь, при нём и потому. . .

– Правду, правду мне говори, – перебил Пётр Фёдорович, – по душе, откровенно als ein Soldat¹⁹⁶.

¹⁹⁵ По всякую пору закрыто наглухо! (нем.).

¹⁹⁶ По-солдатски (нем.).

– Временем робок он, уклонен, – начал пристав, – вежлив и даже стыдлив; нрава тихого, бывает же, сударь, и вот как понятлив... Как спокоен – говорит обо всём добропорядочно, толково; рассказывает Евангелием, Минеею, Прологом и книгою Маргарит¹⁹⁷; толкует, где и что в них написано...

– Но как же, tausend Teufel!.. как же твой комендант доносил, – сердито топнул ногою государь, – всё Шуваловым на угоду... Sklavisches Pack!¹⁹⁸ уверял, что принц слабоумен и вообще выглядит точно зверь лесной.

– Как не быть зверем, коли выведут из терпения, – покосившись на помощников, сказал Чурмантеев, – взбаламутит его какая прижимка – зовёт всех еретиками, шептунами, сам плачет, говорит немо, невнятно и так от смуты косноязычит, что и привычным не в силу его разуместь. Да и не всем открывает свои способности...

– Скрытен? о! я угадал!.. Den Nagel auf dem Korf getroffen¹⁹⁹, гвоздём в центр попал. Ну, а когда тих?

– В тихости весело и кротко так смеётся, – продолжал Чурмантеев, – и – дерзаю доложить – на приклад даже становится забавен... весел, надеется на всё и прыгает, аки малый ребёнок... а то строит рожи...

– Кто его здесь дразнит? Говори, – поглядев вокруг, произнёс государь.

¹⁹⁷ Духовные книги, весьма популярные на Руси.

¹⁹⁸ Рабская сволочь! (нем.).

¹⁹⁹ Буквально: «Попал по шляпке гвоздя» (нем.).

Он достал из камзола инбирную карамельку и, с целью отбить изжогу минувшей бессонной ночи, опустил её в рот.

– Не усмотришь за всеми, больше солдаты с галереи, – сказал Чурмантеев, – а бывает, кто и выше... Ну, и не стерпит... Горд притом и любит, чтоб был во всём порядок... Неуч иной часовой, у его дверей, ночью начнёт вертеться, ногу об ногу чесать либо громко кашляет, ружьём невежливо стукнет – принц тотчас осерчает, жалуется мне утром, смеет ли грубиян, тот солдат, так его обижать? Я-де, говорит, вот как его уйму... И в ту пору вновь старается доказать, какова он для всех высокая, важная персона...

– И что ж ты ему на это? – спросил Пётр Фёдорович.

– Говорю: «Полноте, сударь: всё то враньё! И лучше вам такой пустоши о себе не думать и впредь не врать...» Куда! Весь почернеет от гнева, клянётся, дрожит... Звери вы, говорит, колдуны и еретики! Мучите меня, и Господь вас за невинного страдальца разразит и прах ваш по ветру развеет...

«Так, так! наклеветал Шувалов! – подумал государь. – В письме истина поведена...»

Он подошёл к башне. Из-за дома пристава выбежала с саночками девочка, за нею другая. Увидев неожиданных гостей, они в испуге остановились и бросились к крыльцу, у которого ни жива ни мертва стояла Поликсена.

– Ба-ба-ба! Это что? – воскликнул государь. – Юные милые создания и с ними комендантшей фея, прекрасное су-

щество!.. В таких ужасных местах!

– Мои дети и их бонна, – пояснил князь Чурмантеев.

Пётр Фёдорович взглянул пристальнее. Он узнал Пчёлкину и ласково, рассеянно ей поклонился.

«Боже, неужели всё это через меня?» – замирала тем временем, боясь поднять глаза, Поликсена.

По стоптанным, белокаменным ступеням внутренней лестницы гости вошли налево, в тесные сени государственной тюрьмы. Чурмантеев вынул из кармана большой чёрный ключ, отомкнул им низенькую, чёрную, окованную железом дверь, ввёл гостей в другие сени, отворил из них новую дверь, прямо, и отступил. Свита также посторонилась. Унгерн первый вошёл в каземат Ивана Антоновича, за ним, сбросив верхние одежды, государь, Волков, Корф и остальные.

Каземат принца Иоанна был аршин в десять длины и в пять ширины. Мрачные подновлённые его стены были со сводом. Узкое, с толстыми решётками окно, вправо, невысоко от пола, выходило на галерею. Влево от входа стояла большая, из зелёных кафлей печь, с топкою из сеней. Поперёк всей комнаты шла тёсовая ширма. За ширмой помещалась постель. Возле окна – стол; у стола скамья. Дрова скрадывали свет, и без того слабо падавший в комнату.

– И только? Oh uber das Elend!²⁰⁰ какой ужас! гроб, а не жильё! – сказал вполголоса Пётр Фёдорович Унгерну. –

²⁰⁰ Какая нищета (нем.).

Душно и темно... А Шувалов как расписывал! Nichts als Lug und Trug!...²⁰¹ Ненавидую гнусные интриги, обман... Но где же он в этом каменном мешке?

– За ширмой, – ответил Чурмантеев, – он по статуту... думает, что пришли его комнату убирать... Запрещено его видеть даже слугам...

– Зовите его, – негромко сказал, не сходя с своего места, государь.

Чурмантеев кликнул арестанта. Иван Антонович вышел из-за ширмы. Вид блестящей государевой свиты его ослепил. Он зашатался, чуть не упал и, озираясь, как пойманный жалкий зверёк, смешным и неловким движением попятился назад за перегородку.

– Не опасайтесь, сударь! – с напускной смелостью, дрогнувшим голосом сказал Пётр Фёдорович. – Я к вам послом... от самого государя. Подойдите ближе: смелей... вот так... Ну!.. скажите, что-нибудь вам в этих местах недостаёт?.. Скажите! Ваши слова примут не иначе, как с должным вниманием.

Иванушка бросил беглый взгляд на узкоплечего, плоскогрудого, невзрачного и рябого офицера, в белом, с бирюзовыми обшлагами, кафтане, с доброй улыбкой и грубо-капральской выправкой, стоявшего впереди других. Что-то странное, что-то хватавшее и уносившее куда-то далеко отозвалось, заговорило в душе узника. «Где-то видел, ви-

²⁰¹ Ничего, кроме лжи и обмана! (нем.).

дел... но где?..» – обливаясь кровью, шептало ему бедное, робко бившееся сердце. Он ступил шаг вперёд, протянул руки.

– О-о, – начал он, не спуская глаз с Петра, – я... я...

Он упал пред ним на колени.

– Встаньте, принц! – с рыцарскою вежливостью, тронув его лосиной перчаткой по плечу, сказал Пётр Фёдорович. – Будьте добры, кураж! я облегчу... я попрошу государя... облегчить и улучшить вашу участь... Я близок к нему; меня он слушает. Просите, что вам нужно?

Лицо узника страшно побледнело; губы исказились от усилий проронить слово. Речь отказывалась ему служить.

Язык коснел. Кровь молотом стучала в голову. Он, озираясь на всех, не вставал.

– Просите, просите милостей! – шептали стоявшие вокруг.

– Я не тот, за кого... Душно! – проговорил узник. – Тут вообще душно – воздуху нетути... – продолжал он скороговоркой, сдерживая рукой дрожавший, как в лихорадке, подбородок. – Повидать бы небушко... зелень тоже... походить бы на земле, по цветам!.. от всего за то, всё отдам... Я их прошу, а они... подлю...

Он не мог говорить далее, робел и дико на всех смотрел.

– Кто вы? – спросил, поднимая его, государь.

Принц медлил ответом.

– Кто вы и как сюда попали? – ласково повторил, улыба-

ясь, Пётр Фёдорович.

Арестант вздрогнул, вытянулся, стал шептать.

– Я... император, – точно сорвавшись, проговорил он громко. – Божиею милостью... ну, Иоанн Третий, император... царь!

– Кто тебе сказал, что ты император? – нахмурясь и брякнув палашом, спросил Пётр Фёдорович.

– Я не тот, за кого! – ответил, боязливо попятившись, узник. – Да, да! Иоанн давно помер, взят на небо. Я видел его – он здесь, во мне...

– Кто тебя уверил, что ты государь? – спокойнее повторил Пётр Фёдорович.

– Кто сказал? стойте – вспомнил!.. Учитель сказал... потом караульный...

– Император не сидел бы в таком месте, притом в бороде... – произнёс Пётр Фёдорович.

– Меня заперли. Но... я лучше их... чистый дух, – а они злюки, еретики.

– Что вы помните о детстве, о прошлых годах? – спросил государь.

– Где помнить! Голова темна, тошнѣхонько...

– Однако же поведайте, что вспомнятовано будет.

– Всё мучили... Был я вот какой ребёнок, махотка-детка. Разлучили с матерью, отцом... Живы ли, не знаю...

– Ну, ну...

– Стали звать меня Гришкой, – ты не царь, а колодник!

Отдали в руки аспидов, колдунов. Да, да... колдуны... У них дым изо рта... И начали возить из крепости в крепость. И вот теперь Иванушкин дворец...

Узник смолк. Окружавшие молча на него смотрели.

– Все ли приставленные к вам были злые люди? Не было ли меж них и добрых? – спросил государь.

– Было двое... Один – старик с женой! В Холмогорах выучил молитвам, письму... Другой – помоложе... да, совсем молодой...

– Ну, и что ж этот другой? Не бойтесь, говорите...

– Он меня, ребёнка, махотку, провожал от матери и всю дорогу, всю, как это ехали, во как ласкал, жалел и плакал.

– А потом?

– Как приехали это к морю, давал этот-то молодой бегать по берегу, в саду; сад большущий, пахло так – цветы... и от монахов приносил игрушки...

– Где ж он теперь? – спросил Пётр Фёдорович.

– Видно, помер, снится всё... В книгах написано... оскудеша... излился слава во прах...

«Начётчик, всё по-словенски!» – подумал государь.

– Помните ли вы имена этих людей? – спросил Пётр Фёдорович.

Лицо арестанта опять исказилось, выражая ужас и волнение. «Он, он! – звучало у него где-то на дне души. – Он... Не во сне ль его я видел?».

Иванушка хотел говорить и не мог.

– Courage, prince, courage!²⁰² я вас слушаю! – обратился к нему государь.

– Первого звали... постойте... ох, забыл...

– А второго?

– Второго... Вспомнил... Корф, да, Корф.

Государь оглянулся. Николай Андреевич Корф, усиливаясь что-то достать из заднего кармана, кривился и хмурился, всячески удерживаясь, чтоб не заплакать. Слезы между тем катились по его вздрагивавшим, морщинистым щекам.

– Merkwürdig, Majestat, o! fabulos!²⁰³ – громко сморкаясь, крикнул он в платок.

Государь был искренне, глубоко тронут. Обыкновенно беспечный Нарышкин стоял сердитый и опешенный. Мельгунов и Волков угрюмо смотрели в землю.

«Не малоумный, не дурафья, чёрт возьми», – думали они. Унгерн не спускал растерянных глаз с государя.

– Бедный, жаль мне тебя, – сорвалось чуть слышно с языка Петра Фёдоровича, – видите, барон, добрые-то дела?..

Он хотел ещё что-то сказать, но и его круглые, выпуклые глазки замигали. Он странно, по-детски всхлипнул, повернулся и, гремя шпорами и палашом, неуклюже пошёл вон из комнаты.

– Государь! О, государь! – закричал вдруг, кинувшись за ним сквозь толпу окружавших, Иван Антонович.

²⁰² Смелее, принц, смелее! (фр.).

²⁰³ Удивительная история, ваше величество! (нем.).

– Как знаешь ты, что я государь? – спросил, обернувшись к нему, Пётр Фёдорович. – Измена! предупредили? – продолжал он, с гневом взглянув на окружавших.

– По портрету! – объяснил Иван Антонович. – Монета!.. вот, вот!.. это ты... Мы одной крови... ты дядя мне и ты брат по престолу... Брат! помоги... Брат! Освободи... в глушь, в Сибирь... только волю...

Пётр Фёдорович остолбенел.

Было мгновение – император царствующий был готов броситься в объятия императора-узника.

– Я подумаю... готов!.. О, я свет удивлю! – искренне воскликнул Пётр Фёдорович. – Мучители, бандиты человечества! Истины не упрячешь, сквозь щели тюрьмы, сквозь крышку гроба: везде она пробьётся.

– Николай Андреич, Дмитрий Васильич, – обернулся он, – и вы, господа гарнизонный караул, на пару слов. Ласкаюсь надеждой – взять резонабельных мер...

Он с облегчённым сердцем быстро вышел из каземата во двор. Следом за ним вышли Корф, Нарышкин, Волков и тюремное начальство. С принцем остался один Унгерн.

– Проклятый Фридрих, змей, сатана! – завопил, стуча себе в грудь, Иван Антонович. – Это он, через него...

– Что ты, батюшка, ш-ш! – зашипел на него Унгерн. – Да Пётр-то Фёдорович молится на него... Герр готт!²⁰⁴. А ты ручку лучше его величеству поцелуй, в ножки поклонись да

²⁰⁴ Господь Бог! (нем.)

проси его, проси...

Иван Антонович бросился на колени перед тёмным, старого письма образом Спаса. Длинные, светло-русые волосы его падали на холодный пол при каждом его поклоне. Он крестился большим крестом и торопливо шептал горячие, несвязные молитвы.

IX ОРАНЖЕВЫЙ ВОРОТНИК

Пётр Фёдорович мерными шагами ходил, взволнованный, перед башней. Рядом, прихрамывая и стараясь попадать с ним в ногу, ходил старший тюремный пристав, князь Чурмантеев. Нарышкин и Волков, перешёптываясь, стояли здесь же во дворе, за дровами; Унгерн и Корф – в глубине площадки, у ворот.

На коменданта государь осерчал при выходе из каземата и прогнал его за ворота. Там, у входа на мост, робко жались младшие тюремные пристава, Власьев и Чекин, и прочие гарнизонные офицеры. Далее, у церкви, стояли – подоспевшая посадская полиция, священник крепости и кое-кто из семейств офицеров и именитых горожан.

Между последними был и Мирович. Он узнал императора ещё на берегу и, проникнув вслед за посадскими, стоял сильно озадаченный.

«Что бы это значило? – рассуждал он с лёгкой дрожью. –

Как неожиданно подъехал государь! Что как принц выдаст ему о свидании и разговоре со мной?.. Могут найти у него мою бумагу. Надо быть готовым ко всему. Могут потребовать, спрашивать. Не отрекись ни от чего... Пропадай голова, всё расскажу. Ужли мучиться ему доле?».

Император остановился.

– Ну, а послушай-ка, сударь, теперь, – обратился он к Чурмантееву, – скажи-ка ты мне, да опять по чистой правде, была речь принцева и на мой счёт?

Чурмантеев замялся. «Как ему сказать? – подумал он. – И что, из того выйдет? И действительно ли он желает облегчить участь принца?».

– Увольте, государь, – ответил он. – Не смей мне, рабу...

– Сказывай, один ведь тебя слушаю! – с детским нетерпением, хлопая лосиной перчаткой по перчатке, настаивал Пётр Фёдорович.

Он вынул из камзола другую инбирную карамельку и опустил её в пересохший от волнения рот.

– С нового года, как я сюда прибыл, – начал Чурмантеев, – принц ни разу не упоминал про вас; и знал ли он о вашем восшествии, про то не ведаю... А недавно...

– Что же было недавно?

– Точно во сне ему привиделось или слетело на него какое прозрение... в страх даже привёл... вдруг заговорил.

– На какой же манер он заговорил?

– «Ныне правящий царь – это ведь Петрович, внук Пет-

ра, – сказал мне намеренно принц, – да и я-де, как и он, здешней империи принц и ваш государь, только Иваныч... От Ивана-царя... И пора бы, говорит, Петровичам с Иванычами мир навсегда положить... Слава-де в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение...» Так и сказал... Прояснение на него будто нашло; инда в страх поверг!.. Было бы, говорит, то угодно Господу, и тихость же святая сошла бы на наше царство, и славе о том Петра и моей не умереть бы тогда отныне и до веку...

– Так и сказал?

– Так, доподлинно...

– Да он филозоф, saperment! Wahr, sehr wahr!..²⁰⁵ Правда!

Надо в момент, без промедления и ни на какие дела не смотря, конец всему положить... Лищедеи, душегубы! Sklavisches Pask! банда могильных геен...

Пётр Фёдорович повернул спину к Чурмантееву и снова направился ко входу в каземат. Здесь его встретил Волков.

– Одно слово, ваше величество, – сказал, склоняясь, тайный государев секретарь.

– Что тебе? скорей...

– Умоляю об одном: что бы вы ни решили, не приводите в исполнение теперь же...

Пётр Фёдорович молча нахмурился.

– Письмо, ваше величество... тайное о принце письмо...

– Ну, так что же?

²⁰⁵ Справедливо, очень справедливо!.. (нем.).

– Не козни ль то, простите, злых советников государыни, вашей супруги?

– Вздор, Васильич! совсем дурашные, не идущие слова. Волков оживился, глаза его блеснули твёрдостью.

– Освободив принца, – продолжал он, – вы создадите себе, государь, клянусь вам, опасного, гибельного соперника! И одни лишь отечества предатели, льстецы, могут давать такие антиполитические советы... Да и ещё осмелюсь прибавить...

– Говори, – ох, уж разумники! Что там ещё умыслил и на бобах развёл? Не испытывал, видно, сам тюрьмы, оттого и храбришься...

– Обижать изволите, государь... Не в моём праве давать советы о тюремных закрепах да о цепях... Ведать изволите, кто возымел счастье преславный манифест о вольностях дворянства поднести к вашему подписанию?.. Шаг один отныне, сами такожде то сознать удостоили – к освобождению и прочих российских рабов... Но не следует упускать из виду гласа бессмертием одарённых гениев...

Волков помолчал и ещё более ободрился.

– Его величество король Фридрих, – сказал он, вновь склоняясь, – неоднократно дружески советовал вам остерегаться и крепче держать взаперти принца Ивана, дабы чья-либо горячая голова, от мечтательной дерзости и лжемыслия, не вздумала возвести его на престол...

– Пустяки, суесловство! – резко перебил и отвернулся от Волкова Пётр Фёдорович. – О троне речи нет!.. Кто тебе на-

врал?.. Я один, слышишь ты, один о том могу говорить...

Имя Фридриха, однако, заметно смутило государя. «А ведь, пожалуй, и правду сказал этот бессердечный и ловкий всезнайка-говорун? – подумал он, сердито глянув в продолговатое, сухое, с большим белым лбом и красивым носом, лицо Волкова, серые, умные глаза которого почтительно и с строгим вниманием следили за ним. – У таких краснобаев-советников всегда найдутся резоны кстати... Опасно-неопасно, а дело и впрямь надо бы похитрее и ловче обделать... Я уже писал королю, что держу Ивана в надёжных руках, взаперти...»

Пётр Фёдорович ещё раз бросил взгляд на Волкова, досадливо одёрнул на себе португею и не так уж смело взялся за скобу тюремных дверей.

– Господа! – обратился он к свите. – Комендант, сюда, и вы следуйте за мной... Что можно и что политические и штатские резоны позволят, всё сделаю, не глядя ни на что. Я не забочусь о его мнимых правах – выбью глупую дурь из его головы – сделаю его человеком, слугой трона... из него выйдет бравый солдат...

Он снова вошёл в каземат Ивана Антоновича. Свита, пристава и комендант разместились за ним у порога.

– Князь! – обратился император к принцу. – Скоро день благовещения... В народе принято в этот день на волю выпускать... Вы... вы...

Тут резкий, странно дребезжавший голос Петра Фёдоровича

вича мягко дрогнул и оборвался. Добрые, искренние слёзы выступили на его глазах.

– Я обещал... я слово дал мир удивить! – продолжал он с детски ласковой улыбкой. – Не от своей персоны говорю! И вы ошибались, если меня приняли... думали... Я простой офицер; но меня государь любит и мне аудиенции даёт... Господин комендант, слушайте... Положение арестанта, поистине надо то сказать, ужасно. Поглядите на эти аркады, эти стены! с решёткой окно... *Du lieber Gott!*²⁰⁶ Здесь и при солнце без свечки трудно оставаться... Воздух душен... Государь из одного откровенного письма всё узнал... Мне дали комиссию в этих делах убедиться, и я убедился... Содержится принц хуже, чем последний колодник, злодей... Стыдитесь, господа, – фуй, стыдитесь...

Государь остановился. Все взоры были устремлены на Ивана Антоновича. Он стоял, понурившись, и, тяжело дыша, длинными белыми пальцами судорожно разглаживал свою шелковистую, каштановую бородку.

– Не в кушанье дело, господин комендант, – в обхождении! – строго крикнул государь Бередникову. – Принца в невежестве оставляют, в дикости, без наук. Вы про то молчать изволили; я от посторонних персон всё узнавал. Это должно быть изменено... А потому, господин главный начальник здесь, и вы тоже, старший пристав... *Im Namen* – от имени государя императора – и в силу данной мне высочай-

²⁰⁶ Боже милостивый!.. (нем.).

шей резолюции, вменяю вам отныне – над лучшим положением принца наблюдение иметь... Колесо фортуны – гексенмейстерский каприз! – сегодня внизу, завтра вверху. Извольте – слышите ли то? – выводить принца, время от времени, гулять внутри крепости, а там и за стенами. Пусть прогуливается, укрепляется добрым воздухом. Учите его... Читать он знает, но того мало. Сего пункта надо усиливать... Свет науки да засветит его ум... Sind aber hier?..²⁰⁷ Есть ли в этих местах хорошие учителя?.. Ласкаюсь надеждой, найдёте...

Узник бросился к ногам Петра Фёдоровича, Грудь его вздымалась от сдержанных рыданий.

– О! – визгливо вскрикнул он, хватая императора за полы кафтана. – Пётр, Пётр!.. брат мой!.. Всё бери себе, всё отдаю...

Государь положил ему руку на плечо.

– Выстроить ему, господин комендант, особый, хороший, просторный дом, – продолжал Пётр, ласково кивая принцу, – да чтобы окошки были не узенькие и на солнце. А когда здание будет готово, сам я приеду сюда, чтоб персонально его туда перепроводить. К моему... к государеву тезоименитству... чтоб всё то было готово!.. А потом мы вас, принц, в военную службу – будете бравым воином, в офицеры, в генералы дослужитесь... Довольны ли вы, принц?

– Сжался, не уходи, не откладывай! – крикнул, порываясь к императору, узник. – Брат!.. Пётр! не скрывайся, ты

²⁰⁷ Есть ли здесь?.. (нем.).

ведь государь!.. Зачем отсрочка?.. смилуйся!

Унгерн и Корф бросились к принцу. Государь их остановил.

– Выпусти меня сейчас, выпусти!.. Призвах имя твоё во гробех, – косноязыча и дико озираясь, кричал узник. – Дай жить с нею!.. видеть её, слышать!.. – Волнение более и более охватывало его, путало слова. – В леса, в Сибирь... только не здесь... Уйдёшь, ни тебя, ни её не увижу... Брат, брат, помилуй!..

Присутствующие были изумлены, потрясены.

– О ком это? с какою персоной он думает жить? – спросил государь Унгерна. Тот взглянул на Бередникова, последний на Чурмантеева.

– Бредит, знать: из Маргарит что-нибудь вычитал и – простите – врёт! – ответил до крайности озадаченный Чурмантеев. – Что ни день, новые, как видите, пустоши, новое враньё...

Иван Антонович плакал, вставал и снова бросался на колени перед императором, хватая его за руки, волочая за ним и целуя ему ноги, одежду. Бессвязной, дикой, молящей его речи нельзя уж было понять. Окружавшие не могли его оттащить, остановить.

– Herr Gott... Armes Kind!²⁰⁸ сил нет смотреть, пустите его! – сказал государь, замедлясь на пороге и добродушно, глазами, полными слёз, смотрел на принца. – Пусть вый-

²⁰⁸ Господи Боже... Бедное дитя! (нем.).

дет... пусть свежим воздухом вздохнёт... на крыльцо его, на крыльцо...

– Но у него нет тёплого, – вмешался Волков, – ещё простудится...

– Э, батюшка! когда я хочу, так ты!.. колпак! – сердито крикнул и топнул ногой государь. – Вот мой плащ, пусть надевает пока! Auf Wiedersehen!.. до свидания, принц! – торопливо и сконфуженно отворачиваясь от Иоанна Антоновича, кивнул ему головой Пётр Фёдорович. – Карл Карлыч! sagen Sie, dass man...²⁰⁹ вели ему из кареты мой шлафрок в презент принести... пусть себе, пусть...

Свита, с своей стороны, поспешила вручить узнику подарки – кольца на память, табакерки, часы. Он неумелыми, похолодевшими руками неловко брал эти вещи, тыча их в карманы куртки и шаровар.

Лица, стоявшие на дворе, и в числе их Пчёлкина, видели, как у Светличной башни вновь показалась царская свита и как рядом с государем, между Унгерном и Чурмантеевым, вышел на крыльцо высокий, с светло-русыми, монашескими волосами и в голубой гвардейской епанче, бледный юноша. Государь, размахивая перчаткой, что-то с сердцем высказывал коменданту. Этот с рукой у шляпы, вытянувшись, молча стоял перед ним.

«Чем-то решено, какой конец? – мыслила тем временем,

²⁰⁹ Прикажете... (нем.).

жадно пожирая глазами государя, Поликсена. – Освободит ли он бедного, раздавленного судьбой родича? Что говорил он с ним? Что решено? Столько я учила принца, наставляла и всё, всё ему рассказывала... Как он жаждал свободы! Как пытался о свете, о людях, клялся...»

«Ужли, – рассуждал в то же время у церкви, в толпе других, Мирович, – ужли наконец и мне окажет милость мачеха-фортуна? Не верится! Кто обратит внимание на столь мелкого человека? Но если произойдёт чудо, если решат возвратиться ко двору принца? кто лучше его сумеет тогда быть защитником, охраной всех несчастных, сирых всех, обделённых судьбою?..

Тогда и я подам прошение о возврате дедовских имений... Эка, чёрт, какие мысли! Так вот о тебе, собаке, и подумают! О голштинце каком-нибудь, о лакее подумают, а не о тебе. Боже-господи! Ну отчего бы теперь государю, и без принца, не обратить на меня внимания? Что ни говори – проклятые связи! А ведь я был на войне, трудился... Нет! – заключил Мирович, прячась за спины других. – Лучше пусть он, добрый, бессильный, нерешительный, лучше пусть и не заметит меня, ещё, пожалуй, узнает, что через меня доставлены пропозиции Панина о продлении войны... Пронеси его мимо, злосчастная судьба...»

– Господин офицер! эй! оранжевый воротник! – долетел до него из-за моста громкий, стремительный голос.

Мирович оглянулся. Все взоры были почему-то устремле-

ны на него. Кто-то усердно толкал его под бок. Он подался вперёд. Толпа перед ним расступилась. В нескольких шагах от него, вывернув врозь тупоносые ступни тяжёлых ботфуртов и держа наотмашь огромный палаш, стоял император.

– Kreuz schock-bomben-donnerwetter-element!²¹⁰ Форм не соблюдаете, – сильно горячась, кричал на кого-то Пётр Фёдорович, – а вот примерный офицер, – прибавил он коменданту, указывая на куцый и узкий, новой прусской формы кафтан Мировича. – Но это, сударь, жалко – не из ваших! Срам, срам, говорю я... шалберничество, вертопрашие! У того шляпа, как седло на голове, у этого – сукно неуказанной толщины, портупея без бляхи. Не потерплю того – слышите ли? Saperment!.. не потерплю... У вас самих, господин комендант, епанча не по табели... кошкиным мехом подбита... Бабам шубки такие носить, а не военным! Служба тут ни ползёт, знать, ни едет...

«Великий Боже! – думал тем временем, глаз на глаз перед государем, Мирович. – О люди! Видят ли меня? Чудо чудное! Война, каторга походов не вывезла, вывез новый кафтан... Иные всю забитую, затёртую, оплёванную жизнь добиваются, стремятся, а мне легко так выпало на долю... Ужли ж сейчас подойдёт, станет, в отличие другим, говорить со мной, расспрашивать?..»

– А это, это что? – шагнув в сторону от Мировича, напустился вдруг Пётр Фёдорович на помощника пристава, вы-

²¹⁰ Непереводимое немецкое ругательство.

пьялившего глаза солдафона Власьева. – Мало тебе, сударь, что в старой, отменённой форме, да и ту ещё небрежительно изволишь содержать!.. Что глядишь?.. Третья пуговка от галстука – ногами вверх пришита... Разве то порядок? дисциплина? Так по обержам только шляться, а не на службе!.. Чтоб то было всё записано и мне доложено! – заключил Пётр Фёдорович, направляясь к выходу из крепости. – Приеду в мае, чтоб всё было в аккурате, да не иначе, как со старательством... Будьте настороже, господин комендант... узнавайте гарнизонный устав... Вас первого заставлю прометать весь артикул...

Государь подошёл к воротам. Унгерн накиннул на него снятую с Ивана Антоновича шинель. Пётр Фёдорович глянул к башне, где оставил принца. На опустевшей площадке по-прежнему расхаживал часовой. «Бедный! Опять заперли тебя!» – со вздохом подумал государь. Он отвернулся, взглянул к дому Чурмантеева, где стояла Поликсена, но и её там уже не было.

«И только, – сказал себе оставленный отхлынувшей толпой Мирович, – и для того были ожидания принца, грёзы, мечты? Чем порешил он судьбу несчастного? Ужли ничем? Ужли уйдёт, и никогда более хоть бы и мне, мелкой сошке, ничтожеству, праху от его ног, никогда более не придётся стоять так близко возле него, глядеть на него, его слушать? А я готовился всю правду сказать о принце, просить о себе... Проклятая судьба, проклятая!.. Был один случай, и тот про-

пустил...»

– Эй! Оранжевый воротник! – долетел до него тот же резкий, далеко слышный голос. – Милости-с, пожалуйста-с. Интересоват вас видеть поближе...

– Вас зовут, вас! – заговорили вокруг Мировича бледные, заискивающие лица.

«Иди, говори, проси!.. всё теперь исполнит!» – жгучей волной пронеслось в голове Мировича. Он встрепенулся, журавлём, в темп отбивая на прусский лад шаги, пошёл к воротам и, с рукой у треуголки, вытянувшись, замер перед императором.

– Эссена, бывшего Нарвского полка? – спросил Пётр Фёдорович.

– Точно так, ваше величество...

– Фамилия?

Мирович назвал себя.

– В командировке или в отпуску?

– В командировке был из штаба, теперь по домашним делам в отпуску.

Чурмантеев объяснил императору, что Мирович жених, посватался за его бонну.

Глаза государя весело блеснули.

– А! очень рад! – добродушно, усмехнулся он. – Вкус недурён, шельмовская парочка будет, хоть куда... Aber voyons!..²¹¹ Невесту я, кажись, уже встречал: при покойной

²¹¹ Но погодите!.. (нем. и фр.).

тётке служила... мы вместе танцами забавлялись... А ты при ком в штабе атташирован был?..

– Генеральс-адъютантом при Панине, – ответил Минович. Государь поморщился.

– Перемирие, господа, подписано! – сказал он, круто обернувшись к гарнизонным властям и щёлкнув шпорами. – Gratulire, поздравляю! Скоро и вовсе конец войне...

Все молча отвесили поклон.

– Собираясь сюда, – продолжал Пётр Фёдорович, – я в печать отдавал полученные кондиции перемирия; скоро явятся в ведомостях... Довольно из пустяков кровь проливать. А тебя, господин подпоручик Минович, за добропорядочное выгляденье и молодецкую муштровку даже вне фронта, жалую, не в пример прочим, персональным моим поручением... Отчисляю от Панина в столичный гарнизон...

Кровь бросилась в голову Миновичу.

«Вот когда, вот! – мелькнуло у него в уме. – Боги! Фортуна (внемлю твоим велениям», – сказал он себе, с забившимся сердцем опускаясь перед государем на одно колено.

– Явись завтра на вахтпарад! – продолжал Пётр Фёдорович. – Или нет, ещё день даю тебе в презент... побудь с невестой, – послезавтра... Рапортуй себя на плацу обер-кригс-комиссару... Понял? Он уж дальше о тебе доложит... От коллегии курьером поедешь, с дальнейшими переговорами о мире, к Бутурлину... А как возвратишься назад, – глаза императора опять добродушно и весело забегали, – зови, батюшка, на

пир, на свадебку. *Tres content, tres content!*..²¹² В память тётки, изволь, сам я и посажённым быть готов... Не просишь?

Мирович был ошеломлён, потрясён. Вокруг него раздавались поздравления. Ему жали руки, что-то ему говорили. Он ничего не понимал. Бессознательно ответив на вопрос тайного государева секретаря, на ходу записавшего объявленное о нём повеление, он увидел, что все бросились из крепости на берег за императором, и сам пошёл туда же, вслед за другими...

– *Herr Du, mein Heiland, ist das ein Volk!*²¹³ – садясь в катер, сказал Унгерну Пётр Фёдорович. – Крокодилово отродье! Бедный принц!.. Из ума нейдёт... А где ж мы, *voeux*, господа, важные дела сделавши, нашу солдатскую трубку выкуривать будем?

– *Alles ist im Posthause bereit, Majestat!*²¹⁴ – подсаживая государя, ответил барон Унгерн.

На городском берегу Петра Фёдоровича встретила депутация от крестьян и мещанства. Впереди нескольких, без шапок, старых и молодых, в тулупах и охабнях, бородачей к нему выступил с хлебом-солью высокий, тощий, с тусклыми оловянными глазами, желтолицый и, как юноша, безбородый петербургский мещанин, недавно записавшийся в здешние купцы. Посадский пристав, завидев его с лодки, стал бел,

²¹² Очень доволен, очень доволен!.. (фр.).

²¹³ Что за народ, мой спаситель! (нем.).

²¹⁴ На почте уже всё готово, ваше величество! (нем.).

как снег. Купчина был тамошний салотопенный заводчик, из толка бегунов, известных в околотке и в столице, скопец Кондратий Селиванов. Он содержал в Шлиссельбурге подворье, где стоял и Мирович.

– Государь-батюшка, второй наш искупитель! – сказал, опускаясь на колени, Селиванов. – Бьют нас, мучат иудеи, злы посадски фарисеи! Ты один наша надежда! Сократился с небеси... Удостой, батюшка, своим заездом верных, хоть и малых твоих людишек... Завод мой тута неподалечку, в лесу, и тебе, сударь, по дороге...

– Уважь, родимый, уважь, батюшко! – поклонились прочие из толпы.

– Сектант! – вполголоса сказал Унгери. – Пристав аттестует – раскольщик...

– Вероправность... *der Glaube muss frei sein*²¹⁵, – ответил император.

Пётр Фёдорович заехал к Селиванову. Там государь кушал завтрак, было потом курение всею компанией трубок и обильное угощение всей свиты. Доставались и приносились из погреба водянки-холодянки, бархатное пиво, вина и сладкий медок.

Уезжая, государь пригласил Селиванова на свои именины в гости, в Ораниенбаум.

– К попу в крепости не зашёл, не заглянул и в церковь, – шептали по курным, тёмным хатёнкам, на рынке и по кружа-

²¹⁵ Вера должна быть свободна! (нем.).

лам в городе, – а к толстосуму-скопцу заехал... Знать, близки последние времена.

На обратном пути с Петром Фёдоровичем в возке ехали Корф и Волков. Волков дремал. Корф усердно беседовал с государем. Угощения на селивановском заводе развязали словоохотливый язык старого барона. Он то смеялся, то сыпал забавными городскими анекдотами. Передразнивая тех, о ком говорил, он сообщил, между прочим, свежие сплетни о недовольстве уволенного на отдых от всех дел графа Алексея Разумовского и о новых любовных интрижках старого и беззубого подагрика, князя Никиты Трубецкого. При этом зашла речь и об Орловых... Корф помолчал, что-то подумал и спросил государя, слышал ли он о том, что Шванвич, изрубивший младшего из Орловых, вновь появился в Петербурге?

– Фанфарон и трус этот твой Шванвич! И чего он ретировался! – сказал, нахмурясь, Пётр Фёдорович. – Не худо бы и другого, старшего из Орловых, ему в дисциплину привести... Наш риваль²¹⁶ – Григорий – уж больно фанаберит... да не по носу табак... А с жёнушкой мы ещё посчитаемся...

– Обсервирую²¹⁷, ваше величество, обсервирую! – сказал Корф. – Все акции, все плутовства их у меня пренумерована-

²¹⁶ Риваль —соперник (фр.).

²¹⁷ Обсервировать – наблюдать.

ны... Момент, ассюрирую²¹⁸ вас, момент, и всех накрывать будем...

Государь улыбнулся, весело посвистал.

– И у меня, барон, резонабельный и бравый прожектец изготовлен, – сказал он, – свет изумится! Потерпите только немного...

Поздно за полночь оба возка въехали в Петербург. Волков, уткнувшись в угол кареты, храпел. Корф также начинал подрёмывать.

– Э, браво! тайный мой конференц-секретарь спит, – обратился Пётр Фёдорович к Корфу. – Даёшь слово молчать? ein Wort ein Mann?²¹⁹

– Ich schwore! клянусь, ваше величество!

– Так держи ж секрет – вот что мне советуют... И ты, как честный солдат, пособляй мне во всём. В мае или – что то же – в июне возьму я Иванушку из крепости в Петербург, обвенчаю его с дочкой моего дяди принца Голштейн-Бекского, и прокламирую – как своего наследника...

Корф помертвел.

– Herr Gott!.. А государыня, а ваш сын? – спросил он под скрип тяжёлого возка, нырнувшего в уличный громадный ухаб.

Дремота мигом слетела с головы барона.

²¹⁸ Ассюрировать – здесь: удостоверить, осведомить.

²¹⁹ Слово мужчины? (нем.).

– Мейне либе фрау²²⁰, – улыбнулся император, – я построю в монахини, как сделал мой дед, великий Пётр, с первой женою, – пусть молится и кается! И посажу с сыном в Шлиссельбург, в тот самый дом, который для принца Ивана велел построить... Ну? was willst du sagen?²²¹ И дом тот будет им похоронный катафалк, каструм долорис...

– Lieber Gott, ist das möglich, Majestat?²²² Чтобы с того не вышла гибель для государства, а то и для вас самих...

– Пустяки! vogue la galere!.. сдумано, сделано! – сказал Пётр Фёдорович. – Таков мой рыцарский девиз... Не отступать, чёрт побери, не отступать! Что? форсировано маленько? Трусишь? Wir wollen, голубчик, ein bischen Rebellion machen.²²³

– Что до моей роли касается, можете, ваше величество, фундаментально спокойны быть, – ответил генерал-поллицмейстер. – Meine Ergebenheit, моя преданность к вам, Majestat, из мрамора, из гранита... и тайну эту из моей души до смерти не вырвут...

На другой день, поздно вечером, Корф подъехал с Мойки к апартаментам императрицы, был тайно, по чёрной лестнице, к ней введён и сообщил ей всё слышанное от императора. Но его предупредили.

²²⁰ Мою любимую супругу (нем.).

²²¹ Что ты скажешь? (нем.).

²²² Боже милостивый, возможно ли это, ваше величество? (нем.).

²²³ Мы хотим сделать маленький мятеж (нем.).

Волков ещё ранее, а именно утром того дня, проник к камер-фрау государыни, Екатерине Ивановне Шаргородской, и через доверенную особу – с которой он давно уж вёл на всякий случай переговоры – сообщил Екатерине Алексеевне не только то, что говорил государь Пётр Фёдорович, но и то, что было при том отвечено Корфом.

«Петровцы» заметно начинали переходить в лагерь «екатериновцев». Приближались события, так характерно названные в одном из украинских мемуаров того времени «*Положениями известных петербургских действий*».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«ПОХОЖДЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДЕЙСТВ»

*– Роковая минута приближалась...
«Арап Петра Великого»*

Х

ПОМОЩНИЦА ПРИСТАВА

Нежданное посещение императором Петром Фёдоровичем Шлиссельбургской тюрьмы и посылка Мировича с бумагами в заграничную армию возбудили немало толков и подозрений в высшей столичной петербургской среде.

Голштинская партия ещё более подняла голову. Хотя её вожаки старались соблюдать тайну, но по их лицам, движениям, двусмысленным улыбкам и речам можно было догадаться, что при дворе затевалось нечто необычайное. Представители русской партии – друзья императрицы – с тревогой всматривались в близкое будущее.

Пчёлкина из первых узнала о последствиях свидания государя с его несчастным родственником. В участии секретного арестанта, очевидно, готовились новые облегчения. Ко-

мендант и старший пристав, князь Чурмантеев суетились, шептались, готовились приступить к чему-то, что волновало и смущало их всех.

Мирович выехал в Петербург через сутки после отъезда государя из Шлиссельбургской крепости и написал оттуда Пчёлкиной, что его снарядили за границу, дали ему щедрое пособие на подъём, а вскоре из Нарвы он сообщил ей, что уж находится по пути к отряду Бутурлина.

Пчёлкина старалась собраться с мыслями, обдумать своё положение, успокоиться – и волновалась более. Всё, что с нею произошло в последнее время, было так неожиданно, так странно.

Она вспомнила свой приезд в Шлиссельбург, перебирала в уме малейшие подробности первых дней своего пребывания в семье Чурмантеева. Здесь она думала найти мир от тревожений недавней дворской жизни; но, узнав некоторые подробности о неизвестном арестанте, томившемся в соседней с домом приставы Светличной башне, она потеряла душевный покой. Таинственный, незнаемый светом образ несчастного колодника сразу приковал к себе внимание Пчёлкиной. Дни и ночи напролёт она думала о нём, жадно прислушивалась к малейшему о нём намёку в крепости, старалась по-своему представить себе его незримые, скрытые за стенами Светличной башни, черты. Тогда ещё не было случая с пожаром в помещении принца; таинственный, столь оберегаемый узник находился через двор, против квартиры

пристава, в особом секретном каземате. Поликсена не спускала глаз с крыльца этой башни, где молча ходил с ружьём часовой и всякий вечер вверху тускло освещалось ограждённое чёрной решёткой узкое окно. Расспрашивать Чурмантева Пчёлкина боялась; но добродушный пристав сам иной раз ронял то или другое слово о заключённом. Он от души жалел порученного ему страдальца и радовался всякому слуху, изредка долетавшему из столицы, о возможности улучшения его судьбы. Перемен, однако, тогда ещё не было. Дни шли за днями в той же, давно размеренной, мёртвенно-тихой и однообразной среде.

Кончив занятия с детьми, Поликсена садилась с работой в их классной и, в то время, когда девочки Чурмантеева играли в куклы, бегали и резвились, принималась упорно думать о «молчаливом призраке», томившемся в таинственной башне. Каков он да что с ним? Как отразилась на бедном затворнике двадцатилетняя тесная, скудная дневным светом и воздухом, одиночная тюрьма?

Поликсена представляла его себе малосмысленным, изуродованным вечною, медленною пыткой, не по летам слабым ребёнком. Всё так ясно она обсудила, прежде чем неожиданный случай привёл её увидеть заключённого.

«Он едва должен ходить по комнате, – представляла себе Пчёлкина узника, – дневной свет болезненно раздражает его и мог бы навсегда его ослепить, если б вздумали вдруг его вывести на воздух. Человеческая мысль и речь вряд ли

ему знакомы; а если несчастный арестант и может произнести несколько слов, то они должны походить на крик жалкого зверя или ночной птицы».

Думая о его лице, Поликсена представляла себе его черты чертами одичавшего, больного от рождения, запутанного и всеми нелюбимого дитяти, потерявшего даже сознание о том, что он давно пришёл в возраст и стал человеком.

«Нет сомнения, – продолжала рассуждать Поликсена, – он лишился возможности отличать и познавать обыкновенные вещи. Если его выпустить на свободу, он станет протягивать тощие, слабые руки к отдалённым предметам, считая их вблизи себя... Всё будет его радовать, занимать и сильно удивлять... Ноги и руки его оставались без употребления, а потому кожа на них и на лице должна быть нежна и бледна, зрение слабо и тупо от вечной, безрассветной, гнетущей полутьмы. Все способности несчастного замерли, спят. Но, – заключала свои мысли Поликсена, – он должен быть кроткого, мягкого, привлекательного нрава, послушен, нежен и ласков, как голубь, как ягнёнок. И что, если его призвать к жизни, разбудить? Что, если отпереть ему дверь и сказать: «Ты свободен, иди»... Кто на это решится? кому суждено? И где тот избавитель, отважный Колумб, который пойдёт к этому новому, забытому людьми, полному чудесных спящих сил, девственному миру – и скажет: проснись, живи!».

Поликсена изобретала множество догадок и смелых предположений, как она умолит, увлечёт и склонит Чурмантеева

допустить её к посещению арестанта, как начнёт тайно действовать на заключённого, воспитает его, просветит его сердце и ум... С пробуждением мыслей и воображения затворник расцветёт нравственно и физически. Она станет ему носить книги, вместе с ним их читать, объяснять ему события мира, героев истории, различие зла и добра.

«Бывали, – рассуждала она, – подобные примеры... Столько смелых людей увлекались судьбой узников, проникали к ним хитростью, мольбами и, воспитав их, давали им средства бежать. Это, очевидно, не простой человек. В то время, как всё будет подготовлено, – решала в мыслях Поликсена, – я выберу удобную минуту, явлюсь к несчастному в лучшей своей одежде, в шёлковом, придворном платье и в убранных по моде волосах... Он бросится к моим ногам; сердце его заговорит... И мою руку он поставит ценой своей свободы... Мы обдумаем средства к побегу... Я одену его в мундир, плащ и шляпу Чурмантеева; мы в сумерки выйдем под руку из крепости, скроемся на лодке, потом на тройке в ближних финских лесах, а там – в Швецию... Придёт срок, и где-нибудь далеко, в чужих краях, он явится свету, его вспомнят и, быть может, возвратят ему его права...»

Мучительным, страстным грёзам Поликсены суждено было исполниться ранее, хотя несколько иначе, чем она ожидала. Ночной пожар в каземате принца напугал крепостные власти. Комендант Бередников растерялся более других. Надо было, втайне от главной, секретной экспедиции, произве-

сти починки и переделки в печи, в трубе, перегородке и полу, всё заново оштукатурить, окрасить и побелить. Бередников и Чурмантеев условились с подрядчиком. Печников и плотников впускали в крепость ночью; те работали при фонарях. Князь Чурмантеев перевёл арестанта к себе, пустив слух, что тот заболел и находится в секретной крепостной больнице.

– Сам буду его кормить и смотреть за ним, – объявил он коменданту, – помощник мой на побывке в Ладоге; просил отсрочки, и я, к сожалению, ему написал, что он может остаться долее. Справлюсь пока и один.

И действительно, князь отсрочил отпуск своему помощнику, Власьеву. Наскоро осмотрели и укрепили решётки в окнах цейхгауза, смежного с жильём Чурмантеева. Под видом сбережения в лучшей сухости будто бы перенесённой туда арестантской амуниции и провизии у наружных дверей поставили особого часового. Такие перемещения в крепости не были новостью.

Чурмантеев мог успокоиться. Кроме гарнизонного фельдфебеля да фельдшера, никто бы и не знал, где именно находится вверенный ему Безымянный арестант. Но сперва не замеченный вывих ноги вскоре дал себя знать Чурмантееву.

– Вот, сударыня, одного буйного колодника перевёл я под свой кров и фавор, – сказал он Пчёлкиной, пробираясь утром с ключами и с чашкой арестантской стряпни через две нежилые горницы, бывшие за детской спальней и носившие название «старой кладовой». Этих комнат давно никто не

видел, и они в последние годы были под замком. Сходил туда Чурмантеев ещё раз в обед, потом вечером, в ужин; но к ночи слёг и разохался: ни спать, ни сесть от опухшей, лопившей ноги.

– Ох, к Власьеву написать, что ли, в Ладогу, – говорил со стоном пристав, – вызвать бы его... и куда, в самом деле, одному со всем справиться?

– Хорошо сделаете, – сказала Поликсена. – Диктуйте, я принесу бумаги и перо.

– Нет, матушка, подожду уж... Не полегчит ли к утру?

А за ночьхватила лихорадка, жар и бред. Чурмантеев метался в бессоннице, поминутно звал к себе няню-чухонку, что-то всё собирался ей сказать и не мог: она была совсем глухая и малопонятливая баба.

«Не догадается, не поймёт, – думал о ней, мучась, Чурмантеев, – но другим может прийти в голову, станут её пытаться, и она объявит секрет».

На рассвете Поликсена пришла проведать больного князя. Он лежал с открытыми, горевшими, испуганными глазами.

– Что с вами? – спросила она.

– Тот-то... колодник-то, – прошептал Чурмантеев, поднимаясь и шаря рукой под подушкой. – Свежей водицы б ему, хлеба, молока... дура эта чухонка... фельдфебеля звать не хочется.

– Давайте, я ему снесу; дети ещё спят.

– И он кстати спит... Отнеси, матушка; там перегородка, и

опять дверь... отомкни, поставь бережно и скорёхонько уходи. Ох, он ведь... за всем следят...

Голова Чурмантеева закружилась. Он не договорил, подал ключи и в изнеможении упал на постель. Поликсена была в красивой ночной блузе. Накинув на голову платок, она пробралась в бывшую кладовую. Няня и дети ещё спали. Утренние лучи уже пробивались с надворья. Пчёлкина отперла первую дверь, вторую; тихо нажав последнюю дверную ручку, она ступила за порог.

«Кто, однако, этот заключённый? – спрашивала она себя. – Фанатик-раскольник, бунтовщик против власти или важный военный дезертир? И каков он из себя? где спит? старый или молодой? Или впрямь это тот самый... таинственный, запрятанный сюда принц, о котором говорят?»

Поликсена помедлила при входе. В комнате было темно. Она отодвинула складной, внутренний оконный ставень, оглянулась вокруг себя. Вправо от входа, на железной, заржавленной кровати, покрытой старым сбитым войлоком, в посконной мужичьей рубаше и в заношенных, на босу ногу, башмаках, спал худощавый, бледный молодой человек. Русые, длинные волосы мягкими прядями укрывали подушку и часть красивого, с рыжеватой бородкой, лица. Нежная, женственно-белая рука свешивалась из-под наброшенного на спящего грубого матросского плаща.

«Так молод – и уж колодник, – подумала Поликсена, бережно ставя воду и завтрак на стол, где лежала полураскры-

тая, почерневшая, старой церковной печати, книга, – скорее раскольник, их архимандрит или епископ – и, видно, опасный», – досказала себе Поликсена, отходя к порогу.

Арестант проснулся, вскочил, присел на кровати; его испугало невиданное явление. И никогда, в остальные годы жизни, Поликсена не могла забыть этих кротких глаз и этого изумлённого лица. «Принц», – подумала она, чувствуя, как молния пронеслась у неё в мыслях, обдав её страхом и мучительной радостью. Она окаменела.

Арестант протянул перед собой руки, протёр себе глаза и что-то заговорил несмелым, молящим шёпотом. Что говорил он в это время и за кого принимал, в полусне, в полусознании, вошедшую к нему гостью – трудно было решить. В его детских впечатлениях остались смутные воспоминания о другом подобном, ласковом и нежном существе; но то была жалкая, высокая и худая особа, с вечно заплаканным лицом, в чёрном, траурном платье и с глазами, полными ужаса и скорби. Арестанту впоследствии казалось, или ему это говорили, что то была его несчастная, сосланная с ним мать, принцесса Анна Леопольдовна. И он часто, с болью сердца, раздражительно думал о прошлом, приставал к окружавшим с расспросами о ней, старался мысленно себе представить эту далёкую, дорогую, заплаканную мать. Нередко, в смутном тяжёлом сне, Иванушке мелькал на миг её неуловимый, скорбный и вместе пленительный, куда-то в безжалостный мрак убежавший образ. И вдруг ему снова теперь показыва-

лось, что он спит и во сне неожиданно увидел этот образ. Нет, это не она. Той нельзя было разглядеть, как он ни усиливался, как ни мучился. А эта – вон она стоит, у двери; её светлые, чарующие глаза смотрят на него с удивлением и участием, лёгкий стан её колеблется, яркоцветная блуза шелестит... Щёлкнул дверной замок – гостя скрылась...

С того дня Пчёлкина стала беспрепятственно навещать арестанта. Чурмантеев хоть и сознавал неудобство этих свиданий, но было трудно их избежать: он лежал больной, неподвижный. В Петербург о его болезни не рапортовали. При том из столицы неслись утешительные вести; везде сказывались облегчения, послабления.

«Авось вспомнят и нас, забытых, не казнят, – думал пристав, прикованный вывихом ноги к постели. – Бог мне послал помощницу разумную, скромную».

И действительно, Поликсена держала себя так обдуманно, строго. Лишнего слова не скажет: осмотрительна, горда. Строжей надо ли впустить, убрать комнату принца, – она выведет арестанта, запрет в смежную пустую горенку, впустит фельдфебеля к князю, за ключами, а сама накинёт шубку и стоит у наружных дверей, пока гарнизонные солдаты метут, моют полы и проветривают помещение принца.

Днём Поликсена приносила пищу, питьё и книги арестанту; ночью сама читала с ним, учила его писать, чертила ему виды крепости, озера, окрестных мест, рассказывала о Петербурге. Заметив его заикание, а при волнении даже кос-

ноязычие, она заставляла его медленно, внятно читать и повторять за нею трудные для него слова. Затворник оказался вовсе не таким малосмысленным, слабым ребёнком, каким его представляла себе Поликсена. Он был сметлив, находчив и, когда ничего его не раздражало, быстро усваивал новые понятия и радовался всему безгранично. Эта радость иногда переходила в весёлость, неудержимую смешливость. Принц вскакивал, прыгал по комнате, делал забавные выходки.

«Боже, когда бы скорее, скорей! – торопилась и трепетала Поликсена, со страхом приглядываясь к работе, производившейся в постоянной тюрьме арестанта. – Успею ли всё ему передать, рассказать?».

Она видела, как по ночам через двор, с фонарями, выносили из башни мусор, закопчённый кирпич; новая труба поднялась на крыше; вымели кучу щепок с крыльца; Устроили у лестницы творило для извести, и, под конвоем инвалидов, стал ходить в башню, с ведёрком и с кистью, посадский маляр. Переделки подходили к концу.

Раз, – это было вечером, – к больной ноге Чурмантеева, дня за два перед тем, привязалось рожистое воспаление, и чувствовал себя очень неладно. Поликсена прошла, с корзиной кушанья и новой книгой, к арестанту.

«Пусть себе, – думал, глядя на неё, пристав, – не велика беда: не встану, умру – хоть добром помянут за неповинного, всеми забытого страдальца!».

Поликсена вошла к узнику, замкнула за собою дверь, на-

двинула оконный ставень, зажгла принесённую восковую свечу и раскрыла книгу. Арестант сел рядом с нею у стола. Она смотрела на него, стараясь проникнуть в его мысли. Что думал о ней принц? чего ждал от неё, от своей судьбы? Он был не по себе; смотрел сумрачно. Тихо взяв её за руку и нежно глядя ей в глаза, он робко коснулся к этой руке губами.

– Что вы? – спросила, вспыхнув, Поликсена.

– Все ли вы... таковы? – произнёс Иванушка.

– Много есть лучше, – ответила Поликсена.

– Имя твоё?

– На что вам имя? зовите – другом...

– Остайся, не уходи... будь вечно со мной!

Арестант прижал руку гостьи к своей груди.

– Друг, прикажи меня выпустить, – сказал он, – ведь все тебя послушают.

– Ошибаетесь, я здесь подначальная.

– Ты не человек... дух с неба, планида.

– Человек, и самый последний, ничтожный.

– Нож возьми и их убей! – сказал арестант, сверкнув глазами.

– Одного убить, останется много других, – ответила Поликсена, – терпите, молитесь Богу, принц! время придёт, вы будете свободны.

Колодник слушал и не мог понять, почему эта стройная красивая девушка, от каждого движения, слова, от каждой

складки платья которой веяло таким обаянием, была не в силах дать ему волю, его спасти.

– Меня всего лишили? – спросил он. – Всего?

– Что вы хотите этим сказать?

– Были другие такие мученики?

– Были... Несчастливых, как и вас, лишали престола, царства.

– А скажи, кому-нибудь возвращали то, что отнято?

Пчёлкина рассказала узнику о французском короле Карле Седьмом и о его избавительнице, крестьянской девушке из Орлеана. Иван Антонович слушал её с замиранием сердца, и когда она кончила рассказ, схватил её за руку и, страстно прижимаясь к ней, стал просить, чтоб и она вымолила у Бога чудо, спасла его от гонителей и тюрьмы. Его детски молящая, несвязная речь, слёзы и сильные, мужские объятия заставили Поликсену опомниться. Она его отстранила, стараясь его успокоить.

– Вы будьте готовы, если думаете уйти, – может быть, я приду или дам знак, – сказала она.

– Приказывай, зови.

– А если откроют, догонят, убьют?

– Пошли, Боже, муки, смерть! Лишь бы ты... лишь бы с тобой...

Поликсена встала. В её спокойных, строгих глазах блеснул решительный луч. Она положила руки на плечи узника, растерянно и с робкой надеждой смотревшего на неё; судо-

рожно сжала тонкие пальцы, притянула его к себе и, страстно прикоснувшись губами к его бледной, исхудалой щеке, пошла к двери.

Арестант обезумел, замер.

– Куда, куда? – крикнул он, кинувшись за ней. – Свет... радость!

Дверь захлопнулась, всё стихло.

Весь следующий день Поликсена ходила как потерянная. Вечером этого дня, после долгой разлуки, она неожиданно свиделась у священника с Мировичем. Мысль о помощи принцу возродилась в ней с новой силой. Она терялась в предположениях, планах, догадках. И подыскался случай, указавший, как ей действовать.

Ведя детей на исповедь, она впопыхах забыла замкнуть дверь временного помещения узника и тем вызвала нежданную встречу с ним Мировича.

«Судьба!» – сказала она себе, и тут ей пришло в голову откровенным, безымённым письмом побудить государя к посещению Шлиссельбургской тюрьмы. Её смелый план удался, но не таких она ожидала последствий. Царственный узник оставался по-прежнему в заточении; жених Поликсены был услан за границу, а Чурмантееву к Пасхе объявили, что он заменён другим и переводится, в уважение его заслуг, на покой, в одну из пограничных крепостей, за Волгу.

Князь Чурмантеев, перед выездом, был вызван в Петер-

бург, для некоторых объяснений в особой комиссии – из Нарышкина, Мельгунова и Волкова, которым отныне было поручено ведать дела арестанта Безымянного. Князь уехал, а детей с Пчёлкиной на время оставил, вследствие весенней распутицы, в доме священника. Преемник Чурмантева, премьер-майор Жихарев, и его помощники, капитаны Батюшков и Уваров, приступили с Бередниковым к обсуждению мер для исполнения личных приказаний императора об арестанте. Им, по поводу этого, из Петербурга писал Унгерн: «Арестант, после учинённого ему посещения, легко может получить какие-либо новые, неподходящие мысли; а потому всячески удерживайте его от новых пагубных врак – о здоровье ж, о воздухе заботьтесь».

Первую прогулку с арестантом сделали после Пасхи, и она прошла благополучно. По пробитии вечерней зари, когда всё стихло в крепости, принца одели в плащ и шляпу Батюшкова, а Жихарев вывел его внутренней лестницей на стену куртины. Принц опьянел от свежего воздуха, шатался и то и дело замедлял шаги, хватаясь за сердце, вскрикивая: «Ах, Господи!.. Ах, чудно!.. Что это? что?» – и жадно вглядываясь, через Неву, в городские дома и в окутанные весенней мглой прибрежные поляны и леса.

– Ах, господин майор, ну, как здесь хорошо! – сказал он, ухватив за полу шедшего с ним пристава. – Не забуду вовеки... небо какое! А месяц!.. Запах!..

– Пойдёмте, пора домой, – пока довольно...

– Точно ладаном пахнет... Ох, не могу, сядем; чуточку б ещё туда...

– Нельзя, сударь... в другой раз...

В следующие дни гуляли долее. Жихарев пробовал вывести принца на бастионы, за стены крепости, а спустя некоторое время решился прокатиться с ним по быстрине и по реке.

«Бог его ведаёт, – рассуждал Жихарев, – комиссия к нему как бы строга, а государь вон как о нём решил... Кого слушать?».

Когда катер, лавируя по озеру, приблизился к пристани, стало видно движение в улицах и послышался говор народа, сновавшего у берега, – принц едва не выскочил за борт.

– Что, какова я теперь персона? – сказал он. – Принц Иван хоть и взят живой на небо, но во мне его особа... везде нонче могу... а Чурмантеев, дурак, боялся, не хотел со мной даже говорить...

– Всё, сударь, от начальства. Было строго, ныне слабее.

– А где Чурмантеев?

– Уехал.

– И дети с ним?

– Все, как есть.

Принц задумался. «Значит, уехала и та девушка...» – сказал он себе.

В конце Фоминой в крепостной церкви, по совету священника, отслужили для узника особую, без сторонних свидете-

лей, обедню.

«Шутка ли, столько лет сердечный в Божьем храме не был!»— мыслил отец Исай, вглядываясь в просветлённый, важный лик юноши, робко стоявшего перед алтарём. Он с чувством, в радостных слезах, молясь за раба Божия Иоанна, дрожащим голосом возглашал пасхальный кант.

– Воскресение день... просветимся, людие...

Барон Унгерн прислал из Петербурга арестанту запас белья, провизии и даже лакомств, причём спросил Бередникова, скоро ли начнут постройку указанного государем дома. К этой постройке приступили.

В крепость стали возить камень, брёвна, доски. Перед домом пристава выкопали рвы и начали возводить фундамент. Работа шла спешно. Комендант надеялся всё кончить, согласно воле государя, к двадцать девятому июня.

В Николин день принц и его новый главный страж, гуляя по крепостной стене, засиделись на верху куртины, выходящей к городу. Иоанн Антонович, видимо, стал оправляться, посвежел и даже загорел. Вечерело. Жихарев думал о покинутой в Петербурге семье.

«Хоть бы дорога скорей установилась, моих бы сюда перевезти, – рассуждал он. – Экая скука, точно кладбище, могилы...»

Арестант в подзорную трубу пристава смотрел на базарную площадь, где лавочники с посадскими, обрадованные тёплому майскому вечеру, играли в орлянку, в мяч и водили

хоровод. По воде чутко доносились крики, раскатистый смех играющих и песенные возгласы хороводных запевал.

– Это что? вот, вот... Двигается, ревет? – спросил принц.

– Стадо коров, – ответил Жихарев.

– А те вон, точно мыши... Эк посыпались к берегу! За кем это гонятся?

– Дети, сударь...

– Ах, ваше благородие, кабы и нам к ним? – сказал арестант.

– Нельзя, сударь, что вы! Не такого ранга вы особа, чтоб к черни ходить...

Задумался узник. «Вот она, доля, – мыслил он, – прежде держали, как последнего колодника, теперь чтут, а воли всё нет».

Стало темнеть. В городе зажигались огни. Звёзды начали вырезываться среди мягких, бежавших над озером, перистых облачков.

– Я все планиды знаю, – сказал вдруг арестант, – все, все, до одной.

– Что же вы знаете о них? – спросил, зевнув, Жихарев.

– В окно высмотрел... как и что кому обозначено.

– И что ж на них обозначено?

– Вон та, белая... вон одна-то... видишь?.. это моя.

– Ну, а те, подальше?

– Голубенькая – государева... Все ночи глядел на них, допытывался... спрашивал их.

– И что ж вы спрашивали?

Арестант замолчал; в досадливом нетерпении молчал и пристав. Ночная какая-то птица в это время налетела на них и, пугливо шарахнувшись, унеслась в сторону, к тёмному бастииону.

– Не выпустит царь, – продолжал арестант, – не быть ему в счастье...

– Врёте, сударь; охота пустое врать!

– Видишь? Голубая планида раньше белой за облак зашла?.. Ну, раньше моей закатится его доля...

– Чепуху, несурзное, сударь, говорите, – строго сказал, оглядываясь, Жихарев. – Не бросите вранья, по начальству отпишу... Вам облегчение, милости, а вы... пора по углам...

Арестант и его страж спустились с куртины, сошли в крепость и церковным садом приблизились к гауптвахте. Из-за распутившихся дерев показался дом священника. Принц взглянул туда, тихо вскрикнул и бросился вперёд.

– Куда вы, куда? – сказал Жихарев, схватив его за руку. За выступом дома, у крыльца священника, стояла Пчёлкина.

– Ой, да пусти же ты, грубиян! – крикнул, вырываясь, арестант. – Друг, друг!.. Ты здесь? Вот я, спаси...

– Сударыня, уходите, – произнёс пристав, – прошу вас, приказываю.

Арестант вырвался, добежал к крыльцу.

– Где была? Где? – задыхаясь, шептал он Поликсене. – Столько дней не слышал голоса...

– Идите, покоритесь, – проговорила Пчёлкина, – и помните, где бы вы ни были – я вас не покину, найду...

Жихарев крикнул стражу с гауптвахты. Караул окружил арестанта, который кидался, на солдат и бешено от них отбивался.

– Дикие вы звери! – кричал он. – Кого слушаете? Государь волю мне дал, а вы не пускаете... сам я государь...

– Успокойтесь, сударь; что вам угодно? – спросил Жихарев.

– Не хочу в старую нору.

– Новое помещение не готово.

– К попу переведи, вот сюда...

– Здесь тесно, да и негоже для вас, не пустят.

– Иди, собака, и проси... Знаешь сам, каков я родом человек!

– Слушай, сударь, – ответил, найдясь, Жихарев, – вы, точно, не простая персона, а потому надо по приличности очистить здесь горницы. Пойду к священнику; а пока переждите на старом месте.

Арестант сдался. Жихарев его запер по-прежнему в каземат и поставил к нему у башни двойной караул. Пчёлкину наутро выпроводили из крепости. Написав Чурмантееву, она с его детьми перебралась в Шлиссельбургский посад.

Так прошло две недели. Узник впал в безнадёжное отчаяние. Им овладели порывы неукротимой злобы и свирепого, зверского бешенства.

Часовые на утренней смене сообщали приставу и коменданту о бессонных ночах, проводимых принцем. Сени и узкий проход перед казематом оглашались раздирающими душу стонами и криками узника. Он бесновался без умолку, с бранью и проклятиями, стучал скобой железных дверей, опрокидывал мебель в комнате, бил стёкла, рвал на себе платье и бельё.

– Что вам, сударь, надобно? – спрашивали его часовые в дверное, решётчатое окно. – Эвтим манером амуницию искалечите... себе и казне ущерб.

– Ведите Жихарева, его, пса, надо...

– Аспид ты, крокодил! – с пеной у рта кричал узник Жихареву. – Её приведи... слышишь? Её...

– Нельзя-с, по статуту, уехала.

– Разлюбит... ведь разлюбит... слово одно, хоть взглянуть!..

Арестант грыз себе руки, хватался зубами за оконную решётку.

«Ещё в Питере узнают про экое озорство, – думал, замирая в страхе, пристав, – уж когда бы скорее решали, что с ним и как! Всё Чурмантеев натворил! Донести о нём, – да жаль бедного, засудят...»

– Скорпионы, аспиды! Запали их, Боже, сокруши! – кричал день и ночь в окно и двери узник. – Змей на них! Камни! Кляни их! Боже, кляни...

– Бес обуял, испортили сердечного! – шептали в сенях гар-

низонные солдаты, – был тих, а теперь буря бурей...

Забываясь кратким, тревожным сном, арестант просыпался ночью, и ещё тяжелее и горше было у него на душе. Каменный свод давил, как гроб. От молчаливых белых стен веяло холодом. Когда-то рассвет? Иванушка звал Поликсену, слал ей нежные слова. Бросится к форточке каземата, распахнёт её, торопливо привстанет на цыпочки и жадно вдыхает свежий, ночной воздух. Виден край тёмного хмурого неба. Вон белая и голубая звёзды; высоко они мерцают над крепостью, ныряя в налетающих облаках.

«Им вольно в далёком небе, – мыслил он, – а я опять в норе, опять взаперти». Ночь проходит. Загорается бледное утро. Воробьи чирикают, галки взлетают, чистят длинные, жадные носы. Солнце поднимается. Крики жаворонков, соловьёв доносятся с полян, из лесистых, просыпающихся тайников. Там радость, там жизнь. А здесь! И кажется Иванушке, что не соловьи и не жаворонки отзываются на берегу, а трубят чудотворные золотые трубы, некогда рушившие стены Иерихона.

– Осанна в вышних! – шепчет узник. – Египет даде руку, Ассур в насыщение их... Но где Египет и где освободитель Ассур?..

Арестант силился взломать ржавую оконную решётку и до крови резал себе руки.

Нет спасения, нет воли... Почерневшая, закапанная воском книга разогнута на столе. Слабый утренний свет скользит по

ней, и кропят её горькие, жгучие слёзы. Иванушка читает, но нет смысла и отрады в прочитанном. Стены глухи и немые, как могила. Кругом тишина.

«Бысть яко медведь ловяй, яко лев от сокровенных», – читает Иванушка, добиваясь ответа на свои терзания.

– Не лев я – жалкая мошка, комар!.. А там, за стеной... тепло, воздух, люди и она... Ха-ха!.. звери, убийцы! звери...

Дикий хохот, будя утреннюю тишину, нёсся из тёмного окна узника.

XI НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ

Мирович оставил Петербург с лёгким сердцем и полный давно не испытанных, радостных ощущений. Под шум и плеск вешних вод он нёсся за границу на перекладной. Вот Луга, Псков, Двина – как море, берега Немана. Весна в Литве стояла во всём разгаре. Тянулись вереницы диких гусей, журавлей. Леса, водные заросли синели в тумане, стонали от птичьих криков и свистов. Пахло берёзовыми, смолистыми листьями, ландышами.

«Женюсь, всё брошу, – думал Мирович, миновав границу, – возьму абшид²²⁴, выйду в чистую и уеду на родину – хлопотать о своих правах. Что нам столица, блеск жизни, фанфары, суета сует? Поликсена сказала: когда не Питер,

²²⁴ Абшид – отставка (нем.).

лучше уехать на твою Украину, в Переяславский уезд, нагулялись бы мы там, по пояс в полевых травах, надышались бы цветом яблонь да груш!.. Повезу её. Нет своего угла на родине, добьёмся его, – не через себя, через добрых людей, а пока погостим у друзей. Никогда, кажись, так не жаждал достатка; а уж для неё... она хочет, и всё будет!.. И Михайло Васильич Ломоносов одобрил, когда я ему всё рассказал по возвращении из Шлиссельбурга. Там, на Трубеже, возле бывшего дедовского Липового Кута, – где пчёлы отцовского кума и где я бегал мальчиком... Вот где рай... Хоть бы клочок родной земли! Пан на загороде равен воеводе... Цела ли та пасека и жив ли старый отцов кум, Майстриук?..»

Солнце грело. Мирович дремал и видел себя в поле. Золотые волны высокой, спелой пшеницы шуршали и колебались крутом. Он шёл где-то нивой, в гору. На горе церковь; в ней пенье, горят свечи. Его ждут венчать с Поликсеной. А золотой пшеничной ниве нет конца. Колышутся и шепчутся душистые волны, он тонет в них, выбивается из сил. Мелькают алые маки, васильки; на них качаются сизые, с рогами, жуколицы, глазастые, пушистые пауки...

«Что же я-то? у меня ведь крылья есть!» – думает Мирович, распахнул крылья, и летит над шуршащим морем и не видит колосьям конца. Поспел ли? Церковь далее и далее. Сердце замирает. Он очнулся. Перед глазами серый балахон, сторбленная спина и рыжие пейсы возницы. Станция, смена лошадей...

Переговоры с Пруссией о заключении окончательного мира начались ещё до приезда Мировича в отряд Бутурлина. С одной из таких экспедиций, в числе других офицеров, попал снова в Берлин и Мирович.

К концу мая он прислал из-за границы подарки невесте: серое тафтяное платье, бархатный алый камзол, черепаховые подвески, браслеты, склаваж²²⁵, и модную, из белой шали накидку – барбар. Подарки были присланы с оказией на имя Бавыкиной. Настасья Филатовна похвастала ими Ломоносову.

– Вкусу немало, – сказал, разглядывая жениховы подарки, Михайло Васильевич.

– Так-то так, – произнесла, покачав головой, Филатовна, – только где он, прокурат, денег на всё это достал? Уж ли в карты опять резаться начал? Как думаете, ваше высокородие?

– Уж и в карты, матушка, экия вы!..

– А и в самом деле, может, не в карты! – сказала, обрадовавшись, Филатовна. – В гору, пожалуй, пошёл; ведь смышлёный хоть куда; ну, и отличают... гляди-кось, ещё с орде-ном воротится...

«Мне-то только, бездельной, что делать? – подумала, вздохнув, старуха. – Куда деться? Уж ли так-то всё торговлей на старости лет по улицам маяться? Видно, и впрямь в люди на место идти!».

К первому дню Пасхи император Пётр Фёдорович пе-

²²⁵ Склаваж – коралловый браслет (фр.).

реехал в новый Зимний дворец. Строитель его, Растрелли, получил Голштинскую Анненскую звезду, с надписью: «Amantibus justitiam, pietatem, fibem»²²⁶. Императрицу государь поместил в отдалённом конце дворца; ближе к себе восьмилетнего сына Павла с наставником его, флегматическим и мешковатым, но хитрым и умным Никитою Ивановичем Паниным. На антресолях было отведено помещение Елисавете Романовне Воронцовой, а в особом флигеле дворца государь назначил апартаменты предположенной им невесте заключённого принца Иоанна Антоновича, несовершеннолетней дочери своего дяди, генерал-губернатора Петербурга, принцессе Екатерине Петровне Голштейн-Бекской, с её гувернанткой, девицей Мирабель.

Обедал и ужинал Пётр Фёдорович с небольшой свитой. Голштинские любимцы окружали его тесной толпой. Императрица навещала мужа изредка, и то больше по утрам.

Заходя на половину к сыну, государь трунил над его прошлым женским воспитанием и, тебя худенького, слабого мальчика, со смехом говорил:

– Из Павлухи выйдет ещё целый молодец, лишь бы я успел с ним заняться и сделать из него бравого солдата. А теперь, что он? Телепень, бабий баловень, и только... В поход, сударь, в поход!

Своего учителя на скрипке, итальянца Пьери, Пётр Фёдорович назначил придворным капельмейстером. Во двор-

²²⁶ Любящим справедливость, благочестие, верность (лат.).

це давались концерты из знатных любителей музыки. Братья Нарышкины – один из них андреевский кавалер – участвовали в этих музыкальных состязаниях рядом с важным звездоносцем Адамом Олсуфьевым, правой рукой гетмана, президента Академии – статским советником Григорием Тепловым и академиком Штелином. Император являлся здесь за просто.

– Музыка у меня будет первый сорт, – весело говорил он партнёрам. – Выпишу из Падуи знаменитого ветерана скрипки, Тастини... Ведь он, *saperment!* между нами-то сказать, – одной со мной школы... *Specialissime* за нежные, ласкательные, а инде маэстозные тоны и переходы... Нигде грубых эффектов, нигде балаганных увёрток и штук... Мелодия, одна мелодия!

Голштинцы протирались всюду, захватывали себе и своим «партизанам» главные места.

За два дня до Пасхи в прибавлениях к «С. – Петербургским ведомостям» явилась обратившая на себя общее внимание столицы и, как полагали, писанная под диктовку посланника короля Фридриха, Гольца, следующая передовая статья:

«С. – Петербург, апреля 4-го 1762 года. – Всемилостивейший наш государь, с самого восшествия своего на престол, не пропускает ни единого дня без излияния новых милостей, или не подавая существенных опытов отеческого своего о пользах подданных попечения и глубокого в государствен-

ных делах проникания», и пр., и пр.

Ропот против голштинцев усиливался. Старые слуги Елисаветы не выносили этих незваных пришельцев. Новые преобразования и льготы не искупали грубого и обидного обращения заморских гостей с русскими. Ломоносову приписывали слова: «Капуста и репа ещё не взошли в огородах, зато всходят голштинские реформы».

Всяк, просыпаясь в ту весну в Петербурге, спрашивал себя: что объявлено от сената сегодня и что готовится на завтра? Все ходили в чаянии неожиданных, негаданных перемен. Даже всезнающий генерал-полицеймейстер Корф не раз подсылал тайком во дворец своих адъютантов, говоря им:

– Вызови-ка там, батенька, Карла Иваныча Шпрингера да узнавай от него – *horst du!*²²⁷ – умненько, чем и с кем ныне занимается государь?

Вслед за уничтожением тайной канцелярии и дарованием вольности дворянству новые фавориты Петра Третьего посоветовали ему заняться оставленным со времён Петра Великого проектом об отобрании монастырских поместий и о назначении от казны содержания как чёрному, так и белому духовенству.

Барон Унгерн сказал однажды, за обедом у Алексея Разумовского, Волкову:

– Не худо бы передать архиепископу Димитрию об отмене постов... Ваше постное масло, редька и щи не по желудкам

²²⁷ Слышишь! (нем.).

нынешнего света. Да сказать бы ему а прогос²²⁸, что пора уже пересмотреть и во многом изменить и весь ваш старый монахизм, а духовенству разрешить брить бороды и ходить, как в Европе, в цивильных кафтанах.

– Чей в этом совет?! – спросил Волков.

– Ну, да ты уж скажи преосвященному Димитрию, – загадочно улыбнулся Унгерн, – пусть подумает.

Эти слова быстро разнеслись по городу. Не в одних боярских хоробах вспомнили, что государь Пётр Фёдорович, вслед за погребением императрицы-тётки, посетил торжественную по ней панихиду в католической церкви, где исполнялась печальная кантата-реквием, сочинения Манфредини, и что после панихиды он завтракал у патеров этого храма.

На Фоминой было приказано приступить к немедленной постройке для иноземных придворных слуг лютеранской церкви при Ораниенбаумском летнем дворце.

– Лютеранство вводят в России, – стали толковать в среде русского духовенства. Повторяли даже слова манифеста о веротерпимости, будто бы уж составленного на всё готовым генерал-прокурором Глебовым, где в числе других доводов приводились слова Евангелия: «Взгляните на птицы небесные, иже не сеют, не жнут и не собирают в житницы».

– И всё-то голштинцы! – прибавляли в народе. – Всё они, проклятые нехристи.

Составилась даже поговорка: «Голштинец даст тебе гости-

²²⁸ Кстати (фр.).

нец».

Ропот усилился, когда прошёл кем-то пущенный слух, будто иноземные фавориты готовят указ о вынесении из храмов всех старых, якобы лишённых благолепия, сиречь обезображенных временем икон и о закрытии в палатах вельмож домовых церквей: «Не подобает-де храм Божий лишать благообразия или держать оный у себя под рукой, на приклад своей бильярдной, кухни и того хуже».

С приездом из Киля дяди государева, принца Жоржа, влияние немцев стало ещё сильнее. Повторялись имена столпов этой партии: Ольдерога, Цобельтиша, Катцау, Цеге фон-Мантейфеля, Цейца.

– Новая бироновщина настаёт! – громче и громче толковали обиженные русские. Юные советники государя между тем не унывали. Они ему льстили и предрекали успех всем его ошибочным, проникнутым полным незнанием и непониманием России намерениям.

На обойной фабрике гобеленов, директором которой был назначен произведённый в камергеры любимец государя придворный паршшихер Брессант, Пётр Фёдорович заказал, для передней в новом Зимнем дворце, два больших стеновых ковра, «haute lisse». Один должен был изображать восшествие на престол Елисаветы, другой – его собственное.

В мае были спущены на Неву два вновь построенных корабля. Одному государь дал имя недавнего врага России, своего друга, «Король Фридрих», другому – первого принца

крови, нового фельдмаршала и Эстляндского генерал-губернатора – «Принц Жорж».

Приказав учредить в поддержку коммерции и купечества государственный банк с пятью миллионами рублей фонда, Пётр Фёдорович отдал повеление об устройстве, по примеру заграничных «долгаузов», «нарочитого» дома для «сущеглупых», то есть умалишённых. Прогуливаясь как-то вечером по городу, государь чуть не был искусан стаей бродячих собак. Он тотчас объявил повеление об образовании из дворцовых егерей «особой команды» для «наискорейшего истребления бездомных собак». Этой же команде было разрешено стрелять на городских площадях и улицах «ворон и прочих безхозяйных птиц». Усердные егеря стали стрелять по улицам чтимых народом голубей.

Уволив графа Алексея Григорьевича Разумовского в отставку, император почасту заезжал к нему в Аничков дворец, где любил в беседе с ним выкурить трубку кнастера или вошедшую в то время в моду сигару «фидибус». Дальновидный граф, ценя по-своему это внимание, сказал по-украински государю:

– А позвольте мне, недостойному сыну гречкосея и внуку пастуха, снисканному толикою благосклонностью покойной государыни, позвольте почествовать вашу милость.

И поднёс в презент высокому посетителю красивую трость с ручкой из слоновой кости, и впридачу к ней – на воинские нужды государя – миллион рублей.

– Ба-ба-ба! – воскликнул детски обрадованный император. – Potz-Blitz²²⁹, да ты, Григорьич, Hehenmeister, колдун; как раз угадал, что мои финансы нарочито плохи... Спасибо, голубчик; вспомнятовано будет! При случае отблагодарю.

– Гвардия – это нынешние янычары!²³⁰ – не стеснился сказать Пётр Фёдорович гетману Кирилле Разумовскому, командиру любимых великим Петром и Елисаветой измайловцев. – Их вскорости раскассирую, а пока стану их заменять полевыми полками да помалу, на манер наших бравых голштинцев, реформировать...

Сильно взволновали эти слова весь военный, служилый люд Петербурга.

– Разве мы преступники, изменники? – толковали обиженные слуги Елисаветы. – Окружили государя продажные голштинские колбасники... Дай Бог здоровья его сыну и матушке, его жене – те заморских псов не жалуют.

Мир с Пруссией был окончательно заключён и десятого мая торжественно отпразднован. Памятен остался этот день в дворском мире.

В особой зале Зимнего дворца был дан пышно изготовленный обед. С крепости, с Адмиралтейства и судов, стоявших на Неве, до поздней ночи раздавалась непрерывная пушечная пальба.

Было выпущено более тысячи выстрелов из орудий. Пи-

²²⁹ Гром и молния! (нем.).

²³⁰ Подлинные слова Петра III.

ли в честь короля Фридриха и за продолжение «счастливого мира».

Провозгласив тост за собственную высокую фамилию, Пётр Фёдорович послал к императрице-супруге «берлинскую голубицу мира» – Андрея Гудовича, спросить, отчего она при этом не встала? Государыня Екатерина Алексеевна ответила:

– Оттого, что вся наша фамилия, кроме его величества, государя, состоит лишь из меня да из ребёнка, моего сына.

– Передай ей, что она дура!.. – грубо крикнул государь. – Передай, что, кроме неё и сына, есть ещё два члена нашей фамилии – дядя принц Жорж и его высочество принц Голштейн-Бекский.

Императрица залилась слезами. Остроумный и находчивый граф Строгонов стоял в это время у неё за стулом. Чтоб развлечь государыню, он вполголоса рассказал ей свежий городской анекдот о некоем влюблённом генерале Бехлешове, который поехал амурничать в Шлиссельбург и чуть, из-за перемены тамошнего начальства, не угодил в каземат крепости.

– Marlborough s'en va-t-en guerre...²³¹ – шептал, нагнувшись, Строгонов.

Императрица сквозь слёзы улыбнулась. Это заметили. В тот же вечер находчивый граф был выслан под арест в свой загородный дом, на Каменный остров. При этом, через кня-

²³¹ Мальбрук в поход собрался... (фр.).

зя Фёдора Бярятинскаго, был объявлен арест и государыне; Бярятинский успел вызвать заступничество принца Жоржа, и распоряжение об аресте было отменено.

Вскоре пронёсся новый слух об обеде в Аничковом дворце.

Сидя против датскаго посланника, Гакстгаузена, Пётр Фёдорович неожиданно для всех повёл речь о том, что Дания – истонный враг России и что он намерен датскому королю объявить войну за притеснение его родоваго герцогства, Голштинии. На другой же день в городе стали толковать, что против датчан действительно велено снаряжать две сильные армии и что командир измайловцев, президент Академии наук и гетман Малороссии граф Кирилла Разумовский поведёт за границу тридцать казачьих полков. Великий канцлер Воронцов и Волков советовали государю не предпринимать этой войны. Он никого не слушал.

– Нет достойнаго полководца, фураж для армии не выгтовлен, – говорил канцлер.

– Пустяки, с провиантом ещё успеем... А что до полководца, я сам стану во главе обеих армий... Герцоги, мои предки, во время войны никогда не сидели дома... И прежде всего, по пути, я заеду отдать аттенцию²³² и кордияльный решпект моему брату и государю, королю Фридриху... я имел честь в его армии служить как простой солдат... И никто из его братьев и подданных не предан ему так, как я. Он опасается

²³² Аттенция – предупредительность, внимание.

за мою жизнь, анонсирует мне секретно, что русские не приспособлены оценить женерозитет посланного им монарха... О-го! Larifari! Посмотрю я, кто посмеет против меня и моих верных бравых голштинских быков! С ними я спокоен... А уехав, оставляю здесь в ариергарде пронизательных и зорких надсмотрщиков...

Двор к одиннадцатому июня готовился переехать за город. Было слышно, что государь, по обычаю, думает поселиться в любимом своём летнем дворце, в Ораниенбауме, что сына он решил оставить с Паниным в Петербурге, а государыне приказал отвести для житья дворец в Петергофе.

Двор веселился. Прогулки за город и вечера с игрой в «бириби» и в «кампас» чередовались с концертами и распеванием, под звуки лютни, нежных и чувствительных немецких романсов и русских песен сочинения придворного музыканта Белиграцкого.

В насмешку над замолчавшим Ломоносовым иноземные фавориты посоветовали президенту Академии поощрить гуляку-стихотворца Баркова, которому за оду в честь нового государя и было дано звание академического переводчика.

Короноваться государь откладывал до возвращения из похода против Дании.

– Корону заказать надо в Гамбурге, – объявил он Унгерну. – В России нет и порядочных ювелиров; дорого, да и некогда, – увенчаемся сперва победными воинскими лаврами...

Об императрице не было почти слуха. Говорили одно, что государыня Екатерина Алексеевна живёт совершенной отшельницей, без всякого значения, силы и власти. На неё обращали менее внимания, чем на племянницу канцлера, графиню Елисавету Романовну Воронцову.

– Я люблю дисциплину, я требователен, но даю и льготы! – говорил Пётр Фёдорович. – Пусть народ отдыхает – время строгостей и ужасов в России прошло... Пусть меня в потомстве назовут ласковым Титом...

И действительно, – в первые дни своего правления, – Пётр Фёдорович возвратил из ссылки множество лиц, сосланных при его тётке, Елисавете Петровне.

На поприще высшего общества Петербурга, что ни день, с весны 1762 года стали появляться странные, незнакомые и чуждые новому поколению призраки прошлого, престарелые елисаветинские сановники и временщики, которые некогда ворочали судьбами России, а теперь казались мертвецами, вставшими из давно забытых и обвалившихся могил.

В начале июня Мирович был на возвратном пути из Пруссии. Но ему в первом пограничном городе предъявили ордер военной коллегии – остаться на месте, в Петербург не ехать и ждать дальнейших распоряжений от ближайшего начальства. Здесь он получил письмо от Пчёлкиной.

Поликсена удивлялась, что он медлит возвратом, и при-

бавила, что Чурмантеев получил перевод за Волгу, что он уже давно оставил Шлиссельбург и на днях едет с детьми в Казань и далее. Поликсена сперва предполагала остаться у Бавыкиной, но раздумала: как бы из того не вышло для неё, сосватанной невесты, каких вредительных толков и последствий.

«А куда деться, не знаю, – писала она. – Вы же, сударь, Василий Яковлевич, так скупы на вести. Зовут меня Птицыны, и я думаю к ним временно переехать. Пишите туда. У них дача на Каменном, и очень просят. Или посоветуете что иное?».

Ордер военной коллегии и это письмо так смутили Мировича, что он не знал, на что решиться.

«Чурмантеев переведён за Волгу, Поликсена опять в Петербурге, – терялся он в догадках. – Вредительные толки и последствия... Что всё это значит? и где принц? ужели наконец освобождён? В иноземных журналах о том что-то писано...»

Император Пётр Фёдорович, катаясь в первых числах июня по Петербургу, вздумал осмотреть в Петропавловской крепости монетный двор. При это он сказал окружавшим:

– Сия фабрика мне, господа, нравится больше других; будь она прежде моя, не так бы я аранжировал²³³ ход моих финансов: знал бы, как ею пользоваться...

²³³ Аранжировать – учредить, навести порядок, расположить.

В крепость государь въехал в северные, Кронверкские, ворота, на которых кинулась ему в глаза неожиданная, сильно озадачившая его надпись.

Большими, бледными, полинявшими от времени и солнца буквами на верхней перекладине было написано:

«Иоанновские ворота – 1740 год».

– Барон! – с чувством почти испуга сказал император сидевшему рядом с ним Корфу. – Взгляните! 1740 год!.. имя Иоанна! Вот чудо... Везде это слово скоблили, плавили, жгли, а здесь-то, в крепости, и проглядели... Когда придёт момент, и мой племянник, бывший император Иоанн Третий, с должной помпой, опять со мной въедет в Петербург, первое, что я ему укажу, будет это имя.

Случай с надписью даром не пропал.

«Забыл я о нём, забыл, – думал, едучи из крепости, Пётр Фёдорович, – и никто не напомнил! Что откладывать и ждать постройки нового дома? Вывезти его скорее из Шлиссельбурга... И ему станет легче, познакомится с принцессой Екатериной, своей невестой, и задуманное дело помалу начнётся...»

Через день в Шлиссельбург от Унгерна была послана эстафета, сильно озадачившая коменданта и нового старшего пристава.

«А ведь белую-то планиду и впрямь вспомнили на нашем горизонте, – подумал Жихарев, идя объявить арестанту радостную весть, – не забудь, о Господи! рядом с ним и нашу

ХII МОСКОВСКИЙ СТУДЕНТ

В начале июня 1762 года Ломоносов съездил на несколько дней за город, в собственные, пожалованные государыней, мызы Коровалдай и Устьрудица, взглянуть на хозяйство и освежиться на сельском воздухе.

Эти дачи лежали за Ораниенбаумом, в тогдашнем Копорском уезде, в семидесяти верстах от Петербурга, и были подарены Ломоносову для устройства фабрики разноцветных стёкол, бисеру, пронизок и стеклярусу – «как первому в России тех вещей секрету сыскателю». Земля этих имений омывалась глубокой и быстрой рекой Рудицей, на которой, лет десять назад, были устроены мельницы, лесопильня и завод цветных стёкол.

Теперь всё это было запущено.

Небольшой, из еловых брёвен дом, с постоянно закрытыми ставнями, одной стороной выходил к сплошным вековым лесам пустынной Ингрии, другую – к холмистому берегу моря. Над почернелой тёсовой кровлей со скрипом вертелся заржавленный жестяной Эол. То был значок самопишущей метеорологической обсерватории. Служилые здания вокруг дома, фигурчатый дощатый забор и мост через реку ветшали без присмотра и также были запущены. Одна дорога – бере-

гом моря – вела на Ораниенбаум и Петербург, другая – в гору – к соседям, из которых ближайшим был женатый на внучке фельдмаршала Миниха владелец мызы Анненталь, барон Иван Андреевич Фитингоф.

Тридцать лет назад сам крестьянин-рыбак, Ломоносов с своими двумястами крепостных чухон, коих по указу «при той фабрике – записали вечно», был заботлив, справедлив, но, как вообще с подчинёнными и младшими, требователен и строг. Он любил их, заботился об их нуждах и не смотрел на них как на чужаков, свысока, забавляясь, когда иной заморыш-мужичонка, при встрече, не снимал перед ним шапки и, по простоте приходя к своему знаменитому барину, садился перед ним и рассказывал о своих нуждушках.

– Дессьянс-академик я – почтение от всех мне указано свыше! Смотри не осрами меня при других! – шутил коровалдайский барин, угощая мужичонку брагой и вином.

Хозяйство Ломоносова, особенно в последние годы, шло из рук вон плохо. Желтоволосый и желтоглазый, но хитрый туземный бурмистр Адамка Кювейляйнен по мельнице и по прочим статьям давал в настоящее время Михаиле Васильевичу такие отчёты, что и шкурка за вычинку не выходила. Зато Адамка являлся перед барином из хатёнки, сколоченной из пеньев, поленьев, мха и коры, не только без шапки, но в доказательство своей убогости и ничтожества нередко даже босиком и называл его не иначе как «рафчик» и «ваше вишкаротие», а его сума и он – толстели не в меру.

И в тот приезд Михайло Васильевич больше занимался проверкой самопишущего Эола, чем учётом ветшавшей лесопилы и покрякивающей набок мельницы. Он поговорил с Адамкой о приведении в порядок дома, кое с кем из крестьян; задумавшись, посидел на крыльце, с которого виднелись вдали готические деревянные башенки Анненталья; полюбовался видом тихого, безбрежного моря и уехал в Петербург лесною глушью, полною птичьих песен и криков и вечернего запаха трав и дерев.

«Доброобычайный народ, – думал он о крестьянах, в помощь болевшему и хиревшему скоту которых он велел и в этот раз, по случаю засухи и бескормицы, раздать лучшие луга, – благородным учтивством и заботой лучше всего им фавор свой приятным и желанным сделаешь... Эх! Надо бы подольше погостить у них, ближе приглядеться к сим, мало ещё осмысленным... Да дела, службы склад не допускают... Надо урваться, подумать...»

В дом свой, на Мойке, Михайло Васильевич возвратился обновлённый, с лёгкой, открытой для тихих радостей душой.

– Через недельку, – ласково сказал он жене и дочери, – всё на мызе будет готово. Вот вам сюрприз – вы переедете туда на всё нынешнее лето.

Дочь запрыгала от радости; жена вздохнула, нахмурилась.

– В городе всё становится дорого, – объявил Ломоносов, – там покупать нечего – огород, живность и хлеб свои. И коровы ваши подкормятся на лугах. Одна беда, сударыни мои,

доходу притом ни алтына...

– Мы и так, герр профессор, – перебирая фартук, ответила жена, Лизавета Андреевна, – мы и так – что нам? – привыкли сидеть дома...

– И отлично, сударыня, делаете! – с улыбкой, поклонясь, произнёс Михайло Васильевич. – Лучше сидеть, с работой или с умной книгой, дома, в дализне от шума и от всяких людских дрызг, чем – Бог мой! – иметь обхождение с пустыми комедиантами и вредными шатателями да пересудчиками... С ними в семье вкрадываются дурные упражнения, расколы, колобродства и всякие враки... Я – против них, против них!.. Да и вы, фрау профессорин, согласитесь, не наживёте гипохондрии на хозяйстве, в заботах о своих нуждах и о своём угле.

Рано утром следующего дня Ломоносов вышел в свой городской сад, подрезал несколько сухих и лишних веток, осмотрел щепы и колировку плодовых деревьев. Засучив рукава, докопал начатую грядку для выписанных на пробу семян дикого хлопчатника, *asclepias syriaca* и, обложенный книгами и рукописями, засел в отдалённой рабочей беседке.

«Ну, теперь не скоро выйдет оттуда! – глядя в сад, подумала Лизавета Андреевна. – Забудет обо всём, даже о еде... О, du, mein Gott! ist das ein Mensch!..²³⁴ Энтузиаст! фантаст! Не станет умываться, бородой обрастёт... И так на неделю, на несколько недель... Ох! и что он пишет?.. О Сибири, об

²³⁴ О, мой Бог, это такой человек!.. (нем.).

индийских и китайских царствах твердит... А у меня всего одно шёлковое платье – всего одно... У академической секретарши Тауберт, у профессорши Винцгейм до пяти, да ещё в своих колясках по городу ездят... Мы больше ходим пешком. Были жильцы; а теперь, вон, портной Крих, будто из-за наших перестроек, а я думаю, из экономии, из расчёта, переехал на Литейную; булочник Миллер метит в Ораниенбаум – двор туда собирается, – да и фрау Бавыкина нашла место у какой-то греческой богатой дамы – в этакую глушь к Калинкину мосту переехала... На мызу! И что там хорошего, среди грубых здешних мужиков! Это не Марбург – золотая моя родина... О коровах, фантаст, энтузиаст, думает, а о наших удобствах ни слова...»

Лизавета Андреевна ошиблась. Михайло Васильевич, на этот раз, в должное время, а именно в полдень, покинул беседку, плотно, с удовольствием пообедал, пошутил с Леночкой – «Ты-де ланито-лилейная и золотокудрая, греческая Елена, и как бы тебя кто ещё у меня тут не похитил!» – ушёл в опочивальню и заснул там часа полтора. Потом опять занимался в беседке.

Был уже вечер, когда Ломоносов оставил стемневший сад и с портфелью появился на крыльце каменного дома на Мойке, куда в конце мая он перешёл с семьёй по случаю переделок в очищенном жильцами флигеле. Михайло Васильевич не стеснялся горожан. Он на виду всех любил по вечерам сживать у себя на крыльце под тенью берёз – без парика и в

том самом стареньком китайчатом халате, в котором обыкновенно работал. В этом же халате он раз здесь принимал и знаменитого своего друга и соседа по Мойке, Ивана Ивановича Шувалова, в золотой карете и в ленте в былые дни заезжавшего к нему на беседу прямо из дворца.

Просторное, заслонённое берёзами, крыльцо выходило на немощёный, поросший травой берег Мойки. Солдатки на плоту мыли бельё. Барочки, перекликаясь, тянули на лямках грузную расшиву с кирпичом. Чья-то гусыня с жёлтыми гусятами паслась на траве. Гурьба босоногих ребятишек и девочек с соседних дворов бегала взапуски по зелёному берегу, поднимая столбы густой, жёлтой пыли всякий раз, как выскакивала на избитую уличную колею. Красно-пегая голландская корова Лизаветы Андреевны, подойдя с поля, ждала у ворот, пока дворник и водовоз, отставной бомбардир Скворцов, отопрёт ей калитку. Собственный белый чудской кабан Скворцова, хрюкая, тёрся у заборов.

Леночка принесла отцу на крыльцо ковш холодного мятного квасу. Он выпил его залпом, поцеловал Леночку, потребовал ещё кружку и отпустил дочку бегать на улицу. Усевшись на лавке, он на круглом липовом столе увидел свой рабочий портфель и два письма.

В одном письме было приглашение из Измайловского полка, на девятое июня, от его соседа по мызе, барона Фитингофа на вечер, на беседу и на трубку табаку.

«Знаю я эту трубку, – подумал, отодвигая письмо, Ломо-

носов, – вечеринка в честь возвращённого знаменитого деда, Миниха... Нет сомнения, вся знать будет там перед разездом дворов на дачи... Ораниенбаумцы и петергофцы... Монтекки и Капулетти... Одиннадцатого июня разместятся до новой стычки оба враждебных лагеря... А до разъезда – эта сходка главных нынешних решителей наших судеб, голштинцев и прочих немцев. Противны пакостных креатур лица и речи!.. Ну их к ляду... не поеду! Стар стал – толкаться меж дворскими, да и ни к чему. А они всё ковы точат против Екатерины Алексеевны... Жаль моей разумницы! Душу отдал бы за неё, гонимую, хоть и не знает она этого, не ведаёт. Вот от кого процветал бы собор драгих наук! Как-то её занятий, беседы в тишине с гениями веков! Шутка ли, по-русски говорит и пишет, как прирождённая россиянка, – да куда, лучше многих русских... Навестил бы её, ещё осудят. Никуда теперь не езжу, замкнулся и высматриваю, что будет... А будет, кажется, неладное... Любопытно бы только, скоро ли?».

Второе письмо было с почты от Мировича.

«Высокочтимый и истинный мой защитник и покровитель, – писал Василий Яковлевич, – прости за доuku сей моей цидулки. Со мной приключились дивные, прискорбные дела. Первое – мир давно заключён, а меня, временно посланного с комиссией от Нарвского полка, задержали при возврате, якобы для охраны раненых, сперва под Ковною, а потом в другой трущобе, в сквернейшем жидовском городишке,

в Шавлях, где и ныне обретаюсь. Ах многомилостивый патрон и раделец мой, спасите! Писал я неоднократно, при посылке штафет, просил я отрядного и лекарей: ну точно как все глухие. «Не прогневайся, – отвечали мне, – вздор городишь и разума, видно, весьма лишился; ну, нешто можем мы против воли свыше идти? Сиди и жди». Михайло Васильевич! Господа Бога ради, побывайте у кого-либо из сильных голштинцев. Вы их браните; а они, властные, теперь ещё более в ходу. Слышно, Бирон, да и Миних также, воротились из ссылки и, на приклад коршунов, опять витают над столицей. Попросите их или кого из немцев в вашей Академии, чтобы меня выпустили отсель. Вас послушают. Не то – беда. Истина ужель прогнана из мира? Повышение – в низость, отличие – в страдание и в горе обратились! Живу, как отшельник-монах, поучаюсь терпеть и всякие муки в вящее назидание и в побуждение к внутреннему свету принимаю. По завету учителей великого ордена, совлекаюсь ветхого Адама, готов ратоборствовать против тлена, грехов и сатаны, готов подвизаться среди всяких соблазнов, не касаясь сердцем их суеты. Но станет ли сил? Кругом зависть, злоба, оголтелые пьяницы, моты, вечные ссоры, попойка, картёж. Бросил бы всё, бежал бы, да засудят, как дезертира. Подожду ещё малость. Не пособите вы мне – беда! Что предпринять, что и мыслить, несведом. Ах, если бы вы видели ту мёртвую глушь и дичь, тот хребет тигра, на коем я сажу ныне, между жизнью и

смертью!

В. Мирович».

Задумался Ломоносов над этим письмом.

«К голштинцам, к доннерветтерам идти! Эка напасть Божья, природы издѣв! – сказал он себе, разведя руками. – А жаль малого! со смыслом и с душой! Совлекается ветхого Адама... Насочинили врак тупые немецкие головы про ма-сонство, сей и без того противуприродный, светский аске-тизм... Жить бы, жить да утешаться... И предмет его, та де-вица, чай, по правде, тоже не без тоски, в толиком угрюмстве судьбы... И везде-то, во всём такая бестолочь, такие сполохи отворѣнного во все концы политического и общественного нашего горизонта... Что же делать? Что предпринять?».

Ломоносов открыл портфель, бросил туда письмо, достал рабочую тетрадь, перевернул несколько страниц и задумался над стихотворением «Кузнечик». Он набросал его в послед-ний из проездов через петергофские леса:

*Кузнечик дорогой, коль много ты блажен!
Коль больше пред людьми ты счастьем одарѣн!
Препровождаешь жизнь меж мягкой травой
И наслаждаешься медвяною росой...
Хотя у многих ты в глазах презренна тварь,
Но в самой истине ты перед ними царь...
Ты скачешь и поѣшь, свободен, беззаботен...
Что видишь – всё твоё, везде в своём дому —
Не просишь ни о чём, не должен никому...*

«Не просишь, не должен! – вздохнул Ломоносов. – А главное – свободен! волюшка, родная воля! далёкое Белое море, отцовский порог... А здесь? Интриги, перевёртни-проходимцы и вечная подземная, кротовая война! Великий мой герой, Первый Пётр! Для того ль, в торжество ли и избыт иноземной, алчной лжи, затеял ты любимое своё чадо – Петербург?.. Уеду, брошу этот Вавилон, брошу неверные, бурливые дни. В сермягу оденусь, бороду отпущу и навсегда скроюсь в деревенскую тихую глушь... Вышел из народа, в народ возвращусь... Пора!».

Крики и беготня детей на берегу неожиданно смолкли. Ломоносов взглянул на улицу.

Шагах в двухстах от его двора, к стороне Синего моста, остановилась наёмная извозчичья коляска. Сидевший в ней, склонясь, о чём-то говорил с уличными ребятишками. Крыльцу подбежала Леночка.

– Кто, кто? – спросил Ломоносов.

– Внесён... фон... или как... ну, Внесён... – в силу переводя дух, ответила вся красная от беганья Леночка. – Студент из Москвы... он вам писал...

– А! вспомнил, зови! – сказал, суетливо запахивая халат, Михайло Васильевич.

«В иностранную коллегия просится... стихи намедни прислал на прочтение!» – рассуждал он, прикрывая голову старым, порыжелым треуголом.

Коляска подъехала к воротам. На крыльцо взошёл круглолицый, с румяными пушистыми щеками, пухлыми губками и большими выразительными глазами, восемнадцатилетний, миловидный, хотя несколько мешковатый и не по годам полный юноша. На нём был серый, с иголки, студенческий демикотоновый кафтан. Из-под приплюснутой треуголки выбивалась русая, в природных шелковистых букольниках, коса. Он улыбался, напоминая движениями беспечность резвого, хорошо откормленного жеребёнка-сосунка. С появлением на крыльце послышался запах вошедших тогда в моду духов киннамона, или петушьих ягод, *rosa cinnamomea*.

– Лейб-гвардии Семёновского полка сержант и московский студент... – начал гость, добродушно и угловато раскланиваясь. – Четыре года назад, в доме нашего куратора, его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, имел счастье быть вам здесь представленным...

– Да, да... Как же-с, помню. Добро пожаловать.

– И вы меня ещё тогда спросили, чему я учился. А я имел честь ответить: по-латыни, – за что и был вами апробован! – продолжал, обмахиваясь клетчатым платком, студент.

– Так, так, господин Фонвизин! И это всё припоминаю, – произнёс с улыбкой, усаживая гостя, Ломоносов. – И письмо ваше получил, и экстрактец о задуманной комедии одобряю. Что же? Пишете – как бишь вы думаете назвать? – «Бригадира»?

– Начал-с, да не спорится всё, – вспыхнув по уши, ответил

юноша, восхищённый вниманием великого писателя.

– Что же мешало? Розы удовольствия? Ученья шипы?

– Правду изволили сказать, развлечений премного-с!.. Знаете, в Москве так весело, столько родных... и под Москвой тоже... у бабушки. Маланья Ивановна, моя бабушка, старенькая, а пребедовая – на арфе играет, любит весёлости и вас всего наизусть знает. Вот поступлю на службу, разве тогда...

– Пишите, государь мой, обличайте злые и глупые нравы, – сказал Ломоносов. – Знатный вымысел взяли вы, и сюжет сильно сходствует времени. Сколько таковых бездельнических невежд бременит землю! Да супругу-то задуманного пустозвона, бригадиршу-то, постарательней оболваньте. Всем нашим дурафьям-щеголихам сродни таковая архибестия. Да умненько, батюшка, острой ловкости слово выискав, уязвите притом и наше гонянье за модами, с их бестолочью, развратом и всякою пустошью!.. Вы это сумеете. Имя и отчество ваше?

Гость назвал себя.

– Да-с, Денис Иваныч, пишите. Иначе – грех. Талант Господь Бог дал вам несомненный.

– Стихи же... изволили ль вы пробежать стишки? – пожирая восторженными глазами знаменитого поэта, спросил Фонвизин. – Я вам, Михайло Васильич, послал из Москвы несколько листков...

– Не просто прелесть, а отменная! – с улыбкой ласковых,

строгих глаз, откинувшись на лавку, сказал Ломоносов. – Вот ваши писания – здесь, в эту дневную мою тетрадь вложены. Хотел отвечать, да был в деревне. Не расстаюся с ними, люблюсь... Лиса-Кознодей восхитительна. Похвалы её умершему Льву бесподобны: «...он скотолобие в душе своей питал!». Ай да утешили... Преметко сказано, но не меньше гуморичны и злы и сии протесты Крота:

*Трон кроткого царя, достойна алтарей,
Был сплочён из костей растерзанных зверей.
В его правление любимцы и вельможы
Сдирали без чинов с зверей невинных кожи...
И словом, так была юстиция строга,
Что кто кого смога, так тот того в рога...*

– Поздравляю, государь мой, поздравляю! Талант! – продолжал с искренним увлечением, похлопывая рукой по рукописи, Ломоносов. – Стрелы Свифта и соль Буало²³⁵!.. Метите, сударь, прямо в Горации... Выдержка только, выдержка, неоскудевающее терпение и труд. В послании ж к уму своему и благодушие, и острая издёвка сатириствуют вместе.

*Ты хочешь дураков в России поубавить,
И хочешь убавлять ты их в такие дни,
Когда со всех сторон стекаются они?..
Когда бы с дураков здесь пошла сходилка,*

²³⁵ Буало Никола (1636—1711), французский поэт.

Одна бы Франция казну обогатила...

– Именно так, именно! – произнёс, расхохотавшись и закашливаясь, Ломоносов. – Ну, мило, да и всё тут... едут, стремятся в чужие края – мудрости искать. А глядишь, юный российский поросёнок, объездив театры да кофейни чужих краёв, возвращается отнюдь не умнее – сущую русскою свинойей!.. Но позвольте, чем же вас, сударь, потчевать?

– Помилуйте, – ответил, вскочив и раскланиваясь, Фонвизин.

Он не знал, куда глядеть. Вспотевшее, миловидное, обросшее пушком его личико выражало детскую растерянность и страстный восторг.

– Э, без того нельзя-с... Леночка, а Леночка! – крикнул Михайло Васильевич. – Мочёной морошки нам принеси, с сахарком... Холмогорские земляки, Денис Иваныч, постом в презентец привезли. Не обессудьте, отведайте...

Подали морошку.

Беседа не прерывалась. Солнце село. Берег Мойки стал пустеть. Ушли дети, бабы-матроски, гусыня с гусятами, корова Лизаветы Андреевны и дворников кабан. Хозяин и гость с крыльца отправились в сад. Над соседними кровлями вырезался месяц. И пока он поднялся, осветив чистое, далеко видимое небо, академик и студент, разговаривая, прогуливались по извилистым, полным прохлады и смолистой мглы дорожкам.

– И помните завет друга, – замедлив шаги, сказал с увлечением Ломоносов, – высоко чтите союз добродетелей, аккорды общего блага и добра... Будьте благовестником вечной правды, подальше бегите от насытых в роскоши и всякой подлости креатур низкопоклонной толпы. Чай, знаете, видавали таких; в голове сквозит, пусто; на теле иного свинопаса сорочки нет, а ходит в бриллиантах, в шелку... нате, мол, каковы-де мы!

– Так вам, сударь, угодно, чтоб я замолвил о вас словцо канцлеру? – спросил, на расставанье, Ломоносов.

– Век Бога заставили бы молить.

– Но чем же моя речь будет сильней речи хоть бы Ивана Иваныча, коему вы были когда-то представлены?

– Фаворит боле не фаворит... а Ломоносов был и век останется Ломоносовым! – с неподдельным чувством и снова вспыхнув до корней шелковистых русых бужей, ответил Фонвизин.

– Так, так, – сказал, замявшись, Ломоносов, – много чести! Только ошибаетесь вы, сударь... не те нонче времена...

– Не ошибаюсь, Михайло Васильич. Канцлер чтит вас и не откажет. А уж мне-то как поможете! Служба даст положение в свете, средства к жизни – родители мои в них, к сожалению, недостаточны, – а с средствами, с поддержкой сочувственных друзей только и можно у нас писать.

– Верно сказано, по себе знаю, – произнёс, оживляясь, Ломоносов, – поддержка, друзья – с ними прочней работа...

Шумя, пчёлы мёд несут... Другую правду сказали. У нас на писателя смотрят ещё аки на общего обидчика или шута. Думают, что учёный, подобно Диогену, должен с собаками жить в конуре. Срамословы, злые невежды и высокомерные Фарисеи! У меня, на приклад, – опять раздражившись, с горечью воскликнул Ломоносов, – как хвороба зайдёт, семье подчас медикаментов не за что купить. Фабрика мозаических стёкол да прочие эксперименты все доходы при трудностях домашних надолго поели... Шельма ж, нашей конференции советник Шумахер – главный клеветатель и персональный мой враг – зятю своему, Тауберту, в приданое почитай, всю академию отдал, а мне – изобретённой мною астрономической трубы на казённые деньги, треанафемская немецкая дубина, никак всё не справит... Змеи под травой! И уж как, право, жаль, что доселе их не догадались перевешать...

Гость и хозяин подошли к садовой калитке.

– Так как же, Михайло Васильич, – утираясь платком и опять распространяя запах киннамона, спросил Фонвизин, – удостоите поговорить обо мне с канцлером?

Ломоносов не сразу ответил. Он не спускал глаз с миловидного, даровитого юноши, в русских букольках и в сером, с иголочки, летнем полусуконном кафтанчике, стоявшего перед ним.

«Дай Бог ему, дай Бог! – думал он. – Новая сила родного ума!.. Но как ему помочь?».

Он вспомнил о приглашении на вечер к Фитингофу.

«Давно я не вылезал из своей мурьи! – сказал себе Михайло Васильевич. – Разве натянуть парик да форменный академический кафтан и уж заодно на том голштинском сходбище порадеть и о Мировиче».

– Долго ли прогостите в Питере? – спросил он гостя.

– С неделю, а коли нужно, и долее. Отпущен родителями на месяц.

– Где живёте?

– У дяди, в Измайловском полку... Вот мой адрес... Позвольте, у меня книжечка, я запишу... Как приедете, спросите болото, за болотом огород, а на огороде, в такой уединённой каменке, – баня или кузница там прежде была, – мне, как наезжаю, и отводят жильё.

– И отлично – сегодня четверг, – решил Ломоносов, – в воскресенье вечеринка в Измайловском тоже полку, у соседа моего по имению, коли слышали, у барона Фитингофа. Канцлера я давно не посещал; никуда не езжу. А он их сторона... Я справлюсь, и если граф Михайло Ларивоныч будет там, я также туда поеду, и о вас, государь мой, как бы к случаю, понимаете, поговорю.

– Не нахожу слов благодарить! – ответил с поклоном Фонвизин.

– Недреманное бдение грамотных русских людей, а особливо хоть молодых, но столь талантливых, – сказал Ломоносов, – государству нужно... Вон государева жена, Екатерина Алексеевна, – слышали ль, какие подвиги в российском сло-

ге в тайности совершила? Давно ли, на моей памяти, писывала в партикулярных цидулках: «её мысли...», «газайн» вместо «ея мысли» и «хозяин...». А теперь и нас с вами за пояс заткнёт. Достоинно подражания... А знаете ли, сударь, кстати, какую опечатку, например, сделали в «Петербургских Ведомостях» при оповещении, в ноябре шестидесятого года, о взятии Берлина?

– Не знаю.

– То была нарочитая и злейшая шикана²³⁶ обиженных здешних немецких скотов... И я за неё чуть скандалом не съездил в рожу академического секретаря Тауберта... Бывшего нашего посла в Пруссии графа-то Петра Чернышёва, будто по ошибке, вместо действительный камергер, публично пропечатали – действительный камердинер.

ХШ

БАЛ У ФИТИНГОФА

Барон Иван Андреевич Фитингоф, женатый на внучке фельдмаршала, графине Анне Сергеевне Миних, квартировал в большом деревянном доме, выходящем окнами к Фонтанке, у Измайловского моста. Впоследствии на этом месте был дом поверенного Потёмкина, известного Гарновского, теперь занятый казармами. Здесь поселился на первых порах, по возвращении в ту весну из ссылки, Миних, позднее

²³⁶ Шиканить – притеснять, придирааться.

переехавший в дом Нарышкина, у Семёновского моста.

Вечер воскресенья, девятого июня, привлёк к помещению Фитингофа большую толпу зевак.

Набережная Фонтанки и обе стороны огромного, обнесённого высокою деревянною решёткой двора были загромождены экипажами. Раззолоченные и расписанные амурами и цветами кареты, коляски и крытые венские долгуши то и дело восьмериком и четвернёй проезжали с набережной в глубь обширного двора, где двумя рядами огней горели ярко освещённые, кое-где настежь раскрытые окна.

Подъехала зеркальная, всем известная карета шталмейстера Нарышкина; за ним ландо прусского посланника Гольца. Влетел шестернёй, цугом, с арапами и скороходами, светло-голубой открытый берлин молодого красавца гусара Собаньского, родича «панекоханку» Радзивилла. Управляемый Пьери, гремел оркестр придворной музыки. Его прерывал расположенный за домом в саду хор певчих Белиграцкого. Цветники и дорожки сада были иллюминированы. На пруде, против главной аллеи, готовился фейерверк.

– Бал! Чёрт с печки упал! го-го! – хохотали в уличной толпе.

– Кашкады, робята, огненны фанталы будут, люминация! – подхватывали голоса. – Оставайся хучь до утра!

– Орехи, чай, рублёвики будут в окна сыпать...

– Дадут тебе, Митька, орехов... Ишь аспиды, алстинцы! траур по государыне не кончился, а они, супостаты, пир за-

теяли...

С улицы было видно, как разряженные, в цветах и в лёгких бальных платьях красавицы, порхая из экипажей, взбегали по красному сукну крыльца.

– Эвosi, Петряйка, глянь... – графиня Брюсова... Гагарина княгиня... гетманша с дочками...

– А отсуль въехал кто?

– Откуль?

– Да с прешпекту.

– Барон какой-то...

У освещённых люстрами окон появлялись, в звёздах и лентах, известные городу голштинские и русские сановники, мелькали напудренные, в косах, головы военных и штатских щёголей, толпились белые, жёлтые и красные, нового покроя, гвардейские и армейские мундиры.

Был в начале девятый час вечера. В комнатах становилось душно. Танцы из переполненной гостями залы перевели в просторную цветочную галерею, окнами в сад, выходящий в первую роту Измайловского полка.

Менуэт сменялся котильоном, гавот – гросфатером, гросфатер – режуиссансом. Скрипка Пьери стонала горлинкой, бляела барашком, рокотала и заливалась соловьём. Кларнеты, гобои и флейты подхватывали рёв медных труб; контрабасы гудели стадом налетающих майских жуков.

– Генерал-полицеймейстер Корф едет! Корф! Расступись, братцы! – отозвались с набережной.

– Гетман, гетман!

– Где?

– Да вон он, передовые вершники скачут по мосту... фалетор кричит...

– Уноси, Василь Митрич, рыло – сквозь промахнут!..

– Ххо-хоо! – гоготала навалившаяся с немощёной набережной толпа.

В портретной и кабинете хозяина старики играли в карты.

Лакеи разносили вниз ликёры, оршад и лимонад. Толстый, важный, как медеянский пёс, краснорожий швейцар, в большом напудренном парике, с длинными и тоненькими гусарскими косичками на висках, в алом кафтане, с позументом и витишкетами, в чулках и башмаках, стоял с булавой у порога главной гостиной и басом, в жабо, возглашал по новой моде имена входивших важных особ:

– Опперман, Цейц, Медель, Ольдерог, Буксгевден, Катцау, Унгерн, Фредерике, Швейдель, Штоффельн, Розен – герба белых роз, Розен – герба алых роз, Шлипенбах и другие.

В числе русских, за генерал-прокурором Глебовым, вошёл ещё красивый, с теми же густыми, чёрными бровями и с бархатными, но уже не смеющимися глазами, казавшийся усталым и сильно похудевший фельдмаршал Алексей Разумовский. За ним – сморщенный, с дёргающимся правым глазом, директор недавно закрытой тайной экспедиции Александр Шувалов и Волков. При имени Ломоносова взоры

многих, с брезгливым любопытством, обратились на мешковатый, кирпичного цвета, учёный мундир и на суровое и смелое, с желтизной, лицо атлетического плебея-академика, муза которого упорно молчала всю первую половину этого года. Вмешавшись в пёструю, гудевшую говором толпу, Ломоносов сел на канаве у стены между двумя гостиными и стал рассматривать.

Явилась в красном шёлковом роброне, с длинным шлейфом, блистающая красотой и грацией графиня Елена Степановна Куракина, фаворитка недавно умершего графа Петра Шувалова. Её тотчас окружил рой молодых и старых куртизанов.

– Виновница вольностей дворянства, – шушукали о ней злые языки, – бриллиантов-то, бриллиантов!

Куракина громко смеялась на любезности вздыхателей и с торжествующей улыбкой, прикрываясь веером, зорко оглядывала наряды прочих записных щеголих.

В сопровождении двух племянников-пажей показалась в синей бархатной робе, на фижменах, с лентой через плечо и в огненно-дымчатом токе кавалерственная дама Бутурлина. Глаза всех следили за Куракиной. Кто-то вполголоса подмигивая на последнюю, произнёс возле Ломоносова:

– Отбил красотку у покойного начальника Григорий Орлов – да в гору пошёл через свою продерзость повыше...

Толстая старуха Бутурлина отыскивала глазами хозяйку дома. Пыхтя и переваливаясь с ноги на ногу, она подошла к Ан-

не Сергеевне Фитингоф, неуклюже присела по новому придворному фасону и представила вид, что чуть от того не упала. Баронесса и стоявшие возле неё рассмеялись.

– Фиглярит, шпыняет государев указ! – презрительно указал на неё Волкову Александр Шувалов, проходя мимо Ломоносова.

Михайле Васильевичу было не до того. Он не спускал глаз с лукавой лисы, Разумовского, который любезничал и со слезами на глазах целовался с любимцем государя Унгерном.

– Лобза, его же предаде, – склонясь к уху Ломоносова, шепнул сладенький, шепелявивший Бецкий.

Но что это?.. Выходцы с того света...

Блестящая, разряженная в шёлк, в кружева и бархат, молодёжь засуетилась. Все толпятся, указывают на седых и дряхлых, но ещё бодрившихся старцев, которые почти одновременно появляются в глубине гостиной. То были возвращённые ссыльные – Миних из Костромы, Лесток из Углича и Бирон из Ярославля. Толпа расступилась. Ломоносова отёрли в простенок к окну.

Восьмидесятилетний, высокий, с остатками былой величавости и красоты, Иоанн Бурхгардт, или, как его именовали русские, Иван Богданыч Миних, возвратился из Сибири в феврале. Седоволосый, но ещё румяный, раздушенный и крепкий здоровьем селадон будто и не был в двадцатилетней ссылке. Об руку с легкомысленной и красивой Еленой Степановной Куракиной и молодой графиней Брюсе, он не пе-

рестаёт куртизаничь, как куртизанил в царствование Анны Ивановны, целует ручки восхищённых его вниманием очаровательниц, острит и морщится при виде казарменно-вахмистерских лиц и ухваток, составлявших принадлежность новых дворских сфер.

Поодаль от него – семидесятилетний, сосланный этим Минихом, недавний «бич России» – изъеденный геморроидами, на тоненьких, подагрических ножках, с потускнелыми чёрными «страшливыми» глазами, герцог Эрнст Бирон. Возвращённый из ссылки в марте, он идёт с хозяйкой баронессой Фитингоф, брезгливо оттопырив твёрдую, мясистую нижнюю губу, искоса, несмело, из-под отяжелевших век, поглядывая по сторонам и судорожно подёргивая большой, точно из гранита изваянной, сухой, холодной и жёсткой головой...

Сзади них, прощённый ещё в декабре, в оливковом бархатном кафтане и в неряшливом, всклоченном, напудренном парике, скрюченный годами, бедностью и всякими разочарованиями, беззубый, осыпанный нюхательным табаком, хвастливый враль и медный лоб, смелый и наглый авантюрист Лесток.

– Встречаю шестое благополушне царствование – гм! – в благополушня Рюси... – острил он, хихикая и шаркая бархатными штиблетами перед разряженными старухами, некогда первыми красавицами елисаветинского двора.

Ломоносов не верил своим глазам. На него как бы пахну-

ло могилой. Сердце его сжалось. Он смутно вглядывался в живых, но точно молью и тлением тронутых, грозных старцев, некогда двигавших судьбами России.

«Былые боги немцев на Руси! – так вот они прощены!.. стадо лютых волков... А нашего-то горетовского ссыльного, Бестужева, и забыли! – мыслил он, притиснутый к окну. – Бирон! Вижу наконец вблизи этого брюхатого, жадного и злого курляндского паука, в оны скорбные дни упивавшегося кровью тысяч русских... А этот, раздавивший и пожравший земляка-друга, старый интриган Миних?.. Памятно ль им ненавистное выражение «слово и дело» и неожиданная встреча их на станции, когда одного мчали в Сибирь, а другого, сосланного им, из Сибири? Вон раскланиваются, комплименты говорят, потчуют друг друга табаком и оба ворочают носы от сквернавца-француза Лестока, точно от него и взаправду, пахнет кровью замученной фамилии Ивана Антоновича...»

Стали приливать новые гости.

Бирон, шаркая исхудалыми, неверными ножками и подёргивая каменную головой, вмешался в толпу. Миних также хотел пройти в следующую гостиную, но его окружила новая волна дам. И опять его зоркие, сторожкие, улыбающиеся глаза блеснули остротой. Он поднял руку с лорнетом, что-то вполголоса нашёптывает Куракиной.

– Да полноте, Иван Богданыч! Ах, ах, ваше сиятельство! Ну, что это вы! – ударяя его веером по руке, смеётся счаст-

ливая его вниманием Елена Степановна.

«Двадцать лет назад, – подумал Ломоносов, – я стоял в толпе народа, меж Академией и коллегиями, а он, этот беспечный, твёрдый Миних, высился во весь рост у плахи, рядом с палачом. На нём был красный фельдмаршальский плащ, лысая голова была обнажена, а на дворе стоял трескучий мороз. Выслушав смертный приговор к четвертованию, он шутил с солдатами. «Что, батенька, холодно? – сказал он с улыбкой, сходя с эшафота, полузамёрзшему полицейскому офицеру. – Шнапсику бы теперь, – адмиральский час!». Да, это будет надёжнейший оплот Петра Фёдоровича».

Гром музыки в цветочной галерее и новое движение пёстрой весёлой толпы прервали мысли Ломоносова. Он направился к танцующим.

– Господа, кто желает курить, в кабинет или к китайской беседке! – говорил мужчинам по-немецки и по-французски барон Иван Андреевич Фитингоф.

В кабинете толковали о недовольстве Франции и Австрии, о предстоящей войне с Данией. Слышалась одна немецкая речь вперебивку с голштинскими поговорками.

– А знаете, как Нарышкин получил андреевскую ленту? – произнёс кто-то в углу. – Надел её, шутя, вышел в приёмную, а потом докладывает государю: «Совестно, позвольте не снимать – все засмеют».

– Ха-ха-ха! – отзывались важные слушатели.

Часть гостей двинулась в сад, к освещённой фонариками

китайской беседке.

– Где канцлер? – спросил Ломоносов, встретясь в цветочной с бывшим государевым учителем, академиком Штелином.

– На что тебе? Путь в Индию всё думаешь затевать? Не тебе чета был великий Пётр, и тот провалился.

– Не при пустоши. Перемолвить надо об одном молодом человеке.

– Ищи в саду, в буфете. Никогда Михайло Ларионович не курил, а теперь, представь, и он модным человеком быть хочет.

– Не укажешь ли, кстати, оберкригскомиссара Цейца? – прибавил Ломоносов.

– Этот вашей милости для чего? – спросил с улыбкой распомаженный и чистенький, как сахарная куколка, Штелин. – Вон он, видишь, высокий, у двери, с плюмажем... Не поэму ли или оду в честь голштинцев изволил, Михайло Васильевич, скомпоновать?

– Вздор городишь! – сердито ответил, отвернувшись от коллеги, Ломоносов.

Он подошёл к Цейцу, с достоинством отрекомендовался и для вящего успеха, заговорил с ним о Мировиче по-немецки. Грубый, чопорный и совершенно глупый Цейц внимательно выслушал знаменитого просителя, тревожно задвигал густыми, русыми бровями и, думая по-немецки, ответил на ломаном русском языке:

– Вы долг слушесна не знаете, вы дисциплин, извините, не понимаете, а потому... потому отказом не обишайтесь... Bitte um Verzeihung!²³⁷ – Сказав это, тощий и длинный, как шест, государев ордонанс угловато и сухо склонил набок костлявый стан, щёлкнул огромными шпорами и, молча, покачиваясь, отошёл к кружку других генералов.

«Тьфу ты, немецкая, гнусная тварь! – чуть не вслух произнёс Ломоносов. – Ещё наставления, пакостная тараканья моща, делает! знал бы – и не просил!».

Но оставалось ещё ходатайство о Фонвизине. Михайло Васильевич пошёл отыскивать канцлера Воронцова.

Вместо дороги к беседке вправо Ломоносов с балкона взял влево и попал в малоосвещённую глубь сада. Здесь была полная тишина. Дорожки меж высоких деревьев сходились в извилистый, хитро переплетённый лабиринт.

В конце сада, за прудом, на перекрёстке двух аллей, стояла старая развесистая липа.

Под липой, на скамьях, вокруг простого некрашеного стола, сидели трое из гостей. Их трубки вспыхивали в темноте, как волчьи глаза. Четвёртый, разговаривая, медленно прохаживался перед ними. Им было видно всякого, кто шёл от дома. Их можно было разглядеть только вблизи. Они удалились сюда и для беседы наедине, и для освежения на чистом воздухе, увлажжаемом близостью тёмного, покрытого лёгким белым паром пруда. Двое из них, на мировой во дворце, для

²³⁷ Извините, пожалуйста! (нем.).

виду, на днях взялись за бокалы. Но едва государь отвернулся, они разошлись и не захотели пить друг за друга. Здесь они были, по-видимому, друзьями.

– Государь очень недоволен супругой, очень! – сказал по-французски, остановившись у стола, Воронцов. – Всё тормозится от этой размолвки; фуражный подряд для похода не роздан до сих пор... поставщики потеряли головы...

Старчески ворчливый хрип и побряхтывание отозвались в ответ на эти слова. Всё под липою опять замолкло.

– Куда идём? Чего ждать? – продолжал то по-французски, то по-русски великий канцлер. – Прихода ожидается пятнадцать миллионов, расхода шестнадцать с половиной. Чем покрыть дефицит в полтора миллиона? А тут эта война с Данией! Всюду ропот! – в собственной фамилии государь отнюдь не ассюрирован. Ни о чём нельзя просить, ни на что надеяться...

– Племеннис ваша, Элиза Романовна, утешийт его! – ответил по-русски, попыхивая из витой трубки, Лесток, – Жёнушка будет, обвеншался можно тихим маньер...

– Опасно! – сказал Воронцов, – В марьяж играть – не в дурачки... Не простят нам того наши персональные враги. И без того супцонируют²³⁸... Положим, племянница моя так близка государю... Но за Екатерину Алексеевну – шутка ли – гвардия, народ... везде неспокойно, подглядывают следят...

– Постричь немножко!.. в монастырь на хлеб и вода! –

²³⁸ Супцонировать – существовать, действовать.

прошамкал сквозь зубы былой пособник императрицы Елисаветы, также когда-то выехавший на монастыре. – Пусть узнает пословица – как это? как?.. вот тебе, бабушка Юрич день...

– Жаль, жаль бедную! – сказал, с сильным немецким акцентом, Миних. – Она грациозна, деликатен так, тиха... Плутарх шитает, хронику от Тасит, энциклопедию Бель и Вольтер... Разумна головушка...

– Каприжесна и лукав! – презрительно и грубо проворчал третий собеседник, молча сидевший на скамье. – Ребеллы²³⁹ и конспираторы! Машкарат!.. бабе спустил, сам бабам будешь...

– Но что же, ваше высочество, делать? – обернувшись на голос этого третьего, мягко спросил Воронцов. – Dites-le au nom de Dieu! votre experience et puis...²⁴⁰ ваша опытность и предусмотрительность...

– Аррест и вешна каземат! – прозвучал железный голос из темноты.

– Mais... excellence, escoutez!²⁴¹ кто нас заверит? Из тюрьмы ведь люди тоже выходят, – возразил Воронцов, – а заключённого – сколько примеров? – могут отбить из-под всяких закрепов и замков...

– Метод есть кароша другой! – отозвался тот же голос из-

²³⁹ Ребеллы – мятежники.

²⁴⁰ Скажите ради Бога! ваша опытность и к тому же... (фр.).

²⁴¹ Но... Послушайте, ваше высокопревосходительство! (фр.).

под дерев.

– Какой? – спросил с невольною дрожью канцлер.

– Плаха и топор! – кругло и уж совершенно по-русски выговорил Бирон.

По аллее, за ближними кустами, послышались шаги. Воронцов оглянулся, состроил лицо на ласковый, добродушный вид и, беспечной развальцой, пошёл навстречу давнему приятелю Ломоносову.

Они остановились поодаль от липы. Канцлер нетерпеливо и рассеянно вертел в руках табакерку. Ломоносов, видя его смущённое и как бы провинившееся лицо, подумал: «Уж не пройти ли мимо? какой-то секретный тут консилиум... Нет, нечего терять времени».

Он пересилил себя и в кратких словах передал канцлеру просьбу о студенте Фонвизине.

– Всё тот же мечтатель, добряк и хлопотун за других! – утирая лицо и сморщившись, сказал Воронцов. – Рад тебя, дружище, видеть, рад! давно пора явиться... Но время ли, батенька, согласишься об этом теперича, да ещё на балу? Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готов, но... смилуйся, Михайло Васильич, посуди сам...

– Я, ваше сиятельство, домосед, берложный медведь, не шаркун, – с зудом в горле, сжимая широкие руки, сердито пробурчал Ломоносов, – но вас, дерзаю так выразиться, на этот раз трудить моей докукой не перестану...

– Но, cher ami²⁴² и тёзка! вакансий в коллегии нонче нетути. Образумься, пощади! И высшие рангами, смею уверить, как след не обнадёжены... Куда я заткну твоего протеже? Чай, лоботряс, мальчонка-шатун, матушкин московский сынок?

– Не лоботряс, государь мой, – обидчиво ответил Ломоносов, – а за шатунов я отродясь просителем ещё не бывал. Место переводчика прошу я, граф, этому студенту. Он басни Гольберга перевёл, Кригеровы сны, «Альзиру» Вольтера... И первая книга издана в Москве коштом благодотворителей... Усердные к наукам у нас не знают, как им и ухвалиться. И я прямо скажу – таковыми людьми, а особливо русскими, в отвращение вредительных толков и факций²⁴³, брезгать бы не следовало...

– Вредительные факции и толки! Бог мой! – досадливо перебил Воронцов, оглядываясь к липе, где впотьмах, как глаза шакалов, по-прежнему вспыхивали трубки оставленных им собеседников. – *Escoutez, mon brave et honorable ami!*²⁴⁴ правду-матку отрежу... О ком ты говоришь! О каком-то студентушке, о мизерном писце каких-то там книжонок, не больше... Ну, стоит ли! И вдруг вспылит! И всё эвто ваша запальчивость! До того ли нам теперича? То ли у всех на уме? Впрочем, изволь, – прибавил он, подумав, – разве сверх шта-

²⁴² Дорогой друг (фр.).

²⁴³ Факция – дело.

²⁴⁴ Послушайте, мой добрый и почтенный друг! (фр.).

та и без жалованья, да и то пусть прежде выдержит при коллегии экзамент...

– Но, милостивый государь мой, – потеряв терпение, возвысил голос Ломоносов, – где видано?.. Он московский, словесной и философской факультеты студент... а немцев у вас принимают!.. Да когда же наконец столь роковой и пагубной слепоте увидим мы конец?

Он не кончил. С пруда, с громким свистом, взвилась ракета. По берегу вспыхнуло несколько разноцветных огней. Дверь на балкон из цветочной распахнулась настежь. Грянул голштинский, с барабанами и трубами, марш. И сквозь искры шутих и бураков было видно, как впереди блестящей военной свиты, на крыльце, рядом с Гудовичем, в белом с бирюзовыми обшивками голштинском мундире, с аксельбантом и эполетом на одном плече, показался император.

– Так как же, граф? Будет ли наконец уважено? – надвинувшись плечом на растерявшегося Воронцова, спросил Ломоносов.

– Ах, батенька! точно Цицерон: *quousque tandem?*²⁴⁵ не достаёт ещё Каталины!²⁴⁶ – торопливо, трусцой исчезая в боковой аллее, проговорил великий канцлер. – Коли согласны, экзамент и сверх штата...

²⁴⁵ Доколе? (лат.).

²⁴⁶ Цицерон Марк Туллий (106 – 43 г. до н. э.) – знаменитый оратор, писатель и политический деятель Древнего Рима. Известна его яркая страстная речь против Катилины, руководителя антиолигархического заговора.

– Гунсвоты! Каины! – проворчал взбешённый Ломоносов, шагнув за ним, и чуть впотьмах не задел парик Лестока. – Этакого юноши и не оценить... Рвань поросячья! Куда ни глянешь, одна рвань...

– *Quel mot de chien!*²⁴⁷ – послышалось под липой.

– Ребеллы и конспираторы! *nichts weiter!*²⁴⁸ – презрительно заключил, вставая на жиденьких, трясущихся ножках, герцог Бирон. – Бедне России конец... *punktum!..*²⁴⁹.

Ломоносов завидел в гущине берёзок китайскую беседку. Здесь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотреть фейерверк. Михайло Васильевич присел к столику. Нервная дрожь его не покидала. Он сидел без мысли, без движения, прислушиваясь к музыке и к одобрительным возгласам толпы, смотревшей на иллюминацию.

«Боже-господи! да что же это? – сказал он себе. – Куда я попал? И нужно было мне лезть сюда?!»

Он вышел из беседки.

Первая часть фейерверка была кончена. Танцы в доме возобновились. Освежённые на воздухе, дамы и мужчины возвращались весёлыми группами в комнаты. Готовились начать бесконечный, так называемый «саксонский», или нарышкинский, гросфатер.

Цветочная галерея была переполнена. С приездом госуда-

²⁴⁷ Какие непристойности! (фр.).

²⁴⁸ Не более того! (нем.).

²⁴⁹ Точка!.. (нем.).

ря для танцев отворили новую, запасную, надушенную куреньями залу. Ломоносов, мимо напудренных, в цветах и жемчуге женских голов, мимо гвардейских мундиров, эполетов и палашей, тоненьких, в длинных перчатках, девичьих рук и низко обнажённых, пышных дамских плеч и спин, боком протиснулся в эту залу. Он ещё раз хотел найти Цейца и, при помощи гетмана, президента Академии, уговорить его оказать хоть какое-либо внимание Мировичу.

Суета и давка, предшествовавшие любимому, всех увлекавшему танцу, отодвинули Михаилу Васильевича к трельяжу из цветов. За перегородкой в оркестре он увидел перед пюпитром, со скрипкой в руке, императора.

Пётр Фёдорович, ладя струны и чему-то громко, беззастенчиво смеясь, разговаривал с баронессой Фитингоф. Под руку с нею, обмахиваясь веером, стояла среднего роста, полная, прозванная городскими остряками «трактирщицей» – Лизавета Воронцова. Лев Александрович Нарышкин, в бархатном, вишнёвого цвета кафтане, с андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицах, суетился, бегал, останавливался, махал платком и опять бегал, устраивая танец, в музыке которого вызвался принять участие государь.

«Они веселятся, – сказал себе Ломоносов, – фаворитка у всех на виду, все ей поклоняются, льстят... А она, Екатерина Алексеевна, умница моя, прячется, книги читает, навещает свежую могилу покойной императрицы... Сегодня я встретил её... В трауре, в плерезах и в печальной, точно монаше-

ской, шапочке, ехала в дрожках молиться в крепость...»

На другом конце залы внимание Ломоносова привлекло бледное, строгое, встревоженное лицо сухощавой стройной девушки.

Опёршись на руки другой, румяной и весёлой, и как бы окаменев, она, с вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робких, молящих глаз с государя. Перед ней в белом доломане, с барсовым мехом на плече, стоял лихой польской гусар, родич Радзивилла, Собаньский. Улыбаясь, он давно ей что-то говорил, очевидно, приглашая её на grosфатер. Но вот она опомнилась, подала руку, обернулась к подруге. Что-то знакомое встретилось Ломоносову.

«Где я её видел или кто мне о ней говорил? – подумал Михайло Васильевич. – Лица вижу как бы впервые, а между тем... точно где-то её встречал!.. Мушки и ямочки на щеках, серые, как у сфинкса, миндалиной, будто бесстрастные глаза, – и сколько в них вдумчивости, тайны и глубины... Тафтяной палевой роброн, низан перлами, алый бархатный камзольчик и коралловые браслеты – склаваж... Жениховы заграничные подарки... Бавыкина их показывала... Неужели ж это невеста Мировича – Пчёлкина!.. Он её так описывал... Но она была в Шлиссельбурге... Как же и с кем попала сюда? Вот случай... Может сообщить о нём».

Гром музыки прервал мысли Ломоносова.

Вертящийся grosфатер оттеснил его к оркестру. На толстых, упругих, обтянутых в белый шёлк икрах, во главе пёст-

рой вереницы, плыл, отбивая хитрые батманы и пируэты, Нарышкин.

– Веселимся, – сказал он кому-то близ Ломоносова, качнув головой.

«Веселимся», – подтвердили глаза его и прочих танцующих, лёгким роем пролетавших мимо оркестра.

Не успел Михайло Васильевич посторониться, опомниться, не успел взглянуть в ту сторону, куда упорхнула с гусаром худощавая стройная девушка, как его обдали волны зелёной, с золотыми блёстками, кисеи, и он почувствовал запах горошка и резеды. Перед ним, с головными уборами в виде корзин цветов, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая Лизавета Романовна Воронцова. Баронесса представила его последней.

– Давно, давно наслышались, – несколько грубым голосом и нараспев обратилась к нему по-русски фаворитка. – Что пишете, Михайло Васильич?

Кровь бросилась в голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексеевна, на дрожках, в трауре.

– Ничего не пишу... болен был, – ответил он, с судорогой в горле.

– Быть того не может! Что ж замолкла, никуда не является ваша муза?

– Юбка у ней кургуза, – думая, что говорит про себя, вслух сказал Ломоносов.

Обе дамы с удивлением взглянули ему в лицо.

– Мы читали вашего «Кузнечика», – сказала, желая его задобрить, баронесса. – *Voila un vrai genie... delcieux!*²⁵⁰

– Если б я был, сударыня, стрекозой, – произнёс, насупись, Ломоносов, – я бы давно ускакал отсель, скрылся бы в глушь, в бурьян...

– Ни одной оды, помилуйте! – жеманясь, вертясь и оглядываясь по сторонам, продолжала, тоном капризной властительницы, избалованная фаворитка. – Были ведь какие торжества! Мир с Пруссией, фейерверки, спуски кораблей... Вы же стихотворец, академик...

– На то есть другие, – ещё грубее, с дрожанием губ и рук, пробурчал Ломоносов, – напишет сахарный Штелин, переведёт Барков²⁵¹... его ж, кстати, посадили и в дессиянс-академию, другим назло...

Кто-то выручил дам. Они отошли, пожимая плечами.

– Неуч, грубиян, и всё тут! – с тревогой глядя к оркестру, прошептала Воронцова.

XIV АУДИЕНЦИЯ

За перегородкой, между музыкантами, уже не было государя. Пётр Фёдорович сыграл первое колено grosфатера и

²⁵⁰ Вот истинный талант... Прелестно! (фр.).

²⁵¹ Иван Семёнович Барков (1732—1768) – поэт-переводчик, более известный своими непристойными стихотворениями.

передал скрипку Олсуфьеву. В глубине залы он обратил внимание на девушку, танцевавшую с польским гусаром. Едва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошёл государь.

– Ваше величество! – сказала, склоняясь перед ним, Пчёлкина. – Уделите минуту несчастной...

Видно было, как Пётр Фёдорович ласково улыбнулся, подал ей руку и, выпрямившись по-военному, вежливо отошёл с ней мерным шагом к стороне.

– Кто говорит с государем? – спросила, в сером шёлковом молдаване, румяная дамочка.

– Птицына... Майора Птицына дочь... – ответила ей другая дама, в зелёном корнете.

– Нет, ма шер, не Птицына; *quelle idee!*²⁵² та повыше и полнее.

– Так кто же?

– У Оппермана спросить бы... Где барон?

– Ах, посмотри, какая кривляка... Ну беспримерная ужась! Глазами-то, глазами! А плечами как выделывает...

– Притом и бледна... – прибавила зелёная дамочка, – ах, как бледна!

– Да не бледна же, что ты! – перебила дама в сером. – Желта, ну, как мужичка, желта и черна...

– Ах-ах! Посмотри... И ведь туда ж с декларасьонами!

– Э, полно, радость! Божусь, даже смешно слушать, – с декларасьонами! Этакую-то... Не думала я, ма шер, что ты

²⁵² Вам показалось! (фр.).

такой педант...

– Господа, господа! вам начинать! – крикнул с середины залы красный и в поту, выбившись из сил, Нарышкин. – *Tournez a gauche, balancez... chaine!*²⁵³

И опять свивался и длинным, пёстрым змеем скользил бесконечный, балансирующий, приседающий и, в хитрых батманах и плие, порхающий grosфатер.

Государь и Пчёлкина отошли к плющевому трельяжу. Свободные от танцев гости, по правилам этикета, полукругом, стали поодаль от них.

– В чём же ваша просьба? – спросил император.

– Я невеста, – робко, молящим шёпотом, сказала Пчёлкина, – моего жениха, по вашему повелению, услали в армию...

– Жениха? А куртаги, ха-ха, менуэт в костюме нимфы, помните? – спросил Пётр Фёдорович, смеясь.

– До того ль теперь, простите, умоляю, ваше величество...

– Не терпится? Хотите поскорее его видеть? Но ведь теперь пост – свадьбы нельзя... Э!.. Подождите конец месяца, ну, моих именин... Я обещал тогда, и ваш марьяж, верьте, сыграем. Согласны?

– Слышно о новом походе, ваше величество, – поборов волнение, продолжала Пчёлкина, – вы уедете... Я искала случая ещё об одном лице вас просить; вновь его все забыли. Я хотела пасть к ногам вашего величества... в церкви, в манеже, на площади у дворца... Ах, государь, помогите,

²⁵³ Повернитесь влево, балансе... цепочкой! (фр.).

окажите вашу милость... вы так добры...

– Не вам быть у чьих-либо ног, – лукаво улыбнувшись, сказал Пётр Фёдорович, – я виноват... Но mille pardons²⁵⁴, о ком вы ещё просите?

– Вы, государь, обещали к маю приехать, освободить... принца Иоанна; а теперь июнь... Простите, ваше величество, безумной, дерзкой... Я жила у тамошного пристава; его сменили за некое письмо; но не он вам его писал... Казните – я решилась тогда напомнить... и теперь дерзаю...

Поликсена не кончила.

Государь оглянулся. Перед ним, с бледным от негодования и ревности лицом, стояла Воронцова. Багровые пятна проступили на её лбу и на трясущихся от волнения щеках.

– Пару слов, ваше величество, – с хрипом злости сказала она по-французски, – дело весьма серьёзное...

– Ну, ну, что там за спех? Через минуту, и к вашим услугам, – обернулся государь, благосклонно кивнув Пчёлкиной.

Он подал руку Воронцовой. Толпа перед ними расступилась. Они вышли в соседнюю залу.

– С кем вы сейчас говорили? – спросила, подавляя бешенство, Воронцова. – Удостойте ответить, я всё вижу, всё...

– С одной девушкой; она... просила о женихе.

– О женихе? А вы не видите, не слышите, что вокруг вас делается? Спросите моего дядю. Он верный вам слуга; но вы его не слушаете. Смелость врагов зреет не по дням, а по ча-

²⁵⁴ Тысяча извинений (фр.).

сам... Вы уедете, меня заточат, казнят, – заключила, сквозь слёзы, Воронцова.

– Ай, Романовна, как всё это скучно! – перебил с нетерпением Пётр Фёдорович, обернувшись к двери, за которой оставил Поликсену. – Ты по колени в библии ходишь, всяк то знает... Но вы с дядюшкой да с Гудовичем какие-то мрачные пифии. Ах! *ihr alte Russen alle auf einen Schiht!*²⁵⁵ Всё-то у вас ковы да конспирации. Вспомнишь невольню о Швеции... вот тихий, цивилизованный народ... Зачем меня сюда привезли?

– Ваша супруга, – продолжала Воронцова, – что-то готовит; говорят, все роли розданы... Если не с дядюшкой, поговорите с Бироном, спросите Миниха, все скажут... К народу она является в монашеской шапочке, угождает духовенству, черни...

– А вот погоди, Романовна, как через пару деньков передем в Ораниенбаум...

– Но вся молодёжь, слышите ли, вся молодёжь за неё! – топнув ногой, произнесла Романовна. – Спросите – поэты на её стороне, без ума.

– *Nicht, als Eifersucht, mein Kind*²⁵⁶. Ничего, как ревность! – беззаботно усмехнувшись, ответил Пётр Фёдорович. – Даже литературщиков, стихоплётов, вон, вспомнила... Стыдно, фуй! А погоди, перед походом венец устроим,

²⁵⁵ Вы, старые русаки, все на один манер! (нем.).

²⁵⁶ Всего-навсего ревность, дитя моё (нем.).

тебя регентшей оставлю. Тогда что скажешь? Ну, будем же философы, как великий Фридрих...

– Это что? – помолчав, сказал государь. – Канонада ракет, финал фейерверка... Пойдём в сад. Но а пронос²⁵⁷ ты вспомнила о писателях... Я тут заметил одного придирищика... Погоди-ка, надо с ним пару слов сказать.

Музыка смолкла. Гросфатер кончился. Все двинулись на балкон.

За прудом, отражаясь в воде, пылала хитро устроенная брильянтовая колоннада. На столбах горели урны; из каждой вылетали звёзды и били разноцветные огненные фонтаны. И над всей этой картиной, в дыму, как на облаках, обозначился щит с буквами П и Е.

– Пётр и Екатерина, – пояснил кто-то по-немецки своей даме, проходя аллеей мимо Ломоносова.

– Пётр... и Елизавета, Лизка Воронцова... – сердито проворчал им вслед по-русски другой голос из темноты. – На какой только вербе оную метреску повесит свет-матушка наша, Екатерина Алексеевна?

«Э-ге-ге! да Бог не без милости! – сказал себе Михайло Васильевич. – Друзья-то нашей разумницы есть и здесь, в самом лагере её супостатов...»

Ломоносов вздохнул. Ему вспомнилось в это мгновенье время за двадцать лет назад, празднества и фейерверки в честь императора Иоанна Антоновича. Тот же блеск, шум

²⁵⁷ Кстати (фр.).

и суета, но где всё это? И где теперь сам виновник тех торжеств?

Последний сноп ракет с треском взлетел и рассыпался в воздухе. Призыв к танцам опять раздался в доме.

Распоряжался теперь голубой лихач-гусар, Собаньский.

– *A votre place, messieurs et mesdames!*²⁵⁸ – щёлкал он шпорами и хлопал в ладоши, поглядывая, куда делась приглашённая им Пчёлкина, и думая о ней: «Сто дьяблов! как хороша, а когти – тигрицы...»

Молодёжь собиралась в пары заключительного режуйсанса. А между тем уже слышался звон столовой посуды. В портретной, цветочной и угольной накрывали столы к ужину.

Все столпились в зале, спеша попасть в танец, в котором старые и молодые наперебой стремились к одному – быть как можно ветренее, забавнее и шаловливей.

Ломоносов протискивался сюда также, ища глазами Пчёлкину, с которой не успел поговорить. Но Поликсена, в тщетном ожидании государя, заметила круглую фигуру и напряжённо уставленный на неё взор как из-под земли выросшего генерала Бехлешова, сослалась на усталость, поручила кому-то из знакомых извиниться перед гусаром и уехала с Птицной.

«Не судьба! – подумал, опять выбираясь из зала, Ломоносов. – И пакостной цапли Цейца не видно... Делать нече-

²⁵⁸ На места, господа и дамы! (фр.).

го; примечательная неудача! Так обоим просившим и сообщу...»

– Его величество вас требует на аудиенцию, господин профессор! – сказал, подходя к Михаиле Васильевичу, генерал-адъютант императора Гудович. – Пожалуйста... Государь в саду, с балкона налево. Если позволите, вас провожу...

Ломоносов преобразился.

«Веди, голубица берлинского спасённого ковчега, веди!» – подумал он, идя за Андреем Васильевичем Гудовичем и смело, гордо глядя на почтительно расступавшихся перед ним немцев и русских.

Та же глубь сада и та же липа на перекрёстке двух аллей. Под липой, где два часа назад с канцлером беседовали Миних, Лесток и Бирон, без шляпы и со стаканом лимонада в руке сидел, обмахиваясь платком, император. Перед ним стояли Унгерн и Корф. Завидя Ломоносова, государь всех отослал к стороне.

– Давно тебя не видел, Михайло Васильич, садись! – сказал Пётр Фёдорович. – Ты меня совсем забыл. Тётку поддерживал, в одах воспевал. Меня, как вижу, меньше любишь. А на тебя все смотрят, ждут, что ты скажешь.

Ломоносов, почтительно стоя, молчал.

«Вспомнил! – пронеслось в его уме. – Господь, видящий сердце грешных, вразуми меня и просвети...»

– *Voilà*... вот прошёл слух, – с улыбкой продолжал Пётр Фёдорович, – будто ты составил прожектец всех немцев из

России выгонять... Правда ли это?

– Сущая клевета и несообразность, – вспыхнув по уши, ответил Ломоносов, – и я такими ребяческими колобродствами не занимаюсь. Бываю я, простите, особенно в час гипохондрии, резок на слова... Но не в том наши пользы и нужды, государь... Хорошие иностранцы – наши учителя; а я, низжайший, сам у них же, на их родине, свет истины спознал. Не о Варфоломеевской ночи против чужеземных наставников думать нам, а о возвышении и произрастании родных наук. Поумнеем, наезжие менторы нам не будут нужны...

«Расположу его к себе, – насмешливо подумал Пётр Фёдорович, – российский Малерб и Пиндар²⁵⁹. Вот он стоит передо мной. А по-моему, просто ворчун и выдохшийся с годами бумагомаратель и пересудчик...»

– Слушай, Михайло Васильич, – сказал государь, – я, как все, как и дед мой, великий Пётр, имею много неприятелей... Мне предсказывают разные беды, затруднения. Те советуют одно, эти другое. Не знаешь, кому и верить. Слушай... Проси у меня чего хочешь, всё сделаю... только подумай получше и дай мне совет. У нас нет публичных ораторов, как в Англии, нет смелых энциклопедистов, как во Франции. Мне хочется, ну, пришёл каприз, выслушать тебя. А ведь ты, слушай, и надо то признать, первый гений, слава моего трона. Итак, слушаю, Михайло Васильич... *Primo*

²⁵⁹ Малерб Франсуа де (1555—1628) – французский поэт, Пиндар (522—448 г. до н. э.) – греческий поэт.

– проси: secundo²⁶⁰ – советуй.

Что-то едкое, жгучее подступило к горлу Ломоносова. Он хотел говорить и не мог.

«Денег сейчас попросит», – пробежало в весело настроенных мыслях Петра Фёдоровича.

– Ни энциклопедистов, ни верхних и нижних парламентов у нас нет, то правда! – сумрачно ответил Ломоносов. – Есть зато у тебя, государь, песнопевец, газет гремящий!.. Газет гремящий против злых, припадочных людей, против врагов и завистников родины... Лично за себя просьб не имею... В роды родов перейдёт как твоё имя, государь, так и твоего песнопевца. И никто не скажет, чтоб былой рыбак, а ныне известный всему свету, природный русский учёный и поэт, Михайло Ломоносов, чтоб он продавал свои оды за подачки от рук его государей.

– Да я и не говорю! что ты? помилуй!..

– Пел твою тётку, пелосся, – продолжал Ломоносов, – и тебя, обозрев твоих начинаний черты, встретил радостно... Теперь молчу...

– Совет, совет! – нетерпеливо застучав рукой по столу, сказал Пётр Фёдорович.

– Совет? изволь, государь, только не прогневайся. Ты мягкий душой, прямой и добрый человек. Все это знают. Но страна, данная тебе, не аллеманское курфюршество... Она – Россия!.. Тебе нужны мудрые, гением одарённые советники.

²⁶⁰ Первое... второе... (лат.).

– Кто они? где? – спросил, двинувшись на скамье, император.

«Уж не себя ли хочет предложить в советники?» – подумал он брезгливо.

– Помиришь с твоей супругой, – сказал, почтительно склонившись, Ломоносов, – лучшего советника и друга тебе не надо.

«То же и Фридрих советует, – подумал Пётр Фёдорович, – но в этом, и только в этом, он ошибается, – не знает мадам «La Ressource».

– Нет, нет! – ответил с раздражением государь. – Жена непослушна, упорна, дерзка; скажу откровенно – не уважает лучших и верных моих хранителей, голштинцев. Клерикалы на её стороне; вся гвардейская молодёжь, слышно, в неё влюблена...

– И я, государь, прости, из её жарких поклонников, – произнёс, опять склоняясь, Ломоносов.

«Точно сговорились», – с досадой подумал Пётр Фёдорович.

– Ты её обижаешь, теснишь, – продолжал Ломоносов, – а оторванные от недр близких поневоле ищут чужой поддержки и защиты... Таков естества и природы чин!

– Дальше, дальше! – нетерпеливо перебил император.

– Загладь тяжкую ошибку государыни – твоей тётки, – сказал Ломоносов, – освободи несчастного узника, бывшего императора, Иоанна Антоновича... Двадцать лет вопиют из

тюрьмы о его доле... Не приблизишь его к своему трону – отпусти в чужие края...

Пётр Фёдорович сделал опять движение.

– Унгерн и дядя принц Жорж то же говорят, – произнёс он, – да можно ли то, послушай?.. Ну, как его освободить? Ведь он претендент!

– Можно. В том прерогатив и величие твоей власти. Дай ему кончить жизнь человеком... Воспитай его, укрепи здоровье бедного, просвети благами веры и разума... Искупи прошлое... Иначе суд Божий и людской, истории приговор – тебе не простят. Отошли его за границу к родным...

Пётр Фёдорович встал. Сильное волнение его охватило.

Он порывисто оправил на себе шляпу, взялся за портупею, выпрямился, хотел говорить и несколько секунд не находил слов. Шпага дрожала в его руке.

«И та девушка, – подумал он, – и она сейчас о том же просила... Я помню обещания, надо слово сдержать...»

– Спасибо, – сказал император, – часть того, что ты изложил, сущий резон... После узнаешь, я давно, и прежде тебя, думал о том же. В остальном, извини, ошибаешься. Впрочем, будь покоен, отныне я за тебя. Верю тебе и на тебя надеюсь!.. Но ты ничего не просил?.. *Vouons*... Не хочешь о себе, проси за других... Слушаю...

Ломоносов собрался с мыслями и передал ходатайство о Мировиче и Фонвизине. Государь подозвал Унгерна, которому тут же сообщил ордер о своём согласии на обе просьбы.

– Студиозус твой, как видишь, будет принят... А за офицера, – произнёс, улыбаясь, Пётр Фёдорович, – *mille pardons*, не один просишь... И его невеста, ха-ха, момент назад, меня здесь о том же весьма бомбардировала. *Ein Teufels madel!* чертовски миленькая, умная девушка...

Не слыша ног под собой и не покидая гордой осанки, Ломоносов прошёл анфиладой комнат, мимо опять подобострастно склонявшихся перед ним голов, от ужина отказался, простился с хозяевами и, найдя шляпу и трость, пешком отправился восвояси, на Мойку. Глаза его были увлажнены, сердце билось горячо. Длинная тень от луны падала с той стороны улицы, где, шепча какие-то слова, умилённый и расстроганный, шагал «газет гремящий».

По уходе Ломоносова Воронцов отыскал Миниха и долго под руку с ним прохаживался по отдалённым дорожкам сада. Разговор шёл о том же, об упадке финансов, о колебании всех дел и о фуражном подряде для армии.

– *Je conjure, votre Excellence*²⁶¹, – говорил Воронцов. – Напрягите ваше влияние, чтоб государь оказал мне этот фавор...

– Но что я могу? – спросил Миних. – *Was kann ich, mein liebster*²⁶² Михайло Ларионыч?

– *Ecouchez*, – шептал канцлер, – *je vous offre encore une*

²⁶¹ Я умоляю, ваше высокопревосходительство (фр.).

²⁶² Что я могу, мой милый (нем.).

d'etre en moitie avec moi dans ce negoce...²⁶³ мы поделимся – вам половина, мне другая, – прибавил он по-русски. – Только осмотрительней, по одной эхе могут пронюхать и перебьют...

Миних подумал, молча покровительственно сжал под локтем руку канцлера и с важностью вышел с ним из сада.

– Самый опасный – Григорий Орлов, – вполголоса сказал за ужином император Корфу, – надо приставить кого-нибудь в тайности за ним наблюдать..

«Слушаю», – ответил глазами генерал-полицеймейстер.

– Над Дашковой, – продолжал государь, – будет лучший аргус – Романовна, её сестра... Кто ожидал? Сколько притворства! Недаром я не жаловал учёных; во дворце ни одной латинской книжки в моей библиотеке не велел ставить...

Утром император призвал Гудовича, долго с ним совещался, и в тот же день был послан новый секретный гонец в Шлиссельбург.

«В военную службу принца, – рассуждал Пётр Фёдорович. – Я его перевоспитаю, выбью у него дурь из головы, и он бросит бредить...»

В половине июня, поздно вечером, к даче Гудовича, в лесной глуши, на Каменном острове, подъехала с опущенными шторами запылённая извозчичья карета. Из неё вышли озабоченный, пожилой, в синем гарнизонном кафтане, офицер и длинноволосый, бледный, в голштинском плаще, с подпле-

²⁶³ Послушайте, я вам отдам вдобавок половину моей коммерции... (фр.).

тёнными в косу волосами молодой человек.

Кроме государя, хозяина дачи и ещё двух-трёх сановников, никто не знал о прибытии этих путников. Они заняли пустой флигель в глубине Гудовичева двора и первые дни никуда оттуда не выходили.

XV ПЕЛЬМЕНИ

Прождав день и другой Фонвизина, Ломоносов отправился его отыскивать.

«Кстати, навещу и былую мою жилищу, Бавыкину, – решил он. – Пока пошлют приказ в армию, узнаю от Настасьи Филатовны его верный адрес и сам его обрадую приятною вестью».

Бавыкина квартировала теперь у Калинкина моста. Дом дяди Фонвизина был невдали у озера или, скорее, у болота, между светлиц пятой роты Измайловского полка.

Ломоносов заехал прежде к Фонвизину. Среди двора его встретила, с чашей и с грудой тарелок в руках, какая-то здоровенная, но ещё молодая с виду стряпуха. На вопрос о Денисе Иваныче она переспросила: «Чяво?» – и, с досадой ткнув тарелками в сторону небольшой каменки, стоящей между верб и акаций, прибавила:

– Эвوسي! Тут аны и живут...

Был ещё десятый час дня. Из окон каменки между тем уж

слышался стук ножей и вилок и вкусно пахло жареным, с луком, мясом. У крыльца валялись палки и большой шерстяной избитый мяч для игры в лапту. Смех и говор нескольких молодых голосов слышался из-за низеньких, покосившихся и вошедших в землю дверей.

«Рано, однако, обедают на болоте!» – подумал, взявшись за дверную ручку, Ломоносов.

Его глазам, за порогом, представилась крохотная, светлая комната, загромождённая амуничным, книжным и всяким хламом. Сор в ней, очевидно, не выметали по неделям. Пахло табачным дымом. У раскрытого в обширный зелёный огород окна стоял тёсовый стол. За столом, перед батареей пустых и недопитых пивных бутылок, за блюдом дымившихся, плававших в масле пельменей, с добродушными, вспотевшими от еды лицами, в рубахах и без шейных платков, сидели трое смеявшихся военных молодых людей. Одного Ломоносов тотчас узнал. Прочие двое – круглолицый, долговязый, румяный, с крупным носом и карими, весело глядевшими глазами, и другой – постарше, невысокий, широкоплечий и в очках, – были ему незнакомы.

– Куда же это вы, Денис Иваныч, запропастились? – спросил Ломоносов, вваливаясь своим плотным, здоровенным станом через порог горенки. – Заехали, околдовали собой домоседа и как в воду канули... Я с хорошими вестями...

– Михайло Васильевич!!! Батюшка! Великий наш... – вскрикнул и заметался оторопелый и донельзя растерявшийся-

ся Фонвизин. – Господа, господа! – обратился он к вскочившим и также в смущении не знавшим, что делать, приятелям. – Позвольте вам отрекомендовать... тьфу! что я! смею ли?..

– Да полно ты, Денис Иваныч, – обратился к нему Ломоносов, садясь на безногую, на каких-то смешных подставках, прикрытую ковриком кровать, – назови, кто твои друзья, и всё тут.

– Не сюда, не сюда, упадёте... ах, в кресло! тьфу ты пропасть! и оно ведь сломано... не могу! о! да знаете ли, други сердечные, кто это? знаете ли? – произнёс Фонвизин, указывая на гостя. – Наш первый, великий и единственный поэт, Михайло Васильевич Ломоносов.

Молодые люди бросились к своим галстукам и кафтанам, продолжая, с раскрасневшимися лицами, смущённо и безмолвно смотреть на гостя.

– Вот я и нарушил дружескую конверсацию, – сказал, поднявшись с кровати, Ломоносов, – знал бы, и не зашёл... Оставайтесь, господа, как есть, или я сейчас ретируюсь вспять.

– Помилуйте, как можно! ничуть-с... – восклицали, натягивая камзолы и прочее, оторопелые приятели Фонвизина.

– Мы играли в мяч, умаялись и закусываем, – объявил, глядя на приятелей, Денис Иваныч, – они зашли с ученья... А теперь позвольте: вот этот-с (он указал на круглолицего и долговязого, с крупным носом) – старый знакомец дядюш-

ки по Казани, Преображенский рядовой и мой друг по любви к словесности, скромный писец любовных и всяких весёлых стишков, Гаврило Державин... Не красней, брат, не красней!.. А этот (указывая на плечистого и полного, в очках) его и мой приятель, капитан того же полка, Пётр Богданович Пассек. Он-то и придумал сегодня пельмени... И оба они, Михайло Васильич, как и я, ваши поклонники...

Глаза Ломоносова радостно блеснули. Он отменно вежливо поклонился и, ласково глядя на упаренные, цветущие здоровьем лица молодых людей, рассказал Фонвизину о своём предстательстве за него у канцлера и у самого государя.

Денис Иваныч хотел было броситься к покровителю на шею и остановился.

– Михайло Васильич! – воскликнул он. – Как вас благодарить! Вот осчастливили, помогли...

– Резолюция канцлера, – заключил Ломоносов, – была, впрочем, сверх штата; государь, однако, велел вам дать жалованье... Только экзамент, друг мой, экзамент, без этого нельзя...

– Пустяки, – сказал, махнув рукой, Фонвизин, – съезжу в подмосковную, попрошу денег у бабушки или у тётушки – богатая бабушка там у меня, да какая! всего вас знает наизусть! и не далее конца месяца выдержу всякое испытание... Не хотите ли трубочку, Михайло Васильич? Вот пенковая, а вот и табак...

– Ну, и дело... С испытанием мешкать нечего... А вы, су-

дарь, тоже любите слагать стихи? – обратился Ломоносов к Преображенскому солдату.

– По ночам-с, как улягутся в казарме, – несмело и запинаясь ответил Державин, – по ночам-с... мараю так себе, без правил, на рифмы кладу. У нас тесно, опять же солдатство не тем занято, амуниция, смотры – больше в карты, или в свободные часы за вином...

– Что же пишете? – спросил гость.

– Триолеты о красавицах, – произнёс, ободряясь, Державин, – побаски насчёт то есть разных полковых дел... А впрочем, пробовал перекладывать Телемака и Геллерта²⁶⁴...

– На какой же лад вы пробовали их?

– На образец, извините, вашему штилю подражал.

Ломоносов стал набивать трубку. Румянец выступил на его суровом исхудалом лице. Фонвизин делал знаки приятелям.

– А ну-ка, да ну же, из побасок что-нибудь, – сказал он, подмигивая, Державину. – Хоть это:

*Я на то ль тебя спознал,
Для тово твой пленник стал?*

Или это;

Ходит Бергер, – злы минуты,

²⁶⁴ Имеется в виду роман Фенелона «Похождения Телемака». Геллерт Христиан (1715—1769) – немецкий писатель.

*Ко двору моей Анюты...
К вахтпараду припоздал,
В кордегардию попал...*

– Ну, полно... охота! – перебил его, не зная, куда глядеть, растерявшийся Державин. – Такой ли пустошью занимать дорогого гостя?

– Трудитесь, государи мои, трудитесь, – сказал, раскурив и отставя трубку, Ломоносов, – вы наше наследие, преемники! Не давайте заглохнуть бедному, ещё соломенному нашему царству... Пробуждайте, воскрешайте мёртвую землю... Да чтобы в вашу душу не вкрались дурные какие упражнения и колобродства... Главное – труд! А без него ничего не поделяете. Хлеб, господа, за брюхом не хаживал. И много тёрки вынесет пшеница, пока станет белым калачом...

Разговорились о науках, о литературе; от них перешли к городским и дворским новостям. Пельмени были забыты. Мундиры и галстуки, по просьбе Ломоносова, снова сняты.

Вошёл ещё гость, лет восемнадцати, среднего роста, с большим покатым лбом, бледный, с чёрными, задумчивыми глазами и робкою улыбкой на добрых, мягко очерченных губах.

– Также ваш поклонник, – произнёс, указав на него, Фонвизин, – измайловский солдат и постоялец здесь во дворе дядюшки, Николай Иваныч Новиков²⁶⁵. А этот? – обратился

²⁶⁵ Известный просветитель, близкий к Шварцу – главе масонства в России,

он к Новикову, – верно, знаешь? Наш бессмертный Михайло Васильич Ломоносов... Ну, какие новости, друг? В сборной был? Что говорят?

– Да, времечко! – сказал негромко, поглядывая на Ломоносова, Новиков. – Нечего сказать... Попались в перекрёстную... Клади вёсла и молись Богу: вниз – вода, вверх – беда...

– А что? Да ты не стесняйся, – обратился к нему Фонвизин, – начистоту; ему можно... Он стойкий, наш...

Новиков снял перевязь, утёрся и присел на стул. Несколько мгновений все молчали.

– Так всё натянуто, так, – сказал Новиков, – что и не заряженное ружьё, гляди, выпалит... А иначе мыслить, лучше лишиться жизни...

– Да вы о чём это, господа? – вмешался, потягивая из трубки, Ломоносов.

Прятели переглянулись. Фонвизин кивнул головой.

– Мы, измайловцы, – тихо и глядя куда-то вдаль, проговорил Новиков, – все, то есть, как один человек, ну, все пойдём за неё в огонь и воду.

– За неё, матушку нашу, богиню! – подхватил, вставая, Державин, – и мы, преображенцы, жизнь отдадим...

– За надежду, радость и спасенье отечества! – произнёс, схватив стакан с пивом и чокаясь с прочими, Пассек. – Во-

тесно связанный с масонством. Публикации его принесли впоследствии немало вреда России.

семнадцать лет ведь она живёт в России! узнала её, полюбила и стала, почитай, лучше всякой русской. Покойная царица Елисавета Петровна с Бестужевым её, одарённую свыше, помимо её мужа, прочила себе в преемницы, да не успела совершить и объявить... помешали Шуваловы, Бестужева послали...

«Эге-ге, вон оно куда!.. вон молодёжь-то! – подумал, глядя на собеседников, Ломоносов. – Правду сказал Пётр Фёдорович... Ничем ещё себя не заявили; скромные, как грибки сыроежки под дуплом, в лесной глуши... Никто их не знает и не подозревает, а все они её друзья. Все в неё влюблены и от неё, добросклонной да внимательной, без ума!».

– А всё-таки, в чём же дела суть, государи мои, не понимаю? – спросил Ломоносов.

Фонвизин взглянул на Пассека, тот на Державина, оба на Новикова.

– Да что, сударь, порицайте нас, судите! – сверкнув чёрными большими глазами, с засветившимся, бледным лицом, сказал Новиков, поднимаясь со стула. – Наше солдатство, измайловцы, решили сегодня – говорю это по секрету – не слушаться выдумки голштинцев, нейти в поход в Данию... При том же лютеранство думают ввести, кирку во дворец в Ораниенбауме строят...

– И наши преображенцы за вами! – отозвался от окна раскупоривавший новую бутылку пива Державин. – Выбрали меня товарищи артельщиком на этот самый бестолковый по-

ход... Ну, только вряд ли быть затеянной войне...

– Почему? – спросил Ломоносов.

– Порешило капральство, – сказал Новиков, – как только выйдем в Ямскую, за Калинкин мост, станем и спросим, куда и зачем нас ведут? Зачем покидаем нашу матушку, государыню-надежду, Катерину Алексеевну?

– Коей все мы рады служить по гроб, – прибавил Пассек.

– Ещё каноник Менгден, слышно, – отозвался опять от окна Державин, – предсказал в детстве Катерине Алексеевне, что на её голове будут три короны...

– Московская, Казанская и Астраханская! – чокнувшись с Фонвизиним, сказал Новиков. – Ура, наша радость, виват!

– Ну, словом, нейдём в Данию! – заключил, наливая всем стаканы, Державин. – Нейдём за голштинцев, да и баста...

– Но позвольте, господа, – обратился к ним Ломоносов, – вас за то, чай, ведь не пожалуют... узнают, откроют.

– Не попадёмся, – ответил, глядя на него поверх очков, Пассек. – Я первый – ни в жизнь...

– Ну, поручиться трудно, – произнёс Ломоносов, – напрасные, безвременные жертвы, – да ещё с примесью лучших, как вижу, сил и умов...

– Нет, извините, лучших, и нет худших! – ответил, подняв руку, Новиков. – Человек от природы получил право на равенство со всеми и на свободу. Равенство убито собственностью, свобода – слепыми узаконениями невежественных обществ... Бог, материя и мир – одно и то же...

– Те-те-те... знакомые хитросплетения, не новость! Да вы, молодой человек, как вижу, розенкрейцер, иллюминат²⁶⁶? – сказал, глядя на оратора, Ломоносов. – Измайловскому рядовому это, простите, хоть бы и не подобало...

– Да здравствует великий Адам. Вейсгаупт, Велльнер и Сен-Жермен! – не унимаясь и потрясая стаканом, воскликнул Новиков.

– Вы, сударь, столько насчитали великих, да ещё чужеземцев, – сказал, поморщившись и вставая, Ломоносов, – что нам, нижайшим, в сей юдоли и тесно... Прощайте... Однако не можете ли, прошу вас, сказать, где нынче обретается восхваляемый вами алхимик и фокусник, сей якобы живший десятки веков *caro padre*²⁶⁷ Сен-Жермен?

– Граф нынче в Питере, – нехотя ответил Новиков, – желающие его видеть могут справиться у артиллерийского казначея Григория Орлова... бывает и в австериях Дрезденши и Амбахарши.

– Граф! О-го! – заметил, презрительно усмехнувшись, Ломоносов. – Португальскую жидовскую скотину зовут графом!.. А вся его магнизация и сверхнатуральное состояние не больше, как примешанный к пуншу либо к кофию, на заседаниях масонов, опиум... Доподлинно то знаю! что ж до химии, государи мои, так в ней, верьте мне, он суций невежда и дурак... Шарлатанит с философским камнем, воскре-

²⁶⁶ Так называли людей, входивших в одноимённые масонские ложи.

²⁶⁷ Дорогой патер (итал.).

шает аки бы мёртвых и растит на лысине волоса! Впрочем, расстроенным фанатизмой в нервных узлах барыням зело нравится и за то порядком и поделом их обирает...

Ломоносов простился с молодыми людьми и вышел. Фонвизин проводил его до ворот.

– Какая жалость! Мой дядя на охоте в Ропше, – сказал он, расставаясь с знаменитым гостем, – двадцать восьмого июня день его рождения; я хоть и уеду в Москву, но к этому дню непременно возвращусь... Не откажите, Михайло Васильич, на пирог... И дядя и тётка очень будут рады вас видеть. Они так вам благодарны за меня; двадцать восьмого – не забудете?

Ломоносов сперва отказался; двадцать девятого июня, в день Петра и Павла, в Академии было назначено торжественное заседание, и ему поручили изготовить и сказать в этот день хвалебную в честь государя латинскую речь. Но, подумав, он взглянул на юношу, ласково пожал ему руку и дал слово быть у него на пирог дяди, после академического заседания.

Разговор в каменке долго не выходил у Михаила Васильича из головы.

«Недобрые затеи, недобрые, – размышлял он, – сущие воробьи! Переловят их, коли хуже не будет, пропадут ни за что, ни про что... А тот-то, в очках, Пассек? Ни в жизнь, говорит, не попадусь... Экие шустрые, чиликают, топорщатся, прямо воробьи...»

Дня через три Ломоносов справился в коллегии и узнал, что приказ с разрешением Миновичу возвратиться подписан накануне и уже послан в армию. Он хотел ехать к Калинкину мосту, отыскивать Бавыкину, как увидел на лестнице коллегии Ушакова, с которым познакомился весной, провожая Миновича в Шлиссельбург. Ломоносов ему сообщил справку о его приятеле и прибавил:

– Кстати, замените меня, съездите к общей нашей знакомке, Бавыкиной; что-то недомогаю, а надо бы узнать адрес вашего друга и скорее его обрадовать.

Ушаков отправился к Калинкину мосту.

Комната у грекени Бунди, где жила теперь Филатовна, была пропитана запахом домашней птицы. По соседству, за дверью, помещался, очевидно, хозяйкин курятник. Сильно исхудалая, с недовольным и опечаленным лицом, Бавыкина, прикрытая старенькой кацавейкой, лежала на сундуке, под образами.

– Что с вами, матушка? – спросил Ушаков, – Здоровы ли? Как жаль, не дали о себе слуха: охотно бы навестил...

– Ну, уж ты-то навестишь! Одна ягода с другом своим. В гроб давно мне пора; откройся, мать сыра земля, – чуть взглянув на гостя, сумрачно и с замешательством проговорила Филатовна, – вот она, доля-то бабы Настасьи... в птичницы да в огородницы в экие годы пошла!.. Что ж, парень, не осуди: хлебушка всякому хочется жевать. И воду сама но-

шу... Да чуть с лихоманки не померла, как его-то, твоего прокурата, проводимши, сюда переехала.

– А я к вам, Настасья Филатовна, с доброю вестью, – сказал, садясь, Ушаков, – не у всех дела хороши, и я вот в тесноте поистратился опять. От Василия ж намерен была получена цидулка, – просил похлопотать о его возврате; иначе, писал, без спросу, на гибель свою, готов стать дезертиром. Ну, ему сильные люди и выхлопотали апробацию! вчера, поздравьте, написано Бутурлину и в его Нарвский полк...

Бавыкина подняла с подушки голову. Её глаза тревожно забегали по комнате, с испугом остановясь на ситцевой занавеске, протянутой от печи к посудному поставцу. Губы что-то шептали.

– Что вы, матушка? не слышу, – сказал, нагибаясь к ней, Ушаков.

Филатовна, качая головой, не спускала испуганных глаз с поставца. «Что бы это значило?» – подумал Ушаков. Он встал, тихо приподнял положок.

У печи, схватившись за волосы, в забрызганных грязью шинели и высоких дорожных сапогах, сидел, понурясь, Минович.

– Боги праведные... что вижу? ты ли? – вскрикнул Ушаков. – Как и когда? Отпуск только что послан.

– Без отпуска, уходом...

– Но ведь это дезертирство! Как ты мог решиться?

– Что спрашивать, полно! Невидаль какая! Не стерпел –

ну и всё тут! – грубо ответил Минович. – Значит, была причина.

– Когда приехал?

– Сегодня ночью, великолуцкими фурлейтами.

– И не боишься? Не подождал! Ну, как выдадут?

– Не выдадут, Не все ж Каины, предатели. А донесут – э, чёрт! туда и дорога! – резко сказал Минович. – Офицер нашей ложи масон, провожал амуницию из Митавы; ну и провёз через рогатки, в тюках.

Ушаков не мог прийти в себя. Превосходивший его нравственным складом и умом Минович ему казался в эту минуту жалким, ничтожным.

– Что же теперь! – сказал Ушаков. – Ведь военный суд, ведь гибель над головой... А он сидит... Ах, Василий! припомни встречу у Дрезденши, твои слова о силе воли, о советах разума! С Иисусом Навином солнце собирался остановить, с пророком Илией хотел отворять и затворять небо – а не мог выждать из-за границы увольнения в отпуск по команде! Шреклих!..²⁶⁸

– Э, убирайся, чёрт! Советы ещё! Пропадать, так пропадать. Всё ложь и обман, – мрачно и злобно проговорил Минович, – все подлецы, самомерзейшие твари, и ты первая из них... Одна в свете истина, одна – любовь... Вот разве, впрочем, и она... да наплевать!.. Хоть бы скорее этому решение, конец...

²⁶⁸ Ужасно (нем.).

– Успокойся, друг Василий, успокойся, – сказал, мигнув Филатовне, Ушаков, – объясни лучше, как это случилось. И с предметом своим теперь скоро – ну, хоть и сегодня – встретишься, я видел её... Девушка отменно достойная и, вероятно, ждёт не дожждётся... А уж от суда, Вася, как-нибудь, в столь необычайной факции, постараются тебя спасти сильные друзья...

Мирович, презрительно зевнув, ничего не ответил.

Ушаков дал знать о приезде приятеля Ломоносову, прося замолвить о нём слово гетману, и напомнил Мировичу о весеннем его знакомце по дому Дрезденши, о Григории Григорьевиче Орлове, куда тот на другой день и отправился.

– А!.. Дивно губительная пятёрка! – вскрикнул при виде Мировича цальмейстер гвардейской артиллерии Григорий Орлов. – Как дела с фараоном и с бильярдом?

– Плохо, Григорий Григорьевич! Весь, как есть, прогорел.

– Что же, денег надо?

– Нет, не их. Раз помогли вы, за что по гроб благодарен, – ещё в одном пособите... отслужу...

– В чём же дело?

Мирович рассказал о своём уходе. Орлов опустил руки.

– Плохо, брат, примечательно плохо! – сказал он, покачав головой. – Ты масон? да говори, не бойся, – и я масон...

Мирович сделал особый, странный знак рукой.

«Отлично, я так и думал, пригодится, – сказал себе Григорий Орлов, – вольный каменщик и охотник до карт! Степана

Васильевича Перфильева за нами приставили наблюдать, а мы в соглядатаи за ним поставим этого гуся. Перфильев в пикет собаку съел – зато в ля-муш ему не везёт... Вот ему разом и дистракция²⁶⁹, и отместка... Этот его уж, без сомнения, забудёт с первых ходов!».

– Приходи завтра, – произнёс Орлов, – обсудим твоё дело.

Мировича одели, ссудили деньгами. Чтоб избавить его от ответа в самовольной его отлучке из армии, Орлов устроил так, что рапорт о нём спрятали, в Нарвский полк дали знать, что он временно назначен по артиллерии, в комиссию о «пересмотре шуваловских голубиц», а ему велели сидеть с Перфильевым и носу никуда не показывать. В этом помогли и масоны, одной ложи с Орловым.

Василий Яковлевич украдкой увиделся с Пчёлкиной. С отъезда из Шлиссельбурга она жила на Каменном, у Птицыных. Встреча их была странная. Поликсена будто обрадовалась, даже как-то порывисто, нервно расплакалась. Мирович, однако, увидел нечто другое, не то, чего он ожидал. Сам не давая себе отчёта, в чём дело, он молча, угрюмо сел и всё время исподлобья смотрел, слушая Поликсену.

«Сущий волчонок, – подумала о нём Птицына, бывшая при этой встрече, – и как она его не бережётся! глаза – острые ножи!».

Устроитель гвардейских веселостей, Орлов свёл Мировича в масонской ложе с Перфильевым. Новые знакомцы как

²⁶⁹ Дистракция – растерянность.

засели за стол, так уж и не вставали. Дни шли, ночи напролёт – они без отдыха играли, изредка лишь переменяя место игры, да когда подходили другие охотники, садились вкруговую за бириби или в фараон. Опиум масонства, слившись в Мировиче с хмелем карточной игры, вконец поработил его мысли, сердце, волю.

Двадцать третьего июня Мирович, исхудалый, с впалыми щеками и с блуждающим, потухшим, сердитым взглядом приехал к Ломоносову, прошёл к нему в сад и, присев у него в беседке, прерывающимся, сильно взволнованным голосом спросил его:

– Знаете, что случилось?

– Не знаю...

Мирович не поднимал глаз. Сгорбившись и нахохлившись, он просидел несколько секунд молча, с отвисшею нижней губой и упавшими с колен руками, злобно выжидая, что ещё скажет ему Ломоносов.

– Я только что с Каменного, – начал опять Мирович, нарочно цедя слова, – вчера Поликсена гуляла с детьми Птицыных... ну, гуляла и забрела в рощу к Невке...

– Что же там увидела? – спросил Ломоносов.

– Дети собирали грибы; Поликсена читала книжку... ха-ха!.. в это время – книжку!.. Вдруг слышит шаги; поглядела – идут двое...

Сказав это, Мирович судорожно повёл плечами, точно его знобило, и нервно зевнул.

– И кто же, думаете, были эти двое? Угадайте, – спросил, как-то неестественно улыбнувшись, Мирович.

– Не знаю, – ответил Ломоносов, – почём знать?

– Принц Иоанн Антонович и с ним, должно, новый шлисельбургский пристав, – с презрительно-гордой усмешкой проговорил Мирович.

– Что ты? Василий Яковлич! Быть не может... Ужели принц?..

– Он! Поликсена не ошиблась, узнала... Он! вторую неделю в тайности живёт на даче Гудовича в лесу.

Ломоносов, через голову Мировича и верхушки дерев, взглянул на вечереющее, залитое дымчатым заревом небо и с чувством, медленно перекрестился.

– Но есть и другое дело, – продолжал, торопясь и переминаясь, Мирович, – то, о чём я сведал случайно, – ну, играя с одной тут компанией, – так о том страшно и вымолвить...

– Что же ты узнал?

– Не нынче-завтра ожидают смуты, волнения, – ответил, уставясь в Ломоносова чёрными, без блеска, глазами Мирович, – всё, уверяют, готово, и вернейшие, близкие к монарху люди передаются, если уже не передались, его врагам.

Произнося это, Мирович покраснел и замолчал.

– Полно, мало ли что болтают! – сказал Ломоносов, вспоминая беседу у Фонвизина. – Упаси господи от злых, крамольных дней! Всё пойдёт вверх дном.

– Не верите? – спросил, вставая, Мирович.

Он выпрямился, судорожно оправил волосы. Чёрные, затуманенные волнением и бессонницей его глаза глядели сердито. В них начинал светиться злой и дикий огонь. Скопление всякой горечи, ненависти и мести вызывало чрезмерное возбуждение.

– Покажу им, – сказал он с холодной злобой, – спознаю ближе и всё, как есть, открою. Я терпел ужасную, неисходную бедность, нужду, нищету, а приятели мои были богаты и знатны. Пора выбиться... И уж коли за то не получу сатисфакции во всех моих бедствиях – нет правды на земле!..

Мирович вышел. Шаги его затихли в конце сада.

Ломоносов ему ничего не ответил и его не проводил.

Он продолжал из беседки смотреть на темнеющее над деревьями, в последних отблесках заката, небо и думал о другом. Измождённый тюрьмой, кроткий и важный видом юноша не отходил от его мысленных глаз...

XVI НА ДАЧЕ ГУДОВИЧА

День двадцать четвёртого июня был жаркий, душный. Его сменила тихая, вся залитая голубоватым лунным блеском ночь.

Душистая болотно-луговая мгла, не расходясь, наполняла каждую поляну, каждый укромный, древесный тайник. Воздух был недвижим. Длинные столбы обрадованных теплу

мошек, то свиваясь, то развиваясь, шевелились, плыли над вершинами погружённых в дремоту невских лесов.

Белый туман, как саван, подползал с запада, с поморья, где на краткий отдых спряталось багровым шаром горевшее солнце. Запахом елей и трав, точно ладаном, тянул по пустырям чуть заметный утренний ветер. Он проснулся за синим гребнем леса, там, где вскоре должна была заняться полоска ранней зари, и чуть шевелил стеблями лопухов и папоротников, гоня мошек и будя залётных, недолго поющих здесь соловьёв.

В тёмных озёрах и заводах отражался полный месяц просеки, сады и дома там и здесь одиноко разбросанных дач. Летучие мыши, шныряя за мошками и всякою комашнёй, беззвучно мелькали в лунных лучах.

Дача Гудовича стояла на берегу безымённой речонки, отделявшей Каменный остров от Крестовского.

Высокий дощатый забор окружал дворовое и садовое места. Главный, со стекольчатой теплицей дом, где летом проживала семья любимого государева слуги, выходил на большую дорогу. Запасной, новый флигель был расположен в глубине двора, в саду, примыкавшему к реке. Молодечня, конюшня, коровник и прочие службы шли вправо и влево от главного дома. Сам хозяин изредка наезжал сюда на отдых и чтоб взглянуть лошадей, до которых был большой охотник.

Вторую неделю Гудович неотлучно находился при государе в Ораниенбауме, но известил, что вскоре приедет. Стару-

ха мать и сёстры-девицы поджидали его с часу на час и допоздна не ложились спать. Долго светились огни в большом доме и рядом с ним в молодечне, где почему-то, с недавней поры, чередовался секретный ночной караул из полицейских и крепостных инвалидов. Два хожалых с мушкетами ночевали – один на крыльце флигеля во двор, другой – в саду, на балконе. Дворня поглядывала на окна и двери флигеля и качала головой, видя, как шепчется старуха барыня с барышнями.

Во флигель носили кушанье, чай, кофе и десерт; ходили в него цирюльник, сапожник и портной. Принесли туда дня три тому назад, кому-то новый голштинский кафтан, зелёный, с серебряным шитьём и красными воротником и нарукавниками, жёлтый камзол, такие же панталоны, лаковые с пряжками башмаки, треугол с галуном и лосиные перчатки. Из флигеля вела особая балконная дверь в сад, на калитках которого висели замки.

Было далеко за полночь.

В большой, обшитой новым тёмом комнатке стояли две кровати. На одной спал прикрытый военной шинелью, усталый, плотный, пожилой человек; на другой – длинноволосый, с небольшой каштановой бородкой юноша. Бельё и платье, разбросанное по стульям и софе, раскрытые чемоданы и погребец, ружьё в запылённом чехле на стене показывали, что жильцы этого флигеля не успели ещё устроиться.

Они с вечера долго гуляли по саду, выходили особою ка-

литкой в гущину леса, ко взморью и на луга, ловили удочкою рыбу и собирали грибы и цветы. Это были пристав Жихарев и принц Иоанн.

Жихарев бережно запер калитку и балконную дверь, ключи от той и другой взял к себе, после ужина в постели вспоминал Робинзона Крузо, о котором слышал от Чурмантеева, поговорил несколько с принцем и, видя, что тот стал дремать, задул свечку и заснул.

Жихарев видел во сне, как Робинзон, уезжая с пустынного острова, где жил двадцать восемь лет, взял с собой на память козий зонтик, такую же шапку, слугу Пятницу и одного из попугаев, который отчётливо твердил: «Бедный Робин, бедный! Куда занесла тебя судьба?».

Приставу грезилось: «И я бедный! и я!.. Столько лет в Кронштадте оддежурил, добрался до Питера, устроился с семьёй, думал век кончить в столице, и вдруг перевели, заперли в Шлюшин. Почётное доверие, да какова ответственность! Теперь сюда выписали. Ужли освободят принца? Ужли и меня в таком разе отпустят вчистую, на покой?.. Без сомнения, при столь верной оказии, дадут пенцион, а может, на корм детишкам и деревнишку где-нибудь на Волге или в степи за Москвой... Уеду, стану жить-поживать, ни горя, ни муштры, ни начальничьих распеканий не знать...»

Принц Иоанн спал тревожным, лихорадочным сном.

Ему грезился мрачный, могильный каземат, бессердечные, грубые стражи и вечная, каждый день и каждый час, од-

нообразная, непреоборимая, неумолимая и немая, как гроб, неволя Светличной башни.

Он во сне метался и дышал тяжело. Крупный пот проступал на миловидном, детски добром лице. Что-то страшное, давящее, каменное налегло на его грудь.

«Смерть, – пронеслось в мыслях принца, – вот она наконец... Боже! дай её скорее! Унеси меня, прими, успокой...» Он глухо застонал, вздрогнул и проснулся.

Глядит – незнакомая, просторная, чистая комната. Не слышно запаха гнили; не видно плесени на каменном своде и в углах. Пахнет цветами, душистой сосновой смолой. Лампадка у образа, мерцая, чуть теплится. Окно закрыто. Дверь на замке. Но вот и лампадка, мигнув раз и другой, погасла. Лунные лучи вырываются, скользят с надворья, мерцают по комнате. Душно. Одеяло сброшено. Сердце тревожно бьётся, щемит. Непонятные речи, клики, звон и шум в ушах...

Слышатся соловьи, жаворонки, звенят колокольчики, трубы отдаются вдалеке. Тинь-тинь... и смолкнет... И опять песни, клики, праздничный звон и гул... Где-то радуются, ликують, кого-то зовут и манят.

«Трубы Иерихона! гремите, звучите! Осанна в вышних... падут грешные стены, цадут... Аз есмь альфа и омега, первый и последний, начало и конец...»

Вновь тишина.

Голубые лучи сыплются в окно. Кто-то будто ходит, шепчет по комнате. Что-то белое уселось на стуле, глядит из

мрака и растёт – высокое, безголовое, в складках и с протянутыми руками. За шкафом – косматый, завёрнутый в чёрное с хвостом и острыми, длинными шпорами. От шпор по полу тянутся светящиеся полосы. Они шевелятся, как змеи, скользят и меркнут в углу. Что-то нахлобучилось у двери и, покачиваясь, приближается к кровати.

«Иродиада, зверь седмиглавый, бесы...»

Иоанн Антонович приподнялся, всматривается в ужасе... Где он? Куда его занесла судьба?

Те же призраки, те же страхи и звуки, что столько лет, каждую долгую, бессонную ночь ему мерещились и слышались взаперти. Но место, где он теперь, не похоже на тюрьму. Призраки меркнут, уходят. А там, за окном, – настоящие, вольные соловьи.

Жихарев наморился за неделю в прогулках по диким тропинкам, у взморья и по лесам и крепко спит.

«Уйти! – думает принц. – Нагуляться досыта на пахучем свежем раздолье! Нынче, сказывают, Иванов день, – так и есть! Моё тезоименитство... Нет! Ещё поймают, прикуют на цепь, как зверя... И не увижу я более, в замурованное окно, ни синего неба, ни моря, ни цветов, ни её... Где она? Во сне ли? Да! Я её видел, видел здесь, невдали; помню место, куда она, испуганная, скрылась... Что, если бы...»

Иванушка слушает. Опять мерещатся колокольчики, трубы.

«Глас гудец, и мусикий и пискателей...»

Звенит и щемит, и обдаёт жаром и холодом...

«Дщи Идумейска, живуща на земли! И на тебе придет чаша Господня, и, не упившася, не веселися... Евфразия! – мыслит принц. – Златокудрая! пахнет ладаном, смирной и розой... Где она? И как низошла?... Спал я, грезилась смертные страхи... И явилась она, облечённая в виссон, пурпур и солнце! Луна под ногами, на главе венец из звёзд, и на нём написано – тайна... Что, кабы воля, кабы уйти?..»

На балконе послышался шорох. Кто-то с надворья склонился к окну, будто глядит в сумрак комнаты, поскрёб ногтём раз, другой по стеклу.

«Боже, зовут меня, зовут...»

Арестант вскочил, подошёл к окну, взглянул в сад. Виден балкон, усыпанная песком площадка и ближние деревья и кусты. Полицейский хожалый спит, растянувшись поперёк крыльца. А под окошком, вертя хвостом, сидит и вежливо, ласковыми глазами щурится мохнатый, белый хозяйский пудель. Иванушка пошарил по раме, нашёл задвижку, раскрыл окно. Собака беззвучно вскочила в комнату.

«Накормить её, накормить беднягу! не ела...» – решил, нежно её глядя, арестант. Он отыскал в шкапу, отдал собаке остатки ужина. Свежий, напоённый смолой и речными испарениями воздух щедрой волной ворвался в комнату. Он дышит лесным затишьем, волей и манит во мрак.

Пудель, прижав уши и хвост, принялся лакать из блюда. Иванушка постоял над спящим приставом, наскоро обулся и

дрожащими руками стал надевать на себя новое, справленное ему платье.

– Сюда, за мной! – шепнул он собаке, целуя её в морду и в весело игравшие глаза. – За мной! о! совсем вспомнил – знаю дорогу, подглядел, – мостик, и прямо... дом под берёзками – башня и крыльцо...

Пудель прыгнул в окно. Иванушка за ним. Они миновали полицейского инвалида, прошли в глубь сада и остановились перед калиткой в лес. Калитка заперта. Чёрными великанами высятся за оградой росистые ели и сосны. Пудель, с поднятой лапой, глядит на Иванушку. Всё тихо; только слышится плеск рыбы в соседнем прибрежье, да высоко, в предрассветных сумерках, свистя крыльями, тянутся с болот ко взморью стаи резвых нырков.

Арестант взялся за ствол старой берёзы, поднялся на дупло. Но не влезть на забор: он высок, и доски гладко вытесаны. Иванушка обошёл несколько дорожек; оглянулся – нет собаки. Он бросился её искать. Слышит – пудель шибко гоняется, вспугивая спящих птиц по тот бок ограды. Где же выход? Трава притоптана: старая водоточина извивается в глуши лопухов. В конце её – лаз под нижней доской забора. Иванушка нагнулся. «Не раскопать ли земли?». Он разрыл перегной, просунул голову, туловище, прислушался и вылез из сада...

«Боже! какое приволье! что воздуха, что простора, свободы...»

Тёмные стены лесов идут вправо и влево. Острова их точно плавают в надвигавшемся тумане.

«Аз, цвет польный и крин удольный! – думает узник. – Яко же крин в тернии, тако искренняя моя посреди дщерей... Яко же яблонь – посреди древес лесных!.. А если обманет? Что сказано о жёнах?! Аще убога, злобою богатеет, укоряема – бесится, ласкаема – возносится... Нет! она не Далила, не Иродиада... не изменит, не продаст!».

Иванушка поднял голову, выпрямился и сперва робкими, неловкими, потом твёрдыми и смелыми шагами пошёл без оглядки от дачи Гудовича...

Мгла ещё не расходилась. Сумерки окутывали окрестность. Высокий и тощий, с неубранными, распущенными волосами, путник напрямик шагал по лесной чаще. Ни кочки, ни вереск, ни мхи не останавливали его. Ветви цеплялись за мундир, сбивали обшитый галунами треугол. Он бережно, как зверь, приглядывался, прислушивался, замедлял шаги, бросаясь в сторону, и, вытыкая из кустов голову, ждал и опять без устали шёл и шёл.

Поликсена спала в верхней комнате Птицыных, выходявшей окнами в лес. С вечера были городские гости. Легли спать поздно. Едва она забылась первым крепким сном, услышала, что её будят. Перед нею, босиком, в рубашонке, стояла испуганная, полусонная девочка, дочь ключницы.

– Что тебе, Лизутка?

– Там на галдарее, барышня... ой! Что-то страшное, против самой гостиной, ходит... Ну, идите, взгляните.

– Да где? что ты?

– Ой, боюсь... Да от лесу-то – страшное ходит по галдарее; отойдёт на дорогу и глядит в ворота, на забор.

Поликсена взглянула в окно и обмерла. У опушки стоял бедный призрак. То был принц Иоанн.

– Иди, Лизутка, иди, голубушка, Бог с тобой, ложись. Тебе пригрезилось. Никого нетути...

Уговорив полусонную девочку идти, она уложила её, перекрестила, сама оделась, прошла в гостиную и отомкнула дверь на крыльцо.

– Вы ли это, сударь? – спросила Пчёлкина, подойдя к принцу. – Какими судьбами?

– Я... я... вот, дорогая, видишь, нашёл тебя! Пойдём, да пойдём же... – сказал он, схватив Поликсену за руку.

– Но куда? Что вы? Услышат, набегут.

– Жизнь моя! бросим всё, уйдём, – продолжал, задыхаясь, Иванушка, – увидел тебя... Всё пришло, воля, жизнь...

– Такая ли воля? Ах, вы не простой, не заурядный человек. Вас не пустят охотой, вы опасны, – будут следить, найдут на дне моря, под землёй.

– Друг, друг!.. За что же, за что!..

«Вот он, проченный столь великой империи, – думала Поликсена, глядя на узника, – в его избавление затевались бунты, трон считался непрочным, пока он жив. Посылались ла-

зутчики, поднимался его именем раскол... Его замышляли похитить в Берлин; целой войне через него диверсию думали сделать... И память о нём угасла, все его считали в могиле... Но вот он здесь, передо мной, гонимый злой долей, молящийся... И мне, ничтожной, неведомой, мне, новой избраннице, ужели суждено совершить святой подвиг, возвратить престол несчастнорожденному?.. Спрятать его, а утром отвезти ко дворцу... Государя ждут из Ораниенбаума – будет развод...»

– Не бойтесь, сударь, – сказала Пчёлкина, – теперь вас не отнимут от меня!.. я вас спасу... да, возвращу вам счастье, свободу и всё... А когда вы будете в силе и славе...

Она не договорила. Арестант вдруг её обхватил, страстно-дико прижался к ней и стал её осыпать жгучими, порывистыми поцелуями. Руки его дрожали, дыхание прерывалось, он шептал несвязные, бессмысленные слова. Поликсена попыталась от него вырваться. Он увлекал её от дороги к чаще деревьев.

– Что вы, куда? – прошептала Поликсена, когда они очутились у лесной опушки.

Арестант бессознательно, испуганно оглядывался. Речь отказывалась ему служить. Начинало светать. Вправо виднеюся плёсо реки.

«Что с ним? – в страхе подумала Поликсена. – Понимает ли, слышит ли он, что я ему говорю? Медлить нечего...»

– Там опять давят, бьют, теснят, – сказал вдруг узник, –

а вот и воля... Да боюсь я кого-то потерять, кого-то не видеть...

– О ком говорите? – спросила Пчёлкина.

– Виноват я перед нею! Как бы не разлюбила! – шептал узник, мучительно-радостно вглядываясь в лицо Поликсены и трогая её за руку.

– Скоро утро, – сказала Пчёлкина, – вас спохватятся; поднимут погоню. Здесь не укроетесь. Надо в город, к государю. Его ждали с вечера, в нём одно спасение. Но со мной вас тотчас узнают... Вам надо одному... Сумеете ли вы?

Иванушка молчал.

– Вот тропинка, – продолжала Поликсена, – она ведёт к реке. Там мост, но нет, лучше в лодке. Согласны? Я вас провожу. Доедете в город, и прямо к крепости; там опять в лодку и ко дворцу. Да идите же... Вашу руку... Всё успею рассказать. Идите, – а вот монеты на перевоз.

Поликсена провела принца к окраине Каменного острова. С берега, через Невку, в утренней мгле, уже виднелось предместье Колтовской. От пристани отваливал чёлн.

Беглец и его провожатая остановились.

– Слушайте же... первую улицей, и всё прямо; и ни слова ни с кем... помните – ни слова.

– Буду помнить... буду...

Они простились.

– Не подвезти ль, сударь? – окликнул принца с берега седой, как лушь, в войлочном капелюхе, подслеповатый лодоч-

ник.

– Подвези... только я вот... – сказал и заикнулся узник, оглядываясь к деревьям, за которыми оставил Поликсену.

– Да куда те, Христова душа?

– Ко дворцу... царя мне нужно... царя...

– По службе, что ль, надобеть? К разводу спешишь? Садись, – эх, утречко! Или не здешний? Не заблудился бы, Христов человек...

– Эх, пыты пытается, – сердито, резко кашляя, отозвался из-под тулупа другой, помоложе лодочник, лежавший у шалаша. – Ты уж вези, дедко, что растабарывать? Вон махают с берега, ждут, Митрич те шею-то наkostenяет...

– Не наkostenяет, нам что! дело своё знаем! – ответил, посадив Иванушку в лодку, старик. – Похожено, поношено, повожено... Под тремя царицами, под третьим царём хлебушка-то едим. У яго, ваша честь, лихоманка, – прибавил дед, – он и грызётся, дурашный, лается... Видывали вас, пшёнников... пра, пшённики, блохари...

Иванушке не сиделось. Ему хотелось говорить, спрашивать без умолку; но он помнил заказ Поликсены. Боясь оглянуться назад, он с шибко бившимся сердцем всматривался в низменный, плывший ему навстречу, с домишками, садами и пристанями берег Колтовской. Сойдя на берег, он неловко сунул старику данную ему монету, ещё постоял, робко оправился и без оглядки пустился по улицам и закоулкам пробуждавшейся Петербургской стороны. Прохожие указывали

ему дорогу. От церкви Спаса он вышел к Сытному рынку у крепости...

Странный, с угловатыми движениями и длинноногий, как заяц, пешеход, в новом нараспашку голштинском, примаранном землёй и листьями кафтане, обратил на себя внимание ранних торговков. На вопрос о дворце они переглянулись меж собой, пошептались и указали ему на крепость.

– Ишь долговязый немец, несуразно как говорит! – сказала одна торговка ему вслед. – Из дворцовых, видно, либо заморский чей-нибудь слуга. У красоток, должно, белобрысый немчура припоздал. Ковыляй теперь пятками...

Солнце поднялось над ветхими, серыми лавчонками и шалашами рынка, когда Иоанн Антонович вошёл на широкий зелёный пустырь, окружавший бастионы кронверка.

Через канал был мост, за мостом вход в крепость. Надпись «*Иоанновские ворота, 1740 г.*» бросилась принцу в глаза.

Он остановился, снял шляпу и долго, смешавшись, стоял, глядя на знаменательные слова и что-то соображая.

«Вот! я царствовал... так, моё имя, след...» – сказал себе Иванушка, отирая лицо и несмело входя в крепость.

В то же время на берег Каменного острова, где лежал у шалаша молодой лодочник, выбежала из лесу, громко лая, белая собака. За нею, в сопровождении конюха, прискакал пожилой, в синей гарнизонной форме, всадник. На вопрос, не проходил ли здесь и куда направился такой-то, в зелёном кафтане, господин, лодочник, покашливая из-под шубы,

указал на Колтовскую и прибавил:

– К царю, сказывал, пошёл... во дворец.

Всадники помчались к понтонному мосту, бывшему выше, между Каменным и Аптекарским островами.

Иоанн Антонович вошёл в крепость. Слепая, нищая старуха, низко кланяясь ему, отворила дверь в собор.

– Войди, батюшка, войди, свет, помолись: никого нетути, один дьячок! – сказала она. – Все цари земные и царицы-владычицы тут схоронены... спаси тебя господь... И великий государь Петра Ликсеич вправо-то, батюшка, первый, и царица тебе Анна Ивановна, и Лизавета свет матушка, андельская...

Жутко забилося сердце беглеца при этих именах. Чуть слышно войдя под тёмные, подавляющие своды храма, накуренного ладаном, он постоял над свежим, ещё не отделанным склепом Елисаветы Петровны, думая: «Иродиада! вот теперь у моих ног... сама ничтожество, прах!».

Бегло взглянув на пышную, с вензелем гробницу Петра Великого, принц опустился на колени перед могилой тётки, Анны Иоанновны.

– Видишь ли, – замирая, шептал он, – видишь ли, ласковая, добрая к нам, назначенного тобой в преемники? Вот я... Мучили меня, обижали... назвали Григорием... вот твой племянник, Иванушка... Двадцать лет, день и ночь, двадцать лет, с колыбели в тюрьме... Но если Богу угодно, если... не

убьют, как царевича Димитрия²⁷⁰... клянусь...

Мысли узника смешались. Он упал крестом на холодные каменные плиты и долго, без слов, горячо молился.

– Никто, как я, никто, – повторял он коснеющим языком, – сведал я страшную неволю, кровью выплакал... Где спасительница, где солнце, счастье?.. Привёл еси день, воскресил еси время... Не отринь молитвы моей от лица своего...

Дьячок загремел ключами.

– Пора, сударь, благоволите, – сказал он.

Иванушка подумал: «Хоть бы в этой церкви сторожем быть! – тихо так, иконы, светло...»

Он вышел на паперть, спросил опять старуху и в Невские ворота спустился к реке, думая: «Умру, не схоронят меня в царями-предками...»

Широкая, синяя, вся празднично залитая солнцем Нева, с плывущими по ней многовёмсельными галерами и белопарусными гальотами и бригами, открылась перед ним. На том берегу – ряд высоких, в зелени садов, с балконами и фигурными карнизами, домов. А выше всех зданий – с ярко горевшими в утренних лучах рядами окон и со множеством статуй на крыше – новый каменный Зимний дворец.

«Там... туда!.. к самому царю!» — думал беглец, спускаясь с пристани в ялик.

²⁷⁰ Сын Ивана Грозного царевич Димитрий (1582—1591) был убит в Угличе при весьма загадочных обстоятельствах.

– Да тебе к тальянцу, альхитектору, что ли, в новый дворец? – спросил его бородатый, в красной рубахе, яличник.

«К нему, туда!» – повторил мысленно принц, указывая с лодки на Неву.

У дворцовой пристани собралась куча зевак. Их заняли двое верховых, на взмыленных конях прискакавших из-за батарей Адмиралтейства. Пока конюх проваживал лошадей, его барин договорил извозчицью коляску и не спускал глаз с ялика, плившего от крепости ко дворцу.

С берега ясно был виден этот ялик и среди него, в светло-зелёном, с серебряным шитьём, мундире и в жёлтом камзоле, высокий молодой человек. Треугол он снял и ладонью прикрывал от солнца глаза. Длинные, не завитые в косу волосы развевались по плечам.

– Ваше высочество, – произнёс, встретив Иоанна Антоновича, пристав Жихарев, – куда же вы это ушли? Ах-ах, можно ли? Государь вас ждёт к себе; вот и коляска.

Беглец испуганно взглянул на пристава. Лицо последнего было так приветливо, ласково.

– Как? Не обман?

– С чего же, полноте!

– А где государь? Ох, кружится голова...

– Его величество на даче, в Рамбове; пожалуйста, сударь.

– Как, ещё не приехал? Да ты верно ли знаешь? Где Рамбов?

– Недалеко; духом доедем.

Беглец недоверчиво сел в коляску. Было мгновение, он готов был крикнуть, сопротивляться. Но возле собралось столько прохожих. Все с любопытством глядели на него, перешёптывались. Он смешался, неловко поднял ногу на ступеньку коляски и сел, прошептав:

– Да, ну, уж скорей; не опоздать бы...

Коляска понеслась.

– Кого это повезли? – спросил Гудовичева конюха высокий, плечистый господин, в парусинном балахоне и со свитком бумаг, шедший мимо дворца с прогулки из Летнего сада.

– А кто е зна! Наутёк было, сущеглупый, с-под кравулу... да его изловили...

– Кто изловил?

– Майор гвардии Жихарев.

Ломоносов бросился на набережную. Но коляски уже не было видно. Она скрылась за бастионами Адмиралтейства. Вот выскочила на мост, съехала на Васильевский остров, огибает шляхетный кадетский корпус и несётся обратно к Колтовской, на острове.

XVII

МУХА НА РОГАХ ВОЛА

Утром двадцать шестого июня, по пути из Ораниенбаума в Петергоф, ехала взморьем небольшая, с придворным,

в жёлтой ливрее, лакеем и с гербами, красная карета. В ней сидела невысокого роста, с подвижным, оживлённым лицом, несколько взволнованная, лет девятнадцати, нервная особа. С нежной тонкой шеей и выпуклою красивою грудью, на которую падал локон высоко взбитых, напудренных волос, она привлекала блеском больших и умных глаз, приветливо и гордо смотревших из-под широкого белого лба.

То была сестра графини Воронцовой, княгиня Екатерина Романовна Дашкова²⁷¹. Она в то утро встретила у сестры с государем, и её мыслей не покидали слова, слышанные от него.

Пётр Фёдорович был её крёстным и, посадив её рядом с собой, вдруг сказал ей с обычною своею откровенностью:

– Ах вы, изменница! Знаю, знаю о вас... Милости-с пожалуйте!

– Что же вы знаете, государь? – вспыхнув, спросила Дашкова.

– Всё знаю, всё! О! не вскакивайте. Все ваши альянцы с моими противниками мне известны. Вы живёте больше в городе, избегаете двора, наших мирных удовольствий, забав. А прогос, скажите-ка: чем вас банда некоторых людей приколдовала? Чем? Что на медведя с рогатиной ходят да ночи напролёт играют в карты и кутят? Только и слышно бакха-

²⁷¹ Дашкова Екатерина Романовна, урождённая графиня Воронцова (1743—1810) – княгиня, жена М. И. Дашкова с 1759 г. Статс-дама, директор Академии наук (1783—1796), президент Российской Академии (1783—1796).

налии, буйство, скачки с песнями на рысаках... Шалберники, взбешённые сорвиголовы и атлеты! Ваши прочие партизанты – разорённые дворянчики, мелкие офицеры, плохие на службе и обитающие по закоулкам. Что?.. Видите?.. Всё знаю и на всё пока смотрю сквозь пальцы... Это ли идеалы, которые вы с моей женой у Даламбера, Дидро и у Руссо вычитали²⁷²?

– Клевета, ваше величество? Простите, не могу слышать таких речей, уйду! – закрыв лицо руками, сказала Дашкова.

– Порох, о! порошок! уж и бежать? – произнёс, опять её усаживая, Пётр Фёдорович. – Ваша преданность моей жене понятна и почтенна... Saperlot! Кого она не заколдует! Но вы, Катерина Романовна, имеете сестру, простое и доброе создание. Дорожите ею больше... Её, по достоинствам, ожидает другой завидный менажемент²⁷³... Узнаете о том после...

Государь помолчал.

– Mein holdes Kind!²⁷⁴ – продолжал он. – Уважьте один благонамеренный мой совет... Je vous dirai tout franchement...²⁷⁵ Не повредило бы вам помнить, что дружба честных простаков и даже колпаков, как ваша сестра... да и ваш всеодолженнейший слуга... гораздо безопаснее, чем ве-

²⁷² Французские энциклопедисты, «просветительская» деятельность которых стала катализатором французской революции.

²⁷³ Менажемент – осторожность, церемонность.

²⁷⁴ Моё дорогое дитя! (нем.)

²⁷⁵ Скажу вам откровенно... (фр.)

ликих умников, которые из апельсина выжмут сок, а корку бросят под стол.

– Да в чём же дело? – спросила Дашкова.

– О, всё знаю, всё, – повторил Пётр Фёдорович. – Эх-эх! совету, чтоб после не пришлось каяться...

«Что же он узнал? И успею ли её предупредить, – думала Дашкова, едучи парком в Петергоф и нетерпеливо высывая бледное, покрывшееся пятнами лицо то из одного окна кареты, то из другого, – очевидно, ему снова донесли; но о чём и на кого? Скоро десять часов. Императрица, наверное, уже оделась или кончает туалет. Все ли мои извещения, записки доходят до неё? Наши враги не дремлют, частые свидания опасны. Но теперь, по пути, авось успею...»

Красная с гербами карета стала подниматься от взморья на лесистый косогор. Повеяло смолистой прохладой.

Дашкова вышла из экипажа, распустила жёлтый с бахромою зонтик и пошла в тени развесистых густых сосен и лип. С холма обозначились ближайшие дачи, службы и крыши старого Петергофского дворца.

«И всё я, одна я! – думала Дашкова, прищуренными, близорукими глазами отыскивая в зелени нижнего сада знакомую черепичную кровлю и окна старого, петровского Монплезира, в котором теперь жила Екатерина. – Пугают, что друзья через меру взволнованы, не выдержат и вызовут взрыв. Пустяки, всё спокойно... Панин²⁷⁶ стоит за легальный

²⁷⁶ Панин Никита Иванович (1718—1783) – граф (1767), посол в Дании и Шве-

переход, за регентство и шведскую форму правления. Я в этом мало смыслю! Но время идёт... Что с Екатериной? Она как бы устраняется. Роемся в своих книгах, робка, как дитя, идеальна, как пансионерка, и практик жизни ни на волос не знает... Пьемонтец Одар, её секретарь, всё суетится, впопыхах... Великие готовятся события. И неужели мне, слабой и скромной, суждено занять такую роль в истории? Неужели моё имя? Не верится, точно во сне...»

Дашкова остановилась, свернула зонтик, села в карету и поехала к Петергофскому дворцу.

«Нерешительная! – думала она об Екатерине, спускаясь парком в нижний сад. – Приглашена сегодня на обед в Ораниенбаум, завтра на праздник в Гостилицы. А там грозят, что-то замышляют решительное... Но где ж её экипаж? Не видно. Или я с нею уж разминулась?..»

Особый невысокий павильон Монплезира передними комнатами выходил ко взморью, внутренними примыкал к берёзам и липам нижнего сада.

В передней павильона, на вылощенном годами резном дубовом ларе, сложа руки, сидел и под плеск окрестных фонтанов дремал гардеробмейстер государыни, Василий Григорьевич Шкурин; через комнату от него, в цветочной, смежной с кабинетом императрицы, у раскрытого на взморье окна, в чепце и с огромными серебряными очками на носу, в старинном кожаном кресле, вязала жёлтый шёлковый чулок лю-

бимая камер-фрау государыни, Екатерина Ивановна Шаргородская. Тишина в комнатах, во дворе и в саду и на неё сильно действовала.

Шаргородская то и дело клевала носом, спускала петли, зевала, крестила рот и, опять зевая и вздыхая, принималась вязать. Она изредка, сквозь дремоту, поглядывала в окно, из которого сквозь пахучую зелень деревьев виднелись мраморные статуи на крыльце, паруса дальних судов и залитое солнцем, тихо плещущее море. Колыхнувшись чепцом ещё раз-другой, Шаргородская подумала:

«Да, не скоро ещё... ох, давно пробило девять... когда-то позовёт?» – особенно сладко и широко зевнула и угнездилась в кресле. Руки с чулком упали на фартук. Голова в чепце склонилась на плечо. Она заснула.

Небольшая весёлая горенка за цветочной служила кабинетом и вместе спальней императрицы. Высокие берёзы и липы за окном не мешали сюда врываться щедрым утренним лучам.

Всё здесь было уютно, домовито и чисто. На окнах цветущие розы, лакфиоли и гелиотропы. За ширмой – под белым одеялом – постель. У изголовья столик; на нём, под зелёным экраном, две восковые, сильно обгорелые свечи. У печки на стёганом шёлковом тюфячке две крошечные собачки, подарок какой-то английской леди. По этот бок ширмы несколько кресел, шкафчик, софа, трюмо и письменный стол. На креслах, на диване и на софе накрахмаленные белые, точ-

но лишь сейчас вымытые и выглаженные, чехлы. На выгибном, с ящиками столе чернильницы, возле – куча книг и бумаг. Между ними томы Буало, Монтескьё, Беля и Вольтера. Между софой и ширмой дверь в уборную, бывшую под наблюдением другой прислужницы государыни, помоложе, камер-юнгферы Мавры Саввишны Перекусихиной. Всё на месте, нигде ни сору, ни пылинки.

У двери в уборную – табуретка; на ней лохань, на полу кувшин. В лохани что-то моет, с засученными по локоть рукавами, лет тридцати двух-трёх, среднего роста, полная, белокурая, красивая женщина.

Серый кот Багадур, лениво раскинувшись на софе, пошевеливает пушистым хвостом и сладко щурится на солнечный луч, играющий на полу, по мебели и цветам.

Во дворе прогремели колёса.

«Неужто уж подали?» – подумал гардеробмейстер Шкурин, в недоумении взглянув на стенные, с кукушкой, часы. «Нет, видно, чужой», – сказал он себе, вставая.

Быстро вошла Дашкова.

– Что государыня? – спросила она. – Едет? оделась?

– Должно, оделись... пожалуйста! – ответил, отворяя дверь в следующую комнату, Шкурин.

Дашкова вошла в столовую. Удивлённо подняв брови на спящую Шаргородскую, она миновала её, постучалась в дверь кабинета.

– Herein!²⁷⁷ – послышалось оттуда.

Дашкова ступила за порог.

– Что это? – вскрикнула она, всплеснув руками.

– Как что, Бог мой? Мою свои маншеты и воротнички, – ответила, обернувшись к ней, императрица.

Екатерина была в утреннем белом пикейном корнете и в кружевном простеньком чепце поверх русых, невысоко убранных волос. Две стоячих буколки были взбиты у маленьких, без серёг, красивых ушей. Голубые, усмехавшиеся глаза смотрели приветливо и весело. Румяное, полное, с прямым носом и круглым, крепким подбородком лицо дышало свежестью и здоровьем. Бархатные синие ботинки на высоких каблуках обтягивали короткую и плотную, с крутым подъёмом, ступню. Голос Екатерины был грубоватый. Желая его смягчить, она говорила протяжно, с заметным немецким акцентом и несколько нараспев.

– Такое занятие, когда дорог каждый час, каждый миг? – произнесла Дашкова.

– Так у меня заведено; так, сударыня, извините, и делаю! – ответила флегматически Екатерина, внимательно выжав и покрасневшими проворными пальцами встряхивая вымытое, причём от возни крупные капли испарины собрались у неё над верхней губой.

«Вот она, подите! – подумала Дашкова. – Собирается царствовать, а занята мытьём воротничков...»

²⁷⁷ Войдите! (нем.)

– Но для того, простите, есть другие руки, – сказала гостья.

– Те-те-те, пойте мне! – ответила Екатерина. – С этой частью я люблю ведаться сама. Времени сколько у нас свободного... Кстати, вчера я дочитала «Annales ecclesiastiques...»²⁷⁸ Барониуса, стихами перевела оду Вольтера к вольности... А знаете ли, друг мой, его «Pensees sur l'Administration»?²⁷⁹ Какая прелесть! «La liberte consiste a ne dependre que des lois...»²⁸⁰ Вот ум, вот мысли и штиль...

– Да разве книгами теперь заниматься? – воскликнула, пожав плечами, Дашкова. – Мы на волкане, слышите ли, на пороховой бочке. Миг – и последует взрыв!

Екатерина взглянула на неё.

– Мешок нерешительный, Панин, мямлит, – продолжала Дашкова, – этот мужик-гетман твердит хохлацкие поговорки: моя хата с краю да скажи – как там? – гоп, когда переключишь... А государь что-то узнал, намекает, не на шутку грозит... Простите, вы медлите, медлите!..

На глазах Дашковой навернулись слёзы.

Екатерина подумала: «Слава Богу, ничего верного не знает!», ласково взяла её за руку и посадила рядом с собой. Ей вспоминались слова мужа Панину, при гробе покойной Елисаветы: «Ототкну тебе уши, как взойду на престол, заставлю

²⁷⁸ «Церковные анналы...» (фр.)

²⁷⁹ «Мысли об управлении» (фр.).

²⁸⁰ «Свобода заключается в том, чтобы подчиняться только законам...» (фр.)

себя получше слушать»... Панин не мог тянуть, долго ждать.

– Вы отчасти правы, – сказала она, – муж действительно мог проведать немало промахов с нашей стороны. Сколько толков, пустых разговоров! Точно орден ждут за суету и болтовню...

– Вы не дарите нас своими указаниями, – ответила Дашкова. – Ах, сколько упущено! В декабре, в ту ночь, когда я вам открылась, я просила у вас наставлений, полномочий. Вы ответили: «Надо надеяться на провидение».

– То же скажу вам и теперь.

– Но ведь дело не ждёт! – с чувством искреннего отчаяния сказала Дашкова. – Не о себе говорю – о вас.

– Да, милая, – ответила Екатерина, – незавидна судьба вашего бедного друга. Я, русская в душе, искренно полюбила мою вторую родину, и – что бы ни случилось – без борьбы не уступлю этой любви... Как царь Иван, я не стану думать об убежище меж англичан, останусь здесь...

– Но надо действовать, не говорить! – перебила Дашкова. – Иначе, клянусь, будет поздно...

– Действовать, но осторожно, – произнесла Екатерина, – и особенно от вас, мой друг, я жду резонабельных мыслей и мер...

Дашкова взглянула на императрицу.

– Не понимаете? – спросила, улыбнувшись, Екатерина. – Вот что, не сердитесь только, к добру ведь говорю... Пятнадцать записок, с конными и с пешими гонцами, от кого я по-

лучила в эту неделю? И на всякую вашу цидулку изволь отвечать – и я отвечала... Ну, это как, сударушка-голубушка, по-вашему, не суета?

Екатерина обняла Дашкову и крепко её поцеловала.

– Нет, воля ваша, нет! Что хотите – не могу! – с хлынувшими слезами проговорила Дашкова. – Ваша нерешительность, ваш взгляд на дело сгубят всех нас и прежде всего вас самих.

Екатерина не возражала. В её глазах также выступили слёзы. Одна рука её была на руке гостьи, другою она обнимала Дашкову. Несколько минут обе любящие, связанные недавней дружбой женщины молчали. Лица их были увлажнены искренними слезами.

– Простите, *ma bonne et chere amie*²⁸¹, – сказала, целуя Дашкову, Екатерина, – несчастье мой удел; вы меня жалеете, но мы несогласны во взглядах. Вы ждёте помощи от друзей – я считаю, что она может прийти только свыше.

– И вы готовы покориться судьбе, вынести насильное пострижение в монастырь или – что того хуже – отдать себя голштинцам заточить, вместо принца Иоанна, в Шлиссельбург?

– Ну, до того авось вряд ли ещё дойдёт! – ответила, сверкнув голубыми глазами, Екатерина.

Дашкова встала. Последние слова императрицы её окончательно взорвали. Глаза её помутились. Лицо покрылось

²⁸¹ Мой лучший и дорогой друг (фр.).

пятнами. Побелевшие, сердитые губы некрасиво усиливались что-то сказать. Екатерина взглянула на гостью – и ей стало её вдвое жаль, и в то же время почему-то было весело. Круглый подбородок её дрогнул. – «Трусиха! – подумала она. – Вот трусиха; любит, а как жалка... Какое сравнение с теми! – римляне, орлы!..»

– Ну, поведайте, что вы ещё слышали? – спросила Екатерина. – Мне пора уж и на обед.

Дашкова передала о своём заезде в Ораниенбаум и о разговоре с императором. Пробыло десять часов. Екатерина позвонила. Вошла Перекусихина, за нею Шаргородская. Они внесли парадный траурный костюм императрицы. К подъезду, погромыхивая, подъехала тяжёлая, шестернёй, карета.

– Что ж наконец делать? – спросила по-французски Дашкова, когда Екатерина с нею вышла, в чёрной флёровой шапочке, на крыльцо.

– Терпение, милая тёзка, терпение и осторожность, – ответила вполголоса, крепко пожимая её руку, Екатерина. – Вы – Катя, и я – Катя, будем обе Кати умницами...

«Ну, сударыня, уж извините, – подумала Дашкова, глубоким, по всем правилам, реверансом раскланиваясь от крыльца с уезжавшей императрицей, – придёт срок – не поцеремонимся с вами...»

«Муха на рогах вола! – отвечая на поклон княгини Дашковой, подумала Екатерина. – Бегаёт, суетится... и всё, Богом, чтоб только сказать: и мы-де орали, мы-де пахали па-

шеньку... Думает, что её приняли в согласие, что ей открыт заговор... она не в заговоре, а только в разговоре... Нет, – прибавила себе Екатерина, – я не права, я – *esprit gauche!*²⁸² несносная страсть к сатиричанью!.. Княгиня преданная, пылкая и женерозная особа, и много у неё, с её мужем, друзей... Преданность, пылкость! Не в них одних сила – нужно притом и нечто другое...»

Мысли Екатерины унеслись далеко – к тем дням, когда она, приглашённая императрицей Елисаветой, впервые въехала, через Ригу и Псков, в Россию и приглядывалась к её пустынным равнинам, одиноким селеньям и нескончаемым дремучим лесам, и когда ей грезилось, что она некогда будет царствовать в этой бедной, обширной стране.

Карета императрицы на полных рысях миновала последнюю просеку Петергофского парка. Стали видны у взморья высокое крыльцо и окна Ораниенбаумского дворца.

Жёлтые, синие и белые голштинские мундиры мелькали уже здесь и там за сквозною чугуною оградой. Скакали вестовые. Отъезжали экипажи спешивших из столицы гостей.

XVIII АРЕСТ ПАССЕКА

Обед в Ораниенбауме отличался особенною пышностью. Стол, на пятьдесят кувертов, был сервирован в японской за-

²⁸² Ум набекрень! (фр.).

ле. Служили в жёлтых куртках и красных тюрбанах арабы и страусовыми перьями на шапочках скороходы. Императрица сидела рядом с Минихом. Государь во время обеда был сильно не в духе. Изредка перешёптываясь с Александром Шуваловым и с Гудовичем, он изредка вопросительно поглядывал на императрицу. К вечеру на маскараде, в оперном театре, он видимо повеселел. На слова Воронцовой: «Взгляните, государь, ваша супруга без екатерининской звезды: не оттого ли, что я по вашей милости в этом ордене?» – он ответил:

– Ба! пустяки, Романовна! я спрашивал... она нечаянно сломала звезду и отдала в починку Позье...

На другой день, двадцать седьмого июня, в четверг, Пётр и Екатерина встретились вновь на великолепном празднике, данном в честь высокой четы графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и его братом-гетманом в Гостилицах.

Здесь были первые красавицы из обычной дворской свиты императора. Все были веселы, катались с музыкой по озеру. Тосты сопровождались пушечной пальбой. Оба Разумовские, особенно любимец государя – гетман, наперерыв старались угодить императору.

«Лобзание Иуды», – думали некоторые из знающих тайны, глядя на них.

– Завтра надеюсь у вас обедать и обо всём, без вредных иллюзий, поговорить, – сказал государь императрице, уезжая вечером в Ораниенбаум. – А мои именины, послезавтра, проведём, не правда ли, у меня?

Императрица молча вздёрнула за собой по ступенькам экипажа траурный шлейф. Дверцы захлопнулись. Карета помчалась в Петергоф. Более в жизни Пётр с Екатериной не виделись...

«Боже мой, Боже! – думала Екатерина, подавляя слёзы и прислушиваясь к топоту лошадей. – Что меня ждёт? Развязка близка. Никто и не подозревает, что Панин и гетман готовы... Терпеть или предупредить удар? Свобода – и заточение, корона – и монастырь?.. Не сдамся, как правительница Анна... Лучшие умы призову к трону, буду править кротостью, голос всякой правду слушать. Обновлю, воскрешу эту забытую, бедную и вместе богатую, мне одной понятную страну. Стану матерью отечества... Умру или буду царствовать...»

Возвратясь в Петергоф, Екатерина отпустила прислугу, заперла двери и открыла окно. Море тихо плескалось у Монплезира.

«Дашкова! Друг мой! – думала императрица. – Нет тебя возле меня в эти минуты, а ты мне теперь так нужна... Что, если ты права, если мы опоздали и нет уже возврата?».

Екатерина порылась в ящиках, отложила и сожгла несколько бумаг, засучила до локтей рукава блузы и стала в волнении ходить взад и вперёд по комнате. Малейший звук у взморья и в саду бросал её в холод и жар.

Пётр Фёдорович позже выехал из Гостилиц. Он также был неспокоен и возбуждён.

«Постой, матушка-голубушка! – думал он, приглядываясь к стемневшим полям. – Не долго ждать... Послезавтра, в субботу, мой праздник. День Петра и Павла надолго останется памятен. Всё готово – и Лизавета Романовна согласна, и принц Иоанн под рукой... Гетман обещает полнейший успех. Покажу принца народу, провозглашу наследником и обвенчаюсь... Жену и сына запру в Шлиссельбурге, устрою временное регентство – из князя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди-принца – Жоржа... и с армией в поход! Всё готово... Они и не ожидают».

«Какая тишина, какая! – сказал себе Пётр Фёдорович, подъезжая к Ораниенбаумскому дворцу. – Мир и не подозревает, что ему готовится... Воздух и не шелохнёт, кругом ни звука... О! Сколько величия и сколько силы в душе зоркого, осторожного и решительного человека. Панина пошлю в Швецию – раздавить тамошние своеволия, гетманом сделаю Гудовича... Но главное, главное... Свет загремит от неожиданной вести, и новая великая страница прибавится к истории Третьего Петра».

За полчаса до возврата государя с предательского пира любимый его арап, Нарцис, пришёл к нему в рабочий кабинет и положил на письменном столе письмо, присланное с тайным гонцом от бывшего государева парикмахера Брессана. На письме была по-французски надпись: «Весьма секретное и нужное». То был донос о заговоре.

Пётр Фёдорович, отыскивая сигары, увидел возле них па-

кет, хотел его вскрыть, но, чувствуя усталость, рассеянно повертел его в руках, бросил на этажерку в кучу других, заготовленных на утро бумаг, прошёл в спальню, стал раздеваться и задумался.

«Концерт природы – концерт душевных страстей», – сказал он себе слова Стерна из книги, читанной накануне. Его манило из комнаты на воздух.

Император снял со стены любимую скрипку, подарок виртуоза Тастини, вышел с нею на балкон – и долго в тишине, покрывшей взморье, дворец и сад, раздавались звуки нежных каватин и пасторалей. Пётр Фёдорович играл, размышляя: «Всё идёт отлично... И какая полная, поэтическая тишина!.. Да! свет изумится новой странице в истории Третьего Петра».

Было за полночь, когда он возвратился в спальню.

«Волков изучает французскую хартию, советует ввести в России сословия... Всяк станет волен... Всяк будет счастлив, всяк станет жить под своей смоковницей!». С этими мыслями он обернулся к стене, услышав жужжание комара, стал следить за его песней и полётом и заснул.

Ожидания императора не сбылись. Не через день и не в субботу, а того же двадцать седьмого июня, в четверг, в Петербурге произошёл важный, хотя, по-видимому, ничтожный случай.

Преображенский гренадёр, услышав толки, что госуда-

рыня в опасности от голштинцев, зашёл к своему капитану, Петру Богдановичу Пассеку, узнать, правду ли говорят в народе. Пассек ответил, чтоб не ввали и что государыня в безопасности. Гренадёр решил глядеть в оба; ночью не сомкнул глаз, ломал голову, а потом зашёл к Преображенскому майору Петру Петровичу Воейкову.

– Ваше высокоблагородие, – сказал он, – явите божескую милость. Как бы после за них не отвечать.

– За кого?

– За голштинцев.

– А что?

– Да всё ли, то есть, в благополучии насчёт матушки-царицы?

Воейков насторожил уши.

– Пустяки, – ответил он.

– Спрашивал я по тайности их благородие, Петра Богданыха, – сказал гренадёр.

– Ну, и что же он? – спросил Воейков.

– Передай, говорит, солдатству, чтоб до времени попусту не чесали языков. Нужно будет – объявят через капральство.

Воейкова, как варом, обдали эти слова. Он понял, что дело неладно, задержал гренадёра и арестовал Пассека.

«Вот и ручался в осторожности», – подумал Ломоносов, узнав о том и вспоминая встречу с Пассеком у Фонвизина.

Пособники Екатерины потерялись. В грозной тишине перед ними как бы взлетела первая, вестовая ракета...

Панин узнал об этом от Орлова, играя вечером у Дашковой в карты. Дашкова посоветовала Орлову немедленно скакать в Петергоф и обо всём уведомить Екатерину ещё до рассвета. Панин послал наставления гетману Разумовскому, командиру Измайловского полка. Дашкова надела мужской плащ и, не доверяя Орлову, пошла узнать подробности к Рославлеву. Все были в ожидании чего-то необычайного, рокового.

Мирович вторую неделю играл в карты у Перфильева. Игра шла в доме генерала Возжинского, бывшего лейб-кучера Елисаветы Петровны, на Невском, у Гостиного двора. Мировичу везло, но он выбился из сил, стал раздражителен, придирчив и груб.

Вечером двадцать седьмого июня, когда партнёры Перфильева сидели за карточным столом, к ним, после некоторого отсутствия, вновь явился Григорий Орлов. Он высыпал на стол груды золота. Игра пошла с новой силой. Разносили вина, прохладительные.

Был второй час ночи. Мировича вызвали на крыльцо. Какой-то мужик подал ему записку. То было письмо Пчёлкиной. На дворе рассветало. Мирович вскрыл и прочёл следующие строки.

«Что вы делаете? – писала Пчёлкина. – Вы забыли всех и всё. Узнав, где вы скрываетесь столько дней, спешу сообщить то, что сейчас узнала от захавшего к нам в поисках за

вами Ушакова. Город в опасности. Каждое мгновение ждут взрыва. Вы просили услуги мне. Вот она. Арестован Пассек; враги государя боятся его показаний и готовы действовать. Поезжайте к Ушакову. Он всё вам объяснит».

«Подлый я, гнусный!» – с бешенством сказал себе Мирович. Он бросился в переднюю, схватил шляпу и шпагу, кликнул извозчика и поехал к Смольному, где в переулке жил Ушаков.

«Вот она, решимость, долг совести! – рассуждал он. – Всё забыл, всё. У меня были средства предупредить государя, его спасти, и я тем пренебрёг. Христос великий и единый, слава нашего ордена, и я тебе изменил! Много думалось, и всё низвергнуто. Опять я погибшая натура, подлая и дикая тварь. А сравняться думалось, по слову братьев масонов, с Моисеем, с Гирамом-Апифом... Изменник, картёжник, мот!..»

Скрипя зубами, Мирович сжимал кулаки, тихо и злобно смеялся над собой.

«Кто есть свободный каменщик? – спрашивал он себя с дрожью негодования. – Человек, умеющий сдерживать свои порывы, покорять волю свою разуму. В храм истины входят только премудрые; гордость и бесчиние изгоняются оттуда. А я не исполнил долга в такое время, сидел за карточным столом, слушал ревение пирных песен, служил с такими вертопрахами Бакху... К кому заповедано милосердие? – к бедствующему... Сострадание? – к виновному... Прости

ж меня, Господи, прости слабому ученику, символ которого – неотёсанный, грубый камень. Дай мне искупить мою провинность... заслужить... Попущение падения – в плане горней твоей любви...»

На квартире Ушакова Мировичу сказали, что Аполлон Ильич с вечера нанял ямских и уехал за город.

«Новое горе, – подумал Мирович, – от кого ж теперь узнать?»

Он поехал обратно и на Литейной вспомнил о Брессане. Дом камергера-парикмахера был ему по пути, на Фонтанке, у Симеоновского моста.

«Разве попытаться к нему? – подумал Мирович. – Он друг государя, знал меня по корпусу».

Окно в верхнем этаже дома Брессана было освещено, дверь на улицу – отворена. Отпустив извозчика, Мирович взошёл по узкой деревянной лестнице.

Взволнованный и до крайности растерянный француз сперва не признал гостя, потом принял его со слезами и с распростёртыми объятиями.

– Mon Dieu, quelle misere!²⁸³ Какое горе! – вопил разбитым голосом, колотя себя в грудь, нечёсанный, в халате и туфлях на босу ногу, старик. – Бедный, жалкий государь! Oh, il est perdu!²⁸⁴ Я писал, я послал, но, видно, он мой раппорт не читал... полдня – и оттуда ни слуха...

²⁸³ Мой Бог, что за убожество! (фр.).

²⁸⁴ О, он погиб! (фр.).

Брессан в подробности рассказал Мировичу о случае с Пассеком, о сходках и приготовлениях сторонников Екатерины, Панина, гетмана, Измайловских и Преображенских офицеров.

– Повозку и лошадей! – вскрикнул, выпрямляясь, Мирович.

Лицо его вдруг засияло, точно он открыл нечто необычайно великое, мировую тайну.

– Ссудите ваших лошадей, – повторил он, – не всё ещё потеряно. Я мигом долечу и, хоть голова с плеч, всё передам, предупрежу государя.

– Нет лошадей, всех разослал, – жалобно ответил Брессан, – к *compte* Шовалов, к пренс Трубецкой²⁸⁵, остался одна расхожий водовоз.

– Давай водовоза, – да ну же – чёрт возьми! *Vite, vite!*..²⁸⁶

Но и расхожая лошадь оказалась в отсутствии, на рынке. В исходе четвёртого часа Мировичу подали наконец коня. Он набросал какую-то бумагу, спрятал её на грудь, пожал руку Брессану, вскочил в седло и понёсся вдоль Фонтанки.

«Не знаю, как и что, – мыслил он, – но верю, что сделаю всем наперекор, всем...»

У Калинкина моста, где жила Филатовна, Мирович придержал поводья, миновал заставу шагом. Полная тишина царила окрест. Предместье, пробуждаясь, ещё молчало. Ни

²⁸⁵ К графу Шувалову, к князю Трубецкому (фр.).

²⁸⁶ Скорей, скорей!.. (фр.).

конных, ни пеших. Слева в Измайловском полку прогремела чья-то запоздавшая карета, но и та вскоре затихла. От ближних садов и огородов тянуло запахом росистой листвы. Где-то над крышей поднялся ранний дымок. Мирович миновал предместье и во всю прыть помчался по пути в Ораниенбаум, думая про себя: «Гетман изменник, не диво ещё, – сластолюбец; но Панин... видно, чем больше идеализма, тем загребистее лапа...»

Но в то же утро и ранее отъезда Мировича, благодаря Дашковой, случилось непредвиденное событие, которому добродушный летописец того времени дал скромное и меткое название: «Предприятие господина Орлова».

В Петергоф, далеко до рассвета, скакал на лихой собственной тройке Алексей Орлов.

XIX

«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСПОДИНА ОРЛОВА»

Был в начале пятый час утра двадцать восьмого июня. Полная тишина покрывала петергофский сад, дворец и парк. Солнце поднялось, хотя туман от взморья ещё стлался по садовым низам, кое-где точно облаком дыма захватывая террасы и дороги верхнего сада.

К опушке парка подъехала взмыленная тройка. С телеги встал, присланный Дашковой, большого роста, в преобра-

женском кафтане, офицер. Отпустив ямщика, он прошёл к лесной караулке и послал сторожа на ближнюю мызу. От последней вскоре подъехала двухместная коляска, четвернёй.

Оставив коляску у ограды парка, офицер спустился к Монплезиру, поглядел на окрестные аллеи, на окна и крыльца ещё погружённого в дремоту старого павильона, подошёл к его галерее и склонился к окну. Из-под опущенной занавески нельзя было разглядеть внутренности комнат. То было помещение камер-фрау государыни, Шаргородской. Офицер постучал в окно, но, видя, что его не слышат, вошёл с чёрной лестницы в сени и в небольшой полуосвещённый коридор. Дверь направо вела в помещение гардеробмейстера Шкурина; налево – в комнаты Шаргородской, смежные с собственными покоем императрицы. В павильоне, очевидно, все ещё спали.

Офицер вошёл в комнату налево.

Собачка Шаргородской залаяла и разбудила свою хозяйку.

– Что вы, Алексей Григорьич? – спросила, испуганно выглянув из спальни, Катерина Ивановна.

Офицер объяснил причину нежданного своего посещения. Шаргородская стремглав бросилась к опочивальне императрицы.

– В чём дело? – спросила гостя из-за двери Екатерина.

– Не медлите, ваше величество, ни минуты! – ответил Орлов. – Надо решиться, ехать.

– Но ради Бога, что произошло?

– Пассек арестован, – сказал по-французски Орлов, – вам грозит Шлиссельбургская крепость или, как первой жене великого Петра, монастырь...

Екатерина более не спрашивала.

– Одеваться! – сказала она Шаргородской и через несколько минут вышла в простом тёмном платье, в ленте и звезде – под мантилей. Лёгкая дрожь пробежала по её членам; лицо было бледно, но совершенно спокойно. Глаза смотрели бодро и светло.

– Готова! – произнесла она Орлову. – Но под каким видом мы пройдем мимо сторожей и часовых?

Силач и гуляка, не знавший колебаний и ходивший в одиночку с рогатиной на медведей, Орлов затруднился ответом. Смелость начинала его покидать.

– Под видом вашей жены, – решила императрица, взяв зонтик и вуаль и подавая руку Орлову. Они вышли из павильона.

– Если бы я была солдатом, – произнесла Екатерина, миная первую аллею, – я никогда не дослужилась бы до генерала..

– Почему? – спросил Орлов.

– Меня бы убили ещё капралом...

Нижний сад благополучно прошли. По берегу стлался туман. Море тихо плескалось о пристань, оттуда неслась песня:

Ох, ты, волюшка, свет печаль!

Начался верхний сад, смежный с парком. За решёткой, на улице, слышалось уже движение. Шли бабы на рынок, садовники с тачками. Отставной елисаветинский солдат-сторож у ворот парка вытянулся и отдал честь офицеру.

Екатерина спокойно села в коляску, припасённую накануне, по распоряжению гардеробмейстера Шкурина. Орлов сел к кучеру на козлы. Другой, будто случайно напевший офицер, капитан корпуса инженеров, Василий Ильич Бибилов, беседуя с ними, поехал сбоку коляски, покуривая трубочку. Всё имело вид утренней прогулки. Лошади бежали лёгкой рысью. Обогнув опушку парка, путники остановились. Орлов предложил Бибилову занять место с Екатериной, кучеру велел взять его коня, сам взял вожжи и погнал четверню вскачь.

– Знаменательный день, – сказала Екатерина Бибилову, глядя на выходявшее им навстречу солнце, – ровно восемнадцать лет назад, также двадцать восьмого июня, я торжественно приняла в Москве православие... Ещё помню, покойная государыня-тётка и все были удивлены, что я, недавняя гостья этой страны, так отчётливо прочла вслух символ веры...

Рощи и долины, там и здесь разбросанные домики и мосты мелькали по сторонам. Густая пыль столбом взвивалась от

колёс.

Встречные путники, солдаты, чухны на двухколёсных таратайках, косцы сторонились, оглядываясь и недоумевая, что за особу мчал в коляске лихой и рыжий Преображенский сержант.

Вот Стрельна. Близятся сады Сергиевой пустыни. За ними лес, яровое поле и избышки села Лигова. Новые луга и лес, деревушки, Горелый и Красный кабачки.

У спуска на мост, не доезжая Красного кабачка, из рощи навстречу коляске выскочил на рыжем, толстоногом коне всадник. То был Мирович. Он ещё издали приметил и мчавшийся стремглав с лесистого пригорка четверик, и фигуру рослого гвардейца, гнавшего вскачь лошадей.

«Кто б это был?» – рассуждал Мирович, следя за облаком густой пыли, летевшей ему навстречу.

Коляска с опущенным верхом, мелькающие копытца и морды лошадей, грохот колёс по брёвнам моста и раскрасневшееся, запылённое лицо мундирного возницы, со шрамом на щеке, – всё это быстро мелькнуло и пронеслось мимо Мировича.

«Орлов! Ужели он? – спросил себя, оглядываясь, Мирович. – Нет, я того оставил с прочей компанией у Перфильева!». В это мгновенье ему бросилось в глаза ещё одно обстоятельство: с задней оси коляски, очевидно, была обронена гайка. Колесо чуть держалось в бегу.

– Эй, эй! – крикнул Мирович вознице.

Коляска мчалась по тот бок моста.

– Эй, колесо! колесо! – громче крикнул и замахал шляпой

Мирович.

Дама под вуалью выглянула из экипажа: возничий начал сдерживать. Коляска скрылась у Лигова, в овражистом, лесном круглячке.

Мирович подождал. Четверня не выезжала из леса.

«Так и есть, слышали, заметили колесо! – сказал себе Мирович. – Любовишка, видно, похищение дамы сердца... и кому это я услужил?».

Он пришпорил коня и, взобравшись на пригорок, опять оглянулся.

Коляску бросили в лесу. Кроме колеса, помешал дышло-вый загнанный конь – он упал бездыханный. Путники шли по дороге пешком. А от недалекого и уж видного в утренней мгле предместья навстречу им шестернёй мчалась городская карета. Вот она их достигла; они сели и ещё быстрее понеслись в Петербург.

«Что бы я дал, что дал бы за то, чтоб путники приметили, кто именно оказал им эту услугу! – думал впоследствии Мирович не раз, под тяжкими ударами жизни, до мелочей вспоминая все роковые, все горестные события того дня. – И нужно же мне было подать голос, остановить! Не обрати их внимания, бешеных коней не удержали бы, и от кого ныне зависела бы моя судьба, участь миллионов – неизвестно...»

Встречная карета принадлежала князю Фёдору Сергееви-

чу Барятинскому, тому самому, который в мае от Петра Фёдоровича получил было приказ арестовать императрицу. С ним, навстречу Екатерине, примчался и Григорий Орлов.

– Наше море не волнуется, входит только в свои берега, – сказал последний.

– Пить хочется, страх душно! – ответила Екатерина. – Больше версты спешили вам навстречу пешком.

Братья Орловы стали на запятки. Барятинский и Бибииков были приглашены государыней в карету. Лошади понеслись, и вскоре карета уже гремела в улицах предместья.

У Калинкина моста дорогу переходила высокая, в мужском камзоле, седая старуха, с полными вёдрами.

– Минуту, ради Бога, пить! – сказала Екатерина.

Экипаж остановился. Старуху подозвали к дверцам. Екатерина, стоя на подножке, ухватила обеими руками влажное, полное ведро и медленно, жадно напилась.

«Миг – и калейдоскоп обернётся! – думала, видя себя в воде, как в зеркале, Екатерина. – Миг – и исчезнут грёзы, ожидания тяжёлых восемнадцати лет...»

– В долгий век тебе, в добрый час! – приговаривала старуха, кланяясь и разглядывая необычную путницу. – Ни кола в помощь, Христос по дорожке!

– Спасибо, милая, – сказала Екатерина, оторвавшись от ведра и отрадно вздохнув. – Как тебя звать?

– Лейб-кампанша Настасья Бавыкина; здравствуй и много лет живи, матушка-государыня, во святой час, в архангель-

ский.

– Где живёшь?

– У грекени Бунди.

«Лейб-кампанша, слуга тётки, – подумала Екатерина, – не забуду... это ведь первая...»

Бич щёлкнул. Карета миновала ближние роты Измайловского полка и остановилась на зелёном пустыре, у полковой съезжей. Здесь ещё было тихо.

Под сигнальным колоколом, у моста через ров, ограждавший полковой двор, с ружьём на плече стоял часовой. Екатерина вышла из кареты. Часовой сразу её узнал. Не спуская с неё загоревшихся изумлением, страхом и радостью глаз, он вытянулся у входа на мост и молча взял на караул.

«Пропустит ли? – подумала Екатерина. – Что, как заступит дорогу, подаст неурочный сигнал к тревоге?».

Лицо её покрыла краска.

Не спеша и не глядя на караульного, она мерным, спокойным шагом твёрдо направилась от кареты к мосту.

Часовой не шелохнулся. Только грудь его высоко поднималась да молодое, замиравшее сердце билось быстро и горячо.

«Вот спустит на перилы мушкет, ударит в колокол!» – мыслила Екатерина, в холоде и трепете неизвестности смело и бодро ступая по серым, стоптанным горбылинам мостовин.

«Проходи, умница, радость! – думал тем временем, смотря на государыню, часовой. – Угадываю... Вон они, орлёнки,

сподвижники твои, смельчаки... Иди... Не на утеснения, не на гибель и бесцельную трату наших сил... На славу, честь и свободу патриотов шествуешь царствовать...» Екатерина беспрепятственно прошла за канаву, спутники следовали за ней.

– Имя твоё? – на миг замедлясь и взглянув на бледное, умное лицо рядового, спросила Екатерина.

– Обожатель и верный раб вашего величества, Николай Новиков! – ответил, брякнув ружьём в честь давножданной гостьи, часовой.

Старший Орлов вошёл в сборную. Оттуда выскочил полураздетый солдат, за ним ещё несколько рядовых. Глухо и несмело загремел барабан. Бодрее вторя ему и будя утреннюю тишину, в смежных ротных дворах зарокотали другие барабаны. Екатерина стала у окраины съезжей площадки. Справа и слева сбегались старые и молодые солдаты. Привели под руки бледного, растерявшегося священника с крестом. Вынесли из полковой церкви и поставили среди двора аналой.

– Присягать! присягать!

– Ура, услышала нас матушка-царица! – кричали гренадёры.

Взвод за взводом и рота за ротой, сбрасывая по пути узкие, нового образца, и надевая старые, отнятые в цейхгаузе лизаветинские кафтаны, сбегались в гудевший и переполненный радостною толпою двор. Началось целование креста.

Когда наспела последняя рота, офицеры Вырубов, Рославлев, Всеволожский, Ласунский и Похвиснев замахали шляпами. Крики смолкли. Екатерину окружили.

– Я к вам явилась за помощью! – раздался в тишине ласковый и звучный, как бы мужской, далеко слышный голос. – Опасность вынудила меня искать среди вас спасения.

Новиков, отеснённый навалившейся толпой, поднялся на цыпочки. Невысокая, полная, с румянцем тревоги, Екатерина стояла в десяти шагах от него. Руки её были протянуты; на лбу и над верхней губой выступили крупные капли пота; затуманенные глаза робко искали вокруг опоры.

– Советники государя, моего мужа, – продолжала она, – решили без промедления заточить меня и моего единственного сына в Шлиссельбургскую крепость...

– Смерть голштинцам! Смерть! – загудела толпа.

– От врагов было одно спасение – бегство, – сказала, утирая слёзы, Екатерина. – Бежать могла я не иначе, как к вам... На вас надеюсь, вам верю. Окажете ли помощь сыну и мне?

– Всех веди! жизнь положим – не выдадим! Смерть супостатам!..

– Никого не трогайте, – произнесла Екатерина, – слушайте начальников, Бог за нас.

Солдаты и офицеры бросались перед Екатериной на колени, целовали ей руки, платье. Вынесли полковое знамя.

– К семёновцам! В Казанский! – кричали одни.

– К преображенцам! Они матушку Лизавету ставили на

царство! – кричали другие.

– В конную гвардию... по всем церквам!.. Карету! Где же гетман?

– К Панину, в Летний поскакал.

– А Алексей Орлов?

– За архиереем Дмитрием...

– В Казанский! В Казанский!

Роты строились.

– Что мешкаете, ротозеи? – кричал Рославлев.

– Живо знамена вперёд, барабаны! – командовали Обухов и Ласунский.

– Спасительница наша! Мать родная! Виват! – не умолкали солдаты.

– Пушки вывози! Стройтесь! – кричало капральство. – Священника вперёд! В Казанский!

Вправо и влево, во все концы скакали вестовые.

Под напором ломившейся вперёд, кричавшей и махавшей шляпами и мушкетами толпы императрица снова села в карету. Приземистый, с крестом в руке и с дрожавшей белокурой бородкой священник, покашливая и испуганно путаясь в голубой, полинялой рясе, двинулся вперёд. Выстроившийся полк, окружив карету государыни, последовал за нею.

Предводимые Вадковским, Фёдором Орловым и другими офицерами, семёновцы также принесли присягу. С загородного проспекта шествие двинулось по Гороховой, своротило в Мещанскую и стало приближаться к площади Казанского

собора.

Окна и двери раскрывались настежь. Горожане присоединялись к шествию и также кричали виват и ура.

XX ЯВЛЕНИЕ ФЕЛИЦЫ

Утром того же двадцать восьмого июня Ломоносов проснулся ранее обыкновенного. Ему предстоял окончательный просмотр хвалебной латинской речи, которую он, по наряду, должен был завтра, в день государевых именин, прочесть в торжественном заседании Академии наук. Сверх того, он помнил слово, данное студенту Фонвизину, быть в Измайловском полку.

– Ох, уж эти разъезды да именинные пироги! Одна времени трата! – ворчал он, поднявшись на утренней прохладе в оконченный поправками рабочий кабинет флигеля.

В девятом часу кухарка просунулась в дверь с чашкой кофе и с только что занесённой академическим рассыльным тетрадкой «С. – Петербургских ведомостей».

На заголовке газеты стояло: «№ 52, пятница, 28 июня». Далее была статья:

«Из Рима, от 27 мая пишут... Езуиты купили для братии своей дом маркиза Д'Оссоли. Слух носится, что намерены уничтожить сие братство...»

«Вела речь свинья! Чёрта с два! – подумал Ломоносов. –

Как раз, уничтожат этих аспидов...»

Он бросил газету на стол, раскрыл окно в сад, вынул из ящика набросок речи и задумался над фразой: «Nunc festus Petri, patrae, dilectissimae patris et filii, dies usque in aeternum redivivus recurrat...» и проч. По-русски фраза означала:

«Сей день Петра, отца отечества и сына, – с удвоенным торжеством, да возвращается навсегда более радостным, более счастливым, и да принесёт в позднейшее потомство общее нерушимое веселие...»

Ломоносов опять сел к столу. Но едва он взялся за перо – с улицы послышались громкие, нестройные голоса. В окно было видно, как берегом Мойки, влево к Синему мосту, в беспорядке бежала густая толпа: мужики с барок, фабричные, бабы и мастеровые. Часть бежавших замедлилась и, в облаке поднятой пыли, с бранью и криками, толкала какого-то долговязого, в голштинском мундире, офицера.

«Попался немец, – подумал Ломоносов, – чем-нибудь, грубиян, насолил».

Толпа продвинулась. Берег очистился. Но опять где-то раздались голоса. С ближних и дальних церквей начинался странный, не по времени перезвон.

«Не пожар ли?» – пришло на мысль Ломоносову. Он взглянул на часы. Было с небольшим восемь.

– Батюшки, светопреставление! – слышался снизу, под лестницей рёв кухарки. – Злодеи! Масло!.. Масла целую крынку... Банку с ваксой стащили... Изверги! Погубители!

Ломоносов спустился во двор. У ворот шла суета. Шныряли какие-то фризовые шинели: расстёгнутые, с красными лицами матросы заглядывали в калитку у ворот. Незнакомый священник, испуганно шмыгнув с улицы, о чём-то расспрашивал дворника. А дворник, торопливо выпрягая из тачки лошадь, похлопывал её по спине, подрагивая разутыми, в подвёрнутых шароварах, ногами, точно собирался вспрыгнуть на коня и куда-то ускакать.

– А-а-а! Ура! – донеслись от Синего моста раскатистые громкие крики.

«Нет! Не пожар! – сказал себе Ломоносов. – Ужли ж перемена, неожиданный, всякими бедствиями грозящий мятеж?».

Он взял трость и шляпу, вышел на улицу и, обгоняемый пешими и конными, направился влево по Мойке.

– Сполох, ребятушки, сполох! Даржи, Сысойка, даржи... У-ах! – галдели обрызганные извёсткой и глиной штукатурцы и каменщики, гуськом выбегая из соседнего двора.

– Где сполох? Эка, врут, идолы! – сердито огрызнулся пузатый, рыжий кабатчик, в кумачной рубахе и фартуке, на босу ногу, стоя с стаканом сбитня на крыльце погребка.

– Чтоб те перекосило с угла на угол! – сказал кто-то.

– Вот постой, толстошей! Ужо всем вам будет расплата! Всех порешат! – крикнул костлявый, в веснушках, верзила-маляр, с ведёрком и кистью спеша вслед за другими.

У Красного моста Ломоносов в силу уже мог подвигаться вперёд. Из глубины Гороховой доносилось громкое ура.

Там двигались солдаты и развевались знамёна. При въезде на мост скучилось несколько экипажей. В одной из карет был виден бывший фаворит Иван Иванович Шувалов, торопливо и растерянно говоривший с кем-то из подъехавших знакомцев. Из другой, заторможенной кричавшей и напиравшей со всех сторон толпой, выглядывало искажённое страхом, с помутившимися, дико уставленными глазами и с дрожавшей, отвислою губою, мёртвенно-бледное лицо герцога Бирона...

С трудом протискавшись через мост, Ломоносов попал в такую давку, что не мог уже идти по желанию. От Красного моста его унесло на Невский к Зелёному, или Полицейскому. Дом полиции был окружён народом. Ворота его были взломаны, стёкла в окнах выбиты. Перед тем только что арестовали и куда-то отправили генерал-полицеймейстера Корфа. Толпа запылённых, освирепелых фабричных и солдат с криками: «В воду его! Всех их, чертей, немцевых слуг, туда!» – кулаками и прикладами толкала в Мойку перепуганного, в изорванном бархатном кафтане и в большом включенном парике, старичка иностранца.

Какой-то офицер, насилу отбив у рядовых полумёртвую измятую фигурку, втолкнул её в лодку и велел везти в крепость.

– Лешток! – послышалось в толпе.

– Какой Лешток?

– А мало ли их дьяволов, немцев... Вон и дядюшку Жоржа исколотило солдатство, порвало на нём одежу...

«Sic transit gloria mundi!²⁸⁷ – подумал Ломоносов. – Но откуда все и в чём дела суть?».

У Казанского собора он узнал наконец причину общего волнения.

Не успело шествие показаться в Мещанской, от Гостиного двора послышались крики и прерывистая барабанная дробь. У чугунной соборной ограды показались бежавшие по Невскому в светло-зелёных елизаветинских кафтанах, с мушкетерами наперевес, преображенцы. Офицеры, вожаки движения, Бредихин, Баскаков, Протасов, Ступишин и Чертков насилу сдерживали и равняли их мешавшиеся ряды.

– Виноваты, матушка, поздно пришли! – кричали государыне гренадёры.

Не успели преображенцы выстроиться в ограде, на Невском опять раздались звуки труб, стук подков и ближе, и ближе переливавшиеся крики ура. Стали видны скачущие, тяжёлые ряды зелёных, в золотых галунах, рейтаров. На полном карьере, с палашами наголо и с распущенным штандартом, гремя подковами по мостовой, неслась от Аничкова конная гвардия.

– Матушка! Солнце ты светлое! Спасительница! Не выдадим! – восторженно кричали конногвардейцы, предводимые Хитрово, Несвицким, Ржевским, Черкасским и Мансуровым, строясь между собором и садом гетмана Разумов-

²⁸⁷ Так проходит слава мирская! (лат.).

ского (ныне Воспитательный дом).

На паперти показался окружённый «всем освящённым собором и синклитом» в полном облачении новгородский архиепископ Димитрий Сеченов. Он осенил крестом Екатерину. Солнце светило на белый глаzet, малиновую парчу, седые головы и бороды духовенства. Траурное платье Екатерины сиротливо отличалось в этой смеси бархата, золота и ярких солнечных лучей.

– Присягать! Присягать! – раздавались восклицания. – Правительницей! С сыном Павлом! Регентшей...

– Одна, одна! Да здравствует самодержица, матушка наша, Екатерина Алексеевна! – крикнул Алексей Орлов и за ним передние ряды.

– Ура! – схватили остальные. – Самодержицей! Крест целовать! Ура!..

Быстро примчалась шестернёй золотая придворная карета. Из неё вышел бледный, старавшийся скрыть радостное волнение, Никита Панин, об руку с своим питомцем, встревоженным, робко шагавшим, худеньким великим князем Павлом Петровичем.

Архиепископ спустился с паперти и стал обходить ряды войска. Офицеры кидались на колени перед Екатериной, восторженно махая шпагами и шляпами. Окна, балконы и двери окрестных домов переполнились зрителями. Кто не попал на площадь, взбирался на смежные крыши, на деревья Невского и гетманского сада.

– Где императрица? Где? Позвольте! – спросил, сляясь взглянуть из-за спин других, невысокого роста, круглощёкий юноша, с вспотевшим, миловидным лицом, подъехавший на извозчике с Мещанской.

– Вон она, батюшка, вон, а возле неё великий князенька, Павел Петрович, – ответил в мещанском зипунишке старик.

– Да где же? Позвольте, не видно.

– На паперти, сударь, эвوسي, прямо глядите; в печальном-то платье... в чёрной шапочке, со звездой.

– Эк, глаза, дедушка, куда дел? – отозвался голос из толпы. – Проворонил... с преосвященным ушла в собор.

– Молебствует! На царство венчается! – слышалось здесь и там.

– А Панин-то не оставлял великого князя, с ним эти ночи, сказывают, спал, оберегал царское детище...

Давка на площади стала стихать.

Щеголеватый юноша, оправляя букольки и примятый треугол и распространяя запах петушьих ягод, протискался в церковную ограду.

Здесь Фонвизин увидел своего знакомца, рядового Державина. Последний, размахивая руками, что-то рассказывал преображенцам и как бы на кого-то жаловался.

– Что с тобой? – спросил его Фонвизин. – И каково происшествие?

– Представь случай! – обратился к нему Державин. – И в такое время... Вчерась из подголовка одна бестия выкрала

все деньги – больше ста рублей...

– Кто выкрал?

– Да слуга одного солдата-помещика... И смех, и жаль, – такова судьба! Родительница склотила и прислала последнюю. Верить ли, всю ночь не спал...

– Ну, теперь зато утешен.

– Ещё бы.

– А где ваш баталионный Воейков, что Пассека арестовал?

– Представь, вздумал на Литейном гренадёр, чтоб не шли сюда, бранить и по ружьям рубить. Те рыкнули и кинулись на него со штыками...

– И что ж?

– Ускакал – по брюхо коня – в Фонтанку, не достали.

– А эти кто?

– Дашкова... Панин... гетман Разумовский...

К собору наспевали известные городу вельможи и жёны сановников. Фонвизин также протискался на паперть. Голова его кружилась. Он слушал и не верил своим ушам. В раскрытую дверь церкви были видны ярко горевшие лампы и свечи. С клубами дыма доносились громкие возгласы протодиакона:

– Ещё молимся о благочестивейшей, самодержавнейшей, великой государыне... императрице Екатерине Алексеевне... и о наследнике ея Павле Петровиче...

Хор певчих подхватывал. И никогда клирное пение не ка-

залось Фонвизину так сладко, как теперь.

«Боже! Какие события! – думал он, со слезами восторга не видя вокруг себя никого. – Чаял ли, ожидал ли кто так скоро?».

Он вынул платок, отёр глаза и раскрасневшееся лицо – и оглянулся.

У зелёной, развесистой липы на Невском, стиснутый задыхавшеюся от жары и давки толпой, стоял близ церковной ограды знакомый, атлетического вида, господин. Плотные плечи высились над устремлёнными к церкви головами; яркий, порыжелый от ветра треугол был сдвинут на затылок; суровое, в морщинках, лицо изображало недоумение и радостный испуг.

«Михайло Васильич! Он ли это?» – подумал Фонвизин, вспоминая последнее свидание с Ломоносовым, тосты в честь императрицы и приглашение на именины дяди.

«Боже! Какое совпадение! – сказал себе юноша, протискиваясь из ограды на Невский. – Как раз в этот день...»

Под липой действительно стоял Ломоносов.

– Карету государыни, карету! – крикнули в это время от собора.

Ряды войск, тесня и сдерживая народ, раздвинулись.

– Место, место!

– Куда поехали?

– В новый дворец! В короне!..

– Врёшь!.. Что рот раскрыл? Пушка вкатит! Да не толкайся, желтоглазый, ребро сломаешь!..

– Эх, люди, право! Лезут!..

– Ой, руку отдавили! Ноженьку...

Толпа, хлынув от площади, разорвалась на два течения. Одно, волнуясь и кружась, захватило и повлекло влево по Невскому тех, кто стоял у сада гетмана. Другое потащило вдоль Конюшенных тех, кто находился правее против собора.

Фонвизин, приплюснутый меж бородами, пахнувшим ворванью и москателью лавочником и толстою, красной как рак попадьёй, увидел издали, в облаке пыли, раз и другой мелькнувшие плечи и шляпу Ломоносова. Он попробовал освободиться, но тщетно. Бурный народный поток, сжав его, как в тисках, уносил его дальше и дальше вперёд. Ломоносову бросилось в глаза взволнованное лицо Пчёлкиной. Она стояла на чьём-то крыльце, сумрачно, недовольно глядя на бежавшую мимо неё толпу...

Екатерина проехала в новый, ещё не освобождённый от лесов, Зимний дворец. Здесь, окружённая свитой, она показала народу с сыном в верхнем, и теперь существующем фонарике, над правым крыльцом.

– Манифест пишут, совещаются, – стало слышно в толпе. – В старый дворец созван сенат и синод.

Подъезжали новые экипажи, скакали верховые.

Глухо гремя тяжёлыми колёсами и лафетами, на площадь

въехала артиллерия. Пушки разместились по углам площади и у въездов в ближние улицы.

Ломоносов стоял у Адмиралтейства. Он видел, как с портфелью под мышкой, трусцой, на длинных, юрких ножках прошёл в дворцовые ворота любимец гетмана – президента академии, Григорий Теплов.

«Вот чьё перо понадобилось в столь важный момент! – с горечью подумал Ломоносов о своём давнем недруге. – Напредки сведом буду... Немного хорошего предвещают негодии с таким конфидентом²⁸⁸... Пора, знать, и восвояси».

Он сходил домой, наскоро пообедал и опять вышел на улицу. Но не успел он добраться до Гороховой, как народ снова откуда-то хлынул и его увлёк ко дворцу. Вечером площадь огласилась новыми громкими криками – Екатерина села в карету. Провожаемая войском, она ехала к старому елисаветинскому дворцу.

Унесённый волнами народа, Ломоносов очутился у фонарного столба в Морской, на углу разъездной дворцовой площади. Перед ним по Невскому равнялись шеренги преобразенцев, семёновцев и конной гвардии; направо, по Морской, – измайловцы, артиллерия и армейские полки.

Кто-то тронул Ломоносова за плечо. Он оглянулся; перед ним стоял Фонвизин.

– Каковы события, каковы! – сказал Денис Иваныч.

– Да, смуты и всякой сутолочи немало! – досадливо отве-

²⁸⁸ Конфидент – человек, которомуверяют секреты.

тил Ломоносов, вспоминая о Теплове. – Мах-мах, и увезли, начали новое царение. Всё это больно уж скоро...

– Не понимаю вас, – удивлённо произнёс Фонвизин.

– Не понимаете? А как те-то, сударь, одумаются и пойдут сюда из Рамбова?

– Да кому идти?

– Как кому? У Петра Фёдорыча, друг мой, с голштинцами, помните, более пяти тысяч войска.

– Отстоим, Михайло Васильич, что вы, отстоим! – сказал Фонвизин. – Город оцеплен, и к государыне то и дело подводят языков... слышали, сколько уж явилось с покорностью?.. Оба Шуваловы, Трубецкой, Воронцов; в Кронштадт послан адмирал Иван Лукьяныч Талызин²⁸⁹ – привести флот к присяге.

– А Миних? – сердито подняв брови, произнёс Ломоносов. – Он один, сударь, чего стоит!

– Что Миних! Старый немчик!.. мы и его...

– Ну, не суди так зазорно! Минихами, брат, не очень-то шутят... Они...

Ломоносов не договорил.

Дворцовая площадь, как по мановению волшебного жезла, вдруг смолкла. Взоры всех обратились к крытому парадному подъезду, выходявшему на Морскую. Был девятый час вечера, но на улице было светло. Ломоносов опять где-то в

²⁸⁹ Талызин Иван Лукьянович (1700—1777) – вице-адмирал (1757), член адмиралтейств-коллегии. Участвовал в суде над Мировичем.

толпе увидел Пчёлкину.

На подъезде в кругу сенаторов, генералитета и первых чинов двора показались два невысокого роста, в лентах и светло-зелёных гвардейских кафтанах, офицера: один живой и худенький, другой плотнее и с виду представительный и важный.

– Батюшки, да ведь это государыня и Дашкова! – произнёс, прикипев на месте, Фонвизин. Он ухватил мягкою, тёплогою рукой похолоделую, жилистую руку Ломоносова и более не мог промолвить ни слова.

Екатерина была одета в Преображенский, старой формы кафтан капитана Петра Фёдорыча Талызина; Дашкова – в такой же кафтан лейтенанта Андрея Фёдорыча Пушкина. Придворные рейткнехты²⁹⁰ подвели к крыльцу белого, в тёмных яблоках, и светло-гнедого коней.

– Садится, садится верхом! – пронеслось в толпе. – Откушала, пресветлая, у окон-то: с улицы было видно...

– Да куда же это?

– В поход, видно...

– В какой?

– Отстаньте, что вы, право!..

Екатерина села на белого, Дашкова – на гнедого коня. Обе отъехали несколько шагов к Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны под шляпу. Развитые, светло-русые косы Екатерины густыми, волнистыми прядями па-

²⁹⁰ Рейткнехт – кучер (нем.).

дали из-под треугола на зелёный с красным воротом кафтан. Через плечо императрицы была надета андреевская голубая лента.

– Слушай! На краул! – раздались слова командира.

Ружья звякнули. Войско отдало честь государыне.

Екатерина, с улыбкой взглянув на Дашкову, ловко вынула из ножен шпагу, хотела её поднять и смешалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась без темляка.

– Темляк, темляк! – пронеслось в ближних рядах.

Из передней шеренги конногвардейцев, на большом, раскормленном вороном коне, вылетел и подскакал к императрице моложавый и, как девушка, застенчивый, близорукий, круглолицый вахмистр. Он снял с собственного палаша темляк и, приподняв шляпу, дрожавшей рукой почтительно подал его государыне.

– Благодарю! – сказала Екатерина, сдержав лошадь и ласково кивнув ему через плечо.

– Кто это? Кто? – заговорили в рядах.

– Батюшки светы! – произнёс, всплеснув руками, Фонвизин. – Да ведь это наш кандидат в архиереи...

– А ты нешто его знаешь? – спросил Ломоносов.

– Как не знать! За леность и повседневное нехождение в классы, вместе с Новиковым, выключен из наших московских студентов, а теперь масон и друг Орловых.

Кандидат в архиереи в эту минуту был в большом затруднении. Его молодой вороной, став рядом с белым конём им-

ператрицы, решительно не хотел отъезжать прочь. Он тронул его шпорами, – конь подался вперёд, фыркнул, но, помня манежную езду, замотал головой и осел назад. Он дал ему шенкеля, конь взвился на дыбы, и опять ни с места.

– Не судьба, сударь, – желая одобрить растерявшегося вахмистра, с улыбкой сказала Екатерина. – Ваша фамилия?

– Потёмкин! – вспыхнув по уши и заморгав большими близорукими глазами, ответил с рукой у треугола белолицый и чернобровый вахмистр.

Екатерина прикрепил темляк, подняла шпагу и смело, одобрительно-приветливо взглянула на окружавших, на публику и генералитет.

Это была уже не жалкая, в траурном платье, гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть крыльями и подняться в недостижимую высь. Она, глядя всё так же смело и приветливо, как бы салютуя, повела шпагой, тронула поводом и шагом двинулась вправо по Невскому. Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звёздами, верхами последовала за ней. Кто-то, проезжая мимо Ломоносова, сказал соседу, указывая на императрицу:

– Перст Божий, промысел...

«Увидим ещё, увидим! – думала невдали от него, глядя на общее ликование, Пчёлкина. – Дашковой тоже припомню, выйдет иной фантом... о нём забыли... но он воскреснет, жив!..»

– Смирно! Фронт, готовьсь! Мушкет на пле-чо! – разда-

лась по полкам разноголосая, на тогдашний лад, команда начальников пеших и конных частей.

– Через плутонг²⁹¹, направо, ряды вздвой... Левое плечо вперёд, кругом... скорым шагом, прямо, марш!

Колонны двинулись, стали равняться. Загремели барабаны, засвистели флейточки. Хор трубачей впереди полков, предводимых гетманом и князем Волконским, заиграл походный марш великого Петра.

Сперва гвардия, пешая и конная, потом армейские полки пошли вслед за императрицей. Они обогнули от Морской по Невскому и миновали зимний Елисаветинский дворец. Екатерина въехала на Полицейский мост. Невский, в последнем отблеске заката, глядел празднично. Трубы и барабаны гремели. Знамёна развевались. Екатерина издали вся была ясно видна, на белом в яблоках, статном коне, – в ленте, со шпагой в руке и с пышными русыми косами, падавшими на зелёный с золотом кафтан.

«И это она! – мыслила, едучи рядом с Екатериной и поглядывая на неё, Дашкова. – Она, та самая, что третьего дня мыла рукавчики... а сегодня, а теперь?.. Как неожиданно, как чудно она, она, мой идеал, мой друг, переродилась! Кто ожидал? Сколько смелости, отваги! История отметит. И мне одной она обязана своей свободой и этим, даже мне самой непонятным и необъяснённым перерождением!..»

– Куда это, куда? – окликнул кто-то из опоздавшей знати

²⁹¹ Плутонг – пехотное подразделение в русской армии XVIII века.

Ивана Ивановича Шувалова, который у дворцовой площади торопливо и неуклюже влезал, при помощи слуги, на подвешенного коня.

– В поход, князенька! – неохотно ответил, махнув рукой, Шувалов.

– Как в поход? Куда?

– В Рамбов, батюшка! И что пристаёшь? *mille diables*²⁹² некогда, – ещё досадливее сказал Шувалов, неумело болтая толстыми в чулках ногами и догоняя шествие.

Мимо Ломоносова двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Он не отходил от угла разъездной площадки.

– Вот бы, Михайло Васильич, вам воспеть нашу радость, нашу богиню! – кто-то восторженно крикнул ему из двигавшихся пехотных рядов.

Ломоносов оглянулся. Мимо него, в темп поспевая за товарищами, с ружьём на плече, по разъезженному булыжнику быстро шагал в пыли раскрасневшийся, длинноногий Державин.

– Видели? – спросил он, равняясь и меняя ногу. – Этот конь, эта шпага и эти распущенные косы... Не правда ли, героиня древности, Минерва! Фелица!²⁹³

Войска шли, клики не умолкали, барабаны гремели по

²⁹² Тысяча чертей (фр.).

²⁹³ Минерва – в греческой мифологии – богиня мудрости; Фелица – героиня одноимённой оды Гавриила Державина.

Невскому.

Преображенский рядовой, будущий певец этой самой Фелицы, забыл в эти мгновения бессонницу ночи, пропавшие деньги и то, что он с утра не пил и не ел, и всё... Он не спускал глаз с длинных русых кос, развевавшихся вдали из-под треугола, и лихо, бодро шёл, не чувствуя под собою ног и, в трепете зарождавшегося вдохновения, желая, чтобы это сказочное шествие было нескончаемо, вечно...

*Чтоб шлем блистал на ней, пернатый,
Зефиры веяли власы...
Чтоб конь под ней головой крутился
И бурно броды опенял...*

– Воспеть! Да, друг мой, стоит ироической, в потомство идущей, громкой оды! – сказал Фонвизину, смигивая слёзы, Ломоносов. – Сказка Шехерезады, сон...

Оба они пошли с народом за войском, но не видели ни войска, ни народа. В их глазах как бы намечались и дивно строились очертания чего-то великого, нового и непостижимого. Придя домой, Ломоносов порвал и сжёг латинскую речь в честь Третьего Петра и начал новую оду:

*Внемлите, все пределы света,
И ведайте, что может бог:
Воскресла нам Елисавета!..*

«Да, – мыслил он, бродя по саду, – новую, светлую эру начнёт она, лишь бы призвала разумных и честных, прирождённых стране советников... А тот заключённый? Господи, сил! Преклони, в этот миг, сердце её к несчастному. В торжестве и в счастье да вспомнит она его своею милостью...»

XXI

ВЫСАДКА В КРОНШТАДТЕ

Мирович оставил притомлённого коня под Петергофом и с каким-то садовником доехал в Ораниенбаум в седьмом часу утра. Дворец ещё был погружён в тишину. Худощавый, плечистый, в веснушках, голштинский офицер, в белом колете и лосиных в обтяжку штиблетах, ходил в ожидании смены у гауптвахты, близ главных ворот.

– *Zuruck, zuruck!*²⁹⁴ – крикнул ему голштинец, видя, что тот направляется к дворцовому крыльцу.

– Мне, сударь, важное дело, – не останавливаясь, сказал Мирович.

– *Aber du, tausend Teufel!*²⁹⁵ – кинувшись к ослушнику и хватая его за плечо, прохрипел освирепелый драбант²⁹⁶.

– Да слышишь ты, собака, дело говорю! – ответил, оттолкнув его, Мирович. – За грубость после расчёт: видывали та-

²⁹⁴ Назад, назад! (нем.).

²⁹⁵ Ну ты, тысяча чертей! (нем.).

²⁹⁶ Драбант – телохранитель.

ких... а теперь, говорят тебе, пусти...

– О, Herr, Je... du Taugenichts, Schweintreiber! Hei! wer ist da?²⁹⁷ – крикнул, хлопнув в ладоши, голштинiec.

Из караульни выбежало несколько человек солдат.

Напрасно Миpович доказывал, клялся и грозил. Ему указали смежный внутренний двор, где помещалась канцелярия дежурного генерал-адъютанта. Там было также тихо. Дверь в канцелярию была заперта. Миpович присел на крыльце обдумывая, как он упросит Гудовича или Унгерна и предупредит государя. Дворцовый мир начал пробуждаться. У кухонного флигеля показался в белом колпаке заспанный поварёнок. Где-то скрипнула дверь, простучали подковы лошади. Из служительской казармы вышел, в халате и в башмаках на босу ногу, лысый тафельдекер. Он умылся у бочки, утёрся и, позёывая, начал молиться.

«Царство спящей царицы, – подумал Миpович, – и не подозревают, что их ждёт...»

На внутреннем дворцовом крыльце показался с платьем в руках, недовольный и хмурый, любимый государев арап Нарцис.

«Терпение, терпение, – сказал себе Миpович. – Государь скоро проснётся...»

Он прошёл к пруду, к катальной горке, также умылся и привёл в порядок свой запылённый и примаранный костюм. Его давила роковая, величественная, как он думал, идея.

²⁹⁷ О... ты, дуралей, свинопас! Кто-нибудь есть здесь? (нем.).

Она была ему не под силу. Он под нею изнемогал. Возвратился Мирович через конюшенный двор. Здесь уже шла суета. Рысью вели с водопоя лошадей. У каретника сновали конюхи, скороходы. Выкатывали экипажи, несли сбрую.

– Что это? – спросил Мирович рейткнехта. – Разве так рано едет куда государь?

– В Петергоф – кушает нынче там.

Мирович возвратился к главным дворцовым воротам. У гауптвахты стояла уже другая команда.

«Подожду здесь, – сказал он себе с внутренней дрожью, сердито присев на выступ решётки. – Тупицы, скоты, – тиранят медленностью и не подозревают!».

Не долго он ждал на этот раз. За древесною клумбой, скрывавшей парадный подъезд, послышался конский топот. К воротам, повернувшись в седле и отдавая назад кому-то приказания, приближался курц-галопом пасмурный, не в духе, Гудович. Открытое государево голубое ландо, шестернёй цугом, ехало ему навстречу – к крыльцу, где, в ожидании выхода императора, толпилось несколько придворных, офицеров и молодых разряженных дам. Оттуда доносились весёлые возгласы, смех.

– Mais finissez done, cher baron!²⁹⁸ – хлопая Унгерна по руке, говорила певучим голоском полная, краснощёкая, с усиками, брюнетка графиня Брюсс.

²⁹⁸ Но кончайте, пожалуйста, дорогой барон! (фр.).

– Et puis quand je dor...²⁹⁹ – продолжал кто-то.

– Ти-ти, та-та, – щебетала на крыльце весёлая компания...

«Озадачу их, побледнеют модники! разгромлю! – с злобою, радостною дрожью, подумал, пропустив ландо, Мирович. – Откладывать нечего... Была не была... Начну с этого...»

Он стал на пути Гудовича – и, когда последний выехал за ворота, подошёл к нему и с поклоном протянул заготовленный у Брессана рапорт. Гудович мельком взглянул на бумагу, счёл её за обычное прошение, опустил в карман и, подобрав поводья, с лёгким кивком, тем же курц-галопом поскакал по дороге в Петергоф.

«Что я сделал! Скотина, мямля, баба! – вспыхнув, подумал Мирович. – Надо было самому государю...»

В ворота стали подъезжать другие экипажи. На крыльце явились фаворитка Воронцова, Измайлов, Бецкий и прусский посланник Гольц. В дверях показался белый, с бирюзовым воротом и такими же обшлагами, мундир, небольшой треугол с плюмажем и голштинская красная лента. Государь вышел в сопровождении Миниха. Он добродушно улыбался.

– И с такой разиней сам вороной станешь, – сказал Пётр, отвечая на слова собеседника. – Готово? – спросил он, обернувшись к свите.

– Готово, – склонившись, ответил Унгерн.

На дворе было весело, тепло. Солнце светило так привет-

²⁹⁹ И потом, когда я сплю... (фр.).

ливо. Государь приподнял всем шляпу, живо, покачиваясь, спустился по ступенькам и сел в экипаж. Воронцова и графиня Брюсе, весёлые, улыбающиеся, en robe de cour³⁰⁰, распустив цветные зонтики, сели с ним на переднюю скамью; молоденькая принцесса Гольштейн-Бекская – рядом с государем.

Голубое, с красными выносными жокеями, ландо, объехав фонтанную клумбу, пронеслось мимо Мировича на дорогу. Следом выкатил ряд других экипажей. Защёлкали бичи. Заклубилась пыль. Вновь поставленный голштинский караул в лосине и в узких белых колетах вытянулся, с барабанною дробью, у ворот.

«Не пустили, собаки, а я всё-таки в подробности и, кажется, первый передал обо всём!» – подумал Мирович, следя от ограды помутившимся, злобным взором за убежавшими вдаль экипажами весёлой компании.

Вскоре Мирович узнал, что всё его рвение и все хлопоты опоздали и остались ни при чём...

Государева коляска миновала колонию. В свежем утреннем воздухе над вершинами парка, развернувшегося у взморья, стали видны кровли Петергофского дворца. И вдруг красный жокей замедлил на передней паре и обернулся. Навстречу государю, из парка, мчался во весь опор Гудович.

Андрей Васильич подскакал, склонился к экипажу и на-

³⁰⁰ В одеждах придворных (фр.).

чал что-то шептать государю. Пётр Фёдорович побледнел. На Гудовиче тоже не было лица. Оба несколько мгновений молчали.

Император вышел на дорогу. Глаза его смотрели испуганно, по лицу бродила странная, растерянная улыбка.

– Так это, Андрей Васильич, не сон? Её нет?

– По видимости, ваше величество, государыня ретировалась.

– Просто скажи, сбежала! Зачем смягчать? Но куда?

– Никто не знает.

– Всех спрашивал?

– Всех.

Наспели другие экипажи. Пётр Фёдорович сел в коляску с Гудовичем, Унгерном и Минихом и велел ехать к Монплезиру³⁰¹. Дамам предложили отправиться ко дворцу парком.

Государь бросился в павильон, обошёл все комнаты – Екатерины не было. На столе, в её уборной, лежало готовое на завтра бальное цветное платье.

– Вздор, вздор! – сказал Пётр Фёдорович. – Она здесь где-нибудь спряталась. Не иголка – найдём!..

Он заглядывал в шкафы, под кушетки, велел осмотреть ближние здания, берег, кусты...

– Ну, Романовна, – обратился государь к Воронцовой, подъехавшей с дядей-канцлером. – Ты права!.. Жена моя нас

³⁰¹ Монплезир – одно из дворцовых сооружений в Петергофе, весьма любимое Петром I.

предупредила, ушла...

– Хуже того, ваше величество, – произнёс, склоняясь, канцлер. – Не знаю, как и доложить.

– Говори, говори, – что ещё там?

– Сейчас проехавшие крестьяне сообщили, что вся столица в восстании; народ и войско стали за государыню и с нею направились ко дворцу.

Пётр Фёдорович взглянул на окружавших. Взоры всех были потуплены.

– Отпустите меня в Петербург, – сказал Воронцов. – Я постараюсь уговорить вашу супругу и привезу её к вам обратно.

– И мне дозвоьте, – произнёс Александр Шувалов.

– И мне! – прибавил князь Никита Трубецкой.

Все трое уехали в Петербург – и не возвратились. Стали приходить вести одна другой тревожнее. Подъехавший фейерверкер сообщил, что Панин, Дашкова, князь Волконский и гетман руководят движением, Петербург оцеплен, Екатерина провозглашена самодержицей, и ей принесли присягу сенат и синод.

Окружавшие Петра Фёдоровича не выказали мужества. Но прежде всех и в большей мере потерялся он сам. Окружённый молодыми, плаксивыми женщинами и себялюбивыми, изнеженными царедворцами, он ходил большими шагами по аллеям нижнего сада, делал множество разных предположений и не выполнял ни одного. Были посланы лазут-

чики на Нарвскую дорогу – узнать, не проезжал ли гонец в заграничную армию. Поехал предупредить коменданта в Кронштадт на шлюпке адъютант государя, граф Девьер.

Осыпая Екатерину горькими, жёсткими укоризнами, Пётр Фёдорович то грозил, что всю дорогу до Петербурга оставит виселицами и перевешает на них всех её пособников, то диктовал Волкову проекты бесполезных распоряжений и воззваний к народу. Были посланы в Петербург четыре солдата с манифестами к народу, причём каждому было дано по сто червонцев. Но в то время, как Волков писал манифесты в Петергофе, Теплов писал³⁰² подобные же в Петербурге.

Пришёл час обеда. День был тихий, жаркий. Всё общество столпилось на взморье, у Монплезира. Здесь накрыли стол и сели обедать. В конце обеда слышались звуки труб и барабанов. То подходили из Ораниенбаума приведённые Измайловым голштинские полки. Был седьмой час вечера.

– Верные слуги вашего величества явились, – сказал фельдмаршал Миних. – Мужайтесь! Станьте в их главе и идите на Петербург. У вас там ещё немало друзей. Столица одумается и возвратится к своему долгу. Я первый положу седую голову за моего государя...

Слова старого победителя при Ставучанах произвели удручающее, смутное впечатление. Дамы стали шептаться,

³⁰² Теплов Григорий Николаевич (1717—1779) – тайный советник (1767), сенатор (1768). Воспитанник Ф. Прокоповича. Участвовал в заговоре против Петра III, составлял первый манифест Екатерины. Личный секретарь Екатерины, выполнявший особо деликатные поручения.

мужчины – переглядываться. Все чувствовали, что нечто привычное, покойное и приятное уходило от них и заменялось неприятным, тревожным, грозным.

Голштинским отрядам велели идти к зверинцу и там по взморью строить батареи. Миних чертил места для окопов, Измайлов занялся списками батарейных команд. Стало вечереть.

Но подоспела новая грозная весть. В Гостилицы прискакал мажордом Разумовского и объявил, что государыня и с ней больше пятнадцати тысяч войска выступили из столицы и на полном марше идут на Петергоф. Дамы расплакались, подняли крик. Кто-то вполголоса сказал, что уж если ждать атаки, так лучше возвратиться в Ораниенбаум – там крепость. Эти слова произвели общее замешательство. Все предлагали советы, один другого несбыточнее, спорили и никто никого не слушал.

– Ваше, фельдмаршал, мнение? – обратился государь к Миниху. – Что скажете о предложенной ретираде?

– Ретирада? – произнёс он, покачав головой. – Что торопитесь? ещё успеете... А впрочем, эти увеселительные места... тут нас всех, пожалуй, переловят, как мышей...

– Так куда же, милости-с пожалуйста, куда?

– В Кронштадт! – сказал Миних. – Он ещё в вашей власти. Комендант Ливере – надёжный слуга... И если мы вовремя туда поспеем – его корабли и пушки иначе заставят говорить и вашу ослушную супругу, и ставший на её сторону

Петербург.

– Хорошо, что мы догадались! – ответил государь. – К коменданту послан Девьер, готовить десант...

Предложение Миниха было принято. Послали в Ораниенбаум за яхтой и галерой. Пока их привели, стало смеркаться.

Был десятый час вечера. Всё общество в шлюпках переехало на суда.

На государеву яхту, в помощь матросам, попросились некоторые из гвардейских и армейских офицеров. Между ними был и пришедший с голштинскими полками Минович.

Потянул было лёгкий береговой ветер, но когда окончательно стемнело, он затих. Паруса не вздымались. Яхта и галера шли на вёслах. Волны чуть колыхались. Море затянуло мглой.

Был на исходе первый час ночи, когда путники приблизились к Кронштадту.

«Ну, что-то мне подарит наступающий день моих именин? – думал, сидя у борта на палубе, Пётр Фёдорович. – Как-то распорядились в Кронштадте Ливере и Девьер?».

В то время, как яхта и галера плыли по морю, в Петербурге уж ходил в списках первый именной указ Екатерины сенату:

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадёжить престол, оставя вам, яко первому моему правительству, с полною доверенностью, под стражу, отечество, народ и сына моего...»

Снабжённый инструкцией сената вице-адмирал Иван Лукьянович Талызин приплыл в Кронштадт на шестивёсельном рябике³⁰³ перед вечером. Велев гребцам молчать, он пошёл к коменданту Ливерсу, сказал ему, что в Петербурге неладно и что, вследствие того, он счёл долгом поспешить к флоту. От Ливерса Талызин отправился в казармы. Там он собрал более надёжных офицеров и матросов, рассказал им о падении голштинской партии и о присяге Петербурга и предложил флоту стать на сторону новой императрицы. Все крикнули «виват» и отправились за Талызиным к коменданту.

– Что за шум? – спросил, встретив их, Ливерс.

С комендантом стоял и присланный за десантом адъютант императора, граф Девьер.

– А вот что, государи мои, – ответил щепетильный и вежливый в обхождении Иван Лукьянович, – вы не имели столько духа, чтоб догадаться и меня арестовать, так извините, я вас при сей okazji арестую...

С Ливерсом и Девьером был заключён под стражу и капитан над портом, крикнувший было матросам:

– Что вы смотрите на него? Вяжите бунтовщика!

Талызин привёл всю команду к присяге, ко входам в гавань отрядил надёжные караулы, пушки батарей велел зарядить ядрами и вышел на пристань.

Море тихо плескалось о низменный берег, о сваи и камни

³⁰³ Рябик – остроносая лодка с беседкой.

дозорной каланчи.

«Людей в Кронштадте всемерно мало, чтоб обнять столь обширную гавань, – рассуждал Талызин, ходя взад и вперёд по взморью, – пришлют ли, как я просил, сикурсу солдатами из Питера? А то как бы не наехал сюда недобрый гость из Аренбога» – как тогда звали Ораниенбаум, или нынешний, по-народному, Рамбов.

Наведя зрительную трубку в море, Иван Лукьянович тревожно вглядывался, не плывёт ли из «Аренбога» недобрый гость.

Мгла над морем не расходилась. Месяц не показывался. Иван Лукьянович обошёл всех часовых.

– Кто на стрелке? – окликнул он караульного, стоявшего у входа в гавань на узкой песчаной косе.

– Трифон Аверьянов! – ответил из-за пригорка голос молодого часового, шагавшего в сумерках по влажному песку.

– Гляди ж, Аверьянов, да поглядывай гостей, – крикнул ему Талызин, – а наедут, давай голос, чтоб ехали прочь... стрелять-де будем... Есть рупор?

– Нетути.

– Ну, малый, гляди же; а я пришлю...

А гость из «Аренбога» как раз и наехал.

В мгlistом сумраке обрисовывались чёрные мачты и рей двух медленно, на вёслах, подплывавших судов. Что-то зашуршало и шлёпнулось в воду.

«Якоря опускают», – подумал, затаив дыхание, Талызин.

Он дал условный сигнал на соседние батареи. С вышки было ясно слышно, как на приплывших судах кто-то тихо отдавал команду, как с яхты, а потом и с галеры спустили шлюпки и как, шелестя платьями и пища от страха при виде колебавшихся, тёмных волн, начали с борта в лодки спускаться дамы.

Восьмивёсельная, а за нею четырёхвесельная шлюпки выделились из мглы и медленно, беззвучно стали подплывать с залива к песчаной косе. С ближней лодки на берег бросили доску. Император, за ним Миних и Гудович готовились выйти на пологий, белевший в сумерках мысок.

– Кто идёт? – раздался в тишине бойкий оклик матросика Аверьянова.

– Император! – ответил Гудович.

– Нет у нас более императора, – отозвался тот же голос.

– Вот я сам, ваш государь! – произнёс Пётр Фёдорович, сбросив плащ и в белом мундире выступая к носу колыхавшейся лодки. – Приказываю пропустить меня и мою свиту.

– У нас государыня, матушка Катерина Алексеевна, а не государь! – ответил Трифон Аверьянов. – И коли вы, господа ахфицеры, не уйдёте отсулева, начальство будет бонбы пушать...

– Вперёд, ваше величество! Руку! – сказал Миних. – Не слушайте этого олуха. Никто не посмеет противиться своему государю... Гарнизон увидит вас, и Кронштадт чрез час будет у ваших ног.

Гудович и Унгерн поддержали слова Миниха. Пётр Фёдорович готов был вспрыгнуть на берег и медлил.

«Ужели я, любящий войско, я, в душе стоик и солдат, окажусь малодушным трусом, не решусь?» – думал он, чувствуя, как сильно билось его сердце. Тёмные волны глухо плескались о берег. Очертания города и фортов неясно обозначались во мгле.

У каланчи послышалась артиллерийская команда. На скрытой в сумерках ближней батарее сверкнул зажжённый фитиль. С лодок, с залива доносились испуганные дамские голоса.

– Нет, – сказал Пётр Фёдорович, – за себя не боюсь. Но я не один... Ядра не разберут, кому нести гибель, кому пощаду...

Он и его провожатые возвратились. Галера и яхта так скоро снова ретировались в море, что не успели даже поднять якорей; их канаты, в суете и толкотне, обрубили топорами.

Было два часа пополуночи. Потянул заревой ветерок. Ожила тёмная морская зыбь. Белое утро шло навстречу белой июньской ночи.

Государь сидел на палубе. Свита отдельными кучками перешёптывалась в стороне. Лица всех были сумрачны, печальны.

«Не успел я тебе дать полной свободы, не успел! – думал Пётр Фёдорович, глядя с борта в туманную даль. – Прости, брат! прости... не жильцы мы здесь... Непонятно и странно

поставила нас обоих судьба. Я был оторван от шведского, ты от русского престола. Мы свидетелись... Ты был императором четырёхста дней; сколько мне суждено царствовать?».

Яхта плыла. Пётр Фёдорович не спускал глаз с моря.

Ему грезилось, что у борта, чуть освещённая дремотным рассветом, его провожала чья-то тень. Стройный и бледный, с длинными волосами юноша нёсся над волнами, обок с ним... Петру Фёдоровичу вспомнилось, как принц Иоанн плакал и как молил не откладывать его освобождения.

«В глушь, в леса, – думал Пётр Фёдорович, – и зачем я тогда не послушал его, зачем сам, как решил, не вывел на волю из душной тюрьмы?.. Гудович сегодня должен был за ним ехать, а я полагал его тотчас помолвить и провозгласить... Вон сидит и его наречённая невеста. Что-то с ним? Уж хоть бы вырвался он теперь, куда-нибудь ушёл с дачи Гудовича...» Берег близился. Рассветало.

– Куда прикажете? – спросил Гудович государя, – в Петергоф или в Ораниенбаум?

Император обратился к Миниху.

– Ну, фельдмаршал, – сказал он, – вижу теперь ясно и каюсь, что не вполне слушал ваших советов... Научите, непобедимый и храбрый, как выйти из нашего теперешнего положения?

– В верный Ревель, к эскадре! – ответил Миних. – Оттуда к заграничной армии. Войско встретит вас, гонимого, с восторгом. Возвращайтесь с ним, и, я вам ручаюсь, Петербург и

всё государство опять будут ваши...

– Но ветру нет! – вмешались дамы. – Неужто на вёслах всё? гребцы устанут... До Ревеля! Ужас... Что делать тогда?

– Э, пустяки! – сказал фельдмаршал. – А наши руки на что? сами возьмёмся за вёсла и станем грести... – Император видел перед собой лицо решительного, стойкого, железного старика и растерянные, испуганные, молящие лица молодых женщин и не знал, с кем согласиться и кого слушать.

Свежий воздух моря и напряжённость тревожной, без сна проведённой ночи раздражали государя, сердили его. Он взглянул на недалёкий, плывший навстречу яхте берег, оттуда уже тянуло знакомым смолистым дыханием зелёных холмов и лесов. Запахло утренним дымком. Пётр Фёдорович почувствовал приятный позыв к завтраку, к трубке. Его любимый табак вышел ещё в Петергофе. Он вспомнил о шипящей в масле бараньей котлетке, о крылышке цыплёнка с горошком и свежими грибочками, о партии старого бургонского, присланной ему кем-то в презент из Голштинии, и о пачке длинных сигар фидибус, забытых им утром во дворце, на куче не просмотренных с вечера бумаг, и отдал Гудовичу приказ править в Ораниенбаум.

Яхта и галера вновь приплыли к берегу. Мирович придерживал трап, по которому государь сошёл на пристань. Видя, как дрожали щёки и всё тело Петра Фёдоровича, Мирович вспомнил завет масонов: «Величие земное – прах, нетленна одна вечная непреложная истина» – и подумал: «О, если б я

мог быть ему полезен в это время!...»

Талызин разглядел возвращение путников в трубу с кронштадтской каланчи, снял шляпу, отёр лицо и перекрестился.

Он пошёл в город, но своротил с дороги и зашёл на песчаный мысок, где всё ещё, забытый ночною сменой, шагал по влажной, белесоватой косе Трифон Аверьянов.

– Молодец! – крикнул ему охрипшим, усталым голосом Талызин.

Аверьянов вздрогнул и взял мушкет на караул.

Жутко было на душе бойкого, шустрого матросика. Родом суздалец, он недавно попал во флот. Серые, простые его глаза смотрели робко. Веки вспухли от бессонницы. Сухой с горбинкой нос тревожно вглядывался в серую утреннюю мглу, в которой скрылись ночные гости.

И никогда потом, в долгую, сурово проведённую жизнь матрос Трифон Аверьянов, в монашестве старец Трифилий, умерший восьмидесяти лет келейником московского митрополита Филарета, никогда потом он не мог забыть ни этой ночи, ни своего ответа невысокому, плоскогрудому, в белом мундире человеку:

– У нас не император, а государыня; не уйдёте прочь, начальство будет бонбы пущать...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КАТАСТРОФА

*Гряди, воздвигнися пред людьми сими, творяй
суд пришельцу.*

Второзаконие. X, 11 – 18

XXII ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЦАРСТВОВАНИЯ ПЕТРА ТРЕТЬЕГО

Мирович видел суету, которая поднялась у пристани Ораниенбаумского дворца, когда к ней приблизилась государева яхта. Он видел, как огорчённый и поражённый событиями, робкий Пётр Фёдорович с Минихом и с Гудовичем, проехав на шлюпке по каналу ко дворцу, взошёл на берег, как он был бледен, как дрожали его щёки, руки и всё тело и как его добрые, усталые глаза беспокойно следили за группами голштинцев и дворцовых слуг, рассеянно спешивших к нему навстречу, пока Пётр Фёдорович проходил берег, отделявший Дворцовую пристань от моря.

Набережная и площадь перед дворцом гудели от перепол-

нившей их разнообразной, смущённой толпы. Стало слышно, что государь заперся в своём кабинете, позвал вице-канцлера Голицына и послал с ним к императрице письмо, которое застало её у Стрельны. Не дождавшись через него ответа, Пётр Фёдорович написал карандашом второе письмо и послал его с гофмаршалом, генералом Измайловым. Впоследствии говорили, что чопорный и толстый, с большими ушами и губами, Измайлов встретил Екатерину на походе у Сергиева монастыря, откуда тогда же Панин, боясь, что Пётр поплывёт в Петербург, поскакал в столицу берегом с двадцатью четырьмя кавалергардами. Измайлов, встретив войско императрицы, быстро подъехал к ней, бросил поводья ординарцу и с картинной изысканностью, подав государыне пакет, стал перед новой Беллоной в дорожную пыль на колени. Пока Екатерина читала письмо, где Пётр Фёдорович выражал намерение кончить дни в мирном, философском от всяких дел уединении, для чего и просил отпустить его в Голштинию, Измайлов, с непокрытой головой, пыхтя и шевеля бровями, собирался с мыслями.

– Считаете ли вы меня, о монархиня, за честного человека? – спросил он, когда Екатерина прочла письмо.

– Считаю.

– Коль великое счастье служить умникам! – произнёс, ударив себя в грудь, Измайлов. – Дозволяете ли, повелительница?.. Дозволяете ли?.. Я упрошу государя формально отречься от престола, более того: даю слово – беспродлительно

привезти его к вам. Этим отвратятся колдовства, всякий алярм и бедствия грозящей междоусобной войны. Уполномочиваете ли меня на это?

– Охотно, – ответила Екатерина.

Измайлов отвесил глубокий поклон, сел на коня, поднял его в галоп, но, отъехав несколько шагов, опять возвратился.

– Ваше величество! – сказал он, пригнувшись с седла перед Екатериной. – Могу ли рассчитывать на одно, из особой аттенции не в пример прочим, милостивое внимание?..

– В чём дело, генерал?

– Могу ли всерабственно уповать на уступку мне, токмо из крайности и лишь для поддержки сносной жизни, села Деднова, на Оке?

– Усердные и любезно верные нам слуги могут всегда быть обнадёжены нашими милостями.

Обрадованный всадник, салютуя, подобрал коня, поднял его лансадами и, меж рядов безостановочно, в зелени деревьев, шедших колонн, марш-маршем поскакал обратно в Ораниенбаум.

– Не Миних, – прошептала, презрительно отвернувшись, Екатерина, – того не купишь...

Пётр Фёдорович подписал формальное отречение и, в сопровождении Гудовича и Воронцовой, секретно, в карете Измайлова, выехал в Петергоф. Там, в отдельном павильоне дворца, окружённом тремястами гренадёр, он отобедал, во время стола был в духе, даже шутил, а после десерта послал

Екатерине третье письмо, в нём он просил уступить ему для жилища дворец на мызе в Ропше и отправить с ним туда арапа Нарциску, собаку Мопсиньку, доктора Лидерса, скрипку, бургонского вина и табаку, немецкую библию и недочитанный им французский перевод романа Стерна «Тристам Шенди».

Весть об отъезде и отречении императора быстро разнеслась по Ораниенбауму. Высшие дворские сановники спешили тихомолком, под шумок, также пробраться в Петергоф или окольными дорогами в Петербург и в окрестные мызы и дворцы. Мирович видел переполох, охватывавший всех более и более, беготню прислуги, сновавшей без толку, и искажённые страхом, бледные лица военных и гражданских чинов. Голштинский рыжий офицер, день назад так кричавший на него и дерзко схвативший его за воротник, теперь сидел у ворот на чьём-то вынесенном, голубом сундучке и, ухватясь за растрёпанную голову, горько, по-бабьему, хныкал. Кто-то сообщил слух о предстоящей атаке казаков и гусар на гнездо ненавидимых народом голштинцев.

«Но где же Унгерн? Ужли и он скрылся туда ж, куда все бегут?» – подумал Мирович, проходя через внутренний опустелый двор. Здесь он увидел карету, увозившую чьи-то пожитки, недолго думая, вскочил на запятки и слез у Петергофского парка. Он вспомнил о брессановском коне, которого два дня назад он оставил в чухонском выселке за Петергофом. «Конь отдохнул, – решил он, – возьму его и до но-

чи ещё успею в Петербург... Не удалось предупредить государя, спасу его иной диверсией... Войско покинуло столицу; принц Иоанн на Крестовском; отобью его у слабой стражи, выставлю в тылу бунтовщиков, и тогда... тогда посмотрим...»

Мирович углубился в лес, в обход Петергофа, переполненного и шумевшего войском.

Близился вечер, но было ещё жарко. Пот градом катился с лица Мировича. Ноги путались, вязли в высокой цепкой траве. До него долетали звуки уличной езды, ржание лошадей, крики и песни толпившихся на площадях и у дворца военных команд. Но вот всё стало замолкать. Он отдалился от города. Лесная чаща охватила его тенью и прохладой. Только подорожники да жаворонки заливались на усеянных цветами полянках; дрозды с резким, звонким щёлканьем перелетали под нависшими кустами; пахло сосновой смолой, да солнце наискось, из-под ветвей, освещало толстые мшистые стволы.

Влево проглянула полоска взморья. До посёлка оставалось версты две-три. Мирович завидел его с пригорка, распознал и крайний двор, где бросил пегого. «Скорей, скорей!» – торопил он себя. Но едва он пересёк дорогу, шедшую из Петергофа в Гостилицы, сзади от парка послышались звуки колёс, рессор и переливистое, тонкоголосое, далеко слышное выкрикивание форејтора:

– Па-а-ди!

«Видно, рыдван, – подумал Мирович, – знатный барин какой-нибудь спешит убраться от этой передряги в своё поместье».

Он сошёл с дороги и углубился в ближние деревья.

Снизу, с долины, пыхтя вспотевшим, упаренным восьмериком и врезываясь по ступицы в разрыхлённый серо-глинистый грунт, под хлопанье кнута и понукание возниц, забирая рыси, на дорогу грузно въехала большая, цветом оливковая, четырёхместная, с придворными гербами карета.

Вид кареты был необычный. Зелёные шторы в её раскрытых окнах были опущены. На козлах, на запятках и даже на откинутых подножках стояли с мушкетами гренадёры. По бокам и несколько поодаль, впереди и назад, вперемежку с гусарским конвоем, ехали верхом несколько гвардейских офицеров. Между последними Мирович с удивлением разглядел виденных им не раз, в минувшие дни в ресторанах Дрезденши и Амбахарши, князя Фёдора Барятинского, Баскакова и Пассека. Из-под качнувшейся гардины он распознал в карете и лицо, со шрамом на щеке, Алексея Орлова – «le balafre»³⁰⁴.

«Что бы это значило? – подумал Мирович, сквозь ветки деревьев следя за странным, по рытвинам и обнажённым на взбитой дороге корням удалявшимся кортежем, – Орлов, Барятинский... и Пассек! этот каким образом? Он был арестован! да и все они?.. их ли везут или они кого сопровождают?

³⁰⁴ «Меченый» (фр.).

Притом, куда и какого рода особу?».

Мирович вышел из чащи. Карета и её конвой скрылись. И в то же время из-за дерев, куда они уехали, снова слышался стук колёс. На дороге показалась рогожная кибитка. Сидевший в ней поспешно вылез у поворота к Петергофу, взошёл на бугор и, наставя руку над глазами, о чём-то говорил с кучером. В желтолицем, обрюзглom и безбородом хозяине кибитки Мирович узнал салотопенного купца Селиванова, к которому в марте государь заезжал близ Шлиссельбурга и которого приглашал в Ораниенбаум.

– Видели, видели? – обратился к подошедшему Мировичу Селиванов. – Его, батюшку-то, радельца нашего, повезли...

– Кого повезли?

– Да государя-то, нашего спаса и милостивца.

Мирович вздрогнул.

– Быть не может! – сказал он.

– Йон, ваша милость, йон! – продолжал Селиванов. – Занавесочка-то колыхнулась в ейную сторону... а йон, родной, как есть табе, в уголочку сидит и глядит... Этакое окаянство, обида всему белому свету, смертный смут... Говори же, ваше благородие, каки-таки супостаты?

Мирович сообщил Селиванову о перемене, происшедшей в тот день.

В оловянных, дико устремлённых глазах сектанта изобразилось крайнее смущение и испуг. Он снял шапку, двуперстно перекрестился и задумался, шевеля отвисшими, бледны-

ми губами.

– Спаси его Иисус господь и помилуй! – сказал он, подтягивая на себе пояс и с мрачной злобой глядя вниз на долину. – Лишились верного спаса, другого, видно, ждать. Разрази, ох, развей прах; а уж все, то ись, все, кажись, как один... объяви он, раделец, надёжа верных рабов, слово только вымолви...

– Могу ли вас просить об одолжении? – произнёс, заторопясь, Мирович.

– Меня-то? Проси, барин. Каки табе дела?

Мирович объяснил, как и зачем попал сюда, и попросил подвезти его за конём, в выселок.

– Ну, ваше благородие, про коня свою лучше позабудь, – сказал Селиванов, – сам говоришь, эки войска тут прошли и сколько было всякого наянства, озорников. Лучше садись, прямо в Питер подвезём. Надо бы в Кронштадт, да и там, чай, сполох... в Галерной у землячка пока что остановимся... Так ли? Только не почтовую, сударь, а возьмём-ка ещё поправей, просёлками... Ох, ох! Отцы святые, белы голуби, угоднички! Иисусе сладчайший! Пришли, знать, остатни, последни времена...

Мирович сел в кибитку Селиванова. К ночи они, с остановками, по взморью и в объезд почтового тракта, достигли Петербурга и направились к Галерной гавани, где был дом кожевника, приятеля Селиванова. В то же время в Нарвские ворота началось торжественное обратное вступление войска из петергофского похода. Солдаты обвили шляпы и мушке-

ты дубовыми ветвями. Музыка не умолкала в течение всего пути. Екатерина на том же белом, в яблоках, запылённом коне, во главе пеших батальонов, вступила в столицу. Колокольный звон сливался с звуками победного марша и с криками бежавшей за войском толпы. Двери церквей всюду были настежь растворены. В их глубине, перед ярко освещёнными алтарями, в полном облачении стояло духовенство, правя молебны за победителей, «утверживших и упрочивших престол».

«Ликуйте, – с лихорадочной, злобно-радостной дрожью думал Мирович, едучи Петербургом и прислушиваясь к крикам и шуму радостного народа, – час пробьёт... недолго ждать – выдвину вам такое, что все опомнятся, ответят, как на Страшном суде... Вы цепляетесь за живое: я поставлю вам фантом, грозного и мстящего мертвеца...»

Перед отъездом из Петергофа Екатерина, ещё двадцать девятого июня, послала Никите Панину указ: без замедления принять в его распоряжение все те секретные и высших политических интересов дела, которыми после Унгерна заведовали Нарышкин и Волков; а генерал-майору Силину быть взамен Жихарева старшим приставом при шлиссельбургском арестанте.

Бумага уже была запечатана и сдана к отсылке. Екатерина велела задержать фельдъегеря и вручила ему ещё другой, особой важности указ на имя Силина, с собственноручной надписью на пакете: «самонужнейшее и безотлагательное».

XXIII ЗАБЫТЫЙ

Столичные происшествия, казалось, не коснулись обитателей мызы Гудовича. О них, по-видимому, забыли.

«Ужели не знают, где принц? – рассуждал пристав Жихарев. – Что мудрёного в таком переполохе и суете!». Он расставил караульных у всех входов и выходов флигеля и, строго подтвердив страже – быть наготове и глядеть в оба, вторые сутки не выходил из комнат. Малейший звук извне заставлял его вздрагивать.

Судьба арестанта не выходила из его головы. Мать Гудовича, с дочерьми, утром, накануне возвращения Екатерины, наведальась в Петербург и навезла таких вестей, что на особое усердие инвалидов Жихарева уж трудно было и рассчитывать. Хозяйки не успокоились, после обеда велели опять запрятать берлин³⁰⁵ и поехали в город, но к вечеру не возвратились. Дворня по-своему стала судачить, что, видно, постылую хрычевку, с её длиннохвостницами, взяли на съезжую и уж всё им теперь припомнят. На барской кухне и в молодецне слышались грубые, дерзкие возгласы, брань и угрозы бросить мызу и идти туда, куда, мол, все идут.

– Как бы ещё, братцы, не ответить?.. матушка-то ведь наша зорка... гляди, во как взыщет! – ворчал седой, помнив-

³⁰⁵ Берлин – четырёхместная крытая коляска.

ший Первого Петра и его казни повар. Убрал посуду, он скинул фартук и колпак, одел старый зипунишко и, понурившись, вышел за ворота.

– Она, гляди, всех перепишет... – надумал и в свой черёд всем объявил с полатай охотник до сказок и карт, певец и весельчак, выездной конюх, – то ись, кто, значит, опоздал и по какому резонту?.. А каки раньше придут, тем, братцы, и воля навеки нерушимо сказана будет!

Кухонный мальчик подмигнул форейтору, тот водовозу, а этот лакею. Молодёжь гуртом вывела со двора лошадей, будто, как всегда, на водопой, и была такова. Кто постарше, подождали несколько и в одиночку, друг за другом, также шмыгнули за ворота.

Смеркалось. Жихарев прошёлся по саду и, возвратясь во флигель, присел к столу. Ему пришлось в голову написать рапорт к генерал-полицеймейстеру, спрося его об инструкциях касательно принца. «Этим хоть напомню о себе», – подумал он и вдруг остановился. До его слуха долетел стук большого подъехавшего экипажа. Кто-то разговаривал у ворот, шёл к крыльцу. «Кто бы это был? – смущённо подумал Жихарев, взглядывая на дверь. – Ужели вспомнили забытого? И к лучшему или к худшему?».

На крыльце послышался звон шпор, торопливые шаги. Впопыхах вбежала бледная, растерянная горничная Гудовичей Гаша.

– Какой-то господин приехал, – сказала она, – караул сни-

мают... вас спрашивают... гусары верхами...

– Кто приехал?

– Незнаемые всё люди, – ответила Гаша.

Жихарев схватил шпагу, бросился в приёмную. Там, равняя приведённую эскорту, стоял рябой и, как киргиз, плосконосый, в генеральской форме кавалерист.

– Вы майор Жихарев?

– Так точно-с... А вы, позвольте?

– Генерал-майор Силин... Где арестант Безымянный?

– Вам он зачем понадобился? И по чьему повелению изволите, ваше превосходительство, его у меня требовать?

– Ах, Бог мой! какие ещё конверсации да экспликации?³⁰⁶

– сказал, нетерпеливо пожав плечами, Силин. – Именем ныне царствующей государыни нашей императрицы, спрашиваю я вас, где здесь содержится вверенный вам известный секретный колодник?

– Указ, государь мой, письменный указ, – ответил, бледнея, с дрожью обнажая шпагу и отступая к порогу, Жихарев, – мало ли в свете колебаний! И кто нынче начальники – не всяк сведом!.. А как я разума ещё не весьма лишился, то уповательно и по довольной тому причине, как главный и персональный здесь пристав, прошу вашу милость удалиться...

– Эка врать, батенька, горазды! Читайте! – презрительно, вполоборота, сказал Силин, подавая указ. – Видеть изволи-

³⁰⁶ Экспликация – разъяснение.

те... не вы, милостивец, а я отныне главный пристав при оной, тайно здесь содержимой, персоне...

Жихарев пошатнулся. Гаша бросилась в коридор, оттуда в сад.

– Ещё угроживать, братишка, вздумал! – продолжал, чванливо фыркая, Силин. – А у вас тут, как вижу, всё по-семейски, по простоте... Окна без положенных закрепов и женский пол, видно, для поговорки – от скуки, тут же, по близости арестантских светлиц... Обо всех сих злостных и вопреки регламенту послаблениях и апрошах³⁰⁷ будет доведено до сведения свыше...

– Ничего без указа и супротив статута! – насилу одолевая бешенство, прохрипел Жихарев. – А неучтивых выскочек, какого бы ранга они ни были, да шумных протезе сильных мира сего мы видывали и унимали... что пугаете!.. ответить сумеем.

Он вынул из кармана ключ и положил его на стол. Силин прошёл в смежную комнату, отпер дверь к узнику. Появление вооружённых, враждебно смотревших людей испугало ошеломило принца.

– Ах, да что же вам? Ну! – произнёс он, отступая и бросаясь к окну.

– За вами, сударь – пожалуйста! – возвысил голос Силин. – Приказ новой монархини, извольте ехать со мной...

– Врёшь ты, врёшь! – крикнул арестант. – Шаг ступи, го-

³⁰⁷ Апрош – ход, подход.

лову разнесу...

Он подхватил тяжёлый, обитый кожей стул. Силин попятился к двери, дал знак. Солдаты, придерживая палаши, бросились с двух сторон к арестанту.

– Всё то враньё, не смеете! – размахивая стулом, с пеной у рта, кричал узник. – Шептуны вы, еретики, меня зашептали... Я здешней империи принц и ваш государь...

Гаша видела из сада, как уговаривал узника Силин, слышала его угрозы, новые возгласы принца. И вдруг всё стихло. Окна принцессы комнаты заслонились зелёными, порывисто двигавшимися кафтанам солдат.

– В вас жалости, сударь, нет! – раздался срывавшийся, всхлипывавший возглас Жихарева. – Вспомните, генерал, кто он...

– А, жалостники! черти! вот я вас! бери его! в мою голову вяжи... – командовал солдатам Силин.

Послышался стук падавшей мебели, звон разбитых стёкол. Чья-то худая, бледная рука мелькнула поверх солдатских голов. Костлявое в бархатном штиблете колено судорожно поднялось и скрылось между скученных плеч. Раздался глухой, нестройный топот тяжело удалявшихся солдатских шагов. С кем-то в комнатах и на крыльце боролись, кого-то унимая, с угрозами и бранью торопливо несли.

Шум затих. Гаша опомнилась, бросилась во двор, за ворота. По лесной, стемневшей просеке, поднимая пыль, мчалась большая, шестернёй, ямская карета. За нею скакал ка-

валерийский отряд. Ни в доме, ни во дворе, ни около – не было видно ни души. Полицейских стражников Силин, прибыв сюда, отправил в город, а Жихарева, не дав ему времени опомниться, как и его арестанта, увёз с собой. Гаша вспомнила о ближней мызе Птицыных, накрылась платком и бросилась туда. Хмурая облачная ночь надвигалась кругом. У огорода, близ сада Птицыных, Гаша оглянулась и всплеснула руками. Над деревьями, в той стороне, откуда она пришла, поднялось что-то яркое, дымно-багровое. Отблеск пожара всходил выше и выше, далеко освещая Каменный и соседние острова.

В тот же вечер от пристани у Колтовской отчалили паром. На нём толпились рабочие с соседних, стеклянного и порохового, заводов, огородники и несколько мещан. Здесь же стояла извозчичья коляска. Седоки из неё не вставали. Всех занимало зарево, видневшееся впереди.

– Таперича, значит, и без фонаря всяк проедет, – отозвался кто-то от каната, – иголку мамзель и то найдёт.

В толпе засмеялись.

– Фу, милые! вот жарит! полыхать стало, – проговорил сутуловатый, в веснушках, солдатик, – гляди, Миколаев, искры-то... а дым! вот закурило... лихо!..

– А что горит? – решил спросить один из сидевших в коляске.

– А Бог е зна...

– Немцев-иродов чествуют, луминация христопродавцам и ихним угодникам, – пояснил первый голос из толпы, – хлебать, жеребцы, во как дюжи, налопаются...

– А что, братцы, ведь это Гудовичева мыза, – сказал опять солдатик, – ишь ты, у заводей! Она и есть.

Все надвинулись к канату:

– Эх, эх, вот полыхает!

– Аполлон! Ужли ж мы и тут опоздали? – вполголоса в коляске спросил Мирович своего приятеля Ушакова.

Тот молча смотрел в направлении пожара.

– И всем то же будет, всех, постой, порешат! – пробурчал плечистый, оборванный мужичонка, корявыми, в мозолях руками натягивая бечеву.

– Да чем же он, хоть бы Гудович-анарал, провинился? – отозвался слабым, почти детским голоском седой огородник. – Барин милостивый, тишайший, видывали его сколько разов...

– Потому немцам, всё одно, чёрту брат.

– Да ты вот, слышь, дедушка, не то ишло будет! – откликнулся с другого конца парома чей-то певучий, бархатный голос. – Завтра виселиц перед сенатом наставят и все-е-х супостатов, погубителей наших, вешать будут.

– Алырники, пёсьи души! Значит, решилась, пошла таперича Рассея: держись вверх тормашками!

– А-а! у! – вздрогнула и раскатисто над водой загоготала толпа.

Паром причалил к берегу. Коляска своротила в просеку, уже полную запаха гари. Подъехав к прибрежной поляне, путники встали, велели вознице ждать и с-над ветра лесной чащей направились к пожарищу.

На месте обширной, богатой усадьбы торчали одни обугленные, шипевшие древесные стволы. Рабочие с тоней и кое-кто из напевших окрестных жителей, стоя поодаль, с тупым любопытством следили за громадными, догоравшими кострами.

– Чья мыза сгорела? – спросил, подойдя к ним, Мирович.

– Гудовича.

– Все ли спаслись?

– А кто е зна...

– Но куда же делись жившие здесь? – спросил Ушаков.

– Попеклись, видно, на картошки, а може, к своим в Наметчину – смолёные нехристи – побегли.

Ушаков оглянулся. Мирович кого-то приметил в толпе, с кем-то говорил. На траве, горько плача о погибшем добре, сидела с птицынскими людьми прибежавшая на пожар Гаша.

– Увезли его, спасли, – повторяла она, – а добро-то, добро всё погорело.

Начинало светать. Вдали слышались звуки бубенчиков и колокольчиков. Скакала не ко времени пожарная команда. Впереди неё нёсся казачий разъезд.

XXIV

ДОКЛАД ПАНИНА

Новые яркие светила всходили на горизонте нового двора. Все стремились согреться в их пышных, много обещающих лучах. Все ловили внимание этих счастливицев, их улыбку, взоры, слова; низко им кланялись, совались с предложением дружбы, услуг. Имя неведомых дотоле и небогатых братьев Орловых, рядом с именами Никиты Панина, Дашковой и нового секретаря императрицы, Григория Теплова, не сходили с языков петербургского общества.

Пятого июля, на шестой день своего царствования, Екатерина назначила, вне очереди, особый доклад воспитателю своего сына, Никите Иванычу Панину, ведавшему теперь, в числе прочих важных дел так называемые секретные.

Близился полдень. Императрица, отпустив генерал-полицеймейстера, гофмаршала и двух-трёх из военных лиц, привела кое-как в порядок кучи бумаг, которыми в эти дни успели загромодить её письменный и два вспомогательных ломберных стола в кабинете Летнего дворца на Фонтанке. Накануне в один из корпусов этого дворца, для ускорения всех дел вообще, по именному указу новой монархини совершенно неожиданно было переведено присутствие правительствующего сената. В ожидании Панина Екатерина умыла примаранные чернилами руки, покормила бисквитами соба-

чек, подаренных ей кем-то в эти дни и лежавших на атласных стёганных тюфячках у кровати в её спальне, и села к столу.

Сорокалетний, флегматический, добродушный и ленивый от природы блондин, Никита Иваныч Панин, несколько лет провёл на дипломатическом поприще в Дании и свободной Швеции, а теперь второй год состоял блюстителем воспитания «порфириносного отрока», сына императрицы, стремясь готовить сердце его «ко времени зрелого возраста» – как было ему указано в инструкции – «в простоте, добронравии и отдалении от всяких излишеств и роскошей, а также от ласкателей, для коих довольно ещё впереди остаётся».

Чином генерал-поручик и александровский кавалер, Никита Иваныч редко пудрил свои густые, русые волосы, нося их в небрежно сбитых и путавшихся на висках и у косы крупных природных буклях. Ходил он на мягких, полных и вежливо ступавших ногах тихо, слегка покачиваясь, точно ныряя; носил голубой, с блёстками, мешковатый бархатный кафтан; говорил неохотно, скрашивая, впрочем, медленную и подчас рассеянную речь умною улыбкой ласково и спокойно наблюдательных глаз. Подышав воздухом счастливых в то время норманнских народов, завоевавших себе упорным трудолюбием и умеренностью широкие муниципальные вольности, он грезил о перенесении этих вольностей и в Россию и в душе был искренний либерал.

При покойной царице-тётке Екатерина, ценя ум и сердце

пестуна своего сына, уважала его, искала его сочувствия, но не особенно его любила, а скорее боялась. Теперь, видя его в числе своих первых, усерднейших, умнейших и опытнейших помощников, она ему высказала отменное своё внимание, хотя внутренне стеснялась сознанием громадной услуги, оказанной Паниным ей и её счастливо конченному делу.

В городе упорно носилась молва, что Екатерина приняла престол лишь до совершеннолетия сына и что Панин оказал ей поддержку под условием введения в России шведской формы правления...

«Шведский прожект» Никиты Иваныча был теперь модным предметом всех разговоров внедворской среды. Во дворце о нём почтительно умалчивали.

Было без четверти двенадцать. В приёмной зале, пред кабинетом императрицы, толпилось несколько вельмож. Между ними в глубине у камина стояли: с кучей бумаг под мышкой Олсуфьев; жевавший губами и пыхтевший от мысли – добиться на бумаге подаренного ему Деднова, Измайлов; в новеньких башмаках с красными каблуками Бецкий и простудившийся в минувшие, хлопотливые дни, в сильном насморке гетман Разумовский. У окна, смотря из него на кипевший праздничной толпой Летний сад, переговаривались несколько гвардейских офицеров, в том числе Бредихин, Хитрово и герой пережитых дней – Алексей Орлов.

– Живём, однако, в сумнительные времена, – сказал, усмехнувшись и не спуская глаз с окна, Орлов.

– Что так? – спросил небрежно Бредихин.

– Красавицы ноне вовсе обмелели. Вот сколько времени гляжу на щеголих, ни одной, точно ветром их разнесло. За невестами, видно, в Москву.

– А эта, эта? – указал в окно Хитрово. – Глаза, что ли, Алексей Григорьич, запорошены? Гляди, какова краля.

– Где?

– Да вон, в розовом, арабчонок несёт зонтик; уж эта будет моя...

Офицеры стеснились к окну.

– А примечено многое, многое, – шептал у камина Олсуфьеву Измайлов, – примечен уж и новый триумвират.

Олсуфьев поднял вопросительно брови.

– Мы малы, те знатны; мы останемся в низости, те зато рангами и всем будут обнадёжены.

– Да о ком ты это? – спросил Олсуфьев.

– Эй, батюшка, ужли не видишь? Стою я вчера на выходе. Начался «безмен». Подходит чёртова голова, шведский прихвостень, Панин... Переглянулся с Орловым и с гетманом и говорит государыне: «Дерзаю утруждать всерабственно – об увольнении из крепости Волкова...»

– И что ж?

– А всенепременно освободят. Отблагодарить будет ведь чем. И зачинщик всему – тот же первый гипокрит, каких не бывало, Панин.

– Ну, не всё ври, что знаешь, – проговорил, косясь в сто-

рону, Олсуфьев.

– Да клянусь, лопни глаза, да я всё ему, пёсьей душе, прямо и самолично...

Измайлов не кончил. Он увидел, как взоры всех вдруг обернулись и головы почтительно и дружески склонились навстречу медленно, вперевалку, с портфелем входившему толстому, высокому, слегка бледному Панину. Он поздоровался с гетманом, с прочими, обменялся парой слов с Бецким и, тяжело морщась от усталости, сел в кресло. Его глаза досадливо и вяло смотрели на часы над камином и на кабинетную дверь, близ которой у шёлковой ширмочки стоял дежурный камер-лакей. «Как устрою, на манер Швеции, высший имперский выборный от народа совет, – подумал он, презрительно поглядывая на придворных, – ограничатся случайности и капризы, выслушается голос страны».

– Если взять за известное, – сказал, низко склоняясь и заискивающе лебезя перед Паниным, Измайлов, – ваш шведский прожект, можно чести приписать, обессмертит имя создавшего. А ваших врагов – я упователен, и довольная тому есть причина, – не щадите за оскорбительные вашему превосходительству разговоры и умыслы. Все одним гребнем чёсаны. Я уж, как верный патриот, и по вся дни с рабским её величеству благодарением...

Панин молчал.

Часы, зашипев, громко прозвонили двенадцать. В кабинете послышался тоненький, серебристый звук колокольчика.

Туда вошёл и, опять выйдя оттуда, обратился к Панину камердинер. Тот, просияв, весело встал.

– Итак, cher ami³⁰⁸, ты всё за своё? Фолькетинг³⁰⁹ и совет высших чинов по выбору? – произнёс, подмигнув и дружески тронув Панина за руку, гетман.

– Всё, что в силах... и чем могу служить к славе... всё откровенно будет доложено её величеству! – произнёс Панин, взяв портфель, торжествующим взором окинув присутствовавших и, с гордо поднятой головой, уверенно и спокойно проходя в кабинет государыни.

Екатерина сидела спиной к двери, в небольшом, обитом белым штофом кресле, у выгибного, стоявшего перед окном, письменного стола.

– Ну, Никита Иваныч, – послышался её твёрдый и мужественно-ласковый голос, когда Панин, притворив за собой дверь, с поклоном подошёл к другому боку стола, – садись, голубчик. Как дела? Господа сенат, чай, не очень довольны, что я их перевела к себе в запасной павильон?

Панин, слегка нахмурясь, что-то промычал, неловко, торопливыми приёмами толстых пухлых пальцев усиливаясь отпереть навязанный ему, полный докладов, с хитро устроенным замком портфель Теплова.

– Да ты не трудись, Никита Иваныч, – сказала с улыбкой,

³⁰⁸ Дорогой друг (фр.).

³⁰⁹ Фолькетинг – парламент в Дании.

следя за его пальцами, императрица, – а вот что лучше... прислушай-ка... бумагами займёмся после...

Панин тяжело, плотной грудью, перевёл дух и, скривясь и потянув шею, точно от плотно завязанного платка, обратился к Екатерине моргающие, затуманенные от натуги и внутренней досады глаза.

– Знаешь ли, каковы дела мне достались в наследство? – вдруг спросила императрица, вынув из-под бронзовой накладки клочок бумаги, мелко исписанный карандашом.

– Не знаю, государыня, – ответил, недовольно склоняясь к столу, Панин, – высокий сенат, по должности и приличию, изготавливает своему монарху доклад обо всех важных государства нуждах и делах...

Екатерина раскрыла крошечную, с финифтью, табакерку, щепотку любимого бобкового табаку и, медленно понюхав, протянула табакерку Панину.

– Обратимся хоть к иноземным делам, – начала Екатерина глядя и будто не глядя на Панина, неуклюже сидевшего против неё с поджатыми длинными ногами по другой бок стола, – сухопутная армия наша в Пруссии, победители-то слышано ли? – не получали жалованья больше чем за полгода... Хорошо ли это? а? да ещё на виду недругов, в чужих-то краях!.. А в статс-конторе, сударь, именные указы не выполнены о производстве уплат почти на семнадцать миллионов... это каково?

Панин нетерпеливо шевельнул бровями и, с усилием со-

гнувшись, опять отставил к креслу на пол тепловский толстый портфель.

– Ну-с, а вот это как вам сдаётся? – продолжала Екатерина. – Шестьдесят миллионов монеты, считающейся в обращении, – все двенадцати разных чеканов, проб и цены... Легко ли народу справляться с делами в таком финансовом дезабилье? А внутри империи, внутри?.. Заводские и монастырские крестьяне все почти в явном бунте... Ты скажешь, пожалуй, помещичьи-де тихи? Э, постой, – и об этих мы имеем верные печальные вести... И они местами уж явно сближаются с первыми, готовы знамя восстания поднять.

– Императорский совет, монархиня, – возразил Панин, – как первое место, мог бы, на приклад Швеции, или... потому, что пренебрежённей в последнее время сенат...

– Опять сенат! Эх, Бог мой! – произнесла, сухо поведя глазами, Екатерина. – Ты извини меня, друг! Сам ты хоть и сенатор, но я отнюдь шиканством и издёвкой какой не хочу тебя умышленно обижать... Надо правду сказать, ты больше с моим сыном возился, его только ведал, и великое тебе спасибо за Павла (Екатерина слегка поклонилась) – мальчика маво ты сохранил, соблюл. Но что греха таить? Как и чем доньше занимались у нас господа сенат? Маремьяна старица за весь мир печалится... а на деле? Из репортов генерал-прокурора вижу, шесть недель кряду высокий сенат всем департаментом слушал... что же?.. чтение дела, да не в экстракте, а целиком, о выгоне города Мосальска. Бог мой! Да и то

бы ещё ничего... К чему только не привыкла бедная русская страна! А то плохо, сенаторы лишь междоусобствуют, вражду и ненависть питают друг к другу, не терпят чужих мнений, оттого и партии, а дела в руках канцелярии. Не диво же, что ваших решений и указов нигде не выполняют, а по нажитой в таком неряшестве пословице от правящего-то сената ждут – третьего указа... Ну, посуди, Никита Иваныч, каково?

Панин отёр лоб, крикнул, принял менее хмурое, более внимательное выражение лица и, уgomонив длинные, непослушные ноги, ближе придвинулся с креслом к столу.

– Тяжело править провинциями из петербургской, столь отдалённой, столицы, – сказал он внушительно, – ошибка, впрочем, в этом не наша... исправить допущением добрых и опытных советов можно бы...

– Петра-то Великого с тобой, Никита Иваныч, будем винить и уличать? – возразила с улыбкой Екатерина. – Шутись; не тут корень злу – в нашей, извини, общей недоросли и лени. Правоправящий сенат – слыхано ли? – определяет воевод, а числа городов в Российской державе... не знает... Намедни – тебя не было – спрашиваю в заседании у Глебова реестр городов: признался, не имеется при сенате. Карты империи – ну, посуди – ландкарты в сенатском здании не оказалось... Вот она, наша-то не к месту гордыня и нерадение. Люблю русские простые поговорки: «Напала на кошку спесь – не хочет и с печки слезть»... «Мирская шея толста»... Подумала я, погадала и послала Теплова через речку, а я тут

же и поднесла сенаторам в презент Кирилловский печатный России атлас...

Панин несмело взглянул в твёрдый, слегка насмешливый взор Екатерины и, как бы против воли решив тяжёлый, давно его томивший вопрос, расставил руки и, с торжественным, по-придворному, поклоном, воскликнул:

– Мать-государыня! тебе и книги в руки! учи нас, будем слушать.

– Забыли мы про дубинушку великого Петра! – продолжала, опять понюхав табаку, Екатерина. – Всем нам надо ещё учиться. Красна, голубчик, пава перьем, а человек ученьем. Поговори с моей кумой садовницей – баба разумная. Вчера говорит: «Зелен виноград – не сладок, млад человек – не крепок». А ты вон, прости, всё о шведской системе правления твердишь. Верю твоей искренности. Только всеу законы писать, когда их не исполнять... Советы монархам! А сами-то советчики, гляди, ещё каковы? Как наши баре о своих подданных пекутся? Разорения, поборы, правежи через полицию и даже оружием, бегства тысяч семей, а рядом – криводушие и лихоимство судов... Земледельческий класс безмерно угнетён, разорён. А сам знаешь: не будет пахотника – не будет и бархатника... Все, все безобразия, по мере сил, думаю устранить... Издам сельский, городской торговый уставы... А там, помоги Бог, Никита Иваныч, – сказала Екатерина, поднявшись с кресла и как бы вдруг выросши перед также вставшим Паниным, – управясь на чёрном, и на

белый двор!.. созову тогда и сословия для начертания общей государственной хартии...

– Цепь великих, громких дел, нет сомнения, ожидает увековечить ваше царствование, монархиня! – произнёс, отирая лицо и опять склоняясь перед императрицей, Панин.

– Елисавета и отрёкшийся император, её племянник, копили деньги, – продолжала с улыбкой Екатерина, в то время как её крепкая, с крутым подъёмом нога, высунувшись в синей туфле из-под серого атласного молдавана, нетерпеливо и судорожно шевелилась на ковре. – Они, ты знаешь, держали казну при себе, считая сбережённые деньги своими. А я вам, господа, скажу иначе, на правду немного слов: всё моё и я сама – принадлежим государству... Между выгодами моими и моей страны не должно быть разницы...

– Великие слова, государыня, изволили поведать! – произнёс, ещё ниже склоняясь и невольно следя за ногой в синей туфле, Панин. – Золотом на скрижалях записать их в поучение веков...

Екатерина снова села и понюхала табаку.

– Ну, какие дела теперь у тебя, господин докладчик, на очереди? – спросила она, приготовясь слушать.

– Дела секретной комиссии, – опять доставая из-под кресла тяжёлый портфель, сказал Панин, – о принце Иоанне...

– А! Ну, что же? как довели и поместили Иванушку?

– В Шлиссельбург – благополучно, а по пути в новоназначенное ему место, в Кексгольм, – не совсем.

– Что же случилось?

– На Ладогe, у Кошкина мыса, буря их захватила и разбила трешкот³¹⁰. Насилу спаслись.

– Ах, бедный! Вот уж судьба! Где же они теперь?

– Вчерашний день Силин, из деревни Морья, с полдороги доносил, что они сидят у озера и ждут новых судов из Шлис-сельбурга. А сегодня уж из Кексгольмского шлосса эстафету прислал.

– В каком же положении арестант?

– Непокоен был всю дорогу, грозил, бранился, буйствовал и даже в драку лез. Дважды Силин его вязал, сажал в трюм, а во время бури, как сломало мачту и стало заливать трешкот, – вырвался принц на палубу, стал возмущать матросов: я-де не простой человек – царской крови. Звал себя императором, бесплотным духом, а в виду Морьенского мыса бросился в воду – насилу матросы успели его поймать и вытащить из воды. И теперь пристав доносит, что он непокоен после дороги: плачет, всех клянёт, призывает святых в помощь, тоскует и просит дозволить ему носить подаренное бывшим государем парадное платье.

– Дозволь, – сказала, подумав, Екатерина.

– Книг тоже просит арестант, о прогулках молит.

– Книг? Разве он грамотен?

– Разумеет.

– Дозволь и книги – что ж! – произнесла, отвернувшись,

³¹⁰ Трешкот – небольшое палубное судно.

Екатерина. – Уж очень его теснили.

Панин взглянул на неё. Его поразило, что она, так недавно ещё спокойная и уверенная, будто смешалась и не знала, что говорить.

– А насчёт прогулок на воздухе, вне шлосса?³¹¹ – продолжал Панин. – Инструкции крепости того не разрешают.

– Пусть выходит, пусть, разреши... Ах, Никита Иваныч, сердце разрывается. Посуди... и жаль его, да и сам ведь знаешь – главное наше больное место столько лет... Ты видел его при отправлении, – скажи, каков он с виду?

– У Смольного, при высадке его в барку из кареты, инкогнито я его рассмотрел. Симпатичен он и жалок; от природы же, как видно, любознателен ко всему, что упущено небрежением его тюрьмы; с каждым заговаривает, вглядывается, хоть и выведен был из себя неожиданностью и страхом нового тогдашнего ареста.

– Никита Иваныч, не поверишь, может быть, – дрогнувшим голосом, с чувством сказала Екатерина, – тяжело не только говорить – думать... Что делать? научи... Чем могу быть полезна для бедного? Вот что... Отцу его думаю предложить вольный возврат за границу. Слепнет он, говорят, в Холмогорах... Да уж посоветуй, друг, – помолчав, вполголоса прибавила императрица, – не отпустить ли вместе с отцом и сына?

Панин опять взглянул на Екатерину, стараясь уловить в её

³¹¹ Шлосс – замок (нем.).

глазах, лице, чего именно ей желалось в это мгновение и что ближе было её помыслам – облегчение ль судьбы узника или иные, высшие государственные расчёты?

– Соблазну будет много, и могут выйти скорбные, тяжёлые потрясения, – ответил он, чувствуя, что говорит не тоб говорит против себя, и сам удивляясь бессердечию и жёсткости своего ответа.

– Так не пускать?

– Боже вас упаси о том и думать. Трон ваш ещё непрочен, требует укреплений.

– Империиум мой... всегда будет крепок с такими слугами, – опять оживясь и подходя к китайскому шкапчику, сказала Екатерина.

Она отперла потайной ящик и достала оттуда небольшой распечатанный пакет.

– От батюшки Алексея Петровича из Горетова, – продолжала Екатерина, возвратясь снова к столу и указывая на пакет. – Лучшим моим другом, известно тебе, был великий канцлер тётки, и враги наши за то без сожаления свергли графа Бестужева... Вспомнить – душа стынет!.. Ты тогда был далеко. Его разжаловали, публично объявили бездельником, клятвонарушителем, состарившимся в злодеяниях, изменником отечества, приговорили даже к смерти. Три тяжких года жил он в курной, дымной избе, отпустил бороду, ходил в нагольном мужицком тулупе. Но гений графа не померк... Он явится, – одушевлённо, с засветившимся взором, про-

должала Екатерина, – он должен, в подходящих ему силе и блеске, явиться у моего трона... Вот письмо... Знаешь ли, что он ответил мне с курьером на первые строки, посланные ему в день моего воцарения?

– Где знать, государыня! Умница ведь граф Алексей-то Петрович, что и говорить, – орёл умом... Не обронит на ветер слова... А в горетовском плачевном одиночестве и заперти, чай, надумал немало достойных высокой своей гениальности мер и помыслов.

Екатерина посмотрела на Панина, как бы в свой черёд стараясь понять: говорит ли в нём ловкий и чуткий ко всяким случайностям и положениям царедворец или искренне разделявший её взгляд, твёрдый в собственных убеждениях государственный делец?

– Батюшка Алексей Петрович советует, – сказала, не спуская глаз с Панина, императрица, – прежде всего советует... подумать о давнем нашем узнике, о принце Иоанне. Совет мудрый, объясняющий доброе сердце.

– Отменные заботы рекомендует он положить к его воспитанию, к смягчению одичалости нрава, упрямства и грубости судьбы; а затем, приведя его в человеческий, разумный и ласковый образ, показать его двору и народу.

– Это зачем? – спросил беспокойно Панин. – Какие тут могут быть высшей политики виды?

– Граф предвидит возможность... примирить и как бы слить в принце две священные народу отрасли одной вели-

кой, ныне расторженной, семьи – потомков Первого Петра с потомками брата его, царя Ивана...

– Но какое же тут может быть примирение и слияние? – сказал, не в силах скрыть волнение при такой известии, Панин. – Где исход и узел всей такой негодии?

– Отрёкшийся государь, – ответила Екатерина, – известно тебе, просится в Голштинию. Не в Шлиссельбурге ж его содержать. Надо будет разрешить. Состоится при этой okazji, без сомнения, и развод. А у меня, сам ты знаешь, всего один сын. Разумеется, всё то лишь прожекты. Но для блага страны, для вящего упрочения и обнадёжения престола...

– Гибельное ослепление! Прости, матушка государыня! – не выдержав, перебил императрицу Панин. – Что ж, разве Иванушку призвать в принцы крови? То ли советует граф? Юноша заброшенный, одичалый, почитай, зверь! Бог мой! Монархиня! – сказал он, встав, с несвойственным ему одушевлением. – Ужли вы решитесь низойти, пожертвовать благами собственной семьи? Беспрецедентное, пагубное приношение себя и своих интересов в жертву ошибок других.

Голос Панина дрожал и обрывался: в нём слышалось искреннее увлечение. Екатерина протянула ему полную, с короткими пальцами, твёрдую руку.

– Спасибо тебе за чувство ко мне и к сыну, – сказала она, – о том же, что здесь говорено, – чур, никому ни слова. Политические специменты сегодня одни, завтра – другие, и мы, государи, не всегда властны ими править. Наша страна, со-

гласись, дом великий и хороший, да исстари наполнен... ну, тараканами. Вот их-то и будем стеречься... Какие там ещё у тебя доклады?

Панин сообщил несколько рапортов комиссии об арестованных. Екатерина положила на них резолюции. Послышался звук барабана. То малолетний Павел Петрович в своих апартаментах бил отбой ученью оловянных солдат.

– Надеюсь, откушаешь со мной? – сказала, ласково отпуская докладчика, Екатерина.

Панин вышел в приёмную. Лицо его было красно, взволнованно; движения угловаты и рассеянны. «Вот, – думал он, отираясь и окидывая привычным, рассеянным взором переполненную придворными приёмную, – задала баню, упарила!...»

– Ну, ну? Что прожект? Как принят? – спросили его, подходя, гетман и Дашкова.

– Не успел доложить...

– О чём же было трактовано?

– О чём не трактовано? – произнёс, подняв и благоговейно закрыв глаза, Панин. – Не я ли предрекал?.. Ума и всех даров палата. И тут, и здесь, и там, настоящее, прошлое и будущее... на сажень насквозь под землёй всё видит. О сенате, представьте, – список-то городов...

Дверь в кабинет опять быстро растворилась. Вышла и тремя равными, на три стороны, милостивыми поклонами всем поклонилась Екатерина.

– Напоминаниями прошлого мы отнюдь не хотим отдалять спокойствия настоящего! – несколько напыщенно сказала она, обаятельно-ласковым взором обводя присутствовавших. – Да будет всё горестное и раздражающее забыто. Мы сейчас шлём приглашение к графу Алексею Петровичу Бестужеву – возвратиться и украсить наш престол своим опытом и гением.

Сказав это, Екатерина в сопровождении Григория Орлова, Дашковой, гетмана и Панина, среди склонявшихся лент, звёзд и напудренных голов, прошла в столовую.

«Шведский прожект» Панина, как хорошо поняли в это мгновение все присутствовавшие, был теперь отсрочен, если не отменён окончательно навсегда.

XXV ДОНСКОЙ ОРДИНАРЕЦ

Дворский мир волновался и не утихал. Толки об одном, нынче всех увлекавшем событии завтра сменялись толками о другом, столь же неожиданным и выходящим из общей колеи. Новую государыню, под шумок, осаждали просьбами о чинах, деревнях, орденах и других наградах новые, а ещё более старые друзья.

Последние сторонники и защитники бывшего императора, как овцы, прыгающие по дороге через соломинку, один вслед за другим, передались Екатерине. Сам Пётр Фёдоров-

вич, как о нём выразился его друг Фридрих, допустил себя свергнуть с престола, «подобно ребёнку, которого отсылают спать».

– Вы, граф, настаивали против меня сражаться? – спросила императрица Миниха, когда старый друг её мужа ей представился, после своего неожиданного плена в Ораниенбауме.

– Так, всемилостивейшая, – ответил с спокойным достоинством, склоняясь, старый фельдмаршал Анны и Елисаветы. – Я хотел жизнью пожертвовать за монарха, возвратившего мне свободу и жизнь... Теперь мой долг сражаться, божественная... за вас!

– Ну, Богдан Крестьяныч, мне до божества далеко, – произнесла, улыбнувшись, Екатерина, – а ценя ваш гений и службу бывшим государям, объявляю: отныне дверь моего кабинета всегда с часа, когда я отдыхаю от работ, отворена для вас...

Даже заведомые, личные, недавние враги новой императрицы стремились завербовать себе фавор и случай при новом дворе. Екатерина писала новому своему секретарю, Елагину: «Перфильич, сказывал ли ты Лизаветиным (фаворитки Петра Третьего) родственникам, чтоб она во дворец не размахнулась; а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Ему же Екатерина писала вскоре на домогательства о пособиях бывших сподвижников: «Имеешь сказать камергерам Ласунскому и Рославлевым, что, понеже они мне помогли взойти на престол для поправления порядков в отече-

стве своём, – я надеюсь, – они без прискорбья примут мой ответ, а что действительная невозможность раздавать ныне деньги, тому ты сам свидетель очевидный».

Хвалебная ода Ломоносова, в честь новой императрицы, была принята холодно. Её нашли слишком откровенною и смелою и почти о ней не говорили. Увидели неуместный намёк в стихе:

Дражайший Павел наш, мужайся

– и не понравилась строфа:

*Услышьте, судии земные
И все державные главы:
Законь нарушать святые
От буйности блюдитесь вы.*

Предметом общих разговоров Петербурга стал объявленный на сентябрь того же 1762 года отъезд императрицы и двора на коронацию в Москву.

Мирович всем, что так неожиданно-негаданно произошло ним и вокруг него, был ошеломлён, раздавлен. Все планы, надежды, все его смелые предположения были опрокинуты, разбиты вдребезги. Ему не удалось – как он ни смело и ловко это задумал – предупредить печальной участи бывшего императора, от милостей которого он столько ждал. Принц Иоанн, свобода которого, по-видимому, была так осу-

ществима, близка и образ которого, «мстящий фантом» – как казалось Мировичу – было так легко вызвать из мрака в общей сумятице и грозно, воочию народа, перед всеми поставить в тылу победителей, – этот несчастный узник был снова и уже теперь, вероятно, безвозвратно и навсегда увезён, скрыт и заточён. И во всём том – Мирович чувствовал это и упорно, против воли, сознавал – он один был виною: невольно спас Екатерину от гибели, при её въезде в Петербург, не умел лично и в должный момент сообщить Петру Фёдоровичу о затеваемых против него ковах, не успел, наконец, и с последней услугой принцу, которого увезли с острова от Гудовича обратно в Шлиссельбург. «Доля ты, каторжная, злая! – в бессильном негодовании и бешенстве повторял и клял себя Мирович. – Да когда ж ты будешь ласковой матерью, а не бьющею злою мачехой?..»

У Василия Яковлевича оставалась одна надежда, слабая тень надежды, – на свидание с Пчёлкиной.

Чего он ждал от этой встречи, и сам он не мог себе объяснить. Жажда тёплого участия, жалости к себе, обмена с любимым существом мыслью об утерянном, угасшем навсегда, – мучила его, манила и, дразня, жгла несбыточной, дикой мечтой на поправление и спасение чего-то.

Аполлон Ильич Ушаков, провожая его с пожара дачи Гудовича в Галерную гавань, к Селиванову, сообщил ему, что зашевелились столичные масоны и что в Петербурге на днях затевалось тайное общее собрание многих, разрозненных до

той поры, членов этого братства. Он узнал, у кого и где именно это будет, и дал себе слово явиться туда. «Свободные мыслители, борцы и мученики за правду! Я им всё открою, всё расскажу... Возбужу в них негодование. Сольёмся, сплотимся для общего блага и ещё померяемся со слугами преисподней, с тёмными и злокозненными торгашами, наполняющими создаваемый нами священный Соломонов храм. Вон злых язычников, вон кощунных и наглых оскорбителей!».

В течение двух дней, после заезда на Каменный остров Мирович не решался явиться к Пчёлкиной. Голштинцы ступшевались. Их брали под арест кучами и высылали на кораблях в Кронштадт и далее, за границу. Мирович знал, что общая неуверенность, а главное – пожар на даче Гудовича заставили Пчёлкину с Птицыными поспешно перебраться в город. Сознавал он и то, что ему необходимо, и чем скорее, тем лучше, побывать у Бавыкиной, которой он не видел с кануна переворота. Всё это он понимал хорошо и, между тем, как дезертир, не решаясь навернуться в город, безвыходно сидел в грязном деревянном домишке Галерной гавани, где Кондратий Андреевич Селиванов тайно приютился с ним у некоего, тоже безбородого, как и он сам, своего приятеля кожевника. Мирович им рассказал о своём прошлом, о претерпенных обидах и горестях своих предков и родителей, о бедных сёстрах, живших по людям в Москве и которых он восемь лет не видел, – и без движения, сторбившись и задумавшись, сидел либо лежал в душной полутёмной «боковушке»,

где пахло рыбой и дублёными кожами. Забыв обо всём, о еде и питье, он думал мрачные, щемившие душу мысли и с холодной, неотвязчивой злобой прислушивался к шороху, топоту и затаённому говору за прокоптелой, чёрной стеной. А в соседней комнате, как порой смутно он разбирал, являлись, о чём-то толковали, спорили, а не то, возясь и как-то в лад топчась ногами, негромким, дрожащим голосом жалобно запевали какие-то неизвестные люди унылую, на церковный лад стихиру.

«Старцы, нищуну! приятели моих-то...» – с презрительной усмешкой, в лихорадочной, прерывистой дремоте думал Мирович.

В третью ночь, перед рассветом, за стеной стало как-то ещё люднее, а пение раздалось громче, точно находившиеся там забыли о присутствии в смежной комнате постороннего. Мировичу явственно слышались слова,

– В Москву – мать градов... там поищем спасения... На Волгу-свет, на Дон... Гибнет отчая земля, гибнут души... батюшка наш, владыко-защита, покинул нас... отрёкся...

С рассветом чей-то гортанный, как бы сдавленный плачем, унылый голос затянул молящий, с переливами, точно погребальный, кант. Его подхватили другие. Целый многогласный хор незримых старцев, то затихая, то дико возбуждаясь, пел за стеной:

Уж ты, белый голубок;

*Наш сизенький воркунок,
Аще с господом спасусь,
Лишения не убоюсь;
Не убоюсь такой страсти,
Избавит бог от напасти.
При батюшке искупителе,
При втором спасителе.*

– Помилуй нас, матушка, царица небесная, богородица Акулина Ивановна! И ты, названный наш искупитель, Кондратий Андреевич, помилуй! – с плачем, стуча ногами и как бы двигаясь вокруг чего-то, восклицали старцы.

Мировичу с ужасом вспомнились рассказы сослуживцев и начальства о новой страшной секте, замеченной в недавнее время в армии, при следовании её от границы. Он с омерзением вскочил, ещё прислушался, оделся, вышел из избы и заглянул в окно. Среди небольшой, освещённой восковыми свечами горницы сидели на скамьях с включенными бородами мужики, торговцы-мещане, в отставных мундирах солдаты, матросы. В их кругу, босой и без рубашонки, перед какою-то миской, стоял бледный, испуганный, с русыми волосами ребёнок... Оловянные, дикие глаза Селиванова были устремлены на дитя. Он держал в руке нож... Освирепев в чаду радения, сектанты пели, качали головами и руками и, полузажмурясь, мерно покачивались... Мирович, не помня себя от страха, перелез через забор и без оглядки бросился из гавани в Петербург.

*Уж ты, белый голубок,
Наш сизенький воркунок... —*

слышалось за ним пение изуверов, готовившихся пролить кровь нового, нужного им агнца.

Светало, когда он дотащился до квартиры Ушакова. Денщик ему сказал, что Аполлон Ильич дома не ночевал и что «вас самих» ищут и требуют по начальству. Мирович подумал: «Вот люди! и что им надо от меня, когда я главного не сделал?», – вместо всякого ответа упал на кровать приятеля, в болезненном, тяжёлом изнеможении, завернул голову в одеяло, сказал денщику:

– Ах, дай ты мне ради Бога, вздремнуть; измучился тошно! – и как убитый заснул.

«Голубок... воркунок...» – звучало у него в ушах.

Спал Мирович тяжёлым, гнетущим сном. Снилось ему, с бессильно опущенными, точно мёртвыми парусами, яхта, колыхание тёмных, свинцово-холодных волн, шлёпанье длинных вёсел и бледные, омрачённые тревогой и страхом лица; мчанье в кибитке, гул и крики празднично переполненных улиц и площадей; свет в домах и храмах, музыка и колокола; а за рекой дым и страшное, далеко раскинувшееся над островами зарево пожара. Он пробуждался, открывал и опять закрывал глаза; в его ушах без умолку раздавались звуки колоколов, грохот барабанов, трубы марша и клики «ви-

ват» без конца шедших и шедших к Петербургу, увенчанных дубовыми ветками колонн.

Мирович проснулся уже перед вечером. Его разбудили мухи. Он наскоро, по просьбе денщика, чем-то закусил и, шатаясь как больной, как раненый, бессознательно поплёлся к Бавыкиной.

С крыльца, в комнате Филатовны, он услышал быстрый оживлённый разговор. Кто-то спорил, смолкал и опять уносился, вскрикивая, плача и в сердцах даже топая ногой. Он переждал, прислушался и обомлел: ему вдруг стало ясно, что то была Поликсена, никто более, – она, с горячею, заносчивою, без удержку, в минуту огорчений, речью. Мирович взялся за скобку дверей. Голоса в комнате мигом смолкли.

Филатовна, без чепца, вся багрово-красная и вспотевшая, с растерянным видом, с середины комнаты смотрела в соседнюю дверь. При входе Мировича она двинулась было туда, но только развела, замахала руками. Что-то сверкающее, гневное, как буря, ворвалось в тот же миг в комнату. Бавыкина заговорила и смолкла. Сжав странно губы и придерживая распустившуюся косу, Поликсена молча схватила со стола шляпку и какой-то узелок, скомкала его под мышкой и злобно кинулась, мимо Мировича, к выходу. Он заступил ей дорогу.

– Как? – вскрикнула она, отшатнувшись. – Вы решаетесь? вы? Настасья Филатовна! Он ещё с объяснениями... Уйдите, уйдите, позор!..

– Ну, ну, помиритесь, уладьте промеж собой свои-то дела! – сказала, ступив за порог, Филатовна. – Я говорила, придёт, не всё в ус да в рыло; полагает собака и приласкается...

– Поликсена Ивановна, я ль не старался? – произнёс, подходя к Пчёлкиной, Мирович. – Клянусь вам... да слушайте же!

Поликсена швырнула узел, сложила руки, выпрямилась несколько мгновений, с расширенными ноздрями, презрительно и холодно смотрела в лицо Мировича.

– Пять дней, о! теперь я всё узнала, – тихо, чуть роняя кипевшие в горле слова, проговорила Поликсена, – пять сряду дней без усталости, вы, ничтожный картёжник, вертопрах, играли в карты, и всё вы погубили, всё!.. Как назвать это? Как вас считать?

Она перевела дыхание.

– Единой услуги – помните ли? – я ждала от вас и вам её указала. Как вы её исполнили? Были у дворца, видели государя – Ушаков всё рассказал – не отдали ему своей бумаги! Её нашли у Гудовича и вас, бестолкового, неумелого, зовут теперь на расправу...

– Нашли бумагу? – бессознательно проговорил Мирович.

– Слабый, ничтожный и ни к чему не пригодный человек! – крикнула и топнула Пчёлкина. – А я на вас понадеялась, от вас ждала... Мне бы самой лететь тогда без памяти... что молчите, смотрите? Женщина, девушка вас укоряет... Долг службы, подданного, любимую вами, всё забыли

вы в картёжном вертепе... да вы и не любите, не любили! так ли любят! о, не знала я, не знала!..

Поборая слёзы, горечь обиды, Поликсена с бешенством отвернулась к окну.

– Казните, клеймите, разрывайте сердце! – сказал, склонясь, Мирович. – Но вам ли быть столь безжалостной? Я терзаюсь сам. Ну, дайте совет; вместе обдумаем, найдём выход... Эка невидаль – брань... а вы – совет; сомкнёмся, дружно поправим дело... Ведь вы знаете мою преданность к вам; я враг нежностей, чёрт с ними! но клянусь...

– Что мне ваши чувства? Глупо и смешно! Слышите, глупо! – дерзко в лицо Мировичу крикнула Поликсена. – Жалкий вы, тряпка!

Мирович вздрогнул, выпрямился.

– Это лишнее! – произнёс он болезненно-гордо. – Слышите ли? Лишнее, замолчи! – продолжал он, возвысив голос и покраснев. – Мои чувства... не карты... ими не играют, замолчи!

– Ах он, бедный, бесталанник, неумелец! – проговорила, хватаясь опять за узелок, Пчёлкина. – И из чего я на него напала? Ни в чём-то он не повинен... прощай!.. Да пойми только, пойми, – крикнула она, – не пара ты, Василий Яковлевич, мне, жадной, не забывающей обид! Не пара злему найдёнышу, нищенке, сорочью дитю...

Поликсена толкнула дверь ногой, ступила за порог и на мгновение замедлилась.

Мирович, не шевелясь, следил за нею.

– Ещё слово – вы искали мира, отрады в семейной жизни? – сказала Поликсена, подняв на Мировича серые, вызывающие, гневные глаза. – Я же хочу, ищу бури! Слышите ли, бури! Вам люб покой – его нет на свете... Мести, расплаты за зло! вот чего молитесь обидчикам, погубителям доли вашей и людской. Мы бедны, бессильны... Любовь всё может... Могла ж хоть бы Дашкова... Что смотрите? Прощайте. Не ходите за мной, добрый, слабый человек, не ищите меня. Иначе... я вас возненавижу, прокляну...

Пчёлкина ушла. Мирович стоял с пылающим, засветившимся лицом. «Добрый, сказала... ведь любит! – думал он, замирая в оскорблённой гордости. – Упомянула о Дашковой... Понимаю! Ты ею быть могла бы! да я-то был ли бы Орлов или гетман? – прибавил он себе, глядя перед собой чёрными, без блеска, строгими глазами... – Ты, однако, мне эти все свои слова, все до единого, выкупишь...»

– Тебе повестка, – сказала, тронув его за плечо, Филатовна, – опять из фартала; пришли вон, зовут.

– Повестка? – спросил Мирович, обводя комнату сердитым взором.

В тот же вечер Мирович был отведён в ордонансгауз, а наутро под караулом отослан в талызинскую комиссию в Кронштадт. Его освободили по личному за него предстательству извещённого Ушаковым Григория Орлова. О дезертирстве не было и помину. Отпущенный из комиссии, он добрался

на рябике в Ораниенбаум, дошёл до парка, вспомнил, что так недавно произошло в этих опустелых местах, и громко, болезненно расхохотался. Он хотел нанять подводу в Петербург, но раздумал – денег у него не было. Он пустился в столицу пешком. К ночи Мирович добрёл до лесной сторожки, у Горелого кабачка. Его мучили голод и жажда. Ноги отказывались ему служить. Встречные передавали печальные вести о бывшем императоре.

Шестого июля Екатерина принимала доклад генерал-фельдцейхмейстера Вильбуа. Дело шло о новой, вызванной обстоятельствами, дислокации войск. Оба корпуса заграничной армии, Чернышёва и бывший румянцевский, в день воцарения императрицы переданные в команду Петра Ивановича Панина, ускоренным маршем приближались к столице от границ Пруссии. Вильбуа сообщил, что лёгкие передовые, донские и яицкие казачьи полки давно миновали Курляндию и, по всей вероятности, в это время были уже по этот бок Луги.

– Разместить их на временные кантонир-квартиры в ближайших к Петербургу уездах, – решила Екатерина, – урожай трав в здешних окольных изрядный. Пусть отдохнут, оправятся, чтоб в лучшем виде поспеть с гвардией к коронации, в Москву...

Седьмого июля был обнародован манифест о кончине

бывшего императора. Через три дня происходили его похороны в большой церкви Невского монастыря. Тело Петра Фёдоровича – впоследствии, тридцать четыре года спустя, вынутое из склепа его сыном, императором Павлом, и торжественно опущенное в могилу рядом с прочими государями, в Петропавловском соборе, – было одето в голубой голштинский мундир, в белые лосиные панталоны и большие, с раструбами, ботфорты.

Народ «без злопамятствия всего прошедшего», как говорилось в манифесте, стремился в церковь, где, по бокам чёрного с серебром, открытого гроба, горели четыре светильника и бессменно стояли на часах гвардейские офицеры. Все спешили в лавру проститься с телом усопшего.

Накануне похорон по Нарвской дороге к окрестностям Петербурга приблизился казачий полк Ильи Денисова, бывший в передовом отряде графа Захара Григорьевича Чернышёва.

В лаврскую церковь, вслед за другими, вошли в тот же вечер два донских казака. Один лет двадцати пяти, чернобородый, плечистый, скулистый и смуглый, состоял ординарцем при Денисове. В Познани за Одером, в местечке Кривом, при стычке с прусским кавалерийским разъездом, у этого ординарца ночью была угнана полковницкая лошадь. Денисов вспылил и сильно, ежжалой плетью, наказал за оплошность своего приспешника. Дикий и дюжий донец воспылал к начальнику мстью. Да его и на волю из постылой Неметчины

манило – на Дон, в древле-благочестивые, раздольные степи, луга. По пути от границы донцам объявили весть о восшествии на престол новой государыни. Шли ускоренным маршем, днёвки сократились. Миновав Лугу и подойдя к Гатчине, Денисов расположил полк постоем в окрестных деревнях и отрядил двух посланцев в Петербург к начальству, с запросом, в форме рапорта, где ему расположиться окончательно.

Ординарцы доставили бумаги, куда следует, получили дислокацию и, перед возвращением к полку, видя, что все идут в лавру, сами заехали туда ж. Привязав коней к ограде, они оправились, сняли серые шапки и, двуперстно крестясь, протолпились в церковные двери.

Долго чернобородый, пробравшись в храм, не отходил от ступеней траурного катафалка, на котором, под чёрным балахином, с скрещёнными, в замшевых перчатках, руками, лежало тело почившего монарха.

– Ну, Иваныч, пора, – шепнул, дёрнув его за кафтан, невзрачный, с воспалёнными, слезившимися глазами, белокурый товарищ.

– Не трожь, – обернувшись, сумрачно ответил чернобородый.

Из-за высоких, блестящих фольгой свечей, сдерживая плечом напор вздыхавшей и набожно шептавшей молитвы толпы, он продолжал взглядывать в лицо покойника.

«Да, – сказал, вздохнув, про себя чернобородый, – не доля!.. Вряд ли схож! набрехал на границе беглый солдат-гвар-

дионец... Ну, да уж коли господь восхощет, – прибавил он, переводя быстрые карие глаза к иконам, – коли милостью взыщет – ослепит очи гордыни, сокрушит выю злых... чудо и без сходствия въяве окажется...».

Посланцы вышли из церкви, отвязали коней и трусцой пустились по Нарвскому тракту.

– О чём, Иваныч, шепчешь? Про что твои думы? – спросил белокурый чернявого, когда, миновав заставу, очутились в поле.

Смерклось. Было душно. Тёмная, змеившаяся молниями туча надвигалась от взморья.

– Не твоё дело! Не спрошен, не суйся, – грубо отгрызнулся чернявый. – Вон как знамения, – прибавил он, протянув руку, – сполохов ожидать, лихих господних испытаний, чудес...

– А что? – не утерпел спросить белокурый.

– Сказывают... не государя хоронят, – как бы про себя проговорил чернобородый, – а простого офицера, государь же быдто жив...

Казачья конница въехала в лес, за которым дорога направо шла в Петергоф, налево в Гатчину.

«На Украину бы уйти, в село Кабанье, в Изюмский полк, – мыслил под вспышки молний чернявый, – сговор был с парнем знакомца, казака тамошного Коровки, как переходили границу; а не то бы – в Польшу, в наши древней веры слободы, – назваться выходцем из Неметчины... Не кнутьём

да батожьём токмо сыту быть. Пройдёт время, забудут все про беглого... В те поры сызнава на Дон, за Волгу... либо на Яик... Ох, терпит мать сыра земля, старо благочестие, подневольный народ... Стонет родима сторонушка, вся как есть Рассея... Больше вытерпу нет! Ох! С Иргиза, с Берды, с Лабы-реки, с Узеней, со всех скитов да умётов – стечутся, сбегутся невольнички, попранной веры стадо... Я-де, православные, ваш владыко и царь!.. Господь спас, верный офицер выпустил из Питера... Показался гвардионцу, покажусь и всему честному Христову народу, всей голытьбе, готовой за волю, за дедовский, изначальный закон на всяку погибель...»

– Ваше благородие, а ваше благородие, – стал будить чей-то голос Мировича, заснувшего под деревом, близ Горелого кабачка, у перекрёстка петергофской и гатчинской дорог.

Он открыл глаза. Перед ним, в сумерках, перегнувшись с коня, стоял без шапки чернобородый казак, другой виднелся вдали.

– Это ли дорога на Гатчину? – спросил казак.

– Она самая.

– Спасибо, ваше благородие...

– А ты, стой, откуда? Из Питера?

– Так точно.

Мирович вскочил.

– Схоронили государя? – спросил он. – Схоронили?

Казак покосился на офицера, надел шапку, ответил:

– Жив! хоронят другого! – и, хлестнув нагайкой по коню, поскакал вдогонку товарища.

«Новые смутные толки, шевелится серый народ! – подумал Минович. – Сектанты, тёмная чернь волнуется, ковы готовят во тьме... Да что, лапотники, глупые волы. За рога их мигом и в новое ярмо... Истина – в сердце масонов... Они – светильники, вожди... им одним её обрести!».

Предположенное заседание масонов окончательно раздало и увлекло Миновича. Его туда ввёл Ушаков. Там он слышал горячие речи, клятвы не отступать от добра. Он стал готовить какую-то записку. Но в это время Нарвский пехотный полк, в котором он числился, получил назначение с марша от Митавы – двинуться безостановочно на Тверь, к коронации в Москву.

Миновичу объявили приказ: догнать полк под Новгородом, куда он должен был отвезти из коллегии бумаги. В день выезда он получил из Москвы письмо от старшей сестры, Прасковьи Яковлевны. Слух о коронации и о скором ожидании в Москву полка, где он служил, радовал его близких.

«Уж так-то, ненаглядный братец Вася, – писала Прасковья Яковлевна, – соскучились мы по вас. Сам повидишь ноне, своими глазами, несносности и бедства трёх неимущих горемык, ваших сестриц. А мы всё ещё, братец, в горьком сиротстве, маемся на чужбине, не имея за тяжкий, ах, тяжкий грех, слышно – за измену отечеству злосчастного и вредного нам предка нашего, бывшего генерального бунчужного, Фё-

дора Ивановича, – ни одёжи, приличной званию, ни верного куска хлеба, ни сносного в наши годы угла. Помоги, Василий Яковлевич».

«Боже! да где ж твоя правда? и там наклеветали! Никакой измены не было, никакой!» – сказал себе, скомкав письмо, Мирович. Он кликнул извозчика. «Все безбожники! – думал он. – А если для них нет Бога и нет природного государя, Третьего Петра, – то где же Бог и где счастье на земле?».

Он поехал на Литейную, к Гудовичам. Вызвав Гашу, Василий Яковлевич узнал, что семья графа в горе: за непринесение присяги, а потом за отказ от службы новой государыне граф был выслан безвыездно в свои черниговские деревни. Поликсена, по словам Гаши, оставила Птицыных и за неделю назад неизвестно куда уехала.

Догнав полк, Мирович в августе приблизился с ним к окрестностям Москвы.

XXVI НОЧЬ В ПЕЛЛЕ

С начала июля двор заняла новая весть. С часу на час ожидали возврата некогда главного пособника Екатерины, бывшего канцлера Бестужева-Рюмина.

Граф Алексей Петрович прибыл в Петербург «во всяком здравии и благополучии», вечером, двенадцатого июля. Государыня навстречу ему выслала, за тридцать вёрст впе-

рѣд, нового действительного камергера, Григория Орлова, а также собственный придворный парадный экипаж. «Батюшку» Алексея Петровича, «с обнадѣжением всякого монаршего к нему благоволения», отвезли в летний её величества, на Фонтанке, дворец, а оттуда, «по августейшем приѣме, в нарочито для него приготовленный изрядный дом, где определили ему от двора стол, погреб и прочее всякое довольство». Сподвижник в дипломатии великого Петра, пятнадцать первый министр Елисаветы, Бестужев был разжалован и сослан за смелую мысль удалить племянника последней а границу, а престол упрочить за Екатериной.

Семидесятилетний, сильно исхудалый, с длинной седой бородой и глубоко поставленными, острыми глазами старик, войдя с Орловым в кабинет новой, напроороченной им государыни, безмолвно у порога опустился перед нею на одно колено.

– *Immobilis in mobili!* – неколебимому среди смятенных! – дрогнувшим голосом, по-латыни, сказала Екатерина, вновь прикалывая графу снятую с него Елисаветой Александровскую звезду.

– Пресветлая, пресветлая! – произнёс Бестужев, старчески всхлипнув и костлявой рукой лоя и целуя украшавшую его руку.

– *Semper idem!* – всегда одинаковому! – продолжала Екатерина, взяв со стола цепь Андрея Первозванного и склонясь с нею к Бестужеву.

– Чем возблагодарю? Чем отслужу? – восклицал, безнадёжно махая руками и склонив голову, худенький, с жидкой косичкой, старик.

– Возвращаю вам чины, – произнесла, приподняв графа, императрица, – с переименованием вас в генерал-фельдмаршала, но тем не ограничусь... Манифест о вашей невинности – она мне доподлинно известна – будет обнародован беспрозрачно... Не государыня, покойная моя тётка, – бесстыдный нрав ваших завистников и клеветников во всём прошлом виновны...

– Великая! Великая! Спасительница, матери отечества титло присуще тебе... я предложу, внесу, объявлю...

– Э, батюшка, Алексей Петрович, много ещё допрежде того поработать надо нам с тобой во благо народа... Садись-ка, потолкуем о вашем здоровье. Сына тебе маво покажу; вырос... Позови, Григорий Григорыч, его высочество...

Орлов ввёл белокурого, курносого, с милостивым лицом, робкого мальчика.

– Худенек, ох, худенек он у тебя, матушка государыня! – произнёс Алексей Петрович, разведя руками и пристально оглядывая робкого бледного ребёнка.

– Чем же, батюшка граф, он худ? дитя, как дитя...

– Худ, ох, худ и тонкогруд! – ошупывая холодными, костистыми пальцами шею и руки Павла Петровича, продолжал Бестужев. – Кто, позволь, у тебя глядит за ним из лекарей-то, из лекарей?

– Фузадье и Крузе...

– Des tumeur dans les parties glanduleuses... et puis cette paleur...³¹² о, поработать следует, – воздух, приличный мочон... Да я ничего, матушка! что ты! Иди и ты, сударь, играй... Вырос молодец, былинкой встрепыхнулся. А ухо, пресветлая, остро надо держать, остро... Que Dieu benit, se delice de l'auguste mere, de l'Empire et de nous tous...³¹³

– Вы, батюшка Алексей Петрович, уж известны дарами в медицине, – перебила его не ожидавшая с этой стороны натиска Екатерина, – бестужевские, сударь, капли ваши в моду везде вошли, и я сама ими с успехом пользовалась. Но в чём видите опасность сыну?

– Худенек, матушка, худенек и в оспе, сказывают, ещё не лежал, – продолжал, не спуская вострых, внимательных глаз с императрицы, старый хитроумец Бестужев.

Пятнадцатого июля на Пелловских порогах Невы, в тридцати пяти верстах выше Петербурга, разбилась барка с казённым хлебом. Эти пороги образовались выступами крепких известковых подводных камней, между деревьями Ивановским и Большим Петрушкиным. Против них, на левом берегу Невы, в то время находился принадлежавший генералу Ивану Ивановичу Неплюеву чухонский посёлок Пелла.

– Имя столицы древней Македонии, месторождения

³¹² Распухли железы... и к тому же эта бледность... (фр.)

³¹³ Помилуй Бог, это отрада августейшей матери империи и нас всех... (фр.)

Александра Великого, – сказала Екатерина, при докладе Олсуфьева о происшествии в Пелле.

– Притом восхитительная местность, – заметил Адам Васильич, – скалы, смею доложить, озёра и вековечный кругом лес: мы у Ивана Иваныча не раз там охотились, с Григорием Григорьичем, на глухарей.

– А что, Григорий Григорьич? – отнеслась Екатерина, обернувшись к Орлову, бывшему при докладе. – Не худо бы и нам туда, при случае, вояж сделать для развлечения от городского шума и духоты? Возьмём фельдмаршала Миниха, Елагина, графа Строгонова...

Екатерине вспомнилось ещё одно лицо. Она дослушала бумаги Олсуфьева; решение ж о барке, затонувшей в порогах, отложила до другого раза.

– Забавы забавами, – сказала она, – а дело этого места таково, что о нём надо нарочито и крепко подумать.

Наутро к императрице были позваны на особое совещание Панин и владелец Пеллы, Неплюев. В деревнях по Кексгольмскому тракту выставили усиленные смены лошадей.

После обеда, 25 июля, государыня отъехала взглянуть на Пелловские пороги. Господам свиты было предоставлено кстати поохотиться. Путники прибыли к месту до заката солнца. Их ожидал чай в палатке, на берегу Невы. Теплов и Строгонов стреляли ласточек на лету, и оба промахнулись. Звук выстрелов громко раздался в окрестности, всех оживил, развеселил. Сели в катера и лодки и ездили осматривать

фарватер с порогами. Обратном прибыли к берегу при фонарях. В виду флотилии, пригорком, мимо Пеллы к лесу проехал крытый, четвернёй, фургон. Его провожали всадники.

– Вот и охота, – сказал Панин, – утром кто хочет на тетеревей, а то и мишку какого в берлоге застукать не худо бы...

Сумерки сгустились.

Путники шли к экипажам. Неплюев рассказывал прошлое этой местности. Миних делал предложения об отходе порогов, причём вспоминал молодые свои годы, постройку Ладожского канала, наезды на его работы великого Петра.

– Что, готово? – спросила Панина Екатерина.

– Готово, у лесника...

Императрица оглянулась, отыскивая взглядом отставшего Бестужева.

– Господа, – обратилась она к свите, когда все, мимо посёлка и барского, невзрачного и запустелого двора, поднялись вслед за ней на пригорок, у окраины тёмного, дремучего леса, – Иван Иваныч нас не ждал и, без сомнения, извинит, коли не он, а мы будем у него хозяйничать. На берегу не без сырости. Мошки и комары. Просим всех откусать в роще.

Рог затрубил. Все разместились по экипажам. Слуги и рейткнехты зажгли факелы, сели на коней. Первая коляска двинулась. За нею другие. Длинный, сыпавший искры поезд помчался лесной, тёмною чащей на полных рысях.

– Да это не просто прелесть – сказочная! кортеж сильфа и саламандр! – крикнул кому-то граф Строгонов. – Как отра-

жается свет на траве и на косматых деревьях!..

– Все гномы, в золотых хламидах и в алмазных коронах выползли из щелей и будто встречают нас! – ответил ему голос из догонявшей его коляски. – Помните балет «Esprit follet»³¹⁴?

– А туман, туман? точно друиды в саванах...

Кортеж выехал к озеру, за ним, между стен вековых, громадных елей, – на просторную зелёную лужайку. В её глубине, под деревьями, путники увидели освещённую разноцветными фонариками палатку. Из-под откинутых дверей светился уставленный посудой и яствами стол. Сели ужинать.

После ужина, оживлённого анекдотами Миниха и спором о духовидцах Елагина, Теплова и Строгонова, Екатерина велела подавать свой экипаж. Бестужев сел с нею. Панин поехал вперёд. Прочие остались на утро охотиться.

Возвращалась императрица другим, более кратким путём. Огибая Неву, карета поехала по песку шагом. Ночь была тёплая, звёздная. В раскрытые окна кареты были видны мелькавшие впереди по дороге огни факельщиков.

– Как вы полагаете, граф, – спросила Бестужева Екатерина, – не лучше ли, я всё думаю вот, отпустить принца Иоанна, со всей его фамилией, обратно за границу?

– Нельзя, многомилостивая! На пропятие себя отдадим чужестранным, противным языкам... да и пригодится.

– Кто пригодится?

³¹⁴ «Домовой» (фр.).

– Да заточенник-то.

– Не понимаю, Алексей Петрович.

Бестужев крикнул в темноте. Нева то исчезала за стеной дерев, то опять сбоку развёртывалась белою, туманною пеленой.

– Вот, матушка, гляди, – сказал Бестужев, склоняясь к окну, – вон одинокая сосёнка, край долины; стройна и раскидиста она, да сиротлива, одна... А эвosi, приглядиcь, дружная, густая купочка сосен разрослась. Ну, тем под силу и ветры, и всякая непогодь; а этой, ой как тяжело!

– О чём вы, граф?

– Да всё о том же: ненадёжен, в оспе ещё не вылежал! – продолжал, смотря в окно, Бестужев. – И ты, пресветлая, на старого за правду не сетуй. Меры надо принять...

– Какие меры?

Бестужев пожевал губами.

– Павел Петрович-от, милостивая, даст Бог, окрепнет, вырастет... Да всё это токмо гадания... Ну, а как, упаси господи случая, корень-то, древо твоё, с таким слабым отростком, да пресечётся?

– Всё в руце Божьей.

– А вот выход-то и есть, и есть! – сказал, быстро, из-под кустоватых бровей, устремив к ней глаза, Бестужев. – Другая-то августейшая отрасль, другая... О прочей фамилии его не говорю – он страстотерпец один.

– Вам доподлинно, Алексей Петрович, известно, – сказа-

ла Екатерина, – я всей душою болею о принце Иоанне... Заботы советуют, снисхождение. Но то одни лишь слова. Не слепа я, сама вижу. Да что делать-то, вот задача. Будь Павел девочкой, можно б было подумать хоть бы и о соединении этих двух отраслей, о браке...

– Брак возможен, – произнёс Бестужев, тихо поскрёбывая ногтем о сухой свой подбородок, – осуществим! Ты только отечеству, его покою жертвующая, того захоти...

– Как возможен?

– И не такие из могилы-то на свет Божий, к помрачению гонителей, обращались! Меньше месяца назад, – как бы кому-то грозя и глядя в окно мчавшейся кареты, сказал Бестужев, – и я проживал сермяжным, посконным колодником, в горетовской курной Ну, а теперь, всемилосердная, возблагодарив тебя, ещё померяемся с врагами-то... Что глядишь, мол, рехнулся старый?.. Ну-ка, бери мужества да, благословясь, всенародно и обвенчайся с бывшим российским императором, с Иоанном Третьим Антоновичем...

– Кто? я?! – воскликнула Екатерина, отшатнувшись в глубь кареты.

– Да, богоподобная, ты, мудрая, не похожая на других, – спокойно, с сложенными руками, глядя на неё, ответил Бестужев.

– Возможно ли? Шутите, граф. Лета мои, отношения...

– Благослови только господь, – набожно приподняв шляпу и перекрестясь, продолжал граф, – годов самодержцы не

знают, Лизавету за Петра Второго, слияния ради, ведь сватали ж?.. А ему было всего тринадцать годов... Да и что же. Вам, государыня, тридцать третий; принцу Иоанну двадцать два исполнилось... На десять лет; разница, согласитесь, не велика. Решитесь... Сольются две близких, кровных линии. Павел останется наследником... А на случай – господь волен во всём – наготове будет и другой, любезный народу отпрыск...

Лошади неслись. Спутники молчали.

«Так вот что созрело в тайнике твоей смелой, непроницаемой, как морская бездна, души! – думала Екатерина. – Я угадала... В тишине ссылки ты обдумывал всё это, готовил. Ужли ж из корысти, чтоб воскресить только, усилить этим новым, смелым до дерзости прожектором прежнее своё влияние, прежний фавор? Посмотрим... хорошо ли, что я затеяла?»

Чаща леса поредела. Передовой факельщик замедлил, остановился. Карета поравнялась с купой дерев. Между них виднелась изба лесника. Возле стояли экипаж Панина, ямщики, лошади и виденный у Пеллы фургон.

– Перемена почтовых, – сказал, подойдя к дверцам, Панин.

– Кажись, посторонние, – произнесла, оглянувшись на фургон, Екатерина. – Узнали?

– По делу в Питер какие-то; кормят лошадей.

Императрица с Бестужевым через сени вошла в неболь-

шую опрятную комнату. С ними встретился вышедший оттуда пожилой военный. За столом, перед свечой и тарелкой жареного, сидел длинноволосый, в тёмном кафтане, худой и бледнолицый юноша. Он жадно, с торопливым удовольствием, ел, почти не заметив вошедших.

Екатерина, присев с Бестужевым у двери, несколько минут робко и пристально вглядывалась в незнакомца, неряшливо и молча, крепкими выдающимися челюстями жевавшего вкусный кусок.

– Куда, сударь, изволите? – ласково спросила императрица.

Рассеянные, усталые и будто глядевшие внутрь себя глаза проезжего тупо и дико уставились в вошедших особ.

– Издалека ль едете? – повторила Екатерина.

– Вот... и... – заикнулся и перестал жевать незнакомец, – опять взяли... опять повезли... Чуть не утонули на озере, у Морья... барку разбило! В Кексгольме держали, опять сюда тащут...

– Куда же ваш путь?

– А нешто я сведом? – ответил, сердито нахмурясь, юноша. – Возьмут и повезут. Новая, видно, царица потребовала на эхо диво поглядеть. Что им, владыкам-то, – резко и громко засмеялся он, – что полгода, гляди, и новые... И меня велено звать Гервасием, а не Гришкой, да не хочу – а хочу зваться Феодосием... притом... бесплотный...

– Уйдём, пьяный неуч, – шепнул Екатерине Бестужев, –

либо сущеглупый – я их смерть боюсь.

– Вы же сами кто будете? – спросил незнакомец.

– Мы здешние помещики...

– Муж и жена?

– Верно сказали.

Юноша ещё громче во всё горло захохотал и вдруг смолк.

– Старенек муж-от ваш, – сказал он, злобно упёршись глазами в Бестужева, – горох бы тебе стеречи или с огорода вороньё гонять... скрючился, скомсился, злюка, шептун...

Проговорив это второпях, путаясь, точно его прорвало, юноша опять осёкся и бешено, дико захохотал.

– Да уйдём же, матушка! Охмелел он! – шепнул, привстав,

Бестужев. – Вишь как дерзостен, сквернословец, шатун...

– Так вы ехать от меня? – вскрикнул, с искажённым лицом вскакивая, незнакомец. – Скоты, звери, гарпии, колдуньи! Кровь высосали... Жизни вам, вертограда моего? Злыдни, еретики, – кричал он, поддерживая себя за подбородок. – Я креститель, слышите, дух Иоанна... Трубы, тимпаны, гудцы... Ха-ха! проклиная... шептуны, скоты! Аз в мире альфа и омега, последний и первый... Виват! Виват!..

– Не могу, не могу! – сказал, бросаясь к двери, Бестужев. –

Сил нет; сущеглупый ведь он... видите, видите!..

Екатерина вышла за ним. Подали экипажи. Факелы освещали бледные, встревоженные лица.

– Что? – спросил вполголоса Панин.

– Сверх всякого ожидания... невыносимо! – ответила им-

ператрица.

Кареты помчались в том же порядке. Екатерина молчала. Не отзывался и её спутник. Он сопел носом и изредка фыркал, сердясь на Панина, что тот не отвратил от монархини столь неподходящей и лишённой всякой аттенции встречи.

– Так худ? худенек? – вдруг обернувшись к графу, спросила Екатерина.

– О чём, матушка, изволите? – не поняв вопроса и склоняясь к ней, произнёс Бестужев.

– Так ненадёжен мой сын? ненадёжен?.. А знаешь ли, батюшка граф, кого мы с вами только что видели?

Бестужев вздрогнул. В томящей тоске предчувствия, забыв всякий этикет, он ухватил жёсткою, холодною рукой руку императрицы.

– Мы видели бывшего императора Иоанна Антоновича, – проговорила Екатерина, – из Кексгольма нарочно его привозили... Где ж правда? Пятнадцать лет вы, батюшка Алексей Петрович, при покойной императрице, держали кормило власти, и в вашей полной воле была судьба принца... а теперь этого бедняка, нравственно больного, мертвеца, вы, вы, – пощадите! – прочите мне в женихи... в мужья...

После пелловского свидания принца Иоанна вновь отвезли в Шлиссельбург. Панин в таком виде подтвердил его приставам старую инструкцию Елисаветы: «Буде явится столь сильная для освобождения Иванушки рука, что спастись будет не мочно, то арестанта Безымянного – умертвить, а жи-

вого – никому в руки не давать».

– Как же с ним долее быть, ваше величество? – спросил Панин Екатерину, отослав это подтверждение.

– Моё мнение: из рук не выпускать, – ответила императрица, – надо его постричь и отвезти в не весьма отдалённый монастырь, где стороннего богомолья мало или вовсе нет, – в муромские леса, в Вологду или в Колу... Впрочем, о сей материи мы ещё поговорим...

XXVII

У НОВОГО ФАВОРИТА, В ШАБОЛОВКЕ

Осень и часть зимы 1762 года Мирович провёл с полком в окрестностях Москвы. К началу 1763 года полк выступил на стоянку к границам Польши, в раскольничьи слободы Черниговской губернии. Свидание с сёстрами не принесло Мировичу утешения. Помочь им он не мог, так как и сам едва перебивался в тяжёлой бедности. В полку тоже ему не везло. Молва о прошлом Мировича, о самовольной отлучке из Шавель и о передрагах с его арестом и допросом в Кронштадте, от которых он спасся лишь протекцией важных патронов, всё-таки сильно вредила его службе. Начальство на него косилось. Товарищи-фрунтовики, от праздно-кутёжной компании которых он теперь держался в стороне, относились к нему холодно или презрительно-враждебно. Он вспоминал

недавнее своё положение в числе штабных кенигсбергского губернатора Петра Панина и, замкнувшись в себя, в неисходной тоске, тянул лямку караулов, пеших переходов по глухим, занесённым снегом деревушкам, учений, опять караулов и новых переходов.

Средина февраля застала Мировича в Черниговском наместничестве, в раскольничьей слободе Добрянке. Полк был расположен в ней и возле на винтер-квартирах, а его, с командой, послали к Днепру, в слободу Радули. Здесь, принимая фураж, он провалился на подтаявшем льду, схватив горячку и пролежал у соседнего мельника-слобожанина до начала апреля. Встал от болезни не похожий на себя – страшно исхудалый, слабый, раздражительный и злой на всех и на всё. Его выздоровление совпало с возвратом на Украину тепла и весны.

Яркий луч южного солнца вызвал Мировича на завалинку. Он давно слышал в низенькой тесной избе крики прилётных гусей, журавлей, возгласы чаек, шум и журчание всюду бежавших ручьёв. Его неудержимо манилодохнуть свежую, гулкою в этом шуме и гаме, струёй вешнего воздуха. Он вышел, взглянул...

С береговой кручи, со двора мельника, вдруг перед ним открылся безбрежный, с лесами в виде тёмных островов, голубой, затопивший окрестности Днепр. Правее – белела где-то церковь, левее – через сероглинистый яр, на высоком бугре, с красной крышей, виднелся большой помещичий дом.

Весь он потонул в саду. Сад сбегал и по взгорью к речному затону. «Родина, милая родина, – заплакал от радости Минович. – Вот где истинное счастье, рай! Вот где врачевание сердцу, разбитому в душных городских вертепах! Боже! Недаром я стремился к достоянию предков, недаром во сне и наяву моей душе виднелись родные, привольные доли, холмы, тихие сады. Там – скоплённые в больших городах не люди, а звери; здесь – простой, землю пахущий селянин исполняет завет Бога, природы...»

Оправясь, но ещё всё слабый, Минович начал спускаться к реке, сидел у Днепра и однажды от берега зашёл в помещичий сад. Имя владельца ему называли, но он, в болезненном равнодушии и рассеянности, не обратил на то внимания. Помнил он только, что речь шла об опальном вельможе, никуда не выезжавшем и целые дни, с книгой или газетой, лежавшем на диване в своём кабинете. Сад окидывался зеленью. Вишни и яблони пышно цвели. Пчёлы гудели на ивах и черёмухах. Кукушка отзывалась в раkitнике. Дятел звонко щёлкал в дупло оголённого, корявого дуба.

Приглядываясь к каждому окинутаю первой зелению кусту, к каждой вырытой у корней и на лужайках свежей норке, к букашке, цветку, Минович прошёл одну аллею другую. Тепло было, как в мае, напоённый запахом чабреца воздух не шелохнулся. Кое-где виднелись беседки, гроты, мосты. Под огромным, ещё безлистным осокорём, на скамье у обелиска из бледно-зелёного, местного гранита, в старом тре-

уголе, с звездой на епанче, сидел, сторбившись, с книгой, изжелта-смуглый, задумчивый военный. Мирович приподнял шляпу, хотел пройти мимо и чуть не упал: перед ним был генерал-адъютант покойного императора, бывшая «голубица мира» берлинского ковчега, Андрей Васильич Гудович. Он молча стоял несколько минут.

– Так вы тот самый, тот самый, что тогда? – разглядев его и заторопясь, сквозь слёзы, спросил Андрей Васильич.

Они разговорились. И сколько было говорено! Больше недели пробыл после того Мирович в Радулях и каждый день ходил на прогулку от мельника к Днепру и в цветущий, покрывавшийся пышными урожаями сад. Здесь он ещё раз или два встретился с Гудовичем. И хотя ссыльный, недавно могучий вельможа держал себя с ним, как и со всеми, холодно и строго, но, беседуя с случайным гостем о пережитых памятных днях и сообразив его поведение в роковое время, не утерпел и поведал ему кое-что, долетевшее к нему в Радули.

От него Мирович узнал подробности о деле Хрущова и двух Гурьевых, приговорённых к казни, публично ошельмованных и сосланных в Камчатку за намерение освободить принца Иоанна. «Пора-де вспомнить, – говорили эти смельчаки, – что есть фамилия царя Ивана Алексеевича; пора узнать, где содержится Иванушка; не пойдём в караул, пока его не вызволим». Здесь же услышал Мирович и о недавней опале, о сложении сана и о предположенной ссылке в Корельский монастырь ростовского митрополита Арсения Ма-

цеевича. Государыня, узнав о провинности Арсения, ответила на предстательство о нём Бестужева: «Прежде, сударь, без всякой церемонии и не по столь важным делам преосвященным головы секали». А провинился владыко не столько протестом против отобрания монастырских крестьян, сколько тем, что говорил своим ближним: «Надлежало быть на престоле не государыне, а принцу Иоанну... Государыня не природная и не тверда в вере». Ещё же пророчил Арсений, что будут в России царить два юноши, Павел да Иоанн, и что они выгонят из Европы турка и возьмут Грецию и Царьград. «И уж лучше бы, – сказывал Арсений, – сударыне вступить в брак с Иоанном Антоновичем: она с ним не в близком родстве, в шестом колене; не сменять же царского отпрыска на поддержку картёжников и мотов, вроде Григория Орлова».

– Как, на Орлова? – обомлев, спросил Мирович.

– Поедешь, всё узнаешь, – спохватившись и оглядываясь, на прощанье с ним сказал владелец Радулей.

В конце мая Мирович отправился проведать сестёр. От полка же, кстати, встретила жалоба по фуражному делу к гетману, бывшему со двором в Москве. Мировичу дали инструкцию, рапорт и прогоны, и он уехал.

Одна мысль засела в его голове, неотвязно нашёптывала ему, манила его. Он всё думал, соображал и терялся в догадках. Уже по пути к Москве слышал он сперва робкие, потом более ясные намёки на затею бывшего канцлера – в угоду Орловым – устроить замужество государыни с Григори-

ем Орловым. В Москве же, куда он ни заходил, к сёстрам, к знакомым, в трактиры, только и было речи, что о новом проекте «седой, нераскаянной лисицы» – Бестужева. Говорили, что государыня с Орловым съехала в ростовский Воскресенский монастырь, к переносу мощей святого Димитрия, и что без них граф Бестужев составил всеподданнейший адрес за подписью высшего духовенства и генералитета о том, чтобы её величеству выйти за принца Иоанна, а буде не угодно, то, по примеру предков, бывших российских царей, избрала бы она в супруги кого-либо из своих верноподданных. Но встретила преграда.

Первый помощник и недавний друг Орлова, Фёдор Хитрово, как верный патриот, подобрал партию недовольных. В союзники с ним стали оба Рославлевы, Пассек, Ласунский, за ними Баскаков и Барятинский – словом, чуть не все главные вожаки и «партизаны» бывшего переворота.

– Григорий Орлов глуп, – толковали в Москве, – и больше всё строит брат его, дубина Алексей, да старый чёрт Бестужев; но всё может случиться, – одна надежда на Панина.

«Вот случай, – подумал Мирович, – другого не будет, Орлов... посетитель Дрезденши, и я с ним был во дни оны близок, даже обыгрывал его на бильярде... Ничтожный, безвестный офицеришка готовится взойти на такую ступень... Попробовать разве, попытать? Или и его – к дьяволу, лучше не трогать?..»

Бродя без цели, без мысли по Москве, он опять невольно

вспомнил об Орлове, расспросил кое-кого, собрал нужные сведения и отправился к нему на Шаболовку.

Пышный, хлебосольный и всюду уже гремевший дом графа Григория Григорьевича был на фронтоне украшен лепным гербом, с надписью: «Fortitudine et constantia»³¹⁵. Москва, знавшая хоромы старой знати: Шереметевых и Нарышкиных на Воздвиженке, Трубецких – на Покровке, Куракиных – на Басманной и Салтыкова – на Дмитровке, ездила теперь, с рабским решпектом, на поклон, на недавно глухую, мещански пустынную Шаболовку, где новопожалованный «граф Римской империи» на беговых дрожках объезжал рысаков или платком в слуховое окно гонял голубей. Над улицей и садом кружились стаи дорогих турманов: двуплекие, сероплекие, полвопегие, с подпалиной и без подпалины, ногатые, мохнатые и всякие. Голубиная потеха графа сменялась медвежьей либо волчьей травлей, травля – кулачным боем, а бой – чтением изданий Жоконды, древних писателей о сельском хозяйстве или исполнении во дворце нежных менуэтов и гавотов.

Мирович застал Орлова за бритъём, в халате. Доложив о себе, он вошёл сурово, поклонился с достоинством.

– А! Дивно победная пятёрка! – вскрикнул по старине Григорий Орлов. – Вот не ожидал. Извини, братец, что так принимаю. Сам люблю бриться... Садись. Тороплюсь к приёму. Но говори: просьбишка, чай, какая? денег? Да что по-

³¹⁵ «Стойкостью и постоянством» (лат.).

худел? Болен был? а?.. вот как! Жаль, жаль...

Мирович прямо приступил к делу: в кратких словах рассказал о своём прошлом, о случае с предком и с низким поклоном стал просить Орлова о содействии к возврату ему и сёстрам хотя части неправильно конфискованного имения бабки.

– Ты меня извини, – кончив брить щёку и занявшись подбородком, сказал граф Григорий, – это другим, братец, пой, а не мне. Я – стреляный волк. Ну, что плетёшь тут хоть бы о предках? И какой, так-таки скажи по совести, резон, чтоб отдать тебе вон когда, ещё при Первом Петре, отписанные маетности твоих дедов? Из каких, например, благ? Не сердись, слушай и с толком, смирнёхонько рассуди. Сядь, не вскакивай... Ведь поместья те, чай, тогда ещё пожалованы в другие руки, а там, смотри, перешли и в третьи.

– Верно говорите, ваше сиятельство... – с досадой, поборая в себе желчь, ответил Мирович. – Но всё же во власти монархини исследовать, узнать корень истины и возвратить внукам неправильно отнятое, а нынешних владельцев тех имений убоготворить чем иным...

– Да из-за чего, разбери ты? – сказал, отведя бритву и взглянув на гостя через зеркало, Орлов. – Для каждой милости нужны причины, отличие, права...

Злость взяла Мировича. «Так вот он, любимец фортуны, – думалось ему, – в золоте по горло сидит, вымытый, выхоленный, сытый, опрысканный духами. Одно, вон, бельё какое...

с кружевами, сквозит... А нам-то какво? Удался бы мой тогдашний умысел, был бы я на твоём месте. Ишь как теперь поглядывает бесстыжими, смелыми глазами».

– Услуги и мои права, ваше графское сиятельство, – сказал он, пересиливая обиду и гнев, – в действительности, видно, не примечены...

– Какие услуги? это любопытно, *voyouns*³¹⁶...

Граф нагнулся к зеркалу, пробривая место вокруг тёмной пушистой родинки на левой румяной щеке.

– Известно вам, граф, с Перфильевым в те последние дни, перед предприятием, я, по вашему указанию, играл в карты... Извольте вспомнить, какой вышел авантаж...

– Ах ты, потешный! Да ты же, припомни, был тогда в выигрыше и всё его ремизил – пять роббертов, помнишь, девятка опять же, все бубны у тебя... ну! одним махом заграбастал, чуть не сорвал у Амбахарши весь банк...

Мирович с холодной злобой улыбнулся.

– Была тогда и другая, более важная причина, – мрачно сказал он, – да вы не поверите... скажете: вымышленно, с расчётом...

– Говори, братец, слушаю, – искоса взглянув на него и опять начиная бриться, произнёс Орлов.

Мирович просветлел и, точно переродившись, стал в необычайную, напыщенную позу.

– Я был спасителем государыни, в числе прочих... я глав-

³¹⁶ Посмотрим... (фр.).

ную оказал услугу... облегчил ей престол! – проговорил он, окидывая гордым, подавляющим взором Орлова.

– Как, что? – спросил и заикнулся Орлов.

Мирович подробно рассказал о случае с колесом в коляске государыни, при её уходе из Петергофа.

Орлов так и покатился со смеху.

– Ай да козырь-хохол! молодец! – вскрикнул он, бросив бритву, махая руками и заливаясь на все лады. – Вот так одолжил, придумал! Всех, молодчина, всех льстецов, искаателей фавора разбил в пух, заткнул за пояс... никто так не нашёлся, – всех!.. Так тебе троном обязаны? тебе? ну, клянусь, это стоит, по чести стоит... ха-ха...

– Но позвольте, граф, – с краской стыда и оскорбления перебил его Мирович, – вы вправе отвергнуть, пренебречь, но я истину сказал... Издёвки обидны... чёрт! Можете осведомиться у своего братца или у господина Бибикова – они, если не видели, то слышали... как я тогда...

– Ой, пощади, пощади! – восклицал, катаясь по софе, Григорий Орлов (его звонкий, раскатистый смех, далеко разносился по комнатам). – Изволь, наведу справки... непременно наведу... Ха-ха! и семи мудрецам того не придумать... ой, убил, разодолжил...

– Разумеется, что вам стоит учинить дознание, расследовать! – сказал степенно Мирович. – На бумаге всё объяснится, как и что-с, хоть бы и насчёт отнятых имений моих предков...

– Ах вы, хохлы, архивное семя! – произнёс, вставая, Григорий Орлов, и Минович заметил неприятное, общее братьям, нагло-решительное выражение его красивых, как он выразился в уме, «бесстыжих» глаз. – Все-то вы, извини, с челобитьями да с попрошайствами! Нет того, чтоб терпеливо трудиться, смирёхонько ждать, служить. Всё-то твои соотчичи измышляют да подводят... Ну, станем мы, из-за тебя, рыться в древних ваших, хохлатских шпаргалах, бумагах? – сказал, посмотрев в сторону и думая уж о другом, Орлов. – И может ли быть, чтоб в бозе почивающий Великий Пётр так неправильно решил дело твоего деда?

– Честью уверяю, честью! – возвысил голос Минович, чувствуя, как слёзы подступали к его горлу. – И не о себе токмо прошу... у меня, граф, сёстры-девицы проживают в убожестве... а мои предки были из первых на Украине, служили верой и страдание приняли за родину и за её права...

– Хорошо, – небрежно ответил граф Григорий, даже не совсем расслышав последние слова гостя, – увижу гетмана; наведайся – поговорю с ним, попрошу...

«Ужели опять к нему идти? – рассуждал Минович, кончив поручение, данное ему от полка. – Дьяволы! Что толку?.. Станет снова издеваться зазнавшийся бильярдщик да трактирный мот... Где ему, с этакой хоть бы вышины, разглядеть горе да бедность других? Правду о нём сказал мученик, архиепископ Арсений: «не его чести и рыла затеянное дело».

Срок командировки истекал. Надо было возвратиться к

полку. Весна и лето в то время стояли холодные. Дул северный ветер, и каждый день шёл дождь. Но Москва веселилась.

Народные гульбища в апреле и в мае были оживлённы. Под Новинским какой-то силач швед вызывался помериться в единоборстве с русским. Все стремились туда.

С возвратом государыни от богомолья на московских улицах и площадях, при барабанном бое, был опубликован «манифест о молчании». Тетрадка «Московских Ведомостей» от четвёртого июня, с этим манифестом, зачитывалась нарасхват. В нём воспрещались всякие толки «развращённых нравами, праздных людей», «кои дерзкими ухищрениями, – всюду порицают правительство и все нарушимые, гражданские права», развращают и других «слабоумных и падких на вредную болтовню людей».

Прочтя эту публикацию, Мирович окончательно раздумал идти к Орлову.

«Ну его к бесу! – размышлял он. – Ещё сочтут опасным, притязательным критиканом, недовольным судьбою, хулителем государственных мер. Новый фаворит, Орлов, отвернулся, пренебрёг... Не вспомнить ли старого?.. Разумовский – земляк и когда-то, при покойной царице, благоволил ко всем нашим и ко мне...»

XXVIII

У РАЗУМОВСКОГО, НА ПОКРОВКЕ

В воскресенье, восьмого июня, Мирович пошёл к графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Погода была, как и все те дни, пасмурная, невесёлая. То смолкал, то опять моросил дождь.

Разумовский, с приезда со двором в Москву, жил в своём доме на Покровке, рядом с церковью Воскресения в Барашах, купол которой с тех пор, в память венчания в ней царицы Елисаветы с графом, украшен золотой короной. Иконостас этой церкви перевезён впоследствии в Почеп.

Мирович приделся, даже завился в цирульне и пошёл к обедне на Покровку. Он располагал подойти к графу в церкви, где Алексей Григорьевич любил пленять москвичей лором собственных певчих и где он сам, бархатно-певучим, звонким, несколько в нос голосом читал Апостола. У обедни граф не был. Мировичу сказали, что он простудился на придворной охоте, был не совсем здоров и около недели не выходил из дому.

Мирович, на всякий случай, решился зайти в графские хоромы и велел о себе доложить. Сверх ожидания, его не заставили долго ждать с ответом.

— Пожалуйте, — тихо, с улыбкой и южным акцентом сказал степенный, залитый в золото галунов, неслышно двигавший-

ся по ковру украинец-камердинер, по знаку швейцара показавший гостю дорогу вверх, по разубранной цветами лестнице.

«Увижу прежнего всесильного, бывшего в таком высоком случае человека! – думал Мирович, подходя к кабинету Разумовского. – Он старался быть патроном не только моим, но и моей семьи. Не забывал когда-то Алексей Григорьевич земляков-малороссов, хоть и вышел из черни, из лемешовских пастухов».

Прошрое, далеко улетевшее время мгновенно встало, ожило в мыслях Мировича. Он вспомнил свой приезд с покойным отцом, на волах, в Петербург, приём в Аничковом саду у графа, плясание «трепака» и пение хвалебного канта перед императрицей Елисаветой, определение в кадеты, игру на театре в Гостилицах, встречу с Пчёлкиной и многое, теперь минувшее навсегда.

Сильно похудевший и осунувшийся, но всё ещё замечательно красивый, Разумовский не сразу узнал Мировича, когда тот, введённый камердинером, стал у порога и почтительно, «с решпектом» отвесил ему низкий поклон. Граф сидел с книгой у камина. Он был в белом, вязаном колпаке поверх серебрившихся, ненапудренных волос и в светло-голубом, на серых мерлушках, бархатном халате, со звездой на груди.

– А, земляче! стой!.. Мирович, кажется?.. он? так и есть, вот не ожидал! – взглядевшись в гостя и улыбаясь карики, с краснинкой, ласковыми глазами, сказал Алексей Гри-

горьевич. – Откуда Бог принёс?

Мирович объяснил.

– Так не с рубежа, не с Переяслава? Гей-гей! škода ж, братику; поедят там без нас все вареники, галушки и шулики... садись, сердце, вот так... Что хмурый стал? Только постой, прежде побожись: не едешь домой на волах?

– Не еду...

– А собака мохнатая, Серко, – жива?

Мировичу было не до шуток.

– Удостойте, ваше графское сиятельство, выслушать партикулярно, – сказал он дрогнувшим голосом.

Разумовский поднял брови, опустил на колени книгу и всё ещё не покидал улыбки. Ему также вспомнились иные, более счастливые годы, время Елисаветы – время его сказочного, беспримерного «случая» – улетевшего значения, силы, общей зависти и общего раболепного почёта.

– Ужели ж, голубчик, дело? И так-таки именно до меня? – спросил Разумовский.

– Коли позволите, персонально к вашей чести.

– Не верю, убей Бог, не верю, – произнёс, покачав головою, граф, – забыт я, вовсе обойдён; отписали в инвалиды. Да кому я чем могу быть ныне полезен? Всё новенькие пошли, да какие! Спереди блажен муж, а сзади – всякую шаташася языци... Так-то, земляче! Оно и дело: не всем большим под образами сидеть. Чужи пивни весело поют, а на наших типун напал – спят, сучи сыны, аж потеют...

Мирович собрался с мыслями.

«Всё ему расскажу, – подумал он, – попрошу его совета. Хитёр он и тонок; наставит, как следует, укажет теперь откровенно, где и кого просить».

– Не откажите, век Бога заставите молить, – сказал Мирович, – вы же первый когда-то нам помогли – определили меня в корпус! Открыли жизни путь...

– Да изволь, изволь, охотно, – в чём дело? – вздохнув и подвигаясь с креслом, произнёс Разумовский. – Сегодня я никого к себе не жду... При дворе, братец, куртаг, толкотня, суета; я репортуюсь хворым; каторжная лихоманка, иродова дочь, так уцепилась, что не открестишься. Сюда, поближе, к камину, вот так; я всё зябну да, видишь, вот чем душу отвожу на одиночестве, – прибавил, указав на кожаный фолиант, Разумовский, – выходил всех букинистов, все книжные лари, на Никольской, был у Козырева, Романчинцова и у Анохова, у Семёна Николаевича Кольчугина, нигде не нашёл. Да уж Ферапонтов, от Спасского моста, прислал намедни две редких, старой киевской печати, книги. Давно, их искал, и цены им нет. Видишь – читай: Прологи Маргарит... каковы литеры?..

– Маргарит? – произнёс, невольно вздрогнув и изменяясь в лице, Мирович.

– А что? и ты до них охотник?

– Да так-с, извините... я слышал, я знаю эту книгу.

– Откуда ж ты её знаешь? где видел? книга редчайшая...

– В Шлиссельбургской крепости, – сказал Мирович. – Заключённый принц, Иоанн Антонович, её читал и сказывал о ней...

– Принц Иоанн? в Шлиссельбургской крепости? Где же ты и как видел его?

– Необычным и неожиданным случаем, мимолётно, на миг...

– Своими глазами видел?

– Своими...

– Расскажи, голубчик, расскажи: это любопытно.

Мирович сообщил о встрече с узником. Разумовский внимательно его выслушал, задумался и, сняв колпак, набожно перекрестился.

– Не привелось мне видеть несчастного, – сказал он, – а ты знаешь, в каком я был почёте: мог бы! Боже! Неисповедимы пути промысла твоего... Что ни первые в свете люди – низвергаются с высоты, а последние, гляди, возносятся, восходят... И всё то недаром, братец, не попусту...

– Извините, ваше сиятельство, – как бы что-то вспомнив, произнёс Мирович, – после той экстраординарной и почти чудом ниспосланной встречи мне более не удалось видеть принца. Знаю только, его перед переворотом привозили в Петербург, на дачу Гудовича. Где он теперь находится?

– Всё там же, в Шлиссельбурге, – ответил, отвернувшись и махнув рукой, Алексей Григорьевич, – впрочем, вру, вывозили его тогда летом, после Петербурга, ещё в Кексгольм.

– Для чего?

Разумовский помолчал.

– Да ты не проговоришься? – спросил он.

– Помилуйте, и то, что я передал сейчас, – вам только открыл.

– Сказывают, нынешняя государыня пожелала его видеть, – ответил, оглядываясь, граф, – и то randevу было устроено как бы ненароком.

– И это верно? Её величество точно видела принца? – спросил Мирович.

– Как тебя вижу, – с недовольством, сумрачно ответил Разумовский, – всё неподобные затеи и колобродства искателей невозможного! Не сидится им. Чешутся пальцы... Стряпают дерзостные конъюнктуры, перемены, аки бы в пользу невозвратного умершего, а поистине – в свою только пользу... Ненасытные, наглые себялюбцы и слепцы! Докапываются прошлых примеров, пытаются, ищут... да руки коротки... Теперь, впрочем, слышно, склоняют принца принять монашество, духовный чин – и он согласен... и хотя страшится Святого Духа – хочет быть митрополитом... Так ты видел принца, и он, читая Маргарит, применил к себе сказания о крестителе Иоанне?

– Применил.

– Загадочное и непостижимое знамение... Да! чудным, поучительным и, как бы оцт³¹⁷ и желчь, горьким смыслом

³¹⁷ Оцт – уксус (укр.).

пропитана вся эта книга Маргарит – о ненасытных в помыслах и алчбе жёнах... Слушай, братец, окажи мне одну маленькую услугу...

– Приказывайте, граф.

– Ты в оны дни в корпусе хорошо списывал ноты, – сказал граф, – и нашивал мне в презент копии, с хитроузорочными виньетами... Так вот что... Ну-ка, искусник, присядь да и спиши у меня тут, на особую бумажку, вот эти самые слова об Иродиаде, что, как ты говоришь, повторял принц, и вообще о злых жёнах. Я и сам был горазд списывать; но ослабло зрение и руки что-то – видно, от хворобы – не слушаются, дрожат. Вон в этой горнице столик, а возле него – видишь? – на стенной этажерочке бумага и чернильница. Пока светло, приладься там, сердце, у окна и спиши... Завтра с почтой я пошлю одному благодетелю в Питер... Только стой, иначе... куда же ты? погоди!.. И я-то хорош! даю тебе комиссию, а о твоём персональном деле, прости, тебя и не спросил... Ну, что? Чай, всё о том же предковском деле? Ужли не забыл?

– Как забыть? Помогите, ваше сиятельство, явите божескую милость.

Мирович поклонился.

– Совсем без средств, – сказал он, – тяжела, ох, тяжела нищета, когда знаешь, как живут и благополучны другие, ничтожные люди...

– Да что же я, братику, поделаю? сам видишь – мы, преж-

ние, разве у дел?.. Хлопочи, ищи у новых. Они в силе: всё в их руках.

– Помилуйте, граф, одно ваше слово, намёк...

– Миновало, серденьку, говорю тебе, миновало... Были у Мокея лакеи – ныне ж Мокей... сам стал себе лакей...

– Шутите, граф, и притом – кого же просить?

– Иди к главному – к Григорию Григорьевичу Орлову: лично не знает тебя – постарайся через его братцев найти к нему доступ...

– Был уж у него.

– И что ж он?

– Не токмо отверг, пренебрёг за особые, невымышленные, первого ранга услуги. Сказать ли всю истину?

Мирович подробно рассказал Разумовскому о знакомстве с Орловым и с его сообщниками у Дрезденши («что теперь мне молчать!» – думал он); сообщил об игре с наблюдавшим за ними Перфильевым и о случае с колесом государыниной коляски.

– Да вы, думаете, что я вру, вру? – задыхаясь, бледными губами повторял Мирович. – Ну, скажите, можно ли это выдумать? есть живые свидетели, их можно спросить... Ужли отрекутся?..

– Человеческая гордыня – Арарат гора вышиною! – презрительно сказал, покачав головой, Разумовский. – Только ни один ковчег истинного людского счастья ещё не приста- вал к этой горе, не спасался.

– Так как же после такого афронта? – продолжал Минович. – Идти ли к графу Григорию Григорьевичу? А особливо, когда все в городе толкуют о новых, сверх обычных почестях, кои его ожидают...

– Какие, сударь, такие ещё почести? – поморщась, спросил граф.

– Да о браке? ужели не слышали?.. по примеру, извините, вашего сиятельства...

– О браке? – произнёс, вдруг выпрямившись, Разумовский. – О браке? так и ты слышал? Из респекта и должной аттенции к графу Григорию Григорьевичу я бы умолчал, но уповательно... нонешние...

Алексей Григорьевич не договорил. В кабинет торопливо вошёл тот же степенный, залитый в золото галунов и неслышно двигавшийся по коврам, украинец-камердинер.

– Кто? Кто? – спросил, не расслышав его, Разумовский.

– Его сиятельство, господин канцлер, граф Михайло Ларионыч Воронцов.

Разумовский удивлённо посмотрел на дверь, потом на Миновича.

– Странно... сколько времени не вспоминал, не жаловал... Проси, да извинись, что, по хворобе, в халате – в дезабилье.

Слуга хотел идти.

– Нет, стой... А ты, голубчик, – обратился граф Алексей к Миновичу, – всё-таки вот тебе эта самая книга, возьми её

и присядь вон там... или нет, лучше у моего мажордома, на антресолях, – там будет спокойнее. Пока приму канцлера, не откажи, будь ласков, сними копийку с отмеченного. Согласен?

– Охотно-с.

Слуга провёл Мировича ко входу на антресоли и поспешил в приёмную.

Разумовский помешал в камине, взял со стола книгу «Пролог» и, усевшись опять в кресле, развернул её на коленях. «Что значит этот нечаянный и, очевидно, не без цели визит? – раздумывал он. – В пароксизме лежал, не наведывался, а теперь... странно...»

Прошло несколько минут тревожного, тяжёлого ожидания.

В портретной, потом в бильярдной, наконец – в смежной, цветочной гостиной послышались звуки знакомых, тяжёлых, с перевалкой, шагов. Вошёл с портфелем под мышкой, в полной форме и при орденах, Воронцов.

– Чему обязан я, Михайло Ларионыч? – спросил Разумовский, чуть приподнимаясь в кресле навстречу канцлеру. – Извините, ваше сиятельство, как видеть изволите, во все недомогаю – старость, недуги подходят.

– Э, батюшка граф, Алексей Григорьич, – сказал, склонив с порога курчавую, с большим покатым лбом голову и расставя руки, Воронцов, – всем бы нам быть столь немощными стариками-инвалидами, как вы.

– Милости просим, – произнёс, указав ему возле себя кресло, Разумовский.

– Никого нет поблизости? – спросил, оглядываясь и садясь, канцлер. – Могу говорить по тайности?

– Можете. В чём дела суть?

– Негоция первой важности, и вы, граф, изготовьтесь услышать и, через моё посредство, дать её величеству должный и откровенный ответ.

– Я-то? – уныло, упавшим голосом, проговорил Разумовский. – Ну, куда, для таких негодии я гожусь, отпетый, сил лишённый отшельник?.. Вот книгами лишь священными питаюсь, грешную душу упражняю поучениями, житиями угодников.

– Государыня, всемилостивейшая наша монархиня приказать мне соизволила, – продолжал Воронцов, – изготовить и вам по тайности показать вот этот прожект указа... (Он заглянул в портфель, потянул было оттуда и опять там оставил заготовленную бумагу.) В указе, государь мой, изображено, что, в память и в дань высокого благоговения к почивающей в бозе благодетельнице – тётке своей, императрице Елисавет-Петровне, государыня признала за благо вам, сиятельный граф, гласно и всенародно, как законно, хотя бы и втайне венчанному супругу покойной монархини дать титул высочества...

– Что вы, что, – как бы в ужасе, замахав руками, сказал Разумовский, – как можете вы это говорить? Ну, дерзну ли?

Мой Бог! да ужели не нашлось, кто б решился в том перечесть её величеству?

– Я первый, коли простите, возражал, – сказал, склоняясь, канцлер.

– А ещё кто, ещё?

– И Никита Иваныч за мной излагал резоны.

– Благодарение Богу и вам с Никитой Иванычем! – приподняв колпак и смиренно перекрестясь, сказал Разумовский. – Спасибо... доподлинно вы угадали мои чувства и мысли...

– Но всемилостивейшая государыня наша, – продолжал канцлер, – через меня неуклонно и во всяком случае к тому ж решила вам передать ещё одну, нарочитой важности, просьбу.

– Какую?

– В иностранных курантах и в секретных отписках резидентов давно пущены ведомости, будто бы у вас, граф Алексей Григорыч, хранятся доподлинные, за должной скрепой, документы о браке вашем с покойной императрицей. А посему её величество, как в вас интересуясь, поручила вам сообщить, чтобы вы не отказали вручить мне те отменной важности свидетельства, для начертания, на сообщённый вам объект, законного и для всех очевидного о том высоком титуле указа.

– Документы, государь мой? – заторопившись, несмелым голосом спросил Разумовский. – Свидательства о браке мо-

ём её величеству нужны?

– Так точно.

– Дозвольте же, – помолчав, продолжал граф Алексей Григорьич, – не откажите прежде и мне самому просмотреть оный, составленный вами, набросок указа.

Воронцов почтительно подал ему бумагу, Разумовский просмотрел её, возвратил и, положив книгу на камин, встал с кресла. Он медленно подошёл к шкафу, достал из него окованный серебром, чёрного дерева ларец, снял с шеи ключ и вынул из потайного ящика свёрток обвитых розовым атласом бумаг. Развернув свёрток, он оболочку его бережно спрятал на место, а бумаги, подойдя к окну, начал читать с глубоким, благоговейным вниманием. Воронцов не спускал с него глаз...

«Понял ли, ужели всё сразу понял?» – думалось Михаиле Ларионычу.

Просмотрев бумаги, Разумовский их поцеловал, взглянул на образ и, возвратясь к Воронцову, опёрся о выступ камина. В лице Алексея Григорьевича изображалось неподдельное, сильное душевное волнение; глаза были влажны от слёз. Он с минуту постоял, глядя в камин, вздохнул и, перекрестившись, молча бросил свёрток в огонь.

– Я, ваше сиятельство, – сказал он, садясь, – завсегда был ничем более, только верным рабом покойной нашей государыни, Елисавет-Петровны, осыпавшей и меня своими благодеяниями превыше заслуг.

Канцлер поклонился.

– И никогда я, граф, – слышите ли? – продолжал Разумовский, – никогда не забывал, из какой доли и на какую стезю возвела меня наша монархиня. Обожал её – как сердобольную мать, поклонялся ей – как благодетельнице миллионов, и отнюдь в помыслах не дерзал лично сближаться с августейшим её царственным величием...

Воронцов сидел, как на иголках. Всё виденное и слышанное превзошло его ожидания, казалось ему сказочным, несбыточным сном.

– И верьте, батюшка Михайло Ларионыч, – смигивая слёзы и схватив его за руку, сказал былой «лемешовский пастух», – верьте мне, простому, нехитрому хохлу, и не считайте за ложь и притворство... Горе великое, государь мой, горе мелким случайным людям в слепом, преходящем фаворе посягать на столь смелые, гибельные мечты... А если б то именно, о чём вы говорите, некогда и было, то я отнюдь не питал бы дерзкой и безумной суетности признать случай – говорю о том прямо, – могущий только омрачить, а отнюдь не приумножить славу покойной государыни – общей нашей благодетельницы.

– Понимаю вас, граф, и, дивясь вам, душевно поздравляю! – сказал, встав и радуясь успеху поручения, Воронцов.

– Теперь вы убедились, сударь, – ответил, встав в свой черёд, Разумовский, – убедились, что отныне нет у меня никаких документов... Доложите же о том её величеству – да про-

длит она, дарами обильная, своё благоволение и относительно меня, верного своего раба... А о том, что сожжено, будет знать токмо моё сердце... Пусть люди врут, что им взбредёт на мысли; пусть дерзновенные, – понимаете ли меня, граф? – пусть, в ненасытной алчности, простирают свои надежды к опасным, мнимым величиям... Мы с вами как истинные патриоты, как верные отечества слуги, не должны быть причиною их толков и пересуд...

Воронцов откланялся. Его карета быстро загремела по Покровке и далее ко дворцу.

Доклад его о поездке к Разумовскому был принят отменно ласково. При докладе был и Григорий Орлов.

– Мы понимаем друг друга с Алексеем Григорьевичем, – сказала при этом Екатерина, – тайного брака покойной тётки с графом никогда не было... Признаюсь, праздный шёпот об этом был мне всегда противен. И недаром почтенный граф от Разумника происходит – сам догадался меня в столь щекотливой факции предупредить. Иного от прирожденной всем малороссиянам самоотверженности я ожидать и не могла.

Орлов, как говорили потом Разумовскому, вышел из кабинета государыни бледный, сильно смущённый и с заплаканными глазами.

Не скоро, по отъезде канцлера, пришёл в себя Разумовский.

Он, свесив голову, неподвижно глядел с кресла в тихо мерцавший камин. Мысли его были далеко: перед ним рисовалась подмосковная слобода Александровская; он сам, молодой, статный певчий Алёша, ходит в хороводе сенных девушек, а об руку с ним голубоглазая, с русой пышной косой, красавица, царица Елизавета Петровна; далее — Гостилицы и Аничков дом, свидетели стольких лет счастья, общих поклонений и почёта...

Алексей Григорьевич встал, отёр глаза, спрятал ларец и тут только вспомнил об офицере, посланном на антресоли для списывания копии из книги Маргарит. Он позвонил слугу. Мирович снова вошёл в кабинет.

– Ну, что, земляче, списал? – спросил, ласково улыбнувшись, Разумовский.

– Готово.

– Спасибо, садись, говори. Так как же, друже?... ждёшь помощи, совета?

– Не откажите, ваше сиятельство, замолвить слово своему братцу, гетману.

– Брату! Не туда метишь. Не той теперь мы оба силы. Миновало, повторяю, отжило... А вот что тебе скажу. И ты, сердце, меня послушай... Поезжай на родину, да чем скорее, тем лучше. Бери отпуск, а то и вовсе абшид от службы. Коли есть у тебя приятели, родич ли, чужой, лишь бы добрый человек, – всё брось и гайда до дому... Эй, хлопче, послушай меня... езжай... Есть на родине, Донце, приятели?

– Есть.

– Кто?

– В Харьковском наместничестве – товарищ по корпусу, помещик Яков Евстафьевич Данилевский³¹⁸ и другие...

– Ну, и езжай пока хоть к нему.

– Но для какого ж резону ехать, не кончив дела?

– Твоему отцу я когда-то говорил, и тебе тот же совет: похлопочи там, на месте, а не здесь; авось найдёшь, ну, хоть какие-нибудь письменные документы о поместьях твоей бабки. Отыщешь, тогда можно будет и похлопотать, и я в таком разе первый твой слуга. А без того, сердце, прямо говорю, и не надейся. Что было, то прошло, что будет, повидим. Мёртвого из гроба не вернёшь. А коли на то пошло – то ещё лучше вот что...

Разумовский остановился, глядя на дверь, куда ушёл Воронцов.

– Ты молод, не глуп, не прост, – продолжал он, – старайся сам себе проложить дорогу. Приглядывайся, ищи примеров на других, подражай... Брось бабьи бредни и – скажу тебе словами брата-гетмана – бери фортуны за чуб... и так-таки... без церемоний и просто, за самый, то есть, чуб... И верь, будешь притом таким же счастливым, как и все... понял?

– Даст ли только фортуна взять себя? – сказал Мирович. – Шутить изволите, сколько неудач...

³¹⁸ Яков Евстафьевич Данилевский – прадед писателя, поручик Псковского пехотного полка. Был знаком с Мировичем по кадетскому корпусу.

– Сомнения? – произнёс, усмехнувшись, Разумовский. – Не хватит храбрости? Ну, тогда и вовсе оставайся на родине... Живи с овечками, с волами, Серком... Эх-эх! родина, великая, вольная степь, зелёные байраки, сады, хутора!.. Ну, веришь ли, сердце, веришь? Вот я и граф, и богат и всё – а побей меня Бог и наплюй ты мне, как собачьему сыну, прямо в глаза, коли вру... Всё я, слышишь ли, готов бросить, всё: и почести, и богатство, и знатность, – лишь бы возвратиться тем, как был, в Козелец, в нашу слободу Лемеша, кончить век рядом с дедовскими могилами, что на погосте в Чемерах... И знаешь ли – может, опять не поверишь, да и как поверить? – вон у меня своя музыка, хоры певчих театр; а я о сю пору, брат, слышу соловьёв да жаворонков, что пели когда-то по зорям в отцовских и дедовских наших тихих садах.

Разумовский закрыл лицо. Серебрившаяся сединой, ненапудренная его голова упала на белые, похуделые руки. Слезы из-под пальцев закапали на голубой бархатный халат.

Мирович принял совет графа Алексея Григорьевича. Снабжённый щедрым его пособием, он взял от коллегии полугодовой отпуск и в половине июня 1763 года, по домашним делам, уехал сперва к приятелю Якову Евстафьевичу, в Изюмский, потом в Переяславский уезд. Перед выездом на родину он получил письмо из Петербурга от Ушакова, где тот, между прочими новостями, извещал его, что Поликсена, как передали Птицыны, оказалась на Оренбургской линии, где проживала при детях высланного в коменданты Татище-

вой крепости князя Чурмантеева.

XXIX

КУМОВА ПАСЕКА

И снова родина, синий вольный Днепр, лесистый берег впадающего в него Трубежа.

Тянутся вверх и вниз по Трубежу кленовые и липовые дебри, красно – и сероглинистые яры, поемные луга, полные дичи и рыб заливы и озёра. Вот Барышевка, а вот, за Сулимовкой, не доезжая Остролучья, в зелёной дремучей яворщине, и кумова пасека!

Узнал её Мирович. Как поставил кум внизу – край долины, у Трубежа, – свой пчельник, так он здесь многие годы и стоит. А на горе село Липрвый Кут, бывшее когда-то за предками Мировича. От реки видна трёхглавая церковь, вправо и влево сады и белые хаты посёлка. Там, где старая дуплистая верба и с почернелым журавлём колодец, видны ворота и трубы кумовой хаты. Зиму кум Майстрюк, занимаясь бондарством, живёт вверху на селе, с весны откочёвывает вниз на луг у Трубежа. Пчёл на пасеке и седины в усах и на голове кума прибавилось; но всё тот же он и та же на лугу, в тенистой, зелёной яворщине, его пасека.

Сильно обрадовался Данило Тарасович сыну покойного кума, Якова Мировича. Не знал, куда посадить гостя. Хоть и дошли к нему слухи, что Василий Мирович уже офицер, но,

при виде его, он смешался и не сразу признал в нём того заморыша-мальчонку, который босиком когда-то бегал со двора его в лес, строгал веретёна и дудки и пел в церкви с дьячком. Мирович зашёл в хату Данилы, увидел там его «старую», седую Улиту, увидел у ворот дуплистую вербу и колодец с журавлём. Прошёл он на выгон и к церкви, в ограде которой когда-то он играл с ребятишками; отыскал на кладбище крест над могилой отца и долго тут стоял, повесив голову и думая. Когда же он, знакомой тропинкой, спустился в лес, увидел спрятанный в гущине дубов и яворов плетёный, мазанный глиной шалаш и ряды покрытых лубками ульев, когда услышал гуденье пчёл, крик удонов, горлинок и коростелей – сердце его сжалось, и радостные, тёплые, давно не испытанные слёзы побежали из его глаз.

Дед Данило угостил Мировича, дал ему отдохнуть с дороги и стал расспрашивать об учении, о службе и обо всём его прошлом.

– А ходи, братику, сюда, – робко и ласково сказал дед, введя его в чистую горенку, прилепленную сзади шалаша, где под образом, на выбеленной стене, были развешаны пучки трав, чистое полотенце, глиняная кадилничка и с кропилом кубышка святой воды. Тут же в мешке висело что-то запылённое, круглое.

– Узнаёшь? – снимая мешок, спросил Майстриук. – Это твой торбан. Ты на нём играл и с ним царице пел песни... А собака Серко, помнишь, хоть и пропала, – вон его сын, –

прибавил Данило, указывая на старого, косматого и тоже серого пса. – Уже и этот состарился... Ну, говори, зачем же ты приехал в наши места?

Мирович рассказал Даниле цель своего приезда, сходил с ним на совет к священнику, а вскоре съездил в Переяслав и в Полтаву, условился с судейскими крючками и подал куда следует составленные прошения о разыскании нужных документов. В Пирытине, по указанию Майстриюка, проживал некий его дальний родич, отставной повытчик³¹⁹, Григорий Мирович. Он его и навестил. Старый, с сизым носом, повытчик объявился ему дядей, доложил, что знает всех поветовых и губернских «судовых», и вызвался за него хлопотать. Мирович выдал ему доверенность и всё, что оставалось у него денег, а сам поспешил в Липовый Кут. Ему были противны духота, пыль и толкотня грязных, наполненных дёгтем и рогожками городов и наглые, жадные речи и рожи пьяных судейских строчил. Его манило снова и непреодолимо в лес, в пчельник, к иволгам, горлинкам и коростелям.

«Будь что будет, – думал он, – и долго ли протянется – а такого рая мне больше не найти».

Прошёл август, кончался сентябрь. Леса из зелёных становились красными и золотыми. Пчёлы ещё взлетали меж ульями, но их уже не было почти слышно. Собиралась отлётными большими стаями речная и лесная дичь. По зорям, в голубой выси, тянулись к морю крылатые полчища. Лес и

³¹⁹ Повытчик – ведал делопроизводством в суде в России XVI—XVII веков.

долина смолкли. Слышалось только шуршание желтевших, махровых кистей камыша да падающей в тишине древесной листвы.

Майстриук к Покрову повёз на продажу в город собранный мёд. С гостем на пасеке остался его старый подслеповатый наймит. Мирович ходил прежде по лесу и за реку на село. Теперь он больше сидел под шалашом или лежал на душистом сене в горенке, где висел торбан. Лежал он и думал о прошлом, о том, что он испытал и что было далеко, за порогом этого шалаша. Он знал, что жизнь ему не удалась; что ученье, служба не привели его к желаемому счастью. Случай, фавор? Да за одну крупицу из того, что так неожиданно выпадало ему на долю – не обернись колесо фортуны и не будь люди так злы, – другие вот как бы вознеслись... Командировка от Панина, личное внимание к нему заметившего его покойного государя... а знакомство с Орловым, поручение к Перфильеву? а случай с колесом... ведь это всё было. Да отчего ж он по-прежнему безвестен, жалок и беден? Отчего не в высшем ранге, не знатен, лежит здесь на сене, в плетёном, соломенном шалаше? И она – властительница сердца, недоступная, гордая, злая! – и она, при ласке фортуны, иначе бы к нему отнеслась...

Мирович закрывал глаза, старался забыться, не мыслить ни о чём. Ряд дорогих, дразнивших воспоминаний вставал перед ним. Театр в Гостилицах, первое объяснение, писанье мадригалов, встречи у знакомых, разлука, переписка из за-

граничного похода и новая встреча в Шлиссельбурге. Он пытался думать о своём деле, как найдёт он главные нужные бумаги, как получит следующее ему по праву, станет богат и даст знать Поликсене, что теперь он без стеснения может предложить ей руку и сердце. Он устремлял свои мысли к суду, к дяде Григорию, к Якову Евстафьевичу и его мирному хутору на Донце, где тот жил с молодою женой и новорождённым сыном, а из-за них, против его воли, выплывал и дразнил его злой и гордый образ далёкой волшебницы.

В половине сентября Мирович сходил к священнику, попросил бумаги и послал на почту два письма. Одно было к корпусному товарищу, Якову Евстафьевичу, с извещением, что он думает опять заехать к нему в Харьковское наместничество. На другом письме была надпись: «Оренбургской линии, в крепость Татищеву». То было письмо к Пчёлкиной. Мирович ей сообщил, где и почему он теперь находится, умолял её отозваться хоть словом и прибавил, что, если она оставит это последнее обращение к ней без внимания, он сочтёт, что между ними всё и навсегда кончено. Ответа не приходило. Мирович ждал и, теряя терпение, окончательно убеждался в своём предчувствии. Забыв о пище, лишённый сна, он лежал в пчельнике и не спускал с тропинки упорных, сердито-напряжённых глаз, ждал, что вот-вот явится желанный ответ. Работник Данилы, охая и ворча под нос, следил за тем, что случилось с гостем. «Обидели малого, – рассуждал он. – Замолчали судовые аспиды, не выходит ему решения».

Не подавал о себе вести и повытчик, дядя Григорий.

Однажды, то было в начале октября, стояли превосходные, чисто малорусские осенние дни, ясные, сухие и тёплые, как в мае. Безоблачная синева высилась над тихими, пахнущими чабрецом и калуфером дебрями, над просохшими, усеянными лиловыми головками дикого лука лугами. По лесу тянулись нити налетающей с полей бродячей паутины. Всё было чутко, всё сверкало и млело под последними лучами щедрого, невысоко стоявшего солнца.

Большая муха, звонко жужжа, билась в сетке паука, меж пучками цветов, висевших на стене пчельника. Мышь, шелестя, пробиралась где-то в соломенной крыше. Мирович, закинув руки на голову, лежал на притоптанном сене, в углу горенки под торбаном. Мысли с невероятной быстротой менялись, проходили в его душе.

«Болото, тина, глубь реки, – рассуждал он о виденных им городах и местечках родины, – ничего-то, как есть ничего тут не знают и знать, как видно, не хотят из того, что делается там, наверху, где воля, жизнь и свет! Заговорил я о столицах – зевают только да вздыхают, поглядывая на закуски и графинчики, как бы кто скорей опять догадался предложить по маленькой. О событиях дворских ни гугу... Про столь важную перемену, всколыхавшую обе резиденции, слышали одни кончики, ничтожные пустые обрывки либо чистый, глупый вздор – тот-де вон оттого повысился, этому дали крас-

ную, а тому «блакитную» – голубую ленту. Я о масонах, а они о ярмонке, о волах да о всходах озимей. Упомянул я о принце Иоанне... и существования его не подозревают, имени его не слыхивали. Боже! ужели мне сюда навек, в эту глубину, на илистое дно? Отчего ж нет? Обстригу косу и букли, запущу бороду, поселюсь тут на пасеке – кстати же Данило Тарасович полюбил меня и зовёт к себе в приимы; к Якову Евстафьевичу наведаюся – как-то он копается, трудится с своим хозяйством, с долгами? и никогда отсюда, от пчёл, от овец, волов и от этой яворщины – ни ногой. Здесь настоящий предопределённый людям Соломонов храм жизни; здесь вековечное, истинное счастье...»

В горенку, где лежал Мирович, вошёл работник священника.

– Батюшка ездил в Переяслав, – сказал он, – и привёз вашей милости с почты письмо.

Мирович бросился с пакетом к узенькому оконцу. То был ответ от Поликсены. Она сообщала из Сакмарского городка, что их туда перевели из Татищевой, что она по-прежнему его помнит и ему сочувствует, но мысли её не изменились: она просит её оставить в покое.

«Жизнь ваша во всяком разе сноснее моей, – писала Пчёлкина, – вы на родине, среди ближних, если не кровных; у вас хоть это есть, у меня и того нет. Я на границе света, среди дикарей, хищников, извергов. Грубые, злые киргизы и казацкие расколыщики – люди ли это или худшие из зверей? – бун-

туют, грабят и даже режут посланных им начальников. Того и гляди вспыхнет поголовное восстание... Князь Чурмантев просится отсюда, его не пускают. Уже давно здесь ждут, что всех истребят. Ни человеческой речи, ни книг, ни малейшей надежды на выход отселева, хоть бы в Яицк, в Оренбург. Но я не падаю духом. И хоть бы ещё тяжеле и хуже было, меня не вынут ни из петли, ни из омота. Зовёт меня тот самый польский знатный гусар, о коем вы намекаете, ревнуя, – предлагает от дяди место воспитательницы к одной малолетней, важного ранга, особе, проживающей в Италии... Понимаете? В Италию из Сакмарского городка, где кирпичный чай с салом – роскошь и где по месяцам не знаешь, что делается на свете. И всё-таки я не поеду – что за дело до того, что персону, к коей меня зовут, ожидает, как слышно, высокая судьба? Одна дочь князя умерла от оспы, я живу при другой, хворой и слабой. Ах, что за милое, кроткое дитя. У меня есть цель. А вы? Верю в доброту вашу, преданность, но простите, – не верю, чтоб у вас хватило духа даже на то, о чём пишете, – из недовольства судьбой, – остаться навек в скромной, безвестной доле селянина. У таких не хватит духа. Вы будете сомневаться, упражнять, мучить себя горькими, тяжёлыми мыслями, философствовать, – но сделать... это, извините, не ваш удел... Надо много воли. Читала я когда-то о древних веках, как сильные духом простые люди, жители деревень, рыбаки, пастухи, увидев сон, что им быть на верху славы, устремлялись к ней и покоряли судьбу

– становились полководцами, избавителями стран, царями. Ах, то было давно и забыто всеми... Отчего люди стали так мелки, слабы душой?».

– Так вот, змеёныш, скорпион! вот куда ударила она! – скомкав письмо, вскрикнул Мирович. – Бессердечная, себялюбивая злока!.. только прикидывается, что заботится, мыслит о других. Вот где высказался завистливый, скрытный подкидыш, сорочье дитё! Я тебе этого не забуду!.. И всё ты мне, всё выкупишь!

Бешенство овладело Мировичем. С бледным от злости, искривлённым лицом, с похолоделыми руками и ногами, он схватил шляпу, дрожа, вышел из пчельника и бросился в чащу леса.

Старая, лохматая собака за ним. Солнце клонилось к закату, тени сгущались. Он, дико озираясь, шагал по валежнику, по лугам.

– Так я только говорить, а не делать? – захлёбываясь, в смертельной муке, шептал он спёкшимися, сложенными в безобразную усмешку губами. – Так философствовать только, а от дела бегать? Что же, я мошка, что ли, ничтожная, последний, подлый муравей? – дико вскрикнул он, пробираясь сквозь гущину ветвей и, с скрежетом зубов, радостно топча встреченную муравьиную кочку. – Я не в счете, рядовой, коих тысячами шлют под пушки и в регистры, в историю не вносят? А она – и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, сударыня... Не добился я почестей, богатства, не на что вам фалбо-

ры, да парчи, да левантины и всякие дородоры выписывать, так вы меня и в спину, в спину!.. Проклятая модница, искушительница, дьявол в образе женщины-волшебницы... Ну тебя к дьяволу, с твоей красотой и со всеми чертями! Не хочу я знать тебя... плюю, тьфу!

С дрожью от бешенства и жажды отпора и мести вышел Минович на открытый лужок. Здесь стемнело. Только верхи прибрежных к Трубежу холмов были ещё пышно освещены. А на самой круче высокого, изрытого водомоинами взгорья стоял, весь залитый яркими лучами зари, Липовый Кут; трёхглавая на выгоне церковь, ряды белых, меж садами, хат, за церковью барская, теперь чужая, когда-то родная Миновичу, усадьба.

Долго смотрел Минович на церковь, на гору и на село. Крест на колокольне погас. Сумерки покрыли посёлок и зелёные по Трубежу холмы и яры. Он не замечал комаров и мошек, кусавших ему руки и лицо, обернулся, хотел идти и вдруг судорожно, громко захохотал.

– Подлец я, жадный и низкий подлец! – болезненно, до слёз задыхался он. – Ропщу и сетую, – на что же? – что не отдают мне того, чего у меня и не было! деревушки, клочка земли! А он, далёкий, виденный мною затворник? Он – царственный узник? Его доля какова? И мне ли, мне ли сравниться с ним? У него был венец, царство – да какое! – и его свергли, заточили, держат под замком, взаперти... Ужас, люди, ужас!

Двое суток Мирович пропадал без вести. Наймит Данилы хотел уже о нём подавать явку комиссару. На третьи сутки вечером гость возвратился немывтый, всклокоченный, с разорванной обувью, в грязи. Усталая, еле двигавшая ногами собака плелась за ним. Он жадно закусил хлебом с крынкой молока, бросил корку собаке, осведомился, возвратился ли Данило, мрачно посидел под навесом у порога и бросился на сено в шалаш. «Загулял с горя, пить стал по шинкам», – подумал о нём работник Данилы.

Мирович опять лежал в горенке и, глядя в угол потолка, прислушивался, не жужжит ли муха, не шмыгнёт ли в соломе мышь? И снова, чуть закрывал он глаза, перед ним было тёмное взморье, барка с мертвенно опущенными парусами, испуганные лица путников и часовой на белопесчаном мыску. Грохот барабанов, музыка раздавались в ушах, колокольный звон и крики ура. «Не делать, философствовать ваш удел... Пастухи, рыбаки властелинами делались, мир освобождали... в Италию зовут, а я от бедной, хворой девочки не отхожу... кирпичный чай... из петли не вынут, из омота...»

Ночью Мировичу приснился сон: народное ликование, стрельба из пушек и во всех концах колокольный набат. Многолюдная, радостная толпа – мещане, солдаты, чернь и сановники – несут на руках отбитого из тюрьмы узника. Принц Иоанн, бледный, с кроткою сияющею улыбкой, сидит на носилках. Голова его в короне; в руках разбитые цепи и лист бумаги. Знамёна веют. За криками не слышно, что он

говорит. А он машет цепями и бумагой, кланяется и счастливыми, сияющими глазами ищет кого-то в толпе.

– Вот он, вот твой освободитель! – кричат, указывая ему Мировича. – Вперёд его, вперёд... хартию ему, хартию...

В страхе очнулся и вскинулся на сене Мирович. Лихорадка била его. зуб не попадал на зуб. В ушах отдавались громкие крики: «Вперёд его, вперёд!». От глаз не отходил взволнованный, бледный образ отбитого из тюрьмы узника.

– Ты мечтаешь о славе Дашковой, – в ознобе непреодолимого сладкого ужаса проговорил Мирович, – тебе не удалось... А что коли мне удастся стать Орловым?.. Ты меня тогда обидела, обижала не раз, и я клялся, что ты мне выкупишь те слова... Время настало...

То, что подумал и впервые выговорил себе Мирович, было до того неожиданно, сказочно, страшно, что он, поднявшись и нащупав в потёмках дверь, босиком, в одном белье, вышел из шалаша. Ночь стояла тёмная, без месяца. Небо слабо мерцало звёздами. Вокруг, в лесу и за рекой, была полная тишина. Мирович в забытьи, в полусне глядел с порога, прислушивался. Холод и сырость охватили его, заставили опомниться. Он взялся за косяк двери, думал уже возвратиться и вдруг окаменел... Где-то, в лесной чаще, у Трубежа, далеко-далеко послышался возглас или стон.

– Ой! – раздался в тишине как бы крик ночной птицы или человека. – Ой! Ой! – повторилось вблизи и вдали, точно охнула, уныло простонала пробуждённая окрестность...

«Собака стонет? Нет, то *его* голос... то он меня зовёт!.. – в суеверном страхе сказал себе Мирович. – Он, он, принц Иоанн! И как я забыл, как мог забыть, когда дал слово, тайно от всех ему поклялся? Я дал тогда обет, если он по-прежнему будет несчастен и нуждается во мне, явиться к нему, положить за него голову. Голову... ну, я легко ещё её не отдам; а что до обета, он исполнится свято...

Горе, горе вам, мытари, фарисеи! воздвигну мёртвую тень, призрак... сотворю суд пришельцу!» – задыхаясь, повторял Мирович мстительные, торжествующие слова.

Наутро возвратился Майстриук. Он привёз из Переяслава цидулку от дяди Мировича. Дядя опять требовал денег, без того, писал, в суд хоть и не кажись. Пожил Мирович ещё с неделю у Данилы, раздобыл у него и у соседей, в счёт будущего наследства, нужную сумму и поехал с ним в город. Дядю Григория нашли пьяного в корчме. Он растратил все деньги и пил теперь на последнюю заложенную одежонку.

– Ты не смотри, сударь, – говорил отставной повытчик, – не смотри, что я пьян... Я, сударь, всё крапивное зелье знаю, бо и сам я с того зелья вырос и им орудую...

Бросился Мирович лично опять в уездный, а потом и в губернский архивы, платил, кланялся «судовым». Всё было тщетно. Он решил ехать в Петербург.

– Простите же, Данило Тарасович, – сказал он на расставанье Майстриуку, – попросите и людей простить, что завезу

до времени ваши деньги. Коли не смилуется сама царица, к ней теперь дойду, то не погневайтесь, обождите, – из жалованья, хоть помалу, а выплачу этот долг.

– Боже тебе помоги, – ответил, кланяясь, Данило, – с отцом твоим и я, и те люди были в дружбе – хороший был человек, – и ты нас не поминай лихом.

По пути Мирович заехал к школьному товарищу, Якову Евстафьевичу, в село Пришиб, Изюмского уезда, но был там недолго. Приятель-украинец и его молодая жена были изумлены рассеянностью и мрачной молчаливостью гостя, который более бродил в поле и по сугробам в лесу, на Донце, чем сидел в тёплом новом доме знакомцев, слушая их мирные речи о мирных домашних делах. Яков Евстафьевич собирался в будущую осень, по какой-то тяжбе, в северную столицу. Они условились повидаться.

В исходе декабря Мирович, с письменной челобитной за себя, за сестёр и за дядю Григория, приехал в Петербург. В челобитной просители говорили, что «двадцать лет назад их бабка, полковница Пелагея Захаровна Мировичка, урождённая Голубина, с детьми и внуками, в последний раз просила покойную государыню Елисавету Петровну о возврате ей отписанных у неё, за проступок её деверя, жалованных её отцу и ею лично купленных в Переяславском полку деревень и что сенат, рассмотрев то ходатайство, определил – купленные угодья отдать ей обратно, а о пожалованных особо доложить государыне – но токмо это дело их и поныне ещё не

решено».

Челобитную Мирович подал Екатерине через Теплова, десятого января 1764 года. Пятого февраля на неё последовала резолюция: «отослать на рассмотрение сенату». Сенат вновь решил: «отдачи не чинить»; а тринадцатого апреля Екатерина на докладе о том подписала конфирмацию³²⁰: «По прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит сенату им отказать».

Узнав об исходе дела, Мирович в Царском Селе лично подал новую челобитную императрице, где опять подробно прописал все обстоятельства и, сославшись на то, что сам он кое-как ещё может питаться, так как получает за службу жалованье, – «исключая же себя» – просил токмо за трёх своих неимущих сестёр, для необходимостей коих утруждал о даче им на прокормление «хотя бы пенциона из доказанного всюду великодушия её величества».

Под первую, январскую, челобитной Мирович подписался подпоручиком прежнего, Нарвского пехотного полка; под апрельскую – тем же чином, но уж Смоленского полка, стоявшего в то время в Шлиссельбурге.

Он перешёл в этот полк в первых числах марта.

³²⁰ Конфирмация – приговор, решение.

XXX

В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

С возвратом из Малороссии Мирович почти уже не приходил в себя – был постоянно в возбуждённом, лихорадочном состоянии. Неуспех хлопот по делу сильно его раздражал.

Его движения стали угловаты, резки, голос отрывист и груб; в глазах не угасал странный, блуждающий огонь. Он то сидел по часам, нахмурившись, вяло отвечал на обращаемые к нему вопросы, то вдруг неестественно оживлялся, говорил порывисто, хотя грубо, и вдруг прерывая, точно отрезывая, начатый разговор, схватывал шляпу и уходил, как бы торопясь куда-то, трепеща к кому-то опоздать. Перешёл он в Смоленский полк благодаря поддержке бывшего своего начальника, Петра Иваныча Панина. Панин был теперь сенатором и, опять допустив к себе и выслушав Мировича, весьма сочувственно отнёсся к его делу. Подав прошение, Мирович несколько раз ездил в Гатчину, где Панин, в ожидании отделки пожалованного ему петербургского дома, жил всё лето с племянницей своей, Дашковой. Однажды, при входе к нему, Мирович из приёмной услышал конец их разговора.

– Безграмотные ныне жалуются в умники, – говорила Дашкова, – ваш аглицкий клоб им потакает без censure...³²¹

³²¹ Без критики... (фр.).

– Ну что ж, матушка, делать, – ответил Пётр Иванович, – зло преужасно, ух, велико! скареды и срамцы сидят по норам да знай пишут страшные репорты, ну, и держатся.

– Вот бы на них Иванушку выпустить... – сказала Дашкова.

– Куда! Опять инструкция дана коменданту, – возразил Панин, – буде дерзнёт сильная рука – арестанта велено живым не выпускать. Монашеский чин ему предложили принять, не хочет, страшится Святого Духа, всё та же история – он-де бесплотный.

Голоса смолкли. Дашкова ушла.

На новую жалобу Мировича, что по его челобитной в сенате не хотят толком собирать справок, а так, по прошлым примерам, ведут дело наобум, Панин не утерпел и разразился осуждениями.

– Свинство, позор! – сказал он. – Одним гребнем все чёсаны... Сенаторы ж наши, нешто ты не знаешь, – лишь отголосок капризов генерал-прокурора. Одна надежда на государыню: её проси...

Получив отказ и на второе прошение, Мирович несколько дней был как потерянный – вёл с первых чисел апреля жизнь бродячую, рассеянную, стал опять посещать трактиры, герберги, навернулся к Амбахарше и к отставному майору Павлинову, снявшему вольный дом умершей в минувшее лето Дрезденши.

Завитой и распомаженный, с сверкавшими, точно хмель-

ными, глазами, он показался несколько раз и в модной толпе по Невскому. Но где он имел приют, где спал, где харчился, – никто не знал. Деньги, привезённые с родины, приходили к концу. Надо было снова приниматься за службу, к новому начальству явиться. В другое время это бы его тяготило. Теперь на душе его стало вдруг почему-то беззаботно, легко; пустота, тишина низошли туда, точно весёлый, лёгкий ветер перепархивал там по гладкому, цветущему полю. В таком виде его встретил в начале мая у подъезда оперного театра Ушаков. Он не мог надивиться настроению Василия Яковлевича.

– Проиграл дело, а веселишься, не унываешь, – сказал ему Ушаков, сам прогоревший опять, в это время, в кутеже с какими-то матушкиными сынками.

– Жить – умереть, не жить – умереть! – ответил, громко засмеявшись, Мирович любимой поговоркой самого Ушакова.

Вечером девятого мая, в Николин день, Мирович подъехал к квартире Ушакова. Под гнётом теперешних своих, особенно тяжких, обстоятельств, Аполлон Ильич решил наконец выйти в отставку и уехать куда-то за Москву, где ему купчиха-кума обещала сосватать богатую невесту. Полк, в котором он служил, стоял в Петербурге, и сам он, кое-как перебиваясь, проживал в той же квартире, под Смольным, где два года назад его искал Мирович, в памятный вечер пе-

ред переворотом.

– Ты в отставку? – спросил его Мирович, неприятным, пытливым взором окидывая комнату и мрачно садясь против него, у стола.

– В отставку; что поделаешь, нечем жить, – ответил Ушаков. – Хочешь пивца? Выпьем...

– Вздор, не выходи из службы, – сказал решительно, упёршись в него смелым, вызывающим взором, Мирович, – наши дела вот как вскорости поднимутся, расцветут!

– Отчего же им подняться? – спросил, глядя на гостя, Ушаков. – Какие такие чудесники тебе нагадали?

– Баста! Баста! – с приливом злобы бешено крикнул Мирович, ударив кулаком по столу. – Слышишь ли? конец! не шути! Мы не пешки, вот что, не прах, не муравьи... Отчего гвардейским молодчикам, шаркунам, полотёрам, – продолжал он, страшно торопясь и сбиваясь, – отчего доступ всюду, во дворец и в эрмитажный, в присутствии государыни, оперный театр? а нас, армейцев, туда не пускают? Отчего по службе, в полках, офицеров – из природных дворян зауряд равняют с разночинцами? А? а? Отчего мне на челобитную опять отвечено: довольствоваться, мол, прежнею резолюцией?

– Да что ты, непутный, хочешь тем сказать? – несмело произнёс, взглядываясь в него, Ушаков.

– Непутный?.. баста, говорю! – вскричал, снова возвышая голос, Мирович. – Надо теперь приняться с иного конца...

– С какого?

– Молчи, скотина... и чего ты тянешь, тарантишь, проклятая таранта? Слушай и поучайся...

Ушаков молча глядел, думая: «С ума ли он спятил или пьян?» Мирович также безмолвствовал. Было только слышно, как он дышал раздражительно и тяжело. И вдруг, нагнувшись плечом к Ушакову, он придвинулся к нему вплоть и начал ему что-то шептать, с бледной, искривлённой улыбкой.

– Не слышу, – сказал со страхом Аполлон Ильич.

– Освобожу... возведу! – с неудержимой дрожью, стискивая постукивавшие зубы, говорил Мирович в лицо изумлённому Ушакову. – Я решился ещё первого апреля – первого апреля, ты знаешь, обман, но я решился... покончим сразу, одним махом, – всё... всё...

– Что кончим? – опять спросил Ушаков.

– Я перешёл в Смоленский полк...

– Ну, знаю; Панин помог, ты у него прежде служил; что же из того, что туда перешёл?

– Чтоб был тут, понимаешь, по самой близости, – продолжал в лихорадке, опять постукивая зубами, Мирович, – захотел, ну, вздумал, – и рукой подать.

– Поблизости? к чему? да, понял!.. с сенатом действительно не шутки... надо быть, коли начал тяжбу, наготове.

– Дурак!.. Именно наготове! пришёл час, минута, а корд'арме-то, выходит, и к услугам, вон оно! – подмигнув, с отталкивающей, безобразной развязностью произнёс Миро-

вич. – Мушкет заряжён – искра, и сам выпалит!..

– Какой мушкет?

– Вот что, – опять низко склоняясь к смущённому и напряжённо слушавшему Ушакову, проговорил Мирович, – решайся, брат, и соображай. Последние выходят дни. Солнце явится в темноте... А впрочем... – недоверчиво замолчав, вдруг встал со стула и, сердито глядя перед собой, начал ходить из угла в угол по комнате Мирович.

Холод охватил Ушакова. «Что он, окаянный, и впрямь не рехнулся ли? – подумал он, следя за гостем. – Откуда явился? в белой горячке или с попойки, от карт?».

– Ах ты трус, подлый трус! – вдруг крикнул, задыхаясь от негодования и презрительно останавливаясь перед ним, Мирович. – Ну, разгадал я? да, да?... душа в пятки ушла? А я-то считал его стеною, кремнём! Тьфу ты, баба-сквернавка! Скотина, право, скот! – бешено закричал он, отплюнувшись запёкшимися, липкими губами. – И всё-то он тянул, гнусная размазня, тянул! Извини, сударь, обчёлся! Были храбрецы, да вижу – все вышли...

Мирович рванул со стула шляпу, шагнул к двери.

– Да что же это! Говори сам-то! – запальчиво крикнул, в свой черёд, Ушаков, не в силах будучи долее терпеть упрёков и брани. – Какие тут бабы? Я и сам, чёрт! ты видишь... Ну, нешто не видишь? Можно ли стерпеть? Говори!..

– Так согласен? – спросил с радостной, ликующей усмешкой Мирович. – Согласен? – повторил он, косясь на Ушако-

ва. – Отвечай сразу, мигом... не то убью...

– Не ты, а я жду, а он мучит, непутная голова, – сказал Ушаков, – меня зовёт мямлей, а сам всё экивоками, жилы тянет, лается... Если решил, так не ломайся, говори... Кому не желается лучшего?

«А, наконец, готов!» – подумал Мирович, обводя комнату гордым, торжествующим взглядом, точно видел перед собой толпу преклонённых, покорных рабов, ожидающих от него великого, решающего слова.

Он бросил шляпу на стол, заглянул в коридор, прошёлся по комнате, опять постоял у двери в сени, прислушался, запер эту дверь на крючок и, вдруг улёгшись с ногами на постель приятеля, закинул руки на голову и закрыл глаза.

«Что он, оглашённый, ужели заснул? Вот ещё одолжит!» – рассуждал Ушаков.

Так Мирович пролежал с пять минут, не шелохнувшись, бледный, как покойник. Только его губы слегка вздрагивали и по лицу пробегала судорога улыбки.

«И что он, пропащий, затеял? – не спуская с него глаз, мысленно допытывал себя Ушаков. – Что как убил кого-нибудь или решился ограбить?»

– Я решился, – вдруг начал, не двигаясь и не открывая глаз, Мирович, – я решился... голова с плеч! а вот что... И коли ты, слушай, выдашь или донесёшь, – всё узнаю, выслежу и порешу тебя, как собаку...

С этими словами Мирович встал, подошёл вплоть к Уша-

кову и схватил его за грудь.

– Что ты, сумасшедший, что ты? – спросил тот, отталкивая его.

– Не мешай, молчи и помни слово, – сказал, выпуская его, Мирович, – на этот раз согласен... изволь, живи...

Руки и губы Мировича тряслись.

– Изменником, доносчиком я сроду не бывал! – обидчиво произнёс, оправляясь, Ушаков. – И ты мне, слышишь, говорить этого не смей...

– Ну да ладно уж! – грубо ответил Мирович. – Где уж тут спорить, считаться?.. Так не выдашь?

– Можешь быть уверен... честью клянусь...

Луч восторженной, беспредельной радости опять осветил лицо Мировича при этом ответе Ушакова.

«Ведь мил, не правда ли, мил? – рассуждал он, с внутренней издёвкой вглядываясь в озадаченного приятеля. – Порох! чуть попрекнул, так и вспыхнул! А как я говорил? Что за штиль! Кратко и ясно!.. Вперёд нас, в застрельщики, в парламентёры!.. Ему, скоробрехе, болтуну, это не к масти...»

– Еду в Шлиссельбург, – начал опять тихо, как сквозь сон, и почти не владея собою, Мирович. – Добьюсь, не в очередь, в крепость на караул. А ты, Аполлон, приказываю тебе, – я старый воробей, вот как всё придумал! – достань штабс-офицерский мундир, припаси катер или шлюпку, оденься и, с флагом, под именем ордонанса её величества – ну, Сухме-

тьева, что ли, или подполковника Арсеньева – явишься ко мне в крепость, будто к незнакомому, на гауптвахту, и предъявишь заранее нами составленные бумаги...

Проговорив это, Минович опять присел на постели, и ему показалось, что то, что он сказал и на что, очевидно, окончательно решился, было уже давно и случилось где-то с другим, – и он теперь соображал, когда же это и где случилось? «Какой приятный, крепкий рот у этого дуралея Ушакова! – вдруг почему-то подумал он. – И глаза у него такие добрые, ожидающие от меня чего-то, с такою светлою, детскою верой; и бородавочка слева у него, над верхней губой... И как я её прежде не заметил? И... что ещё странно, он, бедняк, так продулся с купцами, голодает и стал донельзя смешон, будто выкунел, ну, точно весною заяц-русак...»

– Какие же бумаги? – спросил Ушаков, стараясь всё добросовестно запомнить.

– Бумаги? Ну их, одна помеха! – опять раздражительно сказал Минович. – А впрочем, это по части канцелярской, и ты мастер... Составим манифест сената к принцу Иоанну и другой, именной, якобы от государыни, указ – взять коменданта под арест, заковать его в кандалы и, вместе с принцем, доставить без замедления в сенат.

– Так, так! это ловко придумано! – сказал Ушаков, начиная понимать, в чём дело. – Ну, а дальше?

– Дальше? – как бы очнулся и пересел с кровати на стул Минович. – Не хочу, чтоб это только слова... Довольно

слов!.. Нас зовут вон болтунами, философами, не хватит, мол, духа... Надо поэтому браться за дело... Сомкнёмся, вместе станем сильнее!

Он снова прошёлся по комнате, взглянул в раскрытое окно. За окном стояла тощая; запылённая от уличной езды, чуть распутившаяся рябина. В её ветках, будто видя внизу нечто страшное, роковое, трепыхался и беспокойно взлетывал жалкий, с тревожно распростёртыми крыльями, воробей. Солнце било в окно косыми, ярко назойливыми лучами. В воздухе стояла нестерпимая жара и духота. «Кошка к его гнезду, – подумал Минович о воробье, – да пусть гибнут глупые, никому не нужные птицы! Не ахти кому нужны! – а тут вон другой глупый воробей...» – прибавил он. С этими мыслями Минович понурился и, как больной, как чахоточный, опёршись в колени, в силу переводил дыхание.

– Приказываю дальше, – проговорил он негромко, – чтоб была крепостная шлюпка и барабанщик для битья тревоги; не забудь, это первое, что нужно, первое... Больше, пожалуй, ничего... Всё от собственного мужества и смелости! Возьмём и доставим принца прямо в артиллерийский лагерь, на Выборгскую сторону, а не то к артиллерийскому пикету, у моста на Литейной... Офицеры того корпуса ведь лучшие... Правда, лучшие? Других сообщников не надо. Совершим всё вдвоём...

– Разумеется, не боги же лепят горшки, – самодовольно сказал Ушаков и смолк, видя, как сдвинулись брови Миро-

вича и как снова повёл глазами при этой неуместной его развязности.

– Барабанщик ударит тревогу, – строго продолжал, точно отдавая приказ целой армии, Мирович, – солдатство и народ соберётся... Вот ваш природный российский государь, Иоанн Третий Антонович! – скажу я. – Тот, коему все, в его детстве, присягали. Не так ли? Я прочту составленный нами к народу манифест и останусь охранять особу принца. Ты же, с офицерством, отправишься отбирать присягу от сената, синода, коллегий и от всей резиденции.

– А государыня? – спросил Ушаков.

Мирович презрительно отвернулся. Звериная, хитрая радость блеснула в его глазах. «Не понял, тупица», – подумал он с злобным торжеством.

– В Лифляндию едет через месяц, – проговорил он, опять садясь и не удостоив взглядом Ушакова, – сказывают гвардионцы – за неё сватается бывший тут при посольстве Понятовский, так к Варшаве шлют войско, чтоб поляки сперва выбрали его королём, и ему будет аудиенция в Риге. С Орловым ведь не удалось... слышал?

– Как не слышать? – заторопился Ушаков. – И есть подтверждение – князь Волконский уже выступил в Смоленск для поддержки и выборов, нашему полку велено готовиться туда ж.

– Успеют ещё, – небрежно зевнув, ответил Мирович.

– Ну да, если будет нужно, дай знать, – прибавил Уша-

ков. – Объявлюсь больным и останусь, не пойду с полком, чтоб быть наготове.

– Арестантов пошлём в Соловки либо спрячем туда ж, на принцево место, куда думали и Петра Третьего, в Шлиссельбург, – решительно заключил и развязно встал со стула Мирович. – Никого не нужно, сами всё! нет лучше, как самому... Ни у кого не канючу помощи – много чести, сам всё, сам...

«Вот он, каков! Я хохла и не подозревал», – подумал, почтительно на него глядя, Ушаков.

– Так помни же, – накрывшись шляпой, заключил Мирович, – обдумай всё и готовься; недолго ждать; скоро зайду за ответом.

Утро следующего дня Мирович провёл у Бавыкиной. Та его встретила укоризнами, выговорами:

– Баклуши бьёшь, в полк не едешь, где шляешься? вот начальство на тебя напушу, скрутят молодчика, во фронт, на абафту. Меня забыл, бесстыжих глаз по неделям не кажешь.

Молча выслушал Мирович все нападки, сказал только:

– Эк расходилась; погодите, всё наверстаю.

От Бавыкиной он отправился к Ломоносову, узнав, что Михайло Васильич, по обычаю, занимается в саду, и пошёл к знакомой беседке. «Не открыться ли, – рассуждал он, становясь за её стеной, – вот удивился бы. Да что! станет ещё отговаривать – ненужные-де попытки, погибнешь. Как же,

так вот я и отдамся даром! И он, должно, в сердцах: не оценили по достоинству его хвалебной оды, сумароковской дали аттенцию. Уж вот, чай, не в кураже, ругмя ругается. Нет, лучше пусть увидит нас в славе, в блеске, в триумфах...»

Мировичу было слышно, как побрякивал и шелестел бумагами Ломоносов. Он перекрестился, вздохнул и бережно, на цыпочках, не заходя в беседку, вышел опять из калитки.

Ещё через день Мирович съездил на Каменный остров, на дачу Птицыных. Он зашёл со стороны чёрного двора и долго поджидал, высматривая кого-нибудь из прислуги. Вышел с вёдрами кухонный мужик. Мирович, заторопившись, из старенького, потёртого кошелька достал полтинник, подозвал мужика и попросил его выслать горничную. От неё Мирович узнал, что Поликсена по-прежнему находится у князя Чурмантеева на Калмыцкой линии, изредка шлёт письма и собирается куда-то за границу.

– А девочка князя... хвора... жива? – спросил Василий Яковлевич.

– Померли-с и оне, на Фоминой.

Мирович, повеся голову, побрёл к извозчику. Вечером того же дня Ломоносову подали занесённый каким-то мальчиком пакет. То была цидулка от Мировича.

«Давно прибыл с родины, – гласило письмо, – да некогда было, простите, беспокоить заездом, – и к чему? Всё конечно, во всём отказ. И невеста насмеялась; не лучше ж того и господя сенат. Совет дан: фортуны взять за чуб... Оно бы и

можно: да ну, как сорвёшься? Еду в новый полк. А услышите о неудаче, молитесь о рабе Божьем Василии».

– Рехнулся малый, жаль, – сказал себе, задумавшись над этими строками, Ломоносов, – ясно дело, в иске вновь ему отказано. В новый полк уехал, а куда, и словом не упомянул.

Часу во втором дня, тринадцатого мая, Минович спокойно и, по-видимому, даже с особым удовольствием зашёл опять под Смольный к Ушакову.

– Ну, брат, собирайся, – сказал он ему.

– Куда?

– А вот увидишь.

Они вышли на улицу, извозчика не взяли. Странная, давно не бывалая, тихая улыбка блуждала по лицу Миновича. Он не очень торопливо, молча и без оглядки шёл в направлении к Невской перспективе. На Аничковом мосту он чуть было не столкнул за ветхую деревянную перекладину какого-то зазевавшегося пешехода. Повернули прохладною, теневую стороной к Гостиному ряду. На Невской перспективе, от зноя, пыли и духоты, было мало прохожих. Кое-где только погромыхивали с опущенными занавесками кареты. Приятели вошли в ограду Казанской церкви, посидели здесь под развесистою липой, потолковали и вошли на паперть. Из церковной сторожки выглянул привратник. Минович подошёл к нему и шепнул ему несколько слов. Тот сходил в смежный двор. Явились нарядный дьячок и полный, добродушный священник. Дверь собора открыли.

– Пожалуйте, – сказал, пропуская офицеров вперёд себя, степенный, с отрадно выпавшимся лицом священник. Окружённый зеленью, сумрачный и тихий храм пахнул на вошедших приятной прохладой и ладаном. Зажгли кое-где свечи. Дьячок вынес и поставил у левого бокового придела аналой. Священник надел ризу, выпростал на плечи прядь русых, густо вившихся волос и, склонясь в сторону и тихо крикнув, спросил:

– По ком панихида?

– По умершим, убиенным рабам, Василию и Аполлону, – твёрдо и с тою же тихой, чуть блуждавшей улыбкой ответил Мирович.

Ушаков удивлённо раскрыл на него глаза.

– Кто же, родичи или товарищи они будут вам? В сражении? – спросил, крестя и принимая кадило, священник.

– В сражении... однополчане-с, – ответил Мирович.

Панихида началась.

– Что ты, безумный, что? – не утерпев, прошептал Ушаков.

Мирович не глядел на него и ничего не отвечал. Став на колени, крестясь и кланяясь в каменные плиты, он весь погрузился в безмолвную, напряжённую молитву. Ушаков хотел следовать его примеру, но, как ни крепился, мысли бежали от него. На нём не было лица. Тут только, угадав и предчувствуя что-то безобразное, страшное, он опомнился, но увидел, что поздно. Озираясь испуганным, потерянным

взором, он тупо смотрел перед собой, вздыхал и, отирая лицо, не мог надивиться, откуда всё это налетело и как он мог решиться.

«Панихида! да ведь это ужас... смерть! – мыслил Ушаков. – И кто накликал, кто пророчит эту страшную развязку?».

Мирович исполнял печальный обряд спокойно и с таким торжеством, будто его венчали. При пении «со святыми упокой» Ушаков невольно всхлипнул, хотел удержаться и, упав головой на плиты, глухо разрыдался. Несколько секунд, вздрагивая плечами, он не поднимался от пола.

«Да что с ним? вот чудак! и из-за чего?» – подумал Мирович, сухими, без блеска, глазами с недоумением глядя то на Ушакова, то на священника и дьячка, на лицах которых, от такой горести молящихся, невольно также выражалось смущение.

Панихида кончилась. Мирович расплатился и вышел на паперть.

– Смотри же, Аполлон, – сказал он, пройдя с Ушаковым в тенистый угол церковной ограды, – теперь нас уже нет в живых... понимаешь, мы обречены, отпеты, с каноном, за упокой...

– Да что ж всё это значит? И кто тебя уполномочил? – спросил Ушаков.

– На случай, коли придётся умереть без покаяния. Ты клялся перед алтарём... Клянёшься ли ещё раз Божьей ма-

терью Казанской?

– Клянусь.

– И Николаем-угодником?

Ушаков повторил клятву.

– Нет, постой, – не удовольствовался Минович.

Он снял с шеи добытые где-то кресты с мощами и один надел на Ушакова, другой опять на себя; отдал ему с руки перстень с адамовой головой, а себе у него взял кольцо с аметистом.

– Теперь мы братья, побратались! – сказал он торжественно, замедлясь у выхода из ограды. – Если нет у них Бога и нет истинного царя, Третьего Петра, то где же Бог и где людская совесть. Мертвеца им... замогильную тень... Смотри же, ожидай зова; придёт час, извещу... разгромим...

Двадцать пятого мая Ушаков прибежал впопыхах к Миновичу, уже уложившему чемодан для отъезда на службу в Шлиссельбург, и объявил, что его неожиданно в то утро призвали в коллегиию и, за недостатком фельдъегерей, объявили приказ: ехать завтра в Смоленск, с казной и бумагами, к генерал-аншефу, князю Михаилу Никитичу Волконскому. Эта весть, как громом, поразила Миновича. Он подозрительно, строго взглянул на приятеля и вдруг вспыхнул.

– А! Уж придумал, напроворил план? Подстроил с начальством? – вскрикнул он, не помня себя от гнева. – Вон, изменник! вон, ты всё подло... чтоб духу твоего не пахло!

Ушаков показал ему письменный, по форме, ордер. Ми-

рович опомнился, пересилил себя, стал соображать.

– Ну, чёрт, ничего! – сказал он, отвернувшись с отвращением. – Не всё свет, что в окне... Можно и без тебя... Смотри, однако, не опоздай... Ведь ты в заговоре со мной, не отвертишься... помогай, не то пулю в лоб, здесь не шутки...

– Да убей Бог, клянусь – я духом съезжу и... что мне там делать?... ну, разве...

– Еду послезавтра, – не слушая его, внушительно перебил Мирович. – А наше randevu – помни – день в день и час в час – двадцать четвёртого июня, вечером, на закате солнца... да не спутай, таранта!.. двадцать четвёртого, как раз в Иванов день... понял?... тезоименитство нами спасаемого его высочества или, вернее, будущего его величества...

Ушаков слушал внимательно, точно приказ высшего начальства.

– А государыня в Ригу едет двадцатого, – продолжал небрежно Мирович, – и это тоже не забудь... узнал от камер-лакея Касаткина... Помнишь? Он письмо о Поликсене доставил от Рубановского... знает все тайны двора, как и что, – я по пальцам расчёл и сообразил... Да куда же ты, стой! Эх, разнесло, не посидится. Слушай, Аполлон, – прибавил Мирович, отведя Ушакова в сторону, – если ты мне да осмелишься, или нет, не то... стой!.. Если в этой командировке, ну, дьявол! пойми, – если кто вздумает тебе стать поперёк, так или иначе помешать, – то помни: прожду день, прожду два, ну разанафемы, даже неделю... не долее, впро-

чем, первого июля, а там, – заключил Мирович, склоняясь к самому носу Ушакова, – помни, я сам, без тебя, я один... и тогда уж, не прогневайся... весь успех, вся слава и почёт за мной...

Двадцать девятого мая Ушаков, по пути к Смоленску, подъехал к реке Шелони, в селе Опоках порховского помещика Косецкого. Его провожал Великолуцкого полка фурлейт³²² Новичков. Паром на противоположном берегу замедлился. Время стояло жаркое, и был полдень.

– А что, ваше благородие, не выкупаться ли? – сказал с повозки, весь мокрый от испарины, фурлейт.

– И то правда, – согласился Ушаков, – ну, посиди же ты с сумкой, я прежде выполощусь, а там ты.

Он разделся под тенистой вербой, посидел в холодке и пошёл, по мягкой зелёной травке, к песчаному берегу.

«Вот благодать, – рассуждал он в приятном настроении, ставя одну, потом другую ногу в светлую, студёную струю и любуясь своим здоровым, белым телом, – я молод, статен, силы так и пышут во мне. И вдруг этот чудак Мирович панихиду по убиенным... Не везде успех; но это ещё не значит, что пора умирать... О, далеко не пора. В карты проигрался, должен по шею, особенно у Павлинова; да выплыву, вынырну, – сказал он себе, окунувшись и широким, приятным взмахом проворных рук направляясь к быстрине, – и как это было дико, мрачно – ладаном курили, пели «со свя-

³²² Фурлейт – возчик (нем.).

тыми упокой...» А что, как утону?.. ведь судорога точно как бы дёрнула за ногу, как входил; говорят, ой, как это скверно... Ну, да вздор! какая там судорога!».

– Барин, а барин, – крикнул вдруг кто-то с берега от мельницы. – Держи подале... там омут.

«Ну, да ладно, – думал, весело рассекая воду, Ушаков, – не на таких речонках плавали. А небо как сверкает! ишь, мошки, ласточки реют. На спину лечь, отдохнуть. Фурлейту завидно... Как в Смоленск, сейчас уху, пирог с подливкой. У Самцова на постоялом, говорят, разахти красотка хозяйка... То есть, кабы да богатую засватать – вот бы показал, как жить! а не панихиды...»

И в то время, как, раскинув руки, Ушаков лёг навзничь и гладь реки его несла к пенившейся и плескавшейся под зелёными раkitами быстрине, в его мыслях встала почему-то далёкая пошехонская деревушка, он мальчиком в синей рубашонке бегаёт по саду; белокурая румяная женщина, в высоко взбитых локонах, ходит по дорожке с чулком в Руке; она вяжет и ласково ему улыбается, а на её щеке милая родинка, – это его мать; а малины, малины, спелых вишен!.. и все полные; бабочки, пчёлы над ними вьются... И вдруг опять судорога.

– Барин, а барин! – доносился крик. «Вздор, не бывать тому!» – упорно думает Ушаков. Он окунулся и, фыркая, весело вынырнул. Пенится и клокочет вокруг тёмная безодня. А в ногу впилось что-то мёртвой хваткой, дёргает и тянет,

как гиря. Ушаков хлебнул воды раз и два. Холодно, жутко. Ему опять вспомнился Минович, данное слово, панихида. Шум и звон в ушах. Везде зелено. Руки машут без сил. Искры, пена, пузыри. Что-то с страшной быстротой мчится мимо, кругом... Всё мимо: сад, белокурая в локонах женщина, спелые вишни, испуганный воробей, мотыльки. Он ещё раз встрепенулся, повёл руками и с мыслью: «Ужели смерть? О! никогда...» – ухватился за что-то зелёно-золотистое, мягкое, махровое. Грудь искала воздуха; а навстречу тянулись голубые, сизые тени...

Ушаков утонул.

Тело его к вечеру нашли меж сваями мельницы. Известие о том в Смоленск и позднее в коллегию доставил фурлейт Новичков.

XXXI

В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ НА КАРАУЛЕ

Назначенный срок прошёл. Ушаков не являлся. Прошла, с концом июня, и вся неделя первого очередного дежурства Миновича в крепости.

«Что ж это значит? – рассуждал он. – Страха ради иудейска, не кажет глаз и вести о себе не подаёт!». Минович то шагал взад и вперёд по гауптвахте, то поднимался на крепостную стену, глядел с куртины за реку и, теряя терпение, не знал, что делать, с кем разделить горечь сомнений. «Тьфу

ты, чёрт! не догадался! – вдруг вспомнил он. – Дело ясно; Аполлон чем-нибудь пустячным, ну, чуточку стеснился, оробел; ведь он мелочной, слабый человек, – инкогнито прибыл в Шлиссельбург, для предварительных объяснений, и сидит на постоялом, ждёт меня с дежурства... Скорее!..»

Мирович сменился с караула, отвёл команду в полк и бросился искать Ушакова по постоялым. Поиски его были тщетны. «Ну, погоди же ты, распроклятый трусишка, обойдёмся и без тебя. Как только доведу дело до конца, первого тебя арестую, публично осрамлю».

Первого июля, бродя без цели по улицам, встретил он знакомого по Кенигсбергу, подпоручика из грузин Чефаридзева.

– Какими судьбами? – удивился Мирович.

– Овсы закупаем, да и ваш Шлиссельбург захотелось поглядеть.

– А главное видели?

– Что?

– В крепости, вон со стены видно – первый номер, первый.

– Что ж там за дважды номер первый?

– Слышали про бывшего когда-то российского императора Иоанна Антоновича? – вдруг склонился к Чефаридзеву Мирович.

– Нет, не слышал.

– Ну, так он самый здесь и есть... двадцатый год закупо-

рен под замком.

Чефаридзев стал разглядывать Мировича. «Эк несуразное городит, – подумал он, – и глаза точно не свои, как похудел!».

– Хотите, что ли, участвовать? – вдруг побелевшими губами, в упор, прошептал и улыбнулся Мирович.

– Как участвовать? Полноте, батюшка; экое, Бог с вами, коловратство придумали! – сказал и пошёл от него в переулочек Чефаридзев.

– Храбрец улепетнул! Триолеты, буриме списывать, Жоконду с барышнями читать! – неестественно захохотал ему вслед Мирович. – Смотрите, ещё донесёте! – крикнул он ему. – Отличку, награду за усердие получите!

«Но как же быть, как быть, – ломал голову сбитый с толку Мирович. – Ехать в Петербург, узнавать об Ушакове? А как вдруг разминёмся? Я к нему, а он сюда... Флотилию шлюпок условлено, людей, в масках... «Благородный, нам любезно-верный Мирович, чем полагаешь отблагодарить своего помощника?» – «На три дня на гауптвахту, ваше величество, всерабственно прошу за промедление, а потом его хоть и в генерал-поручики...». Нет, однако, из сил выбьешься; ведь это невозможно. Как опять попасть в крепость? отказаться от предприятия?».

А тут вдруг и помогла судьба. Офицер Смоленского полка, сменивший Мировича, заболел на гауптвахте. Дали знать командиру полка, Корсакову. Мирович услышал про это в

канцелярии, явился, будто невзначай, к полковнику и предложил свои услуги за товарища. Второго июля он снова, не в очередь, стал на недельное дежурство в крепость, срисовал в свой календарь её план и над помещением принца на плане поставил особый знак.

День третьего числа был особенно жарким. Воздух не освежался ветром. Духота в низкой, полной мух и пропахнувшей солдатами казарме была невыносимая. Мирович почти не сходил с крепостной стены. Усевшись у выступа картины, он неподвижно глядел на город и на уходящие вдаль прибрежья Невы. Мысли сменялись мыслями.

Он вспомнил странные сны, ряд снов, которые видел в последнее время и которые не выходили у него из головы. Он даже помнил числа, в которые виделись ему странные, как бы пророческие, грёзы, и все их тщательно записал на листах своего календаря.

Три с половиною месяца назад, а именно семнадцатого марта, ему снилось, будто он почему-то в Митаве, в гостинном ряду, суетится для кого-то покупать кожи и хомуты. Купцы ему кланяются, он же не в мундире, а в ситцевом стареньком, куцем своём халате, и не на чем ему возвратиться домой. На улице лежит какой-то обрубок. Делать нечего, он садится на обрубок, прикрыв купленную кожей ноги, торчащие из-под куцега халата. И вдруг обрубок понёсся с ним по улице, как коляска; встречные кланяются ему. Он доехал к крепости; ему навстречу в ворота выходит старик и с ним

некий бледный юноша. И не забыть ему заплаканных, молящих глаз юноши. «Вот твоя судьба, вот твоя удача!» – говорит старик. С этими словами Мирович проснулся.

В конце мая он видел во сне гибель какой-то женщины – она, в его глазах, утонула в реке, за какую-то церковь. Когда он потом соображал этот сон, ему казалось, что погибшая была Поликсена. И он так плакал, что из его глаз лились не слёзы, а кровь, и этой крови ничем нельзя было остановить.

Сон тринадцатого июня особенно его поразил и возмутил до глубины души. Ему приснился бывший у него недавно денщик, солдатик Лаврон. Денщик на него донёс: «Их благородие затеяли вредное государыне дело, освобождение такого-то важного преступника».

Мирович видел во сне, как его судили, как обрекли на казнь и как совершали самую казнь. В ужасе он очнулся, взглянул – началось утро; он лежал за перегородкой, в караульной крепостной гауптвахте, а Лаврон копался над чем-то в углу.

И ещё один сон он видел на днях. Ему снилось, будто он шёл через какой-то плавучий, на барках, мост. Синяя, глубокая, многоводная река с шумом катилась между барок. Он шёл по мосту, держась за туго натянутый канат. И вдруг канат с треском лопнул. Он повис на его обрывке, над холодной, зияющей бездной. Пальцы, вцепясь в склизкий канат, окоченели, фуражка, слетев с головы, кружилась в пенистых, уносивших её волнах. Но он не утонул – перед ним

какие-то пышные, ярко освещённые палаты, полные праздничного люда. Он за столом, и рядом с ним в богатом парчовом наряде, в жемчугах и соболях некая красавица. И все говорят: «Вот он счастлив, достиг своего, а Ушаков ни при чём, опоздал...»

«Не виноват Ушаков, – думал Мирович, – везде сила, сила случая, нет правых и нет виноватых, нет и ничего достойного на свете. Что слава? – каприз природы. Что добрые дела? – расчёт либо жалкая попытка уладить несовершенство вещей».

Мировичу казалось, что дело, с такой ясностью намеченное у него впереди, никогда им не было обсуждаемо и что самая мысль об этом страшном и вместе сладком, увлекавшем его деле явилась у него за секунду назад. Он до мельчайших подробностей знал, как и когда он это сделает, видел место и себя во всей при том обстановке и с презрением отворачивался от себя, считая, что всё это он выдумал теперь только от жары и от скуки. Картины, целые ряды картин вставляли и исчезали перед глазами Мировича. Рассказы о Бироне, о воцарении младенца-императора, ликование столицы и семьи правительницы, чтение оды молодого Ломоносова во дворце... Четыреста четыре дня власти и двадцать три года одиночного заключения злополучного принца...

– «Ужас, ужас!» – повторял про себя Мирович, прохаживаясь вдоль стен и опять садясь у выступа. Сумерки сгущи-

лись. Окрестность стихла. Слышались только по разным за-
тишьям, вокруг крепости, шаги да оклики часовых. И опять
мысли, как галочье перед грозой, слетаются, кружат, машут
холодными, чёрными крыльями... Петербург залит солнцем.
На лугу, у вновь заложенного дворца, пасётся пара усталых,
серых волов. Он, робкий, дикий мальчик, глазеет на улицы,
на дома. За рекой шумная, резвая школа. Он – кадет, в пудре
и в косе. У Разумовского – театр. Смеётся и приседает быст-
роглазая, с ямочками и с мушками на щеках, пастушка...

*Когда ты будешь богачом,
Вельможей, а не пастухом...*

Кутежи, карты, ссылка, поход и новая встреча – здесь,
в этой самой крепости... Ночь, чтение Робинзона, шорох в
дальней комнате... «Господин офицер! О, умоляю, сюда! –
слышится ему кроткий, душу надрывающий, голос. – Уйти
отсюда, слушайте, можно; только пилу в хлебе, лодку и на
берегу лошадей...». «Эй, оранжевый воротник! – слышится
другой голос. – В июне свадьба, и я буду у вас посажённым
отцом...»

Всю ночь просидел Мирович на стене куртины. Перед рас-
светом он сошёл в казарму, уткнулся в приплюснутую, об-
щую офицерскую подушку и забылся тяжёлым свинцовым
сном. Ему снилась мгlistая, такая же тихая ночь – очертан-
ия города, морских батарей, блеск фитиля и, в белом мун-

дире, на песчаном мыске, робко замедлившийся невысокий человек. «Мёртвого из гроба не вернёшь, – шепчет с усмешкой бывлой фаворит, – а ты, молодой человек, подбодришь-ка, да и поступай, как все...»

Утром, четвёртого июля, Мировича едва добудились. Он встал, долго собирался с мыслями, помолился, вынул из узелка зелёную тетрадку – то был его рукописный календарь и вместе, на свободных страницах, в стихах и в прозе, его дневник, – вписал в него несколько строк, в том числе клятву-обет Николаю-чудотворцу – отныне не играть в карты, не пить вина и не курить табаку, – и оделся. Выйдя во двор, он проверил караул, с должной аттенцией отдал честь коменданту, обходившему обычным утренним дозором все места, где стояли часовые, и весело, даже насвистывая что-то, с трубкой сел за стакан со сбитнем. До обеда, пока было жарко, он гулял между гауптвахтой и церковным садиком, развернул и в тени на скамье прочёл несколько статей из забытой кем-то в казарме книжки «Трудолюбивой пчелы» на 1759 год. Он даже нежно, чувствительно задумался над подвернувшейся идиллией:

*Без Фелисы очи сирьы,
Сирьы все сии места;
Отлетайте вы, зефиры,
Без неё страна пуста...*

«Фелиса-то Фелиса, да черти в душе завелися», – прибрал он при этом в мыслях даже рифму, вспоминая, что сам недавно написал стихотворение:

*О, время, время преходящее,
В коем дни дней множат!*

В этом страшном, мистическом стихотворении Мирович говорит о козырном, долгоперистом голубе, который с товарищем залетел среди моря на остров, где сидел в тёмной каменной клетке белый голубь. Не имея сил его освободить, они заплакали, решили ждать иной поры и разлетелись – один в Париж, другой в Прагу³²³.

Пообедал Мирович, после чтения, с давно не испытанным вкусом, посидел у порога казармы, увидел, что у Бередникова заперли для отдыха после трапезы ставни, и сам занавесил шинелью от мух окошко в караульной, притворил дверь, сказал капралу и вестовому, чтоб сторожили, скинул кафтан, прилёг на скамью и крепко, сладко заснул. Выйдя вновь на площадку, он удивился. Был уже пятый час вечера в исходе. Зной уменьшился. Небо покрылось белыми перистыми облачками. Тени вытянулись понизу; ярко блистали только верхи башен да главы церкви.

³²³ См. это стихотворение Мировича в «Примечаниях автора» в конце данного романа.

«Вот так заснул!» – подумал Мирович, с лёгкою, приятною дрожью, поднимаясь на стену куртины, обычное место своих прогулок и размышлений.

Там, заложа руки за спину, с вывернутыми короткими ногами и большою, втиснутой в костлявые плечи, головой, прохаживался главный теперешний пристав при затворнике, рябой и грубый солдафон, капитан Власьев. Мировичу вспомнилось, как распекал Власьева за не в порядке нашитую пуговку покойный государь.

«Не чета князю Чурмантееву, – подумал он, – а этакой чести, дубина, дождался, за главного при его высочестве... И Силина осилил...»

– Гуляете, Данило Власьич? – обратился Мирович к приставу.

– Да-с, а вам, подпоручик, на абафте не мешало бы по артикулу-с... а не гулять.

– Ну, и надоест, – произнёс, посмотрев в сторону, Мирович, – душно что-то; мгла будто собирается к ночи.

Власьев молча прошёл несколько шагов. Мирович догнал его на стене куртины у поворота к внутреннему двору. Казарма принца стала видна влево под их ногами: чёрная дверь, окно с решёткой, лестница и галерея, на которой он видел здесь в последний раз принца.

– А у меня славный табачок, – весело сказал вдруг, присев на корточки и набивая трубку, Мирович, – первейший сорт, настоящий суперфин-кнастер.

Охотник до курения, скряга Власьев пробурчал что-то и отвернулся, раздумывая, впрочем, даст ли ему подпоручик, после выговора, затянуться первому.

– Молчите, капитан? Но согласитесь, – продолжал Минович, снизу вверх взглядывая в недовольное, надутое, с вытаращенными глазами, лицо Власьева, – согласитесь, что ведь лучше быть в довольстве, даже с капитальцем и, знаете, жить вволю, покуривать, чем здесь-то, в этой каторге...

Он подал ему трубку.

– Эка брехать ты дока, – сопя носом и потянув из чубука, произнёс Власьев.

– Да именно так-с, вот разберите.

– Но, иначе, о чём ты?

– Первый номер, первый-с, – сказал Минович, бойко подмигнув и сам удивляясь, с какою безобразною, грубою шутовщиной он это сделал.

– Пустяки врётё, – промычал капитан, косясь на него и в то же время рассуждая: «уж не до нашей ли комиссии то клонится?». – Сами знаете, что противно регули... мы присяжные люди...

– Э, не пустяки! – возразил Минович. – Ну, если б, примером, хоть бы вот это дело?..

В груди у него что-то дрогнуло и как бы собиралось выскокить. Дух захватывало. В глазах прыгали искры. На языке, против воли, шевелились слова рокового, ужасающего признания. «Вот возьму, – думал он, – да прямо ему в лицо и

швырну весь секрет».

– Хорошо бы, – сказал, уродливо улыбаясь, Мирович, – хорошо бы, знаете... стакнуться, да и того?..

– Что того? – спросил, ещё более насторожа уши, Власьев, стараясь отойти подальше от рокового места.

– Не предадите, не погубите прежде предприятия? – вдруг упавшим, молящим голосом спросил Мирович.

– Коли предприятие таково, что к вашей гибели следует, то не токма поощрять, а даже и слушать вашего вранья не хочу, – ответил, повернув к нему спину, Власьев.

– Осво...

Мирович начал и вдруг опомнился. Он обомлел и в смертельном страхе затрепетал, сообразив к своему ужасу, какой он сделал было промах. Со стены они спустились в сад. «Расположу его к себе, заглажу глупые слова», – подумал Мирович, беспомощным, робким взглядом всматриваясь в лицо Власьева. Тот глядел волком.

– А знаете новости? – начал он. – Играет на днях её величество в карты. Панин, гетман и Бецкий с нею... и вдруг кто-то о соловом жеребчике гетмана, рысистом, – он на нём в одиночку на бегунцах... Тут надо вистовать, у её величества козыри, – а они всё о жеребчике...

И точно прорвало Мировича: он засыпал словами, будто давно не говоривший. И, сознавая, как лебезил и как подыскивал речи, он с презрением слушал свой дребезжащий голос и внутренне на себя плевал. «Подлый, гнусный подлипа-

ла! – говорил он сам себе. – Вон рассказал о контузии своей под Берлином, даже оказался неприличным хвастунишкой... О посланной и вновь возвращённой отставке Ломоносова выложил такой дубине... точно может подобная ракалия оценить, понять... Наконец сообщил о мнимом волокитстве своём за какой-то актёркой Машей, – этого уж совсем и не было, и всё это я придумал, чтоб только умаслить его, расположить... эка мерзость, позор!».

У моста во внутренний двор Власьеву младший пристав Чекин и вахтёр поднесли в котелке и в миске что-то дымившееся, прикрытое полотенцем.

«Проба ужина, – решил в уме Мирович, – на сон грядущий трапеза принцу».

– Неси, – подумав и беспокойно, как бодливый бык, оглядываясь, сказал Власьев.

Он из кармана достал Чекину длинный почернелый ключ. Котелок и миску понесли за канаву в ворота. «Угадал, – усмехнулся Мирович. – Но почему сам капитан туда не пошёл? Странно...»

У гауптвахты Власьев с ним расстался. Стемнело. Было девять часов. Мирович велел пробить зорю, поставил солдат на молитву и отпустил их на ночлег. Дождавшись смены часовых, он пошёл в казарму. У её крыльца, толкуя о полковых делах, сидели два капрала и кое-кто из смоленцев-солдат. Мирович отозвал капралов в сторону.

– А что, ребята, – сказал он вдруг сослуживцам, – я вы-

нужден находжусь объявить – ожидается ведь от сената и от её величества указ, арестовать здешнего коменданта и всех офицеров, заключённого ж номер первый освободить...

– Не можем знать, – нерешительно ответили спрошенные.

– Здесь заключённый арестант – особа первой важности, – продолжал Мирович. – Готовы ль вы беспродлительно выполнить, буде пришлется такой указ?

– Как солдатство, так и мы, – ответили капралы, – на то воля начальства.

«Труссы – каналы! – подумал с презрением Мирович. – А впрочем, посмотрим».

Он, сияя, точно по небу плыл, прошёл в караульную, посидел там и опять поднялся на стену. Прохладный, напитанный сыростью воздух приятно его освежил. Он уселся. Турман застилал город и очертания берегов.

«Ну, если Ушаков ждал такой погоды, лучше не надо, – сказал себе Мирович. – В этакой мгле и не спохватятся». Он вглядывался в сумрак, слушал, не плывут ли из города условленные шлюпки. Всё было тихо. Так прошёл час и два.

И опять жгучие, тревожные мысли зароились, запестрели в голове Мировича. Ему вспомнился домишко в Галерной гавани, возня и пение старцев за стеной, рассказ Гаши о последнем увозе принца, прощанье с Поликсеной и беседа в саду Гудовича над Днепром. Вспомнил он кумову пасеку, длинную осеннюю ночь и свой сон об освобождении принца. С щемящим сердцем, ясно вдруг представилось Мировичу и

то, что он два дня назад совершенно ненужно и непрошено намекнул про свой замысел полужнакомому Чефаридзеву, а сегодня чуть не всё было открыл Власьеву и о чём-то толковал с своей командой.

«Ну, как они выдадут? а Чефаридзев, дурак, может, уж и выдал? – замирая, терялся он в догадках. – В Питере, чай, вот какая суета; пишутся распоряжения – арестовать меня, обыскать, пытаться... Может, уж и едут... Вздор, тишина! – и ничего не найдут, всё припрятано... Подложный указ в трещине за печкой, манифест зашит в шинели, и я сейчас пойду и их сожгу... будто трубку закурил... А если кто и выдаст, то разве один Власьев, коли только, иродова голова, догадался... Да не догадался он! я всё экивоками, а особенно этою актёркой Машей, кажется, его умаслил... Он даже ухмылялся и спросил, скотина, чернявая она или русая? *la brune ou la blonde*³²⁴, – как воспевали парижские стихотворцы дочек великого Петра...»

«Однако время идёт, – опять затревожился Мирович. – Ужли Ушаков так и не будет? Ужли начинать одному?..»

Огни в окнах Власьева, коменданта и в караульной погасли. Был первый час ночи. Слышалось только обычное переставливание ног, вздыханье и зевки часовых. Склонясь на край стены, Мирович продолжал смотреть в туман, более и более сгущавшийся над Невой.

И вдруг, как ему показалось, где-то далеко, там, в тумане,

³²⁴ Брюнетка либо блондинка (фр.).

что-то охнуло.

– Ой-ой, ох! – померещился Мировичу глухой, протяжный крик. Он вздрогнул. Суеверный, непреодолимый страх охватил его мертвящим холодом. Волосы шевельнулись на его голове.

– Вздор! эка, чёрт, как настроился, испугался! Морочу себя! – проговорил он, не двигаясь с места. – Ясно, почудилось только в ушах.

И опять простонало в отдалении: – Ой-ой! Ой...

«Зовёт меня, зовёт, бедняк! здесь я, вот здесь!» – заторопился и вскочил Мирович. Вокруг было тихо. Какая-то птица нырнула и скрылась в темноте. Кровли каземата не было видно.

«Если час настал, – пронеслось в мыслях Мировича, – приказывай, слово своё помню! белый голубь в белокаменной стене!»

Он на цыпочках, с звериной осторожностью, подошёл к краю шторы, заглянул во двор, ухватясь за грудь, точно болело там, спустился с лестницы, достиг гауптвахты, стремглав вбежал в караульную и зажёл свечу...

XXXII ПОКУШЕНИЕ

У двери на стуле лежала его шинель. Мирович подпорол подкладку, достал изготовленный манифест, сунул и его в

расщелину за печь и принялся за написание указа, от имени Иоанна Антоновича, командиру Смоленского полка. В указе Корсаков жаловался генералом и ему предписывалось немедленно привести полк к присяге и следовать с ним в Петербург, к Летнему дворцу, «куда и я неупустительно вслед за сим шествую», прибавил от имени принца Мирович. «А изменника Ушакова разыскать и судить», – хотел он размахнуться, но остановился. «Ох, что же это я, однако?» – удивился он и задумался, решая, что Екатерину и Павла, при удаче, он отошлёт в отдалённый монастырь. Ему вспомнились слова подложного, составленного им от имени Екатерины манифеста: «Оставляю эту дикую, варварскую, не оценившую меня страну и, столь же безвестная, как явилась, удаляюсь, передавая государство тому, кому оно следует по рождению – правнуку Первого Петра, принцу Иоанну...»

Кто-то вошёл в дверь.

– Что тебе? Что? – испуганно вскрикнул Мирович.

Он вскочил и поднял высоко свечу. У порога стоял белокурый, в веснушках, подслеповатый и очевидно спросонок, гарнизонный капрал Лебедев.

– От коменданта, – сказал тихо Лебедев, – велите, ваше благородие, пропустить в крепость гребцов.

– Не спит? Не спит? Каких гребцов? – похолодев и кинувшись к нему, спросил Мирович.

– А хто е зна: може, кто заблудимшись, туман.

На душе Мировича отлегло. Он кликнул вестового и ве-

лел пропустить гребцов. Опять заскрипело перо. Он написал воззвание к народу и к высшим в правлении чинам. Дверь отворилась. Снова на пороге явился Лебедев.

– Их высокоблагородие просят ваше благородие пропустить канцеляриста.

«Донос, ракалия, донос шлёт о моих речах! – подумал Мирович. – Ну да пусть, увидим ещё...» Канцеляриста впустили в крепость. Шаги во дворе стихли. «Ну, теперь приказ по армии, – решил Мирович. – Одно горе, анафемская свечка скоро догорит».

И опять Лебедев.

– Да что тебе? Что, образина?

– Гребцов прикажите выпустить из ворот.

«Так и есть, донос, – злобно усмехнулся Мирович. – Написали... Теперь Власьев отсылает курьера в Питер... но успеет ли...»

Он бросил перо, погасил свечку, разделся, нащупал подушку, лёг на скамью и укрылся шинелью. Его бросало то в холод, то в жар. «Вот сейчас войдут, арестуют, в цепи закуют, – думал он, прислушиваясь к малейшему звуку на дворе, – а завтра скомандуют и этапом всенародно, по жаре, погонят в Петербург».

Был второй час ночи в исходе. В комнате не было видно ни зги. Что-то ползало по стенам, шелестело у печи и у окна. Пот струился по лицу Мировича. Жажда мучила его: «Воды бы студёной, со льдом, целый бы кувшин выпил».

«Фортуны-то, фортуны, молодой человек! – слышалось ему. – Колесо без гайки, колесо!.. Да вы и умереть-то, как след, неспособны...»

«А что? ведь пора! – вдруг подумалось ему. – Лучшего момента не будет...» Он с отчаянием обернулся к стене, натянул на голову шинель. Но и сквозь шинель опять и уж более ясно ему слышался голос: «Ой, да иди же скорее, иди...»

Скамья колыхнулась под Мировичем. Он вздрогнул и вскочил. Мысли неслись неудержимо. В секунду он переживал бесчисленные впечатления. Комната, казалось, ходила вокруг него ходуном.

«Так я не способен? – задыхаясь, думал он, глядя в темноту. – Ты не верила? Сиди же в своей трущобе... а вот Орловым-то, видно, мне быть. Я им скажу, – рассуждал он, придумывая, как выйдет и станет говорить перед генералитетом, – открою, как всё затеял и выполнил один, без пролития крови и без пособников. В тишости, ловко покончил. Перст Божий! ахнет вся Русь!». Мирович не знал, как всё это будет, но верил и знал, что этому быть суждено. «И ведь каков? – подумал он о себе, – ничтожная, безвестная соринка, и совершил такой подвиг...» Он оглянулся: в окне будто побелело.

«Боже! рассвет!» – с ужасом подумал Мирович.

Он сорвался со скамьи, схватил кафтан, шпагу и шляпу, выбежал на гауптвахту и громко крикнул:

– К ружью!

Голос его странно, резко раздался в тишине. Поднялась

тревога.

– Беги, – сказал он старшему капралу, – собирай везде всю команду.

Стали сбегаться разбуженные солдаты.

– Зачем зовут? Что? Манифест привезли? – толковали они, теснясь у казармы. Мирович построил команду в три шеренги, выступил перед фронт и велел заряжать ружья боевыми патронами. Сам он взял заряженный мушкет и крикнул страже у главных ворот:

– Никого в крепость не пропускать, кроме маленьких шлюпок.

«Авось-таки подъедет Ушаков, – вертелось у него на уме, – сикурс не мешает».

Караульной команды смоленцев было сорок пять человек; гарнизона, охранявшего казематы и замкнутый за каналом двор, было не больше третьей части. В комендантском окне блеснул огонь. На крыльце, заслышав шум и голоса, показался в халате Бередников.

– Что за тревога? – спросил он Мировича. – Что случилось и с какой стати собрали людей?

– Ты здесь держишь невинного государя, – крикнул, кинувшись к нему, Мирович, – о тебе есть особый указ...

Он ударил его прикладом, схватил за ворот и отдал под караул. Дерзость его всех покорила.

– Смирно! Стройся! – скомандовал он отряду. – Правое плечо вперёд, скорым шагом... марш! – И повёл команду к

мосту, через канал.

– Кто идёт? – окликнул часовой.

– К государю идём! – откликнулся на ходу Мирович.

За канавой послышалась возня. У ворот блеснули огни, негромко и странно щёлкнули в тумане три выстрела, и пули, свистя, пролетели над наступавшей командой. Солдаты Мировича остановились.

– Стреляют, – сказал он, – и мы отплатим.

Он выровнял отряд и всем фронтом выпалил в караульных. Ворота за мостом отворились и опять затворились. Поговору было заметно, что к часовым наспело подкрепление.

– Что же, сдаётесь, изменники? Покоряетесь настоящему государю, Иоанну Антоновичу? – крикнул с площадки Мирович.

Гарнизонная стража опять выстрелила. Смоленцы ей ответили новым залпом. Пули защёлкали в стену башни, в крышу казарм. Ни с той, ни с другой стороны, от тумана и общей спешной стрельбы, никто не был ранен. Дым стал расходиться. Мирович отвёл команду за церковь, где стояли пожарные припасы. Солдаты ворчали.

– Что мы за душегубцы, убивцы? – слышалось между ними. – Каки таки резонты! Эк, убрались... знаем мы их...

– Солдатство требует вида, ваше благородие, – сказал, подойдя к Мировичу, капрал Миронов.

– Какого вида? Что им, скотам?

– Значит, почему то ись, смут... и как на своих наступаем?

– А! вам вида! – злобно проговорил Мирович. – Извольте, – без того, нешто, стал бы я действовать?

Он сходил в кордегардию, достал из щели манифест и указ и громко, не видя в сумерках строк, прочитал его наизусть.

«Вот актёр Волков, объявивший на память манифест, и я... одним делом прославимся, – подумал он, оглядываясь на солдат. Те робко жались в стороне, медля собраться во фронт. – Боже, да где же Ушаков? – озирался Мирович. – Где он? вразуми меня, господи, наставь».

За мостом усиливалось движение. Кто-то сказал, что гарнизонные выкатили бочки, возы и готовились из-за них к новому отпору. Мирович с мушкетом в руке вышел к мосту.

– Слушайте, – крикнул он туда, – сдавайтесь, пропустите нас, не то будет худо. Я пришёл не сам собою, сделал это по долгу – сдавайтесь же, слушники царской воли, – вам объявляю указ...

– Ты сдавайся, – ответили из-за канавы.

– Пушку, – скомандовал, возвратясь, Мирович, – заряды из погреба.

– Нет ключей.

– К коменданту; в кабинете висят.

Привели канонира, артиллерийского капрала и гандлангеров³²⁵. С их помощью стащили с бастиона шестифунтовую пушку, прикатили её в крепость, зарядили её и поставили против ворот. Приказав снова зарядить мушкеты и никого не

³²⁵ Гандлангеры – рядовые артиллеристы (нем.).

пропускать ни в крепость, ни из крепости, Минович послал вестового объявить гарнизону, чтобы клали оружие, иначе будут ядрами палить.

– Покоряйтесь, братцы, – окликнул вестовой, – почему, как их благородие, пришедши и не видимши покорности... а как вы, значит, изменники...

Во дворе, где за тремя пикетами было помещение принца и жили два его пристава, все потеряли головы. Кое-где быстро засветились окна. Хлопали двери, бегали солдаты. Начальники метались, как угорелые, отдавали и опять отменяли приказания, бранились, спорили. Кухарь принца сцепился с портомойцем, кричат о чём-то.

– Ну, что ж теперича делать? – спросил запыхавшийся, выбившийся из сил Чекин. – Они выкатили на площадь пушку.

– А вы как полагаете? – произнёс Власьев.

– Да что же, Данило Власыч, их сила; думай не думай, а выйдет такой афронт – одержит верх сугубо злейший враг.

– Ну, господин поручик, значит, вы забыли инструкцию о секретном арестанте... Курьер наш вряд ли доедет теперь... А она ведь не отменена...

Холод пробежал по телу Чекина. Страшная панинская инструкция ясно указывала меры, какие подобало принять с «оною персоной» в случае, если б покусившаяся рука оказалась сильною.

– Но, ваше высокоблагородие, – возразил и заикнулся Че-

кин, – нельзя ли иначе как? Помилуйте, столь противучеловеческое деяние... Ведь он, полагать надо, спит и ничего, как есть, не знает.

Чекину вспомнился в то мгновение минувший вечер и лицо принца, которому он тогда принёс ужин. Заключённый, сверх обычая, встретил его приветливо и ласково. Бросил «непорядочные взоры» и угрозы убить до смерти, отсечь голову, когда станет снова царём. То, бывало, всё толкует, что он государь великий и что один подлый офицер всё отнял у него и имя ему переименовал, хотя всё-таки он здешней империи принц, – а тут вдруг притих, куда амбиция делась. Весь тот вечер он много ходил по комнате. Делал это принц Иоанн с особыми приёмами. Отмерит два-три шага от окна к печи и остановится. «Благослови, Боже», – скажет, или: «День до вечера, вечер до дня, помяни меня!» – повернётся и начнёт опять ходить между дверью и перегородкой. Молился он в последнее время больше полусловами, крестясь и как будто куда-то всё спеша. Опять остановится: «Благослови, господи, и виждь... Вечер до дня, день до вечера, до вечера...» – и, как маятник, мелькает из угла в угол либо ляжет, смотрит с постели и смеётся. Да и весь тот день он ходил до изнеможения, останавливался и чертил что-то гвоздём на стене, за печкой, – проголодался. Чекин был доволен его поведением и, с укоризной себе, вспомнил, что он иногда с досады бранил его вслух разбестией и грозил бить его по указу четверт-

НЫМ ПОЛОНОМ.

– Ах, вот вкусно! – сказал принц, садясь за горячую, приятно пахнувшую похлёбку. – Я мал чином, да монах, буду митрополитом, потому и кланяюсь образам... Ведь я, братец, после обеда нынче видел сон.

– Какой сон? у вас всё коловратные слова...

– Да всё это я в небе, – какие там жители, строения!.. А то будто иду по лесу – а кругом буря гремит, дождь собирается. Так это душно: только гляжу, студёное, тёмное озеро. Я и бросился в воду, нырнул, плыву, да вдруг и выплыл где-то в такой зелени, – солнце греет, а цветов, цветов!.. и все белые да алые, махровые, большие, пахнут, – а по ним пчёллы, жуколицы, шмели... Ах, Лука Лукич, где это озеро и где этот лес?..

Помнил отчётливо Чекин, как было светло и радостно лицо узника, когда он это говорил, как кротко он улыбался и как, поужинав, со словами: «Ну, а теперь и бай-бай! благослови, Боже, на сон праведный», – умыл руки и лицо, утёрся, бережно развесил у изголовья полотенце и, раздеваясь, сказал Чекину:

– Слушай, Лука Лукич, как выйду отсуль да стану вашим царём, тебя в гоф-диннеры произведу... над всеми слугами, превыше всех поставлю, в камергеры произведу... А они не давали чаю, крепких чулков... Эка невидаль их монастырь... вот поживём так-то лучше, на вольной волюшке...

У ворот раздались крики. От Мировича явился новый ве-

стовой.

– Скажи господину подпоручику, – объявил ему Власьев, – стрелять больше не будем, сдаёмся, пусть идёт. Ворота отпрут.

– А теперь, поручик, за мной! – шепнул, обратясь к товарищу, Власьев.

Он схватил Чекина за руку и повлёк его к казарме принца. Во дворе побелело. Начало светать. Они миновали пикеты.

У сеней каземата ходил часовой.

– Что? арестант спит? – спросил его Власьев.

– Должно, спит, не слышно.

Власьев взял у часового палаш, отпер дверь. В душной, со спёртым воздухом, комнате уже ясно можно было разглядеть предметы. В решётчатое, закоптелое окно чуть брезжил рассвет. Принц тихо спал за перегородкой. На скамье лежало его платье – матросская куртка и шаровары; возле стояли стоптанные башмаки. У изголовья висело полотенце.

– Ну, что ж, – обнажив палаш и обернувшись к Чекину, сказал Власьев, – именем статута, приказываю...

Чекин также обнажил шпагу. Он видел, как коротконогий, головастый Власьев несмело шагнул за перегородку и как, разглядывая спавшего, нагнулся и стал шарить. Секунды две его голова и плечи виднелись в дверь переборки. И вдруг он взмахнул рукой.

Раздался удар стали о что-то мягкое, быстрый шорох чего-то навалившегося, падающего и страшный дикий крик:

– Ах, Боже! да что ж это?

Чекин без памяти бросился к двери и второпях не мог найти замка.

Что-то стремглав выскочило из-за перегородки. Среди комнаты обозначался рослый, крепко сложенный, окровавленный человек, в одном белье и с рассечённым наискось лбом. Кровь струилась по его бледному, искажённому страхом и недоумением лицу; в его руках был обломок стула. Красное пятно ширилось и сбоку рубахи. Он сломал ранивший его клинок, быстро обхватил Власьева и, повторяя «Иуда, убивец!», силился его повалить.

– Шпагу вашу, поручик... штык от солдата! – крикнул, хрипя, Власьев.

Чекин услышал голоса на дворе, топот подбежавших к лестнице солдат и протянул свою шпагу Власьеву. «Успеют, помешают», – подумал он. В сенях замелькали тени. Он выскочил за дверь.

За его спиной раздался новый отчаянный крик. Что-то толкнулось о стену, рванулось к двери и, простонав: «За что же, голубчики, за что?», – глухо рухнуло на пол. Чекин в тёмном проходе дрожал всем телом. Ему ясно опять представился ужин принца, их разговор. «А цветы всё белые да алые... жуколицы, пчёлы, шмели...»

– Где государь? Где? – крикнул, подбегая к каземату, Мирович. Он задыхался. Солдаты толпились за ним.

– У нас императрица, а не государь, – ответил, ступив из каземата, Чекин.

«Отместка за кронштадтского матроса!» – подумал Мирович, вспоминая такой же ответ Третьему Петру.

– Иди, негодяй, отмыкай дверь и кажи нам государя, – сказал он, схватив его за ворот и толкнув в затылок, – другой тебя, каналью, давно бы заколол.

Он бросился с ружьём по лестнице. Дверь каземата была настежь. На её пороге стоял Власьев. Нахлынувшие солдаты толпились в сенях и на галерее. Мирович вошёл в каземат. Там было темно.

– Огня, свечу! – закричал Мирович. – Что ты, злодей, тут делал впотьмах? – кинулся он к Власьеву. – Наёмные душегубы, мерзавцы! ужо всем вам будет расчёт!

Принесли фонарь. Все вошли в затхлый мефитический каземат.

На его полу, навзничь, лежало в крови бездыханное тело принца Иоанна...

– Ах вы, злодеи, окаянные, бессовестные! – вскрикнул, отступая в ужасе, Мирович. – Бойтесь ли Бога? Как смели пролить кровь столь великого, неповинного человека?

Он бросился к трупу.

– Император наш бывший, император! – кричал он, целуя руки и ноги убитого.

– Не знаем, кто он был, – ответил Власьев, – вина не наша... что сделано – токмо по указу...

– В штывы их, извергов, в клочки! – раздались крики солдат.

– Пользы не будет! Колоть не надо! – остановил их Минович. – И теперь они правы, а мы виноваты... Я вспомнил данное слово, явился, – сказал он, глядя в мёртвое лицо узника. – Вот наш государь Иоанн Антонович. Ему быть бы на престоле, стоять во главе войска! Отбивался он ведь один, безоружный, против вооружённых... Помните и передайте в роды родов, вы его видели... Теперь мы несчастны, и я боле вас всех... Один отвечу, за всех потерплю... Несите, – прибавил он, громко зарыдав. – Вашему величеству отдаёт долг последний верноподданный...

Тело покойного, в посконной белой рубахе и в портах из грубого мужицкого холста, прикрыли знаменем и на кровати вынесли на фрунтовое место, во двор, где уж рассвело. Все заглядывали в бледное, будто озабоченное величием рокового события лицо убитого, с русой бородой. Минович велел барабанщику бить утренний побудок, выстроил отряд шеренгами, положил к ногам принца свою шпагу, шарф и скомандовал, в честь скончавшегося, на караул. Барабанщик бил полный поход.

– Прощайте, братцы, не поминайте лихом, – говорил Минович, обходя ряды и обнимая солдат.

Освобождённый из-под стражи комендант подал знак. Старший капрал и несколько рядовых окружили Миновича. Бередников отдал его под арест той команде, у которой сам

за минуту был под стражей.

К фронту подошёл напевший из Шлиссельбурга командир смоленцев, Корсаков.

– Может быть, вы, полковник, не видели живого нашего государя, Иоанна Антоновича, – сказал Мирович. – Так вот он мёртвый... Но если бы... – Загремел барабан. Фронт сомкнулся. Шеренги двинулись в ворота. Корсаков повёл арестованного Мировича на полковую гауптвахту.

Тело узника, в бархатном алом гробе, было выставлено в церкви. Стечение и толки народа заставили поспешить с его погребением. Он тайно был схоронен в глухом месте, у стены, причём его могилу сровняли с землёй; здесь впоследствии устроили и донныне существующую домашнюю, тёплую для заключённых церковь, во имя апостола Филиппа. В народе пустили молву, что покойного вывезли ночью для погребения в Тихвинский монастырь.

XXXIII СЕНТЕНЦИЯ

Екатерина в это время с большой пышностью совершала свою поездку в Остзейский край. Надежды немцев воскресли. Носился слух, что за них вёл втайне подкопы опять оживший «лукавый старец Калхас» берлинского двора. Союз с Фридрихом грозил старыми бедами. Повторяли, со слов

Ломоносова, совет дельца старых времён: «дружи не с соседом, а через соседа».

Девятого июля Екатерина торжественно въехала в Ригу. Пальба из пушек, колокольный звон и крики «виват» встретили высокую гостью. Магистратские чины и рыцарство, на богато убранных конях, преклонили перед нею прятавшийся в елисаветинские годы, городской штандарт. На триумфальных воротах красовалась надпись: «*Matri patriae incomparabili*»³²⁶. Екатерина вышла из кареты по цветам, которые бросали ей под ноги одетые в белое дочери горожан. Осмотрев войско и посетив загородный дворец Петра Первого и русскую церковь во имя Алексея Божьего человека, Екатерина одиннадцатого июля приняла обед от рыцарства. Вечером в посольском доме её ожидал бал-маскарад от мещанского общества.

С улицы долетали уже звуки музыки и гул ожидавшей государыню толпы. Проехали экипажи Бирона и Миниха. Собрались и гости русской свиты. Императрица сидела в пудрамантеле, в уборной. Парикмахер убирал ей волосы. Шаргородская ожидала с платьем; Перекусихина – с маской и с голубым, в розовых лентах, домино. У подъезда стояла запряжённая цугом, в страусовых перьях, с егерями и скороходами, парадная карета. Последняя букля была взбита, последняя булавка приколота. Екатерина уже протянула руку к маске. В это время в зеркало она увидела полуоткрытую

³²⁶ «Матери отечества несравненной» (лат.).

дверь. Шаргородская держала на подносе пакет.

– Что там? – обернулась императрица.

– Фельдъегерь из Петербурга... офицер Кашкин...

Екатерина вскрыла пакет, прочла первые строки и чуть не уронила бумаги. То было подробное донесение Панина о покушении Мировича и об убийстве принца Иоанна.

– Уйдите, – сказала императрица окружавшим... Через несколько минут она позвонила. Лицо её было встревожено, покрылось пятнами.

– Позвать графа Строгонова, – сказала она камер-юнгферам, – да не явно; пусть войдёт по малой внутренней лестнице.

Строгонов явился. Дверь за ним заперли на ключ.

– Ну, Александр Сергеевич, – обратилась к нему императрица, – сослужи службу, поезжай за меня на этот бал.

– Как, за вас? Шутить изволите!.. – произнёс, отступив, удивлённый граф.

– Ничуть! Садись, вот мои уборы. Мавра Савишна, Катерина Ивановна, прилаживайте на него.

– Но, государыня, за что ж такая издёвка? В чужом месте, незнакомая публика... угадают – осудят.

– Не о себе, обо мне подумай. Отказ мой сочтут за афронт, а ехать туда не могу. Я только что получила важные бумаги из Питера. Нужно отвечать, писать немедленно резолюции. Не до удовольствий, пойми; а политика, высшие резоны требуют скрыть от всех самомалейший намёк на то, почему

я уклонилась от предложенного бала. Не веришь? думаешь, дурачу? Полно-ка. Одевайся и, не мешкая, поезжай. Ты же со мной, кстати, одного роста, турнюры и голос мой не раз искусно перебуфонивал. Вот и найдись получше перед чужими, да кое перед кем и из своих: представь на этом вечере мою особу... утешь немцев...

– Только не в карете, пешком дозвольте, – ответил сдавшийся граф. – Иначе лакеи, подсаживая, как бы не признали и не разболтали.

– Как хочешь, лишь бы умненько, со смекалкой.

Спустя четверть часа граф Строгонов, в домино и в маске императрицы, окружённый депутатами города и чинами двора, через полную, гудевшую народом, улицу, прошёл в посольский дом. «На оный маскарад её величество изволила ходить пешком в маске», – подчеркнул эти слова в тот же вечер в «дневнике двора» камер-фурьер Купреянов. Строгонова никто не узнал. Немцы приняли его за императрицу, расточали ему тонкие, затейливо-почтительные любезности и, всерабственно раскланиваясь, утруждали его нижайшими просьбами об упованиях и нуждишках края. Бирон, по обычаю, жаловался на обиды и подвохи Миниха, Миних на Бирона. Строгонов наслушался здесь таких секретов, что его в пот бросило.

Императрица между тем заперлась в кабинете, вновь прочла донесение Панина о «дивах» и все к нему бумаги и велела вызвать с бала Орловых и гетмана. Она им сообщила

весть о кровавой, как она метко назвала её, «шлиссельбургской нелепе».

– Страшное, бесчеловечное дело, – сказала она, – и тем досаднее, что принц уже почти совсем согласился постричься в монахи! Опомниться не могу, и трудно будет рассеять превратные толки злых, враждующих нам языков. А что хуже – этот позорящий нас злодей был, очевидно, не без пособников. Я вспоминаю, что перед моим выездом одна бедная женщина нашла на улице потерянное письмо, где указывали на некое соглашение, грозились меня убить...

– Кто ж пособники? – спросил, вспыхнув, гетман. – Надеюсь, не земляки Мировича.

– Дашкову называют – верить дико.

Орловы переглянулись.

– В арестованных документах три руки, – продолжала, просматривая бумаги, императрица. – Манифест мелкого почерка, письмо от имени покойного принца к Корсакову – крупного, а указ – средней руки. Первые два – положим, Мировича и Ушакова... но кто ж писал третий документ?

– Тайный розыск, с пристрастьем! верёвка и пуля развяжут всякий язык, – сказал, сдвинув брови, Алексей Орлов. – Многие тузы объявились бы... в хомут бы его и на дыбу, допытались бы, с кем совещался... Да и солдаты – без подговора свыше не пошли бы за ним...

– Не розыск и не пытка, всенародный суд, без скрытности, вот что решаю, – возразила императрица. – Дело столь

важное не может остаться в секрете, – а особенно, когда около сотни человек в нём с оружием участвовали... Строгое, без послаблений и всякой жалюзи, следствие, а по возврате в столицу – подробный, для всего света, откровенный манифест... Пусть узнают истинный образ несчастного фантома, для коего содеяно это безумное покушение.

Екатерина возвратилась в Петербург в конце июля. Манифест о шлиссельбургской катастрофе явился семнадцатого августа. Верховный суд над Мировичем был объявлен из членов сената, синода, президентов коллегий, генералитета и особ первых трёх классов. Преступника содержали в Петропавловской крепости. Слухи о ходе суда проникали в город и волновали всё общество.

Стало известно, что член суда, сенатор Неплюев, требовал арестовать и привлечь, как указано, «без жалюзи» к допросу до сорока лиц, большей частью из высшего круга столицы. Разнеслась весть и о выходке другого члена присутствия, барона Черкасова. Когда собрание, тридцать первого августа, выслушав первый личный допрос Мировича, решило его сковать и, держа под караулом, приступить к сочинению сентенции, Черкасов встал с места.

– Я требую пытки изменничьему внуку Мировичу, – сказал он, возвысив голос, – В городе распущены вредительные слухи, и нас, судей, почитают комедиантами и машинами, от постороннего вдохновения движущимися.

– Дерзкие, обидные клеветы! – возразил кто-то.

– Строгим розыском, господа суд, о тайных руководителях жертвы, – продолжал Черкасов, – мы должны себя оправдать не токмо перед всеми теперь живущими, но и перед следующими по нас родами... В том наша честь и достоинство...

– Да, не мешало б в скромном месте в рёбрах у него пощупать, – подхватили другие. Буря поднялась в верховном судилище. Все вскочили с мест, кричали упрёки друг другу. Обер-прокурор Соймонов заявил, что и некоторые из духовенства требуют допроса с пристрастием.

– Воспрещаю длить столь дерзновенные речи, – повелительным голосом объявил генерал-прокурор, князь Вяземский, – собрание закрыто, а о происшедшем будет доложено её величеству.

Ответ Екатерины стал известен в городе.

– В голосе Черкасова, – решила она, – я иного не вижу, кроме, что ему чистое и нелицемерное усердие диктовало. Чужестранных недоброжелательных дворов министры действительно по городу рассевают, будто я заставляю собрание, для сокрытия истины, в сём деле комедию играть; да и у нас уже действуют партии, для соблазна публики... Черкасову выбиться нельзя; он ровный им тут... писали от усердия, сгоряча... Брат мой, а ум свой... Того ради, дайте большинству голосов совершенную волю...

Шёпотом повторяли и ответ Мировича комиссии, явив-

шейся от суда для его увещевания.

– Покайся, признавайся, – говорили Миновичу члены суда, – назови единомышленников, подстрекателей, пособников и попустителей. Облегчи душу покаянием.

– Вы ищете моих пособников? – ответил он. – Напрасно, я действовал один.

– Но как ты мог решиться, как дерзнул?

– Я предпринял лишь то, что удалось вам самим и что вас поставило моими судьями, а меня подсудимым. Я шёл по вашим стопам; удайся моё дело, вы всё говорили бы иным языком.

Первого сентября Миновича заковали в цепи, лиша его чинов. Он сильно упал духом, плакал.

На новое предложение пытки Екатерина ответила:

– Оставим несчастного в покое и утешимся мыслью, что государство не имеет иных столь ожесточённых врагов.

Девятого сентября суд подписал сентенцию: «Капралов и солдат, участников бунта, прогнать сквозь строй и сослать в каторгу; камер-лакея Касаткина, за болтовню о дворе и его порядках, наказать батогами и зачислить в рядовые, в дальние команды. Чефаридзева – за недонесение – лишит чинов и тоже разжаловать в солдаты... Миновича – четвертовать и, оставя тело его народу на позорище до вечера, сжечь оное купно с эшафотом».

Власьев и Чекин, убийцы принца Иоанна, вскоре были высланы, с наградой по семи тысяч рублей, в дальние губернии,

с воспрещением появляться вместе и вообще посещать многолюдные компании и о происшедшем с ними никогда и никому не говорить.

Казнь Мировичу была объявлена на пятнадцатое сентября, на Сытном рынке Петербургской стороны, против крепости. Екатерина на предложение суда – отказаться от права помилования ответила резолюцией: «Моих прав – не касаться никому» – и заменила казнь четвертования отсечением головы Мировичу.

Слух о покушении Мировича проник в дальние концы России, долетел до Днепра, до Трубежа и до Оренбургской линии.

В кумовой пасеке, в Переяславле, в Изюмском уезде, в Москве и у Измайловского моста, у Бавыкиной, произвели строгие обыски, допросы. Все угадывали участь, которая ожидала Мировича. Сентенция суда подтвердила общие ожидания. Две сестры Мировича и Бавыкина долго, как тени, бродили по Петербургу, обходя и моля всех влиятельных лиц и падая в ноги членам верховного суда.

Бавыкина выждала императрицу, по пути её за город, и подала ей прошение на том самом месте, где некогда удостоилась поднести ведро воды её величеству. Екатерина узнала Филатовну.

– Ах, матушка, не могу, – ответила она с искренним чувством. – Проси, о чём хочешь; я у тебя в долгу, но этого сделать не в моей силе. Суд так решил, и соблазн слишком дер-

зостен и велик.

Двенадцатого сентября, на перекладной, из-за Волги, при-была в Петербург ещё одна просительница. В первые дни она с трудом добилась приёма у Григория Орлова, у гетмана и у преосвященного Афанасия; уцепилась у подъезда сената в кафтан генерал-прокурора Вяземского и, волочась за ним по ступеням, рыдая и обнимая его ноги, молила о пощаде своему жениху. Ей сказали, что поздно, – приговор о казни Мировича уже был судом подписан. Её видел и прибывший в это время с юга приятель Мировича, Яков Евстафьевич, давший ей совет – обратиться с просьбой выше.

Во вторник, четырнадцатого сентября, в дворцовой церк-ви Царского Села, по случаю праздника Воздвижения, для государыни служилась заутреня, затем обедня. Из церкви императрица прошла в кабинет, где её ожидали кофе и при-везённые с утренним курьером доклады.

Бывший гардеробмейстер Василий Григорьевич Шкурин, ныне бригадир и камергер, в праздничные дни вспоминая старую службу, любил сам обметать пыль со столов и прочей мебели императрицы. Так и теперь он, войдя в кабинет, обмахнул пучком перьев часы и камин и, занявшись пол-кой с книгами, стал по обычаю мурлыкать церковный кант. В таких случаях, в часы доброго расположения духа, и Екате-рина любила в шутку подтягивать верному слуге. Возгла-сит он, подражая лаврскому архимандриту: «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твоё», Екатерина обер-

нётся от бумаг и, на манер хора, протяжно ответит ему: «Испалла-эти деспота...»

Затянет Василий Григорьевич, вроде архиепископа Дмитрия, чуть слышным, замирающим голосом: «Свете, тихий, святые славы... Отца бессмертного... святого, блаженного», – императрица баском вторит ему: «Премудрость, вонмем».

Теперь Шкурин пропел начало известного тропаря и во второй раз нежно затянул любимую стихиру:

От юности моя мнози борют мя страсти...

Он помахивал пучком, вздыхал, оглядывался; императрица не отрывалась от стола и его не замечала. Уж он, кряхтя, взялся за дверь и готовился уйти.

– Что, Григорьич? Не в духе твоя кума? – вдруг отозвалась, обернувшись к нему, Екатерина. – Имеешь что-нибудь сказать?

– Как, матушка, не иметь? Да вот, пресветлая, углубилась ты в бумаги, не смел.

– Говори.

– Просительница одна ждёт тебя, многомилостивая, у садовника Титыча; с парадного не пустили, гнали, ко мне дошла.

– Кто она и по какому делу?

– Издалека, с Камыш-реки... на перекладной домчалась –

всё по тому же... по завтрашнему-то случаю... девушка, из прежних, видно, дворских.

– Девушка? Кто такая?

– Плачет, не знаю, даже слёзы выплакала... ох, прими ты её, всемилостивая.

– Что же я могу, Бог мой? – спросила, вздохнув, Екатерина. – Что я для неё, когда и все-все?.. Алексей Петрович, гетман, Панин?..

– Допусти её, выслушай, – сказал, поклонившись в пояс, Шкурин.

Екатерина позвонила. Дежурный лакей ввёл худую, красивую, с янтарно-золотистыми волосами, девушку. Оставшись наедине с государыней, она опустила у порога на колени.

– Встаньте, милая, ободритесь, – произнесла ласково, подходя к ней, Екатерина. – За кого вы просите?

– За Мировича...

– Монархи не властны в таких делах; не я судила его, и не я клала приговор. Кто вы и почему просите за него?

Худые плечи Поликсены вздрагивали. Бледные руки безжизненно были опущены вдоль тёмного, старенького платья. Запёкшиеся, сжатые губы не могли произнести ни слова.

– Кто вы? – повторила императрица. – Говорите, как матери отечества! Не бойтесь... мы одне.

– Я невеста Мировича, – ответила Поликсена, подняв на Екатерину убитый, потухший взор.

– Невеста?.. Что вы говорите!..

– Вижу, пощады не будет; молю об одном – дайте с ним проститься, разделить его последние минуты.

– Сядьте, милая, сядьте, вы падаете, – сказала, поддерживая её, императрица. – Здесь, на софу... Так, невеста? Вы лучше всех знали его. Скажите откровенно, без утайки, – продолжала, сев возле гостьи, Екатерина, – что побудило его на столь дерзкий, безумный шаг? Притом в нём замечена такая зорная, зверская окаменелость, такое упорство в невыдаче своих сообщников...

Поликсена медлила ответом.

– Государыня, можете ли хоть обещать? – спросила она.

– Всё, что в моих силах.

– Даже помилование? – вспыхнувшим взором впиваясь в Екатерину, спросила Пчёлкина.

– Увижу!.. По вашей искренности... Есть сообщники, подстрекатели?

– Есть... одно лицо.

– В живых оно? И вы знаете? – медленно спросила императрица.

– Знаю... в живых...

– Можете уличить, доказать?

– Могу.

– И его не привлекали к следствию?

– Его никто не знает, а в нём вся вина...

Екатерина встала. Облако прошло по её лицу.

– Извольте, – сказала она, – обещаю даже помилование;

говорите, кто это лицо?

– Ваше величество, дело идёт о жизни и смерти близкого мне человека... простите, – назову зачинщика и подстрекателя, если только удостоите... если помилование Мировича будет неотложно...

– Не верите? – спросила, нахмурясь, Екатерина.

Поликсена, ломая руки, боролась с собой.

– Кто ж подстрекатель? кто?

– Я, государыня! – негромко проговорила Поликсена.

– Вы? – прошептала в изумлении Екатерина. – Полно! шутите, бедная! Я этого не слышала, не хочу знать. Желание спасти близкого, любимого человека ослепляет вас... Честь доброму сердцу и чувству; но – простите и меня – верить вам не могу... Я читала его записки, календарь, стихи, – это фанатик сильный, но у него должны быть пособники, подстрекатели, ещё более сильные...

– Я, ваше величество, одна я виновница! – продолжала Поликсена. – Он лишь выполнял то, чего я желала, требовала.

– Требовали? Вы? – произнесла Екатерина, оглянув просительницу удивлённым, испытующим взором. – Но вам-то, сударыня-голубушка, зачем надобилось такое дело? В чём могли здесь быть ваши собственные виды и намерения?

Поликсена как-то съёжилась, приникла и закрыла лицо руками. Ей в это мгновение вспомнился шлиссельбургский каземат, тайные встречи с узником, её безумные надежды,

мечты. Представилось ей и её прошлое – сиротливое, брошенное детство, жизнь в положении швей, потом камермедхен прежнего двора, ухаживанья наглых, бездушных волокит, знакомство с Миновичем и гаданье Варварушки. Сбылись и слова ворожеи... пролилась кровь и вновь была готова пролиться...

Поликсена помолчала и торопливо, обрываясь в словах, рассказала Екатерине повесть своих отношений к Миновичу.

– Узнав принца, убедясь в его страшной, беспомощной доле, – заключила она, – я обеспамятела от горя – укорила любимшего меня, что он не имеет отваги, смелости... Я хотела прежде обеспечить долю принца... потом – выйти за Миновича. Мои слова были искрой в порох... Он предпринял отчаянное дело – и теперь его ждёт казнь... Государыня, казните меня – не его... Я всему виной...

Екатерина молчала.

«Вот наш век, – сказала она себе, – и его ещё считают холодным, чуждым героизма. Действительно, новая Жанна д'Арк... Что скажет Дидеро? как посудит Вольтер?».

– Вы были откровенны со мной, – объявила она просительнице. – Я сдержу обещание...

Поликсена упала к ногам императрицы. Та её ласково придержала, обняла. В глазах Екатерины светилась ласковая, добрая улыбка.

– Только ни слова о том никому, – заключила императри-

ца, – завтра экзекуция утром. Указ о помиловании будет с фельдъегерем доставлен к эшафоту...

Поликсена уехала из Царского. По пути её обогнал мчавшийся во всю конскую прыть фельдъегерь.

В тот же вечер сторож Мировича, унося из каземата остатки ужина, будто нечаянно обронил клочок бумаги. То была записка, а в ней кольцо.

«Не падай духом, надейся, – писала Поликсена, – я здесь; моли Бога, – всё ещё может измениться».

Мирович обезумел от радости.

– Как? От неё? – шептал он, осыпая записку и кольцо поцелуями, слезами. – Вот когда сказалось, вот!

Он несчётные разы подносил к свече письмо, читал дорогие строки, сжёг письмо и, гремя цепью, взад и вперёд ходил по каземату.

Но вдруг он остановился как вкопанный: внезапная, адски страшная мысль пронеслась в его уме. «А что, если всё это она придумала, сочинила, чтоб только успокоить, утешить меня? что, если, вместо помилования, завтра упадёт моя голова? Так, так! придумала... из жалости, добра ко мне...»

Холодный, мертвящий ужас охватил Мировича. Он стиснул зубы, упал лицом в постель, и всё его брренное, исхудалое тело задвигалось в судорогах злобных, глухих проклятий и бессильного, душу рвавшего отчаяния и бешенства.

XXXIV НА ЭШАФОТЕ

Пятнадцатого сентября, с утра, народ повалил на Сытный рынок, где, против тогдашнего второго моста через Кронверкский канал, возвышался окрашенный чёрной краской эшафот. Явилась полиция. Подметали площадь, соседние улицы. Лавки были заперты. Ожидали обер-полицеймейстера и войско.

Мирович всю ночь не спал.

Его мысли были в страшном, мучительном беспорядке. Мрачные, безобразные представления, обрывки, клочки виденного, испытанного возникали и исчезали перед его глазами. То ему казалось, что Ушаков, о гибели которого он узнал во время суда, жив, с толпой единомышленников ворвался в крепость и спешил на его освобождение. То видел он заседание масонов, слышал речь кенигсбергского каноника: «Вы – Азия и мрак, и истинного света вам не видать». Какая-то депутация шла к государыне, пророчила ей восстание всей страны, и она подписывала указ о его прощении. Грезилась ему и другие картины: тёмная, дождливая ночь; в окне кто-то возился, чем-то скрёб; подпиленная решётка падала, а за ней, с фонарями и факелами, стояли гетман, Орловы, Панин и живой принц Иоанн. «Мы о тебе просили, тебя не помиловали, – говорил гетман. – Иди, шлюпка готова; уедем; тебе

не удалось – я разбил все преграды».

Мирович вскакивал, прислушивался, с замирающим сердцем вглядывался в темноту.

– Подлый, гнусный трусишка! – шептал он себе с отвращением, в лихорадке гнетущего, дикого ужаса. – И умереть-то, по правде, спокойно, мужественно не умеешь. Вздор! эка, чёрт, чего испугался, смерти... точно не ожидал... хотел быть, при удаче, генералиссимусом, светлейшим... Ожидал, ведь по пальцам, по часам, всё сообразил и вычитал, как и когда... Знаю и место... лавчонки там все дрянные, с прогнившими, зеленоватыми крышами, – одна даже провалилась, и её недавно, как я проходил, заделывали новыми досками... Там, кажется, казнили Волынского; а прежде, кто-то говорил, на той же площади торчал столб с головами четвертованных по делу царевича Алексея... И теперь уже, наверное, тоже там торчит это страшное, из досок, дьявольское пугало. И кто назначил, кто решил эту казнь? Я здоров, молод, силён; сколько было упований, надежд, и вдруг – смерть... Эти руки, грудь, голова, чуть рассветёт, будут трупом... И за что? я лишь не успел сделать того, что сделали другие – Дашковы, Орловы, гетман.

– Стучи, стучи, глупое, жалкое сердце, – шептал, ошупывая себя, Мирович. – Скоро конец ночи, последней ночи... Но конец ли?

Он вскакивал с постели, взбирался на подоконник и просовывал голову в форточку.

– Боже, какая тьма и что за возмутительный, невероятный везде покой! – содрогался он, стиснув зубы. – Ни звука! Я один отрезанный от всех, а завтра ещё более... отрежут, отсекут...

«Да, да, – мысленно кричал он, – безжалостные! Давеча за дверью солдаты вон разболтались от скуки, да громко так, в щёлку двери, как молотком, всё отдавалось. Палача выбрали, толкуют, надёжного и прежде его испытали: одним ударом, вишь, голову отсёк он барану, с шерстью... охулки на руку, значит, не положит... Как бы убежать? надо убежать, но нет ни пилы, ни ржавого гвоздя... говорят, голова по отсечении ещё живёт... Студенты в Немегчине купили заранее такую голову с одного казнённого и, поставя её с плахи на опилки, стали кричать в уши.

«Иоганн!» – крикнули в левое ухо – глаза головы обернулись налево... «Иоганн!» – крикнули в правое – глаза обернулись направо... Страшно! Господи! ужели и я буду всё чувствовать, видеть, слышать?».

В лицо Мировичу повеял свежий, предрассветный ветерок. И всё, что было ему в жизни дорогого, вся немногая теплота и прелесть его неудавшейся, скомканной жизни, детство, родина, школа, первые встречи с Поликсеной, первые радости и эта, после разлуки, родная глушь, мечты укрыться навек среди тишины и чистоты деревенского счастья – всё это разом откликнулось, ожило, заговорило в Мировиче.

Он, примирённый, растроганный, сошёл с окна, лёг на

кровать, закрыл глаза и тихо, отраднo заплакал. Греющий, сладкий сон незаметно подкрался к нему, обнял его и угомонил. Свеча погасла. Сторож, поглядывая в дверное окно, не зажигал её, чтоб не будить арестанта.

Вдруг Мирович очнулся, сорвался с кровати.

Был шестой час утра. Начинался бледный, туманный, осенний рассвет. Всё необычайно тяжёлое, враждебное и грозное, в ясной неотразимости, снова встало в душе Мировича. «За что же, за что? – кто-то говорил внутри его. – И эта казнь, это новое убийство?.. не дождёшься увидеть мира на новых, лучших началах – рухнул твой храм, и все те обманщики, лжецы, кто думал его когда-нибудь перестроить».

Он увидел с вечера присланный ему от священника лист бумаги, взял перо и сел с целью написать несколько строк к близким своим... рука не повиновалась... Дрожь опять охватила, сковала его члены.

– Богу помолиться, Богу, – прошептал он.

Расчесав длинные русые волосы, он приделся и стал молиться. О чём? – молитва не шла на язык.

Вдали в коридоре что-то стукнуло. Послышались торопливые шаги. У дверей загремели ключами. Мирович встрепенулся всем телом, впился в дверь безнадёжно отчаянным взором. Вошёл комендант, за ним священник.

– Мужайся, сыне мой по духу, – сказал, робко оглядываясь по комнате, священник. – Молись, твой час настал...

«А записка? – подумал Мирович. – Ужели я всё выдумал,

всё пригрезилось?».

Священник остался наедине с арестантом. «Уйти? – пробежало вдруг в мыслях Мировича. – Упросить священника обменяться с ним рясой?.. Нет, детские, несбыточные мечты! Не ушёл ранее, во время покушения, теперь поздно...»

В десять часов утра площадь, мост, заборы и крыши лавок и домов наполнились народом. Прибыло войско. Сдержанный, смутный говор толпы раздавался в сиверком, мгlistом воздухе. Незадолго перед тем прошёл дождь. С намокших деревьев, у моста и вдоль забора капало. Слышались толки, что казнь, гляди, отменят – в острастку только выведут, положат голову на плаху и простят.

Две заплаканных, с измученными лицами женщины – старая, строгая с виду, и молодая, бледная, в чёрном, – протолкались на площадь и стали у фронта солдат.

– Видно, мать да сестрёнка его или невеста, – шептали в толпе, давая им дорогу.

– А слышал? Фельдъегерь прискачет, помилование прочтут! – сказал у моста Измайловскому сержанту Новикову Преображенский капрал Державин.

– Едут, едут! – послышалось с улицы и у моста. Народ двинулся к площади. Поднялась давка, суета. Загремел барабан. Раздалась команда:

– Смирно, стройся!

Из крепости показались верховые. На телеге, под конвоем, проехал по мосту, с непокрытой головой, страшно блед-

ный, в армейской голубой шинели, офицер. С ним рядом сидел с крестом в руке священник.

– Мирович, Мирович! – заговорили в толпе.

За ним потянулись повозки с прочими осуждёнными. У каждого в руке было по погребальной свече. Возле телег шли вооружённые солдаты.

«Ещё жить целую улицу, мост, половину площади, – думал Мирович, – когда-то ещё до эшафота».

– Вот, батюшка, – сказал Мирович священнику, когда телега въехала на площадь, где в толпе ему будто мелькнуло испуганное, бледное лицо харьковского приятеля, – какими глазами смотрит на меня народ! Совсем иначе глядел бы, когда б удалось моё дело... когда бы принца я доставил в столицу, в Казанский собор...

– Полно, безумец, где твои помыслы, раскаяние?

– Кому оно нужно, когда его, погибшего через меня, нет в живых?

Барабаны смолкли. На эшафоте показался палач. Его помощники ввели кого-то по лестнице.

– Молодой-то, глянь, молодой да белый, как бумага, белый с лица! – послышалось в толпе, разглядевшей на возвышении Мировича. Площадь смолкла. У плахи явился, в зелёном кафтане и в таком же камзоле, плотный, высокий, с довольным лицом аудитор от главной полиции. Он снял треугол, развернул бумагу. Солдаты взяли на караул. Аудитор, сперва невнятно и путаясь в словах, потом громче, во

всю грудь, стал читать приговор суда. Мирович затуманенным, блуждающим взором окинул площадь и окрестные дома. Где-то в толпе ему махнули платком.

«Кто бы это был?» – со страшно забившимся сердцем подумал он, усиливаясь отыскать и уже не находя того места, откуда ему махнули.

– Батюшка, – сказал он, нагнувшись к стоявшему рядом с ним священнику. – Здесь, на этом самом месте, несправедливо погиб великий патриот Артемий Волинский... Друзья, спасатели царевича Алексея, тут же скончали живот...

– Подумай о Боге, – ответил священник, – минуты, ведь секунды тебе остаются...

Аудитор кончил, но его слова ещё раздавались в ушах Мировича. «Простят, простят! – думал он. – В записке ясный намёк; толпа расступится, – как знать, может, уже скачет с новым указом верховой...»

Общая тишина ужаснула Мировича. Он вздрогнул. Две сильных руки ухватили его сзади за плечи и куда-то вели. Он безропотно, сам удивляясь своей покорности, подошёл к плахе.

С него сняли шинель и кафтан. Верхняя часть камзола распахнулась; грудь обдало холодом. Мирович пристегнул пуговицы, оправил рубаху. «Что же дальше? – мыслил он. – И позаботился ж я, чудак, о холоде!...» Все как бы чего-то ждали. Священник и аудитор смотрели куда-то в сторону. Помощники палача рылись в какой-то тёмной, безобразной

корзине.

«Господи, ты един, един! – вдруг заговорил в Мировиче внутренний, удививший его голос. – Проститься с ними...»

Он ступил к решётке, поклонился на все стороны.

– Прощается, прощается! – пронёсся гул от края до края площади.

Где-то вблизи послышался вздох, затаённое причитыванье.

«Мужайся, – повторил тот же голос внутри Мировича. – Увидишь».

Его мысли менялись с страшной быстротой. И весь он, думая: «Ещё минута, через полминуты буду не я, буду не человеком», – обратился в мёртвое ожидание, впивался в малейший звук. Он вспомнил о кресте с мощами.

– Батюшка, – сказал он священнику, – вот от меня, – берегите... Я побратался этой святыней с одним человеком.

«А кольцо, её подарок?» – спохватился он. В это мгновение ему случайно и впервые кинулось в глаза скуластое, рыжее, с редкими, крепкими, белыми зубами и несколько, как ему показалось, смущённое чьё-то лицо. Он понял мигом, что то был он... палач...

– Ну, брат... ты ведь по Христу мне брат! – заговорил Мирович палачу. – Возьми этот перстень; дорогая особа его подарила. Коли велют, ну, прикажут, – не мучь, разом... ты ведь упражнялся...

Мирович смолк. Его не останавливали. Секунды летели,

казались часами.

«Да, ждут чего-то, именно ждут!» – замирая, подумал он считая мгновения. И ему почудилось, что где-то вдали ему опять махнули чем-то белым.

Кто-то дал знак. Громко загремели у эшафота барабаны. Мировича сзади схватили те же сильные руки.

– Да здравствует и святится память истинного нашего государя... мученика Иоанна Третьего Антоновича! – крикнул вдруг безумно смело Мирович.

– Пусти, я сам, сам! – кричал он, порываясь. – Без повязки, я офицер... Да здравствует... невинный... мученик...

Барабаны, прогремев, смолкли.

Мирович увидел, что и он вдруг страшно успокоился. Его придерживали. Ещё раз тусклым, испуганным зрачком взглянув на мёртвенно стихшую толпу, он подался к плахе, ещё хотел что-то сказать, гордо выпрямился, с благоговейной твёрдостью взглянул на крест ближней церкви и вдруг, сильно нажимаемый кем-то и мысленно повторяя: «Господи, да что ж это? Насилие? Меня куда-то тянут?», – склонился на плаху. «Вот, вот... шум, кажется, верховой... скачут...»

Подъехала к войску придворная карета. Из её окна направилась на эшафот чья-то подзорная трубка. После говорили, что это была, из любопытства везде поспевавшая, Дашкова.

С площади и с моста было ясно видно, как большой, сверкающий топор вдруг поднялся над плахой и с глухим хрустом опустился туда, где лежал Мирович, в гаснувшем взо-

ре которого в это мгновение вдруг завертелось всё окружающее, фронт солдат перекосялся на крышу домов, уличный фонарный столб очутился на шпиле колокольни, опрокинутая церковь падала, с ужасающей быстротой, во что-то страшное, бездонное...

Палач за русые, длинные волосы поднял отрубленную, бледную, окровавленную голову казнённого...

Площадь ахнула. От содрогания толпы покачнулся мост на канаве и рухнули его перила. Громче всех раздался вопль девушки, без памяти упавшей на руки обезумевшей от горя старухи и невысокого, растерянного помещика, в гороховом кафтане и с украинским выговором.

– Ко мне, Настасья Филатовна, – шептал стоявший здесь Яков Евстафьич Данилевский, – у меня тут и квартирка неподалёку; не смял бы вас с нею народ...

– Да, – рассказывал щеголеватый и длинноногий преображенец, идя от места казни с измайловцем, – непостижимо, Николай Иваныч, фельдъегерь-то... Опоздал ведь всего на пять минут. Показался, слышно, от Тучкова моста, когда всё уже было кончено.

– И ты этому веришь?

– Как не верить! – ответил Державин. – К Алексею Орлову, доподлинно сказывают, вчера ещё был прислан указ о помиловании; не сверили часов, ну – и ошиблись.

– Юноша ты мой, юноша! – сказал, посмотрев на него, Новиков. – Да Орлов-то сделал ли по воле государыни? По-

живёшь, увидишь... А теперь зайдём-ка хоть в Колтовскую да отслужим по убиенному рабу Божию, Василию, панихиду... Ведь то, что пытался сделать этот несчастный, освободить принца, сделали другие – хоть бы Орловы, освободившие Екатерину... разница лишь в том, что те успели, а он – нет... идём.

– Нет, не могу... – заторопился Державин, – и то опоздал; к начальнику, к Лутовинову, обещал заехать и всё ему первому рассказать.

«Далеко пойдёшь», – подумал, покачав ему головой вслед, Новиков.

К вечеру эшафот с телом Мировича были сожжены на месте.

Узнав о казни, малолетний цесаревич Павел плохо спал в ту ночь.

Императрица переехала из Царского в Петербург. При дворе заговорили о решении уничтожить гетманское звание в Малороссии; государыня занималась театром и литературой. Стало известно, что поступивший на службу к Елагину Фонвизин, перед выездом государыни в Ригу, читал в петергофском эрмитаже оконченную им комедию «Бригадир». Екатерина осталась довольна чтением и выразила автору отменное своё благоволение.

– Кто подвинул вас на этот труд? – спросила она чтеца.

– Бессмертный наш учёный и поэт, Ломоносов, – ответил Фонвизин.

Слава молодого писателя была уже сделана о нём толковала знать; повторяли имена, выражения его героев.

Был холодный октябрьский вечер.

В Зимнем дворце, после долгого в нём отсутствия, обедала Дашкова. В тот же день императрица получила из Москвы просительную жалобу дворовых людей на известную тиранку Салтычиху. Повторяли с ужасом о кровавых проделках этой госпожи.

«Называть её в бумагах не она, а он», – решила государыня.

– Не смягчатся нравы, пока не смягчатся сердца, – сказала Екатерина. – Лучший путь для того – бич сатиры и вольное обсуждение избранных, опытнейших умов.

Опять вспомнили Фонвизина и его отзыв о Ломоносове.

– А наш-то Михайло Васильич, – сказала Екатерина Дашковой, – слышали? Опять сильно хворал, и главное – совсем накручинился... Поедем-ка к нему. С весны не удалось его видеть.

Придворная карета остановилась на Мойке, у дома Ломоносова. Лакей в плюмаже и в шитой золотом ливрее вошёл во двор. За ним две дамы. На синей бархатной, подбитой соболем, шубейке одной из них была андреевская звезда.

Екатерина знаком остановила суету на крыльце и во флигеле и без доклада с Дашковой вошла в верхний рабочий кабинет. Упавший духом и силами, Ломоносов, по обычаю, сидел у письменного стола, заваленного книгами, бумагами и

химическими аппаратами. В камине огонь, как бы прощаясь с хозяином, то вспыхивал, то угасал.

– Здравствуйте, Михайло Васильич, как поживаете? – ласково произнесла Екатерина. – Мы вот завернули навестить нашего славного эрмита.

Ломоносов встал и с чувством, молча, поклонился.

– Чем занимаетесь? И где в эти минуты царит ваш пылкий гений? На планетах? В металлах или на излюбленном вами северном пути в Индию?..

*Полдневный света край обшел отважный Гама
И солнцева достиг, что мнила древность, храма...*

– Видите, как я люблю и помню ваши стихи... Мне же рифма совсем не удаётся... ухом туга... и в музыке мало смысла...

– Милостивая! – прошептал и опять смолк Ломоносов. Слёзы навернулись на его глазах.

– Ну, полноте хандрить! – сказала Екатерина. – Нездоровы? полечитесь – пришлю медиков; напала грусть? – приезжайте-ка в эрмитаж, развеселим вас с молодёжью.

– Нет, государыня, не я нездоров и грустен, – ответил Ломоносов, – больна и грустна моя душа...

– Вас ли слышу, неутомимый, непобедимый в предначертаниях и трудах? Отзовитесь-ка мощным словом; соотечественники ждут. Вот, думаю депутатов призвать от сословий

для составления хартии законов... Ваш гений осветит наш горизонт.

– Новому вину и новые меха, всемилостивая! – проговорил всхлипнув растроганный Ломоносов. – Не всё гладко, кочки – обширная страна, – жертвы неизбежны... так! Но великими делами начинаешь ты своё правление и нас, тружеников, не забываешь... Живи вовеки, а нам уже, видно, умирать...

Он ещё хотел нечто сказать: с языка срывалось имя безвестно погибшего царственного узника и виновника его роковой гибели, – но он молча поник головой...

При дворе повторяли стихи, набросанные, в честь посещения императрицы, Ломоносовым:

*Великому Петру вослед Екатерина
Величеством своим нисходит до наук
И славы праведной усугубляет звук...
Коль счастлив, что могу быть в вечности свидетель,
Богиня, коль твоя велика добродетель!..*

Осенью того же года скончалась Бавыкина, было отменено гетманство. Пчёлкиной возобновили приглашение, и она выехала в чужие края, где, в качестве знающей иностранные языки воспитательницы некоей таинственной девочки, она осталась несколько лет. О ней вспомнили, когда в Венеции появилась известная принцесса Тараканова...

Отец принца Иоанна умер слепой в Холмогорах; сёстры

и братья, спустя много лет, стариками отправились морем в Данию. Их слуги, под именем «мореходцев», были закрепощены на вечное житьё в Холмогорах. Полную свободу этим «мореходцам» объявили только в настоящее царствование.

Померкла слава Орловых. Возшла звезда Потёмкина. Прогремела Пугачёвщина. Кончились турецкие войны; был завоёван Крым и взят Измаил. Ломоносова давно не было на свете. Державин пел Фелицу, шёл в гору, автор «Недоросля» и «Бригадира» печатно адресовал политические вопросы Екатерине. Пали мартинисты и с ними творец дружеского общества и Типографической компании, Новиков. Былой восторженный измайловский солдат, тридцать лет назад, в памятное июньское утро, стоявший на часах у полковой сборной, – теперь слабый, скрюченный горем и геморроидами старик, – Новиков сидел в том самом шлиссельбургском каземате, где содержался и погиб от покушения Мировича принц Иоанн³²⁷.

Однажды обвалилась штукатурка у его печи. Новиков, бродя по комнате, ещё отнял часть известкового слоя и, при слабом свете ночника, не без труда прочёл выцарапанные гвоздём на стене каракули: «мы, бож... милостию... императ... Иоанн Третий Антонович...»

1875

³²⁷ Автор допускает неточность, Новиков как мартинист, осуждённый Екатериной II, был заключён в Секретном доме Шлиссельбургской крепости.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ РОМАНА «МИРОВИЧ»

Роман «Мирович», сперва названный по имени главного героя, принца Иоанна Антоновича, «Царственный узник», написан в 1875 году.

Получив возможность его издать, через четыре года после его окончания, я обратился к забытой рукописи и увидел, что многое в ней следует переделать, особенно язык некоторых лиц, немало длиннот сократить (между прочим, в первой части), многое, едва намеченное, развить.

Особые обстоятельства, при которых роман печатался в журнале «Вестник Европы» и вслед за тем, без перемен, во втором, третьем, четвёртом, пятом и в настоящем, шестом издании, не дали мне средства исполнить необходимых переделок.

Сожалею об этом в особенности потому, что в романе остались без должной обработки некоторые места, особенно увлекавшие меня своей заманчивой стороной.

Источниками для романа «Мирович» служили, кроме строго исторических и официальных сведений, различные, изданные и неизданные, частные материалы, записки, днев-

ники, воспоминания и письма некоторых современников той эпохи и их ближайших потомков. К числу последних источников относятся и предания моей семьи.

Мой прадед, по отцу, был земляком и товарищем по воспитанию Мировича. Его жена, моя прабабка, бывшая фрейлина при дворе супруги Петра III, спасла мужа через своих знакомцев, когда у него в поместье сделали обыск после шлиссельбургской катастрофы. Она живо помнила и в семейном кругу подчас рассказывала как о Мировиче, так и о причинах его рокового покушения. Её невестка, мать моего отца, была из рода Рославлевых, как известно, рядом с Орловыми игравших такую видную роль при воцарении Екатерины II. Женщина замечательного ума, воспитания и редкой памяти, моя бабка жила очень дружно со свекровью, никогда с нею не расставалась и умерла, как и последняя, также в преклонных годах, когда мне было девять лет. Большую часть её рассказов я записал со слов моего дяди, её старшего сына, от которого мне досталось и большинство наших любопытных семейных бумаг XVIII века.

Вся так называемая основа романа – жизнь и любовь Мировича, нрав и влияние на него героини, как и многие другие подробности воцарения Екатерины и покушения Мировича, – взята мною из воспоминаний прабабки и бабки, а также из посмертной записки Квитки-Основьяненка (план романа из жизни Мировича). В главном, что составляет достояние истории, я держался несомненных данных, разбро-

санных в массе печатного материала, из которого у меня составила по этому предмету целая библиотека.

Наиболее драгоценные сведения о Мировиче и его времени, из числа исторических материалов, представляют исследования в государственном архиве автора «Истории России» С. М. Соловьёва, графа Д. Н. Блудова, князя В. Н. Кочубея и графа М. А. Корфа, а также труды академиков Поленова, Арсеньева, Кунина, Сухомлинова, Пекарского и Грота, профессоров Брикнера и Ламанского и г. Бартенева, Семейского и Хмырова.

Я пользовался также документами архива Шлиссельбургской крепости, бумагами Архангельского губернского правления о брауншвейгских ссыльных, посетил Шлиссельбург, с «каменным мешком», казематом Иоанна Антоновича в Светличной башне, мызу Пеллу и родину Мировича.

Считаю долгом здесь привести объяснение на некоторые из более важных вопросов и замечаний, с которыми ко мне обращались во время печатания романа в журнале.

Знаменитый автор «Истории России», С. М. Соловьёв (т. XXV, 1875, стр. 93), допуская, что император Пётр III мог видеться с узником Иоанном Антоновичем, предполагает, что принца для этого привозили из Шлиссельбурга в Петербург и что это свидание могло быть 22 марта 1762 года. Профессор г. Брикнер, в статье «Император Иоанн Антонович» («Русский вестник», 1874 г.), приводя рассказы Кор-

фа и Бюшинга, Германна и Кастеры о «шлигсельбургском свидании» Петра III с принцем, называет эти свидетельства «шаткими и неосновательными», так как, по его словам, нет точных указаний о посещении Шлиссельбурга Петром III. Автор новейшей статьи о принце Иоанне в «Русской старине» (1879 года) говорит, что даже «о времени перевода Иоанна Антоновича в Шлиссельбург донныне нет точных сведений». У Сальдерна («Biographie Peters des Dritten»³²⁸, 1800, стр. 48—49) это свидание, кстати сказать, изображено с наибольшей достоверностью.

Мне в недавнее время удалось ознакомиться с неизданным архивным, официальным документом большой важности. Он называется «*Формуляр Шлиссельбургской крепости*». В нём я нашёл в точности обозначенным время (1756 год) «прибытия в Шлиссельбургскую крепость Брауншвейг-Люнебургского принца Иоанна Антоновича». Здесь же, под 1762 г., стоит отметка коменданта того времени: «18 марта (1762 года) изволил посетить эту крепость государь император Пётр III». Об этом я сообщил покойному С. М. Соловьёву за два месяца до его кончины.

Большинство исследователей не указывают места погребения принца Иоанна. Многие убеждены, что он похоронен в Тихвинском монастыре. Так, г. Семевский говорит: «Иоанн был погребён без церемонии в Тихвинском монастыре, ночью, в простом гробе, в матросском платье, и за-

³²⁸ «Биография Петра Третьего» (нем.).

рыт в ските одной из часовен» («Отечественные записки», 1866 г.). Башуцкий, долго бывший послушником в этом монастыре, говорит, что хотя он не слышал, чтобы там была могила принца, но что это «ничего не доказывает», так как убитого принца «могли похоронить там, не называя покойника». Мне привелось, при посещении Шлиссельбургской крепости и её Светличной башни, услышать предание о том, что принц Иоанн был похоронен в одной из казарм крепости, в подполье церкви св. апостола Филиппа. Другие удостоверяют, что он был погребён на холме, в так называемом «тампете», означаящем место, где в крепости помещался прежний собор св. Иоанна.

В *«Исторических бумагах, собранных академиком Арсеньевым»* помещены выдержки из документов «Канцелярии тайных розыскных дел» о приключениях посадского Ивана Зубарева, посланного из Берлина Фридрихом II (в то время воевавшим с императрицей Елисаветой Петровной), через посредство тогдашнего русского эмигранта известного Манштейна, – освободить принца Иоанна из Холмогор, в ту пору места заточения принца.

На основании этих и других данных, г. Пекарский в *«Биографии Ломоносова»* говорит об отношениях названного Зубарева к Ломоносову, уроженцу Холмогор, к которому ловкий посадский проник в Петербурге, вследствие порученного Ломоносову испытания сибирских руд, как потом оказа-

лось, тайно подделанных Зубаревым. Г. Пекарский замечает: «Для Ломоносова это дело осталось без последствий; но приключения Зубарева на этом не остановились, и судьбе угодно было, чтоб он, Зубарев, впоследствии был причиной одного из важнейших событий в жизни герцога брауншвейгского, содержавшегося, как известно, в Холмогорах». Зубарев, как агент Фридриха II, был пойман и дал свои показания в январе 1755 г., и в том же месяце последовало распоряжение о переводе принца Иоанна из Холмогор в Шлиссельбург, где последний в 1764 году и погиб.

Приведённые в романе новые оды Ломоносова, в честь младенца-императора, открыты академиком г. Куником в 1853 году в одном из редких печатных экземпляров «*Примечаний к ведомостям 1741 года*», откуда этих од не успели вырезать и сжечь в царствование Елисаветы, когда истреблялась всякая память о бывшем императоре Иоанне Антоновиче. Несправедливо было бы считать Ломоносова подстрекателем и даже чуть не сообщником Мировича лишь за то, что Ломоносов, встретив Мировича, *за два года до покушения последнего*, мог прочесть ему отрывки из этих од и, за его вопросы, рассказать ему кое-что из того, что, несомненно, в те годы волновало всех честных русских людей, ввиду безмолвной одиночной тюрьмы, в которой тогда – уже двадцатый год – томился принц Иоанн Антонович. Ломоносов был в то время центром и воплощением интеллигенции пробуждавшегося родного общества. Явившись в Россию в царство-

вание «дитяти-императора» – потом вечного, до кончины, узника, – он не мог равнодушно относиться к беседе о нём, особенно в правление мягкого нравом Петра III, решившего даже – на свою собственную погибель – освободить и приблизить к себе узника.

Ставить это в вину Ломоносову было бы так же странно, как если бы кто вздумал привлекать Пушкина к ответу в судьбе декабристов, по, поводу того, если бы Пушкин, разговаривая с кем-либо из них, как с случайным знакомым, за год и более до известной катастрофы, мог читать при этом свои стихотворения: «Узник», «К Овидию» или «Андрей Шенье». В Ломоносове, как и в Пушкине, живо отражались и воплощались все боли, все скорби и надежды родного ему времени и общества.

Критик одного журнала укорил меня, между прочим, за то, что так печально разыгравший роль освободителя Мирович мною изображён не с идеальной, а с реальной, и притом весьма низменной стороны. Я старался быть верным преданию и истории, которые именно рисуют Мировича самолюбивым, мало развитым и легкомысленным «армейским авантюристом» екатерининских дней, завистливым искателем карьеры, картёжником и мотом. Этот «патриот своего отечества», между прочим, на основании исследований графа Блудова в государственном архиве, давал «обет Николаю Чудотворцу – в карты более не играть и табаку не курить», если исполнится его предприятие об освобождении принца

Иоанна и о возвращении ему родовых имений, с повышением его «на службе и в чинах»... Критик другого журнала, напротив, сочувственно отнесясь к тому, что я не польстил Мировичу, нашёл в его изображении с моей стороны даже родственные черты с двоедушным сластолюбцем и извергом Каталиной. Зато этот критик усомнился, действительно ли молодые Державин, Новиков и Потёмкин играли в Екатерининском перевороте ту роль, которую я им приписываю. В этом я снова ссылаюсь на печатные источники и, между прочим, на собственный рассказ Державина о воцарении Екатерины – в его «Записках» (1871, стр. 426—436), на показание о том же Новикова Шешковскому в Шлиссельбургском каземате, напечатанное в книге Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» (1867, стр. 74), и на биографию Потёмкина в «Словаре достопамятных людей русской земли» Бантыш-Каменского (1836 г., ч. IV, стр. 197). Свидание Екатерины с принцем Иоанном в Пелле и посылка ею графа Строганова за себя на маскарад в Риге рассказаны в романе на основании преданий, сообщённых князем А. Н. Голицыным А. С. Норову и г. Сахарову, от которого об этом слышал Ив. П. Боричевский.

В европейской литературе существует ряд произведений, посвящённых памяти русского «царственного узника». Из них следует упомянуть о двух романах (есть и драмы). Во Франции, в 1825 году, издан украшенный гравюрами роман г. Роже де Сент-Ипполита «Ivan le VI ou la forteresse

de Schlüsselbourg»³²⁹. Этот роман мною прочтён, благодаря содействию известного нашего библиографа П. А. Ефремова. После выхода первой части романа «Мирович» я получил из Англии, через посредство книжного магазина г. Ретгера, изданный в 1870 г. английский роман о принце Иоанне «The secret Discpatch»³³⁰ (250 стр. в 16°, с гравюрой), принадлежащий г. Джемсу Гранту (автору другой новеллы «The romanse of war»³³¹). Оба эти произведения, передавая быль о Мировиче и его невольной жертве, повторяют басни Кастеры и других иностранных писателей о причинах убиения принца Иоанна. Более талантливо обработан английский роман «Секретная депеша» (похождение капитана Бельгони). Но и этот, как и французский роман, основан на полнейшем, часто изумительном незнании России и изобилует невероятными анахронизмами. Так, между прочим (на стр. 184), Шлиссельбургская цитадель, во время Мировича (1762—1764 года), оказывается укреплённою стараниями генерала Тотлебена. (Граф Тотлебен Семилетней войны не был инженером).

Прилагаю список с предсмертного, донныне нигде не изданного стихотворения Мировича об Иоанне Антоновиче, хранящегося в его бумагах. О нём упоминает императрица Екатерина в своей переписке по поводу суда над Мировичем.

³²⁹ «Иван VI, или Шлиссельбургская крепость» (фр.).

³³⁰ «Секретная депеша» (англ.).

³³¹ «Роман о войне» (англ.).

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МИРОВИЧА

О время, время преходящее,
В коем дни дней множат!»

*Появился, не из славных, козырной голубь,
длинноперистый;*

*Залетал, посреди моря, на странный остров,
Где, прослышал, сидит на белом камне, в тёмной
клеточке*

Белый голубок чернохохлистый...

Призывал на помощь Всевышнего Творца

И полетел искать себе товарища,

Выручить из клетки голубка;

Сыскал голубя долгоперистого,

Прилетел на Каменный остров;

А прилетевши к белому камню,

Они с разлёта разбивали своими сердцами

Тот камень и тёмную клеточку...

Но, не имея сил, заплакав, оттуда полетели

*К корабельной пристани, где, сидя и думаячи,
отложили,*

Пока случится на остров от моря погода, —

Тогда лететь на выручку к голубку...

Оттуда, простившись, разлетелись —

Первой в Париж, а второй в Прагу...

В. А. Соснора
ДВЕ МАСКИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ
ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

Версия первая:
СМЕРТЬ СУМАСШЕДШЕГО
И КАЗНЬ АВАНТЮРИСТА

*О время, время преходящее,
В коем дни дней множат!*

В. Миревич

1

Семнадцатого октября 1740 года в Петербурге скончалась императрица Анна Иоанновна. Она царствовала десять лет. Она прожила 46 лет. Великая княгиня Анна Леопольдовна была дочерью Карла-Леопольда, герцога Мекленбургского, и Екатерины Ивановны, дочери царя Ивана Алексееви-

ча, старшего брата Петра I. При крещении её нарекли Елизаветой-Екатериной-Христиной. В 1733 году она приняла православие и переименовала имя: стала Анной Леопольдовной. С 1722 года Анна Леопольдовна воспитывалась при русском дворе. Она была племянницей Анны Иоанновны. Анна Иоанновна её удочерила³³².

В 1739 году, в возрасте 21 года, Анна Леопольдовна вышла замуж за Антона-Ульриха³³³, принца Брауншвейг-Вольфенбиттельского. Антон-Ульрих был племянником Шарлотты-Христины, жены казнённого царевича Алексея, сына Петра I.

Двенадцатого августа 1740 года у Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха родился сын. Он был назван Иоанном. Иоанном Антоновичем. Итак, Иоанн Антонович – правнук Ивана Алексеевича³³⁴, правнучатый племянник Петра I.

Когда Иоанну Антоновичу исполнилось десять недель, племянница Петра I, императрица Анна Иоанновна, объявила его императором. Регентом при младенце-императоре был назначен Бирон.

Анна Иоанновна умирала.

³³² Известно, что жена английского посла леди Рондо, писала в одном из писем: «Дочь герцогини Мекленбургской взята императрицей вместо родной дочери...»

³³³ Бездетная императрица Анна Ивановна, имея намерение утвердить престол в своём роде, решила выдать дочь своей сестры за какого-нибудь иностранного принца и назначить своим наследником одного из детей от этого брака.

³³⁴ Иван V Алексеевич (1666—1696), русский царь, соправитель Петра. I в 1682—1696 гг., сын царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны.

Ей мерещились призраки, ей грезились кладбища и кошмары. 17 октября у неё отнялась левая нога. Она перепугалась, попросила ружьё, но не сумела выстрелить. Принесли бриллианты, но и бриллианты не развеселили умирающую. У неё начались судороги. Вечером 17 октября 1740 года Анна Иоанновна скончалась.

Все сословия России ненавидели Бирона. Ему нужен был официальный пост, поэтому Анна Иоанновна перед смертью разыграла комедию³³⁵. Императором стал двухмесячный ребёнок. Титул регента при нём создавал иллюзию законности диктатуры Бирона.

Но торжественный титул не спас Бирона.

Фельдмаршал Миних арестовал Бирона.

Переворот был прост.

Снег повсюду.

Восьмого ноября в два часа пополуночи фельдмаршал Миних, его адъютант подполковник Манштейн, три офицера гвардии и восемьдесят гренадёров пришли во дворец Бирона. Дворец спал. Часовые пропустили Манштейна. Бирона охраняло триста человек. Двери спальни были не запер-

³³⁵ Исторически неверно. Известно, что Бирон, стремясь стать регентом, лихорадочно собирая партию, внушил князю Черкасскому и Бестужеву уговорить императрицу, вырван согласие у Миниха, опасавшегося мщения герцога в случае выздоровления государыни, и направил всех троих к Остерману. Тот, разумеется, не счёл удобным одиноко противоречить всем. Остерман несколько раз обращался к умирающей с просьбой отдать регентство Бирону. Анна Иоанновна долго не соглашалась, а, согласившись и подписывая акт о регентстве, пророчески сказала Бирону: «Сожалеею о тебе, герцог, ты стремишься к своей погибели».

ты. Подполковник Манштейн и двадцать рядовых Преображенского полка открыли двери. Часовые ходили, удаляясь в тёмные коридоры дворца, делая вид, что их ничего не касается. Бирон услышал и забрался под кровать. Когда его вытаскивали, он истерически рыдал и проклинал всё на свете. Когда его вытащили, отяжелевший от слёз и от страха регент пустил в ход кулаки. Манштейн расхохотался и солдаты – тоже. С минуту он смотрел, как невозмутимый в обычных обстоятельствах и жестокий диктатор размахивает кулаками и мундиром с золотыми пуговицами. Потом – схватили, связали, завернули в шубу и унесли.

Миних привёз Анну Леопольдовну, и все ей присягнули. Ей было 22 года. Она стала правительницей Российской империи до совершеннолетия Иоанна Антоновича, сына. Антон-Ульрих стал генералиссимусом всех русских войск.

Ни Анна Леопольдовна, ни Антон-Ульрих ничего не знали о заговоре Миниха³³⁶. Он самостоятельно распределил награды. Кроме звания правительницы, Анна Леопольдовна полудала ещё орден святого Андрея и сама надела на себя этот орден.

Лишь 9 ноября, прочитав манифест о перевороте, государственные чиновники с изумлением обнаружили, что и они причастны к событию, и они получили награды и повышения.

³³⁶ Неточность. Анна Леопольдовна знала о намерениях Миниха. Её же супруг действительно не знал о заговоре.

Канцлер граф Андрей Иванович Остерман стал великим адмиралом. Князь Алексей Михайлович Черкасский стал великим канцлером. Граф Михаил Гаврилович Головкин стал вице-канцлером. Все стали великими. Зять графа Остермана сенатор Стрешнев был награждён орденом святого Александра Невского. Барон Менгден, президент коммерц-коллегии, тоже получил орден святого Александра Невского. Просто так – ни за что. Миних назначил самому себе награду в 200 000 рублей серебром и получил их. Он хотел стать генералиссимусом, но Антон-Ульрих успел предупредить его, и Миних стал первым министром.

Антон-Ульрих стал во всеуслышание говорить, что он хотел произвести переворот, а Миних, по хитрости, предвосхитил. Остерман мстил Миниху за то, что Миних – талантливее. Головкин глядел за Остерманом, чтобы занять его пост, Черкасский доносил на Головкина, – змеиный клубок вельмож. Миних получил отставку как раз накануне войны со Швецией, когда командовать армией никому, кроме Миниха, было не под силу. Он получил отставку и пенсию 15 000 рублей в год.

От имени Иоанна Антоновича публикуются указы, объявляется война, распоряжаются финансами империи.

Больше года империей юридически правит ребёнок. Он ещё только-только учится ходить по комнате, в его невнятном лексиконе пока только одно слово – «мама».

Но политические приёмы требуют присутствия. Петербург должен видеть своего императора. Петербург иллюминирован. По Невской перспективе церемониальным маршем идут индийские слоны. Их четырнадцать. Они взяты в Дели. Четырнадцать слонов и тридцать верблюдов. На мраморных спинах слонов – кружевные квартирки-будочки, там – посол Шах-Надира с миниатюрным гаремом для путешествий. То ли посол хочет установить дипломатические отношения с Россией. То ли хочет увезти для Шах-Надира Елизавету Петровну, великую княжну, будущую императрицу. Петербург пьёт и обсуждает характерные особенности и внешний вид больших животных: слонов ещё Петербург не видел. Этому сногсшибательному зрелищу устраиваются овации. Мелькают выстрелы и фейерверки. Слонов забрасывают цветами, живыми и искусственными. Петербург торжествует:

– Ура! Урра! Императора! Петербург хочет, чтобы император присоединился к всеобщему воодушевлению. Император присоединяется.

Вспыхивают все балконы дворца. На большом балконе – вельможи. Они улыбаются всеобщей улыбкой. Выносят драгоценный свёрточек с императором Разворачивают одиозное одеяльце и показывают народу ножку или ручку императора, маленькую, розовенькую и живую, чтобы все присутствующие убедились, что Иоанн Антонович не бестелесен, не куколка для игр в политические кошки-мышки, но – настоящее, самостоятельное существо, то же самое, которое изоб-

ражено на монетах в профиль и анфас. Все рады. Все рукоплещут.

Ровно через год и две недели, в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года, происходит очередной государственный переворот. Дочь Петра I Елизавета Петровна арестовывает внучку Ивана Алексеевича Анну Леопольдовну, мужа Анны Леопольдовны генералиссимуса Антона-Ульриха, их сына, императора Иоанна Антоновича.

Император Иоанн Антонович особенно опасен для дальнейшего благоденствия империи ему – год три месяца двенадцать дней.

Напрасно хитрили и мучили друг друга интригами вельможи. Миних, Остерман, Головкин, Черкасский были сосланы.

Елизавета Петровна издала манифест:

«Хотя Анна Леопольдовна и её сын Иоанн Антонович не имеют ни малейшей претензии и права к наследию всероссийскою престола, но из особливой к ним нашей императорской милости, не желая им причинять никаких огорчений, с надлежащей им честью и достойным удовольствием, предав все их предосудительные поступки по отношению к нам забвению, всемилостивейше повелели отправить их в их отечество (то есть в Брауншвейг)».

Император Иоанн Антонович «не имеет ни малейшего права» на престол. Но что подразумевать под правом: если генеалогический статут – Иоанн Антонович правнук вели-

ких царей, он имеет все права; если силовые приёмы, которые применила Елизавета, – то все права в таком случае – фикция, ни больше и ни меньше.

«Предосудительные поступки». Какие предосудительные поступки совершил пятнадцатимесячный мальчик по отношению к тридцатидвухлетней женщине?

«Особливая милость», «никаких огорчений», «с достойным удовольствием», «всемилоостивейше повелели».

Елизавета подписала манифест об отправке Иоанна Антоновича в Брауншвейг. Она сама расписалась в неприкосновенности его личности. Но расписки расписками, а дело делом.

Иоанна Антоновича отправляют из Петербурга. Всю семью.

Двенадцатого декабря 1741 года мальчика-императора отправляют из Петербурга в замаскированных кибитках, под конвоем. Маршрут: Нарва – Рига – Кенигсберг – Брауншвейг. Такой маршрут официально сообщают газеты. Но это – лишь для общественного мнения, для огласки. Она пообещала – она исполняет.

Кибитки благополучно минуют первый пункт – Нарву.

Но уже во втором пункте – Риге – этот караван осторожно останавливают.

Девятого января 1742 года Иоанна Антоновича поселяют в Риге, в маленькой каменной казарме. В смежных комнатах расквартировывают множество полицейских. Официальным

надзирателем над ребёнком ехал В. Ф. Салтыков³³⁷, один из свиты Елизаветы. Но и к Салтыкову она подселила нескольких негласных агентов Тайной канцелярии. Вот как выглядели клятвы императрицы, «особливая милость», «никаких огорчений».

Блокада. Тюрьма. Полицейские.

На всех заводах уничтожают и переплавляют монеты с профилями и фасадами Иоанна Антоновича. Медали с его изображением отнимают у ветеранов и переплавляют на монетном дворе. Тысячи манифестов, официальные бумаги, всю государственную писанину пересматривают педантичные представители Тайной канцелярии. Каждая бумажка, в которой упоминается имя Иоанна Антоновича, – в канцелярские костры! Пусть его имя превратится в пепел, пусть полиция пепел рассыплет, никакой памяти, всё – забвению.

Прошло восемь месяцев. Июль 1742 года. Заговор Турчанинова.

Камер-лакей Турчанинов, прапорщик Преображенского полка Ивашкин, сержант Измайловского полка Сновидов.

Мотив заговора: Елизавета не выполнила обещания по отношению к Иоанну Антоновичу. Император не в Брауншвейге, на родине своих родителей, а все они в Риге, в тюрьме.

³³⁷ По-видимому, имеется в виду Василий Фёдорович Салтыков (ум. 1755) – граф, генерал-аншеф. При Анне Иоанновне сенатор, генерал-полицмейстер в Петербурге, генерал-адъютант.

ме³³⁸. Елизавета обманула Россию, а следовательно, смертельно оскорбила все сословия. Начало её царствования – обман. Что же дальше?

План действия: убийство Елизаветы, престол – вернуть Иоанну.

Результаты заговора: Турчанинову вырвали язык и ноздри, Ивашкину и Сновидову – только ноздри. Всем троим – кнуты и Сибирь.

Июль 1743 года. Заговор Лопухина. Подполковник Лопухин, тринадцать заговорщиков. Им обещает помочь австрийский министр, посол маркиз де Бота³³⁹. Мотивы заговора: те же, что и у Турчанинова. План действий: тот же. Результаты: те же. Четверым вырывают языки, – в Сибирь. Двоим кнуты, двоим плети, – в Сибирь. Трёх переводят из гвардии в пехотные полки, из дворцовой гвардии – в простую пехоту. Одного ссылают в саратовские деревни. Самое странное на-

³³⁸ В деле о камер-лакее Турчанинове и других лицах, осуждённых за намерение лишить престола императрицу Елизавету читаем: «...с чего он, Турчанинов, лейб-гвардии каптенармусу Парскому (который о том злом умысле доносил) говорил такие речи: принц-де Иоанн был настоящий наследник, а государыня-де императрица Елисавета Петровна – не наследница, а сделали-де её наследницею лейб-компания за винную чарку, и чтоб тот Парский собрал партию человек в триста или больше, и с тою бы партиєю идти во дворец и государыню императрицу свергнуть с престола, а принца Иоанна возвратить и взвести на престол по-прежнему».

³³⁹ Ботта-де-Адорно Антоний (1693—1745) – австрийский генерал-фельдмаршал-лейтенант, камергер. Посланник в России в 1737, 1738—1740 и 1740—1742 гг., тосканский посланник в России (1742—1744).

казание получает подполковник Лопухин, душа и вождь заговора. Его разжаловали в матросы (?) и отправили на Камчатку.

Добровольного помощника маркиза де Ботта австрийская королева Мария-Терезия³⁴⁰ посадила в замок Грац.

Эти заговоры не имели никакого значения для благосостояния империи. И императрицы. Они никак не повлияли ни на маскарады Елизаветы, ни на парики, ни на её кухню, ни на урожай страны. Тайная канцелярия оперативно ликвидировала опасность.

Заговор Турчанинова – вообще миф, состряпанный Тайной канцелярией, чтобы хоть как-то оправдать своё существование, потому что после ссылки всех высокопоставленных вельмож прошлого царствования полиция бездействовала. Кто-то был в кабаке, кто-то что-то сказал, – вот и готово дело. Суд, смерть.

Заговор Лопухина – никакого заговора, пошлость. Жена генерал-кригс-комиссара, Лопухина³⁴¹, была любовницей

³⁴⁰ После кончины австрийского императора Карла VI (1740), на престол вступила его дочь Мария-Терезия (1717—1780).

³⁴¹ Лопухин Степан Васильевич (умер 1748 г.) – генерал-лейтенант, действительный камергер, член Адмиралтейств-коллегии, кригс-комиссар по морской части (1740), губернатор в Астрахани (1742). Сослан в Сибирь в 1743 г. Степан Васильевич Лопухин был двоюродным братом Евдокии Лопухиной – первой жены Петра I. В 1817 г. Лопухин женился на Наталье Фёдоровне Балк, дочери генерал-лейтенанта и кавалера Фёдора Николаевича Балка.

маркиза де Бота³⁴²; красавица Бестужева – сестра графа Головкина³⁴³, которого сослали; её муж был братом государственного канцлера Бестужева-Рюмина. Она говорила повсюду, что Головкина сослали несправедливо. Отомстить ей было немыслимо – нужно было арестовывать весь двор. Арестовали сына Лопухиной, подполковника Лопухина, и его подчинённых. Мария-Терезия была в курсе всех событий. Только из политики она арестовала де Бота³⁴⁴. Он жил в замке Грац ничуть не хуже, чем в Петербурге, и через несколько недель был назначен главнокомандующим армии, действующей в Италии.

Заговоры не напугали Елизавету. Она их совершенно определённо мистифицировала. Раньше не было причины притеснять Иоанна Антоновича. Елизавета «заподозрила» заговоры в его пользу – теперь причина появилась. Во всеуслышание императрица объявляет, что потенциальным

³⁴² Автор допускает неточность. Лопухина не была любовницей де Ботта. Известна её глубокая привязанность к Левенвольде. «Мне сделала визит после родов первейшая красавица столицы, госпожа Лопухина, – пишет леди Рондо к приятельнице в Лондон, в 1738 году, – это жена здешнего вельможи, которого вы должны были встречать в Лондоне. Госпожа Лопухина... племянница Анны Монс... находится в связи с графом Левенвольде и очень верна ему».

³⁴³ Графиня Анна Гавриловна Бестужева, разделившая по делу 1743 г. судьбу Лопухиной.

³⁴⁴ Мария-Терезия убеждена была в невинности своего посланника, но чтобы угодить петербургскому двору, от дружбы которого зависело многое, если не всё для австрийского правительства, королева приказала нарядить следствие над Боттою.

вдохновителем бунтов является Иоанн Антонович.

Заговоры пустяковые: три простолюдина, один подполковник-повеса, который узнал, что он вождь восстания, лишь в тюрьме, и сочувствующий всем им, как всякий нормальный человек, кстати сказать, – австрийский министр-идеалист.

Беспокоиться нечего. Но есть возможность ещё дальше убрать Иоанна. Пусть ему три года – он претендент.

Елизавета опять играет: она сообщает своим двенадцати гренадёрам, что её священная жизнь в опасности. Свои светлые волосы она перекрашивает в чёрный траурный цвет. Она заставляет перекрасить волосы в цвет траура всех фрейлин и всех новых невест из Правительственного Кабинета Двенадцати Гренадёров. Она пишет специальный манифест (всё о волосах!). Манифест публикуют петербургские и московские газеты.

Отечество в опасности! Автор опасности – трёхлетний мальчик. Его нужно изолировать. Пусть поблуждает по тюрьмам до совершеннолетия, пусть поумнеет, а потом – посмотрим.

Начинается лихорадка: поиски изоляторов. Тринадцатого декабря 1743 года Иоанна перевозят в крепость Дюнаминде.

Это ещё не так далеко и не надёжно. Через полтора месяца Иоанна переправляют в Раненбург. Это ещё досягаемо.

Двадцать седьмого июля 1744 года Елизавета пересылает указ барону Н. Корфу, полицмейстеру Петербурга. Указ гла-

сит: «Переправить Иоанна в Соловецкий монастырь».

В сентябре переправляют. Четырёхлетнего человечка везёт капитан Пензенского полка Миллер. Конвой – двести солдат с заряженными мушкетами.

Распутица. Дождь. Холод. Лошади вязнут и тонут в болотах. До Соловецкого монастыря не добраться.

Девятого ноября они останавливаются в Холмогорах. И останавливаются там на двенадцать лет. Итак, вместо Брауншвейга – тундра, сектанты, рыбаки, комары, болота, морошка, отдельный деревянный домик.

– Хорошо ли жить ему? – радостно беспокоится Елизавета.

– Замечательно! – в письменной форме отвечают полицейские. – Он уже потихоньку читает Библию, цитирует наизусть тексты псалмов Давида и Асафа³⁴⁵, смотрит не намотрится на северное сияние. Просит прислать серебряную посуду.

Елизавета посылает посуду и обращается к своему фавориту А. Г. Разумовскому:

– Вот, пожалуйста! Все сплетничают о недопустимых условиях Севера. Он ест на серебряной посуде, как самый настоящий принц!

Он ел на серебряной посуде: солёную треску, винегрет из ревеня и турнепса и котлеты из тюленины.

³⁴⁵ Асаф – «прозорливец», начальник певцов и музыкантов времён царя Давида. Ему принадлежит 12 псалмов.

Двенадцать лет одного ребёнка охраняла целая «секретная комиссия», сто тридцать семь человек!

Вот состав «секретной комиссии»:

1. Военный караул – 14 военных чинов и 17 вдов;

2. Придворные официалисты – 1 мундкох; 1 мундшенкский ученик, 1 тафельдекерский ученик, 1 подлекарь, 6 вдов;

3. Мореходы – 13 матросов первой статьи, 9 матросов второй статьи, 1 подлекарь, 2 подштурмана, 1 писарь, 1 штурманский ученик, 2 квартирмейстера, 4 канонира, 7 мушкетёров, 3 камердинера, 1 кормилица, 2 поваренных ученика, 1 мундкох, 14 вдов;

4. Штатная команда – 29 человек, 6 приказных и канцеляристов, 9 вдов.

Сорок шесть вдов?! два подлекаря! и два повара (мундкох)!

В какой роскоши жили эти 137 полицейских, свидетельствуют документы из канцелярии тогдашнего архангельского губернатора, генерал-поручика П. П. Коновницына.

Анна Леопольдовна умерла в 1746 году в Холмогорах. Ей было 28 лет.

Через десять лет, в 1756 году, из 137 полицейских осталось в живых лишь 62! Остальные умерли от голода и от цинги. Они не просили сверхъестественных милостей у Елизаветы. Их послали насильно, они добросовестно исполняли свои обязанности – держали Иоанна в тюрьме, они за свою принудительную работу просили совсем немного, пустяки –

хлеба!

В канцелярии Коновницына сохранилось 42 прошения, написанных 62 живыми и 75 ныне мёртвыми охранниками.

Они писали:

«Всемиловитейшая государыня! Матерь отечества! Воззри милосердным оком на наше бедное состояние и благоволи, из монаршиего своего милосердия, высочайше' повелеть нам, всеподданнейшим, в рассуждении означенных недостатков и дороговизны хлеба к получаемым ныне тридцати рублям наградить ещё чем-нибудь».

Двенадцать лет они караулили ребёнка и умирали.

Двенадцать лет Иоанн просидел в Холмогорах и сошёл с ума.

В 1756 году сержант лейб-кампании Савин переправил Иоанна в Шлиссельбург. Тайно. Совершеннолетие настало. Теперь – пусть поближе к столице, непосредственный контроль и присмотр.

Тайная канцелярия, граф А. И. Шувалов³⁴⁶ писал коменданту крепости полковнику Бередникову:

«В ту казарму никому, ни для чего не входить. Чтобы арестанта никто видеть не мог. Арестанта из казармы не выпускать. Когда кто впущен будет к нему для убирания в казарме всякой нечистоты, тогда арестанту быть за ширмами, чтобы его видеть не могли. Без особого приказа Тайной канцеля-

³⁴⁶ Александр Иванович, Граф Шувалов (1710—1771), граф (1746), генерал-фельдмаршал (1761).

рии не впускать в крепость никого».

2

Шлиссельбург.

Опять одиночка.

Крепость, церковь, крест, колокола, офицеры караула, какие-то коменданты. Одно зарешёченное окошко, забрызганное чёрной масляной краской, железная койка, табурет, Библия, деревянный люк в полу – уборная. В блюдечке – свеча, над свечой трепещет ночная бабочка, вот и бабочка прилетела, потрепетала и уснула, на подоконнике, что ли, – живое существо.

Ещё восемь лет заключения.

В 1764 году Иоанну было 24 года, он просидел в тюрьмах уже двадцать лет.

Естественно, император был болен. Вши и нечистоты, от тюремной пищи – рахит. Двадцать лет он ни с кем не разговаривал, запрещалось – и ему, и с ним. Он говорил только с самим собой, заговаривался. Он говорил невразумительно, сильно заикался.

Искалеченный двадцатью годами тюрьмы. У него отваливалась нижняя челюсть, когда Иоанн что-нибудь пытался попросить у караульных, – так сильно он заикался.

Естественно, Иоанн перестал быть человеком в настоящем смысле этого слова, – просто существо, оно. Рыжево-

лосый, с белым нежным лицом, он был больше похож не на двадцатичетырехлетнего юношу, а на девушку-монахиню; он ещё ни разу не брился – ни усы, ни борода у него совсем не росли.

Несчастный дегенерат; ничего удивительного – таким его сделали исключительные условия жизни, если этот кошмар животного существования можно назвать жизнью. Пещера с решётками, свеча-огонёк, полусырое мясо.

Теперь о наследственности.

Группа историков «Русской старины» (XIX век, журнал по истории России) девять лет (1870—1879) занималась беспристрастным исследованием документов семьи Иоанна Антоновича.

Вот объективные выводы.

Причины многих важных исторических событий заключались в болезненном состоянии отдельных личностей, в руках которых находились судьбы государства. Так, сыном слабоумного Клавдия был Нерон – свирепый мономан³⁴⁷. Сыном Иоанна Грозного, страдавшего, как и Нерон, припадками мономании, был слабоумный Фёдор. В династии французских Меровингов³⁴⁸ почти все короли были идиотами. Примеры наследственного помешательства находим мы в ис-

³⁴⁷ Мономания – помешательство на каком-либо одном, предмете, мысли и т. п., например, мания преследования, величия.

³⁴⁸ Меровинги – первая королевская династия во французском государстве (ок. 430—751).

тории шведского королевского дома Вазы, в истории ганноверско-английского дома и у Габсбургов. История испанского королевского дома особенно поучительна. Вот потому-ки королевы Изабеллы и Фердинанда Католика³⁴⁹: их дочь, Иоанна Безумная, вышла замуж за эрцгерцога Фердинанда Австрийского. От этого брака (Иоанна – помешанная, Фердинанд – глупец и эротоман) родился император Карл V³⁵⁰. Он сошёл с ума. Его сын Филипп II был кровожадным фанатиком. Но что такое фанатизм, если не то же сумасшествие? Сын Филиппа II – инфант дон Карлос – с детства страдал припадками помешательства.

Краткий очерк всемирной истории. Теперь – конкретно.

Иоанн Антонович – правнук Ивана Алексеевича (1666—1696). Иван Алексеевич – брат Петра I. В истории его называют «царь Иван».

«Царь Иван был от природы скорбен головой, косноязычен (заика), страдал цингой, плохо видел.»

Жена царя Ивана, царица Прасковья Фёдоровна, выросла в предрассудках и суевериях, грамоте была обучена довольно

³⁴⁹ Изабелла (1451—1504), королева Кастилии с 1474. Брак Изабеллы в 1469 г. с Фердинандом, ставшим с 1479 года королём Арагона, привёл к династической унии Кастилии и Арагона (фактически к объединению Испании).

³⁵⁰ Карл V (1500 – 58), император Священной Римской империи (1519—1556), король Испании (1516—1556) под именем Карла I из династии Габсбургов. Карл V возглавил борьбу с Реформацией и вёл ряд войн: с Францией за господство в Италии, с Турцией, с протестантскими князьями; после Аугсбургского религиозного мира (1555) отрёкся от престола.

плохо, хитрость и вкрадчивость заменяли ей ум, страдала припадками бешенства.

Дед Иоанна Антоновича Карл-Леопольд был известен по сварливому, вздорному и беспокойному характеру, был слабават умом.

Бабка – царевна Екатерина Ивановна – могла служить типом пустой избалованной барышни. Все умственные способности её, от рождения слабые, были подавлены ещё в юности одной чувственностью.

Отец – Антон-Ульрих – не кончил полного курса наук. Белолицый, подслеповатый, золотушный, очень робкий.

Сестра Иоанна Антоновича, Екатерина³⁵¹, сложения большого, чахоточного, несколько глуха, говорила немо и невнятно, одержима болезненными припадками.

Вторая сестра, Елизавета, подвержена частым головным болям, страдала помешательством в 1777, но после оправилась.

Брат – Пётр – имел спереди и сзади горбы, кривобок, косолап, страдал геморроидальными припадками, прост, робок, застенчив, молчалив, до обмороков боится вида крови.

³⁵¹ Екатерина Антоновна, великая княжна, принцесса (род. в 1741 г.). Дожила свой век в одиночестве и горестном состоянии. Пережив всех своих родных (сестра Елизавета скончалась после жестокой болезни, в октябре 1782 г., брат Алексей – в октябре 1787 г., брат Пётр – в январе 1798 г.), оставшись одна, Екатерина пожелала возвратиться в Россию и поступить в монастырь. С этой целью она в 1803 году препроводила письмо к императору Александру I, которым просила о дозволении ей «постричься в монахини». 9 апреля 1807 г. она скончалась и была погребена в Горзенсе, там же, где сестра её и братья.

Второй брат – Алексей – *совершенное подобие своего брата в физическом и нравственном отношении*».

Комиссия по генеалогии обобщает:

«Достаточно, наконец, взглянуть на силуэты этих несчастных, чтобы по профилям, по неправильной форме голов их догадаться о врождённом их слабоумии. Болезненное состояние Иоанна Антоновича само по себе не только лишило его всяких прав на престол, но едва ли могло допустить и самостоятельное пользование правами простого гражданина».

Это – синтез и анализ через сто пятнадцать лет.

То же пишут и современники.

Овцын, комендант Шлиссельбургской крепости, доносил:

«Май 1759 год.

Он (Иоанн Антонович) в уме несколько помешался.

Июнь 1759 год.

Видно, что сегодня гораздо более помешался прежнего.

Апрель 1760 год.

Арестант временами беспокоен».

Капитан Данила Власьев и поручик Лука Чекин, непосредственные представители Тайной канцелярии, надзиратели, показывали на суде:

«Ни единого нами не замечено момента в течение восьми лет, когда бы он настоящим употреблением ума пользовался».

Екатерина писала о Власьеве и Чекине, и писала справед-

ливо, как о «двух честных и верных гарнизонных офицерах». Восемь лет они ежедневно общались с узником и ни разу не услышали от него ни единого умного слова.

Им можно поверить. Им нет смысла лгать. Их служебная совесть чиста.

Власьев и Чекин постеснялись рассказывать на суде подробности помешательства Иоанна. Слишком вопиющие факты идиотизма компрометировали всю царскую семью. Но впоследствии, в домашней обстановке, они рассказывали следующее. Молва распространила их достоверные рассказы по всей России.

Иоанн Антонович никогда не видел солнца. Пыльная камера, мутные свечи. Прогулок по тюремному двору ещё не существовало.

Он одичал. Его все боялись, – он делал невесть что. Если бы его связали, его судьба была бы получше. Екатерина слишком снисходительна к узнику. По приказу императрицы Власьев и Чекин должны были выполнять все желания Иоанна. Все претензии.

Он панически боялся воды и не мылся. Помыть его – мучка. Волосы перепутались на его голове и стали как ненастоящие, какой-то рыжий, красноватый парик.

Голубые крошечные глазки прятались в путанице волос. Нос у него красный, в склеротических прожилках, он поминутно вытирал нос рукавом, и от этого рукав стал как стеклянный.

Он кричал по ночам. Он требовал любви, то есть женщин. Власьев и Чекин трепетали перед Иоанном: зажигали свечи и молились, а при свете свечей у него – не лицо, а оскаленный череп, так просвечивали кости сквозь тонкие, как перламутровые, щёки. Ничего удивительного: Иоанн двадцать лет не дышал свежим воздухом.

Читать он не умел, сколько его ни учили. Он запомнил какую-то молитву и шептал её постоянно, задыхался, челюсти сводили судороги, он плакал.

Он грыз ногти и заусенцы. Он ел мыло. Он бросался на всех, под утро, хихикая хитренько, выламывал дверные ручки.

А по ночам он ходил со свечой в матросской шинели и в вязаном колпаке (дурацком!) и ловил крыс. Он вывешивал крыс на решётки окна, как игрушки, и – хохотал, а потом только – спал.

Ничего не поделаешь: Власьев и Чекин снимали крыс, выбрасывали трупики в Неву.

Он хорошо ловил мух и давил их на листе белой бумаги, а потом расклеивал листки по стенам камеры и любовался, как красивыми картинками.

У него было всего несколько зубов, и проваленный рот никогда не закрывался.

Там, где висит икона, в левом углу темницы, он разводил пауков и объяснял с весёлой усмешкой своим полицейским, что пауки – самые питательные существа на земле, что ему

не хватает жиров, – и бросал пауков в свои и без того жирные щи. Власьев и Чекин выхватывали пауков из щей – деревянными ложками, чтобы дурачок не отравился.

Он был совсем слаб, после очередного приступа бешенства он лежал несколько дней и не вставал, так ослабевал.

Исполнительные мученики, Власьев и Чекин сдерживали слёзы страха и сострадания, восемь лет издевательств этого так называемого императора.

Теперь по достоинству можно оценить беспристрастие Екатерины. Ведь она читала донесения. Она слышала об Иоанне.

Используя показания Власьева и Чекина, донесения Овцына и вспоминая свою страшную аудиенцию с самим Иоанном (Екатерина встречалась с Иоанном в 1762 году, в доме А. И. Шувалова³⁵², чтобы удостовериться, действительно ли так невменяем юноша-император, как о нём говорят, может быть, он ещё может быть полезен государству и обществу хоть в какой-нибудь деятельности? Аудиенция потрясла и расстроила императрицу – так безумен, так болен был Иоанн, когда его привезли к Шувалову в закрытой карете), анализируя допросы свидетелей, свои личные впечатления и

³⁵² Историк В. Бильбасов сообщает, что свидание могло произойти в один из девяти дней, от 14 по 23 августа 1762 года. «Екатерина говорит, между прочим: «Мы увидели в нём, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычия, лишение разума и смысла человеческого». Правда ли это?» – пишет В. Бильбасов в своей книге «Иоанн Антонович и Миревич» (М., 1908).

слухи, Екатерина написала объективное объяснение смерти Иоанна Антоновича:

«Кроме косноязычия, ему самому затруднительного и почти невразумительного другим, он решительно был лишён разума и смысла человеческого. Иоанн не был рождён, чтобы царствовать. Обиженный природою, лишённый способности мыслить, мог ли он взять скипетр, который был бы только бременем для его слабости, оружием его слабоумных забав?»

Бильбасов писал:

«Таков был Иоанн Антонович. Безвинный, безобидный для общества, ни на что не способный, он родился, жил и умер коронованным мучеником деспотизма. С колыбели до могилы, в течение двадцати четырёх лет, он всегда был только слепым бессознательным орудием политических страстей: никто не хотел в нём видеть человека, для всех он был политическим «фантомом». Он был и убит потому только, что появился какой-то подпоручик, избравший его орудием своих честолюбивых замыслов».

3

Подпоручику пехотного Смоленского полка Василию Яковлевичу Мировичу было двадцать четыре года. Как и императору Российской империи Иоанну Антоновичу.

Предыстория Мировича пустая.

Екатерина писала:

«Он был лжец, бесстыдный человек и превеликий трус. Он был сын и внук бунтовщиков».

Действительно, дед Мировича, переяславский полковник Фёдор Мирович, был (не бунтовщиком) предателем. Он предал Петра I, присоединился к Мазепе и с войсками Карла XII ушёл в Польшу. Отец – Яков Мирович – несколько раз был в Польше, тайно. Был сослан в Сибирь. За Польшу и за связи. Все наследственные именья Мировичей (правда, небольшие) конфисковала Тайная канцелярия. Род Мировичей не был ни знаменит, ни влиятелен. Как-то известен в пределах Украины был дальний родственник Мировичей, полковник Полуботок. Он тоже оглядывался на Польшу. Семья Мировичей попала в Сибирь. Полуботок – в крепость, в кандалы. Так бесславно окончились претензии этого рода.

Мирович – мечтатель. Он пишет письма.

Он пишет письма императрице Екатерине II, в которую после переворота были влюблены все офицеры гвардейских, конных и пехотных полков. И Мирович влюблён. Всех награждают, всех повышают, повсюду – пир, а подпоручик нищ. И он участвовал в перевороте, но не познакомился с вождями, он всем сердцем был со всеми и два дня – 28 и 29 июня 1762 года – ходил с обнажённой шпагой и на каждом перекрёстке обнимался с кем попало, со всеми пил и торжествовал.

Потом все просили поощрения и получили кое-что. Ми-

рович – ничего. Его даже не принимают в гвардию, не потому, что нищ, хотя и поэтому, но и потому ещё, что – опальная фамилия. А все опальные каллиграфически записаны в Книгу Судеб – в секретные списки Тайной канцелярии. Тайной канцелярией теперь заведует Никита Иванович Панин, сенатор, действительный тайный советник, кавалер, первый франт петербургской полиции. Кем он был до Екатерины? Никем. Мальчиком на побегушках в иностранных миссиях. Вовремя возвратился из Швеции, стал воспитывать цесаревича Павла, попался на глаза после переворота, и теперь в его холёных, женственных руках, окольцованных бриллиантами, – все списки, все судьбы.

Мирович просит императрицу: пусть возвратит ему хоть несколько крошечных поместий его фамилии, он займётся усовершенствованием хозяйства, он заплатит государству втрое, он останется служить, а служит он лучше всех, вот и характеристики, писал их не кто-нибудь, а полковник Смоленского полка Пётр Иванович Панин. Он, Мирович, не виноват, что его родители – предали, сам-то он – честен и ненавидит родителей за прошлое, ему не нужны ни слава, ни счастье – хоть как-то устроиться с деньгами, а служба – сама пойдёт!

Безответные мольбы.

Он служит в простом пехотном полку и занимается текущими офицерскими делами: молодёжь – пьянствует.

Он играет в карты, но не умеет, проигрывает последние

копейки. Питается в дешёвых трактирах, живёт где попало, кто пустит, а завтра – будет завтра.

Ничего судьба не сулит. Ничего он не умеет делать. Нигде он не учился. Никакую службу не любит. В отставку не уйти – некуда податься, если только в Сибирь, в Тобольск, к родителям.

Девятнадцатого апреля 1763 года Мировича вызывают в канцелярию полка. Вестовой сообщает: на петициях господина подпоручика появилась резолюция. Резолюцию написала сама императрица.

Мирович опрометью бросается в парикмахерскую. Предчувствия одно другого восторженнее... Парикмахер бреет его светлую щетину, поддвигает горячими щипцами парик (совсем запущенный) и припудривает парик серебрястой пудрой. Мирович подмигнул себе в зеркало: юноша, двадцать три года, смуглое цыганское лицо, парик – серебрится! Прощай, жизнь-жуть! Здравствуй, жизнь-надежда! Пусть парикмахер почистит ему ботфорты. Парикмахер посопротивлялся, а потом почистил ботфорты, как отлакировал.

Мирович влетает в полковую канцелярию и хватает своё письмо. Резолюция написана красными чернилами. Глаза слезятся. Поперёк пространных жалоб и просьб подпоручика – одна фраза: «Детям предателей Отечества счастье не возвращается».

Надеяться больше не на что. Императрица помнит свои резолюции, а Тайная канцелярия фиксирует их. Нужно что-

то делать.

Но что может предпринять подпоручик пехотного полка? Он опять пьёт. И проклиная весь род людской.

Тогда трактиры были демократичны. «Съестной трактир город Лейпциг». Там пили и фельдмаршалы, и барабанщики. Знакомство с фельдмаршалами не сулило ничего хорошего – лишь насмешки собутыльников. Знакомство с барабанщиками – определённые знания закулисной политики, полезные для продвижения по службе. Барабанщики в качестве музыкантов присутствовали на многих государственных церемониях, недоступных простым пехотным офицерам.

Двадцать четвёртого октября 1763 года Мирович услышал от барабанщика Шлиссельбургского гарнизона новость, в Шлиссельбургском каземате, в камере-одиночке, сидит «безымянный колодник номер первый». Так его называют официально.

Барабанщик пьян и хвастается своей эрудицией:

– Кто он, «номер первый»? Не знаешь? Кто бы мог подумать! Ну, признавайся, кто это? Какой квас! – восхищается сам собой вдребезги пьяный барабанщик.

– Не знаю и не думаю, – чистосердечно признался Мирович.

Барабанщик оглянулся, посмотрел, как будто поправляя суровый ус – левый и правый, – и сказал счастливым голосом Архимеда:

– Безымянный колодник номер первый – на самом деле

не кто-нибудь, а сам император Иоанн Антонович! – воскликнул изо всех сил барабанщик, упал головой в тарелки и уснул, улыбаясь, а суровые усы солдата разметались по всему лицу.

Про Иоанна Антоновича ходили опасные слухи. За слухами охотилась Тайная канцелярия.

Мирович перепугался. Потихоньку, осмотрительно подпоручик выбрался из трактира, опустив глаза; гвалт, гул, пьяные ораторы и оратории, охапки пивной пены – всё позади, Мирович побежал.

Он бежал через мост (куда-то!) быстро-быстро, не касаясь перил, потом остановился, оглянулся – никого, – ни на мосту, ни на всём свете! Вечерело.

Шёл дождик, парик промок, был вечер, на Неве шаталась баржа с углём, на барже суетились, как чёртики, крохотные фигурки грузчиков-солдат.

Руки замерзли. Мирович вспомнил, что позабыл перчатки, зелёные, замшевые, выронил в трактире или украли, – ну и пусть!

В брезжущем вечернем воздухе летали дождевики, совсем невидимые и незаметные, как иголки.

Шлиссельбургская крепость мутно просматривалась в дождевой завесе, там, в устье Невы.

Мирович рассмеялся.

Уже были заговоры.

Уже был заговор Петра Хрущёва, трёх братьев Гурьевых.

Они уже попытались освободить Иоанна. Но не успели. Их было слишком много: тысяча офицеров и солдат. На тысячу человек всегда найдётся десяток агентов Тайной канцелярии.

Сенат. Приговор – смерть.

Но императрица заменила смертный приговор публичным ошельмованием. Ошельмовали и сослали на Камчатку.

Это было 24 октября 1762 года. Фатум: сегодня 24 октября 1763 года. Жребий брошен: или всё, или ничего.

К оружию! К действию!

Оружие – одна шпага. Действующее лицо – один подпоручик.

Мировича лихорадит. Он ищет сообщников. Немного. Хоть нескольких.

Он спрашивает офицеров, сослуживцев. Отклика – нет. Все смеются. Все думают: его вопросы – пьяный бред.

Мирович не понимает, как он смешон. Денег – нет, связей – никаких, авторитет – лишь застольный, чин подпоручика – сомнителен для организации батальонов восстания; Мирович – вождь несостоятельного государственного переворота, над ним смеются товарищи по оружию, на него даже не доносят в Тайную канцелярию, так бессмысленна, так бессистемна его болтовня.

За что же он борется? Какова его программа?

Впоследствии, на суде, Мирович диктует Никите Панину все свои претензии по пунктам. Офицерское самолюбие.

Офицерские формулы. Программа плебея. Вот пункты:

1. В те комнаты, где присутствовала императрица, допускались только штаб-офицеры. Мирович мечтает, чтобы и его допустили, чтобы и он присутствовал.

2. Императрица посещала оперу. Туда допускались только любимцы Екатерины. Мирович мечтает стать любимцем Екатерины. Он хочет ходить в оперу.

3. Штаб-офицеры недостаточно уважали его, Мировича, когда приходилось сталкиваться с ним по служебным обязанностям. Он мечтает, чтобы штаб-офицеры достаточно уважали его.

4. Императрица не возвращала ему имения фамилии. Надо вернуть.

Четыре пункта, объясняет Мирович на суде, – первопричина бунта. Но пункты ничтожны и пошлы.

Вольное честолюбие, дешёвое фрондёрство – присутствовать там, где присутствуют любимцы власти. Жажда обожания.

Но эти объяснения – для суда, трусливые объяснения – для помилования.

Это – офицерская обида. Потом, когда суд принимает всё более ответственный и серьёзный характер, Мирович проговаривается.

Граф Никита Панин спросил Мировича мягко, поигрывая перстнями, охорашивая холёными пальцами парик:

– Для чего вы предприняли сей злодейский умысел?

Мирович сказал быстро, и цыганское лицо его побледнело:

– Для чего, граф? Чтобы стать тем, кем стал ты, дубина!

Вот программа Мировича. Не пустяки. Стать первым министром, великим вельможей, а там – и генералиссимусом. Если Иоанн Антонович при помощи Мировича станет императором, «генералиссимус Мирович» – зазвучит не так уж плохо!

Мирович с пафосом писал перед казнью:

«Я желал получить преимущества по желаниям и страстям».

Писатель Г. П. Данилевский писал о Мировиче. Его романы были опубликованы в конце XIX века. Он писал:

«Я старался быть верным преданию и истории, которые рисуют Мировича самолюбивым, мало развитым и легкомысленным «армейским авантюристом», завистливым искателем карьеры, картёжником, мотом».

Да. У Мировича – самомнение. Он неврастеник. В его судьбе нет никаких предпосылок власти, он её жаждет.

Своим птичьим умом он размышляет:

«Что такое государственный переворот? Пустяк, меланхолическое шествие с барабанным боем, не нужно никакой особенной организации, вон как прост был переворот 28 июня 1762 года!»

Его лихорадит. Он позабыл, что простым переворотом руководила Екатерина, жена императора. Что восстанию со-

действовали фельдмаршал Кирилл Разумовский, сенатор Никита Панин, статс-дама Екатерина Дашкова, сорок офицеров гвардии, что практически их семьи – это вся свита, всё правительство России. Что на ИМЯ «ЕКАТЕРИНА» явилась многотысячная армия, как на ИМЯ СПАСИТЕЛЬНИЦЫ ОТЕЧЕСТВА.

А Мирович? – подпоручик, и ничего больше.

Что такое государственный переворот в стране с населением в двадцать с лишним миллионов обывателей, с полумиллионной регулярной армией, с двумя миллионами регулярных чиновников, с миллионом полицейских и с несколькими тысячами тюрем?

Абстрактная обстановка, не так ли? Государственный переворот – весёлое затайничество. Со всем этим фарсом Мирович справился бы и один – так он думал.

Но Мирович – актёр.

Ему нужен сообщник. Не столько помощник, сколько слушатель. Какой-нибудь офицерик-балбес, который бы беспрекословно слушал храбрые глаголы вождя. Перед которым можно покрасоваться умом и изобретательностью. Мировичу, эстету бунта, необходима небольшая, но рукоплещущая аудитория.

Подпоручик не бросает пить. Вино сопутствует успеху. Пьяному – и море по колено, и морда на коленях.

Девятого мая 1764 года Мирович напивается и идёт лёгким, несколько условным, как у всех пьяниц, шагом к последнему приятелю – к поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушакову.

Аполлон, как и Василий, пьян.

Он стоит на карауле при кордегардии у Исаакиевского моста. У него восемнадцать солдат-атлетов, он смотрит на солнце очами орла, у него золотые офицерские ремни, он поёт популярную песню.

Счастливая встреча. Приятели вынимают шпаги и приветствуют друг друга взмахами шпаг. Они обнимаются.

Мирович восклицает, без предварительных объяснений:
– Все свои силы, весь разум, все помышления мы обязаны к тому употребить, чтобы одного императора Иоанна Антоновича, вызволивши из Шлиссельбургской крепости, привезти в Санкт-Петербург для водворения его на престол все-российский.

Ушаков ещё не слышал о таком дивном намерении своего приятеля.

Но Аполлон понимает Василия с полуслова. Он слышит и радуется. Он откликается на слова Мировича:

– Правильно говоришь! Но нужны обязательства. Друг перед другом. Крепкая клятва. Так давай действовать побыст-

рее, чтобы в кратчайшие сроки отвязаться от этой галимат-
ты. А при новом императоре мы утолим все страсти и по-
желания наших юношеских сердец.

– Не волнуйся! – восклицает Мирович. – Вся эта, как
ты правильно сказал, галиматъя – дело на несколько дней.
В первую очередь нужно помолиться. Бунт бунтом, а грехи
грехами.

– Когда же? – восклицает Ушаков. – Когда же мы можем
молиться?

– Тринадцатого мая, – отвечает Мирович. – Тринадцато-
го! Это число я люблю.

– И я! – соглашается Ушаков. – Это число мне нравится.
В нём – опасность и приключения. А что делать сейчас?

– Делать, что делается! – философия Мировича.

И они делают то, что им делается.

Мирович и Ушаков ходят по кабакам и хохочут. Они тем и
другим рассказывают о своём замысле. Одни одобряют. Дру-
гие порицают. Все они – собутыльники. Алкоголь всегда на-
страивает умы на опасные и грозные приключения. Алко-
голь раскрепощает даже лакейские сердца и делает их сво-
бодолюбивыми.

Чтобы запугать и затравить Екатерину, Мирович и Уша-
ков ходят по ночам, как бесы, вокруг Зимнего дворца и
подбрасывают в подъезды красные конверты. В конвертах –
письма. В письмах – подробности заговора. И ультиматумы.

Они советуются с полицейскими. Тайная канцелярия от-

носится к их глаголам дружелюбно. А полицейские говорят:

– Ну что ж, друзья, бунт бунтом, а тюрьма – тоже государственное учреждение.

Так проходит пять дней.

Предварительная подготовка восстания.

Несравненное руководство двух вдохновенных алкоголиков.

Комедианты; их действия – пустые. Никто не принимает всерьёз их немислимые признания. Даже Екатерина в письме к Н. Панину от 10 июля 1764 года вспоминала:

«Нищая нашла на улице письмо, писанное поддельным почерком, в котором говорилось об этом. С святой недели о сём происшествии точные письменные доносы были, которые моим неуважением презрены».

Вот именно.

Если бы Мирович преднамеренно избрал такой открытый метод бунта, он был бы гениальнейшим стратегом всех восстаний. Лучший метод сохранения опасной тайны – самое широковежательное разглашение её. Когда все знакомы с тайной – в неё уже никто не верит. Сам факт этой тайны подсознательно выносится за скобки. И тогда начало действий – неожиданный и сокрушительный удар! Но всё несчастье Мировича заключается в том, что он ничего преднамеренно не делал. Он действовал как сомнамбула, как придёт. Тринадцатого мая Мирович и Ушаков идут в церковь Казанской Божьей Матери. Самая государственная церковь в России.

Там принимали присягу многие императоры.

Они приближаются к алтарю настоящим шагом офицеров пехоты и, на всякий случай, отслуживают – сами по себе – акафист и панихиду.

Так поступали ветераны: панихида по самим себе на случай смерти в торжественном бою.

Мирович и Ушаков растроганы. Они дают следующую сентиментальную клятву: если заговор удастся (какие сомнения!), то ни Мирович, ни Ушаков во всю свою блистательную жизнь не выпьют ни напёрстка коньяка, перестанут нюхать табак и не побегут уже, как барбосы, сломя голову ни за какой первой попавшейся юбкой. Крепкая клятва.

С 13 по 23 мая Мирович работает.

Двадцать третьего мая Мирович оповещает Ушакова о результатах работы.

Драматическим голосом он читает ему план действий.

Вот вкратце партитура этой оперы.

Действующие лица: солисты Мирович и Ушаков.

Место действия: Шлиссельбургская крепость.

Время действия: ночь с 4 на 5 июля 1764 года.

Декорации: белые ночи, белая луна и нежное небо, каменные казематы, светятся огоньки Светличной башни, золотится купол церкви святого апостола Филиппа, часовой ходит по стене и поёт позывные часового:

– Слу-шай!

А вообще – тишина. Естественно, что откуда-то с окраин

раздаётся трепетный лай собак.

На башне бьют часы – двенадцать ударов.

Как раз в этот момент на Неве мелькает шлюпка.

Это Аполлон Ушаков плывёт на шлюпке. У него за пазухой пистолеты. Пули подготовлены.

На Неве блещут блики.

В шлюпке корзина. В корзине провизия. Шампанское, херес, коньяк и индейка, откормленная грецкими орехами. Вина холодные, индейка жареная, ещё тёпленькая, всё завернуто в фольгу.

Мирович стоит на карауле. Он – дежурный офицер. Он командует караулом. Он освещён голубоватыми небесами. Он машет небрежно белой ручкой. Он окликает лодку:

– Стой! Кто плывёт?

Лодка останавливается.

Блещут блики.

Ушаков откликается:

– Это я! Моё имя – подполковник её императорского величества ординарец Арсеньев!

Никакой конспирации. Все должны слышать.

– Часовой? Слышал? – кричит Мирович изо всех сил.

– Пропусти ординарца её величества!

– Слы-шал! Слу-шай! – поёт часовой.

Лодку пропускают в крепость.

– Давайте бумагу, подполковник, ординарец её величества Арсеньев! – кричит Мирович с таким расчётом, чтобы все

слышали.

Ушаков-Арсеньев без лишних слов подаёт бумагу. Бумагу написал сам Мирович. Это – манифест от имени Екатерины. Манифест начинается словами:

«Освободить «безымянного колодника номер первый», который есть не кто иной, как император Иоанн Антонович. Освободить императора Иоанна Антоновича в самый этот момент, нимало не мешкая!»

Мирович читает манифест с хорошей дикцией.

– Слышал? – кричит Мирович часовому. У часового блещит штык. – Что должен делать часовой в таком случае?

– Слы-шал! Слу-шай! – поёт часовой. – И зна-ю! слу-шай! В ружьё! В ружьё!

Часовой объявляет тревогу.

Все солдаты выбегают.

Пока Мирович оповещал манифест, все, так или иначе, проснулись, все уже в курсе дела.

Комендант Шлиссельбургской крепости полковник Бередников Иван выходит на крылечко из своей семейной спальни; каменное крыльцо, на стропилах висят вёдра.

Полковник выносит кандалы и цепи.

– Заковывайте меня, ребята! Поскорее! – восклицает Бередников. – Это кандалы и цепи Иоанна Антоновича. Я хорошо расклепал молотком кандалы. Вы ведь знаете, Иоанн – рыжий, а у рыжих такая нежная кожа и вся в веснушках. Я ничуть не повредил его веснушки! Заковывайте меня, я

осмелился принудительно содержать в темнице императора. Не надо мне ни суда, ни ссылки. Наденьте на меня цепи и бросайте меня, как там поётся в русской народной песне, – «в набежавшую волну»! Пусть я мгновенно пойду ко дну и захлебнусь по заслугам.

– Молодец, полковник! – похвалил Мирович. – И песни знаешь! Честный поступок с твоей стороны, простодушный и новый! Никто не бросит такого полковника на дно Невы. Нечего такому храбрецу захлёбываться! Но про цепи – это ты хорошо придумал. Цепи – вот чего столько лет не хватало тебе в крепости.

Бердникова заковывают в цепи, и он благодарит.

Как раз в этот момент солдаты под предводительством Ушакова разбегаются по квартирам гарнизонных офицеров.

– Вы арестованы! – заявляет офицерам Мирович. Он отбирает у них шпаги, ломает сталь о согнутое колено.

– Убирайтесь прочь! – говорит Мирович.

– Как же так? – удивляются офицеры.

– А может быть, вы нас убьёте? – робко спрашивают два толстяка, Власьев и Чекин. – Убить нас или повесить – как раз благоприятный момент. Это будет торжество справедливости.

– Ну нет! – говорит Мирович. – И не настаивайте! Живите, жабы, мучительно раскаивайтесь.

Победители церемониальным маршем идут к камере Иоанна. Они взламывают все деспотические замки и засовы.

На них из полутьмы бросается что-то: в трепещущих тряпках, волосатое и заикающееся. Солдаты хотят схватить императора, чтобы сообщить ему приятную новость. Но Минович не только военный вождь, он ещё и психолог. Он останавливает солдат. Он говорит:

– Не трогайте императора. Пусть он подышит хорошим воздухом. Подышит – и сумасшествие с него как рукой снимет.

Несколько минут Иоанн Антонович бежит по двору каземата и дышит хорошим воздухом.

Потом он останавливается перед Миновичем и смотрит на него осмысленными глазами.

Минович удовлетворён: у императора появились некоторые признаки ума. Знает ли он, кто он на самом деле? Минович спрашивает:

– Ты кто?

– А ты кто? – огрызается император. Иоанн пришёл в себя!

Минович обижается:

– Знаешь, если мы так и будем «тыкать», ничего не получится из нашего государственного переворота.

Иоанн оживает:

– Что, разве произошёл государственный переворот?

– Вот именно.

– В чью пользу? – деловито осведомляется император.

– В пользу императора Иоанна Антоновича!

– Я – император Иоанн Антонович! – сурово и грозно говорит Иоанн.

– Ну вот, пожалуйста, – сумасшествия как не бывало! – восхищается Минович. – Поздравляю вас, ваше императорское величество! Вы выздоровели, и, как бы получше выразиться, вы уже не сумасшедший, а взошедший на ум!

Солдаты быстренько парят Иоанна в финской бане, опрыскивают его веснушчатое лицо, завивают его свежие красноватые кудри тёплыми шомполами.

На Иоанна набрасывают халат (малиновый, золотые цветы!), купленный Миновичем в антиквариате для такого случая (торжественного!).

В крепостные шляпки садятся солдаты. В отдельную шляпку садятся: император, Минович, Ушаков, барабанщик и флейтист.

Уже рассвело и небо покраснело. Вот-вот взойдёт солнце. Оно уже поигрывает наверху: на окнах учреждений, на вертикальных решётках петербургских мостов. На крышах кричат кошки. Они ходят по крышам и подслеповато щурятся на солнце.

Император пьёт шампанское и совсем перестаёт заикаться: подействовал наш оздоровительный напиток! Иоанн прекрасно пьёт, – неопишущее счастье, он и помнить позабыл, что ещё вчера страдал сумасшествием.

Они приплывают в артиллерийский лагерь на Выборгской стороне.

В лагере – артиллеристы и артиллерия.

Уже утро.

Повсюду – пушки, деревянные бочки с порохом, арбузные ядра, гадючьи фитили, артиллерийская прислуга с факелами, офицеры со светлыми, стальными саблями, рассеивается весёлый ветерок, на Неве блещут блики, – восстание!

Мирович встаёт во весь рост и читает манифест. Он сам сочинил манифест. Вот смысл ответственного документа:

«Долой деспотию Екатерины! Да здравствует демократия Иоанна!»

Войска и простой Петербург – все присягают. Все восклицают традиционное «ура!» и надевают шляпы, увитые дубовыми ветвями.

Беспрестанно бьют барабаны, играют флейты, пушки – стреляют, солдаты – стреляют из мушкетов в сторону Зимнего дворца, простой Петербург, народные массы – бросают все свои ножи и тяжёлые камни в сторону Зимнего дворца, – остервенение, вот это бунт так бунт!

При поддержке народного мнения войска быстрым и блестящим штурмом берут Петербург. Все улицы и переулки в руках бунтовщиков. Мирович рассыпает рукописные экземпляры манифеста. Документы относят в Сенат, в Синод, во все коллегии и присутственные места.

– Что же нам делать с Екатериной Второй? – растерянные, спрашивают Сенат, Синод, коллегия, присутственные места. – Повесим её, четвертуем или просто-напросто рас-

стреляем?

– ...Что же вы хотели сделать с Екатериной Второй? – спрашивал впоследствии Мировича на суде генерал-поручик Петербургской дивизии И. И. Веймарн³⁵³, следователь.

Мирович милосерден. Он отвечает:

– Сослать императрицу в отдалённую и уединённую тюрьму, а кроме того, для здоровья и жизни её никакого вреда учинить у нас не было.

Думал Мирович, что получится такая оперетта.

Заговор задуман, и Ушаков узнал подробности. Но осуществление надежд всегда зависит от случайностей, пуляков. Они были романтиками, но получился реализм.

5

Двадцать третьего мая 1764 года военная коллегия командует Аполлона Ушакова в Смоленск.

Исполнение мечты оттягивается. Ушаков уехал. Мирович служит. Он ходит в караулы и ожидает возвращения Ушакова.

Проходит месяц. Никаких известий.

Мирович беспокоится, посещает фурьера Новичкова: они вместе были в командировке, все возвратились, но нет Ушакова, где же он, чёрт побери, куда запропастился этот тип?

³⁵³ Веймарн Ганс (Иван Иванович) (1722—1792) – генерал-поручик (1764), участник Семилетней войны, командующий войсками в Сибири.

Он мой лучший друг!

Фурьер Великолуцкого полка Григорий Новичков пожимает плечами: подпоручик Мирович только что спохватился, а уже всем известно – Ушаков утонул. Все пили в командировке, духота, купались, кто-то неизбежно должен был утонуть, вот Ушаков и утонул.

Вот и утонул. Мирович скис. Но не расплакался. Ушаков участвовал в плане-мечте. Но и план, и мечта остаются, в конце-то концов, несмотря ни на каких Ушаковых.

Ушаков сыграл свою положительную роль на первом этапе восстания: он смотрел на Мировича, главнокомандующего, с нескрываемым восхищением и беспрекословно слушал его сентенции.

Что ж, рабочую часть восстания можно выполнить и одному, тем более – уже написан такой подробный план с репликами и ремарками.

Как всякий уважающий себя заговорщик, Мирович начинает подготовку, или обработку общественного мнения.

Вот как хитро он пропагандирует свои идеи, и что из этого получается.

Он ловит придворного лакея Тихона Касаткина, гуляет с лакеем по Летнему саду, говорит:

– Вот что, Тихон, братец. Как скучно сейчас и как может быть весело потом, когда произойдут прекрасные перемены. Лакей Тихон объясняет Мировичу своё мировоззрение:
– Да. Сейчас грустно и гнусно. На этот счёт не может быть

двух мнений. Вот что, Василий, братец. Знаешь ли ты причину всего плохого, что происходит в Российской империи? А причина простая. Причина проще простой: прежде, когда увольняли придворного лакея, то ему присваивали звание подпоручика или поручика. А теперь? Страшно даже сказать вслух, засмеют: теперь увольняют – кого же? – придворного лакея! – в звании сержанта! Стыд и стыд! Никакого торжества справедливости!

Мирович поддакивает и провоцирует:

– Вот бы переворотик! Чтобы вместо этой ведьмы Екатерины Второй – Иоанн Антонович!

Тихон приседает, оглядывается во все стороны, его бритое лицо покрывается гусиной кожей от страха, даже пуговицы на его лакейской куртке как-то бледнеют, он быстро-быстро крестится:

– Господи, господа, упаси нас от очередных переворотов! И так эти прекрасные перемены осточертели. При Петре Третьем выплачивали жалованье серебряными деньгами, теперь – суют медяшки. Ещё какой-нибудь переворот – и совсем перестанут платить! Пусть уж так, как есть!

Лакей как лакей.

Сомнения лакея.

Касаткин поуспокоился и рассказал Мировичу сказку, сказку лакея.

Был в Египте самый страшный фараон.

Народы Египта носили цепи и рыдали.

Много-много лет полиция не фиксировала ни одной улыбки.

Слева и справа от Нила ничего не осталось – лишь слёзы и муки.

Душевное состояние у всех было самое худшее, и только одна старушка, самая старая старушка во всей вселенной, ходила в храм бога солнца Ра.

Она ходила и хохотала в храме. По несколько часов.

Она молилась за здоровье и за продление срока жизни жуткого фараона.

Фараон слышал краем уха: народы его ненавидят. Это совсем не расстраивало тирана, но интересовало в некоторой степени. Заинтересовала его и старушка.

Фараон спрятался за жертвенным камнем, и, когда старушка перестала хохотать и молиться, когда она подобрала свои тяжёлые цепи, чтобы уйти восвояси, фараон встал и спросил.

Он сказал:

– Скажи, пожалуйста, красавица, почему весь народ меня ненавидит, а ты молишься за моё здоровье с таким хорошим хохотом?

Старушка ничуть не смутилась и не испугалась. Она сказала:

– Слушай. Я знала твоего прапрадеда, прадеда, деда и отца. Я видела, как управляли они по очереди Египтом. Таким образом, я пережила четырёх властителей. И каждый из

них был хуже предыдущего. Всё хуже и хуже. Теперь ты – пятый. Ты, безусловно, самый скверный. Потому-то я и молюсь, чтобы ты как можно дольше прожил на свете, потому что думаю: кто же, в таком случае, будет после тебя? Казалось бы, хуже быть не может. Но так думают только глупые народы. А я знаю: нет пределов человеческой злобе. И я знаю: если ты умрёшь – будет ещё хуже.

Египетская мораль.

Если челядь напоена таким мёдом премудрости, то чего же ожидать от остальных.

И Мирович совсем один приступает к исполнению заманчивого замысла.

Двадцатого июня 1764 года Екатерина уезжает в путешествие по Лифляндии.

Она уже две недели путешествует. Заговор нужно приводить в исполнение в её отсутствие.

Мировичу не терпится.

По графику его караул – в ночь с 7 на 8 июля. Мирович просится в караул 4 июля. В ночь с 4 на 5 июля, в ночь с субботы на воскресенье, весь Петербург пьянствует. А когда Петербург пьян, все антиправительственные действия воспринимаются, под влиянием алкоголя организм человека настроен антидеспотически.

Мирович в крепости. У него команда – 38 солдат.

Вечер 4 июля. Мирович ходит по крепости. Он старается определить на глаз: где окошко «безымянного колодника ну-

мер первый»? Никто не знает, в какой камере Иоанн Антонович. Знают Власьев и Чекин. Но узнавать у них – нелепо. Они – личные телохранители императора. У них – служба, тайна.

Солнце гаснет поздно.

Последние муравьи уползают в щели крепости. Неподвижные мухи – на потолках. На Неве уже потемнели разводы от рыбы. Спят птицы, спит Петербург.

Мирович возвращается в кордегардию. Он пересматривает манифесты, написанные собственной рукой, – фальшивки. Именем Екатерины II, именем Иоанна Антоновича. Всё правильно, всё убедительно. Никаких описок, никаких недоумений. Сердце бунтовщика бьётся спокойно. Его ожидает удача.

Он занавешивает окно голубым кафтаном от комаров, от мух, от постороннего глаза. Вызывает своего вестового Писклова. Объясняет ситуацию.

– Бунт! – говорит Мирович, и его цыганские глаза пристально изучают лицо Писклова, гипнотизируют. – Всё! – говорит Мирович, отпуская Писклова. – Потом ты будешь майором!

Писклов согласился.

Мирович вызывает трёх капралов: Андрея Кренёва, Николая Осипова, Абакума Миронова. Капралам он обещает: «Потом – подполковниками!»

Он вызывает остальных. Поодиночке. Он сулит им блестя-

щее будущее. Он осыпает их орденами, одаривает именьями, присваивает звания. Он их провоцирует: все согласны, а вы? Солдаты вы, товарищи по оружию или сопливые трусы?

Солдаты отвечают по прусскому уставу:

– Если все согласны, и бунт будет, и я – последний, – присоединяюсь.

Полутьма в комнате.

Глухо в крепости.

На крепостной стене стоят фонари.

На небе нет звёзд. Не темно и не светло. Белые ночи. Белая тьма.

По стене, как по луне, ходит часовой и кричит время от времени, чтобы не уснуть, и голос его раздаётся еле-еле, как в высоте, в безвоздушном пространстве:

– Слу-шай!

Всё хорошо, всё просто, солдаты согласны, жарко, сыроватый воздух, летом в Петербурге не бывает темно, только туманно, воздух сыр и туманен, Мирович лежит на кровати, голубым пламенем мерцают свечи, нужно встать и отдать две-три команды, всё произойдёт, успех.

Часы бьют полночь. Пол-ночь.

Часы бьют час. Груст-но.

Часы бьют четверть второго. **СТУК В КОРДЕГАРДИЮ!** Мирович вздрагивает, вскакивает. Передвинул на столе пистолет.

В дверях фигура.

– Кто ты?

Это фурьер Лебедев. Он рапортует:

– Комендант приказал пропустить из крепости гребцов.

– Пропустить!

Лебедев поворачивается на каблуках, уходит (дверь открыта) в пустоту (дверь закрывается).

Мирович вытаскивает шпагу из ножен, протирает её су-конкой, опускает шпагу на стол (чтобы не услышали, чтобы не зазвенела!), теперь на столе пистолет с пулями, шпага (по-блёскивает!) и подсвечник с тремя простыми свечами.

Мирович улыбается самому себе, он рассеян, он гасит одну из трёх свечей (фитилёк давит пальцами, фитилёк мнёт), он отодвигает подсвечник на край стола, от себя, поближе к двери, чтобы свет свечей освещал вошедшего, чтобы кровать подпоручика оставалась в тени, невидимка. Актёр играет с самим собой в опасность.

Часы бьют половину второго.

Стук.

– Кто ты?

Опять Лебедев.

– Комендант приказал пропустить в крепость гребцов и канцеляриста.

(Кан-це-ля-ри-ста!)

– Пропустить! – Мирович подписывает пропуск на том краю стола, где свечи.

Больше ни слова.

Часы бьют без четверти два. Опять Лебедев.

– Комендант приказал пропустить из крепости гребцов и канцеляриста.

Мирович подписывает пропуск.

(Греб-цов-и-кан-це-ля-рис-та!)

И вдруг! одна мысль! одна-единственная:

«Предательство».

Мирович уже семнадцатый раз на карауле в крепости.

Лебедев стучит по каменной лестнице каблуками, каблук-и стучат всё тише и тише, как часы, которые останавливаются, как ос-та-нав-ли-ваю-щие-ся часы.

Случайность? Один час – три пропуска. Такого ещё не бывало. Ни в крепости, ни в Петербурге никаких чрезвычайных происшествий. Значит, комендант знает о заговоре, узнал! Солдаты рассказали! Бередников отсылает канцеляристов в Тайную канцелярию! С доносами на Мировича! Больше для торопливости нет причин!

Мировичу не страшно, он играет с самим собой в страх.

Он лежит в ботфортах и слушает часы. Часы тикают. Часы бьют два раза.

Мирович вскакивает. Не одевается. Как в романах про венецианские приключения, подпоручик хватает шарф и шляпу, оставляет пистолет и шпагу, чтобы случайно вспомнить о них и возвратиться, на лестнице *вспоминает* и возвращается, распахивает двери, *чтобы погасли свечи*, одна свеча гаснет, одна не гаснет, колышется огонёк, на столе блестит шпа-

га и – тусклый пистолет, Мирович хватает пистолет и шпагу, локтем смахивает на пол свечу, свеча на лету гаснет, Мирович бежит вниз по лестнице, перепрыгивая в полутьме через ступеньки, ни о чём он не думает, он думает вот о чём: хорошо, что он знает все ступеньки, не спотыкается, – вниз, в солдатскую караульню, он кричит в караульню, в пустую, пьяную полутьму:

– К ружью! К ружью!

Он стоит на лестнице (казарма, камни!) – и тяжело и легко дышит.

Темнота, в темноте вспыхивает огонёк, трепещет маленькая, как пальчик, свечечка, она мелькает и падает на пол, на каменный пол (каменного цвета!), вспыхивает тряпка (ружейная промасленная тряпица!), чья-то волосатая рука бьёт по тряпке пустым сапогом, стучит железо и дерево, бормотанье, блестит множество пуговиц.

Мирович истерически плачет, без слёз, его просто лихорадит: началось!

Солдаты уже унесли ружья, убежали. Мирович без мундира, шляпа упала на лестнице, укатилась (куда-то!), серебряный парик порвался, висит на последней шпильке, ползёт по шее, над глазами перепутались волосы (цыган! кудри!), в крепости туман, тёплый, светлый, июльский.

– Ружья! пулями! заряжай!

Солдаты заряжают.

Туман совсем не рассеивается и не рассеивает звуки:

шомпола и замки звенят в тумане.

Мировича вдохновляет этот оркестр, он уже – на сцене – главный герой. Он отдаёт приказания бешеным голосом, жестикулирует, а рукава красной сорочки болтаются на локтях.

На крыльцо комендантского домика выбегает полковник Бередников, карлик в очках, в золотистом халате жены, он запутался в халате супруги, маленькая мумия, на лобике блестят очки, он растерялся, у него фальцет:

– Я... Ружья заряжать не приказывал! (Кашляет.) Я... тревогу... не объявлял! Сами... самовластье! Дисциплина! Подпоручик Мирович! Объяснитесь!

Мирович объясняется с комендантом, но по-своему: бросается на крыльцо, бьёт подполковника (кулаком – в лоб!), карлик в халате катится с крыльца, крошечная лысая головка затерялась в халате, Мирович хватает халат за шиворот и тащит, и бросает халат в караульной и оторопеваает – совсем нет коменданта, это пустой халат, расстояние – короткое, до кордегардии десять шагов, Мирович и не почувствовал, как Бередников выпал из халата, подпоручик притащил и бросил пустой халат, комендант пропал, ну и пусть – пропал так пропал!

Повсюду солдаты зажгли факелы.

Факелы сильно сияют в тумане – нимбы.

Лихорадка охватывает всех.

– Примкнуть штыки! Обнажить тесаки! Мы должны умереть за государя!

– Мы! должны! умереть!

– Где гарнизонная команда? Пусть присоединяются!

– В три шеренги становись!

– Какой туман! Где казарма? Где гарнизонная команда?

– Стой, кто идёт? Стой, сволочь!

Мирович со шпагой и с пистолетом:

– Иду к государю!

– У нас нет государя! Где государыня?

В тумане голос:

– Часовой, почему не стреляешь?

Выстрел!

Ещё голос:

– Всем фронтом пали!

Залп!

Мирович тоже кричит:

– Всем фронтом пали!

Залп!

У Мировича – 38 ружей, у гарнизонной команды – 16. Беспорядочная перестрелка. Стрельба в пустое пространство, приблизительная стрельба, – туман.

Около склада пожарных инструментов солдаты окружают Мировича. Передышка в стрельбе. В тумане передвигаются лишь лица солдат. Мирович вынимает манифест, написанный им самим от имени Иоанна Антоновича. Мирович читает манифест бешеным голосом!

Впоследствии (на суде) солдаты признавались:

– Хоть манифест и был зачитан Мировичем в самый ответственный момент, когда мы сомневались, нужен ли братоубийственный бой в крепости, но никто так ничего и не понял, каково же содержание манифеста, к чему он клонится.

Подействовал голос. Голос начальника. Он загипнотизировал солдат.

У Мировича мелькает мысль:

«Во время перестрелки убьют императора. Шальная пуля – смерть!»

Мирович объявляет своим солдатам:

– Прекратить стрельбу!

Они прекращают. Но гарнизонные солдаты продолжают стрелять.

– Прекратить стрельбу! – кричит Мирович им, в туман.

Но у гарнизонных солдат своё начальство – Власьев и Чекин. Солдаты стреляют. Пули слышны, но на некотором расстоянии, стреляют не прицеливаясь – туман! Мирович в бешенстве.

– Ах так! – кричит он в туман. – Тогда выкатить пушку!

Выкатывают пушку.

Пушка шестифунтовая, медная. Приносят порох, пыжи, фитили, шесть ядер. Те, из тумана, стреляют.

– Заряжай! Зажигай фитиль!

Пушка заряжена, фитиль зажжён, из тумана голос:

– Стойте! Не стреляйте! Мы – сдаёмся!

Из тумана выходит капитан Власьев. В расстёгнутом мундире, безоружный, толстое лицо трясётся и как-то слезится, что ли.

– Всё! – вздыхает капитан. – Пошли.

Он вздыхает и ни на кого не смотрит, отворачивается.

Мирович восхищён; обнимает капитана, эту тушу ему не обхватить, усы у Власьева обвисли, соломенные, он осторожно отстраняется от Мировича, как *несоучастник*.

Солдаты разбегаются по казармам (искать камеру Иоанна). На галерее всех встречает поручик Чекин.

Мирович хочет обнять и Чекина, а Чекин, как и Власьев, отстраняется, он тоже туша, но поменьше и без усов, а с какими-то студенистыми (в тумане, что ли?) бакенбардами.

– Где государь? – спрашивает Мирович резко. Он возбуждён до последней степени, он то вскакивает, то садится на камень, то хватается за рукава, за пуговицы офицеров. Его мечта – в двух шагах! Его лицо подёргивается, нервный тик.

Осуществленье! У него совсем пересохло во рту, он дышит, как рыба, судорожно хватая раскрытым ртом воздух. И Власьев, и Чекин – в нерешительности, в меланхолии.

– Где государь? Ты, туша! – Мирович обращается к Чекину, приставляет к его горлу остриё шпаги.

– Нет государя, – чуть не плачет добродушный Чекин, и его бакенбарды трясутся.

Ни слова не говоря, Мирович бьёт (болван!) рукояткой пистолета – в лоб! Он хватается Чекина за бакенбарды и тащит

тушу и трясёт:

– Где государь? Показывай камеру!

Власьев стоит у перил галереи, отделяется от перил, усы – опущены, лицо – толстое, блестит, как слезится:

– Пошли... я покажу... отпусти человека.

Мирович отпускает и послушно идёт. Идёт за Власьевым, и хвалит его, и даёт ему всякие обещания. Власьев – ни слова, безответен, не оборачивается. Он какое-то время возится с ключами.

А Мирович кричит на всю галерею, в сторону Чекина. Мирович ещё не остыл, кричит:

– Посмотри на Власьева, ты, байбак! Это – молодец! У него усы! А ты? Тупица! Другой бы давно заколол тебя, кабан! Колите кабана! – кричит Мирович, обращаясь неизвестно к кому.

Мировичу нужно покричать. Никто не понимает его криков и не прислушивается. Кого колоть? Какого кабана? Солдаты переспрашивать боятся.

Дверь камеры открыта, распахнута. Мирович рвётся в камеру. Там темно.

Неизвестно откуда взялась свеча: Власьев зажигает свечу, прикрывая огонёк от лёгкого ветра ладонью (большой, с толстыми пальцами, ладонью).

Он входит в камеру.

– Ну вот, – вздыхает Власьев и поднимает свечу.

Камера освещена, большая и пустая, в стены вбиты дере-

вянные колышки, гвоздики, на колышках одежда, матросская, на подоконнике склеенные из газет и раскрашенные кубики и матрёшки – игрушки двадцатичетырёхлетнего императора. В последнее время Иоанн окончательно впал в детство и мастерил детские игрушки, кубики и матрёшки.

– Где же... – Мирович оглядывается и не договаривает.

Власьев опускает свечу. На полу – распостёртое человеческое тело... Чьё?

– Это... кто? – спросил Мирович и не пошевелился. – Кто это? – закричал Мирович, оглядываясь то на Власьева, то на труп.

Власьев не отвернулся. Он смотрел на Мировича не мигая. Смотрел, и ни один мускул не шевельнулся на его толстом лице с соломенными опущенными усами. Он смотрел на Мировича так, как смотрят в окно, в пустую тьму.

Всё.

Бунта не будет.

В ушах – какой-то странный тик, руки онемели и повисли, они болят, наверное, болят от напряжения ногти, то есть под ногтями, – Мирович ещё судорожно сжимал рукоять шпаги.

Всё. Мирович вкладывает шпагу в ножны. Он вертит в руке отяжелевший пистолет и не знает, как с ним, с пистолетом, быть, он делает несколько шагов в сторону подоконника, подходит к подоконнику и бросает пистолет на подоконник, перебирает раскрашенные кубики, безучастно рассматривает матрёшек.

В дверях уже – солдаты. Самих солдат не видно, они в какой-то мути, брезжат лишь тусклые лица и поблёскивают, серебрятся и золотятся пуговицы и пряжки.

На полу блеснула бритва. Мирович поднимает бритву, рассматривает, – не дешёвая, английская, с английской короной, выгравированной на лезвии, и с вензелями на лезвии.

В камере уже вибрирует голос Чекина. У него так вибрирует голос, скорее всего, потому, что Чекин отчаянно жестикулирует. Голос – вопль, но всё время срывается:

– Это – мы! Но не мы! То есть мы не виноваты! Нам всё равно, кто он! Он не император для тюрьмы – арестант! Мы по присяге! Так приказано! Мы знали, кто он, но – присяга! Мы виноваты! Или – нет!

Чекин совсем запутывается. Что он говорит – разобраться нет сил.

Мирович ни на кого не смотрит.

– Эх вы, – говорит Мирович, – сволочи. Бессовестные вы люди, – говорит он тихо и страшно, – убийцы. Его-то за что вы убили? Ну ладно меня бы, ладно уж, – говорит он, – но такого-то человека за что?!

– Мы не убили! Присяга! Мы только ударили! – бормочет Чекин.

– Он же был глупый и тихий, как птица, – говорит Мирович. – Разве можно ударить птицу – бритвой?

Мирович подходит к трупу и опускается на колени, целует руку мертвеца, поднимает свою чёрную цыганскую голову,

глаза его полны слёз, он целует ногу мертвеца. И встаёт.

Он распрямляется и приказывает положить мёртвое тело на кровать и накрыть простынёй. Притихшие солдаты опускают тело на кровать и прикрывают простынёй. Кровать выносят из казармы, солдаты строятся, Мирович идёт перед кроватью, за ним шагает Чекин и спрашивает шёпотом, когда кровать перенесут через канальный переход:

– Что же теперь с нами будет? Что же произойдёт?

Солдаты останавливаются и опускают кровать.

– Что произойдёт и будет? Это – ваше дело, – бросает Мирович.

Переживания прошли, Мирович становится опять самим собой, он входит в новую роль. По всей крепости несут кровать с мёртвым императором. Ни шёпота. Факелы потушили. Рассветает.

Золотится фрунтовой песок.

Команда строится в четыре шеренги. Маленькая команда, 54 человека.

Мирович стоит простоволосый, без парика. От пота, от солнца его волосы блестят, как угольные, он поправляет волосы пальцами, глаза – отрешённые, он говорит:

– Солдаты! Отдадим последний долг императору Иоанну Антоновичу! Он страшно жил и страшно умер.

– Солдаты! Бить утреннюю побудку!

– В честь мёртвого тела ружья на караул!

– Бить полный поход!

– Залп!

– Солдаты! Вот наш государь Иоанн Антонович! Мы могли бы быть счастливы, а вот – несчастны. Я виноват. Я за всех отвечу. Вы несколько не виноваты, ведь вы не знали моей цели, вы подчинялись. Так я вам говорю: пускай вся ответственность, пускай все муки – на меня.

Мирович обходит шеренги и целует рядовых.

Появляется солнце, оно ещё только немножко краснеет в стеклянном тумане. Солдаты в смятении. Никто не знает, что же дальше.

Первым опомнился капрал Миронов.

Хитрец капрал подкрался к Мировичу сзади и выхватил из его ножен шпагу. Солдаты перестали обниматься и целоваться, зашевелились.

– Отдай шпагу, трус, – закричал Мирович, – комендант, я отдаю вам шпагу!

Солдаты бросились на Мировича.

6

Семнадцатого августа 1764 года был опубликован манифест Екатерины II о заговоре Мировича и об убийстве Иоанна Антоновича.

Власьев и Чекин ничем не поплатились за убийство. Они выполнили свой долг полицейских. Правда, их никто не уполномочивал убивать Иоанна, но в такой ситуации у них

не было другого выхода: или смерть одного сумасшедшего, или государственное кровопролитие, междоусобная война. Убийство порицала и Екатерина, но делать было нечего – в манифесте она похвалила их за выполненный долг, а потом отстранила от службы.

Сентенцией Сената Минович был приговорён к четвертованию³⁵⁴.

Императрица пожалела авантюриста. Она заменила четвертование «обезглавливанием».

Шестьдесят два солдата были наказаны шпицрутенами и батогами и сосланы в Сибирь.

Капрал Абакум Миронов, несмотря на хорошую инициативу при аресте Миновича, получил 10 000 палок и был сослан на каторжные работы.

Приговор был приведён в исполнение 15 сентября 1764 года.

Весь Петербург пришёл посмотреть на бунтовщика – как его будут казнить.

Миновича казнили на Петроградской стороне. Подпоручик Минович был в голубом кафтане. Кафтан застёгнут на все пуговицы, а пуговицы блестели. Он в серебряном, при-

³⁵⁴ Приведём строки из «Записок» Г. В. Державина: «...Миновичу отрублена на эшафоте голова. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, необыкший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался, и перила обвалились». (Екатерина «сжалилась» над арестантом и заменила четвертование «обезглавливанием».)

пудренном парике. Холодногато, и его лицо разругмянилось: Мировича не пытали и хорошо кормили в крепости. Он был – весел!

Надеяться – не на что. Он совершил двойное преступление: бунтовал против императрицы и спровоцировал смерть императора. Пощады быть не могло. Моросил дождик.

На эшафоте Мирович подмигнул священнику:

– Батюшка! Не смотри на меня, смотри на Петербург. Вот он весь – у эшафота. Смотри – глаза. Они – ненавидят. Не сочувствуют! А если бы поменять на минутку декорации? Если бы это не эшафот, а тронное место, а я – генералиссимус победившего восстания? Какие были бы глаза! Не глупость и злоба, о нет, – восторг и холуйство.

Мирович рассмеялся тихонько, и тёмное цыганское лицо его посветлело.

– Чего ты смеёшься, дурачок! – пожалел Мировича священник.

Полицмейстер читал сентенцию о казни.

Мирович махнул рукой. Всё равно. Это – его последняя сцена. Последняя игра. И она должна быть превосходна.

Мирович стоял во весь рост и не шевелился, лишь серебряный парик и голубая шинель понемногу темнели от маленького дождика. Мирович поблагодарил полицмейстера за то, что он прочитал указ. Поблагодарил императрицу и Сенат, что в приговоре нет никакой напраслины. Он поблагодарил простой Петербург, что пришли его посмотреть. Он

сказал, что раскаивается во всём, в чём только хотят, чтобы он раскался, но не перед кем-то его молитвы – лишь перед Богом.

Простой Петербург залюбовался храбрецом, все заплакали.

Мирович был превосходен.

Он театральным жестом снял с пальца перстень и бросил палачу. Палач ничего не понял и отшатнулся. Палач ещё не имел никакого опыта в своей области (в России уже двадцать лет не существовало публичной смертной казни). Обыкновенный гренадёр, бурлак, он стал палачом лишь неделю назад, ему предложили несколько рублей на кабак, он и согласился. Неделю его обучали: как получше отрубить голову барану. На баранах и научился.

– Возьми перстень, – сказал Мирович, – он дорогой. Такой у тебя труд: пожалеешь – промахнёшься. Возьми перстень, дружок, и смотри – не промахнись.

Мирович откинул полы голубой шинели, встал на колени, снял серебряный парик, отбросил парик, положил свою чёрную цыганскую голову на плаху.

(В толпе: «Какие кудри!»)

Приблизительно так выглядит версия официальной историографии.

Теперь посмотрим другие документы.

Версия вторая: СМЕРТЬ УЗНИКА И КАЗНЬ ПОЭТА

1

Все факты остаются.

Император Иоанн Антонович родился 12 августа 1740 года.

Шестнадцатого октября 1740 года императрица Анна Иоанновна объявила его императором³⁵⁵.

Двадцать пятого ноября 1741 года Елизавета Петровна арестовала Иоанна.

С 25 ноября 1741 года арестанта перевозят из крепости в крепость, а 5 июля 1764 года офицеры Данила Власьев и Лука Чекин убивают его.

Все факты остаются.

Василий Яковлевич Мирович родился в 1740 году.

Он был подпоручиком Смоленского пехотного полка.

В ночь с 4 на 5 июля 1764 года Мирович поднял восстание. У него было 38 солдат.

Он был казнён 15 сентября 1764 года, в среду, в Петербурге, на Петроградской стороне, в Обжорном ряду.

³⁵⁵ Неточность. Наследником Всероссийского престола Иоанн Антонович был объявлен 5 октября 1740 года.

Все факты остаются. Факты – важны. Но не менее важна и трактовка фактов.

Итак, трактовка.

Происхождение Иоанна Антоновича. Что говорит о происхождении официальная историография? Вот список слабоумных предков Иоанна и попытка комментария:

1. Прадед – царь Иван Алексеевич: от природы скорбен головой, заика, болел цингой, плохо видел.

Почему царь Иван был «от природы скорбен головой» – хорошо известно. Только потому, что, как старший брат, он должен был стать императором, а стал – Пётр I, младший.

Цингой он болел не потому, что был глуп. «Плохо видел» – этим недостатком страдали тысячи гениальных людей, в том числе и Гомер. Но никому ещё не приходило в голову приписывать Гомеру идиотизм.

2. Прабабка – царица Прасковья Фёдоровна: выросла в предрассудках и суевериях, грамоте была обучена довольно плохо, хитрость и вкрадчивость заменяли ей ум, страдала припадками бешенства.

В предрассудках и суевериях выросли Архимед, Спиноза, Кант, Лейбниц, Локк, Ломоносов, Гегель, Фёдоров, Ницше; Жанна д'Арк, Мария-Терезия, королева Виктория, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина I и Екатерина II, Мария Медичи, Мария-Антуанетта, Маргарита Наваррская. Хитрость и вкрадчивость заменяли ум и им. Никакими припадками бешенства царица Прасковья не страдала. Она была

вспыльчива и истерична.

3. Дед – Карл-Леопольд: был известен сварливым, вздорным и беспокойным характером; был слабоват умом.

Вздорны, беспокойны были Микеланджело, Гойя, Лев Толстой, Бетховен, Гюго, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор. «Слабоват умом» – суффикс «ат» вообще имеет только литературно-художественное значение, когда нужно сказать что-то приблизительное.

4. Бабка – царевна Екатерина Ивановна: могла служить типом пустой, избалованной барышни.

«Пустая, избалованная барышня» – уж никак это не характеризует дегенератизм рода. Так можно сказать о любом, кто тебе не нравится.

5. Мать – Анна Леопольдовна: недалёкая по уму и ветреная, она была плохо воспитана. Все умственные способности её, от рождения слабые, были подавлены ещё в юности одной чувственностью.

Так пишет историографическая комиссия через сто с лишним лет. А вот что пишет современник Анны Леопольдовны, который видел её ежедневно и служил в её кабинетах. Пётр Панин пишет:

«Она одарена была хорошим умом, добрым сердцем и возвышенною душою, никому в жизнь свою не сделала зла, даже слуги её обожали, была весела и приятна в обхождении, по-русски, по-немецки и по-французски говорила свободно».

6. Отец – Антон-Ульрих: не кончил полного курса наук, белолицый, подслеповатый, золотушный, очень робкий.

Самый сильный аргумент не в пользу Антона-Ульриха – «белолицый» «Очень робкий» или «очень смелый» – пустословие. Гораций был «очень робкий» – он бросил щит на поле боя и убежал писать стихи. Герострат был «очень смелый» – он сжёг прекрасный храм, только чтобы прославиться. Но это ничего не прибавило и не убавило в характеристиках потомства: первый – гений, второй – дурак. «Не кончили полного курса наук» – Бальзак, Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Байрон, Бах, Ван-Гог, Сен-Симон и другие.

7. Сестра – Елизавета: подвержена частым головным болям, страдала помешательством в 1777 году, но после оправилась.

«Подвержено частым головным болям» три четверти человечества. Как можно страдать помешательством в энном году, а потом оправиться в следующем году? Помешательство – это всё-таки не грипп.

8. Брат – Пётр: имел спереди и сзади горбы, кривобок, косолап, страдал геморроидальными припадками, прост, робок, застенчив, молчалив, до обмороков боится вида крови.

Паганини был уродлив. Геморроидальными припадками в средние века страдали чуть ли не все. Чтобы доказать глупость Петра III, Екатерина писала, что он – «любил устриц»! Чтобы доказать слабоумие предков Иоанна Антоновича, ис-

торическая комиссия пишет об их «застенчивости и простоте»! Особенно если человек до обмороков боится вида крови – он, безусловно, сумасшедший. Придётся ещё прибавить. Байрон был калека. Сервантес – тоже. Тургенев до обмороков боялся вида крови.

Все перечисленные выше разоблачения комиссии – никак не криминал для определения умственных способностей, а ведь комиссия пишет именно об умственных способностях предков Иоанна, чтобы приписать ему наследственное сумасшествие. Бетховен был глухой, а Фонвизин паралитик. Но они не были сумасшедшими.

В русской народной песне поётся:

*Лишь слепые всё видят,
Лишь глухие всё слышат,
Лишь немые поют песни.*

Из всей монографии о предках – только два серьёзных обвинения:

«Скорбен головой и слабоват умом».

Но эти обвинения несерьёзны. «Скорбен головой и слабоват умом» – так говорят о любом, кто не согласен с моим мнением.

Все.

Генеалогия Иоанна Антоновича медицински вполне нормальна.

Замечателен вывод комиссии:

«Достаточно взглянуть на силуэты этих несчастных предков, чтобы по профилям, по неправильной форме головы догадаться о их слабоумии».

Теперь. Как же доказывает сама Екатерина сумасшествие самого Иоанна Антоновича?

Она доказывает ещё проще. Она использует документы Сената, протоколы следствия по делу Мировича.

Прочитируем ещё раз донесения Овцына и показания Власьева и Чекина.

Вот какую фразу использует императрица для своего манифеста:

«Овцын: «Иоанн Антонович в уме несколько помешался».

Так цитирует Екатерина. Но донесение Овцына выглядит несколько иначе:

«Овцын: *«Хотя в арестанте болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался».*

Екатерина цитирует:

«Овцын: «Видно, что сегодня в уме помешался больше прежнего».

А вот фраза Овцына из протоколов Сената:

«Видно, что сегодня в уме гораздо более прежнего помешался. *Не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничествует».*

Екатерина использует фразу Овцына о хроническом беспокойстве Иоанна Антоновича:

«Овцын: «Арестант временами беспокоен».

Фраза Овцына на самом деле:

«Арестант здоров и временами беспокоен, а до того его всегда доводят офицеры, которые его дразнят».

Екатерина ни слова не пишет об офицерах, которые дразнят Иоанна. Почему-то ей необходимо реабилитировать их, убийц – Власьева и Чекина. Почему – попытаемся выяснить ниже.

Сейчас главное: опровергнуть основной тезис императрицы – Иоанн болен. По традиционным понятиям медицины того времени («в здоровом теле – здоровый дух»), если человек болен телом, то он болен и душой.

Но здесь-то и начинается крушение всех аргументов, так старательно подтасованных Екатериной.

Ничего подобного.

В течение двух лет комендант Шлиссельбургской крепости Овцын ежедневно видит заключённого. Овцын еженедельно и честно доносит в Тайную канцелярию: «Арестант здоров».

Тайная канцелярия провоцирует – по наущению Елизаветы, а потом Екатерины:

«Не помешался ли узник?».

Им нужно, чтобы опасный претендент на престол был сумасшедшим. Тогда – расправа проста и безответственна.

Два года Овцын пристально присматривается к молодому человеку. И доносит о своих сомнениях:

«Если Тайная канцелярия подозревает, что узник помешался, может быть, он и помешался, только тщательно скрывает свой психоз. Но, может быть, он и не помешался, а притворяется».

«На прошлой неделе его опять дразнили офицеры. У него от ненависти почернело лицо».

Почернело лицо – ну, значит, помешался.

«Но арестант всё время здоров и физически развит, даже больше, чем положено узнику, не занимающемуся физическими упражнениями».

Так, пока Овцын подглядывал в замочную скважину за поведением «безымянного колодника» и прикидывал, помешался ли Иоанн или притворяется, это дитя тёмных тюрем подкралось к двери, распахнуло дверь, Иоанн схватил Овцына за рукав тулупа и так рванул, что оторвал рукав.

– Отдай хоть рукав, ты, полоумный! – в отчаянии взмолился Овцын.

– Ничего, помёрзни, холуйская морда! Не будешь больше подглядывать, свинья!

Оторвать рукав у тулупа, сшитого из овчины, замёрзшей на морозе, как свинец, может человек не просто сильный, а – очень сильный. Полицию никогда не одевали в гнилые шубы.

Овцын в смятении, он рассуждает:

«Иоанн или помешался, или высок и горд духом: он не побоялся оторвать рукав у коменданта, от которого зависит многолетнее его (Иоанна) благосостояние».

Иоанн Антонович был здоров.

Он был здоров, как может быть здоров человек двадцати четырёх лет, который двадцать лет провёл в камере-одиночке, плохо питался, не дышал свежим воздухом.

Но ведь его посадили в тюрьму ребёнком, его организм с детства приспособился к таким условиям, такие условия стали для него естественными.

Никогда – за двадцать четыре года – Иоанн не болел ни одной болезнью.

Сама Екатерина не упустила бы случая перечислить его болезни, если бы они были.

Она не упустила бы распространиться о его единственной болезни, если бы болезнь – была.

Она ни слова не написала о его болезнях. Значит, их – не было.

И императрица Екатерина II, и её обер-гофмейстер, действительный тайный советник Никита Панин, глава Тайной канцелярии, сенатор и кавалер, – и она, и он мечтали, чтобы Иоанн заболел. Об этой их мечте свидетельствует инструкция, данная коменданту Бередникову (Овцын ушёл в отставку, Бередников – заместил).

Вот текст инструкции:

«Гарнизонного лекаря к Власьеву и Чекину допускать, лишь бы лекарь не увидел арестанта. А если арестант заболевает, то лекаря к нему не допускать, а сообщить мне (Панину)».

Та же мечта и в инструкции об обслуживании арестанта. Инструкция Власьеву и Чекину:

«Если арестант опасно заболевает и не будет никакой надежды на выздоровление (!!!), то позвать в таком случае для исповеди священника (!!!)».

НО НЕ ВРАЧА!

Напрасные грёзы.

Иоанн Антонович оказался катастрофически здоровым больным.

Власьев и Чекин дразнят узника. Им тем более приятно его дразнить, что им нечего делать. Их обязанность – лишь смотреть на императора и кормить его. Но Иоанн – не шедевр живописи, чтобы на него можно было беспрестанно и с наслаждением смотреть. Но Иоанн – не гусь в клетке, которого нужно откармливать на ярмарку. Полицейским персонам скучно. Они дразнят Иоанна ещё и потому, что дразнить его – лестно. Они простые офицеры, а он император. Это-то и льстит их холуйскому самолюбию.

Иоанн сердится, ругается, дерётся, бьёт офицеров по морде ложкой. Офицеры обижаются и доносят:

«Он буйствует. Он бьёт нас по морде ложкой. Он – сумасшедший».

Кто же сумасшедший?

Молодой человек двадцати четырёх лет, который на оскорбление словом (его дразнят два дурака) отвечает оскорблением действием (бьёт двух дураков ложкой по мор-

де)?

Более нормальную реакцию нормального человека трудно себе представить в такой ситуации. Сумасшедший ещё подумает, бить или не бить обидчика, – человек нормальный обязательно ударит.

Самый сильный силлогизм в донесениях Овцына:

«Безымянный колодник» кричит на все обиды и оскорбления: «Я – император Иоанн Антонович! Я – вашей империи государь, вы – свиньи!»

Овцын пишет:

«В припадках бреда называл себя императором. Он, несомненно, умалишённый».

Без тени стеснения последующая историография цитирует эти фразы как самые несомненные доказательства сумасшествия Иоанна Антоновича.

Пускай у недоразвитых офицеров хватало наглости писать о сумасшествии Иоанна. Они – убийцы. Они – свидетели пристрастные. Им нужно оправдаться во что бы то ни стало. Одно дело – убить помешанного колодника, другое – убийство разумного императора. За это просто поплатиться. Клевету офицеров можно понять. Она – во имя спасения самих себя.

Но как можно оправдать историографическую комиссию – ведь им досконально известно, что сумасшедшие слова: «Я – император Иоанн Антонович!» – кричит сам император Иоанн Антонович!

Он, доведённый до отчаянья тупоумием телохранителей, орёт в их пьяные морды свою страшную и беспомощную тайну, а это бешеное полицейство хохочет и – определяет степень его умственных способностей!

Запомним: больше ни в одном показании, ни в одном донесении, ни во время процесса, ни после суда, нет ни одного доказательства, ни одного конкретного примера или случая, который каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, доказывал бы, что Иоанн был сумасшедшим.

ЗНАЧИТ, ОН НЕ БЫЛ СУМАСШЕДШИМ.

Власьев и Чекин рассказали на допросе новеллу о косноязычии императора. Их новелла – гипербола. Для пущей убедительности они рассказали, что он заикался до такой степени, что его нижняя челюсть ходила ходуном и совсем отваливалась.

Екатерина подтвердила версию убийц.

Она сама оповестила Сенат, что встречалась с Иоанном. Он произвёл на неё самое отталкивающее впечатление. Она расплакалась и уехала вся в слезах. Ей страшно было разговаривать с ним – так он заикался, как самый что ни на есть настоящий сумасшедший. У него была уродливая физиономия зверя.

Это – неправда.

Екатерина не встречалась с Иоанном.

Если бы она встречалась, она посмаковала бы встречу сразу же.

Она всё перепутала. Одним она рассказывала, что встрети-
лась с императором два года назад в доме А. И. Шувалова.
Другим – что встречалась год назад в доме И. И. Шувало-
ва. Третьим – что встречалась в крепости. Четвёртым – что
Иоанна привозил в её кабинет Н. И. Панин. И так далее.

Екатерина помнила все даты и все встречи до мельчайших
подробностей. Все её записки сверены с архивами – ни ра-
зу она ничего не перепутала. Если уж Екатерина перепутала
событие двухлетней давности, значит, этого события *совсем
не было*.³⁵⁶ Императрица *не видела* заключённого, иначе она
не стала бы описывать его «уродливую физиономию зверя».

Потому что барон Ассебург, тайный советник датского
посла при русском дворе, видел Иоанна.

Восемнадцатого марта 1762 года Ассебург вместе с Пет-
ром III посетил Иоанна Антоновича в Шлиссельбурге³⁵⁷.
Пётр хотел освободить Иоанна, но не успел. Произошёл го-
сударственный переворот 28 июня.

Ассебург записал в дневнике:

«Иоанн был очень белокур, даже рыж, роста среднего,

³⁵⁶ Гипотезу автора опровергает замечание историка В. Бильбасова о встрече
Екатерины с Иоанном Антоновичем (см. книгу В. Бильбасова «Иоанн Антонович
и Минович». М., 1908, стр. 9).

³⁵⁷ Документального подтверждения этому нет. Историк В. Бильбасов упоми-
нает в числе сопровождавших Петра III при встрече с Иоанном Антоновичем
следующих лиц: Корфа, Нарышкина, Унгерн-Штеренберга и Волкова. «Иногда
называют ещё А. П. Мельгунова и императорского любимца И. В. Гудовича» –
добавляет современный исследователь А. С. Мыльников. (См. его книгу «Иску-
шение чудом». Л., Наука, 1991, стр. 209.)

очень бел лицом, с орлиным носом, большими глазами».

Ни слова об отваливающейся челюсти. Он описывает кра-савца! – орлиный нос, большие глаза, рыжие кудри.

Восемнадцатого марта 1762 года Пётр III посетил Иоанна в Шлиссельбургском каземате³⁵⁸.

Пётр III не заметил, что Иоанн заикается.

Пётр рассказывал английскому послу графу Букингему: «Разговор Иоанна был не только рассудителен, но даже оживлён».

Может быть, Иоанн схитрил и притворился не заикой?

Можно скрыть любую болезнь, косноязычие скрыть невозможно.

Пётр несколько часов говорил с Иоанном – и ничего не заметил.

Первое же слово, произнесённое калекой, должно было выдать его.

Барон Н. Корф³⁵⁹, полицмейстер Петербурга, присутство-вал при этой встрече, он знал Иоанна с детства.

³⁵⁸ Исследователь А. С. Мыльников называет другую дату. «Судя по докумен-там, – пишет он, – Пётр III виделся с Иоанном Антоновичем в Шлиссельбурге 22 марта». (См.: А. С. Мыльников «Искушение чудом».)

³⁵⁹ Корф Николай Андреевич (1710—1766) – барон, генерал-аншеф, под-полковник лейб-кирасирского папка, «главный директор над всеми полиция-ми» (1761), действительный камергер (1742), сенатор (1744), в 1741 г. доставил из Киля Петра Ульриха, в 1744 г. сопровождал Брауншвейгскую фамилию в Хол-могоры.

И барон Корф – ничего не заметил!

Обер-шталмейстер Нарышкин, барон Штернберг, секретарь Волков сопровождали Петра III. Они – присутствовали, они ни на минуту не отлучились из каземата.

И они – ничего не заметили. Никакого косноязычия.

Иоанн жаловался, шутил, шумел – волновался. Он даже запустил в потолок табуретку, и табуретка разбилась вдребезги.

Но «безымянный колодник» – ни разу не заикнулся.

В. Ф. Салтыков, который отвозил мальчика в Ригу, капитан Миллер, который отвозил Иоанна в Холмогоры, полковник Вындомский, начальник полиции в Холмогорах, сто тридцать семь несчастных полицейских, которые жили с Иоанном в Холмогорах двенадцать лет, сержант лейб-компания Савин, который тайно вывез Иоанна из Холмогор в Шлиссельбург, майор Силин, который возил юношу в Кексгольм, капитан Шубин, первый полицейский при Иоанне в Шлиссельбурге, четыре коменданта Шлиссельбургской крепости – майор Гурьев, капитан Чурмантеев, майор Овцын, подполковник Бередников – *более ста пятидесяти свидетелей в течение двадцати лет!* – никто не заметил, что Иоанн Антонович был косноязычен.

ЗНАЧИТ, ОН НЕ БЫЛ КОСНОЯЗЫЧЕН.

Итак.

Иоанн был здоров.

Он не был сумасшедшим.

Он не был заикой.

Он знал, что он – император.

Он был – опасен.

Он был уже серьёзно опасен, потому что ему было уже *двадцать четыре года*, потому что в его пользу было уже *четырнадцать заговоров*.

Это Власьев и Чекин были малограмотны. Об этом свидетельствуют все (больше полусотни) их доносы. Овцын писал: «Арестант доказывал Евангелием, Апостолом, Минеею, Прологом, Маргаритою и прочими книгами».

А Власьев и Чекин писали, что «он не знал азбуки».

Чтобы читать перечисленные комендантом Овцыным книги, нужно было знать по крайней мере два языка: современный русский и церковнославянский.

Комендант Бередников писал, что он «читал газеты».

Иоанн читал книги и газеты: он многое знал, обо всём слышал. Над ним издевались двадцать лет только потому, что он – претендент на престол. Он мог взбунтоваться.

Он мог взбунтоваться и найти в той же Шлиссельбургской крепости людей, которые с радостью помогли бы ему расправиться с: Екатериной.

Все мысли всех сословий – Шлиссельбургская крепость. Все мысли, все слухи. Наивность – Россия думает, что любой новый император её спасёт. В крепости – император. Ему – 24 года. Все знают – он разумен и религиозен. Чуть ли не каждый месяц – Сенат, суд: открылся ещё один заговор в

пользу Иоанна. Его имя – уже миф. Четырнадцать заговоров за два года – неслыханно за всю историю России.

Екатерина храбрится (диктатор – прихорашивается); но она напугана. Смертельно.

Что-то нужно делать с Иоанном Антоновичем. Но – что?

Убить тайно невозможно. Будет бунт!

Убить публично нельзя: ни собственная Россия, ни Европа не простят. Будет бунт в России и ссора, разрыв со всеми королевскими домами Европы, то есть – смерть.

Но и жить нельзя, когда в нескольких верстах от Зимнего дворца в камере-одиночке – император. Вся Россия – в беспокойстве, вся Европа сочувствует Иоанну.

Опасного претендента нужно устранить. Но как?

Сама по себе напрашивается другая версия убийства Иоанна Антоновича.

Императрица – хитра.

Она ищет исполнителей.

Ей не нужны исполнители слепые, ей нужны романтики.

2

Впоследствии, в манифесте от 17 августа 1764 года, Екатерина писала:

«Мирович проведя жизнь свою в распутстве, мотовстве и беспорядке...»

Какую жизнь?

Мировичу двадцать четыре года.

Он родился в Тобольске. Семья Мировичей, потерявшая все имения, сосланная, совсем обнищала. Отец Мировича служил капитаном в армейском полку. Из последних сил, из последних средств мальчика отдали в «немецкую» школу.

В школе училось всего восемь человек, дети ссыльных дворян. Директором и преподавателем по всем предметам был Сильвестрович, русский немец, лютеранин, человек блестящего образования. Он обучал юношей немецкому языку, музыке, математике и нескольким другим предметам.

Один из восьми учеников Сильвестровича, капитан Иван Андреев, соученик Мировича, так писал о последнем:

«Василий Мирович отличался перед товарищами способностями, шёл быстрее всех их и выучился между прочим хорошо говорить по-немецки и играть на скрипке и на бандуре».

Мало того.

В рапорте Бередникова Н. И. Панину комендант писал:

«При аресте подпоручика Мировича найдены у него мною... живые писания».

«Живые писания» – Мирович рисовал.

Мало того.

Писатель Г. П. Данилевский, педантичный исследователь архивов, писал:

«Прилагаю список с предсмертного, донныне нигде не изданного стихотворения Мировича».

Он писал стихи. Не может быть, чтобы он написал только одно стихотворение, предсмертное. Судя по слогу этого стихотворения, автор был, несомненно талантлив.

М. В. Ломоносов, угрюмый гений, – вся профессура шаралась от него, ему одному позволяли являться в университет без парика, ненапудренным и ненапомаженным, и он вот именно – являлся, а не приходил читать лекции, облысевший, обрюзгший, с толстыми и мягкими губами, с тростью, выточенной собственноручно из голубого агата, в малиновом халате, расшитом золотыми цветами, круглый год – в восточных валенках, инкрустированных собственным стеклом, когда Ломоносов произносил (вот именно – произносил, а не говорил) речь в университете, он цитировал стихотворение Мировича (речь о «новейшей поэтической школе»).

Когда Бецкий, блестящий администратор и эрудит XVIII века, объявил конкурс на рисунок перил для небольших петербургских мостов, победителем конкурса был Мирович.

Мирович жил в Петербурге всего два года.

В доме партикулярной верфи в Литейной части он снимал карликовую мансарду над сенями. Он сам смеялся над своей беспросветной судьбой. Вот что он написал на обратной стороне билета – приглашительный билет на придворный маскарад 21 февраля 1764 года:

«Было и гулено, и пешком с маскарада придено по причине той, что гранодёр с шинелью ушел, и я, не сыскав лоша-

дей, в маскарадном платье домой пришол».

Что Минович мог *проматывать*?

Офицерское жалованье, которое ему не выплачивалось вот уже восемнадцать месяцев? Воровать гороховую похлёбку в трактирах и продавать похлёбку – кому? фельдмаршалам? а выручку проматывать?

Какому «распутству» мог «предаваться» нищий подпоручик?

Играть в карты? Не исключено. Только – так, по последней копейке.

Женщины? Может быть. Но... в такой беспросветности вряд ли Минович был основателем гарема.

Конечно же, он хотел славы, денег, поместий, орденов и чинов. Но не больше, чем любой молодой офицер. Он знал: он имеет больше оснований, чем кто-либо, мечтать о привилегиях и о самостоятельности, – он талантлив.

Если бы он был бездарен, распутен, глуп, труслив (так охарактеризовала его императрица после расправы), то его кандидатура не привлекла бы внимания Екатерины.

Не сохранилось ни одного документа, который бы доказывал связь императрицы с Миновичем. Остались только смутные слухи, недобросовестные сведения иностранцев.

Но эта связь – была.

Попробуем на основании косвенных документов доказать эту связь.

Попробуем при помощи перекрёстных вопросов опреде-

лить степень причастности Екатерины к делу Мировича, то есть к убийству Иоанна Антоновича.

Н. И. Панин, Н. Корф, С. Шешковский, И. Н. Неплюев, И. Веймарн – вельможи Екатерины, и сама Екатерина, и все последующие государственные историки единодушно пишут, что Мирович был безвестен и не мог иметь сторонников.

Это – не так.

Мирович не только был известен – ОН БЫЛ ЗНАМЕНИТ. Он был знаменит как поэт (не по публикациям, по рукописным спискам), он был знаменит и своей родословной.

Пятьдесят пять лет (с 1709 года!) восемь императоров и восемь поколений Сената занимаются делом Мировичей.

Прадед Мировича, Иван Мирович, бежал в Крым. Переяславский полковник, он отстаивал независимость Малороссии, он был один из предводителей Запорожья. За ним охотились, к нему подсылали убийц, чтобы «этого бездельника истребить».

Дед Мировича, Фёдор Мирович, был генеральным есаулом при Орлике. Генеральный есаул – это почти канцлер Запорожской республики. Он сражался в войске Мазепы. Он сбежал в Швецию, а потом в Польшу. Его брат Василий собирался бежать в Швецию, но его схватили и сослали в Сибирь, на каторгу. Ещё пять братьев Мировичей были сосланы в Тобольск.

Дядя Мировича, Пётр Мирович, был секретарём Елизаветы Петровны.

Отец, Яков Минович, был секретарём польского посла графа Потоцкого.

Пётр и Яков составляли заговор в пользу Малороссии, но их схватили и отправили в Тобольск.

Сам Василий Яковлевич Минович не был простым подпоручиком Смоленского пехотного полка, он был адъютантом П. И. Панина, полковника Смоленского полка, родного брата Н. И. Панина, начальника Тайной канцелярии.

Ближайший родственник Миновичей, полковник Полуботок, – герой Малороссии. Полуботок – в тюрьме, в кандалах. Нужно учесть, что все вельможи Малороссии, как и вельможи России, были родственники, одна семья. Минович несколько раз говорил с К. Г. Разумовским, который был родственником Полуботка.

Неизвестно, о чём говорил Разумовский Миновичу, которого знал с детства, известно лишь, что посоветовал подпоручику «хватать фортуна за чуб».

И Минович – *хватает*.

Василий Минович ещё только два года в Петербурге, но его уже знают. Его не только знают, его узнают на улицах и в трактирах. Он затеял процесс в Сенате: он требует возврата имений своего рода.

Процесс бессмысленный. Поступок дерзкий.

Его дед ещё жив и бунтует в Варшаве. Возвратить имения внуку – значит опять создать легальный очаг бунта в Малороссии.

Сенат отказывает Мировичу. Поэт пишет челобитные Екатерине. Он не стесняется в выражениях по адресу Сената. Поступок опасный – челобитные. Ни у кого нет желания пропагандировать эту фамилию. Брось клич «Мирович!» – и всё Запорожье схватится за свои кривые сабли.

Василия Мировича ещё просто убрать, устранить, сослать, чтобы – ни слуху ни духу.

Почему же Екатерина 1 октября 1763 года присвоила прапорщику Мировичу чин подпоручика? За какие особые заслуги? Срок следующего чина ещё не подошёл. Успокоить скандал в Сенате? Дать взятку (чином!) скандалисту? Посмотрим.

Почему Екатерина не наказала Мировича за сенатский процесс, а назначила Мировичу аудиенцию, как сообщают слухи?

Потому что она нашла кандидата.

Мирович знаменит, но нищ. Его можно обласкать. Ему можно посулить, к примеру, гетманскую булаву.

Но Мирович – потомок ещё живых бунтовщиков. С ним просто будет расправиться.

Неизвестно, на что может решиться обездоленный подпоручик.

А тут задание пустяковое: под каким-нибудь благовидным предлогом вывезти из крепости Иоанна Антоновича. И – никаких усилий: гетманство обеспечено.

Диалоги Мировича и императрицы нигде не записаны. Ка-

кое было соглашение (подробности!) – неизвестно. Но на допросах Мирович намекает на своё истинное желание – гетманство, значит, разговор был и о гетманстве. Какой план предложила Екатерина Мировичу – неизвестно. (Последующие события доказывают поговорку: какой план – такой и клан.)

Но начиная с октября 1763 года (присвоен чин, дана аудиенция) фрейлины Екатерины чуть ли не ежедневно находят в подъездах и в урнах Зимнего дворца подмётные письма. Письма не запечатаны, в письмах пространное изложение нового заговора в пользу Иоанна Антоновича. Фрейлины предупредительно передают письма Екатерине. Императрица спокойна. Были письма и поглупее. Не обращает никакого внимания.

Проходит ещё два месяца, и Екатерина получает ещё несколько десятков писем. Копии распространяются по всему Петербургу. Весь Петербург только и сплетничает о письмах. Императрица – спокойна! Впоследствии она скажет:

– Все эти письма моим молчанием презрены были.

Неизвестно. Может быть, и «молчанием презрены были», может быть, и написаны были её собственной рукой и переписаны Мировичем.

Правдоподобнее второе предположение.

И вот почему.

Вспомним так называемый «заговор Хрущёвых и Гурьевых». Никакого заговора не было.

Двадцать девятого сентября 1762 года была пьянка в «Съестном трактире город Лейпциг».

Пили: П. Хрущёв, пригласивший, и гости – А. Хрущёв, И. Гурьев, В. Сухотин, С. Бибииков, П. Гурьев, И. Хрущёв, Н. Маслов и домохозяин Петра Хрущёва – Данилов. Обслуживали: хозяин трактира Колька Коняхин, его супруга Анфиска.

Была простейшая офицерская пьянка с простейшей офицерской болтовнёй.

Поручик Измайловского полка, хвастун, болтун и пьяница, постоянный посетитель «Съестного трактира город Лейпциг», сказал следующие слова. Он уже был вдребезги пьян, исчерпал весь свой словарный запас, язык не слушался уже этого поручика. Вот что сказал Хрущёв, слово в слова:

– Последний день пью, десятый день, – и хватит пить. Это последний день радости. Ныне будет фейерверк. Мы дела делаем, чтобы государыне не быть, а быть Иоанну Антоновичу!

Типичное офицерское бахвальство. Простейший бред алкоголика.

Каковы же были результаты этого бреда?

Ведь на следствии всё выяснилось. Как императрица квалифицировала эту чепуху?

Вот что было.

Был шум, дебош, бокалы, цыганские бубны, табачный туман, солнце и тьма.

Н. Сухотин был вдребезги пьян, он ничего на свете не слы-

шал, только пил за здоровье какой-то то ли собачьей радости, то ли последней радости.

В. Сухотин совершенно ничего не слышал, потому что он вообще-то не пьёт, а тут его невзначай напоили.

П. Гурьев ничего на свете не помнил, потому что он алкоголик, и отстаньте на веки вечные! – он ухитрился напиться и на первом следствии.

П. Гурьев не помнил даже состав компании, потому что он пришёл на обед «в пьяном беспамятстве».

Д. Данилов, домохозяин, сказал, что П. Хрущёв живёт в его доме, и больше ничего он прибавить не в силах к характеристике этого типа. Тогда его пытали, Д. Данилова, домохозяина. Данилов сказал; что П. Хрущёв – такое трепло гороховое, что его буйную болтовню уже давным-давно не слушает, на него никто давно не обращает никакого внимания, – шут этот человек.

П. Хрущёв, вождь заговора, сказал, что за здоровье *последней радости* – пил, про фейерверк – говорил, а про императрицу и про Иоанна Антоновича говорил в самых тёплых и нежных дружественных тонах. «Но никогда не прощу доносчикам – Маслову и Хрущёву!» – гневался П. Хрущёв.

Гнусный донос. Никакого заговора. Это подтвердили и те, кто обслуживал обед: хозяин трактира Коняхин, его жена Анфиска.

Следственная комиссия развила бурную деятельность. Допрошены были чуть ли не все офицеры Измайловского

и Преображенского полков (там служили Хрущёвы – Гурьевы). П. Хрущёва и С. Гурьева пытали. Ничего: никакого заговора – пустая пьянка.

Однако императрица назвала эту чепуху, эту безвестную историю – «повреждение спокойствия нашего любезного отечества» и расправилась с «повредителями» следующим образом. По её наущению следственная комиссия приговорила к смертной казни П. Хрущёва, А. Хрущёва, С., И., П. Гурьевых; к ссылке – В. и Н. Сухотиных и Д. Данилова. Потом процесс ещё продолжался, потом их, кажется, не казнили, но всех били палками и сослали.

Екатерина боялась даже пьяных восклицаний, даже упоминания всуе имени Иоанна Антоновича.

Как же расценивать её величественное молчание в данном случае – в деле Мировича? Пятнадцать писем – с подробностями серьёзного заговора, петербургская полиция (барон Н. Корф), Тайная канцелярия (граф Н. Панин) умоляют императрицу поручить им расследование, а императрица – спокойна! Она отнекивается. Она запрещает заниматься «ерундой».

Значит, был сговор.

Нужно хорошенько подготовить общественное мнение к предстоящему событию: пустому восстанию. Только – так.

Иначе: при такой сложной ситуации уехать путешествовать в Лифляндию можно только в припадке умопомрачения. А она уехала путешествовать 20 июня 1764 года – за две

недели до осуществления заговора.

3

«Съестной трактир город Лейпциг».

Об этом трактире иностранные дипломаты и драматурги написали немало.

Хозяину трактира Кольке Коняхину и его жене Анфиске приписывали чудесные роли: Коняхин – чуть ли не русский Цезарь Борджиа, Анфиска – вообще Медуза Горгона.

Но это и так и не совсем так. Биография трактира проста и поучительна.

Колька Коняхин был никем, поваром Коняхой: крепостным жандарма-комильфо Н. И. Панина. Коняху полюбила горничная Анфиска. Она была старше Коняхи на много-много лет, но девушка. Это-то и потрясло повара. Он любил её снисходительно и восторженно, как всякий юноша, который впервые познакомился с девушкой. Он, как бывает в таких случаях, пообещал жениться.

Обещания обещаниями, а действительность – она невыносимо реальна.

– Когда же он женится? – узнавала Анфиска у псарей Панина. Но какие сентиментальные чувства у псарей? Они отвечали (формула популярная):

– Отдайся – узнаешь!

Анфиска забеременела. Повар Коняха к этому времени

хорошенько потолстел и – не расплакался. Первое потрясенье прошло. Коняха посматривал по сторонам – где какие девушки ходят. Коняху совсем замучила жажда ласки.

Беременная Анфиска была горничной. Она жила в хорошей семье. Хозяин – Маркел Тимофеевич, умница, скромник, брился, играл на арфе, 65 лет. У него были кое-какие поместья. Управляющий присылал ему деньги за поместья. Жена – Оленька, умница, скромница, квасила капусту со слугами, играла на лютне, 22 года. Ничего у неё не было, никаких поместий. Только – муж. У них было тогда четверо детей.

Анфиска показала тяжёлый живот Оленьке. Оленька пощупала живот и прищурилась.

А н ф и с к а. Выхожу замуж. Позволяете?

О л е н ь к а. Позволяю. А как же! Будь счастлива! Получишь приданое.

А н ф и с к а. Согласна. Пусть приданое. Но жених-то мой – Коняха, крепостной. Выкупайте!

О л е н ь к а. Прости, пожалуйста! Как это – выкупайте? А деньги?

А н ф и с к а. Но, барыня! У вас денег – уйма!

О л е н ь к а. Ты с ума сошла, моя радость! У меня – ни копейки.

А н ф и с к а. Да-да, ни копейки! Пусть платит хозяин.

О л е н ь к а. Но хозяин меня засмеёт, а ты получишь по морде, моя радость!

А н ф и с к а. А вы попросите у Сухотина.

О л е н ь к а (*лицо её, ещё совсем девичье, заливается постепенно белой, а потом красной краской, смятение*). Ну, если только у Сухотина... попробую... не знаю.

Сухотин, капитан Преображенского полка, уже четыре года лучший друг семьи. Лучший из лучших. Он друг Маркела Тимофеевича, друг Оленьки, друг детей, всех четырёх. У него наследство – миллион, но из-за сердечной привязанности к этой семье он даже не путешествует в свободное от службы в лейб-гвардии время, не кутит в карты, не алкоголь, не добивается девок, – Сухотин квартируется в доме Маркела Тимофеевича и даёт всей семье полезные советы, настоящий товарищ.

Оленька попросила – Сухотин дал Анфиске пять тысяч рублей. Анфиска принесла золото и банковые билеты Коняхе. Коняха потрясён во второй раз. Его не касается, откуда всё это. Крепостной повар выкупает себя сам. Теперь Коняха – независимое существо. Он женится на Анфиске. Ничего не поделаешь. Прощай, любовь и грёзы, здравствуй, роскошь. Во вдохновенном воображении Коняхи мелькает мысль: если открыть трактир – это как раз то, чего ему не хватало в его крепостной жизни.

Анфиска опять пошла и попросила Оленьку. Оленька опять пошла и попросила Сухотина. Сухотин дал деньги Оленьке, Оленька дала деньги Анфиске, Анфиска – своему любимому Коняхе. Трактир открывается. Но не хватает де-

нег – трактир нужно переоборудовать: в подвале нужен ледник для свежих овощей, фруктов, рыбы и мяса; на чердаке – нет никаких запасов продовольствия; мало вина, круп; нужны современная мебель и бронзовые подсвечники.

Просьбы повторяются. Сухотин даёт 15 000 рублей. Трактир расцветает. Сухотин начинает играть в карты. Трактир трактиром, но и Анфиске ни с того ни с сего потребовались кольца с бриллиантами и персидская шаль с кисточками. И Коняха уже присмотрел себе в немецком магазине часы с брелоками и соболий халат, вечерний.

Оленька отсылает все свои драгоценности Анфиске. Месяц все счастливы, и каждый по-своему.

И вот в конце концов известному в Петербурге трактирщику Коняхину потребовалась карета. И шесть английских лошадей. Анфиска побежала к Оленьке: в последний раз! покупай карету и – простимся! Оленька осатанела, она швыряет в Анфиску щипцы для завивки волос. Тут же и Сухотин. Он совсем проигрался, он пьян, он обнищал. Он бьёт Анфиску кулаком по морде и выбивает у неё передний зуб. Анфиска огорчается и идёт в спальню Маркела Тимофеевича, который ещё совсем-совсем ничего не знает, а только спит в спальне и любит свою жену и своего друга Сухотина. Анфиска повторяет просьбу про карету. Маркел Тимофеевич обалдевает (ведь он всё проспал и не в курсе всех предыдущих просьб). Анфиска всё рассказывает и обижается, что ей прежде не отказывали, а теперь – ещё и бьют. Маркел Тимо-

Феевич ласково разговаривает с Анфиской, сочувствует её стеснённым обстоятельствам, целует её в здоровенные губы, гладит её по черноволосой башке, потом нежно берёт её голову в обе свои ладони, зажимает её между своих колен, задирает подол и – более часа! – хлещет Анфиску кавалерийской плетью!

Анфиска не плачет. Хозяин устал, вспотел, он как большая, несчастная птица после дождя, у него тяжёлое дыхание, 65 лет, астма. Он отпускает Анфиску. Анфиска оправляет бархатную юбку, усмехается мстительно и просит Маркела Тимофеевича прочитать в таком случае вот эти две-три незначительные записочки. Ещё не отдышавшись по-настоящему, Маркел Тимофеевич несколько раз читает записочки, знакомый почерк. Так и не отдышавшись, Маркел Тимофеевич скоропостижно скончался на 65-м году жизни и счастья.

Записочки писала Оленька. Она писала Сухотину когда-то, а передавала Анфиска. Но она и передавала и припрятывала. По записочкам выясняется: ещё до свадьбы с Маркелом Тимофеевичем Оленька была любовницей Сухотина. После свадьбы ничего не изменилось, всё осталось так, как было. Все четверо детей – от Сухотина. Маркел Тимофеевич, оказывается, имел к счастью приблизительное отношение. На Сухотина впоследствии донёс Коняхин, и разорившегося миллионера приписали к заговору Хрущёвых – Гурьевых и сослали. Оказалось, что у Сухотина есть брат, поручик лейб-гвардии конного полка. Сослали и брата.

«Съестной трактир город Лейпциг» расцветает.

Там собирается богема: поэты и полицейские из Тайной канцелярии, философы русского Просвещения и фавориты императрицы, барабанщики Шлиссельбургского гарнизона и адъютанты её императорского величества.

Там бушует капрал Гаврила Державин³⁶⁰. Он ещё беспомощен и безвестен как поэт, но хорош и хорошо известен как шулер. Он сидит за ломберным столиком. Он выигрывает тысячи золотых монет, и взбешённые офицеры и генералы допытываются, как это ему удаётся: махинации Державина невидимы и блестящи. Генералы допытываются – капрал Державин отмалчивается. Они пьяны – он не пьёт ни капли, только уносит тысячи золотых монет.

Там лихорадочный прапорщик Новиков. Он остроумен, он ядовит, он декламирует полицейским Тайной канцелярии Вольтера и ещё чёрт знает что, а они его боятся, он не только начинающий писатель, но и великолепный фехтовальщик. Новикову двадцать лет.

Там вельможа-пенсионер, фельдмаршал Миних, полководец восьми русских императоров, со студенистыми немецкими бакенбардами, он курит лучший в мире табак, «сюперфин-кнастер», он сидит в матросской куртке, в шароварах, в деревянных башмаках и рассказывает в завесу табачного

³⁶⁰ Гаврила Романович Державин (1743—1816) происходил из небогатой дворянской семьи; в 1759—1762 гг. учился в Казанской гимназии. С 1762 г. служил солдатом в Лейб-гвардии Преображенском полку, участвовавшем в дворцовом перевороте 1762 г.

дыма – сам себе: какая мерзость и мразь ваша современная действительность, как его любили бабы, как он шёл к Екатерине I, никому не кланялся, посмотрит на солнце и кивнёт, как собаке, какому-нибудь временщику Меншикову, – вот и весь юбилей! Какая у него, Миниха, была трость из слоновой кости, на трости золотой набалдашник, похожий по форме на голову царя Соломона. Бабы его любили (не Соломона, а Миниха), бабы его уж так любили, – вот основа основ. Императрица Анна Иоанновна пала к его ногам, как спелая слива. Правительница Анна Леопольдовна смотрела на него, как рысь, – влюблённо. Бутылка коньяка для него была – как напёрсток амброзии. Хлебнёт бутылку, сожрёт лимон – и все бабы у его ног, и что нам, нибелунгам, Семилетняя война! Хватай баб за жабры и радуйся, мальчик мой. Как он скакал на колесницах! Стоит на колеснице во весь рост, в России – эллинский праздник! А он стоит и смотрит на ипподром, как Фаэтон³⁶¹. Светло-зелёный сюртук, лацканы – красные, обшлага – такие же, шпага и молодое лицо! А на ипподроме одни бабы, все – императрицы, все – принцессы! А сейчас? О время!

Там девкам приносят сидр из яблок и фаянсовые блюда...

– Что я теперь имею? – кричит фельдмаршал с болью. –

³⁶¹ Фаэтон – в древне греческой мифологии сын бога Солнца – Гелиоса. Фаэтон, управляя колесницей, не смог сдержать огнедышащих коней, которые, приблизившись к земле, едва не сожгли её; чтобы предотвратить несчастье, Зевс поразил Фаэтона ударом молнии.

Вместо баб – оранжереи с померанцевыми, лимонными и лавровыми деревьями!

Там капралы курят табак и запивают пивом. Говорят капралы, адъютанты, фавориты и барабанщики:

– Что сказала матушка? Слушайте. Не тряси пепел в винегрет, ты, барбаросса!

– Эй, девка, чего ты машешь всеми ногами!

– Перед вами гений. Снимите шляпу, капустаница!

– Если ты гений, так почему скрывал раньше?

– Она читает в очках, притом с увеличительными стёклами. Ну и смех! уже столько лет, а читает в очках.

– Ум хорошо, два лучше, а три с ума сведут.

– Ну и морда у моей вакханки!

– Петербург!

– Я и говорю, мы – Петербург. Москва – столица бездельников и холуёв!

– Что ты там сказал про Москву, сын человеческий? Повтори – и не нужно будет никакой дуэли. Смерть на месте!

– Смерть – смертный грех.

– Не трогай мою сестру, она – моя сестра, и у нас есть мать.

– А у меня что – нет матери? Я что – сирота, что ли?

– Это не я сказал про Москву. Это слова её императорского величества – Екатерины Второй.

– Блеф – твоя Вторая!

– Эй-эй! Не попади к Панину, сын человеческий!

– Солдат – это Россия!

– Дурак! Россия – это солдат!

– Мама, я ещё вернусь в твой домик!

– Семь «червей»! Все «черви»-мои!

– Вист!

– Все «черви» – твои, и сам ты не человек – а червяк, мой мальчик!

– Отдай мне всех червей – я отнесу их матушке государыне нашей, пусть половит рыбку в мутной водице!

– Что Генрих Четвёртый³⁶², Наваррский, говорил французам? Он говорил вот что: «Монсеньоры! Вы – французы, неприятель – перед вами!» Вспышка патриотизма. Что генерал Цитен говорил немцам? Он стоял перед немецкими дивизиями с хорошо причёсанными седеющими волосами и говорил вот что: «Солдаты и офицеры! Сегодня у нас генеральное сражение, следовательно – что? Следовательно, всё должно идти как по маслу». Рассудительно! А как победили мы Берлин? Кто крикнул: «За Бога, за царя, за святую Русь?» Кто крикнул? Мы – не знаем. Все без памяти бросились на врага, и – победа! Вот это клич!

– За Бога мать тоже можно крикнуть.

– Молодец, и это – клич!

– Дадите вы мне, в конце концов, сказать слова Екатери-

³⁶² Генрих IV – французский король с 1589 г., из династии Бурбонов; был также с 1572 г. королём Наварры. Первоначально – глава гугенотов, в 1593 г. перешёл в католичество и в 1594 г. вступил в Париж. Нантским эдиктом 1598 г. предоставил гугенотам свободу вероисповедания. Убит католиком-фанатиком Равальяком.

ны?

– Давай. Уймитесь, этот словарь хочет сказать слова!

– Вот что сказала императрица: «Дворянство с величайшим трудом покидало Москву, это излюбленное ими место, где главным их занятием является безделье и праздность».

– Ха-ха-ха! Вот так уха!

– А ещё что она сказала, не помнишь? Я помню: «В России всегда было много тиранов, потому что народ по природе своей бездеятелен, а также много доносчиков, и все их любят».

– Эй-эй! Не цитируй стерву!

– Мама, я ещё вернусь в наш домик!

– Не пей вино, дитя, от вина слепнут!

– Пас!

– Чепуха! Я пью, пью, четырнадцать лет пью – и не ослеп.

– А ты попей месяц подряд, потом выверни карманы – и ничегошеньки не увидишь!

– Никита Иванович Панин!

–

– Что я слышу? Я слышу – тишину, и все встают!

– Скотские шуточки.

– Адъютант, послушайте про Панина. Марья Дмитриевна Кожина посплетничала насчёт Орловых. Императрица узнала и позвала Панина. Эта Тайная канцелярия явилась во всём блеске своих бриллиантовых пряжек и бакенбард. В этот момент во дворце был маскарад. Кожина, как ни в

чём не бывало, плясала на маскараде и вертела хвостиком и язычком. Государыня приказала Панину, он исполнил: он тихонько попросил генеральшу Кожину поехать с ним, побыстрее, их ждут. Она поехала. Он привёз её в Тайную канцелярию, снял свои франтовские манжеты из драгоценных брюссельских кружев и высек Марью Дмитриевну собственной холёной ручкой, в которую он взял розгу – ветку голландской розы с цветами и шипами. Потом Никита Иванович отвёз, как и полагается, танцовщицу на бал. Обрато. Бедняжка, ещё совсем молоденькая и неискушённая генеральша, не сказала ни единого слова. Она затаила слёзы и продолжала пляски. Менуэт, мнимаска, котильон – она всё плясала. Только острый глаз мог бы заметить, что она танцует со странностями, приседает. А ведь была – королева бала.

– Я – Николай, а ты?

– Ну, тогда и я – Николай! Давай называть друг друга «Николай» – всё же жить будет повеселее.

– Ну что ж, Николай, мне кажется, что жизнь потихоньку налаживается.

– Правильно, Николай. Жизнь потихоньку налаживается: потихоньку поумираем!

– Все полки как полки, только у нас, негодяев, не полк, а чёрт знает что: казаки, греки, албанцы, татары, горцы, черемисы, один я – русская душа.

– Пей, пей, колокольчик, а потом поблюём – и баюш-

ки-баю!

– Ах, Княжнин! Княжнин написал драму «Вадим». Панин побеседовал с автором. Голос начальника Тайной канцелярии был – одна лишь ласка. Княжнин прибежал домой в слезах. Он поплакал, слёг и умер утром. А Александр Николаевич? Ему сказали это имя – он упал в обморок.

– Какому Александру Николаевичу? Какое имя сказали?

– Радищеву – Панина!

– Послушай, Мирович, писать пиши, хоть стихи, хоть что хочешь, но прошу тебя Христом – не плюй в мою душу! Знать не знаю я твоего Иоанна Антоновича! Не слышал такого имени!

– А у кого теперь есть имена? Имён-то и нет, мой мальчик! Все – псевдонимы.

– Ну-ка, ну-ка, объясни!

– Чего объяснять? Догадайся! Пётр Третий – псевдоним Карла-Петра-Ульриха, Екатерина Вторая – псевдоним Софии-Фридерики. А ЕГО спрятали в Шлиссельбург.

– Ты-ты, кого – его? Договаривай!

– Иоанна! Ивана Антоновича! Припрятали, сволочи!

– Мама, мама, я ещё вернусь в твой домик!

– Где капрал Державин?

– Нет, и нет поручика Ушакова! Ребята, мы недосчитались, в своих рядах лучших из лучших: шулера и алкоголика. Где они, дети наши?

Державин сидел на канаве с девчонкой. Девчонке семна-

дцать лет. У неё фарфоровое личико, фарфоровая шейка. Двое цыган, с большими животами, в малиновых жилетах, с толстыми чёрными усами, все пальцы в серебряных перстнях, – цыгане яростно рвали струны гитар и пели сногсшибательными голосами:

*Рассудок мне велит:
Себя ты не губи,
А сердце всё твердит:
Пожалуй, друг, люби!*

Поручик Аполлон Ушаков проигрался на бильярде. Он расстегнул свой мундир медного цвета и сосредоточенно, с разумным выражением лица отрывал пуговицу за пуговицей. Время от времени он брал со стола бутылку мадеры и поливал свою мраморную грудь вином, объясняя себе разумным голосом (голос разума!) – не жалко мне мадеры, только бы на груди росли волосы страсти.

Красномордый от пива Коняхин разносил на деревянных подносах блины: с вареньем, с коровьим маслом, со сметаной, с подливками, с красной икрой, с сёмгой, с гусиной печёнкой. Блины – блестяли! Падали бокалы и кружки, их пинали башмаками, они кувыркалились и звенели.

Подпоручик Минович декламировал:

– По почтовому тракту мимо галерной гавани ехала оливковая с гербами карета. Солдаты обвили шляпы и мушкеты дубовыми ветвями. Кто ехал в карете? В карете был котёнок

Её императорского величества Екатерины Второй. Котёнок был пушист и пьян. Он повеселел, а потом повесился.

– Пюсовый фрак и синие панталоны с узорами по бантам – сорок рублей! Ничего себе синяя лососина!

– Дуй мою музыку, мандолина!

– Кто изобрёл бильярд? Не знаешь? А я знаю! Я! Это мной и никем другим открыта священная форма бильярдного шара. Меня обокрали! Посмотри на этот паршивый бильярд: даже фигура шара та же самая, какую изобрёл я!

– Ты что? Посмотри на себя. У тебя и очи-то от пьянства стали бирюзовыми. Зачем ты выписываешь на бумажную салфетку цифры? Ты что, хочешь превратиться в Пифагора?

– Поздно, Гаврила! Я пересчитываю своё призванье!

– Ну и как? К чему же ты призван в нашей брэнности?

– Простейшая арифметика. Возьми грифели и пиши: сколько времени ты потратил на жратву, сколько проспал, сколько опохмелялся, сколько побегал за бабами – вот и всё твоё время и всё призванье. Остаток, полезный отечеству, – мал. Смысл бытия – пуст. Смысл, говорю я тебе, мал и нуден – комарик?! Это ты давно сочинил: «Жизнь – жертвенник торжеств и крови».

Петербургские судьи сидели и пили квас и ели толстые пироги с подливкой.

Граф Н. Н. Блудов ходил по трактиру, маневрировал. Он был в белом кафтане с золотыми позументами. Его не инте-

ресовали офицеры. Он надел небольшую наглазную маску, его интересовали судьи.

У судей были башмаки с оловянными пряжками, манжеты из брюссельских кружев, на пучке пудреной косы – чёрный шёлковый кошелёк. Когда происходил спор о юриспруденции, судьи вставали и раскланивались друг с другом, чтобы не пускать в ход кулаки. Судьи время от времени выходили на улицу и ходили на окостеневших ногах вокруг трактира – они разгоняли кровь, и раздавали кучерам по калачу, и подносили по стаканчику пенника, – кучера скучали на козлах.

Граф Блудов положил перед собой заряженный пистолет и пил с судьями.

– Кто ты? Тебя мы не знаем! – изумлялись судьи, уже надрывшиеся за счёт Блудова.

– Ещё узнаете! – успокаивал граф в белом библейском кафтане.

– Давайте познакомимся, – предлагали судьи.

– Ещё познакомимся, – пообещал граф.

Судьи смотрели отчаявшимися глазами на пистолет, а граф мирно и свято сидел и вязал деревянными спицами белые перчатки, часто-часто посматривая на судей. Граф Блудов был небезызвестный шулер и валютчик и на всякий случай пил со всеми судьями.

Хозяин Коняхин сидел за ширмой и записывал все разговоры посетителей. Писал он грамотно и скорописью, поэтому ни одно постороннее слово, вовремя сказанное, не

пропадало даром. Потом Коняхин приносил свои дневниковые записи Н. И. Панину. Красномордый Коняхин был ещё и неплохим графиком. Поскольку тогда не существовало фотографии, он делал моментальные наброски неизвестных лиц, а Тайная канцелярия разыскивала их впоследствии.

Пиво, раки, солёные огурцы, солёные сухарики, спаржа, вобла, маринованная свёкла, свиные ножки, мочёный горох, – потом вся компания отправлялась в городок Валдай.

– Гусар должен знать только саблю и лошадь, как земледелец – плуг и волов, остальные науки – мать, милая моя!

Валдайские баранки были знамениты по всей России, не менее знамениты были и валдайские девки. Девки торговали баранками и изобретали мази для румянца, а также снадобья любви для отдыхающих путешественников. Торговля баранками не останавливала и не тормозила девичьих страстей. Девки продавали в гостиницах баранки и хитренько распространялись о своём целомудрии. Путешественники хитренько сомневались. Чтобы рассеять сомнения, девки приглашали вечером в баню. Там никого не будет. Никто не узнает. Нужно только хорошенько отдышаться днём и отоспаться! Путешественник спал весь день. Сон был несладок и мечтателен, какой там сон, человек предвкушал вечернее целомудрие. Вечером приходила суровая старуха в чёрном, требовала денег и приводила взволнованного юношу или мужа в тёмную баню. Там уже сидели на белых деревянных полках две-три девки. Они раздевали путешественника, а сами

уже были нагие. Зажигали свечи. Затягивали окна бычьими пузырями. Не потому, что не было стёкол, потому, что пузыри чуть-чуть прозрачны, пусть для случайного постороннего глаза чуть-чуть брезжит огонёк, людей – не видно, и что там в бане девки делают – неизвестно. Вместо воды на парильные камни бросали пиво (из ковшиков!) и парились в пивном пару. Путешественник лежал, как Нерон, и не шевелился. Девки без всякого смеха переворачивали его распаренное тело, хлестали (для здоровья!) берёзовыми вениками, обмывали с торжественностью, как мертвеца, мазали тело мазями, и человек со всей активностью ощущал радость жизни и прелесть женщин. В бане была полутьма, колебались и мигали синенькие огоньки нескольких свечей, ОН забывал пошлый реализм службы и семьи, он чувствовал себя, как на небе с небесными принцессами, – теперь все смеялись и хохотали, все вместе веселились, грызли грецкие орехи, кусали конфеты, флиртовали в фантики, ну и до тех пор, пока обессиленный ОН, совсем больной, ослабленный, без карманов, не убежал на последней коляске в Петербург, с радостью уступая баню следующему.

Страсти страстями, но ростовщики тоже не дремали.

«Съестной трактир город Лейпциг» посещали все лучшие ростовщики Петербурга. Эти-то не пили и не играли. Они дышали и ждали. Когда кто-то проигрывался, ростовщики успокаивали его и давали в долг деньги. Проигравшийся подписывал вексель. Цирюльник Преображенского полка

Мишка Евсевьев быстрым глазом оценивал фраки, камзолы, сапоги. Он платил наличными – серебром и медью. Он платил примерно в двадцать раз меньше настоящей стоимости, но игра крутилась, никто на такие пустяки не обращал внимания, у всех горели глаза, тряслись руки. Цирюльник Мишка Евсевьев уезжал из трактира на специальной фуре по полкам – распродавать барахло, палаши и пистолеты. Офицеры и генералы с лихорадочной поспешностью проигрывали последние нитки и, бесперспективно тоскуя, ожидали наступления темноты (сидели в шерстяных шезлонгах в комнатах хозяина Коняхина, сидели с закрытыми глазами и цедили сквозь судорожные зубы ругательства и матерщину в адрес правительства и Российской империи, а Коняхин ходил за ширмы и записывал). Когда наступала темнота, офицеры и генералы заворачивались в простыни Коняхина и, согревшись, убегали из трактира вприпрыжку – по переулкам! по перекрёсткам! – по своим квартирам и казармам.

4

Двадцатого июня 1764 года Екатерина отправилась путешествовать. Она позабыла передать Панину инструкцию о начале следствия над лицами, сочиняющими возмутительные письма (Мирович и Ушаков!).

Но ум её был пунктуален.

Потому что: ничто не помешало ей, она не позабыла пе-

редать инструкцию Власьеву и Чекину.

Кто же такие Власьев и Чекин? Действительно ли «больные и честные офицеры»? Все архивные исследования опровергают эту версию императрицы.

Сержант Ингерманландского пехотного полка Лука Матвеевич Чекин и прапорщик Игнерманландского же пехотного полка Данила Петрович Власьев – два «больных» бандита – заурядные карьеристы. Они ушли с регулярной службы в тюремные надзиратели в 1756 году. Ингерманландский полк входил в состав петербургского гарнизона. Петербургский гарнизон никогда не воевал. Какой болезнью болели молодые офицеры? Больных на службу не брали. Им захотелось чинов и денег – они продались Тайной канцелярии. И – не ошиблись. Через шесть лет, в 1762 году, прапорщик Власьев – уже капитан, сержант Чекин – поручик. Через два года, после убийства Иоанна Антоновича, Власьев – премьер-майор, Чекин – секунд-майор. Они получали жалованье и премии, а питались вместе с узником. Таким образом, за восемь лет безделья в Шлиссельбургской крепости они отложили около 50 000 рублей каждый. Это бешеные деньги для простого армейского офицера. Если министру платили 10 000 ежегодной пенсии, то капитану – не больше 50 рублей. На службе в Тайной канцелярии Власьев и Чекин заработали на 1000 лет обыкновенной пенсии. Был смысл продаваться и убивать? Для них – был. Убивать и чувствовать себя честными – редкая привилегия, за всю историю человеческих отношений её

заслужили только государственные полицейские, – безответственность и безнаказанность. Их служба – несложная: донесения. В Государственном архиве хранятся все их донесения с 23 августа 1762 года по 5 июля 1764 года (день смерти Иоанна). Сорок пять доносов.

Сохранились инструкции Н. Панина о питании. За стол садились втроём: Власьев, Чекин, Иоанн. На день «на пищу и питьё» – 1 рубль 50 копеек. Фунт говядины стоил от 13/4 копейки до 2,5 копейки (первосортной!), фунт хлеба стоил полкопейки, десяток яиц – 3 копейки, бутылка молока – полкопейки.

Двойники-полицейские клялись на суде, что Иоанн «был лишён вкуса и не отличал приятного от противного», что «арестант насыщался суровыми яствами, оставляя нежнейших и приятнейших яств». Это – понятно. Как же арестант мог отличить «приятное от противного», если они крали и жрали, а ему оставляли объедки. Мёртвые сраму не имут, – Иоанн уже был мёртв и не мог опровергнуть их ложь.

Тринадцатого октября, через месяц после казни Мировича, с Власьева и Чекина была взята подписка, что «они никогда и никому ни при каких обстоятельствах не будут рассказывать о том, что участвовали в *секретной комиссии*», то есть что убили Иоанна. Подписка взята, расписка оставлена. И расписка датирована 13 октября 1764 года «в том, что ими за участие в секретной комиссии получено по 7000 рублей». Так Екатерина оценила жизнь Иоанна Антоновича – 14

000 рублей двум убийцам. Сумма, конечно же, баснословная для армейских офицеров, но пустяковая для Екатерины, которая была щедра и никогда не жалела государственной казны. Так, после переворота она послала своему родственнику князю Фридриху-Августу 25 000 000 рублей золотом, чтобы Фридрих позабыл про смерть своего кузена Петра III, и Фридрих – позабыл.

Значит, убийство – не инициатива Власьева и Чекина. С полемическим пылом, с научно-исследовательским темпераментом ещё сто тридцать лет после смерти Иоанна доказывали непричастность Екатерины к убийству его; писали, что она дала Власьеву и Чекину инструкцию, где было приказано «в крайнем случае» – убить; что это – молва недоброжелателей, лживые и тенденциозные слухи, что на самом деле Екатерина была человеколюбива и никак не могла дать подобной инструкции.

Через сто тридцать лет в архивах Шлиссельбургской крепости инструкция – всё-таки! – была найдена. Это был страшный удар по всей самодержавной историографии. Инструкция написана рукой Н. Панина, подпись Екатерины – несомненна. Обрушились все так старательно построенные дворцы невинности царицы.

Проанализируем же сначала инструкции и письма Н. Панина, а потом – инструкцию Екатерины.

Между Екатериной и Мировичем, несомненно, был сговор.

Всё началось где-то летом 1763 года.

По инструкции Н. Панина (предварительной), офицерам Власьеву и Чекину запрещалось: выходить из крепости, переписываться с кем бы то ни было, разговаривать со знакомыми. Они поначалу радостно взялись за гуж, потому что получили чины и деньги, но потом управлять этой тележкой им стало не под силу. И офицеры пишут Панину: вы обещали, что наша секретная служба скоро кончится, что она временная, но мы сами теперь не тюремщики, а заключённые, нам ничего нельзя, как самому последнему колоднику. Панин отвечал: я не сомневаюсь в том, что вы, находясь в вашем месте, претерпеваете долговременную трудность от возложенного на вас дела, однако помню и то, что вам обещано скорое окончание вашей комиссии. «Извольте ещё немного потерпеть и будьте благонадёжны, что ваша служба тем больше забыта не будет, а при том уверяю вас, что ваша комиссия для вас скоро окончится и вы без воздаяния не останетесь. Ваш всегда доброжелательный слуга Н. Панин. 10 августа 1763 года».

До 10 августа Панин не писал ни разу, что «их комиссия скоро окончится». Значит, ещё не было кандидата на провокацию. Теперь кандидат появился. И это был Мирович.

Панин заискивает перед своими полицейскими, просит их. Первое лицо в государстве – просит своих пешек!

Двадцать девятого ноября 1763 года Власьев и Чекин ещё

пишут Панину: никаких сил нет добровольно сидеть под замком, помилосердствуйте, Христом-богом просим выпустить нас из Шлиссельбурга.

Двадцать восьмого декабря 1763 года Панин отвечает: потерпите ещё чуть-чуть, посылаю вам премию по 1000 рублей. «Оное ваше разрешение не далее как до первых летних месяцев продлиться может».

В декабре 1763 года Панин уже знает, что в *первые летние месяцы* произойдёт провокация! Через полгода. Как он мог знать точно этот срок, как мог предвидеть пустяковый заговор Мировича, если ни о заговоре, ни о Мировиче ещё никто и слыхом не слыхал? Он указал точно дату: первые летние месяцы. Заговор произошёл с 4 на 5 июля 1764 года.

Значит, был сговор.

И вот, когда уже всё подготовлено, когда сговор уже решён, Екатерина и Панин пишут последнюю, настоящую инструкцию Власьеву и Чекину. Вот её текст, слово в слово:

«Ежели паче чаяния случится, чтоб кто пришёл с командою или один без именного Её императорского величества повеления и захотел того арестанта у вас взять, – арестанта умертвить, а живого его никому в руки не отдавать».

Вот и весь заговор наивного подпоручика. Ему навязали роль. Он её исполняет храбро и тщательно, ничего не зная об инструкции. Мирович обманут: его посылают не на славу, а на смерть. Если бы он знал, как его перехитрили, ещё неизвестно, чем закончилась бы вся эта история. Мало того

– ни одна живая душа, кроме Власьева и Чекина, не знала об этой инструкции. Мало того – ещё сто тридцать лет никто не знал об инструкции.

Мирович стал провокатором.

Он ещё сто тридцать лет был провокатором перед лицом истории, и только найденная инструкция как-то объясняет его роль в этой истории.

Любимая госпожа предала своего любящего и честолобивого раба, который писал стихи, рисовал картинки, играл на бандуре и вот – впутался в политику.

Ещё одна загадка – Аполлон Ушаков.

Происхождение Ушакова неизвестно.

Судя по всему, Ушаков – сверстник Мировича.

Мирович – подпоручик, Ушаков – поручик.

Мирович говорил на процессе, что он выбрал «верного, надёжного и во всём способного товарища». Ушаков – «давнишний, в нравах совсем сходный приятель».

Мирович в Петербурге только два года. Вряд ли среди офицеров-собутыльников поэт сумел найти верного и надёжного друга. Для этого двух пьяных лет маловато. Тем более – друг «давнишний».

«В нравах совсем сходный приятель». Мирович – поэт и художник. Значит, они сходны по характерам и по роду занятий, если «*совсем сходный*».

Если так, если Ушаков сверстник Мировича, то и ему 24 года. Значит, и он родился в 1740 году. А 1740 год – вре-

мена мутные. Умирает Анна Иоанновна, регент – Бирон, заговор Миниха, правительница – Анна Леопольдовна, указы издаются от имени Иоанна Антоновича, интриги Остермана, Черкасского, Головкина, готовится к восстанию партия Елизаветы Петровны...

С какой стати Ушаков мог оказаться «давнишним приятелем» Мировича? Всё «давнишнее» у Мировича – в Сибири. Там-то они познакомились, обе семьи, обе сосланные. И у Ушаковых, как и у Мировичей, не хватило денег, чтобы определить сыновей в гвардию, – и Аполлон, и Василий пошли в пехотные полки.

Тринадцатого мая 1764 года Ушаков и Мирович отслужили акафист и панихиду. По самим себе – как по умершим.

Если бы Ушаков был просто пьяненький солдатик, кукольная игрушка Мировича, он выполнял бы поручения повелителя, но служить панихиду не стал бы.

А это был трогательный и героический шаг.

Значит, Ушаков очень любил Мировича, значит, это действительно были близкие люди, значит, они друг другу беспрельдно доверяли, если за какие-то полчаса один открыл другому опасную и грозную тайну и взял его в сообщники, а другой, не задумываясь, пошёл за ним, – а это был последний, смертельный шаг.

Императрица пообещала неприкосновенность. Хорошо. Они ей доверяли. Они её любили. Тогда её любили почти все без исключения – она всех угощала и всем обещала. Но мог-

ли быть и непредвиденные случайности. Любая оплошность в этом предприятии – смерть.

Всё-таки в их руках судьбы двух императоров.

Но императрица не так наивна, чтобы вручить свою судьбу какому-то подпоручику.

Это нужно было предвидеть.

Но Мирович – идеалист.

Неизвестно, как узнала Екатерина о сообщнике – признался ли чистосердечно Мирович или рассекретила Тайная канцелярия.

Но в дальнейшей судьбе Ушакова всё – загадка, всё – «*почему*».

Почему 23 мая 1764 года Ушаков был отправлен в командировку?

В мае в Великолуцком полку это была единственная командировка от военной коллегии.

Из всех офицеров полка отправлен был именно Ушаков, *единственный* сообщник предстоящей операции.

Случайность? Нет. Потому что действия развивались так.

Военная коллегия организовала отъезд Ушакова с небывалой для неё скоростью.

Сохранились документы: коллегия оформляла командировки в двух-, пятидневный срок. Разыскивали лошадей, ремонтировали колёса, разыскивали командированных, ремонтировали мундиры, разыскивали деньги, ретушировали дебет и кредит, бухгалтерия выписывала деньги.

Отправка Ушакова – рекорд канцелярской деятельности всего XVIII века!

Ушакова вызвали в девять часов утра – отправился он уже в час дня!

Случайность? Нет. Потому что вот что произошло. Ошеломлённый такой стремительностью, Ушаков стал присматриваться. Он заподозрил *что-то не то*.

Ушаков следовал в Смоленск. Ему поручили передать генерал-аншефу и сенатору князю Волконскому М. Н. 15 000 рублей серебром. 15 000 рублей – это не меньше 750 килограмм монет. Следовательно, коляска, в которой уехал Ушаков, была большая, на тяжёлых рессорах.

Сопровождал Ушакова фурьер Григорий Новичков. Он ехал в простой кибитке, обитой рогожей.

Места в коляске хватило бы и на троих. Почему Новичков ехал в отдельной кибитке?

Ушаков не страдал манией преследования. В 24 года офицеров не очень-то преследуют мании. Но по обстоятельствам получалось так, что Новичков не *сопровождает* Ушакова, а *конвоирует* его.

Ушакова охватывает беспокойство. Вот что рассказывает Новичков. Вот его рапорта по возвращении.

Двадцать третьего мая они отправились из Петербурга в Смоленск.

В 37 верстах от Порхова, в Сухловском яму, Ушаков начал жаловаться на головную боль. Он заболел. До Порхова всё-

таки доехали.

Ушаков подал рапорт генерал-майору Петрикееву. Петрикеев – командир Новгородского карабинерного драгунского полка. Ушаков писал: он болен и никуда ехать не в силах. Позвали полкового врача. Врач осмотрел Ушакова и никакой болезни не обнаружил. Петрикеев приказал ехать. Поехали.

Пока показания Новичкова не вызывают подозрений. Лгать – слишком опасно. Есть два свидетеля: Петрикеев и врач. Немного подозрительна такая точность Новичкова: 37 вёрст. Вёрсты на дорогах стояли, но не были пронумерованы. Может быть, эта точность – от солдатского усердия? Или же он прекрасно знал местность?

Дальше.

В 90 верстах от Порхова, в деревне Княжьей, Ушаков окончательно и серьёзно заболел. Он остаётся в деревне, а Новичков с деньгами отправляется в Шелеховский форпост. Там – князь Волконский³⁶³.

Новичков отдаёт деньги, получает квитанцию и отправляется обратно.

Так. Новичкову и здесь нет смысла лгать. Он поехал к Волконскому один. Он один отдавал ему деньги. Лгать опасно. Свидетель грозный – генерал-аншеф и сенатор. Правда, и здесь есть одно но: Михаил Никитич Волконский – самое приближённое лицо к Екатерине после Н. Панина, Орловых

³⁶³ Михаил Никитич Волконский (1713—1788) – князь, генерал-аншеф, сенатор, подполковник Конной гвардии: Отличился во время Семилетней войны.

и К. Разумовского. Волконский был один из самых ответственных и активных участников переворота 28 июня 1762 года. Во всей этой истории (дело Мировича!) почему-то всё те же действующие лица, ни одного постороннего: Панины, Разумовский, Корф, Вейнмарн, Волконский. Случайность? Нет.

Новичков приезжает в деревню Княжью.

Спрашивает: где Ушаков?

Крестьяне отвечают: как только уехал Новичков, Ушаков, не теряя ни минуты, поскакал в Петербург.

Новичков едет дальше. Во всех деревнях он расспрашивает о своём потерянном поручике. Все отвечают: поручик ускакал в Петербург.

Село Опоки. Жители взволнованы. Они рассказывают:

– Здесь, в селе Опоки, в реке Шелони найдена кибитка, обитая рогожей, и в ней подушка, шляпа, шпага, рубашка; потом приплывшее тело офицерское, которое зарыто в землю.

«Кибитка, обитая рогожей». Значит, в деревне Княжьей Ушаков отдал Новичкову коляску с деньгами, а сам пересел в кибитку.

Почему он прикинулся больным? А он прикинулся больным, потому что если бы он действительно был тяжело болен, то лежал бы и болел в Княжьей, а не поскакал бы сломя голову в Петербург.

Он поторопился в Петербург, чтобы поскорее приступить

к исполнению задуманного? Ни в коем случае. Раз у них тройственный сговор – Екатерина, Мирович, Ушаков, – то в первую очередь они сговорились – о числах. Императрица уезжала в Лифляндию 20 июня. Торопиться было некуда. До 20 июня можно было по крайней мере дважды добраться до Шелеховского форпоста и возвратиться дважды в Петербург.

Предположим, что Ушаков не знал дату отъезда Екатерины, то есть не был участником сговора. Всё равно, эту дату не так уж трудно было определить. Разговоры о путешествии начались ещё в марте. Но совершенно ясно, что ни в апреле, ни в мае, ни в начале июня в Лифляндию ехать незачем. Там – дожди, распутица, бездорожье, грязь. По таким ландшафтам путешествуют лишь великомученицы, но не императрицы.

Почему же торопился в Петербург Ушаков?

Можно многое предполагать, но не будем делать ложных и безосновательных предположений. Пусть факты сами говорят за себя.

«В реке Шелони найдена кибитка, обитая рогожей».

Почему кибитка найдена – в реке? Почему – не у реки?

Лошади понесли и занесли кибитку в реку?

Это – исключается. Лошади уже измучены. Без передышки они проделали путь от Петербурга до Княжьей и без передышки поскакали обратно.

Ушаков так торопился, что не стал дожидаться парома, а

бросился искать брод, загнал лошадей в воду, лошади стали тонуть, в истерике оборвали построшки и уплыли, а Ушаков – утонул?

Это – исключается. Во-первых, ни одной, даже самой сильной лошади не оборвать в воде построшки, а лошади – замучены. Во-вторых, как бы ни торопился Ушаков, нужна была *исключительная причина*, чтобы он бросился в воду, на верную гибель.

Но пусть так. Пусть он бросился. Пусть лошади оторвались и уплыли. Он остался в кибитке. Кибитка стала тонуть.

Если Ушаков не умел плавать, то первое, что он сделал бы, как всякий тонущий человек, он позвал бы на помощь и постарался бы продержаться на крыше кибитки до спасителей (ведь кибитка была из фанеры и обита рогожей, она не могла утонуть ни в коем случае!).

Хорошо, предположим, что это случилось ночью. Что Ушаков звал на помощь и никто его не услышал. Он мог бы просидеть на кибитке до рассвета, даже несколько дней. Река Шелонь – не гоголевский Днепр. Редкая птица не долетит до середины её. Всё равно его увидели бы и спасли.

Если Ушаков умел плавать и так торопился в Петербург, что не в силах был ожидать спасителей, то – правильно, он бросился в воду и решил самостоятельно переплыть реку.

Пусть так. Он бросился в воду, попал в омут, попытался выбраться и не выбрался – утонул.

Это – исключается.

В кибитке были найдены: «подушка, шляпа, шпага, рубашка». Всё. Больше ничего. Значит, он отцепил шпагу, снял и рубашку и бросился в воду. В чём же бросился пловец? Всем известно, что ни в какую командировку никакого офицера никакой армии не отправляют без мундира, без штанов и без сапог.

Что же получается? Ушаков снял рубашку, снял шляпу и шпагу – вещи незначительные и почти не мешающие при плавании, – а потом надел мундир, надел штаны и сапоги и бросился в воду, чтобы... утонуть?

Может быть, он и не надевал, а все эти вещи связал в узелок и поплыл нагишом? Нет. Крестьяне показывают: «Приплывшее тело офицерское». Офицерское. Значит, труп был в мундире. Только по мундиру (а не по шляпе и не по шпаге) можно было определить офицерство. На шляпы нацеплялись только значки полков. Шпаги носили и капралы.

Если Ушаков проделал все эти манипуляции и утонул, то должны были быть *исключительные причины*.

Можно предположить самоубийство. Но версия самоубийства – самая бессмысленная. В XVIII веке ни русские поэты, ни русские офицеры ещё не убивали самих себя. Да и для самоубийства не нужно было проделывать столько лишних движений с одеждой, во-первых, и, во-вторых: для этого нужны были совершенно *исключительные причины*.

Что же делает Новичков?

Он ведёт себя как опытный человек.

Он только осматривает платье Ушакова, он говорит крестьянам, что это платье он знает, это платье Ушакова. Крестьяне говорят ему: нужно разрыть могилу и посмотреть, Ушаков ли там и нет ли на его теле каких-нибудь следов насилия? Новичков осторожен. Он знает, как поступать в таких случаях. Он вызывает комиссию, но не из Петербурга (а он должен был вызвать опознавательную и следственную комиссию из Петербурга, с места жительства и службы Ушакова, чтобы труп опознали люди, не причастные к происшествию. Ведь Новичков косвенно, но причастен – он отправлялся вместе с Ушаковым), нет, Новичков вызывает комиссию из Порхова. Комиссия прибывает в следующем составе: писарь Василий Холков и солдат Ерофей Петров. Ни писарь, ни солдат не имеют даже приблизительного представления о следствии. Новичков опознаёт труп – они записывают. Они не удосуживаются даже допросить ни одного из крестьян, постскриптумных свидетелей происшествия. Они не удосуживаются даже осмотреть труп (им не терпится – «сделал дело – гуляй смело!») – они напиваются с Новичковым.

Нечего мудрствовать лукаво. Ушаков был убит.

Как и кем – неизвестно. Может быть, за ним ехала специальная кибитка Тайной канцелярии. Может быть, его убил Новичков. Ведь в истории существует только рапорт Новичкова, больше нет ни одного показания, ни единого свидетеля. Ведь это Новичков пишет, что он приехал в село Опоки и крестьяне ему сказали... На самом деле он мог накануне

объехать стороной село Опоки, убить Ушакова и уехать, а потом возвратиться и спросить крестьян.

Крестьяне говорят, что Ушаков поскакал обратно в Петербург. Неизвестно. Ведь крестьяне говорят только со страниц рапорта Новичкова.

Теперь ТРИ последних вопроса.

Перед вопросами необходимо оговориться, что стговор был только между Екатериной и Мировичем, что Ушакова Мирович пригласил самостоятельно.

Первый вопрос.

Почему в командировку был отправлен именно поручик Великолуцкого пехотного полка Аполлон Ушаков, «давнишний, во всём сходный нравом, верный и надёжный приятель» Мировича – накануне заговора?

Второй.

Почему «утонул» при таких исключительных обстоятельствах Аполлон Ушаков? Накануне – заговора?

Третий.

Почему через полтора месяца после командировки фурьер Новичков получил чин прапорщика (прыжок через несколько чинов)?

Случайности? Слишком много их. Такой набор случайностей появляется только в одном случае: если совершено преднамеренное убийство.

Несомненно: Ушаков был убит. Какая разница – может быть, его убил Новичков, может быть, и не Новичков, а ма-

ло ли кто – наёмных убийц множество. Но причастность Новичкова к убийству несомненна. Причастность – соучастие.

Так, убийство Ушакова доказывает, что стговор между Екатериной и Мировичем – существовал.

5

Двадцатого июня 1764 года Екатерина уезжает в Лифляндию.

Событие должно произойти в её отсутствие.

Впоследствии Екатерина утверждала в манифесте, что Мирович не только не видел Иоанна Антоновича, но и не знал, где он находится, в каком каземате Шлиссельбургской крепости.

Нужное утверждение.

О том, в какой казарме находился Иоанн, знали только пять человек: Бередников, Чекин, Власьев, Панин, Екатерина. Иоанн содержался в строжайшем секрете.

Мирович знал, где находился Иоанн.

Четвёртого июля 1764 года, в воскресенье, в 10 часов утра, в Шлиссельбургскую крепость по своим делам приехал подпоручик князь С. Чефаридзев.

Вот показания Чефаридзева.

Чефаридзев и Мирович закусили у коменданта. Потом пошли прогуляться по крепости. Чефаридзев спросил, просто так:

– Мне говорили, что здесь содержится Иоанн Антонович.

Так, слухи.

– Я давно знаю. Он здесь, – сказал Мирович.

Погоуляли.

– Интересно, – сказал Чефаридзев, – в какой же камере ОН? Или – нельзя? Или – неизвестно?

– Почему? – сказал Мирович. – Можно и известно. (Сегодня ночью операция, почему бы и не поиграть в кошки-мышки?) Пойдём, – сказал Мирович. – И примечай, – сказал он, – как только я тебе куда-нибудь кивну головой, туда и смотри: где увидишь мостик через канал, над мостиком ЕГО окошко.

Адрес точный.

Мирович – знал. Кто же мог сказать ему, где окошко узника? И Бередников, и Власьев, и Чекин – исключаются. В инструкции ясно сказано: в случае выдачи места заключения «безымянного колодника номер первый» – смертная казнь. Значит, место заключения указала Мировичу Екатерина: разъяснила. Больше – некому. Сговор – был.

В ночь с 4 на 5 июля происходит событие. Власьев и Чекин великолепно выполнили инструкцию. Екатерина недаром написала столько пьес и опер. Премьера этого спектакля прошла блестяще.

Мирович обманут. Он не ожидал убийства. Он действовал безукоризненно. Он всё предусмотрел. Они договорились даже о том, чтобы во время операции не было никаких жертв, никакой крови. Какая материнская забота госуда-

рыни о своих чадах! Минович должен был так расположить свою команду, чтобы никто никого не ранил. С обеих сторон было выпущено СТО ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ патрона! И – ни одного убитого, ни одного раненого. Стреляли с расстояния ДЕСЯТЬ – ПЯТНАДЦАТЬ шагов!

Не меньшую заботу об убитом императоре проявил и Н. Панин. 6 июля 1764 года Панин писал Бередникову:

«Мёртвое тело арестанта имеете вы предать земле в церкви или в каком другом месте, *где бы не было солнечного зноя и теплоты*. Нести же его в *самой тишине*».

Начинается следствие.

Мирович убеждён: получилась нелепость, императрица его не бросит. С подпоручиком обходятся прекрасно: хорошо кормят, позволяют бриться и не допрашивают. Ему только не дают газеты и не разрешают ни с кем разговаривать. Поэтому Мирович ничего не знает, он целиком полагается на стовор с императрицей и сочиняет всевозможные были и небылицы – пять пунктов о своём офицерском достоинстве (см. версию первую), чтобы представить себя единственным виновником события.

Этого только и нужно Екатерине. Мирович не знает закулисной игры. А игра идёт простая: спектакль сыгран, актёра нужно убрать.

Почему же с такой страстью Екатерина и её приспешники настаивают на том, что у Мировича *не было сообщников*? Казалось бы, наоборот: произошло серьёзное антигосудар-

ственное событие, подпоручик не мог действовать в одиночку, наверняка замешаны многочисленные враги Екатерины, необходимо их искать и отрубать головы, как она и делала и раньше и позднее.

Но – нет.

Панин пишет:

«Не было в сём предприятии пространного заговора».

Екатерина:

«Я опасуюсь, чтоб глухие толки не наделали бы много несчастных... Мирович виноват один».

«Осторожность вашу не иначе как похвалить могу, что вы за Мировичами приказали без огласки присматривать. Однако если дело не дойдёт до них, то арестовывать их не для чего, понеже пословица есть: брат мой, а ум твой».

При чём здесь пословица? Она боится Запорожья.

Екатерина всех успокаивает, никого не подозревает. Она даже пишет обращение к Смоленскому пехотному полку, в котором служил Мирович:

«Преступление, учинённое *злосердием одного*, не может вредить других, никакого участия в том не имевших».

Какая предупредительность. «Злосердие одного»!

Почему Екатерина так старательно не хочет расследовать это дело? Ответ только один – был сговор. Если дело расследовать – всё откроется: Власьев и Чекин – проинструктированные жандармы, Мирович – сам спровоцированный провокатор, автор же убийства – ОНА!

Императрица торопит Сенат. Сенат – Верховный суд. Простого подпоручика судили СОРОК ВОСЕМЬ сановников империи: митрополит Дмитрий, архиепископ Гавриил, епископ Афанасий, архимандрит Лаврентий, архимандрит Симеон, граф К. Г. Разумовский, граф А. Бутурлин, князь Я. Шаховской, граф П. Чернышёв, граф З. Чернышёв, граф И. Чернышёв, граф М. Скавронский, граф Р. Воронцов, граф Н. Панин, граф П. Панин, Ф. Ушаков, Н. Муравьёв, Ф. Милославский, А. Олсуфьев, князь П. Трубецкой, граф В. Фермор, С. Нарышкин, Л. Нарышкин, граф Эрнст Миних, С. Мордвинов, граф Минних, И. Талызин, князь А. Голицын, вице-канцлер князь А. Голицын, граф И. Гендриков, Д. де Боскет, И. Бецкий, граф Г. Орлов, граф С. Ягужинский, Ф. Эмме, барон А. Черкасов, И. Шлаттер, А. Глебов, Ф. Вадковский, Г. Вейнмарн, барон фон Диц, Н. Чичерин, Я. Евреинов, Д. Волков.

Такой высокий состав суда – неспроста.

Екатерина знала, что делает: свои сановники и иностранные представители (Беранже, Прассе, Гольц) должны были разнести по всей вселенной весть о ЕЁ невиновности, – и разнесли. Весть – молва – легенда.

Императрица приказала князю А. А. Вяземскому, генерал-прокурору Сената, глядеть за каждым членом Сената, слушать каждое слово и доносить ей – обо всём.

«Возмутителя Мировича, нимало не мешкая, необходимо взять в Царское Село и в скромненьком месте пыткой из него

выведать о его сообщниках. Нужно у него в рёбрах пощекотать, с кем он о своём возмущении соглашался?»

Первого сентября 1764 года – очередное заседание Сената. Обер-прокурор Соймонов и барон Черкасов – обсуждают вопрос о пытке. Генерал-прокурор Вяземский³⁶⁴ приказывает: прекратить!

Черкасов возмутился. Он написал «собственное мнение». Он обращался к Сенату:

«Нам необходимо нужно жестокой пыткой злодею оправдать себя (себя – Сенат, нас, судей!) не только перед всеми живущими, но и следующими по нас родами. А то опасаясь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися, или и комедиантами».

Президент государственной медицинской коллегии барон Александр Черкасов был совестлив. И проникателен. Этот суд так и остался в истории: фарс.

Екатерина сделала Черкасову выговор: «Вместо того чтобы побыстрее закончить пустяковое дело, вы, барон, вздором и галиматьёй занимаетесь».

Побыстрее.

То же самое она написала и Вяземскому:

«Одним словом, шепните иным на ухо, что вы знаете, что я говорю, что собрание, чем ему порученным делом заниматься, упражняется со вздором и несогласиями».

³⁶⁴ Вяземский Александр Александрович (1727—1793) – князь, генерал-прокурор Сената с 1764 по 1792 г.

Побыстрее!

«Порученным делом заниматься». То есть без последнего следствия, только по предварительному, а следовательно – без суда приговорить Мировича к смертной казни. Концы – в воду...

По всей России прогремели письма митрополита Арсения Мацеевича, который самым серьёзным образом предупредил императрицу, что если Мировича не будут пытать, то подозрение, так или иначе, падёт на Екатерину – если она противница пытки, значит – сообщница. Мацеевич был темпераментен и мудр, но Екатерина уже разжаловала его, судила 14 апреля 1764 года и сослала.

Мацеевич протестовал из ссылки.

Восходящее солнце полиции, будущий (самый страшный в России) глава Тайной канцелярии С. Шешковский (то ли перестраховался, то ли переборщил!) тоже потребовал пытки Мировичу. Он сказал, что сообщники – существуют. Екатерина воспротивилась. Не из жалости к преступнику, совсем нет. Вспомним пресловутый заговор Хрущёвых – Гурьевых. Болтунов пытали несколько суток – самыми зверскими способами.

Государственного преступника, провокатора убийства императора Иоанна Екатерина – отказывается пытать! Запрещает. На Шешковского налагается взыскание. ЕКАТЕРИНА БОЛЬШЕ МИРОВИЧА БОЯЛАСЬ ПЫТКИ. ПОД ПЫТКОЙ МИРОВИЧ МОГ ЗАГОВОРИТЬ. А ВЕДЬ СУ-

ЩЕСТВОВАЛ СГОВОР.

К Мировичу были приставлены (всё те же!) К. Разумовский, Н. Панин, П. Панин – чтобы «уговорили преступника признаться». Но такие «уговоры» – не решение Сената, Сенат совсем растерялся: так – приказала императрица. ЕКАТЕРИНА БОЯЛАСЬ – ОНА ИЗОЛИРОВАЛА МИРОВИЧА ОТ СУДА, приставив к нему преданную ей троицу.

И тогда-то Мирович всё понял. И подпоручик помогает императрице – сам!

Примечание к протоколу. Заседание суда 9 сентября 1764 года:

«Примечена в нём окаменелость, человечество превосходящая...» Судьи заметили состояние Мировича – он был потрясён таким предательством, такой провокацией.

Он встал.

Он сказал:

– Недолго владел престолом Пётр Третий, и тот от пронырства и от руки жены своей опоён смертным ядом. После него же не чем иным, как силою обладала наследным престолом Иоанна самовлюблённая расточительница Екатерина, которая из Отечества нашего выслала на кораблях к родному брату своему, к римскому генерал-фельдмаршалу князю Фридриху-Августу, на двадцать пять миллионов денег золота и серебра, и, сверх того, она через природные слабости свои хотела взять себе в мужья подданного своего Григория Орлова с тем, чтобы из злонамеренного и вредного Отече-

ству её похода (путешествие в Остзейские провинции) – не возвратиться, за что, конечно, она перед Страшным судом не оправдается.

Мировича предупреждали, что его ожидает помилование (как бы там ни было!), что помилование засекречено, что награды – приготовлены, только бы он молчал о сообщничестве.

Но в эту игру Мирович уже не хотел играть. Он почувствовал себя обманутым и оскорблённым, кровь предков, кровь рода – заговорила. Прозвенели цепи, прозвенели и отзвенели, Панин и Разумовский увели Мировича «уговаривать», и напрасно: теперь и под пыткой он не выдал бы соучастия императрицы, он Её теперь так ПРЕЗИРАЛ – не рассказал бы, не произнёс бы вообще вслух её имя.

И – не произнёс.

Мировича привезли накануне в какой-то, похожей на кораблик, карете, дверцы оклеены какой-то кожицей с цветочками. В таких каретах возили почту или казённые деньги. Конный конвой (башкирцы) сопровождал карету до эшафота, а потом оттеснили толпу, образовалась окружность радиусом метров в двадцать, по окружности расставили роту мушкетёров, а башкирцы летали на лошадках туда и сюда – конвоировали.

Эшафот построили за одну ночь – не хотели волновать обывателей: излишние сплетни, сенсации, – ночью металось два костра, поморосил дождик и прошёл, в переулках голо-

силы гуляки, к утру получилось то, что надо – сруб из брёвен с лесенкой. Всё-таки «сие сооружение» было уродливо, на брёвнах пестрели сучки, и командир мушкетёрской роты капитан Д. Корольков откомандировал к полицмейстеру С. – Петербурга барону Н. Корфу курьера: не покрасить ли «сию архитектуру»?

Пока полицмейстер просыпался и застёгивался, пока соотносился с начальником Тайной канцелярии графом Н. Паниным, а тот, в свою очередь, испрашивал «именных повелений» у Екатерины, а та выразила «высочайшее согласие на приведение места казни в божеский вид», – прошло утро, пора уже было начинать казнь, весь Петербург теснился в Обжорном ряду, проталкиваясь в толпе, девушки-аристократки устраивались на крышах карет, а девки – на водовозных бочках, дети, как всегда в таких случаях, плясали на плечах у родителей и размахивали разноцветными леденцами на палочках, на холмах домов примостились подмастерья со всеми своими кирзовыми сапогами и самодельными трубками, собаки растеряли хозяев, и невозможно было разыскать в непроходимой толпе родственника.

Седовласый маляр с металлическими зубами (иностранец), в спецовке, в штанах из чёртовой кожи, нежно макал кисть в цинковое ведро с масляной краской – докрашивал последнюю ступеньку лестницы, докрасил, опустил кисть в ведро и ушёл в толпу, его пропустили.

Мировича привезли накануне, чтобы не было паники, ло-

шадей выпрягли и увели, оглобли опустились на землю; знали или не знали, что там, в карете?

Эшафот был покрашен самой дорогой краской, золотой, солнце слепило, и краска слепила. Землю вокруг эшафота посыпали песком, тоже золотым почему-то, прибалтийским, как будто предстояла не казнь, а премьера итальянской оперы. По песку порхали (повсюду!) воробьи, они что-то искали в песке, мёртвых мух, что ли, и что-то клевали, муравьёв, может быть.

Палач поднялся на помост первым, он шёл балансируя, чтобы не поскользнуться на свежей краске, на лесенке появились тёмные пятна от его тяжёлых подошв, палач был одет в чёрно-красный балахон с капюшоном, – прорези для глаз, а у капюшона заячьи уши – тоже оперный гардероб. Палач, как ружьё, нёс на плече большой блестящий топор; кто выковал такой топор, какой инженер мучился над этим уникальным инструментом, или разыскивали в арсенале Анны Иоанновны, ведь после смерти Анны Иоанновны не было ни одной публичной казни – двадцать два года.

В общем, никому не приходило в голову, что казнь состоится, – слишком похоже на фарс.

А потом произошло следующее.

Карета шатнулась. Разлетелась кожаная дверца с цветочками. С подножки кареты на лестницу прыгнул офицер – блеснули пуговицы, – упал на ступеньки, закарабкался по собачьему наверх, на коленях, на ладонях, встал на помосте во

весь рост, перекрестился быстро-быстро, махнул палачу – и палач, как послушная машина, опустил топор.

Ни вдоха. Никто не осмыслил, не сообразил. Увидели: наверху, в воздухе, блеснула ладонь, измазанная золотом, и блеснул большой топор.

Потом брызнула кровь, потом хлынула кровь, блестящие брёвна всё чернели и чернели, народ смотрел во все глаза – где голова? А голова упала с эшафота и покатилась по песку, переворачиваясь, она уже лежала (с чистым, незамазанным лицом), а из горла, снизу, на песок выливалась кровь, и только цыганские кудри чуть-чуть пошевеливались и поблёскивали.

Засуетились солдаты, палач стоял надо всеми, на помосте, ни на кого не смотрел, в капюшоне, с топором на плече.

Дверца кареты распахнута, а на подножке – солдат с морщинистым лицом, в руках он слабо держал кандалы.

Появился полицмейстер, и священник полез на эшафот.

Полицмейстер, белёсый немец, моргал куриными глазами, бегал со своей саблей и кричал голосом, растерянным и детским:

– Кто снял кандалы? Кто снял кандалы, дьявольщина!

Священник полез к палачу и зашумел, размахался крестом, а палач кое-как высвободил из-под балахона руку и показал священнику свои часы с цепью.

Мирович был казнён точно: минута в минуту.

Василия Яковлевича Мировича казнили 15 сентября 1764

года на Петербургской стороне, в Обжорном ряду.

Державин писал:

«Осенью случилась поносная смертная казнь на Петербургской стороне известному Мировичу. Ему отрублена на эшафоте голова. Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обывший видеть смертной казни и ждавший почем-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогнулся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились».

Бильбасов писал в 1888 году, через сто двадцать четыре года после казни Мировича:

«Записанное поэтом аханье толпы, колеблющиеся мосты – единственное сообщение русского современника о впечатлении, произведённом казнью Мировича на русское общество. Русские люди привыкли быть осторожными, научились уже быть необщительными, они предпочитают молчать. Наша мемуарная литература крайне бедна, у нас мало записок, да и те под запретом».

Пятнадцатого сентября 1764 года был солнечный петербургский день, листья уже пожелтели, но ещё не опали. Они свисали с деревьев, вялые и влажные.

В магазине кружев мадам Блюм появились чудесные брюссельские перчатки для девушек не старше пятнадцати лет. Но сейчас витрины были завешены железными гофрированными шторами, а под шторами, чуть-чуть над тротуаром, висел бронзовый литой замок, отполированный, как зо-

лотой.

Церкви стояли, как голубые статуи в металлических шлемах.

Караул уже уехал. Оливковые кареты с гербами уже умчались. Солдаты ушли в кабаки. У магазинов мод ходили девушки со страстными глазами. Но оживления – не было.

Петербург был растерян и потрясён.

Слухи о великодушии императрицы – распространялись. Все ожидали помилования.

Украинский писатель Г. Ф. Квитка-Основьяненко писал: «Екатерина располагала непременно даровать жизнь преступнику. Скрытно от окружающих она подписала о сём указ, чтобы выслать указ к эшафоту перед самым исполнением казни. Но она была обманута действовавшими: казнь была совершена днём раньше. Может быть, некоторые были заинтересованы, чтобы Мирович был казнён скорее».

Может, и были эти некоторые. Но сведения о том, что «казнь была совершена днём раньше», сочинил сам Основьяненко.

Казнь была совершена в срок – минута в минуту.

Правительственные газеты с облегчением писали:

«Великолепный карусель, данный Екатериной Второй на Царицыном лугу, и вслед за тем торжественный въезд в Петербург турецкого посла, осенью того же года, изгладили из памяти жителей столицы впечатление, произведённое на них казнью Мировича».

Примечание

Перед казнью Минович написал стихотворение. Вот оно:

*Проявился, не из славных, козырной голубь,
длинноперистый,
Залетал, посреди моря, на странный остров,
Где, прослышал, сидит на белом камне, в тёмной
клеточке,
Белый голубок, чернохохлистый...
Призывал на помощь Всевышнего Творца
И полетел себе искать товарища,
Выручить из клетки голубка.
Сыскал голубя долгоперистого,
Прилетел на Каменный остров,
И, прилетевши к белому камню,
Они с разлёта разбивали своими сердцами
Тот камень и тёмную клеточку...
Но, не имея сил, заплакав, оттуда полетели
К корабельной пристани, где, сидя и думая,
отложили,
Пока случится на острове от моря погода, —
Тогда лететь на выручку к голубку...
Оттуда, простившись, разлетелись —
Первый в Париж, а второй в Прагу...*

Аллегии Миновича нетрудно расшифровать, они про-

сты и прозрачны. Поэтому поневоле напрашивается ещё одна версия: почему – в Париж? в Прагу?

1968

КОММЕНТАРИИ

Об авторах

КАРЛОВИЧ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (1823—1885), историк, публицист, прозаик. Из старинной дворянской семьи. Окончил историко-филологический факультет петербургского Главного педагогического института (1844). В 1845—1850 годах учительствовал в Тульской, затем в Калужской гимназиях. С 1850 года – правитель канцелярии попечителя учебного округа в Вильне, с 1854 года – коллежский советник, с 1856 года – член-сотрудник Виленского музея древностей и Виленской археологической комиссии. В 1857 году вышел в отставку. Занимался общественной деятельностью. Первые публикации – перевод с древнегреческого комедий Аристофана «Облака» и «Лисистрата» (1845). Карнович – автор многочисленных публицистических статей, очерков на юридические, статистические, исторические, литературно-критические темы, исторических хроник и монографий, исторической беллетристики. Написанные им исторические повести и романы по жанру примыкают к беллетризированной монографии и основаны на строгом следовании фактам. К ним относятся: «Самозванные дети» (1878), «Любовь и корона» (1879), «На высоте и на доле» (1879),

«Мальтийские рыцари в России» (1880), «Придворное кружево» (1884).

Роман «Любовь и корона» печатается по изданию: Карнович Е. П. Собрание сочинений в 10-ти книгах. М., А. А. Петрович, 1909, кн. 5-6.

ДАНИЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ (1828—1890), прозаик, публицист. Представитель старинного дворянского рода. Учился в московском Дворянском институте и на юридическом факультете Петербургского университета. В 1850—1857 годах служил чиновником по особым поручениям министерства народного просвещения. По выходе в отставку вёл активную общественную деятельность: был депутатом харьковского комитета по крестьянскому делу, членом училищного совета, губернским гласным и членом губернской земской управы в Харькове, почётным мировым судьёй, присяжным поверенным (1868), с 1869 года – помощник главного редактора «Правительственного Вестника», а с 1881 – главный редактор и член совета главного управления по делам печати. Печататься начал в 1846 году (стихотворение «Славянская весна»). Переводил драмы и поэтические произведения Шекспира, Байрона, Лонгфелло, Шиллера, Мицкевича. Автор выдержавших несколько изданий стихотворных «Украинских сказок». Читательскую известность Данилевский получил благодаря романам «Беглые в Новороссии» (1862) и «Воля», «Беглые воротились» (1863), вы-

шедшим под псевдонимом А. Скавронский. После написания романов «Новые места» (1867) и «Девятый вал» (1874) перешёл почти исключительно к исторической тематике: «Потёмкин на Дунае» (1878), «Мирович» (1879), «На Индию при Петре» (1880), «Княжна Тараканова» (1883), «Сожжённая Москва» (1886), «Чёрный год» (1889) и др.

Текст романа «Мирович» печатается по изданию: Г. П. Данилевский Мирович. – М., Правда, 1985.

СОСНОРА ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, родился в 1936 году в г. Алупка. Участник ленинградской блокады. В 1955—1958 годах служил в армии вычислителем артиллерийских и миномётных частей. В 1958—1963 годах учился в Ленинградском университете. Член Союза писателей с 1963 г. Первая книга стихотворений вышла в 1962 году. Читал лекции в Венсенском университете (Париж, 1970, 1979), в разных университетах США в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы. Переведён на большинство европейских языков. Живёт в С. – Петербурге.

Текст повести «Две маски» печатается по изданию: Соснора В. А. Властители и судьбы: Литературные варианты исторических событий. – Л.: Советский писатель, 1986.

Хронологическая таблица

1739 год

3 июля – бракосочетание Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейг-Беверн-Люнебургским.

декабрь – прибытие в Петербург французского посла маркиза де ла Шетарди.

1740 год

27 января – из Константинополя привезена в Петербург ратификация мирных пунктов. По случаю заключения мира с Турцией начинались большие торжества. Праздникам предшествовало торжественное вступление в Петербург гвардии, возвратившейся из похода.

6 февраля – «куриозная свадьба» придворного шута князя Голицына с калмычкой Бужениновой, свершённая в Ледяном доме.

1 июня – Фридрих II становится королём Пруссии.

27 июня – казнь А. Волынского.

12 августа – у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха родился сын, названный при крещении Иоанном.

5 октября – опубликован манифест о порядке престолонаследия, в котором Иоанн Антонович «назначивается и определяем» законным наследником Всероссийского императорского престола.

6 октября – Анна Иоанновна, за обедом, внезапно почувствовала дурноту и была без памяти отнесена на постель.

7-17 октября – В один из этих дней Анна Иоанновна подписала акт о регентстве Бирона.

17 октября – кончина Анны Иоанновны.

18 октября – опубликован высочайший указ (копия) о титуловании Бирона как регента Российской империи.

18 октября – Измайловский полк присягнул преемнику государыни, Всероссийскому императору Иоанну Антоновичу. Следом, в придворной церкви, в присутствии высочайших особ, министрами, членами Синода, Сенатом и генералитетом принесена присяга новому императору.

19 октября – младенца —императора с большим торжеством перевезли в Зимний дворец.

31 октября – приведены в застенок и подняты на дыбу Любим Пустошкин, Михаил Семёнов, секретарь конторы Анны Леопольдовны, и Пётр Граматин, секретарь принца Брауншвейгского, – сторонники Анны Леопольдовны.

7 ноября – Бирон угрожает Анне Леопольдовне высылкой из России.

8 ноября – Анна Леопольдовна просит защиты у фельдмаршала Миниха и тот, приняв её сторону, говорит о готовности свергнуть Бирона.

Вночь с 8 на 9 ноября – арест Бирона. Он отвезён в Зимний дворец и заключён под стражу.

9 ноября – опубликован манифест (копия) об отрешении

от регентства империи герцога Курляндского Бирона.

10 ноября – дан парад всем войскам, находившимся в Петербурге.

27 декабря – Миних подписывает договор с Пруссией.

Декабрь (вторая половина) – встреча французского посла в России маркиза де ла Шетарди с послом Швеции Нолькеном в здании французского посольства. Разговор идёт о совместных действиях в пользу цесаревны Елизаветы Петровны, которую Франция и Швеция желают видеть на русском престоле.

1741 год

12 января – опубликован манифест (копия) о титуловании герцога Антона Ульриха. Указано было титуловать его по сему: его императорское величество Антон Ульрих.

15 января – предание земле тела Анны Иоанновны.

28 января – издан указ, согласно которому Миних фактически отстранялся от власти.

Январь – март – начинается слезка за домом цесаревны Елизаветы Петровны.

Февраль – март – Нолькен добивается от цесаревны Елизаветы Петровны согласия подписать обязательство, текст которого бы гласил, что цесаревна доверяет шведскому послу просить короля Швеции оказать ей помощь в захвате власти и что она обещает одобрять «все меры, какие его величество король и королевство шведское сочтут уместным».

принять для этой цели».

Март – прибывший в Петербург Линар интригует против Елизаветы Петровны.

11 апреля – в Дрездене был заключён трактат между Римской империей и курфюрстом Саксонским о взаимопомощи против короля Прусского, анявшего Силезию.

Апрель (середина месяца) – при содействии Остермана и Линара маркиз де Ботта склоняет правительницу к интересам Римской империи.

17 апреля —опубликован манифест (копия) о преступлениях герцога Курляндского.

13 июня – Бирон отправлен в вечную ссылку в сибирский город Пелым.

28 июня – Нолькен покидает Петербург.

6 июля – прибытие из Митавы в Петербург брата Антона Ульриха – Людвига, вновь избранного герцога Курляндского, которым всерьёз заинтересовалась цесаревна Елизавета Петровна.

15 июля – Анна Леопольдовна разрешилась от бремени дочерью Екатериною.

Июль (последние числа) – Швеция объявляет войну России.

12 августа – празднование дня рождения Иоанна Антоновича.

13 августа – брачный сговор графа фон Линара со статс-

фрейлиною баронессою Юлианою фон Менгден.

13 октября – английский посол Финч сообщает в донесении о раздоре при русском дворе.

23 ноября – на придворном куртаге Анна Леопольдовна укоряет Елизавету Петровну за связь с Лестоком, которого многие советуют ей арестовать, ибо он интригует против родителей императора.

В ночь с 24 на 25 ноября – дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны.

25 ноября – арест Миниха, Остермана, вице-канцлера Головкина, обер-гофмаршала Головкина.

28 ноября – издан указ о высылке семьи Анны Леопольдовны «в их отечество».

12 декабря – фамилия Брауншвейгская, сопровождаемая генерал-лейтенантом В. Ф. Салтыковым, выезжает из С. – Петербурга в Ригу.

1742 год

14 января – свершился суд над главными «государственными и общего покоя ненавидящими злодеями». Миних приговорён к четвертованию, Остерман – к колесованию, Головкин и Левенвольде – к отсечению головы.

18 января – казнь над государственными преступниками. Императрица заменяет всем «богомерзким» преступникам смертную казнь ссылкой.

13 декабря – после годичного пребывания в Риге фамилия

Брауншвейгская переводится в крепость Дюнамюнде.

1744 год

Январь – следует высочайший указ о перемещении Брауншвейгской фамилии в г. Раненбург (Рязанской губ.).

27 июля – высочайший указ, по которому Брауншвейгскую семью надлежало перевезти в Архангельск, а оттуда в Соловецкий монастырь, и там оставить. Не имея возможности из-за льда плыть в Соловки, Корф остановился в Холмогорах. Его поднадзорные размещены в архиерейском доме.

1745 год

19 марта – рождение сына Петра у Анны Леопольдовны и Антона Ульриха.

1746 год

27 февраля – там же, в Холмогорах, рождение сына Алексея. (Вскоре после рождения младенца Анна Леопольдовна занемогла горячкою и умерла.)

1756 год

Начало – Иоанн Антонович переведён из Холмогор в Шлиссельбург.

1764 год

5 июля – Иоанн Антонович умерщвлён.

1774 год

4 мая – смерть в Холмогорах Антона Ульриха.

1782 год

20 октября – смерть принцессы Елизаветы, сестры Иоанна Антоновича.

1787 год

22 октября – смерть принца Алексея, брата Иоанна Антоновича.

1798 год

30 января – кончина принца Петра.

1807 год

9 апреля – смерть последнего члена Брауншвейгской фамилии – принцессы Екатерины.